Владимир

НАБОКОВ

В. СИРИНЪ

EXCLUSIVE
AUTHORIZED
EDITION
•
THE ESTATE
OF VLADIMIR
NABOKOV

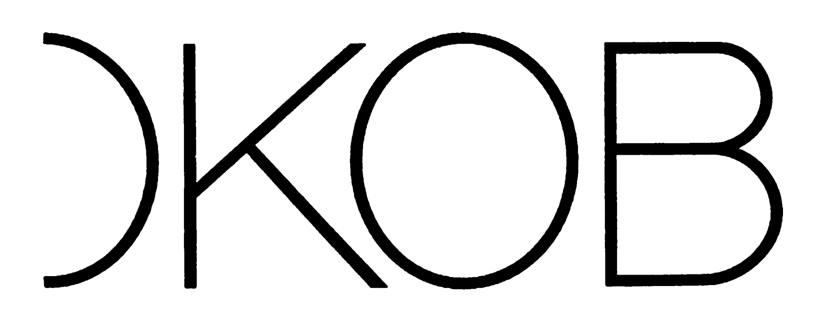
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»

Владимир

НАБС

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ РУССКОГО ПЕРИОДА В ПЯТИ ТОМАХ

Столетие
со дня
рождения
1899
1999



Vladimir Nabokov

COLLECTED RUSSIAN LANGUAGE WORKS

In Five Volumes

Volume Three

This edition published by arrangement with the Estate of Vladimir Nabokov

В Л А Д И М И Р
Н А Б О К О В
(В. Сиринъ)

1930-1934

Соглядатай
Подвиг
Камера обскура
Отчаяние
Рассказы

Стихотворения
Эссе. Рецензии

Санкт-Петербург
«Симпозиум»
2006

ББК 84 Р
Н14

Издание осуществлено в рамках соглашения
The Estate of Vladimir Nabokov
и Издательства «Симпозиум»

Составление
Н. И. Артеменко-Толстой

Предисловие
А. А. Долинина

Примечания
О. Ю. Сконечной, А. А. Долинина, Г. М. Утгофа, А. Д. Яновского, Ю. Левинга, М. Э. Маликовой, Р. Д. Тименчика

Художник
М. Г. Занько

Редактор тома
М. В. Козикова

Издательство выражает признательность Д. В. Набокову, N. Smith, D. Barton Johnson, С. Б. Ильину, Е. Б. Белодубровскому, Е. Б. Шиховцеву, И. С. Зверевой, А. В. Глебовской и С. Р. Федякину за их помощь и содействие в процессе подготовки этого издания.

ISBN 5-89091-082-5 (Т.3)
ISBN 5-89091-051-5

От Издательства

Этот том собрания сочинений В. В. Набокова-Сирина (1899–1977) русского периода включает в себя повесть «Соглядатай» (1930) и романы «Подвиг» (1931–1932), «Камера обскура» (1932–1933), «Отчаяние» (1934; 1936), являющиеся последовательными ступенями шлифовки автором своей творческой манеры, основанной на изысканном психологизме сюжета, многоплановости литературно-философских подтекстов и игре словом.

В данном томе, продолжая следовать хронологическому принципу, мы располагаем рассказы и стихотворения, позднее объединенные автором в сборники, в порядке их первых публикаций в периодической печати, дабы ознакомить читателя с жанровой и творческой эволюцией В. Набокова.

В настоящем собрании впервые републикуются эссе «И. А. Матусевич как художник» (1931) и Благотворительное воззвание (1932) В. Сирина. Также здесь представлены стихотворения, не вошедшие в прижизненные сборники.

Приводя тексты в соответствие с современными нормами правописания, мы бережно сохраняем авторскую пунктуацию (в том числе и в способе оформления прямой речи) и некоторые особенности орфографии начала века (в основном это касается заимствованных слов и имен собственных), внося лишь необходимые коррективы.

Во всех возможных случаях тексты сверяются с первыми публикациями, расхождения с последующими изданиями отражаются в примечаниях.

Собрание сочинений публикуется по согласованию с The Estate of Vladimir Nabokov, с разрешения сына писателя, Дмитрия Владимировича Набокова.

ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ ПИСАТЕЛЯ СИРИНА: ОТ «СОГЛЯДАТАЯ» — К «ОТЧАЯНИЮ»

В яркой статье о «Лолите» Нина Берберова вскользь заметила, что зрелость Набокова, его переход к новой поэтике начались с небольшой повести «Соглядатай», которая открыла для него путь «одного из крупнейших писателей нашего времени»[1]. «Соглядатай» — это первая попытка Набокова построить повествование от лица такого персонажа-рассказчика, чья точка зрения, дистанцированная от авторской, сама по себе претендует на «художественную» переработку сырого «жизненного материала». С героя «Соглядатая», больше всего ценящего в себе свою фантазию и литературный дар, ведет свое начало ряд набоковских все менее и менее надежных рассказчиков (unreliable narrators, как их именует англоязычная нарратология) — фантазеров, лжецов, обманщиков, безумцев, слову которых нельзя полностью доверять, ибо они стремятся утаить или исказить правду, смешать воображаемое и действительное, чтобы навязать читателю собственную версию происходящего.

Повествование от первого лица в романах Набокова всегда сопряжено с некоей тайной, так что строение романа можно сравнить со структурой детектива.

В построении «Соглядатая» нетрудно увидеть исходную модель для всех позднейших «нарративных детективов» Набокова. Как указывает уже само заглавие повести, ее герой уподоблен шпиону, выведывающему чужие тайны, — он выспрашивает, подслушивает, подсматривает, он выкрадывает письмо и проникает в чужую квартиру, чтобы узнать, как относятся люди к интересующему его лицу. На протяжении почти всего рассказа мы не знаем, происходит ли все это «в действительности» или в его воображении, поскольку сам рассказчик убежден, что он убил себя и находится в состоянии посмертного сна, где реально

[1] Н. Берберова. Набоков и его «Лолита» // В. В. Набоков: Pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей / Антология. СПб., 1997. С. 285.

существует лишь его сознание, по инерции порождающее иллюзии продолжения жизни. Наконец, только в финале «Соглядатая» выясняется его главная тайна — тайна повествующего «я». Оказывается, что безымянный рассказчик и объект его «соглядатайствования», загадочный молодой человек по фамилии Смуров, — это одно и то же лицо и что, следовательно, детективный поиск героя был обращен не вовне, а на самого себя.

Нельзя не заметить, что разгадка каждой из тайн приносит рассказчику все большие и большие разочарования: его новые знакомые видят в нем отнюдь не того благородного героя, каким он хотел бы им казаться; прелестная девушка Ваня, в которую он влюблен, любит не его, а другого; ему приходится признать, что он не убил, а только слегка ранил себя, из-за чего его вера в иллюзорность окружающего мира и в свою власть над ним рушится; его попытка усилием воли сотворить из себя новую сверхличность терпит крах, и он вынужден опять стать тем «пошловатым, подловатым» Смуровым, которого в начале повести он решил истребить. Таким образом, сам сюжет «Соглядатая», умаляя и дискредитируя точку зрения рассказчика, выявляет скрытые интенции текста и его невидимого автора. То, что «второй Смуров» мыслит своим самооправданием, становится, помимо его воли, его саморазоблачением, и кругозор рассказчика, казавшийся сначала равным авторскому, обнаруживает свою ущербность и ограниченность.

Подобная игра с точкой зрения рассказчика у Набокова полемически направлена против получившей широкое распространение в русской прозе 1910–1920-х годов тенденции к использованию форм дневника или исповеди для создания эффекта непосредственного, эмоционально окрашенного самовыражения героя, чье слово о самом себе и мире обладает статусом «истинного» свидетельства. Тематически и интонационно исповедальная проза такого рода ориентировалась на модели, заданные в «Записках из подполья» Достоевского, тиражируя то, что Бахтин назвал «стилем внутренне бесконечной речи» со всевозможными самооправдательными «оглядками» и «лазейками». Для Набокова, считавшего, что «мы не постоянно мыслим словами — мы также мыслим образами»[1], установка на самодостаточное, диалогически обращенное, «открытое» слово персонажа, которое не подчинено авторскому поэтическому видению, была эстетически неприемлемой, и в «Соглядатае» он вступил с ней в борьбу — причем, как это было ему свойственно, в борьбу на чужом поле. Подобно своим антагонистам — Леониду Андрееву, Савинкову, Эренбургу,

[1] Vladimir Nabokov. Lectures on Literature / Ed. by Fredson Bowers. N. Y., 1980. P. 363.

Соболю и прочим авторам всевозможных «Записок» и «Исповедей», он отталкивается от Достоевского, но перенимает у него не стиль, не способы построения характеров и сюжета, не идеи, а отдельные образы, приемы и мотивы, которые пригодны для развития в рамках принципиально иной поэтической системы.

На прямую связь «Соглядатая» с Достоевским сразу же указывает фамилия его главного героя, заимствованная у второстепенного персонажа «Братьев Карамазовых», мальчика-левши Смурова, одного из школьников в главах о смерти Илюши Снегирева. Как и у подпольного парадоксалиста Достоевского, его определяющая психологическая характеристика — это предельно обостренное (словами «Записок из подполья», «усиленное») самосознание, не позволяющее ему «существовать машинально». Он признается, что постоянно, даже во сне, наблюдает за собой и потому завидует «всем тем простым людям — чиновникам, революционерам, лавочникам, — которые уверенно и сосредоточенно делают свое маленькое дело». Как показал Джулиан Коннолли, эти слова Смурова прямо перекликаются с язвительными инвективами подпольного человека по адресу «непосредственных людей и деятелей», которым он якобы «до крайней желчи завидует». Весьма убедительным представляется и проведенное тем же исследователем сопоставление «Соглядатая» с «Двойником» — ведь, по сути дела, «второй Смуров», за которым с удовольствием и интересом некоторое время наблюдает рассказчик повести, подобно «младшему Голядкину», есть двойник героя, проекция, порожденная его унижением и чувством стыда[1]. Когда герой «Соглядатая», избитый до полусмерти ревнивым мужем его любовницы на глазах у двух мальчишек-учеников, на мгновение видит себя в зеркале, он сам распознает в себе унизительное сходство с героями Гоголя и Достоевского: «Пошлый, несчастный, дрожащий маленький человек в котелке стоял посреди комнаты, почему-то потирая руки». Голядкин, судорожно потирающий руки[2], подпольный человек в борделе, случайно

---

[1] См.: Julian W. Connolly. Nabokov's Early Fiction: Patterns of Self and Others. Cambridge, 1992. P. 102–104.

[2] На то, что потирание рук — характерный жест героя «Двойника», указала К. Басилашвили в статье «Роман Набокова “Соглядатай”» (см.: В. В. Набоков: Pro et contra. С. 814). Добавим, что Достоевский, в свою очередь, позаимствовал его из сцены «Мертвых душ» Гоголя, где Чичиков открывает свою заветную шкатулку: «...перед шкатулкой потер руки с таким же удовольствием, с каким потирает их выехавший на следствие неподкупный земский суд, подходящий к закуске...»

заглядывающий в зеркало и с отвращением взирающий на свое «бледное, злое, подлое» лицо[1], Чарли Чаплин, кривляющийся в нелепом котелке, несчастные «маленькие люди» русской прозы — все эти ассоциации так сильно ранят уязвленное самолюбие Смурова, что он стреляет себе в грудь.

Самоубийство, описанное самим самоубийцей, — своего рода нарративный парадокс, — снова уводит к Достоевскому, на этот раз к его новелле «Сон смешного человека», в которой герой-рассказчик, убив себя выстрелом в сердце (правда, во сне, а не наяву), продолжает существовать в ином измерении. Как и в случае с «Записками из подполья», подтекст вводится прямой перекличкой мотивов: перед самоубийством Смуров — подобно «смешному человеку», убежденному в том, что «весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас как призрак... и упразднится», и потому готовому на любую «бесчеловечную подлость», — ощущает «невероятную свободу» от правил, законов и приличий, «ибо вместе с человеком истребляется и весь мир». Создается впечатление, что Набоков намеренно начинает там, где Достоевский, создав интереснейшую психологическую и повествовательную ситуацию, соскальзывает в философскую аллегорию о невинности, грехопадении и искуплении. Если точка зрения «мертвого самоубийцы» у Достоевского есть лишь условность, повод для того, чтобы возвестить «вечную Истину» христианской любви, то у Набокова она подается как «истинное» смещение позиции повествователя, меняющее его восприятие себя и мира.

Поскольку Смуров до поры до времени осознает собственную физическую смерть как реальность и полагает, что действительность, «выросшая вокруг него» после выстрела, порождена его мыслью и воображением, освобожденными от тела, и полностью послушна его воле, он обретает уникальную возможность избавиться от своего «мучительного прошлого» — от унизительного образа «пошлого маленького человека» и пересоздать себя заново. Его сознание с удовольствием наблюдает за тем, как облекаются плотью его новые проекции, он примеряет к себе разные, льстящие ему личины. Эта игра в «новых Смуровых» превращает его в некоторое подобие художника, силою воображения творящего «из ничего» вторую реальность, — но только в подобие, ибо он имеет дело не со словом, не с красками, не со звуками, даже не с «шахматными силами» Лужина, а с жизнью, которая, как он сам прекрасно понимает, преисполнена случайностей, непредсказуема и «ветвиста».

---

[1] Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. 5. Л., 1973. С. 151.

Непредсказуемость жизни напоминает рассказчику о себе, когда он начинает вглядываться в «зеркала» чужих сознаний, чтобы понять, насколько адекватно отражаются в них творимые им образы Смурова. Любопытно, что ту же метафору использовал М. Бахтин в своей книге о Достоевском, говоря о рассказчике «Записок из подполья». Согласно Бахтину, герой Достоевского «прислушивается к каждому чужому слову о себе, смотрится как бы во все зеркала чужих сознаний, знает все возможные преломления в них своего образа», но поскольку он их сознает, то «может выйти за их пределы и сделать их неадекватными» — последнее слово остается за ним[1]. С точки зрения Набокова, эта модная ныне мысль есть не что иное, как гносеологический абсурд, ибо никому не дано знать *все* преломления своего образа в чужих сознаниях, а последнее слово принадлежит творцу и творению, но не твари. Словно опровергая Достоевского (или, вернее, его интерпретатора), рассказчик «Соглядатая» довольно быстро обнаруживает, что образ Смурова, сложившийся у большинства его новых знакомых, совершенно не соответствует его ожиданиям. За исключением двух недалеких и плохо знающих героя женщин, все они дают ему свои собственные, «окрашенные в цвета их душ», определения, которые он не в силах ни предугадать, ни опровергнуть.

Уничижительные образы Смурова, неожиданно возникающие в зеркалах чужих сознаний, лишают всякого смысла его «жизне-

---

[1] М. М. Бахтин. Проблемы творчества Достоевского. Л., 1929. С. 62–63. Я цитирую первое издание книги Бахтина, так как в принципе оно могло быть знакомо Набокову, хотя у нас нет никаких данных, которые могли бы это подтвердить. Весьма вероятно, однако, что мимо его внимания не прошла рецензия П. Бицилли на «Проблемы творчества Достоевского» в «Современных записках». Излагая основные положения Бахтина, Бицилли заметил, что он видит в Достоевском не идеолога, а художника особого типа, показывающего мир с точки зрения своих героев — не объектов авторского восприятия, но «субъектов — в полном смысле этого слова». «У Достоевского, — пишет, в частности, Бицилли, — никогда не звучит *один только* голос, даже в его многочисленных монологах и исповедях. Когда “человек из Подполья” или муж “Кроткой” говорят сами с собою, мы явственно слышим *два* голоса: говорящего и его воображаемого собеседника, — хотя бы это было другое “я”». См.: П. Бицилли. [Рец. на] М. М. Бахтин. Проблемы творчества Достоевского. Ленинград, 1929 // Современные записки. 1930. Кн. XLII. С. 538–540. В том же номере журнала напечатан фрагмент «Защиты Лужина», а также рецензия М. Цетлина на сборник «Возвращение Чорба» (с. 530–531), из чего следует, что Набоков по крайней мере держал его в руках.

творческую» игру и постепенно подрывают самую основу позиции рассказчика: раздвоение на соглядатайствующее «я» и мимикрирующую «личину». Жизнь — «тяжелая и нежная, возбуждающая волнение и муку, с ослепительными возможностями счастья, со слезами, с теплым ветром» — доказывает ему, что «она действительно существует». Сильное чувство, которое он испытывает к Ване, заставляет его отбросить «маску» и без всякой саморефлексии умолять ее о любви. К его полному отчаянию, однако, последнее и самое для него важное отражение Смурова в «чистом зеркале» Ваниной души оказывается окрашенным не любовью, а жалостью и снисходительной симпатией. «И вообще вы такой смешной и милый», — говорит она герою, пытаясь прекратить неловкую сцену.

В этих словах не очень умной Вани, как кажется, содержится ключ к разгадке «тайны» Смурова, которая до самого конца остается ему неведомой. Он действительно «смешной человек», но не в переносном смысле, как герой Достоевского (на которого Набоков, конечно же, намекает), а в самом прямом — милый комический персонаж, которому суждено вечно попадать впросак. Изъян смуровского «жизнетворчества» как раз и состоит в том, что он путает жанры и амплуа. Пытаясь сделать из себя героя мелодрамы, трагедии, авантюры, он не замечает, что жизнь уготовила ему (как и всякому «жизнетворцу», пытающемуся навязать ей свою волю) роль клоуна.

Не случайно в самом начале «Соглядатая» Смуров читает своим ученикам довольно грубый фарс Чехова «Роман с контрабасом» о музыканте Смычкове (обратим внимание на совпадение первых двух букв в обеих фамилиях), на которого по воле автора обрушиваются смешные несчастья. На протяжении всего действия «Соглядатая» герой постоянно попадает в сходные нелепые ситуации, словно взятые напрокат из репертуара театральной комедии и юмористического рассказа. На истинную роль Смурова ему прямо намекает его сон (а сны у Набокова, как у Пушкина, Достоевского и Толстого, почти всегда вещие), который пронизан мотивами из «Романа с контрабасом» и прозы Гоголя, а завершается реминисценцией издевательского финала гоголевского «Носа»: «Да-да, — с угрозой в голосе тяжело говорит Хрущов, — в табакерке кое-что было, и потому она незаменима. В ней была Ваня, — да, да, это иногда бывает с девушками, — очень редкое явление, — но это бывает, это бывает...»[1]. Как и контрабасист

---

[1] Ср. у Гоголя: «А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают». Подтекст вводится упоминанием об опухшем *носе* Хрущова, а также образом табакерки, который в «Носе» (как и в других петербургских повестях Гоголя) играет весьма важную роль. С другой стороны, девушка, спрятанная

Смычков и майор Ковалев, Смуров, несмотря на все свои претензии, оказывается игрушкой «озорного рока», комической куклой в вертепе смеющегося автора, хотя, как говорил Набоков, «разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной»[1].

В знаменитой статье «О Сирине» Ходасевич вынес герою «Соглядатая» суровый приговор. Это «художественный шарлатан, — пишет он, — самозванец, человек бездарный, по существу чуждый творчеству, но пытающийся себя выдать за художника»[2]. Пожалуй, один из лучших читателей Набокова в данном случае чрезмерно упростил его замысел. В комических потугах Смурова, как кажется, есть и космическая сторона. Сама его попытка вырваться из «плена земного бытия», преодолеть инерцию, взглянуть на себя и мир с точки зрения «соглядатая» свидетельствует о некоторых художественных потенциях его не вполне заурядного сознания, и недаром Набоков вложил в его уста несколько своих излюбленных мыслей — о «ветвистости» жизни, о типологии бабочек, о превосходстве творческого сна над явью. Когда в финале повести отвергнутый и униженный жизнью рассказчик гордо заявляет о своем счастье, то это счастье художника, а отнюдь не самозванца: «И все же я счастлив. Да, я счастлив. Я клянусь, клянусь, что счастлив. Я понял, что единственное счастье в этом мире — это наблюдать, соглядатайствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, — не делать никаких выводов, — просто глазеть»[3]. Поэтому-то в предисловии к английскому переводу «Соглядатая», получившему заглавие «The Eye» («Глаз»), Набоков заметил: «Силы воображения, которые, в конечном счете, суть силы добра, твердо стоят на стороне Смурова...»[4] Тот литературный дар, который он в себе ощущает, отличает его от всех прочих,

---

в потерянной табакерке, — очевидная параллель к сюжету «Романа с контрабасом». Ср. также знаменитую сказку В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке».

[1] В. Набоков. Николай Гоголь // В. Набоков. Романы. Рассказы. Эссе. СПб., 1993. С. 339.

[2] В. Ходасевич. Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 462.

[3] Эта декларация прямо перекликается с концовкой раннего лирического рассказа Набокова «Письмо в Россию», где рассказчик, одинокий изгнанник, бесцельно фланирующий по берлинским улицам и глазеющий на прелестные мелочи городской жизни, восклицает: «Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое — вызов. Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль канала, — рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, — я с гордостью несу свое необъяснимое счастье» (см. том I наст. изд. С. 162).

[4] V. Nabokov. The Eye. N. Y., 1990. Без пагинации.

приземленных и незорких, персонажей повести, отчасти искупая его «пошловатость и подловатость».

Другое дело, что позиция невовлеченного наблюдателя, соглядатайство за миром и собой, по Набокову, — это необходимое, но еще недостаточное условие творчества. За соглядатайством должно последовать преображение накопленного материала, соединение отдельных частиц разъятого мира в новую гармонию. Вот на этот переход сознания к центральной стадии творения, когда «вся вселенная входит в тебя, а ты сам полностью растворяешься в окружающей вселенной»[1], Смуров, с его ограниченным воображением и неистребимой тягой к стереотипам, оказывается неспособным. Его дар не находит воплощения, и потому в последних словах своего рассказа он срывается в достоевскоподобный вопль: «...как мне крикнуть, что я счастлив, — так, чтобы вы все наконец поверили, жестокие, самодовольные...» Смуров кричит, ибо не умеет сказать, и тем самым опять — и навсегда — возвращается к амплуа «маленького смешного человека».

Было бы, однако, совершенно невероятно считать, что единственно возможным воплощением бессмертного творческого духа в земном бытии Набоков считал искусство и только искусство. Своим следующим романом — а он сначала так и назывался «Воплощение», потом был переименован в «Романтический век» и лишь по завершении работы над рукописью получил окончательное заглавие «Подвиг» — писатель словно бы предупреждает возможные обвинения в гиперэстетизме, делая его героем молодого человека, который наделен значительно более сильным воображением и тонким вкусом, чем Смуров, но при этом не имеет никаких художнических способностей и амбиций. Зерно центральной идеи «Подвига» содержится уже в «Соглядатае» — в том рассуждении Смурова о «ветвистости» жизни, где он бросает вызов детерминистскому пониманию истории:

К счастью, закона никакого нет — зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, — все зыбко, все от случая, и напрасно старался тот расхлябанный и брюзгливый буржуа, в клетчатых штанах времен Виктории, написавший темный труд «Капитал», — плод бессонницы и мигрени.

Мысль об истории как многовариантной игре случайностей, которая не поддается ни систематизации, ни прогнозированию, Набоков высказал еще раньше, в докладе, прочитанном в Берлине в 1927 году. «Рулетка истории не знает законов, — писал он. — Клио смеется над нашими клише, над тем, как мы смело, ловко

---

[1] См. об этом: В. Набоков. Искусство литературы и здравый смысл // Звезда. 1996. № 11. С. 70–71.

и безнаказанно говорим о влияньях, идеях, теченьях, периодах, эпохах, и выводим законы, и предугадываем грядущее»[1]. Если в истории «все от случая», то, как был убежден Набоков, всякие попытки дать сколько-нибудь адекватное определение своей эпохе, находясь внутри исторического «калейдоскопа», заранее обречены на провал. Ему были в равной степени чужды все самые влиятельные эсхатологические концепции кризиса или конца европейской культуры, захватившие умы в двадцатые годы, — марксистская идея загнивания капитализма и наступления новой коммунистической эры, шпенглерианство, предвещавшее неминуемый «закат Европы» и видевшее симптомы гибели в новомодных увлечениях спортом, джазом, танцами или в сексуальной распущенности, прорицания Бердяева о вступлении мира в эпоху «нового Средневековья» и т. п. «Не следует хаять наше время, — призывал Набоков. — Оно романтично в высшей степени, оно духовно прекрасно и физически удобно», а главное, в нем есть «привкус вечности, который был и будет во всяком веке»[2]. Именно этот тезис и лежит в основе «Подвига», где современный герой — спортсмен, путешественник, скалолаз, любитель танцев и кинематографа — своей жизнью (а может быть, и своей смертью) доказывает, что живет в «романтическом веке», имеющем сильный привкус вечности.

Рассуждения «о закате Европы, о послевоенной усталости, о нашем слишком трезвом, слишком практическом веке, о нашествии мертвых машин», а также о «какой-то дьявольской связи между фокстротом, небоскребами, дамскими модами и коктейлями» вложены в «Подвиге» в уста дяди героя, туповатого швейцарского буржуа, который не замечает, что его комфортабельное, безмятежное существование в сельской тиши — почти альпийская идиллия в духе XVIII столетия — выявляет абсурдность подобных обобщений. И напротив, сам герой, Мартын Эдельвейс, считает, что «лучшего времени, чем то, в которое он живет, прямо себе не представишь. ⟨...⟩ Все то, что искрилось в прежних веках, — страсть к исследованию неведомых земель, дерзкие опыты, подвиги любознательных людей, которые слепли или разлетались на мелкие части, героические заговоры, борьба одного против

---

[1] В. Набоков. On Generalities // Звезда. 1999. № 4. С. 13. Подробнее об этом докладе и о взглядах Набокова на историю см.: А. Долинин. Доклады Владимира Набокова в берлинском литературном кружке // Там же. С. 7–11; A. Dolinin. Clio Laughs Last: Nabokov's Answer to Historicism // Nabokov and His Fiction: New Perspectives / Ed. by Julian Connolly. Cambridge, 1999. P. 197–215. Ср. также мое выступление на вечере памяти Набокова (Набоковский вестник. Выпуск 1. СПб., 1998. С. 249–252.

[2] В. Набоков. On Generalities. С. 14.

многих, — все это проявлялось теперь с небывалой силой». Представления о сути героического деяния, выраженные в этой программной для Набокова декларации, носят отчетливо внеисторический характер. В понимании писателя и его героя, подвиг есть свободное волеизъявление личности, в котором воплощаются вечные, неизменные свойства человеческого духа — жажда познания, креативность, стремление утвердить и испытать себя «бездны мрачной на краю», страсть к преодолению и осуществлению; он не детерминирован историей, не подчинен диктату целесообразности и необходимости, а, наоборот, является тем непредсказуемым взрывом, который уничтожает мнимую историческую закономерность.

Эта набоковская неоромантическая концепция подвига как самоценного акта, лишенного какой-либо внеличностной мотивировки, конечно же, была полемически заострена против коммунистической проповеди героического служения делу революции, классу, партии и, в конечном счете, «матери-истории», дающей оправдание самопожертвованию. В поэме «Владимир Ильич Ленин» Маяковский объявил политическую деятельность любимого Ильича, «обданного силой и мыслями масс», героизмом нового типа — «чернорабочим, ежедневным подвигом», воплощавшим волю партии, которая, в свою очередь, воплощала в жизнь непререкаемый закон истории. Вся советская литература 1920-х годов, как язвительно писал Набоков в статье «Торжество добродетели», изображала «искание розы без шипов на торном пути от политического неведения к большевицкому откровению, и факел знания, и рыцарские приключения, где Красный Рыцарь разбивает один полчища врагов»[1]. В некотором смысле «Подвиг» можно рассматривать как ответ Набокова тем советским писателям, которые, монополизировав тему подвига, подставили на место бескорыстного и благородного рыцаря рабов ложной идеи исторической необходимости.

Нетрудно заметить, однако, что Набоков противопоставляет своего героя не только всевозможным большевистским Глебам и Мартынам, Морозкам и Левинсонам, но и сражающимся за правое дело врагам революции — «деятельным, почтенным, бескорыстно любящим родину русским людям». На периферии романа постоянно присутствуют действительно отважные борцы с большевизмом: известный общественный деятель Зиланов, «чудом спасшийся от советской смерти», его соратник и друг Иоголевич, перешедший границу в белом балахоне, легендарный Грузинов, «человек больших авантюр, террорист, заговорщик, руководитель недавних крестьянских восстаний». Упоминаются

---

[1] См. наст. изд., т. II. С. 685.

в «Подвиге» и некие тайные союзы, налаживающие на советской территории «операции разведочного свойства». За всеми этими вымышленными персонажами, партиями и организациями легко угадываются реальные лица и события 1920-х годов, составляющие исторический фон романа, — пресловутая «Операция Трест» и одна из ее жертв, Б. В. Савинков, легендарный террорист В. М. Зензинов, группы отчаянных молодых ребят, совершавших диверсии в СССР и расстрелянных или убитых в 1927 году, погибшая в перестрелке героиня антибольшевистского движения М. В. Захарченко-Шульц, многократно переходившая советскую границу. Мартын в «Подвиге» относится к смелым людям дела, борцам-общественникам, с огромным уважением, но присоединиться к ним не хочет и не может, ибо ему претит шаблонность их мысли, узость взглядов, невнимательность к вещам и конкретным человеческим индивидуальностям. Желая воздействовать на историю, они признают в ней верховного арбитра и ради нее собою жертвуют; Мартын же ищет совсем другого — преодоления истории и выхода в вечность.

Рассказывая в письме к Глебу Струве о своей работе над «Подвигом», Набоков заявил, что, по его замыслу, это должен быть «грандиозный по своим размерам и оптимизму роман ⟨...⟩ Он протекает в России, Греции, Швейцарии, Англии, Франции и Германии, не говоря уже о Терра Инкогнита, и его герой — дитя не капитана Гранта, а Эмми Грант (ничего не имею против каламбура, когда он хорош)»[1]. Если оставить на совести Набокова не самый удачный каламбур, слова писателя, как кажется, приоткрывают главные установки его замысла. В «Подвиге» он впервые делает местом действия чуть ли не все географическое пространство Европы, ведя своего героя — молодого русского эмигранта с швейцарскими корнями — по множеству дорог, сухопутных и морских, дольних и горных, из города в город, из страны в страну. В этом смысле сравнение «Подвига» с «Детьми капитана Гранта» оказывается не только шуткой, ибо он построен как роман путешествия и приключения, где определяющую роль играет движение, перемещение в открытом, многообразном пространстве.

На самом поверхностном уровне странствия Мартына образуют простой линейный сюжет, согласованный с основными стадиями его очень короткой и небогатой событиями жизни. Маршрут героя отчасти повторяет тот путь, который проделал сам Набоков в молодые годы, и целый ряд эпизодов «Подвига» имеет автобиографический характер. Как и в случае «Машеньки»,

---

[1] В. Набоков. Письмо Г. П. Струве. 12 сентября 1930 // Hoover Institution Archives. Box 108, folder 17.

современный читатель романа имеет возможность в этом убедиться, обратившись к набоковской автобиографии «Другие берега», где он найдет те же воспоминания о детских поездках в Биарриц, те же крымские «кремнистые тропы», тот же Кембриджский университет с игрой в футбол и занятиями русской словесностью[1]. Хотя у первых читателей романа таких возможностей не было, но и они могли узнать в нем Крым, Грецию и Прованс ранних набоковских стихов и Кембридж «Университетской поэмы».

В отличие от «Машеньки», однако, откровенная автобиографичность «Подвига» обманчива, так как Набоков не просто передает Мартыну собственные впечатления, но преобразует их, подчиняя внутренней логике становления характера героя. За внешне беспорядочными, связанными лишь простой хронологией передвижениями Мартына писатель выстраивает целостный сюжет воспитания, наполнения и роста его сознания. Духовный путь героя ведет его к все более и более глубокому осмыслению своей судьбы «изгнанника, обреченного жить вне родного дома», и своего отношения к этому родному дому — к России. Перед ним постепенно раскрывается двоякое значение изгнания: говоря словами стихотворения Набокова «Путь», он научается ценить «великий выход на чужбину» как «божественный дар», как «блаженство духовного одиночества» и свободы, и в то же время благодаря ему начинает ощущать свое «русское нутро» — свою кровную связь с русской культурой и долг перед ней. Когда Мартын в университете из всех заманчивых наук выбирает себе русскую историю и филологию, он чувствует, что «выбор его несвободен» и что этим «он заниматься обязан». Иными словами, у эмиграции есть миссия — спасти и сохранить русскую культуру, доказать, что она нетленна и продолжает жить в умах, делах и памяти «избранников», несмотря на то что страна, ее породившая, превратилась в жуткую «Зоорландию». Поняв это, Мартын восстает против идей своего первого учителя, «сексуального левши» Муна, утверждающего, что «Россия завершена и неповторима, — что ее можно взять, как прекрасную амфору, и поставить под стекло». Он чувствует в них «нечто для себя оскорбительное», ибо в себе и своих друзьях он видит не посетителей музея, а наследников и продолжателей, в ком длится жизнь «русского духа».

Осознание своего предназначения, «удивительное ощущение избранности» придают смысл и связность путешествиям Мар-

---

[1] Важнейшие параллели между «Подвигом» и автобиографическими книгами Набокова выявлены в содержательных комментариях Л. Трубецкой к французскому переводу романа: V. Nabokov. Oeuvres romanesque complète / Bibliothèque de la Pléiade. P., 1999. Vol. 1. P. 1542–1581.

тына, превращая их в единый, непрерывный, героический путь, имеющий некую трансцендентную цель, — путь, по которому он должен пройти, чтобы воплотить данную ему свыше творческую силу. О том, что он находится на правильном пути, свидетельствует замеченная им самим уникальная особенность его грез: «оседать и переходить в действительность... одеваться плотью». При этом важно, что и мечты Мартына, и их осуществления не имеют ничего общего с романтически-символистской театрализацией жизни, с навязыванием ей собственных сценариев. Не думая об эффектах, не требуя наград и аплодисментов, герой «Подвига» упорно ищет — в природе, в культуре, в труде, в любви, в спорте, в разнообразных проверках своей смелости — такой самореализации, которая подтверждала бы присутствие в бытии «привкуса вечности».

Как уже было несколько раз замечено ранее, само заглавие романа не следует понимать только как «героическое деяние», ибо оно актуализирует еще и архаическое значение слова «подвиг», зафиксированное в словаре Даля: путь, путешествие, движение[1]. В этой двузначности — ключ к главной концепции романа, ибо для Набокова подвигом Мартына является весь его жизненный путь, а не только «опасная экспедиция» в Советскую Россию; иначе говоря, путь героя уже есть подвиг, а подвиг и есть путь. Подобное отождествление подвига и пути восходит к мифопоэтическим и религиозным моделям мира, в которых, по замечанию В. Н. Топорова, путь всегда труден: «Трудность пути — постоянное и неотъемлемое свойство; *двигаться* по пути, преодолевать его уже есть подвиг, подвижничество со стороны идущего *подвижника*, путника»[2]. В романе Набокова его герой-странник тоже постоянно преодолевает трудности и опасности, чувствуя «кознодейство неких сил, упорно старающихся ему доказать, что жизнь вовсе не такая легкая, счастливая штука, какой он ее мнит». Ему приходится отбиваться от врагов, будь то пьяный человек с револьвером, встреченный им «на повороте узкой кремнистой дороги», профессор Мун, форварды противоположной команды или Дарвин в боксерском поединке; его мучает несчастная любовь к Соне и новый брак матери; он играет со смертью, когда по каменистому карнизу лезет на отвесную скалу над чудовищным

---

[1] См.: Н. Букс. Эшафот в хрустальном дворце. М., 1988. С. 59; Г. Утгоф. Мотив «пути» в романе Владимира Набокова «Подвиг» // Русская литература первой трети XX века в контексте мировой культуры. Екатеринбург, 1998. С. 219–224; A. Dolinin. Clio Laughs Last: Nabokov's Answer to Historicism. P. 207.

[2] В. Н. Топоров. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 259.

обрывом. Собираясь в Россию, он сознательно отказывается от открытого для него *легкого* пути — у него есть швейцарский паспорт, и он может, как говорит ему здравомыслящий Дарвин, «взять визу и переехать границу в поезде», — а выбирает нелегальный переход границы, грозящий ему поимкой и расстрелом.

Пространственным образом трудного и, следовательно, *истинного* пути-подвига в романе является тропа[1], главные признаки которой — извилистость, неровность (она пересечена корнями деревьев или камениста), узость и таинственность — противопоставляют ее всевозможным прямым, ровным, широким дорогам, символизирующим общий, предопределенный путь здравого смысла (например, «гладкой мощеной дороге», на которую встал друг-антагонист Мартына Дарвин, предавший свой талант). В первый раз таинственная витая тропинка соблазняет маленького Мартына с акварельной картины, висящей у него над кроватью, и он мечтает перебраться в эту картину, как мальчик в сказке Андерсена, и побежать в лес:

Вспоминая в юности то время, он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь. Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излуки тропинки, пересеченные там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей.

Начало истинного, трудного пути Набоков приравнивает к переходу в иное измерение, к побегу из пределов пространства и времени в другой мир, открывающийся воображению через искусство и, шире, культуру (в связи с этим уместно вспомнить, что Мартын, лишенный творческого дара, представлен в романе как идеальный читатель). Воображаемая лесная тропа трансформируется в реальные альпийские тропинки, по которым герой романа бродит в Швейцарии, воскрешая в памяти русские пейзажи; «тропинка, по которой бежишь, бежишь» видится Мартыну на грани яви и сна, когда «душа соскальзывает в забытье»; он постоянно сталкивается со всевозможными подобиями этого первообраза — от узкой излучистой реки Кем, своего рода движущейся дороги, или узкой каменной полки, поворачивающей за скалу, до всегда

[1] Тема пути и образ тропы в «Подвиге» восходят к стихотворению Набокова «Путь» (1925). Ср.: «За поворотом, ненароком, / пускай найду когда-нибудь / наклонный свет в лесу глубоком, / где корни переходят путь, — / то теневое сочетанье / листвы, тропинки и корней, / что носит — для души — названье / России, родины моей».

виляющей походки змееподобной Сони Зилановой, девушки, ради которой он отправляется в путь-подвиг. Наконец, в момент эпифании, Мартын снова воображает себя на разматывающейся (как нить Парки) лесной тропинке и внезапно осознает, что вся его жизнь до сей поры была комфортабельным путешествием на поезде-экспрессе, с которого он теперь должен сойти, чтобы, вернувшись к началу пешей тропы, свободно принять свою судьбу: «“А потом пешочком, пешочком”, — взволнованно проговорил Мартын, — лес и вьющаяся в нем тропинка... какие большие деревья!»

Поскольку начало и конец жизненного странствия Мартына находятся в одной точке пространства, в России, его путь приобретает круговой характер. На это указывают, в первую очередь, повторяющиеся образы из прошлого героя, которые, как в заключительной части «Защиты Лужина», начинают все чаще и чаще вторгаться в повествование после того момента, когда Мартын принимает окончательное решение «сойти с поезда». В большинстве своем они подаются как ассоциации героя, вызванные взглядом на какой-то памятный предмет или встречей со старым знакомцем. Так, черная статуэтка футболиста напоминает ему о коротком романе с Аллой Черносвитовой в Греции, а русские дети в берлинском автобусе — детские поездки за границу; с Соней он вспоминает Лондон, с художником Борщевским — Крым, с неожиданно приехавшим в Берлин Дарвином — кембриджские проказы. Однако наиболее важные, таинственные повторения ускользают из поля зрения героя. Он не замечает, например, что сцена на ночной французской станции — носильщик, везущий на тачке ящик с надписью «Fragile» для местного музея (здесь очевидна перекличка с образом России как музейного экспоната), газовый фонарь, вокруг которого мечется мошкара и одна широкая, темная бабочка, — точно, до малейших подробностей, воспроизводит сцену, когда-то увиденную им в детстве из окна поезда. Ему кажутся смутно знакомыми слова Грузинова: «Я... мороженого никогда не ем», но он так и не может определить, что они, вкупе с фамилией легендарного террориста, который фактически предсказал ему гибель при переходе советской границы, отсылают к его давнему сну, где его крымская подруга Лида говорила ему, «почесывая ногу... что грузины не едят мороженого». Не вспоминает он этот странный сон — а он связан со смертью отца Мартына, который словно бы ниспосылает его сыну из загробного мира, — и тогда, когда Соня в эпизоде прощания с героем повторяет жест Лиды, почесывая голень сквозь шелк.

Все эти повторы, так же как и многочисленные роковые знаки и предзнаменования в последних главах романа, указывают на то,

что его герой приближается к конечной цели своего жизненного странствия — к «главному силовому полю пространства», где его ждет переход в потусторонность, смерть и возможное воскресение, обретение бессмертия. Мартын отдает себе полный отчет в том, что его опасная «экспедиция» в Россию грозит ему физической гибелью. В его воображении возникают картины погони в лесу, выстрелов, расстрела, подобного крестной муке; всеведущий Грузинов в разговоре с ним пугает его своими намеками на «страшные совпадения». И все же, преодолевая страх смерти, герой пускается в путь и исчезает где-то на латвийско-советской границе, близ городов с жуткими названиями Режице и Пыталово. Сам конец пути-подвига Набоков оставляет воображению читателей, подчеркивая тем самым, что он находится за пределами исторической «реальности», — истинное значение имеет героический, жертвенный уход Мартына из нее, а не кровавая хроника темной «зоорландской ночи».

В отчаянном поступке героя «Подвига» сходятся воедино и получают завершение основные темы его судьбы — самоосуществление, рыцарское служение России и приобщение к культуре. Он сам смутно чувствует, что его экспедиция, его любовь к Соне и строка из пушкинской «Осени»: «Унылая пора! очей очарованье!», которую он твердит наизусть, связаны между собой чем-то сокровенным и заповедным. Как показал В. Н. Топоров, в мифопоэтической картине мира путь-подвиг героя имеет три варианта: по горизонтали он всегда ведет к «чаемому центру», где приобретается высшее сакральное знание или волшебный предмет (например, живая вода, дающая вечную жизнь); по вертикали он может быть спуском в преисподнюю, в царство смерти, куда отправляются с тем, чтобы компенсировать какую-то недостачу (например, вернуть жизнь умершему), и — фигурально — путем вверх, на небо, совершаемым душой[1]. Уход Мартына, который даже подслеповатый политик Зиланов называет подвигом, как бы реализует все три мифопоэтические модели. Во-первых, он переходит запретную границу и возвращается к своим корням (как в прямом, так и в переносном смысле), чтобы испытать там то, что Набоков называл «космической синхронизацией», — момент предельного расширения сознания и его слияния с универсумом во всей его полноте, вне ограничений времени и пространства. Согласно Набокову, это и есть высшая сакральная ценность бытия, обретение которой составляет смысл творчества и любви. Лишенный художественного дара и отвергнутый возлюбленной, Мартын находит собственный способ трансценденции в отчаянно смелом

[1] См.: В. Н.Топоров. Пространство и текст. С. 260–261.

волевом акте, в готовности пожертвовать собой ради осуществления сокровенной мечты каждого эмигранта о возвращении на родину[1]. В этом смысле подвиг Мартына, как справедливо заметил Ю. И. Левин, представляет собой «своеобразный творческий акт»[2], эквивалент художественного воплощения творческого замысла.

Во-вторых, «экспедиция» героя может быть приравнена к спуску в царство смерти, ибо он знает, что идет не в Россию своей памяти, а в похитившую ее душу адскую Зоорландию, «где в сумраке мучат толстых детей и пахнет гарью и тленом». Входя туда «вольным странником» и подставляя себя под пули, он хочет доказать — пусть ценою собственной жизни, — что свободный «русский дух», воплощенный для него в бессмертных строках пушкинской «Осени» с ее открытым финалом, более реален, чем замкнутый перевернутый мир, «куда вход простым смертным запрещен».

В газетной статье, посвященной памяти М. В. Захарченко-Шульц, известный эмигрантский публицист Н. Цуриков писал, что «внутренний смысл» ее «добровольных и смертельно опасных переходов через советскую границу» заключался в том, чтобы разрушить легенду о всесильности зла своим «выходящим из пределов нашего сознания безмерным подвигом». «Для человека, решившегося на подвиг, — по его словам, — *нет невозможного*», и героиня-террористка смогла «показать запуганному русскому народу, что подвиг сильнее их, что подвига соперников *нет*»[3]. По своему внутреннему смыслу самоубийственный шаг набоковского героя подпадает под определения Цурикова, но с той существенной разницей, что он полностью очищен от политических мотивировок, от пафоса вооруженной борьбы и обращен не к «запуганному народу» и, следовательно, не к истории, а к памяти

---

[1] Писатель Иван Лукаш, друг Набокова, который совершил поездку по русско-эстонской границе, так описал чувства, испытанные им от взгляда на запретную территорию: «...чудится, что тут небо иное и воздух иной — бодрый, с холодком, русский воздух, когда хочешь не то петь, не то кричать, под тряску телеги, бессвязные речи придорожному валуну, жаворонку, засиявшему над стриженой полосой, облаку над холмом, и журавлю колодца, что уже замаячил» (И. Лукаш. Изборская земля // Возрождение. 21 ноября 1929). Герой «Подвига» хочет испытать подобный же восторг, но только не в воображении, а наяву.

[2] Ю. И. Левин. Биспациальность как инвариант поэтического мира В. Набокова // Russian Literature. XXVIII (1990). P. 60.

[3] Н. Цуриков. За Россию. Мария Владиславовна Захарченко-Шульц // Россия. 12 ноября 1927.

культуры, то есть к вечности. Если поэт, как верили Гораций или Пушкин, переживает прах в своих творениях, то истинный герой, по Набокову, обретает бессмертие, только воплощая «вечные» архетипы и переходя в те творения, которые его славят. Восхождение Мартына к такому эстетическому бессмертию начинается еще до его «исчезновения», когда писатель Бубнов берет у него для своих рассказов сначала идею Зоорландии, а потом «бледно-серый, в розовую полоску галстук». Не случайно последнее, что роман сообщает нам о жизни Мартына, связано с его отражением в литературе: в Риге он читает превосходную бубновскую новеллу, где обнаруживает героя-немца в «украденном» у него галстуке. Собственно говоря, бесследное исчезновение героя из «реальности» романа свидетельствует о том, что он целиком растворился во «второй реальности» искусства, или, используя центральный образ «Подвига», вошел в картину, которой и является сам набоковский текст о его пути-подвиге.

Ориентируя свой роман на мифопоэтические модели, Набоков, безусловно, отталкивался от приемов мифологизации текста, разработанных литературой европейского модернизма в 1920-е годы. В «Подвиге», так же как, скажем, в «Улиссе» Джойса или «Опустошенной земле» Т. С. Элиота, сквозь современный, бытовой план просвечивают его вековые прототипы, но, в отличие от своих предшественников, Набоков не пытается жестко привязать сюжет к какому-то одному мифу. Вместо этого он использует принцип множественного тематического параллелизма, когда повествование отсылает нас к целому ряду мифологических и литературных претекстов, которые связаны с ним (и между собой) общей темой. Поскольку центральная тема «Подвига» — это тема пути, в нем явственно слышатся отголоски античного эпоса («Одиссея» и «Энеида»), «Божественной комедии» Данте, легенд о рыцарях короля Артура и прочих прославленных литературно-мифологических странствий. Однако наиболее существенны для романа русские тематические аналоги: прежде всего фольклор (волшебные сказки, былины, духовные стихи) и его отражения в поэзии Пушкина («Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Няне»)[1], а также лирика и биографические легенды Лермонтова, Баратынского, Блока, Гумилева, в которых определяющую роль играет тема жертвенного, мученического пути поэта. Странствия Мартына уподобляют-

[1] В неопубликованном докладе о Пушкине, написанном, по-видимому, в конце 1920-х гг., Набоков особо отметил присущее ему «чувство сказочности, чувство русских чудес», которое сильнее всего выражено в прологе к «Руслану и Людмиле».

ся то трудам мифологического Индрика, выводящего источники из-под земли, то подвигам Егория (в духовных стихах сына Софии-премудрой), отправившегося освобождать святую Русь от злого «царищи Демьянища», то добыванию героем волшебной сказки живой воды или молодильных яблок, то осеннему путешествию на Север пушкинского Руслана, ведущему его к смерти-воскресению, то кремнистому/каменистому пути Лермонтова—Блока—Мандельштама, то африканским экспедициям и расстрелу Гумилева. Важно, что все эти уподобления *однонаправленны* и все так или иначе намекают на то, что герою «Подвига» суждено бессмертие.

Заключительную сцену романа Набоков строит таким образом, что незримое присутствие Мартына, его тайные следы обнаруживаются буквально в каждой фразе. Обращаясь к своему умершему другу А. И. Одоевскому, Лермонтов в стихотворении его памяти писал:

Любил ты моря шум, молчанье синей степи —
И мрачных гор зубчатые хребты...
И вкруг твоей могилы неизвестной
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно.

В финале «Подвига» Набоков чудесно соединяет все, чему при жизни радовался его герой: дом матери, горы, туман, тропинка через еловый лес, верный друг Дарвин, каким он когда-то был в Кембридже, вплоть до его особых ботинок с узорчатыми подошвами. Оттепель, внезапно наступившая среди зимы, — своего рода беззаконие, нарушение природного детерминизма — напоминает о примете, связанной с Мартыновым днем; журчащая, чмокающая, повсюду бегущая вода — о счастливых трудах героя в идиллическом, райском Молиньяке и о том, что он ведет свое происхождение от сказочного Индрика, хозяина подземных вод; тусклый воздух (слова с этим корнем повторяются трижды) — о тусклых глазах Сони.

Кульминацией этой сцены является неожиданный перебив точки зрения в повествовании, когда, чуть ли не единственный раз в романе, мы видим то, чего не видит ни один из персонажей: «...калитка, которую Дарвин неплотно прикрыл, через некоторое время скрипнула от порыва влажного ветра и открылась, сильно качнувшись. Погодя на нее села синица, поговорила, поговорила, а потом перелетела на еловую ветку». Распахнутая дверь в образной системе Набокова почти всегда означает переход границы,

отделяющей земное от потустороннего, время от вечности[1], а ветер есть авторско-божественный атрибут, пневма творца. Похоже, всезнающий автор текста знает то, чего не могут знать ни Дарвин, ни мать героя (находящиеся в этот момент в доме — за закрытыми дверями); душа Мартына переживает его смерть и, как в народных поверьях, возвращается к родительскому дому в виде тумана, дождя или поющей птицы. О незримом возвращении, по-видимому, говорит (заметим сам выбор глагола!) и синица — птичка, словно влетевшая в роман из «Руслана и Людмилы» и той народной песни, которую Пушкин просил спеть свою няню. Согласно современной интерпретации, синица в русском фольклоре связана с миром невидимого, с царством мертвых. Она летает за море, то есть в потусторонний мир, и приносит оттуда ключи, чтобы отпереть весну и выпустить ее из-под земли[2]. Набоков, как кажется, вкладывает в финальную сцену подобный же смысл: его синица если и не душа Мартына, то вестница из вечности, возвещающая смерть героя как второе рождение. Герой не может умереть весь, ибо пройденный им путь-подвиг бессмертен, и потому последняя фраза романа возвращает нас на заповедную, никогда не кончающуюся тропу Мартына: «Воздух был тусклый, через тропу местами пролегали корни, черная хвоя иногда задевала за плечо, темная тропа вилась между стволов, живописно и таинственно».

Завершив «Подвиг», Набоков, вероятно, почувствовал, — точно так же, как после «Машеньки», — что ему необходим отдых от русско-эмигрантских тем, от автобиографии, ибо почти сразу же начал писать второй роман из немецкой жизни, «Камера обскура». Резкий контраст с предшествующей книгой обнаруживал не только материал: если «Подвиг» был романом о духовной зрячести, то «Камера обскура» — роман о слепоте; если писатель замышлял «Подвиг» грандиозным по размеру и оптимизму, то «Камера обскура», как подсказывает само заглавие, — пожалуй, самый камерный и самый черный из набоковских романов; если

---

[1] Ср., например, важнейший эпизод встречи героя с умершим отцом в романе «Дар»: «Вдруг, за *вздрогнувшей* дверью (где-то далеко отворилась другая), послышалась знакомая поступь... дверь бесшумно, но со страшной силой открылась, и на пороге остановился отец».

[2] См.: М. Надель-Червинская, П. Червинский. Энциклопедический мир Владимира Даля. Книга первая: птицы. Т. 1. Ростов-на-Дону, 1996. С. 382. Образ поющей птицы, приветствующей смерть как пробуждение души, восходит также к предсмертным словам Сократа в диалоге Платона «Федон».

главная тема «Подвига» — героический путь в бессмертие, то главная тема «Камеры обскуры» — позорный путь в смерть.

Во многих отношениях «Камера обскура» напоминает «Короля, даму, валета» и даже содержит указание на свое родство с этим романом. Сразу же после того, как главный герой «Камеры обскуры», берлинский искусствовед Кречмар расстается с женой, он получает приглашение на бал (читай, конечно же: на бал Сатаны, на танец смерти) от Драйеров, персонажей «Короля, дамы, валета». Фабула обоих романов строится на сходных ситуациях и психологических мотивировках: вожделение, адюльтер, корысть, обман, убийство. Подобно «Королю, даме, валету», появляется в «Камере обскуре» и тайный агент автора, снова иностранец, на этот раз «молодой черноволосый француз с орлиным носом», некий Monsieur Martin, который носит имя героя «Подвига» (а также однажды упомянутого в том же романе француза со значимой фамилией Рок)[1].

«Камера обскура», однако, лишена той беззаботной, озорной игривости, с которой Набоков за три года до нее разложил свой хитрый карточный пасьянс. Нет в ней и такого героя, как Драйер, который бы весело любовался праздничным миром и «легко поднимался в упоительную область воображения». Все персонажи «Камеры обскуры» резко разделены на две группы: безвинных, страдающих жертв и жестокосердых негодяев. Между ними стоит лишь посторонний обеим писатель-прустианец Зегелькранц, пытающийся «воспроизводить жизнь с беспристрастной точностью», но не преображающий ее и потому как бы находящийся на полпути к эстетическому идеалу[2]. Дочь Кречмара Ирма, нежно любящая отца, ласковый ребенок, в которой чувствуется «особая ненавязчивая веселость», его жена Аннелиза, милая, чувствительная женщина с очаровательным «тихим смехом», ее брат Макс, деликатный, впечатлительный человек, «который краснеет от

---

[1] Характерно, что он единственный персонаж романа, чье имя дано в иноязычном написании; по-французски, без перевода, приводится в тексте и его реплика — типичный для Набокова способ маскировки авторского присутствия. В его пристрастии к названиям птиц можно увидеть намек на птичий псевдоним Сирин, который любители анаграмм с легкостью извлекут из латинских букв, составляющих имя *Monsieur Martin* и ключевое слово тирады: *pinse-sans-rire* (*букв.*: тот, кто шутит, сохраняя при этом серьезный вид).

[2] О Зегелькранце как лжехудожнике, которому недостает ни вкуса, ни таланта и нравственности, чтобы подняться над «камерой-обскурой», интересно пишет Адам Вайнер. См.: A. Weiner. By Authors Possessed. The Demonic Novel in Russia. Evanston, Illinois, 1998. P. 211–212.

одной неловкости» и тайком сочиняет стихи, — все трое, как пишет Набоков, «принадлежат точно другой эпохе, мирной и светлой, как пейзажи ранних итальянцев». Увлекшись непотребной шестнадцатилетней девкой Магдой, сначала натурщицей, а потом бесталанной киноактриской, главный герой «Камеры обскуры» грубо разрушает этот старосветский мир и покидает его ради омерзительно пошлого модного круга, где правят бал возлюбленная Кречмара, ее тайный любовник Горн, блестящий, но бездушный и поверхностный график, кинематографическая дива Дорианна Каренина, которая никогда не читала Толстого и не знает, откуда у нее псевдоним, и прочая артистическая нечисть. Глубину падения героя подчеркивает центральное событие романа — смерть его дочери Ирмы, в которой он, сам того не зная, повинен. Кречмар даже не идет на ее похороны, оставшись с «другой девочкой, живой, стройной и распутной», и впоследствии ни разу не думает о дочери, когда, ослепнув, пытается представить себе «недавнюю очаровательную, мучительную, ярко-красочную жизнь». Если вспомнить, какую невыносимую, неотвязную боль вызывает смерть ребенка у других героев Набокова — Слепцова в рассказе «Рождество», Круга в романе «Под знаком незаконнорожденных», Шейда в «Бледном огне», полное бесчувствие Кречмара подразумевает недвусмысленную авторскую моральную оценку его характера — тот нравственный суд над виновным героем, на который Набоков, как обычно считается, не был способен.

В моральной проблематике «Камеры обскуры» многие исследователи заметили сильные переклички с Львом Толстым, которые, судя по всему, входили в замысел писателя. Каждый роман Набокова начала 1930-х годов, от «Соглядатая» до «Отчаяния», ориентирован на определенную влиятельную модель, заданную русской литературной традицией, причем речь здесь идет не о пародировании, а об особом явлении, которое можно назвать межтекстовой солидарностью. Набоков сознательно отталкивается от своих образцов — например, от Достоевского в «Соглядатае» или от сказочного топоса в «Подвиге», — ссылается на них, заимствует из них тему, образ или мотив, чтобы развить те потенциальные возможности, которые они предоставляют. Этот подход не исключает полемику, но она ведется Набоковым через обновление и трансформацию, а не через комический сдвиг системы. Именно так «Камера обскура» одновременно солидаризируется и полемизирует с Толстым.

Сигналом подключения к определенной традиции в «Камере обскуре», как и всегда у Набокова, служат имена персонажей, скрытые цитаты и реминисценции. Кроме уайльдо-толстовского

псевдонима безграмотной кинозвезды, обращает на себя внимание имя жены Кречмара: Аннелиза, которое образовано из первого слога фамилии и имени Лизы АННЕнской, жены Иртенева, героя повести Толстого «Дьявол». Совпадение имен здесь указывает на откровенное сходство характеров и ситуаций. Определяющие свойства Лизы в «Дьяволе» — «пропасть вкуса, такта и, главное, тишины»; любовь к мужу дает ей «ясновидение его души». Аннелиза в «Камере обскуре» — «ласкова, послушна, тиха»; она беззаветно любит мужа, а после его измены у нее развивается «прямо какая-то телепатическая впечатлительность», граничащая с истинным ясновидением. Как показал американский исследователь Дж. М. Хайд, сам сюжет «Камеры обскуры» перекликается с сюжетом «Дьявола»[1]: в обоих произведениях герой, испытывая вялую нежность к «тихой», кроткой, доверчивой жене, не может преодолеть, говоря словами Толстого, «страстную похоть» к низкой соблазнительнице; безумное вожделение разрушает его личность и приводит к гибели. Вслед за Толстым, Набоков ассоциирует губительную, «слепую» страсть с демоническим началом, окрашивая ее в красный цвет. Иртенев в «Дьяволе» не может оторвать глаз от «красной паневы [крестьянки Степаниды], высоко подоткнутой над ее белыми икрами» и от ее красного платка; Магда является к Кречмару домой в «коротком ярко-красном платьице», и потом он принимает красную шелковую подушку за уголок этого платья; когда таксомотор с Кречмаром и Магдой проезжает мимо Аннелизы с братом, он на повороте показывает им «красный язык» — то есть язык торжествующего дьявола (или «Дьявола»).

Есть в «Камере обскуре» и еще более прямые реминисценции «Анны Карениной». Если в начале романа семьянин Кречмар, так сказать, играет роль Левина, то затем, минуя роль счастливого любовника Вронского, он сразу превращается в подобие Каренина. В сцене окончательного совращения Кречмара, когда Магда предлагает его «утешить», он вдруг делает любимый жест Алексея Александровича, который, как известно, имел дурную привычку трещать суставами пальцев:

---

[1] См.: G. M. Hyde. Vladimir Nabokov: America's Russian Novelist. L., 1977. P. 57–68. В связи с «Дьяволом», который, как известно, имеет два финала (в одном герой убивает себя, а в другом любовницу), следует отметить, что Набоков, как и Толстой, колебался между двумя альтернативными финалами «Камеры обскуры». В Библиотеке Конгресса США сохранился черновик последней сцены романа, в которой Кречмару удается убить Магду, и в этот момент перед его глазами проходит радужное пятно.

[Кречмар] сел поодаль на стул и принялся трещать суставами пальцев.

«Перестань», — сказала Магда, не поднимая головы...

Сами того не зная, герои травестируют решающий разговор Каренина и Анны, которая лжет мужу:

Алексей Александрович вздрогнул и загнул руки, чтобы трещать ими.

— Ах, пожалуйста, не трещи, я так не люблю, — сказала она.

Каренинский мотив снова возникает в предпоследней главе романа, где униженный и обманутый Кречмар, как страдающий Алексей Александрович с его «пеле... педе... пелестрадал», не может выговорить слово: «...пускай она ко мне приблизи, прибли, бли, приблитиблися...» Наконец, прозрение Кречмара в момент смерти, когда он уходит в небытие как в «синюю волну», понимая вдруг то, что было скрыто для него при жизни («надо все-таки встать, идти, я же все вижу, — что такое слепота? отчего я раньше не знал...»), перекликается с изображением самоубийства Анны Карениной, которое у Толстого содержит те же мотивы — вхождение в воду, разрыв мрака, желание встать и последняя, ярчайшая вспышка света, освещающего «все то, что прежде было во мраке».

Семейно-любовные коллизии Толстого, его строгий, зоркий взгляд на человеческие заблуждения и слабости, ненависть ко всякого рода лицемерию и фальши, изобразительные приемы задают тон «Камере обскуре», где Набоков с толстовской жестокой прямотой воздает отмщение своим бесстыдным персонажам. Однако свой суд Набоков ведет с принципиально иных позиций и вступает в спор с Толстым-моралистом, имплицитно противопоставляя всеобъемлющее художественное видение «Анны Карениной» одномерному ригоризму «Дьявола» или «Крейцеровой сонаты». Набокову было глубоко враждебно убеждение позднего Толстого в том, что «половая, плотская любовь» представляет собой корень зла и потому подлежит безоговорочному осуждению вместе со всем, что ее разжигает (например, музыка и, шире, всякое безнравственное искусство) и ей потворствует (например, ритуалы, связанные с ухаживанием и браком). В романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» он прямо ответил на антисексуализм Толстого (а заодно и на гиперсексуализм Фрейда) следующей апофегмой: «Плотская любовь есть лишь еще один способ сказать то же самое, а не какой-то особый звук сексофона, который, стоит его однажды услышать, отзывается эхом во всех других

областях души»[1]. Иными словами, для Набокова сексуальность относится не к плану содержания, а к плану выражения человеческой личности; она представляет собой один из языков, на котором люди говорят друг с другом и с миром, и, следовательно, сама по себе не подлежит моральной оценке. В ней лишь выявляются сущностные перцептивные свойства индивидуальных сознаний, их способность к глубокому эстетическому восприятию реальности, к трансценденции, к «космической синхронизации», и разрушительная страсть, подобная страсти Кречмара или Иртенева, есть не болезнь, а ее симптом, не зло как таковое, а знак неполноты или ущербности.

Центральная для всего творчества Набокова оппозиция глубинного/истинного и поверхностного/ложного восприятия мира представлена в «Камере обскуре» в основном через образы, связанные со зрением и зрительным изображением. То, как персонажи видят себя и других, — и в прямом и в традиционном переносном смысле, — является определяющей характеристикой их личности, подлежащей авторской оценке. На это указывает уже заглавие романа, превращающее простой оптический прибор, прабабушку фото- и кинокамеры, который проецирует на экран перевернутое изображение фрагмента реальности, в основополагающую метафору упрощенного и искаженного мировосприятия. Его крайней формой, конечно же, является полная слепота, которая сначала фигурально, а потом и буквально поражает героя «Камеры обскуры», но и демонически зоркие персонажи романа — небесталанный карикатурист Горн, считающий жизнь превосходным мюзик-холлом, где ему «предоставлено место в директорской ложе», и хищная Магда, быстро замечающая, где можно поживиться, — тоже своего рода слепцы, ибо они не способны выйти из «темной комнаты» своего эгоизма. Когда они измываются и глумятся над потерявшим зрение Кречмаром, который оказался в их полной власти, он становится для них балаганным шутом, увеселяющим охочих до острых ощущений зрителей. Они видят в нем не страдающего, несчастного человека, взывающего к сочувствию и жалости, а забавную карикатуру, и тем самым демонстрируют вопиющую ущербность своего взгляда, которая, по Набокову, и есть зло, оскверняющее мир.

Вопреки народной мудрости, утверждающей (в романе — устами безымянного почтальона), что «любовь слепа», только любовь у Набокова оказывается по-настоящему зрячей. Глумливым взорам Горна и Магды «Камера обскура» противополагает взгляд маленькой Ирмы, которая среди ночи выглядывает в окно, думая

---

[1] V. Nabokov. The Real Life of Sebastian Knight. N. Y., 1992. P. 103.

увидеть на улице любимого отца, попавшего в беду и нуждающегося в помощи, — взгляд, равный по силе проникновения в суть вещей провидению пророка или великого художника. Аннелиза, которая любит мужа «с нервной страстностью», видит его в проносящемся такси, догадывается, что Макс встретился с ним на хоккейном матче, чувствует, что с Кречмаром происходит что-то страшное, и угадывает мысли брата. В очень короткой, но чрезвычайно важной тридцатой главе романа, где автор вдруг прерывает развитие фабулы в тот самый момент, когда Кречмар должен попасть в катастрофу и ослепнуть, Аннелиза, как когда-то Ирма из окна, смотрит вниз с балкона, замечает продавца мороженого, которое так любила ее умершая дочь, вспоминает о ней и о вчерашней поездке на кладбище и чувствует некое странное волнение и сильнейшее беспокойство. Провидческие взгляды Ирмы и Аннелизы, движимые любовью и преодолевающие пространство и время, входят в вертикаль романного мира, уходящую в потусторонность. Подчеркивая это, Набоков сливает их с авторским взглядом, который в тридцатой главе поднимается все выше и выше над землей, достигая некоей космической точки зрения, резко меняющей перспективу и масштабы:

Быть может, поднявшись достаточно высоко, можно было бы увидеть зараз провансальские холмы и, скажем, Берлин, где тоже было жарко, — вся эта щека земли, от Гибралтара до Стокгольма, озарялась в этот день улыбкой прекрасной погоды. Берлин, в частности, успешно торговал мороженым; Ирма, бывало, шалела от счастья, когда уличный торговец близ белого своего лотка лопаткой намазывал на тонкую вафлю толстый, сливочного оттенка слой, от которого сладко ныли передние зубы и начинал танцевать язык.

Очень важно, что космическая вертикаль, своего рода теодиция романного мира, исключает «маленький черный автомобиль» Кречмара и Магды, приближающийся к роковому повороту, но зато воскрешает мертвую Ирму в миг детского счастья, которое для Набокова было высшей ценностью бытия. Это тотальное видение, торжествующее над смертью, напоминает концовки двух его рассказов начала 1930-х годов, «Пильграм» и «Совершенство», где сам переход в смерть представлен как смена перспективы, как невероятное расширение индивидуального сознания и обретение нового, всеобъемлющего зрения, которому открывается полнота и гармония мира. В радостном авторском взгляде с космической высоты можно угадать намек на то, что подобное счастливое зрение даровано после смерти маленькой Ирме, взирающей на залитый солнцем, веселый мир из детского рая. Типично набоковский сигнал к такому прочтению — троекратно повторенная в тексте

и намеренно избыточная фраза о старухе, «собирающей ароматные травы», где анаграммированы слова «автор романа» и имя Ирмы. Для богоподобного автора романа, таким образом, мертва не Ирма, которая жива в нем самом, в его слове, а те полузрячие монстры, которые видят мир только по горизонтали, в искаженных, перевернутых и частичных проекциях «камеры-обскуры» их пошлых сознаний.

Антитезой космическому ясновидению, которое, по Набокову, доступно только любви и подлинному, «толстовскому» искусству, выступает в романе кинематограф — современная, усовершенствованная «камера-обскура», «световой балаган». С ним так или иначе тесно связаны все «слепцы» романа. Кречмар, который относился к кино серьезно и даже сам собирался кое-что сделать в этой области, встречает Магду в темном зале кинотеатра и потом субсидирует дурной фильм с ее участием. Судьбой Магды, как замечает Набоков, управляет «гений кинематографический» — она восхищается кинозвездами и, в особенности, Гретой Гарбо (которая, кстати сказать, в 1927 году снялась в роли Анны Карениной), мечтает об актерской карьере, не имея на то никаких оснований, и, главное, постоянно пытается имитировать в своей жизни «роскошь первоклассных фильм». Горн, чья страсть к Магде «основана на глубоком родстве их душ», занимается мультипликацией. Как заметили уже первые критики романа, само повествование «Камеры обскуры» временами начинает напоминать киносценарий и откровенно демонстрирует литературные аналоги распространенных киноприемов: монтаж, смена планов, затемнение и т. п. «...В романе Сирина, — писал Ходасевич в удивительно проницательной газетной рецензии, — синематограф выступает важнейшею движущей силой, то оставаясь за сценой, как Рок трагедии, то прямо являясь на сцене в качестве действующего лица. Читатель с первых же строк вводится в синематографический мир»[1].

В контексте «Камеры обскуры» кинематограф плох и вульгарен по определению, — подобно Горну и Магде, он создает пошлые имитации жизни, убогие миметические проекции, суррогаты искусства. К нему можно, конечно, относиться несерьезно, как к милому увеселению, так сказать, щекотке воображения, но беда в том, что он, как сформулировал тот же Ходасевич, пропитал и отравил своим духом современную жизнь «так, как никогда никаким настоящим искусством она пропитана не была. Эта-то вот пропитанность жизни синематографом и есть истинный предмет сиринского романа, в котором история Магды и Кречмара

[1] В. Ходасевич. Колеблемый треножник. С. 560.

служит только примером, образчиком, частным случаем, иллюстрирующим общее положение»[1].

Дальнейшее рассуждение Ходасевича весьма точно объясняет значение кинематографической темы в «Камере обскуре»:

> Горн — умный, но злой и до мозга костей цинический человек. Он истинный дух синематографа, экранный бес, превращающий на экране мир Божий в пародию и карикатуру. То, что делает он сознательно, другие делают по создавшейся рутине. Но Дорианна Каренина, «деятельница» синематографа, и Магда — его порождение — вместе с Горном заносят в жизнь Кречмара не только синематографические дела, но и стиль, и дух синематографического бытия. Замечательно: жизненная драма кречмаровской жены и дочери развивается в обычном человеческом стиле. Между тем то, что происходит с самим Кречмаром, постепенно приобретает истинно горновский характер издевательства над человеческой личностью. Трагедия Кречмара в том, что это уже пародия на трагедию, носящая все специфические признаки синематографической драмы. Вот этого-то Кречмар не понимает, — и не что иное, как *именно это непонимание, и символизировано слепотой, поражающей Кречмара.* Первоначальный «налет гнусности», занесенный Магдою в квартиру Кречмара, — ничто в сравнении с той издевательской гнусностью, в которую превращается вся его жизнь, когда она становится стилизована под синематограф[2].

В двух финальных сценах «Камеры обскуры» Набоков по-толстовски определяет заслуженное наказание всем своим персонажам, повинным в «кинематографической» слепоте. «Добрейший Макс, который в жизни своей не ударил живого существа», избивает палкой, как последнего холуя, голого мохнатого сатира Горна, и тот вдруг пытается стыдливо прикрыть свой срам. Магда, как героиня любимых ею мелодрам, становится убийцей и убегает, оставив все необходимые улики и отпечатки пальцев на рукоятке браунинга (о чем внимательного читателя извещает «вывернутая дамская перчатка»). Кречмар, прозревший только на миг перед смертью, избавляется от земных мук и отправляется в небытие. Как и в финале «Подвига», авторский взгляд в заключение фиксирует открытую дверь, но здесь она не сулит герою бессмертия, ибо за ней — не таинственная бесконечная тропинка, а лестница, уходящая вниз, «в бездну».

---

[1] В. Ходасевич. Колеблемый треножник. С. 560.
[2] Там же. С. 561.

Суд над «слепотой» Набоков продолжил и в следующем своем романе «Отчаяние», где он соединил основные темы «Камеры обскуры» с повествованием от первого лица, опробованным в «Соглядатае», сделав рассказчиком очередного беса незрячести — только на этот раз не кинематографического, а литературного. Герой «Отчаяния», полунемец-полурусский Герман (чье имя и происхождение немедленно отсылают нас к «Пиковой даме») с самого начала заявляет о своей литературной одаренности, о писательской силе, о «врожденной склонности к непрерывному творчеству». Установка на литературность рассказа значительно усложняет его структуру по сравнению с «Соглядатаем», где повествование представляло собой условный, не локализованный в пространстве и времени монолог, сама природа которого нерелевантна. В «Отчаянии» же мы имеем дело с литературным произведением героя, мнящего себя художественным гением, с его «документальной повестью» о своей жизни. Герман постоянно играет временными планами, переходя из рассказанного прошлого в непосредственное настоящее, где он работает над повестью, но почти до самого конца сохраняет в тайне как свое «реальное» местоположение (признаки которого — гора, видная из окна комнаты, и постоянно дующий ветер), так и причины, побудившие его взяться за перо. Вводится в повествование и так называемый метауровень — то есть рефлексия рассказчика по поводу своего текста, когда он комментирует и оценивает написанное, обращается к будущему читателю с наставлениями и просьбами или сопоставляет свое сочинение с разнообразными литературными образцами.

История, которой *хотел бы* ошеломить доверчивого читателя берлинский коммерсант и писатель-дилетант Герман, черна и, по сути дела, примитивна. Во время деловой поездки в Прагу он случайно наталкивается на спящего бродягу Феликса и замечает, что они похожи «как две капли крови». Желая воспользоваться этим подарком судьбы, а заодно поправить пошатнувшиеся дела, Герман задумывает идеальное преступление, которое не может быть раскрыто, — застраховать свою жизнь, поменяться с «двойником» одеждой и документами, убить его и усхать за границу, где к нему присоединится жена, обожающая его дурочка Лида, получившая страховку за якобы убитого мужа. В убийстве он видит способ не только изменить жизнь и избавиться от забот, но, главное, доказать свой художественный талант и незаурядный ум. После некоторых колебаний он тщательнейшим образом продумывает все детали, отсылает прочь докучного родственника жены, художника Ардалиона, хитрейшим образом внушает Лиде, что она должна сделать, и приводит свой замысел в исполнение. Однако уже за границей Герман с негодованием узнает из газет,

что в найденном трупе полиция по глупости не заметила никакого сходства с ним и тем самым грубейшим образом разрушила его безупречный шедевр. Чувствуя себя в безопасности под именем Феликса (чью личность, как он уверен, установить невозможно), он пишет свою книгу, чтобы «добиться признания, оправдать и спасти мое детище, пояснить миру всю глубину моего творения».

Такова, в общих чертах, версия событий, изложенная хвастливым и самовлюбленным Германом, но сам его рассказ содержит немало улик, которые ее опровергают. Несмотря на уверенность Германа в собственной непогрешимости, он то и дело совершает промахи, которые свидетельствуют об изъянах его сознания. Это — ошибки памяти (когда, например, он путает времена года в эпизоде первой поездки за город или подробности разговора с Лидой, занятой каким-то домашним делом), ошибки зрительного восприятия (он принимает картину, висящую в табачной лавке, за натюрморт Ардалиона), ошибки ума (ему невдомек, что его жена изменяет ему с Ардалионом, хотя он фактически застает их в постели), ошибки в интерпретации цитируемых литературных текстов (см. многочисленные примеры в примечаниях к роману). Ошибочной оказывается и основа его «шедевра» — представление о сходстве или двойничестве, ибо, как явствует из его же собственного описания лица Феликса, он с самого начала игнорирует все частные различия в форме и цвете, «мелкие опечатки в книге природы», которые, по Набокову, и составляют главный предмет художественного видения. «Вы, забываете, синьор, что художник видит именно разницу, — говорит ему Ардалион, единственный персонаж в романе, наделенный подлинным эстетическим чутьем. — Сходство видит профан». Ориентация на тождество и превращает Германа в профана, в одного из тех «глухих слепцов с заткнутыми ноздрями», о которых Набоков писал в «Даре». Она, кстати сказать, выявляет внутреннее, а не внешнее родство героя с его жертвой, полным болваном Феликсом, представительствующим в романе за тупую чернь. Поэтому сквозь амбициозный замысел героя, вопреки его претензиям на оригинальность, проглядывают банальнейшие «общие места» — реальные и успешно раскрытые убийства, сюжеты и приемы детективных романов, заезженные литературные стереотипы.

В отличие от большинства других набоковских «слепцов», герой «Отчаяния» представлен в романе как идеолог, как апологет определенных эстетических, социальных и метафизических концепций. В эстетике он следует теории и практике декадентского «жизнетворчества» в духе Оскара Уайльда или старших символистов, которые отождествляли жизнь с искусством, а преступле-

ние — с творческим актом. Его литературное кредо — это самовыражение, апология эстетически организованных жизненных поступков, нарушающих норму; его собственный текст — это образцовый «человеческий документ», создаваемый по рецепту Адамовича и других критиков «парижской школы», которые, как язвительно писал Набоков в «Даре», требовали от современных писателей не «отвлеченно-певучих пьесок о полусонных видениях», а исповедей, продиктованных «отчаянием и волнением». С декадентством Герман сочетает симпатии к коммунизму, который, как он говорит, пытается «что-то такое коренным образом изменить в нашей пестрой, неуловимой, запутанной жизни», и к новой России, поскольку «такого энтузиазма, аскетизма, бескорыстия, веры в свое грядущее единообразие еще никогда не знала история». Наконец, он утверждает, что «Бога нет, как нет и бессмертия», а «небытие Божье доказывается просто», ибо невозможно себе представить, чтобы «некий серьезный Сый, всемогущий и премудрый, занимался игрой в человечки».

Только самые близорукие критики, вроде Ж. П. Сартра или, что более простительно, А. С. Мулярчика, могли попасться на удочку Набокова и принять высказывания его героя за чистую монету, усмотрев в них прямое отражение цинического авторского миропонимания, типичного для оторвавшихся от почвы эмигрантов, или, наоборот, выражение сменовеховских симпатий к СССР, где «прорисовывался облик нового общественного строя и “нового человека”»[1]. Ясно, что Набоков вкладывает весь этот комплекс идей в уста самодовольного «слепца», негодяя и убийцы только для того, чтобы его полностью дискредитировать, противопоставив ему свои представления о неприкосновенности жизни и искусстве как ее преображении, об обществе как множестве индивидуальных сознаний и о Боге как художественном сверхсознании, творящем целостный мир по своим собственным законам и правилам.

В блестящем разборе «Отчаяния» Сергей Давыдов убедительно показал, что в исповеди Германа все время присутствует «своеобразный спектральный герой» — автор всего романа, тот несерьезный Бог, «играющий в человечки», в которого не хочет верить рассказчик, возомнивший себя демиургом. Он входит в реальность текста под маской некоего живущего поблизости русского писателя-эмигранта, которому Герман хочет послать свою книгу, чтобы доказать свое превосходство над ним; он появляется в виде

[1] См.: Ж. П. Сартр. Владимир Набоков. «Отчаяние» // В. В. Набоков: Pro et contra. С. 269–271; А. С. Мулярчик. Русская проза Владимира Набокова. М., 1997. С. 71–73.

сильнейшего ветра, побуждая героя писать то, что от него требуется; он оставляет свои тайные росчерки в рукописи, которых ее мнимый автор не в состоянии заметить. «Этот автор-вредитель, — пишет Давыдов, — расставил в романе изысканную сеть уловок, капканов и других тонких пособий для поимки героя. Ими автор, не без наслаждения, разрушает иллюзию за иллюзией самодовольного Германа»[1].

Когда герой выполняет свою миссию, завершив за шесть дней угодное истинному автору творение, рушится и последняя его иллюзия — иллюзия безнаказанности. Перечитав свою рукопись, он с ужасом обнаруживает, что его новая личина стала известна полиции, так как он забыл на месте преступления палку Феликса с выжженным на ней полным именем владельца. Подобно тому как Макс в «Камере обскуре» избивает палкой бесстыдного Горна, Набоков фигурально «ставит в палки» возомнившего себя творцом героя-самозванца, подтверждая пушкинскую истину: «...гений и злодейство / Две вещи несовместные». Этот финальный удар подводит черту под претензиями Германа на гениальность и окончательно устанавливает его определяющее сходство — сходство не с Пушкиным и другими великими русскими писателями, над которыми он глумился, а с их персонажами: с гоголевским Поприщиным, которого бьют палками в сумасшедшем доме, с пушкинским Германном, наказанным за святотатственное посягательство на непредсказуемость жизни, с Голядкиным в «Двойнике» Достоевского, с мерзким безумцем и убийцей Передоновым из «Мелкого беса» Сологуба, с потерявшим рассудок террористом Дудкиным из «Петербурга» Андрея Белого. Его литературная генеалогия точно предсказывает, как он кончит свою земную жизнь, и намекает на то, какое бессмертие ему уготовано. Не случайно конец его рукописи датирован первым апреля: ожидающий его ад — это ад обманутых дураков.

В «Отчаянии» Набоков свел счеты со многими своими литературными и идеологическими противниками — с «достоевщиной» декадентов и советских писателей 1920-х годов, с западными левыми интеллектуалами и эмигрантскими большевизанами, восторженно взирающими на советский рай, с «парижской школой», предпочитающей «человеческий документ» истинной поэзии. Исповедь Германа во многих отношениях представляет собой убийственную синтетическую пародию на целый ряд современных литературных явлений, которым Набоков неявно противопоставляет свою игровую поэтику и эстетизированную мета-

---

[1] С. Давыдов. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. München, 1982. С. 80.

физику[1]. Изгнав бесов незрячести, он словно бы подготовил почву для двух своих следующих романов, «Приглашения на казнь» и «Дара», где главными героями будут уже не слепцы и профанаторы, а их антагонисты, художники с зоркими глазами.

К темам и приемам «Камеры обскуры» и «Отчаяния» Набоков теперь вернется только в американские годы, на английском языке. Для писателя Сирина они были исчерпаны.

А. Долинин

---

[1] Подробнее об этом см.: A. Dolinin. Caning of Modernist Profaners: Parody in «Despair» // Nabokov at the Crossroads of Modernism and Postmodernism / Cycnos. Vol. 12. № 2. Nice, 1995. P. 43–54. (Исправленный и существенно расширенный вариант этой работы доступен на Интернете: Zembla: The Nabokov Butterfly Net. 997.); А. Долинин. Набоков, Достоевский и достоевщина // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 38–46.

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

при ближайшемъ участіи
Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка, В. В. Руднева

XLIII
44

1930
ПАРИЖЪ

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

XLIV

1930
ПАРИЖЪ

Соглядатай

ПОВЕСТЬ

1930

1

С этой дамой, с этой Матильдой, я познакомился в мою первую берлинскую осень. Мне только что нашли место гувернера — в русской семье, еще не успевшей обнищать, еще жившей призраками своих петербургских привычек. Я детей никогда не воспитывал, совершенно не знал, о чем с детьми говорить, как держаться. Их было двое: мальчишки. Я чувствовал в их присутствии унизительное стеснение. Они вели счет моим папиросам, и это их ровное любопытство так на меня действовало, что я странно, на отлете, держал папиросу, словно впервые курил, и все ронял пепел к себе на колени, и тогда их ясный взгляд внимательно переходил с моей дрожащей руки на бледно-серую, уже размазанную по ворсу пыльцу. Матильда бывала в гостях у их родителей и постоянно оставалась ужинать. Как-то раз шумел проливной дождь, ей дали зонтик, и она тогда сказала: «Вот и отлично, большое спасибо, молодой человек меня проводит и принесет зонт обратно». С тех пор вошло в мои обязанности ее провожать. Она, пожалуй, нравилась мне — эта разбитная, полная, волоокая дама с большим ртом, который собирался в пурпурный комок, когда она, пудрясь, смотрелась в зеркальце. У нее были тонкие лодыжки, легкая поступь, за которую многое ей прощалось. От нее исходило щедрое тепло: как только она появлялась, мне уже мнилось, что в комнате жарко натоплено, и когда, отведя восвояси эту большую живую печь, я возвращался один среди чмокания и ртутного блеска безжалостной ночи, было мне холодно, холодно до омерзения. Потом приехал из Парижа ее муж и стал с ней бывать в гостях вместе, — муж как муж, я мало на него обратил внимания, только заметил его манеру коротко и гулко откашливаться в кулак перед тем как заговорить и тяжелую, черную, с блестящим набалдашником трость, которой он постукивал об

пол, пока Матильда, восторженно захлебываясь, превращала прощание с хозяйкой дома в многословный монолог. Муж спустя месяц отбыл, и в первую же ночь, что я снова провожал Матильду, она предложила мне подняться к ней наверх, чтобы взять книжку, которую давно увещевала меня прочесть, — что-то по-французски о какой-то русской девице Ариадне. Шел, как обычно, дождь, вокруг фонарей дрожали ореолы, правая моя рука утопала в жарком кротовом меху, левая держала раскрытый зонтик, в который ночь била, как в барабан. Этот зонтик, — потом, в квартире у Матильды, — распятый вблизи парового отопления, все капал, капал, ронял слезу каждые полминуты и так наплакал большую лужу. А книжку взять я забыл.

Матильда была не первой моей любовницей. До нее любила меня домашняя портниха в Петербурге, тоже полная и тоже все советовавшая мне прочесть какую-то книжку («Мурочка, история одной жизни»). Обе они, эти полные женщины, издавали среди телесных бурь тонкий, почти детский писк, и мне казалось иногда, что не стоило проделать все, что я проделал, то есть, помирая со страху, переехать финскую границу (в курьерском поезде, правда, и с прозаическим пропуском), чтобы из одних объятий попасть в другие, почти тождественные. К тому же Матильда стала вскоре меня томить. У нее был один постоянный, гнетущий меня разговор — о муже. «Этот человек — благородный зверь. Он меня бы убил на месте, если б узнал. Он обожает меня и дико ревнив. Он в Константинополе шлепал одним французом об пол, как тряпкой. Он страстен до жути. Но в своей жестокости он красив». Я старался переменить разговор, но это был Матильдин конек, на который она садилась плотно и с удовольствием. Образ мужа, создаваемый ею, было трудно слить с обликом человека, которому я так мало уделил внимания, и вместе с тем мне было чрезвычайно неприятно думать, что, может быть, это вовсе не ее добротная фантазия и действительно сейчас в Париже, почуя беду, таращит глаза, скрипит зубами и сильно дышит через нос ревнивый изверг.

Бывало, плетусь домой, портсигар пуст, от рассветного ветерка горит лицо, как после грима, каждый шаг отдается гулкой болью в голове, и вот, поворачивая так и сяк мое плохонькое счастье, я дивлюсь, я жалею себя, я чувствую уныние и страх. В самом деле: человеку, чтобы счастливо

существовать, нужно хоть час в день, хоть десять минут существовать машинально. Я же, всегда обнаженный, всегда зрячий, даже во сне не переставал наблюдать за собой, ничего в своем бытии не понимая, шалея от мысли, что не могу забыться, и завидуя всем тем простым людям — чиновникам, революционерам, лавочникам, — которые уверенно и сосредоточенно делают свое маленькое дело. У меня же оболочки не было. И в эти страшные, нежно-голубые утра, цокая каблуком через пустыню города, я воображал человека, потерявшего рассудок, оттого что он начал бы явственно ощущать движение земного шара. Ходил бы он балансируя, хватаясь за мебель, или садился бы у окна, возбужденно улыбаясь, как пассажир, который в поезде вам вдруг говорит: «Здорово шпарит!» Но вскоре, от всей этой шаткости и качки, его стало бы тошнить, он сосал бы лимон и лед, ложился бы плашмя на пол, и все — понапрасну. Движение остановить нельзя, машинист слеп, а тормоза не найти, — и умер бы он от разрыва сердца, когда скорость стала бы невыносимой.

И я был так одинок. Матильда, которая лукаво спрашивала меня, не пишу ли стихов, Матильда, которая на лестнице или у подъезда искусно науськивала меня на поцелуй, только чтобы иметь повод отряхнуться и страстно прошипеть: «Сумасшедший мальчик...» — Матильда, конечно, была не в счет. Кого же я еще знал в Берлине? Секретаря благотворительного общества, семью, где служил гувернером, владельца русского книжного магазина Вайнштока, старушку немку, у которой прежде снимал комнату, — вот и обчелся. Таким образом, всем своим беззащитным бытием я служил заманчивой мишенью для несчастья. Оно и приняло приглашение.

Было около шести. Воздух в комнатах по-сумеречному тяжелел, я едва различал строки смешного чеховского рассказа, который спотыкавшимся голосом читал моим воспитанникам, но не смел включить свет: у них было, у этих мальчишек, странное, недетское тяготение к экономности, гнусная какая-то хозяйственность, они в точности знали, сколько стоит колбаса, масло, свет, различные породы автомобилей... И, читая им вслух «Роман с контрабасом», тщетно пытаясь их развеселить и чувствуя стыд за себя

и за бедного автора, я знал, я знал, что они отлично видят мою борьбу с сумеречной мутью и холодно следят, выдержу ли я до той минуты, когда в доме напротив, подавая пример, зажжется первая лампа. Я выдержал и был награжден светом. Только что я приготовился придать голосу бóльшую живость (приближалось самое уморительное место в рассказе), как вдруг из прихожей позвал телефон. Мы были одни дома, мальчики сразу вскочили и бросились наперегонки по направлению к звону. Я же остался сидеть с раскрытой книгой на коленях, нежно улыбаясь прерванной строке. Оказалось, что вызывают меня. Я сел в хрустящее кресло, приложил трубку к уху. Мои ученики стояли подле — один справа, другой слева, невозмутимо меня сторожа. «Сейчас собираюсь к вам, — сказал мужской голос. — Вы будете дома, надеюсь?» Я спросил: «Кто говорит?» — «Не узнаёте? Тем лучше, — будет сюрприз», — сказал голос. «Но я хочу знать кто», — настаивал я со смехом. (Потом я не мог без ужаса и стыда вспомнить жеманную игривость моего тона.) «Преждевременно», — сухо сказал голос. Тут я вконец расшалился: «Отчего? Отчего? Вот это забавно...» Заметив, что говорю с пустотой, я пожал плечами и повесил трубку. Мы вернулись в гостиную, я сказал: «Ну, где же, значит, мы остановились?» — и, найдя место, продолжал чтение.

Но мне было как-то беспокойно. Механически читая вслух, я все рассуждал про себя, кто этот гость. Приезжий из России, быть может? Я смутно перебрал знакомые лица, знакомые голоса — их было, увы, немного, — остановился почему-то на студенте Ушакове... Мой единственный университетский год, небогатый встречами, хранил этого Ушакова, как сокровище. Когда, среди разговора, при случайном упоминании о «Гаудеамусе» и студенческой бесшабашности, я делал знающее, слегка мечтательное лицо, то это относилось к Ушакову, хотя, видит Бог, я беседовал с ним всего дважды (о политических или иных пустяках, не помню). Вряд ли, однако, он был бы так таинствен по телефону. И я терялся в догадках, воображая то агента коммунистического союза, то чудака-миллионщика, которому нужен секретарь.

Звонок. Мальчики опять опрометью бросились в прихожую. Я тоже вышел посмотреть. Они с удовольствием, со знанием дела отодвинули стальной болтик, что-то еще поковыряли, и дверь открылась...

Странное воспоминание... Даже теперь, когда многое изменилось, — даже теперь я слегка замираю, вызывая из памяти, как опасного преступника из камеры, то странное воспоминание. Тогда-то обрушилась, совершенно беззвучно — как на экране, — целая стена моей жизни. Я понял, что сейчас случится нечто потрясающее, но на лице у меня, несомненно, была улыбка, и, кажется, угодливая, и моя рука, которая тянулась, обреченная встретить пустоту, эту пустоту предчувствовала и все-таки до конца пыталась довести жест, звеневший у меня в голове словами: элементарная вежливость. «Убрать руку», — было первое, что сказал гость, глядя на мою протянутую и уже опускавшуюся в бездну ладонь.

Недаром я давеча не узнал его голоса. То, что телефон передал как некоторую натуженность, исказившую знакомый тембр, было на самом деле совершенно исключительным бешенством, густым звуком, которого я до тех пор не слышал ни в одном человеческом голосе. И как живая картина стоит эта сцена у меня в памяти: ярко озаренная прихожая, я, не знающий, что делать с непринятой моей рукой, справа мальчик, слева мальчик, глядящие оба не на гостя, а почему-то на меня, и сам этот гость, в оливковом макинтоше с модными нашивками на плечах, такой бледный, словно огорошенный магнием, — глаза навыкате, черный равнобедренный треугольник подстриженных усов над ядовито-пухлой губой. И вдруг началось легкое, сперва еле приметное движение: его губы, расклеившись, чмокнули, черная, толстая трость в его руке чуть дрогнула, и я уже не мог отвести глаза от этой трости. «В чем дело? — спросил я. — В чем дело? Недоразумение, кажется... Кажется, какое-то недоразумение...» И тут для непристроенной и еще томившейся моей руки я нашел унизительное, невозможное место: в смутном стремлении сохранить свое достоинство я опустил руку на плечо ученика; мальчик же усмехнулся и покосился на мою кисть. «Вот что, господин хороший, — вдруг брызнул гость, — отойдите-ка от них малость: я их трогать не буду, можете не защищать, — а мне нужен простор, так как я собираюсь из вас пыль

выколачивать». — «Вы в чужом доме, — сказал я. — Вы не имеете права скандалить. Я не понимаю, чего вы от меня хотите...»

Он меня ударил. Он тростью хватил меня по плечу, горячо и звучно, и я от силы удара ухнул в сторону, плетеное кресло отпрянуло от меня как живое. Он размахнулся опять, скаля зубы; удар пришелся по моей поднятой руке. Тогда я отступил, проскочил боком в гостиную, а он за мной. И вот еще любопытная подробность: я ведь в голос кричал, звал его по имени и отчеству, громко спрашивал его, что я ему сделал. Когда он опять меня настиг, я попробовал защититься какой-то схваченной на ходу подушкой, но он выбил ее у меня из рук. «Это безобразие, — крикнул я. — Я безоружный. Меня оклеветали. Вы за это дорого...»

Опять. Отступая, я зашел за стол, и на минуту все оцепенело снова живой картиной. Он стоял, скалясь и подняв трость, а за ним, по сторонам двери, застыли мальчики, — и быть может, воспоминание у меня в этом месте как-то исковеркано, но, ей-Богу, мне кажется, что один из них стоял, сложив руки крестом, прислонившись к стене, а другой сидел на ручке кресла, и оба невозмутимо наблюдали за расправой, совершавшейся надо мной. И погодя все опять пришло в движение, мы все четверо перешли в следующую комнату, — он попал мне в бедро, а потом ослепительным и ужасным ударом шарахнул меня по лицу. Любопытно, что я сам никогда бы не мог ударить человека, как бы он меня ни оскорбил, и даже теперь, под его тяжелой тростью, не только не умел перейти в нападение, будучи несведущ в мужественных приемах, но — даже в эти минуты боли и унижения — не представлял себе, что могу поднять руку на ближнего, особенно ежели ближний гневен и мускулист, и не пытался бежать к себе в комнату, где в ящике был револьвер, купленный мною, увы, только для отпуга призраков.

Созерцательное оцепенение моих учеников, различные позы, в которых они, как фрески, застывали по углам той или иной комнаты, предусмотрительность, с которой они зажгли свет, как только я попятился в темную столовую, — все это, должно быть, обман восприятия, отдельные впечатления, которым я придал значительность и постоянство, столь же условные, впрочем, как на репортерском снимке согнутая в колене нога пешехода с портфелем (такой-то по

пути на конференцию). На самом же деле они, по-видимому, не все время присутствовали при моей казни, была какая-то минута, когда, боясь за родительскую мебель, они деловито принялись звонить в полицию, — попытка, сразу пресеченная громовым окриком, — но я не знаю, куда поместить эту минуту, в начало или в самый конец, после того апофеоза страдания и ужаса, когда, упав мешком на пол, я подставлял круглую спину ударам и хрипло повторял: «Довольно, довольно, у меня больное сердце, довольно, у меня больное...» Сердце мое, отмечу в скобках, всегда работало исправно.

И через некоторое время все кончилось. Он закурил, громко дыша и гремя спичечной коробкой; постоял, поглядел и, сказав что-то о маленьком уроке, поправил на голове шляпу и поспешно вышел. Я сразу встал с полу и направился к себе в комнату. Мальчики бегом последовали за мной. Один из них попробовал пролезть в мою дверь. Я отшвырнул его ударом локтя и, знаю, сделал ему больно. Дверь я запер на ключ, обмыл лицо, чуть не крича от едкого прикосновения воды, и затем, вытащив из-под кровати чемодан, принялся укладывать вещи. Это было трудно, ломило в спине, левая рука плохо действовала, слепили слезы.

Когда, в пальто, неся тяжелый чемодан, я вышел в прихожую, мальчики сразу опять появились. Я на них даже не взглянул. Спускаясь по лестнице, я чувствовал, как они сверху смотрят на меня, перегнувшись через перила. Пониже я встретил учительницу музыки, приходившую как раз по вторникам. Это была кроткая русская девица в очках, с толстыми, кривыми ногами. Я не поклонился ей, отвернул опухшее лицо и, подгоняемый смертельной тишиной ее удивления, выскочил на улицу.

До того как покончить с собой, я хотел по традиции написать кое-какие письма да посидеть хоть пять минут в безопасности, а потому, кликнув таксомотор, отправился туда, где жил раньше. По счастью, знакомая мне комнатка оказалась свободной, и старушка хозяйка стала сразу стелить мне постель... Напрасные хлопоты. Я с нетерпением ждал ее ухода, она возилась долго, наполняла водой кувшин, графин, затягивала штору, что-то дергала,

с разинутым черным ртом глядя вверх. Наконец, помяукав, она ушла.

Пошлый, несчастный, дрожащий маленький человек в котелке стоял посреди комнаты, почему-то потирая руки. Таким я на мгновение увидел себя в зеркале. Затем я быстро вынул из чемодана бумагу, конверты, нашел в кармане убогий карандашик и сел к столу. Но оказалось, что писать мне не к кому. Я мало кого знал и никого не любил. Письма отпали, отпало все остальное: мне смутно казалось, что необходимо прибрать вещи, надеть чистое белье, оставив в конверте все мои деньги — двадцать марок — с запиской, кому их отдать. Но тут я понял, что все это решил я не сегодня, а когда-то давно, в разное время, когда беззаботно представлял себе, как люди стреляются. Так закоренелый горожанин, получив неожиданное приглашение от знакомого помещика, покупает в первую очередь фляжку и крепкие сапоги, — не потому, что они могут и впрямь пригодиться, а так, бессознательно, вследствие каких-то прежних непроверенных мыслей о деревне, о длинных прогулках по лесам и горам. Но нет ни лесов, ни гор, — сплошная пашня, и шагать в жару по шоссе неохота. Так и я понял несуразность и условность моих прежних представлений о предсмертных занятиях; человек, решившийся на самоистребление, далек от житейских дел, и засесть, скажем, писать завещание было бы столь же нелепым, как принять в такую минуту средство против выпадения волос, ибо вместе с человеком истребляется и весь мир, в пыль рассыпается предсмертное письмо и с ним все почтальоны, и как дым исчезает доходный дом, завещанный несуществующему потомству.

И вот, то, что я давно подозревал, — бессмысленность мира, — стало мне очевидно. Я почувствовал вдруг невероятную свободу, — вот она-то и была знаком бессмысленности. Я взял двадцатимарковый билет и разорвал его на клочки. Я снял с руки часики, швырнул их на пол и швырял их до тех пор, пока они не остановились. Я подумал, что могу, если захочу, выбежать сейчас на улицу, с непристойными словами обнять любую женщину, застрелить всякого, кто подвернется, расколошматить витрину... Фантазия беззакония ограниченна, — я ничего не мог придумать далее.

Опасливо и неловко я зарядил револьвер, затем потушил в комнате свет. Мысль о смерти, так пугавшая меня некогда, была теперь близка и проста. Я боялся, страшно боялся чудовищной боли, которую, быть может, мне пуля причинит, но бояться черного бархатного сна, ровной тьмы, куда более приемлемой и понятной, чем бессонная пестрота жизни, — нет, как можно этого бояться, глупости какие... Стоя посреди темной комнаты, я расстегнул на груди рубашку, наклонился корпусом вперед, нащупал между ребер сердце, бившееся как небольшое животное, которое хочешь перенести в безопасное место и которому не можешь объяснить, что нечего бояться, а напротив, для него же стараешься... но оно было такое живое, мое сердце, — плотно приложить дуло к тонкой коже, под которой оно упруго пульсировало, было мне как-то противно, и потому я слегка отодвинул неудобно согнутую руку, так, чтобы сталь не касалась моей голой груди. Затем я напрягся и выстрелил. Был сильный толчок, и что-то позади меня дивно зазвенело, — никогда не забуду этого звона. Он сразу перешел в журчание воды, в гортанный водяной шум; я вздохнул, захлебнулся, все было во мне и вокруг меня текуче, бурливо. Я стоял почему-то на коленях, хотел упереться рукой в пол, но рука погрузилась в пол как в бездонную воду.

2

Через некоторое время, если вообще тут можно говорить о времени, выяснилось, что после наступления смерти человеческая мысль продолжает жить по инерции. Я был туго закутан — не то в саван, не то просто в плотную темноту. Я все помнил — имя, земную жизнь — со стеклянной ясностью, и меня необыкновенно утешало, что беспокоиться теперь не о чем. Когда из непонятного ощущения тугих бинтов я с озорной беспечностью вывел представление о госпитале, то сразу, послушно моей воле, выросла вокруг меня призрачная больничная палата, и были у меня соседи — такие же мумии, как я, — по три мумии с каждой стороны. Какая же это здоровенная штука, человеческая мысль, что вот — бьет — поверх смерти, и Бог знает, сколько еще будет трепетать и творить после того, как мой

мертвый мозг давно стал ни к чему не способен. И с легким любопытством я подумал о том, как это меня хоронили, была ли панихида и кто пришел на похороны.

Но как цепко, как деловито, словно соскучившись по работе, принялась моя мысль мастерить подобие больницы, подобие движущихся белых людей между коек, с одной из которых доносилось подобие человеческого стона! Благодушно поддаваясь этим представлениям, горяча и поддразнивая их, я дошел до того, что создал цельную естественную картину, простую повесть о неметкой пуле, о легкой сквозной ране; и тут возник мной сотворенный врач и поспешил подтвердить мою беспечную догадку. А затем, когда я стал, смеясь, клясться, что неумело разряжал револьвер, — появилась и моя старушка, в черной соломенной шляпе с вишнями, села у моей койки, полюбопытствовала, как я себя чувствую, и, лукаво грозя пальцем, упомянула о каком-то кувшине, вдребезги разбитом пулей... О, как ловко, как по-житейски просто моя мысль объяснила звон и журчание, сопроводившие меня в небытие.

Я полагал, что посмертный разбег моей мысли скоро выдохнется, но, по-видимому, мое воображение при жизни было так мощно, так пружинисто, что теперь хватало его надолго. Оно продолжало разрабатывать тему выздоровления и довольно скоро выписало меня из больницы. Я вышел на улицу — реставрация берлинской улицы удалась на диво — и поплыл по панели, осторожно и легко ступая еще слабыми, как бы бесплотными ногами. И думал я о житейских вещах, о том, что надо починить часы и достать папирос, и о том, что у меня нет ни гроша. Поймав себя на этих думах, — не очень, впрочем, тревожных, — я живо вообразил тот телесного цвета с карей тенью билет, который я разорвал перед самоубийством, и мое тогдашнее ощущение свободы, безнаказанности. Теперь, однако, поступок мой приобретал некоторое мстительное значение, и я был рад, что ограничился только печальной шалостью, а не вышел куролесить на улицу, так как я знал теперь, что после смерти земная мысль, освобожденная от тела, продолжает двигаться в кругу, где все по-прежнему связано, где все обладает сравнительным смыслом, и что потусторонняя мука грешника именно и состоит в том, что живучая его мысль не может успокоиться, пока не разберется в сложных последствиях его земных опрометчивых поступков.

Я шел по знакомым улицам, и все было очень похоже на действительность, и ничто, однако, не могло мне доказать, что я не мертв и что все это не загробная греза. Я видел себя со стороны тихо идущим по панели, — я умилялся и робел, как еще неопытный дух, глядящий на жизнь чем-то знакомого ему человека.

Плавное, машинальное стремление привело меня к лавке Вайнштока. Мгновенно напечатанные в угоду мне книги спешно появились в витрине. Одну долю секунды некоторые заглавия были еще туманны: я всмотрелся, туман рассеялся. Когда я вошел, в магазине было пусто, и тусклым адовым пламенем горела в углу чугунная печка. Где-то внизу за прилавком послышалось кряхтение Вайнштока. «Закатилось, — бормотал он напряженно, — закатилось». Погодя он выпрямился, и тут я уличил в неточности свою фантазию, принужденную, правда, работать очень быстро: Вайншток носил усы, а теперь их не было, моя мечта не успела его доделать, и вместо усов было на его бледном лице розоватое от бритья место. «Фу, как вы скверно смотрите, — сказал он, здороваясь со мной, — фу, фу. Что с вами? Хворали?» Я ответил, что действительно — был болен. «Теперь гриппа», — загадочно сказал Вайншток и вздохнул. «Давно не видались, — заговорил он опять. — Скажите, вы тогда службу нашли?» Я ответил, что был одно время гувернером, но теперь это место потерял, и очень хочу курить. Вошел покупатель и спросил русско-испанский словарь. «Кажется, имеется», — сказал Вайншток, повернувшись к полке и пальцем проводя по толстеньким корешкам.

Меж тем мое внимание привлек тихий кашель в глубине магазина. Кто-то, охая, прошуршал, скрытый книгами. «Вы себе завели помощника?» — спросил я у Вайнштока, когда покупатель ушел. «Я его на днях рассчитаю, — тихо ответил Вайншток. — Это абсолютно негодный старик. Мне нужен молодой». — «А как поживает черная рука, Викентий Львович?» — «Если бы вы не были таким злостным скептиком, — внушительно сказал Вайншток, — я сумел бы вам рассказать много интересного». Он немного обиделся, — а это было некстати: призрачная, безденежная моя легкость требовала какого-то разрешения, а моя фантазия создавала довольно никчемный разговор... «Нет, нет, Викентий Львович, почему скептик? Напротив. Вспомните, я из-за этого

в свое время раскошелился». Действительно, когда я познакомился с Вайнштоком, то сразу в нем обнаружил родственную мне черту — склонность к навязчивым идеям. Вайншток был убежден, что какие-то люди, которых он с таинственной лаконичностью и со зловещим ударением на первом слоге называл «агенты», постоянно за ним следят. Он намекал на существование черного списка, где будто бы находится его имя. Я посмеивался над ним, но внутренне холодел. Мне показалось однажды странным, что человек, которого я случайно заметил в трамвае, — неприятный блондин с бегающими глазами, — был в тот же день встречен мною опять: он стоял на углу моей улицы и делал вид, что читает газету. С той поры я начал побаиваться. Я сердился на себя, издевался мысленно над Вайнштоком, но ничего не мог поделать со своим воображением. По ночам мне чудилось, что кто-то лезет ко мне в окно. Наконец я купил револьвер и совершенно успокоился. На этот расход (тем более нелепый, что «ваффеншайн» у меня отняли) я теперь и намекал Вайнштоку. «На что вам оружие? — ответил он. — Они хитрые как бестии. Против них возможна только одна защита — мозги. Моя организация...» Он вдруг подозрительно вскинул на меня глаза, как будто сказал лишнее. Тогда я решился — объяснил, стараясь говорить шутливо, что мое положение странное, занимать денег больше негде, а жить и курить нужно, — и, говоря все это, я вспоминал развязного незнакомца с выбитым передним зубом, который как-то явился к матери моих воспитанников и совершенно таким же шутливым тоном рассказал, что ему нужно ехать вечером в Висбаден и не хватает ровно девяноста пфеннигов. («Ну, насчет Висбаденов вы оставьте, — спокойно сказала она. — А двадцать пфеннигов я вам, так и быть, дам. Больше не могу из чисто принципиальных соображений».) Впрочем, теперь при этом сопоставлении я не ощутил ни малейшего стыда. После выстрела, выстрела, по моему мнению, смертельного, я с любопытством глядел на себя со стороны, и мучительное прошлое мое — до выстрела — было мне как-то чуждо. Этот разговор с Вайнштоком оказался началом новой для меня жизни. Я был теперь по отношению к самому себе посторонним. Вера в призрачность моего существования давала мне право на некоторые развлечения.

Глупо искать закона, еще глупее его найти. Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с туго набитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массами, и тогда несдобровать отдельному индивидууму, с его двумя бедными «у», безнадежно аукающимися в чащобе экономических причин. К счастью, закона никакого нет, — зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, — все зыбко, все от случая, и напрасно старался тот расхлябанный и брюзгливый буржуа в клетчатых штанах времен Виктории, написавший темный труд «Капитал» — плод бессонницы и мигрени. Есть острая забава в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя — что было бы, если бы..., заменять одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, вырастает дивное розовое событие, которое в свое время так и не вылупилось, не просияло. Таинственна эта ветвистость жизни: в каждом былом мгновении чувствуется распутие, — было так, а могло бы быть иначе, — и тянутся, двоятся, троятся несметные огненные извилины по темному полю прошлого.

Все эти простые мысли — о зыбкости жизни — приходят мне на ум, когда я думаю о том, как легко могло случиться, что я никогда бы не попал в дом номер пять на Павлиньей улице, никогда бы не узнал ни Вани, ни Ваниной сестры, ни Романа Богдановича, ни многих других людей, так неожиданно и непривычно заживших вокруг меня. И наоборот... Поселись я после призрачного выхода из больницы в другом доме, быть может, немыслимое счастье запросто бы со мной разговорилось, — как знать... как знать...

Надо мной, в верхнем, надстроенном, этаже жили русские. Познакомил меня с ними Вайншток, у которого они брали книги, — тоже очаровательный прием со стороны фантазии, управляющей жизнью. До настоящего знакомства были, впрочем, постоянные встречи на лестнице и те слегка тревожные взгляды, которыми за границей обмениваются русские. Ваню я отметил сразу, и сразу почувствовал сердцебиение, как во сне, когда добыча мечты тут, у тебя в комнате, — подойди и схвати. Молодая дама с милым бульдожьим лицом оказалась впоследствии Ваниной

сестрой, Евгенией Евгеньевной. Муж Евгении Евгеньевны, веселый господин с толстым носом, тоже был порождением лестницы. Я ему придержал как-то дверь, и его немецкое — «спасибо» в точности прорифмовало с предложным падежом банка, в котором он, кстати сказать, служил.

У них жила родственница, Марианна Николаевна, и по вечерам бывали гости, почти всегда одни и те же. Хозяйкой дома считалась Евгения Евгеньевна. У нее был приятный юмор, — она-то и прозвала сестру Ваней, в те годы, когда меньшая требовала, чтобы ее звали Монна-Ванной, находя в звуке своего имени — Варвара — что-то толстое и рябое. Я не сразу привык к этому мужскому уменьшительному; постепенно же оно приняло для меня как раз тот оттенок, который грезился Ване в томных женских именах. Сестры были похожи друг на дружку, но откровенная бульдожья тяжеловатость лица старшей была у Вани только чуть-чуть намечена, и была иначе, и как бы придавала значительность и своеродность общей красоте ее лица. Похожи у сестер были и глаза, черно-карие, слегка асимметричные, слегка раскосые, с забавными складками на темных веках. У Вани глаза были еще бархатнее и, в отличие от сестриных, несколько близоруки, точно их красота делала их не совсем пригодными для употребления. Обе были темноволосы и носили одинаковые прически — пробор посредине и большой, плотный узел низко на затылке. Но у старшей волосы не лежали с такой небесной гладкостью, лишены были драгоценного отлива... Мне хочется стряхнуть Евгению Евгеньевну, отставить ее совсем, чтобы сестер не приходилось сравнивать, и вместе с тем я знаю, что, не будь этого сходства, чего-то бы недоставало Ваниному обаянию. Вот только руки у нее были неизящные, — бледная ладонь как-то не соответствовала верхней стороне, красноватой, с большими костяшками. И на круглых ногтях были всегда белесые пятнышки.

Какое еще нужно напряжение, до какой еще пристальности дойти, чтобы словами передать зримый образ человека? Вот обе сестры сидят на диване, Евгения Евгеньевна в черном бархатном платье с большими бусами на белой шее, Ваня в малиновом, с мелкими жемчугами вместо бус, глаза у нее сияют, переносица между черных бровей почему-то запудрена. Сестры в одинаковых новых туфлях и вот то и дело поглядывают друг дружке на ноги, — и на чужой

ноге, верно, выглядит лучше, чем на своей. Их родственница, Марианна Николаевна, белокурая женщина-врач с интенсивной манерой говорить, рассказывает Смурову и Роману Богдановичу об ужасах Гражданской войны. Муж Евгении Евгеньевны, Хрущов, — веселый господин с толстым, бледным носом, который он постоянно тискает, потягивает, пытается отвернуть сбоку, уцепившись за ноздрю, — говорит на пороге соседней комнаты с Мухиным, молодым человеком в пенснэ. Оба стоят по бокам двери, друг против друга, как кариатиды.

Мухин и величавый Роман Богданович давно уже бывают здесь, Смуров же появился сравнительно недавно, но этого сразу не скажешь. Не было застенчивости, которая так выделяет человека среди людей, хорошо друг друга знающих, связанных между собой условными отзвуками бывших шуток, живыми для них именами, так что новопоявившийся чувствует себя как если бы он вдруг спохватился, что повесть, которую он принялся читать в журнале, началась уже давно, в каких-то предыдущих, неизвестных номерах, и, слушая общий разговор, богатый намеками на неведомое, он молчит, переводит взгляд с одного на другого, смотря по тому, кто говорит, — и чем быстрее реплики, тем подвижнее его глаза; вскоре незримый мир, живущий в словах окружающих, начинает его тяготить, ему кажется, что нарочно затеян разговор, куда он не вхож. Но если порой Смуров и чувствовал себя неловко, он, во всяком случае, не показывал этого. Признаюсь, в те первые вечера он на меня произвел довольно приятное впечатление. Был он роста небольшого, но ладен и ловок, его скромный черный костюм и черный галстук бантиком, казалось, сдержанно намекают на какой-то тайный траур. Его бледное, тонкое лицо было молодо, но чуткий наблюдатель мог бы в его чертах найти следы печали и опыта. Он держался прекрасно, улыбался спокойной, немного грустной улыбкой, медлившей у него на губах. Говорил он мало, но все высказываемое им было умно и уместно, а редкие шутки его, слишком изящные, чтобы вызвать бурный смех, открывали в разговоре потайную дверцу, впуская неожиданную свежесть. Казалось, что он не мог сразу же не понравиться Ване, — именно этой благородной, загадочной скромностью, бледностью лба и узостью рук... Кое-что — например, слово «благодарствуйте», произносимое

полностью, с сохранением букета согласных, — должно было непременно открыть чуткому наблюдателю, что Смуров принадлежит к лучшему петербургскому обществу.

Марианна Николаевна, говорившая об ужасах войны, на мгновение умолкла, почувствовав наконец, что бородатый и пышный Роман Богданович давно хочет вставить свое словцо, которое он держал во рту, как большую карамель; но ему не повезло, Смуров оказался проворнее.

«Внимая ужасам войны, — сказал с улыбкой Смуров, — мне не жаль ни друга, ни матери друга, а жаль мне тех, кто на войне не побывал. Трудно передать, какое музыкальное наслаждение в жужжании пуль — или когда летишь карьером в атаку...»

«Война всегда отвратительна, — сухо перебила Марианна Николаевна. — Я, вероятно, иначе воспитана, чем вы. Человек, отнимающий жизнь у другого, всегда убийца, будь он палач или кавалерист».

«Я лично...» — сказал Смуров, но она опять перебила:

«Военная доблесть — это пережиток прошлого. В течение моей врачебной практики мне часто приходилось видеть людей, искалеченных и выбитых из жизни войной. Человечество теперь стремится к другим идеалам. Нет ничего унизительнее, чем быть пушечным мясом. Может быть, другое воспитание...»

«Я лично...» — сказал Смуров.

«Другое воспитание, — быстро продолжала она, — в идеях гуманности и общекультурных интересов заставляет меня на это смотреть другими глазами, чем вы. Я ни в кого не палила и никого не закалывала. Будьте покойны — среди врачей, моих коллег, больше найдется героев, чем на поле битвы...»

«Я лично...» — сказал Смуров.

«Но довольно об этом, — отрезала Марианна Николаевна. — Я вижу, что ни вы меня не убедите, ни я вас. Прения закончены».

Наступило легкое молчание. Смуров спокойно размешивал ложечкой чай. Да, очевидно, он — бывший офицер, смельчак, партнер смерти, и только из скромности ничего не говорит о своих приключениях.

«А я вот что хотел рассказать, — грянул Роман Богданович. — Вы упомянули о Константинополе, Марианна Николаевна. Был у меня там один хороший знакомый —

некий Кашмарин, впоследствии я с ним поссорился, он был страшно резок и вспыльчив, хотя отходчив и по-своему добр. Он, между прочим, одного француза избил до полусмерти — из ревности. Ну вот, он мне рассказал следующую историю. Рисует нравы Турции. Представьте себе...»

«Неужели избил? — прервал Смуров с улыбкой. — Вот это здорово, люблю...»

«До полусмерти», — сказал Роман Богданович и пустился в повествование.

Смуров, слушая, одобрительно кивал, и было видно, что такой человек, как он, несмотря на внешнюю скромность и тихость, таит в себе некий пыл и способен в минуту гнева сделать из человека шашлык, а в минуту страсти женщину умыкнуть под плащом, ветреной ночью, как сделал кто-то в рассказе Романа Богдановича. Ваня, если разбиралась в людях, должна была это заметить.

«У меня все подробно в дневнике изложено», — самодовольно закончил Роман Богданович и хлебнул чаю.

Мухин и Хрущов опять застыли по косякам; Ваня и Евгения Евгеньевна оправили платья на коленях совершенно одинаковым жестом; Марианна Николаевна ни с того ни с сего уставилась на Смурова, который сидел к ней в профиль и, по рецепту мужественных тиков, играл желваками скул под ее недоброжелательным взглядом. Он мне нравился, да, он мне нравился, — и я чувствовал, что чем пристальнее смотрит Марианна Николаевна, культурная женщина-врач, тем отчетливее и стройнее растет образ молодого головореза, с железными нервами, бледного от прежних бессонных ночей в степных балках, на разрушенных снарядами станциях. Казалось, все обстоит благополучно.

3

Викентий Львович Вайншток, у которого Смуров служил в приказчиках (сменив негодного старика), знал о нем меньше, чем кто-либо. В характере у Вайнштока была доля приятной азартности. Этим, вероятно, объясняется, что он дал у себя место малознакомому человеку. Его подозрительность требовала постоянной пищи. Как у иных нормальных и совершенно почтенных людей вдруг оказывается страсть к собиранию стрекоз или гравюр, так и Вайншток, внук

старьевщика, сын антиквара, солидный, уравновешенный Вайншток, всю свою жизнь занимавшийся книжным делом, устроил себе некий отдельный маленький мир. Там, в полутьме, происходили таинственные события.

Индия вызывала в нем мистическое уважение: он был одним из тех, кто при упоминании Бомбея представляет себе не английского чиновника, багрового от жары, а непременно факира. Он верил в чох и в жох, в чет и в чорта, верил в символы, в силу начертаний и в бронзовые, голопузые изображения. По вечерам он клал руки, как застывший пианист, на легонький столик о трех ножках: столик начинал нежно трещать, цыкать кузнечиком и затем, набравшись сил, медленно поднимался одним краем и неуклюже, но сильно ударял ножкой об пол. Вайншток вслух читал азбуку. Столик внимательно следил и на нужной букве стучал. Являлся Цезарь, Магомет, Пушкин и двоюродный брат Вайнштока. Иногда столик начинал шалить, поднимался и повисал в воздухе, а не то предпринимал атаку на Вайнштока, бодал его в живот, и Вайншток, добродушно успокаивая духа, словно укротитель, нарочно поддающийся игривости зверя, отступал по всей комнате, продолжая держать пальцы на столике, шедшем вперевалку. Употреблял он для разговоров также и блюдечко с меткой, и еще какое-то сложное приспособленьице, с торчавшим вниз карандашом. Разговоры записывались в особые тетрадки. Это были диалоги такого рода:

Вайншток. Нашел ли ты успокоение?

Ленин. Нет. Я страдаю.

Вайншток. Желаешь ли ты мне рассказать о загробной жизни?

Ленин *(после паузы)*. Нет...

Вайншток. Почему?

Ленин. Там ночь.

Тетрадок было множество, и Вайншток говорил, что когда-нибудь опубликует наиболее значительные разговоры. И очень был забавен некий дух Абум, неизвестного происхождения, глуповатый и безвкусный, который играл роль посредника, устраивая Вайнштоку свидания с разными знаменитыми покойниками. К самому Вайнштоку он относился с некоторым амикошонством:

Вайншток. Дух, кто ты?

Ответ: Иван Сергеевич.
Вайншток. Какой Иван Сергеевич?
Ответ: Тургенев.
Вайншток. Продолжаешь ли ты творить?
Ответ: Дурак.
Вайншток. За что ты меня ругаешь?
Ответ *(столик буйствует)*. Надул. Я — Абум.

Иногда от Абума, начавшего озорничать, нельзя было отделаться во весь сеанс. «Прямо какая-то обезьяна», — жаловался Вайншток.

Партнершей Вайнштока в этих играх была маленькая розово-рыжая дама с пухлыми ручками, крепко надушенная и всегда простуженная. Позже я узнал, что у них давным-давно связь, но странно откровенный в иных вещах Вайншток ни разу не проговорился об этом, называли они друг друга по имени-отчеству, держались как хорошие знакомые, она часто приходила в магазин и, греясь у печки, читала теософский журнал, выходивший в Риге. Она поощряла Вайнштока в его опытах с потусторонним, причем рассказывала, что у нее периодически оживает в комнате мебель, колода карт перелетает с одного места на другое или рассыпается по ковру, а однажды лампочка, спрыгнув с ночного столика на пол, стала подражать собачке, нетерпеливо натягивающей поводок, шнур в конце концов выскочил, в темноте что-то убежало, и лампочка была найдена в передней у самой двери. Вайншток говорил, что ему, к сожалению, «сила» не дана, что у него нервы как подтяжки, а у медиумов не нервы, а прямо какие-то струны. В материализацию он, впрочем, не верил и только в виде курьеза хранил у себя фотографию, подаренную ему спиритом, на которой изо рта рыхлой, бледной женщины с закрытыми глазами выливалась текучая, облачная масса.

Он любил Эдгара По, приключения, разоблачения, пророческие сны и паутинный ужас тайных обществ. Масонские ложи, клубы самоубийц, мессы демонопоклонников и особенно агенты, присланные «оттуда» (и как красноречиво и жутко звучало это «оттуда») для слежки за русским человечком за границей, превращали Берлин для Вайнштока в город чудес, среди которых он себя чувствовал как дома. Он намекал, что состоит членом большой организации, призванной будто бы распутывать и разрывать тонкие ткани, которые плетет некий ярко-алый паук,

изображенный у Вайнштока на ужасно безвкусном перстне, придававшем его волосатой руке что-то экзотическое. «Они всюду, — говорил он веско и тихо. — Они всюду. Я прихожу в дом, там пять, десять, ну двадцать человек... И среди них, без всякого сомнения, ах, без всякого сомнения, хоть один агент. Вот я говорю с Иван Иванычем, и кто может побожиться, что Иван Иваныч чист? Вот у меня человек служит в конторе, — да, скажем, не в книжной лавке, а в какой-то конторе, я хочу все это без всяких личностей, вы меня понимаете, — ну и разве я могу знать, что он не агент? Всюду, господа, всюду... Это такая тонкая слежка... Я прихожу в дом, там гости, все друг друга знают, и все-таки вы не гарантированы, что вот этот скромный и деликатный Иван Иваныч не является...» — и Вайншток многозначительно кивал.

У меня вскоре возникло подозрение, что Вайншток, правда очень осторожно, намекает на кого-то определенного. Вообще же говоря, всякий, кто с ним беседовал, всегда выносил впечатление, что Вайншток не то в него самого метит, не то в общего знакомого. Самое замечательное, что однажды, — и этот случай Вайншток вспоминал с гордостью, — нюх его не обманул: человек, с которым он был довольно близко знаком, приветливый, простой, «рубашка нараспашку», как выразился Вайншток, оказался действительно ядовитой советской ягодкой. Мне кажется, ему не так уж было бы обидно упустить шпиона, но страшно было бы обидно не успеть намекнуть шпиону, что он, Вайншток, его раскусил.

Пускай от Смурова веяло некоторой загадочностью, пускай прошлое его было довольно туманно, — но неужели же?.. Вот он, например, за прилавком в своем аккуратном черном костюме, гладко причесанный, с чистым, бледным лицом. Когда входит покупатель, он осторожно приставляет дымящуюся папиросу к краю пепельницы и, потирая тонкие руки, внимательно выслушивает желание вошедшего. Иногда, — особенно если покупает дама, — он с легкой улыбкой, выражающей не то снисхождение к книгам вообще, не то насмешечку над самим собой в роли простого приказчика, дает ценные советы — вот это стоит прочесть, а вот это немного слишком серьезно; вот тут очень увлекательно описана вековечная борьба полов, а вот этот роман неглубокий, но очень блестящий, быстрый, прямо, знаете,

как шампанское. И дама, купившая книгу, красногубая дама в котиковой шубе, уносит с собой его привлекательный образ: тонкость рук, немного неловко берущих деньги, матовый голос, скользящую улыбочку, прекрасные манеры. Но в гостях у Евгении Евгеньевны Смуров уже начинал производить на кое-кого несколько другое впечатление.

Жизнь этой семьи в пятом доме по Павлиньей улице была исключительно счастливой. Отец, живший большую часть года в Лондоне, был, по-видимому, щедр, да и сам Хрущов зарабатывал отлично, — но не в том дело: будь они нищие, все равно ничего бы не изменилось, обвевал бы сестер такой же ветерок счастья, непонятно откуда дувший, но чувствуемый самым угрюмым и толстокожим посетителем. Было похоже, что они совершают какое-то веселое путешествие: этот надстроенный этаж плыл как дирижабль. Невозможно было точно определить, где именно находится источник счастья. Я глядел на Ваню, и вот мне уже казалось, что источник найден... Ее счастье было молчаливо. Иногда она вдруг начинала задавать вопросы и, получив ответ, тотчас умолкала и пристально смотрела на человека своими удивленными, чудесными, плохо видящими глазами. «Где ваши родители?» — спросила она как-то у Смурова. «В лучшем мире», — ответил Смуров и почему-то слегка поклонился. Ваня опять замерла на диване, а Евгения Евгеньевна, подбрасывая на ладони маленький целлулоидовый мячик для игры в пинг-понг, сказала, что она помнит мать, а Ваня не помнит. В тот вечер, кроме Смурова и неизменного Мухина, никого не было: Марианна Николаевна была на концерте, Хрущов работал у себя в комнате, не пришел и Роман Богданович, как всегда по пятницам, занятый своим дневником. Мухин, тихий и чинный, молчал, изредка поправляя зажимчик легкого пенснэ на узком своем носу. Он был очень хорошо одет и курил настоящие английские папиросы.

Смуров, пользуясь его молчанием, вдруг разговорился, как еще никогда раньше. Обращаясь преимущественно к Ване, он стал рассказывать, как спасся от смерти.

«Это было в Ялте, — рассказывал Смуров, — после ухода белых. Я отказался эвакуироваться с остальными, так как предполагал организовать партизанский отряд и продолжать борьбу. Мы сперва скрывались в горах. Во время одной перестрелки я был ранен. Пуля, не задев легкого,

прошла навылет. Когда я очнулся, то лежал навзничь и надо мной плыли звезды. Что делать? Был я один в горном ущелье и истекал кровью. Я решил добраться до Ялты, — страшно рискованно, но ничего другого я не мог придумать. Я шел всю ночь, с невероятными усилиями, большей частью ползком. На рассвете я наконец очутился в Ялте. Улицы еще спали мертвым сном. Только со стороны вокзала доносились выстрелы. Вероятно, там кого-нибудь расстреливали.

У меня был хороший знакомый, дантист. К нему-то я и направился и захлопал в ладони под его окном. Он выглянул, узнал меня и сразу впустил. Я скрывался у него, пока не зажила рана. Ясно, что моим присутствием я навлекал на него страшную опасность, и потому мне не терпелось уйти. Но куда? Хорошенько подумав, я решил поехать на север, где, по слухам, опять вспыхнула борьба. Как-то вечером я облобызался с моим милым спасителем, он дал мне денег, которые — даст Бог — я когда-нибудь ему верну, — и вот я опять иду по знакомым ялтинским улицам, в очках, с бородкой, одетый в старый френч. Я прямо направился к вокзалу. У входа на перрон стоял красноармеец и проверял документы. У меня был паспорт на имя фельдшера Соколова. Красноармеец посмотрел, сунул мне обратно бумаги, и все сошло бы благополучно, если бы не дурацкая случайность. Я вдруг слышу женский голос, который спокойно говорит: “Это белый, я его хорошо знаю”. Я сохранил самообладание, не обернулся, и хотел пройти на перрон. Но не успел я сделать и трех шагов, как голос — на этот раз мужской — крикнул: “Стой!” Я стал. Двое солдат и полная, рыхлая женщина в папахе быстро подошли ко мне. “Да, это он, — сказала женщина. — Взять его”. Я узнал в этой коммунистке горничную, прежде служившую у одних моих друзей. Шутили, что она ко мне неравнодушна. Своей тучностью и плотоядными губами она была мне чрезвычайно противна. Присоединилось еще трое солдат и человек в полувоенной одежде комиссарского типа. “Пошевеливайся”, — сказал он. Я пожал плечами и хладнокровно заметил, что произошла ошибка. “Там разберем, — сказал комиссар. — Марш”.

Я думал, что меня поведут на допрос. Оказалось, что пахнет кое-чем похуже. Когда мы дошли до пакгауза и мне было велено раздеться и стать к стене, то я сунул руку за

пазуху, делая вид, что расстегиваю френч, и в следующий миг уложил из браунинга одного, другого и бросился бежать. Остальные, конечно, открыли по мне стрельбу. Пуля сбила с меня фуражку. Я обогнул пакгауз, прыгнул через какой-то забор, застрелил человека, который бросился ко мне с лопатой, затем взбежал на железнодорожную насыпь, проскочил перед носом поезда на другую сторону и, пока длинный состав отделял меня от преследования, успел благополучно скрыться».

Далее Смуров рассказывал, как он, под прикрытием темноты, пошел по направлению к морю, как ночевал в порту, среди каких-то бочек, а наутро, в рыбачьей лодке, пустился в одинокое плавание и на пятый день, изможденный, в полуобморочном состоянии, был спасен греческой шхуной. Он рассказывал все это ровным, спокойным, даже скучноватым голосом, будто шла речь о вещах незначительных. Евгения Евгеньевна сочувственно цокала языком, Мухин слушал внимательно и вдумчиво, и раза два тихонько прочистил горло, словно, помимо своей воли, был взволнован рассказом и чувствовал уважение, даже некоторую — хорошую такую — зависть к человеку, бесстрашно и просто заглянувшему в лицо смерти. А Ваня... Да, теперь все было кончено, она не могла не увлечься Смуровым, — и как прелестно ее ресницы расставляли пунктуацию в его речах, какое было трепетное многоточие, когда Смуров остановился, как она покосилась на сестру, — влажный блеск в сторону, — чтобы, вероятно, убедиться, что та не заметила ее возбуждения.

Молчание. Мухин открыл портсигар. Евгения Евгеньевна суетливо спохватилась, что пора звать мужа чай пить. В дверях она обернулась и сказала что-то невнятное о пироге. Ваня вскочила с дивана и последовала за ней. Мухин поднял с полу и осторожно положил на стол ее платочек.

«Дайте мне одну из ваших», — сказал Смуров.

«Пожалуйста», — сказал Мухин.

«Ах, у вас всего одна осталась», — сказал Смуров.

«Берите, берите, — сказал Мухин. — У меня еще есть в пальто».

«Английские всегда пахнут медом», — сказал Смуров.

«Или черносливом, — сказал Мухин. — К сожалению, — добавил он тем же голосом, — в Ялте вокзала нет».

Это было неожиданно и ужасно. Чудесный мыльный пузырь, сизо-радужный, с отражением окна на глянцевитом боку, растет, раздувается — и вдруг нет его, — только немного щекочущей сырости прямо в лицо.

«До революции, — сказал Мухин, прерывая невозможное молчание, — был, кажется, проект соединить железной дорогой Ялту и Симферополь. Я хорошо знаю Ялту, не раз там бывал. Скажите, почему вы сочинили всю эту абракадабру?»

О да, Смуров мог бы еще спасти положение, как-нибудь вывернуться, новым остроумным вымыслом или, наконец, просто добродушной шуткой поддержать то, что рушилось с такой тошнотворной скоростью. Но Смуров не только не нашелся, — он сделал худшее, что мог сделать. Понизив голос, он хрипло проговорил: «Я вас очень прошу... пусть это останется между нами». Мухину стало неловко, он поправил пенснэ, хотел что-то спросить, но запнулся, так как в это мгновение сестры вернулись. За чаем Смуров мучительно старался казаться веселым. Но его черный костюм был потрепан и пятнист, галстучек, обычно завязанный так, чтобы в узле скрыть протертое место, показывал сегодня жалкую зазубрину, прыщик на подбородке неприятно горел сквозь лиловатые остатки пудры... Так вот в чем дело... Неужто и вправду у Смурова нет загадки и он просто мелкий враль, уже разоблаченный? Так вот в чем дело...

Нет, загадка осталась. Как-то вечером, в другом доме, образ Смурова получил новое, необыкновенное развитие, которое прежде только едва-едва намечалось. В комнате было тихо и темно. Маленькая лампа в углу была прикрыта газетой, и от этого простой газетный лист приобретал удивительную прозрачнейшую красоту. И вот, в этом полусумраке вдруг заговорили о Смурове.

Началось с пустяков. Сперва оборванные, смутные речи, затем назойливые намеки на какого-то инженера, затем страшное имя и отдельные слова: кровь... хлопоты... довольно... Понемногу речь стала связной, и после краткого рассказа о тихой кончине от вполне приличной болезни, странно завершившей редкую по своей мерзости жизнь, — сказано было следующее: «Теперь я предупреждаю. Бойтесь некоего человека. Он идет по моим стопам. Он следит, заманивает, предает. Из-за него уже погибли многие. Молодой вождь собирается перейти границу. Боевая группа.

Но сети будут расставлены, группа погибнет. Он следит, заманивает, предает. Будьте начеку. Бойтесь маленького человека в черном. Не доверяйте скромности вида. Я говорю правду...»

«Кто же этот человек?» — спросил Вайншток.

Ответ медлил...

«Я прошу тебя, Азеф, скажи нам, кто этот человек?»

Блюдечко снова побежало по буквам алфавита, скачками, зигзагами. Вайншток записал, прочел вслух знакомое имя. «Слышите? — сказал он, обращаясь в самый темный угол комнаты. — Хорошенькое дело! Вы понимаете, что я этому ни секунды не поверю. Вы не обиделись, надеюсь? И почему бы вы обиделись? Это иногда не исключено на сеансах, что носят чушь», — и Вайншток неестественно рассмеялся.

4

Положение становилось любопытным. Я уже мог насчитать три варианта Смурова, а подлинник оставался неизвестным. Так бывает в научной систематике. Давным-давно, с лаконическим примечанием «in pratis Westmanniae», Линней описал распространенный вид дневной бабочки. Проходит время, и, в похвальном стремлении к точности, новые исследователи дают названия расам и разновидностям этого распространенного вида, так что вскоре нет ни одного места в Европе, где бы летал типический вид, а не разновидность, форма, субспеция. Где тип, где подлинник, где первообраз? И вот наконец проницательный энтомолог приводит в продуманном труде весь список названных форм и принимает за тип двухсотлетний, выцветший, скандинавский экземпляр, пойманный Линнеем, и этой условностью все как будто улажено.

Вот так и я решил докопаться до сущности Смурова, уже понимая, что на его образ влияют климатические условия в различных душах, что в холодной душе он один, а в цветущей душе окрашен иначе... Я начинал этой игрой увлекаться. Сам я относился к Смурову спокойно. Некоторая пристрастность, которая была вначале, уже сменялась просто любопытством. Зато я познал новое для меня волнение. Как ученому все равно, красив ли или нет цвет

крыла, изящен ли или груб рисунок на нем, а важны только видовые приметы, — так и я смотрел на Смурова без эстетических содроганий, но зато находил острейшее ощущение в той систематизации смуровских личин, которую я беспечно предпринял.

Работа была далеко не легкая. Например, я отлично знал, что пресная Марианна Николаевна видит в Смурове блестящего и жестокого воина, «одного из тех, кто вешал направо и налево», как, под большим секретом, в минуту откровенности передала мне Евгения Евгеньевна. Но чтобы точно определить этот образ, мне бы нужно было знать всю жизнь Марианны Николаевны, все то побочное, что оживало в ее душе, когда она смотрела на Смурова, другие воспоминания, другие случайные впечатления и все те световые эффекты, которые во всех душах разные. Разговор с Евгенией Евгеньевной происходил вскоре после отъезда Марианны Николаевны, — говорили, что она уехала в Варшаву, но подразумевалось что-то другое, были глухие недомолвки, и вот, значит, Марианна Николаевна увезла с собой и будет хранить до конца жизни, если никто ее не разуверит, совершенно особое представление о Смурове. «Ну а вы, — спросил я у Евгении Евгеньевны, — вы как думаете?» — «Ах, разве можно так сразу сказать?» — ответила она, и ее милое бульдожье лицо с бархатными глазами еще более выпучилось от улыбки. «Ну а все-таки?» — настаивал я. «Во-первых, застенчивость, — быстро произнесла она. — Да-да, большая доля застенчивости. У меня был двоюродный брат, очень смирный и симпатичный юноша, но, когда он входил в гостиную, где сидело много новых людей, он вдруг начинал посвистывать, чтобы придать себе такой независимый вид, — неглиже с отвагой». — «Ну а еще?» — «Что же еще... Я думаю, впечатлительность, большая впечатлительность, и затем, конечно, молодость, незнание людей...»

Больше ничего нельзя было из нее вытянуть, и образ получался довольно бледный, малопривлекательный. Сильнее же всего меня занимала Ванина версия Смурова. Я думал об этом постоянно. И вот, помню, мы все вместе вышли как-то вечером на улицу, а вечер выдался неудачный: оказалось, что они собираются в театр, и напрасно я лез к ним на шестой этаж. От нечего делать я и вышел их проводить до таксомоторной стоянки. Вдруг замечаю, что

забыл дома ключи. «Ах, у нас две связки, — сказала Евгения Евгеньевна, — повезло вам, что мы живем в одном доме. Берите, завтра вернете. Спокойной ночи».

Я пошел домой, и по дороге мне явилась чудесная мысль. Мне представился лощеный фильмовый хищник, читающий тайный договор или письмо, найденное на чужом столе. Мой замысел, правда, был очень нечеток. Как-то давно Смуров принес Ване желтую, пятнистую, чем-то похожую на лягушку, орхидею, — и вот, можно было выяснить, не сохранила ли Ваня заветные останки цветка в заветном ящике. Как-то раз Смуров принес Ване томик Гумилева, певца мужественности, — хорошо посмотреть, разрезаны ли страницы и не лежит ли книжка на ночном столике. И была фотография, снятая при вспышке магния, где Смуров вышел великолепно — очень бледным, с поднятой бровью, слегка в профиль, — и рядом Ваня, а Мухин — на заднем плане. Да и вообще, мало ли что можно открыть... Решив, что если встречу горничную, очень, кстати сказать, хорошенькую девицу, — объясню, что пришел отдать ключи, я тихохонько отпер дверь и на цыпочках свернул в знакомую гостиную.

Забавно застать чужую комнату врасплох. Мебель, когда я включил свет, оцепенела от удивления. На столе лежало письмо — опустошенный конверт, — как старая ненужная мать, — и листок, в сидячем положении, как большое дитя. Но жадность, трепет, стремительное движение руки — все это оказалось не к месту. Письмо было от неизвестного мне лица, от какого-то дяди Паши. Ни одного намека на Смурова. И если это был шифр, то все равно ключа я не знал... Я перепорхнул в столовую. Изюм и орехи в вазе, и рядом, на буфете же, распластанная, ничком лежащая книга — приключения какой-то русской девицы Ариадны. Дальше, в Ваниной спальне, было холодно от раскрытого окна, и странно было глядеть на кружевной убор постели и на туалетный алтарь, где мистически блестело граненое стекло. Орхидеи нигде не оказалось, но зато к столбику лампы была прислонена фотография. Ее снял Роман Богданович при вспышке магния: Ваня со светлыми скрещенными ногами, за ней узкое лицо Мухина, а слева от Вани черный локоть — все, что осталось от срезанного Смурова. Улика поразительная! На Ваниной кружевной подушке вдруг появилась звездообразная мягкая впадина — след от удара

моего кулака, и вот, я уже был в столовой и, еще вздрагивая, пожирал изюм. Тут я вспомнил секретерчик в гостиной и беззвучно к нему подбежал. Но в это мгновение донеслось с парадной двери металлическое ерзание ключа. Я стал поспешно отступать, поворачивая за собой выключатели, и вот — оказался в маленькой, шелковой комнатке, смежной со столовой. Пошарив в темноте, я натолкнулся на оттоманку и лег плашмя, словно зашел и вздремнул.

Меж тем из прихожей зазвучали голоса — обеих сестер и Хрущова. Неужели мое бесплотное порхание по комнатам продолжалось три часа? Там успели сыграть пьесу, а тут человек только пробежался через три комнаты... Неужели же целый час я думал над письмом в гостиной, целыи час над книгой в столовой, целый час над снимком в странной прохладе спальни?.. Ничего не было общего между моим временем и чужим.

Хрущов, вероятно, сразу пошел спать, так как в столовую сестры вошли одни. Дверь из моей шелковой тьмы была неплотно прикрыта: яркая щель. Я верил, что сейчас узнаю о Смурове все, что хочу.

«...но довольно утомительно, — сказала Ваня и тихо заохала, выражая для меня в звуках зевоту. — Дай мальцбиру, чаю не нужно». Легко шаркнул стул, придвигаемый к столу.

Долгое молчание. Потом голос Евгении Евгеньевны — так близко, что я с опаской покосился на световую щель. «...Главное, пускай он поставит свои условия. Это главное. Не знаю, мне эта пастила не нравится».

Опять молчание. «Хорошо, я ему скажу», — сказала Ваня. Зазвенело что-то, упала, что ли, ложечка, и снова — длинная пауза.

«Посмотри», — сказала Ваня и усмехнулась. «Что это, из дерева?» — спросила сестра. «Не знаю», — сказала Ваня и усмехнулась опять.

Погодя зевнула Евгения Евгеньевна, еще уютнее, чем Ваня.

«Часы стали», — сказала она.

И все. Они сидели еще довольно долго, чем-то звякали, щелкали щипцы и со стуком ложились на скатерть, но разговоров больше не было. Затем опять задвигались стулья, Евгения Евгеньевна вяло проговорила: «Ах, это можно так оставить», — и дивная щель, от которой я столь многого ждал, внезапно погасла. Где-то стукнула дверь,

далекий Ванин голос что-то сказал, уже неразборчиво, — и затем тишина, темнота. Я еще полежал на оттоманке и вдруг заметил, что уже рассвет, и тогда осторожно выбрался на лестницу, вернулся к себе.

Я представлял себе довольно живо, как Ваня маленькими ножницами отхватывала ненужного ей Смурова. Но могло быть и другое: иногда отрезают, чтобы обрамить отдельно. И вот — чтобы подтвердить эту последнюю догадку — совершенно неожиданно явился из Мюнхена дядя Паша. Он ехал в Лондон к брату и пробыл в Берлине всего два дня. Племянниц своих он очень давно не видел и был склонен вспоминать, как Ваня будто бы ходила под столом и как он — за это хождение, вероятно — перекидывал ее через колено и шлепал. На первый взгляд этот дядя Паша казался бодрым пятидесятилетним мужчиной, но стоило только вглядеться попристальнее, и он у вас на глазах разрушался. Было ему не пятьдесят, а семьдесят, и ничего нельзя было себе представить ужаснее, чем эта смесь моложавости и дряхлости. Веселенький, говорливый труп в синем костюме, с перхотью на плечах, очень бровастый, с бритым подбородком и с замечательными кустами в ноздрях, — дядя Паша был подвижен, шумен и любознателен. В первое свое появление он громким шепотом расспрашивал Евгению Евгеньевну про каждого гостя и не стесняясь тыкал то туда, то сюда указательным пальцем с бледно-лиловым, чудовищно длинным ногтем. А на следующий день произошло одно из тех совпадений, которые почему-то так часты, ибо есть какой-то безвкусный, озорной рок вроде вайнштоковского Абума, который вас заставляет в первый день приезда домой встретить человека, бывшего вашим случайным спутником в вагоне. Чувствуя уже несколько дней странное неудобство в простреленной груди, словно сквозняк, я отправился к русскому доктору, и в приемной сидел, конечно, дядя Паша. Пока я раздумывал, подойти ли к нему или нет (полагая, что со вчерашнего вечера он успел забыть и лицо мое, и фамилью), этот дряхлый болтун, боявшийся утаить крупицу зерна из закромов опыта, разговорился с незнакомой ему пожилой дамой, падкой, очевидно, до всякой чужой души. Сначала я за разговором не следил, но вдруг имя Смурова заставило меня встрепенуться. То, что я узнал из торжественных и пошлых слов дяди Паши, было так важно, что, когда он

наконец исчез за докторской дверью, я сразу ушел, не дожидаясь очереди, и притом совершенно бессознательно, — словно я к доктору пришел только для того, чтобы послушать дядю Пашу: окончилось представление, и я ушел. «Вообразите, — рассказывал дядя Паша. — Из малютки вышла настоящая роза. Я старый воробей и сразу смекнул: есть кавалер. Вот Женечка мне и говорит: это большой, дядя Паша, секрет, не нужно разглашать, но она давно влюблена в этого самого Смурова. Ну, мое дело, конечно, сторона. Смуров так Смуров. Но смешно подумать: я, бывало, эту девчонку раз-раз! по голеньким ягодицам, а теперь — глядь, и невеста. Прямо молится на него. Ну что ж, мы с вами, сударыня, пожили, — пускай и другие...»

Итак — свершилось. Смуров любим. Очевидно, Ваня, близорукая, но чуткая Ваня, разглядела что-то необычное в Смурове, поняла что-то в нем, его тихость ее не обманула. Вечером того же дня Смуров был особенно тих и скромен. Но теперь, когда наблюдателю было ясно, какое счастье над Смуровым стряслось, — именно стряслось, — ибо есть такое счастье, которое по силе своей, по ураганному гулу, похоже на катастрофу, — теперь можно было разглядеть некий трепет в его тихости, некий румянец радости сквозь его загадочную бледность. И Боже мой, как он смотрел на Ваню! Она опускала ресницы, ноздри у нее вздрагивали, она даже покусывала губы, скрывая от всех свои прелестные чувства. В этот вечер, казалось, что-то должно разрешиться.

Бедного Мухина не было. Хрущов тоже отсутствовал. Зато Роман Богданович (набиравший матерьял для дневника, который он еженедельно, со стародевичьей аккуратностью, посылал в виде писем приятелю в Ревель) был в тот вечер звучен и навязчив. Сестры, как всегда, сидели на диване. Смуров стоял, облокотившись о рояль, и смотрел, смотрел на гладкий Ванин пробор, на смугло-розовые щеки... Евгения Евгеньевна несколько раз вскакивала и высовывалась в окно: должен был прийти попрощаться дядя Паша, и она хотела непременно поднять его на лифте. «Я его обожаю, — смеясь говорила она. — Он ужасный чудак. Вот вы увидите, он ни за что не позволит, чтобы его поехали провожать». «Вы играете?» — любезно спросил Смурова Роман Богданович, многозначительно косясь на рояль. «Играл когда-то», — спокойно ответил Смуров, под-

нял крышку, мечтательно посмотрел на оскал клавиатуры и опустил крышку опять. «Я люблю музыку, — конфиденциально сообщил Роман Богданович. — Помнится, когда я был студентом...» — «Музыка, — сказал Смуров, повысив голос, — иногда выражает то, что в словах невыразимо. В этом смысл и тайна музыки». «Вот он», — крикнула Евгения Евгеньевна и выбежала из комнаты.

«А вы, Варвара Евгеньевна? — грубым и тучным своим голосом спросил Роман Богданович. — Вы — перстами легкими как сон — а? Ну что-нибудь... Какую-нибудь ритурнеллу». Ваня замотала головой и как бы нахмурилась, но тотчас прыснула со смеху и склонила лицо. Она смеялась, верно, над тем, что вот — какой-то чурбан предлагает ей сесть за рояль, когда и так вся ее душа гремит и переливается. В эту минуту можно было видеть на лице у Смурова совершенно неистовое желание, чтобы лифт с Евгенией Евгеньевной и дядей Пашей навеки застрял, чтобы Роман Богданович провалился прямо в пасть к синему персидскому льву, вытканному на ковре, и главное, чтобы исчез я — этот холодный, настойчивый, неутомимый наблюдатель.

Но уже в прихожей сморкался и посмеивался дядя Паша; вот он вошел и остановился на пороге, глупо улыбаясь и потирая руки. «Женечка, — сказал он, — а я ведь здесь, кажется, никого не знаю. Познакомь, познакомь». — «Ах ты, Господи, — сказала Евгения Евгеньевна, — да ведь это ваша племянница». — «Как же, как же», — сказал дядя Паша и добавил что-то возмутительное о бархатных щечках. «Остальных он, вероятно, тоже не узнает», — вздохнула Евгения Евгеньевна и громко стала нас представлять. «Смуров! — воскликнул дядя Паша, и брови его защетинились. — Ну, Смурова-то я уже хорошо знаю. Счастливец, счастливец, — лукаво продолжал он, ощупывая Смурову руки и плечи, — как не знать... Мы знаем все... Одно скажу: береги ее! Это дар небес. Будьте счастливы, мои дети...»

Он повернулся к Ване, но та, прижав скомканный платочек ко рту, выбежала из комнаты. Евгения Евгеньевна, издав странный звук, поспешно последовала за ней. Дядя Паша, однако, не заметил, как неосторожной своей выходкой, непереносимой для нежной души, довел Ваню до слез. Роман Богданович вытаращил глаза и с большим любопытством разглядывал Смурова, который — какие бы чувства он ни испытывал — держался прекрасно.

«Любовь — большая вещь», — сказал дядя Паша, и Смуров вежливо улыбнулся. «Эта девушка — клад. Вы ведь молодой инженер, не правда ли? Работа клеится?» Смуров, не вдаваясь в подробности, сказал, что зарабатывает хорошо. Роман Богданович вдруг хлопнул себя по коленкам и побагровел. «Я вот поговорю о вас в Лондоне, — сказал дядя Паша. — У меня много связей. Да, я еду, я еду. И даже сейчас».

И необыкновенный этот старик, посмотрев на часы, протянул нам руки, и Смуров, от избытка счастья, неожиданно с ним обнялся.

«Ну и дела... Вот чудной!» — сказал Роман Богданович, когда дверь за дядей Пашей захлопнулась.

В гостиную вернулась Евгения Евгеньевна. «Где он?» — спросила она с недоумением и, узнав, что он скрылся, забеспокоилась о том, что дверь внизу заперта. Она побежала на лестницу, но дядя Паша исчез, — и было что-то магическое в его исчезновении.

Евгения Евгеньевна быстро подошла к Смурову. «Пожалуйста, простите моего дядю, — заговорила она. — Я имела глупость рассказать ему про Ваню и Мухина. Он, очевидно, перепутал фамилии. Я сперва совершенно не думала, что он такой гага...»

«А я слушал и думал, что с ума схожу», — вставил Роман Богданович, разводя руками.

«Ну перестаньте, Смуров, перестаньте, — продолжала Евгения Евгеньевна. — Что с вами? Не надо так принимать это к сердцу. Ведь тут ничего нет обидного для вас».

«Я ничего, я просто не знал», — хрипло сказал Смуров.

«Ну как — не знали! Все знают... Это уже сколько времени длится. Да-да, они обожают друг друга. Почти уже два года. Слушайте, что я вам расскажу про дядю Пашу: однажды — еще когда он был сравнительно молод, — нет, вы не отворачивайтесь, это очень интересно, — когда он был сравнительно молод, — шел он как-то по Невскому...»

5

Далее следует короткая пора, когда я перестал наблюдать за Смуровым, отяжелел, оделся прежнею плотью, — словно действительно вся эта жизнь вокруг меня была

нс игрой моего воображения, а сам я в ней участвовал телом и душой. Если ты не любим, но не знаешь в точности, любим ли возможный соперник, — а если их несколько, не знаешь, который из них счастливее тебя; — если находишься в том исполненном надежд неведении, когда расточаешь на догадки невыносимое иначе волнение, — тогда все хорошо, можно жить. Но беда, когда имя наконец названо, и это имя не твое. Ведь она была очаровательна до слез, во мне поднималась со стоном ужасная соленая ночь при всякой мысли о ней. Ее бархатное лицо, близорукие глаза, нежные губы, которые на морозе сохли и припухали и как бы линяли по краям, расплываясь лихорадочной розоватостью, требовавшей прохлады кольд-крема, ее яркие платья и крупные колени, которые нестерпимо тесно сдвигались, когда она, играя с нами в дурачки, наклоняла черную шелковую голову над картами, и руки ее, грубоватые и холодные, которые особенно сильно хотелось трогать и целовать, — да, все в ней было мучительно и как-то непоправимо... И только во сне, обливаясь слезами, я ее наконец обнимал и чувствовал под губами ее шею и впадину у плеча, — но она всегда вырывалась, и я просыпался, еще всхлипывая. Что мне было до того, глупа ли она или умна, — и какое у нее было детство, и какие она читала книги, и что она думает о мире, — я ничего толком не знал, ослепленный той жгучей прелестью, которая все заменяет и все оправдывает и которую, в отличие от души человека, часто доступной нашему обладанию, никак нельзя себе присвоить, как нельзя к имуществу своему приобщить яркость облаков в ветреный вечер или запах цветка, который тянешь, тянешь до одури напряженными ноздрями и никогда не можешь до конца вытянуть из венчика. Как-то, на Рождестве, перед балом, на который они все шли без меня, я увидел между двух дверей в зеркальном просвете, как сестра пудрит ей обнаженные лопатки, а в другой раз я заметил у них в ванной комнате особую такую дамскую сеточку для поддержки груди, и это были для меня изнурительные события, которые страшно и сладко влияли на мои сны. Но должен признаться: ни разу во сне я не пошел дальше безнадежного поцелуя (я сам не понимаю, почему я так всегда плакал, когда мы встречались во сне). То, что мне нужно было от Вани, я все равно никогда бы не мог взять себе в вечное свое пользование и обладание, как

нельзя обладать окраской облака или запахом цветка. И только когда я наконец понял, что все равно мое желание неутолимо и что Ваня всецело создана мной, я успокоился, привыкнув к своему волнению и отыскав в нем всю ту сладость, которую вообще может человек взять от любви.

Постепенно я начал снова заниматься Смуровым. Между прочим, оказалось, что, несмотря на свое неравнодушие к Ване, Смуров под шумок облюбовал горничную Хрущовых — восемнадцатилетнюю девицу, очень привлекательную сонным выражением глаз. Сама-то она вовсе не была сонной: смешно подумать, до каких развратных и игривых ухищрений доходила эта скромная девица — Гретхен или Гильда, не помню, — когда дверь была заперта на ключ и почти голая лампочка на висячем шнуре озаряла фотографию молодца в тирольской шляпе и яблоко с барского стола. Об этом Смуров подробно и не без некоторой гордости рассказывал Вайнштоку, который, ненавидя игривые истории, красноречиво испускал сильное «фу!», когда слышал сальность. Потому-то ему особенно охотно такие вещи и рассказывали.

Смуров проникал к ней черным ходом, оставался у нее долго, — и, по-видимому, Евгения Евгеньевна однажды что-то заметила — поспешное движение в глубине коридора или глухой смех за дверью, — ибо сердито поговаривала о том, что Гильда (или Гретхен) завела себе пожарного. Смуров при этом самодовольно покашливал, — а когда горничная, опустив прелестные, мутные глаза, проходила по комнате с подносом, который медленно и осторожно ставила на стол, после чего сонно поправляла на виске прядь и сонно удалялась, он потирал руки, словно готовясь сказать речь, и невпопад улыбался. Рассказы о том, какое это удовольствие смотреть, как прислуживает горничная, с которой так недавно, мягко топая босыми ногами, танцовал в узкой ее комнатке под отдаленный звук граммофона, доносившийся с господской половины, заставляли Вайнштока морщиться и отплевываться. «Авантюрист, — говорил он, — авантюрист. Дон-Жуан, Казанова...» Про себя же он, несомненно, называл Смурова темной личностью и ждал от легкого столика, в котором ерзал дух Азефа, новых важных откровений. Но этот образ Смурова уже мало меня интересовал, он был обречен на медленное остывание, по

отсутствию улик, любезных сердцу Вайнштока. Загадочность, конечно, оставалась, и можно себе представить, как через несколько лет, в другом городе, Вайншток будет вскользь упоминать о странном человеке, который некогда служил у него в приказчиках, а теперь Бог весть куда делся. «Да, странная фигура, — задумчиво будет говорить Вайншток. — Это был человек, сотканный из недомолвок и скрывающий какую-то тайну. Он мог обесчестить девушку... Кем он был послан и за кем следил — трудно сказать. Но из одного верного источника... Впрочем, я ничего не хочу говорить».

Гораздо занимательнее был образ Смурова в представлении Гретхен (или Гильды). Как-то в январе исчезли из Ваниного шкафа новые шелковые чулки, и тотчас все вспомнили множество мелких пропаж — марку сдачи, оставленную на столе и, как шашку, фукнутую; стеклянную пудреницу, «бежавшую из несессера», как сострил Хрущов; шелковый платок, очень почему-то любимый, — «и куда ты могла его сунуть?»... А однажды Смуров явился в синем галстуке, ярко-синем с павлиньим переливом, — и Хрущов заморгал и сказал, что у него был точь-в-точь такой же галстук, на что Смуров нелепо смутился и больше никогда этого галстука не носил. Но конечно, никому не пришло в голову, что эта дура, украв галстук (она, кстати, говорила, что «галстук — лучшее украшение мужчины»), подарила его — по машинальной привычке — очередному своему другу, о чем с горечью Смуров повествовал Вайнштоку. И не на этом она попалась, — а попалась, когда Евгения Евгеньевна, в ее отсутствие зайдя к ней в комнату, нашла у нее в комоде коллекцию знакомых вещей, воскресших из мертвых. И вот Гретхен (или Гильда) выехала в неизвестном направлении, и Смуров некоторое время ее разыскивал, но потом бросил и признался Вайнштоку, что хорошенького понемножку. И вечером Евгения Евгеньевна рассказывала, что узнала от швейцарихи необыкновенные вещи. «Не пожарный, вовсе не пожарный, — смеясь говорила Евгения Евгеньевна, — а иностранный поэт, как это прелестно... У иностранца-поэта была несчастная любовь и родовое поместье величиной с Германию, но ему было запрещено вернуться восвояси, как это прелестно... Жалко, швейцариха не спросила фамилию, наверное русский, я даже подозреваю, что это кто-нибудь, кто бывает у нас, —

вот, например, этот прошлогодний, ну, этот же, — роковой брюнет, как его...» — «Я знаю, кого ты думаешь, — вставила Ваня. — Ты думаешь — Корф». — «А может быть, кто-нибудь другой, — продолжала Евгения Евгеньевна. — Нет, господа, это так прелестно! Полный души мужчина, духовный мужчина, говорит швейцариха. С ума сойти...» — «Я все это непременно запишу, — сказал сдобным голосом Роман Богданович. — Мой ревельский приятель получит на этот раз интереснейшее письмо». — «Неужели вам не приедается? — спросила Ваня. — Я несколько раз начинала писать и потом всегда бросала, и потом перечитывала, и потом было стыдно за написанное». — «Нет, почему же, — протянул Роман Богданович. — Если писать обстоятельно и постоянно, то делается приятное чувство, чувство самосохранения, так сказать, всю свою жизнь сохраняешь, и впоследствии чтение не лишено любопытства. Вас я, например, описал как дай Бог описать кадровому писателю. Тут черточку, там черточку — и получилась полная картина...» — «Ах, покажите», — сказала Ваня. «Не могу», — с улыбкой ответил Роман Богданович. «Ну покажите Женечке», — сказала Ваня. «Не могу, — хотел бы, да не могу. Мой ревельский приятель складывает у себя рукописи по мере их получения, и копий я нарочно не оставляю, чтобы не было соблазна постфактум подправлять, вычеркивать и так далее. И когда-нибудь, когда Роман Богданович будет очень стар, сядет Роман Богданович за стол и начнет перечитывать свою жизнь. Вот для кого я пишу — для будущего старика с рождественской бородой... И если я тогда найду, что жизнь была богатая, ценная, то оставлю эти мемуары потомкам в назидание». — «А если все ерунда?» — спросила Ваня. «Кому ерунда, кому нет», — довольно кисло ответил Роман Богданович.

Меня уже давно занимала и несколько тревожила мысль об этом эпистолярном дневнике. Постепенно желание прочесть хоть один отрывок стало страстным терзанием, ежеминутной моей заботой. Я не сомневался, что в этих записях изображен Смуров. Я знал, что очень часто пустой дневник о беседах, о прогулках, о попугаях соседа и о том, что было к завтраку в тот пасмурный день, когда, скажем, казнили короля, — я знал, что такие пустые записи часто живут сотни лет и что читаешь их с удовольствием, — ради привкуса старины, ради названия блюда, ради фестиваль-

ного простора там, где ныне тесно от больших домов. Да и кроме того, нередко случается, что сам автор, при жизни своей незамеченный, оказывается через двести лет прекрасным писателем, умеющим старомодно легким прикосновением пера увековечить какой-нибудь воздушный пейзаж, дремоту в дилижансе, причуды знакомого... От одной мысли, что образ Смурова может быть так прочно, так надолго запечатлен, меня прохватывал озноб, я шалел от желания, надо было мне во что бы то ни стало просунуться призраком между Романом Богдановичем и его ревельским другом. Богатый некоторым опытом, я вполне был готов к тому, что образ Смурова, предназначенный, быть может, жить бессмертно, на радость книгочиям, окажется для меня сюрпризом, но самое желание обладать этой тайной, увидеть Смурова в будущих веках, так меня ослепляло, что никакое разочарование не было страшно, и я только боялся одного — длительной и кропотливой перлюстрации, ибо трудно было предположить, что в первом же письме, которое я перехвачу, Роман Богданович сразу начнет красноречиво рассказывать (как тот голос, который в полном расцвете сил врывается в слух, когда на минуту включишь радио) именно о Смурове.

Я помню темную улицу и бурную мартовскую ночь. Облака, принимая различные позы, как пьяные на розвальнях, мчались по небу, а я, сгорбившись, придерживая котелок, который, казалось, взорвется как бомба, если отпущу его край, стоял у дома, где жил Роман Богданович, и единственными свидетелями моего ожидания были фонарь, как будто мигавший от ветра, да лист оберточной бумаги, который то бежал по панели, то пытался с постылой резвостью обернуться вокруг моих ног, как я его ни отпихивал. Никогда прежде я такого ветра не испытывал, никогда не видал такого стремительного и простоволосого неба. И это мне мешало. Я пришел, чтобы подсмотреть таинство — Романа Богдановича, в полночь с пятницы на субботу опускающего письмо в почтовый ящик, — мне непременно нужно было это увидеть воочию, прежде чем приступить к разработке смутного плана, который я задумал. Я надеялся, что, как только увижу Романа Богдановича, борющегося с ветром за обладание почтовым ящиком, мой бесплотный план сразу станет живым и отчетливым (он состоял в том, чтобы смастерить мешок с широким

отверстием, который я предварительно сунул бы в почтовый ящик, так его закрепив, чтобы письмо, опущенное в щель, попало бы в мой невод). Но теперь мне казалось, что ветер, то гудевший под котелком, то раздувавший мне штаны или заворачивавший их так, что мои ноги становились похожи на ноги скелета, — мне казалось, что этот ветер мешает мне, мешает сосредоточить мысль на картине похищения. Близилась полночь, я знал, что Роман Богданович пунктуален. Я смотрел на дом и старался угадать, за которым из трех-четырех освещенных окон сейчас сидит человек, склонившись над ярко-белым листом, и создает, быть может бессмертный, образ Смурова. Затем я переводил взгляд на темный куб, приделанный к чугунной решетке, на темный этот ящик, куда через минуту канет, как в вечность, немыслимое письмо. Стоял я в сторонке, сумрак лихорадочно меня скрывал. Я увидел вдруг, как зажглась желтым светом парадная дверь, и от волнения разжал пальцы, державшие край котелка. В следующий миг я кружился на месте, подняв руки, словно сорванная с меня шляпа еще летала вокруг моей головы. Но раздался легкий стук — котелок колесом побежал по панели, и я кинулся за ним, стараясь на него хотя бы наступить, лишь бы как-нибудь его удержать. На бегу я столкнулся с Романом Богдановичем, он поднимал мою шляпу, а в другой руке держал запечатанный конверт, показавшийся мне белым и огромным. Кажется, его озадачило мое появление на его улице в этот поздний час. На мгновение нас бурно окружил ветер, я заорал приветствие, стараясь перекричать шум этой бешеной ночи, и затем двумя пальцами, легким и точным движением выхватил у Романа Богдановича письмо. «Я опущу, опущу, опущу, — закричал я. — Мне по дороге, по дороге...» Я успел заметить на его лице выражение тревоги и неуверенности, но сразу бросился прочь, отбежал на двадцать шагов к ящику и, делая вид, что что-то в него сую, быстро втиснул письмо в грудной карман. Тут он меня нагнал. Я заметил его клетчатые ночные туфли. «Какие манеры, — сказал он недовольно. — Может быть, я вовсе не собирался... да берите же вашу шляпу... Ну и ветрище...» — «Я спешу, — сказал я, задыхаясь от быстроты ночи. — Всего лучшего, всего лучшего». Моя тень, попав в свет фонаря, вытянулась и меня перегнала, но сразу опять потерялась в темноте, и, как только я поки-

нул эту улицу, ветер прекратился, — было поразительно тихо, и среди этой тишины ярко освещенный трамвай со стоном брал поворот.

Я вскочил в первый попавшийся номер, прельстясь трамвайным праздничным светом, мне нужен был свет непременно, сейчас же... Найдя уютный уголок у передней двери, я с неистовой поспешностью вскрыл конверт. Тут кто-то ко мне подошел, и я, вздрогнув, скомкал письмо. Это был только кондуктор. Я деланно зевнул, спокойно стал платить, но все время прикрывал письмо, опасаясь возможных показаний на суде, ибо ничего нет вреднее этих незаметных свидетелей — кондукторов, шоферов, швейцаров. Он удалился, я развернул письмо. Оно было длинное, страничек десять, исписанных круглым почерком, без единой помарки. Начало было малоинтересно. Я перевернул несколько листков, и вдруг, как знакомое лицо среди туманной толпы, выскочило имя Смурова, это было поразительно удачно...

«Я предполагаю, мой милый Федор Робертович, ненадолго вернуться к этому субъекту. Боюсь, что будет скучно, но, как сказал Веймарский Лебедь, — я имею в виду великого Гёте — (тут следовала немецкая фраза, написанная готическим шрифтом). Поэтому позвольте мне остановиться на господине Смурове и попотчевать Вас небольшим психологическим этюдом...»

Я прикрыл письмо ладонью. В последний раз мне представлялась возможность отказаться от проникновения в тайну смуровского бессмертия. Что мне до того, если даже и впрямь вот это письмо перевалит в будущий век, в этот невообразимый век, одно начертание которого — двойка и три нуля — фантастично до нелепости? Что мне до того, каким портретом давно умерший автор попотчует, по гнусному его выражению, неведомых потомков? И вообще — не пора ли бросить эту затею, не пора ли прервать охоту, соглядатайство, безумную попытку изловить Смурова? Но увы, это были риторические мысли, — я превосходно знал, что никакая сила не может меня заставить отложить письмо...

«Мне сдается, милейший друг, что я уже писал о том, что господин Смуров принадлежит к той любопытной касте людей, которую я как-то назвал “сексуальными левшами”. Весь облик господина Смурова, его хрупкость,

декадентство, жеманство жестов, любовь к пудре, а в особенности те быстрые, страстные взгляды, которые он постоянно кидает на Вашего покорного слугу, все это давно утвердило меня в моей догадке. Замечательно, что такие, несчастные в половом смысле, субъекты часто выбирают себе предмет воздыханий — правда, вполне платонический — среди знакомых, малознакомых или вовсе незнакомых им дам. Так и господин Смуров, несмотря на свою извращенность, выбрал себе в идеалы Варвару: эта смазливая, но достаточно глупая девчонка обручена с инженером Мухиным, так что Смуров вполне гарантирован, что его не привлекут к ответственности — то бишь, к венцу, — и не заставят исполнить то, что он никогда бы ни с какой женщиной, будь она самой Клеопатрой, не мог, да и не желал бы исполнить. Кроме того, "сексуальный левша" — признаюсь, я нахожу это выражение исключительно удачным, — часто питает склонность к нарушению закона, закона человеческого, каковое нарушение ему тем более легко совершить, что нарушение законов природы уже налицо. И опять же господин Смуров не является исключением. Представьте себе, что Филипп Иннокентьевич Хрущов на днях мне конфиденциально поведал, что Смуров — вор, вор в самом вульгарном смысле этого слова. Мой собеседник, оказывается, дал в руки господину Смурову серебряную табакерку с каббалистическими знаками — очень старинную вещь — и просил его показать ее знатоку. Смуров взял эту красивую и античную вещь, а на следующий день со всеми признаками растерянности объявил Хрущову, что вещь он, мол, потерял. Выслушав Хрущова, я разъяснил ему, что иногда склонность к краже — явление чисто патологическое и даже имеет научное название: клептомания. Хрущов, как многие милые, но недалекие люди, стал наивно отрицать, что в данном случае мы имеем дело не с преступником, а с душевнобольным. Я не стал приводить те доводы, которые бы, конечно, убедили его. Для меня все ясно как день. Вместо того чтобы клеймить Смурова унизительной кличкой вора, я искренно его жалею, как это ни кажется парадоксально.

Погода изменилась к худшему, или, вернее сказать, к лучшему, — ибо не суть ли эти слякоть и ветер предзнаменования весны, милой маленькой весны, которая даже в сердце пожилого человека будит неясные желания? Мне приходит в голову афоризм, который, несомненно — —»

Я просмотрел письмо до конца. Больше ничего не было для меня интересного. Легко кашлянув, недрожащими руками я аккуратно сложил странички.

«Конечная остановка, сударь», — сказал надо мною суровый голос.

Ночь, дождь, городская окраина...

6

Смуров, в замечательной черной дохе с дамским воротом, сидит на ступенях лестницы. Вдруг к нему спускается Хрущов, тоже в дохе, и садится с ним рядом. Смурову очень трудно начать, но времени мало, надо решиться. Он высвобождает тонкую белую руку с переливающимися перстнями — все рубины, рубины — из мехового рукава и, пригладив пробор, говорит: «Я хочу кое-что вам напомнить, Филипп Иннокентьевич. Пожалуйста, слушайте внимательно». Хрущов кивает, сморкается — у него сильный насморк от постоянного сидения на лестнице, — кивает опять, шевеля опухшим носом. Смуров продолжает: «Я буду говорить о небольшом инциденте, происшедшем недавно. Пожалуйста, слушайте внимательно». — «Я к вашим услугам», — отвечает Хрущов. «Мне трудно начать, — говорит Смуров. — Я могу выдать себя неосторожным словом. Слушайте внимательно. Слушайте меня, пожалуйста. Мне важно, чтобы вы поняли, что я возвращаюсь к этому инциденту без всякой задней мысли. Мне и в голову не может прийти, что вы считаете меня вором. Согласитесь сами, что знать это я не могу, ведь я чужих писем не читаю. Я хочу, чтобы вы поняли, что наш разговор совершенно случаен... Вы слушаете?» — «Продолжайте», — говорит Хрущов, кутаясь в доху. «Итак, Филипп Иннокентьевич, давайте вспомним. Вспомним, как вы мне дали табакерку. Вы меня просили ее показать Вайнштоку. Слушайте внимательно, Филипп Иннокентьевич. Уходя от вас, я держал ее в руках. Нет, нет, пожалуйста, не читайте азбуки, я могу говорить и без азбуки... И вот — я клянусь, клянусь Ваней, клянусь всеми женщинами, которых любил, клянусь, что каждое слово того, чье имя я произнести не могу — иначе вы подумаете, что я читаю чужие письма, а потому способен и на воровство, — клянусь, что каждое его слово — ложь, —

я действительно ее потерял. Я пришел к себе, и ее не было, я не виноват, я только очень рассеян, и я так люблю ее». Но Хрущов не верит, он качает головой, и напрасно Смуров клянется, напрасно заламывает белые, сверкающие руки, — все равно, нет таких слов, чтобы убедить Хрущова. (И тут мой сон растратил свой небольшой запас логики: лестница, на которой происходил разговор, уже высилась сама по себе, среди открытой местности, и внизу были сады террасами, туманный дым цветущих деревьев, и террасы уходили вдаль, и там был, кажется, портик, в котором горело сквозной синевой море.) «Да-да, — с угрозой в голосе тяжело говорит Хрущов, — в табакерке кое-что было, и потому она незаменима. В ней была Ваня, — да, да, это иногда бывает с девушками, — очень редкое явление, — но это бывает, это бывает...»

Я проснулся. Было раннее утро. Стекла дрожали от проезжавшего грузовика. Окно давно не бывало покрыто поволокой лилового румянца, — ибо приближалась весна. И задумался я над тем, как много произошло за это время, — и сколько новых людей я узнал, и как увлекателен, как безнадежен сыск, мое стремление найти настоящего Смурова... Что скрывать: все те люди, которых я встретил, — не живые существа, а только случайные зеркала для Смурова, но одно существо среди них — самое важное для меня, самое ясное зеркало — все еще отказывалось выдать мне смуровское отражение. Легко и совершенно безобидно, созданные лишь для моего развлечения, движутся передо мной из света в тень жители и гости пятого дома по Павлиньей улице. Опять Мухин, приподнявшись с дивана, тянется через стол к пепельнице, но ни его лица, ни руки его с папиросой я не вижу, а вижу только другую руку его, которой он — уже, уже бессознательно! — опирается на мгновение о Ванино колено. Опять лицо Романа Богдановича, бородатое, с двумя красными яблоками вместо скул, наливается и дует над чаем, и опять Марианна Николаевна закидывает ногу на ногу, худую ногу в абрикосовом чулке. И в шутку, — в Сочельник, кажется, — напялив котиковую шубу жены, Хрущов перед зеркалом принимает витринные позы и ходит по комнате при общем смехе, который становится понемногу неестественным, оттого что балагур Хрущов всегда слишком растягивает шутку. И прелестная маленькая рука Евгении Евгеньевны, с блестящими, словно

мокрыми ногтями, берет лопатку для игры в пинг-понг, и целлулоидовый мячик с трогательным звуком пенькает через зеленую сетку. И в полутьме проплывает Вайншток, сидя за спиритическим столиком как за рулем; и опять сонно проходит из двери в дверь и вдруг начинает шептать и поспешно раздеваться горничная Гильда или Гретхен. По желанию моему я ускоряю или, напротив, довожу до смешной медлительности движение всех этих людей, группирую их по-разному, делаю из них разные узоры, освещаю их то снизу, то сбоку... Так, все их бытие было для меня только экраном.

Но вот, в последний раз жизнь сделала попытку мне доказать, что она действительно существует, тяжелая и нежная, возбуждающая волнение и муку, с ослепительными возможностями счастья, со слезами, с теплым ветром. Я поднялся к ним в полдень, и комнаты были пусты, и окна были раскрыты, и где-то жадным, страстным жужжанием исходил пылесос. И вдруг из гостиной, сквозь стеклянную дверь на балкон, я увидел склоненную Ванину голову; Ваня сидела с книгой на балконе, и — как ни странно — это было первый раз, что я заставал ее одну. С тех пор как я заглушал свою любовь при помощи мысли, что и Ваня, как все другие, только воображение мое, только зеркало, — я усвоил с ней особый тончик, и теперь, здороваясь, я сказал без всякого стеснения, что она «как принцесса, смотрит на весну с высокой башни». Балкон был совсем маленький, с пустыми, зелеными ящиками для цветов и с разбитым глиняным горшком в углу, который я мысленно сравнил со своим сердцем, ибо очень часто манера говорить с человеком отражается на манере мыслить в его присутствии. И было тепло, хоть не очень солнечно, а так, что-то мутное, сырое, — разбавленное солнце и ветерок, пьяненький, но кроткий, после пребывания в каком-нибудь сквере, где уже видна молодая трава, зеленый бобрик по чернозему. Вдохнув этот воздух, я вспомнил, что через неделю — Ванина свадьба, и вот тут-то я отяжелел, опять забыл Смурова, забыл, что нужно беспечно говорить, и, отвернувшись, стал смотреть вниз, на улицу. Как мы были высоко, — и совершенно одни. «Он еще не скоро придет, — сказала Ваня. — В этих учреждениях страшно задерживают». — «Ваше романтическое ожидание...» — начал я, снова принуждая себя к спасительной

легкости и стараясь уверить себя, что этот весенний ветер тоже какой-то пошленький и что мне очень весело... Я еще не взглянул хорошенько на Ваню, мне всегда нужно было некоторое время, чтобы освоиться с ее присутствием, прежде чем посмотреть на нее. Теперь оказалось, что она в белой вязаной кофточке с треугольным глубоким вырезом, и прическа особенно гладкая. Она продолжала смотреть сквозь лорнет в раскрытую книжку, — и как мы были высоко над улицей, прямо в нежном шершавом небе, и пылесос в комнатах перестал жужжать. «Дядя Паша умер, — сказала она, подняв голову. — Да. Сегодня пришла телеграмма».

Какое мне было дело до того, что окончилось существование этого веселого, полоумного старика? Но при мысли, что вместе с ним умер самый счастливый, самый недолговечный образ Смурова, образ Смурова-жениха, я почувствовал, что уже не могу сдержать давно поднимавшееся во мне волнение. Не знаю точно, с чего началось, были, вероятно, какие-то подготовительные движения, но помню, что я очутился сидящим на широкой плетеной ручке Ваниного кресла и уже сжимал ей кисть — давно снившееся, запретное прикосновение. Она сильно покраснела, и вдруг ее глаза загорелись слезами, — я так явственно видел, как темное нижнее веко налилось блестящей влагой. Одновременно она улыбалась — как будто хотела сразу мне дать с невиданной щедростью все выражения своей красоты. «Да, ужасно жалко его», — говорила она, но я ее перебил: «Так дальше нельзя, нельзя выдержать, — забормотал я, то хватая ее за кисть, сразу напрягавшуюся, то поворачивая покорный лист книги у нее на коленях, — я должен вам сказать... Теперь все равно, я уйду и больше никогда вас не увижу. Я должен вам сказать. Ведь вы меня не знаете... Но право же, я ношу маску, я всегда под маской...» — «Господь с вами, — сказала Ваня. — Я очень вас хорошо знаю, и все вижу, и все понимаю. Вы — хороший, умный человек. Подождите, я возьму платочек. Вы на него сели. Нет, он упал. Спасибо. Пожалуйста, оставьте мою руку, не надо меня так трогать. Ну пожалуйста».

И она опять улыбалась, старательно и смешно поднимая брови, словно приглашая меня улыбнуться тоже, но я уже был сам не свой, вокруг меня летала какая-то немыслимая надежда, я продолжал быстро говорить и все время двигал

руками, плечами, так что скрипела подо мной плетеная ручка кресла, и мгновениями Ванин шелковый пробор оказывался у самых моих губ, и тогда она осторожно отклоняла голову.

«Больше жизни, — говорил я поспешно. — Больше жизни, и уже давно — с первой минуты. И вы первый человек, который сказал мне, что я хороший...»

«Пожалуйста, не надо, — просила Ваня. — Вы только себе делаете больно, и мне тоже. Я вам лучше расскажу, как Роман Богданович мне объяснялся в любви. Это было уморительно...»

«Не смейте, — крикнул я. — При чем этот шут? Я знаю, я знаю, что вы были бы счастливы со мной. И если вам что-нибудь во мне не нравится, я изменюсь как вы захотите, я изменюсь».

«В вас мне все нравится, — сказала Ваня. — Даже ваше поэтическое воображение. Даже то, что вы иногда преувеличиваете. А главное, ваша доброта, — ведь вы очень добрый, и очень любите всех, и вообще вы такой смешной и милый. Но все-таки, пожалуйста, перестаньте меня хватать за руку, а то я просто встану и уйду».

«Значит, все-таки есть надежда?» — спросил я.

«Никакой, — сказала Ваня. — Вы же отлично сами знаете. И он сейчас должен прийти».

«Вы его не можете любить, — закричал я. — Это обман. Он недостоин вас. Я бы мог вам рассказать про него ужасные вещи...»

«Ну, довольно», — сказала Ваня и хотела встать. Но тут, желая остановить ее движение, я невольно и неудобно ее обнял, и, от ощущения сквозного шерстяного тепла ее кофточки, во мне забурлило мучительное и мутное наслаждение, я готов был на все, на самую отвратительную пытку, — но я должен был хоть раз ее поцеловать.

«Почему вы сопротивляетесь? — лепетал я. — Что вам стоит? Для вас это маленький акт милосердия, а для меня — все». Ей удалось высвободиться и встать. Она отошла к перилам балкончика, покашливая и щурясь на меня, и где-то в небе наметился ровный, струнный звук, заключительная нота. Мне уже нечего было терять. Я ей высказал все до конца, я кричал, что Мухин не любит, не может ее любить, я быстро осветил чудесную перспективу нашего возможного счастья вдвоем и, наконец, почувствовав, что

сейчас разрыдаюсь, бросил с размаху об пол книгу, которую почему-то держал в руках, и, повернувшись, навсегда оставил Ваню на балконе, вместе с ветром, вместе с мутным весенним небом, вместе с таинственным басовым звуком невидимого аэроплана.

В гостиной, неподалеку от двери, сидел Мухин и курил. Он проводил меня глазами и спокойно сказал: «Какой вы, однако, негодяй». Я холодно ему кивнул и вышел.

Вернувшись вниз к себе, я взял шляпу и поспешил на улицу. Зайдя в первый попавшийся цветочный магазин, я стал постукивать каблуком и громко посвистывать, так как в магазине никого не было. Прелестно и свежо пахло цветами, что почему-то усиливало мое нетерпение. В зеркальном стекле сбоку от выставки продолжалась улица, но это было продолжение мнимое: автомобиль, проехавший слева направо, вдруг исчезал, хотя улица невозмутимо его ждала, исчезал и другой, ехавший ему навстречу, — ибо один из них был только отражением. Наконец явилась продавщица. Я выбрал большой букет ландышей: с их тугих колокольчиков капала вода, у продавщицы безымянный палец был обмотан тряпочкой, вероятно укололась. Она ушла за прилавок и долго возилась, шуршала бумагой. Связанные стебли образовали что-то толстое и твердое, я никогда не думал, что ландыши могут быть такие тяжелые. Взявшись за дверную скобку, я увидел, как сбоку в зеркале поспешило ко мне мое отражение, молодой человек в котелке, с букетом. Отражение со мною слилось, я вышел на улицу.

Торопился я чрезвычайно, семенил, семенил, в облачке ландышевой сырости, стараясь ни о чем не думать, стараясь верить в чудную врачующую силу той определенной точки, к которой я стремился. Это был единственный способ предотвратить несчастье: жизнь, тяжелая и жаркая, полная знакомого страданья, собиралась опять навалиться на меня, грубо опровергнуть мою призрачность. Страшно, когда явь вдруг оказывается сном, но гораздо страшнее, когда то, что принимал за сон, легкий и безответственный, начинает вдруг остывать явью. Надо было это пресечь, и я знал, как это сделать.

Дойдя до моей цели, я стал звонить, не переводя духа, звонил так, словно утолял нестерпимую жажду, долго, жадно, самозабвенно звонил. «Будет, будет, будет», — забормотала она, открывая мне дверь. Я переметнулся через порог и сразу сунул ей в руки купленный для нее букет. «Ах, — сказала она. — Как красиво!» — и, немного оторопев, уставилась на меня своими старыми, бледно-голубыми глазами. «Не благодарите меня, — крикнул я, стремительно подняв руку, — но вот что: позвольте мне взглянуть на мою бывшую комнату, умоляю вас». — «Комнату? — переспросила старушка. — Простите, она, к сожалению, не свободна. Но как красиво, как мило...» — «Вы не совсем меня поняли, — сказал я, дрожа от нетерпения. — Мне просто хочется взглянуть. Только это. Больше ничего. Вот я принес вам цветы. Я прошу вас. Ведь жилец, вероятно, на службе...»

Ловко ее миновав, я побежал по коридору, а она за мной. «Боже мой, комната сдана, — повторяла старушка. — Доктор Гибель съезжать не собирается. Я не могу вам ее сдать».

Я рванул дверь. Расположение мебели было несколько изменено; другой кувшин стоял на умывальнике; а за ним в стене я нашел тщательно замазанную дырку, — да, я ее нашел и сразу успокоился, глядел, прижав руку к сердцу, на сокровенный знак моей пули: она доказывала мне, что я действительно умер, мир сразу приобретал опять успокоительную незначительность, я снова был силен, ничто не могло смутить меня, я готов был вызвать взмахом воображения самую страшную тень из моей прошлой жизни.

С достоинством поклонившись старушке, я вышел из этой комнаты, где некогда какой-то человек, согнувшись вдвое, отпустил смертельную пружину. Проходя через переднюю, я заметил на столе мой букет и, словно в рассеянии, на ходу прихватил его, подумав, что тупая старушка мало заслужила такой дорогой подарок и что можно иначе его применить, послать его, например, Ване с запиской, полной грустного юмора... Влажная свежесть цветов была мне приятна, тонкая бумага местами разошлась, и, сжимая пальцами холодное зеленое тело стеблей, я вспоминал журчание, сопроводившее меня в небытие. Я шел не спеша по самому краю панели и жмурился, представляя себе, что иду над бездной, и вдруг меня сзади окликнул голос:

«Господин Смуров», — сказал он громко, но неуверенно.

Я обернулся на звук моего имени, при чем одной ногой невольно сошел на мостовую. Кашмарин, Матильдин муж, сдергивал желтую перчатку, страшно спеша мне протянуть руку. Он был без пресловутой трости и как-то изменился — пополнел, что ли, — выражение у него было смущенное, он показывал крупные, тусклые зубы, одновременно скалясь на строптивую перчатку и улыбаясь мне. Наконец ко мне хлынула его растопыренная рука. Я почувствовал странную слабость и умиление, даже защипало в глазах. «Смуров, — сказал он, — вы не можете представить себе, как я рад, что вас встретил. Я вас искал как безумный, никто не знал вашего адреса».

Тут я спохватился, что слишком любезно слушаю это привидение из моей прошлой жизни, и, решив немного его осадить, сказал: «Мне не о чем с вами говорить. Будьте еще благодарны, что я не подал на вас в суд». — «Смуров, — протянул он виновато, — я ведь прошу у вас прощения за мою подлую вспыльчивость. Я не находил себе места после нашего... крупного разговора. Я ужасался. Разрешите мне признаться вам как джентльмен джентльмену: я ведь потом узнал, что вы были не первым и не последним, и я развелся, да, я развелся».

«Между нами не может быть никаких разговоров», — сказал я — и понюхал мой толстый, холодный букет.

«Ах, не будьте так злопамятны, — воскликнул Кашмарин. — Ну, ладно, — ударьте меня, — двиньте хорошенько, а затем давайте мириться. Не хотите? Вот, вы улыбаетесь — это хорошо. Не прячьте лицо в ландыши, — вы улыбаетесь. Итак, мы теперь можем говорить как друзья. Разрешите мне вас спросить, сколько вы зарабатываете?»

Я еще немного пожался, но потом ответил. Мне все время приходилось сдерживать желание сказать этому человеку что-нибудь приятное, растроганное.

«Вот видите, — сказал Кашмарин. — Я вам устрою службу, на которой будете получать втрое больше. Заходите завтра утром ко мне, в отель "Монополь". Я вас кое с кем познакомлю. Служба вольготная, не исключены поездки на Ривьеру, в Италию. Автомобильное дело. Зайдете?»

Он, как говорится, попал в точку. Вайншток и его книги давно мне приелись. Я опять стал нюхать холодные цветы, скрывая в них свое удовольствие и благодарность.

«Еще подумаю», — сказал я и чихнул. «На здоровье, — воскликнул Кашмарин. — Так не забудьте. Завтра. Как я рад, как я рад, что вас встретил».

Мы расстались. Я тихо побрел дальше, уткнувшись в свой букет.

Кашмарин унес с собою еще один образ Смурова. Не все ли равно какой? Ведь меня нет, — есть только тысячи зеркал, которые меня отражают. С каждым новым знакомством растет население призраков, похожих на меня. Они где-то живут, где-то множатся. Меня же нет. Но Смуров будет жить долго. Те двое мальчиков, моих воспитанников, состарятся, — и в них будет жить цепким паразитом какой-то мой образ. И настанет день, когда умрет последний человек, помнящий меня. Быть может, случайный рассказ обо мне, простой анекдот, где я фигурирую, перейдет от него к его сыну или внуку, — так что еще будет некоторое время мелькать мое имя, мой призрак. А потом конец.

И все же я счастлив. Да, я счастлив. Я клянусь, клянусь, что счастлив. Я понял, что единственное счастье в этом мире — это наблюдать, соглядатайствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, — не делать никаких выводов, — просто глазеть. Клянусь, что это счастье. И пускай сам по себе я пошловат, подловат, пускай никто не знает, не ценит того замечательного, что есть во мне, — моей фантазии, моей эрудиции, моего литературного дара... Я счастлив тем, что могу глядеть на себя, ибо всякий человек занятен, — право же, занятен! Мир, как ни старайся, не может меня оскорбить, я неуязвим. И какое мне дело, что она выходит за другого? У меня с нею были по ночам душераздирающие свидания, и ее муж никогда не узнает этих моих снов о ней. Вот высшее достижение любви. Я счастлив, я счастлив, как мне еще доказать, как мне крикнуть, что я счастлив, — так, чтобы вы все наконец поверили, жестокие, самодовольные...

В. СИРИНЪ

ПОДВИГЪ

РОМАНЪ

«СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ»
...s CONTEMPORAINES
...de la Tour, Paris (16e)

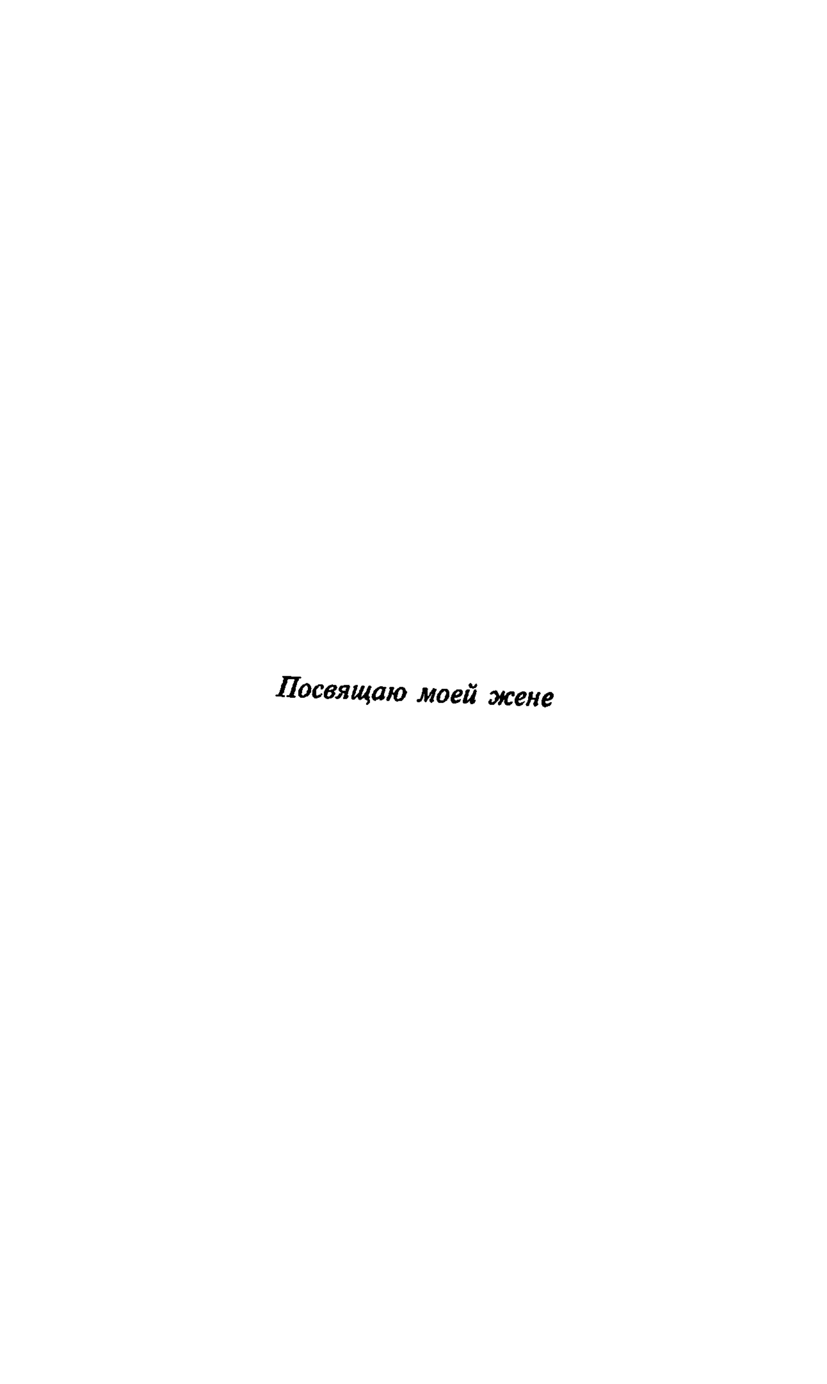
ПАРИЖЪ
1932

В. СИРИНЪ

ПОДВИГЪ

ПАРИЖЪ
ИЗДАТЕЛЬСТВО „СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ“
1932


Подвиг
РОМАН
1931—1932



Посвящаю моей жене

I

Эдельвейс, дед Мартына, был, как это ни смешно, швейцарец, — рослый швейцарец с пушистыми усами, воспитывавший в шестидесятых годах детей петербургского помещика Индрикова и женившийся на младшей его дочери. Мартын сперва полагал, что именно в честь деда назван бархатно-белый альпийский цветок, баловень гербариев. Вовсе отказаться от этого он и позже не мог. Деда он помнил ясно, но только в одном виде, в одном положении: старик, весь в белом, толстый, светлоусый, в панамской шляпе, в пикейном жилете, богатом брелоками (из которых самый занимательный — кинжал с ноготок), сидит на скамье перед домом, в подвижной тени липы. На этой скамье дед и умер, держа на ладони любимые золотые часы, с крышкой как золотое зеркальце. Апоплексия застала его на этом своевременном жесте, и стрелка, по семейному преданию, остановилась вместе с его сердцем. Затем дедушка Эдельвейс годами сохранялся в грузном кожаном альбоме; в его время снимали со вкусом, с расстановкой, это была операция нешуточная, пациент должен был замереть надолго, — еще не пришло, вместе с моментальной фотографией, разрешение на улыбку. Сложностью светописи объяснялись увесистость и крепость бравых дедушкиных поз на бледноватых, но очень добротных фотографиях, — дедушка в молодости, с ружьем, с убитым вальдшнепом у ног, дедушка на кобыле Дэзи, дедушка на полосатой верандовой лавке, с черной таксой, не хотевшей сидеть смирно, а потому получившейся с тремя хвостами. И только в тысяча девятьсот восемнадцатом году дедушка Эдельвейс исчез окончательно, ибо сгорел альбом, сгорел стол, где альбом лежал, сгорела и вся усадьба, которую, по глупости, спалили целиком, вместо того чтобы поживиться обстановкой, мужички из ближней деревни.

Отец Мартына врачевал накожные болезни, был знаменит, — тоже, как и дед, бел и тучен, любил в свободное время удить бычков и обладал великолепной коллекцией кинжалов, сабель, а также длинных старинных пистолетов, из-за которых приверженцы более новых систем чуть его не расстреляли. Весной восемнадцатого года он отяжелел, распух, стал задыхаться и умер при неясных обстоятельствах. Его жена, Софья Дмитриевна, жила в то время с сыном под Ялтой: городок примерял то одну власть, то другую, и все привередничал.

Это была розовая, веснушчатая, моложавая женщина, с копной бледных волос, с приподнятыми бровями, густоватыми у переносицы, но почти незаметными поближе к вискам, и со щелками в удлиненных мочках нежных ушей, которые прежде она пронимала сережками. Еще недавно она сильно и ловко играла в теннис на площадке в парке, существовавшей с восьмидесятых годов, осенью много каталась на черном велосипеде «Энфильд» по аллеям, по шумно шуршащим коврам сухих листьев, или отмахивала пешком по упругой обочине весь длинный, с детства любимый путь между Ольховым и Воскресенским, поднимая и опуская, как заправский ходок, конец дорогой трости с коралловым набалдашником. В Петербурге она слыла англоманкой и славу эту любила, красноречиво говорила о бойскаутах, о Киплинге и находила совершенно особое удовольствие в частых посещениях Дрюса, где, уже на лестнице, перед большой рекламой (женщина, сочно намыливающая голову мальчишке), приветствовал вас замечательный запах мыла, лаванды, с примесью еще чего-то, говорившего о резиновых ваннах, футбольных мячах и круглых, тяжеленьких, туго спеленутых рождественских пудингах. И разумеется, первые книги Мартына были на английском языке: Софья Дмитриевна как чумы боялась «Задушевного Слова» и внушила сыну такое отвращение к титулованным смуглянкам Чарской, что и впоследствии Мартын побаивался всякой книги, написанной женщиной, чувствуя и в лучших из этих книг бессознательное стремление немолодой и, быть может, дебелой дамы нарядиться в смазливое имя и кошечкой свернуться на канапе. Софья Дмитриевна не терпела уменьшительных, следила за собой, чтобы их не употреблять, и сердилась, когда муж говаривал: «У мальчугана опять кашелек, посмотрим, нет ли тем-

пературки». Русская же литература для детей кишмя кишела сюсюкающими словами или же грешила другим — нравоучительством.

Если фамилия деда Мартына цвела в горах, то девичья фамилия бабки, волшебным происхождением разнясь от Волковых, Куницыных, Белкиных, относилась к русской сказочной фауне. Дивные звери рыскали некогда по нашей земле. Но русскую сказку Софья Дмитриевна находила аляповатой, злой и убогой, русскую песню — бессмысленной, русскую загадку — дурацкой и плохо верила в пушкинскую няню, говоря, что поэт ее сам выдумал вместе с ее побасками, спицами и тоской. Таким образом, Мартын в раннем детстве не узнал иного, что впоследствии сквозь самоцветную волну памяти могло бы прибавить к его жизни еще одно очарование, но очарований было и так вдосталь, и ему не приходилось жалеть, что не Еруcланом, а западным братом Еруслана было в детстве разбужено его воображение. Да и не все ли равно, откуда приходит нежный толчок, от которого трогается и катится душа, обреченная после сего никогда не прекращать движения.

II

Над маленькой, узкой кроватью, с белыми веревчатыми решетками по бокам и с иконкой в головах (в грубоватой прорези фольги — лаково-коричневый святой, а малиновый плюш на исподе подъеден не то молью, не то самим Мартыном), висела на светлой стене акварельная картина: густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. Меж тем в одной из английских книжонок, которые мать читывала с ним, — и как медленно и таинственно она произносила слова, доходя до конца страницы, как таращила глаза, положив на нее маленькую белую руку в легких веснушках и спрашивая: «Что же, ты думаешь, случилось дальше?» — был рассказ именно о такой картине с тропинкой в лесу прямо над кроватью мальчика, который однажды, как был, в ночной рубашке, перебрался из постели в картину, на тропинку, уходящую в лес. Мартына волновала мысль, что мать может заметить сходство между акварелью на стене и картинкой в книжке: по его расчету, она, испугавшись, предотвратила бы ночное путешествие тем, что картину бы

убрала, и потому всякий раз, когда он в постели молился перед сном (сначала коротенькая молитва по-английски — «Иисусе нежный и кроткий, услышь маленького ребенка», — а затем «Отче Наш» по-славянски, причем какого-то Якова мы оставляли должникам нашим), быстро лепеча и стараясь коленями встать на подушку — что мать считала недопустимым по соображениям аскетического порядка, — Мартын молился о том, чтобы она не заметила соблазнительной тропинки как раз над ним. Вспоминая в юности то время, он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь. Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излуки тропинки, пересеченной там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей.

Бабушка Эдельвейс, рожденная Индрикова, ревностно занимаясь акварелью во дни молодости, вряд ли предвидела, когда мешала на фарфоровой палитре синенькую краску с желтенькой, что в этой рождающейся зелени будет когда-нибудь плутать ее внук. Волнение, которое Мартын узнал и которое с той поры, в различных проявлениях и сочетаниях, всегда уже сопутствовало его жизни, было как раз тем чувством, которое мать и хотела в нем развить, — хотя сама бы затруднилась подыскать этому чувству название, — знала только, что нужно каждый вечер питать Мартына тем, чем ее самое питала когда-то покойная гувернантка, старая, мудрая госпожа Брук, сын которой собирал орхидеи на Борнео, летал на аэростате над Сахарой, а погиб от взрыва котла в турецкой бане. Она читала, и Мартын слушал, стоя в кресле на коленях и облокотясь на стол, и было очень трудно кончить, увести его спать, он все просил еще и еще. Иногда она носила его по лестнице в спальню на спине, и это называлось «дровосек». Перед сном он получал из жестяной коробки, оклеенной голубой бумагой, английский бисквит. Сверху были замечательные сорта с сахарными нашлепками, поглубже — печенья имбирные, кокосовые, а в грустный вечер, когда он доходил до дна, приходилось довольствоваться третьеклассной породой — простой и пресной.

И все шло Мартыну впрок — и хрустящее английское печенье, и приключения Артуровых рыцарей, — та сладкая минута, когда юноша, племянник, быть может, сэра Тристрама, в первый раз надевает по частям блестящие выпуклые латы и едет на свой первый поединок; и какие-то далекие, круглые острова, на которые смотрит с берега девушка в развевающихся одеждах, держащая на кисти сокола в клобучке; и Синдбад, в красном платке, с золотым кольцом в ухе; и морской змий, зелеными шинами торчащий из воды до самого горизонта; и ребенок, нашедший место, где конец радуги уткнулся в землю; — и как отголосок всего этого, как чем-то родственный образ — чудесная модель длинного фанерно-коричневого вагона в окне общества спальных вагонов и великих международных экспрессов, — на Невском проспекте, в тусклый морозный день с легкой заметью, когда приходится носить черные вязаные рейтузы поверх чулок и штанишек.

III

Она любила его ревниво, дико, до какой-то душевной хрипоты, — и когда она с ним, после размолвки с мужем, поселилась отдельно и Мартын по воскресеньям посещал квартиру отца, где подолгу возился с пистолетами и кинжалами, меж тем как отец спокойно читал газету и, не поднимая головы, изредка отвечал: «Да, заряженный» или: «Да, отравленный», Софья Дмитриевна едва могла усидеть дома, мучась вздорной мыслью, что ее ленивый муж нет-нет да и предпримет что-нибудь — удержит сына при себе. Мартын же был с отцом очень ласков и учтив, стараясь по возможности смягчить наказание, ибо считал, что отец удален из дому за провинность, за то, что как-то на даче, летним вечером, сделал нечто такое с роялем, отчего тот издал совершенно потрясающий звук, словно ему наступили на хвост, — и на другой день отец уехал в Петербург и больше не возвращался. Это было как раз в год, когда убили в сарае австрийского герцога, — Мартын очень живо представил себе этот сарай, с хомутами по стене, и герцога в шляпе с плюмажем, отражающего шпагой человек пять заговорщиков в черных плащах, и огорчился, когда выяснилась ошибка. Удар по клавишам произошел без него, —

он в комнате рядом чистил зубы густо пенящейся, сладкой на вкус пастой, которая была особенно привлекательна следующей надписью по-английски: «Улучшить пасту мы не могли, а потому улучшили тубочку», — и действительно отверстие было щелью, так что выжимаемая паста ложилась на щетку не червячком, а ленточкой.

Последний разговор с мужем Софья Дмитриевна вспомнила полностью, со всеми подробностями и оттенками, в тот день, когда пришло в Ялту известие о его смерти. Муж сидел у плетеного столика, осматривал кончики коротких, растопыренных пальцев, и она ему говорила, что так нельзя дальше, что они давно чужие друг другу, что она готова хоть завтра забрать сына и уехать. Муж лениво улыбался и хрипловатым, тихим голосом отвечал, что она права, увы, права, и говорил, что он уедет отсюда сам, да и в городе снимет отдельную квартиру. Его тихий голос, мирная полнота, а пуще всего — пилочка, которой он во всякое время терзал мягкие ногти, выводили ее из себя, — и ей казалось, что есть чудовищное в том спокойствии, с которым они оба рассуждают о разлуке, хотя бурные речи и слезы были бы, конечно, еще ужаснее. Погодя он поднялся и, пиля ногти, принялся ходить взад и вперед по комнате, и с мягкой улыбкой говорил о житейских мелочах будущей розной жизни (нелепую роль играла при этом карета), — и вдруг, ни с того ни с сего, проходя мимо открытого рояля, двинул со всей силы сжатым кулаком по клавишам, и это было словно в раскрывшуюся на миг дверь ворвался нестройный вопль; после чего он прежним тихим голосом продолжал прерванную фразу, а проходя опять мимо рояля, осторожно его прикрыл.

Смерть отца, которого он любил мало, потрясла Мартына именно потому, что он не любил его как следует, а кроме того, он не мог отделаться от мысли, что отец умер в немилости. Тогда-то Мартын впервые понял, что человеческая жизнь идет излучинами, и что вот, первый плес пройден, и что жизнь повернулась в ту минуту, когда мать позвала его из кипарисовой аллеи на веранду и сказала странным голосом: «Я получила письмо от Зиланова», — а потом продолжала по-английски: «Я хочу, чтоб ты был храбрым, очень храбрым, это о твоем отце, его больше нет». Мартын побледнел и растерянно улыбнулся, а затем долго блуждал по Воронцовскому парку, повторяя изредка

детское прозвание, которое когда-то дал отцу, и стараясь представить себе, — и с какой-то теплой и томной убедительностью себе представляя, — что отец его рядом, спереди, позади, вот за этим кедром, вон на том покатом лугу, близко, далеко, повсюду.

Было жарко, хотя недавно прошел бурный дождь. Над лаковой мушмулой жужжали мясные мухи. В бассейне плавал злой черный лебедь, поводя пунцовым, словно накрашенным клювом. С миндальных деревец облетели лепестки и лежали, бледные, на темной земле мокрой дорожки, напоминая миндали в прянике. Невдалеке от огромных ливанских кедров росла одна-единственная березка с тем особым наклоном листвы (словно расчесывала волосы, спустила пряди с одной стороны, да так и застыла), какой бывает только у берез. Проплыла бабочка-парусник, вытянув и сложив свои ласточковые хвосты. Сверкающий воздух, тени кипарисов — старых, с рыжинкой, с мелкими шишками, спрятанными за пазухой, — зеркально-черная вода бассейна, где вокруг лебедя расходились круги, сияющая синева, где вздымался, широко опоясанный каракулевой хвоей, зубчатый Ай-Петри, — все было насыщено мучительным блаженством, и Мартыну казалось, что в распределении этих теней и блеска тайным образом участвует его отец.

«Если бы тебе было не пятнадцать, а двадцать лет, — вечером того дня говорила Софья Дмитриевна, — если бы гимназию ты уже кончил и если бы меня уже не было на свете, ты бы, конечно, мог, ты, пожалуй, был бы обязан...» Она задумалась посреди слов, представив себе какую-то степь, каких-то всадников в папахах и стараясь издали узнать среди них Мартына. Но он, слава Богу, стоял рядом, в открытой рубашке, под гребенку остриженный, коричневый от солнца, со светлыми, незагоревшими лучиками у глаз. «А ехать в Петербург...» — вопросительно произнесла она, и на неизвестной станции разорвался снаряд, паровоз встал на дыбы... «Вероятно, это все когда-нибудь кончится, — сказала она спустя минуту. — Пока же надо придумать что-нибудь». — «Я пойду выкупаюсь, — примирительно вставил Мартын. — Там Коля, Лида, все». — «Конечно, пойди, — сказала Софья Дмитриевна. — В общем, революция пройдет, и будет странно вспоминать, и ты очень поправился в Крыму. И в ялтинской гимназии

как-нибудь доучишься. Посмотри, как там хорошо освещено, правда?»

Ночью оба, и мать и сын, не могли уснуть и думали о смерти. Софья Дмитриевна, стараясь думать тихо, то есть не всхлипывать и не вздыхать (дверь в комнату сына была полуоткрыта), опять вспоминала, подробно и щепетильно, все то, что привело к разрыву с мужем, и, проверяя каждое мгновение, она ясно видела, что тогда-то и тогда-то нельзя было ей поступить иначе, и все-таки таилась где-то ошибка, и все-таки, если бы они не расстались, он не умер бы так, один, в пустой комнате, задыхающийся, беспомощный, вспоминающий, быть может, последний год их счастья (не ахти какого счастья) и последнюю заграничную поездку, Биарриц, прогулку на Круа-де-Мугер, галерейки Байонны. Была некая сила, в которую она крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожи на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплица и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле. Она стеснялась эту силу назвать именем Божиим, как есть Петры и Иваны, которые не могут без чувства фальши произнести «Петя», «Ваня», меж тем как есть другие, которые, передавая вам длинный разговор, раз двадцать просмакуют свое имя и отчество, или еще хуже — прозвище. Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, — но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, так же бережно и свято несущим дурное слово, как и доброе. И теперь, думая о неприятном, нелюбимом муже и о его смерти, Софья Дмитриевна хотя и повторяла слова молитв, родных ей с детства, на самом же деле напрягала все силы, чтобы, подкрепившись двумя-тремя хорошими воспоминаниями, — сквозь туман, сквозь большие пространства, сквозь все то, что непонятно, — поцеловать мужа в лоб. С Мартыном она никогда прямо не говорила о вещах этого порядка, но всегда чувствовала, что все другое, о чем они говорят, создает для Мартына, через ее голос и любовь, такое же ощущение Бога, как то, что живет в ней самой. Мартын, лежавший в соседней комнате и нарочито храпевший, чтобы мать не думала, что он бодрствует, тоже мучительно вспоминал, тоже пытался осмыслить смерть и уловить в темноте комнаты посмертную нежность. Он думал об отце всей силой души, производил даже некото-

рые опыты, говорил себе: если вот сейчас скрипнет половица или что-то стукнет, значит, он меня слышит и отвечает... Делалось страшно ждать стука, было душно и тягостно, шумело море, тонко пели комары. А то вдруг он с совершенной ясностью видел полное лицо отца, его пенснэ, светлые волосы бобриком, круглый родимый прыщ у ноздри и блестящее, из двух золотых змеек, кольцо вокруг узла галстука, — а когда он наконец уснул, то увидел, что сидит в классе, не знает урока, и Лида, почесывая ногу, говорит ему, что грузины не едят мороженого.

IV

Ни Лиде, ни ее брату он не сообщил о смерти отца, — потому не сообщил, что вряд ли бы удалось выговорить это естественно, а сказать с чувством было бы непристойно. Сызмала мать учила его, что выражать вслух на людях глубокое переживание, которое тотчас на вольном воздухе выветривается, линяет и странным образом делается схожим с подобным же переживанием другого, — не только вульгарно, но и грех против чувства. Она не терпела надгробных лент с серебряными посвящениями «Юному Герою» или «Нашей Незабвенной Дочурке» и порицала тех чинных, но чувствительных людей, которые, потеряв близкого, считают возможным публично исходить слезами, однако в другое время, в день удач, распираемые счастьем, никогда не позволят себе расхохотаться в лицо прохожим. Однажды, когда Мартыну было лет восемь, он попытался наголо остричь мохнатую дворовую собачку и нечаянно порезал ей ухо. Стесняясь почему-то объяснить, что он, отхватив лишние лохмы, собирался выкрасить ее под тигра, Мартын встретил негодование матери стоическим молчанием. Она велела ему спустить штаны и лечь ничком. В полном молчании он сделал это, и в полном же молчании она его отстегала желтым стеком из бычьей жилы; после чего он подтянул штаны, и она помогла ему пристегнуть их к лифчику, так как он это делал криво. Мартын ушел в парк и только там дал себе волю, тихо извыл душу, заедая слезы черникой, а Софья Дмитриевна тем временем разливалась у себя в спальне и вечером едва не заплакала вновь, когда Мартын, очень веселый и пухлый, сидел в ванне,

подталкивая целлулоидового лебедя, а потом встал, чтобы дать себе намылить спину, и она увидела на нежных частях ярко-розовые полосы. Экзекуция такого рода произведена была всего раз, и конечно Софья Дмитриевна никогда не замахивалась на него по всякому пустяковому поводу, как это делают француженки и немки.

Рано научившись сдерживать слезы и не показывать чувств, Мартын в гимназии поражал учителей своей бесчувственностью. Сам же он вскоре открыл в себе черту, которую следовало особенно ревниво скрывать, и в пятнадцать лет, в Крыму, это служило причиной некоторого мучения. Мартын заметил, что иногда он так боится показаться немужественным, прослыть трусом, что с ним происходит как раз то, что произошло бы с трусом, кровь отливает от лица, в ногах дрожь, туго бьется сердце. Признавшись себе, что подлинного, врожденного хладнокровия у него нет, он все же твердо решил всегда поступать так, как поступил бы на его месте человек отважный. При этом самолюбие было у него развито чрезвычайно. Коля, Лидин брат, был одних с ним лет, но худосочен и мал ростом. Мартын чувствовал, что без особого труда положил бы его на лопатки. Однако его так нервила возможность случайного поражения и с такой отвратительной яркостью он его себе представлял, что ни разу не попробовал вступить с Колей, с однолетком, в борьбу, но зато охотно принимал вызов Владимира Иваныча, двадцатилетнего корнета с мускулами как булыжники, через полгода убитого под Мелитополем, который жестоко мял его, ломал и после изнурительной возни придавливал его наконец, красного и осклабленного, к траве. А то случилось раз, что Мартын возвращался домой из Адреиза, где жила Лидина семья, ночью, летней крымской ночью, местами иссиня-черной от кипарисов, местами же бледной как мел от неживой белизны татарских стен против луны, и вдруг на повороте узкой кремнистой дороги, ведшей на шоссе, выросла перед ним фигура человека и густой голос спросил: «Кто идет?» Мартын с досадой отметил, что сердце забилось часто. «Э, да это — Умерахмет», — грозно сказал человек и слегка придвинулся сквозь рваную черную тень, скользнувшую по его лицу. «Нет, — сказал Мартын. — Пропустите, пожалуйста». — «А я говорю, что Умерахмет», — тихо, но еще грознее, повторил тот, и тут Мартын заметил при вспышке

луны, что у него в руке крупный револьвер. «А ну-ка, становись к стенке», — проговорил человек, сменив угрозу на примирительную деловитость. Бледную руку с черным револьвером поглотила набежавшая тень, но точка блеска осталась на том же месте. Мартыну представлялись две возможности, — первая: добиться разъяснения, вторая: шарахнуться в темноту и бежать. «Мне кажется, вы меня принимаете за другого», — неловко выговорил он и назвал себя. «К стенке, к стенке», — дискантом крикнул человек. «Тут никакой стенки нет», — сказал Мартын. «Я подожду, пока будет», — загадочно заметил человек и, хрустнув камушками, не то опустился на корточки, не то присел, — в темноте было не разглядеть. Мартын все стоял, чувствуя как бы легкий зуд по всей левой стороне груди, куда, должно быть, метил невидимый теперь ствол. «Если двинешься, убью», — совсем тихо сказал человек и еще что-то добавил, неразборчивое. Мартын постоял, постоял, мучительно пытаясь придумать, что сделал бы на его месте безоружный смельчак, ничего не придумал и вдруг спросил: «Не хотите ли папиросу, у меня есть?» Он не знал, почему это вырвалось, ему сразу стало стыдно, особенно потому, что его предложение осталось без ответа. И тогда Мартын решил, что единственное, чем он может искупить стыдное слово, это прямо пойти на человека, повалить его, буде нужно, но пройти. Он подумал о завтрашнем пикнике, о залитых ровным рыже-золотым загаром, словно лаком, Лидиных ногах, представил себе, что, может быть, отец ждет его в эту ночь, может быть, делает кое-какие приготовления к встрече, и почувствовал к нему странную неприязнь, за которую впоследствии долго себя корил. Шумело и через одинаковые промежутки бухало море, заводным звонким стрепетом подгоняли друг друга кузнечики, а этот болван в темноте... Мартын заметил, что прикрывает ладонью сердце, и, в последний раз назвав себя трусом, резко двинулся вперед. И ничего не случилось. Он споткнулся о ногу человека, и тот ее не убрал. Сгорбясь, опустив голову, человек сидел, тихо похрапывая, и сытно, густо несло от него винищем.

Благополучно добравшись до дому, выспавшись и выйдя утром на увитый глициниями балкон, Мартын пожалел, что не обезоружил пьяного шатуна: отнятым револьвером он бы мог загадочно похвастать. Он остался собой недоволен, оказавшись, по собственному мнению, не совсем на

высоте при встрече с давно желанной опасностью. Сколько раз на большой дороге своей мечты он, в бауте и сапогах с раструбами, останавливал то дилижанс, то грузный дормез, то всадника, и дукаты купцов раздавал нищим. В бытность свою капитаном на пиратском корвете он, стоя спиной к грот-мачте, один отбивал напор бунтующего экипажа. Его посылали в дебри Африки разыскивать Ливингстона, и, найдя его наконец — в диком лесу, в безымянной области, — он к нему подходил с учтивым поклоном, щеголяя сдержанностью. Он бежал с каторги через тропические топи, он шел к полюсу мимо удивленных, торчком стоявших пингвинов, он на взмыленном коне, с шашкой наголо, первым врывался в мятежную Москву. И уже Мартын ловил себя на том, что задним числом прихорашивает нелепое и довольно плоское ночное происшествие, столь же похожее на подлинную жизнь, которой он жил в мечтах, сколь похож бессвязный сон на цельную и полновесную действительность. И как иногда бывает, что, рассказывая виденный сон, мы невольно кое-что сглаживаем, округляем, подкрашиваем, чтобы поднять его хотя бы до уровня нелепости реальной, возможной, точно так же Мартын, репетируя рассказ о ночной встрече (который, однако, оглашать он не собирался), делал встречного более трезвым, револьвер его более действенным и собственные слова — более остроумными.

V

И в следующие дни, перекидываясь с Колей футбольным мячом или выискивая с Лидой в прибрежном галечнике мелкие морские курьезы (круглый камушек в цветном пояске, маленькую, зернисто-рыжую от ржавчины подкову, отшлифованные морем бледно-зеленые осколки бутылочного стекла, напоминавшие ему раннее детство, пляж в Биаррице), Мартын дивился ночному происшествию, сомневался, было ли оно, и все прочнее продвигал его в ту область, где пускало корни и начинало жить чудесной и самостоятельной жизнью все, что он выбирал из мира на потребу души. Нарастала, закипала пеной и кругло опрокидывалась волна, стелилась, взбегая по гальке, и, не удержавшись, соскальзывала назад при глухом бормотании

разбуженных камушков, и не успевала втянуться, как уже новая, с тем же круглым, веселым плеском, опрокидывалась и прозрачным пластом вытягивалась до предела, положенного ей. Коля подальше зашвыривал найденную дощечку, и фокс-терьер Лэди, поднимая враз передние лапы, прыгал по воде и напряженно пускался вплавь. Его подхватывала очередная волна, мощно несла и затем в полной сохранности выкладывала на берег, и фокс-терьер, уронив перед собой отобранную у моря дощечку, круто отряхивался. Лида, — купавшаяся только по утрам, спозаранку, вместе с матерью и Софьей Дмитриевной, — отходила налево, к скалам (прозванным ею «Айвазовскими»), пока купались мальчики: Коля плавал по-татарски, кувырком, а Мартын гордился быстрым и правильным кролем, которому его научил англичанин-гувернер в последнее лето на севере. Ни тот, ни другой мальчик, впрочем, далеко не уплывал, — и одной из самых сладостных и жутких грез Мартына была темная ночь в пустом, бурном море, после крушения корабля, — ни зги не видать, и он один, поддерживающий над водой креолку, с которой накануне танцовал танго на палубе. После купания было удивительно приятно нагишом лечь на раскаленные камни и смотреть, запрокинув голову, на черные кинжалы кипарисов, глубоко вдвинутые в небо. Коля, сын ялтинского доктора, проживший всю жизнь в Крыму, принимал эти кипарисы, и восторженное небо, и дивно-синее, в ослепительных чешуйках, море как нечто должное, обиходное, и было трудно завлечь его в любимые Мартыновы игры и превратить его в мужа креолки, случайно выброшенного на тот же необитаемый остров.

Вечером поднимались узкими кипарисовыми коридорами в Адреиз, и большая нелепая дача со многими лесенками, переходами, галереями, так забавно построенная, что порой никак нельзя было установить, в каком этаже находишься, ибо, поднявшись по каким-нибудь крутым ступеням, ты вдруг оказывался не в мезонине, а на террасе сада, — уже была пронизана желтым керосиновым светом, и с главной веранды слышались голоса, звон посуды. Лида переходила в лагерь взрослых, Коля, нажравшись, сразу заваливался спать; Мартын сидел в темноте на нижних ступеньках и, поедая из ладони черешни, прислушивался к веселым освещенным голосам, к хохоту Владимира

Иваныча, к Лидиной уютной болтовне, к спору между ее отцом и художником Данилевским, говорливым заикой. Гостей вообще бывало много — смешливые барышни в ярких платках, офицеры из Ялты и панические пожилые соседи, уходившие скопом в горы при зимнем нашествии красных. Было всегда неясно, кто кого привел, кто с кем дружен, но хлебосольство Лидиной матери, неприметной женщины в горжетке и в очках, не знало предела. Так появился однажды и Аркадий Петрович Зарянский, долговязый, мертвенно-бледный человек, имевший какое-то смутное отношение к сцене, один из тех несуразных людей, которые разъезжают по фронтам с мелодекламацией, устраивают спектакли накануне разгрома городка, бегут покупать погоны и никак не могут добежать, и возвращаются, радостно запыхавшись, с чудесно добытым цилиндром для последнего действия «Мечты Любви». Он был лысоват, с прекрасным, напористым профилем, но, повернувшись прямо, оказывался менее благообразным: под болотцами глаз набухали мешочки, и не хватало одного резца. Человек же он был мягкий, добродушный, чувствительный и, когда по ночам все выходили гулять, пел бархатным баритоном «Ты помнишь ли — у моря мы сидели...» или рассказывал в темноте армянский анекдот, и кто-нибудь в темноте смеялся. В первый раз встретив его, Мартын с изумлением и даже с некоторым ужасом признал в нем забулдыгу, приглашавшего его стать к стенке, но Зарянский, по-видимому, ничего не помнил, так что осталось неясным, кто такой Умерахмет. Пьяницей был Аркадий Петрович отменным и бушевал во хмелю, — но револьвер, который однажды снова возник — во время пикника на Яйле, в стрекотливую ночь, пропитанную лунным светом и мускат-люнелем, — оказался с пустым барабаном. Зарянский еще долго вскрикивал, грозил, бормотал, говоря о какой-то своей роковой любви, его покрыли шинелью, и он уснул. Лида сидела близко к костру и, подперев ладонями лицо, блестящими, пляшущими, румяно-карими от огня глазами глядела на вырывавшиеся искры. Погодя Мартын встал, разминая ноги, и, взойдя по черному муравчатому скату, подошел к краю обрыва. Сразу под ногами была широкая темная бездна, а за ней — как будто близкое, как будто приподнятое море с цареградской стезей посредине, лунной стезей, суживающейся к горизонту. Слева, во мраке, в таинствен-

ной глубине, дрожащими алмазными огнями играла Ялта. Когда же Мартын оборачивался, то видел поодаль огненное беспокойное гнездо костра, силуэты людей вокруг, чью-то руку, бросавшую сук. Стрекотали кузнечики, по временам несло сладкой хвойной гарью, — и над черной Яйлой, над шелковым морем, огромное, всепоглощающее, сизое от звезд небо было головокружительно, и Мартын вдруг опять ощутил то, что уже ощущал не раз в детстве, — невыносимый подъем всех чувств, что-то очаровательное и требовательное, присутствие такого, для чего только и стоит жить.

VI

Эта искристая стезя в море так же заманивала, как некогда тропинка в написанном лесу, — а собранные в кучу огни Ялты среди широкой черноты неведомого состава и свойства напоминали опять же кое-что, виденное в детстве: девятилетний Мартын, в одной рубашке, с похолодевшими пятками, стоял на коленках у вагонного окна; южный экспресс шел по Франции. Софья Дмитриевна, уложив сына, сидела с мужем в вагоне-ресторане, горничная мертвым сном спала на верхней койке; в узком отделении было темно, только просвечивал синий задвижной колпак лампы; качалась его кисть, потрескивало в стенках. Выйдя из-под простыни, добравшись по одеялу до окна, наполовину срезанного концом верхней койки, и подняв кожаную сторку, — для чего пришлось отстегнуть ее с кнопки, а тогда она гладко поехала вверх, — Мартын зяб, ощущал ломоту в коленках, но не мог оторваться от окна, за которым косогорами бежала ночь. И тогда-то он вдруг увидел то, что теперь вспомнил на Яйле, — горсть огней вдалеке, в подоле мрака, между двух черных холмов: огни то скрывались, то показывались опять, и потом заиграли совсем в другой стороне, и вдруг исчезли, словно их кто-то накрыл черным платком. Вскоре поезд затормозил и остановился во мраке. Стали доноситься странно бесплотные вагонные звуки, чей-то бубнящий голос, чей-то кашель, потом прошел по коридору голос матери, и, сообразив, что родители возвращаются из вагона-ресторана и по дороге в смежное отделение могут к нему заглянуть, Мартын

проворно метнулся в постель. Погодя поезд двинулся, но вскоре стал окончательно, издав длинный, тихо свистящий вздох облегчения, причем по темному купэ медленно прошли бледные полосы света. Мартын снова пополз к стеклу, и был за окном освещенный дебаркадер, и с глухим стуком человек катил мимо железную тачку, а на ней был ящик с таинственной надписью «Fragile»[1]. Мошки и одна большущая бабочка кружились вокруг газового фонаря; смутно шаркали по платформе, переговариваясь на ходу о неизвестном, какие-то люди; и затем поезд лязгнул буферами и поплыл, — прошли и ушли фонари, появился и тоже прошел ярко озаренный снутри стеклянный домик с рядом рычагов, — качнуло, поезд перебрал рельсы, и все потемнело за окном, — опять бегущая ночь. И снова, откуда ни возьмись, уже не между двух холмов, а как-то гораздо ближе и осязательнее, повысыпали знакомые огни, и паровоз так томительно, так заунывно свистнул, что казалось, и ему жаль расстаться с ними. Тут сильно хлопнуло что-то, и проскочил встречный поезд, проскочил, и как будто его и не было вовсе, — опять бежала волнистая чернота, и медленно редели неуловимые огни.

Когда они навсегда закатились, Мартын укрепил сторку и лег, а проснулся очень рано, и ему показалось, что поезд идет плавнее, развязнее, словно приноровился к быстрому бегу. И когда он сторку отстегнул, то почувствовал мгновенное головокружение, ибо в другую сторону, чем накануне, бежала земля, и ранний пепельно-бледный свет ясного неба тоже был неожиданный, и совершенно были внове террасы олив по склонам.

Со станции поехали в Биарриц в наемном ландо, пыльной дорогой, окаймленной пыльной ежевикой, и так как ежевику Мартын видел впервые, а станция почему-то звалась Негритянкой, он был полон вопросов. В пятнадцать лет он сравнивал крымское море с морем в Биаррице: да, бискайские волны были выше, прибой сильнее, — и толстый беньер-баск в черном, всегда мокром трико («гибельная профессия», — говорил отец) брал Мартына за руку, вел его в мелкую воду, затем оба поворачивались спиной к прибою, и с грохотом налетала сзади огромная волна, потопляя и опрокидывая весь мир. На первой, зер-

[1] «Хрупкое» *(фр.)*.

кальной полосе пляжа буролицая женщина с седыми завитками на подбородке встречала выкупавшихся, накидывала им на плечи мохнатые простыни, а дальше, в пахнувшей смолой кабинке, служитель помогал сдернуть липкий костюм и приносил шайку горячей воды, почти кипятка, куда полагалось погрузить ноги. Затем, одевшись, сидели на пляже, — мать в большой белой шляпе, под белым нарядным зонтиком, отец тоже под зонтиком, но мужским, изабеллового цвета; Мартын же, в завороченных до паха штанишках, полосатой фуфайке и загорелой соломенной шляпе с английской надписью на ленте вокруг тульи (Его Величества «Непобедимый»), строил из песка крепость, окруженную рвами. Проходил вафельник в берете, со скрежетом вертел рукояткой красного жестяного бочонка с товаром, и большие, гнутые куски вафли, смешанные с летучим песком и морской солью, остались одним из живейших воспоминаний той поры. А за пляжем, на каменной променаде, заливаемой в непогоду волной, бойкая, немолодая, нарумяненная цветочница продевала гвоздику в петлицу отцовского белого пиджака, и отец при этом смешно и добродушно смотрел на процедуру продевания, выпятив нижнюю губу и прижав наморщенный подбородок к отвороту. Было жалко покинуть в конце сентября веселое море и белую виллу с корявой смоковницей в саду, все не хотевшей дать хоть один зрелый плод. На обратном пути остановились месяца на полтора в Берлине, где по асфальтовым мостовым с треском прокатывали мальчишки на роликах, — а иногда даже взрослый с портфелем под мышкой. И были изумительные игрушечные магазины (локомотивы, туннели, виадуки), и теннис за городом, на Курфюрстендаме, и звездная ночь «Винтергартена», и поездка в сосновые леса Шарлоттенбурга свежим и ясным днем в белом электрическом таксомоторе. На границе Мартын спохватился, что забыл в вагоне вставочку со стеклышком, в котором, ежели приложить глаз, вспыхивал перламутрово-синий пейзаж, а во время обеда на вокзале (рябчики с брусникой) проводник ее принес, и отец дал ему рубль. В Вержболове было снежно, морозно, на тендере вздымалась целая гора дров, багровый русский паровоз был снабжен расчистным веером, обильный белый пар, клубясь, выливался из огромной трубы с широким развалом. Норд-Экспресс, обрусев в Вержболове, сохранил

коричневую облицовку, но стал по-новому степенным, широкобоким, жарко отопленным, и не сразу давал полный ход, а долго раскачивался после остановки. В голубом коридоре было очень приятно примоститься на откидном сиденье у окна, и мимоходом погладил Мартына по голове толстый зобатый проводник в шоколадном мундире. За окном тянулись белые поля, кое-где над снегом торчали ветлы; у шлагбаума стояла женщина в валенках, с зеленым флагом в руке; мужик, соскочив с дровней, закрывал рукавицами глаза пятившейся лошаденке. А ночью было нечто особенное: мимо черного зеркального стекла пролетали тысячи искр огненным стрельчатым росчерком.

VII

Вот с того года Мартын страстно полюбил поезда, путешествия, дальние огни, и раздирающие вопли паровозов в темноте ночи, и яркие паноптикумы мгновенных полустанков, с людьми, которых не увидишь больше никогда. Медленный отвал, скрежет рулевой цепи, нутряная дрожь канадского грузового парохода, на котором он с матерью весной девятнадцатого года покинул Крым, ненастное море и косо хлещущий дождь — не столь располагали к дорожному волнению, как экспресс, и только очень постепенно Мартын проникся этим новым очарованием. В макинтоше, в черно-белом шарфе вокруг шеи, всюду сопровождаемая, пока его не одолело море, бледным мужем, растрепанная молодая дама, дуя на волосы, щекотавшие ей лицо, расхаживала по палубе, и в ее фигуре, в летающем шарфе Мартын почуял все то драгоценное, дорожное, чем некогда его пленяли клетчатая кепка и замшевые перчатки, надеваемые отцом в вагоне, или крокодиловой кожи сумка на ремешке через плечо у девочки-француженки, с которой было так весело рыскать по длинному коридору экспресса, вправленному в летучий ландшафт. Одна только эта молодая дама выглядела примерной путешественницей, — не то что остальные люди, которых согласился взять на борт, чтобы не возвращаться порожняком, капитан этого легкомысленно зафрахтованного судна, не нашедшего в одичалом

Крыму товара. Несмотря на обилие багажа, безобразного, спешно собранного, с веревками вместо ремней, было почему-то впечатление, что все эти люди уезжают налегке, случайно; формула дальних странствий не могла вместить их растерянность и уныние, — они словно бежали от смертельной опасности. Мартына как-то мало тревожило, что оно так и есть, что вон тот спекулянт с пепельным лицом и с каратами в нательном поясе, останься он на берегу, был бы и впрямь убит первым же красноармейцем, лакомым до алмазных потрохов. И берег России, отступивший в дождевую муть, так сдержанно, так просто, без единого знака, который бы намекал на сверхъестественную продолжительность разлуки, Мартын проводил почти равнодушным взглядом, и только когда все исчезло в тумане, он вдруг с жадностью вспомнил Адреиз, кипарисы, добродушный дом, жители которого отвечали на удивленные вопросы неусидчивых соседей: «Да где ж нам жить, как не в Крыму?» И воспоминание о Лиде окрашено было иначе, чем тогдашние, действительные их отношения: он вспоминал, как однажды, когда она жаловалась на комариный укус и чесала покрасневшее сквозь загар место на икре, он хотел показать ей, как нужно сделать ногтем крест на вздутии от укуса, а она его ударила по кисти, ни с того ни с сего. И прощальное посещение он вспомнил, — когда они оба не знали, о чем говорить, и почему-то всё говорили о Коле, ушедшем в Ялту за покупками, и какое это было облегчение, когда он наконец пришел. Длинное, нежное лицо Лиды, в котором было что-то ланье, теперь являлось Мартыну с некоторой назойливостью. И, лежа на кушетке под тикающими часами в каюте капитана, с которым он очень подружился, или в благоговейном молчании разделяя вахту первого помощника, оспой выщербленного канадца, говорившего редко и с особенным жеванным произношением, но обдавшего сердце Мартына таинственным холодком, когда он однажды ему сообщил, что старые моряки на покое все равно никогда не садятся, внуки сидят, а дед ходит, море остается в ногах, — привыкая ко всему этому морскому новоселью, к маслянистым запахам, к качке, к разнообразным и странным сортам хлеба, из которых один был вроде просфоры, Мартын все уверял себя, что он пустился в странствие с горя, отпевает несчастную любовь,

но что, глядя на его спокойное, уже обветренное лицо, никто не угадает его переживаний. Возникали таинственные, замечательные люди: был канадец, зафрахтовавший судно, угрюмый пуританин, чей макинтош висел в капитанской, безнадежно испорченной уборной, маяча прямо над доской; был второй помощник, по фамилии Паткин, еврей родом из Одессы, смутно вспоминавший сквозь американскую речь очертания русских слов; а среди матросов был один Сильвио, американский испанец, ходивший всегда босиком и носивший при себе кинжал. Капитан однажды появился с ободранной рукой, говорил сперва, что это сделала кошка, но затем Мартыну по дружбе поведал, что рассадил ее о зубы Сильвио, которого ударил за пьянство на борту. Так Мартын приобщался к морю. Сложность, архитектурность корабля, все эти ступени, и закоулки, и откидные дверцы вскоре выдали ему свои тайны, и потом уже было трудно найти закоулок, еще незнакомый. Меж тем дама в полосатом шарфе, как будто разделяя Мартынову любознательность, мелькала в самых неожиданных местах, всегда растрепанная, всегда смотрящая вдаль, и уже на второй день ее муж слег, мотался на клеенчатой лавке в кают-компании, без воротничка, а на другой лавке лежала Софья Дмитриевна, с долькой лимона в губах. По временам и Мартын чувствовал сосущую пустоту под ложечкой и какую-то общую неустойчивость, — дама же была неугомонна, и Мартын уже наметил ее объектом для спасения в случае беды. Но несмотря на бурное море, корабль благополучно достиг константинопольского рейда на холодном, молочно-пасмурном рассвете, и появился вдруг на палубе мокрый турок, и Паткин, считавший, что карантин должен быть обоюдный, кричал на него: «Я тебя утону!» — и даже грозил револьвером. Через день двинулись дальше, в Мраморное море, и ничего от Босфора в памяти у Мартына не осталось, кроме трех-четырех минаретов, похожих в тумане на фабричные трубы, да голоса дамы в макинтоше, которая сама с собой говорила вслух, глядя на пасмурный берег; прислушавшись, Мартын различил слово «аметистовый», но решил, что ошибся.

VIII

После Константинополя небо прояснилось, хотя море осталось «очень чоппи», как выражался Паткин. Софья Дмитриевна дерзнула выбраться на палубу, но тотчас вернулась в кают-компанию, говоря, что ничего нет в мире отвратительнее этого рабского падения и восхождения всех внутренностей по мере восхождения и падения корабельного носа. Муж дамы стонал, спрашивал Бога, когда это кончится, и поспешно, дрожащими руками, хватал тазок. Мартын, которого мать держала за кисть, чувствовал, что ежели он сейчас не уйдет, то стошнит и его. В это время вошла, мотнув шарфом, дама, обратилась к мужу с сочувственным вопросом, и муж, молча, не открывая глаз, сделал разрезательный жест ладонью по кадыку, и тогда она задала тот же вопрос Софье Дмитриевне, которая страдальчески улыбнулась. «И вы тоже, кажется, сдали, — сказала дама, строго взглянув на Мартына, и, качнувшись, перебросив через плечо конец шарфа, вышла. Мартын последовал за ней, и ему полегчало, когда пахнул в лицо свежий ветер и открылось ярко-синее, в барашках, море. Она сидела на скрученных канатах и писала в маленькой сафьяновой книжке. Про нее на днях кто-то из пассажиров сказал, что «бабец невреден», и Мартын, вспыхнув, обернулся, но, среди нескольких унылых пожилых господ в поднятых воротниках, не разобрал нахала. И теперь, глядя на ее красные губы, которые она все облизывала, быстро виляя карандашиком по странице, он смешался, не знал, о чем говорить, и чувствовал на губах соленый вкус. Она писала и как будто не замечала его. Меж тем чистое, круглое лицо Мартына, его неполных семнадцать лет, известная ладность всего его очерка и движений — что встречается часто у русских, но сходит почему-то за «что-то английское», — вот этот самый Мартын в желтом мохнатом пальто с пояском произвел на даму некоторое впечатление.

Ей было двадцать пять лет, ее звали Аллой, она писала стихи, — три вещи, которые, казалось бы, не могут не сделать женщины пленительной. Ее любимыми поэтами были Поль Жеральди и Виктор Гофман; ее же собственные стихи, такие звучные, такие пряные, всегда обращались к мужчине на «вы» и сверкали красными, как кровь,

рубинами. Одно из них недавно пользовалось чрезвычайным успехом в петербургском свете. Начиналось оно так:

На пурпуре шелков, под пологом ампирным,
Он всю меня ласкал, впиваясь ртом вампирным,
А завтра мы умрем, сгоревшие дотла,
Смешаются с песком красивые тела.

Дамы списывали его друг у дружки, его заучивали наизусть и декламировали, а один гардемарин даже написал на него музыку. Выйдя замуж в восемнадцать лет, она два года с лишним оставалась мужу верна, но мир кругом был насыщен рубиновым угаром греха, бритые, напористые мужчины назначали собственное самоубийство на семь часов вечера в четверг, на полночь в сочельник, на три часа утра под окнами, — эти даты путались, трудно было повсюду поспеть. По ней томился один из великих князей; в продолжение месяца докучал ей телефонными звонками Распутин. И она иногда говорила, что ее жизнь — только легкий дым папиросы «Режи», надушенной амброй.

Всего этого Мартын совершенно не понял. Стихами ее он был несколько озадачен. Когда он сказал, что Константинополь вовсе не аметистовый, Алла возразила, что он лишен поэтического воображения, и, по приезде в Афины, подарила ему «Песни Билитис», дешевое издание, иллюстрированное фигурами голых подростков, и читала ему вслух, выразительно произнося французские слова, под вечер, на Акрополе, на самом, так сказать, подходящем месте. В ее разговоре Мартыну главным образом нравилась влажная манера произносить букву «р», словно была не одна буква, а целая галерея, да еще с отражением в воде. И вместо всяких французских Билитис, петербургских белых, гитарных ночей, грешных сонетов в пять дактилических строф, он ухитрился найти в этой даме с трудно усваиваемым именем совсем другое, совсем другое. Знакомство, незаметно начавшееся на пароходе, продолжалось в Греции, на берегу моря, в одной из белых фалерских гостиниц. Софье Дмитриевне с сыном достался прескверный крохотный номер, — единственное окно выходило в пыльный двор, и там, на рассвете, со всякими мучительными приготовлениями, с предварительным похлопыванием крыл и другими звуками, хрипло и бодро начинал

кричать молодой алектор. Мартын спал на твердой синей кушетке, кровать же Софьи Дмитриевны была узкая, шаткая, с ухабистым матрацем. Из насекомых жила в комнате только одна блоха, зато очень ловкая, прожорливая и совершенно неуловимая. Алла, которой посчастливилось устроиться в отличном номере с двумя кроватями, предложила взять Софью Дмитриевну к себе, а мужа перекинуть к Мартыну. Софья Дмитриевна, сказав несколько раз сряду: да что вы, да что вы, — охотно согласилась, и в тот же день состоялось перемещение. Черносвитов, большой, долговязый, мрачный, заполнил собой всю комнатку; его кровь, по-видимому, сразу отравила блоху, ибо она больше не появлялась; его вещи, — принадлежности для бритья, зеркальце с трещиной поперек, одеколон, кисточка, которую он всегда забывал сполоснуть и которая стояла весь день, проклеенная серой, остывшей пеной, на подоконнике, на столе, на стуле, — удручали Мартына, и особенно было тяжко по вечерам, когда, ложась спать, он принужден был очищать свою, Мартынову, кушетку от каких-то галстуков и нательных сеток. Раздеваясь, Черносвитов вяло почесывался, во все нёбо зевал; затем, поставив громадную, босую ногу на край стула и запустив пятерню в волосы, замирал в этой неудобной позе, — после чего медленно приходил опять в движение, заводил часы, ложился, долго, с кряхтением, уминал телом матрац. Через некоторое время, уже в темноте, раздавался его голос, всегда одна и та же фраза: «Главное, молодой человек, прошу вас не портить воздух». Бреясь по утрам, он неизменно говорил: «Мазь для лица "Прыщемор". В вашем возрасте необходимо». Одеваясь, выбирая из носков предпочтительно те, в коих дырка приходилась не на пятку, а на большой палец, — залог невидимости, — он восклицал: «Эх, были когда-то и мы рысаками», и посвистывал сквозь зубы. Все это было очень однообразно и не смешно. Мартын вежливо улыбался.

Некоторым утешением, однако, служило сознание риска. В любую ночь могло случиться, что в предательском сне он отчетливо назовет полногласное имя, в любую ночь доведенный до крайности муж мог подкрасться с наточенной бритвой. Черносвитов, впрочем, употреблял безопасную бритву: с этим снарядиком он обращался так же неряшливо, как с кисточкой, и в пепельнице всегда лежал ржавый клинок с окаменевшей каемкой пены, черноватой

от волосков. Его мрачность, его плоские поговорки мнились Мартыну доказательством глубокой, но сдержанной ревности. На весь день уезжая по делам в Афины, он не мог не подозревать, что его жена проводит время наедине с тем добродушным, спокойным, но видавшим виды молодым человеком, каким воображал себя Мартын.

IX

Было очень тепло, очень пыльно. В кофейнях подавали крохотную чашку со сладкой черной бурдой в придачу к огромному стакану ледяной воды. На заборах вдоль пляжа трепались афиши с именем русской певицы. Электрический поезд, шедший в Афины, наполнял праздный голубой день легким гулом, и все стихало опять. Сонные домишки Афин напоминали баварский городок. Желтые горы вдали были чудесны. На Акрополе, среди мраморного мусора, дрожали на ветру бледные маки. Прямо среди улицы, как будто невзначай, начинались рельсы, стояли вагоны дачных поездов. В садах зрели апельсины. На пустыре великолепно росло несколько колонн; одна из них упала и сломалась в трех местах. Все это желтое, мраморное, разбитое уже переходило в ведение природы. Та же судьба ожидала в будущем новую до поры до времени гостиницу, где жил Мартын.

И, стоя с Аллой на взморье, он с холодком восторга говорил себе, что находится в далеком, прекрасном краю, — какая приправа к влюбленности, какое блаженство стоять на ветру рядом со смеющейся растрепанной женщиной: яркую юбку то швырял, то прижимал ей к коленям ветер, наполнявший когда-то парус Улисса. Однажды, блуждая с Мартыном по неровным пескам, она оступилась, Мартын ее поддержал, она поглядела через плечо на высоко поднятую каблуком вверх подошву, пошла, оступилась снова, и он, наконец решившись, впился в ее полураскрытые губы и во время этого долгого, не очень ловкого объятия едва не потерял равновесия, она тоже пошатнулась, высвободилась и со смехом сказала, что он целуется слишком мокро, надо подучиться. Мартын ощущал в ногах возмутительную дрожь, сердце колотилось, он злился на себя за это волнение, напоминавшее минуту после школьной

потасовки, когда товарищи восклицали: «Фу, как ты побледнел!» Но первый в его жизни поцелуй — зажмуренный, глубокий, с каким-то тонким трепыханием на дне, происхождение которого он не сразу понял, был так хорош, так щедро отвечал на предчувствия, что недовольство собой вскоре развеялось, и пустынный ветреный день прошел в повторениях и улучшениях поцелуя, а вечером Мартын был совершенно разбит, словно таскал бревна. Когда же Алла в сопровождении мужа вошла в столовую, где он и мать уже чистили апельсины, села за соседний столик, проворно развернула конус салфетки и, с легким взлетом рук, уронила ее к себе на колени, после чего придвинулась со стулом, — Мартын медленно запунцовел и долго не решался встретиться с нею глазами, а когда наконец встретился, то в ее взгляде не нашел ответного смущения.

Жадное, необузданное воображение Мартына не могло бы ладить с целомудрием. Мартын не совсем был чист. Мысли, кои зовутся «дурными», донимали его в течение последних двух-трех лет, и он им не очень противился. Вначале они жили отдельно от его ранней влюбчивости. Когда, в памятную петербургскую зиму, он, после домашнего спектакля, накрашенный, с подведенными бровями, в белой косоворотке, заперся в чулане вдвоем с однолеткой-кузиной, тоже накрашенной, в платочке до бровей, и смотрел на нее, жал ей сырые ладошки, Мартын живо чувствовал романтичность своего поведения, но возбужден им не был. Майн-Ридов герой, Морис Джеральд, остановив коня бок о бок с конем Луизы, обнял белокурую креолку за гибкий стан, и автор от себя восклицал: «Что может сравниться с таким лобзанием?» Подобные вещи уже куда больше волновали Мартына. И вообще — все несколько отдаленное, заповедное, достаточно расплывчатое, чтобы дать мечте работу по выяснению подробностей, — будь то портрет лэди Гамильтон или бормотание пучеглазого однокашника о развратных домах, — особенно поражало его воображение. Теперь же туман редел, видимость улучшалась. Слишком поглощенный этим, он пренебрегал подлинными словами Аллы: «Я останусь для тебя сказкой. Я безумно чувственная. Ты меня никогда не забудешь, как, знаешь, забывают какой-нибудь прочитанный старый роман. И не надо, не надо рассказывать обо мне твоим будущим любовницам».

Софья же Дмитриевна была довольна и недовольна зараз. Когда ей кто-нибудь из знакомых ужимчиво докладывал: «А мы сегодня гуляли и видели, видели... шел с поэтессой под ручку, да-да, очень нежно... Совсем погиб ваш мальчик», — Софья Дмитриевна отвечала, что все это вполне натурально, такой уж возраст. Она гордилась ранним проявлением у Мартына мужественных страстей, однако скрыть от себя не могла, что Алла хоть милая, приветливая женщина, да уж слишком «скорая», как выражаются англичане, и, прощая сыну его ослепление, она не прощала Алле ее привлекательной вульгарности. К счастью, пребывание в Греции подходило к концу, — на днях должен был прийти из Швейцарии от Генриха Эдельвейса, двоюродного брата мужа, ответ на очень откровенное, с трудом написанное письмо — о смерти мужа, об иссякании средств. В свое время Генрих Эдельвейс посещал их в России, был с нею и с мужем дружен, любил племянника и всегда слыл честным и широким человеком. «Ты не помнишь, Мартын, когда последний раз у нас был дядя Генрих? Во всяком случае, до, — правда?» Это «до», всегда лишенное существительного, значило до размолвки, до разлуки с мужем, и Мартын тоже говорил: «до» или «после», ничего не уточняя. «Кажется, после», — ответил он, припомнив, как дядя Генрих явился на дачу, долго сидел у Софьи Дмитриевны и потом вышел с красными глазами, так как отличался слезоточивым нравом и плакал даже в кинематографе. «Конечно, какая я дура», — быстро сказала Софья Дмитриевна, вдруг восстановив его приезд, разговор о муже, увещевания, что надо помириться. «И ты его хорошо помнишь, правда? Он тебе всякий раз привозил что-нибудь». — «Последний раз комнатный телефон», — сказал Мартын и поморщился: телефон проводить было неинтересно, а когда его кто-то наконец провел из детской к матери в спальню, он действовал плохо, а через день и вовсе сдал, после чего был заброшен — вместе с другими, прежними, дядиными подарками, как, например, «Швейцарский Робинзон», прескучный после Робинзона настоящего, или маленькие товарные вагоны из жести, вызвавшие тайные слезы разочарования, так как Мартын любил только пассажирские. «Чего ты морщишься?» — спросила Софья Дмитриевна. Он объяснил, и она рассмеялась, сказала: «Правда, правда» — и задумалась о детстве Мартына, о вещах невозвратимых,

неизъяснимых, в этой думе была щемящая прелесть, — и как все проходит, — Боже мой, — усы растут, ногти чистые, этот сиреневый галстучек, эта женщина... «Эта женщина очень, конечно, милая, — сказала Софья Дмитриевна, — но ты не думаешь, что она чуть-чуть слишком разбитная? Нельзя так терять голову. Скажи мне, — впрочем, нет, я не хочу ничего спрашивать... Только вот, говорят, что она в Петербурге была страшная flirt[1]. И неужели тебе нравятся ее стихи? Этот дамский демонизм? Она так аффектированно читает. Неужели у вас дошло — ну, я не знаю, — до пожимания рук, что ли?» Мартын загадочно улыбнулся. «Наверно, ничего между вами и нет, — лукаво сказала Софья Дмитриевна, любуясь играющими, тоже лукавыми глазами сына. — Я уверена, что ничего нет. Ты еще не дорос». Мартын рассмеялся, она привлекла его и сочно, жадно поцеловала в щеку. Все это происходило у садового столика, на площадке перед гостиницей, рано утром, — и день обещал быть восхитительным, безоблачное небо было еще подернуто дымкой, как бывает покрыта листом папиросной бумаги необыкновенно яркая, глянцевитая картина на заглавной странице дорогого издания сказок. Мартын осторожно этот полупрозрачный лист отворачивал, и вот, по белым ступеням лестницы, чуть играя низкими бедрами, в ярко-синей юбке, по которой шло правильное волнистое колебание, по мере того как с рассчитанною неторопливостью то одна нога, то другая, вытянув лаковый носок, ступала вниз, — мерно раскачивая парчовой сумкой и уже улыбаясь, спускалась, на прямой пробор причесанная, ясноглазая, тонкошеяя женщина с крупными, черными серьгами, которые колебались тоже. Он встречал ее, целовал ей руку, отступал, и она, смеясь и музыкально картавя, здоровалась с Софьей Дмитриевной, которая сидела в плетеном кресле и курила толстую английскую папиросу, первую после утреннего кофе. «Вы так красиво спали, Алла Петровна, что я не хотела вас будить», — говорила Софья Дмитриевна, держа на отлете длинный эмалевый мундштук и почему-то посматривая искоса на Мартына, который уже сидел на балюстраде и качал ногами. Алла, захлебываясь, принималась рассказывать, какие она видела ночью сны, — замечательные

---

[1] Кокетка *(англ.)*.

мраморные сны с древнегреческими жрецами, в способности сниться которых Софья Дмитриевна сильно сомневалась. И сыро блестел свежеполитый гравий.

Любопытство Мартына росло. Блуждания по пляжу, поцелуи, которые всякий мог подсмотреть, начинали казаться слишком растянутым предисловием; зато и желанная суть вызывала беспокойство: некоторые подробности Мартын представить себе не мог и боялся своей неопытности. Незабвенный день, когда Алла сказала, что она не деревянная, что так к ней прикасаться нельзя и что после обеда, когда муж будет прочно в городе, а Софья Дмитриевна закейфует у себя в комнате, она зайдет к Мартыну в номер, чтобы показать ему чьи-то стихи, этот день был как раз тот, который открылся разговором о дяде Генрихе и комнатном телефоне. Когда, уже в Швейцарии, дядя Генрих подарил Мартыну на рождение черную статуэтку (футболист, ведущий мяч), Мартын не мог понять, почему в то самое мгновение, как дядя поставил на стол эту ненужную вещь, ему представилось с потрясающей яркостью далекое, нежное фалерское утро и Алла, сходящая по лестнице. Сразу после обеда он пошел к себе и принялся ждать. Мыльную кисточку Черносвитова он спрятал за зеркало, — она почему-то мешала. Со двора доносился звон ведер, плеск воды, гортанная речь. На окне мягко набухала желтая занавеска, и солнечное пятно ширилось на полу. Мухи описывали не круги, а какие-то параллелепипеды и трапеции вокруг штанги лампы, изредка на нее садясь. Мартын волновался нестерпимо. Он снял пиджак и воротник, лег навзничь на кушетку, слушал, как бухает сердце. Когда раздались быстрые шаги и стук в дверь, у него что-то сорвалось под ложечкой. «Видишь, целая пачка», — сказала Алла воровским шепотом, но Мартыну было не до стихов. «Какой дикий, Боже мой, какой дикий», — глухо приговаривала она, незаметно ему помогая. Мартын торопился, настигал счастье, настиг, и она, покрывая ему рот ладонью, бормотала: «Тише, тише... соседи...»

«Это, по крайней мере, вещица, которая останется у тебя навсегда, — ясным голосом сказал дядя Генрих и слегка откинулся, откровенно любуясь статуэткой. — В семнадцать лет человек уже должен думать об украшении своего будущего кабинета, и раз ты любишь английские игры...» —

«Прелесть», — сказал Мартын, не желая дядю обидеть, и потрогал неподвижный шар у носка футболиста.

Дом был деревянный, кругом росли густые ели, туман скрывал горы; жаркая желтая Греция осталась действительно очень далеко. Но как живо еще было ощущение того гордого, праздничного дня: у меня есть любовница! Какой заговорщический вид был потом вечером у синей кушетки! Ложась спать, Черносвитов все так же скреб лопатки, принимал усталые позы, потом скрипел в темноте, просил не тяжелить воздуха, наконец храпел, посвистывая носом, и Мартын думал: ах, если бы он знал... И вот однажды, когда мужу полагалось быть в городе, а в его и Мартыновой комнате, на кушетке, Алла уже поправляла платье, успев «заглянуть в рай», как она выражалась, меж тем как Мартын, вспотевший и растрепанный, искал запонку, оброненную в том же раю, — вдруг, сильно толкнув дверь, вошел Черносвитов и сказал: «Ишь ты где, матушка. Я, конечно, забыл захватить с собой письмо Спиридонова. Хорошенькое было бы дело». Алла провела ладонью по смятой юбке и спросила, наморщив лоб: «А он уже дал свою подпись?» — «Этот старый скот Бернштейн все воду возит, — сказал Черносвитов, роясь в чемодане. — Если они желают задерживать деньги, то пусть сами, скоты, выкручиваются». — «Главное, — сказала Алла, — не забудь об отсрочке. Ну что, нашел?» — «На катере к чортовой матери, — бормотал Черносвитов, перебирая какие-то конверты. — Оно должно быть. Не могло же оно запропаститься, в самом деле». — «Если оно пропало, тогда вообще все пошло прахом», — сказала она недовольно. «Тянут, тянут, — бормотал Черносвитов, — вот и возись с ними. Опупеть можно. Я буду очень рад, если Спиридонов откажется». — «Да ты не волнуйся так, найдется», — сказала Алла, но, видимо, и сама была встревожена. «Есть, слава Тебе, Господи!» — воскликнул Черносвитов и скользнул глазами по найденному листку, причем от внимания челюсть у него отвисла. «Не забудь сказать об отсрочке», — напомнила ему Алла. «Добже», — сказал Черносвитов и поспешно вышел.

Этот деловой разговор привел Мартына в некоторое недоумение. Ни муж, ни жена не притворялись, — они действительно совершенно забыли о его присутствии, погрузившись в свои заботы. Алла, однако, сразу вернулась к прежнему настроению, посмеялась, что в Греции такие

скверные дверные задвижки — сами выскакивают, — а на тревожный вопрос Мартына пожала плечами: «Ах, я уверяю тебя, он ничего не заметил». Ночью Мартын долго не мог уснуть и все с тем же недоумением прислушивался к самодовольному храпу. Когда, через три дня, он с матерью отплывал в Марсель, Черносвитовы приехали провожать в Пирей: они стояли на пристани, держась под руку, и Алла улыбалась и махала мимозовой веткой. Накануне, впрочем, она всплакнула.

X

На нее, на эту заглавную картинку, оказавшуюся после снятия полупрозрачного листка грубоватой, подчеркнуто яркой, Мартын снова опустил дымку, сквозь которую краски приобретали таинственную прелесть.

И на большом трансатлантическом пароходе, где все было чисто, отшлифованно, просторно, где был магазин туалетных вещей, и выставка картин, и аптека, и парикмахерская, и где по вечерам танцовали на палубе тустэп и фокстрот, — он с восторженной грустью думал о той милой женщине, о ее нежной, слегка впалой груди и ясных глазах, и о том, как непрочно похрустывала она в его объятиях, приговаривая: «Ай, сломаешь». Меж тем близка была Африка, на горизонте с севера появилась лиловая черта Сицилии, а затем пароход скользнул между Корсикой и Сардинией, и все эти узоры знойной суши, которая была где-то кругом, где-то близко, но проходила невидимкой, пленяли Мартына своим бесплотным присутствием. А по пути из Марселя в Швейцарию он как будто узнал любимые ночные огни на холмах, — и хотя это не был уже train de luxe[1], а простой курьерский поезд, тряский, темный, грязный от угольной пыли, волшебство было тут как тут: эти огни и вопли во мраке... По дороге, в автомобиле, между Лозанной и дядиным домом, расположенным повыше в горах, Мартын, сидя рядом с шофером, изредка с улыбкой поворачивался к матери и дяде, которые оба были в больших автомобильных очках и одинаково держали на животах руки. Генрих Эдельвейс остался холост,

[1] Поезд высшего класса *(фр.)*.

носил толстые усы, и некоторые его интонации да манера возиться с зубочисткой или ковырялкой для ногтей напоминали Мартыну отца. При встрече с Софьей Дмитриевной на вокзале в Лозанне дядя Генрих разрыдался, рукой прикрыл лицо, но погодя, в ресторане, успокоился и на своем пышноватом французском языке заговорил о России, о своих прежних поездках туда. «Как хорошо, — сказал он Софье Дмитриевне, — как хорошо, что твои родители не дожили до этой страшной революции. Я помню превосходно старую княгиню, ее белые волосы... Как она любила бедного, бедного Сержа», — и при воспоминании о двоюродном брате у Генриха Эдельвейса опять налились глаза голубой слезой. «Да, моя мать его любила, это правда, — сказала Софья Дмитриевна, — но она вообще всех и все любила. А ты мне скажи, как ты находишь Мартына», — быстро продолжала она, пытаясь отвлечь Генриха от печальных тем, принимавших в его пушистых устах оттенок нестерпимой сентиментальности. «Похож, похож, — закивал Генрих. — Тот же большой лоб, прекрасные зубы...» — «Но правда он возмужал? — поспешно перебила Софья Дмитриевна. — И знаешь, у него уже были увлечения, страсти». Дядя Генрих перешел на политические темы. «Эта революция, — спросил он риторически, — как долго она может длиться? Да, этого никто не знает. Бедная и прекрасная Россия гибнет. Может быть, твердая рука диктатора положит конец эксцессам. Но многие прекрасные вещи, ваши земли, ваши опустошенные земли, ваш деревенский дом, сожженный сволочью, — всему этому следует сказать прощай». — «Сколько стóят лыжи?» — спросил Мартын. «Не знаю, — со вздохом ответил дядя Генрих. — Я никогда не развлекался этим английским спортом. И у тебя английский акцент. Это дурно. Мы переменим все это». — «Он многое перезабыл, — вступилась за сына Софья Дмитриевна. — Последние годы Mlle Planche уже не давала уроков». — «Умерла, — с чувством сказал дядя Генрих. — Еще одна смерть». — «Да нет, — улыбнулась Софья Дмитриевна. — Откуда ты взял? Она вышла замуж за финна и спокойно живет в Выборге». — «Во всяком случае, все это очень грустно, — сказал дядя Генрих. — Я так желал, чтобы когда-нибудь Серж с вами приехал сюда. Но никогда не имеешь того, о чем

мечтаешь, и Бог один знает судьбу людей. Если вы утолили голод и наверное больше ничего не хотите, можем отправиться в путь».

Дорога была светлая, излучистая; справа поднималась скалистая стена с цветущими колючими кустами в трещинах, слева был обрыв, долина, где серповидной пеной, уступами, бежала вода; затем появились черные ели, они стояли тесным строем то на одном склоне, то на другом; окрест, незаметно передвигаясь, высились зеленоватые, в снеговых проплешинах, горы, из-за плеч этих гор смотрели другие, посерее, а совсем вдалеке поднимались горы лиловатой гуашевой белизны, и эти были совершенно неподвижны, и небо над ними словно выцвело по сравнению с ярко-синими просветами между верхушками черных елей, под которыми катился автомобиль. Вдруг, с непривычным еще чувством, Мартын вспомнил густую еловую опушку русского парка сквозь синее ромбовидное стекло на веранде, — а когда, разминая слегка звенящие ноги, с прозрачным гудом в голове, он вышел из автомобиля, его поразил запах земли и тающего снега, шероховатый свежий запах, и еловая красота дядиного дома. Стоял он особняком в полуверсте от деревни, и с верхнего балкона был один из тех дивных видов, которые прямо пугают своим воздушным совершенством, а в чистенькой уборной, где пахло смолой, густо синело в оконце опять это весеннее дачное небо, и кругом, в саду с голыми черными клумбами и цветущими яблонями в глубине, в еловом бору, сразу за садом, и на мягкой дороге, ведущей в деревню, была прохладная, веселая, что-то знающая тишина, и голова слегка кружилась, не то от этой тишины, не то от запахов, не то от новой, блаженной косности после трехчасовой езды.

В этом доме Мартын прожил до поздней осени. Предполагалось, что зимой он поступит в Женевский университет; однако, после живой переписки с друзьями в Англии, Софья Дмитриевна определила его в Кембридж. Дядя Генрих не сразу с этим примирился, — он англичан недолюбливал, холодный коварный народ. Зато мысль об издержках, которых потребует знаменитый университет, не только его не огорчала, а, напротив, была соблазнительна. Любя экономить по мелочам, в левой руке зажимая

грош, он правой охотно выписывал крупные чеки, — особенно когда расход являлся почетным. Иногда он трогательно играл самодура, хряпал ладонью по столу, раздувал ус и кричал: «Если я это делаю, то потому, что мне приятно!» И Софья Дмитриевна со вздохом натягивала на кисть новые часики-браслет из Женевы, а Генрих, размякнув, лез в карман, вытягивал объемистый платок с голубой каемкой, встряхивал его и, скрывая набежавшие слезы, трубил раз, трубил два, затем приглаживал усы — вправо и влево.

С наступлением лета погнали крестами меченных овец еще выше в горы. Неизвестно откуда, с какой стороны, начинал доноситься журчащий металлический звон, плыл, обволакивал, вызывал у слушателя странную щекотку во рту, и вот, в облаке пыли, серой, курчавой густыней, лились, мягко толкаясь, овечьи спины в переменчивой и подвижной тесноте, и влажный, полый, услаждающий все чувства звон колокольцев все рос, наливался, так таинственно, словно звучала самая пыль, клубящаяся над овцами; порою одна выбивалась из стада, пробегала трусцой, и лохматая собака молча ее оттесняла в стадо, и сзади шел, мягко ступая, пастух, — и звон колокольцев чуть менялся в тембре, становился опять глуше, тише, но долго еще стоял в воздухе, вместе с летучей пылью. «Ах, как славно», — шептал про себя Мартын, дослушав звон до конца, и продолжал путь, любимую свою прогулку, начинавшуюся деревенской дорогой и тропинками в еловой глуши. Бор внезапно редел, появлялись крутые сочные луга, каменистая стежка спускалась между живых изгородей; иногда навстречу поднималась корова с мокрой розовой мордой, останавливалась, похлестывая хвостом, и, качнув головой вбок, проходила, и следом за ней шла проворная старушка с дубинкой и кидала на Мартына недоброжелательный взгляд. А ниже, за тополями и кленами, белела большая гостиница, хозяин которой был в отдаленном родстве с Эдельвейсом.

За это лето Мартын еще больше окреп, увеличился размах плеч, и голос приобрел ровный и низкий звук. Меж тем на душе у него было сумбурно, и чувство, не совсем понятное, возбуждали такие вещи, как дачная прохлада в комнатах, столь отчетливая после наружной жары,

толстый шмель, с обиженным жудом стучащий по потолку, еловые лапы на синеве неба, или крепкий коричневый боровик, найденный на опушке. Будущая поездка в Англию волновала и радовала его. Воспоминание об Алле Черносвитовой достигло окончательного совершенства, и он себе говорил, что недостаточно ценил фалерское счастье. Жажда, которую та, утоляя, только обострила, так мучила его в эти горные летние дни, что по ночам он долго не мог забыться, представляя себе, среди многих приключений, всех тех женщин, которые ждут его в светающих городах, и, случалось, повторял вслух какое-нибудь женское имя — Изабелла, Нина, Маргарита, — еще холодное, нежилое имя, пустой гулкий дом, куда медлит вселиться хозяйка, — и гадал, какое из этих имен станет вдруг живым, столь живым и естественным, что уже никогда нельзя будет произнести его так таинственно, как сейчас. А по утрам приходила из деревни пособлять старой горничной племянница ее Мария, семнадцатилетняя девочка, очень тихая и миловидная, с темно-розовыми щеками и туго закрученными вокруг головы желтыми косами. Бывало так, что Мартын в саду, а она вдруг распахивает верхнее окошко и, отряхнув тряпку, замирает, глядя, быть может, на овальные тени облаков, скользящие по склонам гор; затем проводит тылом руки по виску и медленно отворачивается. Мартын поднимался в комнаты, определял по сквознякам, где происходит уборка, и среди блеска мокрых половиц Мария, задумавшись, стояла на коленях: он видел ее со спины, ее черные шерстяные чулки и зеленое, в горошинку, платье. Она никогда не смотрела на Мартына, только раз — и это было событие, — проходя мимо с пустым ведром, неопределенно и нежно улыбнулась, однако не ему, а цыплятам. Он упорно давал себе обет заговорить с ней, да потихоньку обнять, но однажды, после ее ухода, Софья Дмитриевна потянула носом, поморщилась и поспешно открыла все окна, — и Мартын проникся к Марии досадливым отвращением и только очень постепенно, по мере ее следующих далеких появлений — в раскрывшемся окне или в просвете листвы близ колодца, — опять начал поддаваться очарованию, но уже боялся приблизиться. Так что-то счастливое, томное его издалека заманивало, но было обращено не к нему. Как-то раз, забравшись высоко

в горы, он сел с ногами на большой лобатый камень, и снизу, вьющейся тропой, прошло стадо, музыкально и грустно булькая, а затем двое, оборванный, веселый мужчина и девушка, которая, все посмеиваясь, вязала на ходу чулок. Они прошли, не взглянув на Мартына, словно был он бесплотен, и он долго следил за ними: мужчина, не меняя шага, перекинул руку через плечо спутницы, и по ее затылку видно было, что она все вяжет, вяжет, неторопливо спускаясь в другую долину. А не то около теннисной площадки перед гостиницей появлялись, крича, белеясь платьями и отмахиваясь ракетами от оводов, барышни с голыми руками, но, как только они начинали играть — какая топорность, какая беспомощность, — тем более что сам Мартын играл превосходно, разбивал в лоск любого молодого аргентинца из гостиницы, ибо сызмала усвоил лад, необходимый для наслаждения природой шара, согласованность всех членов, так что каждый удар по белому мячу, начинаясь с дугового налета, еще длится после звучной вспышки ракетных струн, проходя по мышцам руки до самого плеча, как бы замыкая плавный круг, из которого так же плавно родится следующий. В жаркий августовский день возник на площадке профессиональный игрок, Боб Китсон из Ниццы, и предложил Мартыну партию. Знакомая глупая дрожь — отместка слишком живого воображения. Все же Мартын начал хорошо, то прихлопывая мяч на излет у самой сетки, то с задней черты мощно лупя в отдаленнейший угол. Кругом стояли и смотрели, — это было приятно. Горело лицо, и до безумия хотелось пить. Подавая, обрушиваясь на мяч и сразу превращая наклон тела в быстрый пробег к сетке, Мартын собирался взять решительную игру. Но профессионал, долговязый, хладнокровный юноша в очках, игравший точно с ленцой, вдруг проснулся и пятью молниевидными ударами сравнял положение. Мартын почувствовал усталость и беспокойство. Солнце — в глаза. Вылезает из-под пояса рубашка. Если Китсон возьмет этот пункт — все кончено. Тот, из неудобного угла, дал свечку, и Мартын, отбегая кэк-уоком, приготовился мяч убить. Пока он низвергал ракету, ему мгновенно померещился проигрыш, злорадство обычных его партнеров. Увы, мяч тупо плюхнул в сетку. «Не повезло», — бодро сказал Китсон, и Мартын осклабился, героически преодолевая досаду.

XII[1]

Возвращаясь домой, он переигрывал в уме все удары, обращал поражение в победу и качал головой: трудно, трудно изловить счастье. Скрытые листвой, журчали ручьи, с мокрых мест на дороге вспархивали голубые бабочки, в кустах возились птицы, — все было до грусти солнечно и беспечно. Вечером, после обеда, сидели, как всегда, в гостиной, дверь была широко открыта на террасу, и, так как испортилось электричество, горели в канделябрах свечи: изредка пламя их наклонялось, и тогда из-под всех кресел вытягивались черные тени. Мартын, копая в носу, читал томик Мопассана со старомодными иллюстрациями: Бель-Ами, усатый, в стоячем воротничке, обнажающий с ловкостью камеристки стыдливую, широкобедрую женщину. Дядя Генрих, отложив газету и подбоченясь, смотрел на карты, которые раскладывала на ломберном столе Софья Дмитриевна. В окна и в дверь напирала с террасы теплая, черная ночь. Подняв голову, Мартын вдруг настораживался, словно был какой-то смутный призыв в этой гармонии ночи и свеч. «Последний раз он у меня вышел в России, — проговорила Софья Дмитриевна. — Он вообще выходит очень редко». Расставя пальцы, она собрала рассыпанные по столу карты и принялась их вновь тасовать. Дядя Генрих вздохнул.

Наскуча книгой, Мартын потянулся и вышел на террасу. Было очень темно, пахло сыростью и ночными цветами. Сорвалась звезда, и, конечно, как это обычно бывает, — не совсем в поле зрения, а сбоку, так что глаз уловил лишь трепет, мгновенную, беззвучную перемену в небе. Очертания гор были неразборчивы, и в складках мрака дрожало там и сям по два, по три огонька. «Путешествие», — вполголоса произнес Мартын, и долго повторял это слово, пока из него не выжал всякий смысл, и тогда он отложил длинную, пушистую словесную шкурку, и глядь — через минуту слово было опять живое. «Звезда. Туман. Бархат, бархат», — отчетливо произносил он и все удивлялся, как непрочно смысл держится в слове. И в какую даль этот человек забрался, какие уже перевидал страны, и что он делает

[1] В романе нарушена нумерация глав — глава XI отсутствует; см. также примечания.

тут, ночью, в горах, — и отчего все в мире так странно, так волнительно. «Волнительно», — повторил громко Мартын и остался словом доволен. Опять покатилась звезда. Он уставился глазами в небо, как некогда, когда в коляске, темной лесной дорогой, возвращались восвояси из имения соседа, и совсем маленький, размаянный, готовый вот-вот уснуть, Мартын откидывал голову, смотрел на небесную реку, между древесных клубьев, по которой тихо плыл. Он подумал: где еще в жизни будет так — как тогда, как сейчас — смотреть на ночное небо, — на какой пристани, на какой станции, на каких площадях? Чувство богатого одиночества, которое он часто испытывал среди толпы, блаженное чувство, когда себе говоришь: «Вот, никто из этих людей, занятых своим делом, не знает, кто я, откуда, о чем сейчас думаю», — это чувство было необходимо для полного счастья, и Мартын с замиранием, с восторгом себе представлял, как — совершенно один, в чужом городе, в Лондоне, скажем, — будет бродить ночью по неизвестным улицам. Он видел черные кэбы, хлюпающие в тумане, полицейского в черном блестящем плаще, огни на Темзе, — и другие образы из английских книг. Оставив багаж на вокзале, он шел мимо бесчисленных освещенных Дрюсов и, волнуясь, искал Изабеллу, Нину, Маргариту, когонибудь, чьим именем назвать эту ночь. А она, — за кого она его примет? За художника, за моряка, за джентльменавзломщика? От денег она откажется, будет нежна, поутру не захочет отпустить. Но как улицы туманны, как многолюдны, как трудно найти... И хотя многое выглядело иначе, хотя кэбы уже повымерли, кое-что он все же узнал, когда осенним вечером вышел налегке с вокзала Виктории, узнал темный, маслянистый воздух, мокрый плащ полицейского, отблески, шлепающие звуки. На вокзале он отлично вымылся под душем в веселенькой чистой каморке, вытерся теплым, мохнатым полотенцем, которое принес краснощекий служитель, надел чистое белье, лучший костюм, оставил оба чемодана на хранении и теперь был горд, что так толково устроился. Он едва чувствовал дорожную усталость: была только звонкость, волнение. Громадные автобусы яростно и тяжело разбрызгивали озера на асфальте; световые рекламы взбегали и рассыпались по фронтонам багровых домов. Он встречал, обгонял женщин, оборачивался, — но чем красивее было лицо, тем труднее

было решиться. Светлых, привлекательных кафе, как в Афинах или в Лозанне, тут не было, а в баре, где он выпил стакан пива, оказались одни мужчины, воспаленные, лупоглазые, с красными жилками на белках. Мало-помалу им овладевало смутное раздражение: русская семья, у которой по письменному сговору он должен был на неделю остановиться, вот сейчас ждет его, беспокоится. Он подумал, не сесть ли спокойно в таксомотор, не отказаться ли от этой ночи. Но тут же ему стало стыдно его недоверчивости к ней, — как напряженно он о ней мечтал нынче на рассвете, глядя в окно поезда на равнины, на розовое холодное небо, на черный силуэт ветряной мельницы. «Малодушие и предательство», — тихо сказал Мартын. Он заметил, что во второй раз проходит той же улицей, узнал ее по витрине, полной жемчужных ожерелий. Он стал и мельком проверил давнее свое отвращение к жемчугам: устричные геморроиды, круглявые, с нездоровым отливом. Рядом с ним остановилась женщина под зонтиком. Мартын искоса посмотрел: худенькая, черный костюм, сияющая булавка в шляпе. Она повернула лицо, улыбнулась и, выпучив губы, издала маленький звук вроде удлиненного «у». Мартын увидел, как в ее глазах бегут огни, переливы, блеск дождя, и хриплым шепотом пожелал ей доброго вечера.

Как только они оказались в темноте таксомотора, он обнял ее, шалея от ощущения ее гибкой худобы. Она закрывалась руками и хохотала. Потом, в номере, когда он неловко вынул бумажник, она сказала: «Нет, нет, если хотите, завтра поведете меня обедать в шикарное место». Она спросила, кто он, не француз ли, и стала по его просьбе гадать: бельгиец? датчанин? голландец? И не поверила, когда он сказал: русский. Далее он намекнул ей, что зарабатывает [на] жизнь карточной игрой на больших пароходах, поведал ей о своих странствиях, кое-что расцветил, кое-что прибавил и, описывая никогда им не виданный Неаполь, глядел с любовью на ее голые детские плечи, на стриженую русую голову, и был совершенно счастлив. Рано утром, пока он мирно спал, она быстро оделась и ушла, выкрав из его бумажника десять фунтов. «Утро после дебоша», — с улыбкой подумал Мартын, захлопнув бумажник, который поднял с полу. Он облился из кувшина, устроив потоп, и все улыбался, вспоминая прелестную ночь. Было

немного жалко, что она так глупо ушла, что больше никогда он ее не встретит. А звали ее Бэсс. Когда же он вышел из гостиницы и пошел по утренним просторным улицам, то ему хотелось прыгать и петь от счастья, и, чтобы как-нибудь облегчить душу, он взобрался на лесенку, прислоненную к фонарю, из-за чего имел долгое и смешное объяснение с пожилым прохожим, грозившим снизу тростью.

XIII

Второй нагоняй он получил от Зилановой, Ольги Павловны. Накануне она прождала его до позднего вечера и, так как полагала почему-то, что Мартын и моложе и беспомощнее, чем оказался на самом деле, разволновалась, не знала, что предпринять. Он объяснил, что вчера хватился адреса, а нашел его только сегодня в мало посещаемом карманчике, и что ночевал в гостинице у вокзала. Ольга Павловна захотела узнать, почему он не позвонил по телефону и как называется гостиница. Мартын придумал хорошее, незаурядное название: Гуд-Найт Отель, — и объяснил, что искал в телефонной книжке номер, но не нашел. «Эх, вы», — недовольно сказала Зиланова и вдруг улыбнулась изумительно прекрасной улыбкой, совершенно преобразившей ее дряблое, унылое лицо. Мартын помнил эту улыбку еще по Петербургу, и так как он был тогда дитя, а говоря с чужими детьми, женщины обычно улыбаются, его память сохранила Зиланову с сияющим лицом, и он напервях был озадачен, найдя ее такой старой и хмурой.

Ее муж, известный общественный деятель, был временно в отъезде, и Мартына поместили в его кабинете. Кабинет и столовая находились в первом этаже, гостиная во втором, спальни в третьем. Из таких узкофасадных домов, друг от друга неотличимых и с одинаковым расположением комнат по вертикали, состояла вся эта тихая, неторговая улица, оживленная красной почтовой тумбищей на углу. Позади правого ряда домов были палисадники, где летом цвели рододендроны, а за левым рядом желтел и облетал сквер с большими ильмами и с муравчатой площадкой для тенниса.

Старшая дочь Зиланова, Нелли, недавно вышла замуж за русского офицера, попавшего в Англию из немецкого плена. Младшая, Соня, кончала в Лондоне среднюю школу, куда неожиданно перешла из пятого класса Стоюнинской гимназии. Существовала еще сестра Зилановой, Елена Павловна, и ее дочка Ирина, несчастное безобразное существо — полуидиотка.

Неделя, которую Мартын, примериваясь к Англии, прожил в этом доме, показалась ему довольно тягостной. Деньденьской он был среди чужих, его не отпускали ни на шаг. Соня донимала его тем, что высмеивала его гардероб, сорочки с крахмальными манжетами и твердоватой грудью, любимые ярко-лиловые носки, оранжевые башмаки с шишковатыми носами, купленные в Афинах. «Это американские», — с нарочитым спокойствием сказал Мартын. «Американцы их специально делают, чтобы продавать неграм да русским», — бойко возразила Соня. Далее оказалось, что Мартын не привез халата, и когда он по утрам шел в ванную, гордо закутанный в простыню, Соня говорила, что это ей напоминает ее двоюродных братьев и товарищей их, лицеистов, которые, гостя на даче, спали нагишом, ходили по утрам в простынях и гадили в саду. Кончилось тем, что Мартын накупил в Лондоне столько вещей, что десяти фунтов не хватило, и пришлось писать дяде, а это было особенно неприятно ввиду туманных объяснений, которых потребовало исчезновение других десяти фунтов. Да, тяжелая, неудачная неделя. Ведь и английское произношение, которым Мартын тихо гордился, тоже послужило поводом для изысканно насмешливых поправок. Так, совершенно неожиданно, Мартын попал в неучи, в недоросли, в маменькины сынки. Он считал, что это несправедливо, что он в тысячу раз больше перечувствовал и испытал, чем барышня в шестнадцать лет. И с некоторым злорадством он расколошматил на теннисе каких-то ее молодых людей, а вечером накануне отъезда превосходно танцовал под гавайский плач граммофона тустэп, которому научился еще в Средиземном море.

В Кембридже он и подавно почувствовал себя иностранцем. Встречаясь с англичанами-студентами, он, дивясь, отмечал свое несомненное русское нутро. От полуанглийского детства у него остались только такие вещи, которые

у коренных англичан, его сверстников, читавших в детстве те же книги, затуманились, уложились в должную перспективу, — а жизнь Мартына в одном месте круто повернула, пошла по другому пути, и тем самым обстановка и навыки детства получили для него привкус некоторой сказочности, и какая-нибудь книга, любимая в те дни, оставалась посейчас в его памяти прелестнее и ярче, чем та же книга в памяти сверстников-англичан. Он помнил и говорил словечки, которые десять лет назад были в ходу среди английских школьников, а ныне считались либо вульгарными, либо до смешного старомодными. Синим пламенем пылающий плам-пудинг подавался в Петербурге не только на Рождестве, как в Англии, а в любой день, и, по мнению многих, у повара Эдельвейсов он выходил лучше, чем покупные. В футбол петербуржцы играли на твердой земле, а не на дерне, и штрафной удар обозначался неизвестным в Англии словом «пендель». Цвета полосатой курточки, купленной когда-то у Дрюса, Мартын бы теперь не смел носить, так как они отвечали спортивной форме определенного училища, воспитанником которого он никогда не состоял. И вообще все это английское, довольно в сущности случайное, процеживалось сквозь настоящее, русское, принимало особые русские оттенки.

XIV

На заднем плане первых кембриджских ощущений все время почему-то присутствовала великолепная осень, которую он только что видел в Швейцарии. По утрам нежный туман заволакивал Альпы. Гроздь рябины лежала посреди дороги, где колеи были подернуты слюдяным ледком. Ярко-желтая листва берез скудела с каждым днем, несмотря на безветрие, и с задумчивым весельем глядело сквозь нее бирюзовое небо. Рыжели пышные папоротники; плыли по воздуху радужные паутинки, которые дядя Генрих называл волосами Богородицы. Иногда Мартын поднимал голову, думая, что слышит далекое, далекое курлыкание журавлей, — но их не было. Он много бродил, чего-то искал, ездил на скверном велосипеде одного из работников по шелестящим тропинкам, а Софья Дмитриевна, сидя на

скамейке под кленом, задумчиво прокалывала острием трости сырые багровые листья на бурой земле. Такой разнообразной и дикой красоты не было в Англии, природа казалась оранжерейной, ручной; в геометрических садах, под моросящим небом, она умирала без роскошных причуд, но по-своему были прекрасны розовато-серые стены, прямоугольные газоны, покрытые в редкие погожие утра бледным серебром инея, и выгнутый каменный мостик над узкой рекой, образовавший полный круг со своим совершенным отражением.

Ни скверная погода, ни ледяная стужа спальни, где традиция запрещала топить, не могли изменить мечтательную жизнерадостность Мартына. Одиночество веселило его. Свою рабочую комнату, жаркий камин, пыльную пианолу, безобидные литографии по стенам, низкие плетеные кресла и дешевые фарфоровые штучки на полочках, — все это он от души полюбил. Когда, поздно вечером, умирало священное пламя камина, он кочергой скучивал мелкие, еще тлеющие остатки, накладывал сверху щепок, наваливал гору угля, раздувал огонь фукающими мехами или, занавесив пасть очага просторным листом «Таймса», устраивал тягу: напряженный лист приобретал теплую прозрачность, и строки на нем, мешаясь с просвечивающими строками на исподе, казались диковинными знаками тарабарского языка. Затем, когда гул и бушевание огня усиливались, на газетном листе появлялось рыжее, темнеющее пятно и вдруг прорывалось, вспыхивал весь лист, тяга мгновенно его всасывала, он улетал в трубу, — и поздний прохожий, магистр в черном плаще, видел сквозь сумрак готической ночи, как из трубы вырывается в звездную высь огневласая ведьма, и на другой день Мартын платил денежный штраф.

Будучи одарен живым и общительным нравом, Мартын оставался один недолго. Довольно скоро он подружился с нижним жильцом, Дарвином, да познакомился кое с кем на футбольном поле, в клубе, в общей столовой. Он заметил, что всякий считает должным говорить с ним о России, выяснить, что он думает о революции, об интервенции, о Ленине и Троцком, а иные, побывавшие в России, хвалили русское хлебосольство или спрашивали, не знает ли он случайно Иванова из Москвы. Мартыну такие разговоры претили; небрежно взяв со стола том Пушкина, он

начинал переводить вслух стихи: «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса». Это возбуждало недоумение, — и только один Дарвин, большой, сонный англичанин в канареечно-желтом джампере, развалясь в кресле, сопя трубкой и глядя в потолок, одобрительно кивал.

Этот Дарвин, зачастив вечерами к Мартыну, подробно осветил, ему в назидание, некоторые строгие, исконные правила: не полагается студенту ходить по улицам в шляпе и в пальто, как бы холодно ни было; нельзя ни здороваться за руку, ни желать доброго утра, а следует всякого знакомого, будь он сам Томпсон, объявивший войну атому, приветствовать широкой улыбкой и развязным междометием. Нехорошо кататься по реке в обыкновенной гребной лодке, — для этого есть роброи, пироги и другие виды шлюпок. Никогда не нужно повторять старые университетские остроты, которыми сразу увлекаются новички. «Но помните, — мудро добавил Дарвин, — и в соблюдении этих традиций не следует заходить слишком далеко, и иногда, чтобы огорошить снобов, бывает полезно выйти на улицу в котелке, с зонтиком под мышкой». У Мартына создалось впечатление, что Дарвин уже давно, несколько лет, в университете, и он пожалел его, как жалел всякого домоседа. Дарвин его поражал своей сонностью, медлительностью движений, какой-то комфортабельностью всего существа. Стремясь в нем возбудить зависть, Мартын нахрапом ему рассказал о своих странствиях, бессознательно прибавив кое-что из присочиненного в угоду Бэсс и едва заметив, как вымысел утвердился. Эти преувеличения были, впрочем, невинного свойства: два-три пикника на крымской Яйле превратились в постоянное бродяжничество по степям, с палкой и котомкой, Алла Черносвитова — в таинственную спутницу поездок на яхте, прогулки с ней — в долгое пребывание на одном из греческих островов, а лиловая черта Сицилии — в сады и виллы. Дарвин одобрительно кивал, глядя в потолок. Глаза у него были голубоватые, пустые, без всякого выражения; подошвы, которые он всегда казал, так как любил полулежачие позы, с высоко и удобно пристроенными ногами, были снабжены сложной системой резиновых нашлепок. Все в нем, начиная от этих прочно подкованных ног и кончая костистым носом, было добротно, велико и невозмутимо.

XV

Раза три в месяц Мартына призывал тот профессор, который следил за посещением лекций, навещал в случае нездоровия, давал разрешение на поездки в Лондон и делал замечания по поводу штрафов, навлекаемых приходом домой за полночь или неношением по вечерам академического плаща. Это был сухонький старичок, с вывернутыми ступнями и острым взглядом, латинист, переводчик Горация, большой любитель устриц. «Вы сделали успехи в языке, — как-то сказал он Мартыну. — Это хорошо. Много ли у вас уже набралось знакомых?» — «О, да», — ответил Мартын. «А с Дарвином, например, вы подружились?» — «О, да», — повторил Мартын. «Я рад. Это великолепный экземпляр. Три года в окопах, Франция и Месопотамия, крест Виктории, и ни одного ушиба, ни нравственного, ни физического. Литературная удача могла бы вскружить ему голову, но и этого не случилось».

Кроме того, что Дарвин, прервав университетское учение, ушел восемнадцати лет на войну, а недавно выпустил книгу рассказов, от которых знатоки без ума, Мартын услышал, что он первоклассный боксер, что детство он провел на Мадере и на Гавайских островах и что его отец — известный адмирал. Собственный маленький опыт показался Мартыну ничтожным, жалким, он устыдился некоторых своих россказней. Когда вечером к нему ввалился Дарвин, было и смешно, и неловко. Он принялся исподволь выуживать про войну, про книгу, — и Дарвин отшучивался и говорил, что лучшая книга, им написанная, это маленькое пособие для студентов, которое называлось так: «Полное описание шестидесяти семи способов проникнуть в колледж Троицы после закрытия ворот, с подробным планом стен и решеток, первое и последнее издание, множество раз проверенное ни разу не попавшимся автором». Но Мартын настаивал на своем, на важном, на книге рассказов, от которых знатоки без ума, и наконец Дарвин сказал: «Ладно, я дам. Пойдем ко мне в логово».

Свое логово он обставил сам по собственному вкусу: были там какие-то сверхъестественно удобные кожаные кресла, в которых тело таяло, углубляясь в податливую бездну, а на камине стояла большая фотография: разомлевшая, на боку лежащая сука и круглые наливные задки ее

шестерых сосунков. Да и вообще студенческих комнат Мартын уже перевидал немало: были такие, как его, — милые, но жильцом не холенные, с чужими, хозяйскими, вещами, — была комната спортсмена с серебряными трофеями на камине и сломанным веслом на стене, была комната, заваленная книгами, засыпанная пеплом, была, наконец, комната, гаже которой трудно сыскать, — почти пустая, с ярко-желтыми обоями, комната, где всего одна картина, но зато Сезанн (эскиз углем, женообразная загогулина), да стоит раскрашенный деревянный епископ четырнадцатого века с протянутой культяпкой. Душевней всех была комната Дарвина, особенно если присмотреться, пошарить: чего стоило, например, собрание номеров газеты, которую Дарвин издавал в траншеях: газета была веселая, бодрая, полная смешных стихов, Бог знает, как и где набиралась, и в ней помещались ради красоты случайные клише, рекламы дамских корсетов, найденные в разгромленных типографиях.

«Вот, — сказал Дарвин, достав книгу. — Бери».

Книга оказалась замечательной; не рассказы, нет, скорее трактаты, — двадцать трактатов одинаковой длины; первый назывался «Штопор», и в нем содержались тысячи занятных вещей о штопорах, об их истории, красоте и добродетелях. Второй был о попугаях, третий об игральных картах, четвертый об адских машинах, пятый об отражениях в воде. А один был о поездах, и в нем Мартын нашел все, что любил, — телеграфные столбы, обрывающие взлет проводов, вагон-ресторан, эти бутылки минеральной воды, с любопытством глядящие в окно на пролетающие деревья, этих лакеев с сумасшедшими глазами, эту карликовую кухню, где потный повар в белом колпаке, шатаясь, панирует рыбу.

Если б когда-нибудь Мартын думал стать писателем и был бы мучим писательской алчностью (столь родственной боязни смерти), постоянной тревогой, которая нудит запечатлеть неповторимый пустяк, — быть может, страницы о мелочах, ему сокровенно знакомых, возбудили бы в нем зависть и желание написать еще лучше. Вместо этого он почувствовал такое теплое расположение к Дарвину, что даже стало щекотно в глазах. Когда же утром, идя на лекцию, он обогнал его на углу, то, не глядя ему в лицо, сказал, вполне корректно, что многое в книге

ему понравилось, и молча пошел с ним рядом, подлаживаясь под его ленивый, но машистый шаг.

Аудитории рассеяны были по всему городу. Ежели одна лекция сразу следовала за другой и они читались в разных залах, то приходилось вскакивать на велосипед или поспешно топотать переулками, пересекать гулко-мощеные дворы. Чистыми голосами перекликались со всех башен куранты; по узким улицам несся грохот моторов, стрекотание колес, звонки. Во время лекций велосипеды сверкающим роем ластились к воротам, ожидая хозяев. На кафедру всходил лектор в черном плаще и со стуком клал на пюпитр квадратную шапку с кисточкой.

XVI

Поступая в университет, Мартын долго не мог избрать себе науку. Их было так много, и все — занимательные. Он медлил на их окраинах, всюду находя тот же волшебный источник живой воды. Его волновал какой-нибудь повисший над альпийской бездною мост, одушевленная сталь, божественная точность расчета. Он понимал того впечатлительного археолога, который, расчистив ход к еще неизвестным гробам и сокровищам, постучался в дверь, прежде чем войти, и, войдя, упал в обморок. Прекрасны свет и тишина лабораторий: как хороший ныряльщик скользит сквозь воду с открытыми глазами, так, не напрягая век, глядит физиолог на дно микроскопа, и медленно начинают багроветь его шея и лоб, — и он говорит, оторвавшись от трубки: «Все найдено». Человеческая мысль, летающая на трапециях звездной Вселенной, с протянутой под ней математикой, похожа была на акробата, работающего с сеткой, но вдруг замечающего, что сетки, в сущности, нет, — и Мартын завидовал тем, кто доходит до этого головокружения и новой выкладкой превозмогает страх. Предсказать элемент или создать теорию, открыть горный хребет или назвать нового зверя, — все было равно заманчиво. В науке исторической Мартыну нравилось то, что он мог ясно вообразить, и потому он любил Карляйля. Плохо запоминая даты и пренебрегая обобщениями, он жадно выискивал живое, человеческое, принадлежащее к разряду тех изумительных подробностей, которыми грядущие поколения,

пожалуй, пресытятся, глядя на старые, моросящие фильмы наших времен. Он живо себе представлял дрожащий белый день, простоту черной гильотины и неуклюжую возню на помосте, где палачи тискают голоплечего толстяка, меж тем как в толпе добродушный гражданин поднимает под локотки любопытную, но низкорослую гражданку. Наконец, были науки довольно смутные: правовые, государственные, экономические туманы; они устрашали его тем, что искра, которую он во всем любил, была в них слишком далеко запрятана. Не зная, на что решиться, что выбрать, Мартын постепенно отстранил все то, что могло бы слишком ревниво его завлечь. Оставалась еще словесность. Были и в ней для Мартына намеки на блаженство; как пронзала пустая беседа о погоде и спорте между Горацием и Меценатом или грусть старого Лира, произносящего жеманные имена дочерних левреток, лающих на него! Так же как в Новом Завете Мартын любил набрести на «зеленую траву», на «кубовый хитон», он в литературе искал не общего смысла, а неожиданных, озаренных прогалин, где можно было вытянуться до хруста в суставах и упоенно замереть. Читал он чрезвычайно много, но больше перечитывал, а в литературных разговорах бывали с ним несчастные случаи: он раз спутал, например, Плутарха с Петраркой и раз назвал Кальдерона шотландским поэтом. Расшевелить его удавалось не всякому писателю. Он оставался холоден, когда, по дядиному совету, читал Ламартина или когда сам дядя декламировал со всхлипом «Озеро», качая головой и удрученно приговаривая: «Comme c'est beau!»[1] Перспектива изучать многословные, водянистые произведения и влияние их на другие многословные, водянистые произведения была малопрельстительна. Так бы он, пожалуй, ничего не выбрал, если б все время что-то не шептало ему, что выбор его несвободен, что есть одно, чем он заниматься обязан. В великолепную швейцарскую осень он впервые почувствовал, что в конце концов он изгнанник, обречен жить вне родного дома. Это слово «изгнанник» было сладчайшим звуком: Мартын посмотрел на черную еловую ночь, ощутил на своих щеках Байронову бледность и увидел себя в плаще. Этот плащ

---

[1] Как это прекрасно! *(Фр.)*

он надел в Кембридже, даром что был он легонький, из прозрачноватой на свет материи, со многими сборками и с крылатыми полурукавами, которые закидывались за плечи. Блаженство духовного одиночества и дорожные волнения получили новую значительность. Мартын словно подобрал ключ ко всем тем смутным, диким и нежным чувствам, которые осаждали его.

Профессором русской словесности и истории был в ту пору небезызвестный Арчибальд Мун. В России он прожил довольно долго, всюду побывал, всех знал, все перевидел. Теперь: черноволосый, бледный, в пенснэ на тонком носу, он бесшумно проезжал на велосипеде с высоким рулем, сидя совсем прямо, а за обедом, в знаменитой столовой с дубовыми столами и огромными цветными окнами, вертел головой, как птица, и быстро, быстро крошил длинными пальцами хлеб. Говорили, единственное, что он в мире любит, это — Россия. Многие не понимали, почему он там не остался. На вопросы такого рода Мун неизменно отвечал: «Справьтесь у Робертсона — (это был востоковед), — почему он не остался в Вавилоне». Возражали вполне резонно, что Вавилона уже нет. Мун кивал, тихо и хитро улыбаясь. Он усматривал в октябрьском перевороте некий отчетливый конец. Охотно допуская, что со временем образуется в Советском Союзе, пройдя через первобытные фазы, известная культура, он вместе с тем утверждал, что Россия завершена и неповторима, — что ее можно взять, как прекрасную амфору, и поставить под стекло. Печной горшок, который там теперь обжигался, ничего общего с нею не имел. Гражданская война представлялась ему нелепой: одни бьются за призрак прошлого, другие за призрак будущего, — меж тем как Россию потихоньку украл Арчибальд Мун и запер у себя в кабинете. Ему нравилась ее завершенность. Она была расцвечена синевою вод и прозрачным пурпуром пушкинских стихов. Вот уже скоро два года, как он писал на английском языке ее историю, и надеялся всю ее уложить в один толстенький том. Эпиграф из Китса («Создание красоты — радость навеки»), тончайшая бумага, мягкий сафьяновый переплет. Задача была трудная: найти гармонию между эрудицией и тесной живописной прозой, дать совершенный образ одного округлого тысячелетия.

XVII

Арчибальд Мун поразил и очаровал Мартына. Его медленный русский язык, из которого он годами терпения вытравил последний отзвук английской гортанности, был плавен, прост и выразителен. Его знания отличались живостью, точностью и глубиной. Он вслух читал Мартыну таких русских поэтов, коих тот не знал даже и по имени. Придерживая страницу длинными, чуть дрожащими пальцами, Арчибальд Мун источал четырехстопные ямбы. Комната была в полумраке, свет лампы выхватывал только страницу да лицо Муна, с бледным лоском на скулах, тремя тонкими бороздками на лбу и прозрачно-розовыми ушами. Дочитав, он сжимал узкие губы, осторожно, как стрекозу, снимал пенснэ и замшей вытирал стекла. Мартын сидел на краешке кресла, держа свою черную квадратную шапку на коленях. «Ради Бога, снимите плащ, отложите куда-нибудь эту шапку, — болезненно морщась, говорил Мун. — Неужели вам нравится мять эту кисточку? Отложите, отложите...» Он подталкивал к Мартыну стеклянную папиросницу с гербом колледжа на серебряной крышке или вынимал из шкафа в стене бутылку виски, сифон, два стакана. «А вот скажите, как называются тамошние телеги, в которых развозят виноград?» — спрашивал он, дергая головой, и, выяснив, что Мартын не знает: «Можары, можары, сэр», — говорил он со смаком, — и неизвестно, что доставляло ему больше удовольствия: то ли, что он знает Крым лучше Мартына, или то, что ему удается произнести с русским экающим выговором словечко «сэр». Он радостно сообщал, что «хулиган» происходит от названия шайки ирландских разбойников, а что остров «Голодай» не от голода, а от имени англичанина Холидея, построившего там завод. Когда однажды Мартын, говоря о каком-то невежественном журналисте (которому Мун ответил грозным письмом в «Таймс»), сказал, что «журналист, вероятно, сдрейфил», Мун поднял брови, справился в словаре и спросил Мартына, не живал ли он в Поволжье, — а когда, по другому случаю, Мартын употребил слово «угробить», Мун рассердился и крикнул, что такого слова по-русски нет и быть не может. «Я его слышал, его знают все», — робко проговорил Мартын, и его поддержала Соня, которая сидела на кушетке рядом с Ольгой Павловной и смотрела не без

любопытства, как Мартын хозяйничает. «Русское словообразование, рождение новых слов, — сказал Мун, обернувшись вдруг к улыбающемуся Дарвину, — кончилось вместе с Россией, то есть два года тому назад. Все последующее — блатная музыка». — «Я по-русски не понимаю, переведите», — ответил Дарвин. «Да, мы все время сбиваемся, — сказала Зиланова. — Это нехорошо. Пожалуйста, господа, по-английски». Мартын меж тем приподнял металлический купол с горячих гренков и пирожков (которые слуга принес из колледжской кантины), проверил, то ли доставили, и придвинул блюдо поближе к пылающему камину. Кроме Дарвина и Муна, он пригласил русского студента, которого все называли просто по имени — Вадим, — и теперь не знал, ждать ли его или приступать к чаепитию. Это был первый раз, что Зиланова с дочерью приехала навестить его, и он все боялся насмешки со стороны Сони. Она была в темно-синем костюме и в крепких коричневых башмачках, длинный язычок которых, пройдя внутри, под шнуровкой, откидывался и, прикрывая шнуровку сверху, заканчивался кожаной бахромой; стриженые, жестковатые на вид, черные волосы ровной челкой находили на лоб; к ее тускло-темным, слегка раскосым глазам странно шли ямки на бледных щеках. Утром, когда Мартын встретил ее и Ольгу Павловну на вокзале, и потом, когда он показывал им старинные дворы, фонтан, аллеи исполинских голых деревьев, из которых с карканьем тяжело и неряшливо вымахивали вороны, Соня была молчалива, чем-то недовольна, говорила, что ей холодно. Глядя через каменные перила на рябую речку, на матово-зеленые берега и серые башни, она прищурилась и осведомилась у Мартына, собирается ли он ехать к Юденичу. Мартын удивленно ответил, что нет. «А вон то, розоватое, что это такое?» — «Это здание библиотеки», — объяснил Мартын и спустя несколько минут, идя рядом с Соней и ее матерью под аркадами, загадочно проговорил: «Одни бьются за призрак прошлого, другие — за призрак будущего». — «Вот именно, — подхватила Ольга Павловна. — Мне мешает по-настоящему воспринять Кембридж то, что наряду с этими чудными старыми зданиями масса автомобилей, велосипедов, спортивные магазины, всякие футболы». — «В футбол, — сказала Соня, — играли и во времена Шекспира. А мне вот не нравится, что говорят пошлости». — «Соня, пожалуйста. Сократись», —

сказала Ольга Павловна. «Ах, я не про тебя», — ответила Соня со вздохом. Дальше шли молча. «Кажется, забусило», — проговорил Мартын, вытянув руку. «Вы бы еще сказали "пан Дождинский" или "князь Ливень"», — заметила Соня и на ходу переменила шаг, чтоб идти в ногу с матерью. Потом, за завтраком в лучшем городском ресторане, она повеселела. Ее рассмешили «обезьянья» фамилья приятеля Мартына и диалоги, которые Дарвин вел с необыкновенно уютным старичком лакеем. «Вы что изучаете?» — любезно спросила Ольга Павловна. «Я? Ничего, — ответил Дарвин. — Мне просто показалось, что в этой рыбе на одну косточку больше, чем следует». — «Нет-нет, я спрашиваю, что вы изучаете из наук. Какие слушаете лекции». — «Простите, я вас не понял, — сказал Дарвин. — Но все равно ваш вопрос застает меня врасплох. Память у меня как-то не дотягивает от одной лекции до другой. Еще нынче утром я спрашивал себя, каким предметом я занимаюсь. Мнемоникой? Вряд ли». После обеда была опять прогулка, но куда более приятная, так как, во-первых, вышло солнце, а во-вторых, Дарвин всех повел в галерею, где имелось, по его словам, старинное, замечательно прыткое эхо, — топнешь, а оно, как мяч, стукнет в отдаленную стену. И Дарвин топнул, но никакого эха не выскочило, и он сказал, что, очевидно, его купил какой-нибудь американец для своего дома в Массачусетсе. Затем притекли к Мартыну в комнату, и вскоре явился Арчибальд Мун, и Соня тихо спросила у Дарвина, почему у профессора напудрен нос. Мун плавно заговорил, щеголяя чудесными сочными пословицами. Мартын находил, что Соня ведет себя нехорошо. Она сидела с каменным лицом, но вдруг невпопад смеялась, встретясь глазами с Дарвином, который, закинув ногу на ногу, уминал пальцем табак в трубке. «Что же это Вадим не идет?» — беспокойно сказал Мартын и потрогал полный бочок чайника. «Ну, уж наливайте», — сказала Соня, и Мартын завозился с чашками. Все умолкли и смотрели на него. Мун курил смугло-желтую папиросу из породы тех, которые в Англии зовутся русскими. «Часто пишет вам ваша матушка?» — спросила Зиланова. «Каждую неделю», — ответил Мартын. «Она, поди, скучает», — сказала Ольга Павловна и подула на чай. «А лимона, я как посмотрю, у вас и нет», — тонко заметил Мун — опять по-русски. Дарвин вполголоса попросил

Соню перевести. Мун на него покосился и перешел на английскую речь: нарочито и злобно изображая средний кембриджский тон, он сказал, что был дождь, но теперь прояснилось, и, пожалуй, дождя больше не будет, упомянул о регате, обстоятельно рассказал всем известный анекдот о студенте, шкафе и кузине, — и Дарвин курил и кивал, приговаривая: «Очень хорошо, сэр, очень хорошо. Вот он, подлинный, трезвый британец в часы досуга».

XVIII

Раздался топот на лестнице, и, с размаху открыв дверь, вошел Вадим. Одновременно его велосипед, который он оставил в переулке, приладив опущенную педаль к краю панели, с дребезжанием упал, — этот звон все услышали, ибо второй этаж находился на пустяковой высоте. Руки у Вадима, маленькие, с обгрызанными ногтями, были красны от холода рулевых рогов. Лицо, покрытое необыкновенно нежным и ровным румянцем, выражало оторопелое смущение; он его скрывал, быстро дыша, словно запыхался, да потягивая носом, в котором всегда было сыро. Был он одет в мятые, бледно-серые фланелевые штаны, в прекрасно сшитый коричневый пиджак и носил всегда, во всякую погоду и во всякое время, старые бальные туфли. Продолжая посапывать и растерянно улыбаться, он со всеми поздоровался и подсел к Дарвину, которого очень любил и почему-то прозвал «мамкой». У Вадима была одна постоянная прибаутка, которую он Дарвину с трудом перевел: «Приятно зреть, когда большой медведь ведет под ручку маленькую сучку», — и на последних словах голос у него становился совсем тонким. Вообще же он говорил скоро, отрывисто, издавая при этом всякие добавочные звуки, шипел, трубил, пищал, как дитя, которому не хватает ни мыслей, ни слов, а молчать невмоготу. Когда же он бывал смущен, то становился еще отрывистее и нелепее, производя смешанное впечатление застенчивого тихони и чудачливого ребенка. Был он, впрочем, милый, привязчивый, привлекательный человек, падкий на смешное и способный живо чувствовать (однажды, гораздо позже, катаясь весенним вечером с Мартыном по реке, он, при случайном, смутном, почему-то миртовом дуновении — Бог весть

откуда, — сказал: «Пахнет Крымом», что было совершенно верно). Англичане к нему так и льнули, а его колледжский наставник, толстый, астматический старик, специалист по моллюскам, с гортанной нежностью произносил его имя и снисходительно относился к его шелопайству. Как-то в темную ночь Мартын и Дарвин помогли Вадиму снять с чела табачной лавки вывеску, которая с тех пор красовалась у него в комнате. Он добыл и полицейский шлем, простым и остроумным способом: за полкроны, блеснувшие при луне, попросил добродушного полицейского пособить ему перебраться через стену и, оказавшись наверху, нагнулся и сдернул с него шлем. Он же был зачинщиком в случае с огненной колесницей, когда, празднуя годовщину порохового заговора, весь город плевался потешными огнями и на площади бушевал костер, а Вадим со товарищи запряглись в старое ландо, которое купили за два фунта, наполнили соломой и подожгли, — с этим ландо они мчались по улицам в мятели огня и чуть не спалили ратушу. Кроме всего, он был отличным сквернословом, — одним из тех, которые привяжутся к рифмочке и повторяют ее без конца, любят уютные матюжки, ласкательную физиологию и обрывки каких-то анонимных стихов, приписываемых Лермонтову. Образованием он не блистал, по-английски говорил очень смешно и симпатично, но едва понятно, и была у него одна страсть, — страсть ко флоту, к миноносцам, к батальной стройности линейных кораблей, и он мог часами играть в солдатики, паля горохом из серебряной пушки. Его прибаутки, бальные туфли, застенчивость и хулиганство, нежный профиль, обведенный на свет золотистым пушком, — все это, в сочетании с великолепием титула, действовало на Арчибальда Муна неотразимо, разымчиво, вроде шампанского с соленым миндалем, которым он некогда упивался, — одинокий бледный англичанин в запотевшем пенснэ, слушающий московских цыган. Но сейчас, сидя у камина с чашкой в руке, Мун грыз маслом пропитанный гренок, и Ольга Павловна рассказывала ему о газете, которую собирается выпускать в Париже ее муж. Мартын же с тревогой думал, что напрасно позвал Вадима, который молчал, стесняясь Сони, и все щелкал исподтишка в Дарвина изюминками, заимствованными у кекса. Соня приумолкла тоже и задумчиво смотрела на пианолу. Дарвин с развальцем подошел к камину, выбил

золу из трубки и, став спиной к огню, принялся греться. «Мамка», — тихо сказал Вадим и засмеялся. Ольга Павловна с жаром говорила о делах, которые Муна нимало не трогали. За окном потемнело, где-то далеко кричали мальчишки-газетчики: «Пайпа, пайпа!»

XIX

Затем провожали Зилановых на вокзал. Арчибальд Мун попрощался на первом же углу и, нежно улыбнувшись Вадиму (который за его спиной обычно звал его заборным словцом с дополнением «на колесиках»), удалился, держась очень прямо. Некоторое время Вадим тихо ехал вдоль самой панели, положив руку на плечо к Дарвину, шедшему рядом, а потом суетливо простился и быстро отъехал, производя губами звуки испорченного гудка. Пришли на вокзал, Дарвин взял себе и Мартыну перронные билеты. Соня была усталая, раздраженная и все время щурилась. «Ну вот, — сказала Ольга Павловна. — Спасибо за гостеприимство, за угощение. Кланяйтесь матушке, когда будете писать».

Но Мартын поклона не передал, — такие вещи передаются редко. Вообще письма он писал с трудом: как рассказать, например, о сегодняшнем, довольно путаном, чем-то неудачном и неприятном дне? Он намарал строк десять, воспроизвел анекдот о студенте, шкафе и кузине, уверил мать, что совершенно здоров, хорошо питается и носит на теле фуфайку (что было неправдой). Ему вдруг представилось, как почтальон идет по снегу, снег похрустывает, остаются синие следы, — и он об этом написал так: «Письмо принесет почтальон. У нас идет дождь». Подумавши, он почтальона вычеркнул и оставил только дождь. Адрес он выписал крупно и тщательно, в десятый раз вспомнив при этом то, что ему сказал знакомый студент: «Судя по фамилье, я полагал, что вы американец». Он пожалел, что всякий раз забывал это втиснуть в письмо, неизменно уже запечатанное, — вскрывать же было лень. В углу конверта он нечаянно поставил кляксу и долго смотрел на нее сквозь ресницы, и наконец сделал из нее черную кошку, видимую со спины. Софья Дмитриевна этот конверт сохранила вме-

сте с письмами. Она складывала их в пачку, когда кончался биместр, и обвязывала накрест ленточкой. Спустя несколько лет ей довелось их перечесть. Первый биместр был сравнительно богат письмами. Вот Мартын приехал в Кембридж, вот — первое упоминание о Дарвине, Вадиме, Арчибальде Муне, вот — письмо от девятого ноября, дня его именин: «В этот день, — писал Мартын, — гусь ступает на лед, а лиса меняет нору». А вот и письмо с вычеркнутой, но четкой строкой: «Письмо принесет почтальон», — и Софья Дмитриевна пронзительно вспомнила, как, бывало, она с Генрихом идет по искрящейся дороге, между елок, отягощенных пирогами снега, и вдруг — густой звон бубенцов, почтовые сани, письмо, — и поспешно снимаешь перчатки, чтобы вскрыть конверт. Она вспомнила, как в ту пору, и затем в продолжение почти года, безумно боялась, что Мартын, ничего ей не сказав, отправится воевать. Ее немного утешало, что там, в Кембридже, есть какой-то человек-ангел, который влияет на Мартына умиротворительно — прекрасный, здравомыслящий Арчибальд Мун. Но Мартын все-таки мог удрать. Полный покой она знала только тогда, когда сын бывал при ней, в Швейцарии, на каникулах. Письма, которые она спустя годы так мучительно перечитывала, были, несмотря на их вещественность, более призрачного свойства, нежели перерывы между ними. Эти перерывы память заполняла живым присутствием Мартына, — тут Рождество, там Пасха, а там уже — лето, — и в продолжение трех лет, до окончания Мартыном университета, ее жизнь шла как бы окнами, — да, помнится, помнится, — окнами. Вот — этот первый зимний праздник, лыжи, по ее совету купленные Генрихом, Мартын, надевающий лыжи... «Надо быть храброй, — тихо сказала самой себе Софья Дмитриевна, — надо быть храброй. Ведь бывают чудеса. Надо только верить и ждать. Если Генрих опять появится с этой черной повязкой на рукаве, я от него просто уйду». И дрожащими руками, улыбаясь и обливаясь слезами, она продолжала разворачивать письма.

То первое рождественское возвращение, которое его мать запомнила так живо, оказалось и для Мартына праздником. Ему мерещилось, что он вернулся в Россию, — было все так бело, — но, стесняясь своей чувствительности,

он об этом матери тогда не поведал, чем лишил ее еще одного нестерпимого воспоминания. Лыжи ему понравились; на мгновение всплыл занесенный снегом Крестовский остров, но, правда, он тогда вставлял носки валенок в простые пульца, да еще держался за поводок, привязанный ко вздернутым концам легких детских лыж. Эти же были настоящие, солидные, из гибкой ясени, и сапоги тоже были настоящие, лыжные. Мартын, склонив одно колено, натянул запяточный ремень, отогнув тугой рычажок боковой пряжки. Морозный металл ужалил пальцы. Приладив и другую лыжу, он поднял со снегу перчатки, выпрямился, потопал, проверяя, прочно ли, и размашисто скользнул вперед.

Да, он опять попал в Россию. Вот эти великолепные ковры — из пушкинского стиха, который столь звучно читает Арчибальд Мун, упиваясь пеонами. Над отяжелевшими елками небо было чисто и ярко-лазурно. Иногда от перелета сойки срывался с ветки ком снега и рассыпался в воздухе. Пройдя сквозь бор, Мартын вышел на открытое место, откуда летом спускался к гостинице. Вон она — далеко внизу, прямой розоватый дымок стоит над крышей. Чем она манит так, эта гостиница, отчего надо опять стремиться туда, где летом он нашел только несколько крикливых угловатых англичаночек? Но манила она несомненно, подавала тихий знак, солнце вспыхивало в окнах. Мартына даже пугала эта таинственная навязчивость, эта непонятная требовательность, бывшая у какой-нибудь подробности пейзажа. Надо спуститься, — нельзя пренебрегать такими посулами. Крепкий наст сладко засвистел под лыжами, Мартын несся по скату все быстрее, — и сколько раз потом, во сне, в студеной кембриджской комнате, он вот так несся и вдруг, в оглушительном взрыве снега, падал и просыпался. Все было как всегда. Из соседней комнаты доносилось тикание часов. Мышка катала кусок сахару. По панели прошли чьи-то шаги и пропали. Он поворачивался на другой бок и мгновенно засыпал, — и утром, в полусне, слышал уже другие звуки: в соседней комнате возилась госпожа Ньюман, что-то переставляла, накладывала уголь, чиркала спичками, шуршала бумагой и потом уходила, а тишина медленно и сладко наливалась утренним гудом затопленного камина. «Ничего там особенного не оказалось, — подумал Мартын и потянулся к ночному столику за

папиросами. — Все больше пожилые мужчины в свэтерах: вот какие бывают обманы. А сегодня суббота, покатим в Лондон. Что это Дарвину все письма от Сони? Надо бы из него выдавить. Хорошо бы сегодня пропустить лекцию Гржезинского. Вот идет, стерва, будить».

Госпожа Ньюман принесла чай. Была она старая, рыжая, с лисьими глазками. «Вы вчера вечером выходили без плаща, — проговорила она равнодушно. — Мне об этом придется доложить вашему наставнику». Она отдернула шторы, дала краткий, но точный отзыв о погоде и скользнула прочь.

Надев халат, Мартын спустился по скрипучей лестнице и постучался к Дарвину. Дарвин, уже побритый и вымытый, ел яичницу с бэконом. Толстый учебник Маршаля по политической экономии лежал, раскрытый, около тарелки. «Сегодня опять было письмо?» — строго спросил Мартын. «От моего портного», — ответил Дарвин, вкусно жуя. «У Сони неважный почерк», — заметил Мартын. «Отвратительный», — согласился Дарвин, хлебнув кофе. Мартын подошел сзади и, обеими руками взяв Дарвина за шею, стал давить. Шея была толстая и крепкая. «А бэкон прошел», — произнес Дарвин самодовольно натуженным голосом.

XX

Вечером оба покатили в Лондон. Дарвин ночевал в одной из тех очаровательных двухкомнатных квартир для холостяков, которые сдаются при клубах, — а клуб Дарвина был одним из лучших и степеннейших в Лондоне, с тучными кожаными креслами, с лоснистыми журналами на столах, с глухонемыми коврами. Мартыну же досталась на этот раз одна из верхних спален в квартире Зилановых, так как Нелли была в Ревеле, а ее муж шел на Петербург. Когда Мартын прибыл, никого не оказалось дома, кроме самого Зиланова, Михаила Платоновича, который писал у себя в кабинете. Был он коренастый крепыш, с татарскими чертами лица и с такими же темно-тусклыми глазами, как у Сони. Он всегда носил круглые пристяжные манжеты и манишку; манишка топорщилась, придавая его груди нечто голубиное. Принадлежал он к числу тех русских

людей, которые, проснувшись, первым делом натягивают штаны с болтающимися подтяжками, моют по утрам только лицо, шею да руки — но зато отменно, — а еженедельную ванну рассматривают как событие, сопряженное с некоторым риском. На своем веку он немало покатался, страстно занимался общественностью, мыслил жизнь в виде чередования съездов в различных городах, чудом спасся от советской смерти и всегда ходил с разбухшим портфелем: когда же кто-нибудь задумчиво говорил: «Как мне быть с этими книжками? — дождь», — он молча, молниеносно и чрезвычайно ловко пеленал книжки в газетный лист, а порывшись в портфеле, вынимал и веревочку, мгновенно крест-накрест захватывал ею ладный пакет, на который незадачливый знакомый, переминаясь с ноги на ногу, смотрел с суеверным умилением. «Нате», — говорил Зиланов и, поспешно простившись, уезжал — в Орел, в Кострому, в Париж, — и всегда налегке, с тремя чистыми носовыми платками в портфеле, и, сидя в вагоне, совершенно слепой к живописным местам, мимо которых, с доверчивым старанием потрафить, несся курьерский поезд, углублялся в чтение брошюры, изредка делая пометки на полях. Дивясь его невнимательности к пейзажам, к удобствам, к чистоте, Мартын вместе с тем уважал Зиланова за его какую-то прущую суховатую смелость и всякий раз, когда видел его, почему-то вспоминал, что этот, по внешности малоспортивный человек, играющий, вероятно, только на бильярде, да еще, пожалуй, в рюхи, спасся от большевиков по водосточной трубе и когда-то дрался на дуэли с октябристом Тучковым.

«А, здравствуйте, — сказал Зиланов и протянул смуглую руку. — Присаживайтесь». Мартын сел. Михаил Платонович впился опять в полуисписанный лист, взялся за перо и, — потрепетав им по воздуху над самой бумагой, прежде чем претворить эту дрожь в быстрый бег письма, — одновременно дал перу волю и сказал: «Они, вероятно, сейчас вернутся». Мартын притянул к себе с соседнего стула газету, — она оказалась русской, издаваемой в Париже. «Как занятия?» — спросил Зиланов, не поднимая глаз с ровно бегущего пера. «Ничего, хорошо, — сказал Мартын и отложил газету. — А давно они ушли?» Михаил Платонович ничего не ответил, — перо разгулялось вовсю. Зато минуты через две он опять заговорил, все еще не глядя на Мартына.

«Баклуши бьете. Там ведь главное — спорт». Мартын усмехнулся. Михаил Платонович быстро потопал по строкам пресс-бюваром и сказал: «Софья Дмитриевна все просит у меня дополнительных сведений, но я ничего больше не знаю. Все, что я знал, я ей тогда написал в Крым». Мартын кашлянул. «Что вы?» — спросил Зиланов, усвоивший в Москве это дурное речение. «Я ничего», — ответил Мартын. «Это о смерти вашего отца, конечно, — сказал Зиланов и посмотрел тусклыми глазами на Мартына. — Ведь это я известил вас тогда». — «Да-да, я знаю», — поспешно закивал Мартын, всегда чувствовавший неловкость, когда чужие — с самыми лучшими намерениями — говорили ему об его отце. «Как сейчас помню последнюю встречу, — продолжал Зиланов. — Мы столкнулись на улице. Я тогда уже скрывался. Сперва не хотел подойти. Но у Сергея Робертовича был такой потрясающий вид. Помню, он очень беспокоился, как вы там живете в Крыму. А через денька три забегаю к нему, и нате вам — несут гроб». Мартын кивал, мучительно ища способа переменить разговор. Все это Михаил Платонович рассказывал ему в третий раз, и рассказ был в общем довольно бледный. Зиланов замолчал, перевернул лист, его перо подрожало и тронулось. Мартын от нечего делать опять потянулся к газете, но тут щелкнула парадная дверь, раздались в прихожей голоса, шаркание, ужасный кудахтающий смех Ирины.

XXI

Мартын вышел к ним и, как обычно при встрече с Соней, мгновенно почувствовал, что потемнел воздух вокруг него. Так было и в ее последний приезд в Кембридж (вместе с Михаилом Платоновичем, который мучил Мартына вопросами, сколько лет различным колледжам и сколько книг в библиотеке, — меж тем как Соня и Дарвин о чем-то тихо смеялись), так было и сейчас: странное отупение. Его голубой галстук, острые концы мягкого отложного воротничка, двубортный костюм, — все было как будто в порядке, однако Мартыну под непроницаемым взглядом Сони показалось, что одет он дурно, что волосы торчат на макушке, что плечи у него как у ломового извозчика, а лицо — глупо своей круглотой. Отвратительны были

и крупные костяшки рук, которые за последнее время покраснели и распухли — от голкиперства, от боксовой учебы. Прочное ощущение счастья, как-то связанное с силой в плечах, со свежей гладкостью щек или недавно запломбированным зубом, распадалось в присутствии Сони мгновенно. И особенно глупым казалось ему то, что, собственно говоря, брови у него кончаются на полпути, густоваты только у переносицы, а дальше, по направлению к вискам, удивленно редеют.

Сели ужинать. Наталья Павловна, такая же сырая женщина, как ее сестра, но еще реже улыбавшаяся, привычно и незаметно следила за тем, чтобы Ирина пристойно ела, не слишком ложилась на стол и не лизала ножа. Михаил Платонович явился чуть попозже, быстро и энергично заложил угол салфетки за воротник и, слегка привстав, цоппнул через весь стол булочку, которую мгновенно разрезал и смазал маслом. Его жена читала письмо из Ревеля и, не отрываясь от чтения, говорила Мартыну: «Кушайте, пожалуйста». Слева от него корячилась большеротая Ирина, чесала под мышкой и мычала, объясняясь в любви холодной баранине; справа же сидела Соня: ее манера брать соль на кончик ножа, стриженые черные волосы с жестким лоском и ямка на бледной щеке чем-то несказанно его раздражали. После ужина позвонил по телефону Дарвин, предложил поехать танцовать, и Соня, поломавшись, согласилась. Мартын пошел переодеваться и уже натягивал шелковые носки, когда Соня сказала ему через дверь, что устала и никуда не поедет. Через полчаса приехал Дарвин, очень веселый, большой и нарядный, в цилиндре набекрень, с билетами на дорогой бал в кармане, и Мартын сообщил ему, что Соня раскисла и легла, — и Дарвин, выпив чашку остывшего чаю, почти естественно зевнул и сказал, что в этом мире все к лучшему. Мартын знал, что он приехал в Лондон с единственной целью повидать Соню, и когда Дарвин, насвистывая, в ненужном цилиндре и крылатке, стал удаляться по пустой темной улице, Мартыну сделалось очень обидно за него, и, тихо прикрыв входную дверь, он поплелся наверх спать. В коридоре выскочила к нему Соня, одетая в кимоно и совсем низенькая, оттого что была в ночных туфлях. «Ушел?» — спросила она. «Большое свинство», — вполголоса заметил Мартын, не останавливаясь. «Могли бы его задержать», — сказала она вдогонку и скоро-

говоркой добавила: «А вот я возьму и позвоню ему и поеду плясать, вот что». Мартын ничего не ответил, захлопнул дверь, яростно вычистил зубы, раскрыл постель, словно хотел из нее кого-то выкинуть, и, поворотом пальцев прикончив свет лампы, накрылся с головой. Но и сквозь одеяло он услышал спустя некоторое время поспешные шаги Сони по коридору, стук ее двери, — не может быть, чтобы она действительно ходила вниз телефонировать, — однако он прислушался, и снова было затишье, и вдруг опять зазвучали ее шаги, и уже звук был другой — легкий, даже воздушный. Мартын не выдержал, высунулся в коридор и увидел, как Соня вприпрыжку спускается вниз по лестнице, в бальном платье цвета фламинго, с пушистым веером в руке и с чем-то блестящим вокруг черных волос. Дверь ее комнаты осталась открытой, света она не потушила, и там еще стояло облачко пудры, как дымок после выстрела, лежал наповал убитый чулок, и выпадали на ковер разноцветные внутренности шкафа.

Вместо радости за друга Мартын почувствовал живейшую досаду. Все было тихо. Только из спальни Зилановых исходил томительный храп. «Чорт ее побери», — пробормотал он и некоторое время рассуждал сам с собой, не отправиться ли ему тоже на бал, — ведь было три билета. Он увидел себя взлетающим по мягким ступеням, в смокинге, в шелковой рубашке с набористой грудью, как носили франты в тот год, в легких лаковых туфлях с плоскими бантами; вот — из раскрывшихся дверей пахнуло огнем музыки. Упругий и нежный нажим мягкой женской ноги, которая все поддается и все продолжает касаться тебя, душистые волосы у самых губ, щека, оставляющая на шелковом лацкане налет пудры, — все это извечное, нежное, банальное волновало Мартына чрезвычайно. Он любил танцовать с незнакомой дамой, любил пустой, целомудренный разговор, сквозь который прислушиваешься к тому чудному, невнятному, что происходит в тебе и в ней, что будет длиться еще два-три такта и, ничем не разрешившись, пропадет навеки, забудется совершенно. Но пока слияние еще не расторгнуто, намечается схема возможной любви, и в зачатке тут уже есть все — внезапное затишье в полутемной комнате, человек, дрожащей рукой прилаживающий к пепельнице только что закуренную, мешающую папиросу; медленно, как в кинематографе, закрывающиеся

женские глаза; и блаженный сумрак; и в нем — точка света, блестящий дорожный лимузин, быстро несущийся сквозь дождливую ночь; и вдруг — белая терраса и солнечная рябь моря, — и Мартын, тихо говорящий увезенной им женщине: «Имя? Как твое имя?» На ее светлом платье играют лиственные тени, она встает, уходит; и крупье с хищным лицом загребает лопаткой последнюю ставку Мартына, и остается только засунуть руки в пустые карманы смокинга, да медленно спуститься в сад, да наняться поутру портовым грузчиком, — и вот — она снова... на борту чужой яхты... сияет, смеется, бросает монеты в воду...

«Странная вещь, — сказал Дарвин, выходя как-то вместе с Мартыном из маленького кембриджского кинематографа, — странная вещь: ведь все это плохо, и вульгарно, и не очень вероятно, — а все-таки чем-то волнуют эти ветреные виды, роковая дама на яхте, оборванный мужлан, глотающий слезы...»

«Хорошо путешествовать, — проговорил Мартын. — Я хотел бы много путешествовать».

Этот обрывок разговора, случайно уцелевший от одного апрельского вечера, припомнился Мартыну, когда, в начале летних каникул, уже в Швейцарии, он получил письмо от Дарвина с Тенериффы. Тенериффа — Боже мой! — какое дивно зеленое слово! Дело было утром; сильно подурневшая и как-то распухшая Мария стояла в углу на коленях и выжимала половую тряпку в ведро; над горами, цепляясь за вершины, плыли большие белые облака, и порою несколько дымных волокон спускалось по дальнему скату, и там, на этих скатах, все время менялся свет, — приливы и отливы солнца. Мартын вышел в сад, где дядя Генрих в чудовищной соломенной шляпе разговаривал с деревенским аббатом. Когда аббат, маленький человек в очках, которые он все поправлял большим и пятым пальцем левой руки, низко поклонился и, шурша черной рясой, прошел вдоль сияющей белой стены и сел в таратайку, запряженную толстой, розоватой лошадью, сплошь в мелкой горчице, Мартын сказал: «Тут прекрасно, я обожаю эти места, но почему бы мне — ну хотя бы на месяц — не поехать куданибудь, — на Канарские острова, например?»

«Безумие, безумие, — ответил дядя Генрих с испугом, и его усы слегка затопорщились. — Твоя мать, которая так тебя ждала, которая так счастлива, что ты остаешься с ней до октября, — и вдруг — ты уезжаешь...»

«Мы бы могли все вместе», — сказал Мартын.

«Безумие, — повторил дядя Генрих. — Потом, когда ты кончишь учиться, я не возражаю. Я всегда считал, что молодой человек должен видеть мир. Помни, что твоя мать только теперь оправляется от потрясений. Нет, нет, нет».

Мартын пожал плечами и, засунув руки в карманы коротких штанов, побрел по тропинке, ведущей к водопаду. Он знал, что мать ждет его там, у грота, полузавешенного еловой хвоей, — так было условлено, — она выходила гулять очень рано и, не желая будить Мартына, оставляла для него записку: «У грота, в десять часов» или: «У ключа, по дороге в Сен-Клер»; но хотя он знал, что она ждет, Мартын вдруг переменил направление и, покинув тропу, пошел по вереску вверх.

XXII

Склон становился все круче, пекло солнце, мухи норовили сесть на губы и глаза. Дойдя до круглой березовой рощицы, он отдохнул, выкурил папиросу, туже подтянул завороченные под коленями чулки и, жуя березовый листок, стал подниматься дальше. Вереск был хрустящий и скользкий; иногда колючий кустик утесника цеплялся за ногу. Спереди, наверху, сверкало нагромождение скал, и между ними пролегал желоб, веерная трещина, полная мелких камушков, которые пришли в движение, как только он на них ступил. Этим путем нельзя было добраться до вершины, и Мартын пошел лезть прямо по скалам. Иногда корни или моховые ляпки, за которые он хватался, отрывались от скалы, и он лихорадочно искал под ногой опоры, или же, наоборот, что-то поддавалось под ногами, он повисал на руках, и приходилось мучительно подтягиваться вверх. Он уже почти достиг вершины, когда вдруг поскользнулся и начал съезжать, цепляясь за кустики жестких цветов, не удержался, почувствовал жгучую боль, оттого что коленом проскреб по скале, попытался обнять скользящую вверх крутизну, и вдруг что-то спасительное толкнуло его под подошвы. Он оказался на выступе скалы, на каменном карнизе, который справа суживался и сливался со скалой, а с левой стороны тянулся саженей на пять, заворачивал за угол, и что с ним было дальше — неизвестно. Карниз

напоминал бутафорию кошмаров. Мартын стоял, плотно прижавшись к отвесной скале, по которой грудью проехался, и не смел отлепиться. С натугой посмотрев через плечо, он увидел чудовищный обрыв, сияющую, солнечную пропасть, и в глубине панику отставших елок, бегом догоняющих спустившийся бор, а еще ниже — крутые луга и крохотную, ярко-белую гостиницу. «Ах, вот ее назначение, — суеверно подумал Мартын. — Сорвусь, погибну, вот она и смотрит. Это... Это...» Одинаково ужасно было смотреть туда, в пропасть, и наверх, на отвесную скалу. Полка, шириной с книжную, под ногами и бугристое место на скале, куда вцепились пальцы, было все, что оставалось Мартыну от прочного мира, к которому он привык.

Он почувствовал слабость, мутность, тошный страх, — но вместе с тем странно-отчетливо видел себя как бы со стороны, в открытой фланелевой рубашке и коротких штанах, неуклюже прильнувшим к скале, отмечал чертополошинку, приставшую к чулку, и совсем черную бабочку, которая с завидной небрежностью пропорхнула тихим чертенком и стала подниматься вдоль скалы, — и хотя никого не было кругом, перед кем стоило бы пофорсить, Мартын стал насвистывать и, дав себе слово никак не отвечать на приглашения пропасти, принялся медленно переставлять ноги, подвигаясь влево. Ах, если бы видать, куда заворачивает карниз! Скала как будто надвигалась на него, оттесняла в бездну, нетерпеливо дышавшую ему в спину. Ногти впивались в камень, камень был горяч, синели пучки цветов, неполной восьмеркой пробегала ящерица и застывала, мухи лезли в глаза. Иногда приходилось останавливаться, и он слышал, как самому себе жалуется: «Не могу больше, не могу», — и тогда, поймав себя на этом, он начинал издавать губами зачаточный мотив — фокстрот или марсельезу, — после чего облизывался и опять, жалуясь, продолжал продвигаться вбок. Оставалось полсажени до заворота, когда что-то посыпалось из-под подошвы, и, вцепившись в скалу, он невольно повернул голову, и в солнечной пустоте медленно закружилось белое пятнышко гостиницы. Мартын закрыл глаза и замер, но, справившись с тошнотой, опять задвигался. У поворота он быстро сказал: «Пожалуйста, прошу тебя, пожалуйста», — и просьба его была тотчас уважена: за поворотом полка расширялась, переходила в площадку, а там уже был знакомый желоб и вересковый скат.

Там он отдышался, ощущая во всем теле ломоту и дрожь. Ногти были темно-красные, словно он рвал клубнику, и горело ободранное колено. Опасность, которую он только что пережил, казалась ему куда действительнее той, на которую он напоролся в Крыму. Теперь он испытывал гордость, но эта гордость вдруг утратила всякий вкус, когда Мартын спросил себя, мог ли бы он снова, уже по собственному почину, проделать то, что он проделал случайно. Через несколько дней он не выдержал, опять поднялся по вересковым кручам, но, добравшись до площадки, откуда начинался карниз, не решился на него ступить. Он сердился, науськивал себя, издевался над своей трусостью, воображал Дарвина, глядящего на него с усмешкой... постоял, постоял, да махнул рукой, да пошел назад, стараясь не обращать внимания на грубияна, буйствовавшего у него в душе. Вновь и вновь, до самого конца каникул, врывался тот и буянил, и Мартын решил наконец больше не подниматься в те места, чтобы не мучиться видом каменной полки, по которой не смеет пройти. И с язвительным чувством недовольства собой он в октябре вернулся в Англию и прямо с вокзала поехал к Зилановым. Горничная, которая ему открыла, оказалась новой, и это было неприятно, словно он попал к чужим. В гостиной, вся в черном, стояла Соня и поглаживала виски, а потом, резко и прямо, по привычке своей, протянула ему руку. Мартын с удивлением подумал, что ни разу не вспомнил ее за лето, ни разу ей не написал, а что все-таки — вот ради этой неловкости, которую он чувствует, глядя на ее хмурое, бледное лицо, — стоит проделать немалый путь. «Вы, вероятно, не знаете о нашем несчастье», — сказала Соня и как-то сердито рассказала, что на прошлой неделе, в один и тот же день, пришло известие, что Нелли умерла от родов в Бриндизи, а муж ее убит в Крыму. «Ах, он поехал от Юденича к Врангелю», — беспомощно сказал Мартын и с редкой ясностью представил себе этого Неллиного мужа, которого видел всего раз, и самое Нелли, казавшуюся ему тогда скучной, пресной, а теперь почему-то умершей в Бриндизи. «Мама в ужасном состоянии», — сказала Соня, перелистывая страницы книги, которая валялась на диване. «А папа Бог знает где побывал, чуть ли не в Киеве», — добавила она погодя и, захватив первым пальцем несколько страниц, быстро их процедила. Мартын сел в кресло,

потирая руки. Соня захлопнула книгу и сказала, подняв лицо: «Дарвин был идеален, идеален. Он страшно нам помог. Такой трогательный, и так все без лишних слов. Вы у нас ночуете?» — «Собственно говоря, — ответил Мартын, — я бы мог и нынче поехать в Кембридж. Наверно, вам неудобно и так далее». — «Да нет, ерунда какая», — сказала Соня со вздохом. Внизу раздался глухой звон гонга, и это не вязалось с тем, что в доме траур. Мартын пошел мыть руки и, открыв дверь уборной, столкнулся с Михаилом Платоновичем, у которого не в обычае было запираться на ключ. Он посмотрел на Мартына тусклым взглядом, неторопливо вжимая пуговку в петлю. «Примите мое глубокое соболезнование», — пробормотал Мартын и почему-то щелкнул каблуками. Зиланов прикрыл глаза в знак признательности, пожал Мартыну руку, и то, что все это происходит на пороге уборной, подчеркивало нелепость рукопожатия и готовых слов. Зиланов, подрыгивая ногами, словно утряхивая что-то, медленно удалился; Мартын увидел в зеркало свой болезненно сморщенный нос. «Но я же должен был что-нибудь сказать», — проговорил он сквозь зубы.

Обед прошел молчаливо, если не считать шумное присасывание, с которым Михаил Платонович ел суп. Ирина с матерью была в загородной санатории, а Ольга Павловна к обеду не вышла, так что сидели втроем. Позвонил телефон, и Зиланов, жуя на ходу, проворно ушел в кабинет. «Я знаю, вы баранину не любите», — тихо сказала Соня, — и Мартын молча улыбнулся, чуть-чуть приглушая улыбку. «Зайдет Иоголевич, — сказал Михаил Платонович, вновь садясь за стол. — Он только что из Питера. Дай горчицу. Говорит, что перешел границу в саване». — «На снегу незаметнее», — через минуту выговорил Мартын, чтобы поддержать беседу, — но беседы не вышло.

XXIII

Иоголевич оказался толстым, бородатым человеком в сером вязаном жилете и в потрепанном черном костюме, с перхотью на плечах. Торчали ушки черных ботинок на лястиках, а сквозь неподтянутые носки брезжили завязки подштанников; его полная невнимательность к вещам,

к ручке кресла, по которой он похлопывал, к толстой книжке, на которую он сел и которую без улыбки вынул из-под себя и, не посмотрев на нее, отложил, — все это указывало на его тайное родство с самим Зилановым. Кивая большой, кудреватой головой, он только кратко поцокал языком, узнав о горе Зилановых, и затем, с места в карьер, мазнув ладонью сверху вниз по грубо скроенному лицу, пустился в повествование. Было очевидно, что единственное, чего он полон, единственное, что занимает его и волнует, — это беда России, и Мартын с содроганием представлял себе, что было бы, если б взять да перебить его бурную, напряженную речь анекдотом о студенте и кузине. Соня сидела поодаль, оперев локти на колени, а лицо на ладони. Зиланов слушал, положив палец вдоль носа, и изредка говорил, снимая палец: «Простите, Александр Наумович, — но вот вы упомянули...» Иоголевич на мгновение останавливался, моргал и затем продолжал говорить, и его лепное лицо замечательно играло, беспрестанно меняя выражение, — играли косматые брови, ноздри грушеобразного носа, складки волосатых щек, между тем как руки его, с черной шерстью на тыльной стороне, ни одной секунды не оставались в покое, что-то поднимали, подбрасывали, схватывали опять, расшвыривали во все стороны, и жарко, с раскатами, он говорил о казнях, о голоде, о петербургской пустыне, о людской злобе, скудоумии и пошлости. Ушел он за полночь, и уже с порога вдруг обернулся и спросил, столько стóят в Лондоне галоши. Когда закрылась за ним дверь, Зиланов остался некоторое время стоять в раздумье и погодя ушел наверх, к жене. Через три минуты раздался звонок: Иоголевич вернулся; оказалось, что он не знает, как дойти до станции подземной дороги. Мартын взялся его проводить и, шагая рядом с ним, мучительно придумывал тему для разговора. «Напомните вашему отцу, — я совсем забыл передать, — что Максимов просит поскорее его статью о добровольческих впечатлениях, — вдруг сказал Иоголевич, — он знает, в чем дело, — вы только передайте, Максимов уже вашему отцу писал». — «Непременно», — ответил Мартын, — хотел что-то добавить, но осекся.

Он не спеша вернулся в дом, — представляя себе то Иоголевича, в белом балахоне, переходящим границу, то Зиланова с портфелем на какой-то разрушенной станции,

под украинскими звездами. Все было тихо в доме, когда он поднимался по лестнице. Раздеваясь, он позевывал и чувствовал странную тоску. Ярко горела лампочка на ночном столике, пухло белела широкая постель, халат, вынутый горничной из портпледа, отливал синим шелком, уютно растянувшись на кресле. Вдруг Мартын с досадой заметил, что забыл захватить с собой книгу, которую облюбовал в гостиной, тогда же мельком решив взять ее с собою в постель. Он накинул халат и спустился во второй этаж. Книга была потрепанным томом Чехова. Он нашел ее — почему-то на полу — и вернулся к себе в спальню. Но тоска не прошла, хотя Мартын был из тех людей, для которых хорошая книжка перед сном — драгоценное блаженство. Такой человек, вспомнив случайно днем, среди обычных своих дел, что на ночном столике, в полной сохранности, ждет книга, — чувствует прилив неизъяснимого счастья. Мартын начал читать, выбрав рассказ, который он знал, любил, мог перечесть сто раз подряд, — «Дама с собачкой». Ах, как она хорошо потеряла лорнетку в толпе, на ялтинском молу! И внезапно, без всякой как будто причины, он понял, чтó именно так беспокоит его. В этой светлой комнате спала год назад Нелли, а теперь ее нет.

«Какие пустяки», — сказал Мартын и попробовал продолжать чтение, — но это оказалось невозможным. Он вспомнил давно минувшие ночи, когда ждал, что покойный отец царапнет в углу. У Мартына сильно забилось сердце; в постели стало жарко и неудобно. Он представил себе, как сам будет когда-нибудь умирать, — и было такое ощущение, словно медленно и неумолимо опускается потолок. Что-то мелко застучало в теневой части комнаты, — и у Мартына екнуло в груди. Но это просто закапала на линолеум вода, пролитая на доску умывальника. А ведь странно: если бродят души покойников, то все хорошо, есть, значит, загробные движения души, — почему же это так страшно? «Как же я сам буду умирать?» — подумал Мартын и начал перебирать в уме все разновидности смерти. Он увидел себя стоящим у стенки, вобравшим в грудь побольше воздуха и ожидающим залпа, и вспоминающим с дикой безнадежностью вот эту, вот эту нынешнюю минуту, — светлую спальню, пухлую ночь, беспечность, безопасность. Могли быть и болезни, ужасные болезни, разрывающие внутренности. Или крушение поезда. Или, наконец,

тихое замирание старости, смерть во сне. А еще — темный лес и погоня. «Пустяки, — подумал Мартын. — У меня большой запас. Да и каждый год — целая эпоха. Что же тут тревожиться? А может быть, Нелли здесь и сейчас видит меня? Может быть, вот-вот — подаст мне знак?» Он посмотрел на часы, было около двух. Беспокойство становилось нестерпимым. Тишина как будто ждала, — дальний рожок автомобиля был бы счастьем. Тишина лилась, лилась — и вдруг перелилась через край: кто-то на цыпочках босиком шел по коридору.

«Спите?» — раздался вопросительный шепот через дверь, и Мартын не сразу мог ответить, что-то заскочило в горле. Соня, войдя, тихо опустилась с пальцев на пятки. На ней была желтая пижама, жесткие черные волосы были слегка растрепаны. Так она постояла несколько мгновений, моргая спутанными ресницами. Мартын, присев на постели, глупо улыбался. «Нет никакой возможности спать, — таинственно проговорила Соня. — Мне неприятно, мне как-то жутко, — и потом эти ужасы, которые он рассказывал». — «Отчего вы, Соня, босиком? — пробормотал Мартын. — Хотите мои ночные туфли?» Она покачала головой, задумчиво пуча губы, и затем опять тряхнула волосами и посмотрела неопределенно на Мартынову постель. «Хоп-хоп», — сказал Мартын, похлопывая по одеялу в ногах постели. Она влезла и встала сперва на колени, а потом медленно задвигалась и свернулась в уголку, на одеяле, между изножьем постели и стеной. Мартын вытащил из-под себя подушку и подложил ей за спину. «Спасибо», — сказала она совершенно беззвучно, — очертание слова можно было только угадать по движениям бледных мягких губ. «Вам удобно?» — нервно спросил Мартын, поджав колени, чтобы ей не мешать, а потом опять наклонился вперед и, взяв с кресла рядом халат, прикрыл ее босые ноги. «Дайте мне папиросу», — попросила она погодя. Мартын дал. От Сони шло нежное тепло, и вокруг прелестной голой шеи была тонкая цепочка. Она затянулась и, щурясь, выпустила дым и отдала папиросу Мартыну. «Крепкая», — сказала она с грустью. «Что вы делали летом?» — спросил Мартын, стараясь побороть что-то глухое, сумасшедшее, совершенно невозможное, от которого даже знобило. «Так. Ничего. Были в Брайтоне». Она вздохнула и добавила: «Летала на гидроплане». — « А я чуть не погиб, — сказал

Мартын. — Да-да, чуть не погиб. Высоко в горах. Сорвался со скалы. Едва спасся». Соня смутно улыбнулась. «Знаете, Мартын, она всегда говорила, что самое главное в жизни — это исполнять свой долг и ни о чем прочем не думать. Это очень глубокая мысль, правда?» — «Да, может быть, — ответил Мартын, неверной рукой суя недокуренную папиросу в пепельницу. — Может быть. Но ведь иногда это скучновато». — «Ах, нет же, нет, — не просто дело, не работу или там службу, а такое, ну такое, — внутреннее». Она замолчала, и Мартын заметил, что она дрожит в легонькой своей пижаме. «Холодно?» — спросил он. «Да, кажется холодно. И вот, это нужно исполнять, а у меня, например, ничего нет». — «Соня, — сказал Мартын, — может быть, вы?..» Он слегка отвернул одеяло, и она встала на коленки и медленно подвинулась к нему. «И мне кажется, — продолжала она, вползая под одеяло, которое он, ничего не слыша из того, что она говорит, неловко натянул на нее и на себя. — Мне вот кажется, что многие люди этого не знают, и от этого происходит...» Мартын глубоко вздохнул и обнял ее, прильнув губами к ее щеке. Соня схватила его за кисть, приподнялась и мгновенно выкатилась из постели. «Боже мой, — сказала она, — Боже мой!» И ее темные глаза заблестели слезами, и в одно мгновение все лицо стало мокро, длинные светлые полосы поползли по щекам. «Ну, что вы, не надо, я просто, ну, я не знаю, ах, Соня», — бормотал Мартын, не смея ее тронуть и теряясь от мысли, что она может вдруг закричать и поднять на ноги весь дом. «Как вы не понимаете, — сказала она протяжно, — как вы не понимаете... Ведь я же вот так приходила к Нелли, и мы говорили, говорили до света...» Она повернулась и, плача, вышла из комнаты. Мартын, сидя в спутанных простынях, беспомощно ухмылялся. Она прикрыла за собой дверь, но снова ее отворила, просунула голову. «Дурак», — сказала она совершенно спокойно и деловито, — после чего засеменила прочь по коридору.

Мартын некоторое время глядел на белую дверь. Когда он потушил свет и попробовал уснуть, последнее оказалось как будто невозможно. Он стал размышлять о том, что, как только забрезжит утро, нужно будет одеться, сложить вещи и тихо уйти из дому прямо на вокзал, — к сожалению, он на этих мыслях и уснул, — а проснулся в четверть десятого. «Может быть, это все было сон?» — сказал он про себя

с некоторой надеждой, но тут же покачал головой и, в приливе мучительного стыда, подумал, как это он теперь встретится с Соней. Утро выдалось неудачное: он опять некстати влетел в ванную комнату, где Зиланов, широко расставив короткие ноги в черных штанах, наклонив корпус в плотной фланелевой фуфайке, мыл над раковиной лицо, до скрипа растирал щеки и лоб, фыркал под бьющей струей, прижимал пальцем то одну ноздрю, то другую, яростно высмаркиваясь и плюясь. «Пожалуйста, пожалуйста, я кончил», — сказал он и, ослепленный водой, роняя брызги, как крылышки держа руки, понесся к себе в комнату, где предпочитал хранить полотенце.

Затем, спускаясь вниз, в столовую, пить цикуту, Мартын встретился с Ольгой Павловной: лицо у нее было ужасное, лиловатое, все распухшее, — и он страшно смутился, не смея ей сказать готовых слов соболезнования, а других не зная. Она обняла его, почему-то поцеловала в лоб — и, безнадежно махнув рукой, удалилась, и там, в глубине коридора, муж ей что-то сказал о каких-то бумагах, с совершенно неожиданной надтреснутой нежностью в голосе, на которую он казался вовсе не способен. Соню же Мартын встретил в столовой, — и первое, что она ему сказала, было: «Я вас прощаю, потому что все швейцарцы кретины; кретин — швейцарское слово, — запишите это». Мартын собирался ей объяснить, что он ничего не хотел дурного, — и это было в общем правдой, — хотел только лежать с ней рядом и целовать ее в щеку, — но Соня выглядела такой сердитой и унылой в своем черном платье, что он почел за лучшее смолчать. «Папа сегодня уезжает в Бриндизи, — слава Богу, дали наконец визу», — проговорила она, недоброжелательно глядя на плохо сдержанную жадность, с которой Мартын, всегда как волк голодный по утрам, пожирал глазунью. Мартын подумал, что нечего тут засиживаться, день будет все равно нелепый, проводы и так далее. «Звонил Дарвин», — сказала Соня.

XXIV

Дарвин явился с комедийной точностью — сразу после этих слов, будто ждал за кулисами. Лицо у него было, от морского солнца, как ростбиф, и одет он был в замечательный,

бледный костюм. Соня поздоровалась с ним — слишком томно, как показалось Мартыну. Мартын же был схвачен, огрет по плечу, по бокам и несколько раз спрошен, почему он не позвонил. Вообще говоря, обычно ленивый Дарвин проявил в этот день какую-то невиданную энергию, на вокзале взял у носильщика чужой сундук и понес на затылке, а в пульманском вагоне, на полпути между Ливерпуль-стрит и Кембриджем, посмотрел на часы, подозвал кондуктора, подал ему ассигнацию и торжественно потянул рукоятку тормоза. Поезд застонал от боли и остановился, а Дарвин, с довольной улыбкой, всем объяснил, что ровно двадцать четыре года тому назад он появился на свет. Через день в одной из газет побойчее была об этом заметка под жирным заголовком: «Молодой автор в день своего рождения останавливает поезд»; сам же Дарвин сидел у своего университетского наставника и гипнотизировал его подробным рассказом о торговле пиявками, о том, как их разводят и какие сорта лучше.

Та же была стужа в спальне, те же переклички курантов, и тот же вваливался Вадим, с тою же на устах рифмованной азбукой, построенной на двустишиях, каждое из коих начиналось веским утверждением: «Японцы любят харакири» или: «Филипп Испанский был пройдоха», — а кончалось строкой на ту же букву, не менее дидактической, но гораздо более непристойной. А вот Арчибальд Мун был как будто и тот же и другой: Мартын никак не мог восстановить прежнее очарование. Мун при встрече сказал, что выработал за лето новых шестнадцать страниц своей Истории России, целых шестнадцать страниц, потому так много объяснил он, что весь долгий летний день уходил на работу, — и при этом он сделал пальцами движение, обозначавшее перелив и пластичность каждой им выношенной фразы, и в этом движении Мартыну показалось что-то крайне развратное, а слушать густую речь Муна было как жевать толстый, тягучий рахат-лукум, запудренный сахаром. И впервые Мартын почувствовал нечто для себя оскорбительное в том, что Мун относится к России как к мертвому предмету роскоши. Когда он в этом сознался Дарвину, тот с улыбкой кивнул и сказал, что Мун таков оттого, что предан уранизму. Мартын стал внимательнее, — и после того как однажды Мун, ни с того ни с сего, дрожащими пальцами погладил его по волосам, он перестал

его посещать и тихо спускался через окно по трубе в переулок, когда одинокий, томящийся Мун стучался в дверь его комнаты. На лекции Муна он все же продолжал ходить, но, изучая отечественных писателей, старался вытравить из слуха интонации Муна, которые преследовали его, особенно в ритме стихов. И Муну он стал предпочитать другого профессора — Стивенса, благообразного старика, который преподавал Россию честно, тяжело, обстоятельно, а говорил по-русски с задыхающимся лаем, часто вставляя сербские и польские слова. Все же не так скоро Мартыну удалось окончательно отряхнуть Арчибальда Муна. Порою он невольно любовался мастерством его лекций, но тотчас же, почти воочию, видел, как Мун уносит к себе саркофаг с мумией России. В конце концов Мартын от него совсем отделался, взяв кое-что, но претворив это в собственность, и уже в полной чистоте зазвучали русские музы. А Муна иногда видели на улице в сопровождении прекрасного пухлявого юноши, с зачесанными назад бледными, пышными волосами, который играл женщин в шекспировских спектаклях, при чем Мун сидел в первом ряду, весь разомлевший, а потом шикал с другими на Дарвина, который, откинувшись в кресле, притворялся, что не в силах сдержать восторг, и неуместно разражался канонадой рукоплесканий.

Но и с Дарвином были у Мартына свои счеты. Дарвин иногда один отлучался в Лондон, и Мартын, в воскресную ночь, до трех часов утра, до полного оскудения кокса, сидел у камина, из которого дуло как из могилы, и настойчиво, яростно, словно нажимая на больной зуб, представлял себе Соню и Дарвина вдвоем в темном автомобиле. Однажды он не выдержал и покатил в Лондон на вечер, на который не был зван, и ходил по залам, полагая, что выглядит очень бледным и строгим, но вдруг некстати уловил в зеркале свое круглое розовое лицо с шишкой на лбу, напомнившей ему, как он накануне вырывал футбольный мяч из-под мчавшихся ног. И вот — явились: Соня, одетая цыганкой и как будто забывшая, что едва четыре месяца минуло со смерти сестры, и Дарвин, одетый англичанином из континентальных романов, — костюм в крупную клетку, тропический шлем с платком сзади для защиты затылка от солнца Помпей, бэдекер под мышкой и ярко-рыжие баки. Была музыка, был серпантин, была мятель конфетти, и на

одно упоительное мгновение Мартын почувствовал себя участником тонкой маскарадной драмы. Музыка прекратилась, — и когда, несмотря на явное желание Дарвина остаться с Соней наедине, Мартын влез в тот же таксомотор, он заметил вдруг в темноте автомобиля, прорезанной случайным отблеском, что Дарвин как будто держит Сонину руку в своей, и мучительно принялся себя уверять, что это просто игра света и тени. И невероятно было тяжко, когда Соня приезжала в Кембридж: Мартыну все казалось, что он лишний, что хотят от него отделаться. И потом было опять лето в Швейцарии, отмеченное победой над одним из лучших швейцарских теннисистов, — но что было Соне до его успехов в боксе, теннисе, футболе, — и иногда Мартын представлял себе в живописной мечте, как возвращается к Соне после боев в Крыму, и вот с громом проскакивало слово: кавалерия... — марш-марш, — и свист ветра, комочки черной грязи в лицо, атака, атака, — така-так подков, анапест полного карьера. Но теперь было поздно, бои в Крыму давно кончились, давно прошло время, когда Неллин муж летел на вражеский пулемет, близился, близился и вдруг ненароком проскочил за черту, в еще звеневшую отзвуком земной жизни область, где нет ни пулеметов, ни конных атак. «Спохватился, нечего сказать», — мрачно журил себя Мартын и вновь, и вновь, с нестерпимым сознанием чего-то упущенного, воображал георгиевскую ленточку, легкую рану в левое плечо, — непременно в левое, — и Соню, встречающую его на вокзале Виктории. Его раздражала нежная улыбка матери при словах, которыми она как-то обмолвилась: «Видишь, это было все зря, зря, и ты бы зря погиб. Неллин муж — другое дело, — настоящий боевой офицер, — такие не могут жить без войны, — и умер он как хотел умереть, — а эти мальчики, которых так и косит...» Иностранцам, впрочем, она с жаром говорила о необходимости продления военной борьбы, — особенно теперь, когда все прекратилось и уже не было ничего такого, что могло бы сына залучить. И когда она, несколько лет спустя, вспомнила это свое облегчение и спокойствие, Софья Дмитриевна вслух застонала, — ведь можно же было уберечь его, не отказаться так просто от верных предчувствий, быть наблюдательной, быть всегда начеку, — и кто знает, быть может, лучше бы было, если б он и впрямь пошел воевать, — ну был бы ранен, ну заболел бы

тифом, и хотя бы этой ценой раз навсегда отделался от мальчишеской тяги к опасности, — но зачем такие мысли, зачем предаваться унынию? Больше бодрости, больше веры, — пропадают же люди без вести и все-таки возвращаются, — ходит, например, слух, что схватили на границе и расстреляли как шпиона, — а глядь — человек жив, и вот уже посмеивается и басит в прихожей, — и если Генрих опять...

XXV

В то второе каникульное лето не одна только эта мимолетная довольная улыбка матери вызвала у Мартына досаду, — гораздо неприятнее было кое-что другое. Он заметил во всем странную перемену, точно все кругом таит дыхание, передвигается на цыпочках. Дядя Генрих почему-то теперь звал Софью Дмитриевну не Софи, как прежде, а chère amie, и она тоже говорила ему иногда «мой друг». В нем появилась новая мягкость, разнеженность, голос стал тише, движения — осторожнее, и теперь уже достаточно было похвалить суп или жаркое, чтобы увлажнились его глаза. Культ памяти Мартынова отца приобрел оттенок нестерпимой мистики, — Софья Дмитриевна глубже, чем когда-либо, чувствовала свою вину перед покойным, а дядя Генрих как будто намечал для нее трудный, но верный путь искупления, говорил о том, как счастлив Сержев дух видеть ее в доме у кузена, и однажды даже вынул пилочку и начал с приятной грустью шмыгать ею по ногтям, — но тут Софья Дмитриевна не выдержала и глухо засмеялась, и совершенно неожиданно смех перешел в истерический припадок, и Мартын второпях так сильно пустил струю из крана на кухне, что облил себе белые штаны.

Нередко ему приходилось видеть, как мать, устало опираясь на руку Генриха, гуляет по саду или как она приносит Генриху на ночь пахучего липового чайку для прояснения желудка, — и все это было тягостно, неловко, странно. Перед его отъездом в Кембридж Софья Дмитриевна, по-видимому, захотела что-то ему сообщить, но ей было так же неловко, как и ему, она смешалась и всего только и сказала, что, может быть, скоро напишет ему о важном событии, и действительно, Мартын зимой получил письмо, но не от нее, а от дяди, который на шести страницах,

плавным почерком, в душещипательных и выспренних выражениях, уведомлял его, что венчается с Софьей Дмитриевной — очень скромно, в сельской церкви, — и только дойдя до постскриптума, Мартын понял, что свадьба уже состоялась, и мысленно поблагодарил мать за то, что она приурочила к его отсутствию тяжкое это торжество. Вместе с тем он спрашивал себя, как же теперь с нею встретится, о чем будет говорить, удастся ли ему простить ей измену. Ибо, как ни верти, это была несомненно измена по отношению к памяти отца, — а тут еще угнетала мысль, что отчимом является пухлоусый и недалекий дядя Генрих, и когда Мартын на Рождество приехал, мать принялась его обнимать и плакать, словно забыв, в угоду Генриху, обычную сдержанность, и просто некуда было деваться от торжественного покашливания отчима и его добрых растроганных глаз.

Вообще, в этот последний университетский год Мартын то и дело чуял кознодейство неких сил, упорно старающихся ему доказать, что жизнь вовсе не такая легкая, счастливая штука, какой он ее мнит. Существование Сони, постоянное внимание, которого оно вчуже требовало от его души, мучительные ее приезды, издевательский тон, который у них завелся, — все это было крайне изнурительно. Несчастная любовь, однако, не мешала ему волочиться за всякой миловидной женщиной и холодеть от счастья, когда, например, Роза, богиня кондитерской, соглашалась на поездку вдвоем в автомобиле. В этой кондитерской, очень привлекавшей студентов, пирожные были всех цветов, ярко-красные в пупырках крема, будто мухоморы, лиловые, как фиалковое мыло, и глянцевито-черные, негритянские, с белой душой. Нажирались ими до отвала, так как все хотелось добраться до чего-нибудь вкусного, поглощался один сорт за другим, пока не слипались кишки. Роза, смугло-румяная, с бархатными щеками и влажным взором, в черном платье и субреточном передничке, чрезвычайно быстро ходила по зальцу, ловко разминаясь с несущейся ей навстречу другой прислужницей. Мартын сразу обратил внимание на ее толстопалую, красную руку, которую нисколько не украшала яркая звездочка дешевого перстня, и мудро решил на ее руки больше никогда не глядеть, а сосредоточиться на длинных ресницах, которые она так хорошо опускала, когда записывала счет. Как-то, попивая

жирный, сладкий шоколад, он передал ей цедулку и встретился с ней вечером под дождем, а в субботу нанял потрепанный лимузин и провел с нею ночь в старинной харчевне, верстах в пятидесяти от Кембриджа. Его несколько потрясло, но и польстило ему, что, по ее словам, это первый ее роман, — ее любовь оказалась бурной, неловкой, деревенской, и Мартын, представлявший ее себе легкомысленной и опытной сиреной, был так озадачен, что обратился за советом к Дарвину. «Вышибут из университета», — спокойно сказал Дарвин. «Глупости», — возразил Мартын, сдвинув брови. Когда же, недели через три, Роза, ставя перед ним чашку шоколада, сообщила ему быстрым шепотом, что беременна, он почувствовал, словно тот метеорит, который обыкновенно падает в пустыню Гоби, прямо угодил в него.

«Поздравляю», — сказал Дарвин; после чего очень искусно принялся ему рисовать судьбу грешницы с брюхом. «А тебя тоже вышибут, — добавил он. — Это факт». — «Никто не узнает, я все улажу», — растерянно проговорил Мартын. «Безнадежно», — ответил Дарвин.

Мартын вдруг рассердился и вышел, хлопнув дверью. Выбежав в переулок, он едва не грохнулся, так как Дарвин очень удачно пустил ему в голову из окна большой подушкой, а дойдя до угла и обернувшись, он увидел, как Дарвин с трубкой в зубах вышел, поднял, отряхнул подушку и вернулся в дом. «Жестокий скот», — пробормотал Мартын и направился прямо в кондитерскую. Там было полно. Роза, смугло-румяная, с блестящими глазами, мелькала между столиками, семенила с подносом или, нежно слюня карандашик, писала счет. Он тоже написал кое-что на листке из блокнота, а именно: «Прошу вас выйти за меня замуж. Мартын Эдельвейс», — и листок сунул ей в ужасную руку; затем вышел, с час ходил по улицам, вернулся домой, лег на кушетку и так пролежал до вечера.

XXVI

Вечером к нему вошел Дарвин, великолепно скинул плащ и, подсев к камину, сразу начал кочергой подбадривать угольки. Мартын лежал и молчал, полный жалости к себе, и воображал вновь и вновь, как он с Розой выходит

из церкви, и она — в белых лайковых перчатках, с трудом налезших. «Соня приезжает завтра одна, — беззаботно сказал Дарвин. — У ее матери инфлюэнца, сильная инфлюэнца». Мартын промолчал, но с мгновенным волнением подумал о завтрашнем футбольном состязании. «Но как ты будешь играть, — сказал Дарвин, словно в ответ на его мысли, — это, конечно, вопрос». Мартын продолжал молчать. «Вероятно, плохо, — заговорил снова Дарвин. — Требуется присутствие духа, а ты — в адском состоянии. Я, знаешь, только что побеседовал с этой женщиной».

Тишина. Над городом заиграли башенные куранты.

«Поэтическая натура, склонная к фантазии, — спустя минуту продолжал Дарвин. — Она столь же беременна, как, например, я. Хочешь держать со мною пари ровно на пять фунтов, что скручу кочергу в вензель? — (Мартын лежал как мертвый.) — Твое молчание, — сказал Дарвин, — я принимаю за согласие. Посмотрим».

Он прокряхтел, покряхтел... «Нет, сегодня не могу. Деньги твои. Я заплатил как раз пять фунтов за твою дурацкую записку. Мы — квиты, — все в порядке».

Мартын молчал, только сильно забилось сердце.

«Но если, — сказал Дарвин, — ты когда-нибудь пойдешь опять в эту скверную и дорогую кондитерскую, то знай: ты из университета вылетишь. Эта особа может зачать от простого рукопожатия, — помни это».

Дарвин встал и потянулся. «Ты не очень разговорчив, друг мой. Признаюсь, ты и эта гетера мне как-то испортили завтрашний день».

Он вышел, тихо закрыв за собою дверь, и Мартын подумал зараз три вещи: что страшно голоден, что такого второго друга не сыскать и что этот друг будет завтра делать предложение. В эту минуту он радостно и горячо желал, чтобы Соня согласилась, но эта минута прошла, и уже на другое утро, при встрече с Соней на вокзале, он почувствовал знакомую, унылую ревность (единственным, довольно жалким, преимуществом перед Дарвином был недавний, вином запитый переход с Соней на «ты»; в Англии второе лицо, вместе с луконосцами, вымерло; все же Дарвин выпил тоже на брудершафт и весь вечер обращался к ней на архаическом наречии).

«Здравствуй, цветок», — небрежно сказала она Мартыну, намекая на его ботаническую фамилию, и сразу,

отвернувшись, стала рассказывать Дарвину о вещах, которые могли бы также быть и Мартыну интересны.

«Да что же в ней привлекательного? — в тысячный раз думал он. — Ну ямочки, ну бледность... Этого мало. И глаза у нее неважные, дикарские, и зубы неправильные. И губы какие-то быстрые, мокрые, вот бы их остановить, залепить поцелуем. И она думает, что похожа на англичанку в этом синем костюме и бескаблучных башмаках. Да она же, господа, совсем низенькая!» Кто были эти «господа», Мартын не знал; выносить свой суд было бы им мудрено, ибо как только Мартын доводил себя до равнодушия к Соне, он вдруг замечал, какая у нее изящная спина, как она повернула голову, и ее раскосые глаза скользили по нему быстрым холодком, и в ее торопливом говоре проходил подземной струей смех, увлажняя снизу слова, и вдруг проворно вырывался наружу, и она подчеркивала значение слов, тряся туго спеленутым зонтиком, который держала не за ручку, а за шелковое утолщение. И, уныло плетясь, — то следом за ними, то сбоку, по мостовой (идти по панели рядом было невозможно из-за упругого воздуха, окружавшего дородство Дарвина, и мелкого, неверного, всегда виляющего Сониного шага), — Мартын размышлял о том, что, если сложить все те случайные часы, которые он с ней провел — здесь и в Лондоне, — вышло бы не больше полутора месяцев постоянного общения, а знаком он с нею, слава Богу, уже два года с лишком, — и вот уже третья — последняя — кембриджская зима на исходе, и он, право, не может сказать, чтó она за человек, и любит ли она Дарвина, и что она подумала бы, расскажи ей Дарвин вчерашнюю историю, и сказала ли она кому-нибудь про ту беспокойную, чем-то теперь восхитительную, уже совсем не стыдную ночь, когда ее, дрожащую, босую, в желтенькой пижаме, вынесла волна тишины и бережно положила к нему на одеяло.

Пришли. Соня вымыла руки у Дарвина в спальне и, подув на пуховку, напудрилась. Стол к завтраку был накрыт на пятерых. Пригласили, конечно, Вадима, но Арчибальд Мун давно выбыл из круга друзей, и было даже как-то странно вспоминать, что он почитался некогда желанным гостем. Пятым был некрасивый, но очень легко построенный и чуть эксцентрично одетый блондин, с носом пуговкой и с теми прекрасными, удлиненными руками, которыми иной романист наделяет людей артистических.

Он, однако, не был ни поэтом, ни художником, а все то легкое, тонкое, порхающее, что привлекало в нем, равно как и его знание французского и итальянского и несколько не английские, но очень нарядные манеры, Кембридж объяснял тем, что его отец был флорентийского происхождения. Тэдди, добрейший, легчайший Тэдди, исповедовал католицизм, любил Альпы и лыжи, прекрасно греб, играл в настоящий, старинный теннис, в который игрывали короли, и, хотя умел очень нежно обходиться с дамами, был до смешного чист и только гораздо позже прислал как-то Мартыну письмо из Парижа с таким извещением: «Я вчера завел себе девку. Вполне чистоплотную», — и, сквозь нарочитую грубость, было что-то грустное и нервное в этой строке, — Мартын вспомнил его неожиданные припадки меланхолии и самобичевания, его любовь к Леопарди и снегу и то, как он со злобой разбил ни в чем не повинную этрусскую вазу, когда с недостаточным блеском выдержал экзамен.

«Приятно зреть, когда большой медведь ведет под ручку...»

И Соня докончила за Вадима, который уже давно ее не стеснялся: «...маленькую сучку», — а Тэдди, склонив голову набок, спросил, что такое: «Маэкасючику», — и все смеялись, и никто не хотел ему объяснить, и он так и обращался к Соне: «Можно вам положить еще горошку, маэкасючику?» Когда же Мартын впоследствии объяснил ему, что это значит, он со стоном схватился за виски и рухнул в кресло.

«Ты волнуешься, волнуешься?» — спросил Вадим.

«Ерунда, — ответил Мартын. — Но я нынче дурно спал и, пожалуй, буду мазать. У них есть трое с интернациональным стажем, а у нас только двое таких».

«Ненавижу футбол», — сказал с чувством Тэдди. Дарвин его поддержал. Оба были итонцы, а в Итоне своя особая игра в мяч, заменяющая футбол.

XXVII

Меж тем Мартын действительно волновался, и немало. Он играл голкипером в первой команде своего колледжа, и, после многих схваток, колледж вышел в финал и сегодня

встречался с колледжем Святого Иоанна на первенство Кембриджа. Мартын гордился тем, что он, иностранец, попал в такую команду и, за блестящую игру, произведен в звание колледжского «голубого», — может носить, вместо пиджака, чудесную голубую куртку. С приятным удивлением он вспоминал, как, бывало, в России, калачиком свернувшись в мягкой выемке ночи, предаваясь мечтанию, уводившему незаметно в сон, он видел себя изумительным футболистом. Стоило прикрыть глаза и вообразить футбольное поле или, скажем, длинные, коричневые, гармониками соединенные вагоны экспресса, которым он сам управляет, и постепенно душа улавливала ритм, блаженно успокаивалась, как бы очищалась и, гладкая, умащенная, соскальзывала в забытье. Был это иногда не поезд, пущенный вовсю, скользящий между ярко-желтых березовых лесов и далее, через иностранные города, по мостам над улицами, и затем на юг, сквозь внезапно светающие туннели, и пологим берегом вдоль ослепительного моря, — это был иногда самолет, гоночный автомобиль, тобоган, в вихре снега берущий крутой поворот, или просто тропинка, по которой бежишь, бежишь, — и Мартын, вспоминая, подмечал некую особенность своей жизни: свойство мечты незаметно оседать и переходить в действительность, как прежде она переходила в сон: это ему казалось залогом того, что и нынешние его ночные мечты, — о тайной, беззаконной экспедиции, — вдруг окрепнут, наполнятся жизнью, как окрепла и оделась плотью греза о футбольных состязаниях, которой он, бывало, так длительно, так искусно наслаждался, когда, боясь дойти слишком поспешно до сладостной сути, останавливался подробно на приготовлениях к игре: вот натягивает чулки с цветными отворотами, вот надевает черные трусики, вот завязывает шнурки крепких буцов.

Он крякнул и разогнулся. Перед камином было тепло переодеваться, — это чуть сбавляло дрожь волнения. На белый, с треугольным вырезом, свэтер тесно налезла голубая куртка. Как уже потрепались голкиперские перчатки... Ну вот, — готов. Кругом валялись его вещи, он все это подобрал и понес в спальню. По сравнению с теплом шерстяного свэтера его голоколенным ногам в просторных, легких трусах было удивительно прохладно. «Уф! — произнес он, входя в комнату Дарвина. — Я, кажется, быстро переоделся». — «Пошли», — сказала Соня и встала

с дивана. Тэдди посмотрел на нее с мольбой. «Прошу тысячу раз прощения, — взмолился он, — меня ждут, меня ждут».

Он ушел. Ушел и Вадим, обещав прикатить на поле попозже. «Может быть, это и действительно не так уж интересно, — сказала Соня, обращаясь к Дарвину. — Может быть, не стоит?» — «О нет, непременно», — с улыбкой ответил Дарвин и потрепал Мартына по плечу. Они пошли втроем по улице, Мартын заметил, что Соня совершенно не смотрит на него, меж тем он впервые показывался ей в футбольном наряде. «Прибавим шагу, — сказал он. — Мы еще опоздаем». — «Не беда», — проговорила Соня и стала перед витриной. «Ладно, я пойду вперед», — сказал Мартын и, твердо стуча резиновыми шипами буцов, свернул в переулок и зашагал по направлению к полю.

Народу навалило уйма, — благо и день выдался отличный, с бледно-голубым зимним небом и бодрым воздухом. Мартын прошел в павильон, и там уже все были в сборе, и Армстронг, капитан команды, долговязый человек с подстриженными усами, застенчиво улыбнувшись, в сотый раз заметил Мартыну, что тот напрасно не носит наколенников. Погодя все одиннадцать человек гуськом выбежали из павильона, и Мартын разом воспринял то, что так любил: острый запах сыроватого дерна, упругость его под ногой, тысячу людей на скамейках, черную проплешину в дерне у ворот и гулкий звук, — это покикивала противная команда. Судья принес и положил на самый пуп поля (обведенный меловой чертой) новенький, светло-желтый мяч. Игроки встали по местам, раздался свисток. И вдруг волнение Мартына совершенно исчезло, и, спокойно прислонившись к штанге своих ворот, он поглядел по сторонам, пытаясь найти Дарвина и Соню. Игра повелась далеко, в том конце поля, и можно было наслаждаться холодом, матовой зеленью, говором людей, стоявших тотчас за сеткой ворот, и гордым чувством, что отроческая мечта сбылась, что вон тот рыжий, главарь противников, так восхитительно точно принимающий и передающий мяч, недавно играл против Шотландии и что среди толпы есть кое-кто, для кого стоит постараться. В детские годы сон обычно наступал как раз в эти минуты начала игры, ибо Мартын так увлекался подробностями предисловия, что до главного не успевал дойти и забывался. Так он длил наслаждение,

откладывая на другую, менее сонную, ночь самую игру — быструю, яркую, — и вот, топот ног близится, вот уже слышно храпящее дыхание бегущих, вот выбился рыжий и несется, вздрагивая коком, и вот — от удара его баснословного носка мяч со свистом низко метнулся в уголок ворот, — голкипер, упав как подкошенный, успел задержать эту молнию, и вот уже мяч в его руках, и, увильнув от противников, Мартын всей силою ляжки и икры послал мяч звучной параболой вдаль, под раскат рукоплесканий. Во время короткого перерыва игроки валялись на траве, сося лимоны, и когда затем стороны переменились воротами, Мартын с нового места опять высматривал Соню. Впрочем, нельзя было особенно глазеть, — игра сразу пошла жаркая, и ему все время приходилось делать стойку в ожидании атаки. Несколько раз он ловил, согнувшись вдвое, пушечное ядро, несколько раз взлетал, отражая его кулаком, и сохранил девственность своих ворот до конца игры, счастливо улыбнувшись, когда, за секунду до свистка, голкипер противников выронил скользкий мяч, который Армстронг тотчас и залепил в ворота.

Все кончилось, публика затопила поле, никак нельзя было найти Соню и Дарвина. Уже за трибунами он нагнал Вадима, который, в тесноте пеших, тихо ехал на велосипеде, осторожно повиливая и дудя губами. «Давно драпу дали, — ответил он на вопрос Мартына, — сразу после хафтайма, и, знаешь, у мамки...» — Тут следовало что-то смешное, чего, впрочем, Мартын не дослушал, так как, густо тарахтя, протиснулся один из игроков, Фильпот, на красной мотоциклетке и предложил его подвезти. Мартын сел сзади, и Фильпот нажал акселератор. «Вот я и напрасно удержал тот, последний, под самую перекладину, — она все равно не видела», — думал Мартын, морщась от пестрого ветра. Ему сделалось тяжело и горько, и когда он на перекрестке слез и направился к себе, он с отвращением прожвакал вчерашний день, коварство Розы, и стало еще обиднее. «Вероятно, где-нибудь чай пьют», — пробормотал он, но на всякий случай заглянул в комнату Дарвина. На кушетке лежала Соня, и в то мгновение, как Мартын вошел, она сделала быстрый жест, ловя в горсть пролетавшую моль. «А Дарвин?» — спросил Мартын. «Жив, пошел за пирожными», — ответила она, недоброжелательно следя глазами за непойманной белесой точкой. «Вы напрасно не

дождались конца, — проговорил Мартын и опустился в бездонное кресло. — Мы выиграли. Один на ноль». — «Тебе хорошо бы вымыться, — заметила она. — Посмотри на свои колени. Ужас. И наследил чем-то черненьким». — «Ладно. Дай отсапать». Он несколько раз глубоко вздохнул и, охая, встал. «Постой, — сказала Соня. — Это ты должен послушать, — просто уморительно. Он только что мне предложил руку и сердце. Вот я чувствовала, что это должно произойти: зрел, зрел и лопнул». Она потянулась и темно взглянула на Мартына, который сидел высоко подняв брови. «Умное у тебя личико», — сказала она и, отвернувшись, продолжала: «Просто не понимаю, на что он рассчитывал. Милейший и все такое, — но ведь это дуб, английский дуб, — я бы через неделю померла бы с тоски. Вот она опять летает, голубушка». Мартын прочистил горло и сказал: «Я тебе не верю. Я знаю, что ты согласилась». — «С ума сошел! — крикнула Соня, подскочив на месте и хлопнув обеими ладонями по кушетке. — Ну как ты себе можешь это представить?» — «Дарвин — умный, тонкий, — вовсе не дуб», — напряженно сказал Мартын. Она опять хлопнула: «Но ведь это не настоящий человек, — как ты не понимаешь, балда! Ну право же, это даже оскорбительно. Он не человек, а нарочно. Никакого нутра и масса юмора, — и это очень хорошо для бала, — но так, надолго, — от юмора на стенку полезешь». — «Он писатель, от него знатоки без ума», — тихо, с трудом, проговорил Мартын и подумал, что теперь его долг исполнен, довольно ее уговаривать, есть предел и благородству. «Да-да, вот именно, — только для знатоков. Очень мило, очень хорошо, но все так поверхностно, так благополучно, так...» Тут Мартын почувствовал, как, прорвав шлюзы, хлынула сияющая волна, он вспомнил, как превосходно играл только что, вспомнил, что с Розой все улажено, что вечером банкет в клубе, что он здоров, силен, что завтра, послезавтра и еще много, много дней — жизнь, битком набитая всяким счастьем, и все это налетело сразу, закружило его, и он, рассмеявшись, схватил Соню в охапку, вместе с подушкой, за которую она уцепилась, и стал ее целовать в мокрые зубы, в глаза, в холодный нос, и она брыкалась, и ее черные, пахнущие фиалкой волосы лезли ему в рот, и наконец он уронил ее с громким смехом на диван, и дверь открылась, показалась сперва нога, нагруженный свертками вошел

Дарвин, попытался ногой же дверь закрыть, но уронил бумажный мешок, из которого высыпались меренги. «Мартын швыряется подушками, — жалобным, запыхавшимся голосом сказала Соня. — Подумаешь, — один : ноль, — нечего уж так беситься».

XXVIII

А на другой день и у Мартына и у Дарвина было с утра тридцать восемь подмышечной температуры, — ломота, сухость в горле, звон в ушах, — все признаки сильнейшей инфлюэнцы. И как ни было приятно думать, что передаточной инстанцией послужила, вероятно, Соня, — оба чувствовали себя отвратительно, и Дарвин, который ни за что не хотел оставаться в постели, выглядел в своем цветистом халате тяжеловесом-боксером, красным и встрепанным после долгого боя, и Вадим, героически презирая заразу, носил лекарства, а Мартын, накрывшись поверх одеяла пледом и зимним пальто, мало, впрочем, сбавляющими озноб, лежал в постели с сердитым выражением на лице и во всяком узоре, во всяком соотношении между любыми предметами в комнате, тенями, пятнами, видел человеческий профиль, — тут были кувшинные рыла, и бурбонские носы, и толстогубые негры, — неизвестно почему лихорадка всегда так усердно занимается рисованием довольно плоских карикатур. Он засыпал, — и сразу танцовал фокстрот со скелетом, который во время танца начинал развинчиваться, терять кости, их следовало подхватить, попридержать, хотя бы до конца танца; а не то — начинался безобразный экзамен, вовсе не похожий на тот, который, спустя несколько месяцев, в мае, действительно пришлось Мартыну держать. Там, во сне, предлагались чудовищные задачи с большими железными иксами, завернутыми в вату, а тут, наяву, в просторном зале, косо пересеченном пыльным лучом, студенты-филологи в черных плащах отмахивали по три сочинения в час, и Мартын, посматривая на стенные часы, крупным, круглым своим почерком писал об опричниках, о Баратынском, о Петровских реформах, о Лорис-Меликове...

Кембриджское житье подходило к концу, и каким-то сияющим апофеозом показались последние дни, когда,

в ожидании результатов экзаменов, можно было с утра до вечера валандаться, греться на солнце, томно плыть, лежа на подушках, вниз по реке, под величавым покровительством розовых каштанов. Весной Соня с семьей переселилась в Берлин, где Зиланов затеял еженедельную газету, и теперь Мартын, лежа навзничь под тихо проходившими ветвями, вспоминал последнюю свою поездку в Лондон. Дарвин поехать не пожелал, лениво попросил передать Соне привет и, помахав в воздухе пальцами, погрузился опять в книгу. Когда Мартын прибыл, в доме у Зилановых был тот печальный кавардак, который так ненавидят пожилые, домовитые собаки, толстые таксы например. Горничная и вихрастый малый с папироской за ухом несли вниз по лестнице сундук. Заплаканная Ирина сидела в гостиной, кусая ногти и неизвестно о чем думая. В одной из спален разбили что-то стеклянное, и сразу в ответ зазвонил в кабинете телефон, но никто не подошел. В столовой покорно ждала тарелка, прикрытая другой, а что там была за пища — неизвестно. Откуда-то приехал Зиланов, в черном пальто, несмотря на теплынь, и как ни в чем не бывало сел в кабинете писать. Ему, кочевнику, было, вероятно, совершенно все равно, что через час надобно ехать на вокзал и что в углу торчит еще не заколоченный ящик с книгами, — так сидел он и ровно писал, на сквозняке, среди каких-то стружек и смятых газетных листов. Соня стояла посреди своей комнаты и, прижимая ладони к вискам, сердито переводила взгляд с большого пакета на уже вполне сытый чемодан. Мартын сидел на низком подоконнике и курил. Несколько раз входили то Ольга Павловна, то ее сестра, искали чего-то и, не найдя, уходили. «Ты рада ехать в Берлин?» — уныло спросил Мартын, глядя на свою папиросу, на пепельный нарост, схожий с седой хвоей, в которой сквозит зловещий закат. «Без. Раз. Лично», — сказала Соня, прикидывая в уме, закроется ли чемодан. «Соня», — сказал Мартын через минуту. «А? Что?» — очнулась она и вдруг быстро завозилась, рассчитывая взять чемодан врасплох, натиском. «Соня, — сказал Мартын, — неужели...» Вошла Ольга Павловна, посмотрела в угол и, кому-то в коридоре отвечая отрицательно, торопливо ушла, не прикрыв двери. «Неужели, — сказал Мартын, — мы больше никогда не увидимся?» — «Все под Богом ходим», — ответила Соня рассеянно. «Соня», — начал

опять Мартын. Она посмотрела на него и не то поморщилась, не то улыбнулась. «Знаешь, он мне отослал все письма, все фотографии, — все. Комик. Мог бы эти письма оставить. Я их полчаса рвала и спускала, теперь там испорчено». — «Ты с ним поступила дурно, — хмуро проговорил Мартын. — Нельзя было подавать надежду и потом отказать». — «Что за тон, что за тон! — с легким взвизгом крикнула Соня. — На что надежду? Как ты смеешь говорить о надежде? Ведь это пошлость, мерзость. Ах, вообще — отстань от меня! Лучше-ка сядь на этот чемодан», — добавила она нотой ниже. Мартын сел и напыжился. «Не закроется, — сказал он хрипло. — И я не знаю, почему ты приходишь в такой раж. Я просто хочу сказать...» Тут что-то неохотно щелкнуло, и, не дав чемодану опомниться, Соня повернула в замке ключик. «Теперь все хорошо, — сказала она. — Поди сюда, Мартын. Поговорим по душам». В комнату заглянул Зиланов. «Где мама? — спросил он. — Я ведь просил оставить мой стол в покое. Теперь исчезла пепельница, там было две почтовых марки». Когда он ушел, Мартын взял Сонину руку в свои, сжал ее между ладонями, тяжко вздохнул. «Ты все-таки очень хороший, — сказала Соня. — Мы будем переписываться, и ты, может быть, когда-нибудь приедешь в Берлин, а не то — в России встретимся, будет очень весело». Мартын качал головой и чувствовал, как накипают слезы. Соня выдернула руку. «Ну, если хочешь кукситься, — сказала она недовольно, — пожалуйста, сколько угодно». — «Ах, Соня», — проговорил он сокрушенно. «Да чего же ты от меня, собственно, хочешь? — спросила она щурясь. — Скажи мне, пожалуйста, чего ты от меня хочешь?» Мартын, отвернув голову, пожал плечами.

«Слушай, — сказала она, — надо идти вниз, надо ехать, меня злит, что ты такой надутый. Неужели нельзя все просто?» — «Ты в Берлине выйдешь замуж», — безнадежно пробормотал Мартын. Влетела горничная, забрала чемодан. За ней появилась Ольга Павловна, уже в шляпе. «Пора, пора, — сказала она. — Ты все здесь взяла, ничего не оставила? Это ужас, — обратилась она к Мартыну, — мы думали спокойно завтра ехать...» Она исчезла, но ее голос в коридоре некоторое время еще объяснял кому-то о неотложных делах мужа, и Мартыну стало так пронзительно, так невыразимо грустно от всей этой кутерьмы, безалаберности, что

захотелось скорее уж спровадить, сбыть Соню и вернуться в Кембридж, к ленивому солнцу.

Соня улыбнулась, взяла его за щеки и поцеловала в переносицу. «Не знаю, может быть», — прошептала она и, быстро вывернувшись из метнувшихся Мартыновых рук, подняла палец. «Тубо», — сказала она, а потом сделала круглые глаза, так как снизу вдруг донеслись ужасные, невозможные, потрясавшие весь дом рыдания. «Пойдем, пойдем, — заторопилась Соня. — Я не понимаю, почему этой бедняжке так не хочется отсюда уезжать. Перестань, чорт возьми, оставь мою руку!»

Внизу у лестницы билась, рыдая, Ирина, цеплялась за балюстраду. Елена Павловна тихо ее уговаривала: «Ира, Ирочка», — а Михаил Платонович, употребляя уже не раз испытанное средство, вынул платок, быстро сделал толстый узел с длинным ушком, надел платок на руку, и, вертя ею, показал человечка в ночной рубашке и колпаке, уютно укладывающегося спать.

На вокзале она расплакалась опять, но уже тише, безнадежнее. Мартын сунул ей коробку конфет, предназначенную, собственно говоря, Соне. Зиланов, как только уселся, развернул газету. Ольга и Елена Павловны считали глазами чемоданы. С грохотом стали захлопываться дверцы; поезд тронулся. Соня высунулась в окно, облокотясь на спущенную раму, и Мартын несколько мгновений шел рядом с вагоном, а потом отстал, и уже сильно уменьшившаяся Соня послала ему воздушный поцелуй, и Мартын споткнулся о какой-то ящик.

«Ну вот — уехали», — сказал он со вздохом и почувствовал облегчение. Он перебрался на другой вокзал, купил свежий номер юмористического журнала с носастым, крутогорбым Петрушкой на обложке, а когда все было высосано из журнала, засмотрелся на нежные луга, проплывавшие мимо. «Моя прелесть, моя прелесть», — произнес он несколько раз и, глядя сквозь горячую слезу на зелень, вообразил, как, после многих приключений, попадет в Берлин, явится к Соне, будет, как Отелло, рассказывать, рассказывать... «Да, так дальше нельзя, — сказал он, пальцем потирая веко и напрягая надгубье, — нельзя, нельзя. Больше активности». Прикрыв глаза, удобно вдвинувшись в угол, он принялся готовиться к опасной экспедиции, изучал карту, никто не знал, что он собирается сделать,

знал, пожалуй, только Дарвин, прощай, прощай, ни пуха ни пера, отходит поезд на север, — и на этих приготовлениях он заснул, как прежде засыпал, надевая в мечте футбольные доспехи. Было темно, когда он прибыл в Кембридж. Дарвин читал все ту же книгу и, как лев, зевнул, когда он к нему вошел. И тут Мартын поддался маленькому озорному соблазну, — за что впоследствии поплатился. Он с нарочитой задумчивой улыбкой уставился в угол, и Дарвин, неторопливо доканчивая зевок, посмотрел на него с любопытством. «Я счастливейший человек в мире, — тихо и проникновенно сказал Мартын. — Ах, если б можно было все рассказать». Он, впрочем, не лгал: давеча в вагоне, когда он заснул, ему привиделся сон, выросший из двух-трех Сониных слов, — она прижимала его голову к своему гладкому плечу, наклонялась, щекоча губами, говорила что-то придушенно-тепло и нежно, и теперь было трудно отделить сон от яви. «Что ж, очень рад за тебя», — сказал Дарвин. Мартыну вдруг сделалось неловко, и он, посвистывая, пошел спать. Через неделю он получил открытку с видом Бранденбургских ворот и долго разбирал паукообразный Сонин почерк, тщетно пытаясь найти скрытый смысл в незначительных словах.

И вот, плывя по реке под низкими цветущими ветвями, Мартын вспоминал, проверял, испытывал разными кислотами последнюю встречу с ней, — приятная, хотя не очень плодотворная работа. Было жарко, сквозь закрытые веки солнце проникало томным клубничным румянцем, слышен был сдержанный плеск воды и далекая нежная музыка плывущих граммофонов. Погодя Мартын открыл глаза и в потоке солнца увидел Дарвина, лежащего в подушках напротив, в таких же белых фланелевых штанах и открытой рубашке, как и он. На юте этой плотоподобной шлюпки с плоским, неглубоким днищем и тупым носом стоял Вадим и налегал на упорный шест. Потрескавшиеся бальные туфли сверкали от брызг, на остром лице было внимательное выражение, — он любил воду, он священнодействовал, искусно, плавно орудуя шестом, вынимая его из воды ритмическими перехватами и снова на него налегая. Шлюпка скользила между цветущих берегов; в прозрачно-зеленоватой воде отражались то каштаны, то млечные кусты ежевики; иногда падал лепесток, и было видно в воде, как из глубины спешит к нему навстречу

отражение, и вот — сошлись. Мимо, лениво и безмолвно, если не считать воркотни граммофонов, проплывали такие же плоские шлюпки, а изредка байдарка или пирога со вздернутым носом. Мартын заметил впереди открытый цветной зонтик, который колесом вращался то вправо, то влево, но от женщины, тихо вращавшей его, ничего не было видно, кроме руки — почему-то в белой перчатке. На корме стоял молодой человек в очках и очень неумело действовал шестом, так что шлюпка виляла, и Вадим кипел презрением и не знал, с какой стороны ее перегнать. На первой же излучине она неуклонно пошла на берег, при чем выпуклый зонтик обернулся в профиль, и Мартын узнал Розу. «Посмотри, как забавно», — сказал он, и Дарвин, не меняя положения толстых заломленных рук, посмотрел по направлению его взгляда. «Запрещаю с ней здороваться», — сказал он спокойно. Мартын улыбнулся: «Нет-нет, непременно». — «Если ты это сделаешь, — протяжно проговорил Дарвин, — я отшибу тебе голову». Было что-то странное в его глазах, и Мартыну сделалось не по себе; но именно потому, что он расслышал в словах Дарвина нешуточную угрозу и испугался ее, Мартын, проплывая мимо застрявшей в кустах шлюпки, крикнул: «Алло, алло, Роза!» И она молча улыбнулась, сияя глазами и вертя зонтиком, и молодой человек в очках уронил со шлепком шест в воду, и в следующее мгновение поворот их закрыл, и Мартын опять закинул голову и стал смотреть в небо. Через несколько минут молчаливого скольжения вдруг раздался голос Дарвина: «Здорово, Джон, — рявкнул он. — Подплывай сюда!»

Джон осклабился и затабанил. Этот чернобровый, ежом остриженный толстяк был даровитым математиком и недавно получил за одну из своих работ стипендию. Он глубоко сидел в пироге, двигая вдоль самого борта блестящим гребком. «Вот что, Джон, — сказал Дарвин. — Тут меня вызвали на драку, так что будь свидетелем. Мы выберем место потише и пристанем». — «Ладно», — ответил Джон, не выказав никакого удивления, и, плывя рядом, стал длинно рассказывать о студенте, недавно купившем гидроплан и немедленно разбившем его при попытке подняться вот с этой узкой реки. Мартын лежал в подушках не шевелясь. Знакомая дрожь и слабость в ногах. Быть может, Дарвин все-таки шутит. С чего бы ему так взъерепениться?

Вадим, поглощенный навигаторским таинством, ничего, по-видимому, не слышал. После трех-четырех поворотов Дарвин попросил его пристать. Уже близился вечер. Река в этом месте была пустынна. Вадим направил шлюпку на зеленый мысок, выдававшийся из-под навеса листвы. Мягко стукнулись.

XXIX

Дарвин первый выскочил на берег и помог Вадиму причалиться. Мартын потянулся, не торопясь встал, вышел тоже. «Я вчера начал читать Чехова, — сказал ему Джон, шевеля бровями. — Очень благодарю вас за совет. Милый, человеческий писатель». — «О, еще бы», — ответил Мартын и быстро подумал: «Неужто и впрямь будет драка?»

«Ну вот, — сказал Дарвин, подойдя. — Теперь можно приступить; если пройти сквозь эти кусты, мы выйдем на поляну. С реки ничего не будет видно».

Вадим только теперь понял, чт́о затевается. «Мамка тебя убьет», — сказал он по-русски Мартыну. «Пустяки, — ответил Мартын. — Я боксую не хуже его». — «Не надо бокса, — лихорадочно шепнул Вадим. — Дай ему сразу ногой», — и он определил, куда именно. Стоял он за Мартына только из любви к отечеству.

Полянка, окруженная орешником, оказалась ровной, бархатной. Дарвин засучил рукава, но, подумавши, развернул их опять и снял рубашку: осветилось крупное розовое тело с мускулистым лоском на плечах и с дорожкой золотистых волос посредине широкой груди. Он покрепче затянул ремень пояса и вдруг заулыбался. «Все это шутка», — радостно подумал Мартын, но, на всякий случай, тоже обнажил торс: кожа у него была более кремового оттенка с многочисленными родинками, как часто бывает у русских. По сравнению с Дарвином он казался более поджарым, хотя был плотен и плечист. Он снял через голову крест, загреб в ладонь цепочку и эту горсточку текучего золота сунул в карман. Вечернее солнце обдавало теплом лопатки.

«Вы как хотите — с перерывами?» — спросил Джон, удобно растянувшись на траве. Дарвин вопросительно взглянул на Мартына, который стоял, сложив руки на груди и расставя ноги. «Мне все равно», — заметил Мартын,

а в мыслях пронеслось: «Нет, по-видимому, драка будет, — это ужасно...» Кругом да около беспокойно слонялся Вадим, заложив руки в карманы, посапывал, смущенно ухмылялся, а потом сел по-турецки рядом с Джоном. Джон вынул часы. «Им все-таки не следует дать больше пяти минут, — правда, Вадим?» Вадим растерянно закивал. «Ну-с, можете начать», — сказал Джон.

Дарвин и Мартын, мгновенно сжав кулаки, подняли согнутые в локтях руки (правая заслоняет живот, левая ходит поршнем) и принялись упруго и живо переступать на напряженных ногах, словно потанцовывая. В эту минуту Мартыну еще казалось невозможным ударить Дарвина в лицо, в это большое, гладко выбритое, доброе лицо с мягкими морщинками у рта; но когда кулак Дарвина вдруг вылетел и Мартына треснул по челюсти, все изменилось: пропал страх, стало на душе хорошо, светло, а звон в голове от встряски пел о Соне — настоящей виновнице поединка. Увильнув от нового выпада, он хватил Дарвина по его доброму лицу, вовремя нырнул (стремительная рука Дарвина метеором пронеслась над самым теменем) и хотел двинуть еще раз снизу вверх, но промахнулся и получил сам в глаз такой черный и звездный удар, что пошатнулся и уже не мог отклониться от пяти-шести кулаков, летавших вокруг его головы, но самый опасный из них ему все же удалось пропустить через плечо: нагнувшись, он обманул Дарвина проворным маневром и со всей силы хряпнул его по мокрому, твердому от зубов рту, — и тут же сам ёкнул, почувствовав, словно налетел животом на торчащий конец железного бруса. Оба отскочили друг от друга и пошли опять кружить, и у Дарвина из угла рта текла красная струйка, и он дважды сплюнул. Схватились снова. Джон, задумчиво покуривая трубку, мысленно противопоставлял опытность Дарвина быстроте Мартына и думал, что, пожалуй, в ринге он, выбирая между этими двумя тяжеловесами, отдал бы предпочтение старшему. У Мартына левый глаз закрылся и уже распух, и оба бойца были мокрые и лоснящиеся, в красноватых пятнах. Вадим меж тем разошелся, что-то азартно кричал, Джон на него шикал. Бабах в ухо: Мартын не удержался на ногах, и, пока он валился, Дарвин успел его еще раз хватить, и Мартын сильно сел на траву, ушибив копчик, но тотчас вспрянул и налетел. Несмотря на боль в голове, на глухоту, на багровый туман в глазах, Мартыну

казалось, что он причиняет Дарвину больше увечий, чем тот ему, но Джон, знаток бокса, уже ясно видел, что Дарвин только входит во вкус, еще немножко, и младший будет уложен. Мартын, однако, чудом выдержал решительный напор Дарвина, состоявший из звучных заушин, кои зовутся раскатихами, и успел еще раз брякнуть его по рту, а случайно коснувшись своих белых штанов, оставил на них красный отпечаток. Он дышал с присвистом, мало уже соображал, и то, что было перед ним, называлось уже не Дарвин, — и вообще не носило человеческого имени, — а было только розовой, скользкой, быстроходной громадой, по которой следовало шмякать из последних сил. Ему удалось очень плотно и ладно ударить куда-то, — куда — он не видел, — но тотчас множество кулаков, справа, слева, куда ни сунься, продолжало его обрабатывать, он упрямо искал в этом вихре брешь, нашел, забарабанил по какой-то чмокающей мякине, почувствовал вдруг, что у самого отлетает голова, и, поскользнувшись, повис на Дарвине, зажимая сдвинутыми локтями его мокрые, горячие руки. «Время!» — донесся вдруг из отдаленных пространств голос Джона, и бойцы расцепились, Мартын рухнул на мураву, Дарвин, улыбаясь окровавленным ртом, присел рядом, нежно перекинул руку через его плечо, и оба замерли, склонив головы и тяжело дыша.

«Надо вам обмыться», — сказал Джон, а Вадим, с опаской подойдя, стал разглядывать их разбитые лица. «Ты можешь встать?» — с участием спросил Дарвин; Мартын кивнул и, опираясь на него, выпрямился, и они в обнимку направились к реке; Джон похлопал их по холодным голым спинам; Вадим пошел вперед, отыскал укромный затончик; Дарвин помог Мартыну хорошенько обмыть лицо и торс, а потом Мартын сделал для него то же, — и оба тихо и участливо спрашивали друг у друга, где болит, не жжет ли вода.

XXX

Сумерки уже переходили в ночь, щелкали соловьи, дымные луга и темный прибрежный кустарник дышали сыростью. Джон в своей черной пироге исчез в тумане реки. Вадим, опять стоя на юте, призрачно белеясь во мраке,

безмолвно, с лунатической плавностью, погружал свой призрачный шест. Мартын и Дарвин лежали рядом на подушках, размаянные, томные, опухшие, и глядели тремя глазами на небо, по которому изредка проходила темная ветвь. И это небо, и ветвь, и едва плещущая вода, и фигура Вадима, таинственно облагороженного любовью к плаванию, и цветные огни бумажных фонарей на носах встречных шлюпок, и мысль, что на днях конец Кембриджу, что в последний раз, быть может, они втроем скользят по узкой туманной реке, — все это для Мартына сливалось во что-то удивительное, очаровательное, а свинцовая боль в голове и ломота в плечах тоже казались ему возвышенного, романтического свойства: ибо так плыл раненый Тристан сам друг с арфой.

Еще одна последняя излучина, и вот — берег. Берег, к которому Мартын пристал, был очень хорош, ярок, разнообразен. Он знал, однако, что, например, дядя Генрих твердо уверен, что эти три года плавания по кембриджским водам пропали даром, оттого что Мартын побаловался филологической прогулкой, не Бог весть какой дальней, вместо того чтобы изучить плодоносную профессию. Мартын же по совести не понимал, чем знаток русской словесности хуже инженера путей сообщения или купца. Оказалось, что в зверинце у дяди Генриха, — а зверинец есть у каждого, — имелся, между прочим, и тот зверек, который по-французски зовется «черным», и этим черным зверьком был для дяди Генриха: двадцатый век. Мартына это удивило, ибо ему казалось, что лучшего времени, чем то, в котором он живет, прямо себе не представишь. Такого блеска, такой отваги, таких замыслов не было ни у одной эпохи. Все то, что искрилось в прежних веках, — страсть к исследованию неведомых земель, дерзкие опыты, подвиги любознательных людей, которые слепли или разлетались на мелкие части, героические заговоры, борьба одного против многих, — все это проявлялось теперь с небывалой силой. То, что человек, проигравший на бирже миллион, хладнокровно кончал с собой, столь же поражало воображение Мартына, как, скажем, вольная смерть полководца, павшего грудью на меч. Автомобильная реклама, ярко алеющая в диком и живописном ущелье, на совершенно недоступном месте альпийской скалы, восхищала его до слез. Услужливость, ласковость очень сложных и очень простых

машин, как, например, трактор или линотип, приводили его к мысли, что добро в человечестве так заразительно, что передается металлу. Когда над городом, изумительно высоко в голубом небе, аэроплан величиной с комарика выпускал нежные, молочно-белые буквы во сто крат больше него самого, повторяя в божественных размерах росчерк фирмы, Мартын проникался ощущением чуда. А дядя Генрих, подкармливая своего черного зверька, с ужасом и отвращением говорил о закате Европы, о послевоенной усталости, о нашем слишком трезвом, слишком практическом веке, о нашествии мертвых машин; в его представлении была какая-то дьявольская связь между фокстротом, небоскребами, дамскими модами и коктэйлями. Кроме того, дяде Генриху казалось, что он живет в эпоху страшной спешки, и было особенно смешно, когда он об этой спешке беседовал в летний день, на краю горной дороги, с аббатом, — меж тем как тихо плыли облака, и старая, розовая аббатова лошадь, со звоном отряхиваясь от мух, моргая белыми ресницами, опускала голову полным невыразимой прелести движением и сочно похрустывала придорожной травой, вздрагивая кожей и переставляя изредка копыто, и если разговор о безумной спешке наших дней, о власти доллара, об аргентинцах, соблазнивших всех девушек в Швейцарии, слишком затягивался, а наиболее нежные стебли уже оказывались в данном месте съеденными, она слегка подвигалась вперед, при чем со скрипом поворачивались высокие колеса таратайки, и Мартын не мог оторвать взгляд от добрых седых лошадиных губ, от травинок, застрявших в удилах. «Вот, например, этот юноша, — говорил дядя Генрих, указывая палкой на Мартына, — вот он кончил университет, один из самых дорогих в мире университетов, а спросите его, чему он научился, на что он способен. Я совершенно не знаю, что он будет дальше делать. В мое время молодые люди становились врачами, офицерами, нотариусами, а вот он, вероятно, мечтает быть летчиком или платным танцором». Мартыну было невдомек, чего именно он служил примером, но аббат, по-видимому, понимал парадоксы дяди Генриха и сочувственно улыбался. Иногда Мартына так раздражали подобные разговоры, что он был готов сказать дяде — и, увы, отчиму — грубость, но вовремя останавливался, заметив особое выражение, которое появлялось на лице у Софьи Дмитриевны

всякий раз, как Генрих впадал в красноречие. Тут была и едва проступавшая ласковая насмешка, и какая-то грусть, и бессловесная просьба простить чудаку, — и еще что-то неизъяснимое, очень мудрое. И Мартын молчал, втайне отвечая дяде Генриху примерно так: «Неправда, что я в Кембридже занимался пустяками. Неправда, что я ничему не научился. Колумб, прежде чем взяться через западное плечо за восточное ухо, отправился инкогнито для получения кое-каких справок в Исландию, зная, что тамошние моряки — народ дошлый и дальноходный. Я тоже собираюсь исследовать далекую землю».

XXXI

Софья Дмитриевна не докучала сыну нудными разговорами, до которых был падок Генрих; она не спрашивала его, чем он собирается заниматься, считая, что это все как-то само собой устроится, и была только счастлива, что он сейчас при ней, здоров, плечист, темен от загара, лупит в теннис, говорит низким голосом, ежедневно бреется и вгоняет в мак молодую, яркоглазую мадам Гишар, местную купчиху. Порою она думала о том, что Россия вдруг стряхнет дурной сон, полосатый шлагбаум поднимется, и все вернутся, займут прежние свои места, — и Боже мой, как подросли деревья, как уменьшился дом, какая грусть и счастье, как пахнет земля... По утрам она так же страстно ждала почтальона, как и во дни пребывания сына в Кембридже, и, когда теперь приходило, — а приходило оно нечасто, — письмо на имя Мартына, в конторском конверте, с паукообразным почерком и берлинской маркой, она испытывала живейшую радость и, схватив письмо, спешила к нему в комнату. Мартын еще лежал в постели, очень взлохмаченный, посасывал папиросу, держа руку у подбородка. Он видел в зеркале, как солнечной раной раскрывалась дверь, и видел особое выражение на розовом, веснушчатом лице матери: по ее плотно сжатым, но уже готовым расплыться в улыбку губам он знал, что есть письмо. «Сегодня ничего для тебя нет», — небрежно говорила Софья Дмитриевна, держа руку за спиной, но сын уже протягивал нетерпеливые пальцы, и она, просияв, прикладывала конверт к груди, и оба смеялись, и затем, не желая мешать его

удовольствию, она отходила к окну, облокачивалась, захватив ладонями щеки, и с чувством совершенного счастья глядела на горы, на одну далекую, розовато-снежную вершину, которая была видна только из этого окна. Мартын, залпом проглотив письмо, притворялся значительно более довольным, чем на самом деле, так что Софья Дмитриевна представляла себе эти письма от маленькой Зилановой полными нежности и, вероятно, почувствовала бы печальную обиду за сына, если бы ей довелось их прочесть. Она помнила маленькую Зиланову со странной ясностью: черноволосая, бледная девочка, всегда с ангиной или после ангины, с шеей, забинтованной или пожелтевшей от йода; она помнила, как однажды повела десятилетнего Мартына к Зилановым на елку, и маленькая Соня была в белом платье с кружевцами и с широким шелковым кушаком на бедрах. Мартын же этого не помнил вовсе, елок было много, они мешались, и только одно было очень живо, ибо повторялось всегда: мать говорила, что пора домой, и засовывала пальцы за воротник его матроски, проверяя, не очень ли он потен от беготни, а он еще рвался куда-то с огромной золотой хлопушкой в руке, но хватка матери была ревнива, и вот уже натягивались шерстяные рейтузики, почти до подмышек, надевались ботики, полушубок, с туго застегивавшимся на душке крючком, отвратительно щекотный башлык, — и вот — морозная радуга фонарей проходит по стеклам кареты. Мартына волновало, что тогда и теперь выражение материнских глаз было то же, — что и теперь она легко трогала его за шею, когда он возвращался с тенниса, и приносила Сонино письмо с той же нежностью, как некогда — выписанное из Англии духовое ружье в длинной картонной коробке.

Ружье оказывалось не совсем таким, как он ожидал, не совпадало с мечтой о нем, как и теперь письма Сони были не такими, каких ему хотелось. Она писала редко, писала как-то судорожно, ни одного не попадалось таинственного слова, и ему приходилось удовлетворяться такими выражениями, как: «Часто вспоминаю добрый, старый Кембридж» или: «Всех благ, мой миленький цветочек, жму лапу». Она сообщала, что служит, машинка да стенография, что с Ириной очень трудно — сплошная истерия, — что у отца ничего путного не вышло с газетой и он теперь налаживает издательское дело, что в доме иногда не бывает

ни копейки, и очень грустно, что масса знакомых, и очень весело, что трамваи в Берлине зеленые, и что в теннис берлинцы играют в крахмальных воротничках и подтяжках. Мартын терпел, терпел, протерпел лето, осень и зиму, и как-то в апрельский день объявил дяде Генриху, что едет в Берлин. Тот надулся и сказал недовольно: «Мне кажется, дружок, что это лишено здравого смысла. Ты всегда успеешь увидеть Европу, — я сам думал осенью взять вас, тебя и твою мать, в Италию. Но ведь нельзя без конца валандаться. Короче, — я хотел тебе предложить попробовать твои молодые силы в Женеве. — (Мартын хорошо знал, о чем речь, — уже несколько раз выползал, крадучись, этот жалкий разговор о каком-то коммерческом доме братьев Пти, с которыми дядя Генрих был в деловых сношениях.) — Попробовать твои молодые силы, — повторил дядя Генрих. — В этот жестокий век, в этот век очень практический, юноша должен научиться зарабатывать свой хлеб и пробивать себе дорогу. Ты основательно знаешь английский язык. Иностранная корреспонденция — вещь крайне интересная. Что же касается Берлина... Ты ведь не очень силен в немецком — не так ли? Не вижу, что ты будешь там делать». — «Предположим, что ничего», — угрюмо сказал Мартын. Дядя Генрих посмотрел на него с удивлением. «Странный ответ. Не знаю, что твой отец подумал бы о подобном ответе. Мне кажется, что он, как и я, был бы удивлен, что юноша, полный здоровья и сил, гнушается всякой работы. Пойми, пойми, — поспешно добавил дядя Генрих, заметив, что Мартын неприятно побагровел, — я вовсе не мелочен. Я достаточно богат, слава Богу, чтобы тебя обеспечить, — я себе делаю из этого долг и счастье, — но с твоей стороны было бы безумием не работать. Европа проходит через неслыханный кризис, человек теряет состояние в мгновение ока. Это так, ничего не поделаешь, надо быть ко всему готовым». — «Мне твоих денег не нужно», — тихо и грубо сказал Мартын. Дядя Генрих сделал вид, будто не расслышал, но его глаза налились слезами. «Неужели, — спросил он, — у тебя нет честолюбия? Неужели ты не думаешь о карьере? Мы, Эдельвейсы, всегда умели работать. Твой дед был сначала бедным домашним учителем. Когда он сделал предложение твоей бабушке, ее родители прогнали его из дому. И вот — через год он возвращается директором экспортной фирмы, и тогда, разумеется, все препят-

ствия были сметены...» — «Мне твоих денег не нужно, — еще тише повторил Мартын, — а насчет дедушки — это все глупая семейная легенда, — и ты это знаешь». — «Что с ним, что с ним, — с испугом забормотал дядя Генрих. — Какое ты имеешь право меня так оскорблять? Что я тебе сделал худого? Я, который всегда...» — «Одним словом, я еду в Берлин», — перебил Мартын и, дрожа, вышел из комнаты.

XXXII

Вечером было примирение, объятия, сморкание, разнеженный кашель, — но Мартын настоял на своем. Софья Дмитриевна, чувствуя его тоску по Соне, оказалась его сообщницей и бодро улыбалась, когда он садился в автомобиль.

Как только дом скрылся из вида, Мартын переменился местами с шофером и, легко, почти нежно держа руль, словно нечто живое и ценное, и глядя, как мощная машина глотает дорогу, испытывал почти то же, что в детстве, когда, сев на пол, так, чтобы педали рояля пришлись под подошвы, держал между ног табурет с круглым вращающимся сиденьем, орудовал им как рулем, брал на полном ходу восхитительные повороты, еще и еще нажимал педаль (рояль при этом гукал) и щурился от воображаемого ветра. Затем, в поезде, в немецком вагоне, где в простенках были небольшие карты, как раз тех областей, по которым данный поезд не проходил, — Мартын наслаждался путешествием, ел шоколад, курил, совал окурок под железную крышку пепельницы, полной сигарного праха. К Берлину он подъезжал вечером и, глядя прямо из вагона на уже освещенные улицы, пережил снова давнишнее детское впечатление Берлина, счастливые жители которого могут хоть каждый день смотреть на поезд баснословного следования, плывущий по черному мосту над ежедневной улицей, и вот этим отличался Берлин от Петербурга, где железнодорожное движение скрывалось, как некое таинство. Но через неделю, когда он к городу присмотрелся, Мартын был уже бессилен восстановить тот угол зрения, при котором черты показались знакомы, — как при встрече с человеком, годами не виденным, признаешь сперва его облик и голос,

а присмотришься — и тут же наглядно проделывается все то, что незаметно проделало время, меняются черты, разрушается сходство, и сидит чужой человек, самодовольный поглотитель небольшого и хрупкого своего двойника, которого отныне уже будет трудно вообразить, — если только не поможет случай. Когда Мартын нарочно посещал те улицы в Берлине, тот перекресток, ту площадь, которые он видел в детстве, ничто, ничто не волновало душу, но зато, при случайном запахе угля или бензинного перегара, при особом бледном оттенке неба сквозь кисею занавески, при дрожи оконных стекол, разбуженных грузовиком, он мгновенно проникался тем городским, отельным, бледно-утренним, чем некогда пахнул на него Берлин. Игрушечные магазины на когда-то нарядной улице поредели, осунулись, локомотивы в них были теперь поменьше, поплоше. Мостовая на этой улице была разворочена, рабочие в жилетках сверлили, дымили, рыли глубокие ямы, так что приходилось пробираться по мосткам, а иногда даже по рыхлому песку. В пассажном паноптикуме потеряли свою страшную прелесть человек в саване, энергично выходящий из могилы, и железная женщина для чрезвычайной пытки. Когда Мартын пошел искать на Курфюрстендаме тот огромный скэтинг-ринк, от которого остались в памяти: гремучий раскат колесиков, красная форма инструкторов, раковина оркестра, соленый торт-мокко, подававшийся в круговых ложах, и па-де-патинер, которое он танцовал под всякую музыку, подгибая то правый, то левый ролик, и Бог ты мой, как он раз шлепнулся, — оказалось, что все это исчезло бесследно. Курфюрстендам изменился тоже, возмужал, вытянулся, и где-то — не то под новым домом, не то на пустыре — была могила большого тенниса в двадцать площадок, где раза два Мартын играл с матерью, которая, подавая снизу мяч, говорила ясным голосом «плэй» и, бегая, шуршала юбкой. Теперь, не выходя из города, он добирался до Груневальда, где жили Зилановы, и от Сони узнавал, что бессмысленно ездить за покупками к Вертхайму и что вовсе не обязательно посещать «Винтергартен», — где некогда высокий потолок был как дивное звездное небо и в ложах, у освещенных столиков, сидели прусские офицеры, затянутые в корсеты, а на сцене двенадцать голоногих девиц пели гортанными голосами и, держась под руки, переливались справа налево и обратно и вскидывали

двенадцать белых ног, и маленький Мартын тихо охнул, узнав в них тех миловидных, скромных англичанок, которые, как и он, бывали по утрам на деревянном катке.

Но, пожалуй, самым неожиданным в этом новом, широко расползавшемся Берлине, таком тихом, деревенском, растяпистом по сравнению с гремящим, тесным и нарядным городом Мартынова детства, — самым неожиданным в нем была та развязная, громкоголосая Россия, которая тараторила повсюду — в трамваях, на углах, в магазинах, на балконах домов. Лет десять тому назад, в одной из своих пророческих грез (а у всякого человека с большим воображением бывают грезы пророческие, — такова математика грез), петербургский отрок Мартын снился себе самому изгнанником, и подступали слезы, когда, на воображаемом дебаркадере, освещенном причудливо тускло, он невзначай знакомился — с кем?.. — с земляком, сидящим на сундуке, в ночь озноба и запозданий, и какие были дивные разговоры! Для роли этих земляков он попросту брал русских, замеченных им во время заграничной поездки, — семью в Биаррице, с гувернанткой, гувернером, бритым лакеем и рыжей таксой, замечательную белокурую даму в берлинском «Кайзергофе», или в коридоре Норд-Экспресса старого господина в черной мурмолке, которого отец шепотом назвал «писатель Боборыкин», — и, выбрав им подходящие костюмы и реплики, посылал их для встреч с собой в отдаленнейшие места света. Ныне эта случайная мечта — следствие Бог весть какой детской книги — воплотилась полностью и, пожалуй, хватила через край. Когда в трамвае толстая расписная дама уныло повисала на ремне и, гремя роскошными русскими звуками, говорила через плечо своему спутнику, старику в седых усах: «Поразительно, прямо поразительно, — ни один из этих невеж не уступит место», — Мартын вскакивал и, с сияющей улыбкой повторяя то, что некогда в отроческих мечтах случайно прорепетировал, восклицал: «Пожалуйста!» — и, сразу побледнев от волнения, повисал в свою очередь на ремне. Мирные немцы, которых дама звала невежами, были все усталые, голодные, работящие, и серые бутерброды, которые они жевали в трамвае, пускай раздражали русских, но были необходимы: настоящие обеды обходились дорого в тот год, и когда Мартын менял в трамвае доллар, — вместо того чтобы на этот доллар купить доходный дом, —

у кондуктора от счастья и удивления тряслись руки. Доллары Мартын зарабатывал особым способом, которым очень гордился. Труд был, правда, каторжный. С мая, когда он на этот труд набрел (благодаря милейшему русскому немцу Киндерману, уже второй год преподававшему теннис случайным богачам), и до середины октября, когда он вернулся на зиму к матери, и потом опять целую весну, — Мартын работал почти ежедневно с раннего утра до заката, — держа в левой руке пять мячей (Киндерман умел держать шесть), посылал их по одному через сетку все тем же гладким ударом ракеты, меж тем как напряженный пожилой ученик (или ученица) по ту сторону сетки старательно размахивался и обыкновенно никуда не попадал. Первое время Мартын так уставал, так ныло правое плечо, так горели ноги, что, придя домой, он сразу ложился в постель. От солнца волосы посветлели, лицо потемнело, — он казался негативом самого себя. Майорская вдова, его квартирная хозяйка, от которой он для пущей таинственности скрывал свою профессию, полагала, что бедняга принужден, как, увы, многие интеллигентные люди, заниматься черным трудом, таскать камни например (отсюда загар), и стесняется этого, как всякий деликатный человек. Она деликатно вздыхала и угощала его по вечерам колбасой, присланной дочерью из померанского имения. Была она саженного роста, краснолицая, по воскресеньям душилась одеколоном, держала у себя в комнате попугая и черепаху. Мартына она считала жильцом идеальным: он редко бывал дома, гостей не принимал и не пользовался ванной (последнюю заменяли сполна душ в клубе и груневальдское озеро). Эта ванна была вся снутри облеплена хозяйскими волосами, сверху на веревке зловонно сохли безымянные тряпки, а рядом у стены стоял старый, пыльный, поржавевший велосипед. Впрочем, добраться до ванны было мудрено: туда вел длинный, темный, необыкновенно угластый коридор, заставленный всяким хламом. Комната же Мартына была вовсе не плохая, очень забавная, с такими предметами роскоши, как пианино, спокон века запертое на ключ, или громоздкий, сложный барометр, испортившийся года за два до последней войны, — а над диваном, на зеленой стене, как постоянное, благожелательное напоминание, вставал из беклиновских волн тот же голый старик с трезубцем, который — в раме попроще — оживлял гостиную Зилановых.

XXXIII

Когда в первый раз он к ним пришел, увидел их дешевую, темную квартиру, состоявшую из четырех комнат и кухни, где за столом сидела по-новому причесанная, совсем чужая Соня и, качая ножками в заштопанных чулках, тянула носом и чистила картофель, Мартын понял, что нечего ждать от Сони, кроме огорчений, и что напрасно он махнул в Берлин. Чужое в ней было все: и бронзового оттенка джампер, и открытые уши, и простуженный голос, — ее донимал сильный насморк, вокруг ноздрей и под носом было розово, она чистила картофель, сморкалась и, высморкавшись, уныло крякала и опять срезала ножом спирали бурой шелухи. К ужину была гречневая каша, маргарин вместо масла; Ирина пришла к столу, держа на руках котенка, с которым не расставалась, и встретила Мартына радостным и страшным смехом. И Ольга Павловна и Елена Павловна постарели за этот год, еще больше стали похожи друг на дружку, и только один Зиланов был все тот же и с прежней мощью резал хлеб. «Я слышал, — (хряк, хряк), — что Грузинов в Лозанне, вы его, — (хряк), — не встречали? Мой большой приятель и замечательная волевая личность». Мартын не имел ни малейшего представления, кто такой Грузинов, но ничего не спросил, боясь попасть впросак. После ужина Соня мыла тарелки, а он их вытирал, и одну разбил. «С ума сойти, все заложено, — сказала она — и пояснила: — Да нет, не вещи, а у меня в носу. Вещи, впрочем, тоже». Затем она спустилась вместе с ним, чтобы отпереть ему дверь, — и очень забавно при нажиме кнопки стукало что-то, и вспыхивал на лестнице свет, — и Мартын покашливал и не мог выговорить ни одного слова из всех тех, которые он собирался Соне сказать. Далее последовали вечера, совсем другие, — множество гостей, танцы под граммофон, танцы в ближнем кафе, темнота маленького кинематографа за углом. Со всех сторон возникали вокруг Мартына новые люди, туманности рождали миры, и вот получало определенные имена и облики все русское, рассыпанное по Берлину, все, что так волновало Мартына, — будь это просто обрывок житейского разговора среди прущей панельной толпы, хамелеонное словцо — дóллары, доллáры, долларá, — или схваченная на лету речитативная ссора четы: «А я тебе

говорю...» — для женского голоса; «Ну и пожалуйста...» — для мужского, — или, наконец, человек, летней ночью с задранной головой бьющий в ладони под освещенным окном, выкликающий звучное имя и отчество, от которого сотрясается вся улица и шарахается, нервно хрюкнув, таксомотор, чуть не налетевший на голосистого гостя, который уже отступил на середку мостовой, чтобы лучше видеть, не появился ли Петрушкой в окне нужный ему человек. Через Зилановых Мартын узнал людей, среди которых сначала почувствовал себя невеждой и чужаком. В некотором смысле с ним повторялось то же, что было, когда он приехал в Лондон. И теперь, когда на квартире у писателя Бубнова большими волнами шел разговор, полный имен, и Соня, все знавшая, смотрела искоса на него с насмешливым сожалением, Мартын краснел, терялся, собирался пустить свое утлое словцо на волны чужих речей, да так, чтобы оно не опрокинулось сразу, и все не мог решиться, и потому молчал; зато, устыдясь отсталости своих познаний, он много читал по ночам и в дождливые дни, и очень скоро принюхался к тому особому запаху — запаху тюремных библиотек, — который исходил от советской словесности.

XXXIV

Писатель Бубнов, — всегда с удовольствием отмечавший, сколь много выдающихся литературных имен двадцатого века начинается на букву «б», — был плотный, тридцатилетний, уже лысый мужчина с огромным лбом, глубокими глазницами и квадратным подбородком. Он курил трубку, — сильно вбирая щеки при каждой затяжке, — носил старый черный галстук бантиком и считал Мартына франтом и европейцем. Мартына же пленяла его напористая круглая речь и вполне заслуженная писательская слава. Начав писать уже за границей, Бубнов за три года выпустил три прекрасных книги, писал четвертую, героем ее был Христофор Колумб — или, точнее, русский дьяк, чудесно попавший матросом на одну из Колумбовых каравелл, — а так как Бубнов не знал ни одного языка, кроме русского, то для собирания некоторых материалов, имевшихся в Государственной библиотеке, охотно брал

с собою Мартына, когда тот бывал свободен. Немецким Мартын владел плоховато и потому радовался, если текст попадался французский, английский или — еще лучше — итальянский: этот язык он знал, правда, еще хуже немецкого, но небольшое свое знание особенно ценил, памятуя, как с меланхолическим Тэдди переводил Данте. У Бубнова бывали писатели, журналисты, прыщеватые молодые поэты, — все это были люди, по мнению Бубнова, среднего таланта, и он праведно царил среди них, выслушивал, прикрыв ладонью глаза, очередное стихотворение о тоске по родине или о Петербурге (с непременным присутствием Медного Всадника) и затем говорил, тиская бритый подбородок: «Да, хорошо»; и повторял, уставившись бледно-карими, немного собачьими глазами в одну точку: «Хорошо», с менее убедительным оттенком; и, снова переменив направление взгляда, говорил: «Неплохо»; а затем: «Только, знаете, слишком у вас Петербург портативный»; и, постепенно снижая суждение, доходил до того, что глухо, со вздохом бормотал: «Все это не то, все это не нужно», и удрученно мотал головой, и вдруг, с блеском, с восторгом, разрешался стихом из Пушкина, — и когда однажды молодой поэт, обидевшись, возразил: «То Пушкин, а это я», — Бубнов подумал и сказал: «А все-таки у вас хуже». Случалось, впрочем, что чья-нибудь вещь была действительно хороша, и Бубнов — особенно если вещь была написана прозой — делался необыкновенно мрачным и несколько дней пребывал не в духах. С Мартыном, который, кроме писем к матери, ничего не писал (и был за это прозван одним острословом «наша мадам де Севинье»), Бубнов дружил искренно и безбоязненно, и раз даже, после третьей кружки пильзнера, весь налитой светлым пивом, весь тугой и прозрачный, мечтательно заговорил (и это напомнило Яйлу, костер) о девушке, у которой поет душа, поют глаза, и кожа бледна, как дорогой фарфор, — и затем свирепо глянул на Мартына и сказал: «Да, это пошло, сладко, отвратительно, фу... презирай меня, пускай я бездарь, но я ее люблю. Ее имя как купол, как свист голубиных крыл, я вижу свет в ее имени, особый свет, “кана-инум” старых хадирских мудрецов, — свет оттуда, с Востока, — о, это большая тайна, страшная тайна»; и уже истошным шепотом: «Женская прелесть страшна, — ты понимаешь меня, — страшна. И туфельки у нее стоптаны, стоптаны...»

Мартын стеснялся и молча кивал. С Бубновым он всегда чувствовал себя странно, немного как во сне, — и как-то не совсем доверял ни ему, ни хадирским старцам. Другие Сонины знакомые, как, например, веселый зубастый Каллистратов, бывший офицер, теперь занимавшийся автомобильным извозом, или милая, белая, полногрудая Веретенникова, игравшая на гитаре и певшая звучным контральто «Есть на Волге утес», или молодой Иоголевич, умный, ехидный, малоразговорчивый юноша в роговых очках, читавший Пруста и Джойса, были куда проще Бубнова. К этим Сониным друзьям примешивались и пожилые знакомые ее родителей, — все люди почтенные, общественные, чистые, вполне достойные будущего некролога в сто кристальных строк. Но когда, в июльский день, от разрыва сердца умер на улице, охнув и грузно упав ничком, старый Иоголевич, и в русских газетах было очень много о незаменимой утрате и подлинном труженике, и Михаил Платонович, с портфелем под мышкой, шел один из первых за гробом, среди роз и черного мрамора еврейских могил, Мартыну казалось, что слова некролога «пламенел любовью к России» или «всегда держал высоко перо» — как-то унижают покойного тем, что они же, эти слова, могли быть применены и к Зиланову, и к самому́ маститому автору некролога. Мартыну было больше всего жаль своеобразия покойного, действительно незаменимого, — его жестов, бороды, лепных морщин, неожиданной застенчивой улыбки, и пиджачной пуговицы, висевшей на нитке, и манеры всем языком лизнуть марку, прежде чем ее налепить на конверт да хлопнуть по ней кулаком. Это было в каком-то смысле ценнее его общественных заслуг, для которых был такой удобный шаблончик, — и со странным перескоком мысли Мартын поклялся себе, что никогда сам не будет состоять ни в одной партии, не будет присутствовать ни на одном заседании, никогда не будет тем персонажем, которому предоставляется слово или который закрывает прения и чувствует при этом все восторги гражданственности. И часто Мартын дивился, почему никак не может заговорить о сокровенных своих замыслах с Зилановым, с его друзьями, со всеми этими деятельными, почтенными, бескорыстно любящими родину русскими людьми.

XXXV

Но Соня, Соня... От ночных мыслей об экспедиции, от литературных бесед с Бубновым, от ежедневных трудов на теннисе он снова и снова к ней возвращался, подносил для нее спичку к газовой плите, где сразу, с сильным пыхом, выпускал все когти голубой огонь. Говорить с ней о любви было бесполезно, но однажды, провожая ее домой из кафе, где они тянули сквозь соломинки шведский пунш под скрипичный вой румына, он почувствовал такую нежность от теплоты ночи и от того, что в каждом подъезде стояла неподвижная чета, — так подействовали на него их смех и шепот, и внезапное молчание, — и сумрачное колыхание сирени в палисадниках, и диковинные тени, которыми свет фонаря оживлял леса обновлявшегося дома, — что внезапно он забыл обычную выдержку, обычную боязнь быть поднятым Соней на зубки, — и чудом заговорил — и о чем? — о Горации... Да, Гораций жил в Риме, а Рим походил на большую деревню, где, впрочем, немало было мраморных зданий, но тут же гнались за бешеной собакой, тут же хлюпала в грязи свинья с черными своими поросятами, — и всюду строили, стучали плотники, громыхая, проезжала телега с лигурийским мрамором или огромной сосной, — но к вечеру стук затихал, как затихал в сумерки Берлин, и напоследок гремели железные цепи запираемых на ночь лавок, совсем как гремели, спускаясь, ставни лавок берлинских, и Гораций шел на Марсово поле, тщедушный, но с брюшком, лысый и ушастый, в неряшливой тоге, и слушал нежный шепот бесед под портиками, прелестный смех в темных углах.

«Ты такой милый, — вдруг сказала Соня, — что я должна тебя поцеловать, — только постой, отойдем сюда». У решетки, через которую свисала листва, Мартын привлек к себе Соню и, чтобы не терять ничего из этой минуты, не зажмурился, медленно целуя ее холодные мягкие губы, а следил за бледным отсветом на ее щеке, за дрожью ее опущенных век: веки поднялись на мгновение, обнажив влажный слепой блеск, и прикрылись опять, и она вздрагивала, и вытягивала губы, и вдруг ладонью отодвинула его лицо и, стуча зубами, вполголоса сказала, что больше не надо, пожалуйста, больше не надо.

«А если я другого люблю?» — спросила Соня с нежданной живостью, когда они снова побрели по улице. «Это ужасно», — сказал Мартын и почувствовал, что было какое-то мгновение, когда он мог Соню удержать, — а теперь она опять выскользнула. «Убери руку, мне неудобно идти, что за манера, как воскресный приказчик», — вдруг проговорила она, и последняя надежда, блаженно теплое ощущение ее голого предплечья под его рукой, — исчезло тоже. «У него есть по крайней мере талант, — сказала она, — а ты — ничто, просто путешествующий барчук». — «У кого — у него?» Она ничего не ответила и молчала до самого дома; но на прощание поцеловала еще раз, закинув ему за шею обнаженную руку, и, с серьезным лицом, потупясь, заперла снутри дверь, и он проследил сквозь дверное стекло, как она поднялась по лестнице, поглаживая балюстраду, — и вот — исчезла за поворотом, и вот — потух свет.

«С Дарвином, вероятно, было то же самое», — подумал Мартын, и ему страшно захотелось его повидать, — но Дарвин был далеко, в Америке, посланный туда лондонской газетой. И на другой день простыл след этого вечера, точно его не было вовсе, и Соня уехала с друзьями за город, на Павлиний остров, там был пикник и купание, Мартын об этом даже не знал, — и когда вечером подходил к ее дому, неся под мышкой большую плюшевую собаку с малиновым бантом, купленную за пять минут до закрытия магазина, то встретил на улице всю возвращавшуюся компанию, и у Сони на плечах был пиджак Каллистратова, и какая-то вспыхивала между ней и Каллистратовым шутка, смысл которой никто Мартыну не потрудился открыть.

Тогда он ей написал письмо, и несколько дней отсутствовал; она ему ответила дней через десять цветной фотографической открыткой: смазливый молодой мужчина наклоняется сзади над зеленой скамейкой, на которой сидит смазливая молодая женщина, любуясь букетом роз, а внизу золотыми буквами немецкий стишок: «Пускай умалчивает сердце о том, что розы говорят». «Какие миленькие, — написала на обороте Соня, — знай наших! А ты — вот что: приходи, у меня три струны лопнули на ракете». И ни слова о письме. Но зато при одной из ближайших встреч она сказала: «Послушай, это глупо, можешь, наконец, про-

пустить один день, тебя заменит Киндерман». — «У него свои уроки», — нерешительно ответил Мартын, — но все же с Киндерманом поговорил, и вот, в удивительный день, совершенно безоблачный, Мартын и Соня поехали в озерные, камышовые, сосновые окрестности города, и Мартын героически держал данное ей слово, не делал мармеладных глаз — ее выражение — и не пытался к ней прикоснуться. С этого дня началась между ними по случайному поводу серия особенных разговоров. Мартын, решив поразить Сонино воображение, очень туманно намекнул на то, что вступил в тайный союз, налаживающий кое-какие операции разведочного свойства. Правда, союзы такие существовали, правда, общий знакомый, поручик Мелких, по слухам, пробирался дважды кое-куда, правда и то, что Мартын все искал случая поближе с ним сойтись (раз даже угощал его ужином) и все жалел, что не встретился в Швейцарии с Грузиновым, о котором упомянул Зиланов и который, по наведенным справкам, оказался человеком больших авантюр, террористом, заговорщиком, руководителем недавних крестьянских восстаний. «Я не знала, что ты о таких вещах думаешь. Но только, знаешь, если ты правда вступил в организацию, очень глупо об этом сразу болтать». — «Ах, я пошутил», — сказал Мартын и загадочно прищурился для того, чтобы Соня подумала, что он нарочно обратил это в шутку. Но она этой тонкости не заметила; валяясь на сухой, хвойными иглами устланной земле, под соснами, стволы которых были испещрены солнцем, она закинула голые руки за голову, показывая прелестные впадины подмышек, недавно выбритые и теперь словно заштрихованные карандашом, — и сказала, что это странно, — она тоже об этом часто думает: вот есть на свете страна, куда вход простым смертным воспрещен. «Как мы ее назовем?» — спросил Мартын, вдруг вспомнив игры с Лидой на крымском лукоморье. «Что-нибудь такое — северное, — ответила Соня. — Смотри, белка». Белка, играя в прятки, толчками поднялась по стволу и куда-то исчезла. «Например — Зоорландия, — сказал Мартын. — О ней упоминают норманны». — «Ну конечно, — Зоорландия», — подхватила Соня, и он широко улыбнулся, несколько потрясенный неожиданно открывшейся в ней способностью мечтать. «Можно снять муравья?» — спросил он в скобках. «Зависит откуда». — «С чулка». — «Убирайся, милый», — обратилась она

к муравью, смахнула его сама и продолжала: «Там холодные зимы и сосулищи с крыш, — целая система, как, что ли, органные трубы, — а потом все тает, и все очень водянисто, и на снегу — точки вроде копоти, вообще, знаешь, я все могу тебе рассказать, вот, например, вышел там закон, что всем жителям надо брить головы, и потому теперь самые важные, самые такие влиятельные люди — парикмахеры». — «Равенство голов», — сказал Мартын. «Да. И конечно, лучше всего лысым. И знаешь...» — «Бубнов был бы счастлив», — в шутку вставил Мартын. На это Соня почему-то обиделась и вдруг иссякла. Все же с того дня она изредка соизволяла играть с ним в Зоорландию, и Мартын терзался мыслью, что она, быть может, изощренно глумится над ним и вот-вот заставит его оступиться, доведя его незаметно до черты, за которой бредни становятся безвкусны, и внезапным хохотом разбудив босого лунатика, который видит вдруг и карниз, на котором висит, и свою задравшуюся рубашку, и толпу на панели, глядящую вверх, и каски пожарных. Но если это был со стороны Сони обман, — все равно, все равно его прельщала возможность пускать перед ней душу свою налегке. Они изучали зоорландский быт и законы, страна была скалистая, ветреная, и ветер признан был благою силой, ибо, ратуя за равенство, не терпел башен и высоких деревьев, а сам был только выразителем социальных стремлений воздушных слоев, прилежно следящих, чтобы вот тут не было жарче, чем вот там. И конечно, искусства и науки объявлены были вне закона, ибо слишком обидно и раздражительно для честных невежд видеть задумчивость грамотея и его слишком толстые книги. Бритоголовые, в бурых рясах, зоорландцы грелись у костров, в которых звучно лопались струны сжигаемых скрипок, а иные поговаривали о том, что пора пригладить гористую страну, взорвать горы, чтобы они не торчали так высокомерно. Иногда среди общей беседы, за столом, например, — Соня вдруг поворачивалась к нему и быстро шептала: «Ты слышал, вышел закон, запретили гусеницам окукляться», — или: «Я забыла тебе сказать, что Саванна-рыло, — (кличка одного из вождей), — приказал врачам лечить все болезни одним способом, а не разбрасываться».

XXXVI

Вернувшись на зиму в Швейцарию, Мартын предвкушал занятную корреспонденцию, но Соня в нечастых своих письмах не упоминала больше о Зоорландии; зато в одном из них просила от имени отца передать Грузинову привет. Оказалось, что Грузинов жил как раз в гостинице, столь привлекшей Мартына, но когда он на лыжах спустился туда, то узнал, что Грузинов на время уехал. Привет он передал жене Грузинова, Валентине Львовне, свежей, ярко одетой, сорокалетней даме с иссиня-черными волосами, улыбавшейся очень осторожно, так как передние зубы (всегда запачканные кармином) чересчур выдавались, и она спешила натянуть на них верхнюю губу. Таких очаровательных рук, как у нее, Мартын никогда не видал: маленьких, мягких, в жарких перстнях. Но хотя ее все считали привлекательной и восхищались ее плавными телодвижениями, звучным, ласковым голосом, Мартын остался холоден, и ему было неприятно, что она, чего доброго, старается ему нравиться. Боялся он, впрочем, зря. Валентина Львовна была к нему так же равнодушна, как к высокому, носатому англичанину с седой щетиной на узкой голове и с пестрым шарфом вокруг шеи, который катал ее на салазках.

«Муж вернется только в июле», — сказала она и принялась расспрашивать про Зилановых. «...Да-да, я слышала, — несчастная мать, — (Мартын упомянул об Ирине). — Вы ведь знаете, с чего это началось?» Мартын знал: четырнадцатилетняя Ирина, тогда тихая, полная девочка, склонная к меланхолии, оказалась с матерью в теплушке, среди всякого сброда. Они ехали бесконечно, — и двое забияк, несмотря на уговоры товарищей, то и дело щупали, щипали, щекотали ее и говорили чудовищные сальности, и мать, улыбаясь от ужаса, беспомощно старалась ее защитить и все повторяла: «Ничего, Ирочка, ничего, ах, пожалуйста, оставьте девочку, как вам не совестно, ничего, Ирочка...» — и совершенно так же вскрикивала и причитала, и совершенно так же держала дочь за голову, когда, уже в другом вагоне, поближе к Москве, солдаты — на полном ходу — вытискивали в окно ее толстого мужа, который чудом подобрал семью на засыпанной снегом станции. Да, он был очень толст и истерически смеялся, так как застрял

в окне, но наконец напиравшие густо ухнули, и он исчез, и мимо пустого окна мчался слепой снег. Затем был у Ирины тиф, и она непонятно как выжила, но перестала владеть человеческой речью и только в Лондоне научилась по-разному мычать и довольно сносно произносить «ма-ма».

Мартын никогда как-то Ириной не занимался, давно привыкнув к ее дурости, но теперь что-то его потрясло, когда Валентина Львовна сказала: «Вот у них в доме есть постоянный живой символ». Зоорландская ночь показалась еще темнее, дебри ее лесов еще глубже, и Мартын уже знал, что никто и ничто не может ему помешать вольным странником пробраться в эти леса, где в сумраке мучат толстых детей и пахнет гарью и тленом. И когда он по весне впопыхах вернулся в Берлин, к Соне, ему мерещилось (так полны приключений были его зимние ночи), что он уже побывал в той одинокой, отважной экспедиции и вот — будет рассказывать, рассказывать. Войдя к ней в комнату, он сказал, торопясь это выговорить, покамест еще не подпал под знакомое опустошительное влияние ее тусклых глаз: «Так, так я когда-нибудь вернусь и тогда, вот тогда...» — «Ничего никогда не будет», — воскликнула она тоном пушкинской Наины. Была она еще бледнее обыкновенного, очень уставала на службе; дома ходила в старом черном бархатном платье с ремешком вокруг бедер и в шлепанцах с потрепанными помпонами. Часто по вечерам, надев макинтош, она уходила куда-то, и Мартын, послонявшись по комнатам, медленно направлялся к трамвайной остановке, глубоко засунув руки в карманы штанов, а перебравшись на другой конец Берлина, нежно посвистывал под окном танцовщицы из «Эреба», с которой познакомился в теннисном клубе. Она вылетала на балкончик и на миг замирала у перил, и затем исчезала, и, вылетев опять, бросала ему завернутый в бумагу ключ. У нее Мартын пил зеленый мятный ликер и целовал ее в золотую голую спину, и она сильно сдвигала лопатки и трясла головой. Он любил смотреть, как она, быстро и тесно переставляя мускулистые загорелые ноги, ходит по комнате, ругмя ругая все того же антрепренера, любил ее странное лицо с неестественно тонкими бровями, оранжеватым румянцем и гладко зачесанными назад волосами, — и тщетно старался не думать о Соне. Как-то в майский вечер, когда

он с улицы переливчато и тихо свистнул, на балкончике вместо танцовщицы появился пожилой господин в подтяжках; Мартын вздохнул и ушел, вернулся к дому Зилановых и ходил взад и вперед, от фонаря к фонарю. Соня появилась за полночь, одна, и, пока она рылась в сумке, ища связку ключей, Мартын к ней подошел и робко спросил, куда она ходила. «Ты меня оставишь когда-нибудь в покое?» — воскликнула Соня и, не дождавшись ответа, хрустнула дважды ключом, и тяжелая дверь открылась, замерла, бухнула. А затем Мартыну стало казаться, что не только Соня, но и все общие знакомые как-то его сторонятся, что никому он не нужен и никем не любим. Он заходил к Бубнову, и тот смотрел на него странным взглядом, просил извинения и продолжал писать. И наконец, чувствуя, что еще немного, и он превратится в Сонину тень и будет до конца жизни скользить по берлинским панелям, израсходовав на тщетную страсть то важное, торжественное, что зрело в нем, Мартын решил развязаться с Берлином и где-нибудь, все равно где, в очистительном одиночестве спокойно обдумать план экспедиции. В середине мая, уже с билетом на Страсбург в бумажнике, он зашел попрощаться с Соней, и конечно, ее не оказалось дома; в сумерках комнаты сидела, вся в белом, Ирина, плавала в сумерках, как призрачная черепаха, и не сводила с него глаз, и тогда он написал на конверте: «В Зоорландии вводится полярная ночь», — и, оставив конверт на Сониной подушке, сел в ожидавший таксомотор и, без пальто, без шляпы, с одним чемоданом, — уехал.

XXXVII

Как только тронулся поезд, Мартын ожил, повеселел, исполнился дорожного волнения, в котором он теперь усматривал необходимую тренировку. Пересев во французский поезд, идущий через Лион на юг, он как будто окончательно высвободился из Сониных туманов. И вот, уже за Лионом, развернулась южная ночь, отражения окон бежали бледными квадратами по черному скату, и в грязном, до ужаса жарком отделении второго класса единственным спутником Мартына был пожилой француз, бритый, брова-

стый, с лоснящимися мослаками. Француз скинул пиджак и быстрым перебором пальцев сверху вниз расстегнул жилет; стянул манжеты, словно отвинтил руки, и бережно положил эти два крахмальных цилиндра в сетку. Затем, сидя на краю лавки, покачиваясь, — поезд шел вовсю, — подняв подбородок, он отцепил воротник и галстук, и так как галстук был готовый, пристяжной, то опять было впечатление, что человек разбирается по частям и сейчас снимет голову. Обнажив дряблую, как у индюка, шею, француз облегченно ею повертел и, согнувшись, крякая, сменил ботинки на старые ночные туфли. Теперь в открытой на курчавой груди рубашке он производил впечатление доброго малого, слегка подвыпившего, — ибо эти ночные спутники, с блестящими бледными лицами и осоловелыми глазами, всегда кажутся захмелевшими от вагонной качки и жары. Порывшись в корзине, он вынул бутылку красного вина и большой апельсин, сперва глотнул из горлышка, чмокнул губами, крепко, со скрипом, вдавил пробку обратно и принялся большим пальцем оголять апельсин, предварительно укусив его в темя. И тут, встретившись глазами с Мартыном, который, положив на колено Таухниц, только что приготовился зевнуть, француз заговорил: «Это уже Прованс», — сказал он с улыбкой, шевельнув усатой бровью по направлению окна, в зеркально-черном стекле которого чистил апельсин его тусклый двойник. «Да, чувствуется юг», — ответил Мартын. «Вы англичанин?» — осведомился тот и разорвал на две части очищенный, в клочьях седины, апельсин. «Правильно, — ответил Мартын. — Как вы угадали?» Француз, сочно жуя, повел плечом. «Не так уж мудрено», — сказал он и, глотнув, указал волосатым пальцем на Таухниц. Мартын снисходительно улыбнулся. «А я лионец, — продолжал тот, — и состою в винной торговле. Мне приходится много разъезжать, но я люблю движение. Видишь новые места, новых людей, мир — наконец. У меня жена и маленькая дочь», — добавил он, вытирая бумажкой концы растопыренных пальцев. Затем, посмотрев на Мартына, на его единственный чемодан, на мятые штаны и сообразив, что англичанин-турист вряд ли поехал бы вторым классом, он сказал, заранее кивая: «Вы путешественник?» Мартын понял, что это просто сокращение — вояжер вместо коммивояжер. «Да, я именно путешественник, — ответил он, старательно придавая

французской речи британскую густоту, — но путешественник в более широком смысле. Я еду очень далеко». — «Но вы в коммерции?» Мартын замотал головой. «Вы это, значит, делаете для вашего удовольствия?» — «Пожалуй», — согласился Мартын. Француз помолчал и затем спросил: «Вы едете пока что в Марсель?» — «Да, вероятно, в Марсель. У меня, видите ли, не все еще приготовления закончены». Француз кивнул, но явно был озадачен. «Приготовления, — продолжал Мартын, — должны быть в таких вещах очень тщательны. Я около года провел в Берлине, где думал найти нужные мне сведения, и что же вы думаете?..» — «У меня племянник инженер», — вкрадчиво вставил француз. «О, нет, я не занимаюсь техническими науками, не для этого я посещал Германию. Но вот — я говорю: вы не можете себе представить, как было трудно выуживать справки. Дело в том, что я предполагаю исследовать одну далекую, почти недоступную область. Кое-кто туда пробирался, но как этих людей найти, как их заставить рассказать? Что у меня есть? Только карта», — и Мартын указал на чемодан, где действительно находилась одноверстка, которую он добыл в Берлине, в бывшем Генеральном Штабе. Последовало молчание. Поезд гремел и трясся. «Я всегда утверждаю, — сказал француз, — что у наших колоний большая будущность. У ваших, разумеется, тоже, — и у вас их так много. Один лионец из моих знакомых провел десять лет на тропиках и говорит, что охотно бы туда вернулся. Он мне однажды рассказывал, как обезьяны, держа друг дружку за хвосты, переходят по стволу через реку, — это было дьявольски смешно, — за хвосты, за хвосты...» — «Колонии — это особь-статья, — сказал Мартын. — Я собираюсь не в колонии. Мой путь будет пролегать через дикие опасные места, и — кто знает? — может быть, мне не удастся вернуться». — «Это экспедиция научная, что ли?» — спросил француз, раздавливая задними зубами зевок. «Отчасти. Но — как вам объяснить? Это не главное. Главное, главное... Нет, право, я не знаю, как объяснить». — «Понятно, понятно, — устало сказал француз. — Вы, англичане, любите пари и рекорды, — слово “рекорды” прозвучало у него сонным рычанием. — На что миру голая скала в облаках? Или — ох, как хочется спать в поезде! — айсберги, как их зовут, полюс — наконец? Или болота, где дохнут от лихорадки?» — «Да, вы, пожалуй,

попали в точку, но это не все, не только спорт. Да, это далеко не все. Ведь есть еще — как бы сказать? — любовь, нежность к земле, тысячи чувств, довольно таинственных». Француз сделал круглые глаза и вдруг, подавшись вперед, легонько хлопнул Мартына по колену. «Смеяться изволите надо мной?» — сказал он благодушно. «Ах, ничуть, ничуть». — «Полно, — сказал он, откинувшись в свой угол. — Вы еще слишком молоды, чтобы бегать по Сахарам. Если разрешите, мы сейчас притушим свет и соснем».

XXXVIII

Тьма. Француз почти тотчас захрапел. «А все-таки он поверил, что я англичанин. И вот так я буду ехать на север, вот так, — в вагоне, который нельзя остановить, — а потом, потом...» Он побрел по лесной тропинке, тропинка разматывалась, разматывалась, но сон к нему навстречу не шел. Мартын открыл глаза. Хорошо бы спустить оконную раму. Теплый ночной ветер хлынул в лицо, и, напрягая зрение, Мартын высунулся, но в глаза летела незримая пыль, быстрая ночь ослепляла, он втянул голову. В темноте отделения раздался кашель. «Нет, уж, пожалуйста, — проговорил недовольный голос. — Я не желаю спать под звездами. Закройте, закройте». — «Закройте сами», — сказал Мартын и, выйдя в освещенный коридор, пошел мимо отделений, где угадывалась сонная мешанина беспомощных, полураздетых тел, сопение и вздохи, по-рыбьи открытые рты, клонящаяся и вдруг поднимающаяся голова, а прямо ей в нос — чужая пятка. Перебираясь из тамбура в тамбур по скрежещущим железным площадкам, Мартын прошел через два вагона третьего класса. Двери некоторых отделений были открыты, в одном голубые солдаты шумно играли в карты. Дальше, в коридоре спального вагона, он остановился у полуспущенного окна и так живо вспомнил вдруг детское свое путешествие по югу Франции, и вот это откидное сиденье у окна, и матерчатый ремень, при помощи которого можно было управлять поездом, и дивную мелодию на трех языках, — особенно: периколоза... Он подумал: какая странная, странная выдалась жизнь, — ему показалось, что он никогда не выходил из экспресса, а просто слонялся из одного вагона в другой, и в одном были моло-

дые англичане, Дарвин, торжественно берущийся за рукоять тормоза, в другом — Алла с мужем, а не то — крымские друзья, или храпящий дядя Генрих, или Зилановы, Михаил Платонович с газетой, Соня, тусклым взглядом уставившаяся в окно. «А потом пешочком, пешочком», — взволнованно проговорил Мартын, — лес и вьющаяся в нем тропинка... какие большие деревья! А тут, в этом спальном вагоне, тут ехало, должно быть, детство его; дрожа, освобождало кожаную сторку, а если пройти дальше, там — вагон-ресторан, и отец с матерью обедают, — на столике болванка шоколада в фиолетовой обертке, а над раскидными дверцами мреет винтовой вентилятор среди цветущих реклам. И вдруг Мартын увидел в окно то, что видел и в детстве, — огни, далеко, среди темных холмов; вот кто-то их пересыпал из ладони в ладонь и положил в карман. И пока он глядел, поезд начал тормозить, — и тогда Мартын сказал себе, что, если будет сейчас станция, он выйдет и уже оттуда пойдет к огням. Так и случилось. Подплыла платформа, лунный диск часов, и поезд остановился, выдохнув: «Уш-ш-ш-ш-ш...» Мартын опрометью бросился к своему вагону, не сразу мог найти отделение, дважды внедрялся в чужую сопящую темноту и наконец нашел, бесцеремонно зажег свет, и француз на лавке медленно приподнялся, протирая кулаками глаза. Мартын сдернул чемодан, сунул в карман книгу, — все это страшно спеша. Он не заметил, что уже поезд тихо поплыл, и потому едва не упал, спрыгнув на скользящую платформу. Прошли окна, окна, окна, и вот — уже поезда нет, пустые рельсы, поблескивание угольной пыли между шпал.

Мартын, глубоко дыша, пошел по платформе, и носильщик, везущий на тачке ящик с надписью «Fragile», весело сказал, с особой южной металлической интонацией: «Вы проснулись вовремя». — «Скажите, — полюбопытствовал Мартын, — что в этом ящике?» Тот взглянул на ящик, словно впервые его заметил. «Музей естественных наук», — прочел он адрес. «Вот оно что, вероятно коллекция», — произнес Мартын и направился туда, где стояло несколько столиков у входа в тускло освещенный буфет.

Воздух был бархатный, теплый; белым светом горел газовый фонарь, и вокруг — металась бледная мошкара и одна широкая, темная бабочка на седой подкладке. Стену украшало саженное объявление военного ведомства, стара-

ющееся соблазнить молодых людей прелестями военной службы: на переднем плане — бравый французский солдат, на заднем — финиковая пальма, дромадер, араб в бурнусе, а с краю — две пышных женщины в чарчафах.

Платформа была безлюдна. Поодаль стояли клетки со спящими курами. По ту сторону рельс смутно чернели растрепанные кусты. Пахло в воздухе углем, можжевельником и мочой. Из буфета вышла смуглая старуха, и Мартын спросил себе аперитив, прекрасное название коего прочел на одной из реклам. Погодя рабочий, весь в синем, сел за соседний столик и, уронив голову на руку, уснул.

«Я хочу кое-что узнать, — сказал Мартын старухе. — Подъезжая сюда, я видел огни». — «Где? Вон там?» — переспросила она, протянув руку в том направлении, откуда пришел поезд. Мартын кивнул. «Это может быть только Молиньяк, — сказала она. — Да, Молиньяк. Маленькая деревня». Мартын расплатился и пошел к выходу. Темная площадь, платаны, дальше — синеватые дома, узкая улица. Он уже шел по ней, когда спохватился, что забыл посмотреть с платформы на вокзальную вывеску и теперь не знает названия города, в который попал. Это приятно взволновало его. Как знать, — быть может, он уже за пограничной чертой... ночь, неизвестность... сейчас окликнут...

XXXIX

Проснувшись на другое утро, Мартын не сразу мог восстановить вчерашнее, — а проснулся он оттого, что лицо щекотали мухи. Замечательно мягкая постель; аскетический умывальник, а рядом туалетное орудие скрипичной формы; жаркий голубой свет, дышащий в светлую занавеску. Он давно так славно не высыпался, давно не был так голоден. Откинув занавеску, он увидел напротив ослепительно белую стену в пестрых афишах, а несколько левее полосатые маркизы лавок, пегую собаку, которая задней лапой чесала себе за ухом, и блеск воды, струящейся между панелью и мостовой.

...Звонок громко пробежал по всей двухэтажной гостинице, и, бойко топая, пришла яркоглазая грязная горничная. Он потребовал много хлеба, много масла, много кофе и, когда она все это принесла, спросил, как ему добраться

до Молиньяка. Она оказалась разговорчивой и любознательной. Мартын мельком упомянул о том, что он немец, — приехал сюда по поручению музея собирать насекомых, и при этом горничная задумчиво посмотрела на стену, где виднелись подозрительные рыжие точки. Постепенно выяснилось, что через месяц, может быть даже раньше, между городом и Молиньяком установится автобусное сообщение. «Значит, надо пешком?» — спросил Мартын. «Пятнадцать километров, — с ужасом воскликнула горничная, — что вы! Да еще по такой жаре...»

Купив карту местности в табачной лавке, над вывеской которой торчала трехцветная трубка, Мартын зашагал по солнечной стороне улочки и сразу заметил, что его открытый ворот и отсутствие головного убора возбуждают всеобщее внимание. Городок был яркий, белый, резко разделенный на свет и на тень, с многочисленными кондитерскими. Дома, налезая друг на друга, отошли в сторону, и шоссейная дорога, обсаженная огромными платанами с телесного цвета разводами на зеленых стволах, потекла мимо виноградников. Редкие встречные, каменщики, дети, бабы в черных соломенных шляпах, — съедали глазами. Мартыну внезапно явилась мысль проделать полезный для будущего опыт: он пошел, хоронясь, — перескакивая через канаву и скрываясь за ежевику, если вдали показывалась повозка, запряженная осликом в черных шорах, или пыльный, расхлябанный автомобиль. Версты через две он и вовсе покинул дорогу и стал пробираться параллельно с ней по косогору, где дубки, блестящий мирт и каркасные деревца заслоняли его. Солнце так пекло, так трещали цикады, так пряно и жарко пахло, что он вконец разомлел и сел в тень, вытирая платком холодную, липкую шею. Посмотрев на карту, он убедился в том, что на пятом километре дорога дает петлю, и потому, если пойти на восток через вон тот желтый от дрока холм, можно, вероятно, попасть на ее продолжение. Перевалив на ту сторону, он действительно увидел белую змею дороги и опять пошел вдоль нее, среди благоуханных зарослей, и все радовался своей способности опознавать местность.

Вдруг он услышал прохладный звук воды и подумал, что в мире нет лучше музыки. В туннеле листвы дрожал на плоских камнях ручей. Мартын опустился на колени, утолил жажду, глубоко вздохнул. Затем он закурил: от серной

спички передался в рот сладковатый вкус, и огонек спички был почти незрим в знойном воздухе. И, сидя на камне и слушая журчание воды, Мартын насладился сполна чувством путевой беспечности, — он, потерянный странник, был один в чудном мире, совершенно к нему равнодушном, — играли в воздухе бабочки, юркали ящерицы по камням, и блестели листья, как блестят они и в русском лесу, и в лесу африканском.

Было уже далеко за полдень, когда Мартын вошел в Молиньяк. Вот, значит, где горели огни, звавшие его еще в детстве. Тишина, зной. В бегущей вдоль узкой панели узловатой воде сквозило разноцветное дно — черепки битой посуды. На булыжниках и на теплой панели дремали робкие, белые, страшно худые собаки. Посреди небольшой площади стоял памятник: лицо женского пола, с крыльями, поднявшее знамя.

Мартын прежде всего зашел на почтамт, где было прохладно, темновато, сонно. Там он написал матери открытку под пронзительное зудение мухи, одной лапкой приклеившейся к медово-желтому листу на подоконнике. С этой открытки начался новый пакетик в комоде у Софьи Дмитриевны, — предпоследний.

XL

Хозяйке единственной в Молиньяке гостиницы и затем брату хозяйки, лиловому от вина и полнокровия фермеру, к которому, ввиду полного обнищания, ему пришлось через неделю наняться в батраки, Мартын сказал, что — швейцарец (это подтверждал паспорт), и дал понять, что давно шатается по свету, работая где попало. Третий раз, таким образом, он менял отечество, пытая доверчивость чужих людей и учась жить инкогнито. То, что он родом из далекой северной страны, давно приобрело оттенок обольстительной тайны. Вольным заморским гостем он разгуливал по басурманским базарам, — все было очень занимательно и пестро, но, где бы он ни бывал, ничто не могло в нем ослабить удивительное ощущение избранности. Таких слов, таких понятий и образов, какие создала Россия, не было в других странах, — и часто он доходил до косноязычия, до нервного смеха, пытаясь объяснить ино-

земцу, что такое «оскомина» или «пошлость». Ему льстила влюбленность англичан в Чехова, влюбленность немцев в Достоевского. Как-то в Кембридже он нашел в номере местного журнала шестидесятых годов стихотворение, хладнокровно подписанное «А. Джемсон»: «Я иду по дороге один, мой каменистый путь простирается далеко, тиха ночь и холоден камень, и ведется разговор между звездой и звездой». На него находила поволока странной задумчивости, когда, бывало, доносились из пропасти берлинского двора звуки переимчивой шарманки, не ведающей, что ее песня жалобила томных пьяниц в русских кабаках. Музыка... Мартыну было жаль, что какой-то страж не пускает ему на язык звуков, живущих в слухе. Все же, когда, повисая на ветвях провансальских черешен, горланили молодые итальянцы-рабочие, Мартын — хрипло и бодро, и феноменально фальшиво — затягивал что-нибудь свое, и это был звук той поры, когда на крымских ночных пикниках баритон Зарянского, потопляемый хором, пел о чарочке, о семиструнной подруге, об иностранном-странном-странном офицере.

Глубоко внизу бежала под ветром люцерна, сверху наваливалась жаркая синева, у самой щеки шелестели листья в серебристых прожилках, и клеенчатая корзинка, нацепленная на сук, постепенно тяжелела, наполняясь крупными, глянцевито-черными черешнями, которые Мартын срывал за тугие хвосты. Когда черешни были собраны, поспело другое, абрикосы, пропитанные солнцем, и персики, которые следовало нежно подхватывать ладонью, а то получались на них синяки. Были и еще работы: по пояс голый, с уже терракотовой спиной, Мартын, в угоду молодой кукурузе, разрыхлял, подкучивал землю, выбивал углом цапки луковый, упорный пырей или часами нагибался над ростками яблонь и груш, щелкал секатором, — и как же весело было, когда из дворового бассейна проводилась вода к питомнику, где киркой проложенные борозды соединялись между собой с чашками, расцапанными вокруг деревец; блистая на солнце, растекалась по всему питомнику напущенная вода, пробиралась, как живая, вот остановилась, вот побежала дальше, словно нащупывая путь, и Мартын, изредка морщась от уколов крохотных репейников, чавкал по щиколотки в жирной, лиловой грязи, — тут втыкал с размаху железный щит в виде преграды, там,

напротив, помогал струе пробиться, — и, хлюпая, шел к чашке вокруг деревца: чашка наполнялась пузырчатой, коричневой водой, и он шарил в ней лопатой, сердобольно размягчая почву, и что-то изумительно легчало, вода просачивалась, благодатно омывала корни. Он был счастлив, что умеет утолить жажду растения, счастлив, что случай помог ему найти труд, на котором он может проверить и сметливость свою, и выносливость. Он жил, вместе с другими рабочими, в сарае, выпивал, как они, полтора литра вина в сутки и находил спортивную отраду в том, что от них не отличается ничем, — разве только светлой бородкой, незаметно им отпущенной.

По вечерам, перед тем как завалиться спать, он шел покурить и погрезить к пробковой роще за фермой. Где-то невдалеке прерывисто и сочно свистали соловьи, а с бассейна уже доносился гуттаперчевый, давящийся квох лягушек. Воздух был нежен и тускловат, это были не совсем сумерки, но уже не день, и террасы олив, и мифологические холмы вдалеке, и отдельно стоящая на бугре сосна, — все было немножко плоско и обморочно, а ровное, потухшее небо теснило, дурманило, и хотелось поскорее, чтобы в нем просквозили живительные звезды. Темнело, темнело, на почерневших холмах уже вздрагивали огоньки, зажигались окна в хозяйском доме, еще минута — и окрест был сумрак, и когда, далече-далече, в неведомой темноте, горящими члениками проползал рокочущий поезд и внезапно исчезал, Мартын с удовольствием говорил себе, что оттуда, из этого поезда, видны ферма и Молиньяк как соблазнительная пригоршня огней. Он радовался, что послушался их, раскрыл их прекрасную, тихую сущность, — и однажды, в воскресный вечер, он набрел в Молиньяке на небольшой белый дом, окруженный крутыми виноградниками, и увидел покосившийся столб с надписью: «Продается». В самом деле, — не лучше ли отбросить опасную и озорную затею, не лучше ли отказаться от желания заглянуть в беспощадную зоорландскую ночь, и не поселиться ли с молодой женой вот здесь, на клине тучной земли, ждущей трудолюбивого хозяина? Да, надо было решить: время шло, близилась черная осенняя ночь, им намеченная для перехода, и он уже чувствовал себя отдохнувшим, спокойным, уверенным в своей способности прикидываться чем угодно,

никогда не теряться, всегда и везде уметь жить так, как требуют обстоятельства...

И вот, пытая судьбу, он написал Соне. Ответ пришел скоро, и, прочтя его, Мартын облегченно вздохнул. «Да не мучь ты меня, — писала Соня. — Ради Бога, довольно. Я не буду твоей женой никогда. И я ненавижу виноградники, жару, змей и, главное, чеснок. Поставь на мне крест, удружи, миленький».

В тот же день он на автобусе покатил в город, сбрил светлую бородку, взял в гостинице чемодан и пошел на станцию. Там, у того же столика, положив голову на руку, дремал тот же рабочий. Зажигались фонари, реяли летучие мыши, выцветало зеленоватое небо. «Прощай, прощай», — на какой-то песенный лад подумал Мартын, глядя на растрепанный можжевельник по ту сторону уже дрожавших рельс, на семафор, на черный силуэт человека, подвигавшего черный силуэт тачки.

Влетел ночной экспресс, через минуту тронулся опять, и Мартына пронзило мгновенное желание выскочить, вернуться на благополучную, на сказочную ферму. Но станция уже сгинула. Глядя в окно, он ждал появления молиньякских огней, чтобы проститься с ними. Вот они рассыпались вдалеке, — они были так хороши, даже как-то не верилось... «Скажите, — обратился Мартын к кондуктору, — вон эти огни, это — Молиньяк?» — «Какие огни?» — спросил тот и взглянул в окно, — но тут все заслонил вдруг поднявшийся скат. «Во всяком случае это не Молиньяк, — сказал кондуктор. — Молиньяк не виден отсюда».

XLI

На швейцарской границе Мартын купил «Зарубежное Слово» и едва поверил глазам, заметив внизу крупный заголовок фельетона: «Зоорландия». Подписано было «С. Бубнов». Это оказался короткий, чудесным языком написанный рассказ «с налетом фантастики», как выражаются критики, и в нем Мартын со смущением и ужасом узнал (словно произошла страшная непристойность) многое из того, о чем он говорил с Соней, — но все это было странно освещено чужим, бубновским, воображением. «Какая она все-таки предательница», — подумал Мартын

и в порыве острой и безнадежной ревности вспомнил, как видел однажды Бубнова и Соню, идущих по темной улице под руку, и как уверил себя, что обознался, когда Соня на другой день сказала, что была с Веретенниковой в кинематографе.

Моросило, горы были видны только до половины, когда, в шарабане, среди тюков, корзин и тучных женщин, он приехал в деревню, от которой было десять минут ходьбы до дядиного дома. Софья Дмитриевна знала, что сын скоро должен приехать, — третий день ждала телеграммы, с волнением думая, как поедет его встречать на станцию в автомобиле. Она сидела в гостиной и вышивала, когда услышала из сада басок сына и тот его круглый, глуховатый смех, которым он смеялся, когда возвращался после долгой разлуки. Мартын шел рядом с раскрасневшейся Марией, которая старалась выхватить у него чемодан, а он его на ходу все перемещал из одной руки в другую. Сын был с лица медно-темен, глаза посветлели, от него дивно пахло табачным перегаром, мокрой шерстью пиджака, поездом. «Ты теперь надолго, надолго», — повторяла она счастливым, лающим голосом. «Вообще — да, — солидно ответил Мартын. — Только вот недели через две мне нужно будет съездить по делу в Берлин, — а потом я вернусь». — «Ах, какие там дела, успеется!» — воскликнула она, — и дядя Генрих, который почивал у себя после завтрака, проснулся, прислушался, поспешно обулся и спустился вниз.

«Блудный сын, — сказал он, входя, — я очень рад тебя видеть опять». Мартын щекой коснулся его щеки, и оба одновременно чмокнули пустоту, как было между ними принято. «Надеюсь — на некоторое время?» — спросил дядя, не спуская с него глаз, и ощупью взялся за спинку стула и сел, растопырив ноги. «Вообще — да, — ответил Мартын, пожирая ветчину, — только вот недели через две мне придется съездить в Берлин, — но потом я вернусь». — «Не вернешься, — сказала со смехом Софья Дмитриевна, — знаю тебя. Ну, расскажи, как это все было. Неужели ты правда пахал, и косил, и доил?» — «Доить очень весело», — сказал Мартын и показал двумя расставленными пальцами, как это делается (как раз доить коров ему в Молиньяке не приходилось, — был для этого его тезка, Мартэн Рок, — и неизвестно, почему он сначала рассказал именно об этом, когда было так много другого, подлинного).

Утром, взглянув на горы, Мартын снова, на тот же несколько всхлипывающий мотив, подумал: «Прощай, прощай», — но сразу пожурил себя за недостойное малодушие, и тут вошла Софья Дмитриевна с письмом и, уже с порога — так, чтобы не дать времени сыну напрасно подумать, что это от Сони, — бодро сказала: «От твоего Дарвина. Забыла тебе вчера дать». Мартын с первых же строк начал тихо смеяться. Дарвин писал, что женится на удивительной девушке, англичанке, встреченной в гостинице над Ниагарой, что ему приходится много разъезжать и что он будет через неделю в Берлине. «Да пригласи его сюда, — живо сказала Софья Дмитриевна, — чего же проще?» — «Нет-нет, я тебе говорю, что я должен там быть, выходит вполне удачно...»

«Скажи, Мартын», — начала Софья Дмитриевна и замялась. «В чем дело?» — спросил он со смехом. «Как у тебя там все, — ну, ты знаешь, о чем я спрашиваю... Ты, может быть, уже обручен?» Мартын щурился и смеялся, и ничего не отвечал. «Я буду ее очень любить», — тихо, святым голосом, произнесла Софья Дмитриевна. «Пойдем гулять, чудная погода», — сказал Мартын, делая вид, что меняет разговор. «Ты пойди, — ответила она. — Я, дура, как раз на сегодня пригласила старичков Друэ, и они умрут от разрыва сердца, если им протелефонировать».

В саду дядя Генрих прилаживал лесенку к стволу яблони и потом, с величайшей осторожностью, поднялся на третью ступеньку. У колодца, позабыв о ведре, переполнявшемся блестящей водой, стояла, подбоченясь, Мария и глядела куда-то в сторону. Она очень раздобрела за последние годы, но в эту минуту, с солнечными бликами на голой шее, на платье, на туго скрученных косах, она Мартыну напомнила его мимолетную влюбленность. Мария быстро повернула к нему лицо. Толстое и тупое.

XLII

Упруго идя по тропе в черной еловой чаще, где, там и сям, сияла желтизной тонкая береза, он с восторгом предвкушал вот такую же прохваченную солнцем осеннюю глушь, с паутинами, растянутыми на лучах, с зарослями царского чая в сырых ложбинках, — и вдруг просвет,

и дальше — простор, пустые осенние поля и на пригорке плотную белую церковку, пасущую несколько бревенчатых изб, готовых вот-вот разбрестись, и вокруг пригорка ясную излучину реки с кудрявыми отражениями. Он был почти удивлен, когда, сквозь черноту хвой, глянул альпийский склон.

Это напомнило ему, что до отъезда следовало рассчитаться с совестью. Деловито и неторопливо он поднялся по склону, достиг серых изломанных скал, вскарабкался по каменистой крутизне и оказался на той площадке, откуда вел за угол знакомый карниз. Не задумываясь, исполняя приказ, коего ослушаться было немыслимо, он принялся боком переступать по узкой полке и, когда дошел до конца, посмотрел через плечо и увидел тотчас за каблуками солнечную бездну, и в самой глубине — фарфоровую гостиницу. «На, выкуси», — сказал ей Мартын и, не поддаваясь головокружению, двинулся налево, откуда пришел, — и еще раз остановился, и, проверяя свою выдержку, попробовал извлечь из заднего кармана штанов портсигар и закурить. Было одно мгновение, когда, грудью касаясь скалы, он руками за нее не держался и чувствовал, как пропасть за ним напрягается, тянет его за икры и плечи. Он не закурил только потому, что выронил спичечный коробок, и было очень страшно, что звука падения не последовало, и когда он опять двинулся по карнизу, ему казалось, что коробок все еще летит. Благополучно добравшись до площадки, Мартын крякнул от радости и опять деловито, со строгим сознанием выполненного долга, пошел вниз по склону и, найдя нужную тропинку, спустился к белой гостинице — посмотреть, что она на все это скажет. Там — в саду, около тенниса — он увидел Валентину Львовну, сидевшую на скамейке рядом с господином в белых штанах, и понадеялся, что она не заметит его, — было жаль так скоро растрясти то драгоценное, что принес он с вершины. «Мартын Сергеич, а, Мартын Сергеич», — крикнула она, и Мартын осклабился и подошел. «Это сын доктора Эдельвейса», — сказала Валентина Львовна господину в белых штанах. Тот привстал и, не снимая канотье, отодвинул локоть, нацелился и, резко выехав вперед ладонью, крепко пожал Мартыну руку. «Грузинов», — сказал он вполголоса, как будто сообщая тайну.

«Надолго приехали?» — спросила Валентина Львовна с улыбкой и быстро натянула яркую, с пушком, губу на большие розовые зубы. «Вообще — да, — сказал Мартын. — Только вот съезжу по делам в Берлин, а потом вернусь». — «Мартын... Сергеевич?» — тихо справился Грузинов и, на утвердительный ответ Мартына, прикрыл веки и повторил его имя-отчество еще раз про себя. «А знаете, вы...» — проговорила Валентина Львовна и сделала вазообразный жест своими дивными руками. «Еще бы, — ответил Мартын. — Я батрачил на юге Франции. Там так спокойно живется, что нельзя не поправиться». Грузинов двумя пальцами потрогал себя за углы рта, и при этом его добротное, чистое, моложавое лицо со сливочным оттенком на щеках, из которых, казалось, можно было сделать тянушки, приняло немного бабье выражение. «Да, вспомнил, — сказал он. — Его зовут Круглов, и он женат на турчанке, — (“Ах, садитесь”, — вскользь произнесла Валентина Львовна и двумя толчками отодвинула вбок свое мягкое, очень надушенное тело — чтобы дать Мартыну место на скамейке), — у него как раз заимка на юге Франции, — развил свою мысль Грузинов, — и кажется, он поставляет в город жасмин. Вы в каких же местах были, — тоже в духодельных?» Мартын сказал. «Во-во, — подхватил Грузинов, — где-то там поблизости. А может быть, и не там. Вы что, учитесь в берлинском университете?» — «Нет, я кончил в Кембридже». — «Весьма любопытно, — веско сказал Грузинов. — Там еще сохранились римские водопроводы, — продолжал он, обратившись к жене. — Представь себе, голубка, этих римлян, которые вдалеке от родины устраиваются на чужой земле, — и заметь: хорошо, удобно, по-барски».

Мартын никаких особенных водопроводов в Кембридже не видал, но все же счел нужным закивать. Как всегда в присутствии людей замечательных, с необыкновенным прошлым, он испытывал приятное волнение и уже решал про себя, как лучше всего воспользоваться новым знакомством. Оказалось, однако, что Юрия Тимофеевича Грузинова не так-то легко привести в благое состояние духа, когда человек вылезает из себя, как из норы, и усаживается нагишом на солнце. Юрий Тимофеевич не желал вылезать. Он был в совершенстве добродушен и вместе с тем непроницаем, он охотно говорил на любую тему, обсуждая

явления природы и человеческие дела, но всегда было что-то такое в этих речах, отчего слушатель вдруг спрашивал себя, не измывается ли над ним потихоньку этот сдобный, плотный, опрятный господин с холодными глазами, как бы не участвующими в разговоре. Когда прежде, бывало, рассказывали о нем, о страсти его к опасности, о переходах через границу, о таинственных восстаниях, Мартын представлял себе что-то властное, орлиное. Теперь же, глядя, как Юрий Тимофеевич открывает черный, из двух частей, футляр и нацепляет для чтения очки, — очень почему-то простые очки, в металлической оправе, какие под стать было бы носить пожилому рабочему, мастеру со складным аршином в кармане, — Мартын чувствовал, что Грузинов другим и не мог быть. Его простоватость, даже некоторая рыхлость, старомодная изысканность в платье (фланелевый жилет в полоску), его шутки, его обстоятельность, — все это было прочной оболочкой, коконом, который Мартын никак не мог разорвать. Однако самый факт, что встретился он с ним почти накануне экспедиции, казался Мартыну залогом успеха. Это тем более было удачно, что, вернись Мартын в Швейцарию на месяц позже, он бы Грузинова не застал: Грузинов был бы уже в Бессарабии.

XLIII

Прогулки. До водопада, до Сен-Клера, до пещеры, где некогда жил отшельник. И обратно. Сентябрь был жаркий, погожий. Утром, бывало, моросит, а уже к полудню весь мир нежно вспыхивает на солнце, блестят стволы деревьев, горят синие лужи на дороге, и горы, разогревшись, освобождаются от туманного облачения. Впереди — Софья Дмитриевна и Валентина Львовна, сзади — Грузинов и Мартын. Грузинов шагал с удовольствием, крепко опираясь на самодельную трость, и не любил, когда останавливались, чтобы поглазеть на вид: он говорил, что это портит ритм прогулки. Раз с какой-то фермы метнулась овчарка и стала посреди дороги, урча. Валентина Львовна сказала: «Ой, я боюсь», — зашла за спину мужа, а Мартын взял палку из руки матери, которая, обращаясь к собаке, издавала тот звук, каким у нас подгоняют лошадей. Один Грузинов поступил правильно: он сделал вид, что поднимает с земли камень,

и собака сразу отскочила. Пустяки, конечно, — но Мартын любил такие пустяки. В другой раз, видя, что Мартыну трудно идти без трости по очень крутой тропинке, Грузинов извлек из кармана финский нож, выбрал деревцо и, молча, очень точными ударами ножа, смастерил ему палку, гладкую, белую, еще живую, еще свежую на ощупь. Тоже пустяк, — но эта палка почему-то пахла Россией. Софья Дмитриевна находила Грузинова милейшим и как-то за завтраком сказала мужу, что он непременно должен поближе с ним познакомиться, что о нем уже сложились легенды. «Не спорю, не спорю, — ответил дядя Генрих, поливая салат уксусом, — но ведь это авантюрист, человек не совсем нашего общества, впрочем, если хочешь, зови». Мартын пожалел, что не услышит, как Юрий Тимофеевич разговорится с дядей Генрихом, — о деспотизме машин, о вещественности нашего века. После завтрака Мартын последовал за дядей в кабинет и сказал: «Я во вторник еду в Берлин. Мне нужно с тобой поговорить». — «Куда тебя несет? — недовольно спросил дядя Генрих и добавил, тараща глаза и качая головой: — Твоя мать будет крайне огорчена, — сам знаешь». — «Я обязан поехать, — продолжал Мартын. — У меня есть дело». — «Амурное?» — полюбопытствовал дядя Генрих. Мартын без улыбки покачал головой. «Так что же?» — пробормотал дядя Генрих и поглядел на кончик зубочистки, которой он уже некоторое время производил раскопки. «Это о деньгах, — довольно твердо сказал Мартын, — я хочу попросить тебя дать мне в долг. Ты знаешь, что я летом хорошо зарабатываю. Я тебе летом отдам». — «Сколько?» — спросил дядя Генрих, и лицо его приняло довольное выражение, глаза подернулись влагой, — он чрезвычайно любил показывать Мартыну свою щедрость. «Пятьсот франков». Дядя Генрих поднял брови. «Это, значит, карточный долг, так, что ли?» — «Если ты не хочешь...» — начал Мартын, с ненавистью глядя, как дядя обсасывает зубочистку. Тот сразу испугался. «У меня есть правило, — проговорил он примирительно, — никогда не следует требовать от молодого человека откровенности. Я сам был молод и знаю, как иногда молодой человек бывает опрометчив, это только естественно. Но следует избегать азартных... ах, постой же, постой, куда ты, — я же тебе дам, я дам, — мне не жалко, — а насчет того, чтобы

вернуть...» — «Значит, ровно пятьсот, — сказал Мартын, — и я уезжаю во вторник».

Дверь приоткрылась. «Мне можно? — спросила Софья Дмитриевна тонким голосом. — Какие у вас тут секреты? — немного жеманно продолжала она, беспокойно перебегая глазами с сына на мужа. — Мне разве нельзя знать?» — «Да нет, все о том же — о братьях Пти», — ответил Мартын. «А он, между прочим, во вторник отбывает», — произнес дядя Генрих и сунул зубочистку в жилетный карман. «Как, уже?» — протянула Софья Дмитриевна. «Да, уже, уже, уже, уже», — с несвойственным ему раздражением сказал сын и вышел из комнаты. «Он без дела свихнется», — заметил дядя Генрих, комментируя грохот двери.

XLIV

Когда Мартын вошел в надоевший сад гостиницы, он увидел Юрия Тимофеевича, стоящего у теннисной площадки, на которой шла довольно живая игра между двумя юношами. «Смотрите — козлами скачут, — сказал Грузинов, — а вот у нас был кузнец, вот он действительно здорово жарил в лапту, — за каланчу лупнет или за речку — очень просто. Пустить бы его сюда, как бы он разбил этих молодчиков». — «В теннисе другие правила», — заметил Мартын. «Он бы им без всяких правил наклал», — спокойно возразил Грузинов. Последовало молчание. Хлопали мячи. Мартын прищурился. «У блондина довольно классный драйв». — «Комик», — сказал Грузинов и потрепал его по плечу. Меж тем подошла Валентина Львовна, плавно покачивая бедрами, а потом завидела двух знакомых барышень-англичанок и поплыла к ним, осторожно улыбаясь. «Юрий Тимофеич, — сказал Мартын, — у меня к вам разговор. Это важно и секретно». — «Сделайте одолжение. Я — гроб-могила». Мартын нерешительно огляделся. «Я не знаю...» — начал он. «Дык пойдемте ко мне», — предложил Грузинов.

В номере было тесно, темновато, и сильно пахло духами Валентины Львовны. Грузинов растворил окно, на один миг он был как большая темная птица, раскинутая на золотом фоне, и затем все вспыхнуло, солнце, разбежавшись по полу, остановилось у двери, которую бесшумно затворил за собой Мартын. «Кажется, беспорядок, не взыщите, —

сказал Грузинов, косясь на двуспальную постель, смятую полуденной сиестой. — Садитесь в кресло, голубчик. Очень сладкие яблочки. Угощайтесь». — «Я, собственно говоря, — приступил Мартын, — вот о чем хотел с вами поговорить: у меня есть приятель, этот приятель собирается нелегально перейти из Латвии в Россию...» — «Вот это возьмите, с румянцем», — вставил Грузинов. «Я все думаю, — продолжал Мартын, — удастся ли ему это? Предположим, он отлично знает местность по карте, — но ведь этого недостаточно, — ведь повсюду пограничники, разведка, шпионы. Я хотел попросить вас — ну, что ли, разъяснить». Грузинов, облокотясь на стол, ел яблоко, вертел его, отхватывал то тут, то там хрустящий кусок и опять вертел, выбирая новое место для нападения. «А зачем вашему приятелю туда захаживать?» — осведомился он, бегло взглянув на Мартына. «Не знаю, он это скрывает. Кажется, хочет повидать родных в Острове или в Пскове». — «Какой паспорт?» — спросил Грузинов. «Иностранный, он иностранный подданный, — литовец, что ли». — «Так что же, — визы ему не дают?» — «Этого я не знаю, — он, кажется, не хочет визы, ему нравится сделать это по-своему. А может быть, действительно не дают...» Грузинов доел яблоко и сказал: «Я все ищу антоновского вкуса, — иногда кажется, как будто нашел, — а присмакуюсь, — нет, все-таки не то. А насчет виз вообще — сложно. Я вам никогда не рассказывал историю, как мой шурин перехитрил американскую квоту?» — «Я думал, вы что-нибудь посоветуете», — неловко проговорил Мартын. «Чудак-человек, — сказал Грузинов, — ведь ваш приятель, наверное, лучше знает». — «Но я беспокоюсь за него...» — тихо произнес Мартын и с грустью подумал, что разговор выходит отнюдь не таким, каким он его воображал, и что Юрий Тимофеевич никогда не расскажет, как он сам множество раз переходил границу. «И понятно, что беспокоитесь, — сказал Грузинов. — Особенно если он новичок. Впрочем, проводник там всегда найдется». — «Ах, нет, это опасно, — воскликнул Мартын, — нарвется на предателя». — «Ну конечно, следует быть осторожным», — согласился Грузинов и, потирая ладонью глаза, внимательно, сквозь толстые белые пальцы, посмотрел на Мартына. «И очень важно, конечно, знать местность», — добавил он вяло.

Тогда Мартын проворно вынул небольшую в трубку свернутую карту. Он знал ее наизусть, не раз забавлялся тем, что чертил ее не глядя, — но теперь следовало скрыть свое знание. «Я, видите ли, даже запасся картой, — сказал он непринужденно. — Мне, например, кажется, что Коля перейдет вот здесь, или здесь». — «Ах, его зовут Колей, — сказал Грузинов. — Запомним, запомним. А карта хорошая. Постойте... — (Появился футляр, чмокнув, открылся, блеснули очки...) — Значит, позвольте, — какой масштаб?.. о, прекрасно... — вот — Режица, вот Пыталово, на самой черте. У меня был приятель, тоже, по странному совпадению, Коля, который раз перешел речку бродом и пошел вот так, а в другой раз начал здесь, — и лесом, лесом, — очень густой лес, — Рогожинский, вот, а теперь, если взять на северо-восток...»

Грузинов теперь говорил живо и все ускорял речь, водя острием разогнутой английской булавки по карте, — и в одну минуту наметил полдюжины маршрутов, и все сыпал названиями деревень, призывал к жизни невидимые тропы, — и чем оживленнее он говорил, тем яснее становилось Мартыну, что Грузинов над ним издевается. Вдруг донеслись из сада два женских голоса, странно выкрикивающих фамилию Юрия Тимофеевича. Он высунулся. Барышни-англичанки (барышням вообще он нравился, — разыгрывал перед ними байбака, простака) звали его есть мороженое. «Вот пристаючие, — сказал Грузинов, — я все равно мороженое никогда не ем». Мартыну показалось, что уже где-то, когда-то были сказаны эти слова (как в «Незнакомке» Блока), и что тогда, как и теперь, он чем-то был озадачен, что-то пытался объяснить. «Вот мой совет, — сказал Грузинов, ловко свернув карту и протянув ее Мартыну. — Передайте Коле, чтобы он оставался дома и занимался чем-нибудь дельным. Хороший малый, должно быть, — и было бы жаль, если бы он заплутал». — «Он в этом лучше меня смыслит», — мстительно ответил Мартын.

Спустились в сад. Мартын все время усиленно улыбался и чувствовал ненависть к Грузинову, к его холодным глазам, к сливочно-белому непроницаемому лбу. Но одно было хорошо: вот, разговор произошел, это минуло, — обошелся как с мальчишкой, — чорт с ним, совесть чиста, теперь можно спокойно уложить вещи и уехать.

XLV

В день отъезда он проснулся очень рано, как, бывало, в детстве, в рождественское утро. Мать, по-английскому обычаю, осторожно входила среди ночи и подвешивала к изножью кровати чулок, набитый подарками. Для пущей убедительности она нацепляла ватную бороду и надевала мужнин башлык. Мартын, проснись он ненароком, видел бы воочию святого Николая. И вот, утром, при ярко-желтом блеске лампы и под мрачным взглядом зимнего петербургского рассвета, — с коричневым небом над темным домом напротив, где снег провел карнизы белилами, — Мартын ощупывал длинный материнский чулок, хрустящий, туго набитый почти доверху пакетиками, которые просвечивали через шелк, и, замирая, совал в него руку, начинал вытаскивать и разворачивать зверьков, бонбоньерки, — все предисловие к большому подарку, — к паровозу и вагонам и рельсам (из которых можно составлять огромные восьмерки), ожидавшим его попозже, в гостиной. И нынче тоже Мартына ожидал поезд, этот поезд уходил из Лозанны под вечер и около девяти утра прибывал в Берлин. Софья Дмитриевна, уверенная, что сын едет только затем, чтобы повидаться с маленькой Зилановой, и замечавшая, что нет из Берлина писем, и терзавшаяся мыслью, что маленькая Зиланова недостаточно, быть может, любит его и окажется дурной женой, старалась как можно веселее обставить его отъезд и, под видом нéсколько лихорадочной бодрости, скрывала и тревогу свою, и огорчение, что вот, едва приехав, он уже покидает ее на целый месяц. Дядя Генрих, у которого раздулся флюс, был за обедом угрюм и неразговорчив. Мартын посмотрел на перечницу, к которой дядя потянулся, и ему показалось, что эту перечницу (изображавшую толстого человека с дырочками в серебряной лысине) он видит в последний раз. Он быстро перевел глаза на мать, на ее худые руки в бледных веснушках, на нежный профиль ее и приподнятую бровь, — словно она дивилась жирному рагу на тарелке, — и опять ему показалось, что эти веснушки, и бровь, и рагу он видит в последний раз. Одновременно и вся мебель в комнате, и ненастный пейзаж в окне, и часы с деревянным циферблатом над буфетом, и увеличенные фотографии усатых сюртучных господ в черных рамах, — все как

будто заговорило, требуя к себе внимания ввиду скорой разлуки. «Мне можно тебя проводить до Лозанны? — спросила мать. — Ах, я знаю, что ты не любишь проводов, — поспешила она добавить, заметив, что Мартын наморщил нос, — но я не для того, чтобы провожать тебя, а просто хочется проехаться в автомобиле, и кроме того, мне нужно кое-что купить». Мартын вздохнул. «Ну, не хочешь — не надо, — сказала Софья Дмитриевна с чрезвычайной веселостью. — Если меня не берут, я останусь. Но только ты наденешь теплое пальто, на этом я настаиваю».

Они между собой всегда говорили по-русски, и это постоянно сердило дядю Генриха, знавшего только одно русское слово «ничего», которое почему-то мерещилось ему символом славянского фатализма. Теперь, будучи в скверном настроении и страдая от боли в распухшей десне, он резко отодвинул стул, смахнул салфеткой крошки с живота и, посасывая зуб, ушел в свой кабинет. «Как он стар, — подумал Мартын, глядя на его седой затылок, — или это так свет падает? Такая мрачная погода».

«Ну что ж, тебе скоро нужно собираться, — заметила Софья Дмитриевна, — вероятно, уже автомобиль подан. — Она выглянула в окно. — Да, стоит. Посмотри, как там смешно: ничего в тумане не видно, будто никаких гор нет... Правда?» — «Я, кажется, забыл бритву», — сказал Мартын.

Он поднялся к себе, уложил бритву и ночные туфли, с трудом защелкнул чемодан. Вдруг он вообразил, как будет в Риге или в Режице покупать простые, грубые вещи — картуз, полушубок, сапоги. Быть может, револьвер? «Прощай-прощай», — быстро пропела этажерка, увенчанная черной фигуркой футболиста, которая всегда напоминала Аллу Черносвитову.

Внизу, в просторной прихожей, стояла Софья Дмитриевна, заложив руки в карманы макинтоша, и напевала, как всегда делала, когда нервничала. «Остался бы дома, — сказала она, когда Мартын с ней поравнялся, — ну что тебе ехать...» Из двери направо, над которой была голова серны, вышел дядя Генрих и, глядя на Мартына исподлобья, спросил: «Ты уверен, что взял достаточно денег?» — «Вполне, — ответил Мартын. — Благодарю тебя». — «Прощай, — сказал дядя Генрих. — Я с тобой прощаюсь здесь, оттого что се-

годня избегаю выходить. Если бы у другого так болели зубы, как у меня, он давно был бы в сумасшедшем доме».

«Ну, пойдем, — сказала Софья Дмитриевна, — я боюсь, что ты опоздаешь на поезд».

Дождь, ветер. У Софьи Дмитриевны сразу растрепались волосы, и она все гладила себя по ушам. «Постой, — сказала она, не доходя калитки сада, близ двух еловых стволов, между которыми летом натягивался гамак. — Постой же, я хочу тебя поцеловать». Он опустил чемодан наземь. «Поклонись ей от меня», — шепнула она с многозначительной улыбкой, — и Мартын кивнул («Поскорей бы уехать, это невыносимо...»).

Шофер услужливо открыл калитку. Сыро блестел автомобиль, дождь слегка звенел, ударяясь в него. «И пожалуйста, пиши, хоть раз в неделю», — сказала Софья Дмитриевна. Она отступила и с улыбкой замахала рукой, и, шурша по грязи, черный автомобиль скрылся за еловой просадью.

XLVI

Ночь в вагоне, — в укачливом вагоне темно-дикого цвета, — длилась без конца: мгновениями Мартын проваливался в сон, и, содрогнувшись, просыпался, и опять катился вниз — словно с американских гор, и опять взлетал, и среди глухого стука колес улавливал дыхание пассажира на нижней койке, равномерный храп, как бы участвующий в общем движении поезда.

Задолго до приезда, пока все еще в вагоне спали, Мартын спустился со своей вышки и, захватив с собой губку, мыло, полотенце и складной таб в непромокаемом чехле, прошел в уборную. Там, предварительно распластав на полу листы купленного в Лозанне «Таймса», он выправил валкие края резиновой ванны и, скинув пижаму, облепил мыльной пеной все свое крепкое, темное от загара тело. Было тесновато, сильно качало, чувствовалась какая-то сквозная близость бегущих рельс, была опасность ненароком коснуться стенки; но Мартын не мог обойтись без утренней ванны, видя в этом своего рода героическую оборону: так отбивается упорная атака земли, наступающей едва заметным слоем пыли, точно ей не терпится — до сро-

ку — завладеть человеком. После ванны, как бы дурно он ни спал, Мартын проникался благодатной бодростью. В такие минуты мысль о смерти, о том, что когда-нибудь — и, может быть, — как знать? — скоро, — придется сдаться и проделать то, что проделали биллионы, триллионы людей, эта мысль о неминуемой, общедоступной смерти едва волновала его, и только постепенно к вечеру она входила в силу и к ночи раздувалась иногда до чудовищных размеров. Мартыну казалось, что в обычае казнить на рассвете есть милосердие: дай Бог, чтобы это случилось утром, когда человек владеет собой, — покашливает, улыбается и вот — стал и раскинул руки.

Выйдя на дебаркадер Ангальтского вокзала, он с наслаждением вдохнул дымно-холодный утренний воздух. Вдали, с той стороны, откуда пришел поезд, видно было в пролете железно-стеклянного свода чистое, бледно-голубое небо, блеск рельс, и, по сравнению с этой светлостью, здесь, под сводом, было темновато. Он прошел мимо тусклых вагонов, мимо громадного, шипящего, потного паровоза и, отдав билет в человеческую руку контрольной будки, спустился по ступеням и вышел на улицу. Из привязанности к образам детства он решил избрать исходной точкой своего путешествия вокзал Фридриха, где некогда ловила Норд-Экспресс русская семья, жившая в «Континентале». Чемодан был изрядно тяжел, но Мартын чувствовал такую неусидчивость, такое волнение, что отправился пешком; однако, дойдя до угла Потсдамской улицы, он ощутил сильный голод, прикинул оставшееся расстояние и благоразумно сел в автобус. С самого начала этого необыкновенного дня все его чувства были заострены, — ему казалось, что он запоминает лица всех встречных, воспринимает живее, чем когда-либо, цвета, запахи, звуки, — и автомобильные рожки, которые, бывало, в дождливые ночи терзали слух отвратительным сырым хрюканием, теперь звучали как-то отрешенно, мелодично и жалобно. Сидя в автобусе, он услышал недалеко от себя перелив русской речи. Пожилая чета и двое круглоглазых мальчиков. Старший устроился поближе к окну, младший несколько напирал на брата. «Ресторан», — сказал старший с восторгом. «Мотри, ресторан», — сказал младший, напирая. «Сам вижу», — огрызнулся старший. «Это ресторан», — сказал младший убежденно. «А ты, дурак, заткнись», —

проговорил старший. «Это еще не Линден?» — заволновалась мать. «Это еще Почтамер», — веско сказал отец. «Почтамер уже проехали», — закричали мальчики, и вспыхнул короткий спор. «Арка, во класс!» — восхитился старший, тыча в стекло пальцем. «Не ори так», — заметил отец. «Чего?» — «Говорю, не ори». Тот обиделся: «Я, во-первых, сказал тихо и вовсе не орал». — «Арка», — с почтением произнес младший. Все загляделись на вид Бранденбургских ворот. «Исторические места», — сказал старший мальчик. «Да, старинная арка», — подтвердил отец. «Как же он пролезет, — спросил старший, тревожась за бока автобуса. — Ужина-то какая!» — «Пролез», — прошептал младший с облегчением. «Это Унтер, — всполошилась мать. — Надо вылазить!» — «Унтер длинный-длинный, — сказал старший мальчик. — Я на карте видел». — «Это Президент страсе», — мечтательно проговорил младший. «Заткнись, дурак! Это Унтер». Затем все вместе хором: «Унтер длинный-длинный», и мужское соло: «Век будем ехать...»

Тут Мартын вышел, и, идя по направлению к вокзалу, он со странной печалью вспомнил свое детство, свое детское волнение, — такое же и совсем другое. Но это было только мгновенное сопоставление: оно пропело и замерло.

Сдав чемодан на хранение и взяв билет до Риги на вечерний поезд, он уселся в гулком зале буфета, заказал аргусоподобную глазунью и в последнем номере «Зарубежного Дела», которое читал, пока ел, нашел между прочим ехиднейшую критику на бубновскую «Каравеллу». Насытившись, он закурил и огляделся. За соседним столом сидела барышня, что-то писала и вытирала слезы, — а потом смутными и влажными глазами взглянула на него, прижав к губам карандаш, и, найдя нужное слово, продолжала быстро писать, держа карандаш как дети, почти у самого острия и напряженно скрючив палец. Открытое на груди черное пальто с потрепанной заячьей шкуркой на вороте, янтарные бусы, нежная белизна шеи, платок, зажатый в кулаке... Он расплатился и принялся ждать, когда она встанет, чтобы последовать за ней; но, кончив писать, она облокотилась на стол, глядя вверх и полуоткрыв губы. Так она сидела долго, и где-то за стеклами уходили поезда, и Мартын, которому следовало не опоздать в консульство, решил подождать еще пять минут, не больше. Пять минут прошло. «Я бы условился с ней где-нибудь

кофе выпить, — только это», — умоляюще подумал он и представил себе, как будет ей намекать на далекий путь, на опасность, и как она будет плакать. Прошла еще одна минута. «Хорошо, не надо», — сказал Мартын и, английским манером перебросив через плечо макинтош, направился к выходу.

XLVII

Быстро шелестел открытый таксомотор, пестрел кругом великолепный Тиргартен, и прекрасны были теплые, рыжие оттенки листвы, — «унылая пора, очей очарованье»... Дальше в воду канала гляделись пышные, блеклые каштаны, а проезжая по мосту, Мартын отметил, что у каменного льва Геракла отремонтированная часть хвоста все еще слишком светлая и, вероятно, не скоро примет матерую окраску всей группы: сколько еще лет, — десять, пятнадцать? Почему так трудно вообразить себя сорокалетним человеком?

В Латвийском консульстве, в подвальном этаже, было оживленно и тесно. «Тук-тук», — стучал штемпель. Через несколько минут швейцарец Эдельвейс уже вышел оттуда и неподалеку, в мрачном особняке, получил, по дешевой цене, литовскую проездную визу.

Теперь можно было отправиться к Дарвину. Гостиница находилась против Зоологического сада. «Он уже ушел, — ответил человек в конторе. — Нет, я не знаю, когда он вернется».

«Как досадно, — подумал Мартын, выходя опять на улицу. — Надо было ему указать точную дату, а не просто “на днях”. Промах, промах... Как это досадно». Он посмотрел на часы. Половина двенадцатого. Паспорт был в порядке, билет куплен. День, который намечался столь нагруженным всякими делами, вдруг оказался пустым. Что делать дальше? Пойти в Зоологический сад? Написать матери? Нет, это потом.

И пока он так размышлял, все время в глубине сознания происходила глухая работа. Он противился ей, старался ее не замечать, ибо твердо решил еще во Франции, что больше Соню не увидит никогда. Но берлинский воздух был

Соней насыщен, — вон там, в Зоологическом саду, они вместе глазели на румяно-золотого китайского фазана, на чудесные ноздри гиппопотама, на желтую собаку динго, так высоко прыгавшую. «Она сейчас на службе, — подумал Мартын, — а к Зилановым все-таки нужно зайти...»

Поплыл, разматываясь, Курфюрстендам. Автомобили обгоняли трамвай, трамвай обгонял велосипеды; потом мост, дым поездов далеко внизу, тысяча рельс, загадочно-голубое небо; поворот и осенняя прелесть Груневальда.

И дверь ему открыла именно Соня. Она была в черной вязаной кофточке, слегка растрепанная, тусклые раскосые глаза казались заспанными, на бледных щеках были знакомые ямки. «Кого я вижу?» — протянула она и низко-низко поклонилась, болтая опущенными руками. «Ну, здравствуй, здравствуй», — сказала она, разогнувшись, и одна черная прядь дугой легла по виску. Она отмахнула ее движением указательного пальца. «Пойдем», — сказала она и пошла вперед по коридору, мягко топая ночными туфлями. «Я боялся, что ты на службе», — проговорил Мартын, стараясь не смотреть на ее прелестный затылок. «Голова болит», — сказала она, не оглядываясь, и, тихонько крякнув, подняла на ходу половую тряпку и бросила ее на сундук. Вошли в гостиную. «Присаживайся и все говори», — сказала она, плюхнулась в кресло, тут же привстала, подобрала под себя ногу и уселась опять.

В гостиной все было то же: темный Беклин на стене, потрепанный плюш, какие-то вечные бледнолистые растения в вазе, удручающая люстра в виде плывущей хвостатой женщины, с бюстом и головой баварки и с оленьими рогами, растущими отовсюду.

«Я, собственно говоря, приехал сегодня, — сказал Мартын и стал закуривать. — Я буду здесь работать. То есть, собственно говоря, не здесь, а в окрестностях. Это фабрика, и я, значит, как простой рабочий». — «Да ну, — протянула Соня и добавила, заметив его ищущий взгляд: — Ничего, брось прямо на пол». — «И вот какая забавная вещь, — продолжал Мартын. — Я, видишь ли, собственно, не хочу, чтобы моя мать знала, что я работаю на фабрике. Так что, если она случайно Ольге Павловне напишет, — она, знаешь, иногда любит таким окружным путем узнать, здоров ли я и так далее, — вот, понимаешь, тогда нужно

ответить, что часто у вас бываю. Я, конечно, буду очень, очень редко бывать, некогда будет».

«Ты подурнел, — задумчиво сказала Соня. — Огрубел как-то. Это, может быть, от загара».

«Скитался по всему югу Франции, — сипло проговорил Мартын, ударом пальца стряхивая пепел. — Батрачил на фермах, бродяжничал, а по воскресеньям одевался барином и ездил кутить в Монте-Карло. Очень интересная вещь — рулетка. А ты что поделываешь? Все у вас здоровы?»

«Предки здоровы, — сказала со вздохом Соня, — а вот с Ириной прямо беда. Это крест какой-то... Ну и с деньгами полный мрак. Папа говорит, что нужно переехать в Париж. Ты в Париже тоже был?»

«Да, проездом, — небрежно ответил Мартын (день в Париже много лет тому назад, по пути из Биаррица в Берлин, дети с обручами в Тюильрийском саду, игрушечные парусники на воде бассейна, старик, кормящий воробьев, серебристая сквозная башня, склеп Наполеона, где колонны похожи на витые сюкр д'орж...). — Да, проездом. А знаешь, между прочим, какая новость — Дарвин здесь».

Соня улыбнулась и заморгала. «Ах, приведи его! Приведи его непременно, это безумно интересно».

«Я его еще не видал. Он здесь по делам "Морнинг Ньюса". Его, знаешь, посылали в Америку, настоящим стал журналистом. А главное, — у него есть в Англии невеста, и он весной женится».

«Да ведь это восхитительно, — тихо проговорила Соня. — Все как по писаному. Я так ясно представляю ее, — высокая, глаза как тарелки, а мать, вероятно, очень на нее похожа, только суше и краснее. Бедный Дарвин!»

«Чепуха, — сказал Мартын, — я уверен, что она очень хорошенькая и умная».

«Ну, еще что-нибудь расскажи», — попросила Соня после молчания. Мартын пожал плечами. Как он поступил опрометчиво, пустив в оборот сразу весь свой разговорный запас. Ему казалось дико, что вот, перед ним, в двух шагах от него, сидит Соня, и он не смеет ничего ей сказать важного, не смеет намекнуть на последнее ее письмо, не смеет спросить, выходит ли она за Бубнова замуж, — ничего не смеет. Он попытался вообразить, как будет вот тут, в этой комнате, сидеть после возвращения, как она будет слушать

его, — и неужели он, как сейчас, все выпалит разом, неужели Соня так же, как сейчас, будет сквозь шелк почесывать голень и глядеть мимо него на вещи, ему неизвестные? Он подумал, что, вероятно, пришел некстати, что, быть может, она ждет кого-нибудь и что с ним ей тягостно. Но уйти он не мог, как не мог придумать ничего занимательного, и Соня своим молчанием как бы нарочно старалась довести его до крайности, — вот он совсем потеряется и выболтает все: и про экспедицию, и про любовь, и про все то сокровенное, заповедное, чем связаны были между собой эта экспедиция, и его любовь, и «унылая пора, очей очарованье».

Стукнула дверь в прихожей, раздались шаги, и в гостиную вошел с портфелем под мышкой Зиланов. «А, очень рад, — сказал он. — Как поживает ваша матушка?» Погодя появилась из другой двери Ольга Павловна и задала тот же вопрос. «Откушайте с нами», — сказала она. Перешли в столовую. Ирина, войдя, застыла, и вдруг кинулась к Мартыну и принялась его целовать мокрыми губами. «Ира, Ирочка», — с виноватой улыбкой приговаривала ее мать. На большом блюде были маленькие черные котлетки. Зиланов развернул салфетку и заложил угол за воротник.

За обедом Мартын показал Ирине, как нужно скрестить третий и второй палец, чтобы, касаясь ими хлебного шарика, осязать не один шарик, а два. Она долго не могла приладить руку, но когда наконец, с помощью Мартына, шарик под ее пальцами волшебно раздвоился, Ирина заворковала от восторга. Как обезьянка, которая, видя свое отражение в осколке зеркала, подглядывает снизу, нет ли там другой обезьянки, она все пригибала голову, думая, что и впрямь под пальцами два катыша; когда же Соня после обеда повела Мартына к телефону, находившемуся за углом коридора, возле кухни, Ирина со стоном кинулась за ними, боясь, что Мартын совсем уходит, а убедившись, что это не так, вернулась в столовую и полезла под стол отыскивать закатившийся шарик. «Я хочу, собственно говоря, позвонить Дарвину, — сказал Мартын. — Нужно посмотреть в книжке, как номер гостиницы». У Сони озарилось лицо, она сказала, захлебываясь: «Ах, дай мне, я сама, я с ним поговорю, это будет восхитительно. Я, знаешь, его хорошенько заинтригую». — «Нет, не надо, зачем же», — ответил Мартын. «Ну, тогда я только соединю. Ведь соединить

можно? Как номер?» Она наклонилась над телефонным фолиантом, в который он глядел, и пахнуло теплом от ее головы; на щеке, под самым глазом, была блудная ресничка. Вполголоса скороговоркой повторяя номер, чтобы его не забыть, она села на сундук и сняла трубку. «Только соединить, помни», — строго заметил Мартын. Соня со старательной ясностью сказала номер и принялась ждать, бегая глазами и мягко стуча пятками о стенку сундука. Потом она улыбнулась, прижав еще плотнее трубку к уху, и Мартын протянул руку, но Соня ее оттолкнула плечом и вся сгорбилась, звонко прося Дарвина к телефону. «Дай мне трубку, — сказал Мартын. — Это нечестно». Соня еще больше собралась. «Я разъединю», — сказал Мартын. Она сделала резкое движение, чтобы защитить рычажок, и в это же мгновение настороженно подняла брови. «Нет, спасибо, ничего», — сказала она и повесила трубку. «Дома нет, — обратилась она к Мартыну, глядя на него исподлобья. — Можешь быть спокоен, я больше не позвоню. А ты какой был невежа, такой и остался». — «Соня», — протянул Мартын. Она соскользнула с сундука, надела, шаркая, свалившуюся туфлю и пошла в столовую. Там убирали со стола, Елена Павловна говорила что-то Ирине, которая от нее отворачивалась. «Я вас еще увижу?» — спросил Зиланов. «Да я не знаю, — сказал Мартын. — Мне уже, пожалуй, нужно идти». — «На всякий случай я с вами попрощаюсь», — проговорил Зиланов и ушел работать к себе в спальню...

«Не забывайте нас», — сказали Ольга и Елена Павловны вместе и, улыбнувшись, тронули друг дружку за рукава черных платьев. Мартын поклонился. Ирина приложила руку к груди и вдруг бросилась к нему и вцепилась в отвороты его пиджака. Он смутился, попробовал осторожно разжать ее пальцы; но она держала его крепко, а когда мать взяла ее сзади за плечи, Ирина в голос зарыдала. Мартын невольно поморщился, глядя на ужасное выражение ее лица, на красную сыпь между бровями. Резким, чуть грубым движением он оторвал ее пальцы. Ее увлекли в другую комнату, ее грудной рев удалился, замер. «Вечные истории», — сказала Соня, провожая Мартына в прихожую. Мартын надел макинтош, — макинтош был сложный, и для устройства пояска требовалось некоторое время. «Заходи как-нибудь вечерком», — сказала Соня, глядя на его мани-

пуляции и держа руки в передних карманчиках черной своей кофточки. Мартын хмуро покачал головой. «Собираемся и танцуем», — сказала Соня и, тесно сложив ноги, двинула носками, потом пятками, опять носками, опять пятками, чуть подвигаясь вбок. «Ну, вот, — промолвил Мартын, хлопая себя по карманам. — Пакетов у меня, кажется, не было». — «Помнишь?» — спросила Соня и тихо засвистала мотив лондонского фокстрота. Мартын прочистил горло. «Мне не нравится твоя шляпа, — заметила она. — Теперь так не носят». — «Прощай», — сказал Мартын и очень ловко сгреб Соню, толкнулся губами в ее оскаленные зубы, в щеку, в нежное место за ухом, отпустил ее (при чем она попятилась и чуть не упала) и быстро ушел, невольно хлопнув дверью.

XLVIII

Он заметил, что улыбается, что запыхался, что сильно бьется сердце. «Ну вот, ну вот», — сказал он вполголоса и размашистым шагом пошел по панели, словно куда-то спешил. Спешить же было некуда. Отсутствие Дарвина путало его расчеты; меж тем до отхода поезда оставалось еще несколько часов. Возвратившись пешком по Курфюрстендаму, он со смутной грустью смотрел на знакомые подробности Берлина; вот суровая церковь на перекрестке, такая одинокая среди языческих кинематографов. Вот Тауэнциенская, где пешеходы почему-то избегают проложенного посредине бульвара, предпочитая тесно течь вдоль витрин. Вот слепец, продающий свет, — протягивающий в вечную тьму вечный коробок спичек; лотки с вереском и астрами, лотки с бананами и яблоками; человек в рыжем пальто, стоящий на сиденье старого автомобиля и веером держащий плитки безымянного шоколада, о волшебном качестве которого он речисто рассказывает кучке зевак. Мартын завернул за угол, зашел в русский магазин купить книжку. Учтивый полный господин, несколько похожий на черепаху, выложил на прилавок то, что зовется «новинки». Ничего не найдя, Мартын купил «Панч» и опять оказался на улице. Тут он с чувством неудовлетворенности вдруг вспомнил скудный зилановский обед. Рассчитав, что из ресторана уместно будет еще раз позвонить

Дарвину, он направился в «Пир Горой», где в прошлом году столовался. Из гостиницы ему ответили, что Дарвин еще не вернулся. «Двадцать пфеннигов с вас, — сказала напудренная дама за прилавком. — Мерси».

Хозяином ресторана являлся тот самый художник Данилевский, который бывал в Адреизе, — небольшого роста, пожилой уже человек, в стоячем воротнике, с румяным детским лицом и русой бородавкой под глазом. Он подошел к столику Мартына и застенчиво спросил: «Бабарщок вкусный?» — (он испытывал странное тяготение как раз к тем звукам, которые ему трудно давались). «Очень», — ответил Мартын и, — как всегда, с чувством щемящей нежности, — увидел Данилевского на фоне крымской ночи.

Тот сел боком к столу, поощрительно глядя, как Мартын хлебает суп. «Я вам говорил, что, по некоторым сведениям, они-бы, они-бы, они безвыездно живут в усадьбе, — удивительно...»

(«Неужели их не трогают? — подумал Мартын. — Неужели все осталось по-прежнему, — эти, например, сушеные маленькие груши на крыше веранды?»)

«Могикане», — задумчиво сказал Данилевский.

В зальце было пустовато. Плюшевые диванчики, печки с коленчатой трубой, газеты на древках.

«Все это изменится к лучшему. Знаете, я бы бабами, большими бабами, хотел расписать стены, если бы это не было так грустно. Одежды — прямо пожары, но бледные лица с глазами лошадей. Так у меня выходит, по крайней мере. Яп, яп, пробовал. Или можно тучи, а внизу, а внизу — опушку. Помещение мы расширим, тут, тут и там все снимем, я вчера вызвал мастера, но он почему-то не пришел».

«Много бывает народу?» — спросил Мартын.

«Обыкновенно — да. Сейчас не обеденный час, не судите. Но вообще... И хорошо представлена литературная быратья. Ракитин, например, ну, знаете, журналист, всегда в гетрах, большой проникёр... А на днях, бу, а на днях, бу, Сережа Бубнов, буй, буй, — неистовствовал, бил посуду, у него запой, любовное несчастье, нехорошо, — а ведь это же жениховством папахло».

Данилевский вздохнул, постукал пальцами по столу и, медленно встав, ушел на кухню. Он опять появился, когда Мартын снимал свою шляпу с вешалки. «Завтра

шашлык, — сказал Данилевский. — ждем вас», — и у Мартына мелькнуло желание сказать что-нибудь очень хорошее этому милому, грустному, так мелодично заикающемуся человеку; но что, собственно, можно было сказать?

XLIX

Пройдя через мощеный двор, где посредине, на газоне, стояла безносая статуя и росло несколько туй, он толкнул знакомую дверь, поднялся по лестнице, отзывавшей капустой и кошками, и позвонил. Ему открыл молодой немец, один из жильцов, и, предупредив, что Бубнов болен, постучал на ходу к нему в дверь. Голос Бубнова хрипло и уныло завопил: «Херайн».

Бубнов сидел на постели, в черных штанах, в открытой сорочке, лицо у него было опухшее и небритое, с багровыми веками. На постели, на полу, на столе, где мутной желтизной сквозил стакан чаю, валялись листы бумаги. Оказалось, что Бубнов одновременно заканчивает новеллу и пытается составить по-немецки внушительное письмо Финансовому Ведомству, требующему от него уплаты налога. Он не был пьян, однако и трезвым его тоже нельзя было назвать. Жажда, по-видимому, у него прошла, но все в нем было искривлено, расшатано ураганом, мысли блуждали, отыскивали свои жилища, и находили развалины. Не удивившись вовсе появлению Мартына, которого он не видел с весны, Бубнов принялся разносить какого-то критика, — словно Мартын был ответственен за статью этого критика. «Травят меня», — злобно говорил Бубнов, и лицо его с глубокими глазными впадинами было при этом довольно жутко. Он был склонен считать, что всякая бранная рецензия на его книги подсказана побочными причинами — завистью, личной неприязнью или желанием отомстить за обиду. И теперь, слушая его довольно бессвязную речь о литературных интригах, Мартын дивился, что человек может так болеть чужим мнением, и его подмывало сказать Бубнову, что его рассказ о Зоорландии — неудачный, фальшивый, никуда не годный рассказ. Когда же Бубнов, без всякой связи с предыдущим, вдруг заговорил о сердечной своей беде, Мартын проклял дурное любопыт-

ство, заставившее его сюда прийти. «Имени ее не назову, не спрашивай, — говорил Бубнов, переходивший на "ты" с актерской легкостью, — но помни, из-за нее еще не один погибнет. А как я любил ее... Как я был счастлив. Огромное чувство, когда, знаешь, гремят ангелы. Но она испугалась моих горних высот...»

Мартын посидел еще немного, почувствовал наплыв невозможной тоски и молча поднялся. Бубнов, всхлипывая, проводил его до двери. Через несколько дней (уже в Латвии) Мартын нашел в русской газете новую бубновскую «новеллу», на сей раз превосходную, и там у героя-немца был Мартынов галстук, бледно-серый в розовую полоску, который Бубнов, казавшийся столь поглощенным горем, украл, как очень ловкий вор, одной рукой вынимающий у человека часы, пока другой вытирает слезы.

Зайдя в писчебумажную лавку, Мартын купил полдюжины открыток и наполнил свое обмелевшее автоматическое перо, после чего направился в гостиницу Дарвина, решив там прождать до последнего возможного срока и уже прямо оттуда ехать на вокзал. Было около пяти, небо затуманилось — белесое, невеселое. Глуше, чем утром, звучали автомобильные рожки. Проехал открытый фургон, запряженный парой тощих лошадей, и там громоздилась целая обстановка — кушетка, комод, море в золоченой раме и еще много всякой другой грустной рухляди. Через пятнистый от сырости асфальт прошла женщина в трауре, катя колясочку, в которой сидел синеглазый внимательный младенец, и, докатив колясочку до панели, она нажала и вздыбила ее. Пробежал пудель, догоняя черную левретку; та боязливо оглянулась, дрожа и подняв согнутую переднюю лапу. «Что это, в самом деле, — подумал Мартын. — Что мне до всего этого? Ведь я же вернусь. Я должен вернуться». Он вошел в холл гостиницы. Оказалось, что Дарвина еще нет.

Тогда он выбрал в холле удобное кожаное кресло и, отвинтив колпачок с пера, принялся писать матери. Пространство на открытке было ограниченное, почерк у него был крупный, так что вместилось немного. «Все благополучно, — писал он, сильно нажимая на перо. — Остановился на старом месте, адресуй туда же. Надеюсь, дядин флюс лучше. Дарвина я еще не видал. Зилановы передают привет. Напишу опять не раньше недели, так как ровно не

о чем. Many kisses»[1]. Все это он перечел дважды, и почему-то сжалось сердце, и прошел по спине холод. «Ну, пожалуйста, без глупостей», — сказал себе Мартын и, опять сильно нажимая, написал майорше с просьбой сохранять для него письма. Опустив открытки, он вернулся, откинулся в кресле и стал ждать, поглядывая на стенные часы. Прошло четверть часа, двадцать минут, двадцать пять. По лестнице поднялись две мулатки с необыкновенно худыми ногами. Вдруг он услышал за спиной мощное дыхание, которое тотчас узнал. Он вскочил, и Дарвин огрел его по плечу, издавая гортанные восклицания. «Негодяй, негодяй, — радостно забормотал Мартын, — я тебя ищу с утра».

L

Дарвин как будто слегка пополнел, волосы поредели, он отпустил усы — светлые, подстриженные, вроде новой зубной щетки. И он и Мартын были почему-то смущены, и не знали, о чем говорить, и все трепали друг друга, посмеиваясь и урча. «Что же ты будешь пить, — спросил Дарвин, когда они вошли в тесный, но нарядный номер, — виски и соду? коктэйль? или простой чай?» — «Все равно, все равно, что хочешь», — ответил Мартын и взял со столика большой снимок в дорогой раме. «Она», — лаконично заметил Дарвин. Это был портрет молодой женщины с диадемой на лбу. Сросшиеся на переносице брови, светлые глаза и лебединая шея, — все было очень отчетливо и властно. «Ее зовут Ивлин, она, знаешь, недурно поет, я уверен, что ты бы очень с ней подружился», — и, отобрав портрет, Дарвин еще раз мечтательно на него посмотрел, прежде чем поставить на место. «Ну-с, — сказал он, повалившись на диван и сразу вытянув ноги, — какие новости?»

Вошел слуга с коктэйлями. Мартын без удовольствия глотнул пряную жидкость и вкратце рассказал, как он прожил эти два года. Его удивило, что, как только он замолк, Дарвин заговорил о себе, подробно и самодовольно, чего прежде никогда не случалось. Как странно было слышать из его ленивых целомудренных уст речь об успехах, о заработках, о прекрасных надеждах на будущее, — и оказыва-

---

[1] Множество поцелуев *(англ.)*.

ется, писал он теперь не прежние очаровательные вещи о пиявках и закатах, а статьи по экономическим и государственным вопросам, и особенно его интересовал какой-то мораториум. Когда же Мартын, во время неожиданной паузы, напомнил ему о давнем, смешном, кембриджском, — о горящей колеснице, о Розе, о драке, — Дарвин равнодушно проговорил: «Да, хорошие были времена», — и Мартын с ужасом отметил, что воспоминание у Дарвина умерло или отсутствует, и осталась одна выцветшая вывеска.

«А что поделывает Вадим?» — сонно спросил Дарвин.

«Вадим в Брюсселе, — ответил Мартын, — кажется, служит. А вот Зилановы тут, я часто видаюсь с Соней. Она все еще не вышла замуж».

Дарвин выпустил огромный клуб дыма. «Привет ей, привет, — сказал он. — А вот ты... Да, жалко, что ты все как-то треплешься. Вот я тебя завтра кое с кем познакомлю, я уверен, что тебе понравится газетное дело».

Мартын кашлянул. Настало время заговорить о самом важном, — о чем он еще недавно так мечтал с Дарвином поговорить.

«Спасибо, — сказал он, — но это невозможно, — я через час уезжаю из Берлина».

Дарвин слегка привстал: «Вот-те на. Куда же?»

«Сейчас узнаешь. Сейчас я тебе расскажу вещи, которых не знает никто. Вот уже несколько лет, — да, — несколько лет, — но это неважно...»

Он запнулся. Дарвин вздохнул и сказал: «Я уже понял. Буду шафером».

«Не надо, прошу тебя. Ведь я же серьезно. Я, знаешь ли, специально сегодня добивался тебя, чтобы поговорить. Дело в том, что я собираюсь нелегально перейти из Латвии в Россию, — да, на двадцать четыре часа, — и затем обратно. А ты мне нужен вот почему, — я дам тебе четыре открытки, будешь посылать их моей матери по одной в неделю, — скажем, каждый четверг. Вероятно, я вернусь раньше, — я не могу сказать наперед, сколько мне потребуется времени, чтобы сначала обследовать местность, выбрать маршрут и так далее... Правда, я уже получил очень важные сведения от одного человека. Но кроме всего, может случиться, что я застряну, не сразу выберусь. Она, конечно,

ничего не должна знать, должна аккуратно получать письма. Я дал ей мой старый адрес, — это очень просто».

Молчание.

«Да, конечно, это очень просто», — проговорил Дарвин.

Опять молчание.

«Я только не совсем понимаю, зачем это все».

«Подумай и поймешь», — сказал Мартын.

«Заговор против добрых старых Советов? Хочешь когонибудь повидать? Что-нибудь передать, устроить? Признаюсь, я в детстве любил этих мрачных бородачей, бросающих бомбы в тройку жестокого наместника».

Мартын хмуро покачал головой.

«А если ты просто хочешь посетить страну твоих отцов — хотя твой отец был швейцарец, не правда ли? — но если ты так хочешь ее посетить, не проще ли взять визу и переехать границу в поезде? Не хочешь? Ты полагаешь, может быть, что швейцарцу после того убийства в женевском кафе не дадут визы? Изволь, — я достану тебе британский паспорт».

«Ты все не то говоришь, — сказал Мартын. — Я думал, ты все сразу поймешь».

Дарвин закинул руки за голову. Он все не мог решить, морочит ли его Мартын или нет, — и если не морочит, то какие именно соображения толкают его на это вздорное предприятие. Он попыхтел трубкой и сказал:

«Если, наконец, тебе нравится один только голый риск, то незачем ездить так далеко. Давай сейчас придумаем чтонибудь необыкновенное, что можно сейчас же исполнить, не выходя из комнаты. А потом поужинаем и поедем в мюзик-холл».

Мартын молчал, и лицо его было грустно. «Что за ерунда, — подумал Дарвин. — Тут есть что-то странное. Спокойно сидел в Кембридже, пока была у них гражданская война, а теперь хочет получить пулю в лоб за шпионаж. Морочит ли он меня или нет? Какие дурацкие разговоры...»

Мартын вдруг вздрогнул, взглянул на часы и встал.

«Послушай, будет тебе валять дурака, — сказал Дарвин, сильно дымя трубкой. — Это, наконец, просто невежливо с твоей стороны. Я тебя не видел два года. Или расскажи мне все толком, или же признайся, что шутил, — и будем говорить о другом».

«Я тебе все сказал, — ответил Мартын. — Все. И мне теперь пора».

Он не спеша надел макинтош, поднял шляпу, упавшую на пол. Дарвин, спокойно лежавший на диване, зевнул и отвернулся к стене. «Прощай», — сказал Мартын, но Дарвин промолчал. «Прощай», — повторил Мартын. «Глупости, он не уйдет», — подумал Дарвин и зевнул опять, плотно прикрыв глаза. «Не уйдет», — снова подумал он и сонно подобрал одну ногу. Некоторое время длилось забавное молчание. Погодя, Дарвин тихо засмеялся и повернул голову. Но в комнате никого не было. Казалось даже непонятным, как это Мартыну удалось так тихо выйти. У Дарвина мелькнула мысль, не спрятался ли Мартын. Он полежал еще несколько минут, потом, осторожно оглядывая уже полутемную комнату, спустил ноги и выпрямился. «Ну довольно, выходи», — сказал он, услышав легкий шорох между шкафом и дверью, где была ниша для чемоданов. Никто не вышел. Дарвин подошел и глянул в угол. Никого. Только большой кусок оберточной бумаги, оставшийся от вчерашней покупки. Он включил свет, задумался, потом открыл дверь в коридор. В коридоре было тихо, светло и пусто. «Ну его к чорту», — сказал он и опять задумался, но вдруг встряхнулся и деловито начал переодеваться к ужину.

На душе у него было беспокойно, а это с ним бывало последнее время не часто. Появление Мартына не только взволновало его, как нежный отголосок университетских дней, — оно еще было необычайно само по себе, — все в Мартыне было необычайно: этот грубоватый загар, и словно запыхавшийся голос, и какое-то новое, надменное выражение глаз, и странные темные речи. Но Дарвину, последнее время жившему такой твердой, основательной жизнью, так мало волновавшемуся (даже тогда, когда объяснялся в любви), так освоившемуся с мыслью, что, после тревог и забав молодости, он вышел на гладко мощенную дорогу, — удалось справиться с необычайным впечатлением, оставленным Мартыном, уверить себя, что все это была не очень умная шутка и что, пожалуй, еще нынче Мартын появится опять. Он уже был в смокинге и разглядывал в зеркале свою мощную фигуру и большое носатое лицо, как вдруг позвонил телефон на ночном столике. Он не сразу узнал далекий, уменьшенный расстоянием голос, за-

звучавший в трубке, ибо как-то так случилось, что он никогда не говорил с Мартыном по телефону. «Напоминаю тебе мою просьбу, — мутно сказал голос. — Я пришлю тебе письма на днях, пересылай их по одному. Сейчас уходит мой поезд. Я говорю: поезд. Да-да, — мой поезд...»

Голос пропал. Дарвин со звоном повесил трубку и некоторое время почесывал щеку. Потом он быстро вышел и спустился вниз. Там он потребовал расписание поездов. Да, — совершенно правильно. Что за чертовщина...

В этот вечер он никуда не пошел, все ждал чего-то, сел писать невесте, и не о чем было писать. Прошло несколько дней. В среду он получил толстый конверт из Риги и в нем нашел четыре берлинских открытки, адресованных госпоже Эдельвейс. На одной из них он высмотрел вкрапленную в русский текст фразу по-английски: «Я часто хожу с Дарвином в мюзик-холлы». Дарвину сделалось не по себе. В четверг утром, с неприятным чувством, что участвует в дурном деле, он опустил первую по дате открытку в синий почтовый ящик на углу. Прошла неделя; он опустил и вторую. Затем он не выдержал и поехал в Ригу, где посетил своего консула, адресный стол, полицию, но не узнал ничего. Мартын словно растворился в воздухе. Дарвин вернулся в Берлин и нехотя опустил третью открытку. В пятницу в издательство Зиланова зашел огромный человек иностранного вида, и Михаил Платонович, всмотревшись, узнал в нем молодого англичанина, ухаживавшего в Лондоне за его дочерью. Ровным голосом, по-немецки, Дарвин изложил свой последний разговор с Мартыном и историю с пересылкой писем. «Да позвольте, — сказал Зиланов, — позвольте, тут что-то не то, — он говорил моей дочери, что будет работать на фабрике под Берлином. Вы уверены, что он уехал? Что за странная история...» — «Я сперва думал, что он шутит, — сказал Дарвин. — Но теперь я не знаю, что думать... Если он действительно...» — «Какой, однако, сумасброд, — сказал Зиланов. — Кто бы мог предположить. Юноша уравновешенный, солидный... Просто, вы знаете, не верится, тут какой-то подвох... Вот что: прежде всего следует выяснить, не знает ли чего-нибудь моя дочь. Поедемте ко мне».

Соня, увидев отца и Дарвина и заметив что-то необычное в их лицах, подумала на сотую долю мгновения (бывают такие мгновенные кошмары), что Дарвин приехал

делать предложение. «Алло, алло, Соня», — воскликнул Дарвин с очень деланной развязностью; Зиланов же, тусклыми глазами глядя на дочь, попросил ее не пугаться и тут же, чуть ли не в дверях, все ей рассказал. Соня сделалась белой как полотно и опустилась на стул в прихожей. «Но ведь это ужасно», — сказала она тихо. Она помолчала и затем легонько хлопнула себя по коленям. «Это ужасно», — повторила она еще тише. «Он тебе что-нибудь говорил? Ты в курсе дела?» — спрашивал Зиланов. Дарвин потирал щеку и старался не смотреть на Соню, и чувствовал самое страшное, что может чувствовать англичанин: желание зареветь. «Конечно, я все знаю», — тонким голосом крещендо сказала Соня. В глубине показалась Ольга Павловна, и муж сделал ей знак рукой, чтобы она не мешала. «Что ты знаешь? Отвечай же толком», — проговорил он и тронул Соню за плечо. Она вдруг согнулась вдвое и зарыдала, упершись локтями в колени и опустив на ладони лицо. Потом — разогнулась, громко всхлипнула, словно задохнувшись, переглотнула и вперемежку с рыданиями закричала: «Его убьют, Боже мой, ведь его убьют...» — «Возьми себя в руки, — сказал Зиланов. — Не кричи. Я требую, чтобы ты спокойно, толково объяснила, о чем он тебе говорил. Оля, проведи этого господина куда-нибудь, — да в гостиную же, — ах, пустяки, что монтеры... Соня, перестань кричать! Испугаешь Ирину, перестань, я требую...»

Он долго ее успокаивал, долго ее допрашивал. Дарвин сидел один в гостиной. Там же монтер возился со штепселем, и электричество то гасло, то зажигалось опять.

«Девочка, конечно, права, что требует немедленных мер, — сказал Зиланов, когда он вместе с Дарвином опять вышел на улицу. — Но что можно сделать? И я не знаю, все ли это так романтически авантюрно, как ей кажется. Она сама всегда так настроена. Очень нервная натура. Я никак не могу понять, как молодой человек, довольно далекий от русских вопросов, скорее, знаете, иностранной складки, мог оказаться способен на... на подвиг, если хотите. Я, разумеется, кое с кем снесусь, придется, возможно, съездить в Латвию, но дело довольно безнадежное, если он действительно пытался перейти... вы знаете, так странно, ведь я же, — да, я, — когда-то сообщал фрау Эдельвейс о смерти ее первого мужа».

Прошло еще несколько дней. Выяснилось только одно: нужно терпение, нужно ждать. Дарвин отправился в Швейцарию — предупредить Софью Дмитриевну. Все было серо, шел мелкий дождь, когда он прибыл в Лозанну. Повыше в горах пахло мокрым снегом, капало с деревьев: ноябрь вдруг отсырел после первых морозов. Наемный автомобиль быстро довез его до деревни, скользнул шинами на повороте и опрокинулся в канаву. Шофер только расшиб себе руку; Дарвин встал, нашел шляпу, стряхнул с пальто мокрый снег и спросил у зевак, далеко ли до усадьбы Генриха Эдельвейса. Ему указали кратчайший путь — тропинкой через еловый лес. Выйдя из лесу, он пересек проезжую дорогу и, пройдя по аллее, увидел зелено-коричневый дом. Перед калиткой, на темной земле, остался после его прохождения глубокий след от резиновых узоров его подошв; этот след медленно наполнился мутной водой, а калитка, которую Дарвин неплотно прикрыл, через некоторое время скрипнула от порыва влажного ветра и открылась, сильно качнувшись. Погодя на нее села синица, поговорила, поговорила, а потом перелетела на еловую ветку. Все было очень мокро и тускло. Через час стало еще тусклее. Из глубины печального, бурого сада вышел Дарвин, прикрыл за собой калитку (она тотчас открылась опять) и пошел обратно — тропинкой через лес. В лесу он остановился и закурил трубку. Его широкое коричневое пальто было расстегнуто, на груди висели концы разноцветного кашнэ. В лесу было тихо, только слышалось легкое чмокание: где-то, под мокрым серым снегом, бежала вода. Дарвин прислушался и почему-то покачал головой. Табак, едва разгоревшись, потух, трубка издала беспомощный сосущий звук. Он что-то тихо сказал, задумчиво потер щеку и двинулся дальше. Воздух был тусклый, через тропу местами пролегали корни, черная хвоя иногда задевала за плечо, темная тропа вилась между стволов, живописно и таинственно.

В. СИРИНЪ

КАМЕРА
ОБСКУРА

РОМАНЪ

ИЗДАТЕЛЬСТВА
«...ЕННЫЯ ЗАПИСКИ»
и
«...АРАБОЛА»

КАМЕРА
ОБСКУРА
В. СИРИНЪ
КАМЕРА
ОБСКУРА
В. СИРИНЪ
КАМЕРА
ОБСКУРА
В. СИРИНЪ
КАМЕРА
ОБСКУРА
В. СИРИНЪ
КАМЕРА
ОБСКУРА
В. СИРИНЪ
КАМЕРА


Камера обскура
РОМАН
1932—1933

I

Приблизительно в 1925 году размножилось по всему свету милое, забавное существо, — существо теперь уже почти забытое, но в свое время, т. е. в течение трех-четырех лет, бывшее вездесущим, — от Аляски до Патагонии, от Маньчжурии до Новой Зеландии, от Лапландии до мыса Доброй Надежды, словом всюду, куда проникают цветные открытки, — существо, носившее симпатичное имя: Cheery.

Рассказывают, что его (или вернее: ее) происхождение связано с вопросом о вивисекции. Художник Роберт Горн, проживавший в Нью-Йорке, однажды завтракал со случайным знакомым — молодым физиологом. Разговор коснулся опытов над живыми зверьми. Физиолог, человек впечатлительный, еще не привыкший к лабораторным кошмарам, выразил мысль, что наука не только допускает изощренную жестокость к тем самым животным, которые в иное время возбуждают в человеке умиление своей пухлостью, теплотой, ужимками, — но еще входит как бы в азарт — распинает живьем и кромсает куда больше особей, чем в действительности ей необходимо. «Знаете что, — сказал он Горну, — вот вы так славно рисуете всякие занятные штучки для журналов; возьмите-ка и пустите, так сказать, на волны моды какого-нибудь многострадального маленького зверя, например морскую свинку. Придумайте к этим картинкам шуточные надписи, где бы этак вскользь, легко упоминалось о трагической связи между свинкой и лабораторией. Удалось бы, я думаю, не только создать очень своеобразный и забавный тип, но и окружить свинку некоторым ореолом модной ласки, что и обратило бы общее внимание на несчастную долю этой, в сущности, милейшей твари». — «Не знаю, — ответил Горн, — они мне напоминают крыс. Бог с ними. Пускай пищат под скальпелем». Но как-то раз, спустя месяц после этой беседы, Горн,

в поисках темы для серии картинок, которую просило у него издательство иллюстрированного журнала, вспомнил совет чувствительного физиолога, — и в тот же вечер легко и быстро родилась первая морская свинка Чипи. Публику сразу привлекло, мало что привлекло — очаровало, хитренькое выражение этих блестящих бисерных глаз, круглота форм, толстый задок и гладкое темя, манера сусликом стоять на задних лапках, прекрасный крап, черный, кофейный и золотой, а главное — неуловимое, прелестно-смешное нечто, фантастическая, но весьма определенная жизненность, — ибо Горну посчастливилось найти ту карикатурную линию в облике данного животного, которая, являя и подчеркивая все самое забавное в нем, вместе с тем как-то приближает его к образу человеческому. Вот и началось: Чипи, держащая в лапках череп грызуна (с этикеткой: Cavia cobaja[1]) и восклицающая «Бедный Йорик!»; Чипи на лабораторном столе, лежащая брюшком вверх и пытающаяся делать модную гимнастику — ноги за голову (можно себе представить, сколь многого достигали ее короткие задние лапки); Чипи стоймя, беспечно обстригающая себе коготки подозрительно тонкими ножницами, — при чем вокруг валяются: ланцет, вата, иголки, какая-то тесьма... Очень скоро, однако, нарочитые операционные намеки совершенно отпали, и Чипи начала появляться в другой обстановке и в самых неожиданных положениях, — откалывала чарльстон, загорала до полного меланизма на солнце и т. д. Горн живо стал богатеть, зарабатывая на репродукциях, на цветных открытках, на фильмовых рисунках, а также на изображениях Чипи в трех измерениях, ибо немедленно появился спрос на плюшевые, тряпичные, деревянные, глиняные подобия Чипи. Через год весь мир был в нее влюблен. Физиолог не раз в обществе рассказывал, что это он дал Горну идею морской свинки, но ему никто не верил, и он перестал об этом говорить.

В начале 1928 года в Берлине знатоку живописи Бруно Кречмару, человеку очень, кажется, сведущему, но отнюдь не блестящему, пришлось быть экспертом в пустячном, прямо даже глупом деле. Модный художник Кок написал портрет фильмовой артистки Дорианны Карениной. Фирма личных кремов приобрела у нее право помещать на плака-

---

[1] Морская свинка *(лат.)*.

тах репродукцию с портрета в виде рекламы своей губной помады. На портрете Дорианна держала прижатой к голому своему плечу большущую плюшевую Чипи. Горн из Нью-Йорка тотчас предъявил фирме иск.

Всем прикосновенным к этому делу было в конце концов важно только одно — побольше пошуметь: о картине и об актрисе писали, помады покупали, а Чипи, уже теперь тоже — увы! — нуждавшаяся в рекламе, дабы оживить хладевшую любовь, — появилась на новом рисунке Горна со скромно опущенными глазами, с цветком в лапке и с лаконической надписью «Noli me tangere»[1]. «Он, видимо, любит своего зверя, — этот Горн», — заметил однажды Кречмар, обращаясь к своему шурину Максу, добрейшему, тучному человеку, с угреватыми складками кожи сзади над воротником. «Ты что, его лично знаешь?» — спросил Макс. «Нет, конечно нет, откуда же мне его знать? Он живет постоянно в Америке. А дело он выиграет, если доказать, что взоры глядящих на рекламу привлекаются больше зверьком, чем дамой». — «Какое дело?» — спросила Аннелиза, жена Кречмара.

Эта ее привычка задавать зря вопросы о предметах, не раз в ее присутствии обсуждавшихся, была следствием скорее нервности мысли, чем невнимания. Часто, задав рассеянный вопрос, Аннелиза, еще говоря, еще на разгоне слова, понимала уже, что давно сама знает ответ. Муж хорошо изучил эту привычку, и нисколько прежде она не сердила его, а лишь умиляла и смешила, и он, не отвечая, продолжал разговор с выжидательной улыбкой на губах, и ожидание обыкновенно оправдывалось, — жена почти сразу отвечала сама на свой вопрос. Но теперь, в этот именно день, в этот мартовский день, Кречмар, трепещущий от странных, тайных переживаний, вот уже неделю мучивших его, проникся вдруг необычайным раздражением. «Что ты, с луны, что ли, свалилась?» — воскликнул он, а жена махнула рукой и сказала: «Ах да, я уже вспомнила». — «Не так быстро, мое дитя, не так быстро», — тут же обратилась она к дочке, восьмилетней Ирме, которая пожирала свою порцию шоколадного крема. «С точки зрения юридической...» — начал Макс, пыхтя сигарой. Кречмар подумал: «Какое мне дело до этого Горна, до рассуждений

---

[1] «Не тронь меня» *(лат.)*.

Макса, до шоколадного крема... Со мной происходит нечто невероятное. Надо затормозить, надо взять себя в руки...»

Было это и впрямь невероятно, — особенно невероятно потому, что Кречмар в течение девяти лет брачной жизни не изменил жене ни разу, — по крайней мере действенно ни разу не изменил. «Собственно говоря, — подумал он, — следовало бы Аннелизе все сказать, или ничего не сказать, но уехать с ней на время из Берлина, или пойти к гипнотизеру, или, наконец, как-нибудь истребить, изничтожить...» Это была глупая мысль. Нельзя же в самом деле взять браунинг и застрелить незнакомку только потому, что она приглянулась тебе.

II

Кречмар был несчастен в любви, несчастен и неудачлив, несмотря на привлекательную наружность, на веселость обхождения, на живой блеск синих, выпуклых глаз, — несмотря также на умение образно говорить (он слегка заикался, и это придавало его речи прелесть), несмотря, наконец, на унаследованные от отца земли и деньги. В студенческие годы у него была связь с пожилой дамой, тяжело обожавшей его и потом во время войны посылавшей ему на фронт носки, фуфайки и длинные, страстные, неразборчивые письма на шершаво-желтой бумаге. Затем была история с женой одного врача, которая была довольно хороша собой, томна и тонка, но страдала пренеприятной женской болезнью. Затем в Бад-Гомбурге — молодая русская дама с чудесными зубами, которая как-то вечером, в ответ на любовные увещевания, вдруг сказала: «А ведь у меня вставная челюсть, я ее на ночь вынимаю. Хотите, сейчас покажу, если не верите». — «Не надо, зачем же», — пробормотал Кречмар и на следующий день уехал. Наконец, в Берлине была некрасивая, навязчивая женщина, которая приходила к нему ночевать три раза в неделю и рассказывала подробно и длительно все свое прошлое, без конца возвращаясь к одному и тому же и скучно вздыхая в его объятиях и повторяя при этом единственное французское словцо, которое она знала: «C'est la vie»[1].

---

[1] Такова жизнь *(фр.)*.

Между этими довольными неудачными, вялыми романами, и во время них, были сотни женщин, о которых он мечтал, с которыми не удавалось как-то познакомиться и которые проходили мимо, оставив на день, на два ощущение невыносимой утраты.

Он женился, — не то чтоб не любя жену, но как-то мало ею взволнованный: это была дочь театрального антрепренера, миловидная, бледноволосая барышня, с бесцветными глазами и прыщиками на переносице, — кожа у нее была так нежна, что от малейшего прикосновения оставались на ней розовые отпечатки. Он женился потому, что как-то так вышло, — чрезвычайно пособила и поездка в горы с нею, с ее братом и с какой-то их необыкновенно атлетической теткой, сломавшей себе наконец ногу в Понтрезине. Что-то такое милое, легкое было в Аннелизе, так она хорошо смеялась, словно тихо переливалась через край. Они повенчались в Мюнхене, дабы избежать наплыва берлинских знакомых. Цвели каштаны. Один из лакеев в гостинице умел говорить на восьми языках. У жены был нежный маленький шрам — след аппендицита.

Она была ласкова, послушна, тиха, но изредка на нее находили припадки стыдливой, нервной страстности, и тогда Кречмару казалось, что никаких других женщин ему не надобно. Вскоре она забеременела, заходила вразвалку, пристрастилась к снегу, который ела пригоршнями, быстро сгребая его с перил палисадника или со спинки скамьи, когда никто не смотрел. Он испытывал к ней мучительную, безвыходную нежность, заботился о ней, — чтоб она ложилась рано, не делала резких движений, — а по ночам ему снились какие-то молоденькие полуголые венеры и пустынный пляж, и ужасная боязнь быть застигнутым женой. По утрам Аннелиза рассматривала в зеркале свой конусообразный живот, удовлетворенно и таинственно улыбаясь. Наконец ее увезли в клинику, и Кречмар недели три жил один, терзаясь, не зная, что делать с собой, шалея от двух вещей, — от мысли, что жена может умереть, и от мысли, что, будь он не таким трусом, он нашел бы в каком-нибудь баре женщину и привел бы ее в свою пустую спальню.

Она рожала очень долго и болезненно. Кречмар ходил взад и вперед по длинному, белому коридору больницы, отправлялся курить в уборную и потом опять шагал, сердясь на румяных, шуршащих сестер, которые все пытались

загнать его куда-то. Наконец из ее палаты вышел ассистент и угрюмо сказал одной из сестер: «Все кончено». У Кречмара перед глазами появился мелкий черный дождь, вроде мерцания очень старых кинематографических лент. Он ринулся в палату. Оказалось, что Аннелиза благополучно разрешилась от бремени.

Девочка была сперва красненькая и сморщенная, как воздушный шарик, когда он уже выдыхается. Скоро она обтянулась, а через год начала говорить. Теперь, спустя восемь лет, она говорила гораздо меньше, ибо унаследовала приглушенный нрав матери, — и веселость у нее была тоже материнская, — особая, ненавязчивая веселость, когда человек словно радуется самому себе, тихо развлекается собственным существованием.

И в продолжение всех этих лет Кречмар оставался жене верен. Он дивился своей двойственности, он чувствовал, что, поскольку может любить человека, он любит жену по-настоящему, крепко и нежно, — и во всех вещах, кроме сокровенной, бессмысленной жажды обладания какими-то молоденькими красавицами, которых все равно никогда, никогда не коснешься, Кречмар был с женой откровенен: она читала все его письма, получаемые и отправляемые, так как была по-житейски любопытна, спрашивала о подробностях его довольно случайных дел, связанных с аукционами картин, экспертизами, выставками, — и потом задавала обычные свои вопросы, на которые сама отвечала. Были очень удачные поездки за границу, в Италию, на юг Франции, были детские болезни Ирмы, были, наконец, прекрасные, нежные вечера, когда Кречмар с женой сидел на балконе и думал о том, как незаслуженно счастлив. И вот, после этих выдержанных лет, в расцвете тихой и мягкой жизни, близясь к концу своего четвертого десятка, Кречмар вдруг почувствовал, что на него надвигается то самое невероятное, сладкое, головокружительное и несколько стыдное, что подстерегало и дразнило его с отроческих лет.

Как-то в марте (за неделю до разговора о морской свинке) Кречмар, направляясь пешком в кафе, где должен был встретиться в десять часов вечера с деловым знакомым, заметил, что часы у него непостижимым образом спешат, что теперь только половина девятого. Возвращаться домой на другой конец города было, конечно, бессмысленно,

сидеть же полтора часа в кафе, слушать громкую музыку и, мучась, исподтишка, смотреть на чужих любовниц нимало его не прельщало. Через улицу горела красными лампочками вывеска маленького кинематографа, обливая сладким малиновым отблеском снег. Кречмар мельком взглянул на афишу (пожарный, несущий желтоволосую женщину) и взял билет. К кинематографу он вообще относился серьезно, и даже сам собирался кое-что сделать в этой области, — создать, например, фильму исключительно в рембрандтовских или гойевских тонах. Как только он вошел в бархатный сумрак зальца (первый сеанс подходил к концу), к нему быстро скользнул круглый свет электрического фонарика и так же плавно и быстро повел его по чуть пологой темноте. Но в ту минуту, когда фонарик направился на билет в его руке, Кречмар заметил озаренное сбоку лицо той, которая наводила свет, и пока он за ней шел, смутно различал ее фигуру, походку, чуял шелестящий ветерок. Садясь на крайнее место в одном из средних рядов, он еще раз взглянул на нее и увидел опять, что так его поразило, — чудесный продолговатый блеск случайно освещенного глаза и очерк щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у очень больших мастеров. Она, отступив, смешалась с темнотой, и Кречмара охватили вдруг скука и грусть. Глядеть на экран было сейчас ни к чему, — все равно это было непонятное разрешение каких-то событий, которых он еще не знал (...кто-то плечистый слепо шел на пятившуюся женщину...). Было странно подумать, что эти непонятные персонажи и непонятные действия их станут понятными и совершенно иначе им воспринимаемыми, если он просмотрит картину сначала. «Интересно знать, — вдруг подумал Кречмар, — смотрят ли вообще капельдинерши на экран, или все им осточертело?»

Как только замолк рояль и в зальце рассвело, он опять ее увидел: она стояла у выхода, еще касаясь складки портьеры, которую только что отдернула, и мимо нее, теснясь, проходили люди, уже насытившиеся световой простоквашей. Одну руку она держала в кармане узорного передника. На лицо ее Кречмар смотрел прямо с каким-то испугом. Прелестное, мучительно прелестное лицо. Ничего оно не выражало, кроме, быть может, утомления. Ей было с виду пятнадцать-шестнадцать лет.

Затем, когда зальце почти опустело и начался прилив свежих, ясноглазых людей, — она несколько раз проходила совсем рядом, и вблизи она была еще милее. Он отворачивался, смотрел по сторонам, так как было слишком тягостно длить взгляд, направленный на нее, и ему вспомнилось, сколько раз красота проходила мимо него и пропадала бесследно.

С полчаса он просидел в темноте, выпуклыми глазами уставившись на экран. Она приподняла для него складку портьеры. «Взгляну!» — подумал он с некоторым отчаянием. Ему показалось, что губы у нее легонько дрогнули. Она опустила складку. Кречмар вышел и вступил в малиновую лужу, — снег таял, ночь была сырая, с теплым ветром.

Через три дня он не стерпел и, чувствуя стыд, раздражение и вместе с тем какой-то смутно рокочущий восторг, отправился вновь в «Аргус» и опять попал к концу сеанса. Все было как в первый раз: фонарик, продолговатый луиниевский глаз, ветерок, темнота, потом очаровательное движение руки, откидывающей рывком портьеру. «Дюжинный Дон-Жуан сегодня же с ней бы познакомился», — беспомощно подумал Кречмар. На экране, одетая в тютю, резвилась морская свинка Чипи, изображая русский балет. За этим следовала картина из японской жизни «Когда цветут вишни». Выходя, Кречмар хотел удостовериться, узнает ли она его. Взгляда ее он не поймал. Шел дождь, блестел красный асфальт.

Если б он не сделал того, чего раньше не делал никогда, — попытки удержать мелькнувшую красоту, не сразу сдаться, чуть-чуть на судьбу принажать, — если б он второй раз не пошел в «Аргус», то, быть может, ему удалось бы осадить себя вовремя. Теперь же было поздно. В третье свое посещение он твердо решил улыбнуться ей, однако так забилось сердце, что он не попал в такт, промахнулся. На другой день был к обеду его шурин, говорили как раз об иске Горна, дочка с некрасивой жадностью пожирала шоколадный крем, жена ставила вопросы невпопад. «Что ты, с луны, что ли, свалилась?» — сказал он и запоздалой улыбкой попытался смягчить выказанное раздражение. После обеда он сидел с женой рядом на широком диване, мелкими поцелуями мешал ей рассматривать «Die Dame» и глухо про себя думал: «Какая чепуха... Ведь я счастлив... Чего же мне еще? Никогда больше туда не пойду».

III

Ее звали Магда Петерс, и ей было вправду только шестнадцать лет. Ее родители промышляли швейцарским делом. Отец, контуженный на войне, уже седоватый, постоянно дергал головой и впадал по пустякам в ярость. Мать, еще довольно молодая, но рыхлая женщина, холодного и грубого нрава, с ладонью, всегда полной потенциальных оплеух, обычно ходила в тугом платочке, чтобы при работе не пылились волосы, но после большой субботней уборки (производимой главным образом пылесосом, который остроумно совокуплялся с лифтом), наряжалась и отправлялась через улицу в гости. Жильцы недолюбливали ее за надменность, за деловую манеру требовать у входящего, чтобы он вытирал ноги о мат и не ступал по мрамору (которого, впрочем, было немного). Ей часто снилась по ночам сказочно-великолепная, белая как сахар лестница и маленький силуэт человека, уже дошедшего доверху, но оставившего на каждой ступени большой черный подошвенный отпечаток, левый, правый, левый, правый... Это был мучительный сон.

Отто, Магдин брат, был старше сестры на три года, работал теперь на велосипедной фабрике, презрительно относился к бюргерскому республиканству отца и, сидя в ближнем кабаке, рассуждал о политике, опускал с громовым стуком кулак на стол, восклицая: «Человек первым делом должен жрать, да!» Такова была главная его аксиома, — сама по себе довольно правильная.

Магда в детстве ходила в школу, и там ей было легче, чем дома, где ее били много и зря, так что оборонительный подъем локтя был самым обычным ее жестом. Это, впрочем, не мешало ей расти веселой и бойкой девочкой. Когда ей было лет восемь, ее до боли ущипнул без всякой причины почтенный старик, живший в партере. В ту пору она любила участвовать в крикливой и бурной футбольной игре, которую затевали мальчишки посреди мостовой. Десяти лет она научилась ездить на велосипеде брата и, голорукая, со взлетающей черной косичкой, мчалась взад и вперед по своей улице, весело вскрикивая, а потом останавливалась, уперевшись одной ногой в край панели и о чем-то раздумывая. В двенадцать лет она немного угомонилась, и любимым ее занятием сделалось стоять

у двери, шептаться с дочкой угольщика о женщинах, шлявшихся к одному из жильцов, или смотреть на прохожих, отмечать платья и шляпы. Как-то она нашла на лестнице потрепанную сумочку, а в сумочке мыльце с приставшим волоском и полдюжины непристойных открыток. Как-то ее поцеловал в открытую шею один из гимназистов, еще недавно старавшихся сбить ее с ног во время игры. Как-то, среди ночи, с ней случилась истерика, и ее облили водой, а потом драли.

Через год она уже была чрезвычайно мила собой, носила короткое, ярко-красное платьице и была без ума от кинематографа. Появился в супротивном доме молодой человек, кудрявый, в пестрой фуфайке, который по вечерам облокачивался в окне на подушку и улыбался ей издали, — но скоро он съехал.

Впоследствии она вспоминала то время жизни с томительным и странным чувством, — эти светлые, теплые, мирные вечера, треск запираемых лавок, отец сидит верхом на стуле и курит трубку, поминутно дергая головой, словно энергично отрицая что-то, мать судачит о причудах жильцов с соседней швейцарихой («я ему тогда сказала... он мне тогда сказал...»), госпожа фон Брок возвращается домой с покупками в сетке, погодя проходит горничная Лизбет с левреткой и двумя жесткошерстыми фоксами, похожими на игрушки... Вечереет. Вот брат с двумя-тремя товарищами, они мимоходом обступают ее, немного теснят, хватают за голые руки, у одного из них глаза как у Файта. Улица, еще освещенная низким солнцем, затихает совсем. Только напротив двое лысых играют на балконе в карты, — и слышен каждый звук.

Ей было едва четырнадцать лет, когда, подружившись с приказчицей из писчебумажной лавки на углу, Магда узнала, что у этой приказчицы есть сестра натурщица — совсем молоденькая девочка, а уже недурно зарабатывающая. У Магды появились прекрасные мечты. Каким-то образом путь от натурщицы до фильмовой дивы показался очень коротким. В то же приблизительно время она научилась танцевать и несколько раз посещала с подругой заведение «Парадиз», бальный зал, где, под цимбалы и улюлюкание джаза, пожилые мужчины делали ей весьма откровенные предложения.

Однажды она стояла на углу своей улицы; к панели, резко затормозив, пристал несколько раз уже виденный молодой мотоциклист, с зачесанными назад бледными волосами, одетый в необыкновенную кожаную куртку, и предложил ее покатать. Магда улыбнулась, села сзади верхом, поправила юбку, и в следующее мгновение едва не задохнулась от быстроты. Он повез ее за город и там остановился. Был солнечный вечер, толклась мошкара. Кругом был вереск да сосны. Мотоциклист слез и сел рядом с ней на краю дороги. Он рассказал ей, что ездил недавно, вот так как есть, в Испанию, рассказал, что прыгал несколько раз с парашютом. Затем он ее обнял, стал тискать и очень мучительно целовать, и у нее было чувство, что все внутри тает и как-то разливается. Ей вдруг сделалось нехорошо, она побледнела и заплакала. «Можно целовать, — сказала она, — но нельзя так тормошить, у меня голова сегодня болит, я нездорова». Мотоциклист рассердился, молча пустил машину, довез Магду до какой-то улицы и там оставил. Домой она вернулась пешком. Брат, видевший, как она уезжала, треснул ее кулаком по шее, да еще пнул сапогом, так что она упала и больно стукнулась о швейную машину.

Зимой она наконец познакомилась с натурщицей, сестрой приказчицы, и с какой-то пожилой, важной на вид дамой, у которой было малиновое родимое пятно во всю щеку. Ее звали Левандовская. У этой Левандовской Магда и поселилась, в комнатке для прислуги. Родители, давно корившие ее дармоедством, были теперь довольны, что от нее освободились. Мать находила, что всякий труд, приносящий доход, честен. Брат, который, бывало, поговаривал не без угроз о капиталистах, покупающих дочерей бедняков, временно работал в Бреславле и к Левандовской нагрянул только гораздо позже, гораздо позже...

Она позировала сперва в большой классной комнате какой-то женской школы, а потом в настоящем ателье, где рисовали ее не только женщины, но и мужчины, некоторые совсем молодые. Все было, впрочем, очень чинно. Темноголовая, стриженая, совершенно голая, она боком сидела на коврике, опираясь на выпрямленную руку — так что на месте локтя был нежный морщинистый глазок, — сидела, чуть склонив худенький стан, в позе задумчивого изнеможения, и смотрела исподлобья, как рисовальщики

поднимают и опускают глаза, и слушала легкий шорох карандашной штриховки или попискивание угля, — и скоро ей становилось скучно разбирать, кто сейчас воспроизводит ее ляжку, а кто голову, и было одно только желание: переменить положение тела. От скуки она выискивала самого привлекательного из художников, едва заметно щурилась всякий раз, когда он, с полуоткрытым от прилежания ртом, поднимал лицо. Ей никогда не удавалось смутить его, переключить его ум на другие, менее строгие, мысли, и это ее немножко сердило. Когда она прежде думала о том, как вот будет сидеть одинокая и голая под сходящимися взорами многих глаз, ей сдавалось, что будет стыдновато, но вместе с тем довольно приятно, как в теплой ванне. Оказывалось, что это вовсе не стыдно, а только утомительно и однообразно. Тогда она начала придумывать всякие штучки для своего развлечения, не снимала ожерелья с шеи, мазала губы, подводила свои и так подведенные тенью, и так очаровательные глаза, и раз даже чуть-чуть оживила кармином бледные кончики грудей. Ей за это сильно влетело от Левандовской, которой кто-то насплетничал.

Магда, впрочем, лишь смутно понимала, чего именно добивается. Далеко-далеко маячил образ фильмовой дивы. Господин в нарядном пальто с котиковым воротником шалью подсаживал ее в лаковый автомобиль. Она покупала переливчатое, прямо-таки журчащее платье, которое сияло и лилось в витрине баснословного магазина. Сидеть часами нагишом и даже не получать в свою собственность портреты, которые с нее пишут, было довольно пресным уделом. Она не замечала, что в каком-то смысле гений ее судьбы — гений кинематографический. Присутствия и мановения его она не заметила даже в тот весенний вечер, когда Левандовская впервые упомянула о «влюбленном провинциале».

«Нельзя тебе жить без друга, — спокойно сказала Левандовская, попивая кофе. — Ты — бойкое дитя, ты — попрыгунья, ты без друга пропадешь. Он скромный человек, провинциальный житель, и ему нужна тоже скромная подруга в этом городе соблазнов и скверны».

Магда держала на коленях собаку Левандовской — толстую желтую таксу с сединой на морде и с длинной бородавкой на щеке. Она взяла в кулак шелковое ухо собаки и, не поднимая глаз, ответила:

«Ах, это успеется. Мне только пятнадцать. И зачем? Все это будет так — зря, я знаю этих господ».

«Ты дура, — сказала Левандовская с раздражением, — я тебе рассказываю не о шелопае, а о добром, щедром человеке, который видел тебя на улице и с тех пор только тобой и бредит».

«Какой-нибудь старичок», — заметила Магда и поцеловала собаку в лоб.

«Дура, — повторила Левандовская. — Ему тридцать лет, он бритый, шикарный, — шелковый галстук, золотой мундштук. У него только душа скромная».

«Гулять, гулять», — сказала Магда собаке, — та сползла на пол и потом, в коридоре, затрусила, держа тело бочком, как это делают все старые таксы.

Господин, о котором шла речь, не был ни провинциалом, ни скромным человеком, ни даже Мюллером (фамилия, под которой он представился). С Левандовской он познакомился через двух темпераментных коммивояжеров, с которыми играл в покер, по дороге из Гамбурга в Берлин. О цене сначала не упоминалось: сводня показала фотографию улыбающейся девочки, и Мюллер потребовал смотрин. В назначенный день Левандовская накупила пирожных, наварила много кофе, посоветовала надеть как раз то красное платьице, которое Магде теперь казалось таким потрепанным, таким детским, и около шести раздался жданный звонок. «Чем я рискую, — в последний раз подумала Магда. — Если он собой дурен, то я ей так и скажу, а если нет, то я еще успею решить».

К сожалению, нельзя было так просто установить, дурен ли или хорош Мюллер. Странное, своеобразное лицо. Матово-черные волосы были небрежно причесаны на пробор сухой щеткой, на слегка впалые щеки как будто лег тонкий слой рисовой пудры. Блестящие рысьи глаза и треугольные ноздри ни минуты не оставались спокойными, между тем как нижняя часть лица с двумя мягкими складками по бокам рта была, напротив, весьма неподвижна, — изредка только он облизывал глянцевитые толстые губы. На нем была замечательная голубая рубашка, яркий, как тропическое небо, галстук и сине-вороной костюм с широченными панталонами. Он великолепно двигался, поводя крепкими квадратными плечами, — это был высокий и стройный мужчина, Магда ждала совсем не такого

и несколько потерялась, когда, сидя со скрещенными руками на твердом стуле и сквозь зубы разговаривая с Левандовской о достопримечательностях Берлина, Мюллер принялся ее, Магду, потрошить взглядом; вдруг, перебив самого себя на полуслове, он спросил ее резким, звенящим голосом, как ее зовут. Она сказала. «Ага, Магдалина», — произнес он с коротким смешком и, так же внезапно освободив ее от напора своего взгляда, продолжал свой глухой разговор с Левандовской.

Погодя он замолк, закурил и, отдирая прилипший к яркой, словно воспаленной, губе кусочек папиросной бумаги, сказал: «Идея, госпожа Левандовская. Возьмите на мой счет автомобиль и поезжайте в оперу, — у меня вот оказался свободный билет, вы как раз успеете».

Левандовская поблагодарила, степенно возразив, что сегодня устала и останется дома. «Можно вам сказать два слова?» — недовольно проговорил Мюллер и встал со стула. «Выпейте еще чашку», — спокойно предложила Левандовская. Он пожал плечами, окинул Магду каким-то хлещущим взглядом, но вдруг просиял добродушной улыбкой, сел на диван рядом с ней и принялся рассказывать серию анекдотов о каком-то своем приятеле певце, который, в «Лоэнгрине», не успел сесть на лебедя и решил ждать следующего. Магда кусала губы и вдруг наклоняла голову, помирая со смеху. У Левандовской уютно трясся бюст.

Он позволил себе роскошь медленного подступа, осторожных и ласковых взглядов, даже вздохов. Левандовская, получившая только небольшой задаток, а заломившая неслыханную цену, не отходила ни на шаг. С ее согласия Магда перестала позировать и проводила целые дни за вышивкой. Иногда, когда она вечером выводила собаку, Мюллер вырастал из сумерек и шел рядом с нею, и ее это так волновало, что она невольно ускоряла шаг, и забытая такса отставала, упорно и грустно ковыляя бочком, бочком. Левандовская вскоре почуяла эти встречи и стала выводить собаку сама.

Так прошло больше недели со дня знакомства. Однажды Мюллер решил принять чрезвычайные меры. Платить огромную сумму, которую просила сводня, было нелепо, раз дело выходило само собою. Придя вечером, он много наговорил смешного, выпил три чашки кофе, затем, улучив мгновение, подошел к Левандовской, поднял ее, быстрой,

мелкой рысцой понес в ванную и, ловко переставив ключ, запер дверь. Левандовская была так поражена, что первые полминуты молчала, — потом, впрочем, принялась вопить, стучать и ухать всем телом в дверь. «Забирай свои вещи и айда», — обратился он к Магде, которая стояла среди гостиной, держась за голову.

Они поселились в хорошей комнате, снятой им накануне, и, едва переступив порог, Магда, с охотой, с жаром, даже с какой-то злостью, предалась судьбе, осаждавшей ее так давно, так упорно. Мюллер, впрочем, нравился ей совсем по-особенному, — было что-то неотразимое в его глазах, в голосе, в ухватках, в его манере толстыми жаркими губами ездить вверх и вниз по ее спине, между лопатками. Он мало с ней разговаривал, часами сидел, держа ее у себя на коленях, посмеиваясь и о чем-то думая. Она не знала, какие у него дела в Берлине, кто он, — и каждый раз, когда он уходил, боялась, что он не вернется. Если не считать этой боязни, она была счастлива, до глупости счастлива, она мечтала, что сожительство их будет длиться всегда. Кое-что он ей подарил, — парижскую шляпу, часики, — впрочем, не был чрезмерно щедр на подарки, зато водил ее в хорошие рестораны и в большие кинематографы, где она до слез хохотала над похождениями Чипи. Он так пристрастился к Магде, что часто, уже собираясь уходить, вдруг бросал шляпу в угол (эта привычка обращаться с дорогой шляпой ее немножко удивляла) и оставался. Все это продолжалось ровно месяц. Как-то утром он встал раньше обыкновенного и сказал, что должен уехать. Она спросила, надолго ли. Он уставился на нее, потом заходил по комнате в своей ослепительной малиново-лазурной пижаме, потирая руки, словно намыливал их. «Навсегда, навсегда», — сказал он вдруг и, не глядя на нее, стал одеваться. Она подумала, что он, может быть, шутит, и решила выждать, — откинула одеяло, так как было очень душно в комнате, и, вытянувшись, повернулась к стенке. «У меня нет твоей фотографии», — проговорил он, со стуком надевая башмаки. Потом она слышала, как он возится с чемоданом, защелкивает его. Еще через несколько минут: «Не двигайся, — сказал он, — и не смотри, что я делаю». «Застрелит», — почему-то подумала она, но не шелохнулась. Что он делал? Тишина. Она чуть двинула голым

плечом. «Не двигайся», — повторил он. «Целится», — подумала Магда без всякого страха. Тишина продолжалась минут пять. В этой тишине бродил, спотыкаясь, какой-то маленький шуршащий звук, который казался ей знакомым, но почему знакомым? «Можешь повернуться», — проговорил он с грустью, но Магда лежала неподвижно. Он подошел, поцеловал ее в щеку и быстро вышел. Она пролежала в постели весь день. Он не вернулся.

На другое утро она получила телеграмму из Гамбурга: «Комната оплачена до июля прощай доннерветтер прощай». «Господи, как я буду жить без него?» — проговорила Магда вслух. Она мигом распахнула окно, решив одним прыжком с собою покончить. К дому напротив, звеня, подъехал красно-золотой пожарный автомобиль, собиралась толпа, из верхних окон валил бурый дым, летели какие-то черные бумажки. Она так заинтересовалась пожаром, что отложила свое намерение.

У нее оставалось очень мало денег; с горя, как в хороших фильмах, она пошла шататься по танцевальным кафе. Вскоре она познакомилась с двумя японцами и, будучи слегка навеселе, согласилась у них переночевать; утром она попросила двести марок, они ей дали три с полтиной и вытолкали вон, — после чего она решила быть осмотрительнее.

Однажды к ней подсел толстый старый человек, с носом как гнилая груша и с коричневыми точками сплошь по всей лысине, и сказал: «Приятно опять встретиться, помните, барышня, как мы резвились на пляже, в Герингсдорфе?» Она, смеясь, ответила, что он ошибается. Старик спросил, что она желает пить. Потом он поехал ее провожать и в темноте таксомотора сделался очень косноязычен и гадок. Она выскочила. Старик вышел тоже и, не смущаясь присутствием шофера, умолял о свидании. Она дала ему номер своего телефона. Когда он ей оплатил комнату до ноября да еще дал денег на котиковое пальто, она позволила ему остаться у нее на ночь. С ним оказалось сначала очень легко, он сразу засыпал, после краткого и слабого объятья, и спал непробудно до рассвета. Потом он начал требовать всяких странных новшеств. Гардероб ее пополнился двумя новыми платьями. Неожиданно он пропустил назначенное свидание, через несколько

дней она позвонила к нему в контору и узнала, что он скончался.

Воспоминание о старике было омерзительно. Такого опыта она решила не повторять. Продав шубу, она дотянула до февраля. Накануне этой продажи ей страстно захотелось показаться родителям. Она подъехала к дому в таксомоторе. День был субботний, мать полировала ручку входной двери. Увидев дочь, она так и замерла. «Боже мой!» — воскликнула она с чувством. Магда молча улыбнулась, села снова в таксомотор и уже в окно увидела брата, который, выбежав на панель, кричал ей что-то вслед — вероятно, угрозы.

Она переехала в комнату подешевле, вечерами неподвижно сидела на краю кушетки в нарастающей темноте, подпирая виски ладонями и пыхтя папиросой. Хозяйка, пожилая, неопределенных занятий, заглядывала к ней, сердобольно ее расспрашивала, рассказывала, что у ее родственника маленький кинематограф, приносящий неплохой доход. Зима была холодная, деньги шли на убыль. «Что же будет дальше?» — думала Магда. Как-то, в бодрый и дерзкий день, она ярко накрасилась и, выбрав самую звучную по названию кинематографическую контору на Фридрихштрассе, добилась того, что директор ее принял. Он оказался пожилым господином с черной повязкой на правом глазу и с пронзительным блеском в левом. Магда начала с того, что, дескать, уже много играла в провинции, получала хорошие роли... «В кино?» — спросил тот, ласково глядя на ее возбужденное лицо. Она назвала какую-то фирму, какую-то картину — очень убедительно и даже надменно, — оттого что все повторяла про себя: «Как он смеет не знать меня, как он смеет сомневаться...» Последовало молчание. Директор прищурил единственный видимый глаз и сказал: «А знаете, — ведь вам повезло, что вы попали именно ко мне. Любой мой коллега соблазнился бы вашей молодостью, наобещал бы вам горы добра и потребовал бы от вас очень определенного, очень банального задатка. Затем он бы вас бросил. Я человек немолодой, много видевший, у меня дочка, вероятно, старше вас, — и вот позвольте мне вам сказать: вы никогда актрисой не были и, вероятно, не будете. Пойдите домой, подумайте хорошенько, посоветуйтесь с вашими родителями...»

Магда хлестнула перчаткой по краю стола, встала и с искаженным лицом вышла вон. В том же доме была еще одна фирма. Там ее просто не приняли. В третьем месте ей сказали, — чтобы как-нибудь отделаться от нее: «Оставьте ваш телефон». Она вернулась домой в бешенстве. Хозяйка сварила ей два яйца, гладила ее по плечу, пока Магда жадно и сердито ела, потом принесла бутылку коньяку, две рюмки и, налив их до краев, унесла бутылку. «Ваше здоровье, — сказала она, опять садясь за стол. — Все будет благополучно. Я как раз завтра увижу моего деверя, я с ним поговорю...»

Первое время Магду забавляла новая должность. Было, правда, немного обидно начинать кинематографическую карьеру не актрисой, даже не статисткой... К концу первой же недели ей уже казалось, что она всю жизнь только и делала, что указывала людям места. В пятницу, впрочем, была перемена программы, это ее оживило. Стоя в темноте, прислонясь к стенке, она смотрела на Грету Гарбо. Через два-три сеанса ей стало опять нестерпимо скучно. Прошла еще неделя. Какой-то посетитель, замешкав в дверях, странно посмотрел на нее — застенчивым и жалобным взглядом. Через два-три вечера он появился опять. Выглядел он довольно молодо, был отлично одет, косил на нее жадным голубым глазом... «Человек очень приличный, но размазня», — подумала Магда. Когда, появившись в четвертый или пятый раз, он пришел невпопад, то есть на фильму, которую уже раз видел, Магда почувствовала некоторое возбуждение. Вместе с тем ей было памятно предупреждение хозяина: «Один раз глазки — и вышвырну». Посетитель, однако, был удивительно робок. Выйдя как-то из кинематографа, чтобы отправиться домой, Магда увидела его неподвижно стоящим на той стороне улицы. Она засеменила, не оглядываясь, рассчитывая, что он перейдет наискосок и последует за ней. Этого, однако, не случилось: он исчез. Когда, через два дня, он опять пришел в «Аргус», был у него какой-то больной, затравленный, очень интересный вид. По окончании последнего сеанса Магда вышла, раскрывая зонтик. «Стоит», — отметила она про себя и перешла к нему, на ту сторону. Он двинулся, уходя от нее, как только заметил ее приближение. Сердце у него билось в гортани, не хватало воздуха, пересохли губы. Он чувствовал, как она идет сзади, и боялся ускорить шаг,

чтобы не потерять счастия, и боялся шаг замедлить, чтобы счастье не перегнало его. Но, дойдя до перекрестка, Кречмар принужден был остановиться: проезжали гуськом автомобили. Тут она его перегнала, чуть не попала под автомобиль и, отскочив, ухватилась за его рукав. Засветился зеленый диск. Он нащупал ее локоть, и они перешли. «Началось, — подумал Кречмар, — безумие началось».

«Вы совершенно мокрый», — сказала она с улыбкой; он взял из ее руки зонтик, и она еще теснее прижалась к нему, и сверху барабанило счастие. Одно мгновение он побоялся, что лопнет сердце, — но вдруг полегчало, он как бы разом привык к воздуху восторга, от которого сперва задыхался, и теперь заговорил без труда, с наслаждением.

Дождь перестал, но они все еще шли под зонтиком. У ее подъезда остановились, зонтик был отдан ей и закрыт. «Не уходите еще», — взмолился Кречмар и, держа руку в кармане пальто, попробовал большим пальцем снять с безымянного обручальное кольцо, — так, на всякий случай. «Постойте, не уходите», — повторил он и наконец судорожным движением освободился от кольца. «Уже поздно, — сказала она, — моя тетя будет сердиться». Кречмар подошел к ней вплотную, взял за кисти, хотел ее поцеловать, но попал в ее шапочку. «Оставьте, — пробормотала она, наклоняя голову. — Оставьте, это нехорошо». — «Но вы еще не уйдете, у меня никого нет в мире, кроме вас». — «Нельзя, нельзя», — ответила она, вертя ключом в замке и напирая на дверь. «Завтра я буду опять ждать», — сказал Кречмар. Она улыбнулась ему сквозь стекло.

Кречмар остался один, он, отдуваясь, расстегнул пальто, почувствовал вдруг легкость и наготу левой руки, поспешно надел еще теплое кольцо и пошел к таксомоторной стоянке.

IV

Дома ничего не изменилось, и это было странно: жена, дочь, Макс принадлежали точно другой эпохе, мирной и светлой, как пейзажи ранних итальянцев. Макс, весь день работавший в театральной своей конторе, любил отдыхать у сестры, души не чаял в племяннице и с нежным уважением относился к Кречмару, к его суждениям, к темным картинам по стенам, к шпинатному гобелену в столовой.

Кречмар, отпирая дверь своей квартиры, с замиранием, со сквозняком в животе, думал о том, как сейчас встретится с женой, с Максом, — не почуют ли они измену (ибо эта прогулка под дождем являлась уже изменой, — все прежнее было только вымыслом и снами), быть может, его уже заметили, выследили, — и он, отпирая дверь, торопливо сочинял сложную историю о молодой художнице, о бедности и таланте ее, о том, что ей нужно помочь устроить выставку... Тем живее он ощутил переход в другую, ясную, эпоху, которую он за один вечер так лихорадочно опередил, — и, после мгновенного замешательства от вида неизменившегося коридора, от белизны двери в глубине, за которой спала дочка, от честных плеч Максова пальто, любовно надетого горничной на плюшевую вешалку, от всех этих домашних знакомых примет, — наступило успокоение: все хорошо, никто ничего не знает. Он вошел в гостиную: Аннелиза в клетчатом платье, Макс с сигарой да еще старая знакомая, вдова барона, обедневшая во время инфляции и теперь торговавшая коврами и картинами... Неважно, что говорили, — важно только это ощущение повседневности, обыкновенности, простоты. И потом, в мирно освещенной спальне, лежа рядом с женой, Кречмар дивился своей двойственности, отмечал свою ненарушимую нежность к Аннелизе, — и одновременно в нем пробегала молниевидная мысль, что, быть может, завтра, уже завтра, да, наверное, завтра...

Но все это оказалось не так просто. И во второе свидание, и в следующие Магда искусно избегала поцелуев. Рассказывала она о себе немного, — только то, что сирота, дочь художника, живет у тетки, очень нуждается, хотела бы переменить свою утомительную службу. Кречмар назвался Шиффермюллером, и Магда с раздражением подумала: «Везет мне на мельников», — а затем: «Ой, врешь». Март был дождливый, ночные прогулки под зонтиком мучили Кречмара, он предложил ей как-то зайти в кафе. Кафе он выбрал маленькое, мизерное, — зато безопасное. У него была манера, когда он усаживался в кафе или ресторане, сразу выкладывать на стол портсигар и зажигалку. На портсигаре Магда заметила инициалы «Б. К.». Она промолчала, подумала и попросила его принести телефонную книгу. Пока он своей несколько мешковатой, разгильдяйской

походкой шел к телефону, она быстро посмотрела на шелковое дно его шляпы, оставшейся на стуле, и прочла его имя и фамилию (необходимая мера против рассеянности художников при шапочном разборе). Кречмар, нежно улыбаясь, принес книгу, и, пользуясь тем, что он смотрит на ее шею и опущенные ресницы, Магда живо нашла его адрес и телефон и, ничего не сказав, спокойно захлопнула потрепанный, размякший голубой том. «Сними пальто», — тихо сказал Кречмар, впервые обратившись к ней на «ты». Она, не вставая, принялась вылезать из рукавов макинтоша, нагнув голову, наклоняя плечи то вправо, то влево, и на Кречмара веяло фиалковым жаром, пока он помогал ей освободиться от пальто и глядел, как ходят ее лопатки, как собираются и расходятся складки смугловатой кожи на позвонках. Это продолжалось мгновение. Она сняла и шляпу, посмотрелась в зеркало и, послюнив палец, пригладила на висках темно-каштановые акрошкёры. Кречмар сел рядом с ней, не спуская глаз с этого лица, в котором все было прелестно — и жаркий цвет щек, и блестящие от ликера губы, и детское выражение удлиненных карих глаз, и чуть заметное пятнышко на чуть пушистой скуле. «Если мне бы сказали, что за это меня завтра казнят, — подумал он, — я все равно бы на нее смотрел». Даже легкая вульгарность, берлинский перелив ее речи, ахи и смешки перенимали особое очарование у звучности ее голоса, у блеска белозубого рта, — и, смеясь, она сладко жмурилась. Он хотел взять ее руку, но она и этого не позволила. «Ты сведешь меня с ума», — пробормотал Кречмар. Магда хлопнула его по кисти и сказала, тоже на «ты»: «Веди себя хорошо, будь послушным».

Первой мыслью Кречмара на другое утро было: «Так дальше невозможно. Следует взять для нее комнату, — без тетки. Так устроить, чтобы ей не служить. Мы будем одни, мы будем одни. Обучать арсу аморису. Она еще так молода. Удивительно, как это у нее нет жениха или друга...»

«Ты спишь?» — тихо спросила Аннелиза. Он притворно зевнул и открыл глаза. Аннелиза, в голубой ночной сорочке, сидела на краю постели и читала письма.

«Что-нибудь интересное?» — спросил Кречмар, глядя на ее пресно-белое предплечье.

«Он просит у тебя опять денег. Говорит, что жена и теща больны, что против него интригуют, — нужно дать».

«Да-да, непременно», — отвечал Кречмар, необычайно живо представив себе покойного отца Магды, — тоже, вероятно, старого, малодаровитого, разжеванного жизнью художника.

«А это — приглашение в “Палитру”, придется пойти. А это — из Америки».

«Прочти вслух», — попросил он.

«Глубокоуважаемый господин Кречмар. Мой поверенный сообщает мне о том живом и беспристрастном внимании, которое вы уделили делу о нарушении моих прав. Я предполагаю...»

Тут затрещал телефон на ночном столике. Аннелиза цокнула языком и взяла трубку. Кречмар, рассеянно глядя на ее белые, пухлые пальцы, сжимающие черную трубку, вчуже слышал микроскопический голос, говоривший с другого конца.

«А, здравствуйте», — воскликнула Аннелиза и сделала мужу ту определенную, пучеглазую гримасу, по которой он всегда знал, что звонит баронесса, большая телефонница. Он потянулся за письмом из Америки, лежащим на перине, и посмотрел на подпись. Вошла Ирма, всегда приходившая по утрам здороваться с родителями. Она молча поцеловала отца, молча поцеловала мать, которая то слушала, то восклицала, и порою кивала вместе с трубкой. «Чтобы никаких сюрпризов няне сегодня не было», — тихо сказал Кречмар дочке, намекая на какое-то недавнее прегрешение. Ирма улыбнулась. Она была некрасивая, со светлыми ресницами, с веснушками над бледными бровями, и очень худенькая.

«До свидания, спасибо, до свидания», — облегченно проговорила Аннелиза и звонко повесила трубку. Кречмар принялся за чтение письма. Аннелиза держала дочь за руки и что-то ей говорила, смеясь, целуя ее и слегка подергивая после каждой фразы. Ирма все улыбалась и скребла ногой по полу.

Опять затрещал телефон. Кречмар приложил трубку к уху.

«Здравствуй, Бруно Кречмар», — сказал незнакомый женский голос. «Кто говорит?» — спросил Кречмар и вдруг почувствовал, словно спускается на очень быстром лифте.

«Нехорошо было меня обманывать, — продолжал голос, — но я тебя прощаю. Ты слушаешь? Я хотела только тебе сказать, что...» — «Ошибка, это другой», — хрипло сказал Кречмар и разъединил. В то же мгновение он с ужасом подумал, что, как он давеча слышал голос, просачивавшийся с того конца, и даже как будто различал слова, так и Аннелиза теперь могла все слышать. «Что это было? — с любопытством спросила она. — Отчего ты такой красный?»

«Какая-то дичь! Ирма, уходи, нечего тебе тут валандаться. Совершенная дичь. Уже десятый раз попадают ко мне по ошибке. Он пишет, что, вероятно, приедет зимой в Берлин и хочет со мной познакомиться».

«Кто пишет?»

«Ах, Господи, никогда ничего сразу не понимаешь. Ну, вот этот самый — карикатурист, из Америки. Этот самый Горн...»

«Какой Горн?» — уютно спросила Аннелиза.

V

Вечерняя встреча выдалась довольно бурная. Весь день Кречмар пробыл дома, боясь, что Магда позвонит опять. Это следовало в корне пресечь. Когда она вышла из «Аргуса», он прямо с того начал: «Послушай, Магда, я запрещаю тебе звонить ко мне. Это чорт знает что такое. Если я тебе не сообщил моей фамилии, значит, были к тому основания». — «Всего лучшего», — спокойно проговорила Магда и пошла, не оглядываясь. Он дал ей отойти, постоял, беспомощно глядя ей вслед. Какой промах, — надо было смолчать, она в самом деле подумала бы, что ошиблась... Тихонько обогнав ее, Кречмар пошел рядом. «Прости меня, — сказал он. — Не нужно на меня сердиться, Магда. Я без тебя не могу. Вот я все думал, — брось службу, это так утомляет тебя. Я богат. У тебя будет своя комната, квартира, все что хочешь».

«Я понимаю, в чем дело, — проговорила Магда холодным голосом. — Ты, вероятно, все-таки женат, — как я и думала сначала. Иначе ты не был бы со мной так груб по телефону».

«А если я женат, — спросил Кречмар, — ты со мной больше не будешь встречаться?»

«Мне какое дело? Надувай ее, ей, должно быть, полезно».

«Магда, не надо!» — воскликнул Кречмар, опешив.

«А ты меня не учи».

«Магда, послушай, это правда, — у меня жена и ребенок, — но я прошу тебя, — эти насмешки лишние... Ах, погоди, Магда!» — добавил он, всплеснув руками.

«Поди ты к дьяволу!» — крикнула она и захлопнула ему дверь в лицо.

«Погадайте мне», — сказала она хозяйке. Та вынула из ящика колоду карт, столь сальных, что из них можно было бы сварить суп. Появился богатый брюнет, потом козни, хлопоты, какая-то пирушка... «Надо посмотреть, как он живет, — думала Магда, облокотясь на стол. — Может быть, он все-таки шантрапа, и не стоит связываться. Согласиться? Не рано ли?»

Через день она позвонила ему снова. Аннелиза была в ванной. Кречмар заговорил почти шепотом, посматривая на дверь. Несмотря на боязнь, он испытывал большое счастье оттого, что Магда его простила. «Мое счастье, — сказал он, вытягивая губы, — мое счастье». — «Слушай, когда твоей жены сегодня не будет дома?» — спросила она со смехом. «Не знаю, — ответил Кречмар, похолодев, — а что?» — «Я хочу к тебе прийти на минутку». Он помолчал. Где-то стукнула дверь. «Я боюсь дольше говорить», — пробормотал Кречмар. «Какой ты трус. Помни, что если я к тебе приду, то поцелую». — «Сегодня не знаю, не выйдет, — сказал он через силу. — Если я сейчас повешу трубку, не удивляйся, вечером тебя увижу, мы тогда...» Он повесил трубку и некоторое время сидел неподвижно, слушая гром сердца. «Я действительно трус, — подумал он. — Она в ванной еще провозится с полчаса...»

«У меня маленькая просьба, — сказал он Магде при встрече. — Сядем в автомобиль, покатаемся». — «В открытый», — вставила Магда. «Нет, это опасно. Обещаю тебе хорошо себя вести», — добавил он, — любуясь при свете фонаря ее по-детски поднятым к нему лицом.

«Вот что, — заговорил он, когда они очутились в таксомоторе. — Я на тебя, конечно, не в претензии за то, что ты мне звонишь, но я прошу и даже умоляю тебя больше этого не делать, моя прелесть, мое сокровище, — («Давно бы так», — подумала Магда), — во-вторых, объясни мне, как

ты узнала мою фамилью». Она без всякой надобности солгала, что его, дескать, знает в лицо одна ее знакомая, которая их видела вместе на улице. «Кто такая?» — спросил с ужасом Кречмар. «Ах, простая женщина, родня, кажется, кухарки или горничной, служившей у тебя когда-то». Кречмар мучительно напряг память. «Я, впрочем, сказала ей, что она обозналась, — я умная девочка».

В автомобиле переливались пятнистые потемки, она сидела до одури близко, от нее шло какое-то блаженное, животное тепло, мимо окон проносился шумный сумрак ночного Тиргартена... «Я умру, если не буду ею обладать, или свихнусь», — подумал Кречмар и сказал: «В-третьих, насчет твоего переселения. Найди себе квартирку в две-три комнаты с кухней. Я за все заплачу. С условием, что ты мне позволишь к тебе заглядывать». — «Ты, кажется, забыл, Бруно, наш утренний разговор». — «Но это так опасно, — воскликнул Кречмар. — Вот, например, завтра я буду один приблизительно с четырех до шести. Но мало ли что может случиться...» Он себе представил, как жена, ненароком, воротится с дороги... Молодая художница, нужно ей помочь устроить выставку. «Но я же тебя поцелую, — тихо сказала Магда. — И знаешь, все в жизни всегда можно объяснить».

Всякая мысль о Магде, о ее тонком отроческом сложении и шелковистой коже, всегда вызывала у него дрожь в ногах, желание застонать. Обещанное прикосновение казалось таким блаженством, что дальше некуда. Однако за этим еще открывалась новая, невероятная даль: там ждал его взгляда тот самый образ, который еще недавно множество молодых живописцев так равнодушно и плохо рисовали, поднимая и опуская глаза. Но об этих скучных солнечных часах в студиях Кречмар ровно ничего не знал. Мало того, — на днях старый доктор Ламперт показывал ему папку рисунков углем, сделанных за последний год его сыном, и среди них был портрет голой стройной девочки с ожерельем на шее и с темной прядью вдоль склоненного лица. «Горбун вышел лучше», — заметил Кречмар, вернувшись к другому листу, где был изображен бородатый урод, со смело прочерченными морщинами. «Да, талантлив», — добавил он, захлопнув папку. И все. Он ничего не понял.

И сейчас его тряс озноб, он ходил по кабинету и смотрел в окно, и справлялся о времени у всех часов в доме.

Магда уже опоздала на двадцать минут. «Подожду до половины и спущусь на улицу, — прошептал он, — а то уже будет поздно, поздно, — у нас так мало времени...»

Окно было открыто. Сиял мокрый весенний день, по желтой стене дома напротив струилась тень дыма из теневой трубы. Кречмар высунулся по пояс, опираясь пальцами о подоконник. «Боже мой, следовало ей твердо сказать: ко мне нельзя». В это мгновение он завидел ее, — она переходила улицу, без пальто, без шляпы, словно жила поблизости.

«Есть еще время сбежать, не пустить», — подумал он, но вместо этого вышел в прихожую и, когда услышал ее легкий шаг на лестнице, бесшумно открыл дверь.

Магда, в коротком, ярко-красном платье, с открытыми руками, улыбаясь, взглянула в зеркало, потом повернулась на одной ноге, приглаживая затылок. «Ты роскошно живешь», — сказала она, сияющими глазами окидывая широкую прихожую, пистолеты и сабли на стене, прекрасную темную картину, кремовый кретон вместо обоев. «Сюда?» — спросила она, толкнув дверь, и, войдя, продолжала бегать глазами по сторонам.

Он, замирая, взял ее одной рукой за талию и вместе с ней глядел на люстру, на шелковую мебель, словно и сам был чужой здесь, — но видел, впрочем, только солнечный туман, все плыло, кружилось, и вдруг под его рукой что-то дивно дрогнуло, бедро ее чуть поднялось, она двинулась дальше. «Однако, — сказала она, перейдя в следующую комнату, — я не знала, что ты так богат, какие ковры...»

Буфет в столовой, хрусталь и серебро так на нее подействовали, что Кречмару удалось незаметно нащупать ее ребра и — повыше — горячую, нежную мышцу. «Дальше», — сказала она, облизнувшись. Зеркало отразило: бледного, серьезного господина, идущего рядом с девочкой в красном платье. Он осторожно погладил ее по голой руке, теплой и удивительно ровной, — зеркало затуманилось... «Дальше», — сказала Магда.

Он жаждал поскорее привести ее в кабинет, сесть с ней на диван; вернись жена, все было бы просто: посетительница, по делу...

«А там что?» — спросила Магда.

«Там детская. Ты все уже осмотрела, пойдем в кабинет».

«Пусти», — сказала она, заиграв ключицами.

Он всей грудью вздохнул, словно не дышал все то время, пока держал ее, идя с нею рядом.

«Детская, Магда, — я тебе говорю: детская».

Она и туда вошла. У него было странное желание вдруг крикнуть ей: пожалуйста, ничего не трогай. Но она уже держала в руках толстую морскую свинку из плюша. Он взял это из ее рук и бросил в угол. Магда засмеялась. «Хорошо живется твоей девочке», — сказала она и открыла следующую дверь.

«Магда, полно, — сказал с мольбой Кречмар. — Не юли так. Отсюда не слышно, кто-нибудь может прийти. Все это страшно рискованно».

Но она, как взбалмошный ребенок, увернулась, через коридор вошла в спальню. Там она села у зеркала, перекинула ногу на ногу, повертела в руках щетку с серебряной спинкой, понюхала горлышко флакона.

«Пожалуйста, оставь», — сказал Кречмар. Тогда она вскочила, отбежала к двуспальной кровати и села на край, по-детски поправляя подвязку и показывая кончик языка.

«...А потом застрелюсь...» — быстро подумал Кречмар.

Но она опять отскочила и, увильнув от его рук, выбежала из комнаты. Он кинулся за ней. Магда захлопнула дверь и, громко дыша и смеясь, повернула снаружи ключ (ах, как колотила в дверь бедная Левандовская!..).

«Магда, отопри», — тихо сказал Кречмар. Он услышал ее быстро удаляющиеся шаги. «Отопри», — повторил он громче. Тишина. Полная тишина. «Опасное существо, — подумал он. — Какое, однако, фарсовое положение». Он испытывал страх, досаду, мучительное чувство обманутой жажды... Неужели она ушла? Нет, кто-то ходил по квартире. Кречмар легонько стукнул кулаком и крикнул: «Отопри, слышишь!» Шаги приблизились. Это была не Магда.

«Что случилось? — раздался неожиданный голос Макса. — Что случилось? Ты заперт?» (Боже мой, ведь у Макса был ключ от квартиры!)

Дверь открылась. Макс был очень красен. «В чем дело, Бруно?» — спросил он с тревогой.

«Глупейшая история... Я сейчас тебе расскажу... Пойдем в кабинет, выпьем по рюмке».

«Я испугался, — сказал Макс. — Я думал, Бог знает что случилось. Хорошо, знаешь, что я зашел. Аннелиза мне говорила, что будет дома к шести. Хорошо, что я пришел

раньше. Хорошо, знаешь. Я думал прямо не знаю что. Кто тебя запер?»

Кречмар стоял к нему спиной, доставая бутылку коньяку из шкафа. «Ты никого не встретил на лестнице?» — спросил он, стараясь говорить спокойно.

«Нет, я приверженец лифта», — ответил Макс.

«Пронесло», — подумал Кречмар и очень оживился.

«Понимаешь, какая штука, — сказал он, наливая коньяк, — был вор. Этого не следует, конечно, сообщать Аннелизе, но был вор. Понимаешь, он думал, очевидно, что никого нет дома, знал, что ушла прислуга. Вдруг слышу шум. Выхожу в коридор, вижу: бежит человек — вроде рабочего. Я за ним. Хотел его схватить, но он оказался ловчее и запер меня. Потом я слышал, как стукнула дверь, — вот я и думал, что ты его встретил».

«Ты шутишь», — сказал Макс с испугом.

«Нет, совершенно серьезно...»

«Но ведь он, вероятно, успел стащить что-нибудь. Нужно проверить. Нужно заявить в полицию».

«Ах, он не успел, — сказал Кречмар. — Все это произошло мгновенно, я его спугнул».

«Но как же он проник? С отмычкой, что ли? Невероятно! Пойдем, посмотрим».

Они прошли по всем комнатам, проверили замки дверей и шкафов. Все было чинно и сохранно. Уже к концу их исследования, когда они проходили через библиотечную, у Кречмара вдруг потемнело в глазах, ибо между шкафами, из-за вертучей этажерки, выглядывал уголок ярко-красного платья. Каким-то чудом Макс ничего не заметил, хотя рыскал глазами по сторонам. В столовой он распахнул створки буфета.

«Оставь, Макс, довольно, — сказал Кречмар хрипло. — Ясно, что он ничего не взял».

«Какой у тебя вид, — сказал Макс. — Бедный! Я понимаю, такие вещи действуют на нервы».

Донеслись звуки голосов. Явились: Аннелиза, бонна, Ирма, подруга Ирмы — толстая с неподвижным, кротким лицом, но аховая озорница. Кречмару казалось, что он спит, и вот — тянется, тянется самый страшный сон, который он когда-либо видел. Присутствие Магды в доме было чудовищно, невыносимо. Он предложил всем отправиться в театр, но Аннелиза сказала, что утомлена. За ужином он

напрягал слух и не замечал, что ест. Макс все посматривал по сторонам, — только бы сидел на месте, только бы не разгуливал. Была ужасная возможность: дети начнут резвиться по всем комнатам. Но к счастью, подруга Ирмы скоро ушла. Ему казалось, что все они — и Макс, и жена, и прислуга, и он сам — беспрестанно как-то расползаются по всей квартире и не дают Магде выскользнуть, выбраться, — если вообще она собирается это сделать. Больше компактности, — сыграем, что ли, в преферанс. В десять Макс наконец ушел. Прислуга замкнула за ним дверь на цепочку, задвинула стальной засов, включила контрольный звонок, — теперь не выбраться, заперта. «Спать, спать», — сказал Кречмар жене, нервно зевая. Они легли. Все было тихо в доме. Вот Аннелиза собралась потушить свет. «Ты спи, — сказал он, — а я еще пойду почитаю. У меня сон пропал». Она дремотно улыбнулась. «Только потом не буди меня», — пробормотала она. В спальне потемнело.

Все было тихо, выжидательно тихо, казалось, что тишина не выдержит и вот-вот рассмеется. В пижаме и в мягких туфлях, Кречмар бесшумно пошел по коридору. Странно сказать: страх рассеялся; кошмар теперь перешел в то несколько бредовое, но блаженное состояние, когда можно сладко и свободно грешить, ибо жизнь есть сон. Кречмар на ходу расстегнул ворот пижамы: все в нем содрогалось, — ты сейчас, вот сейчас будешь моей. Он тихо открыл дверь библиотечной и включил свет. «Магда, сумасшедшая», — сказал он жарким шепотом... Это была красная шелковая подушка с воланами, которую он сам же на днях принес, чтобы на полу, у низкой полки, просматривать фолианты.

VI

Магда сообщила хозяйке, что скоро переезжает. Все складывалось чудесно, — она и не мечтала, что Кречмар столь богат. В воздухе его жилья она почуяла добротность и основательность его богатства. Жена, судя по портретам, нимало не походила на даму с властным лицом, опухшими ногами и тяжелым характером, которую Магда представляла себе; напротив, это, видно, была смирная, нехваткая женщина, которую можно отстранить без труда. Сам Кречмар не только не был Магде противен, — он даже нравился

ей. У него была мягкая, благородная наружность, от него веяло душистым тальком и хорошим табаком. Разумеется, густое счастье ее первой любви было неповторимо. Она запрещала себе вспоминать Мюллера, меловую бледность его щек, горячий мясистый рот, длинные, всепонимающие руки. Когда она все-таки вспоминала, как он покинул ее, ей сразу опять хотелось выпрыгнуть из окна или открыть газовый кран. Кречмар мог до некоторой степени успокоить ее, утолить жар, — как те прохладные листья подорожника, которые так приятно прикладывать к воспаленному месту. А кроме всего — Кречмар был не только прочно богат, он еще принадлежал к тому миру, где свободен доступ к сцене, к кинематографу. Нередко, заперев дверь, Магда делала перед зеркалом страшные глаза или расслабленно улыбалась, а не то прижимала к виску подразумеваемый револьвер, и ей сдавалось, что у нее это выходит вовсе не хуже, чем в Холливуде.

После вдумчивых и осмотрительных поисков она нашла в отличном районе неплохую квартиру. Кречмар так растерялся и обмяк после ее визита, что она пожалела его, сразу взяла деньги, которые он ей сунул во время обычной прогулки, — и в подъезде поцеловала его. Пламя этого поцелуя осталось при нем и вокруг него, будто смутный, цветной ореол, в котором он и вернулся домой и который он не мог оставить в передней, как шляпу, и, войдя в спальню, он недоумевал, неужто жена не увидит по его глазам, что случилось.

Но Аннелиза, тридцатипятилетняя, мирная Аннелиза, ни разу не подумала о том, что муж может ей изменить. Она знала, что у Кречмара были до женитьбы мелкие увлечения, она помнила, что и сама, девочкой, была тайно влюблена в старого актера, который приходил в гости к отцу и смешно изображал говор саксонца; она слышала и читала о том, что мужья и жены вечно изменяют друг другу, — об этом были и сплетни, и поэмы, и анекдоты, и оперы. Но она была совершенно просто и непоколебимо убеждена, что ее брак — особенный брак, драгоценный и чистый, из которого ни анекдота, ни оперы не сделаешь. Раздражительность и нервность мужа она объясняла погодой, — май выдался необыкновенно странный, то жарко, то ледяные дожди с градом, который звякал о стекла и таял на подоконниках. «Не поехать ли нам куда-нибудь? —

вскользь предложила она. — В Тироль, скажем, или в Рим?» — «Поезжай, если хочешь, — ответил Кречмар. — У меня дела по горло, ты отлично знаешь». — «Да нет, я просто так», — примирительно сказала Аннелиза и отправилась с дочкой смотреть на слоненка в Зоологическом Саду.

Другое дело Макс. История с запертой дверью оставила в нем неприятный осадок. Кречмар не только не заявил в полицию, но даже как будто рассердился, когда Макс об этом опять заговорил. Человек, который вступает в рукопашную со взломщиком, не так-то легко примиряется с этим. Макс невольно задумывался, — старался установить, не заметил ли он все-таки кого-нибудь подозрительного, когда входил в дом, направляясь к лифту. Ведь он был наблюдателен, — он заметил, например, кошку, которая выскочила из палисадника, девочку в красном платье, для которой придержал дверь, пучок звуков, доносившихся из швейцарской, где играло радио. Очевидно, взломщик притаился, пока полз вверх тонкостенный лифт. Но откуда все-таки это зыбкое, неприятное чувство?

В молодости он как-то упустил жениться, жил один, был давно в связи с пожилой, увядшей актрисой, которая все еще ухитрялась ему изменять и потом всякий раз валялась у него в ногах, несказанно его этим смущая; дельно заведовал театральной конторой, слыл отличным гастрономом и немного этим гордился; писал, несмотря на свою толщину, стихи, которых никому не показывал, и состоял в обществе покровительства животных. Супружеское счастье Кречмаров было для него чем-то пленительно святым. Когда, через несколько дней после истории со взломщиком, телефонная Парка соединила его с Кречмаром, пока тот говорил с кем-то другим, Макса так ошеломили невольно перехваченные слова, что он проглотил кусочек спички, которой копал в зубах. Слова были такие: «...не спрашивай, а покупай что хочешь, только не звони мне...» — «Но ты не понимаешь, Бруно...» — привередливо и нежно проговорил женский голос... Тут Макс повесил трубку, судорожным движением, словно нечаянно схватил змею.

Вечером, сидя в смугло-озаренной гостиной с сестрой и зятем, Макс не знал, как держаться, о чем говорить. Он был из тех впечатлительных людей, которые краснеют до

слез от чужой неловкости. Теперь же случилось нечто во сто крат худшее.

«Нет, нет, это ошибка, это глупое недоразумение», — уговаривал он себя, глядя на спокойное лицо Кречмара, читавшего журнал, на его мягкие домашние туфли, на тщательность, с которой он разрезал страницы ножом из слоновой кости... «Не может быть... Меня навела на эти мысли тогдашняя история. Слова, которые я выхватил из воздуха, объясняются как-нибудь очень просто. И как же можно обманывать Аннелизу?» Она сидела в углу дивана и подробно, добросовестно рассказывала содержание пьесы, которую недавно видела. У нее были светлые, пустые глаза, лоснился нос, — тонкий, милый нос. Макс кивал и улыбался. Он, впрочем, не понимал ни слова, точно она говорила по-русски или по-испански.

VII

Между тем Магда сняла приглянувшуюся ей квартиру, наняла кухарку, накупила немало хозяйственных вещей, начиная с сервиза и кончая туалетной бумагой, заказала визитные карточки и занялась прихорашиванием комнат. Любопытно, что, невзирая на то, что Кречмар щедро — и даже с каким-то умилением — раскошелился, платил-то он, собственно, вслепую, ибо не только не видал снятой квартирки, но даже не знал адреса: Магда уговорила его, что этак гораздо забавнее, будет ему сюрприз, ничего, что несколько дней пройдет без встреч, она по телефону сообщит ему адрес, когда все будет готово, и тогда он сразу примчится. Прошла неделя, предполагалось, что она позвонит в четверг, и он весь день сторожил телефон. Но телефон блестел и молчал. В пятницу он решил, что Магда надула его и навсегда исчезла. Под вечер явился Макс (эти посещения были теперь адом для Макса), Аннелизы не было дома. Макс сел в кабинете против Кречмара и не знал, о чем говорить. Кречмар давно заметил, что Макс держится странно. «Вероятно, с делами неурядицы», — смутно подумал он. Макс курил и смотрел на кончик своей сигары. Он даже как будто похудел за последнее время. «Выследил, — с минутным содроганием подумал Кречмар. — Ну и пускай. Он мужчина, он должен понять». (Это

была очень фальшивая мысль.) Вошла Ирма, и Макс оживился, посадил ее к себе на колени, смешно ёкнул, когда она, садясь, нечаянно въехала кулачком в его упругий живот. Аннелиза вернулась. Кречмару вдруг показалась невыносимой перспектива ужина, длинного вечера. Он объявил, что не ужинает дома, пожал плечами, когда жена ласково спросила, почему он раньше не предупредил, поцеловал дочку в лоб и, торопясь, вышел.

Им владело одно желание: во что бы то ни стало, сейчас же, разыскать Магду, — судьба не имела права, посулив такое блаженство, притвориться, что ничего не обещано. Его охватило такое отчаяние, что он решился на довольно опасный шаг. Он знал, что прежняя ее комната выходила во двор, он знал также, что она там жила со своей теткой. Туда-то он и направился. Проходя через двор, он увидел какую-то горничную, стелившую в одной из нижних комнат у открытого окна постель. «Фрейлейн Петерс? — переспросила она. — Кажется, съехала. Впрочем, посмотрите сами. Пятый этаж, левая дверь».

Кречмару открыла растрепанная женщина с красными глазами, но цепочки не сняла, говорила с ним через щелку. «Я хочу узнать новый адрес фрейлейн Петерс, — сказал Кречмар. — Она тут жила со своей теткой». — «С теткой?» — не без интереса произнесла женщина и только тогда сняла цепочку. Она его ввела в крохотную комнату, где все дрожало и звякало от малейшего движения и где на клеенчатой скатерти стояла тарелка с картофельным пюре, соль в прорванном мешочке, три пустых бутылки из-под пива, — и, как-то загадочно улыбаясь, предложила ему сесть.

«Если бы я была ее теткой, — сказала она, подмигнув, — то, вероятно, я не знала бы ее адреса. Тетки, — добавила она, — никакой, собственно, у нее нет». «Пьяна», — подумал с тоской Кречмар. «Послушайте, — проговорил он, — я вас прошу сказать мне, куда она переехала». — «Она у меня снимала комнату», — задумчиво сказала та, с горечью размышляя о неблагодарности Магды, скрывшей и богатого друга, и новый свой адрес, который, впрочем, оказалось нетрудно вынюхать. «Как же быть? — воскликнул Кречмар. — Где же я могу узнать?» Хозяйке стало жаль его. Она не могла решить, удовольствие или неприятность доставит она Магде тем, что сообщит адрес этому нарядному,

взволнованному, синеглазому господину, — но было так грустно смотреть на него, что она, вздохнув, дала ему нужную справку. «И за мной раньше охотились, и за мной, — бормотала она, провожая его, — да-да, и за мной...»

Было около восьми, легкие сумерки оживлялись нежными оранжевыми огнями, небо было еще совсем голубое, и от него кружилась голова. «Сейчас будет рай», — думал Кречмар, летя в таксомоторе по дымчатому асфальту.

На двери была ее визитная карточка. Угрюмая бабища, с красными, как сырое мясо, руками пошла о нем доложить. «Уже кухарку завела, — восторженно подумал Кречмар. — Вот мы какие». «Пожалуйте», — сказала та, вернувшись. Он пригладил волосы и вошел. Магда в кимоно лежала на цветистой кушетке, заломив обнажившиеся руки; на животе у нее покоилась корешком вверх открытая книга. Комната была донельзя безвкусно обставлена, и это его растрогало.

«Ну, здравствуй», — сказала Магда, протягивая руку с несвойственной ей ленивой томностью.

«Ты как будто знала, что я сегодня приду, — прошептал он, сдерживая смех. — Спроси, как я выюлил твой адрес».

«Я же тебе написала адрес», — проговорила она, держа его за пальцы.

«Нет, это было уморительно, — продолжал Кречмар, не слушая ее и с нарастающим чувством наслаждения глядя на эти подвижные губы, которые он сейчас поцелует. — Это было уморительно... И ты очень гадкая, что выдумала тетку».

«Зачем ты ходил туда? — произнесла Магда недовольно. — Ведь я же написала тебе мой адрес. Справа наверху, совершенно отчетливо».

«Наверху? Отчетливо? — удивленно повторил Кречмар. — О чем ты?»

Она хлопнула по книге и слегка привстала.

«Да ведь письмо ты получил?»

«Какое письмо?» — спросил Кречмар, и вдруг приложил ладонь ко рту, и глаза его расширились.

«Я сегодня утром послала тебе письмо, — сказала Магда, глядя на него с любопытством. — Я так и рассчитала, что ты с вечерней почтой получишь его и сразу придешь».

«Не может быть», — выговорил Кречмар.

«Ах, я могу тебе пересказать. Дорогой, любимый Бруно,

гнездышко свито, и я жду тебя. Только не целуй слишком крепко, а то у твоей девочки может закружиться головка... Все».

«Магда, — сказал он тихо. — Магда, что ты наделала... Ведь я ушел раньше. Ведь почта приходит в без четверти восемь. Ведь сейчас...»

«Опять я виновата, — сказала она. — Не смей на меня сердиться. Я ему так мило пишу, а он... Прямо обидно».

Она дернула плечом, взяла книгу и повернулась на бок. На левой странице была картинка: Грета Гарбо, гримирующаяся перед зеркалом.

Кречмар мельком подумал: «Как странно, — случается катастрофа, а человек замечает какую-то картинку». Часы показывали без двадцати восемь. Магда лежала, изогнутая и неподвижная, как ящерица.

«Ты же меня погубила... Ты меня», — начал он, но не докончил и выбежал из комнаты, загремел вниз по лестнице, замахал проезжавшему таксомотору, вскочил в него, — и, сидя на краешке, подавшись вперед, глядел на спину шофера и бормотал: «Что же это такое, Господи... я не успею... я не успею...»

Автомобиль остановился. Он выпрыгнул. Близ палисадника знакомый почтальон, расставив ноги хером, говорил с толстяком швейцаром. «Мне есть письма?» — задыхаясь спросил Кречмар. «Только что отнес к вам наверх», — ответил почтальон с дружелюбной улыбкой.

Кречмар поднял глаза. Окна его квартиры были нежно освещены. Он почувствовал, что теряет власть над собой, и, чтобы только не оставаться на одном месте, вошел в дом, начал подниматься. Одна площадка. Вторая. Молодая художница, ей нужно устроить выставку. Знаешь, был вор, я хотел его схватить... Землетрясение, бездна... Она уже прочла, она уже все знает. Кречмар, не дойдя до своей двери, вдруг повернул и побежал вниз. Мелькнула кошка, гибко скользнула сквозь решетку.

Через пять минут он опять вошел в ту комнату, в которую недавно входил с таким счастливым трепетом. Магда лежала на кушетке, все в той же позе застывшей ящерицы. Книга была открыта все на той же странице — гримирующаяся Грета. Он сел поодаль на стул и принялся трещать суставами пальцев.

«Перестань», — сказала Магда, не поднимая головы.

Он перестал, но вскоре начал опять.

«Ну что же, письмо пришло?»

«Ах, Магда...» — тихо произнес он и прочистил горло. Потом снова прочистил еще громче и сказал петушиным голосом: «Поздно, поздно, почтальон уже выходил».

Он встал, прошелся раза два по комнате, высморкался и сел снова на то же место.

«Она читает все мои письма, ты ведь это знаешь...» — проговорил он, глядя сквозь дрожащий туман на носок своего башмака и легонько топая им по расплывчатому узору на ковре.

«Ты бы ей запретил».

«Ах, Магда, что ты понимаешь в этом... Так было заведено, так было всегда... Особенно по вечерам. Были всякие смешные письма... Как ты могла... Я просто не знаю, что она сделает теперь. Ведь не может быть такого чуда... Ну хоть этот раз, хоть этот, — была занята другим, отложила, забыла... Ты понимаешь, Магда, что это бессмысленно, — чудес не бывает».

«Ты только не выходи в прихожую, когда она прикатит. Я одна к ней выйду».

«Кто? Когда?» — спросил он, неясно представив себе почему-то давешнюю полупьяную женщину.

«Когда? Вероятно, сейчас. У нее ведь теперь есть мой адрес».

Кречмар все не понимал.

«Ах, ты вот о чем, — сказал он наконец. — Вот о чем... Боже мой, какая же ты глупая, Магда. Поверь, что как раз это никак не может случиться. Все, — но только не это...»

«Тем лучше», — подумала Магда, и ей стало вдруг чрезвычайно весело. Посылая письмо, она рассчитывала на гораздо меньшее: муж не показывает, жена злится, топает ногой, старается вырвать... Первая брешь сомнения была бы пробита, и это облегчило бы Кречмару дальнейший путь. Теперь же случай помог, все разрешилось одним махом. Она отложила книгу и посмотрела с улыбкой на его дрожащие губы. С ним происходило неладное, — наступила чрезвычайно важная минута, — и если не принять должных мер... Магда вытянулась, хрустнула плечами, почувствовала в своем стройном теле вполне приятное предвкушение и сказала, глядя в потолок:

«Пойди сюда, Бруно».

Он подошел; сокрушенно мотая головой, сел на край кушетки.

«Обними же меня, — произнесла она, жмурясь, — уж так и быть — я тебя утешу».

VIII

Берлин, майское утро, еще очень рано. В плюще егозят воробьи. Толстый автомобиль, развозящий молоко, шелестит шинами, словно по шелку. В слуховом окошке на скате черепичной крыши отблеск солнца. Воздух еще не привык к звонкам, к гудкам, и принимает, и носит эти звуки как нечто новое, ломкое, дорогое. В палисадниках цветет сирень; белые бабочки, несмотря на утренний холодок, летают там и сям, будто в деревенском саду. Все это окружило Кречмара, когда он вышел из дома, где провел ночь.

Он чувствовал мертвую зыбь во всем теле, — и есть хотелось, и вместе с тем слегка поташнивало, и все было какое-то чужое, — неуютное прикосновение белья к коже, нервное ощущение небритости. Не диво, что был он так опустошен: эта ночь явилась той, о которой он, в конце концов, только и думал с маниакальной силою всю жизнь. Разнузданность этой шестнадцатилетней девочки лишь обострила его счастье, — уже по тому, как она сводила лопатки, мурлыкала, закидывала голову, когда он только еще раздевал ее, щекотал ее губами, Кречмар понял, что не холодноватая поволока невинности ему нужна, а вот именно эта резвая природная отзывчивость. Тогда и он сразу, как в самых своих распущенных снах, сбросил с себя привычное бремя робкой и неуклюжей сдержанности. В этих снах, посещавших его так давно, ему постоянно мерещилось, что он выходит из-за скалы на пустынный пляж, и вдруг навстречу — молоденькая купальщица. У Магды был точь-в-точь снившийся ему очаровательный очерк, — развязная естественность наготы, точно она давно привыкла бегать раздетой по взморью его снов. Она была подвижна и неутомонна, — жаркое дыхание, акробатические ласки, после краткого полуобморока она оживлялась снова, — подпрыгивала на матраце и, смеясь, перелезала через грядку кровати и ходила по комнате, нарочито виляя

отроческими бедрами, глядясь в зеркало и грызя сухую, оставшуюся с утра, булочку.

Заснула она как-то вдруг — будто замолкла на полуслове, — уже тогда, когда в комнате электричество стало оранжевым, а окно дымно-синим. Кречмар направился в ванную каморку, но, добыв из крана только несколько капель ржавой воды, вздохнул, двумя пальцами вынул из ванны мочалку, посмотрел на подозрительно розовое мыло, подумал, что прежде всего придется научить Магду чистоте. Брезгливо одевшись и положив на столик записку, он полюбовался, как спит Магда, прикрыл ее периной, поцеловал в теплые, растрепанные, темные волосы и тихо вышел.

И теперь, шагая вдоль пустой улицы и проникаясь жалостью к прозрачному, невинному утру, он понимал, что начинается расплата, — и постепенно, тяжелыми волнами, приливали думы о жене, о дочери. Когда он увидел дом, где прожил с Аннелизой так долго, когда тронулся лифт, в котором лет девять тому назад поднялись румяная мамка с его ребенком на руках и очень бледная, очень нежная Аннелиза, — когда он остановился перед дверью, на которой холодно и безгрешно золотилась его фамилия, Кречмар почти был готов отказаться от повторения этой ночи, — только бы случилось чудо. Он говорил себе, что, если все-таки Аннелиза письма не прочла, ночное свое отсутствие он объяснит как-нибудь, — даже пожертвует своей репутацией трезвенника, — напился пьян, буянил, мало ли что бывает... Однако следовало отпереть вот эту дверь, и войти, и увидеть... что увидеть? Это просто нельзя было представить себе. «Может быть, не войти вовсе, оставить все так, как есть, уехать, зарыться...» Вдруг он вспомнил, как на войне приходилось покидать прикрытие.

В прихожей он замер, прислушиваясь. Тишина. Обычно в этот утренний час квартира бывала уже полна звуков, — шумела где-то вода, бонна звонко говорила с Ирмой, в столовой звякала горничная... Тишина. Посмотрев в угол, он заметил в стойке женин зонтик. Внезапно появилась Фрида, — почему-то без передника, — и сказала с отчаянием в голосе: «Госпожа с маленькой барышней уехали, еще вечером уехали». — «Куда?» — спросил Кречмар, глядя в угол. Фрида все объяснила, говоря скоро и крикливо, а потом разрыдалась и, рыдая, взяла из его рук шляпу

и трость. «Вы будете пить кофе?» — спросила она сквозь слезы. «Да, все равно, кофе...»

В спальне был многозначительный беспорядок. Желтое платье жены лежало на постели. Один из ящиков комода был выдвинут. Со стола исчезли портреты покойного тестя и дочери. Завернулся угол ковра.

Он поправил ковер и тихо пошел в кабинет. Там, на бюваре, лежало несколько распечатанных писем. Какой детский почерк у Магды. Драйеры приглашают на бал. От Горна, — пустые любезности через океан. Счет от дантиста.

Часа через два явился Макс. Он, видно, неудачно побрился: на толстой щеке был черный крест пластыря. «Я приехал за ее вещами», — сказал он на ходу. Кречмар пошел за ним следом и молча смотрел, как он и Фрида торопливо, словно спеша на поезд, наполняют сундук. «Не забудьте зонтик», — проговорил Кречмар вяло. Потом в детской повторилось то же самое. В комнате бонны уже стоял аккуратно запертый чемодан, — взяли и его.

«Макс, на два слова», — пробормотал Кречмар и, кашлянув, пошел в кабинет. Макс последовал за ним и стал у окна. «Это катастрофа», — сказал Кречмар. Молчание.

«Одно могу вам сообщить, — произнес наконец Макс, глядя в окно. — Аннелиза едва ли выживет. Вы... она...» — Макс осекся, и черный крест на его щеке несколько раз подпрыгнул.

«Она все равно что мертвая. Вы ее... вы с ней... Собственно говоря, вы такой подлец, каких мало».

«Ты очень груб», — сказал Кречмар и попробовал улыбнуться.

«Но ведь это же чудовищно, — вдруг крикнул Макс, впервые с минуты прихода посмотрев на него. — Где ты подцепил ее? Почему эта паскудница смеет тебе писать?»

«Но, но, потише», — произнес Кречмар с бессмысленной угрозой.

«Я тебя ударю, честное слово, ударю!» — продолжал еще громче Макс.

«Постыдись Фриды, — пробормотал Кречмар. — Она ведь все слышит. Это катастрофа».

«Ты мне ответишь?» — и Макс хотел его схватить за лацкан. Кречмар вяло шлепнул его по руке.

«Не желаю допроса, — сказал он, — все это крайне оскорбительно. Может быть, это странное недоразумение. Может быть, ничего такого нет...»

«Ты лжешь, — заорал Макс и стукнул об пол стулом. — Ты лжешь! Я только что был у нее. Продажная девчонка, которую следует отдать в исправительный дом. Я знал, что ты будешь лгать. Как ты мог, негодяй! Ведь это даже не разврат, это...»

«Довольно, довольно», — задыхающимся голосом перебил Кречмар.

Проехал грузовик, задрожали стекла окон.

«Эх, ты, — сказал Макс с неожиданным спокойствием и грустью. — Кто мог подумать...»

Он вышел. Фрида всхлипывала в прихожей. Кто-то выносил сундуки. Потом все стихло.

IX

В полдень Кречмар с одним чемоданом переехал к Магде. Фриду оказалось нелегко уговорить остаться в пустой квартире. Она наконец согласилась, когда он предложил, чтобы в бывшую комнату бонны вселился бравый вахмистр, Фридин жених. На все телефонные звонки она должна была отвечать, что Кречмар с семьей неожиданно отбыл в Италию.

Магда встретила его холодно. Утром ее разбудил бешеный толстяк, искал Кречмара и дважды назвал ее потаскухой. Кухарка, женщина недюжинных сил, вытолкала его вон. «Эта квартира, собственно говоря, рассчитана на одного человека», — сказала она, взглянув на чемодан Кречмара. «Пожалуйста, я прошу тебя», — взмолился он. «Вообще нам придется еще о многом поговорить, я не намерена выслушивать грубости от твоих идиотов родственников», — продолжала она, расхаживая по комнате в красном шелковом халатике, дымя папиросой. Темные волосы налезали на лоб, это придавало ей нечто цыганское.

После обеда она поехала покупать граммофон, — почему граммофон, почему именно в этот день? Разбитый, с сильной головной болью, Кречмар остался лежать на кушетке в безобразной гостиной и думал: «Вот случилось что-то неслыханное, а я в конце концов довольно спокоен.

У Аннелизы обморок длился двадцать минут, и потом она кричала, — вероятно, это было невыносимо слушать, — а я спокоен... Развестись я с ней не могу, потому что все-таки она моя жена, — и нет у меня никакого внутреннего права на развод, — я Аннелизу люблю, я, конечно, застрелюсь, если она умрет из-за меня. Интересно, как объяснили Ирме переезд на квартиру Макса, спешку, бестолочь. Как противно Фрида говорила об этом: "И она кричала, и она кричала", — с ужасным ударением на "и". Странно, Аннелиза никогда в жизни не повышала голоса».

На следующий день, пользуясь отсутствием Магды, которая отправилась накупить пластинок, Кречмар составил жене длинное письмо, в котором совершенно искренне, но слишком красноречиво объяснял, что любит ее как прежде, — несмотря на увлечение, «разом испепелившее наше семейное счастье». Он плакал, и прислушивался, не идет ли Магда, и продолжал писать, плача и шепча. Он просил прощения у жены, просил беречь дочь, не давать ей возненавидеть недостойного, но несчастного отца, — однако из письма не было видно, готов ли он от увлечения отказаться, коли жена простит. Ответа он не получил.

Тогда он понял, что, если не хочет мучиться, должен оподлиться безусловно, безоговорочно, и вымарать образ семьи из памяти, и всецело отдаться чудовищной, безобразной, почти болезненной страсти, которую возбуждала в нем веселая красота Магды. Она же была всегда готова разделить с ним любовную падучую, сколько угодно, в любое время дня и ночи, это только освежало ее, она была резва, беспечна, — благо врач еще в прошлом году объяснил ей, что забеременеть она неспособна. Кречмар научил ее каждое утро принимать ванну с мылом, вместо того чтобы только мыть шею и руки, как она делала раньше. Ногти у нее были теперь всегда чистые, и не только на руках, но и на ногах отливали земляничным лаком. Она сбрила темно-русые волоски под мышками и больно порезалась жиллетным клинком. Вид крови в ней вызывал тошноту и головокружение. Кречмар бросился в аптеку, принес желтой ваты, йоду, еще чего-то.

Он открывал в ней все новые очарования, — а то, что в другой показалось бы ему вульгарным лукавством или грубым бесстыдством, в Магде — только трогало и смешило его. Еще полудетское очертание ее тела и откровенное

сластолюбие, — медленное погасание этих продолговатых глаз, словно постепенно темнеющие слои света в театральном зале, доводили его до такого безумия, что он вконец утрачивал всякое телесное приличие — ту сдержанность, которой отличались его классические объятия со стыдливой женой.

Он почти не выходил из дому, боясь встретить знакомых, и отпускал от себя Магду скрепя сердце, и то лишь утром, — на охоту за чулками и шелковым бельем. Его удивляло в ней отсутствие любознательности, — она не спрашивала ничего из его прежней жизни, принадлежа к числу тех людей, которые представляют себе ближнего по известной схеме и схеме этой доверяют вполне. Он старался, иногда, занять ее своим прошлым, говорил о детстве, о матери, которую помнил лишь смутно, и об отце, крутом сангвинике, любившем своих лошадей, своих собак, дубы и пшеницу своего поместья, и умершего внезапно, — и отчего? — от сочного, тряского смеха, которым разразился в бильярдной, где гость-краснобай, шмякая кулаком в ладонь, выкрякивал сальный анекдотец.

«Какой? Расскажи», — попросила Магда, облизнувшись, но он не знал какой.

Он говорил далее о ранней своей страсти к живописи, о работах своих, о ценных находках, о том, как чистят картину — чесноком и толченой смолой, — как старый лак обращается в пыль, как под фланелевой тряпкой, смоченной скипидаром, исчезает грубая, черная тень и вот расцветает баснословная красота — голубые холмы, излучистая восковая тропинка, маленькие пилигримы...

Магду занимало главным образом, сколько стоит такая картина.

Когда же он говорил о войне, о том, как он мучился в окопах, она удивлялась, почему он, ежели богат, не устроился в тылу. «Какая ты смешная! — восклицал Кречмар, целуя ее в шею. — Господи, какая ты смешная!..»

Магде бывало скучно по вечерам, — ее влекли кинематографы, нарядные кабаки, негритянская музыка. «Все будет, все будет, — говорил он. — Ты только потерпи, дай мне отдышаться, сообразить, обвыкнуть. У меня всякие планы... Мы еще махнем куда-нибудь, вот увидишь...»

Он оглядывал гостиную, и его поражало, что он, не терпевший безвкусия в вещах, полюбил это нагромождение

ужасов, эти модные мелочи обстановки, которыми без разбора пленялась Магда. На все падал отсвет его страсти и все оживлял.

«Мы очень мило устроились, правда, Магда?»

Она снисходительно соглашалась. Она знала, что все это только временно. Воспоминание о богатой квартире Кречмара было неотразимо, но, конечно, не следовало спешить.

Как-то, в начале июня, Магда пешком шла от модистки и уже приближалась к дому, когда кто-то сзади схватил ее за руку, повыше локтя. Она обернулась. Это был ее брат Отто. Он неприятно ухмыльнулся. Поодаль, тоже ухмыляясь, но сдержаннее, стояли двое его товарищей.

«Здравствуй, дитя, — сказал он. — Нехорошо забывать родных».

«Оставь мой локоть», — тихо произнесла Магда, опустив ресницы.

Отто подбоченился. «Как ты мило одета, — проговорил он, оглядывая ее с головы до ног, — прямо, можно сказать, дамочка».

Магда повернулась и пошла. Но он опять схватил ее и сделал ей больно. «Ау-уа!» — тихо вскрикнула она, как бывало в детстве.

«Ну-ка ты, — сказал Отто. — Я уже третий день наблюдаю за тобой. Знаю, как ты живешь. Однако мы лучше отойдем отсюда...»

«Пусти, пусти», — прошептала Магда, стараясь отлепить его пальцы. Кое-кто из прохожих остановился и смотрел, мечтая о скандале. Дом был совсем близко. Кречмар мог случайно выглянуть в окно. Это было бы плохо.

Она тронулась, поддаваясь его нажиму. Отто повел ее за угол. Подошли, осклабясь и болтая руками, остальные двое — Каспар и Курт. «Что тебе нужно от меня?» — спросила Магда, с ненавистью глядя на мятый картуз брата, на папиросу за ухом, на голую бычью шею. Он мотнул головой: «Пойдем вот туда — в кабак».

«Отвяжись!» — крикнула она. Те двое подступили совсем близко и, урча, затеснили ее. Ей сделалось страшно.

Они вчетвером вошли в темный трактир. У стойки несколько людей хрипло и громко о чем-то рассуждали. «Сядем сюда, в угол», — сказал Отто.

Сели. Магда живо вспомнила, как она с братом и вот с этими загорелыми молодцами ездила за город купаться.

Они учили ее плавать и цапали за голые ляжки. У одного из них, Каспара, была на кисти и на груди бирюзовая татуировка. Валялись на берегу, осыпали друг друга жирным бархатным песком, они хлопали ее по мокрому купальному костюму, как только она ложилась ничком. Все это было так чудесно, так весело. Особенно когда мускулистый, светловолосый Каспар выбегал на берег, тряся руками, будто с холоду, и приговаривая: «Вода мокрая, мокрая». Плавая, держа рот под поверхностью, он умел издавать громкие тюленьи звуки. Выйдя из воды, он прежде всего зачесывал волосы назад и осторожно надевал картуз. Помнится, играли в мяч, а потом она легла, и они ее облепили песком, оставив только лицо открытым и камушками выложив крест.

«Вот что, — сказал Отто, когда появились на столе четыре кружки светлого пива. — Ты не должна стыдиться своей семьи только потому, что у тебя есть богатый друг. Напротив, ты должна о семье заботиться». Он отпил пива, отпили и его товарищи. Они оба глядели на Магду насмешливо и недружелюбно.

«Ты все это говоришь наобум, — с достоинством произнесла Магда. — Дело обстоит иначе, чем ты думаешь. Мы жених и невеста, вот что».

Все трое разразились хохотом. Магда почувствовала к ним такую неприязнь, что отвела глаза и стала щелкать затвором сумки. Отто взял сумку из ее руки, открыл, нашел там только пудреницу, ключи и три марки с полтиной. Деньги он вынул, заметив, что они пойдут на уплату за пиво. После чего он с поклоном положил сумку перед ней на стол.

Заказали еще пива. Магда тоже глотнула, — через силу — она пива не терпела, — но иначе они бы и это выпили. «Мне можно теперь идти?» — спросила она, приглаживая акрошкёры.

«Как? Разве не приятно посидеть в кабачке с братом и друзьями? — удивился Отто. — Ты, Магда, очень изменилась. Но главное — мы еще не поговорили о нашем деле...»

«Ты меня обокрал, и теперь я ухожу».

Опять все заурчали, как давеча на улице, и опять ей стало страшно.

«О краже не может быть и речи, — злобно сказал Отто. — Это деньги не твои, а деньги, высосанные так или

иначе из нашего брата. Ты эти фокусы оставь — насчет краж. Ты... — Он сдержал себя и заговорил тише: — «Вот что, Магда. Изволь сегодня же взять у твоего друга немного денег, для меня, для семьи. Марок пятьдесят. Поняла?»

«А если я этого не сделаю?» — спросила Магда.

«Тогда будет месть, — ответил Отто спокойно. — О, мы все знаем про тебя... Невеста, — скажите пожалуйста!»

Магда вдруг улыбнулась и прошептала, опустив ресницы: «Хорошо, я достану. Теперь все? Я могу идти?»

«Да постой же, постой, куда ты так торопишься? И вообще, знаешь, надо видаться, мы поедем как-нибудь за город, — правда? — обратился он к друзьям. — Ведь бывало так славно. Не зазнавайся, Магда».

Но она уже встала, — допивала стоя свое пиво.

«Завтра в полдень на том же углу, — сказал Отто, — а потом завалимся на весь день в Ванзей. Ладно?

«Ладно», — сказала Магда с улыбкой и, кивнув, вышла.

Она вернулась домой, и когда Кречмар, отложив газету, подошел к ней, Магда зашаталась и склонилась, притворяясь, что лишается чувств. Вышло очень удачно. Он испугался, уложил ее на кушетку, принес коньяку. «Что случилось, что случилось?» — спрашивал он, гладя ее по волосам. «Ты меня теперь бросишь», — простонала Магда. Он переглотнул и вообразил самое страшное: измену. «Что ж? Застрелю», — сказал он про себя и уже совсем спокойно повторил: «Что случилось, Магда?» — «Я обманула тебя», — сказала она и замолкла. «Смерть», — подумал Кречмар. «Ужасный обман, Бруно, — продолжала она. — Мой отец — вовсе не художник, а бывший слесарь, теперь швейцар, мать моет лестницу, брат — простой рабочий. У меня было тяжелое, тяжелое детство, — меня колотили, меня терзали...»

Кречмар почувствовал невероятное — нежное и сладкое — облегчение, и затем — жалость.

«Нет, не целуй меня, Бруно. Ты должен все знать. Я бежала из дому. Я служила сперва натурщицей. Меня эксплуатировала одна страшная старуха. Затем у меня была несчастная любовь, — он был женат, как вот ты, и жена не дала ему развода, и тогда я его бросила, хотя безумно его любила. Затем меня преследовал старик банкир, предлагал мне все свое состояние, и тогда пошли грязные сплетни, но конечно — вранье, он ничего не добился. Он умер от

разрыва сердца. Я начала служить в “Аргусе”. Ты понимаешь, — он обещал меня сделать звездой экрана, а я выбрала честный путь...»

«Счастье мое, счастье», — бормотал Кречмар.

«Неужели ты не презираешь меня? — спросила она, стараясь улыбнуться сквозь слезы, что было очень трудно, ибо слез-то и не было. — Это хорошо, что ты меня не презираешь. Но теперь слушай самое страшное: брат меня выследил, он требует у меня денег, будет теперь нас шантажировать... Ты понимаешь, когда я увидела его и подумала: мой бедный, доверчивый заяц не знает, какая у меня семья, — тогда, знаешь, тогда мне стало стыдно уже от другого, — от того, что я тебе не сказала всей правды, — так стыдно, Бруно...»

Он обнял ее, нежно защекотал, она стала тихо смеяться (как просто удалось оставить брата в дураках).

«Знаешь, — сказал Кречмар, — я теперь боюсь тебя выпускать одну. Как же быть? Ведь не обратиться же к полиции?»

«Нет, только не это», — необыкновенно решительно воскликнула Магда. Она почему-то боялась полиции и полицейских.

X

Утром она вышла в сопровождении Кречмара, — надо было накупить легких летних вещей, а также мазей против солнечных ожогов: Сольфи, адриатический курорт, намеченный Кречмаром, славился своим сияющим пляжем. Садясь в таксомотор, она заметила брата, стоящего на другой стороне улицы, но Кречмару не показала его.

Появляться с Магдой на улице, переходить с ней из магазина в магазин было для Кречмара сопряжено с неотступной тревогой: он боялся встретить знакомых, он еще не мог привыкнуть к своему положению. Когда они вернулись домой, слежки уже не было; Магда поняла, что брат смертельно обиделся и теперь примет свои меры. Так оно и случилось. Дня за два до отъезда Кречмар сидел и писал деловое письмо, Магда в соседней комнате уже укладывала вещи в новый сундук; он слышал шуршание бумаги и песенку, которую она, с закрытым ртом, без слов, не переста-

вала тихо напевать. «Как все это странно, — думал Кречмар. — Если гадалка предсказала бы мне под Новый Год, что через несколько месяцев моя жизнь так круто изменится...» Магда что-то уронила в соседней комнате, песенка оборвалась, потом опять возобновилась. «Ведь пять месяцев назад я был примерным мужем, и Магды просто не существовало в природе вещей. Как это случилось быстро. Другие люди совмещают семейное счастье с легкими удовольствиями, а у меня почему-то все сразу спуталось, и даже теперь я не могу сообразить, когда допущена была первая неосторожность; и вот сейчас я сижу и как будто рассуждаю здраво и ясно, а на самом деле все продолжается этот полет кувырком неизвестно куда...»

Он вздохнул и опять принялся за письмо. Вдруг — звонок. Из разных дверей выбежали одновременно в прихожую: Кречмар, Магда и кухарка. «Бруно, — сказала Магда шепотом, — будь осторожен, я уверена, что это Отто». — «Иди к себе, — ответил Кречмар. — Я уж с ним справлюсь».

Он открыл дверь. На пороге стоял юноша с грубоватым неумным лицом, — и все же очень похожий на Магду. На нем был довольно приличный синий костюм воскресного вида, конец лилового галстука уходил, суживаясь, под рубашку.

«Кого вам нужно?» — спросил Кречмар.

Отто кашлянул и развязно проговорил: «Мне нужно с вами потолковать о моей сестре, я — Магдин брат».

«Да почему именно со мной?»

«Вы ведь господин?.. — вопросительно начал Отто, — господин?..»

«Шиффермюллер», — подсказал Кречмар с облегчением.

«Ну так вот, господин Шиффермюллер, я вас видел с моей сестрой и подумал, что вам будет любопытно, если я... если мы...»

«Очень любопытно, — только что же вы стоите в дверях? Входите».

Тот вошел и опять кашлянул.

«Я вот что, господин Шиффермюллер. У меня сестричка молодая и неопытная. Моя мать, господин Шиффермюллер, ночей не спит с тех пор, как наша Магда ушла из дому. Да, господин Шиффермюллер, ведь ей пятнадцать лет, — вы не верьте, если она говорит, что больше. Ведь, помилуйте,

очень нехорошо выходит, господин Шиффермюллер. Что же это такое, сударь, в самом деле, мы — честные, отец — старый солдат, я не знаю, как это можно исправить...»

Отто все больше взвинчивал себя и начинал верить в то, что говорит.

«Не знаю, как быть, — продолжал он возбужденно. — Это не дело, господин Шиффермюллер. Представьте себе, что у вас есть любимая, невинная сестра, которую купил и развратил...»

«Послушайте, мой друг, — перебил Кречмар. — Тут какое-то недоразумение. Моя невеста мне рассказывала, что ее семья была только рада от нее отделаться».

«Ах, сударь, — проговорил Отто, щурясь и качая головой. — Неужто вы хотите меня уверить, что вы на ней женитесь? Ведь где же гарантия, ведь когда на честной девушке женятся, то перво-наперво идут посоветоваться к родителям ее, или там к брату, — побольше внимания, поменьше гордости, сударь».

Кречмар с некоторой опаской смотрел на Отто и думал про себя, что в конце концов тот говорит резон и столько же имеет права печься о Магде, как Макс об Аннелизе; вместе с тем он чувствовал, что Отто лжив и груб, что горячность его неискренна.

«Стоп, стоп, — решительно прервал Кречмар. — Я все это отлично понимаю, но, право же, говорить нам не о чем, все это вас не касается. Уходите, пожалуйста».

«Ах вот как, — сказал Отто, насупившись. — Вот как. Ну хорошо».

Он помолчал, теребя шляпу и глядя в пол. Пораздумав, он начал с другого конца.

«Вы, может быть, дорого за это поплатитесь, сударь. Я сестру, может быть, хорошо знаю, — всю подноготную. Это я из братских побуждений называл ее невинной. Но, господин Шиффермюллер, вы слишком доверчивы, — очень даже странно и смешно, что вы ее зовете невестой. Я уж, так и быть, вам кое-что о ней порасскажу».

«Не стоит, — сильно покраснев, ответил Кречмар. — Она сама мне все рассказала. Несчастная девочка, которую семья не могла уберечь. Пожалуйста, уходите», — и Кречмар приоткрыл дверь.

«Вы пожалеете», — неловко проговорил Отто.

«Уходите», — повторил Кречмар.

Тот очень медленно двинулся с места. Кречмар с пустоватой сентиментальностью, свойственной иным зажиточным людям, вдруг представил себе, как, должно быть, бедно и грубо существование этого юноши. Прежде чем закрыть дверь, он быстро вынул бумажник, послюнил большой палец и сунул в руку Отто десять марок.

Дверь захлопнулась. Отто посмотрел на ассигнацию, постоял, постоял, потом позвонил.

«Как, вы опять!» — воскликнул Кречмар.

Отто протянул руку с билетом. «Я не желаю подачек, — пробормотал он злобно. — Отдайте эти деньги безработному, коли вы не нуждаетесь в них».

«Да что вы, мой друг, берите», — сказал Кречмар смущенно.

Отто двинул плечами. «Я не принимаю подачек от бар. У меня есть своя гордость. Я...»

«Но я просто думал...» — начал Кречмар.

Отто поговорил еще немного, потоптался, хмуро положил деньги в карман и ушел. Социальная потребность была удовлетворена, теперь можно было идти удовлетворять потребности человеческие.

«Маловато, — подумал он, — да уж ладно».

XI

С той минуты, как Аннелиза прочла Магдино письмо, ей все казалось, что длится какой-то несуразный сон, или что она сошла с ума, или что муж умер, а ей лгут, что он изменил. Ей помнилось, что она поцеловала его в лоб перед уходом — в тот далекий уже вечер, — поцеловала в лоб, а потом он сказал: «Нужно будет все-таки завтра об этом спросить доктора. А то она все чешется». Это были его последние слова, — о легкой сыпи, появившейся у дочки на руках и на шее, — и после этого он исчез, а через несколько дней сыпь от цинковой мази прошла, — но не было на свете такой мази, от которой бы стерлось воспоминание: его большой, теплый лоб, размашистое движение к двери, поворот головы, «нужно будет все-таки завтра...».

Она так первые дни плакала, что прямо удивлялась, как это слезные железы не сякнут, — и знают ли физиологи,

что человек может из своих глаз выпустить столько соленой воды? Тотчас приходило на память, как она с мужем купала трехлетнюю Ирму в ванночке с морской водой на террасе в Аббации, — и вдруг оказывалось, что слез осталось еще сколько угодно, — можно наплакать как раз такую ванночку и выкупать ребенка, и потом щелкнуть фотографическим аппаратом, чтобы получился снимок, вот этот снимок в альбоме, посвященном младенчеству Ирмы: терраса, ванночка, блестящий толстый ребеночек, и тень мужа, — ибо солнце было сзади него, когда он снимал, — длинная тень с расставленными локтями, протянувшаяся по гравию.

Иногда, в минуты сравнительного покоя, она говорила себе: ну хорошо, меня бросил, но Ирму — как он о ней не подумал? И Аннелиза начинала донимать брата, правильно ли они сделали, что послали Ирму с бонной в Мисдрой, и Макс отвечал, что правильно, и уговаривал ее тоже поехать туда, но она и слышать не хотела. Несмотря на унижение, на гибель, на чувство ужаса и непоправимости, Аннелиза, едва это сознавая, ждала изо дня на день, что откроется дверь, и бледный, всхлипывающий, с протянутыми руками, войдет муж.

Большую часть дня она проводила в каком-нибудь случайном кресле — иногда даже в прихожей — в любом месте, где ее настигал туман задумчивости, — и тупо вспоминала ту или иную подробность супружеской жизни, и вот уже ей казалось, что муж изменял ей с самого начала, в течение всех этих девяти лет.

Макс старался занять Аннелизу как умел, приносил ей журналы и новые книги, вспоминал с нею детство, покойных родителей, старшего брата, убитого на войне. Однажды, в жаркий летний день, он повез ее в Тиргартен, там они вышли и долго бродили, и с полчаса смотрели на обезьянку, которая, улизнув от гулявшего с ней господина, забралась в самую гущу высокого вяза, откуда хозяин тщетно старался ее сманить вниз, то тихим свистом, то сверканием зеркальца, то желтизной большого банана. «Он не достанет ее, это безнадежно, она никогда не придет», — сказала наконец Аннелиза и вдруг заплакала. Они пешком возвращались домой, и было так жарко, что Макс снял пиджак, несмотря на то что был в подтяжках. «Это нехорошо, — сказала со вздохом Аннелиза. — Нужен пояс». — «Но он не держит, — возразил Макс. — У меня живот как-то

неправильно вырос». В это мгновение сестра сильно сжала ему руку. Она смотрела в сторону, на проезжавший таксомотор. Таксомотор затрубил, выпустил вправо красный язык и скрылся за угол.

XII

В своем черном купальном трико, до раскосости коротком на ляжках и уходившем вглубь чуть выпуклым мыском, когда она, как сейчас, сдвинув вытянутые ноги, лежала навзничь, — в черном трико с белым резиновым пояском и клинообразными вырезами на боках, до самой талии, — Магда подозрительной стройностью и соразмерностью членов отличалась от двух девочек-подростков, дочек красного англичанина в полотняной шляпе, которые валялись поодаль. Кречмар, облокотясь на песок, не отрываясь смотрел на нее, на ее руки и ноги, уже сплошь покрытые гладким солнечным лаком, на румяно-золотое лицо с облупившимся носом и только что накрашенным ртом. Откинутые со лба волосы отливали каштановым блеском, раковина маленького уха мерцала песчинками, в темном трико сквозили еще более темные сосцы, — и весь ее туго сидящий костюм с обманчивыми перехватцами и просветами, с тонкими бридочками на лоснящихся плечах, держался, как говорится, на честном слове, — перережешь вот тут или тут, и все разойдется.

Кречмар высыпал из ладони горсть легкого песка на ее втянутый живот. Магда открыла глаза, замигала от солнца, улыбнулась, косясь на любовника, и зажмурилась снова.

Погодя она приподнялась и замерла в сидячем положении, обхватив колени. Теперь он видел ее голую спину, перелив позвонков, блеск приставших песчинок. «Постой, я смахну», — сказал он. Кожа у нее была горячая, шелковая. «Боже, — проговорила Магда. — Какое голубое море!»

Оно было действительно очень голубое. Когда поднималась волна, то на ее блестящей крутизне кобальтовыми тенями отражались силуэты купальщиков. Мужчина в оранжевом халате стоял у самой воды и протирал очки. Откуда ни возьмись, прилетел большой, разноцветный, как арлекин, мяч, прыгнул с легким звоном, и Магда, мгновенно вытянувшись, поймала его и встала и бросила его кому-то.

Теперь Кречмар видел ее, окруженную солнечной пестротой пляжа, которая, однако, была сейчас для него мутна, настолько пристально он сосредоточил взгляд на Магде. Легкая, ловкая, с темной прядью вдоль уха, с вытянутой после броска рукою в сверкающей браслетке, Магда виделась ему как некая восхитительная заставка, возглавляющая всю его жизнь.

Она близилась, он лежал ничком и наблюдал, как передвигаются ее маленькие ступни. Магда нагнулась над ним и, весело крякнув, игривым берлинским жестом хватила его по хорошо набитым трусикам.

«Пойдем в воду!» — крикнула она и побежала вперед, ступая на пальцы и слегка припадая на одну ногу, — и потом, раскинув руки, уже меся воду, замедленным шагом пошла все дальше, дальше, и вот уже начала подливать к коленям кудрявая пена. Она опустилась в воде на четвереньки, попробовала плыть, но захлебнулась и быстро встала, со смехом избегая Кречмара. Ее черный костюм блестел, прилип к телу, посредине живота образовалась лунка. «Ах-ах», — дышала она, улыбаясь, плюясь и отводя мокрые волосы с глаз. Вдруг, ладонью проехав по поверхности, она окатила Кречмара, и он ответил тем же, и так они долго друг в друга шарахали ослепительной водой и громко кричали, и пожилая англичанка под зонтиком лениво сказала, обратившись к мужу: «Look at that German romping about with his daughter. Now don't be lazy, take the kids out for a good swim...»[1]

XIII

Потом, в цветистых халатах, они поднимались кремнистой тропой между желтых кустов утесника и дрока. Небольшая, но за крупные деньги нанятая вилла белела как сахарная сквозь черноту кипарисов. Через гравий перемахивали синекрылые кузнечики. Магда старалась их поймать в руку. Присев на корточки, она осторожно приближала пальцы к кобылке, но углами поднятые лапки вдруг вздрагивали, и, выпустив веерные крылья, насекомое перелетало

[1] Взгляни на того немца, что резвится с дочерью. Не ленись, пойди поплавай с детьми... *(Англ.)*

на три сажени дальше или терялось среди чертополоха запущенного садика.

В прохладной комнате с решетчатыми отражениями жалюзи на терракотовом полу Магда, как змея, высвобождалась из темной чешуи купального костюма и ходила по комнате в одних туфлях на высоких каблуках, и солнечные полоски от жалюзи проходили по ее телу.

Вечерами были танцы в казино. Море принимало зеркально-лиловый оттенок, и появлялся в направлении к Рагузе уже освещенный пароход. Кречмар старательно с ней танцевал, ее гладко причесанная голова едва доходила до его плеча.

Очень скоро по приезде возникли новые знакомые, — итальянцы, англичане, австрийцы, — Кречмар сразу стал чувствовать гнетущую унизительную ревность, наблюдая за тем, как она тесно танцует с другим, и зная, что у нее под тонким платьем ровно ничего не надето, даже подвязок: замечательный загар заменял ей чулки. Она поднимала глаза к кавалеру и сдержанно улыбалась. Иногда Кречмар терял ее из виду, и тогда вставал и, стуча папиросой о крышку портсигара, шел наугад, попадал в какую-то залу, где играли в карты, на террасу, потом в бильярдную, и уже вне себя, уже уверенный, что она ему где-то изменяет, возвращался сквозь человеческий лабиринт к своему столику, и вдруг она появлялась и садилась возле него в своем нарядном переливчатом платье, которое не делало ее старше, и он, умолчав о своих опасениях, судорожно гладил ее под столом по голым коленкам, стукавшимся друг о дружку, когда она, слегка откинув стан, хохотала над смешными замечаниями австрийца.

К чести Магды следует сказать, что она прилагала все усилия, чтобы оставаться Кречмару совершенно и безусловно верной. Вместе с тем, как бы часто и основательно он ее ни ласкал, Магда уже давно чувствовала какой-то недочет, какую-то неполноту ощущения, и это нервило ее, и она вспоминала того, первого, от малейшего прикосновения которого все в ней разгоралось и вздрагивало. К несчастью, молодой австриец, лучший танцор в Сольфи, был чем-то похож на первого ее возлюбленного, — сходство, неуловимое для глаза, что-то в сухом прикосновении его большой ладони, в пристальном, слегка насмешливом взгляде, в манере раздувать ноздри. Однажды, между двумя

танцами, она оказалась с ним в темном углу сада, и была та очень банальная, очень человеческая смесь далекой музыки и лунных лучей, которая так действует на всякую душу. Чешуйчатое сияние играло посреди моря, и тени олеандров шевелились на странной белизне ближней стены. «Ах, нет», — сказала Магда, чувствуя, как губы молчаливого человека, обнявшего ее, гуляют по ее шее, по щеке, а горячие, умные руки забираются под бальное платье, надетое прямо на тело. «Ах, нет», — повторила она, но тут же закинула голову, жадно отвечая на его поцелуй, и он при этом так пронырливо ее ласкал, что она почуяла приближение еще большего удовольствия, — однако вовремя вырвалась и побежала по галерее к далекой, освещенной двери.

Этого больше не повторилось. Магда, вкусив жизни, которую ей мог дать Кречмар, жизни, полной роскоши первоклассных фильм, их бриллиантинового солнца и пальмового ветерка, — так боялась все это мигом утратить, что не смела рисковать и даже как будто лишилась на время главного, быть может, свойства своего — самоуверенности. Самоуверенность, впрочем, сразу вернулась к ней, как только они осенью оказались опять в Берлине. «Да, это, конечно, превосходно, — сухо сказала она, окидывая взглядом отличный номер в отличной гостинице. — Но ты понимаешь, Бруно, что это не может так продолжаться».

Кречмар поспешил ответить, что уже принял меры к снятию квартиры.

«Что он меня дурой, что ли, считает», — подумала она с чувством сильнейшей к нему неприязни. «Бруно, — проговорила она тихо. — Ты не понимаешь...» Она глубоко вздохнула, потом села и закрыла лицо руками.

«Ты стыдишься меня», — сказала она, глядя сквозь пальцы на Кречмара.

Он хотел обнять ее. «Не тронь! — крикнула она, отскочив. — Я не желаю, — прозябать с тобой на задворках и смотреть целый день, как ты боишься выходить со мной на улицу. Нет, не смей меня трогать... Я все отлично чувствую. Если ты меня стыдишься, можешь меня бросить и вернуться к своей Лисхен, пожалуйста, пожалуйста...»

«Магда, перестань», — беспомощно бормотал Кречмар.

Она бросилась на диван. Ей удалось зарыдать. Кречмар, опустившись на колени, осторожно касался ее плеча, кото-

рым она дергала всякий раз, как он приближал пальцы. «Чего же ты хочешь? — спросил он. — А, Магда?»

«Я хочу жить открыто, у тебя, у тебя, — произнесла она, захлебываясь. — На твоей собственной квартире, — и видеть людей, — жить вовсю...»

«Хорошо», — сказал он, встав с колен.

«А через год ты на мне женишься, — подумала про себя Магда, машинально продолжая всхлипывать. — Женишься, если, конечно, я к тому времени не буду уже в Холливуде, — тогда я тебя к чорту пошлю».

«Умоляю тебя больше не плакать! — воскликнул Кречмар. — А то я и сам зареву».

Магда села и жалобно улыбнулась. Слезы на редкость красили ее. Лицо пылало, мокрые глаза лучились, на щеке дрожала чудесная грушевидная слеза.

XIV

Точно так же, как он теперь никогда не говорил ей об искусстве, в котором Магда не понимала ни аза, Кречмар не открыл ей мучительных чувств, которые ему довелось испытать в первые дни жизни с ней в комнатах, где он провел с женой десять лет. Всюду были вещи, напоминавшие ему Аннелизу, ее подарки ему, его подарки ей. В глазах у Фриды он прочел хмурое осуждение, а через неделю, чем-то новой госпоже не потрафив, она презрительно выслушала Магдину крикливую брань и тотчас съехала. Спальня и детская укоризненно, трогательно и чисто глядели в глаза Кречмару, — особенно спальня, ибо из детской Магда живо сделала голую комнату для пинг-понга. Но спальня... В первую ночь там Кречмару все казалось, что он чует легкий запах жениного одеколона, и это втайне смущало и связывало его, и Магда в ту ночь издевалась над его неожиданной расслабленностью.

О, как был невыносим первый телефонный звонок, звонил старый знакомый, спрашивал, весело ли было в Италии, хорошо ли поживает Аннелиза, не склонна ли она пойти в среду на премьеру с его женой? «Мы временно живем отдельно», — с трудом проговорил Кречмар («Временно...» — насмешливо подумала Магда, — осматривая в зеркале свою начавшую отгорать спину).

Ему доставляло невеселое развлечение наблюдать, как постепенно из вопросов знакомых исчезало упоминание о жене. Кое-кому он намекнул, что у него невеста; невестой он, впрочем, никогда не называл Магду в лицо. Слух о перемене в его жизни распространился очень быстро, — и опять было ему интересно следить, как иные переставали у него бывать, иные, напротив, были чересчур любезны с ним и с Магдой, а некоторые старались сделать вид, точно ничего не случилось. Были, наконец, и такие, которые по-прежнему радовались видеть его, но как-то так выходило, что бывали они у него неизменно без своих жен, ставших до странности болезненными.

Он скоро освоился с присутствием Магды в этих полных воспоминаний комнатах, и это происходило оттого, что стоило ей переменить извечное положение любого незаметнейшего предмета, как данная комната сразу лишалась знакомой души, воспоминание испарялось навсегда. И к зиме прошлое вымерло вовсе в этих двенадцати комнатах, — и квартира была, может быть, очень хороша, но уже ничего общего не имела с той, в которой он жил с Аннелизой.

Однажды, когда в поздний час после бала он Магду купал (так водилось у них), она, сидя в надушенной ванне и поднимая на кончике ноги набухшую губку, спросила, не думает ли он, что из нее вышла бы фильмовая актриса. Он засмеялся, ничего уже не соображая от предчувствия близкого наслаждения, сказал: «Конечно, еще бы», — и Магда наконец вылезла, он, торопясь, завернул ее в мохнатую простыню, растер и понес в спальню.

Через несколько дней она опять вернулась к этой теме, причем выбрала минуту, когда у Кречмара ясней работала голова. Он порадовался ее любви к кинематографу и, думая ее заинтересовать, стал развивать перед ней некоторые излюбленные свои теории о фильме немой и о фильме говорунье. «Как снимаются?» — спросила она, перебив его на полуслове. Он предложил как-нибудь ее повести в ателье, все показать, все объяснить. С этого и началось.

«Что я делаю, стоп, стоп», — как-то сказал он себе, вспомнив, что накануне обещал финансировать фильму, затеянную режиссером средней руки, при условии, что Магде дана будет вторая женская роль, роль покинутой невесты. «Нехорошо, — продолжал он мысленно. — Там

всякие матовые актеры, всякое женолюбивое хамье, и выйдет глупо, если я буду ходить за ней по пятам. А с другой стороны, ей необходима какая-нибудь забава, и меньше будет шатаний по кабакам, если ей придется вставать спозаранку».

Думать было поздно, — уже договор был заключен, — и скоро начались репетиции. Магда первое время возвращалась крайне злой и раздраженной, жаловалась, что ее заставляют повторять одно и то же движение по сто раз, что режиссер на нее орет, что она слепнет от света огромных ламп. Ее утешало, что исполнительница главной роли, Дорианна Каренина (та самая, которая год тому назад была написана с Чипи в руках), относится к ней очаровательно, хвалит ее, предсказывает чудеса («Дурной знак», — подумал Кречмар).

Она потребовала, чтобы он не присутствовал на съемках, это, мол, стесняет ее, да и сюрприза не выйдет, если все будет известно заранее. Зато дома он не раз подсматривал, чрезвычайно умиляясь, как она перед трюмо принимает томно-трагические позы. Заметив его, она топала ногой, и он клялся, что ничего не видел. Он отвозил ее в ателье, потом за ней заезжал, однажды ему сказали, что это продолжится еще два часа, и он отправился погулять, и невзначай попал в район, где жил Макс, внезапно ему страстно захотелось увидеть издали дочку, — в это время она возвращалась из школы. Ему вдруг показалось, что вон там она идет с подругами, он почувствовал страх и быстро ушел.

В этот день Магда вышла из ателье розовая, смеющаяся; съемки подходили к концу, и нынче ей не было сделано ни одного замечания, и она играла как еще никогда. «Знаешь что? — сказал Кречмар. — Я Дорианну приглашаю на ужин. Да, большой ужин, интересные гости. Сегодня утром мне звонил один известный художник, вернее, знаешь, карикатурист, который, знаешь, делает карикатуры. Это он выдумал Чипи, которую ты так любишь. Он только что приехал из Америки, и говорят, он очень, очень занятный. Я и его пригласил».

«Только я буду сидеть рядом с тобой, — сказала Магда, — а то прошлый раз...»

«Хорошо, но помни, мое сокровище, я не хочу, чтобы все знали, что ты у меня живешь».

«Ах, это все знают», — сказала Магда и вдруг нахмурилась.

«Ты пойми, — продолжал Кречмар, — это ведь тебе неловко, а не мне. Мне-то, конечно, все равно, я условностей не люблю, так что ты, Магда, опять как прошлый раз сделай, — пожалуйста, для себя же».

«Но это глупо... И главное, вообще эти неприятности можно было бы избежать».

«То есть как — избежать?»

«Если ты не понимаешь...» — начала она («Когда же, собственно, он наконец заговорит о разводе?»).

«Будь благоразумна, — сказал Кречмар примирительно. — Ты подумай, я делаю все, что ты хочешь, — вот теперь, с этой фильмой, ну, Магда, ну, моя дорогая...»

XV

Все было как следует: на японском подносе в прихожей лежало некоторое число записок: доктор Ламперт — Марго Денис, Роберт Горн — Магда Петерс, фон Коровин — Ольга Вальдгейм и т. д. Недавно поступивший буфетчик — рослый, пожилой мужчина, с лицом английского лорда (так, по крайней мере, находила Магда, иногда останавливавшая на нем взгляд, не лишенный легкой задумчивости), величаво встречал гостей. Через каждые несколько минут раздавался звонок. В угловой гостиной было уже пять человек гостей, не считая Магды. Вот явился Коровин — «фон» Коровин. Он был худощав, носил монокль и говорил по-немецки превосходно. Опять заминка, — и явился писатель Брюк, толстый, румяный человек в потрепанном смокинге, с женой, стареющей, хорошо сложенной дамой, в свое время плававшей в стеклянном бассейне среди дрессированных тюленей. Разговор в гостиной был уже довольно живой. Ольга Вальдгейм, полногрудая певица с абрикосовыми волосами, сладкозвучно и забавно рассказывала о своих ангорских кошках, которых у нее было полдюжины. Кречмар стоял подбоченясь и, через белый бобрик старого Ламперта (врача и меломана), посматривал на Магду: черное с тюлем платье очень ей шло, на груди был большой бархатно-оранжевый цветок, она сдержанно и туманно улыбалась, и в глазах у нее было особое ланье

выражение, — признак, что она ни слова не понимает из того, что ей говорит Ламперт о музыке Гиндемита. Вдруг Кречмар заметил, что она жарко покраснела и встала. «Боже мой, какая глупенькая... Зачем так вскакивать». Входило сразу несколько человек: Дорианна Каренина, Горн, актер Штаудингер, двое молодых писателей... Дорианна обняла Магду, у которой замечательно блестели глаза, как бывало во время плача. «Какая глупенькая, — подумал он опять, — так преклоняться перед этой бездарной кобылой». Дорианна, впрочем, была прекрасна, она славилась своими плечами, Джиокондовой улыбкой и хриплым голосом.

Кречмар шагнул к Горну, который, по-видимому не зная, кто здесь хозяин, потирал руки, как будто их намыливал. «Я очень рад вас видеть у себя, — сказал Кречмар. — Знаете, я вас представлял совсем не таким, я представлял вас почему-то полным и в роговых очках. Господа, это создатель Чипи. Пожаловал к нам из Америки». Горн, продолжая намыливать ладони, стоял и делал маленькие кивки. «Садитесь, — сказал Кречмар. — Вы, говорят, к нам в Берлин ненадолго?» — «Как это было немило, — хриплым басом сказала Дорианна Каренина, — что вы не позволили мне появляться на людях с моей любимой игрушкой!» — «То-то я все смотрю: знакомое лицо», — ответил Горн, берясь за стул рядом с Магдой.

Взгляд Кречмара опять вернулся к ней. Она как-то по-детски наклонилась к соседке — художнице Марго Денис — и, странно улыбаясь, со слезами на глазах, необычайно быстро говорила что-то. Он сверху видел ее маленькое пурпурное ухо, жилку на шее, нежную раздвоенную тень груди. «Боже мой, что она говорит!» Лихорадочно и торопливо, точно желая кого-то заговорить, Магда несла совершенную околесину и все время прижимала ладонь к пылающей щеке. «Мужская прислуга меньше ворует, — лепетала она. — Конечно, картину нельзя унести. Но все-таки... Я прежде очень любила картины со всадниками, но когда видишь слишком много картин...»

«Фрейлейн Петерс, — с мягкой улыбкой обратился к ней Кречмар, — я хочу вам представить создателя знаменитого зверька».

Магда судорожно обернулась и сказала: «Ах, здравствуйте!» (к чему эти ахи, ведь об этом не раз говорилось...). Горн поклонился, сел и спокойно обратился к Кречмару:

«Я читал вашу превосходную статью о Себастиано дель Пиомбо. Вы напрасно только не привели его сонетов, — они прескверные, — но как раз это и пикантно».

Магда вскочила и быстро, чуть ли не вприпрыжку, пошла навстречу последней гостье, высокой и высохшей даме, похожей на общипанную орлицу. Магда с ней ездила верхом в манеже.

Стул ее оказался пустым, на него пересела чернобровая, армянского типа, Марго Денис и обратилась к Горну: «Я вам ничего не скажу о Чипи, — Чипи, должно быть, набила вам оскомину, я это очень хорошо понимаю. А вот что, — как вы оцениваете работы Кумминга, — я имею в виду его последнюю серию, — виселицы и фабрики, — знаете?»

Раскрылись двери в столовую. Мужчины стали глазами искать своих дам. Горн немножко отстал и озирался. Кречмар, уже взяв под руку Дорианну, тоже посмотрел, ища Магду. Она мелькнула далеко впереди, среди плывущих в столовую пар. «Нынче она не в ударе», — подумал Кречмар и передал свою даму Горну.

Уже за омаром разговор в том конце стола, где сидели Дорианна, Горн, Магда, Кречмар, Марго Денис, сделался громким, но каким-то разнобоким. Магда сразу выпила немало белого вина и теперь сидела очень прямо, сияющими глазами глядя прямо перед собой. Горн, не обращая внимания ни на нее, ни на Дорианну, имя которой его раздражало, спорил наискосок через стол с писателем Брюком о приемах художественной изобразительности. Он говорил: «Беллетрист толкует, например, об Индии, где вот я никогда не бывал, и только от него и слышно, что о баядерках, охоте на тигров, факирах, бетеле, змеях, — все это очень напряженно, очень пряно, сплошная, одним словом, тайна Востока, — но что же получается? Получается то, что никакой Индии я перед собой не вижу, а только чувствую воспаление надкостницы от всех этих восточных сладостей. Иной же беллетрист говорит всего два слова об Индии: “Я выставил на ночь мокрые сапоги, а утром на них уже вырос голубой лес”, — (плесень, сударыня, — объяснил он Дорианне, которая поднимала одну бровь), — и сразу Индия для меня как живая, — остальное я уж сам, я уж сам воображу».

«Йоги, — сказала Дорианна, — делают удивительные вещи. Они умеют так дышать, что...»

«Но позвольте, господин Горн, — взволнованно кричал Брюк, написавший только что роман, действие коего протекало на Цейлоне, — нужно же осветить всесторонне, основательно, чтобы всякий читатель понял. Если я описываю, например, плантацию, то обязан, конечно, подойти с самой важной стороны, со стороны эксплуатации, жестокости белого колониста. Таинственная, огромная мощь Востока...»

«Вот это и скверно», — сказал Горн.

Магда коротко рассмеялась, глядя прямо перед собой. Это уже случалось второй или третий раз. Кречмар, обсуждая с Марго Денис последнюю выставку, искоса наблюдал за Магдой, чтобы та не подвыпила. Погодя он заметил, что она хлебает из его бокала. «Какая-то она сегодня особенно детская», — подумал он и под столом коснулся ее колена. Магда некстати засмеялась и швырнула через стол гвоздикой в старичка Ламперта.

«Я не знаю, господа, как вы относитесь к Зегелькранцу, — сказал Кречмар, проникая в разговор между Горном и Брюком. — По-моему, некоторые его новеллы прекрасны, хотя, правда, он иногда теряется в лабиринтах сложной психологии. Когда-то в молодости я часто встречался с ним, он тогда любил писать при свечах, и вот, мне кажется, что его манера...»

После ужина сидели в мягких креслах, до тошноты курили, Магда появлялась то тут, то там, и за ней покорно следовал один из молодых писателей, и потом она ему папиросой обжигала руку, и он, покрывшись испариной, героически улыбался и просил еще. Горн в углу тихо поссорился с Брюком и, подсев к Кречмару, принялся ему описывать Берлин, да так хорошо, что Кречмар заслушался. «Я думал, что вы с детства не бывали здесь, — сказал он Горну. — Мне очень жаль, что случай нас не свел раньше».

Наконец прошла по гостям та волна — сначала легкая, журчащая, затем колыхающаяся все шире, — которая в несколько минут очищает дом под возгласы прощальных приветствий. Кречмар остался совершенно один. Воздух был мутно-сиреневый от сигарного дыма. Он распахнул окно, хлынула черная, морозная ночь. Он увидел, как далеко внизу, на тротуаре, друг с другом прощались гости, как отъехал автомобиль Брюка, — он расслышал

звонкий гортанный голос Магды... «Не очень удачный вечер», — почему-то подумал Кречмар и, зевая, отошел от окна.

XVI

«Однако», — сказал Горн, когда он с Магдой завернул за угол. «Однако», — повторил он. «Признаюсь, — добавил он через полминуты, — что никак не надеялся так легко тебя разыскать».

Магда семенила рядом, плотно запахнувшись в котиковое пальто. Горн взял ее под локоть и заставил ее остановиться.

«Я прямо глазам своим не поверил. Как ты попала туда? Посмотри же на меня. Ты, знаешь, стала такой красавицей...»

Магда вдруг всхлипнула и отвернулась. Он потянул ее за рукав, — она отвернулась еще круче, они закружились на месте.

«Брось, — сказал он. — Ответь мне что-нибудь! Как тебе удобнее — ко мне или к тебе? Да что ты, право, как немая?»

Она вырвалась и быстро пошла назад, к углу. Горн последовал за ней.

«Какая ты все-таки дрянь», — проговорил он неопределенно.

Магда ускорила шаг. Он снова настиг ее.

«Пойдем же ко мне, дура, — сказал Горн. — Вот, смотри...» — Он вынул бумажник.

Магда ловко и точно ударила его наотмашь по лицу.

«Кольца у тебя колючие», — проговорил он спокойно и продолжал за ней идти следом, торопливо роясь в бумажнике.

Магда добежала до подъезда, начала отпирать дверь. Горн протянул ей что-то, но вдруг поднял брови.

«Ах вот оно что», — проговорил он, с удивлением узнав подъезд, из которого они только что вышли.

Магда, не оглядываясь, толкала дверь. «Возьми же», — сказал он грубо. И так как она не брала, сунул то, что держал, ей за меховой воротник. Дверь бухнула ему в лицо. Он постоял, взял в кулак нижнюю губу, несколько раз задумчиво ее потянул и погодя двинулся прочь.

Магда в темноте добралась до первой площадки, хотела подняться выше, но вдруг ослабела, опустилась на ступеньку и так зарыдала, как, пожалуй, еще не рыдала никогда, — даже тогда, когда он ее покинул. Что-то касалось ее шеи, она закинула руку, как бы что-то стирая с затылка, и нащупала бумажку. Она встала со ступени и, тонко скуля, нащупала кнопку, нажала, ударил свет, — и Магда увидела, что у нее в руке вовсе не американская ассигнация, а листок ватманской бумаги, на котором слегка смазанный карандашный рисунок — девочка, видная со спины, лежащая боком на постели, в рубашке, задравшейся на ляжке и сползавшей с плеча. Она посмотрела на испод и увидела чернилами написанную дату. Это был тот день, месяц и год, когда он покинул ее. Недаром он велел ей не оглядываться и легонько шуршал. Неужели прошли с тех пор всего только четырнадцать месяцев?

Тут со стуком потух свет, и Магда, прислонясь к решетке лифта, зарыдала снова. Она плакала о том, что он тогда ее бросил, о том, что она могла бы теперь уже больше года быть с ним счастливой, если бы удалось его тогда удержать, — она плакала о том, что, останься он с ней, она избежала бы японцев, старика, Кречмара, — и еще она плакала о том, что давеча, за ужином, Горн трогал ее за правое колено, а Кречмар за левое, словно справа был рай, а слева — ад.

Она высморкалась, пошарила в темноте, опять нажала на кнопку. Свет ее немного успокоил. Она еще раз посмотрела на рисунок, подумала, решила, что, как он ни дорог ей, хранить его опасно, и, разорвав бумажку на клочки, бросила их сквозь решетку в лифтовый колодец, и это почему-то напомнило ей раннее детство. Затем она вынула зеркальце, напудрила кругообразным движением лицо, сильно натянув верхнюю губу, и, суя пудреницу в сумку, быстро побежала наверх.

«Отчего так долго?» — спросил Кречмар. Он был уже в пижаме.

Магда объяснила, что никак не могла отделаться от старичка Ламперта, который непременно хотел ее усадить в автомобиль и подвезти.

«Как у моей красавицы глаза блестят, — бормотал он, дыша на нее вином. — Какая она у меня усталая, пышущая...»

«Нет, сегодня ничего не будет, — тихо возразила Магда. — Оставь, оставь, я сегодня не могу».

«Магда, пожалуйста, — протянул Кречмар. — Я умоляю тебя, я так сейчас мечтал, — вот ты придешь. Я так люблю, когда ты немножко пьяная...»

«Там будет видно. Сперва я хочу кое о чем тебя, Бруно, спросить. Скажи, ты уже начал хлопотать о разводе?»

«О разводе?» — повторил он глуповато.

«Я иногда не понимаю тебя, Бруно. Ведь нужно это все как-то оформить. Или ты, может быть, думаешь через некоторое время бросить меня и вернуться к Лисхен?»

«Бросить тебя?»

«Что ты за мной, идиот, все повторяешь? Нет, пожалуйста, прежде чем лезть ко мне, объясни толком».

«Хорошо, хорошо, — сказал он. — Я в понедельник поговорю с моим поверенным».

«Наверное? Ты обещаешь?»

Он кивнул и жадно обнял ее. Магда, стиснув челюсти, честно попробовала покориться, но помимо воли вдруг начала похохатывать, будто от щекотки, и это перешло в истерический припадок: «Ты же видишь, я сегодня не могу, я устала», — вскрикивала она, и застучала зубами о край стакана, который Кречмар испуганно ей совал.

XVII

Роберт Горн был в довольно странном положении. Талантливейший карикатурист, создатель модного зверька, он года два-три тому назад разбогател чрезвычайно, а ныне, исподволь и неуклонно, возвращался если не к нищете, то во всяком случае к заработкам очень посредственным. Таланта своего он отнюдь не утратил, — более того, он рисовал тоньше и тверже, чем прежде, — но что-то неуловимое случилось в отношении к нему со стороны публики, — в Америке и в Англии Чипи надоела, приелась, уступила место другой твари, созданию удачливого коллеги. Эти зверьки, эти куклы — сущие эфемеры. Кто помнит теперь черного, как сажа, голливога в вороном ореоле дыбом стоящих волос, с пуговицами от портов вместо глаз и красным байковым ртищем?

Если, вообще говоря, дар Горна только укрепился, то по отношению к Чипи он несомненно иссяк. Последние его портреты морской свинки были слабы. Он почувствовал это и решил Чипи похоронить. Заключительный рисунок изображал лунную ночь, могилку и надгробный камень с короткой эпитафией. Кое-кто из иностранных издателей, еще не почуявших обреченности Чипи, встревожился, просил его непременно продолжать. Но он теперь испытывал непреодолимое отвращение к своему детищу. Чипи, ненадежная Чипи, успела заслонить все другие его работы, и это он ей не мог простить.

Деньги, шедшие к нему самотеком, так же от него и уходили. Будучи человеком азартным и большим мастером по части блефа, он из всех карточных игр ставил выше всего покер и в покер мог играть двадцать четыре часа подряд, а то и дольше. Ему, изощренному сновидцу (ибо видеть сны — тоже искусство), чаще всего снилось следующее: он собирает в пачечку сданные ему пять карт (что за лоснистая, ярко-крапчатая у них рубашка), смотрит первую — шут в колпаке с бубенчиками, волшебный джокер; затем осторожным и легким давлением большого пальца обнажает край, только край, следующей — в уголку буква «А» и малиновое сердечко; затем — край следующей, опять «А» и черный клеверный листик (брелан обеспечен); затем — та же буква и малиновый ромбик (однако, однако); в пятый раз, наконец, выдвигается карта напором пальца — Боже мой! туз пик... Это было волшебное мгновение. Он поднимал голову, начинались крупные ставки, он спокойно выпихивал на середину стола холодную кучу разноцветных фишек, и с покерным, невозмутимым лицом просыпался.

Так он проснулся зимним утром после ужина у Кречмара. Первая мысль его была о Магде, вторая: нужны деньги. Состояние его души было как раз обратным тому, какое было у него при отъезде из Америки. Тогда на первом месте было желание подальше оставить за собой неоплаченные, неоплатимые долги; на втором же — мысль, что удастся, быть может, разыскать берлинскую девчонку, встреченную во время короткого пребывания на родине.

Любовные свои приключения Горн вспоминал без неги. За эти пятнадцать лет, то есть с тех пор, как он, юношей, накануне войны (очень удачно избегнутой), прибыл из

Гамбурга в Америку, за эти пятнадцать лет Горн ни в чем не отказывал своему женолюбивому нраву, но как-то так выходило, что единственным прекрасным и чистым воспоминанием оказывалась Магда, — что-то было такое милое и простенькое в ней, за этот последний год вспоминал он ее очень часто и с чувствительной грустью, которой до тех пор он был чужд, посматривал на сохраненный им быстрый карандашный эскиз. Это было даже странно, ибо трудно себе представить более холодного, глумливого и безнравственного человека, чем этот талантливый карикатурист. Начал он с того, что в Гамбурге беспечно оставил нищую, полоумную мать, которая на другой же день после его бегства в Америку упала в пролет лестницы и убилась насмерть. Точно так же, как он в детстве обливал керосином и поджигал живых мышей, которые, горя, еще бегали как метеоры, Горн и в зрелые годы постоянно добывал пищу для удовлетворения своего любопытства, — да, это было только любопытство, остроумные забавы, рисунки на полях, комментарии к его искусству. Ему нравилось помогать жизни окарикатуриться, — спокойно наблюдать, например, как жеманная женщина, лежа в постели и томно улыбаясь спросонья, доверчиво и благодарно поедает пахучий паштет, который он ей принес, — паштет, только что составленный им же из мерзейших дворовых отбросов. Войдя в лавку восточных тканей, он незаметно бросал тлеющий окурок на сложенный в углу шелковый товар и, одним глазом глядя на старика еврея, с улыбкой нежности и надежды разворачивающего перед ним за шалью шаль, другим наблюдал, как в углу лавки язва окурка успела проесть дорогой шелк. Этот контраст и был для него сущностью карикатуры. Очень забавен, конечно, анекдотический ученик, который, чтобы остановить и этим спасти великого мастера, обливает из ведра только что оконченную фреску, заметив, что мастер, щурясь и пятясь с кистью в руке, сейчас дойдет до конца площадки и рухнет с лесов в пропасть храма, — но насколько смешнее спокойно дать великому мастеру вдохновенно допятиться... Самые смешные рисунки в журналах именно и основаны на этой тонкой жестокости с одной стороны и глуповатой доверчивости с другой. Горн, бездейственно глядевший, как, скажем, слепой собирается сесть на свежевыкрашенную скамейку, только служил своему искусству.

Все это не относилось к чувствам, возбужденным в нем Магдой. Тут и в художественном смысле живописец в Горне торжествовал над зубоскалом. Он даже стыдился своей нежности к ней и, собственно говоря, бросил-то Магду потому, что боялся слишком к ней привязаться.

Прежде всего следовало установить, живет ли она у Кречмара или только приходит к нему ночевать. Горн посмотрел на часы. Полдень. Горн посмотрел в бумажник. Пусто. Горн оделся, вышел из дорогого отельного номера и пешком направился к Кречмару. Падал мягкий, отвесный снег.

Сам Кречмар открыл ему дверь и не сразу узнал вчерашнего гостя в этом убеленном снегом человеке. Но когда тот, вытерев ноги о мат, поднял лицо, Кречмар обрадовался чрезвычайно. Ему вчера не только понравился разговор Горна, острота суждений и резкий поворот всех мыслей, — понравилась ему и наружность Горна: это чернобровое, белое, как рисовая пудра, лицо, впалые щеки, воспаленные губы, копна мягких черных волос, — урод уродом, сложенный, впрочем, великолепно и одетый с небрежной американской нарядностью. «Оригинальные черты», — снова подумал он, и с большим удовольствием вспомнил, что Магда, обсуждая только что вчерашний ужин, сказала: «У этого твоего художника отталкивающая морда, — вот кого я ни за какие шиши не согласилась бы поцеловать». Любопытно было и то, что сказала о нем Дорианна.

Горн извинился, что явился незваный, и Кречмар, смеясь, усадил его в кресло. «Должен признаться, — продолжал Горн, — что вы — один из немногих людей в Берлине, с которым мне хочется поближе познакомиться. В Америке мужчины дружатся легче и веселее, чем здесь, — я там привык не стесняться, простите, если я вас шокирую... Но, пожалуйста, — продолжал он, — уберите эту... эту... морскую свинью с дивана, спрячьте, уничтожьте, это — единственная вещь в вашем доме, которая для меня неприемлема. Кстати, разрешите мне рассмотреть поближе ваши картины, — вон там, кажется, что-то очень хорошее».

Кречмар повел его по комнатам; в каждой было какое-нибудь замечательное полотно. Горн, глядя на картину, слегка откидывался, вытянув вдоль живота руки и держа себя за кисть. В течение их прогулки пришлось пройти через коридор. В это мгновение из ванны выскочила

в пестром халате Магда. Она побежала в глубь коридора и чуть не потеряла туфлю. «Сюда», — сказал Кречмар, смущенно посмеиваясь, и Горн последовал за ним в библиотечную. «Если я не ошибаюсь, — сказал он с улыбкой, — это была фрейлейн Петерс, — она ваша родственница?»

«Чего тут дурака валять, — быстро подумал Кречмар. — Этому остроглазому человеку наплевать на условности». «Моя любовница», — ответил он вслух, впервые назвав так Магду в разговоре с посторонним.

Он предложил Горну отобедать, и тот бодро согласился. Магда вышла к столу томная, но спокойная, — чувство чего-то потрясающего, невероятного, чувство, с которым она вчера едва справилась, нынче смягчилось и засквозило счастьем. Сидя между двух этих мужчин, она чувствовала себя главной участницей таинственной и страстной фильмовой драмы и старалась вести себя подобающим образом, чуть-чуть улыбалась, опускала ресницы, нежно клала ладонь Кречмару на рукав, прося его передать ей фрукты, и скользящим, так называемым «безразличным» взглядом окидывала прежнего своего любовника. «Теперь уж я его не отпущу», — вдруг подумала она и судорожно повела лопатками.

Горн говорил об Америке, о тихой, старомодной американской провинции, о больших озерах, о любопытном обряде погребения у индейцев. Изредка он поглядывал на Магду, и она, как все женщины, машинально проверяла глазом и даже легким движением пальцев то место своего платья, которое на миг затронул его взгляд. «А мы скоро увидим кое-кого на экране», — сказал Кречмар, подмигнув, — и Магда надула свои мягкие, розовые губы и слегка хлопнула его по руке. «Вы актриса? — сказал Горн. — Вот как. Где же вы снимаетесь?»

Она объяснила, не глядя на него и испытывая большую гордость оттого, что он оказался известным художником, а она — фильмовой дивой, и оба как бы стоят теперь на одном уровне.

Горн ушел сразу после обеда, прикинул мысленно, чем заняться, и отправился в игорный клуб. Через день он позвонил Кречмару, и они вдвоем побывали на выставке картин. Еще через день Горн у него ужинал, а затем как-то забежал ненароком, но Магды не было дома, и ему пришлось удовольствоваться задушевной беседой с Креч-

маром. Горн начинал сердиться. Наконец судьба над ним сжалилась. Это случилось на матче хоккея в Спорт-Паласе.

Когда они втроем пробирались к ложе, Кречмар в десяти шагах от себя заметил затылок Макса и косичку дочери. Вышло неожиданно, и глупо, и страшно; он в первое мгновение совершенно потерялся и, неловко повернувшись, сильно толкнул боком Магду. «Полегче!» — сказала она довольно резко.

«Вот что, — проговорил Кречмар, — вы садитесь, закажите что-нибудь, а я должен пойти позвонить по телефону, — совсем вылетело из головы». — «Пожалуйста, не уходи», — сказала Магда и встала. «Ах, это необходимо, — продолжал он, сутулясь, стараясь сделаться меньше и мучительно спрашивая себя: "Ирма видит меня или не видит?" — Необходимо... Если меня задержат, не взыщи. Извините, пожалуйста, господин Горн».

«Я прошу тебя остаться», — тихо повторила Магда.

Но, не обратив внимания на ее странный взгляд, на ее румянец, на подергивание губ, он еще больше сгорбился и поспешно протискался к выходу.

«Наконец-то», — торжественно сказал Горн.

Они сидели рядом за чисто накрытым столиком, и внизу, сразу за барьером, ширилась огромная ледяная арена. Играла музыка. Пустынный еще лед отливал маслянисто-сизым блеском.

«Теперь ты понимаешь?» — вдруг спросила Магда, сама едва зная, что спрашивает.

Горн хотел было ответить, но тут вся исполинская зала затрещала рукоплесканьями. Он завладел под столом ее маленькой горячей рукой. Магда почувствовала опять, как тогда, на улице, приступ слез, но руки не отняла.

На лед вылетела женщина в красном, описала изумительный круг и сделала пируэт. Ее блестящие коньки скользили молниевидно и резали лед с мучительным звуком.

«Ты меня бросил», — начала Магда.

«Да, но я же вернулся. Не реви. Посмотри, как она пляшет. Ты давно с ним?»

Магда заговорила, но опять поднялся гул; она облокотилась на стол и некоторое время сидела закрывшись рукой и закусив губу.

«А вот и они», — задумчиво проговорил Горн.

Переливалось шумное волнение. На лед плавно выехали игроки, сперва шведы, потом немцы. Очень хорош был голкипер в толстом своем свэтере и с огромными кожаными щитами на голенях.

«...он собирается с ней разводиться. Ты понимаешь, как ты появился некстати...»

«Какая чушь. Неужели ты думаешь, что он женится на тебе!»

«А ты вот помешай, тогда не женится».

«Нет, Магда, он этого никогда не сделает».

«А я тебе говорю, что сделает».

Они тут же поссорились, но шевелили губами неслышно, так как было кругом шумно — захлебывающийся, радостный человеческий лай. Там, на льду, изогнутые палки подцепляли проворно скользящий пласток, передавали его друг дружке, с размаху били по нему или подкатывали его, — игроки летели во весь опор, то разбегаясь вдруг концентрическими кругами, то соединяясь опять, — и голкипер, весь собравшись, сжавши так ноги, что щиты сливались в одну поверхность, упруго ездил на месте, выглядывая, куда придется удар.

«...это ужасно, что ты вернулся. Ты же по сравнению с ним нищий. Боже мой, теперь я знаю, все будет испорчено».

«Пустяки, пустяки, мы будем крайне осторожны».

«Знаешь что, — сказала Магда, — увези меня отсюда. У меня голова трещит от этого гула, я не могу. Он, видно, уже не вернется, а если вернется, чорт с ним».

«Поедем ко мне, — не будь дурой. Только на часок».

«Ты с ума сошел. Я рисковать не намерена. Я обрабатываю его около года, и только теперь договорились до развода. Неужели я стану рисковать?»

«Он не женится», — сказал Горн убежденно.

«Ты меня отвезешь домой или нет?» — спросила она и быстро подумала: «В автомобиле поцелую».

«Скажи, как ты вынюхала, что у меня нет денег?»

«Ах, это видно по твоим глазам», — сказала она и прижала к ушам ладони, так как шум поднялся нестерпимый, — забили гол, шведский вратарь лежал на льду, выбитая палка, тихо крутясь, скользила в сторону, словно потерянное весло.

«Не понимаю, зачем ты откладываешь, Магда. Это случится неизбежно, — нечего терять золотое время».

Они вышли из ложи. Магда вдруг покраснела и сдвинула брови. На нее смотрел толстый, темноглазый господин, — взгляд его выражал отвращение. Рядом с ним сидела девочка и, уставившись в огромный, черный бинокль, следила за возобновившейся игрой.

«Обернись, — сказала Магда своему спутнику. — Видишь этого толстяка и девочку, вон там, — видишь? Это его шурин и дочка. Понимаю, почему мой трус улизнул, жалко, что я не заметила раньше. Толстяк меня раз выругал девкой. Если бы его кто-нибудь избил...»

«А ты еще говоришь о браке, — сказал Горн, идя за ней вниз по лестнице. — Никогда он не женится. Поедем сейчас ко мне, ну на полчасика. Не хочешь? Ах, ладно, ладно. Я просто так. Я тебя отвезу, только помни, что у меня нет мелочи».

XVII[1]

Макс проводил ее взглядом: у добрейшего этого человека чесались руки. Он подивился, кто ее спутник и где Кречмар, и долго еще поглядывал с опаской по сторонам, боясь вдруг увидеть не только Магду, но и Кречмара. Было большое облегчение, когда кончилась игра и можно было Ирму увезти. «Ничего не скажу Аннелизе», — решил он, когда приехали домой. Ирма была молчалива, — только кивала и улыбалась на вопросы матери.

«Самое удивительное, как они не устают так бегать по льду», — сказал Макс.

Аннелиза задумчиво взглянула на него, потом обратилась к дочке: «Спать, спать». — «Ах нет», — сонно сказала Ирма. «Что ты, полночь. Как же можно!»

«Скажи, Макс, — спросила Аннелиза, когда девочку уложили, — у меня почему-то чувство, что произошло там что-то, мне было так беспокойно дома. Макс, скажи мне?»

Он смутился. После размолвки с мужем у Аннелизы развилась прямо какая-то телепатическая впечатлительность.

«Никаких встреч? — настаивала она. — Наверное?»

[1] В романе нарушена нумерация глав: две главы XVII; см. также примечания.

«Ах, перестань. Откуда ты взяла?»

«Я всегда этого боюсь», — сказала она тихо.

На другое утро Аннелиза проснулась оттого, что бонна вошла в комнату, держа в руке градусник. «Ирма больна, сударыня, — объявила она с улыбкой. — Вот — тридцать восемь и пять». — «Тридцать восемь и пять», — повторила Аннелиза, а в мыслях мелькнуло: «Ну вот, — недаром я вчера беспокоилась».

Она выскочила из постели и поспешила в детскую. Ирма лежала навзничь и блестящими глазами глядела в потолок. «Там рыбак и лодка», — сказала она, показывая движением бровей на потолок, где лучи лампы (было еще очень рано, и шел снег) образовали какие-то узоры. «Горлышко не болит?» — спросила Аннелиза, поправляя одеяло и глядя с беспокойством на остренькое лицо дочери. «Боже мой, какой лоб горячий!» — воскликнула она, откидывая со лба Ирмы легкие, бледные волосы. «И еще тростники», — тихо проговорила Ирма, глядя вверх.

«Надо позвонить доктору», — сказала Аннелиза, обратившись к бонне. «Ах, сударыня, нет нужды, — возразила та с неизменной улыбкой. — Я дам ей горячего чаю с лимоном, аспирину, укрою. Все сейчас больны гриппом».

Аннелиза постучала к Максу, который брился. Так, с намыленными щеками, он и вошел к Ирме. Макс постоянно умудрялся порезаться — даже безопасной бритвой, — и сейчас у него на подбородке расплылось сквозь пену ярко-красное пятно. «Земляника со сливками», — томно и тихо произнесла Ирма, когда он нагнулся над ней. «Она бредит!» — испуганно сказал Макс, обернувшись к бонне. «Ах, какое, — сказала та преспокойно. — Это про ваш подбородок».

Врач, обыкновенно лечивший у них с тех пор, как родилась Ирма, оказался в отъезде, и Аннелиза не обратилась к его заместителю, а вызвала другого доктора, который в свое время бывал у них в гостях и слыл превосходным интернистом. Доктор явился под вечер, сел на край Ирминой постели и, глядя в угол, стал считать ее пульс. Ирма рассматривала его белый бобрик, обезьянье ухо, извилистую жилу на виске. «Так-с», — произнес он, посмотрев на нее поверх очков. Он велел ей сесть. Аннелиза помогла снять рубашку. Ирма была очень беленькая и худенькая. Доктор стал трамбовать ее спину стетоскопом, тяжело

дыша и прося ее дышать тоже. «Так-с», — сказал он опять. Наконец, после еще некоторых манипуляций, он разогнулся, и Аннелиза повела его в кабинет, где он сел писать рецепты. «Да, грипп, — сказал он. — Повсеместно. Вчера даже отменили концерт. Заболела и певица, и ее аккомпаниатор».

На другое утро температура слегка понизилась. Зато Макс был очень красен, поминутно сморкался, однако отказался лечь и даже поехал к себе в контору. Бонна тоже почихивала.

Вечером, когда Аннелиза вынула теплую стеклянную трубочку из-под мышки у дочери, она с радостью увидела, что ртуть едва перешла через красную черточку жара. Ирма пощурилась от света и потом повернулась к стенке. В комнате потемнело. Было тепло, уютно и немножко сумбурно. Она вскоре заснула, но проснулась среди ночи от ужасно неприятного сна. Хотелось пить. Ирма нащупала на столике рядом стакан с лимонадом, выпила и, чмокая и поглатывая, поставила обратно, почти без звона. В спальне было как будто темнее, чем обыкновенно. За стеной надрывно и как-то восторженно храпела бонна. Ирма послушала этот храп, потом стала ждать рокота электрического поезда, который как раз вылезал из-под земли неподалеку от дома. Но рокота все не было. Вероятно, поезда уже не шли. Она лежала с открытыми глазами, и вдруг донесся с улицы знакомый свист на четырех нотах. Так свистал ее отец, когда вечером возвращался домой, — просто предупреждал, что сейчас он и сам появится и можно велеть подавать. Ирма отлично знала, что это сейчас свистит не отец, а странный человек, который вот уже недели две, как повадился ходить в гости к даме, жившей наверху, — Ирме поведала об этом дочка швейцара и показала ей язык, когда Ирма резонно заметила, что глупо приходить так поздно. Самое удивительное и таинственное, однако, было то, что он свистал точь-в-точь как отец, но об этом не следовало распространяться: отец поселился отдельно со своей маленькой подругой, — это Ирма узнала из разговора двух знакомых дам, спускавшихся по лестнице. Свист под окном повторился. Ирма подумала: «Кто знает, это, может быть, все-таки отец, и его никто не впускает, и говорят нарочно, что он чужой». Она откинула одеяло и на цыпочках пошла к окну. По дороге она толкнула стул, но бонна продолжала трубить

и клокотать как ни в чем не бывало. Когда она открыла, пахнуло чудесным морозным воздухом. На мостовой стоял человек и глядел вверх. Она довольно долго смотрела на него, — к ее большому разочарованию, это не был отец. Человек постоял, постоял, потом повернулся и ушел. Ирме стало жалко его, — надо было бы, собственно, открыть ему, — но она так закоченела, что едва хватило сил запереть окно. Вернувшись в постель, она никак не могла согреться, и когда наконец заснула, ей приснилось, что она играет с отцом в хоккей, и отец, смеясь, толкнул ее, она упала спиной на лед, лед колет, а встать невозможно.

Утром у нее было сорок и три десятых, и доктор, которого тотчас вызвали, велел немедленно облечь ее в тугой компресс. Аннелиза вдруг почувствовала, что сходит с ума, что судьба просто не имеет права так ее мучить, и решила не поддаваться, и даже улыбалась, когда прощалась с доктором. Перед уходом он еще заглянул к бонне, которая прямо сгорала от жара, но у этой здоровенной женщины ничего не было серьезного. Макс проводил доктора до прихожей и простуженным голосом, стараясь говорить шепотом, спросил, правда ли, что жизнь Ирмы не в опасности. Доктор Ламперт оглянулся на дверь и поджал губы. «Завтра посмотрим, — сказал он. — Я, впрочем, еще и сегодня заеду». «Все то же самое, — думал он, сходя по лестнице. — Те же вопросы, те же умоляющие взгляды». Он посмотрел в записную книжку и сел в автомобиль, а минут через пять уже входил в другую квартиру. Кречмар встретил его в шелковой куртке с бранденбургами. «Она со вчерашнего дня какая-то кислая, — сказал он. — Жалуется, что все болит». — «Жар есть?» — спросил Ламперт, с некоторой тоской думая о том, сказать ли этому глупо озабоченному человеку, что его дочь опасно больна. «Температуры как будто нет, — сказал Кречмар с тревогой в голосе. — Но я слышал, что грипп без температуры — очень неприятная вещь». «К чему, собственно, рассказывать? — подумал Ламперт. — Семью он бросил с совершенной беспечностью. Захотят — известят сами. Нечего мне соваться в это».

«Ну, ну, — сказал Ламперт, — покажите мне нашу милую больную».

Магда лежала на кушетке, вся в шелковых кружевах, злая и розовая, рядом сидел, скрестив ноги, художник Горн

и карандашом рисовал на исподе папиросной коробки ее прелестную голову. «Прелестная, слова нет, — подумал Ламперт. — А все-таки в ней есть что-то от гадюки».

Горн, посвистывая, ушел в соседнюю комнату, и Ламперт с легким вздохом приступил к осмотру больной.

Маленькая простуда, — больше ничего.

«Пускай посидит дома два-три дня, — сказал Ламперт. — Как у вас с кинематографом? Кончили сниматься?»

«Ох, слава Богу, кончила! — ответила Магда, томно запахиваясь. — Но скоро будут нам фильму показывать, — я непременно должна быть к тому времени здорова».

«С другой же стороны, — беспричинно подумал Ламперт, — он с этой молодой дрянью сядет в галошу».

Когда врач ушел, Горн вернулся в гостиную и продолжал небрежно рисовать, посвистывая сквозь зубы. Кречмар стоял рядом и смотрел на ритмический ход его белой руки. Потом он пошел к себе в кабинет дописывать статью о нашумевшей выставке.

«Друг дома», — сказал Горн и усмехнулся.

Магда посмотрела на него и сердито проговорила:

«Да, я тебя люблю, такого большого урода, — но ничего не поделаешь...»

Он повертел коробку перед собой, потом бросил ее на стол.

«Послушай, Магда, ты все-таки когда-нибудь собираешься ко мне прийти? Очень, конечно, веселы эти мои визиты, но что же дальше?»

«Во-первых, говори тише; во-вторых, я вижу, что ты будешь доволен только тогда, когда начнутся всякие ужасные неосторожности, и он меня убьет или выгонит из дому, и будем мы с тобой без гроша».

«Убьет... — усмехнулся Горн. — Тоже скажешь».

«Ах, подожди немножко, я прошу тебя. Ты понимаешь, — когда он на мне женится, мне будет как-то спокойнее, свободнее... Из дому жены так легко не выгонишь. Кроме того, имеется кинематограф, — всякие у меня планы».

«Кинематограф», — усмехнулся Горн.

«Да, вот увидишь. Я уверена, что фильма вышла чудная. Надо ждать... Мне так же невтерпеж, как и тебе».

Он пересел к ней на кушетку и обнял ее за плечо. «Нет, нет», — сказала она, уже дрожа и жмурясь. «В виде закуски, —

один поцелуй, — в виде закуски». — «Только недолгий», — сказала она глухо.

Он нагнулся к ней, но вдруг стукнула дальняя дверь, послышались шаги.

Горн хотел выпрямиться, но в тот же миг заметил, что шелковое кружево на плече у Магды захватило пуговицу на его обшлаге. Магда быстро принялась распутывать, — но шаги уже приближались, Горн рванул руку, кружево, однако, было плотное, Магда зашипела, теребя ногтями петли, — и тут вошел Кречмар.

«Я не обнимаю фрейлейн Петерс, — бодро сказал Горн. — Я только хотел поправить подушку и запутался».

Магда продолжала теребить кружево, не поднимая ресниц, — положение было чрезвычайно карикатурное, Горн его мысленно отметил с восхищением.

Кречмар молча вынул перочинный нож и открыл его, сломав себе ноготь. Карикатура продолжалась.

«Только не зарежьте ее», — восторженно сказал Горн и начал смеяться. «Пусти», — произнес Кречмар, но Магда крикнула: «Не смей резать, лучше отпороть пуговицу» («Ну, это положим!» — радостно вставил Горн). Был миг, когда оба мужчины как бы навалились на нее. Горн на всякий случай дернулся опять, что-то треснуло, он освободился.

«Пойдемте ко мне в кабинет», — сказал Кречмар, не глядя на Горна.

«Ну-с, надо держать ухо востро», — подумал Горн и очень кстати вспомнил прием, которым он уже два раза в жизни пользовался, чтоб отвлечь внимание соперника.

«Садитесь, — сказал Кречмар. — Вот что. Я хотел попросить вас сделать несколько рисунков, — тут была интересная выставка, — мне бы хотелось, чтобы вы сделали несколько карикатур на те или иные картины, которые я разношу в моей статье, — чтобы вышли, так сказать, иллюстрации к ней. Статья очень сложная, язвительная...»

«Эге, — подумал Горн, — это у него, значит, хмурость работающей фантазии. Какая прелесть!»

«Я к вашим услугам, — проговорил он вслух. — С удовольствием. У меня тоже к вам небольшая просьба. Жду гонорара из нескольких мест, и сейчас мне приходится туговато, — вы могли бы мне одолжить — пустяк, скажем: тысячу марок?»

«Ах, конечно, конечно. И больше, если хотите. И само собой разумеется, что вы должны назначить мне цену на иллюстрации».

«Это каталог? — спросил Горн. — Можно посмотреть?»

«Все женщины, женщины, — с нарочитой брезгливостью произнес Горн, разглядывая репродукции. — Мальчишек совсем не рисуют».

«А на что вам они?» — лукаво спросил Кречмар.

Горн простодушно объяснил.

«Ну, это дело вкуса, — сказал Кречмар и продолжал, щеголяя широтой своих взглядов: — Конечно, я не осуждаю вас. Это, знаете, часто встречается среди людей искусства. Меня бы это покоробило в чиновнике или в лавочнике, — но живописец, музыкант — другое дело. Впрочем, одно могу вам сказать, — вы очень много теряете».

«Благодарю покорно, для меня женщина — только милое млекопитающее, — нет, нет, увольте!»

Кречмар рассмеялся: «Ну, если на то пошло, и я должен вам кое в чем признаться. Дорианна, как увидела вас, сразу сказала, что вы к женскому полу равнодушны».

(«Ах, мерзавка», — подумал Горн.)

XVIII

Прошло три дня. Магда все еще покашливала и, будучи чрезвычайно мнительной, не выходила, — валялась на кушетке в кимоно. Кречмар работал у себя в кабинете. От нечего делать Магда стала развлекаться тем, чему ее как-то научил Горн: удобно расположившись среди подушек, она звонила незнакомым людям, фирмам, магазинам, заказывала вещи, которые велела посылать по выбранным в телефонной книжке адресам, дурачила солидных лиц, десять раз подряд звонила по одному и тому же номеру, доводя до исступления занятого человека, — и выходило иногда очень забавно, и бывали замечательные объяснения в любви и еще более замечательная ругань. Вошел Кречмар, остановился, глядя на нее со смехом и любовью и слушая, как она заказывает для кого-то гроб. Кимоно на груди распахнулось, она сучила ножками от озорной радости, длинные глаза блистали и щурились. Он сейчас испытывал к ней страстную нежность (еще обостренную тем, что

последнюю неделю она, ссылаясь на болезнь, не подпускала его) и тихо стоял поодаль, боясь подойти, боясь испортить ей забаву.

Теперь она рассказывала какому-то профессору Груневальду вымышленную историю своей жизни и умоляла, чтоб он встретил ее в полночь у знаменитых вокзальных часов напротив Зоологического Сада, — и профессор на другом конце провода мучительно и тяжелодумно решал про себя, мистификация ли это, или дань его славе экономиста и философа.

Ввиду этих Магдиных утех, не удивительно, что Максу, вот уже полчаса, не удавалось добиться телефонного соединения с квартирой Кречмара. Он пробовал вновь и вновь, и всякий раз — невозмутимое жужжание. Наконец он встал, почувствовал головокружение и сел опять: эти ночи он не спал вовсе, — но не все ли равно, сейчас его долг — вызвать Кречмара. Судьба невозмутимым жужжанием как будто препятствовала его намерению, но Макс был настойчив: если не так, то иначе. Он на цыпочках прошел в детскую, где было темновато и очень тихо, несмотря на смутное присутствие нескольких людей, глянул на затылок Аннелизы, на ее пуховый платок, — и, вдруг решившись, повернулся, вышел вон, мыча и задыхаясь от слез, напялил пальто и поехал звать Кречмара.

«Подождите», — сказал он шоферу, сойдя на панель перед знакомым домом.

Он уже напирал на тяжелую парадную дверь, когда сзади подоспел Горн, и они вошли вместе. На лестнице они взглянули друг на друга и тотчас вспомнили хоккейную игру. «Вы к господину Кречмару?» — спросил Макс. Горн улыбнулся и кивнул. «Так вот что: сейчас ему будет не до гостей, я — брат его жены, я к нему с невеселой вестью».

«Давайте — передам?» — гладким голосом предложил Горн, невозмутимо продолжая подниматься рядом.

Макс страдал одышкой; он на первой же площадке остановился, исподлобья, по-бычьи, глядя на Горна. Тот выжидательно замер и с любопытством осматривал заплаканного, багрового, толстого спутника.

«Я советую вам отложить ваше посещение, — сказал Макс, сильно дыша. — У моего зятя умирает дочь».

Он двинулся дальше. Горн спокойно за ним последовал («Забавная штука, это упустить нельзя...»). Макс отлично

слышал шаги за собой, но его душила мутная злоба, он боялся, что не хватит дыхания дойти, и потому берег себя. Когда они добрались до двери квартиры, он повернулся к Горну и сказал: «Я не знаю, кто вы и что вы, — но я вашу настойчивость отказываюсь понимать».

«Я — друг дома», — ласково ответил Горн и, вытянув длинный, прозрачно-белый указательный палец, позвонил.

«Ударить его палкой? — подумал Макс. — Ах, не все ли равно... Только бы скорей вернуться».

Открыл слуга (похожий, по мнению Магды, на лорда).

«Доложите, голубчик, — томно сказал Горн, — вот этот господин хочет видеть...»

«Потрудитесь не вмешиваться!» — со взрывом гнева перебил Макс и, стоя посреди прихожей, во всю силу легких позвал: «Бруно!» — и еще раз: «Бруно!»

Кречмар, увидя шурина, его перекошенное лицо, опухшие глаза, с разбегу поскользнулся и круто стал. «Ирма опасно больна, — сказал Макс, стукнув об пол тростью. — Советую тотчас поехать...»

Короткое молчание. Горн жадно смотрел на обоих. Вдруг из гостиной звонко и ясно раздался Магдин голос: «Бруно, на минутку».

«Мы сейчас поедем», — сказал Кречмар заикаясь и ушел в гостиную.

Магда стояла, скрестив на груди руки. «Моя дочь опасно больна, — сказал Кречмар. — Я туда еду».

«Это вранье, — проговорила она злобно. — Тебя хотят заманить».

«Опомнись... Магда... ради Бога».

Она схватила его за руку: «А если я поеду с тобой вместе?»

«Магда, пожалуйста, ну пойми, меня ждут».

«...околпачить. Я тебя не отпущу...»

«Меня ждут, меня ждут», — сказал Кречмар, заикаясь и пуча глаза.

«Если ты посмеешь...»

Макс стоял в передней, продолжая стучать тростью. Горн вынул портсигар. Из гостиной послышался взрыв голосов. Горн предложил Максу папиросу. Макс, не глядя, отпихнул портсигар локтем, и папиросы рассыпались. Горн засмеялся. Опять взрыв голосов. «О, какая мерзость...» —

пробормотал Макс, дернув дверь на лестницу, и, с трясущимися щеками, быстро спустился.

«Ну что?» — шепотом спросила бонна, когда он вернулся.

«Нет, не приедет», — ответил он, закрыл на минуту ладонью глаза, потом прочистил горло и опять, как давеча, на цыпочках, прошел в детскую.

Там было все по-прежнему. Ирма тихо мотала из стороны в сторону головой, полураскрытые глаза как будто не отражали света. Она тихонько икнула. Аннелиза поглаживала одеяло у ее плеча. Ирма вдруг слегка напряглась на подушках, откидывая лицо. Со стола упала ложечка — и этот звон долго оставался у всех в ушах. Сестра милосердия стала считать пульс и потом осторожно, словно боясь повредить, опустила руку девочки на одеяло. «Она, может быть, хочет пить?» — прошептала Аннелиза. Сестра покачала головой. Кто-то в комнате очень тихо кашлянул. Ирма продолжала мотаться, затем принялась медленно поднимать и выпрямлять под одеялом колено.

Скрипнула дверь, и вошла бонна, сказала что-то на ухо Максу, тот кивнул, она вышла. Дверь опять скрипнула, Аннелиза не повернула головы...

Кречмар остановился в двух шагах от постели, лишь смутно видя пуховый платок и бледные волосы жены: зато с потрясающей ясностью видя лицо дочери, ее маленькие, черные ноздри и желтоватый лоск на круглом лбу. Так он простоял довольно долго, потом широко разинул рот, — кто-то подоспел и взял его под локоть.

Он тяжело сел у стола в кабинете. В углу, на диване, сидели две смутно знакомые дамы, на стуле поодаль рыдала бонна. Осанистый старик, неизвестно кто, стоял у окна и курил. На столе была хрустальная ваза с апельсинами и пепельница, полная окурков.

«Почему меня не позвали раньше?» — тихо сказал Кречмар, подняв брови, и так и остался с поднятыми бровями, а потом покачал головой и стал трещать пальцами. Все молчали. Тикали часы. Откуда-то появился Ламперт, ушел в детскую и очень скоро вернулся.

«Ну что?» — хрипло спросил Кречмар.

Ламперт, обратившись к осанистому старику, сказал что-то о камфоре и вышел.

Протекло неопределенное количество времени. За окнами было темно. Кречмар раза два входил в детскую, и всякий раз что-то кипятком подступало к горлу, и он опят' возвращался в кабинет и садился у стола. Погодя он взял апельсин и машинально принялся его чистить. Было теперь еще тише, чем раньше, и за окном, должно быть, шел снег. С улицы доносились редкие, ватные звуки, по временам что-то стучало в паровом отоплении. Кто-то внизу на улице звучно свистнул на четырех нотах, — и опять тишина. Кречмар медленно ел апельсин. Апельсин был очень кислый. Вдруг вошел Макс и, ни на кого не глядя, развел руками.

В детской Кречмар увидел спину жены, неподвижно и напряженно склонившейся над кроватью, — сестра милосердия взяла ее за плечи и отвела в полутьму. Он подошел к кровати, — но все дрожало и мутилось перед ним, — на миг ясно проплыло маленькое, мертвое лицо, короткая, бледная губа, обнаженные передние зубы, одного не хватало — молочного зубка, молочного, — потом все опять затуманилось, и Кречмар повернулся, стараясь никого не толкнуть, вышел. Внизу дверь оказалась заперта, но погодя сошла какая-то дама в шали и впустила оснеженного и озябшего человека, вероятно того, который только что свистал. Уже выйдя на улицу, Кречмар почему-то посмотрел на часы. Было за полночь. Неужели он там пробыл пять часов?

Он пошел по белой панели и все никак не мог освоить, что случилось. «Умерла», — повторил он несколько раз и удивительно живо вообразил Ирму влезающей к Максу на колени или бросающей об стену мяч. Меж тем как ни в чем не бывало трубили таксомоторы, небо было черно, и только там, далеко, в стороне Гедехтнискирхе, чернота переходила в теплый коричневый тон, в смуглое электрическое зарево.

Наконец он добрался до дому. Магда лежала на кушетке, полуголая, размаянная, и курила. Кречмар мельком вспомнил, что ушел из дому, поссорившись с ней, но это было сейчас неважно. Она молча проследила за ним глазами, как он тихо бродит по комнате, вытирая мокрое от снега лицо. Никакой досады она сейчас против него не испытывала, — была только блаженная усталость. Недавно ушел Горн, тоже усталый и тоже очень довольный.

XIX

Кречмар на некоторое время замолк. Его угнетала беспримерная тоска. Впервые, может быть, за этот год сожительства с Магдой он отчетливо осознавал тот легкий налет гнусности, который осел на его жизнь. Ныне судьба с ослепительной резкостью как бы заставила его опомниться, он слышал громовой окрик судьбы и понимал, что ему дается редкая возможность круто втащить жизнь на прежнюю высоту. Он понимал, что если сейчас вернется к жене, будет безмолвно и безотлучно при ней — невозможное в иной, повседневной, обстановке сближение произойдет почти само собою. Некоторые воспоминания той ночи не давали ему покоя, — он вспоминал, как Макс вдруг посмотрел на него влажным и просящим взглядом, — и потом, отвернувшись, сжал ему руку повыше локтя, — и он вспоминал, как в зеркале уловил необъяснимое выражение на лице жены, жалостное, затравленное и все-таки сродни человеческой улыбке. Он чувствовал, наконец, что ежели не воспользоваться теперь же этой возможностью вернуться, то уже очень скоро встреча с Аннелизой станет столь же немыслимой, сколь была до смерти их дочери. Обо всем этом он думал честно, мучительно и глубоко и особой логикой чувств понял, что если он поедет на похороны, то уж останется с женой навсегда. Позвонив Максу, он узнал от прислуги место и час, и в утро похорон встал, пока Магда еще спала, и велел слуге приготовить ему черное пальто и цилиндр. Поспешно допив кофе, он пошел в бывшую детскую Ирмы, где теперь стоял стол для пингпонга. И тут, подбрасывая на ладони целлулоидовый шарик, он никак не мог направить мысль на детство Ирмы, а думал о том, как прыгала здесь и вскрикивала, и ложилась грудью на стол, протянув пинг-понговую лопатку, другая девочка, живая, стройная и распутная.

Он посмотрел на часы. Надо было ехать, надо было ехать. Он бросил шарик на стол и быстро пошел в спальню поглядеть в последний раз, как Магда спит. И, остановившись у постели, впиваясь глазами в это детское лицо с розовыми, ненакрашенными губами, темными веками и бархатным румянцем во всю щеку, Кречмар с ужасом подумал о завтрашней жизни с женой, выцветшей, серолицей, слабо пахнущей одеколоном, и эта жизнь ему предста-

вилась в виде тускло освещенного, длинного и пыльного коридора, где стоит заколоченный ящик или детская коляска (пустая), а в глубине сгущаются потемки.

С трудом оторвав взгляд от щек и плеч спящей Магды и нервно покусывая ноготь большого пальца, он подошел к окну. Была оттепель, автомобили расплескивали лужи, на углу виднелся ярко-фиолетовый лоток с цветами, солнечное мокрое небо отражалось в стекле окна, которое мыла веселая, растрепанная горничная. «Как ты рано встал. Ты уходишь куда-нибудь?» — протянул, перевалившись через зевок, Магдин голос.

Он, не оборачиваясь, отрицательно покачал головой.

XX

«Бруно, приободрись, — говорила она ему неделю спустя. — Я понимаю, что все это очень грустно, — но ведь они тебе все немножко чужие, согласись, ты сам это чувствуешь, и конечно, твоей дочке внушена была к тебе ненависть. Ты не думай, — я очень тебе соболезную, хотя, знаешь, если у меня мог бы родиться ребенок, то я хотела бы мальчика...»

«Ты сама ребенок», — сказал он, гладя ее по волосам.

«Особенно сегодня нужно быть бодрым, — продолжала Магда, надувая губы. — Особенно сегодня. Подумай, ведь это начало моей карьеры, я буду знаменита».

«Ах да, я и забыл. Это когда же? Сегодня разве?»

Явился Горн. Он заходил последнее время каждый день, и Кречмар несколько раз поговорил с ним по душам, сказал ему все то, что Магде он бы сказать не смел и не мог. Горн так хорошо слушал, высказывал такие мудрые мысли и с такой вдумчивостью сочувствовал ему, что недавность их знакомства казалась Кречмару чем-то совершенно условным, никак не связанным со внутренним — душевным — временем, за которое развилась и созрела их мужественная дружба. «Нельзя строить жизнь на песке несчастья, — говорил Горн. — Это грех против жизни. У меня был знакомый — скульптор, — который женился из жалости на пожилой, безобразной горбунье. Не знаю в точности, что случилось у них, но через год она пыталась отравиться, а его пришлось посадить в желтый дом. Художник, по

моему мнению, должен руководиться только чувством прекрасного, — оно никогда не обманывает».

«Смерть, — говорил он еще, — представляется мне просто дурной привычкой, которую природа теперь уже не может в себе искоренить. У меня был приятель, юноша, полный жизни, с лицом ангела и с мускулами пантеры, — он порезался, откупоривая бутылку, и через несколько дней умер. Ничего глупее этой смерти нельзя себе представить, но вместе с тем... вместе с тем, — да, странно сказать, но это так: было бы менее художественно, доживи он до старости... Изюминка, пуанта жизни заключается иногда именно в смерти».

Горн в такие минуты говорил не останавливаясь — плавно выдумывая случаи с никогда не существовавшими знакомыми, подбирая мысли, не слишком глубокие для ума слушателя, придавая словам сомнительное изящество. Образование было у него пестрое, ум — хваткий и проницательный, тяга к разыгрыванию ближних — непреодолимая. Единственно, быть может, подлинное в нем была бессознательная вера в то, что все созданное людьми в области искусства и науки только более или менее остроумный фокус, очаровательное шарлатанство. О каком бы важном предмете ни заходила речь, он был одинаково способен сказать о нем нечто мудреное, или смешное, или пошловатое, если этого требовало восприятие слушателя. Когда же он говорил совсем серьезно о книге или картине, у Горна было приятное чувство, что он — участник заговора, сообщник того или иного гениального гаера — создателя картины, автора книги. Жадно следя за тем, как Кречмар (человек, по его мнению, тяжеловатый, недалекий, с простыми страстями и добротными, слишком добротными познаниями в области живописи) страдает и как будто считает, что дошел до самых вершин человеческого страдания, — следя за этим, Горн с удовольствием думал, что это еще не все, далеко не все, а только первый номер в программе превосходного мюзик-холла, в котором ему, Горну, предоставлено место в директорской ложе. Директором же сего заведения не был ни Бог, ни дьявол. Первый был слишком стар и мастит и ничего не понимал в новом искусстве, второй же, обрюзгший чорт, обожравшийся чужими грехами, был нестерпимо скучен, скучен, как предсмертная зевота тупого преступника, зарезавшего ростов-

щика. Директор, предоставивший Горну ложу, был существом трудноуловимым, двойственным, тройственным, отражающимся в самом себе, — переливчатым магическим призраком, тенью разноцветных шаров, тенью жонглера на театрально освещенной стене... Так, по крайней мере, полагал Горн в редкие минуты философских размышлений.

Оттого он никак не мог понять в себе острое пристрастие к Магде. Он старался его объяснить физическими свойствами Магды, чем-то таким в запахе ее кожи, в температуре тела, в особом строении глазного райка, в особенной эпителии губ. Но все это было не совсем так. Взаимная их страсть была основана на глубоком родстве их душ, — даром что Горн был талантливым художником, космополитом, игроком...

Явившись к ним в тот день, в который Магда впервые должна была замелькать на экране, он успел ей сказать (подавая ей пальто,) что там-то и там-то снял комнату, где они могут спокойно встречаться. Она ответила ему злым взглядом, — ибо Кречмар стоял в десяти шагах от них. Горн рассмеялся и добавил почти не понижая голоса, что будет каждый день там ждать ее между таким-то и таким-то часом.

«Я приглашаю фрейлейн Петерс на свидание, а она не хочет», — сказал он Кречмару, пока они спускались вниз.

«Попробуй она у меня захотеть, — улыбнулся Кречмар и нежно ущипнул Магду за щеку. — Посмотрим, посмотрим, как ты играешь», — продолжал он, натягивая перчатку.

«Завтра в пять, фрейлейн Петерс», — сказал Горн.

«Маленькая завтра поедет одна выбирать автомобиль, — проговорил Кречмар. — Так что никаких свиданий».

«Успеется, автомобиль не убежит, правда, фрейлейн Петерс?»

Магда вдруг обиделась. «Какие дурацкие шутки!» — воскликнула она.

Мужчины, смеясь, переглянулись, Кречмар подмигнул.

Швейцар, разговаривавший с почтальоном, посмотрел на Кречмара с любопытством.

«Прямо не верится, — сказал швейцар, когда те прошли, — прямо не верится, что у него недавно умерла дочка».

«А кто второй?» — спросил почтальон.

«Почем я знаю. Завела молодца ему в подмогу, вот и все. Мне, знаете, стыдно, когда другие жильцы смотрят на эту...

(нехорошее слово). А ведь приличный господин, сам-то, и богат, — мог бы выбрать себе подругу поосанистее, покрупнее, если уж на то пошло».

«Любовь слепа», — задумчиво произнес почтальон.

XXI

В небольшом зале, где показывали актерам и гостям фильму «Азра», было народу немного, но достаточно для того, чтобы у Магды прошел тревожный и приятный холодок по спине. Недалеко от себя она заметила того режиссера, к которому некогда так неудачно ходила представляться. Он подошел к Кречмару. Кречмар представил его Магде. На правом глазу у него был крупный ячмень. Магду рассердило, что он сразу же ее не узнал. «А я у вас как-то была в конторе», — сказала она злорадно (пускай теперь пожалеет!). «Ах, сударыня, — ответил он с учтивой улыбкой, — я помню, помню». На самом деле он не помнил ничего.

Как только погас свет, Горн, сидевший между нею и Кречмаром, нащупал и взял ее руку. Спереди сидела Дорианна Каренина, кутаясь в мех, хотя в зале было жарко. Соседом ее был режиссер с ячменем, и Дорианна за ним ухаживала. Тихо и ровно, вроде пылесоса, заработал аппарат. Музыки не было.

Магда появилась на экране почти сразу: она читала, потом бросала книгу и бежала к окну: подъехал верхом ее жених. У нее так замерло сердце, что она вырвала руку из руки Горна и больше ее не давала (он зато гладил ее по юбке и как-то умудрился отстегнуть ей подвязку). Угловатая, неказистая, с припухшим, странно изменившимся ртом, черным как пиявка, с неправильными бровями и непредвиденными складками на платье, невеста дико взглянула перед собой, а затем легла грудью на подоконник, задом к публике.

Магда оттолкнула блуждающую руку Горна, — и ей вдруг захотелось кого-нибудь укусить или броситься на пол, забиться, закричать... Неуклюжая девица на экране ничего общего с ней не имела, — она была ужасна, она была похожа на ее мать-швейцариху на свадебной фотографии. Может быть, дальше лучше будет? Кречмар пере-

гнулся к ней, по дороге полуобняв Горна, и нежно прошелестел: «Очаровательно, чудесно, я не ожидал...» Он действительно был очарован. Ему вспоминался «Аргус», его трогало, что Магда так невозможно плохо играет, — и вместе с тем в ней была какая-то прелестная, детская старательность, как у подростка, читающего поздравительные стихи. Горн тихо ликовал: он не сомневался, что Магда выйдет на экране неудачно, он знал, что за это попадет Кречмару, а завтра, в виде реакции... Все это было очень забавно. Он принялся опять бродить рукой по ее ногам и платью, и она вдруг сильно ущипнула его.

Через некоторое время невеста появилась снова: она шла крадучись вдоль стены, тайком шла в кафе, где светлая личность, друг семьи, видел ее жениха в обществе женщины из породы вампиров (Дорианна Каренина). Кралась она вдоль стены возмутительно, и почему-то спина у нее вышла толстенькая. «Я сейчас закричу», — подумала Магда. К счастью, экран перемигнул, появился столик в кафе, герой, дающий закурить (интимность!) Дорианне. Дорианна откидывала голову, выпускала дым и улыбалась одним уголком рта. Кто-то в зале захлопал, другие подхватили. Вошла невеста. Рукоплескания умолкли. Невеста открыла рот, как Магда никогда не открывала. Дорианна, настоящая Дорианна, сидевшая спереди, обернулась, и глаза ее ласково блеснули в полутьме. «Молодец, девочка», — сказала она хрипло, и Магде захотелось полоснуть ее по лицу ногтями.

Теперь уже она так боялась каждого своего появления, что вся ослабела и не могла, как прежде, хватать и щипать назойливую руку Горна. Она дохнула ему в ухо горячим шепотом: «Пожалуйста, перестань, я пересяду». Он похлопал ее по колену, и рука его успокоилась.

Невеста появлялась вновь и вновь, и каждое движение терзало Магду, она была как душа в аду, которой бесы показывают земные ее прегрешения. Простоватость, корявость, стесненность движений... На этом одутловатом лице она улавливала почему-то выражение своей матери, когда та старалась быть вежливой с влиятельным жильцом. «Очень удачная сценка», — шептал Кречмар, перегибаясь через Горна. Горну сильно надоело сидеть в темноте и смотреть на скверную фильму. Он закрыл глаза и стал вспоминать, как было трудно и вместе с тем весело рисовать для кинематографа движения Чипи, — тысячи движений.

«Надо что-нибудь придумать новое, — непременно надо придумать».

Драма подходила к концу. Герой, покинутый вампиром, шел под сильным дождем в аптеку покупать яд. Невеста в деревне играла с его незаконным ребенком, младенец к ней ластился. Вот она почему-то провела тылом руки по платью. Это движение не было предусмотрено, — она словно вытирала руку, а младенец глядел исподлобья. По залу прошел смешок. Магда не выдержала и стала тихо плакать.

Как только зажегся свет, она встала и пошла к выходу. «Что с ней, что с ней?» — пробормотал Кречмар и быстро за ней последовал. Горн выпрямился, расправляя плечи. Дорианна тронула его за рукав. Рядом стоял господин с ячменем на глазу и позевывал.

«Провал, — сказала Дорианна, подмигнув. — Бедная девочка».

«А вы довольны собой?» — спросил Горн с любопытством.

Дорианна усмехнулась: «Нет, настоящая актриса никогда не бывает довольна».

«Художники тоже, — сказал Горн. — Но вы не виноваты. Роль была глупая. Скажите, кстати, как вы придумали свой псевдоним? Я все хотел узнать».

«Ох, это длинная история», — ответила она с улыбкой.

«Нет, вы меня не понимаете. Я хочу узнать. Скажите, вы Толстого читали?»

«Толстого? — переспросила Дорианна Каренина. — Нет, не помню. А почему вас это интересует?».

XXII

На квартире у Кречмара была буря, рыдания, судороги, стоны. Кречмар беспомощно ходил за ней: она бросалась то на кушетку, то на постель, то на пол. Глаза ее яростно и прекрасно блистали, один чулок сполз. Весь мир был мокр от слез. Кречмар утешал ее самыми нежными словами, какие он только знал, употребляя незаметно для себя слова, которые говорил некогда дочери, целуя синяк, — слова, которые теперь как бы освободились после смерти Ирмы.

Сначала Магда излила весь свой гнев на него, потом страшными эпитетами выругала Дорианну, потом обрушилась на режиссера (заодно попало совершенно непричастному Гроссману, толстяку с ячменем). «Хорошо, — сказал Кречмар наконец. — Я приму исключительные меры. Только заметь, я вовсе не считаю, что это провал, — напротив, ты местами очень мило играла, — там, например, в первой сцене, — знаешь, когда ты...»

«Замолчи!» — крикнула Магда и швырнула в него подушкой. «Да постой, Магда, выслушай. Я же все готов сделать, только бы моя девочка была счастлива. Я знаешь что сделаю? Ведь фильма-то моя, я платил за эту ерунду... то есть за ту ерунду, которую из нее сделал режиссер. Вот я ее и не пущу никуда, а оставлю ее себе на память («Нет, сожги», — сказала Магда рыдающим баском), или да, сожгу. И Дорианне, поверь, поверь, это будет не очень приятно. Ну что — мы довольны?»

Она продолжала всхлипывать, но уже тише.

«Красавица ты моя, не плачь же. Я тебе еще кое-что скажу. Вот завтра ты пойдешь выбирать автомобиль, — весело же! А потом мне его покажешь, и я, мо-жет быть, — (он улыбнулся и поднял брови на лукаво растянутом слове "может быть"), — его куплю. Мы поедем кататься, ты увидишь весну на юге, мимозы... А, Магда?»

«Не это главное», — сказала она ужимчиво.

«Главное, чтобы ты была счастлива, и ты будешь со мною счастлива. Осенью вернемся, будешь ходить на кинематографические курсы, или я найду талантливого режиссера, учителя... вот, например, Гроссман...»

«Нет, только не Гроссман», — зарычала Магда, содрогаясь.

«...ну, другого. Найдем уж, найдем. Ты ж вытри слезы, — мы поедем ужинать и танцевать... Пожалуйста, Магда!»

«Я только тогда буду счастлива, — сказала она, тяжело вздохнув, — когда ты с ней разведешься. Но я боюсь, что ты теперь увидел, как у меня ничего там не вышло, в этой мерзкой фильме, и бросишь меня. Нет, постой, не надо меня целовать. Скажи, — ты ведешь какие-нибудь переговоры, или все это заглохло?»

«Понимаешь ли, какая штука, — с расстановкой проговорил Кречмар, — понимаешь ли... Эх, Магда, ведь сейчас

у нас, то есть у нее главным образом, — ну, одним словом, — горе, мне как-то сейчас просто не очень удобно...»

«Что ты хочешь сказать? — спросила Магда, привстав. — Разве она до сих пор не знает, что ты хочешь развода?»

«Нет, не в том дело, — переглотнул и замялся Кречмар. — Конечно, она... это чувствует, то есть знает». Он смутился окончательно.

Магда медленно вытягивалась кверху, как разворачивающаяся змея.

«Вот что, — она не дает мне развода», — выговорил он, впервые в жизни оболгав Аннелизу.

«И не даст?» — спросила Магда, кусая губы, щурясь и медленно приближаясь к нему.

«Сейчас будет драться», — подумал Кречмар устало. «Нет, даст, конечно даст, — сказал он вслух. — Ты только не волнуйся так».

Магда подошла к нему вплотную и — обвила его шею руками.

«Я больше не могу быть только твоей любовницей, — сказала она, скользя щекой по его галстуку. — Я не могу. Сделай что-нибудь. Завтра же скажи себе: я это сделаю для моей девочки. Ведь есть же адвокаты, всего же можно добиться».

«Я обещаю тебе».

Она слегка вздохнула и отошла к зеркалу, томно разглядывая свое отражение.

«Развод? — подумал Кречмар. — Нет-нет, это немыслимо».

XXIII

Комнату, снятую им для свиданий с Магдой, Горн обратил в мастерскую, и всякий раз, когда Магда являлась, она заставала его за работой. Он издавал музыкальный, богатый мотивами свист, пока рисовал. Магда глядела на меловой оттенок его щек, на толстые, пунцовые губы, округленные свистом, на мягкие, черные волосы, такие сухие и легкие на ощупь, — и чувствовала, что этот человек в конце концов ее погубит. На нем была шелковая рубашка с открытым воротом, ладным ремешком подпоясанные

фланелевые штаны. Он творил чудеса при помощи китайской туши.

Так они виделись почти ежедневно; Магда оттягивала отъезд, хотя автомобиль был куплен и начиналась весна. «Позвольте вам дать совет, — как-то сказал Горн Кречмару. — Зачем вам брать шофера? Я способен сидеть за рулем двенадцать часов сряду, и автомобиль у меня делается шелковым». — «Очень это мило с вашей стороны, — ответил Кречмар несколько нерешительно. — Но право, — я не знаю... я боюсь оторвать вас от работы, мы собираемся довольно далеко закатиться...» — «Ах, какая там работа. Я и так собирался махнуть куда-нибудь на юг». — «В таком случае будем очень рады», — сказал Кречмар, с тревогой думая о том, как отнесется к этому Магда. Магда, однако, помявшись, согласилась. «Пусть едет, — заметила она. — Хотя, знаешь, он последнее время начинает мне надоедать, поверяет мне свои сердечные дела, — он об этом говорит с такими вздохами, словно влюблен в женщину. А на самом деле...»

Был канун отъезда. По дороге домой из магазинов она забежала к Горну и повисла у него на шее. Присутствие маленького мольберта у окна и пыльный сноп солнца через комнату напоминали ей, как она была натурщицей, и теперь, торопливо снимая платье, она с улыбкой вспоминала, как бывало ей иногда холодно выходить голой из-за ширмы.

Одевалась она потом с чрезвычайной быстротой, подскакивая на одной ноге, кружась, поднимая в зеркале бурю. «Чего ты так спешишь? — сказал он лениво. — Подумай, нынче последний раз. Неизвестно, как будем устраиваться во время путешествия». — «На то мы с тобой и умные», — ответила она со смехом.

Она выскочила на улицу и засеменила, выглядывая таксомотор, но солнечная улица была пуста. Дошла до площади, — и, как всегда возвращаясь от Горна, подумала: а не взять ли направо, потом через сквер, потом опять направо... Там была улица, где она в детстве жила.

(Счастье, удача во всем, быстрота и легкость жизни... Отчего в самом деле не взглянуть?)

Улица не изменилась. Вот булочная на углу, вот мясная, — на вывеске — знакомый золотой бык, а перед мясной привязанный к решетке бульдог майорской вдовы из

пятнадцатого номера. Вот кабак, где пропадал ее брат. Вот там наискосок — дом, где она родилась. Подойти ближе она не решилась, смутно опасаясь чего-то. Она повернула и тихо пошла назад. Уже около сквера ее окликнул знакомый голос.

Каспар, братнин товарищ с татуировкой на кисти. Он вел за седло велосипед с фиолетовой рамой и с корзиной перед рулем. «Здравствуй, Магда», — сказал он, дружелюбно кивнув, и пошел с ней рядом вдоль панели.

В последний раз, когда она видела его, он был очень неприветлив: тогда он действовал с приятелями сообща. Это была группа, организация, почти шайка; теперь же, один, он был просто старый знакомый.

«Ну, как дела, Магда?»

Она усмехнулась и ответила: «Прекрасно. А у тебя как?»

«Ничего, живем. А знаешь, ведь твои съехали. Они теперь в северном квартале. Ты бы как-нибудь их навестила, Магда. Подарочек, или что. Твой отец долго не протянет».

«А Отто где?» — спросила она.

«Отто в отъезде, — в Билефельде, кажется, работает».

«Ты сам знаешь, — сказала она, — ты сам знаешь, как меня дома любили. У меня пухли щеки от оплеух. И разве они потом старались узнать, что со мной, где я, не погибла ли я? Не прочь на мне заработать, — вот и все».

Каспар кашлянул и сказал: «Но это как-никак твоя семья, Магда. Ведь твою мать выжили отсюда, — и на новых местах ей не сладко».

«А что обо мне тут говорят?» — спросила она с любопытством.

«Ах, ерунду всякую... Судачат. Это понятно. Я же всегда считаю, что женщина вправе распоряжаться своей жизнью. Ты как, — с твоим другом ладишь?»

«Ничего, лажу. Он скоро на мне женится».

«Это хорошо, — сказал Каспар. — Я очень рад за тебя. Только жалко, что ты стала теперь дамой и нельзя с тобой повозиться, как раньше. Это очень, знаешь, жалко».

«А у тебя есть подружка?» — спросила она, улыбаясь.

«Нет, сейчас никого, мы с Гретой поссорились. Трудно все-таки жить иногда, Магда. Я теперь служу в кондитерской. Я бы хотел иметь свою собственную кондитерскую, — но когда это еще будет...»

«Да, жизнь», — задумчиво произнесла Магда и немного погодя подозвала таксомотор.

«Может быть, мы как-нибудь», — начал Каспар, но застеснялся.

«Погибнет девчонка, — подумал он, глядя, как она садится в автомобиль. — Наверняка погибнет. Ей бы выйти за простого хорошего человека. Я бы на ней, правда, не женился, — вертушка, ни минуты покоя...»

Он вскочил на велосипед и до следующего угла быстро ехал за автомобилем. Магда ему помахала рукой, он плавно, как птица, повернул и стал удаляться по боковой улице.

XXIV

Все было очаровательно, все было весело, — кроме ночевок в гостиницах. Кречмар был тягостно настойчив. Когда она пыталась отбояриться, ссылаясь на усталость, он, чуть не плача, говорил, что ни разу за день ее не поцеловал, просил позволения только поцеловать, — и постепенно добивался своего. Горн между тем был по соседству, она слышала иногда его шаги или посвистывание, — а Кречмар рычал от счастия, — и Горн это рычание мог слышать. Утром ехали дальше, — в чудесном, беззвучном автомобиле с внутренним управлением, шоссейная дорога, обсаженная яблонями, гладко подливала под передние шины, погода была великолепная, к вечеру стальные соты радиатора бывали битком набиты мертвыми пчелами и стрекозами. Горн действительно правил прекрасно: полулежа на очень низком сиденье с мягкой спинкой, он непринужденно и ласково орудовал рулем. Сзади, в окошечке, висела толстая Чипи и глядела на убегающий вспять север.

Во Франции пошли вдоль дороги тополя, в гостиницах горничные не понимали Магду, и это ее раздражало. Весну было решено провести на Ривьере, затем — Швейцария или Итальянские озера. На предпоследней до Гиер остановке они очутились в прелестном городке Ружинар. Приехали туда на закате, над окрестными горами линяли лохматые розовые тучи, в кофейнях исподлобья сверкали огни, платаны бульвара были уже по-ночному сумрачны. Магда, как всегда к ночи, казалась усталой и сердитой, со дня отъезда, то есть за две недели (они ехали не торопясь,

останавливаясь в живописных городках), она ни разу не побывала наедине с Горном, — это было мучительно, Горн, встречаясь с ней взглядом, грустно облизывался, как пес, привязанный хозяйкой у двери мясной. Поэтому, когда они въехали в Ружинар и Кречмар стал восхищаться силуэтами гор, небом, дрожащими сквозь платаны огнями, Магда на него огрызнулась. «Восторгайся, восторгайся», — произнесла она сквозь зубы, едва сдерживая слезы. Они подъехали к большой гостинице. Кречмар пошел справиться насчет комнат. «С ума сойду, если так будет продолжаться», — сказала Магда, стоя среди холла и не глядя на Горна. «Всыпь ему снотворного, — предложил Горн. — Я достану в аптеке». — «Пробовала, — ответила Магда злобно. — Не действует».

Кречмар вернулся к ним с виду несколько расстроенный. «Все полно, — сказал он, разводя руками. — Это очень досадно. Ты устала, моя маленькая». Магда, не разжимая зубов, двинулась к выходу.

Они подъезжали к трем гостиницам, и нигде комнат не оказывалось. Магда была в таком состоянии, что Кречмар боялся на нее смотреть. Наконец, в пятой гостинице, им предложили войти в лифт — подняться и посмотреть. Смуглый мальчишка, поднимавший их, стоял к ним в профиль. «Смотрите, что за красота, какие ресницы», — сказал Горн, слегка подтолкнув Кречмара. «Перестаньте паясничать!» — вдруг воскликнула Магда.

Номер с двуспальной постелью был вовсе неплохой, но Магда стала мелко стучать каблуком об пол, тихо и неприятно повторяя: «Я здесь не останусь, я здесь не останусь». — «Превосходная комната», — сказал Кречмар увещевающе. Мальчик вдруг открыл внутреннюю дверь, — там оказалась ванная, — вошел в нее, открыл другую дверь, — вот-те на: вторая спальня!

Горн и Магда вдруг переглянулись.

«Я не знаю, насколько вам это удобно, — общая ванная, — проговорил Кречмар. — Ведь Магда купается как утка».

«Ничего, ничего, — засмеялся Горн. — Я как-нибудь сбоку припеку».

«Может быть, у вас все-таки найдется что-нибудь другое?» — обратился Кречмар к мальчику. Но тут поспешно вмешалась Магда.

«Глупости, — сказала она, — глупости. Надоело бродить».

Она подошла к окну, пока вносили чемоданы. Синева, огоньки, черные купы деревьев, звон кузнечиков... Но она ничего не видела и не слышала, — ее разбирало счастливое нетерпение. Наконец она осталась вдвоем с Кречмаром, он стал выкладывать умывальные принадлежности. «Я первая пойду в ванную», — сказала она, торопливо раздеваясь. «Ладно, — ответил он добродушно. — Я тут сперва побреюсь. Только поторопись — надо идти ужинать». В зеркале он видел, как мимо стремительно пролетали джампер, юбка, что-то светлое, еще что-то светлое, один чулок, другой...

«Вот неряха», — сказал он, намыливая кадык.

Он слышал, как закрылась дверь, как трахнула задвижка, как шумно потекла вода.

«Нечего запираться, я все равно тебя купать не собираюсь», — крикнул он со смехом и принялся оттягивать четвертым пальцем щеку.

За дверью вода продолжала литься. Она лилась громко и непрерывно. Кречмар тщательно водил бритвой по щеке. Лилась вода, — причем шум ее становился громче и громче. Внезапно Кречмар увидел в зеркало, что из-под двери ванной выползает струйка воды, — меж тем шум был теперь грозовой, торжествующий.

«Что она в самом деле... потоп... — пробормотал он и подскочил к двери, постучал. — Магда, ты утонула? Сумасшедшая ты этакая!»

Никакого ответа. «Магда! Магда!» — крикнул он, и снежинки засохшей мыльной пены запорхали вокруг его лица.

Магда вышла из блаженного оцепенения, поцеловала напоследок Горна в ухо и бесшумно проскользнула в ванную: комнатка была полна пара и воды, она проворно закрыла краны.

«Я заснула в ванне», — крикнула она жалобно через дверь.

«Сумасшедшая, — повторил Кречмар. — Ты меня так напугала».

Струйки на полу остановились. Кречмар вернулся к зеркалу и снова намылил лицо.

Она явилась из ванной бодрая, сияющая и стала осыпаться тальком. Кречмар в свою очередь пошел купаться, —

там было все очень мокро. Оттуда он постучал Горну. «Я вас не задержу, — сказал он через дверь. — Сейчас будет свободно». — «Валяйте, валяйте», — чрезвычайно весело ответил Горн.

За ужином она была прелестно оживлена, они сидели на террасе, вокруг лампы колесили ночницы и падали на скатерть. «Мы останемся тут долго, долго, — сказала Магда. — Мне здесь страшно нравится». В действительности ей нравилось только одно: расположение комнат.

XXV

Прошла неделя, вторая. Дни были безоблачные, — зной, цветы, иностранцы, великолепные прогулки. Магда была счастлива, Горн тихо улыбался. Она принимала ванну утром и вечером, но уже следила, чтобы не было потопа. Старый французский полковник за соседним столиком наливался бурой кровью, как только она появлялась, и не спускал с нее жадных глаз, — и был американец, знаменитый теннисист с лошадиным лицом и загорелыми руками, который предложил ей давать уроки на отельной площадке. Но кто бы на нее ни глядел, кто бы с ней ни танцевал, Кречмар ревности не чувствовал, и, вспоминая Сольфи, он дивился, — в чем разница, почему тогда все нервило и тревожило его, а сейчас — уверенность, спокойствие? Он не замечал, что нет в ней теперь особого желания нравиться другим, искать чужих прикосновений и взглядов, — был только один человек, Горн, а Горн был тень Кречмара.

Однажды в майский день они втроем отправились пешком за несколько верст от курорта, в горы. К концу дня Магда устала, и решено было вернуться в Ружинар дачным поездом. Для этого пришлось спуститься по крутым, каменистым тропинкам, Магда натерла ногу, Кречмар и Горн поочередно несли ее на руках. Пришли на станцию. Вечерело, на платформе было много туристов. Поезд был простецкий, мелковагонный, бескоридорный. Сели. Затем Кречмар рискнул выйти опять на платформу, чтобы выпить стакан пива. У буфета он столкнулся с господином, который торопливо платил. Они поглядели друг на друга. «Дитрих, голубчик! — воскликнул Кречмар. — Вот неожиданно!»

Это был Дитрих фон Зегелькранц, беллетрист. «Ты один? — спросил Зегелькранц. — Без жены?» — «Да, без жены», — ответил Кречмар, слегка смутясь. «Поезд уходит», — сказал тот. «Я сейчас, — заторопился Кречмар, хватая стакан. — Ты садись... Вон там, второй вагон, я сейчас, первое отделение. Я сейчас. Эти монеты...»

Зегелькранц побежал к поезду, — уже захлопывались дверцы. В отделении было жарко, темновато и довольно полно. Поезд двинулся. «Опоздал», — подумал Зегелькранц с удовлетворением. Восемь лет прошло с тех пор, как он видел Кречмара, и говорить, в общем, было с ним не о чем. Зегелькранц был очень одинок, любил свое одиночество и сейчас работал над новой вещью, — появление прежнего приятеля выходило некстати.

Горн и Магда, высунувшись в окно, видели, как Кречмар энергично и неуклюже атаковал последний вагон и благополучно влез. Горн держал Магду за талию. «Молодожены, — вскользь подумал Зегелькранц. — Она — дочь винодела, у него — магазин готового платья в Ницце...»

Молодожены сели, блаженно друг другу улыбаясь. Зегелькранц вынул из кармана черную записную книжку.

«Ножка не болит?» — спросил Горн.

«Что у меня может болеть, когда я с тобой, — томно проговорила Магда. — Когда я думаю, что сегодня вечером...»

Горн сжал ей руку. Она вздохнула и, так как жара ее размаяла, положила голову ему на плечо, продолжая нежно ёжиться и говорить, — все равно французы в купэ не могли понять. У окна сидела толстая, усатая женщина в черном, рядом с ней мальчик, который все повторял: «Donne-moi une orange, un tout petit bout d'orange!»[1] — «Fiche-moi la paix»[2], — отвечала мать. Он замолкал и потом начинал скулить сызнова. Двое молодых французов тихо обсуждали выгоды автомобильного дела, — у одного из них была сильнейшая зубная боль, щека была повязана, он издавал сосущий звук, перекашивая рот. А прямо против Магды сидел маленький лысый господин в очках, с черной записной книжкой в руке, — должно быть, провинциальный нотариус.

---

[1] Дай апельсинчик, ну хоть маленький кусочек! *(Фр.)*

[2] А ну отвяжись *(фр.)*.

В последнем вагоне сидел Кречмар и думал о Зегелькранце. Они учились вместе в университете, затем встречались реже, Дитрих говаривал, что когда-нибудь опишет его и Аннелизу, когда захочет выразить «музыкальную тишину молодого супружеского счастья». Восемь лет тому назад Дитрих был очень привлекательный с виду, тоненький человек, с русой, довольно пышной шевелюрой и мягкими усами, которые он душил из гранатового флакончика сразу после еды. Он был очень слаб, нервен и мнителен, страдал редкостными, но не опасными болезнями, вроде сенной лихорадки. Последние годы он безвыездно жил на юге Франции. Его имя было хорошо известно в литературных кругах, но книги его продавались туго. Он знавал лично покойного Марселя Пруста, подражал ему и некоторым другим новаторам, так что из-под его пера выходили странные, сложные, тягучие вещи. Это был наблюдательный, чудаковатый и не особенно счастливый человек.

Минут через двадцать замелькали огни Ружинара. Поезд остановился. Кречмар поспешно покинул вагон. Ему было досадно, он смутно боялся недоразумения, следовало поскорее объяснить Дитриху. На платформе было много народу, и только у выхода он отыскал Магду и Горна.

«Вы с Зегелькранцем познакомились?» — спросил он улыбаясь.

«С кем?» — переспросила Магда.

«Разве он к вам в отделение не попал? Ладный такой, изящный. Артистическая прическа, мой старый друг...»

«Нет, — ответила Магда, — такого у нас не было».

«Значит, он не туда сел, — сказал Кречмар. — Какая, однако, вышла путаница. Как ножка — лучше?»

XXVI

Утром он справился в немецком пансионе, но адреса Зегелькранца там не знали. «Жалко, — подумал Кречмар. — А впрочем, может быть, к лучшему, уж очень давно не виделись». Как-то, через несколько дней, он проснулся раньше обыкновенного, увидел сизо-голубой день в окне, еще дымчатый, но уже набухающий солнцем, мягко-зеленые склоны вдали, и ему захотелось выйти, долго ходить,

взбираться по каменистым тропинкам, вдыхать запах тмина. Магда проснулась. «Еще так рано», — сказала она сонно. Он предложил быстрехонько одеться и, знаешь, вдвоем, вдвоем, на весь день... «Отправляйся один», — пробормотала она и повернулась на другой бок. «Ах ты, соня», — сказал с грустью Кречмар.

Было, когда он вышел, часов семь утра, городок проснулся только наполовину. Проходя мимо вишневых садов и голубых дачек уже поднимавшейся в гору тропой, он увидел сквозь яркую зелень человека, поливавшего из лейки темными восьмерками песок перед крыльцом. «Дитрих, вот ты где», — крикнул Кречмар. Зегелькранц был без шляпы: как неожиданно, — лысина, загорелая лысина и воспаленные, мигающие глаза.

«Мы ужасно глупо потеряли друг друга», — сказал Кречмар со смехом.

«Но встретились опять», — ответил Зегелькранц, продолжая тихо поливать песок.

«Ты... Ты всегда так рано встаешь, Дитрих?»

«Бессонница. Я слишком много пишу. А ты куда? в горы?»

«Пойдем, пойдем со мной, — сказал Кречмар. — И захвати что-нибудь почитать. Мне очень интересно, твой последний томик мне так понравился».

«Ах, стоит ли, — сказал Зегелькранц, подумал, увидел мысленно рукопись, черные росинки букв, улыбающиеся страницы. — Впрочем, если хочешь. Я как раз последние дни расписался».

Он пошел в комнату — прямо из сада, и вернулся с толстой клеенчатой тетрадкой.

«Поведу тебя в очень зеленое, красивое место, — сказал он. — Там мы почитаем под журчание воды. Как поживает твоя жена, почему ты один разъезжаешь?»

Кречмар прищурился и ответил:

«У меня было много несчастий, Дитрих. С женой я порвал, а девочка моя умерла».

Зегелькранцу стало неуютно: бедняга, стоит ли ему читать, он будет плохо слушать.

Они шли вверх среди благовонных кустов. Затем их окружили сосенки, на стволах сидели сплюснутые цикады и трещали, трещали, пока то у одной, то у другой не кончался завод.

«Обожаю эти места, — вздохнул Зегелькранц. — Тут так легко и так чисто. У меня тоже были несчастья. Но это теперь далеко. Мои книги, мое солнце, — что мне еще нужно?»

«А я сейчас в самом, так сказать, водовороте жизни, — сказал Кречмар. — Ты, должно быть, помнишь, как я мирно и хорошо жил с женой. Ты даже говорил... — эх, да что вспоминать! Та, которую я теперь люблю, все собой заслонила. И вот, только в такие утра, как нынче, когда еще не жарко, у меня в голове ясно, я чувствую себя более или менее человеком».

«Ложная тревога, — подумал Зегелькранц. — Он будет слушать».

Они добрались до глубины рощицы, на вершине холма. Там из железной трубки била ледяная струйка воды, текла по мшистой выемке, над ней дрожали желтые и лиловые цветы. Кречмар лег навзничь и загляделся на синеву неба сквозь озаренные, тихо шевелящиеся верхушки сосен.

«Правда, очаровательно? — спросил Дитрих, нацепляя очки. — Вот мы сейчас почитаем, потом спустимся в долину, оттуда — к развалинам, там снова — остановка и чтение. Потом закусим, — я знаю прелестную ферму. Потом дальше пойдем, и снова — отдых и чтение».

«Ну, пожалуйста, я слушаю», — сказал Кречмар, глядя в небо и думая о том, что он мог бы рассказать Дитриху куда больше, чем писатель может выдумать.

Зегелькранц кокетливо засмеялся: «Это не роман и не повесть, — сказал он. — Мне трудно определить... Тема такая: человек с повышенной впечатлительностью отправляется к дантисту. Вот, собственно говоря, и все».

«Длинная вещь?»

«Будет страниц триста, — я еще не кончил».

«Ого», — сказал Кречмар.

Зегелькранц нашел место в тетрадке и прочистил горло. «Я из середины, в начале нужно многое переделать. А вот это я писал вчера, и оно еще свежее и кажется мне очень хорошим, — но, конечно, завтра я буду жалеть, что тебе читал, — замечу тысячу промахов, недоразвитых мыслей...»

Он опять кашлянул и принялся читать:

«Герман замечал, что о чем бы он ни думал, о том ли, что у дантиста, к которому он идет, — седины и ухватки мастера, и, вероятно, художественное отношение к тем трагическим развалинам, освещенным ярко-пурпурным куполом человеческого нёба, к тем эмалевым эректеонам и парфенонам, которые он видит там, где профан нащупает лишь дырявый зуб; или о том, что в угловой кондитерской с бисерной занавеской вместо двери пухлая, но легкая, как слоеное тесто, продавщица (живущая в кисейно-белом аду, истыканном черными трупиками мух), которая ему улыбнулась вчера, изошла бы, вероятно, сбитыми сливками, ежели ее сжать в объятьях; или о том, наконец, что в “Пьяном Корабле”, строку из которого он вспомнил, увидев рекламу — слово “левиафан” — на стене между мохнатыми стволами двух пальм, — все время слышится интонация парижского гавроша, — зубная боль неотлучно присутствует, являясь оболочкой всякой мысли, и что всякая мысль лежит в люльке боли, ползет с ней и живет в этой боли, с которой она столь же неразрывно срослась, как улитка со своей раковиной. Когда он устремлял все свое сознание на эту боль, стараясь убить нерв ультрафиолетовым лучом разума, он в продолжение нескольких секунд испытывал мнимое облегчение, но тотчас замечал, что он уже не орудует лучом, а думает об его действии, и таким образом уже отделен собственной мыслью от объекта ее, отчего боль торжественно и глухо продолжалась, ибо в ней именно было что-то длящееся, что-то от самой сущности времени, или, вернее, оно было связано со временем, как жужжание осенней мухи, или треск будильника, который Генриетта некогда не могла ни найти, ни остановить в кромешной темноте его студенческой комнаты. Поэтому Герман, размышляя о предметах, которые в иные минуты...»

«Однако», — подумал Кречмар, и внимание его стало блуждать. Голос Зегелькранца был очень равномерен и слегка глуховат. Нарастали и проходили длинные предложения. Насколько Кречмар мог понять, Герман шел по бульвару к зубному врачу. Бульвар был бесконечный. Дело происходило в Ницце. Наконец Герман пришел, и тут

повествование немного оживилось, Кречмар, впрочем, чувствовал, что врач будет прав, если Герману сделает больно.

«В приемной, где Герман сел у плетеного столика, на котором лежали, свесив холодные плавники, мертвые, белобрюхие журналы, и где на камине стояли золотые часы под стеклянным колпаком, в котором изогнутым прямоугольником отражалось окно, за которым было сейчас душное солнце, блеск Средиземного моря, шаги, шуршащие по гравию, — ждало уже шестеро людей. У окна, на плюшевом стуле, распространялась огромная женщина в усах с могучим бюстом, заставляющим думать о кормилицах великанов, исполинских младенцев, уже зубатых, быть может уже страдающих, как сейчас страдал Герман. Рядом с этой женщиной сидел, болтая ногами, мальчик, неожиданно щуплый и вовсе не рыжий, — он повторял плачущим голосом: "Дай мне апельсин, кусочек апельсина", — и было чудовищно представить себе кислое, ледяное тело апельсина, попадающее на больной зуб. Поодаль двое смуглых молодых людей в ярких носках разговаривали о своих делах, у одного щека была повязана черным платком. Но больше всего заинтересовали Германа мужчина и девушка, которые вскоре после него явились, как бы проходя по темной почве его зубной боли, и сели в углу, на зеленый, коротко остриженный диванчик. Мужчина был худой, но плечистый, в отличном костюме из клетчатой шерстяной материи, с лицом бритым, бровастым, несколько обезьяньего склада, с большими, заостренными ушами и плотоядным ртом. Та, которую он сопровождал, молоденькая девица в белом джампере с открытыми до подмышек руками, вдоль которых шла пушистая тень загара, не задевшего, впрочем, нежной выемки внутри сгиба, где сквозь светлую кожу виднелись бирюзовые вены, сидела, сдвинув колени, и было что-то детское в том, что белая плиссированная юбка не доходит до колен, которые хрупкой своею круглотой и тесным телесным переливом шелка крайне мучительно привлекали взгляд. Вот она повернулась в профиль, — щека была с ямочкой, и словно приклеенный к виску каштановый серп волос метил загнутым острием в уголок продолговатого глаза. Судя по красочности ее лица и еще по

тому, что каждое ее движение волновало воздух горячим дуновением крепких духов, Герман заключил, что она испанка, и в то же время с некоторым недоумением и даже ужасом невольно думал о том, что ее мягкий и яркий рот может как пасть разинуться, безропотно принимая в себя уже мутящееся зеркальце дантиста. Она вдруг заговорила, и немецкая речь в ее устах показалась сперва неожиданной, но почти тотчас Герман вспомнил танцовщицу, уроженку берлинского севера, красивую и вульгарную девчонку, с которой у него была недолгая связь лет десять тому назад. И несмотря на то, что эти двое были, по всей вероятности, из доброй бюргерской семьи, Герман почему-то почувствовал в них что-то от мюзик-холла или бара, смутную атмосферу сомнительных рассветов и прибыльных ночей. Но конечно, самое забавное было то, что им в голову не приходило, что Герман, сидящий от них в трех шагах и перелистывающий старый “Illustration”, со смирением и жадностью ловца человеческих душ вбирает каждое их слово, а в этих словах была интонация страстной влюбленности, глухое и напряженное рокотание, которое невозможно было сдержать или скрыть, как у иной певицы, со знаменитым на весь мир контральто, в голосе проскальзывают даже тогда, когда она говорит по телефону с модисткой, — драгоценные, смуглые ноты, и, вслушиваясь в их разговор, Герман старался понять, кто они — молодожены или беглецы-любовники, и никак не мог решить. Она говорила о том, как было упоительно, когда он недавно нес ее на руках по крутой тропинке, и о том, как трудно дожить до вечера, когда она пройдет к нему в номер, и тут следовало что-то очень, по-видимому, забавное, смысл коего Герман понять, однако, не мог, — что-то связанное с ванной и бегущей водой и грозящей, но легко устранимой опасностью. Герман слушал сквозь органную музыку зубной боли этот банальный любовный лепет и думал о том, что им не узнать никогда, как точно запечатлел их слова неприметный господин с флюсом, листающий журнал. Вдруг открылась дверь, из нее быстро вышел выпущенный из ада пациент, а на пороге встал, оглядывая собравшихся и медленно намечая пригласительный

жест, высокий, страшно худой врач, с темными кругами у глаз, — сущий мементо мори. Герман ринулся к нему, хотя знал, что суется не в очередь, и несмотря на курики, покрики, мементо, раздавшиеся в приемной, проник в кабинет, где против окна стояло воскреслое, и которого, которые на блеск инструментов, почти на зубовные, любовные постучу-постуча из-за жужжащего, которые перед которыми малиновое нёбо, большое, энное и прежде того то же, что и то, и внизу, и на зу, и тараболь, это было ийственно — —».

Он еще читал долго, но уже читал зря, — скрежет и шум, шум удаляется, молчание, молчание, он кончил.

«Ну, как тебе нравится, Бруно?» — сказал он, отцепляя очки.

Кречмар лежал на спине с закрытыми глазами. Зегельканц мельком подумал: «Неужели я его усыпил?» — но в это мгновение Кречмар приподнялся.

«Что с тобой, Бруно? Тебе плохо?»

«Нет, — ответил Кречмар шепотом. — Это сейчас пройдет».

«Выпей воды, — сказал Зегелькранц. — Она очень вкусная».

«Ты с натуры?» — невнятно спросил Кречмар.

«Что ты говоришь?»

«Ты с натуры писал?»

«Ах, это довольно сложно. Видишь ли, дантиста я взял, у которого был давным-давно. Но он был не дантист, а мозольный оператор. Но вот, например, в приемную я целиком поместил группу людей, которых специально для этого изучил, едучи в поезде. Да, я с ними ехал недавно в одном купэ и оттуда преспокойно пересадил их в рассказ, — причем, заметь, — с абсолютной точностью, — точность важнее всего».

«Когда это было — купэ?»

«Что ты говоришь?»

«Когда это было — что ты ехал?»

«Не помню, на днях, кажется, когда мы с тобой встретились, — я тут часто разъезжаю. Эти двое чорт знает как миловали друг друга, — удивительно, что когда иностранцы...»

Он вдруг запнулся и, как это с ним не раз бывало, почувствовал, что происходит какое-то чудовищное недоразумение, и он так покраснел, что все затуманилось.

«Ты их знаешь? — пробормотал он. — Бруно, постой, куда ты...»

Он побежал за Кречмаром и хотел ему заглянуть в лицо. «Отстань, отстань», — шепотом сказал Кречмар. Зегелькранц отстал. Кречмар завернул по тропинке, его скрыли кусты.

XXVII

Он спустился в город; не ускоряя шага, пересек платановую аллею и вошел через холл в гостиницу. Поднимаясь по лестнице, он встретил знакомую старуху англичанку, она улыбнулась ему. «Здравствуйте», — шепотом сказал Кречмар и прошел. Он прошагал по длинному коридору и вошел в номер. В комнате никого не было. На коврике у постели было пролито кофе, блестела упавшая ложечка. Он исподлобья посмотрел на дверь в ванную. В это мгновение раздался из сада звонкий смех Магды. Кречмар высунулся в окно. Она шла рядом с американцем теннисистом, помахивая золотой от солнца ракетой. Американец увидел Кречмара в окне третьего этажа. Магда обернулась и посмотрела вверх. Кречмар, беззвучно двигая губами, сделал движение рукой, словно что-то медленно сгребал в охапку. Магда кивнула и побежала в дом. Кречмар тотчас отошел от окна и, присев на корточки, отпер чемодан, поднял крышку, но, вспомнив, что искомое не там, пошел к шкафу и сунул руку в карман автомобильного пальто. Он проверил, вдвинута ли обойма. Затем закрыл шкаф и стал у двери. Сразу, как только она откроет дверь. (Щуплый ангел надежды, который тянет за рукав даже в минуту беспросветного отчаяния, был едва жив, — на что надеяться? Надо сразу, обдумать можно потом.) Он мысленно следил: вот теперь она вошла в гостиницу со стороны сада, вот теперь поднимается на лифте, пятнадцать секунд лишних — если по лестнице, — вот сейчас донесется стук каблуков по коридору. Но воображение обгоняло, опережало ее, все было тихо, надо начать сначала. Он держал браунинг, уже подняв его, было чувство, словно оружие —

естественное продолжение его руки, напряженной, жаждущей облегчения: нажать вогнутую гашетку.

Он едва не выстрелил прямо в белую, еще закрытую дверь в тот миг, когда вдруг послышался из коридора ее легкий резиновый шаг, — да, конечно, она была в теннисных туфлях, — каблуки ни при чем. Сейчас, сейчас... Еще другие шаги.

«Позвольте, сударыня, мне зайти за подносом», — сказал по-французски голос за дверью. Магда вошла вместе с горничной, — он машинально сунул браунинг в карман.

«В чем дело? Что случилось? — спросила Магда. — Зачем ты меня заставляешь бегать наверх?» Он, не отвечая, глядел исподлобья на то, как горничная ставит на поднос посуду, поднимает ложечку с пола. Вот она все взяла, уходит, вот закрылась дверь.

«Бруно, что случилось?»

Он опустил руку в карман. Магда поморщилась, села на стул, стоявший близ кровати, нагнулась и стала расшнуровывать белую туфлю. Он видел ее затылок, загорелую шею. Невозможно стрелять, пока она снимает башмачок. На пятке было красное пятно, кровь просочилась сквозь белый чулок. «Это ужас, как я натерла», — проговорила она и, оглянувшись на Кречмара, увидела тупой черный пистолет. «Дурак, — сказала она чрезвычайно спокойно. — Не играй с этой штукой».

«Встань! Слышишь?» — как-то зашушукал Кречмар и схватил ее за кисть.

«Я не встану, — ответила Магда, свободной рукой спуская с ноги чулок. — И вообще отстань, — у меня страшно болит, все присохло».

Он тряхнул ее так, что затрещал стул. Она схватилась за решетку кровати и стала смеяться.

«Пожалуйста, пожалуйста, убей, — сказала она. — Но это будет то же самое, как эта пьеса, которую мы видели, с чернокожим, с подушкой...»

«Ты лжешь, — зашептал Кречмар. — Ты лжешь, — все оплевано, все исковеркано... Ты и этот негодяй...» Он оскалился, верхняя губа дергалась, — заикался и не мог попасть на слово.

«Пожалуйста, убери. Я тебе ничего не скажу, пока ты не уберешь. Я не знаю, что случилось, но я знаю одно — я тебе верна, я тебе верна...»

«Хорошо, — проговорил Кречмар. — Да-да, дам тебе высказаться, а потом застрелю».

«Не нужно меня убивать, — уверяю тебя, Бруно».

«Дальше, дальше, поторопись!»

(«...Если я сейчас очень быстро задвигаюсь, — подумала она, — то успею выбежать в коридор. Он может не успеть попасть, сразу начну орать, и сбегутся люди. Но тогда все пойдет насмарку, все...»)

«Я не могу говорить, пока у тебя пистолет. Пожалуйста, спрячь его».

(«А если выбить у него из руки?..»)

«Нет, — сказал Кречмар. — Сперва ты мне признаешься... Мне донесли, я все знаю...»

«Я все знаю, — продолжал он срывающимся голосом, шагая по комнате и ударяя краем ладони по мебели. — Я все знаю. Ведь это поразительно смешно: облысел и видел вас в вагоне, вы вели себя как любовники. Ванная, — как удобно, заперлась и перешла, нет, я тебя, конечно, убью».

«Да, я так и думала, — сказала Магда. — Я знала, что ты не поймешь. Ради Бога, убери эту штуку, Бруно!»

«Что тут понимать! — крикнул Кречмар. — Что тут можно объяснить!»

«Во-первых, Бруно, ты отлично знаешь, что он к женщинам равнодушен...»

«Молчать, — заорал Кречмар. — Это с самого начала — пошлая ложь, шулерское изощрение!»

(«Ну, если он кричит, все хорошо», — подумала Магда.)

«Нет, это все же именно так, — сказала она. — Но однажды я ему в шутку предложила: "Знаете что? Я вас растормошу. Мы будем друг другу говорить нежности, и вы своих мальчиков забудете". Ах, мы оба знали, что это все пустое. Вот и все, вот и все, Бруно!»

«Пакостное вранье. Я не верю. Вы говорили о том, что ты к нему перебегаешь в номер, пока... пока льется вода. И это слышал писатель, человек, который...»

«Ах, мы часто так играли, — развязно проговорила Магда. — Правда, ничего из этого не выходило, но было очень смешно. И я не отрицаю про ванную. Я сама ему сказала, что если мы были бы влюблены друг в друга, то было бы очень ловко и просто, — переходный пункт, — а твой писатель — дурак».

«Так ты, может быть, и жила с ним в шутку? Пакость какая, Боже мой!»

«Конечно нет. Как ты смеешь? Он бы просто не сумел. Мы с ним даже не целовались, — это уже противно».

«А если я спрошу его об этом, — без тебя, конечно, без тебя».

«Ах, пожалуйста! Он тебе скажет то же самое. Только, знаешь, выйдет немножко глупо».

В этом духе они говорили битый час. Магда крепилась, крепилась, но наконец не выдержала, с ней сделалась истерика. Она лежала ничком на постели, в своем белом нарядном теннисном платье, босая на одну ногу, и, постепенно успокаиваясь, плакала в подушку. Кречмар сидел в кресле у окна, за которым было солнце, веселые английские голоса с тенниса, — и перебирал все, что произошло, все мелочи с самого начала знакомства с Горном, и среди них вспоминались ему такие, которые теперь освещены были тем же мертвенным светом, каким нынче катастрофически озарилась жизнь: что-то оборвалось и погибло навсегда, — и как бы ясноокo, правдоподобно ни доказывала ему Магда, что она ему верна, всегда отныне будет ядовитый привкус сомнения. Наконец он встал, подошел к ней, посмотрел на ее сморщенную розовую пятку с черным квадратом пластыря, — когда она успела наклеить? — посмотрел на золотистую кожу нетолстой, но крепкой икры и подумал, что может убить ее, но расстаться с нею не в силах. «Хорошо, Магда, — сказал он угрюмо. — Я тебе верю. Но только ты сейчас встанешь, переоденешься, мы уложим вещи и уедем отсюда. Я сейчас физически не могу встретиться с ним, — я за себя не ручаюсь, — нет, не потому, что я думаю, что ты мне изменила с ним, не потому, но — одним словом — я не могу — слишком я живо успел вообразить, и то, что мне читал Зегелькранц, слишком тоже было выпукло. Ну, вставай...»

«Поцелуй меня», — тихо сказала Магда.

«Нет, не сейчас, я хочу поскорее отсюда уехать... я тебя чуть не убил в этой комнате, и наверное убью, если мы сейчас, сейчас же, не начнем собирать вещи».

«Как тебе угодно, — сказала Магда. — Только ты подумай, каково мне, — конечно, не важно, что я оскорблена тобой и твоим милым Розенкранцем. Ну, ладно, ладно, давай укладываться».

Молча и быстро, не глядя друг на друга, они наполнили чемоданы, горничная принесла счет, мальчик пришел за багажом.

Горн играл в покер на террасе, под тенью платана. Ему очень не везло. Только что он попался с так называемой «полной рукой» против «масти» и «каре». Он уже подумывал, не бросить ли и не пойти ли проведать на теннисе Магду, которая прилежно отправилась учиться бэк-хэнду у американского игрока, — он уже серьезно подумывал об этом, как вдруг, сквозь кусты сада, на дороге около гаража, увидел автомобиль Кречмара; автомобиль неуклюже взял поворот и скрылся. «В чем дело, в чем дело...» — пробормотал Горн и, расплатившись (он проиграл немало), пошел искать Магду. На теннисе ее не оказалось. Он поднялся наверх. Дверь в номер Кречмара была открыта. Пусто, валяются листы газет, обнажен красный матрац на двуспальной кровати.

Он потянул нижнюю губу двумя пальцами по скверной своей привычке и прошел в свою комнату, предполагая, что найдет там записку. Записки никакой не было. Недоумевая, он спустился в холл. Молодой черноволосый француз с орлиным носом, некий Monsieur Martin, не раз танцевавший с Магдой, посмотрел через газету на Горна и, улыбнувшись, сказал: «Жалко, что они уехали. Почему так внезапно? Назад в Германию?» Горн издал неопределенно утвердительный звук.

XXVIII

Есть множество людей, которые, не обладая специальными знаниями, умеют, однако, и воскресить электричество после таинственного события, называемого «коротким замыканием», и починить ножичком механизм остановившихся часов, и нажарить, если нужно, котлет. Кречмар к их числу не принадлежал. В детстве он ничего не строил, не мастерил, не склеивал, как иные ребята. В юности он ни разу не разобрал своего велосипеда, и когда лопалась шина, катил хромую, пищащую, как дырявая галоша, машину в ремонтное заведение. На войне он славился удивительной нерасторопностью, неумением ничего сделать

собственными руками. Изучая реставрацию картин, паркетацию, рантуаляцию, он сам боялся к картине прикоснуться. Неудивительно поэтому, что автомобилем, например, он управлял прескверно.

Медленно и не без труда выбравшись из Ружинара, он чуть-чуть подбавил ходу, благо шоссе было прямое и пустынное. О том, что именно происходит в недрах машины, почему вертятся колеса, — он не имел ни малейшего понятия, — знал только действие того или иного рычага.

«Куда мы, собственно, едем?» — спросила Магда, сидевшая рядом.

Он пожал плечами, глядя вперед, на белую дорогу.

Теперь, когда они выехали из Ружинара, где улочки были полны народу, где приходилось трубить, судорожно запинаться, косолапо вилять, теперь, когда они уже свободно катили по шоссе, Кречмар беспорядочно и угрюмо думал о разных вещах, — о том, что дорога постепенно идет в гору и, вероятно, сейчас начнутся повороты, о том, как Горн запутался пуговицей в Магдиных кружевах, о том, что еще никогда не было у него так тяжело и смутно на душе.

«Мне все равно куда, — сказала Магда, — но я хотела бы знать. И пожалуйста, держись правой стороны, ты чорт знает как едешь».

Он резко затормозил, только потому, что невдалеке появился автобус.

«Что ты делаешь, Бруно? Просто держись правее».

Автобус с туристами прогремел мимо. Кречмар отпустил тормоз.

«Не все ли равно куда? — думал он. — Куда ни поезжай, от этой муки не избавишься. Как мерзко зеленеют эти холмы. Они чорт знает как миловали друг друга...»

«Я тебя ни о чем не буду больше спрашивать, — сказала Магда, — только, ради Бога, труби перед поворотами. У меня голова болит. Я хочу куда-нибудь доехать наконец».

«Ты мне клянешься, что ничего не было?» — хрипло проговорил Кречмар и сразу почувствовал, как слезы горячей мутью застилают зрение. Он заморгал, дорога опять забелела.

«Клянусь, — сказала Магда. — Я устала клясться. Убей

меня, но больше не мучь. И знаешь, мне жарко, я сниму пальто».

Он затормозил; остановились.

Магда засмеялась: «Почему для этого, собственно говоря, нужно останавливаться? Ах, Бруно...»

Он помог ей освободиться от кожаного пальто, причем с необычайной живостью вспомнил, как давным-давно, в дрянном кафе, он в первый раз увидел, как она двигает лопатками и плечами, сгибает прелестную шею, вылезая из рукавов пальто.

Теперь у него слезы лились по щекам неудержимо. Магда обняла его за шею и прижалась щекой к его склоненной голове.

Автомобиль стоял у самого парапета, толстого каменного парапета, за которым был обрыв, поросший ежевикой, и в глубине бежала вода; с левой же стороны поднимался скалистый склон, с соснами на верхушке. Палило солнце, трещали кузнечики; далеко впереди раздавался звон и стук, человек в темных очках бил камни, сидя при дороге. Прокатил открытый, очень пыльный «Рольс-Ройс», и откуда-то ответило эхо на его гудок.

«Я тебя так люблю, — всхлипывая, говорил Кречмар. — Я тебя так, так люблю». Он судорожно мял ей руки, гладил ее по спине, и она тихо и нежно посмеивалась. Затем длительно поцеловал ее в губы.

«Дай мне теперь самой управлять, — попросила Магда. — Я ведь научилась лучше тебя».

«Нет, я боюсь, — сказал он, улыбаясь и вытирая слезы. — И знаешь, я по правде не знаю, куда мы едем, но ведь это забавно — наугад».

Он пустил мотор, тронулись снова. Ему показалось, что теперь машина идет свободнее и послушнее, и он стал держать руль не так напряженно. Излучины дороги все учащались, — с одной стороны отвесно поднималась скалистая стена, с другой был парапет, солнце било в глаза, стрелка скорости вздрагивала и поднималась.

Приближался крутой вираж, и Кречмар решил его взять особенно лихо. Наверху, высоко над дорогой, старуха собирала ароматные травы и видела, как справа от скалы мчался к повороту этот маленький черный автомобиль, а слева, на неизвестную еще встречу, двое сгорбленных велосипедистов.

XXIX

Старуха, собирающая на пригорке ароматные травы, видела, как с разных сторон близятся к быстрому виражу автомобиль и двое велосипедистов. Из люльки яично-желтого почтового дирижабля, плывущего по голубому небу в Тулон, летчик видел петлистое шоссе, овальную тень дирижабля, скользящую по солнечным склонам, и две деревни, отстоящих друг от друга на двадцать километров. Быть может, поднявшись достаточно высоко, можно было бы увидеть зараз провансальские холмы и, скажем, Берлин, где тоже было жарко, — вся эта щека земли, от Гибралтара до Стокгольма, озарялась в этот день улыбкой прекрасной погоды. Берлин, в частности, успешно торговал мороженым; Ирма, бывало, шалела от счастья, когда уличный торговец близ белого своего лотка лопаткой намазывал на тонкую вафлю толстый, сливочного оттенка, слой, от которого сладко ныли передние зубы и начинал танцевать язык. Аннелиза, выйдя утром на балкон, заметила как раз такого мороженника, и странно было, что он — весь в белом, а она — вся в черном. В то утро она проснулась с чувством сильнейшего беспокойства, и теперь, стоя на балконе, спохватилась, что впервые вышла из состояния матового оцепенения, к которому за последнее время привыкла, но сама не могла понять, чем нынче так странно взволнована. Она вспомнила вчерашний день, совершенно обыкновенный, — деловитую поездку на кладбище, пчел, садившихся на цветы, которые она привезла, влажное поблескивание буксовой ограды, ветерок, тишину, мягкую зелень. «Так в чем же дело? — спросила она себя. — Как это странно». С балкона был виден мороженник в белом колпаке. Солнце ярко освещало крыши, — в Берлине, в Париже и дальше, на юге. Желтый дирижабль плыл в Тулон. Старуха собирала над обрывом ароматные травы: рассказов хватит на целый год: «Я видела... Я видела...»

XXX

Кречмару было неясно, когда и как он узнал, распределил, осмыслил все эти сведения: время, которое прошло от виража до сих пор (несколько недель), место его теперешнего пребывания (больница в Ментоне), операция, которой

он подвергся (трепанация черепа), причина долгого беспамятства (кровоизлияние в мозгу). Настала, однако, определенная минута, когда все эти сведения оказались собраны воедино, — он был жив, отчетливо мыслил, знал, что поблизости Магда и француженка-сиделка, знал, что в последнее время приятно дремал и что сейчас проснулся... а вот который час — неизвестно, вероятно раннее утро. Лоб и глаза еще покрывала плотная повязка, мягкая на ощупь; темя же уже было открыто, и странно было трогать частые колючки отрастающих волос. В памяти у него, в стеклянной памяти, глянцевито переливался как бы цветной фотографический снимок: загиб белой дороги, черно-зеленая скала слева, справа — синеватый парапет, спереди — вылетевшие навстречу велосипедисты — две пыльные обезьяны в красно-желтых фуфайках; — резкий поворот руля, автомобиль взвился по блестящему скату щебня, и вдруг, на одну долю мгновения, вырос чудовищный телеграфный столб, мелькнула в глазах растопыренная рука Магды, и волшебный фонарь мгновенно потух. Дополнялось это воспоминание тем, что вчера или третьего дня, или еще раньше, — когда, в точности неизвестно, — рассказала ему Магда, вернее Магдин голос, — почему только голос? почему он ее так давно не видел по-настоящему? да, повязка, скоро, вероятно, можно будет снять... Что же Магдин голос рассказывал? «...если бы не столб, мы бы, знаешь, бух через парапет в пропасть. Было очень страшно. У меня весь бок в синяках до сих пор. Автомобиль перевернулся, — разбит вдребезги. Он стоил все-таки двадцать тысяч марок. Auto... mille, beaucoup mille marks, — (обратилась она к сиделке), — vous comprenez?[1] Бруно, как по-французски "двадцать тысяч"?» — «Ах, не все ли равно... Ты жива, ты цела». — «Велосипедисты оказались очень милыми, помогли все собрать, портплед, знаешь, полетел в кусты, а ракеты так и пропали». Отчего неприятно? Да, этот ужас в Ружинаре. Он с браунингом в руке, она входит — в теннисных туфлях... Глупости, — все разъяснилось, все хорошо... Который час? Когда можно будет снять повязку? Когда позволят вставать с постели? Слабость... Все это было, должно быть, в газетах, в немецких газетах.

---

[1] Авто... тысяча, много тысяч марок... вы понимаете? *(Искаж. фр.)*

Он повертел головой, досадуя на то, что завязаны глаза. Слуховых впечатлений было набрано за это время сколько угодно, — а зрительных никаких, — так что в конце концов неизвестно, как выглядит палата, какое лицо у сиделки, у доктора... Который час? Утро? Он выспался, окно, верно, открыто, ибо вот слышно, как процокали неторопливо копыта, а вот — шум воды, звон ведра, — там, должно быть, двор, фонтан, утренняя свежая тень платанов. Он полежал некоторое время неподвижно, стараясь обращать невнятные звуки в соответствующие цвета и очертания, и вскоре услышал звуки другие — голоса Магды и сиделки в соседней, вероятно, комнате. Сиделка учила Магду правильно произносить. «Soucoupe. Soucoupe»[1], — повторила Магда несколько раз и засмеялась.

Неуверенно улыбаясь, чувствуя, что он делает что-то противозаконное, Кречмар осторожно освободил и поднял на брови повязку, оказалось, однако, что в комнате густая, бархатная темнота, — не видать даже, где окно, нет ни малейшей щелки света. Значит, все-таки ночь, и притом безлунная, черная. Вот как обманывают звуки.

Весело звякнуло по соседству блюдце. «Café thé non. Moi pas... thé»[2].

Кречмар нащупал рядом столик, наткнулся на лампочку. Он щелкнул, — раз, еще раз, — но темнота не сдвинулась с места: штепсель, вероятно, не был вставлен. Тогда он поискал пальцами, нет ли спичек, — и действительно нашел коробок. В нем была всего одна спичка, он чиркнул ею, раздался звук, похожий на вспышку, но огонька не появилось. Он ее отбросил и почуял вдруг легкий запах горелого.

Странное явление...

«Магда, — позвал он громко, — Магда!»

Звук шагов и отворяющейся двери. Но ничто не изменилось, — за дверью было тоже темно.

«Зажги свет, — сказал он. — Пожалуйста, света».

«Не смей трогать повязку, Бруно! — крикнул голос Магды, стремительно и уверенно приближаясь в беспросветном мраке. — Ведь доктор сказал... ах, Господи!»

---

[1] Блюдце. Блюдце *(фр.)*.

[2] Кофе, чай нет. Мне не... чай *(искаж. фр.)*.

«Как, как ты меня видишь? — спросил он, заикаясь. — Я не... Моментально зажги свет. Слышишь? Моментально!»

«Тише, тише, не волнуйтесь», — заговорил по-французски голос сиделки.

Эти звуки, эти шаги, эти голоса двигались как бы в другой плоскости. Он был сам по себе, и они — сами по себе. И между ними и той темнотой, в которой он пребывал, существовала какая-то плотная преграда. Он напрягался, пялился, тер веки, вертел головой так и сяк, рвался куда-то, но не было никакой возможности проткнуть эту цельную темноту, являвшуюся как бы частью его самого.

«Не может быть, — с силой сказал Кречмар. — Я сойду с ума. Открой окно, сделай что-нибудь...»

«Окно открыто», — ответила она тихо.

«Может быть, солнца нет... Магда, может быть, когда будет солнце, я хоть что-нибудь увижу... Хотя бы мерцание... Может быть, очки...»

«Лежи спокойно, Бруно. Дело не в солнце. Тут светло, чудное утро. Бруно, ты мне делаешь больно».

«Я... Я...» — судорожно набирая воздух, начал Кречмар и, набрав воздуху, стал равномерно кричать.

XXXI

Сознание полной слепоты едва не довело Кречмара до помешательства. Раны и ссадины зажили, волосы отросли, но адовое ощущение плотной, черной преграды оставалось неизменным. После припадков смертельного ужаса, после криков и метаний, после тщетных попыток сдернуть, сорвать что-то с глаз он впадал в полуобморочное состояние, а потом снова начинало нарастать что-то паническое, нестерпимое, сравнимое только с легендарным смятением человека, проснувшегося в могиле.

Мало-помалу, однако, эти припадки стали реже, он часами молчал, неподвижно лежа на спине и слушая звуки провансальского дня, но вдруг он вспоминал утро в Ружинаре, с которого все, собственно говоря, и началось, и тогда принимался стонать, вспоминая уже другое, — небо, зеленые холмы, на которые он так мало, так мало смотрел, и опять поднималась волна могильного ужаса.

Еще в ментонском госпитале Магда прочла ему вслух письмо от Горна из Парижа, такого содержания:

«Я не знаю, Кречмар, чем я был больше ужален, — тем ли оскорблением, которое Вы мне нанесли Вашим внезапным, беспричинным и крайне неучтивым отъездом, или бедой, приключившейся с Вами. Несмотря на обиду, которая не позволяет мне даже навестить Вас, я, поверьте, всей душою скорблю о Вас, особенно когда вспоминаю Вашу любовь к живописи, к роскошным краскам и утонченным оттенкам, ко всему тому, что делает зрение божественным подарком свыше. Есть люди (Вы и я принадлежим к их числу), которые живут именно глазами, зрением, — все остальные чувства только послушная свита этого короля чувств.

Сегодня я из Парижа уезжаю в Англию, а оттуда — в Нью-Йорк и вряд ли скоро повидаю опять родную страну. Передайте мой дружеский привет Вашей спутнице, от капризного нрава которой — кто знает? — быть может, зависела Ваша, Кречмар, измена мне, — да, ибо нрав ее лишь по отношению к Вам отличается постоянством, зато в натуре у нее есть свойство, — очень, впрочем, обыкновенное у женщин, — невольно требовать поклонения и невольно проникаться чувством смутной неприязни к мужчине, равнодушному к женским чарам, — даже если этот мужчина простосердечностью своей, уродливой наружностью и любовными вкусами смешон и противен ей. Поверьте, Кречмар, что, если бы Вы, пожелав отделаться от моего присутствия, надоевшего Вам обоим, сказали мне это без обиняков, я только оценил бы Вашу прямоту, и тогда прекрасное воспоминание наших бесед о живописи, о прозрачных красках великих мастеров не было бы так печально омрачено тенью Вашего предательского бегства».

«Да, это — письмо гомосексуалиста, — сказал Кречмар. — Все равно я рад, что он отбыл. Может быть, Бог меня наказал, Магда, за то, что я тебя заподозрил, но горе тебе, если...»

«Если что, Бруно? Пожалуйста, пожалуйста, договаривай».

«Нет, ничего. Я верю тебе. Ах, я верю тебе».

Он помолчал и вдруг стал издавать тот глухой звук, полустон, полумычание, которым у него всегда начинался приступ ужаса перед стеной темноты.

«Прозрачные краски, — повторил он несколько раз нутряным, дрожащим голосом. — Да, да, прозрачные краски!»

Когда он успокоился, Магда сказала, что пойдет обедать, поцеловала его в щеку и быстро засеменила по теневой стороне улицы. Она вошла в маленький прохладный ресторан и села за мраморный столик в глубине. За соседним столиком сидел Горн и пил белое вино. «Пересядь ко мне, — сказал он. — Какая ты стала трусиха!»

«Заметят и донесут», — ответила она опасливо, но все же пересела к нему.

«Пустяки. Кому какое дело? Ну, что он сказал на письмо? Правда, составлено великолепно?»

«Да, все хорошо. В среду мы едем в Цюрих к специалисту. Ты возьми, пожалуйста, три спальных места. Только себе ты возьми в другом вагоне, — как-никак безопаснее».

«Даром не дадут», — лениво процедил Горн.

«Бедный мой», — нежно усмехнулась Магда. И вынула пачку денег из своей сумочки.

XXXII

Хотя Кречмар уже несколько раз (глубокой ночью, полной дневных звуков) выходил на прогулку в небольшой сад госпиталя, к путешествию в Цюрих он оказался мало подготовленным. На вокзале у него закружилась голова, — и ничего нет страннее и безвыходнее, чем когда у слепого головокружение, — он шалел от множества звуков вокруг него, шагов, голосов, стуков, от боязни наткнуться на что-нибудь, даром что вела его Магда. В поезде его поташнивало оттого, что он никак не мог мысленно отожествить вагонную тряску с поступательным движением экспресса — как бы он мучительно ни напрягал воображение, стараясь представить себе пробегающий ландшафт. Еще было хуже, когда оказались в Цюрихе и приходилось куда-то двигаться среди невидимых людей и несуществующих, но постоянно чуемых им перекладин, перегородок, выпирающих углов. «Не бойся, не бойся, — говорила Магда с раздражением, —

я тебя веду. Вот теперь стоп. Сейчас сядем в автомобиль. Да чего ты боишься, в самом деле, — прямо как маленький».

Профессор, знаменитый окулист, долго, при помощи особого зеркальца, осматривал дно его глаза, и, судя по жирному и маленькому его голосу, Кречмар представил его себе карапузистым старичком, хотя в действительности профессор был очень худ и моложав. Он повторил то, что Кречмар отчасти уже знал, — что вследствие кровоизлияния произошло сдавление глазных нервов как раз там, где они скрещиваются в мозгу, — быть может, рассосется, быть может, наступит полная атрофия и т. д., и т. д., но во всяком случае общее состояние Кречмара таково, что сейчас наиболее важным является совершенный для него покой, следует пожить два-три месяца уединенно и тихо, лучше всего где-нибудь в горах, а затем, сказал профессор, затем — будет видно...

«Будет видно?» — повторил за ним Кречмар с угрюмой усмешкой (какой каламбур).

Магда, оставив его одного в номере гостиницы, посетила несколько контор, ей дали адреса; посоветовавшись с Горном, она выбрала место и поехала, с Горном же, посмотреть на сдаваемое там шалэ. Это оказалась двухэтажная дачка, с чистыми комнатками, ко всем дверям были приделаны чашечки для святой воды. Дачка принадлежала нелюдимой ирландской чете, уехавшей на лето в Норвегию, и сдавалась недешево. Горн оценил ее расположение, — на юру, среди ельника, в стороне от деревни, — и, наметив для себя самую солнечную комнату в верхнем этаже, велел Магде домишко снять. Затем в деревне они наняли кухарку. Горн с ней поговорил очень внушительно. Он сказал: «Высокое жалованье, которое вам предлагается, объясняется тем, что вы будете служить у человека, страдающего слепотой на почве душевного расстройства. Я — врач, приставленный к нему, — но, ввиду тяжелого его состояния, он, разумеется, не должен знать, что кроме его племянницы живет при нем доктор. Посему, тетушка, ежели вы, хотя бы косвенно, хотя бы нежнейшим шепотком, хотя бы в разговоре вот, скажем, с барышней на кухне, упомянете вслух о моем пребывании в доме, вы будете ответственны перед законом за нарушение образа лечения, установленного врачом, — это карается в Швейцарии

довольно, кажется, строго. Вдобавок я не советую вам входить в комнату к моему пациенту или вообще вести с ним какие-либо разговоры: на него находят припадки бешенства, он уже одну старушку совершенно замял и растоптал, и я бы не желал, чтобы это повторилось. А главное, — когда будете болтать на базаре, помните, что если, вследствие разбуженного вами любопытства, к нам станут шляться местные обыватели, мой пациент, при нынешнем его состоянии, может разнести дом. Поняли?»

Старуху он так запугал, что она едва не отказалась от выгодного места и согласилась только тогда, когда Горн заверил ее, что слепого безумца она видеть не будет, что он тих, если его не раздражать, и находится постоянно под наблюдением племянницы и врача.

Первым въехал Горн. Он перевез весь багаж, определил, кто где будет жить, распорядился вынести ненужные ломкие вещи, и когда все было устроено, поднялся к себе в комнату и, музыкально посвистывая, стал прибивать кнопками к стене кое-какие рисунки пером довольно непристойного свойства — эскизы к иллюстрациям, заказанным ему еще в Берлине художественно-порнографическим издательством. Около пяти он увидел в бинокль, как подъехал далеко внизу наемный автомобиль, оттуда, в ярко-красном джампере, выскочила Магда, помогла выйти Кречмару, он был в темных очках и походил на сову. Автомобиль попятился, рванулся опять вперед и скрылся за поворотом. Магда взяла Кречмара под руку, и он, водя перед собой палкой, двинулся вверх по тропинке. На некоторое время их скрыла еловая хвоя, вот мелькнули опять, опять скрылись, и вот наконец появились на площадке сада, где мрачная, но уже всей душой преданная Горну кухарка опасливо вышла к ним навстречу и, стараясь не глядеть на безумца, взяла из руки Магды несессер.

Горн меж тем, свесившись из верхнего окна, делал Магде смешные знаки приветствия, прижимая ладонь к груди, — деревянно раскидывал руки и кланялся, как Петрушка, — все это проделывалось, конечно, совершенно безмолвно. Магда снизу улыбнулась ему и, под руку с Кречмаром, вошла в дом.

«Поведи меня по всем комнатам и все рассказывай», — произнес Кречмар. Ему было все равно, но он думал этим доставить ей удовольствие, — она любила новоселье.

«Маленькая столовая, маленькая гостиная, маленький кабинет», — объясняла Магда, водя его по комнатам нижнего этажа. Кречмар трогал мебель, ощупывал предметы, старался ориентироваться.

«Окно, значит, там», — говорил он, доверчиво показывая пальцем на сплошную стену. Он больно ударился ляжкой о край стола и сделал вид, что это он нарочно, — забродил ладонями по столу, будто устанавливая его размер.

Потом они вдвоем пошли вверх по деревянной скрипучей лестнице, и наверху, на последней ступеньке, сидел Горн и тихо трясся от беззвучного смеха. Магда погрозила ему пальцем, он осторожно встал и отступил на цыпочках: ненужная мера, ибо лестница оглушительно стреляла под тяжелыми шагами слепца.

Вошли в коридор; Горн, стоя в глубине у своей двери, показал на эту дверь, и Магда кивнула. Он несколько раз присел, зажимая ладонью рот. Магда сердито тряхнула головой, — опасные игры, он на радостях паясничал как мальчишка. «Вот твоя спальня, а вот — моя», — говорила она, открывая поочередно двери. «Почему не вместе?» — с грустью спросил Кречмар. «Ах, Бруно, ты знаешь, что сказал профессор...» После того как они всюду побывали (кроме комнаты Горна), он захотел опять, в обратном порядке, уже без ее помощи, обойти дом, чтобы доказать ей, как она ясно все объяснила, как он все ясно усвоил. Однако он сразу запутался, тыкался в стены, виновато улыбался, чуть не разбил умывальной чашки. Ткнулся он и в угловую комнату (где устроился Горн), вход туда был только из коридора, но он уже совершенно заплутал и думал, что выходит из своей спальни. «Твоя комнатка?» — спросил он, нащупывая дверь. «Нет, нет, тут чулан, — сказала Магда. — Ты, ради Бога, запомни, а то голову разобьешь. И вообще, я не знаю, хорошо ли тебе так много ходить, — ты не думай, что я позволю тебе всегда путешествовать так, — это только сегодня...»

Впрочем, он сам чувствовал уже изнеможение. Магда уложила его. Когда он уснул, она перешла к Горну. Еще не изучив акустики дома, они говорили шепотом, но могли бы говорить громко: оттуда до спальни Кречмара было достаточно далеко.

XXXIII

После того как Кречмар так поспешно и ужасно скрылся за поворотом тропинки, Зегелькранц со своей злосчастной черной тетрадью в руке долго еще сидел на мураве под соснами и мучительно соображал. Кречмар путешествовал как раз с этой описанной четой, любовный лепет этой четы был для Кречмара потрясающим откровением, — вот все, что понял Зегелькранц, и сознание, что он совершил чудовищную бестактность, поступил в конце концов как самодовольный хам, заставляло его сейчас мычать сквозь стиснутые зубы, морщиться, встряхивать пальцами, словно он ошпарился. Такие гаффы непоправимы: не пойти же в самом деле к Кречмару с извинениями: человек, по неловкости ранивший из ружья ни в чем не повинного спутника, не говорит же ему: «Виноват».

И вот написанное им уже казалось Зегелькранцу не литературой, а грубым анонимным письмом, в котором подлая правда приправлена ухищрениями витиеватого слога. Его предпосылка, что следует воспроизводить жизнь с беспристрастной точностью, метод его, который еще вчера мнился ему единственным способом навсегда задержать на странице мгновенный облик текучего времени, — теперь казались ему чем-то до невозможности топорным и безвкусным. Он попытался утешить себя, что так грубо и гадко вышло потому, что он именно отступил от своих аккуратных правил, чуть-чуть передернул, переселил намеченных лиц из проклятого того вагона в приемную дантиста, и что если бы он описал действительно пациентов ментонского зубного врача, Monsieur Lhomme, то в их число не попала бы эта ненужная чета. Утешение, впрочем, было фальшивое, литераторское, суть дела была важнее и отвратительнее: оказывалось, что жизнь мстит тому, кто пытается хоть на мгновение ее запечатлеть, — она останавливается, вульгарным жестом уткнув руки в бока, словно говорит: «Пожалуйста, любуйтесь, вот я какая, не пеняйте на меня, если это больно и противно». «Надо же было, чтобы случилось такое совпадение», — жалобно возражал себе Зегелькранц, хотя уже понимал, что совпадения никакого особенного нет, и что гораздо удивительнее, что такая вещь не произошла с ним раньше, и что, например, не избил его до сих пор отец молодой девушки, за которой он

полгода ухаживал и которую затем с изысканной подробностью вывел в многословной новелле.

Невозможно было встретиться теперь с Кречмаром, следовало покинуть на время очаровательный Ружинар, и так как Зегелькранц был человек истерический, он покинул Ружинар в тот же день и больше месяца провел в долинах Восточных Пиренеев. Это его успокоило. Он уже стал подумывать о том, что дело, может быть, все-таки не так страшно и что, пожалуй, даже лестна уверенность, с которой Кречмар узнал описанных людей. Он вернулся в Ружинар и, чувствуя наплыв редкой смелости — тоже истерической, — отправился прямо в гостиницу, где он думал найти Кречмара. Там, из случайного разговора со знакомым (это был все тот же Monsieur Martin, черноволосый, с орлиным носом), он узнал о бегстве Кречмара, о катастрофе. «Il vivait ici avec sa poule, — добавил Martin со знающей улыбкой. — Une petite grue très jolie, qui le trompait avec ce pince-sans-rire, cette espèce de peintre, un Monsieur Korn ou Horn, Argentin je crois ou bien Hongrois»[1].

Тогда он метнулся в Ментону, но в госпитале узнал, что Кречмара любовница увезла не то в Швейцарию, не то в Германию. Зегелькранц был теперь в таком состоянии нервного ужаса, что ему казалось, он сойдет с ума. Рукопись он свою разорвал с такой силой, что чуть не вывихнул себе пальцы, по ночам его терзали кошмары: он видел Кречмара с полуоторванным черепом, с висящими на красных нитках глазами, который кланялся ему в пояс и слащаво и страшно приговаривал: «Спасибо, старый друг, спасибо». Оставаться в Ружинаре было невозможно. И внезапно, с той судорожной суетливостью, которая в нем заменяла решимость, Зегелькранц отправился в Берлин.

XXXIV

Зегелькранц ошибался, думая, что Кречмар, коли еще жив, вспоминает о нем с отвращением и ненавистью. Кречмар не вспоминал его вовсе, ибо запрещал себе возвра-

[1] Он жил здесь со своей курочкой. Смазливой цыпочкой, которая ему изменяла с этим пересмешником, так сказать художником, мсье Корном или Хорном, аргентинцем или венгром, что ли *(фр.)*.

щаться к той нестерпимой минуте изумления, гибели, смертельной тоски, — там, на тенистом холму, у журчащего источника... Плотный бархатный мешок, в котором он теперь существовал, давал некий строгий, даже благородный строй его мыслям и чувствам. Гладким покровом тьмы он был отделен от недавней очаровательной, мучительной, ярко-красочной жизни, прервавшейся на головокружительном вираже. Питаясь воспоминаниями о ней, он словно перебирал миниатюры: Магда в узорном переднике, приподнимающая портьеру, Магда под блестящим зонтиком, проходящая по малиновым лужам, Магда, стоящая голою перед зеркалом и грызущая желтую булочку, Магда в лоснящемся трико или в переливчатом бальном платье, с загорелыми оранжевыми руками. Затем он думал о жене, и вся эта пора жизни с Аннелизой пропитана была нежным бледным светом, и только изредка в этом молочном тумане что-то вспыхивало на миг: белокурая прядь волос при свете лампы, блик на раме картины, стеклянный шарик, которым играла дочь, — и снова — опаловый туман, и в нем — тихие, как бы плавательные движения Аннелизы. Все, даже самое грустное и стыдное в прошлой жизни, было прикрыто обманчивой прелестью красок, его душа жила тогда в перламутровых шорах, он не видел тех пропастей, которые открылись ему теперь. Да и полно, умел ли он до конца пользоваться даром острого зрения. Он с ужасом замечал теперь, что, вообразив, скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, он не умеет назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме вороны и воробья. Кречмар теперь понимал, что он, в сущности, ничем не отличался от тех узких специалистов, которых некогда так презирал, от рабочего, знающего только свою машину, от виртуоза, ставшего лишь придатком к музыкальному инструменту. Специальностью Кречмара было в конце концов живописное любострастие. Лучшей его находкой была Магда. А теперь от Магды остался только голос, да шелест, да запах духов, — она как бы вернулась в ту темноту (темноту маленького кинематографа), из которой он ее когда-то извлек.

Не всегда, впрочем, Кречмар мог утешаться нравственными рассуждениями, не всегда удавалось ему себя убедить, что физическая слепота есть в некотором смысле духовное прозрение. Напрасно он обманывал себя тем, что

ныне его жизнь с Магдой счастливее, глубже и чище, напрасно думал о ее трогательной преданности. Конечно, это было трогательно, конечно, она была лучше самой верной жены, эта незримая Магда, этот ангельский холодок, этот голос, уговаривающий его не волноваться... Но как только он ловил в кромешной тьме мимолетную пугливую руку и старался выразить свою благодарность, в нем сразу просыпалась такая жажда ее узреть, что всякая мораль летела к чорту, он чувствовал, как надвигается безумие, лицо его дергалось, он мучительно пытался родить свет. Под предлогом, что всякое волнение ему вредно, Магда решительно запрещала ему трогать ее, но иногда ему удавалось ее схватить, и тогда он ощупывал ее голову и тело, стараясь увидеть ее через осязание и все равно не видя ничего. Горн, который очень любил сидеть с ним в одной комнате, жадно следил за его движениями. Магда упиралась слепому в грудь, поднимала глаза к небу, с комической резиньяцией, или показывала Кречмару язык, что было особенно, конечно, смешно по сравнению с выражением безысходной нежности на лице слепого. Магда ловким поворотом вырывалась и отходила к Горну, который сидел на подоконнике, босой, в белых штанах и по пояс голый, — ему нравилось жарить спину на солнце. Кречмар полулежал в кресле, одетый в пижаму и халат; его лицо обросло жестким курчавым волосом, и ярко розовел на виске шрам, — он походил на бородатого арестанта. «Магда, вернись», — умоляюще говорил он, протягивая руку. «Тебе вредно, тебе вредно», — равнодушно отвечала она, поглаживая Горна по его длинной и мохнатой спине. Кречмар не унимался, дергался, яростно протирал глаза. «Я хочу тебя, — говорил он. — Гораздо вреднее, что вот уже два месяца мы не...» (тут следовал самодельный, так сказать, глагол, домашний, ласкательный, из их любовного лексикона). Горн подмигивал Магде. Она многозначительно улыбалась, стуча себя пальцем по лбу. Кречмар продолжал ее звать, словно тетерев на току. Порою Горн, любивший риск, подходил босиком на цыпочках и очень легко дотрагивался до него, — и Кречмар издавал мурлыкающий звук, хотел обнять мнимую Магду, но Горн, беззвучно отойдя, уже опять сидел на подоконнике и грел спину. «Мое счастье, умоляю», — задыхался Кречмар и вставал с кресла и шел на нее, — Горн на подоконнике поджимал ноги,

Магда сердилась, кричала на Кречмара, кричала, что тотчас уедет, бросит его, если он не будет слушаться, и он, с виноватой усмешечкой, пробирался обратно к своему креслу. «Ладно, ладно, — вздыхал он. — Почитай мне что-нибудь, — газету, что ли». Она опять поднимала глаза к небу.

Горн осторожно пересаживался на диван, брал Магду к себе на колени, она разворачивала газету и читала вслух, и Кречмар сокрушенно кивал, медленно поедая невидимые вишни, выплевывая в ладонь невидимые косточки. Картина получалась чрезвычайно мирная. Горн смешил Магду, вытягивая и опять вбирая губы в подражание ее манере читать, или делал вид, что сейчас уронит ее, и у нее срывался голос.

«Да, может быть, все это к лучшему, — думал Кречмар. — Наша любовь теперь строже и тише, и одухотвореннее. Если она не бросает меня, значит, действительно любит. Это хорошо, это хорошо». И вдруг ни с того ни с сего он начинал громко рыдать, рвал мрак руками, умолял, чтобы его повезли к другому профессору, к третьему, к четвертому, только бы прозреть, — все что угодно, операцию, пытку, прозреть... Горн, позевывая, брал из вазы на столе пригоршню вишен и отправлялся в сад.

В первое время совместного житья он и Магда были очень осмотрительны, хотя и позволяли себе всякие невинные шутки. Он ходил либо босиком, либо в войлочных туфлях. Перед дверью своей комнаты, в коридоре, он на всякий случай устроил баррикаду из ящиков и сундуков, через которую Магда по ночам перелезала. Кречмар, впрочем, после первого обхода дома перестал интересоваться расположением комнат, зато спальню свою и кабинет изучил досконально. Магда описала ему все краски там: синие обои, желтый абажур, — но, по наущению Горна, нарочно все цвета изменила — Горну казалось весело, что слепой будет представлять себе свой мирок в тех красках, которые он, Горн, продиктует. В своих комнатах у Кречмара почти было ощущение, что он видит мебель и предметы, и он чувствовал сохранность, безопасность. Когда же он изредка сиживал в саду, то кругом была неведомая бездна, ибо все было слишком велико, воздушно и многошумно, чтобы можно было описать.

Он старался научиться жить слухом, угадывать движения по звукам, и вскоре Горну стало затруднительно незаметно входить и выходить; как бы беззвучно ни открывалась дверь, Кречмар сразу поворачивался в ту сторону и спрашивал: «Это ты, Магда?» А затем сердился на нерасторопность своего слуха, когда Магда отвечала ему из другого угла. Проходили дни, и чем острее он напрягал слух, тем неосторожнее становились Горн и Магда, привыкая к невидимости своей любви. Вместо того чтобы, как прежде, обедать на кухне под обожающим взглядом старой Эмилии, Горн преспокойно садился с Магдой и Кречмаром за стол и ел с виртуозной беззвучностью, не прикасаясь металлом к фарфору и пользуясь нарочито громким разговором Магды, чтобы жевать и глотать. Однажды он поперхнулся. Кречмар, над которым наклонялась Магда, наливая ему в чашку кофе, вдруг услышал в конце овального стола странный звук — как будто шумное человеческое придыхание. Магда поспешно затараторила, но он прервал ее: «Что это было? Что это было?» Горн меж тем взял свою тарелку и на цыпочках удалился; однако, проходя в полуоткрытую дверь, уронил вилку. «Что это такое? Кто там?» — повторил Кречмар. «Ах, это Эмилия. Чего ты волнуешься?» — «Но ведь она сюда никогда не входит...» — «А сегодня вошла». — «Я думал, что у меня начинаются слуховые галлюцинации, — сказал Кречмар виновато. — Вчера, например, мне показалось, кто-то босиком шлепает по коридору». — «Так можно и с ума сойти», — сухо произнесла Магда.

Днем она уходила на часок гулять вместе с Горном. Шли на почтамт за газетами или поднимались к водопаду. Както они возвращались домой, поднимались уже по крутой тропинке, ведущей к шалэ, и Горн говорил: «Я советую тебе не приставать к нему с браком. Уверяю тебя, тем самым, что он бросил жену, он причислил ее к лику святых и не даст ее в обиду. Гораздо проще и милее выйдет, если тебе удастся постепенно забрать в свои руки хотя бы половину его капитала».

«Деньги, большие деньги», — задумчиво сказала Магда.

«Да, это должно выгореть, — продолжал Горн. — С чеками у нас пока выходит отлично. Он подписывает как машина. Но не следует слишком этим злоупотреблять. Дай Бог, к зиме можно будет бросить его. Перед тем купим ему собаку, — маленький знак внимания».

«Тише ты, — сказала Магда. — Вот уже камень».

Этот камень, большой серый камень, похожий на овцу и поросший с краю вьюном, отмечал тот предел, после которого опасно было громко разговаривать. Они пошли молча и через несколько минут уже подходили к саду. Магда вдруг засмеялась, указывая на белку. Горн швырнул в нее палкой, но не попал. «Они, говорят, страшно портят деревья», — сказала Магда тихо. «Кто портит деревья?» — громко спросил голос Кречмара.

Он стоял среди кустов на каменных ступеньках, там, где тропинка переходила в садовую площадку. «Магда, с кем ты там говоришь?» — продолжал он, и вдруг оступился, и тяжело сел, выронив трость. «Как ты смеешь так далеко заходить?» — воскликнула она и грубовато помогла ему подняться; зернышки гравия впились ему в ладони, он топырил пальцы и отдувался. «Я старалась поймать белку, — объяснила Магда. — А ты что думал?» — «Мне казалось, — начал Кречмар. — Кто тут?» — вдруг отрывисто крикнул он, повернувшись в сторону Горна, который осторожно шел по траве. «Никого нет, я одна, чего ты бесишься!» — забормотала Магда и, не выдержав, хлопнула Кречмара по руке. «Поведи меня домой, — сказал он, чуть не плача. — Тут так шумно, деревья, ветер, белки. Я не знаю, что кругом происходит... Так шумно».

«Я буду теперь запирать тебя», — проговорила она, раздраженно его подталкивая.

Подошел вечер, обыкновенный вечер. Магда и Горн лежали рядышком на диване и курили, а в двух саженях от них Кречмар, неподвижный как сова, сидел в кожаном кресле, уставившись на них неподвижными, мутно-голубыми глазами. Магда, по его просьбе, рассказывала ему свое детство. Он рано пошел спать, долго поднимался по лестнице, стараясь установить подошвой и тростью индивидуальность каждой ступени. Среди ночи он проснулся, нащупал на голом циферблате дешевого будильника стрелки: было половина второго. Странное беспокойство. Что-то все мешало ему последнее время сосредоточить ум на тех важных, хороших мыслях, которые одни помогали бороться с ужасом слепоты. Он лежал и думал: в чем дело? Аннелиза? Нет, она далеко. Она на самой глубине его слепоты, милая, бледная, грустная тень, которую нельзя тревожить. Магдины запреты? И это не то. Ведь это временно. Ему

действительно вредно. Да и следует научиться чисто и духовно относиться к Магде. Ей тоже, бедненькой, вероятно, не легко отказывать... В чем же дело?

Он сполз с постели и постоял у двери Магды. Она запиралась на ключ, и так как был только один выход в коридор, через ее комнату, то он был у себя заперт. «Какая она у меня умница», — подумал он нежно и приложил ухо к двери, чтобы послушать, как она дышит во сне, но ничего не услышал. «Тихая как мышка, — прошептал он. — Вот бы ее сейчас погладить по голове и сразу уйти». Она могла забыть запереться. Без особой надежды он нажал. Нет, она не забыла.

Он вдруг вспомнил, как отроком в душную летнюю ночь, в чьей-то усадьбе на Рейне, он перелез в комнату к горничной (которая, впрочем, дала ему затрещину и выгнала вон) по карнизу, — но тогда он был легок, ловок и зряч. «А почему бы не попробовать? — подумал он с меланхолическим озорством. — Ну, разобьюсь. Не все ли равно?» Он нашел свою трость и, высунувшись в окно, повел ею по широкому карнизу, потом вбок и вверх, к соседнему окну. Чуть звякнуло стекло отворенной рамы. «Как она крепко спит, устает за день, возится со мной». Втягивая обратно трость, он зацепил за что-то, трость выскользнула и с мягким стуком упала, закон притяжения, а в общем можно предположить, что окно не на втором этаже, а на первом. Держась за подоконник, он перелез на карниз, нащупал рядом водосточную трубу, переступил через ее холодное железное колено и сразу ухватился за следующий подоконник. «Как просто!» — подумал он не без гордости. «Ку-ку, Магда», — тихо сказал он, уже собираясь вползти в открытое окно. Он поскользнулся и чуть не упал в подразумеваемый сад. Сильно забилось сердце. Перевалив через подоконник, он толкнул что-то, треск, бухнул на пол плотный предмет, вероятно книга. Кречмар остановился. Капли пота щекотали лицо, к ладони пристало что-то липкое — древесный клей, выступающий от жары, дом — сосновый. «Магда, а, Магда?» — сказал он, улыбаясь. Тишина. Он нашел постель, она была девственно прикрыта чем-то кружевным.

Кречмар сел на постель и стал соображать. Если постель была бы открытая, теплая, то тогда понятно — животик

заболел, она сейчас вернется. «Подождем все-таки», — пробормотал он. Погодя он вышел в коридор и прислушался. Ему показалось, что где-то, очень далеко, раздается тихий ноющий звук — не то скрип, не то шорох. Ему стало почему-то страшно, он громко крикнул: «Магда, где ты?» Вопросительная тишина. Затем где-то стукнуло. «Магда, Магда!» — повторил он и двинулся по коридору. «Да-да, я здесь», — раздался ее спокойный голос. «Что случилось, Магда? Почему ты до сих пор не легла?» Она столкнулась с ним, — в коридоре было темно, и, на мгновение коснувшись ее, он почувствовал, что она голая. «Я лежала на солнце, — сказала она. — Как всегда по утрам». — «Сейчас ночь, — выговорил он с трудом. — Я не понимаю, Магда. Тут что-то не то. Сейчас ночь. Я нащупал стрелки. Сейчас половина второго». — «Глупости. Сейчас шесть часов и чудное солнце. Будильник твой испорчен. Слишком часто трогаешь стрелки. Но позволь, — как ты выбрался сюда?» — «Магда, это правда, что утро? Это правда?» Она вдруг подошла к нему вплотную и обвила, как встарь, его шею. «Хотя и утро, — сказала она тихо, — но если ты хочешь, если ты хочешь, Бруно, в виде большого исключения...»

Это был для нее трудный шаг, но единственный правильный. Кречмар не успел обратить внимание на сырость воздуха, на то, что птицы еще не поют. Было только одно — свирепое, восхитительное наслаждение, после которого он сразу уснул и спал до полудня — до настоящего полудня. Когда он проснулся, Магда выругала его за героический переход из окна в окно, еще пуще рассердилась, увидя его грустную улыбку, и ударила его по щеке.

Днем он сидел в гостиной и вспоминал, какое это было счастье утром, и гадал, через сколько дней оно повторится. Вдруг он явственно услышал, как кто-то коротко откашлялся, — это не могла быть Магда — она была в саду. «Кто тут?» — спросил он. Никто не ответил. «Опять галлюцинация», — тревожно подумал Кречмар и вдруг понял, что именно так его тревожило ночью, — да-да, вот эти странные звуки, которые он иногда слышит, шорох, дыхание, легкие шаги.

«Скажи, Магда, — обратился он к ней, когда она вернулась, — тут никого не бывает в доме, кроме Эмилии? Ты уверена?» — «Дурак», — заметила она лаконично.

Но однажды осознанная мысль уже больше не давала ему покоя. Он помрачнел, сидел весь день на одном месте, прислушиваясь. Горна это забавляло чрезвычайно, и, несмотря на то что Магда умоляла его быть осторожным, он настолько мало стеснялся, что раз, например, сидя в двух саженях от Кречмара, очень искусно стал по-птичьи посвистывать, и Магда принуждена была Кречмару объяснить, что птичка села на подоконник и поет. «Прогони ее», — хмуро сказал Кречмар. «Кыш, кыш», — произнесла Магда, прикладывая ладони к выпученным губам Горна.

«Знаешь что? — через несколько дней сказал Кречмар. — Мне бы хотелось как-нибудь покалякать с этой Эмилией».

«Лишнее, — ответила Магда. — Она абсолютная дура и страшно боится тебя».

Минуты две Кречмар о чем-то напряженно думал.

«Не может быть», — проговорил он тихо и раздельно.

«Что, Бруно, не может быть?»

«Ах, пустые мысли, — ответил он угрюмо, — пустые мысли».

«Вот что, Магда, — проговорил он минуту спустя, — я ужасно оброс, вели парикмахеру прийти из деревни».

«Лишнее, — сказала Магда. — Тебе очень идет борода».

Кречмару показалось, что кто-то, не Магда, а как бы около Магды, гнусаво усмехнулся.

XXXV

Макс принял его у себя в конторе. «Вряд ли вы помните меня, — сказал Зегелькранц. — Я встречал вас лет восемь тому назад у Бруно, у Кречмара. Скажите, ради Бога, он здесь? Вы что-нибудь знаете о нем?»

«Под Цюрихом, — ответил Макс. — Я случайно знаю, у нас с ним общий банк. Совершенно ослеп, — больше мне ничего не известно».

«Вот именно, — вскричал Зегелькранц. — Совершенно ослеп. В некотором смысле это случилось через меня. Мы в прежние годы были с ним так близки, — Боже мой, мы сиживали, бывало, часами в кабачках, — как он любил живопись, как пламенно! А теперь — представьте себе,

столкнулись мы с ним на маленькой станции, я думал, что он путешествует один, мне в голову не пришло...»

«Простите, — сказал Макс. — Я не совсем понимаю вас. Вы что — виделись с ним непосредственно перед катастрофой?»

«Вот именно, вот именно. Но посудите сами, — как я мог угадать, как я мог думать, что он свою жену...»

«Если разрешите, — перебил Макс, — мы это оставим в стороне. Предпочитаю не говорить о том, как он поступил с моей сестрой. Судьба, конечно, достаточно его наказала. Мне жалко, мне очень жалко его. Когда мы прочли в газетах о том, как он расшибся, — ах, да что говорить. Не могу же я допустить, чтобы моя сестра теперь ехала к нему, поступала бы к нему в сиделки. Это ведь абсурд! Я не хочу, чтобы вы с ней говорили, — это абсурд. Только она успокоилась немного, — сразу новый повод для волнения. Так что напрасно он послал вас ко мне, — я не желаю вступать ни в какие переговоры, все это кончено, кончено!»

«Никто меня не посылал! — крикнул Зегелькранц. — Почему вы такой тон со мной берете? Странно, право. Вы ведь не знаете самого главного. С ними путешествовал его приятель, художник, фамилью в данную минуту забыл, — Берг, нет, не Берг, — Беринг, Геринг...»

«Не Горн ли?» — мрачно спросил Макс.

«Да-да, конечно, Горн! Вы его?..»

«...Знаменитость, — пустил моду на морских свинок. Препротивный господин. Я его раза два видел. Но при чем это все?»

«Я же вижу, что вы не в курсе дела. Поймите: выяснилось, что эта женщина и этот художник, за спиною Бруно...»

«Мерзость. Свинарник», — проговорил Макс.

«И вот, представьте себе: Бруно это узнаёт. Я не стану вам говорить, как именно узнаёт, — слишком страшно, художественный донос, но факт тот, что он узнаёт, и дальше следует неописанное, неописуемое, — он сажает ее в автомобиль и мчится сломя голову, мчится по зигзагам шоссе, сто верст в час, над обрывами, и нарочно метит в пропасть, — самоубийство, двойное самоубийство... Но не удалось: она цела, он ослеп. Вы теперь понимаете?..»

Пауза.

«Да, это для меня новость, — сказал наконец Макс. — Это для меня новость. А что сталось с тем прохвостом?»

«Неизвестно, — но есть все основания думать, что он, подобно акуле, последовал и дальше за ними. И вот, теперь вообразите: человек слеп, физически слеп, но этого мало, он знает, что кругом измена, а сделать ничего не может. Ведь это пытка, застенок! Надо что-нибудь предпринять, нельзя это так оставить».

«Он проживает там огромные деньги, — задумчиво сказал Макс. — Вероятно, на какое-нибудь особенное лечение. Или же... — да, он совершенно беспомощен. Навестите его, узнайте, как он живет, — мало ли что может быть».

«Я бы с удовольствием, — нервно сказал Зегелькранц, — но дело в том... Мое здоровье расшатано, мне страшно вредны такие вещи. Я и так поступил Бог знает как опрометчиво, покинув теплый юг. Я не представляю себе встречу с Бруно, — пожалуйста, не настаивайте, чтобы я ехал. Мне просто хотелось уведомить вас. Вы — человек осмотрительный, осторожный, — умоляю, поезжайте вы! Я вам оставлю мой адрес, вы мне напишете обо всем... Скажите, что поедете».

«Придется, — хмуро ответил Макс. — Я только боюсь, что, может быть, вы, — как бы это сказать? — преувеличиваете немного, или точнее...»

«Значит, поедете, — радостно перебил Зегелькранц. — Ах, как чудесно. Теперь я спокоен. Мне этот разговор был очень тяжел, поверьте. Вы не знаете, что я пережил за последнее время...»

Он ушел, очень довольный. Судьбой Кречмара он распорядился как нельзя лучше и вообще героической поездкой в Берлин искупил свою невольную вину. И кто знает, — быть может, — не сегодня, конечно, и не завтра, но когда-нибудь, когда-нибудь (скажем, через месяц) можно будет кое-что извлечь из всей этой истории, изобразить, скажем, вдохновенного, не от мира сего, писателя и его друга, тяжелого и простоватого человека, чтение на холму, близ журчащего источника, и так далее, и так далее. Чистые мысли, прекрасные мысли...

Макс же, вернувшись домой, с напускной веселостью предложил Аннелизе выйти пройтись, был теплый солнечный вечер, на балконах сидели мужчины в жилетах, в небе порой раздавалось жужжание аэроплана. «Мне, вероятно,

придется на днях уехать, — сказал Макс. — По делу». Она посмотрела точь-в-точь тем же взглядом, как некогда, когда он с Ирмой вернулся из Спорт-Паласа, и, вспомнив это, Макс отвел глаза. Они молча прошли до конца улицы. «Да, это нужно», — вдруг произнесла Аннелиза. Макс откашлялся. Они молча вернулись по той же стороне улицы. На следующий день он выехал в Цюрих. Там он сел в автомобиль и через час с небольшим оказался в деревне, невдалеке от которой жил Кречмар. Он остановился у почтамта, и служащая — очень словоохотливая девица — объяснила, как доехать до шалэ, и добавила, что Кречмар живет с племянницей и доктором. Макс немедленно покатил дальше. Он понимал, что это за племянница, но присутствие доктора его удивило, это доказывало, что Кречмар окружен некоторой заботой. «Может быть, я зря еду, — подумал Макс, — может быть, он вполне доволен. Нет, раз уж я тут... Приеду, поговорю с этим доктором... Несчастный, безвольный человек, погибшая жизнь, кто мог предвидеть...»

Магда в то утро вместе с Эмилией была в деревне по хозяйственным делам (надо было, например, хорошенько выругать прачку за розовые подтеки на белом джампере). Автомобиль Макса она, однако, проглядела, но зато, зайдя на почтамт за газетами, узнала, что только что полный господин справлялся о Кречмаре и поехал к нему.

В это время в маленькой гостиной, освещенной солнцем через стеклянную дверь на веранду, сидели друг против друга Кречмар и Горн. Горн нарочно оставался теперь дома, так как желал сполна насладиться последними днями этого чрезвычайно забавного житья. Было решено через неделю ехать в Берлин, и уже там нельзя было рассчитывать на такое увеселение, — слишком рискованно. Горн сидел на складном стульчике, совершенно голый. От ежедневных солнечных ванн в саду или на крыше (где он, нежно воя, изображал эолову арфу) его худощавое, но сильное тело, с черной шерстью в форме распростертого орла на груди, было кофейно-желтого цвета. Ногти на ногах были грязны и зазубрены. Недавно он облил голову под краном на кухне, так что темные его волосы лежали плоско и лоснились. В красных выпученных губах он держал длинный стебелек травы и, скрестив мохнатые ноги и подперев подбородок рукой, на кисти которой горел Магдин

браслет, он не спускал глаз с лица Кречмара, который тоже, казалось, пристально смотрит на него. На Кречмаре был широкий мышиного цвета халат, бородатое лицо выражало мучительное напряжение. Он прислушивался, — последнее время он только и делал, что прислушивался, и Горн это знал и внимательно наблюдал отражения каких-то ужасных мыслей, пробегавшие по лицу слепого, и при этом испытывал восторг, ибо все это было изумительной карикатурой, высшим достижением карикатурного искусства. Затем Горн, желая еще обострить забаву, легонько шлепнул себя по колену, и Кречмар, который как раз поднимал руку к нахмуренному своему челу, замер с приподнятой рукой. Тогда, медленно подавшись вперед, Горн тронул это чело пушистым концом длинной былинки, которую только что сосал. Кречмар, странно и отрывисто вздохнув, отогнал невидимую муху. Горн пощекотал ему губы, — снова отгоняющий жест. Это было весьма смешно. Вдруг слепой резко двинулся, насторожившись. Горн повернул голову и увидел через стеклянную дверь краснолицего толстяка, как будто знакомого, с автомобильными очками над бровями, остолбеневшего от изумления на каменной площадке веранды.

Горн, глядя на него, приложил палец к губам и хотел еще показать, что сейчас выйдет к нему, но тот рванул дверь и вступил в гостиную.

«Конечно, я вас знаю. Ваша фамилия Горн», — сказал Макс, тяжело дыша и смотря в упор на этого голого человека, который ухмылялся и все прикладывал палец к губам, нисколько не стыдясь своей отвратительной наготы. Кречмар меж тем встал, розовая краска шрама словно разлилась по всему его лбу, он стал вдруг кричать, кричать совершенно бессмысленно, и только постепенно из этой мешанины грудных звуков стали образовываться слова. «Макс, я тут один, — кричал он. — Макс, скажи, что я один. Горн в Америке, Горна здесь нет, я умоляю. Я ведь совершенно слеп». — «Дурак», — сказал Горн, махнув рукой, и побежал к двери, ведущей на лестницу. Макс схватил трость, лежавшую на полу около кресла, догнал Горна, — Горн обернулся, выставив ладони, — и Макс, добрейший Макс, который в жизни своей не ударил живого существа, со всей силы треснул Горна палкой по голове около уха. Тот отскочил, продолжая, однако, усмехаться, — и вдруг произошла заме-

чательная вещь: словно Адам после грехопадения, Горн, стоя у стены и осклабясь, пятерней прикрыл свою наготу. Макс кинулся на него снова, но голый увильнул и взбежал по лестнице. В это мгновение что-то навалилось сзади на Макса. Это был Кречмар, — он кричал, он держал в руке мраморное пресс-папье. «Макс, — захлебывался он, — Макс! Я все понимаю, дай мне пальто, дай скорее пальто, оно тут в шкафу!» — «Желтое?» — спросил Макс, борясь с одышкой. Кречмар сразу нащупал в кармане то, что ему было нужно, и перестал кричать.

«Я немедленно везу тебя прочь отсюда, — сказал Макс. — Снимай халат и надевай пальто. Оставь это пресс-папье. Дай я тебе помогу... Это чудовищно, что они тут делали с тобой. Вот... Бери мою шляпу, — ничего, что ты в ночных туфлях. Пойдем, пойдем, Бруно, у меня там, внизу, автомобиль, — главное, скорее убраться из этого застенка!»

«Нет, — сказал Кречмар, — нет. Я сперва должен с ней поговорить, — она должна подойти ко мне вплотную, вплотную. Сейчас вернется, подождем ее. Я хочу, Макс. Это продолжится одну минуту».

Но Макс вытолкнул его на веранду, затем в сад и, увидя оттуда внизу на дороге свой автомобиль, заорал и замахал, призывая шофера. «Только чтобы она подошла ко мне, — повторял Кречмар, — совсем близко. Ради Бога, скажи, Макс. Может быть, она уже здесь? Может быть, она уже вернулась? Может быть, она идет рядом?»

«Нет, Бруно, успокойся. Идем, пожалуйста. Никого нет, только этот голый смотрит из окна. Пойдем, милый, пойдем».

«Я пойду, — сказал Кречмар. — Но только ты скажи мне, если ее увидишь, мы ее можем встретить. Тогда не мешай ей, пускай она ко мне приблизи, прибли, бли, приблитиблися — —»

Они стали спускаться по тропинке, но через несколько шагов Кречмар вдруг повалился навзничь в глубоком обмороке, Макс едва успел его поддержать. Подоспел запыхавшийся шофер. Он и Макс понесли Кречмара в автомобиль. В это время подъехала таратайка, из нее выскочила Магда. Она подбежала, крикнула что-то, но автомобиль попятился, чуть ее не задавил и сразу ринулся вперед и скрылся за поворотом.

XXXVI

Аннелиза получила телеграмму из Цюриха во вторник, а в среду, около восьми часов вечера, услышала в прихожей голос Макса, стук чемодана о косяк, шаги, движение. Дверь открылась, Макс ввел Кречмара. Он был чисто выбрит, в темно-синих очках, на бледном лбу был шрам, незнакомый бледно-лиловый костюм казался слишком просторным. «Привез», — спокойно сказал Макс, и Аннелиза заплакала, прижимая платок ко рту. Кречмар безмолвно поклонился по направлению невнятного плача. «Пойдем помыть руки», — сказал Макс, медленно ведя его через комнату.

Потом сидели втроем в столовой, ужинали. Аннелиза все не могла привыкнуть смотреть на мужа. Ей казалось, что он все-таки чувствует ее взгляд. Печальная торжественность его движений, манера ощупывать воздух доводили ее до какого-то тихого исступления жалости. Макс говорил с Кречмаром как с ребенком и деловито резал ему ветчину.

Его поместили в бывшую комнату Ирмы, — Аннелиза сама удивилась тому, как легко ей было, ради этого нечаянного жильца, нарушить сон комнатки, все в ней изменить, переставить, приноровить ее к удобствам слепца.

Кречмар молчал. Правда, сначала, то есть еще в Цюрихе, проездом в Берлин, он, не переставая, с тяжелой, бредовой настойчивостью, упрашивал Макса вызвать Магду на минутное свидание, — он клялся, что эта последняя встреча продлится не более минуты; действительно, долго ли нужно, чтобы в привычной темноте нащупать и, крепко схватив одной рукой, сразу ткнуть стволом браунинга в грудь или в бок и выстрелить — раз, еще раз, до семи раз. Макс упорно отказывался просьбу его уважить, — и тогда-то он замолчал, молча ехал до Берлина, молча прибыл и затем промолчал три дня... Аннелиза так и не услышала его голоса, — словно бы он не только ослеп, но и онемел.

Черная увесистая вещь, сокровищница смерти, лежала в глубоком кармане пальто, завернутая в шелковистое кашнэ. Запершись в уборной вагона, он переместил браунинг в задний карман штанов, а затем, когда приехал, — в свой чемодан, и ключ от чемодана ночью держал в кула-

ке, но к утру, во время какой-то сложной и смутной погони, потерял его, и, проснувшись, долго его искал, шарил в беспросветной тьме постели, и, найдя его, наконец отпер чемодан и снова переложил браунинг в карман штанов, так, чтобы он оставался всегда, всегда при нем.

И он продолжал молчать. Присутствие Аннелизы в доме, ее шаги, ее шепот (она почему-то говорила с прислугой и с Максом шепотом) были в конце концов столь же условны и призрачны, как его воспоминание о ней. Да, шелестящее, слабо пахнущее одеколоном воспоминание, больше ничего. Подлинная жизнь, та хитрая, увертливая, мускулистая, как змея, жизнь, жизнь, которую следовало пресечь немедля, находилась где-то в другом месте, — где? Неизвестно. С необычайной ясностью он представлял себе, как, после его отъезда, она и Горн — оба гибкие, проворные, со страшными лучистыми глазами навыкате, — собирают вещи, как Магда целует Горна, трепеща жалом, извиваясь среди открытых сундуков, как наконец они уезжают, — но куда, куда? Миллион городов, и сплошной мрак.

Прошло три немых дня. На четвертый, рано утром, так случилось, что он остался без надзора: Макс только что уехал на службу, Аннелиза, не спавшая всю ночь, еще не выходила из своей спальни. Кречмар, в мучительной жажде немедленного действия, пошел ходить по квартире, ощупывая мебель и косяки. Уже некоторое время звонил в кабинете телефон, и это напоминало о том, что в Берлине есть издательства, к которым тот, невидимый, был причастен, общие знакомые, возможность что-нибудь узнать, — но Кречмар не мог припомнить ни одного телефонного номера, все было где-то записано, ничего не хранилось в голове. Звон напряженно раздувался и спадал опять. Кречмар снял незримую трубку и приложил ее к уху. Смутно знакомый мужской голос спрашивал господина Гогенварта, то есть Макса. «Нет дома», — ответил Кречмар. «Ах вот как, — замялся голос и вдруг бодро сказал: — Это вы, господин Кречмар?» — «Да, да, а вы кто?» — «Шиффермюллер. Я вот по какому поводу. Я только что звонил в контору к господину Гогенварту, но его еще не было. Я думал, что успею застать его дома. Как удачно, что вы тут, господин Кречмар. Вероятно, все в порядке, но как-никак я почел своим долгом... Дело в том, что сейчас заехала сюда фрейлейн Петерс за своими вещами. Я ее

пустил в вашу квартиру, но я не знаю... может быть, какие-нибудь распоряжения...» — «Все в порядке», — сказал Кречмар, с трудом двигая одеревеневшими, как от кокаина, губами. «Что вы говорите?» — «Все в порядке», — повторил Кречмар. «Я не слышу, простите?» — «Все в порядке», — повторил Кречмар чуть яснее и, дрожа, повесил трубку.

Каким-то чудом ничего не задев, он пробрался в переднюю, хотел было отыскать трость и шляпу, но это выходило слишком долго, слишком сложно. Поспешно поглаживая края ступеней подошвами и скользя ладонью по перилам, неловко подгибая колени на площадках и повторяя: «В порядке, в порядке», — Кречмар спустился и вот — оказался на улице. Мелкое, мокрое сразу закололо его в лоб. Он двинулся, потрагивая склизкое железо палисадника и прислушиваясь, не проезжает ли таксомотор. Вот — неторопливый и влажный шелест шин. Кречмар отрывисто крикнул. Шелест бесстрастно удалился. «Ах, надо скорее», — пробормотал он.

«Хотите, я помогу вам перейти?» — предложил приятный женский голос у самого плеча. «Ради Бога, автомобиль», — сказал Кречмар.

Звук мотора, шелест. Кто-то помог ему влезть. Кто-то захлопнул дверцу. «Прямо, прямо», — тихо произнес Кречмар, — а когда уже автомобиль тронулся, он подался вперед, наткнулся пальцем на стекло, постучал, сообщил адрес.

Будем считать повороты. Первый — это, вероятно, Моцштрассе. Слева заскрежетал и звякнул трамвай. Кречмар вдруг повел рукой вокруг себя, ощупал сиденье, переднюю стенку, пол, пораженный мыслью, что, быть может, кто-нибудь сел вместе с ним. Опять поворот — это, должно быть, Виктория-Луизе-Плац. Или Прагер-Плац? Сейчас будет Кайзер-Аллее. Остановились. Неужели приехали? Не может быть, просто перекресток. Еще по крайней мере пять минут езды до... Но дверца открылась. «Пожалуйста, — сказал голос шофера. — Пятьдесят шестой номер».

Кречмар вышел на панель. Перед ним в воздухе, радостно приближаясь, появилось полное издание того голоса, который только что звучал в телефоне. Шиффермюллер, швейцар дома, сказал: «Как неожиданно, как приятно, господин Кречмар. Фрейлейн Петерс у вас наверху, она...» — «Тише, тише, — пробормотал Кречмар. — Заплатите тут.

У меня с глазами...» Он наткнулся коленом на что-то звонкое и как будто валкое, — детский велосипед, может быть. «Да впустите же меня в дом, — сказал он. — Дайте мне ключ от моей квартиры. Скорее же. Теперь введите меня в лифт. Скорее же. Нет, нет, оставайтесь внизу. Я один поднимусь. Я сам нажму кнопку...»

Лифт мягко застонал, голова слегка закружилась, потом ударило под пятки, доехал.

Он вышел, шагнул, но, не совсем рассчитав направление, сошел одной ногой в бездну, нет, не в бездну, а просто вниз, на следующую ступеньку лестницы, и невольно сел. «Правее, гораздо правее», — прошептал он и, вытянув руку, добрался до двери. Стараясь не слишком царапать и звякать, он нашел скважину, сунул в нее ключ, повернул, знакомая песня отворяющейся двери.

Слева, слева, да — в небольшой угловой гостиной, — проворно шуршала бумага, затем что-то легко, легко хрустнуло, как будто суставы приседающего на корточки человека. «Вы сейчас мне будете нужны, господин Шиффермюллер, — сказал Магдин голос. — Вы должны будете мне помочь все это...» Голос осекся. «Увидела», — подумал Кречмар и вынул из кармана пистолет. Слева, в комнате, туго щелкнуло, Магда крякнула и певуче продолжала: «...все это снести вниз. Или лучше позовите...» Тут голос ее как бы обернулся на слове «позовите», и последовала тишина.

Кречмар, держа в правой руке браунинг, нащупал левой косяк открытой двери, вошел, захлопнул дверь за собой и спиной прислонился к ней.

Тишина продолжалась. Он знал, что он с Магдой один в этой комнате, откуда только один выход — тот, который он заслонял. Комнату он словно видел воочию: слева — полосатый диванчик, у правой стены — столик, и на нем фарфоровая балерина, в углу у окна — шкафчик с драгоценными миниатюрами, посредине — другой стол, побольше, и два полосатых стула.

Выпрямив руку, он стал поводить браунингом перед собой, стараясь вынудить какой-нибудь уяснительный звук. Чутьем, впрочем, он знал, что Магда где-то около горки с миниатюрами, — оттуда шло как бы легчайшее ядовито-душистое тепло, и что-то дрожало там, как дрожит воздух в зной. Он начал суживать дугу, по которой водил

стволом, и вдруг раздался тихий скрип. Выстрелить? Нет, еще рано. Нужно подойти ближе. Он ударился о стол и остановился. Ядовитое тепло куда-то передвинулось, но звука перехода он не уловил за громом и треском собственных шагов. Да, теперь оно было левее, у самого окна. Запереть за собой дверь, тогда будет свободнее. Ключа не оказалось. Тогда он взялся за край стола и, отступая, потянул его к двери. Опять тепло передвинулось, сузилось, уменьшилось. Он заставил дверь и стал опять водить перед собой браунингом, и опять нашел во мраке живую дрожащую точку. Тогда он тихо двинулся вперед, стараясь не скрипеть, чтобы не мешать слуху. Он наткнулся на твердое и, не опуская браунинга, исследовал препятствие. Небольшой сундук. Он отодвинул его налево к дивану, и опять пошел по диагонали комнаты, загоняя невидимую добычу в угол. Его слух и осязание были так обострены, что теперь он отлично чуял ее. Это был не звук дыхания и не биение сердца, а некое сборное впечатление, звучание самой ее жизни, которое сейчас, вот сейчас, будет прекращено, и тогда наступит покой, ясность, освобождение от тьмы... Но он почувствовал внезапное какое-то полегчание в том углу, — повел пистолетом в сторону, и угол опять наполнился теплым присутствием. Затем оно как бы стало понижаться, это присутствие, оно опускалось, опускалось, вот поползло, вот стелется по полу. Кречмар не выдержал и нажал собачку. Выстрел словно лягнул тьму, и тотчас после этого что-то взвилось и ударило его — сразу в голову, в плечо и в грудь. Он упал, запутавшись, — в чем? — в стуле, в летающем стуле. Падая, он выронил браунинг, мгновенно нащупал его, но одновременно почувствовал быстрое дыхание, холодная, проворная рука попыталась выхватить то, что он сам хватал, Кречмар вцепился в живое, в шелковое, и вдруг — невероятный крик, как от щекотки, но хуже, и сразу: звон в ушах и нестерпимый толчок в бок, как это больно, нужно посидеть минутку совершенно смирно, посидеть, потом потихоньку пойти по песку к синей волне, к синей, нет, к сине-красной, в золотистых прожилках волне, как хорошо видеть краски, льются они, льются, наполняют рот, ох, как мягко, как душно, нельзя больше вытерпеть, она меня убила, какие у нее выпуклые глаза, базедова болезнь, надо все-таки встать, идти, я же все вижу, — что такое слепота? отчего я раньше не знал...

но слишком душно, булькает, не надо булькать, еще раз, еще, — перевалить, нет, не могу...

Он сидел на полу, опустив голову, и потом вяло наклонился вперед и криво упал на бок.

Тишина. Дверь широко открыта в прихожую. Стол отодвинут, стул валяется рядом с мертвым телом человека в бледно-лиловом костюме. Браунинга не видно, — он под ним. На столике, где некогда, во дни Аннелизы, белела фарфоровая балерина (перешедшая затем в другую комнату), лежит вывернутая дамская перчатка. Около полосатого дивана стоит щегольской сундучок с цветной наклейкой: Сольфи, отель «Адриатик». Дверь из прихожей на лестницу тоже осталась открытой.

В. СИРИНЪ

ОТЧАЯНІЕ

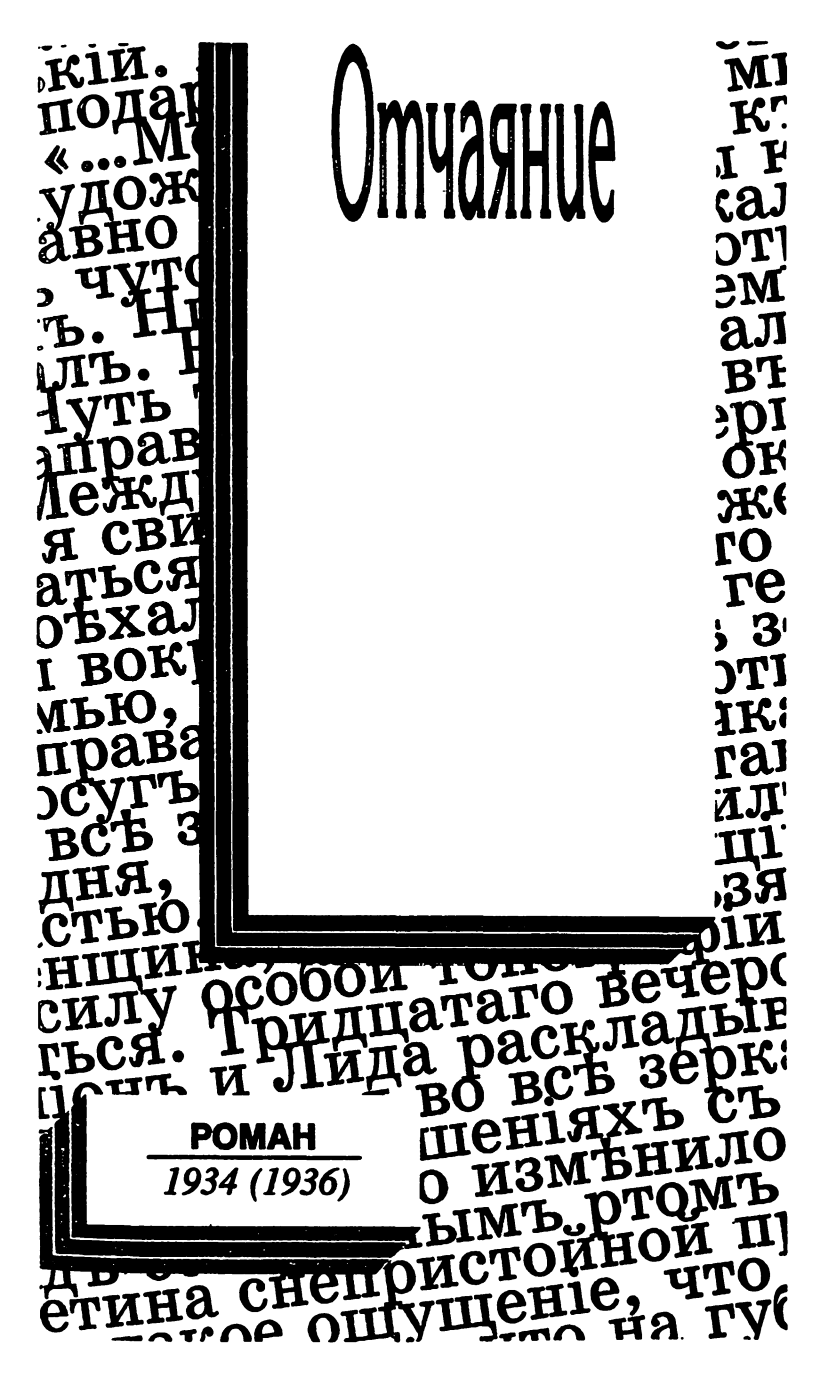
РОМАНЪ

...ЛИСЪ БЕРЛИНЪ

В. СИРИНЪ

ОТЧАЯНІЕ

ПЕТРОПОЛИСЪ


Отчаяние
РОМАН
1934 (1936)

ГЛАВА I

Если бы я не был совершенно уверен в своей писательской силе, в чудной своей способности выражать с предельным изяществом и живостью — — Так, примерно, я полагал начать свою повесть. Далее я обратил бы внимание читателя на то, что, не будь во мне этой силы, способности и прочего, я бы не только отказался от описывания недавних событий, но и вообще нечего было бы описывать, ибо, дорогой читатель, не случилось бы ничего. Это глупо, но зато ясно. Лишь дару проникать в измышления жизни, врожденной склонности к непрерывному творчеству я обязан тем — — Тут я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом... Но, как говаривал мой бедный левша, философия — выдумка богачей. Долой.

Я, кажется, попросту не знаю, с чего начать. Смешон пожилой человек, который бегом, с прыгающими щеками, с решительным топотом, догнал последний автобус, но боится вскочить на ходу и, виновато улыбаясь, еще труся по инерции, отстает. Неужто не смею вскочить? Он воет, он ускоряет ход, он сейчас уйдет за угол, непоправимо, — могучий автобус моего рассказа. Образ довольно громоздкий. Я все еще бегу.

Покойный отец мой был ревельский немец, по образованию агроном, покойная мать — чисто русская. Старинного княжеского рода. Да, в жаркие летние дни она, бывало, в сиреневых шелках, томная, с веером в руке, полулежала в качалке, обмахиваясь, кушала шоколад, и наливались сенокосным ветром лиловые паруса спущенных штор. Во время войны меня, немецкого подданного, интернировали, — я только что поступил в Петербургский университет, пришлось все бросить. С конца четырнадцатого до середины девятнадцатого года я прочел тысячу восемнадцать

книг, — вел счет. Проездом в Германию я на три месяца застрял в Москве и там женился. С двадцатого года проживал в Берлине. Девятого мая тридцатого года, уже перевалив лично за тридцать пять...

Маленькое отступление: насчет матери я соврал. По-настоящему она была дочь мелкого мещанина — простая, грубая женщина в грязной кацавейке. Я мог бы, конечно, похерить выдуманную историю с веером, но я нарочно оставляю ее, как образец одной из главных моих черт: легкой, вдохновенной лживости. Итак, говорю я, девятого мая тридцатого года я был по делу в Праге. Дело было шоколадное. Шоколад — хорошая вещь. Есть барышни, которые любят только горький сорт, — надменные лакомки. Не понимаю, зачем беру такой тон.

У меня руки дрожат, мне хочется заорать или разбить что-нибудь, грохнуть чем-нибудь об пол... В таком настроении невозможно вести плавное повествование. У меня сердце чешется, — ужасное ощущение. Надо успокоиться, надо взять себя в руки. Так нельзя. Спокойствие. Шоколад, как известно, (представьте себе, что следует описание его производства). На обертке нашего товара изображена дама в лиловом, с веером. Мы предлагали иностранной фирме, скатывавшейся в банкротство, перейти на наше производство для обслуживания Чехии, — потому-то я и оказался в Праге. Утром девятого мая я, из гостиницы, в таксомоторе отправился... Все это скучно докладывать, убийственно скучно, — мне хочется поскорее добраться до главного, — но ведь полагается же кое-что предварительно объяснить. Словом, — контора фирмы была на окраине города, и я не застал кого хотел, сказали, что он будет через час, наверное...

Нахожу нужным сообщить читателю, что только что был длинный перерыв, — успело зайти солнце, опаляя по пути палевые облака над горой, похожей на Фузияму, — я просидел в каком-то тягостном изнеможении, то прислушиваясь к шуму и уханию ветра, то рисуя носы на полях, то впадая в полудремоту — и вдруг содрогаясь... и снова росло ощущение внутреннего зуда, нестерпимой щекотки, — и такое безволие, такая пустота. Мне стоило большого усилия зажечь лампу и вставить новое перо, — старое расщепилось, согнулось и теперь смахивало на клюв хищной птицы. Нет, это не муки творчества, это — совсем другое.

Значит, не застал, и сказали, что через час. От нечего делать я пошел погулять. Был продувной день, голубой, в яблоках; ветер, дальний родственник здешнего, летал по узким улицам; облака то и дело сметали солнце, и оно показывалось опять, как монета фокусника. В сквере, где катались инвалиды в колясочках, бушевала сирень. Я глядел на вывески, находил слово, таившее понятный корень, но обросшее непонятным смыслом. Пошел наугад, размахивая руками в новых желтых перчатках, и вдруг дома кончились, распахнулся простор, показавшийся мне вольным, деревенским, весьма заманчивым. Миновав казарму, перед которой солдат вываживал белую лошадь, я зашагал уже по мягкой, липкой земле, дрожали на ветру одуванчики, млел на солнцепеке у забора дырявый сапожок. Впереди великолепный крутой холм поднимался стеной в небо. Решил на него взобраться. Великолепие его оказалось обманом. Среди низкорослых буков и бузины вилась вверх зигзагами ступенчатая тропинка. Казалось, вот-вот сейчас дойду до какой-то чудной глухой красоты, но ее все не было. Эта растительность, нищая и неказистая, меня не удовлетворяла, кусты росли прямо на голой земле, и все было загажено, бумажонки, тряпки, отбросы. Со ступеней тропинки, проложенной очень глубоко, некуда было свернуть; из земляных стен по бокам, как пружины из ветхой мебели, торчали корни и клочья гнилого мха. Когда я наконец дошел доверху, там оказались кривые домики, да на веревке надувались мнимой жизнью подштанники.

Облокотясь на узловатые перила, я увидел внизу подернутую легкой поволокой Прагу, мреющие крыши, дымящие трубы, двор казармы, крохотную белую лошадь. Решил вернуться другим путем и стал спускаться по шоссейной дороге, которую нашел за домишками. Единственной красотой ландшафта был вдали, на пригорке, окруженный голубизной неба, круглый, румяный газоем, похожий на исполинский футбольный мяч. Я покинул шоссе и пошел опять вверх, по редкому бобрику травы. Унылые, бесплодные места, грохот грузовика на покинутой мною дороге, навстречу грузовику — телега, потом велосипедист, потом в гнусную радугу окрашенный автомобиль фабрики лаков.

Некоторое время я глядел со ската на шоссе; повернулся, пошел дальше, нашел что-то вроде тропинки между двух лысых горбов и поискал глазами, где бы присесть

отдохнуть. Поодаль, около терновых кустов, лежал навзничь, раскинув ноги, с картузом на лице, человек. Я прошел было мимо, но что-то в его позе странно привлекло мое внимание, — эта подчеркнутая неподвижность, мертво раздвинутые колени, деревянность полусогнутой руки. Он был в обшарканных плисовых штанах и темном пиджачке.

«Глупости, — сказал я себе, — он спит, он просто спит. Чего буду соваться, разглядывать». И все же я подошел и носком моего изящного ботинка брезгливо скинул с его лица картуз.

Оркестр, играй туш! Или лучше: дробь барабана, как при задыхающемся акробатическом трюке! Невероятная минута. Я усомнился в действительности происходящего, в здравости моего рассудка, мне сделалось почти дурно — честное слово, — я сел рядом, — дрожали ноги. Будь на моем месте другой, увидь он что увидел я, его бы, может быть, прежде всего охватил гомерический смех. Меня же ошеломила таинственность увиденного. Я глядел, — и все во мне как-то срывалось, летало с каких-то десятых этажей. Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью и бесцельностью.

Тут, раз я уже добрался до сути и утолил зуд, не лишнее, пожалуй, слогу своему приказать: вольно! — потихоньку повернуть вспять и установить, какое же настроение было у меня в то утро, о чем я размышлял, когда, не застав контрагента, пошел погулять, полз на холм, глядел вдаль, на облый румянец газоема среди ветреной синевы майского дня. Вернемся, установим. Вот, без цели еще, я блуждаю, я еще никого не нашел. О чем я, в самом деле, думал? То-то и оно, что ни о чем. Я был совершенно пуст, как прозрачный сосуд, ожидающий неизвестного, но неизбежного содержания. Дымка каких-то мыслей: о моем деле, о недавно приобретенном автомобиле, о различных свойствах тех мест, которыми я шел, — дымка этих мыслей витала вне меня, а если что и звучало в просторной моей пустоте, то лишь невнятное ощущение какой-то силы, влекущей меня. Один умный латыш, которого я знавал в девятнадцатом году в Москве, сказал мне однажды, что беспричинная задумчивость, иногда обволакивающая меня, признак того, что я кончу в сумасшедшем доме. Конечно, он преувеличивал, — я за этот год хорошо испытал необыкновенную ясность и стройность того логического зодчества, которому

предавался мой сильно развитый, но вполне нормальный разум. Интуитивные игры, творчество, вдохновение — все то возвышенное, что украшало мою жизнь, может, допустим, показаться профану, пускай умному профану, предисловием к невинному помешательству. Но успокойтесь, я совершенно здоров, тело мое чисто как снаружи, так и внутри, поступь легка, я не пью, курю в меру, не развратничаю. Здоровый, прекрасно одетый, очень моложавый, я блуждал по только что описанным местам, — и тайное вдохновение меня не обмануло, я нашел то, чего бессознательно искал. Повторяю, невероятная минута. Я смотрел на чудо, и чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью, бесцельностью, но, быть может, уже тогда, в ту минуту, рассудок мой начал пытать совершенство, добиваться причины, разгадывать цель.

Он сильно потянул носом, зыбь жизни побежала по лицу, чудо слегка замутилось, но не ушло. Затем он открыл глаза, покосился на меня, приподнялся и начал, зевая и все недозевывая, скрести обеими руками в жирных русых волосах.

Это был человек моего возраста, долговязый, грязный, дня три не брившийся; между нижним краем воротничка (мягкого, с двумя петельками спереди для несуществующей булавки) и верхним краем рубашки розовела полоска кожи. Тощий конец вязаного галстука свесился набок, и на груди не было ни одной пуговицы. В петлице пиджака увядал пучок бледных фиалок, одна выбилась и висела головкой вниз. Подле лежал грушевидный заплечный мешок с ремнями, подлеченными веревкой. Я рассматривал бродягу с неизъяснимым удивлением, словно это он так нарядился нарочно, ради простоватого маскарада.

«Папироса найдется?» — спросил он по-чешски, неожиданно низким, даже солидным голосом, и сделал двумя расставленными пальцами жест курения.

Я протянул ему мою большую кожаную папиросницу, ни на мгновение не спуская с него глаз. Он пододвинулся, опершись ладонью оземь. Тем временем я осмотрел его ухо и впалый висок.

«Немецкие», — сказал он и улыбнулся, показав десны; это меня разочаровало, но, к счастью, улыбка тотчас исчезла (мне теперь не хотелось расставаться с чудом).

«Вы немец?» — спросил он по-немецки, вертя, уплотняя папиросу.

Я ответил утвердительно и щелкнул перед его носом зажигалкой. Он жадно сложил ладони куполом над мятущимся маленьким пламенем. Ногти — черно-синие, квадратные.

«Я тоже немец, — сказал он, выпустив дым, — то есть мой отец был немец, а мать из Пильзена, чешка».

Я все ждал от него взрыва удивления, — может быть, гомерического смеха, — но он оставался невозмутим. Уже тогда я понял, какой это оболтус.

«Да, я выспался», — сказал он самому себе с глупым удовлетворением и смачно сплюнул.

Я спросил: «Вы что — без работы?»

Скорбно закивал и опять сплюнул. Всегда удивляюсь тому, сколько слюны у простого народа.

«Я могу больше пройти, чем мои сапоги», — сказал он, глядя на свои ноги. Обувь у него была действительно неважная.

Медленно перевалившись на живот и глядя вдаль, на газоем, на жаворонка, поднявшегося с межи, он мечтательно проговорил:

«В прошлом году у меня была хорошая работа в Саксонии, неподалеку от границы. Садовничал — что может быть лучше? Потом работал в кондитерской. Мы каждый день с товарищем после работы переходили границу, чтобы выпить по кружке пива. Девять верст туда и столько же обратно, оно в Чехии дешевле. А одно время я играл на скрипке, и у меня была белая мышь».

Теперь поглядим со стороны, — но так, мимоходом, не всматриваясь в лица, не всматриваясь, господа, — а то слишком удивитесь. А впрочем, все равно, — после всего случившегося я знаю, увы, как плохо и пристрастно людское зрение. Итак: двое рядом на чахлой траве. Прекрасно одетый господин, хлопающий себя желтой перчаткой по колену, и рассеянный бродяга, лежащий ничком и жалующийся на жизнь. Жесткий трепет терновых кустов, бегущие облака, майский день, вздрагивающий от ветра, как вздрагивает лошадиная кожа, дальний грохот грузовика со стороны шоссе, голосок жаворонка в небе. Бродяга говорил с перерывами, изредка сплевывая. То да сё, то да сё...

Меланхолично вздыхал. Лежа ничком, отгибал икры к заду и опять вытягивал ноги.

«Послушайте, — не вытерпел я, — неужели вы ничего не замечаете?»

Перевернулся, сел. «В чем дело?» — спросил он, и на его лице появилось выражение хмурой подозрительности.

Я сказал: «Ты, значит, слеп».

Секунд десять мы смотрели друг другу в глаза. Я медленно поднял правую руку, но его шуйца не поднялась, а я почти ожидал этого. Я прищурил левый глаз, но оба его глаза остались открытыми. Я показал ему язык. Он пробормотал опять: «В чем дело, в чем дело?»

Было у меня зеркальце в кармане. Я его дал ему. Еще только беря его, он всей пятерней мазнул себя по лицу, взглянул на ладонь, но ни крови, ни грязи не было. Посмотрелся в блестящее стекло. Пожал плечами и отдал.

«Мы же с тобой, болван, — крикнул я, — мы же с тобой — ну разве, болван, не видишь, ну посмотри на меня хорошенько...»

Я привлек его голову к моей, висок к виску, в зеркальце запрыгали и поплыли наши глаза.

Он снисходительно сказал: «Богатый на бедняка не похож, — но вам виднее... Вот, помню, на ярмарке двух близнецов, это было в августе двадцать шестого года или в сентябре, нет, кажется, в августе. Так там действительно — их нельзя было отличить друг от друга. Предлагали сто марок тому, кто найдет примету. Хорошо, говорит рыжий Фриц, и бац одному из близнецов в ухо. Смотрите, говорит, у этого ухо красное, а у того нет, давайте сюда ваши сто марок. Как мы смеялись!»

Его взгляд скользнул по дорогой бледно-серой материи моего костюма, побежал по рукаву, споткнулся о золотые часики на кисти.

«А работы у вас для меня не найдется?» — осведомился он, склонив голову набок.

Отмечу, что он первый, не я, почуял масонскую связь нашего сходства, а так как установление этого сходства шло от меня, то я находился, по его бессознательному расчету, в тонкой от него зависимости, точно мимикрирующим видом был я, а он — образцом. Всякий, конечно, предпочитает, чтобы сказали: он похож на вас, — а не наоборот: вы на него. Обращаясь ко мне с просьбой, этот

мелкий мошенник испытывал почву для будущих требований. В его туманном мозгу мелькала, может быть, мысль, что мне полагается быть ему благодарным за то, что он существованием своим щедро дает мне возможность походить на него. Наше сходство казалось мне игрой чудесных сил. Он в нашем сходстве усматривал участие моей воли. Я видел в нем своего двойника, то есть существо, физически равное мне, — именно это полное равенство так мучительно меня волновало. Он же видел во мне сомнительного подражателя. Подчеркиваю, однако, туманность этих мыслей. По крайней тупости своей, он, разумеется, не понял бы моих комментариев к ним.

«В настоящее время ничем помочь тебе не могу, — ответил я холодно, — но дай мне свой адрес». Я вынул записную книжку и серебряный карандаш.

Он усмехнулся: «Не могу сказать, чтобы у меня сейчас была вилла. Лучше спать на сеновале, чем в лесу, но лучше спать в лесу, чем на скамейке».

«А все-таки, — сказал я, — где, в случае чего, можно тебя найти?»

Он подумал и ответил: «Осенью я, наверное, буду в той деревне, где работал прошлой осенью. Вот на тамошний почтамт и адресуйте. Неподалеку от Тарница. Дайте запишу».

Его имя оказалось: Феликс, что значит «счастливый». Фамилию, читатель, тебе знать незачем. Почерк неуклюжий, скрипящий на поворотах. Писал он левой рукой.

Мне было пора уходить. Я дал ему десять крон. Снисходительно осклабясь, он протянул мне руку, оставаясь при этом в полулежачем положении.

Я быстро пошел к шоссе. Обернувшись, я увидел его темную, долговязую фигуру среди кустов: он лежал на спине, перекинув ногу на ногу и подложив под темя руки. Я почувствовал вдруг, что ослабел, прямо изнемог, кружилась голова, как после долгой и мерзкой оргии. Меня сладко и мутно волновало, что он так хладнокровно, будто невзначай, в рассеянии, прикарманил серебряный карандаш. Шагая по обочине, я время от времени прикрывал глаза и едва не попал в канаву. Потом, в конторе, среди делового разговора меня так и подмывало вдруг сообщить моему собеседнику: «Со мною случилась невероятная вещь. Представьте себе...» Но я ничего не сказал и этим создал прецедент тайны. Когда я наконец вернулся к себе в номер,

то там, в ртутных тенях, обрамленный курчавой бронзой, ждал меня Феликс. С серьезным и бледным лицом он подошел ко мне вплотную. Был он теперь чисто выбрит, гладко зачесанные назад волосы, бледно-серый костюм, сиреневый галстук. Я вынул платок, он вынул платок тоже. Перемирие, переговоры...

Пыль предместья набилась мне в ноздри. Сморкаясь, я присел на край постели, продолжая смотреться в олакрез. Помню, что мелкие признаки бытия — щекотка в носу, голод, и потом рыжий вкус шницеля в ресторане — странно меня занимали, точно я искал и находил (и все-таки слегка сомневался) доказательства тому, что я — я, что я (средней руки коммерсант с замашками) действительно нахожусь в гостинице, обедаю, думаю о делах и ничего не имею общего с бродягой, валяющимся сейчас где-то за городом, под кустом. И вдруг снова у меня сжималось в груди от ощущения чуда. Ведь этот человек, особенно когда он спал, когда черты были неподвижны, являл мне мое лицо, мою маску, безупречную и чистую личину моего трупа, — я говорю «трупа» только для того, чтобы с предельной ясностью выразить мою мысль, — какую мысль? — а вот какую: у нас были тождественные черты, и в совершенном покое тождество это достигало крайней своей очевидности, — а смерть — это покой лица, художественное его совершенство; жизнь только портила мне двойника: так ветер туманит счастие Нарцисса, так входит ученик в отсутствие художника и непрошенной игрой лишних красок искажает мастером написанный портрет. И еще я думал о том, что именно мне, особенно любившему и знавшему свое лицо, было легче, чем другому, обратить внимание на двойника, — ведь не все так внимательны, ведь часто бывает, что говоришь: «Как похожи!» — о двух знакомых между собою людях, которые не подозревают о подобии своем (и стали бы отрицать его не без досады, ежели его им открыть). Возможность, однако, такого совершенного сходства, какое было между мной и Феликсом, никогда прежде мною не предполагалась. Я видел схожих братьев, соутробников, я видел в кинематографе двойников, то есть актера в двух ролях, — как и в нашем случае, наивно подчеркивалась разница общественного положения: один непременно беден, а другой состоятелен, один — бродяга в кепке, с расхристанной походкой, а другой — солидный буржуа

с автомобилем, — как будто и впрямь чета схожих бродяг или чета схожих джентльменов менее поражала бы воображение. Да, я все это видал, — но сходство близнецов испорчено штампом родственности, а фильмовый актер в двух ролях никого не обманывает, ибо если он и появляется сразу в двух лицах, то чувствуешь поперек снимка линию склейки. В данном же случае не было ни анемии близнячества (кровь пошла на двоих), ни трюка иллюзиониста.

Я желаю во что бы то ни стало, и я этого добьюсь, убедить всех вас, заставить вас, негодяев, убедиться, — но боюсь, что, по самой природе своей, слово не может полностью изобразить сходство двух человеческих лиц, — следовало бы написать их рядом не словами, а красками, и тогда зрителю было бы ясно, о чем идет речь. Высшая мечта автора: превратить читателя в зрителя, — достигается ли это когда-нибудь? Бледные организмы литературных героев, питаясь под руководством автора, наливаются живой читательской кровью; гений писателя состоит в том, чтобы дать им способность ожить благодаря этому питанию и жить долго. Но сейчас мне нужна не литература, а простая, грубая наглядность живописи. Вот мой нос — крупный, северного образца, с крепкой костью и почти прямоугольной мякиной. Вот его нос — точь-в-точь такой же. Вот эти две резкие бороздки по сторонам рта и тонкие, как бы слизанные губы. Вот они и у него. Вот скулы... Но это — паспортный, ничего не говорящий перечень черт, и в общем ерундовая условность. Кто-то когда-то мне сказал, что я похож на Амундсена. Вот он тоже похож на Амундсена. Но не все помнят Амундсеново лицо, я сам сейчас плохо помню. Нет, ничего не могу объяснить.

Жеманничаю. Знаю, что доказал. Все обстоит великолепно. Читатель, ты уже видишь нас. Одно лицо! Но не думай, я не стесняюсь возможных недостатков, мелких опечаток в книге природы. Присмотрись: у меня большие желтоватые зубы, у него они теснее, светлее, — но разве это важно? У меня на лбу надувается жила, как недочерченная «мысль», но когда я сплю, у меня лоб так же гладок, как у моего дупликата. А уши... изгибы его раковин очень мало изменены против моих: спрессованы тут, разглажены там. Разрез глаз одинаков, узкие глаза, подтянутые, с редкими ресницами, — но они у него цветом бледнее. Вот, кажется, и все отличительные приметы, которые в ту первую встречу

я мог высмотреть. В тот вечер, в ту ночь я памятью рассудка перебирал эти незначительные погрешности, а глазной памятью видел, вопреки всему, себя, себя, в жалком образе бродяги, с неподвижным лицом, с колючей тенью — как за ночь у покойников — на подбородке и щеках... Почему я замешкал в Праге? С делами было покончено, я свободен был вернуться в Берлин. Почему? Почему на другое утро я опять отправился на окраину и пошел по знакомому шоссе? Без труда я отыскал место, где он вчера валялся. Я там нашел золотой окурок, кусок чешской газеты и еще — то жалкое, безличное, что незатейливый пешеход оставляет под кустом. Несколько изумрудных мух дополняло картину. Куда он ушел, где провел ночь? Праздные, неразрешимые вопросы. Мне стало нехорошо на душе, смутно, тягостно, словно все, что произошло, было недобрым делом. Я вернулся в гостиницу за чемоданом и поспешил на вокзал. У выхода на дебаркадер стояли в два ряда низкие, удобные, по спинному хребту выгнутые скамейки, там сидели люди, кое-кто дремал. Мне подумалось: вот сейчас увижу его, спящим, с раскрытыми руками, с последней уцелевшей фиалкой в петлице. Нас бы заметили рядом, вскочили, окружили, потащили бы в участок. Почему? Зачем я это пишу? Привычный разбег пера? Или в самом деле есть уже преступление в том, чтобы как две капли крови походить друг на друга?

ГЛАВА II

Я слишком привык смотреть на себя со стороны, быть собственным натурщиком — вот почему мой слог лишен благодатного духа непосредственности. Никак не удается мне вернуться в свою оболочку и по-старому расположиться в самом себе, — такой там беспорядок: мебель переставлена, лампочка перегорела, прошлое мое разорвано на клочки.

А я был довольно счастлив. В Берлине у меня была небольшая, но симпатичная квартира, — три с половиной комнаты, солнечный балкон, горячая вода, центральное отопление, жена Лида и горничная Эльза. По соседству находился гараж, и там стоял приобретенный мной на выплату хорошенький, темно-синий автомобиль — двухместный.

Успешно, хоть и медлительно, рос на балконе круглый, натуженный, седовласый кактус. Папиросы я покупал всегда в одной и той же лавке, и там встречали меня счастливой улыбкой. Такая же улыбка встречала жену там, где покупались масло и яйца. По субботам мы ходили в кафе или кинематограф. Мы принадлежали к сливкам мещанства, — по крайней мере, так могло казаться. Однако по возвращении домой из конторы я не разувался, не ложился на кушетку с вечерней газетой. Разговор мой с женой не состоял исключительно из небольших цифр. Приключения моего шоколада притягивали мысль не всегда. Мне, признаюсь, была не чужда некоторая склонность к богеме. Что касается моего отношения к новой России, то прямо скажу: мнений моей жены я не разделял. Понятие «большевики» принимало в ее крашеных устах оттенок привычной и ходульной ненависти, — нет, пожалуй, «ненависть» слишком страстно сказано, — это было что-то домашнее, элементарное, бабье, — большевиков она не любила, как не любишь дождя (особенно по воскресеньям) или клопов (особенно в новой квартире), — большевизм был для нее чем-то природным и неприятным, как простуда. Обоснование этих взглядов подразумевалось само собой, толковать их было незачем. Большевик не верит в Бога, — ах, какой нехороший, — и вообще — хулиган и садист. Когда я, бывало, говорил, что коммунизм в конечном счете — великая, нужная вещь, что новая, молодая Россия создает замечательные ценности, пускай непонятные европейцу, пускай неприемлемые для обездоленного и обозленного эмигранта, что такого энтузиазма, аскетизма, бескорыстия, веры в свое грядущее единообразие еще никогда не знала история, — моя жена невозмутимо отвечала: «Если ты так говоришь, чтобы дразнить меня, то это не мило». Но я действительно так думаю, т. е. действительно думаю, что надобно что-то такое коренным образом изменить в нашей пестрой, неуловимой, запутанной жизни, что коммунизм действительно создаст прекрасный квадратный мир одинаковых здоровяков, широкоплечих микроцефалов и что в неприязни к нему есть нечто детское и предвзятое, вроде ужимки, к которой прибегает моя жена, напрягает ноздри и поднимает бровь (то есть дает детский и предвзятый образ роковой женщины) всякий раз, как смотрится — даже мельком — в зеркало.

Вот, не люблю этого слова. Страшная штука. С тех пор как я перестал бриться, оного не употребляю. Между тем упоминание о нем неприятно взволновало меня, прервало течение моего рассказа. (Представьте себе, что следует: история зеркал.) А есть и кривые зеркала, зеркала-чудовища: малейшая обнаженность шеи вдруг удлиняется, а снизу, навстречу ей, вытягивается другая, неизвестно откуда взявшаяся марципановая нагота, и обе сливаются; кривое зеркало раздевает человека или начинает уплотнять его, и получается человек-бык, человек-жаба, под давлением неисчислимых зеркальных атмосфер, — а не то тянешься, как тесто, и рвешься пополам, — уйдем, уйдем, — я не умею смеяться гомерическим смехом, — все это не так просто, как вы, сволочи, думаете. Да, я буду ругаться, никто не может мне запретить ругаться. И не иметь зеркала в комнате — тоже мое право. А в крайнем случае (чего я, действительно, боюсь?) отразился бы в нем незнакомый бородач, — здорово она у меня выросла, эта самая борода, — и за такой короткий срок, — я другой, совсем другой, — я не вижу себя. Из всех пор прет волос. По-видимому, внутри у меня были огромные запасы косматости. Скрываюсь в естественной чаще, выросшей из меня. Мне нечего бояться. Пустая суеверность. Вот я напишу опять это слово. Олакрез. Зеркало. И ничего не случилось. Зеркало, зеркало, зеркало. Сколько угодно, — не боюсь. Зеркало. Смотреться в зеркало. Я это говорил о жене. Трудно говорить, если меня все время перебивают.

Она, между прочим, тоже была суеверна. Сухо дерево. Торопливо, с решительным видом, плотно сжав губы, искала какой-нибудь голой, неполированной деревянности, чтобы легонько тронуть ее своими короткими пальцами, с подушечками вокруг землянично-ярких, но всегда, как у ребенка, не очень чистых ногтей, — поскорее тронуть, пока еще не остыло в воздухе упоминание счастья. Она верила в сны: выпавший зуб — смерть знакомого, зуб с кровью — смерть родственника. Жемчуга — это слезы. Очень дурно видеть себя в белом платье, сидящей во главе стола. Грязь — это богатство, кошка — измена, море — душевные волнения. Она любила подолгу и обстоятельно рассказывать свои сны. Увы, я пишу о ней в прошедшем времени. Подтянем пряжку рассказа на одну дырочку.

Она ненавидит Ллойд Джорджа, из-за него, дескать, погибла Россия, — и вообще: «Я бы этих англичан своими руками передушила». Немцам попадает за пломбированный поезд (большевичный консерв, импорт Ленина). Французам: «Мне, знаешь, рассказывал Ардалион, что они держались по-хамски во время эвакуации». Вместе с тем она находит тип англичанина (после моего) самым красивым на свете, немцев уважает за музыкальность и солидность и «обожает Париж», где как-то провела со мной несколько дней. Эти ее убеждения неподвижны, как статуи в нишах. Зато ее отношение к русскому народу проделало все-таки некоторую эволюцию. В двадцатом году она еще говорила: «Настоящий русский мужик — монархист». Теперь она говорит: «Настоящий русский мужик вымер».

Она малообразованна и малонаблюдательна. Мы выяснили как-то, что слово «мистик» она принимала всегда за уменьшительное, допуская, таким образом, существование каких-то настоящих, больших «мистов», в черных тогах, что ли, со звездными лицами. Единственное дерево, которое она отличает, это береза: наша, мол, русская. Она читает запоем, и все — дребедень, ничего не запоминая и выпуская длинные описания. Ходит по книги в русскую библиотеку, сидит там у стола и долго выбирает, ощупывает, перелистывает, заглядывает в книгу боком, как курица, высматривающая зерно, — откладывает, — берет другую, открывает, — все это делается одной рукой, не снимая со стола, — заметив, что открыла вверх ногами, поворачивает на девяносто градусов, — и тут же быстро тянется к той, которую библиотекарь готовится предложить другой даме, — все это длится больше часа, а чем определяется ее конечный выбор — не знаю, быть может заглавием. Однажды я ей привез с вокзала пустяковый криминальный роман в обложке, украшенной красным крестовиком на черной паутине, — принялась читать, адски интересно, просто нельзя удержаться, чтобы не заглянуть в конец, — но так как это все бы испортило, она, зажмурясь, разорвала книгу по корешку на две части и заключительную спрятала, а куда — забыла, и долго-долго искала по комнатам ею же сокрытого преступника, приговаривая тонким голосом: «Это так было интересно, так интересно, я умру, если не узнаю».

Она теперь узнала. Эти все объясняющие страницы были хорошо запрятаны, но они нашлись, все, кроме, быть

может, одной. Вообще, много чего произошло и теперь объяснилось. Случилось и то, чего она больше всего боялась. Из всех примет это была самая жуткая. Разбитое зеркало. Да, так оно и случилось, но не совсем обычным образом. Бедная покойница!

Ти-ри-бом. И еще раз — бом! Нет, я не сошел с ума, это я просто издаю маленькие радостные звуки. Так радуешься, надув кого-нибудь. А я только что здорово кого-то надул. Кого? Посмотрись, читатель, в зеркало, благо ты зеркала так любишь.

Но теперь мне вдруг стало грустно, — по-настоящему. Я вспомнил вдруг так живо этот кактус на балконе, эти синие наши комнаты, эту квартиру в новом доме, выдержанную в современном коробочно-обжулю-пространство-безфинтифлюшечном стиле, — и на фоне моей аккуратности и чистоты ералаш, который всюду сеяла Лида, сладкий, вульгарный запах ее духов. Но ее недостатки, ее святая тупость, институтские фурирчики в подушку, не сердили меня. Мы никогда не ссорились, я никогда не сделал ей ни одного замечания, — какую бы глупость она на людях ни сморозила, как бы дурно она ни оделась. Не разбиралась, бедная, в оттенках: ей казалось, что, если все одного цвета, цель достигнута, гармония полная, и поэтому она могла нацепить изумрудно-зеленую фетровую шляпу при платье оливковом или нильской воды. Любила, чтобы все «повторялось», — если кушак черный, то уже непременно какой-нибудь черный кантик или черный бантик на шее. В первые годы нашего брака она носила белье со швейцарским шитьем. Ей ничего не стоило к воздушному платью надеть плотные осенние башмаки, — нет, тайны гармонии ей были совершенно недоступны, и с этим связывалась необычайная ее безалаберность, неряшливость. Неряшливость сказывалась в самой ее походке: мгновенно стаптывала каблук на левой ноге. Страшно было заглянуть в ящик комода, — там кишели, свившись в клубок, тряпочки, ленточки, куски материи, ее паспорт, обрезок молью подъеденного меха, еще какие-то анахронизмы, например дамские гетры — одним словом, Бог знает что. Частенько и в царство моих аккуратно сложенных вещей захаживал какой-нибудь грязный кружевной платочек или одинокий рваный чулок: чулки у нее рвались немедленно — словно сгорали на ее бойких икрах. В хозяйстве она не понимала

ни аза, гостей принимала ужасно, к чаю почему-то подавалась в вазочке наломанная на кусочки плитка молочного шоколада, как в бедной провинциальной семье. Я иногда спрашивал себя, за что, собственно, ее люблю, — может быть, за теплый карий раек пушистых глаз, за естественную боковую волну в кое-как причесанных каштановых волосах, за круглые, подвижные плечи, а всего вернее — за ее любовь ко мне.

Я был для нее идеалом мужчины: умница, смельчак. Наряднее меня не одевался никто, — помню, когда я сшил себе новый смокинг с огромными панталонами, она тихо всплеснула руками, в тихом изнеможении опустилась на стул и тихо произнесла: «Ах, Герман...» — это было восхищение, граничившее с какой-то райской грустью.

Пользуясь ее доверчивостью, с безотчетным чувством, быть может, что, украшая образ любимого ею человека, иду ей навстречу, творю доброе, полезное для ее счастья дело, я за десять лет нашей совместной жизни наврал о себе, о своем прошлом, о своих приключениях так много, что мне самому все помнить и держать наготове для возможных ссылок — было бы непосильно. Но она забывала все, — ее зонтик перегостил у всех наших знакомых, история, прочитанная в утренней газете, сообщалась мне вечером приблизительно так: «Ах, где я читала, — и что это было... не могу поймать за хвостик, — подскажи, ради Бога»; дать ей опустить письмо равнялось тому, чтобы бросить его в реку, положась на расторопность течения и рыболовный досуг получателя. Она путала даты, имена, лица. Понавыдумав чего-нибудь, я никогда к этому не возвращался, она скоро забывала, рассказ погружался на дно ее сознания, но на поверхности оставалась вечно обновляемая зыбь нетребовательного изумления. Ее любовь ко мне почти выступала за ту черту, которая определяла все ее другие чувства. В иные ночи — лунные, летние — самые оседлые ее мысли превращались в робких кочевников. Это длилось недолго, заходили они недалеко; мир замыкался опять, — простейший мир; самое сложное в нем было разыскивание телефонного номера, записанного на одной из страниц библиотечной книги, одолженной как раз тем знакомым, которым следовало позвонить.

Любила она меня без оговорок и без оглядок, с какой-то естественной преданностью. Не знаю, почему я опять

впал в прошедшее время, — но все равно, — так удобнее писать. Да, она любила меня, верно любила. Ей нравилось рассматривать так и сяк мое лицо: большим пальцем и указательным, как циркулем, она мерила мои черты, — чуть колючее, с длинной выемкой посредине, надгубье, просторный лоб, с припухлостями над бровями, проводила ногтем по бороздкам с обеих сторон сжатого, нечувствительного к щекотке рта. Крупное лицо, непростое, вылепленное на заказ, с блеском на мослаках и слегка впалыми щеками, которые на второй день покрывались как раз таким же рыжеватым на свет волосом, как у него. А сходство глаз (правда, неполное сходство) — это уже роскошь, — да и все равно они были у него прикрыты, когда он лежал передо мной, — и хотя я никогда не видал воочию, только ощупывал, свои сомкнутые веки, я знаю, что они не отличались от евойных, — удобное слово, пора ему в калашный ряд. Нет, я ничуть не волнуюсь, я вполне владею собой. Если мое лицо то и дело выскакивает, точно из-за плетня, раздражая, пожалуй, деликатного читателя, то это только на благо читателю, — пускай ко мне привыкнет; я же буду тихо радоваться, что он не знает, мое ли это лицо или Феликса, — выгляну и спрячусь, — а это был не я. Только таким способом и можно читателя проучить, доказать ему на опыте, что это не выдуманное сходство, что оно может, может существовать, что оно существует, да, да, да, — как бы искусственно и нелепо это ни казалось.

Когда я вернулся из Праги в Берлин, Лида на кухне взбивала гоголь-моголь... «Горлышко болит», — сказала она озабоченно; поставила стакан на плиту, отерла кистью желтые губы и поцеловала мою руку. Розовое платье, розовые чулки, рваные шлепанцы... Кухню наполняло вечернее солнце. Она принялась опять вертеть ложкой в густой желтой массе, похрустывал сахарный песок, было еще рыхло, ложка еще не шла гладко, с тем бархатным оканием, которого следует добиться. На плите лежала открытая потрепанная книга; неизвестным почерком, тупым карандашом — заметка на поле: «Увы, это верно» — и три восклицательных знака со съехавшими набок точками. Я прочел фразу, так понравившуюся одному из предшественников моей жены: «Любовь к ближнему, — проговорил сэр Реджинальд, — не котируется на бирже современных отношений».

«Ну как, — хорошо съездил?» — спросила жена, сильно вертя рукояткой и зажав ящик между колен. Кофейные зерна потрескивали, крепко благоухали, мельница еще работала с натугой и грохотком, но вдруг полегчало, сопротивления нет, пустота...

Я что-то спутал. Это как во сне. Она ведь делала гоголь-моголь, а не кофе.

«Так себе съездил. А у тебя что слышно?»

Почему я ей не сказал о невероятном моем приключении? Я, рассказывавший ей уйму чудесных небылиц, точно не смел оскверненными не раз устами поведать ей чудесную правду. А может быть, удерживало меня другое: писатель не читает во всеуслышание неоконченного черновика, дикарь не произносит слов, обозначающих вещи таинственные, сомнительно к нему настроенные, сама Лида не любила преждевременного именования едва светающих событий.

Несколько дней я оставался под гнетом той встречи. Меня странно беспокоила мысль, что сейчас мой двойник шагает по неизвестным мне дорогам, дурно питается, холодает, мокнет, — может быть, уже простужен. Мне ужасно хотелось, чтобы он нашел работу: приятнее было бы знать, что он в сохранности, в тепле или хотя бы в надежных стенах тюрьмы. Вместе с тем я вовсе не собирался принять какие-либо меры для улучшения его обстоятельств, содержать его мне ничуть не хотелось. Да и найти для него работу в Берлине, и так полном двоpомыг, было все равно невозможно, — и, вообще говоря, мне почему-то казалось предпочтительнее, чтобы он находился в некотором отдалении от меня, точно близкое с ним соседство нарушило бы чары нашего сходства. Время от времени, дабы он не погиб, не опустился окончательно среди своих дальних скитаний, оставался живым, верным носителем моего лица в мире, я бы ему, пожалуй, посылал небольшую сумму... Праздное благоволение, — ибо у него не было постоянного адреса; так что повременим, дождемся того осеннего дня, когда он зайдет на почтамт в глухом саксонском селении.

Прошел май, и воспоминание о Феликсе затянулось. Отмечаю сам для себя ровный ритм этой фразы: банальную повествовательность первых двух слов и затем — длинный вздох идиотического удовлетворения. Любителям сенсаций я, однако, укажу на то, что затягивается, собственно гово-

ря, не воспоминание, а рана. Но это — так, между прочим, безотносительно. Еще отмечу, что мне теперь как-то легче пишется, рассказ мой тронулся: я уже попал на тот автобус, о котором упоминалось в начале, и еду не стоя, а сидя, со всеми удобствами, у окна. Так по утрам я ездил в контору, покамест не приобрел автомобиля.

Ему в то лето пришлось малость пошевелиться, — да, я увлекся этой блестящей синей игрушкой. Мы с женой часто закатывались на весь день за город. Обыкновенно забирали с собой Ардалиона, добродушного и бездарного художника, двоюродного брата жены. По моим соображениям, он был беден как воробей; если кто-либо и заказывал ему свой портрет, то из милости, а не то — по слабости воли (Ардалион бывал невыносимо настойчив). У меня, и, вероятно, у Лиды, он брал взаймы по полтиннику, по марке, — и уж конечно норовил у нас пообедать. За комнату он не платил месяцами или платил мертвой натурой, — какими-нибудь квадратными яблоками, рассыпанными по косой скатерти, или малиновой сиренью в набокой вазе с бликом. Его хозяйка обрамляла все это на свой счет; ее столовая походила на картинную выставку. Питался он в русском кабачке, который когда-то «раздраконил»: был он москвич и любил слова этакие густые, с искрой, с пошлейшей московской прищуринкой. И вот, несмотря на свою нищету, он каким-то образом ухитрился приобрести небольшой участок в трех часах езды от Берлина, — вернее, внес первые сто марок, будущие взносы его не беспокоили, ни гроша больше он не собирался выложить, считая, что эта полоса земли оплодотворена первым его платежом и уже принадлежит ему на веки вечные. Полоса была длиной в две с половиной теннисных площадки и упиралась в маленькое миловидное озеро. На ней росли две неразлучные березы (или четыре, если считать их отражения), несколько кустов крушины да поодаль пяток сосен, а еще дальше в тыл — немного вереска: дань окрестного леса. Участок не был огорожен, — на это не хватило средств; Ардалион, по-моему, ждал, чтобы огородились оба смежных участка, автоматически узаконив пределы его владений и дав ему даровой частокол; но эти соседние полосы еще не были проданы, — вообще продажа шла туго в данном месте: сыро, комары, очень далеко от деревни, а дороги к шоссе еще нет, и когда ее проложат, неизвестно.

Первый раз мы побывали там (поддавшись восторженным уговорам Ардалиона) в середине июня. Помню, воскресным утром мы заехали за ним, я стал трубить, глядя на его окно. Окно спало крепко. Лида сделала рупор из рук и крикнула: «Ардалио-ша!» Яростно метнулась штора в одном из нижних окон, над вывеской пивной, вид которой почему-то наводил меня на мысль, что Ардалион там задолжал немало, — метнулась, говорю я, штора, и сердито выглянул какой-то старый бисмарк в халате.

Оставив Лиду в отдрожавшем автомобиле, я пошел поднимать Ардалиона. Он спал. Он спал в купальном костюме. Выкатившись из постели, он молча и быстро надел тапочки, натянул на купальное трико фланелевые штаны и синюю рубашку, захватил портфель с подозрительным вздутием, и мы спустились. Торжественно-сонное выражение мало красило его толстоносое лицо. Он был посажен сзади, на тещино место.

Я дороги не знал. Он говорил, что знает ее как «Отче Наш». Едва выехав из Берлина, мы стали плутать. В дальнейшем пришлось справляться: останавливались, спрашивали и потом поворачивали посреди неведомой деревни; маневрируя, наезжали задними колесами на кур; я не без раздражения сильно раскручивал руль, выпрямляя его, и, дернувшись, мы устремлялись дальше.

«Узнаю мои владения! — воскликнул Ардалион, когда около полудня мы проехали Кенигсдорф и попали на знакомое ему шоссе. — Я вам укажу, где свернуть. Привет, привет, столетние деревья!»

«Ардалиончик, не валяй дурака», — мирно сказала Лида.

По сторонам шоссе тянулись бугристые пустыни, вереск и песок, кое-где мелкие сосенки. Потом все это немножко пригладилось — поле как поле, и за ним темная опушка леса. Ардалион захлопотал снова. На краю шоссе, справа, вырос ярко-желтый столб, и в этом месте от шоссе исходила под прямым углом едва заметная дорога, призрак старой дороги, почти сразу выдыхающейся в хвощах и диком овсе.

«Сворачивайте», — важно сказал Ардалион и, невольно крякнув, навалился на меня, ибо я затормозил.

Ты улыбнулся, читатель. В самом деле — почему бы и не улыбнуться: приятный летний день, мирный пейзаж, добродушный дурак-художник, придорожный столб. О, этот

желтый столб... Поставленный дельцом, продающим земельные участки, торчащий в ярком одиночестве, блудный брат других охряных столбов, которые в семи верстах отсюда, поближе к деревне Вальдау, стояли на страже более дорогих и соблазнительных десятин, — он, этот одинокий столб, превратился для меня впоследствии в навязчивую идею. Отчетливо желтый среди размазанной природы, он вырастал в моих снах. Мои видения по нем ориентировались. Все мысли мои возвращались к нему. Он сиял верным огнем во мраке моих предположений. Мне теперь кажется, что, увидев его впервые, я как бы его узнал: он мне был знаком по будущему. Быть может, я ошибаюсь, быть может, я взглянул на него равнодушно и только думал о том, чтобы, сворачивая, не задеть его крылом автомобиля, — но все равно: теперь, вспоминая его, не могу отделить это первое знакомство с ним от его созревшего образа.

Дорога, как я уже сказал, затерялась, стерлась; автомобиль недовольно заскрипел, прыгая на кочках; я застопорил и пожал плечами.

Лида сказала: «Знаешь, Ардалиоша, мы лучше поедем прямо по шоссе в Вальдау, — ты говорил, там большое озеро, кафе».

«Ни в коем случае, — взволнованно возразил Ардалион. — Во-первых, там кафе только проектируется, а во-вторых, у меня тоже есть озеро. Будьте любезны, дорогой, — обратился он ко мне, — двиньте дальше вашу машину, не пожалеете».

Впереди, шагах в трехстах, начинался сосновый бор. Я посмотрел туда и, клянусь, почувствовал, что все это уже знаю! Да, теперь я вспомнил ясно: конечно, было у меня такое чувство, я его не выдумал задним числом, и этот желтый столб... он многозначительно на меня посмотрел, когда я оглянулся, — и как будто сказал мне: я тут, я к твоим услугам, — и стволы сосен впереди, словно обтянутые красноватой змеиной кожей, и мохнатая зелень их хвои, которую против шерсти гладил ветер, и голая береза на опушке... почему голая? ведь это еще не зима, — зима была еще далеко, — стоял мягкий, почти безоблачный день, тянули «зе-зе-зе», срываясь, заики-кузнечики... да, все это было полно значения, все это было недаром...

«Куда, собственно, прикажете двинуться? Я дороги не вижу».

«Нечего миндальничать, — сказал Ардалион. — Жарьте, дорогуша. Ну да, прямо. Вон туда, к тому просвету. Вполне можно пробиться. А там уж лесом недалеко».

«Может быть, выйдем и пойдем пешком», — предложила Лида.

«Ты права, — сказал я, — кому придет в голову украсть новенький автомобиль».

«Да, это опасно, — тотчас согласилась она, — тогда, может быть, вы вдвоем, — (Ардалион застонал), — он тебе покажет свое имение, а я вас здесь подожду, а потом поедем в Вальдау, выкупаемся, посидим в кафе».

«Это свинство, барыня, — с чувством сказал Ардалион. — Мне же хочется принять вас у себя, на своей земле. Для вас заготовлены кое-какие сюрпризы. Меня обижают».

Я пустил мотор и одновременно сказал: «Но если сломаем машину, отвечаете вы».

Я подскакивал, рядом подскакивала Лида, сзади подскакивал Ардалион и говорил: «Мы сейчас, — (гоп), — въедем в лес, — (гоп), — и там, — (гоп-гоп), — по вереску пойдет легче», — (гоп).

Въехали. Сначала застряли в зыбучем песке, мотор ревел, колеса лягались, наконец — выскочили; затем ветки пошли хлестать по крыльям, по кузову, царапая лак. Наметилось, впрочем, что-то вроде тропы, которая то обрастала сухо хрустящим вереском, то выпрастывалась опять, изгибаясь между тесных стволов.

«Правее, — сказал Ардалион, — капельку правее, сейчас приедем. Чувствуете, какой расчудесный сосновый дух — роскошь! Я предсказывал, что будет роскошно. Вот теперь можно остановиться. Я пойду на разведку».

Он вылез и, вдохновенно вертя толстым задом, зашагал в чащу.

«Погоди, я с тобой!» — крикнула Лида, но он уже шел во весь парус, и вот исчез за деревьями.

Мотор поцыкал и смолк.

«Какая глушь, — сказала Лида, — я бы, знаешь, боялась остаться здесь одна. Тут могут ограбить, убить, все что угодно».

Действительно, место было глухое. Сдержанно шумели сосны, снег лежал на земле, в нем чернели проплешины... Ерунда, — откуда в июне снег? Его бы следовало вычеркнуть. Нет, — грешно. Не я пишу, — пишет моя нетерпели-

вая память. Понимайте как хотите — я ни при чем. И на желтом столбе была мурмолка снега. Так просвечивает будущее. Но довольно, да будет опять в фокусе летний день: пятна солнца, тени ветвей на синем автомобиле, сосновая шишка на подножке, где некогда будет стоять предмет весьма неожиданный: кисточка для бритья.

«На какой день мы с ними условились?» — спросила жена.

Я ответил: «На среду вечером».

Молчание.

«Я только надеюсь, что они ее не приведут опять», — сказала жена.

«Ну, приведут... Не все ли тебе равно?»

Молчание. Маленькие голубые бабочки над тимьяном.

«А ты уверен, Герман, что в среду?»

(Стоит ли раскрывать скобки? Мы говорили о пустяках, — о каких-то знакомых, имелась в виду собачка, маленькая и злая, которою в гостях все занимались, Лида любила только «больших породистых псов», на слове «породистых» у нее раздувались ноздри.)

«Что же это он не возвращается? Наверное, заблудился».

Я вышел из автомобиля, походил кругом. Исцарапан.

Лида от нечего делать ощупала, а потом приоткрыла Ардалионов портфель. Я отошел в сторонку, — не помню, не помню, о чем думал; посмотрел на хворост под ногами, вернулся. Лида сидела на подножке автомобиля и посвистывала. Мы оба закурили. Молчание. Она выпускала дым боком, кривя рот.

Издалека донесся сочный крик Ардалиона. Минуту спустя он появился на прогалине и замахал, приглашая нас следовать. Медленно поехали, объезжая стволы. Ардалион шел впереди, деловито и уверенно. Вскоре блеснуло озеро.

Его участок я уже описал. Он не мог мне указать точно его границы. Ходил большими твердыми шагами, отмеривая метры, оглядывался, припав на согнутую ногу, качал головой и шел отыскивать какой-то пень, служивший ему приметой. Березы гляделись в воду, плавал какой-то пух, лоснились камыши. Ардалионовым сюрпризом оказалась бутылка водки, которую, впрочем, Лида уже успела спрятать. Смеялась, подпрыгивала, в тесном палевом трико с двуцветным, красным и синим, ободком, — прямо крокетный шар. Когда, вдоволь накатавшись верхом на медленно

плававшем Ардалионе («Не щиплись, матушка, а то свалю»), покричав и пофыркав, она выходила из воды, ноги у нее делались волосатыми, но потом высыхали и только слегка золотились. Ардалион крестился, прежде чем нырнуть, вдоль голени был у него здоровенный шрам — след гражданской войны, из проймы его ужасного вытянутого трико то и дело выскакивал нательный крест мужицкого образца.

Лида, старательно намазавшись кремом, легла навзничь, предоставляя себя в распоряжение солнца. Мы с Ардалионом расположились поблизости, под лучшей его сосной. Он вынул из печально похудевшего портфеля тетрадь ватманской бумаги, карандаши, и через минуту я заметил, что он рисует меня.

«У вас трудное лицо», — сказал он, щурясь.

«Ах, покажи», — крикнула Лида, не шевельнув ни одним членом.

«Повыше голову, — сказал Ардалион, — вот так, достаточно».

«Ах, покажи», — снова крикнула она погодя.

«Ты мне прежде покажи, куда ты запендрячила мою водку», — недовольно проговорил Ардалион.

«Дудки, — ответила Лида. — Ты при мне пить не будешь».

«Вот чудачка. Как вы думаете, она ее правда закопала? Я, собственно, хотел с вами, сэр, выпить на брудершафт».

«Ты у меня отучишься пить», — крикнула Лида, не поднимая глянцевитых век.

«Стерва», — сказал Ардалион.

Я спросил: «Почему вы говорите, что у меня трудное лицо? В чем его трудность?»

«Не знаю, — карандаш не берет. Надобно попробовать углем или маслом».

Он стер что-то резинкой, сбил пыль суставами пальцев, накренил голову.

«У меня, по-моему, очень обыкновенное лицо. Может быть, вы попробуете нарисовать меня в профиль?»

«Да, в профиль!» — крикнула Лида (все так же распятая на земле).

«Нет, обыкновенным его назвать нельзя. Капельку выше. Напротив, в нем есть что-то странное. У меня все ваши линии уходят из-под карандаша. Раз, — и ушла».

«Такие лица, значит, встречаются редко, — вы это хотите сказать?»

«Всякое лицо — уникум», — произнес Ардалион.

«Ох, сгораю», — простонала Лида, но не двинулась.

«Но, позвольте, при чем тут уникум? Ведь, во-первых, бывают определенные типы лиц, — зоологические, например. Есть люди с обезьяньими чертами, есть крысиный тип, свиной... А затем — типы знаменитых людей, — скажем, Наполеоны среди мужчин, королевы Виктории среди женщин. Мне говорили, что я смахиваю на Амундсена. Мне приходилось не раз видеть носы а-ля Лев Толстой. Ну, еще бывает тип художественный — иконописный лик, мадоннообразный. Наконец, бытовые, профессиональные типы...»

«Вы еще скажите, что все японцы между собою схожи. Вы забываете, синьор, что художник видит именно разницу. Сходство видит профан. Вот Лида вскрикивает в кинематографе: "Мотри, как похожа на нашу горничную Катю!"»

«Ардалиончик, не остри», — сказала Лида.

«Но согласитесь, — продолжал я, — что иногда важно именно сходство».

«Когда прикупаешь подсвечник», — сказал Ардалион.

Нет нужды записывать дальше этот разговор. Мне страстно хотелось, чтобы дурак заговорил о двойниках, — но я этого не добился. Через некоторое время он спрятал тетрадь, Лида умоляла показать ей, он требовал в награду возвращения водки, она отказалась, он не показал. Воспоминание об этом дне кончается тем, что растворяется в солнечном тумане, — или переплетается с воспоминанием о следующих наших поездках туда. А ездили мы не раз. Я тяжело и мучительно привязался к этому уединенному лесу с горящим в нем озером. Ардалион непременно хотел познакомить меня с директором предприятия и заставить меня купить соседний участок, но я отказывался, да если и было бы желание купить, я бы все равно не решился, — мои дела пошли тем летом неважно, все мне как-то опостылело, скверный мой шоколад меня разорял. Но честное слово, господа, честное слово, — не корысть, не только корысть, не только желание дела свои поправить... Впрочем, незачем забегать вперед.

ГЛАВА III

Как мы начнем эту главу? Предлагаю на выбор несколько вариантов. Вариант первый, — он встречается часто в романах, ведущихся от лица настоящего или подставного автора:

День нынче солнечный, но холодный, все так же бушует ветер, ходуном ходит вечнозеленая листва за окнами, почтальон идет по шоссе задом наперед, придерживая фуражку. Мне тягостно...

Отличительные черты этого варианта довольно очевидны: ведь ясно, что пока человек пишет, он находится где-то в определенном месте, — он не просто некий дух, витающий над страницей. Пока он вспоминает и пишет, что-то происходит вокруг него, — вот как сейчас этот ветер, эта пыль на шоссе, которую вижу в окно (почтальон повернулся и, согнувшись, продолжая бороться, пошел вперед). Вариант приятный, освежительный, передышка, переход к личному, это придает рассказу жизненность, особенно когда первое лицо такое же выдуманное, как и все остальные. То-то и оно: этим приемом злоупотребляют, литературные выдумщики измочалили его, он не подходит мне, ибо я стал правдив. Обратимся теперь ко второму варианту. Он состоит в том, чтобы сразу ввести нового героя, — так и начать главу:

Орловиус был недоволен.

Когда он бывал недоволен, или озабочен, или просто не знал, что ответить, он тянул себя за длинную мочку левого уха, с седым пушком по краю, — а потом за длинную мочку правого, — чтоб не завидовало, — и смотрел поверх своих простых честных очков на собеседника, и медлил с ответом, и наконец отвечал: «Тяжело сказать, но мне кажется...»

«Тяжело» значило у него «трудно». Буква «л» была у него как лопата.

Опять же и этот второй вариант начала главы — прием популярный и доброкачественный, — но он как-то слишком щеголеват, да и не к лицу суровому, застенчивому Орловиусу бойко растворять ворота главы. Предлагаю вашему вниманию третий вариант:

Между тем... (пригласительный жест многоточия).

В старину этот прием был баловнем биоскопа, сиречь иллюзиона, сиречь кинематографа. С героем происходит

(в первой картине) то-то и то-то, а между тем... Многоточие, — и действие переносится в деревню. Между тем... Новый абзац:

...по раскаленной дороге, стараясь держаться в тени яблонь, когда попадались по краю их кривые ярко беленные стволы...

Нет, глупости — он странствовал не всегда. Фермеру бывал нужен лишний батрак, лишняя спина требовалась на мельнице. Я плохо представляю себе его жизнь, — я никогда не бродяжничал. Больше всего мне хотелось вообразить, какое осталось у него впечатление от одного майского утра на чахлой траве за Прагой. Он проснулся. Рядом с ним сидел и глядел на него прекрасно одетый господин, который, пожалуй, даст папиросу. Господин оказался немцем. Стал приставать, — может быть, не совсем нормален, — совал зеркальце, ругался. Выяснилось, что речь идет о сходстве. Сходство так сходство. Я ни при чем. Может быть, он даст мне легкую работу. Вот адрес. Как знать, может быть, что-нибудь и выйдет.

«Послушай-ка ты, — (разговор на постоялом дворе теплой и темной ночью), — какого я чудака встретил однажды. Выходило, что мы двойники».

Смех в темноте: «Это у тебя двоилось в глазах, пьянчуга».

Тут вкрался еще один прием: подражание переводным романам из быта веселых бродяг, добрых парней. У меня спутались все приемы.

А знаю я все, что касается литературы. Всегда была у меня эта страстишка. В детстве я сочинял стихи и длинные истории. Я никогда не воровал персиков из теплиц лужского помещика, у которого мой отец служил в управляющих, никогда не хоронил живьем кошек, никогда не выворачивал рук более слабым сверстникам, но сочинял тайно стихи и длинные истории, ужасно и непоправимо, и совершенно зря, порочившие честь знакомых, — но этих историй я не записывал и никому о них не говорил. Дня не проходило, чтобы я не налгал. Лгал я с упоением, самозабвенно, наслаждаясь той новой жизненной гармонией, которую создавал. За такую соловьиную ложь я получал от матушки в левое ухо, а от отца бычьей жилой по заду. Это нимало не печалило меня, а скорее служило толчком для дальнейших вымыслов. Оглохший на одно ухо, с огненными ягодицами, я лежал ничком в сочной траве под

фруктовыми деревьями и посвистывал, беспечно мечтая. В школе мне ставили за русское сочинение неизменный кол, оттого что я по-своему пересказывал действия наших классических героев: так, в моей передаче «Выстрела» Сильвио наповал без лишних слов убивал любителя черешен и с ним — фабулу, которую я, впрочем, знал отлично. У меня завелся револьвер, я мелом рисовал на осиновых стволах в лесу кричащие белые рожи и деловито расстреливал их. Мне нравилось — и до сих пор нравится — ставить слова в глупое положение, сочетать их шутовской свадьбой каламбура, выворачивать наизнанку, заставать их врасплох. Что делает советский ветер в слове ветеринар? Откуда томат в автомате? Как из зубра сделать арбуз? В течение нескольких лет меня преследовал курьезнейший и неприятнейший сон: будто нахожусь в длинном коридоре, в глубине — дверь, — и страстно хочу, не смею, но наконец решаюсь к ней подойти и ее отворить; отворив ее, я со стоном просыпался, ибо за дверью оказывалось нечто невообразимо страшное, а именно: совершенно пустая, голая, заново выбеленная комната, — больше ничего, но это было так ужасно, что невозможно было выдержать. С седьмого класса я стал довольно аккуратно посещать веселый дом, там пил пиво. Во время войны я прозябал в рыбачьем поселке неподалеку от Астрахани, и, кабы не книги, не знаю, перенес ли бы эти невзрачные годы. С Лидой я познакомился в Москве (куда пробрался чудом сквозь мерзкую гражданскую суету), на квартире случайного приятеля-латыша, у которого жил, — это был молчаливый белолицый человек, со стоявшими дыбом короткими жесткими волосами на кубическом черепе и рыбьим взглядом холодных глаз, — по специальности латинист, а впоследствии довольно видный советский чиновник. Там обитало несколько людей — все случайных, друг с другом едва знакомых, — и между прочим, родной брат Ардалиона, а Лидин двоюродный брат, Иннокентий, уже после нашего отъезда за что-то расстрелянный. Собственно говоря, все это подходит скорее для начала первой главы, а не третьей...

Хохоча, отвечая находчиво
(отлучиться ты очень не прочь!),
от лучей, от отчаянья отчего,
отчего ты отчалила в ночь?

Мое, мое, — опыты юности, любовь к бессмысленным звукам... Но вот что меня занимает: были ли у меня в то время какие-либо преступные, в кавычках, задатки? Таила ли моя, с виду серая, с виду незамысловатая, молодость возможность гениального беззакония? Или, может быть, я все шел по тому обыкновенному коридору, который мне снился, вскрикивал от ужаса, найдя комнату пустой, — но однажды, в незабвенный день, комната оказалась не пуста, — там встал и пошел мне навстречу мой двойник. Тогда оправдалось все: и стремление мое к этой двери, и странные игры, и бесцельная до тех пор склонность к ненасытной, кропотливой лжи. Герман нашел себя. Это было, как я имел честь вам сообщить, девятого мая, а уже в июле я посетил Орловиуса.

Он одобрил принятое мной и тут же осуществленное решение, которое к тому же он сам давно советовал мне принять. Неделю спустя я пригласил его к нам обедать. Заложил угол салфетки сбоку за воротник. Принимаясь за суп, выразил неудовольствие по поводу политических событий. Лида ветрено спросила его, будет ли война и с кем. Он посмотрел на нее поверх очков, медля ответом (таким приблизительно он просквозил в начале этой главы), и наконец ответил:

«Тяжело сказать, но мне кажется, что это исключено. Когда я молод был, я пришел на идею предположить только самое лучшее, — («лучшее» у него вышло чрезвычайно грустно и жирно). — Я эту идею держу с тех пор. Главная вещь у меня — это оптимизмус».

«Что как раз необходимо при вашей профессии», — сказал я с улыбкой.

Он исподлобья посмотрел на меня и серьезно ответил:

«Но пессимизмус дает нам клиентов».

Конец обеда был неожиданно увенчан чаем в стаканах. Лиде это почему-то казалось очень ловким и приятным. Орловиус, впрочем, был доволен. Степенно и мрачно рассказывая о своей старухе матери, жившей в Юрьеве, он приподнимал стакан и мешал оставшийся в нем чай немецким способом, т. е. не ложкой, а круговым взбалтывающим движением кисти, дабы не пропал осевший на дно сахар.

Договор с его агентством был с моей стороны действием, я бы сказал, полусонным и странно незначительным.

Я стал о ту пору угрюм, неразговорчив, туманен. Моя ненаблюдательная жена и та заметила некоторую во мне перемену. «Ты устал, Герман. Мы в августе поедем к морю», — сказала она как-то среди ночи, — нам не спалось, было невыносимо душно, даром что окно было открыто настежь.

«Мне вообще надоела наша городская жизнь», — сказал я. Она в темноте не могла видеть мое лицо. Через минуту:

«Вот тетя Лиза, та, что жила в Иксе, — есть такой город — Икс? Правда?»

«Есть».

«...живет теперь, — продолжала она, — не в Иксе, а около Ниццы, вышла замуж за француза старика, и у них ферма».

Зевнула.

«Мой шоколад, матушка, к чорту идет, — сказал я и зевнул тоже».

«Все будет хорошо, — пробормотала Лида. — Тебе только нужно отдохнуть».

«Переменить жизнь, а не отдохнуть», — сказал я с притворным вздохом.

«Переменить жизнь», — сказала Лида.

Я спросил: «А ты бы хотела, чтобы мы жили где-нибудь в тишине, на солнце? чтобы никаких дел у меня не было? честными рантье?»

«Мне с тобой всюду хорошо, Герман. Прихватили бы Ардалиона, купили бы большого пса...»

Помолчали.

«К сожалению, мы никуда не поедем. С деньгами — швах. Мне, вероятно, придется шоколад ликвидировать».

Прошел запоздалый пешеход. Стук. Опять стук. Он, должно быть, ударял тростью по столбам фонарей.

«Отгадай: мое первое значит “жарко” по-французски. На мое второе сажают турка, мое третье — место, куда мы рано или поздно попадем. А целое — то, что меня разоряет».

С шелестом прокатил автомобиль.

«Ну что — не знаешь?»

Но моя дура уже спала. Я закрыл глаза, лег на бок, хотел заснуть тоже, но не удалось. Из темноты навстречу мне, выставив челюсть и глядя мне прямо в глаза, шел Феликс. Дойдя до меня, он растворялся, и передо мной была длинная пустая дорога: издалека появлялась фигура, шел человек, стуча тростью по стволам придорожных деревьев, при-

ближался, я всматривался, и, выставив челюсть и глядя мне прямо в глаза, — — он опять растворялся, дойдя до меня, или, вернее, войдя в меня, пройдя сквозь меня, как сквозь тень, и опять выжидательно тянулась дорога, и появлялась вдали фигура, и опять это был он. Я поворачивался на другой бок, некоторое время все было темно и спокойно, — ровная чернота; но постепенно намечалась дорога — в другую сторону, — и вот возникал перед самым моим лицом, как будто из меня выйдя, затылок человека, с заплечным мешком грушей, он медленно уменьшался, он уходил, уходил, сейчас уйдет совсем, — но вдруг, обернувшись, он останавливался и возвращался, и лицо его становилось все яснее, и это было мое лицо. Я ложился навзничь, и, как в темном стекле, протягивалось надо мной лаковое черно-синее небо, полоса неба между траурными купами деревьев, медленно шедшими вспять справа и слева, — а когда я ложился ничком, то видел под собой убитые камни дороги, движущейся как конвейер, а потом выбоину, лужу, и в луже мое, исковерканное ветровой рябью, дрожащее, тусклое лицо, — и я вдруг замечал, что глаз на нем нет.

«Глаза я всегда оставляю напоследок», — самодовольно сказал Ардалион. Держа перед собой и слегка отстраняя начатый им портрет, он так и этак наклонял голову. Приходил он часто и затеял написать меня углем. Мы обычно располагались на балконе. Досуга у меня было теперь вдоволь, — я устроил себе нечто вроде небольшого отпуска. Лида сидела тут же, в плетеном кресле, и читала книгу; полураздавленный окурок — она никогда не добивала окурков — с живучим упорством пускал из пепельницы вверх тонкую, прямую струю дыма; маленькое воздушное замешательство, и опять — прямо и тонко.

«Мало похоже», — сказала Лида, не отрываясь, впрочем, от чтения.

«Будет похоже, — возразил Ардалион. — Вот сейчас подправим эту ноздрю, и будет похоже. Сегодня свет какой-то неинтересный».

«Что неинтересно?» — спросила Лида, подняв глаза и держа палец на прерванной строке.

И еще один кусок из жизни того лета хочу предложить твоему вниманию, читатель. Прощения прошу за несвязность и пестроту рассказа, но, повторяю, не я пишу, а моя память, и у нее свой нрав, свои законы. Итак, я опять

в лесу около Ардалионова озера, но приехал я на этот раз один, и не в автомобиле, а сперва поездом до Кенигсдорфа, потом автобусом до желтого столба. На карте, как-то забытой Ардалионом у нас на балконе, очень ясны все приметы местности. Предположим, что я держу перед собой эту карту; тогда Берлин, не уместившийся на ней, находится примерно у сгиба левой моей руки. На самой карте, в юго-западном углу, продолжается черно-белым живчиком железнодорожный путь, который в подразумеваемом виде идет по левому моему рукаву из Берлина. Живчик упирается в этом юго-западном углу карты в городок Кенигсдорф, а затем черно-белая ленточка поворачивает, излучисто идет на восток, и там — новый кружок: Айхенберг. Но покамест нам незачем ехать туда, вылезаем в Кенигсдорфе. Разлучившись с железной дорогой, повернувшей на восток, тянется прямо на север, к деревне Вальдау, шоссейная дорога. Раза в три в день отходит из Кенигсдорфа автобус и идет в Вальдау (семнадцать километров), где, кстати сказать, находится центр земельного предприятия: пестрый павильончик, веселый флаг, много желтых указательных столбов, — один, например, со стрелкой «К пляжу», — но еще никакого пляжа нет, а только болотце вдоль большого озера; другой с надписью «К казино», но и его нет, а есть что-то вроде скинии и зачаточный буфет; третий, наконец, приглашающий к спортивному плацу, и там действительно выстроены новые, сложные, гимнастические виселицы, которыми некому пользоваться, если не считать какого-нибудь крестьянского мальчишки, перегнувшегося головой вниз с трапеции и показывающего заплату на заду; кругом же, во все стороны, участки, — некоторые наполовину куплены, и по воскресеньям можно видеть толстяков в купальных костюмах и роговых очках, сосредоточенно строящих хижину; кое-где даже посажены цветы или стоит кокетливо раскрашенная будка-ретирада.

Но мы и до Вальдау не доедем, а покинем автобус на десятой версте от Кенигсдорфа, у одинокого желтого столба. Теперь обратимся опять к карте: направо, то есть на восток от шоссе, тянется большое пространство, все в точках, — это лес; в нем находится то малое озеро, по западному берегу которого, точно игральные карты веером, — дюжина участков, из коих продан только один — Ардалиону — (и то условно). Близимся к самому интересному пункту. Мы

вначале упомянули о станции Айхенберг, следующей после Кенигсдорфа к востоку. И вот, спрашивается: можно ли добраться пешком от маленького Ардалионова озера до Айхенберга? Можно. Следует обогнуть озеро с южной стороны и дальше — прямо на восток лесом. Пройдя лесом четыре километра, мы выходим на деревенскую дорогу, один конец которой ведет неважно куда, — в ненужные нам деревни, другой же приводит в Айхенберг.

Жизнь моя исковеркана, спутана, — а я тут валяю дурака с этими веселенькими описаньицами, с этим уютным множественным числом первого лица, с этим обращением к туристу, к дачнику, к любителю окрошки из живописных зеленей. Но потерпи, читатель. Я недаром поведу тебя сейчас на прогулку. Эти разговоры с читателем тоже ни к чему. Апарте в театре, или красноречивый шип: «Чу! Сюда идут...»

Прогулка... Я вышел из автобуса у желтого столба. Автобус удалился, в нем остались три старухи, черных в мелкую горошинку, мужчина в бархатном жилете, с косой, обернутой в рогожу, девочка с большим пакетом и господин в пальто, со съехавшим набок механическим галстуком, с беременным саквояжем на коленях, — вероятно, ветеринар. В молочаях и хвощах были следы шин, — мы тут проезжали, прыгая на кочках, уже несколько раз с Лидой и Ардалионом. Я был в гольфных шароварах, или, по-немецки, кникербокерах. Я вошел в лес. Я остановился в том месте, где мы однажды с женой ждали Ардалиона. Я выкурил там папиросу. Я посмотрел на дымок, медленно растянувшийся, затем давший призрачную складку и растаявший в воздухе. Я почувствовал спазму в горле. Я пошел к озеру и заметил на песке смятую черную с оранжевым бумажку (Лида нас снимала). Я обогнул озеро с южной стороны и пошел густым сосняком на восток. Я вышел через час на дорогу. Я зашагал по ней и пришел еще через час в Айхенберг. Я сел в дачный поезд. Я вернулся в Берлин.

Однообразную эту прогулку я проделал несколько раз и никогда не встретил в лесу ни одной души. Глушь, тишина. Покупателей на участки у озера не было, да и все предприятие хирело. Когда мы ездили туда втроем, то бывали весь день совершенно одни, купаться можно было хоть нагишом; помню, кстати, как однажды Лида, по моему требованию, все с себя сняла и, очень мило смеясь и краснея, позировала Ардалиону, который вдруг обиделся на

что-то, — вероятно, на собственную бездарность, — и бросил рисовать, пошел на поиски боровиков. Меня же он продолжал писать упорно, — это длилось весь август. Не справившись с честной чертой угля, он почему-то перешел на подленькую пастель. Я поставил себе некий срок: окончание портрета. Наконец запахло дюшесовой сладостью лака, портрет был обрамлен, Лида дала Ардалиону двадцать марок, — ради шику в конверте. У нас были гости, — между прочим, Орловиус, — мы все стояли и глазели — на что? На розовый ужас моего лица. Не знаю, почему он придал моим щекам этот фруктовый оттенок, — они бледны как смерть. Вообще сходства не было никакого. Чего стоила, например, эта ярко-красная точка в носовом углу глаза, или проблеск зубов из-под ощеренной кривой губы. Все это — на фасонистом фоне с намеками не то на геометрические фигуры, не то на виселицы. Орловиус, который был до глупости близорук, подошел к портрету вплотную и, подняв на лоб очки (почему он их носил? они ему только мешали), с полуоткрытым ртом, замер, задышал на картину, точно собирался ею питаться. «Модерный штиль», — сказал он наконец с отвращением и, перейдя к другой картине, стал так же добросовестно рассматривать и ее, хотя это была обыкновенная литография: остров мертвых.

А теперь, дорогой читатель, вообразим небольшую конторскую комнату в шестом этаже безличного дома. Машинистка ушла, я один. В окне — облачное небо. На стене — календарь, огромная, чем-то похожая на бычий язык, черная девятка: девятое сентября. На столе — очередные неприятности в виде писем от кредиторов и символически пустая шоколадная коробка с лиловой дамой, изменившей мне. Никого нет. Пишущая машинка открыта. Тишина. На страничке моей записной книжки — адрес. Малограмотный почерк. Сквозь него я вижу наклоненный восковый лоб, грязное ухо, из петлицы висит головкой вниз фиалка, с черным ногтем палец нажимает на мой серебряный карандаш.

Помнится, я стряхнул оцепенение, сунул книжку в карман, вынул ключи, собрался все запереть, уйти, — уже почти ушел, но остановился в коридоре с сильно бьющимся сердцем... уйти было невозможно... Я вернулся, я постоял у окна, глядя на противоположный дом. Там уже зажглись лампы, осветив конторские шкафы, и господин в черном, заложив одну руку за спину, ходил взад и вперед, должно

быть, диктуя невидимой машинистке. Он то появлялся, то исчезал, и даже раз остановился у окна, соображая что-то, и опять повернулся, диктуя, диктуя, диктуя. Неумолимый! Я включил свет, сел, сжал виски. Вдруг бешено затрещал телефон, — но оказалось: ошибка, спутали номер. И потом опять тишина, и толькое легкое постукивание дождя, ускорявшего наступление ночи.

ГЛАВА IV

«Дорогой Феликс, я нашел для тебя работу. Прежде всего необходимо кое-что с глазу на глаз обсудить. Собираюсь быть по делу в Саксонии и вот — предлагаю тебе встретиться со мной в Тарнице, — это недалеко от тебя. Отвечай незамедлительно, согласен ли ты в принципе. Тогда укажу день, час и точное место, а на дорогу пришлю тебе денег. Так как я все время в разъездах и нет у меня постоянной квартиры, отвечай: “Ардалион”, до востребования (следует адрес одного из берлинских почтамтов). До свидания, жду. (Подписи нет.)»

Вот оно лежит передо мной, это письмо от девятого сентября тридцатого года — на хорошей, голубоватой бумаге с водяным знаком в виде фрегата, — но бумага теперь смята, по углам смутные отпечатки, вероятно его пальцев. Выходит так, как будто я — получатель этого письма, а не его отправитель, — да в конце концов так оно и должно быть: мы переменились местами.

У меня хранятся еще два письма на такой же бумаге, но все ответы уничтожены. Будь они у меня, будь у меня, например, то глупейшее письмо, которое я с рассчитанной небрежностью показал Орловиусу (после чего и оно было уничтожено), можно было бы перейти на эпистолярную форму повествования. Форма почтенная, с традициями, с крупными достижениями в прошлом. От Икса к Игреку: «Дорогой Икс», — и сверху непременно дата. Письма чередуются, — это вроде мяча, летающего через сетку туда и обратно. Читатель вскоре перестает обращать внимание на дату, — и действительно — какое ему дело, написано ли письмо девятого сентября или шестнадцатого, — но эти даты нужны для поддержания иллюзии. Так Икс продолжает писать Игреку, а Игрек Иксу на протяжении многих

страниц. Иногда вступает какой-нибудь посторонний Зет, — вносит и свою эпистолярную лепту, однако только ради того, чтобы растолковать читателю (не глядя, впрочем, на него, оставаясь к нему в профиль) событие, которое без ущерба для естественности или по какой другой причине ни Икс, ни Игрек не могли бы в письме разъяснить. Да и они пишут не без оглядки, — все эти «Помнишь, как тогда-то и там-то...» (следует обстоятельное воспоминание) вводятся не столько для того, чтобы освежить память корреспондента, сколько для того, чтобы дать читателю нужную справку, — так что в общем картина получается довольно комическая, — особенно, повторяю, смешны эти аккуратно выписанные и ни к чорту не нужные даты, — и когда в конце вдруг протискивается Зет, чтобы написать своему личному корреспонденту (ибо в таком романе переписываются решительно все) о смерти Икса и Игрека или о благополучном их соединении, то читатель внезапно чувствует, что всему этому предпочел бы самое обыкновенное письмо от налогового инспектора. Вообще говоря, я всегда был наделен недюжинным юмором, — дар воображения связан с ним; горе тому воображению, которому юмор не сопутствует.

Одну минуточку. Я списывал письмо, и оно куда-то исчезло.

Могу продолжать, — соскользнуло под стол.

Через неделю я получил ответ (пять раз заходил на почтамт и был очень нервен). Феликс сообщал мне, что с благодарностью принимает мое предложение. Как часто случается с полуграмотными, тон его письма совершенно не соответствовал тону его обычного разговора: в письме это был дрожащий фальцет с провалами витиеватой хрипоты, а в жизни — самодовольный басок с дидактическими низами. Я написал ему вторично, приложив десять марок и назначив ему свидание первого октября в пять часов вечера у бронзового всадника в конце бульвара, идущего влево от вокзальной площади в Тарнице. Я не помнил ни имени всадника (какой-то герцог), ни названия бульвара, но однажды, проезжая по Саксонии в автомобиле знакомого купца, застрял в Тарнице на два часа, — моему знакомому вдруг понадобилось среди пути поговорить по телефону с Дрезденом, — и вот, обладая фотографической памятью, я запомнил бульвар, статую и еще другие подробности, —

это снимок небольшой, однако, знай я способ увеличить его, можно было бы прочесть, пожалуй, даже вывески, — ибо аппарат у меня превосходный.

Мое почтенное от шестнадцатого написано от руки, — я писал на почтамте, — так взволновался, получив ответ на мое почтенное от девятого, что не мог отложить до возможности настукать, — да и особых причин стесняться своих почерков (у меня их несколько) еще не было, — я знал, что в конечном счете получателем окажусь я. Отослав его, я почувствовал то, что чувствует, должно быть, полумертвый лист, пока медленно падает на поверхность воды.

Незадолго до первого октября как-то утром мы с женой проходили Тиргартеном и остановились на мостике, облокотившись на перила. В неподвижной воде отражалась гобеленовая пышность бурой и рыжей листвы, стеклянная голубизна неба, темные очертания перил и наших склоненных лиц. Когда падал лист, то навстречу ему из тенистых глубин воды летел неотвратимый двойник. Встреча их была беззвучна. Падал кружась лист, и кружась стремилось к нему его точное отражение. Я не мог оторвать взгляда от этих неизбежных встреч. «Пойдем», — сказала Лида и вздохнула. «Осень, осень, — проговорила она погодя, — осень. Да, это осень». Она уже была в меховом пальто, пестром, леопардовом. Я влекся сзади, на ходу пронзая тростью палые листья.

«Как славно сейчас в России», — сказала она (то же самое она говорила ранней весной и в ясные зимние дни; одна летняя погода никак не действовала на ее воображение).

«...а есть покой и воля, давно завидная мечтается мне доля. Давно, усталый раб...»

«Пойдем, усталый раб. Мы должны сегодня раньше обедать».

«...замыслил я побег. Замыслил. Я. Побег. Тебе, пожалуй, было бы скучно, Лида, без Берлина, без пошлостей Ардалиона?»

«Ничего не скучно. Мне тоже страшно хочется куда-нибудь, — солнышко, волнышки. Жить да поживать. Я не понимаю, почему ты его так критикуешь».

«...давно завидная мечтается... Ах, я его не критикую. Между прочим, что делать с этим чудовищным портретом, не могу его видеть. Давно, усталый раб...»

«Смотри, Герман, верховые. Она думает, эта тетеха, что очень красива. Ну же, идем. Ты все отстаешь, как маленький. Не знаю, я его очень люблю. Моя мечта была бы ему подарить денег, чтобы он мог съездить в Италию».

«...Мечта. Мечтается мне доля. В наше время бездарному художнику Италия ни к чему. Так было когда-то, давно. Давно завидная...»

«Ты какой-то сонный, Герман. Пойдем чуточку шибче, пожалуйста».

Буду совершенно откровенен. Никакой особой потребности в отдыхе я не испытывал. Но последнее время так у нас с женой завелось. Чуть только мы оставались одни, я с тупым упорством направлял разговор в сторону «обители чистых нег». Между тем я с нетерпением считал дни. Отложил я свидание на первое октября, дабы дать себе время одуматься. Мне теперь кажется, что если бы я одумался и не поехал в Тарниц, то Феликс до сих пор ходил бы вокруг бронзового герцога, присаживаясь изредка на скамью, чертя палкой те земляные радуги слева направо и справа налево, что чертит всякий, у кого есть трость и досуг, — вечная привычка наша к окружности, в которой мы все заключены. Да, так бы он сидел до сегодняшнего дня, а я бы все помнил о нем, с дикой тоской и страстью, — огромный ноющий зуб, который нечем вырвать, женщина, которой нельзя обладать, место, до которого в силу особой топографии кошмаров никак нельзя добраться.

Тридцатого вечером, накануне моей поездки, Ардалион и Лида раскладывали кабалу, а я ходил по комнатам и гляделся во все зеркала. Я в то время был еще в добрых отношениях с зеркалами. За две недели я отпустил усы, — это изменило мою наружность к худшему: над бескровным ртом топорщилась темно-рыжеватая щетина с непристойной проплешинкой посредине. Было такое ощущение, что эта щетина приклеена, — а не то мне казалось, что на губе у меня сидит небольшое жесткое животное. По ночам, в полудремоте, я хватался за лицо, и моя ладонь его не узнавала. Ходил, значит, по комнатам, курил, и из всех зеркал на меня смотрела испуганно серьезными глазами наспех загримированная личность. Ардалион в синей рубашке с каким-то шотландским галстуком хлопал картами, будто в кабаке. Лида сидела к столу боком, заложив ногу на ногу, — юбка поднялась до поджилок, — и выпускала папи-

росный дым вверх, сильно выпятив нижнюю губу и не спуская глаз с карт на столе. Была черная ветреная ночь, каждые несколько секунд промахивал над крышами бледный луч радиобашни, — световой тик, тихое безумие прожектора. В открытое узкое окно ванной комнаты доносился из какого-то окна во дворе сдобный голос громковещателя. В столовой лампа освещала мой страшный портрет. Ардалион в синей рубашке хлопал картами, Лида облокотилась на стол, дымилась пепельница. Я вышел на балкон. «Закрой, дует», — раздался из столовой Лидин голос. От ветра мигали и щурились осенние звезды. Я вернулся в комнату.

«Куда наш красавец едет?» — спросил Ардалион, неизвестно к кому обращаясь.

«В Дрезден», — ответила Лида.

Они теперь играли в дураки.

«Мое почтение Сикстинской, — сказал Ардалион. — Этого, кажется, я не покрою. Этого, кажется... Так, потом так, а это я принял».

«Ему бы лечь спать, он устал, — сказала Лида. — Послушай, ты не имеешь права подсматривать, сколько осталось в колоде, — это нечестно».

«Я машинально, — сказал Ардалион. — Не сердись, голуба. А надолго он едет?»

«И эту тоже, Ардалиоша, эту тоже, пожалуйста, — ты ее не покрыл».

Так они продолжали долго, говоря то о картах, то обо мне, как будто меня не было в комнате, как будто я был тенью или бессловесным существом, — и эта их шуточная привычка, оставлявшая меня прежде равнодушным, теперь казалась мне полной значения, точно я и вправду присутствую только в качестве отражения, а тело мое — далеко.

На другой день, около четырех, я вышел в Тарнице. У меня был с собой небольшой чемодан, он стеснял свободу передвижения, — я принадлежу к породе тех мужчин, которые ненавидят нести что-либо в руках: щеголяя дорогими кожаными перчатками, люблю на ходу свободно размахивать руками и топырить пальцы, — такая у меня манера, и шагаю я ладно, выбрасывая ноги носками врозь, — не по росту моему маленькие, в идеально чистой и блестящей обуви, в мышиных гетрах, — гетры то же, что перчатки, — они придают мужчине добротное изящество, сродное

особому кашэ дорожных принадлежностей высокого качества, — я обожаю магазины, где продаются чемоданы, их хруст и запах, девственность свиной кожи под чехлом, — но я отвлекся, я отвлекся, — я, может быть, хочу отвлечься, — но все равно, дальше, — я, значит, решил оставить сначала чемодан в гостинице: в какой гостинице? Пересек, пересек площадь, озираясь, не только с целью найти гостиницу, а еще стараясь площадь узнать, — ведь я проезжал тут, вон там бульвар и почтамт... Но я не успел дать памяти поупражняться, — в глазах мелькнула вывеска гостиницы, — по бокам двери стояло по два лавровых деревца в кадках, — этот посул роскоши был обманчив, входившего сразу ошеломляла кухонная вонь, двое усатых простаков пили пиво у стойки, старый лакей, сидя на корточках и виляя концом салфетки, зажатой под мышкой, валял пузатого белого щенка, который вилял хвостом тоже. Я спросил комнату, предупредил, что у меня будет, может быть, ночевать брат, мне отвели довольно просторный номер с четой кроватей, с графином мертвой воды на круглом столе, как в аптеке. Лакей ушел, я остался в комнате один, звенело в ушах, я испытывал странное удивление. Двойник мой, вероятно, уже в том же городе, что я, ждет уже, может быть. Я здесь представлен в двух лицах. Если бы не усы и разница в одежде, служащие гостиницы... А может быть (продолжал я думать, соскакивая с мысли на мысль), он изменился и больше не похож на меня, и я понапрасну сюда приехал. «Дай Бог», — сказал я с силой — и сам не понял, почему я это сказал, — ведь сейчас весь смысл моей жизни заключался в том, что у меня есть живое отражение, — почему же я упомянул имя небытного Бога, почему вспыхнула во мне дурацкая надежда, что мое отражение исковеркано? Я подошел к окну, выглянул, — там был глухой двор, и с круглой спиной татарин в тюбетейке показывал босоногой женщине синий коврик. Женщину я знал, и татарина знал тоже, и знал эти лопухи, собравшиеся в одном углу двора, и воронку пыли, и мягкий напор ветра, и бледное, селедочное небо; в эту минуту постучали, вошла горничная с постельным бельем, и когда я опять посмотрел на двор, это уже был не татарин, а какой-то местный оборванец, продающий подтяжки, женщины же вообще не было, — но пока я смотрел, опять стало все соединяться, строиться, составлять определенное воспоминание, — вы-

растали, теснясь, лопухи в углу двора, и рыжая Христина Форсман щупала коврик, и летел песок, — и я не мог понять, где ядро, вокруг которого все это образовалось, что именно послужило толчком, зачатием, — и вдруг я посмотрел на графин с мертвой водой, и он сказал «тепло», — как в игре, когда прячут предмет, — и я бы, вероятно, нашел в конце концов тот пустяк, который, бессознательно замеченный мной, мгновенно пустил в ход машину памяти, а может быть, и не нашел бы, а просто все в этом номере провинциальной немецкой гостиницы, — и даже вид в окне, — было как-то смутно и уродливо схоже с чем-то уже виденным в России давным-давно, — тут, однако, я спохватился, что пора идти на свидание, и, натягивая перчатки, поспешно вышел. Я свернул на бульвар, миновал почтамт. Дул ветер, и наискось через улицу летели листья. Несмотря на мое нетерпение, я, с обычной наблюдательностью, замечал лица прохожих, вагоны трамвая, казавшиеся после Берлина игрушечными, лавки, исполинский цилиндр, нарисованный на облупившейся стене, вывески, фамилию над булочной, Карл Шпис, — напомнившую мне некоего Карла Шписа, которого я знавал в волжском поселке и который тоже торговал булками. Наконец в глубине бульвара встал на дыбы бронзовый конь, опираясь на хвост, как дятел, и если бы герцог на нем энергичнее протягивал руку, то при тусклом вечернем свете памятник мог бы сойти за петербургского всадника. На одной из скамеек сидел старик и поедал из бумажного мешочка виноград; на другой расположились две пожилые дамы; старуха огромной величины полулежала в колясочке для калек и слушала их разговор, глядя на них круглым глазом. Я дважды, трижды обошел памятник, отметив придавленную копытом змею, латинскую надпись, ботфорту с черной звездой шпоры. Змеи, впрочем, никакой не было, это мне почудилось. Затем я присел на пустую скамью, — их было всего полдюжины, — и посмотрел на часы. Три минуты шестого. По газону прыгали воробьи. На вычурной изогнутой клумбе цвели самые гнусные в мире цветы — астры. Прошло минут десять. Такое волнение, что ждать в сидячем положении не мог. Кроме того, вышли все папиросы, курить хотелось до бешенства. Свернув с бульвара на боковую улицу мимо черной кирки с претензиями на старину, я нашел табачную лавку, вошел, автоматический звонок продолжал зудеть, —

я не прикрыл двери, — «будьте добры», — сказала женщина в очках за прилавком, — вернулся, захлопнул дверь. Над ней был натюр-морт Ардалиона: трубка на зеленом сукне и две розы.

«Как это к вам?..» — спросил я со смехом. Она не сразу поняла, а поняв, ответила:

«Это сделала моя племянница. Недавно умерла».

«Что за дичь, — подумал я. — Ведь нечто очень похожее, если не точь-в-точь такое, я видел у него, — что за дичь...»

«Ладно, ладно, — сказал я вслух. — Дайте мне...» — назвал сорт, который курю, заплатил и вышел.

Двадцать минут шестого.

Не смея еще вернуться на урочное место, давая еще время судьбе переменить программу, еще ничего не чувствуя, ни досады, ни облегчения, я довольно долго шел по улице, удаляясь от памятника, — и все останавливался, пытаясь закурить, — ветер вырывал у меня огонь, наконец я забился в подъезд, надул ветер, — какой каламбур! И, стоя в подъезде и смотря на двух девочек, игравших возле, по очереди бросавших стеклянный шарик с радужной искрой внутри, а то — на корточках — подвигавших его пальцем, а то еще — сжимавших его между носками и подпрыгивавших, — все для того, чтобы он попал в лунку, выдавленную в земле под березой с раздвоенным стволом, — смотря на эту сосредоточенную, безмолвную, кропотливую игру, я почему-то подумал, что Феликс прийти не может по той простой причине, что я сам выдумал его, что создан он моей фантазией, жадной до отражений, повторений, масок, — и что мое присутствие здесь, в этом захолустном городке, нелепо и даже чудовищно.

Вспоминаю теперь оный городок, — и вот я в странном смущении: приводить ли еще примеры тех его подробностей, которые неприятнейшим образом перекликались с подробностями, где-то и когда-то виденными мной? Мне даже кажется, что он был построен из каких-то отбросов моего прошлого, ибо я находил в нем вещи, совершенно замечательные по жуткой и необъяснимой близости ко мне: приземистый, бледно-голубой домишко, двойник которого я видел на Охте, лавку старьевщика, где висели костюмы знакомых мне покойников, тот же номер фонаря (всегда замечаю номера фонарей), как на стоявшем перед домом, где я жил в Москве, и рядом с ним — такая же голая

береза, в таком же чугунном корсете и с тем же раздвоением ствола (поэтому я и посмотрел на номер). Можно было бы привести еще много примеров — иные из них такие тонкие, такие — я бы сказал — отвлеченно-личные, что читателю — о котором я, как нянька, забочусь, — они были бы непонятны. Да и, кроме того, я не совсем уверен в исключительности сих явлений. Всякому человеку, одаренному повышенной приметливостью, знакомы эти анонимные пересказы из его прошлого, эти будто бы невинные сочетания деталей, мерзко отдающие плагиатом. Оставим их на совести судьбы и вернемся, с замиранием сердца, с тоской и неохотой, к памятнику в конце бульвара.

Старик доел виноград и ушел, женщину, умиравшую от водянки, укатили, — никого не было, кроме одного человека, который сидел как раз на той скамейке, где я сам давеча сидел, и, слегка подавшись вперед, расставив колени, кормил крошками воробьев. Его палка, небрежно прислоненная к сиденью скамьи, медленно пришла в движение в тот миг, как я ее заметил, — она поехала и упала на гравий. Воробьи вспорхнули, описали дугу, разместились на окрестных кустах. Я почувствовал, что человек обернулся ко мне...

Да, читатель, ты не ошибся.

ГЛАВА V

Глядя в землю, я левой рукой пожал его правую руку, одновременно поднял его упавшую палку и сел рядом с ним на скамью.

«Ты опоздал», — сказал я, не глядя на него.

Он засмеялся. Все еще не глядя, я расстегнул пальто, снял шляпу, провел ладонью по голове, — мне почему-то стало жарко.

«Я вас сразу узнал», — сказал он льстивым, глупо-заговорщичьим тоном.

Теперь я смотрел на палку, оказавшуюся у меня в руках: это была толстая, загоревшая палка, липовая, с глазком в одном месте и со тщательно выжженным именем владельца — Феликс такой-то, — а под этим — год и название деревни. Я отложил ее, подумав мельком, что он, мошенник, пришел пешком.

Решившись наконец, я повернулся к нему. Но посмотрел на его лицо не сразу; я начал с ног, как бывает в кинематографе, когда форсит оператор. Сперва: пыльные башмачища, толстые носки, плохо подтянутые; затем — лоснящиеся синие штаны (тогда были плисовые, — вероятно, сгнили) и рука, держащая сухой хлебец. Затем — синий пиджак и под ним вязаный жилет дикого цвета. Еще выше — знакомый воротничок, теперь сравнительно чистый. Тут я остановился. Оставить его без головы или продолжать его строить? Прикрывшись рукой, я сквозь пальцы посмотрел на его лицо.

На мгновение мне подумалось, что все прежнее было обманом, галлюцинацией, что никакой он не двойник мой, этот дурень, поднявший брови, выжидательно осклабившийся, еще не совсем знавший, какое выражение принять, — отсюда: на всякий случай поднятые брови. На мгновение, говорю я, он мне показался так же на меня похожим, как был бы похож первый встречный. Но вернулись успокоившиеся воробьи, один запрыгал совсем близко, и это отвлеко его внимание, черты его встали по своим местам, и я вновь увидел чудо, явившееся мне пять месяцев тому назад.

Он кинул воробьям горсть крошек. Один из них суетливо клюнул, крошка подскочила, ее схватил другой и улетел. Феликс опять повернулся ко мне с выражением ожидания и готовности.

«Вон тому не попало», — сказал я, указав пальцем на воробья, который стоял в сторонке, беспомощно хлопая клювом.

«Молод, — заметил Феликс. — Видите, еще хвоста почти нет. Люблю птичек», — добавил он с приторной ужимкой.

«Ты на войне побывал?» — спросил я и несколько раз сряду прочистил горло, — голос был хриплый.

«Да, — ответил он, — а что?»

«Так, ничего. Здорово боялся, что убьют, — правда?»

Он подмигнул и проговорил загадочно:

«У всякой мыши — свой дом, но не всякая мышь выходит оттуда».

Я уже успел заметить, что он любит пошлые прибаутки, в рифму; не стоило ломать себе голову над тем, какую, собственно, мысль он желал выразить.

«Все. Больше нету, — обратился он вскользь к воробь-

ям. — Белок тоже люблю, — (опять подмигнул). — Хорошо, когда в лесу много белок. Я люблю их за то, что они против помещиков. Вот кроты — тоже».

«А воробьи? — спросил я ласково. — Они как — против?»

«Воробей среди птиц нищий, — самый что ни на есть нищий. Нищий», — повторил он еще раз. Он, видимо, считал себя необыкновенно рассудительным и сметливым парнем. Впрочем, он был не просто дурак, а дурак-меланхолик. Улыбка у него выходила скучная, — противно было смотреть. И все же я смотрел с жадностью. Меня весьма занимало, как наше диковинное сходство нарушалось его случайными ужимками. «Доживи он до старости, — подумал я, — сходство совсем пропадет, а сейчас оно в полном расцвете».

Герман (игриво): «Ты, я вижу, философ».

Он как будто слегка обиделся. «Философия — выдумка богачей, — возразил он с глубоким убеждением. — И вообще, все это пустые выдумки: религия, поэзия... Ах, девушка, как я страдаю, ах, мое бедное сердце... Я в любовь не верю. Вот дружба — другое дело. Дружба и музыка».

«Знаете что, — вдруг обратился он ко мне с некоторым жаром, — я бы хотел иметь друга, — верного друга, который всегда был бы готов поделиться со мной куском хлеба, а по завещанию оставил бы мне немного земли, домишко. Да, я хотел бы настоящего друга, — я служил бы у него в садовниках, а потом его сад стал бы моим, и я бы всегда поминал покойника со слезами благодарности. А еще — мы бы с ним играли на скрипках, или там он на дудке, я на мандолине. А женщины... Ну скажите, разве есть жена, которая бы не изменяла мужу?»

«Очень все это правильно. Очень правильно. С тобой приятно говорить. Ты в школе учился?»

«Недолго. Чему в школе научишься? Ничему. Если человек умный, на что ему учение? Главное — природа. А политика, например, меня не интересует. И вообще, мир — это, знаете, дерьмо».

«Заключение безукоризненно правильное, — сказал я. — Да, безукоризненно. Прямо удивляюсь. Вот что, умник, отдай-ка мне моментально мой карандаш!»

Этим я его здорово осадил и привел в нужное мне настроение.

«Вы забыли на траве, — пробормотал он растерянно. — Я не знал, увижу ли вас опять...»

«Украл и продал!» — крикнул я, — даже притопнул.

Ответ его был замечателен: сперва мотнул головой, что значило: «Не крал», — и тотчас кивнул, что значило: «Продал». В нем, мне кажется, был собран весь букет человеческой глупости.

«Чорт с тобою, — сказал я, — в другой раз будь осмотрительнее. Уж ладно. Бери папиросу».

Он размяк, просиял, видя, что я не сержусь; принялся благодарить: «Спасибо, спасибо... Действительно, как мы с вами похожи, как похожи... Можно подумать, что мой отец согрешил с вашей матушкой!» — Подобострастно засмеялся, чрезвычайно довольный своею шуткой.

«К делу, — сказал я, притворившись вдруг очень серьезным. — Я пригласил тебя сюда не для одних отвлеченных разговорчиков, как бы они ни были приятны. Я тебе писал о помощи, которую собираюсь тебе оказать, о работе, которую нашел для тебя. Прежде всего, однако, хочу тебе задать вопрос. Ответь мне на него точно и правдиво. Кто я таков, по твоему мнению?»

Феликс осмотрел меня, отвернулся, пожал плечом.

«Я тебе не загадку задаю, — продолжал я терпеливо. — Я отлично понимаю, что ты не можешь знать, кто я в действительности. Отстраним на всякий случай возможность, о которой ты так остроумно упомянул. Кровь, Феликс, у нас разная, — разная, голубчик, разная. Я родился в тысяче верстах от твоей колыбели, и честь моих родителей, как — надеюсь — и твоих, безупречна. Ты единственный сын, я — тоже. Так что ни ко мне, ни к тебе никак не может явиться этакий таинственный брат, которого, мол, ребенком украли цыгане. Нас не связывают никакие узы, у меня по отношению к тебе нет никаких обязательств, — заруби это себе на носу, — никаких обязательств, — все, что собираюсь сделать для тебя, сделаю по доброй воле. Запомни все это, пожалуйста. Теперь я тебя снова спрашиваю, кто я таков, по твоему мнению, чем я представляюсь тебе, — ведь какое-нибудь мнение ты обо мне составил, — не правда ли?»

«Вы, может быть, артист», — сказал Феликс неуверенно.

«Если я правильно понял тебя, дружок, ты, значит, при первом нашем свидании так примерно подумал: “Э, да он, вероятно, играет в театре, человек с норовом, чудак и франт, может быть, знаменитость”. Так, значит?»

Феликс уставился на свой башмак, которым трамбовал гравий, и лицо его приняло несколько напряженное выражение.

«Я ничего не подумал, — проговорил он кисло. — Просто вижу: господин интересуется, ну и так далее. А хорошо платят вам-то, артистам?»

Примечаньице: мысль, которую он подал мне, показалась мне гибкой, — я решил ее испытать. Она любопытнейшей излучиной соприкасалась с главным моим планом.

«Ты угадал, — воскликнул я, — ты угадал. Да, я актер. Точнее — фильмовый актер. Да, это верно. Ты хорошо, ты великолепно это сказал. Ну, дальше. Что еще можешь сказать обо мне?»

Тут я заметил, что он как-то приуныл. Моя профессия точно его разочаровала. Он сидел насупившись, держа дымившийся окурок между большим пальцем и указательным. Вдруг он поднял голову, прищурился...

«А какую вы мне работу хотите предложить?» — спросил он без прежней заискивающей нежности.

«Погоди, погоди. Все в свое время. Я тебя спрашивал, — что ты еще обо мне думаешь, — ну-с, пожалуйста».

«Почем я знаю? Вы любите разъезжать, — вот это я знаю, а больше не знаю ничего».

Между тем завечерело, воробьи исчезли давно, всадник потемнел и как-то разросся. Из-за траурного дерева бесшумно появилась луна — мрачная, жирная. Облако мимоходом надело на нее маску; остался виден только ее полный подбородок.

«Вот что, Феликс, тут темно и неуютно. Ты, пожалуй, голоден. Пойдем закусим где-нибудь и за кружкой пива продолжим наш разговор. Ладно?»

«Ладно, — отозвался он, слегка оживившись, и глубокомысленно присовокупил: — Пустому желудку одно только и можно сказать», — (перевожу дословно, — по-немецки все это у него выходило в рифмочку).

Мы встали и направились к желтым огням бульвара. Теперь, в надвигающейся тьме, я нашего сходства почти не ощущал. Феликс шагал рядом со мной, словно в каком-то раздумье, — походка у него была такая же тупая, как он сам.

Я спросил: «Ты здесь, в Тарнице, еще никогда не бывал?»

«Нет, — ответил он. — Городов не люблю. В городе нашему брату скучно».

Вывеска трактира. В окне бочонок, а по сторонам два бородатых карла. Ну, хотя бы сюда. Мы вошли и заняли стол в глубине. Стягивая с растопыренной руки перчатку, я зорким взглядом окинул присутствующих. Было их, впрочем, всего трое, и они не обратили на нас никакого внимания. Подошел лакей, бледный человечек в пенснэ (я не в первый раз видел лакея в пенснэ, но не мог вспомнить, где мне уже такой попадался). Ожидая заказа, он посмотрел на меня, потом на Феликса. Конечно, из-за моих усов сходство не так бросалось в глаза, — я и отпустил их, собственно, для того, чтобы, появляясь с Феликсом вместе, не возбуждать чересчур внимания. Кажется, у Паскаля встречается где-то умная фраза о том, что двое похожих друг на друга людей особого интереса в отдельности не представляют, но коль скоро появляются вместе — сенсация. Паскаля самого я не читал и не помню, где слямзил это изречение. В юности я увлекался такими штучками. Беда только в том, что иной прикарманенной мыслью щеголял не я один. Как-то в Петербурге, будучи в гостях, я сказал: «Есть чувства, как говорил Тургенев, которые может выразить одна только музыка». Через несколько минут явился еще гость и среди разговора вдруг разрешился тою же сентенцией. Не я, конечно, а он оказался в дураках, но мне вчуже стало неловко, и я решил больше не мудрить. Все это — отступление, отступление в литературном смысле, разумеется, отнюдь не в военном. Я ничего не боюсь, все расскажу. Нужно признать: восхитительно владею не только собой, но и слогом. Сколько романов я понаписал в молодости, так, между делом, и без малейшего намерения их опубликовать. Еще изречение: опубликованный манускрипт, как говорил Свифт, становится похож на публичную женщину. Однажды, еще в России, я дал Лиде прочесть одну вещицу в рукописи, сказав, что сочинил знакомый, — Лида нашла, что скучно, не дочитала, — моего почерка она до сих пор не знает, — у меня ровным счетом двадцать пять почерков, — лучшие из них, т. е. те, которые я охотнее всего употребляю, суть следующие: круглявый — с приятными сдобными утолщениями, каждое слово — прямо из кондитерской; засим — наклонный, востренький, — даже не почерк, а почерченок, — такой мелкий, ветреный, — с сокращениями и без твердых знаков; и наконец — почерк, который я особенно ценю: крупный, четкий, твердый и

совершенно безличный, словно пишет им абстрактная, в схематической манжете, рука, изображаемая в учебниках физики и на указательных столбах. Я начал было именно этим почерком писать предлагаемую читателю повесть, но вскоре сбился, — повесть эта написана всеми двадцатью пятью почерками, вперемежку, так что наборщики, или неизвестная мне машинистка, или, наконец, тот определенный, выбранный мной человек, тот русский писатель, которому я мою рукопись доставлю, когда подойдет срок, подумают, быть может, что писало мою повесть несколько человек, — а также весьма возможно, что какой-нибудь крысоподобный эксперт с хитрым личиком усмотрит в этой какографической роскоши признак ненормальности. Тем лучше.

Вот я упомянул о тебе, мой первый читатель, о тебе, известный автор психологических романов, — я их просматривал, — они очень искусственны, но неплохо скроены. Что ты почувствуешь, читатель-автор, когда приступишь к этой рукописи? Восхищение? Зависть? Или даже — почем знать? — воспользовавшись моей бессрочной отлучкой, выдашь мое за свое, за плод собственной изощренной, не спорю, изощренной и опытной, — фантазии, и я останусь на бобах? Мне было бы нетрудно принять наперед меры против такого наглого похищения. Приму ли их — это другой вопрос. Мне, может быть, даже лестно, что ты украдешь мою вещь. Кража — лучший комплимент, который можно сделать вещи. И знаешь, что самое забавное? Ведь, решившись на приятное для меня воровство, ты исключишь как раз вот эти компрометирующие тебя строки, — да и кроме того, кое-что перелицуешь по-своему (это уже менее приятно), как автомобильный вор красит в другой цвет машину, которую угнал. И по этому поводу позволю себе рассказать маленькую историю, самую смешную историю, какую я вообще знаю.

Недели полторы тому назад, т. е. около десятого марта тридцать первого года, неким человеком (или людьми), проходившим (или проходившими) по шоссе, а не то лесом (вероятно — еще выяснится), был обнаружен у самой опушки и незаконно присвоен небольшой синий автомобиль такой-то марки, такой-то силы (технические подробности опускаю). Вот, собственно говоря, и все.

Я не утверждаю, что всякому будет смешон этот анекдот:

соль его не очевидна. Меня он рассмешил — до слез — только потому, что я знаю подоплеку. Добавлю, что я его ни от кого не слышал, нигде не вычитал, а строго логически вывел из факта исчезновения автомобиля, факта, совершенно превратно истолкованного газетами. Назад, рычаг времени!

«Ты умеешь править автомобилем?» — вдруг спросил я, помнится, Феликса, когда лакей, ничего не заметив в нас особенного, поставил перед нами две кружки пива и Феликс жадно окунул губу в пышную пену.

«Что?» — переспросил он, сладостно крякнув.

«Я спрашиваю: ты умеешь править автомобилем?»

«А как же, — ответил он самодовольно. — У меня был приятель шофер — служил у одного нашего помещика. Мы с ним однажды раздавили свинью. Как она визжала...»

Лакей принес какое-то рагу в большом количестве и картофельное пюре. Где я уже видел пенснэ на носу у лакея? Вспомнил только сейчас, когда пишу это: в паршивом русском ресторанчике, в Берлине, — и тот лакей был похож на этого — такой же маленький, унылый, белобрысый.

«Ну вот, Феликс, мы попили, мы поели, будем теперь говорить. Ты сделал кое-какие предположения на мой счет, и предположения верные. Прежде чем приступить вплотную к нашему делу, я хочу нарисовать тебе в общих чертах мой облик, мою жизнь, — ты скоро поймешь, почему это необходимо. Итак...»

Я отпил пива и продолжал:

«Итак, родился я в богатой семье. У нас был дом и сад, — ах, какой сад, Феликс! Представь себе розовую чащобу, целые заросли роз, розы всех сортов, каждый сорт с дощечкой, и на дощечке — название: названия розам дают такие же звонкие, как скаковым лошадям. Кроме роз, росло в нашем саду множество других цветов, — и когда по утрам все это бывало обрызгано росой, зрелище, Феликс, получалось сказочное. Мальчиком я уже любил и умел ухаживать за нашим садом, у меня была маленькая лейка, Феликс, и маленькая мотыга, и родители мои сидели в тени старой черешни, посаженной еще дедом, и глядели с умилением, как я, маленький и деловитый, — вообрази, вообрази эту картину, — снимаю с роз и давлю гусениц, похожих на сучки. Было у нас всякое домашнее зверье, как, например, кролики, — самое овальное животное, если по-

нимаешь, что хочу сказать, — и сердитые сангвиники-индюки, и прелестные козочки, и так далее, и так далее. Потом родители мои разорились, померли, чудный сад исчез, как сон, — и вот только теперь счастье как будто блеснуло опять. Мне удалось недавно приобрести клочок земли на берегу озера, и там будет разбит новый сад, еще лучше старого. Моя молодость вся насквозь проблагоухала тьмою цветов, окружавшей ее, а соседний лес, густой и дремучий, наложил на мою душу тень романтической меланхолии. Я всегда был одинок, Феликс, одинок я и сейчас. Женщины... Но что говорить об этих изменчивых, развратных существах... Я много путешествовал, люблю, как и ты, бродить с котомкой, — хотя, конечно, в силу некоторых причин, которые всецело осуждаю, мои скитания приятнее твоих. Философствовать не люблю, но все же следует признать, что мир устроен несправедливо. Удивительная вещь, — задумывался ли ты когда-нибудь над этим? — что двое людей, одинаково бедных, живут неодинаково, один, скажем, как ты, откровенно и безнадежно нищенствует, а другой, такой же бедняк, ведет совсем иной образ жизни: прилично одет, беспечен, сыт, вращается среди богатых весельчаков, — почему это так? А потому, Феликс, что принадлежат они к разным классам, — и если уже мы заговорили о классах, то представь себе одного человека, который зайцем едет в четвертом классе, и другого, который зайцем едет в первом: одному твердо, другому мягко, а между тем у обоих кошелек пуст, — вернее, у одного есть кошелек, хоть и пустой, а у другого и этого нет, — просто дырявая подкладка. Говорю так, чтобы ты осмыслил разницу между нами: я актер, живущий в общем на фуфу, но у меня всегда есть резиновые надежды на будущее, которые можно без конца растягивать, — у тебя же и этого нет, — ты всегда бы остался нищим, если бы не чудо, — это чудо: наша встреча.

Нет такой вещи, Феликс, которую нельзя было бы эксплуатировать. Скажу более: нет такой вещи, которую нельзя было бы эксплуатировать очень долго и очень успешно. Тебе снилась, может быть, в самых твоих заносчивых снах двузначная цифра — это предел твоих мечтаний. Ныне же речь идет сразу, с места в карьер, о цифрах трехзначных, — это, конечно, нелегко охватить воображением, ведь и десятка была уже для тебя едва мыслимой бесконечностью, а теперь мы как бы зашли за угол бесконечности, — и там

сияет сотенка, а за нею другая, — и как знать, Феликс, может быть, зреет и еще один, четвертый, знак, — кружится голова, страшно, щекотно, — но это так, это так. Вот видишь, ты до такой степени привык к своей убогой судьбе, что сейчас едва ли улавливаешь мою мысль, — моя речь тебе кажется непонятной, странной; то, что впереди, покажется тебе еще непонятнее и страннее».

Я долго говорил в этом духе. Он глядел на меня с опаской: ему, пожалуй, начинало сдаваться, что я издеваюсь над ним. Такие, как он, молодцы добродушны только до некоторого предела. Как только вспадает им на мысль, что их собираются околпачить, вся доброта с них слетает, взгляд принимает неприятно-стеклянный оттенок, их начинает разбирать тяжелая, прочная ярость. Я говорил темно, но не задавался целью его вбесить, напротив, мне хотелось расположить его к себе, — озадачить, но вместе с тем привлечь; смутно, но все же убедительно внушить ему образ человека, во многом сходного с ним, — однако фантазия моя разыгралась, и разыгралась нехорошо, увесисто, как пожилая, но все еще кокетливая дама, выпившая лишнее. Оценив впечатление, которое на него произвожу, я на минуту остановился, пожалел было, что его напугал, но тут же ощутил некоторую усладу от умения моего заставлять слушателя чувствовать себя плохо. Я улыбнулся и продолжал примерно так:

«Ты прости меня, Феликс, я разболтался, — но мне редко приходится отводить душу. Кроме того, я очень спешу показать себя со всех сторон, дабы ты имел полное представление о человеке, с которым тебе придется работать, — тем более что самая эта работа будет прямым использованием нашего с тобою сходства. Скажи мне, знаешь ли ты, что такое дублер?»

Он покачал головой, губа отвисла, я давно заметил, что он дышит все больше ртом, нос был у него, что ли, заложен.

«Не знаешь, — так я тебе объясню. Представь себе, что директор кинематографической фирмы, — ты в кинематографе бывал?»

«Бывал».

«Ну вот, — представь себе, значит, такого директора... Виноват, ты, дружок, что-то хочешь сказать?»

«Бывал, но редко. Уж если тратить деньги, так на что-нибудь получше».

«Согласен, но не все рассуждают как ты, — иначе не было бы и ремесла такого, как мое, — не правда ли? Итак, мой директор предложил мне за небольшую сумму, что-то около десяти тысяч, — это, конечно, пустяк, фуфу, но больше не дают, — сниматься в фильме, где герой — музыкант. Я, кстати, сам обожаю музыку, играю на нескольких инструментах. Бывало, летним вечерком беру свою скрипку, иду в ближний лесок... Ну так вот. Дублер, Феликс, это лицо, могущее в случае надобности заменить данного актера. Актер играет, его снимает аппарат, осталось доснять пустяковую сценку, — скажем, герой должен проехать на автомобиле, — а тут возьми он да и заболей, — а время не терпит. Тут-то и вступает в свою должность дублер, — проезжает на этом самом автомобиле, — ведь ты умеешь управлять, — и когда зритель смотрит фильму, ему и в голову не приходит, что произошла замена. Чем сходство совершеннее, тем оно дороже ценится. Есть даже особые организации, занимающиеся тем, что знаменитостям подыскивают двойников. И жизнь двойника прекрасна, — он получает определенное жалованье, а работать приходится ему только изредка, — да и какая это работа: оденется точь-в-точь как одет герой и вместо героя промелькнет на нарядной машине, — вот и все. Разумеется, болтать о своей службе он не должен; ведь каково получится, если конкурент или какой-нибудь журналист проникнет в подлог и публика узнает, что ее любимца в одном месте подменили. Ты понимаешь теперь, почему я пришел в такой восторг, в такое волнение, когда нашел в тебе точную копию своего лица. Я всегда мечтал об этом. Подумай, как важно для меня — особенно сейчас, когда производятся съемки и я, человек хрупкого здоровья, исполняю главную роль. В случае чего тебя сразу вызывают, ты являешься...»

«Никто меня не вызывает, и никуда я не являюсь», — перебил меня Феликс.

«Почему ты так говоришь, голубчик?» — спросил я с ласковой укоризной.

«Потому, — ответил Феликс, — что нехорошо с вашей стороны морочить бедного человека. Я вам поверил. Я думал, вы мне предложите честную работу. Я притащился сюда издалека. У меня подметки — смотрите, в каком виде... А вместо работы... Нет, это мне не подходит».

«Тут недоразумение, — сказал я мягко. — Ничего унизительного или чрезмерно тяжелого я не предлагаю тебе. Мы

заключим договор. Ты будешь получать от меня сто марок ежемесячно. Работа, повторяю, до смешного легкая, — прямо детская, — вот как дети переодеваются и изображают солдат, привидения, авиаторов. Подумай, ведь ты будешь получать сто марок в месяц только за то, чтобы изредка, — может быть, раз в году, — надеть вот такой костюм, как сейчас на мне. Давай, знаешь, вот что сделаем: условимся встретиться как-нибудь и прорепетировать какую-нибудь сценку, — посмотрим, что́ из этого выйдет».

«Ничего о таких вещах я не слыхал и не знаю, — довольно грубо возразил Феликс. — У тетки моей был сын, который паясничал на ярмарках, — вот все, что я знаю, — был он пьяница и развратник, и тетка моя все глаза из-за него выплакала, пока он, слава Богу, не разбился насмерть, грохнувшись с качелей. Эти кинематографы да цирки...»

Так ли все это было? Верно ли следую моей памяти, или же, выбившись из строя, своевольно пляшет мое перо? Что-то уж слишком литературен этот наш разговор, смахивает на застеночные беседы в бутафорских кабаках имени Достоевского; еще немного, и появится «сударь», даже в квадрате: «сударь-с», — знакомый взволнованный говорок: «и уже непременно, непременно...», а там и весь мистический гарнир нашего отечественного Пинкертона. Меня даже некоторым образом мучит, то есть даже не мучит, а совсем, совсем сбивает с толку и, пожалуй, губит меня мысль, что я как-то слишком понадеялся на свое перо... Узнаете тон этой фразы? Вот именно. И еще мне кажется, что разговор-то наш помню превосходно, со всеми его оттенками, и всю его подноготную (вот опять, — любимое словцо нашего специалиста по душевным лихорадкам и аберрациям человеческого достоинства, — «подноготная», и еще, пожалуй, курсивом). Да, помню этот разговор, но передать его в точности не могу, что-то мешает мне, что-то жгучее, нестерпимое, гнусное, — от чего я не могу отвязаться, прилипло, все равно как если в потемках нарваться на мухоморную бумагу, — и главное, не знаешь, где зажигается свет. Нет, разговор наш был не таков, каким он изложен, — то есть, может быть, слова-то и были именно такие (вот опять), но не удалось мне, или не посмел я, передать особые шумы, сопровождавшие его, — были какие-то провалы и удаления звука, и затем снова бормотание и шушукание, и вдруг деревянный голос, ясно выгова-

ривающий: «Давай, Феликс, выпьем еще пивца». Узор коричневых цветов на обоях, какая-то надпись, обиженно объясняющая, что кабак не отвечает за пропажу вещей, картонные круги, служащие базой для пива, на одном из которых был косо начертан карандашом торопливый итог, и отдаленная стойка, подле которой пил, свив ноги черным кренделем, окруженный дымом человек, — все это было комментариями к нашей беседе, столь же бессмысленными, впрочем, как пометки на полях Лидиных паскудных книг. Если бы те трое, которые сидели у завешенного пыльно-кровавой портьерой окна, далеко от нас, если бы они обернулись и на нас посмотрели — эти трое тихих и печальных бражников, — то они бы увидели: брата благополучного и брата-неудачника, брата с усиками над губой и блеском на волосах и брата бритого, но не стриженного давно, с подобием гривки на худой шее, сидевших друг против друга, положивших локти на стол и одинаково подперших скулы. Такими нас отражало тусклое, слегка, по-видимому, ненормальное зеркало, с кривизной, с безуминкой, которое, вероятно, сразу бы треснуло, отразись в нем хоть одно подлинное человеческое лицо. Так мы сидели, и я продолжал уговорчиво бормотать, — говорю я вообще с трудом, те речи, которые как будто дословно привожу, вовсе не текли так плавно, как текут они теперь на бумагу, — да и нельзя начертательно передать мое косноязычие, повторение слов, спотыкание, глупое положение придаточных предложений, заплутавших, потерявших матку, и все те лишние нечленораздельные звуки, которые дают словам подпорку или лазейку. Но мысль моя работала так стройно, шла к цели такой мерной и твердой поступью, что впечатление, сохраненное мной от хода собственных слов, не является чем-то путаным и сбивчивым, — напротив. Цель, однако, была еще далеко; сопротивление Феликса, сопротивление ограниченного и боязливого человека, следовало как-нибудь сломить. Соблазнившись изящной естественностью темы, я упустил из виду, что эта тема может ему не понравиться, отпугнуть его так же естественно, как меня она привлекла. Не то чтоб я имел хоть малейшее касательство к сцене, — единственный раз, когда я выступал, было лет двадцать тому назад, ставился домашний спектакль в усадьбе помещика, у которого служил мой отец, и я должен был сказать всего несколько слов: «Его сиятельство

велели доложить, что сейчас будут-с... Да вот и они сами идут», — вместо чего я с каким-то тончайшим наслаждением, ликуя и дрожа всем телом, сказал так: «Его сиятельство прийти не могут-с, они зарезались бритвой», — а между тем любитель-актер, игравший князя, уже выходил, в белых штанах, с улыбкой на радужном от грима лице, — и все повисло, ход мира был мгновенно пресечен, и я до сих пор помню, как глубоко я вдохнул этот дивный, грозовой озон чудовищных катастроф. Хотя я актером в узком смысле слова никогда не был, я все же в жизни всегда носил с собой как бы небольшой складной театр, играл не одну роль, и играл отменно, — и если вы думаете, что суфлер мой звался Выгода, — есть такая славянская фамилья, — то вы здорово ошибаетесь, — все это не так просто, господа. В данном же случае моя игра оказалась пустой затратой времени, — я вдруг понял, что, продли я монолог о кинематографе, Феликс встанет и уйдет, вернув мне десять марок, — нет, впрочем, он не вернул бы, — могу поручиться, — слово «деньги», по-немецки такое увесистое («деньги» по-немецки золото, по-французски — серебро, по-русски — медь), произносилось им с необычайным уважением и даже сладострастием. Но ушел бы он непременно, да еще с оскорбленным видом... По правде сказать, я до сих пор не совсем понимаю, почему все связанное с кинематографом и театром было ему так невыносимо противно; чуждо — допустим, — но противно? Постараемся это объяснить отсталостью простонародья, — немецкий мужик старомоден и стыдлив, — пройдитесь-ка по деревне в купальных трусиках, — я пробовал, — увидите, что будет: мужчины остолбенеют, женщины будут фыркать в ладошку, как горничные в старосветских комедиях.

Я умолк. Феликс молчал тоже, водя пальцем по столу. Он полагал, вероятно, что я ему предложу место садовника или шофера, и теперь был сердит и разочарован. Я подозвал лакея, расплатился. Мы опять оказались на улице. Ночь была резкая, пустынная. В тучах, похожих на черный мех, скользила яркая, плоская луна, поминутно скрываясь.

«Вот что, Феликс. Мы разговор наш не кончили. Я этого так не оставлю. У меня есть номер в гостинице, пойдем, переночуешь у меня».

Он принял это как должное. Несмотря на свою тупость, он понимал, что нужен мне и что неблагоразумно было бы

оборвать наши сношения, не договорившись до чего-нибудь. Мы снова прошли мимо двойника медного всадника. На бульваре не встретили ни души. В домах не было ни одного огня; если бы я заметил хоть одно освещенное окно, то подумал бы, что там кто-нибудь повесился, оставив гореть лампу, настолько свет показался бы неожиданным и противозаконным. Мы молча дошли до гостиницы. Нас впустил сомнамбул без воротничка. Когда мы вошли в номер, то у меня было опять ощущение чего-то очень знакомого, — но другое занимало мои мысли. «Садись». Он сел на стул, опустив кулаки на колени и полуоткрыв рот. Я скинул пиджак и, засунув руки в карманы штанов, бренча мелкой деньгой, принялся ходить взад и вперед по комнате. На мне был, между прочим, сиреневый в черную мушку галстук, который слегка взлетал, когда я поворачивался на каблуке. Некоторое время продолжалось молчание, моя ходьба, ветерок. Внезапно Феликс, как будто убитый наповал, уронил голову, — и стал развязывать шнурки башмаков. Я взглянул на его беспомощную шею, на грустное выражение шейных позвонков, и мне сделалось как-то странно, что вот буду спать со своим двойником в одной комнате, чуть ли не в одной постели, — кровати стояли друг к дружке вплотную. Вместе с тем меня пронзила ужасная мысль, что, может быть, у него какой-нибудь телесный недостаток, красный крап накожной болезни или грубая татуировка, — я требовал от его тела минимум сходства с моим, — за лицо я был спокоен. «Да-да, раздевайся», — сказал я, продолжая шагать. Он поднял голову, держа в руке безобразный башмак.

«Я давно не спал в постели, — проговорил он с улыбкой (не показывай десен, дурак), — в настоящей постели».

«Снимай все с себя, — сказал я нетерпеливо. — Ты, вероятно, грязен, пылен. Дам тебе рубашку для спанья. И вымойся».

Ухмыляясь и покрякивая, несколько как будто стесняясь меня, он разделся донага и стал мыть под мышками, склонившись над чашкой комодообразного умывальника. Ловкими взглядами я жадно осматривал этого совершенно голого человека. Он был худ и бел, — гораздо белее своего лица, — так что мое сохранившее летний загар лицо казалось приставленным к его бледному телу, — была даже заметна черта на шее, где приставили голову. Я испытал

необыкновенное удовольствие от этого осмотра, отлегло, непоправимых примет не оказалось.

Когда, надев чистую рубашку, выданную ему из чемодана, он лег в постель, я сел у него в ногах и уставился на него с откровенной усмешкой. Не знаю, что он подумал, — но, разомлевший от непривычной чистоты, он стыдливым, сентиментальным, даже просто нежным движением погладил меня по руке и сказал, — перевожу дословно: «Ты добрый парень». Не разжимая зубов, я затрясся от смеха, и тут он, вероятно, усмотрел в выражении моего лица нечто странное, — брови его полезли наверх, он повернул голову, как птица. Уже открыто смеясь, я сунул ему в рот папиросу, он чуть не поперхнулся.

«Эх ты, дубина! — воскликнул я, хлопнув его по выступу колена. — Неужели ты не смекнул, что я вызвал тебя для важного, совершенно исключительно важного дела», — и, вынув из бумажника тысячемарковый билет и продолжая смеяться, я поднес его к самому лицу дурака.

«Это мне?» — спросил он и выронил папиросу: видно, пальцы у него невольно раздвинулись, готовясь схватить.

«Прожжешь простыню, — проговорил я сквозь смех. — Вон там, у локтя. Я вижу, ты взволновался. Да, эти деньги будут твоими, ты их даже получишь вперед, если согласишься на дело, которое я тебе предложу. Ведь неужели ты не сообразил, что о кинематографе я говорил так, в виде пробы. Что никакой я не актер, а человек деловой, толковый. Короче говоря, вот в чем состоит дело. Я собираюсь произвести кое-какую операцию, и есть маленькая возможность, что впоследствии до меня доберутся. Но подозрения сразу отпадут, ибо будет доказано, что в день и в час совершения этой операции я был от места действия очень далеко».

«Кража?» — спросил Феликс, и что-то мелькнуло в его лице, — странное удовлетворение...

«Я вижу, что ты не так глуп, — продолжал я, понизив голос до шепота. — Ты, по-видимому, давно подозревал неладное и теперь доволен, что не ошибся, как бывает доволен всякий, убедившись в правильности своей догадки. Мы оба с тобой падки на серебряные вещи, — ты так подумал, не правда ли? А может быть, тебе просто приятно, что я не чудак, не мечтатель с бзиком, а дельный человек».

«Кража?» — снова спросил Феликс, глядя на меня ожившими глазами.

«Операция, во всяком случае, незаконная. Подробности узнаешь погодя. Позволь мне сперва тебе объяснить, в чем будет состоять твоя работа. У меня есть автомобиль. Ты сядешь в него, надев мой костюм, и проедешь по указанной мною дороге. Вот и все. За это ты получишь тысячу марок».

«Тысячу, — повторил за мной Феликс. — А когда вы мне их дадите?»

«Это произойдет совершенно естественно, друг мой. Надев мой пиджак, ты в нем найдешь мой бумажник, а в бумажнике — деньги».

«Что же я должен дальше делать?»

«Я тебе уже сказал. Прокатиться. Скажем так: я тебя снаряжаю, а на следующий день, когда сам-то я уже далеко, ты едешь кататься, тебя видят, тебя принимают за меня, возвращаешься, а я уже тут как тут, сделав свое дело. Хочешь точнее? Изволь. Ты проедешь через деревню, где меня знают в лицо; ни с кем говорить тебе не придется, это продолжится всего несколько минут, но за эти несколько минут я заплачу дорого, ибо они дадут мне чудесную возможность быть сразу в двух местах».

«Вас накроют с поличным, — сказал Феликс, — а потом доберутся и до меня. На суде все откроется, вы меня предадите».

Я опять рассмеялся: «Мне, знаешь, нравится, дружок, как это ты сразу освоился с мыслью, что я мошенник».

Он возразил, что не любит тюрем, что в тюрьмах гибнет молодость, что ничего нет лучше свободы и пения птиц. Говорил он это довольно вяло и без всякой неприязни ко мне. Потом задумался, облокотившись на подушку. Стояла душная тишина. Я зевнул и, не раздеваясь, лег навзничь на постель. Меня посетила забавная думка, что Феликс среди ночи убьет и ограбит меня. Вытянув вбок ногу, я шаркнул подошвой по стене, дотронулся носком до выключателя, сорвался, еще сильнее вытянулся и ударом каблука погасил свет.

«А может быть, это все вранье? — раздался в тишине его глупый голос. — Может быть, я вам не верю...»

Я не шелохнулся.

«Вранье», — повторил он через минуту.

Я не шелохнулся, а немного погодя принялся дышать с бесстрастным ритмом сна.

Он, по-видимому, прислушивался. Я прислушивался к тому, как он прислушивается. Он прислушивался к тому, как я прислушиваюсь к его прислушиванию. Что-то оборвалось. Я заметил, что думаю вовсе не о том, о чем мне казалось, что думаю, — попытался поймать свое сознание врасплох, но запутался.

Мне приснился отвратительный сон. Мне приснилась собачка, — но не просто собачка, а лжесобачка, маленькая, с черными глазками жучьей личинки, и вся беленькая, холодненькая, — мясо не мясо, а скорее сальце или бланманже, а вернее всего, мясцо белого червя, да притом с волной и резьбой, как бывает на пасхальном баране из масла, — гнусная мимикрия, холоднокровное существо, созданное природой под собачку, с хвостом, с лапками, — все как следует. Она то и дело попадалась мне под руку, невозможно было отвязаться, — и когда она прикасалась ко мне, то это было как электрический разряд. Я проснулся. На простыне соседней постели лежала, свернувшись холодным белым пирожком, все та же гнусная лжесобачка, — так, впрочем, сворачиваются личинки, — я застонал от отвращения, — и проснулся совсем. Кругом плыли тени, постель рядом была пуста, и тихо серебрились те широкие лопухи, которые, вследствие сырости, вырастают из грядки кровати. На листьях виднелись подозрительные пятна, вроде слизи, я всмотрелся: среди листьев, прилепившись к мякоти стебля, сидела маленькая, сальная, с черными пуговками глаз... но тут уж я проснулся по-настоящему.

В комнате было уже довольно светло. Мои часики остановились. Должно быть — пять, половина шестого. Феликс спал, завернувшись в пуховик, спиной ко мне, я видел только его макушку. Странное пробуждение, странный рассвет. Я вспомнил наш разговор, вспомнил, что мне не удалось его убедить, — и новая, занимательнейшая мысль овладела мной. Читатель, я чувствовал себя по-детски свежим, после недолгого сна, душа моя была как бы промыта, мне, в конце концов, шел всего только тридцать шестой год, щедрый остаток жизни мог быть посвящен кое-чему другому, нежели мерзкой мечте. В самом деле, — какая занимательная, какая новая и прекрасная мысль: воспользоваться советом судьбы, и вот сейчас, сию минуту, уйти из этой комнаты, навсегда покинуть, навсегда забыть моего двойника, да, может быть, он и вовсе не похож на меня, —

я видел только макушку, он крепко спал, повернувшись ко мне спиной. Как отрок после одинокой схватки стыдного порока с необыкновенной силой и ясностью говорит себе: кончено, больше никогда, с этой минуты чистота, счастье чистоты, — так и я, высказав вчера все, все уже вперед испытав, измучившись и насладившись в полной мере, был суеверно готов отказаться навсегда от соблазна. Все стало так просто: на соседней кровати спал случайно пригретый мною бродяга, его пыльные бедные башмаки, носками внутрь, стояли на полу, и с пролетарской аккуратностью было сложено на стуле его платье. Что я, собственно, делал в этом номере провинциальной гостиницы, какой смысл был дальше оставаться тут? И этот трезвый, тяжелый запах чужого пота, это бледно-серое небо в окне, большая черная муха, сидевшая на графине, — все говорило мне: уйди, встань и уйди.

Я спустил ноги на завернувшийся коврик, зачесал карманным гребешком волосы с висков назад, бесшумно прошел по комнате, надел пиджак, пальто, шляпу, подхватил чемодан и вышел, неслышно прикрыв за собою дверь. Думаю, что если бы даже я и взглянул невзначай на лицо моего спящего двойника, то я бы все-таки ушел, — но я и не почувствовал побуждения взглянуть, — как тот же отрок, только что мною помянутый, уже утром не удостаивает взглядом обольстительную фотографию, которой ночью упивался.

Быстрым шагом, испытывая легкое головокружение, я спустился по лестнице, заплатил за комнату и, провожаемый сонным взглядом лакея, вышел на улицу. Через полчаса я уже сидел в вагоне, веселила душу коньячная отрыжка, а в уголках рта остались соленые следы яичницы, торопливо съеденной в вокзальном буфете. Так на низкой пищеводной ноте кончается эта смутная глава.

ГЛАВА VI

Небытие Божье доказывается просто. Невозможно допустить, например, что некий серьезный Сый, всемогущий и всемудрый, занимался бы таким пустым делом, как игра в человечки, — да притом — и это, может быть, самое несуразное — ограничивая свою игру пошлейшими законами

механики, химии, математики, — и никогда — заметьте, никогда! — не показывая своего лица, а разве только исподтишка, обиняками, по-воровски — какие уж тут откровения! — высказывая спорные истины из-за спины нежного истерика. Все это божественное является, полагаю я, великой мистификацией, в которой, разумеется, уж отнюдь не повинны попы: они сами — ее жертвы. Идею Бога изобрел в утро мира талантливый шелопай, — как-то слишком отдает человечиной эта самая идея, чтобы можно было верить в ее лазурное происхождение, — но это не значит, что она порождена невежеством, — шелопай мой знал только в горних делах, — и право, не знаю, какой вариант небес мудрее: ослепительный плеск многоочитых ангелов или кривое зеркало, в которое уходит, бесконечно уменьшаясь, самодовольный профессор физики. Я не могу, не хочу в Бога верить еще и потому, что сказка о нем, — не моя, чужая, всеобщая сказка, — она пропитана неблаговонными испарениями миллионов других людских душ, повертевшихся в мире и лопнувших; в ней кишат древние страхи, в ней звучат, мешаясь и стараясь друг друга перекричать, неисчислимые голоса, в ней — глубокая одышка орга́на, рев дьякона, рулады кантора, негритянский вой, пафос речистого пастора, гонги, громы, клокотание кликуш, в ней просвечивают бледные страницы всех философий, как пена давно разбившихся волн, она мне чужда и противна, и совершенно не нужна.

Если я не хозяин своей жизни, не деспот своего бытия, то никакая логика и ничьи экстазы не разубедят меня в невозможной глупости моего положения, — положения раба Божьего, — даже не раба, а какой-то спички, которую зря зажигает и потом гасит любознательный ребенок — гроза своих игрушек. Но беспокоиться не о чем, Бога нет, как нет и бессмертия, — это второе чудище можно так же легко уничтожить, как и первое. В самом деле, — представьте себе, что вы умерли и вот очнулись в раю, где с улыбками вас встречают дорогие покойники. Так вот, скажите на милость, какая у нас гарантия, что это покойники подлинные, что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мелкий демон-мистификатор, изображающий, играющий вашу матушку с большим искусством и правдоподобием. Вот в чем затор, вот в чем ужас, и ведь игра-то будет долгая, бесконечная, никогда,

никогда, никогда душа на том свете не будет уверена, что ласковые, родные души, окружившие ее, не ряженые демоны, — и вечно, вечно, вечно душа будет пребывать в сомнении, ждать страшной, издевательской перемены в любимом лице, наклонившемся к ней. Поэтому я все приму, пускай — рослый палач в цилиндре, а затем — раковинный гул вечного небытия, но только не пытка бессмертием, только не эти белые, холодные собачки, — увольте, — я не вынесу ни малейшей нежности, предупреждаю вас, ибо все — обман, все — гнусный фокус, я не доверяю ничему и никому, — и когда самый близкий мне человек, встретив меня на том свете, подойдет ко мне и протянет знакомые руки, я заору от ужаса, я грохнусь на райский дерн, я забьюсь, я не знаю, что сделаю, — нет, закройте для посторонних вход в области блаженства.

Однако, несмотря на мое неверие, я по природе своей не уныл и не зол. Когда я из Тарница вернулся в Берлин и произвел опись своего душевного имущества, я, как ребенок, обрадовался тому небольшому, но несомненному богатству, которое оказалось у меня, и почувствовал, что, обновленный, освеженный, освобожденный, вступаю, как говорится, в новую полосу жизни. У меня была глупая, но симпатичная, преклонявшаяся предо мной жена, славная квартирка, прекрасное пищеварение и синий автомобиль. Я ощущал в себе поэтический, писательский дар, а сверх того — крупные деловые способности, — даром что мои дела шли неважно. Феликс, двойник мой, казался мне безобидным курьезом, и я бы в те дни, пожалуй, рассказал о нем другу, подвернись такой друг. Мне приходило в голову, что следует бросить шоколад и заняться другим, — например, изданием дорогих роскошных книг, посвященных всестороннему освещению эроса — в литературе, в искусстве, в медицине... Вообще во мне проснулась пламенная энергия, которую я не знал к чему приложить. Особенно помню один вечер: вернувшись из конторы домой, я не застал жены, она оставила записку, что ушла в кинематограф на первый сеанс, — я не знал, что делать с собой, ходил по комнатам и щелкал пальцами, — потом сел за письменный стол, — думал заняться художественной прозой, но только замусолил перо да нарисовал несколько капающих носов, — встал и вышел, мучимый жаждой хоть какого-нибудь общения с миром, — собственное общество

мне было невыносимо, оно слишком возбуждало меня, и возбуждало впустую. Отправился я к Ардалиону, — человек он с шутовской душой, полнокровный, презренный, — когда он наконец открыл мне (боясь кредиторов, он запирал комнату на ключ), я удивился, почему я к нему пришел.

«Лида у меня, — сказал он, жуя что-то (потом оказалось: резинку). — Барыне нездоровится, разоблачайтесь».

На постели Ардалиона, полуодетая, то есть без туфель и в мятом зеленом чехле, лежала Лида и курила.

«О, Герман, — проговорила она, — как хорошо, что ты догадался прийти, у меня что-то с животом. Садись ко мне. Теперь мне лучше, а в кинематографе было совсем худо».

«Не досмотрели боевика, — пожаловался Ардалион, ковыряя в трубке и просыпая черную золу на пол. — Вот уж полчаса, как валяется. Все это дамские штучки, — здорова, как корова».

«Попроси его замолчать», — сказала Лида.

«Послушайте, — обратился я к Ардалиону, — ведь не ошибаюсь я, ведь у вас действительно есть такой натюрморт — трубка и две розы?»

Он издал звук, который неразборчивые в средствах романисты изображают так: «Гм».

«Нету. Вы что-то путаете, синьор».

«Мое первое, — сказала Лида, лежа с закрытыми глазами, — мое первое — большая и неприятная группа людей, мое второе... мое второе — зверь по-французски, — а мое целое — такой маляр».

«Не обращайте на нее внимания, — сказал Ардалион. — А насчет трубки и роз, — нет, не помню, — впрочем, посмотрите сами».

Его произведения висели по стенам, валялись на столе, громоздились в углу в пыльных папках. Все вообще было покрыто серым пушком пыли. Я посмотрел на грязные фиолетовые пятна акварелей, брезгливо перебрал несколько жирных листов, лежавших на валком стуле.

«Во-первых, “орда” пишется через “о”, — сказал Ардалион. — Изволили спутать с арбой».

Я вышел из комнаты и направился к хозяйке в столовую. Хозяйка, старуха, похожая на сову, сидела у окна, на ступень выше пола, в готическом кресле и штопала чулок на грибе. «Посмотреть на картины», — сказал я.

«Прошу вас», — ответила она милостиво.

Справа от буфета висело как раз то, что я искал, — но оказалось, что это не совсем две розы и не совсем трубка, а два больших персика и стеклянная пепельница.

Вернулся я в сильнейшем раздражении.

«Ну, что, — спросил Ардалион, — нашли?»

Я покачал головой. Лида уже была в платье и приглаживала перед зеркалом волосы грязнейшей Ардалионовой щеткой.

«Главное, ничего такого не ела», — сказала она, суживая по привычке нос.

«Просто газы, — заметил Ардалион. — Погодите, господа, я выйду с вами вместе, — только оденусь. Отвернись, Лидуша».

Он был в заплатанном, испачканном краской малярском балахоне почти до пят. Снял его. Внизу были кальсоны — больше ничего. Я ненавижу неряшливость и нечистоплотность. Ей-Богу, Феликс был как-то чище его. Лида глядела в окно и напевала, дурно произнося немецкие слова, уже успевшую выйти из моды песенку. Ардалион бродил по комнате, одеваясь по мере того, как находил — в самых неожиданных местах — разные части своего туалета.

«Эх-ма! — воскликнул он вдруг. — Что может быть банальнее бедного художника? Если бы мне кто-нибудь помог устроить выставку, я стал бы сразу славен и богат».

Он у нас ужинал, потом играл с Лидой в дураки и ушел за полночь. Даю все это как образец весело и плодотворно проведенного вечера. Да, все было хорошо, все было отлично, — я чувствовал себя другим человеком — освеженным, обновленным, освобожденным, — и так далее, — квартира, жена, балагуры-друзья, приятный, пронизывающий холод железной берлинской зимы, — и так далее. Не могу удержаться и от того, чтобы не привести примера тех литературных забав, коим я начал предаваться, — бессознательная тренировка, должно быть, перед теперешней работой моей над сей изнурительной повестью. Сочиненьица той зимы я давно уничтожил, но довольно живо у меня осталось в памяти одно из них. Как хороши, как свежи... Музычку, пожалуйста!

Жил-был на свете слабый, вялый, но состоятельный человек, некто Игрек Иксович. Он любил обольстительную барышню, которая, увы, не обращала на него никакого внимания. Однажды, путешествуя, этот бледный, скучный

человек увидел на берегу моря молодого рыбака, по имени Дика, веселого, загорелого, сильного, и вместе с тем — о чудо! — поразительно, невероятно похожего на него. Интересная мысль зародилась в нем: он пригласил барышню поехать с ним к морю. Они остановились в разных гостиницах. В первое же утро она, отправившись гулять, увидела с обрыва — кого? неужели Игрека Иксовича?? — вот не думала! Он стоял внизу на песке, веселый, загорелый, в полосатой фуфайке, с голыми могучими руками (но это был Дик). Барышня вернулась в гостиницу и, трепета полна, принялась его ждать. Минуты ей казались часами. Он же, настоящий Игрек Иксович, видел из-за куста, как она смотрит с обрыва на Дика, его двойника, и теперь, выжидая, чтоб окончательно созрело ее сердце, беспокойно слонялся по поселку в городской паре, в сиреневом галстуке, в белых башмаках. Внезапно какая-то смуглая, яркоглазая девушка в красной юбке окликнула его с порога хижины, — всплеснула руками: «Как ты чудно одет, Дик! Я думала, что ты просто грубый рыбак, как все наши молодые люди, и я не любила тебя, — но теперь, теперь...» Она увлекла его в хижину. Шепот, запах рыбы, жгучие ласки... протекали часы... я открыла глаза, мой покой был весь облит зарею... Наконец Игрек Иксович направился в гостиницу, где ждала его та — нежная, единственная, которую он так любил. «Я была слепа! — воскликнула она, как только он вошел. — И вот — прозрела, увидя на солнечном побережье твою бронзовую наготу. Да, я люблю тебя, делай со мной все что хочешь!» Шепот? Жгучие ласки? Протекали часы?.. Нет, увы нет, отнюдь нет. Бедняга был истощен недавним развлечением и грустно, понуро сидел, раздумывая над тем, как сам сдуру предал, обратил в ничто свой остроумнейший замысел...

Литература неважная, — сам знаю. Покамест я это писал, мне казалось, что выходит очень умно и ловко, — так иногда бывает со снами: во сне великолепно, с блеском, говоришь, — а проснешься, вспоминаешь: вялая чепуха. С другой же стороны, эта псевдоуайльдовская сказочка вполне пригодна для печатания в газете, — редактора любят потчевать читателей этакими чуть-чуть вольными, кокетливыми рассказчиками в сорок строк, с элегантной пуантой и с тем, что невежды называют парадокс («Его разговор был усыпан парадоксами»). Да, пустяк, шалость пера, но

как вы удивитесь сейчас, когда скажу, что пошлятину эту я писал в муках, с ужасом и скрежетом зубовным, яростно облегчая себя и вместе с тем сознавая, что никакое это не облегчение, а изысканное самоистязание и что этим путем я ни от чего не освобожусь, а только пуще себя расстрою.

В таком приблизительно расположении духа я встретил Новый Год, — помню эту черную тушу ночи, дуру-ночь, затаившую дыхание, ожидавшую боя часов, сакраментального срока. За столом сидят Лида, Ардалион, Орловиус и я, неподвижные и стилизованные, как зверье на гербах: Лида, положившая локоть на стол и настороженно поднявшая палец, голоплечая, в пестром, как рубашка игральной карты, платье; Ардалион, завернувшийся в плед (дверь на балкон открыта), с красным отблеском на толстом львином лице; Орловиус — в черном сюртуке, очки блестят, отложной воротничок поглотил края крохотного черного галстука; — и я, человек-молния, озаривший эту картину. Конечно, разрешаю вам двигаться, скорее сюда бутылку, сейчас пробьют часы. Ардалион разлил по бокалам шампанское, и все замерли опять. Боком и поверх очков Орловиус глядел на старые серебряные часы, выложенные им на скатерть: еще две минуты. Кто-то на улице не выдержал — затрещал и лопнул, — а потом снова — напряженная тишина. Фиксируя часы, Орловиус медленно протянул к бокалу старческую, с когтями грифона, руку.

Внезапно ночь стала рваться по швам, с улицы раздались заздравные крики, мы по-королевски вышли с бокалами на балкон, — над улицей взвивались и, бахнув, разражались цветными рыданиями ракеты, — и во всех окнах, на всех балконах, в клиньях и квадратах праздничного света, стояли люди, выкрикивали одни и те же бессмысленно радостные слова.

Мы все четверо чокнулись, я отпил глоток.

«За что пьет Герман?» — спросила Лида у Ардалиона.

«А я почем знаю, — ответил тот. — Все равно он в этом году будет обезглавлен — за сокрытие доходов».

«Фуй, как нехорошо, — сказал Орловиус. — Я пью за всеобщее здоровье».

«Естественно», — заметил я.

Спустя несколько дней, в воскресное утро, пока я мылся в ванне, постучала в дверь прислуга, — она что-то говорила, — шум льющейся воды заглушал слова, — я закричал:

«В чем дело? Что вам надо?» — но мой собственный крик и шум воды заглушали то, что Эльза говорила, и всякий раз, что она начинала сызнова говорить, я опять кричал, — как иногда двое не могут разминуться на широком, пустом тротуаре, — но наконец я догадался завернуть кран, подскочил к двери, и среди внезапной тишины Эльза отчетливо сказала:

«Вас хочет видеть человек».

«Какой человек?» — спросил я и отворил на дюйм дверь.

«Какой-то человек», — повторила Эльза.

«Что ему нужно?» — спросил я и почувствовал, что вспотел с головы до пят.

«Говорит, что по делу и что вы знаете, какое дело».

«Какой у него вид?» — спросил я через силу.

«Он ждет в прихожей», — сказала Эльза.

«Вид какой — я спрашиваю».

«Бедный на вид, с рукзаком», — ответила она.

«Так пошлите его ко всем чертям! — крикнул я. — Пускай уберется мгновенно, меня нет дома, меня нет в Берлине, меня нет на свете!..»

Я прихлопнул дверь, щелкнул задвижкой. Сердце прыгало до горла. Прошло, может быть, полминуты. Не знаю, что со мной случилось, но, уже крича, я вдруг отпер дверь, полуголый выскочил из ванной, встретил Эльзу, шедшую по коридору на кухню.

«Задержите его, — кричал я. — Где он? Задержите!»

«Ушел, — ничего не сказал и ушел».

«Кто вам велел...» — начал я, но не докончил, помчался в спальню, оделся, выбежал на лестницу, на улицу. Никого, никого. Я дошел до угла, постоял, озираясь, и вернулся в дом. Лиды не было, спозаранку ушла к какой-то своей знакомой. Когда она вернулась, я сказал ей, что дурно себя чувствую и не пойду с ней в кафе, как было условлено.

«Бедный, — сказала она. — Ложись. Прими что-нибудь, у нас есть салипирин. Я, знаешь, пойду в кафе одна».

Ушла. Прислуга ушла тоже. Я мучительно прислушивался, ожидая звонка. «Какой болван, — повторял я, — какой неслыханный болван!» Я находился в ужасном, прямо-таки болезненном и нестерпимом волнении, я не знал, что делать, я готов был молиться небытному Богу, чтобы раздался звонок. Когда стемнело, я не зажег света, а продолжал лежать на диване и все слушал, слушал, — он, наверное,

еще придет до закрытия наружных дверей, а если нет, то уж завтра или послезавтра совсем, совсем наверное, — я умру, если он не придет, — он должен прийти. Около восьми звонок наконец раздался. Я выбежал в прихожую.

«Фу, устала!» — по-домашнему сказала Лида, сдергивая на ходу шляпу и тряся волосами.

Ее сопровождал Ардалион. Мы с ним прошли в гостиную, а жена отправилась на кухню.

«Холодно, странничек, голодно», — сказал Ардалион, грея ладони у радиатора.

Пауза.

«А все-таки, — произнес он, щурясь на мой портрет, — очень похоже, замечательно похоже. Это нескромно, но я всякий раз любуюсь им, — и вы хорошо сделали, сэр, что опять сбрили усы».

«Кушать пожалуйте», — нежно сказала Лида, приоткрыв дверь.

Я не мог есть, я продолжал прислушиваться, хотя теперь уже было поздно.

«Две мечты, — говорил Ардалион, складывая пласты ветчины, как это делают с блинами, и жирно чавкая. — Две райских мечты: выставка и поездка в Италию».

«Человек, знаешь, больше месяца как не пьет», — объяснила мне Лида.

«Ах, кстати, — Перебродов у вас был?» — спросил Ардалион.

Лида прижала ладонь ко рту. «Забула, — проговорила она сквозь пальцы. — Сувсем забула».

«Экая ты росомаха! Я ее просил вас предупредить. Есть такой несчастный художник, Васька Перебродов, пешком пришел из Данцига, — по крайней мере говорит, что из Данцига и пешком. Продает расписные портсигары. Я его направил к вам, Лида сказала, что поможете».

«Заходил, — ответил я, — заходил, как же, и я его послал к чортовой матери. Был бы очень вам обязан, если бы вы не посылали ко мне всяких проходимцев. Можете передать вашему коллеге, чтобы он больше не утруждал себя хождением ко мне. Это в самом деле странно. Можно подумать, что я присяжный благотворитель. Пойдите к чорту с вашим Перебродовым, я вам просто запрещаю!..»

«Герман, Герман», — мягко вставила Лида.

Ардалион пукнул губами. «Грустная история», — сказал он.

Еще некоторое время я продолжал браниться, точных слов не помню, да это и неважно.

«Действительно, — сказал Ардалион, косясь на Лиду, — кажется, маху дал. Виноват».

Вдруг замолчав, я задумался, мешая ложечкой давно размешанный чай, и погодя проговорил вслух:

«Какой я все-таки остолоп».

«Ну зачем же сразу так перебарщивать», — добродушно сказал Ардалион.

Моя глупость меня самого развеселила. Как мне не пришло в голову, что, если бы он вправду явился (а уже одно его появление было бы чудом, — ведь он даже имени моего не знает), с горничной должен был бы сделаться родимчик, ибо перед нею стоял бы мой двойник! Теперь я живо представил себе, как бы она вскрикнула, как прибежала бы ко мне, как, захлебываясь, завопила бы о сходстве... Я бы ей объяснил, что это мой брат, неожиданно прибывший из России... Между тем я провел длинный, одинокий день в бессмысленных страданиях, — и вместо того, чтобы дивиться его появлению, старался решить, что случится дальше: ушел ли он навсегда или явится, и что у него на уме, и возможно ли теперь воплощение моей так и не побежденной, моей дикой и чудной мечты, — или уже двадцать человек, знающих меня в лицо, видели его на улице, и все пошло прахом. Пораздумав над своим недомыслием и над опасностью, так просто рассеявшейся, я почувствовал, как уже сказал, наплыв веселия и добросердия.

«Я сегодня нервен. Простите. Честно говоря, я просто не видел вашего симпатичного Перебродова. Он пришел некстати, я мылся, и Эльза сказала ему, что меня нет дома. Вот: передайте ему эти три марки, когда увидите его, — чем богат, тем и рад, — но скажите ему, что больше дать не в состоянии, пускай обратится, например, к Давыдову, Владимиру Исаковичу».

«Это идея, — сказал Ардалион. — Я и сам там стрельну. Пьет он, между прочим, как зверь, Васька Перебродов. Спросите мою тетушку, ту, которая вышла за французского фермера, — я вам рассказывал, — очень живая особа, но несосветимо скупа. У нее около Феодосии было имение, мы там с Васькой весь погреб выпили в двадцатом году».

«А насчет Италии еще поговорим, — сказал я, улыбаясь, — да-да, поговорим».

«У Германа золотое сердце», — заметила Лида.

«Передай-ка мне колбасу, дорогая», — сказал я все с той же улыбкой.

Я тогда не совсем понимал, что со мною творилось, — но теперь понимаю: глухо, но буйно — и вот, уже неудержимо — вновь нарастала во мне страсть к моему двойнику. Первым делом это выразилось в том, что в Берлине появилась для меня некая смутная точка, вокруг которой почти бессознательно, движимый невнятной силой, я начал замыкать круги. Густая синева почтового ящика, желтый толстошинный автомобиль со стилизованным черным орлом под решетчатым оконцем, почтальон с сумой на животе, идущий по улице медленно, с той особой медленностью, какая бывает в ухватках опытных рабочих, синий, прищуренный марочный автомат у вокзала и даже лавка, где в конвертах с просветом заманчиво теснятся аппетитно смешанные марки всех стран, — все вообще связанное с почтой стало оказывать на меня какое-то давление, какое-то неотразимое влияние. Однажды, помнится, почти как сомнамбул, я оказался в одном знакомом мне переулке, и вот уже близился к той смутной и притягательной точке, которая стала срединой моего бытия, — но как раз спохватился, ушел, — а через некоторое время, — через несколько минут, а может быть, через несколько дней, — заметил, что снова, но с другой стороны вступил в тот переулок. Навстречу мне с развальцем шли синие почтальоны и на углу разбрелись кто куда. Я повернул, кусая заусеницы, — я тряхнул головой, я еще противился. Главное: ведь я знал, страстным и безошибочным чутьем, что письмо для меня есть, что ждет оно моего востребования, — и знал, что рано или поздно поддамся соблазну.

ГЛАВА VII

Во-первых: эпиграф, но не к этой главе, а так, вообще: литература — это любовь к людям. Теперь продолжим.

В помещении почтамта было темновато. У окошек стояло по два, по три человека, все больше женщины. В каждом окошке, как тусклый портрет, виднелось лицо чиновника. Вон там — номер девятый. Я не сразу решился... Подойдя сначала к столу посреди помещения — столу,

разделенному перегородками на конторки, я притворился перед самим собой, что мне нужно кое-что написать, нашел в кармане старый счет и на обороте принялся выводить первые попавшиеся слова. Казенное перо неприятно трещало, я совал его в дырку чернильницы, в черный плевок; по бледному бювару, на который я облокотился, шли, так и сяк скрещиваясь, отпечатки неведомых строк, — иррациональный почерк, минус-почерк, — что всегда напоминает мне зеркало, — минус на минус дает плюс. Мне пришло в голову, что и Феликс — некий минус я, — изумительной важности мысль, которую я напрасно, напрасно до конца не продумал. Между тем худосочное перо в моей руке писало такие слова: «Не надо, не хочу, хочу, чухонец, хочу, не надо, ад». Я смял листок в кулаке, нетерпеливая толстая женщина протиснулась и схватила освободившееся перо, отбросив меня ударом каракулевого крупа. Я вдруг оказался перед окошком номер девять. Большое лицо с бледными усами вопросительно посмотрело на меня. Шепотом я сказал пароль. Рука с черным чехольчиком на указательном пальце протянула мне целых три письма. Мне кажется, все это произошло мгновенно, — и через мгновение я уже шагал по улице, прижимая руку к груди. Дойдя до ближайшей скамьи, сел и жадно распечатал письма.

Поставь там памятник, — например, желтый столб. Пусть будет отмечена вещественной вехой эта минута. Я сидел и читал, — и вдруг меня стал душить нежданный и неудержимый смех. Господа, то были письма шантажного свойства! Шантажное письмо, за которым, может быть, никто и никогда не придет, шантажное письмо, которое посылается до востребования и под условным шифром, то есть с откровенным признанием, что отправитель не знает ни адреса, ни имени получателя, — это безумно смешной парадокс! В первом из этих трех писем — от середины ноября — шантажный мотив еще звучал под сурдинкой. Оно дышало обидой, оно требовало от меня объяснений, — пишущий поднимал брови, готовый, впрочем, улыбнуться своей высокобровой улыбкой, — он не понимал, он очень хотел понять, почему я вел себя так таинственно, ничего не договорил, скрылся посреди ночи... Некоторые все же подозрения у него были, — но он еще не желал играть в открытую, был готов эти подозрения утаить от мира, ежели я поступлю как нужно, — и с достоинством выражал

свое недоумение, и с достоинством ждал ответа. Все это было донельзя безграмотно и вместе с тем манерно, — эта смесь и была его стилем. В следующем письме — от конца декабря (какое терпение: ждал месяц!) — шантажная музычка уже доносилась гораздо отчетливее. Уже ясно было, отчего он вообще писал. Воспоминание о тысячемарковом билете, об этом серо-голубом видении, мелькнувшем перед его носом и вдруг исчезнувшем, терзало душу, вожделение его было возбуждено до крайности, он облизывал сухие губы, не мог простить себе, что выпустил меня и со мной — обольстительный шелест, от которого зудело в кончиках пальцев. Он писал, что готов встретиться со мной снова, что многое за это время обдумал, — но что если я от встречи уклонюсь или просто не отвечу, то он принужден будет... и тут распласталась огромная клякса, которую подлец поставил нарочно — с целью меня заинтриговать, — ибо сам совершенно не знал, какую именно объявить угрозу. Наконец, третье письмо, январское, было для Феликса настоящим шедевром. Я его помню подробнее других, так как несколько дольше других оно у меня пребывало... «Не получив ответа на мои прежние письма, мне начинает казаться, что пора-пора принять известные меры, но все ж таки я вам даю еще месяц на размышления, после чего обращусь в такое место, где ваши поступки будут вполне и полностью оценены, а если и там симпатии не встречу, ибо кто неподкупен, то прибегну к воздействию особого рода, что вообразить я всецело предоставляю вам, так как считаю, что когда власти не желают да и только карать мошенников, долг всякого честного гражданина учинить по отношению к нежелательному лицу такой разгром и шум, что поневоле государство будет принуждено реагировать, но, входя в ваше личное положение, я готов по соображениям доброты и услужливости от своих намерений отказаться и никакого грохота не делать под тем условием, что вы в течение сего месяца пришлете мне, пожалуйста, довольно большую сумму для покрытия всех тревог, мною понесенных, размер которой оставляю на ваше почтенное усмотрение». Подпись: «Воробей», а ниже — адрес провинциального почтамта.

Я долго наслаждался этим последним письмом, всю прелесть которого едва ли может передать посильный мой перевод. Мне все нравилось в нем — и торжественный

поток слов, не стесненных ни одной точкой, и тупая, мелкая подлость этого невинного на вид человека, и подразумеваемое согласие на любое мое предложение, как бы оно ни было гнусно, лишь бы пресловутая сумма попала ему в руки. Но главное, что доставляло мне наслаждение, — наслаждение такой силы и полноты, что трудно было его выдержать, — состояло в том, что Феликс сам, без всякого моего принуждения, вновь появлялся, предлагал мне свои услуги, — более того, заставлял меня эти услуги принять и, делая все то, что мне хотелось, при этом как бы снимал с меня всякую ответственность за роковую последовательность событий.

Я трясся от смеха, сидя на той скамье, — о, поставьте там памятник — желтый столб — непременно поставьте! Как он себе представлял, этот балда: что его письма будут каким-то телепатическим образом подавать мне весть о своем прибытии? что, чудом прочтя их, я чудом поверю в силу его призрачных угроз? А ведь забавно, что я действительно почуял появление его писем за окошком номер девять и действительно собирался ответить на них — точно впрямь убоясь их угроз, — то есть исполнялось все, что он по неслыханной, наглой глупости своей предполагал, что исполнится. И, сидя на скамье и держа эти письма в горячих своих объятиях, я почувствовал, что замысел мой наметился окончательно, что все готово или почти готово, — не хватало двух-трех штрихов, наложение которых труда не представляло. Да и что такое труд в этой области? Все делалось само собой, все текло и плавно сливалось, принимая неизбежные формы, — с того самого мига, как я впервые увидел Феликса, — ах, разве можно говорить о труде, когда речь идет о гармонии математических величин, о движении планет, о планомерности природных законов? Чудесное здание строилось как бы помимо меня, — да, все с самого начала мне пособляло, — и теперь, когда я спросил себя, чтó напишу Феликсу, я понял, без большого, впрочем, удивления, что это письмо уже имеется в моем мозгу, — готово, как те поздравительные телеграммы с виньеткой, которые за известную приплату можно послать новобрачным. Следовало только вписать в готовый формуляр дату, — вот и все.

Поговорим о преступлениях, об искусстве преступления, о карточных фокусах, я очень сейчас возбужден.

Конан Дойль! Как чудесно ты мог завершить свое творение, когда надоели тебе герои твои! Какую возможность, какую тему ты профукал! Ведь ты мог написать еще один последний рассказ, — заключение всей Шерлоковой эпопеи, эпизод, венчающий все предыдущие: убийцей в нем должен был бы оказаться не одноногий бухгалтер, не китаец Чинг и не женщина в красном, а сам Пимен всей криминальной летописи, сам доктор Ватсон, — чтобы Ватсон был бы, так сказать, виноватсон... Безмерное удивление читателя! Да что Дойль, Достоевский, Леблан, Уоллес, что все великие романисты, писавшие о ловких преступниках, что все великие преступники, не читавшие ловких романистов! Все они невежды по сравнению со мной. Как бывает с гениальными изобретателями, мне, конечно, помог случай (встреча с Феликсом), но этот случай попал как раз в формочку, которую я для него уготовил, этот случай я заметил и использовал, чего другой на моем месте не сделал бы. Мое создание похоже на пасьянс, составленный наперед: я разложил открытые карты так, чтобы он выходил наверняка, собрал их в обратном порядке, дал приготовленную колоду другим, — пожалуйста, разложите, — ручаюсь, что выйдет! Ошибка моих бесчисленных предтечий состояла в том, что они рассматривали самый акт как главное и уделяли больше внимания тому, как потом замести следы, нежели тому, как наиболее естественно довести дело до этого самого акта, ибо он только одно звено, одна деталь, одна строка, он должен естественно вытекать из всего предыдущего, — таково свойство всех искусств. Если правильно задумано и выполнено дело, сила искусства такова, что, явись преступник на другой день с повинной, ему бы никто не поверил, — настолько вымысел искусства правдивее жизненной правды.

Все это, помнится, промелькнуло у меня в голове именно тогда, когда я сидел на скамье с письмами в руках, — но тогда было одно, теперь — другое; я бы внес теперь небольшую поправку, а именно ту, что, как бывает и с волшебными произведениями искусства, которых чернь долгое время не признает, не понимает, коих обаянию не поддается, так случается и с самым гениально продуманным преступлением: гениальности его не признают, не дивятся ей, а сразу выискивают, чтó бы такое раскритиковать, охаять, чем бы таким побольнее уязвить автора, и кажется им, что они

нашли желанный промах, — вот они гогочут, но ошиблись они, а не автор, — нет у них тех изумительно зорких глаз, которыми снабжен автор, и не видят они ничего особенного там, где автор увидел чудо.

Посмеявшись, успокоившись, ясно обдумав дальнейшие свои действия, я положил третье, самое озорное, письмо в бумажник, а два остальных разорвал на мелкие клочки, бросил их в кусты соседнего сквера, при чем мигом слетелось несколько воробьев, приняв их за крошки. Затем, отправившись к себе в контору, я настукал письмо к Феликсу с подробными указаниями, куда и когда явиться, приложил двадцать марок и вышел опять. Мне всегда трудно разжать пальцы, держащие письмо над щелью, — это вроде того, как прыгнуть в холодную воду или в воздух с парашютом, — и теперь мне было особенно трудно выпустить письмо, — я, помнится, переглотнул, зарябило под ложечкой, — и, все еще держа письмо в руке, я пошел по улице, остановился у следующего ящика, и повторилась та же история. Я пошел дальше, все еще нагруженный письмом, как бы сгибаясь под бременем этой огромной белой ноши, и снова через квартал увидел ящик. Мне уже надоела моя нерешительность — совершенно беспричинная и бессмысленная ввиду твердости моих намерений, — быть может, просто физическая, машинальная нерешительность, нежелание мышц ослабнуть, — или еще, как сказал бы марксистский комментатор (а марксизм подходит ближе всего к абсолютной истине, да-с), нерешительность собственника, все не могущего, такая уж традиция в крови, расстаться с имуществом, — причем в данном случае имущество измерялось не просто деньгами, которые я посылал, а той долей моей души, которую я вложил в строки письма. Но как бы там ни было, я колебания свои преодолел, когда подходил к четвертому или пятому ящику, и знал с той же определенностью, как знаю сейчас, что напишу эту фразу, знал, что уж теперь наверное опущу письмо в ящик — и даже сделаю потом этакий жестик, побью ладонь о ладонь, точно могли к перчаткам пристать какие-то пылинки от этого письма, уже брошенного, уже не моего, и потому и пыль от него тоже не моя, дело сделано, все чисто, все кончено, — но письма я в ящик все-таки не бросил, а замер, еще согбенный под ношей, глядя исподлобья на двух девочек, игравших возле меня на панели: они по очереди кидали

стеклянно-радужный шарик, метя в ямку, там, где панель граничила с землей. Я выбрал младшую — худенькую, темноволосую, в клетчатом платьице, как ей не было холодно в этот суровый февральский день? — и, потрепав ее по голове, сказал ей: «Вот что, детка, я плохо вижу, очень близорук, боюсь, что не попаду в щель, — опусти письмо за меня вон в тот ящик». Она посмотрела, поднялась с корточек, у нее лицо было маленькое, прозрачно-бледное и необыкновенно красивое, взяла письмо, чудно улыбнулась, хлопнув длинными ресницами, и побежала к ящику. Остального я не доглядел, а пересек улицу, — щурясь (это следует отметить), как будто действительно плохо видел, и это было искусство ради искусства, ибо я уже отошел далеко. На углу следующей площади я вошел в стеклянную будку и позвонил Ардалиону: мне было необходимо кое-что предпринять по отношению к нему, я давно решил, что именно этот въедливый портретист — единственный человек, для меня опасный. Пускай психологи выясняют, навела ли меня притворная близорукость на мысль тотчас исполнить то, что я насчет Ардалиона давно задумал, или же, напротив, постоянное воспоминание о его опасных глазах толкнуло меня на изображение близорукости. Ах, кстати, кстати... она подрастет, эта девочка, будет хороша собой и, вероятно, счастлива, и никогда не будет знать, в каком диковинном и страшном деле она послужила посредницей, — а впрочем, возможно и другое: судьба, не терпящая такого бессознательного, наивного маклерства, завистливая судьба, у которой самой губа не дура, которая сама знает толк в мелком жульничестве, жестоко девочку эту покарает, за вмешательство, а та станет удивляться, почему я такая несчастная, за что мне это, и никогда, никогда, никогда ничего не поймет. Моя же совесть чиста. Не я написал Феликсу, а он мне, не я послал ему ответ, а неизвестный ребенок.

Когда я пришел в скромное, но приятное кафе, напротив которого, в сквере, бьет в летние вечера и как будто вертится муаровый фонтан, остроумно освещаемый снизу разноцветными лампами (а теперь все было голо и тускло, и не цвел фонтан, и в кафе толстые портьеры торжествовали победу в классовой борьбе с бродячими сквозняками, — как я здорово пишу и, главное, спокоен, совершенно спокоен), когда я пришел, Ардалион уже там сидел и, увидев

меня, поднял по-римски руку. Я снял перчатки, белое шелковое кашнэ и сел рядом с Ардалионом, выложив на стол коробку дорогих папирос.

«Что скажете новенького?» — спросил Ардалион, всегда говоривший со мной шутовским тоном.

Я заказал кофе и начал примерно так:

«Кое-что у меня для вас действительно есть. Последнее время, друг мой, меня мучит сознание, что вы погибаете. Мне кажется, что из-за материальных невзгод и общей затхлости вашего быта талант ваш умирает, чахнет, не бьет ключом, все равно как теперь зимою не бьет цветной фонтан в сквере напротив».

«Спасибо за сравнение, — обиженно сказал Ардалион. — Какой ужас... хорошенькое освещение под монпансье. Да и вообще — зачем говорить о таланте, вы же не понимаете в искусстве ни кия».

«Мы с Лидой не раз обсуждали, — продолжал я, игнорируя его пошлое замечание, — незавидное ваше положение. Мне кажется, что вам следовало бы переменить атмосферу, освежиться, набраться новых впечатлений».

«При чем тут атмосфера», — поморщился Ардалион.

«Я считаю, что здешняя губит вас, — значит, при чем. Эти розы и персики, которыми вы украшаете столовую вашей хозяйки, эти портреты почтенных лиц, у которых вы норовите поужинать...»

«Ну уж и норовлю...»

«...все это, может быть, превосходно, даже гениально, но — простите за откровенность — как-то однообразно, вынужденно. Вам следовало бы пожить среди другой природы, в лучах солнца, — солнце — друг художников. Впрочем, этот разговор вам, по-видимому, неинтересен. Поговорим о другом. Скажите, например, как обстоит дело с вашим участком?»

«А чорт его знает. Мне присылают какие-то письма по-немецки, я бы попросил вас перевести, но скучно, да и письма эти либо теряю, либо рву. Требуют, кажется, добавочных взносов. Летом возьму и построю там дом. Они уж тогда не вытянут из-под него землю. Но вы что-то говорили, дорогой, о перемене климата. Валяйте, — я слушаю».

«Ах, зачем же, вам это неинтересно. Я говорю резонные вещи, а вы раздражаетесь».

«Христос с вами, — с чего бы я стал раздражаться? Напротив, напротив...»

«Да нет, зачем же».

«Вы, дорогой, упомянули об Италии. Жарьте дальше. Мне нравится эта тема».

«Еще не упоминал, — сказал я со смехом. — Но раз вы уже сказали это слово... Здесь, между прочим, довольно уютно. Вы, говорят, временно перестали?..» — я многозначительно пощелкал себя по шее.

«Оного больше не употребляю. Но сейчас, знаете, я бы чего-нибудь такого за компанию... Соснак из легких виноградных вин... Нет, шучу».

«Да, не нужно, это ни к чему, меня все равно напоить невозможно. Вот, значит, какие дела. Ох, плохо я сегодня спал... Ох-о-хох. Ужасная вещь бессонница, — продолжал я, глядя на него сквозь слезы. — Ох... Простите, раззевался».

Ардалион, мечтательно улыбаясь, играл ложечкой. Его толстое лицо с львиной переносицей было наклонено, и рыжие веки в бородавках ресниц полуприкрывали его возмутительно яркие глаза. Вдруг, блеснув на меня, он сказал:

«Если бы я съездил в Италию, то действительно написал бы роскошные вещи. Из выручки за них я бы сразу погасил свой долг».

«Долг? У вас есть долги?» — спросил я насмешливо.

«Полноте, Герман Карлович, — проговорил он, впервые, кажется, назвав меня по имени-отчеству, — вы же понимаете, куда я гну. Одолжите мне сотенку-другую, и я буду молиться за вас во всех флорентийских церквах».

«Вот вам пока что на визу, — сказал я, распахнув бумажник. — Только сделайте это немедленно, а то пропьете. Завтра же утром пойдите».

«Дай лапу», — сказал Ардалион.

Некоторое время мы оба молчали, — он от избытка малоинтересных мне чувств, я — потому, что дело было сделано, говорить же было не о чем.

«Идея, — вдруг воскликнул Ардалион, — почему бы вам, дорогой, не отпустить со мной Лидку, ведь тут тощища страшная, барыньке нужны развлечения. Я, знаете, если поеду один... Она ведь ревнючая, — ей все будет казаться, что где-то нализываюсь. Право же, отпустите ее со мной на месяц, а?»

«Может быть, погодя приедет, — оба приедем, — я тоже давно мечтаю о небольшом путешествии. Ну-с, мне нужно идти. Два кофе, — все, кажется».

ГЛАВА VIII

На следующий день спозаранку — не было еще девяти — я отправился на одну из центральных станций подземной дороги и там у выхода занял стратегическую позицию. Через ровные промежутки времени из каменных недр вырывалась наружу очередная партия людей с портфелями — вверх по лестнице, шаркая, топая, иногда со звяком стукался носок о металл объявления, которым какая-то фирма находит уместным облицовывать подъем ступеней. На предпоследней, спиной к стене, держа перед собою шляпу (кто был первый гениальный нищий, применивший шляпу к своей профессии?), нарочито сутулился пожилой оборванец. Повыше стояли, увешанные плакатами, газетчики в шутовских фуражках. Был темный жалкий день; несмотря на гетры, у меня мерзли ноги. Наконец, ровно без пяти девять, как я и рассчитывал, появилась из глубины фигура Орловиуса. Я тотчас повернулся и медленно пошел прочь. Орловиус перегнал меня, оглянулся, оскалил свои прекрасные, но фальшивые зубы. Встреча вышла как бы случайной, что мне и нужно было.

«Да, по пути, — ответил я на его вопрос. — Хочу зайти в банк».

«Собачья погода, — сказал Орловиус, шлепая рядом со мной. — Как поживает ваша супруга?»

«Спасибо, благополучно».

«А у вас все идет хорошо?» — учтиво продолжал он.

«Не очень. Нервное настроение, бессонница, всякие пустяки, которые прежде забавляли бы меня, а теперь раздражают».

«Кушайте лимоны», — вставил Орловиус.

«Прежде забавляли бы, а теперь раздражают. Вот, например... — я усмехнулся и вынул бумажник, — ...получил я дурацкое шантажное письмо, и оно как-то повлияло на меня. Кстати, прочтите, — курьезно».

Орловиус остановился и близко придвинул листок к очкам. Пока он читал, я рассматривал витрину, где торжественно и глупо белели две ванны и разные другие туалетные снаряды, — а рядом был магазин гробов, и там тоже все было торжественно и глупо.

«Однако, — сказал Орловиус. — Знаете ли вы, кто это написал?»

Я положил письмо обратно в бумажник и ответил, посмеиваясь:

«Да, конечно знаю. Проходимец. Служил когда-то у знакомых. Ненормальный, даже просто безумный субъект. Вбил себе в голову, что я лишил его какого-то наследства, — знаете, как это бывает, — навязчивая идея, и ничем ее не вышибешь».

Орловиус подробно объяснил мне, какую опасность безумцы представляют для общества, и спросил, не собираюсь ли я обратиться в полицию.

Я пожал плечами. «Ерунда, в общем не стоит об этом говорить. Что вы думаете о речи канцлера, — читали?»

Мы продолжали идти рядом, мирно беседуя о внешней и внутренней политике. У дверей его конторы я, по правилу русской вежливости, стал снимать перчатку.

«Вы нервозны, это плохо, — сказал Орловиус. — Прошу вас, кланяйтесь вашей супруге».

«Поклонюсь, поклонюсь. Только знаете, — я вам завидую, что вы не женаты».

«Как так?» — спросил Орловиус.

«А так. Тяжело касаться этого, но брак мой несчастлив. Моя супруга сердце имеет зыбковатое, да и есть у нее привязанность на стороне, — да, легкое и холодное существо, так что не думаю, чтоб она долго плакала, если бы со мною... если бы я... Однако, простите, все это очень личные печали».

«Кое-что я давно наблюдал», — сказал Орловиус, качая головой, глубокомысленно и сокрушенно.

Я пожал его шерстяную руку, мы расстались. Вышло великолепно. Таких людей, как Орловиус, весьма легко провести, ибо порядочность плюс сентиментальность как раз равняется глупости. Готовый всякому сочувствовать, он не только стал тотчас на сторону благородного любящего мужа, когда я оклеветал мою примерную жену, но еще решил про себя, что сам кое-что заметил, «наблюдал» — как он выразился. Мне было бы презанятно узнать, чтó этот подслеповатый осел мог заметить в наших безоблачных отношениях. Да, вышло великолепно. Я был доволен. Я был бы еще более доволен, кабы не заминка с визой. Ардалион с помощью Лиды заполнил анкетные листы, но оказалось, что он визу получит не раньше чем через две недели. Оставалось около месяца до девятого марта, —

в крайнем случае, я всегда мог написать Феликсу о перемене даты.

Наконец — в последних числах февраля — Ардалиону визу поставили, и он купил себе билет. Кроме денег на билет я дал ему еще двести марок. Он решил ехать первого марта, — но вдруг выяснилось, что успел он деньги кому-то одолжить и принужден ждать их возвращения. К нему будто бы явился приятель, схватился за виски и простонал: «Если я к вечеру не добуду двухсот марок, все погибло». Довольно таинственный случай; Ардалион говорил, что тут «дело чести», — я же питаю сильнейшее недоверие к туманным делам, где замешана честь, причем, заметьте, не своя, голодранцева, а всегда честь какого-то третьего или даже четвертого лица, имя которого хранится в секрете. Ардалион будто бы деньги ему дал, и тот поклялся, что вернет их через три дня — обычный срок у этих потомков феодалов. По истечении сего срока Ардалион пошел должника разыскивать и, разумеется, нигде не нашел. В ледяном бешенстве я спросил, как его зовут. Ардалион помялся и сказал: «Помните, тот, который к вам раз заходил». Я, как говорится, света не взвидел.

Успокоившись, я, пожалуй, и возместил бы ему убыток, если бы дело не усложнялось тем, что у меня самого денег было в обрез, — а мне следовало непременно иметь при себе некоторую сумму. Я сказал ему, что пусть едет так, как есть, с билетом и несколькими марками в кармане, — потом дошлю. Он ответил, что так и сделает, но еще обождет денька два, авось деньги вернутся. Действительно, третьего марта он сообщил мне по телефону, что долг ему возвращен и что завтра вечером он едет. Четвертого оказалось, что Лида, у которой почему-то хранился Ардалионов билет, не может теперь вспомнить, куда его положила. Ардалион мрачно сидел в прихожей и повторял: «Ну что ж, значит — не судьба». Издали доносился стук ящиков, неистовое шерошение бумаги, — это Лида искала билет. Через час Ардалион махнул рукой и ушел. Лида сидела на постели, плача навзрыд. Пятого утром она нашла билет среди грязного белья, приготовленного для прачки, а шестого мы поехали Ардалиона провожать.

Поезд отходил в 10.10. Стрелка часов делала стойку, нацеливаясь на минуту, вдруг прыгала на нее, и вот уже нацеливалась на следующую. Ардалиона все не было. Мы

ждали у вагона с надписью «Милан». «В чем дело? — причитывала Лида. — Почему его нет, я беспокоюсь». Вся эта идиотская канитель с Ардалионовым отъездом меня так бесила, что теперь я боялся разжать зубы, — иначе со мной бы тут же на вокзале сделался какой-нибудь припадок. К нам подошли двое мизерных господ, — один в синем макинтоше, другой в русском пальто с облезлым барашковым воротником, — и, минуя меня, любезно поздоровались с Лидой.

«Почему его нет? Как вы думаете?» — спросила Лида, глядя на них испуганными глазами и держа на отлете букетик фиалок, который она нашла нужным для этой скотины купить. Макинтош развел руками, а барашковый проговорил басом:

«Несцимус. Мы не знаем».

Я почувствовал, что не могу дольше сдерживаться, и, круто повернувшись, пошел к выходу. Лида меня догнала: «Куда ты, погоди, — я уверена, что...»

В эту минуту появился вдали Ардалион. Угрюмый человек с напряженным лицом поддерживал его под локоть и нес его чемодан. Ардалион был так пьян, что едва держался на ногах; вином несло и от угрюмца.

«Он в таком виде не может ехать!» — крикнула Лида.

Красный, с бисером пота на лбу, растерянный, валкий, без пальто (смутный расчет на тепло юга), Ардалион полез со всеми лобызаться. Я едва успел отстраниться.

«Художник Керн, — отрекомендовался угрюмец, сунув мне влажную руку. — Имел счастье с вами встречаться в притонах Каира».

«Герман, его так нельзя отпустить», — повторяла Лида, теребя меня за рукав.

Между тем двери уже захлопывались. Ардалион, качаясь и призывно крича, пошел было за повозкой продавца бисквитов, но друзья поймали его, и вдруг он в охапку сгреб Лиду и стал смачно ее целовать.

«Эх ты, коза, — приговаривал он. — Прощай, коза, спасибо, коза».

«Господа, — сказал я совершенно спокойно, — помогите мне его поднять в вагон».

Поезд поплыл. Сияя и вопя, Ардалион прямо-таки вываливался из окна. Лида бежала рядом и кричала ему что-то. Когда проехал последний вагон, она, согнувшись, посмотрела под колеса и перекрестилась. В руке она все еще держала букет.

Какое облегчение... Я вздохнул всей грудью и шумно выпустил воздух. Весь день Лида молча волновалась, но потом пришла телеграмма, два слова: «Привет сдороги», и она успокоилась. Теперь предстояло последнее и самое скучное: поговорить с ней, натаскать ее.

Почему-то не помню, как я к этому разговору приступил: память моя включается, когда уже разговор в полном ходу. Лида сидит против меня на диване и на меня смотрит в немом изумлении. Я сижу на кончике стула, изредка, как врач, трогаю ее за кисть — и ровным голосом говорю, говорю, говорю. Я рассказывал ей то, чего не рассказывал никогда. Я рассказал ей о младшем моем брате. Он учился в Германии, когда началась война, был призван, сражался против России. Помню его тихим, унылым мальчиком. Меня родители били, а его баловали, но он был с ними неласков, зато ко мне относился с невероятным, более чем братским, обожанием, всюду следовал за мной, заглядывал в глаза, любил все, что меня касалось, любил нюхать и мять мой платок, надевать еще теплую мою сорочку, чистить зубы моей щеткой. Нет, — не извращенность, а посильное выражение неизъяснимого нашего единства: мы были так похожи друг на друга, что даже близкие родственники путали нас, и с годами это сходство становилось все безупречнее. Когда, помнится, я его провожал в Германию, — это было незадолго до выстрела Принципа, — бедняжка так рыдал, так рыдал, — будто предчувствовал долгую и грозную разлуку. На вокзале смотрели на нас, — смотрели на этих двоих одинаковых юношей, державшихся за руки и глядевших друг другу в глаза с каким-то скорбным восторгом... Потом война... Томясь в далеком русском плену, я ничего о брате не слышал, но почему-то был уверен, что он убит. Душные годы, траурные годы. Я приучил себя не думать о нем, и даже потом, когда женился, ничего Лиде о нем не рассказал, — уж слишком все это было тягостно. А затем, вскоре по приезде с женой в Германию, я узнал от немецкого родственника, появившегося мимоходом, на миг, только ради одной реплики, что Феликс мой жив, но нравственно погиб. Не знаю, что именно, какое крушение души... Должно быть, его нежная психика не выдержала бранных испытаний, — а мысль, что у меня уже нет (странно, — он был тоже уверен в смерти брата), что он больше никогда не увидит обожаемого двойника, или, вернее,

усовершенствованное издание собственной личности, эта мысль изуродовала его жизнь, ему показалось, что он лишился опоры и цели, — и что отныне можно жить кое-как. И он опустился. Этот человек, с душой как скрипка, занимался воровством, подлогами, нюхал кокаин и наконец совершил убийство: отравил женщину, содержавшую его. О последнем деле я узнал из его же уст; к ответственности его так и не привлекли, настолько ловко он скрыл преступление. А встретился я с ним так случайно, так нежданно и мучительно... подавленность, которую даже Лида во мне замечала, была как раз следствием той встречи, а произошла она в Праге, в одном кафе, — он, помню, встал, увидя меня, раскрыл объятья и повалился навзничь в глубоком обмороке, длившемся восемнадцать минут.

Да, страшная встреча. Вместо нежного, маленького увальня я нашел говорливого безумца с резкими телодвижениями... Счастье, которое он испытал, встретив меня, дорогого Германа, внезапно, в чудном сером костюме, восставшего из мертвых, не только не поправили его душевных дел, но, совсем, совсем напротив, убедило его в недопустимости и невозможности жить с убийством на совести. Между нами произошла ужасная беседа, он целовал мои руки, он прощался со мной... Я сразу же понял, что поколебать в нем решение покончить с собой уже не под силу никому, даже мне, имевшему на него такое идеальное влияние. Для меня это были нелегкие минуты. Ставя себя на его место, я отлично представлял себе, в какой изощренный застенок превратилась его память, и понимал, увы, что выход один — смерть. Не дай Бог никому переживать такие минуты, видеть, как брат гибнет, и не иметь морального права гибель его предотвратить... Но вот в чем сложность: его душа, не чуждая мистических устремлений, непременно жаждала искупления, жертвы, — просто пустить себе пулю в лоб казалось ему недостаточным. «Я хочу смерть мою кому-нибудь подарить, — внезапно сказал он, и глаза его налились бриллиантовым светом безумия. — Подарить мою смерть. Мы с тобой еще больше схожи, чем прежде. В этом сходстве я чувствую божественное намерение. Наложить на рояль руки еще не значит сотворить музыку, а я хочу музыки. Скажи, тебе, может быть, выгодно было бы исчезнуть со света?» Я сначала не понял его вопроса, мне сдавалось, что Феликс бредит, — но из его дальнейших

слов выяснилось, что у него есть определенный план. Так! С одной стороны, бездна страждущего духа, с другой — деловые проекты. При грозовом свете его трагической судьбы и позднего геройства та часть его плана, которая касалась меня, моей выгоды, моего благополучия, казалась глуповато-материальной, как — скажем — громоотвод на здании банка, вдруг освещенный ночною молнией.

Дойдя примерно до этого места моего рассказа, я остановился, откинулся на спинку стула, сложив руки и пристально глядя на Лиду. Она как-то стекла с дивана на ковер, подползла на коленях, прижалась головой к моему бедру и заглушенным голосом принялась меня утешать: «Какой ты бедный, — бормотала она, — как мне больно за тебя, за брата... Боже мой, какие есть несчастные люди на свете. Он не должен погибнуть, всякого человека можно спасти».

«Его спасти нельзя, — сказал я с так называемой горькой усмешкой. — Он решил умереть в день своего рождения, девятого марта, то есть послезавтра, воспрепятствовать этому не может сам президент. Самоубийство есть самодурство. Все, что можно сделать, это исполнить каприз мученика, облегчить его участь сознанием, что, умирая, он творит доброе дело, приносит пользу, — грубую, материальную пользу, — но все же пользу».

Лида обхватила мою ногу и уставилась на меня своими шоколадными глазами.

«Его план таков, — продолжал я ровным тоном, — жизнь моя, скажем, застрахована в столько-то тысяч. Где-нибудь в лесу находят мой труп. Моя вдова, то есть ты...»

«Не говори таких ужасов, — крикнула Лида, вскочив с ковра. — Я только что где-то читала такую историю... Пожалуйста, замолчи...»

«...моя вдова, то есть ты, получает эти деньги. Погодя уезжает в укромное место. Погодя я инкогнито соединяюсь с нею, даже, может быть, снова на ней женюсь — под другим именем. Мое ведь имя умрет с моим братом. Мы с ним схожи, не перебивай меня, как две капли крови, и особенно будет он на меня похож в мертвом виде».

«Перестань, перестань! Я не верю, что его нельзя спасти... Ах, Герман, как это все нехорошо... Где он сейчас, тут, в Берлине?»

«Нет, в провинции... Ты, как дура, повторяешь: спасти, спасти... Ты забываешь, что он убийца и мистик. Я же, со

своей стороны, не имею права отказать ему в том, что может облегчить и украсить его смерть. Ты должна понять, что тут мы вступаем в некую высшую область. Ведь я же не говорю тебе: послушай, дела мои идут плохо, я стою перед банкротством, мне все опротивело, я хочу уехать в тихое место и там предаваться созерцанию и куроводству, — давай воспользуемся редким случаем, — всего этого я не говорю, хотя я мечтаю о жизни на лоне природы, — а говорю другое, — я говорю: "Как это ни тяжело, как это ни страшно, но нельзя отказать родному брату в его предсмертной просьбе, нельзя помешать ему сделать добро, — хотя бы такое добро..."»

Лида перемигнула, — я ее совсем заплевал, — но вопреки прыщущим словам прижалась ко мне, хватая меня, а я продолжал:

«...Такой отказ — грех, этот грех не хочу, не хочу брать на свою совесть. Ты думаешь, я не возражал ему, не старался его образумить, ты думаешь, мне легко было согласиться на его предложение, ты думаешь, я спал все эти ночи, — милая моя, вот уже полгода, как я страдаю, страдаю так, как моему злейшему врагу не дай Бог страдать. Очень мне нужны эти тысячи! Но как мне отказаться, скажи, как могу я вконец замучить, лишить последней радости... Э, да что говорить!»

Я отстранил ее, почти отбросил, и стал шагать по комнате. Я глотал слезы, я всхлипывал. Метались малиновые тени мелодрам.

«Ты в миллион раз умнее меня, — тихо сказала Лида, ломая руки (да, читатель, дикси, ломая руки), — но все это так страшно, так ново, мне казалось, что это только в книгах... Ведь это значит... Все ведь абсолютно переменится, вся жизнь... Ведь... Ну, например, как будет с Ардалионом?»

«А ну его к чортовой матери! Тут речь идет о величайшей человеческой трагедии, а ты мне суешь...»

«Нет, я просто так спросила. Ты меня огорошил, у меня все идет кругом. Я думаю, что — ну, не сейчас, а потом, ведь можно будет с ним видеться, ему объяснить, — Герман, как ты думаешь?»

«Не заботься о пустяках, — сказал я, дернувшись, — там будет видно. Да, что это, в самом деле, — (голос мой вдруг перешел в тонкий крик), — что ты вообще за колода такая...»

Она расплакалась и сделалась вдруг податливой, нежной, припала ко мне, вздрагивая: «Прости меня, — лепетала она, — ах, прости... Я правда дура. Ах, прости меня. Весь этот ужас, который случился... Еще сегодня утром все было так ясно, так хорошо, так всегдашненько... Ты исстрадался, милый, я безумно жалею тебя. Я сделаю все, что ты хочешь».

«Сейчас я хочу кофе, ужасно хочу».

«Пойдем на кухню, — сказала она, утирая слезы. — Я все сделаю. Только побудь со мной, мне страшно».

На кухне, все еще потягивая носом, но уже успокоившись, она насыпала коричневых крупных зерен в горло кофейной мельницы и, сжав ее между колен, завертела рукояткой. Сперва шло туго, с хрустом и треском, потом вдруг полегчало.

«Вообрази, Лида, — сказал я, сидя на стуле и болтая ногами, — вообрази, что все, что я тебе рассказываю, — выдуманная история. Я сам, знаешь, внушил себе, что это сплошь выдуманная или где-то мной прочитанная история, — единственный способ не сойти от ужаса с ума. Итак: предприимчивый самоубийца и его застрахованный двойник... видишь ли, когда держатель полиса кончает [с] собой, то страховое общество платить не обязано Поэтому...»

«Я сварила очень крепкое, — сказала Лида, — тебе понравится. Да, я слушаю тебя».

«...поэтому герой этого сенсационного романа требует следующей меры: дело должно быть обставлено так, чтобы получилось впечатление убийства. Я не хочу входить в технические подробности, но в двух словах: оружие прикреплено к дереву, от гашетки идет веревка, самоубийца, отвернувшись, дергает, бах в спину, — приблизительно так».

«Ах, подожди, — воскликнула Лида, — я что-то вспомнила: он как-то приделал револьвер к мосту... Нет, не так: он привязал к веревке камень... Позволь, как же это было? Да: к одному концу — большой камень, а к другому револьвер, и, значит, выстрелил в себя... А камень упал в воду, а веревка — за ним через перила, и револьвер туда же, и все в воду... Только я не помню, зачем это все нужно было...»

«Одним словом, концы в воду, — сказал я, — а на мосту — мертвец. Хорошая вещь кофе. У меня безумно болела голова, теперь гораздо лучше. Ну так вот, ты, значит, понимаешь, как это происходит...»

Я пил мелкими глотками огненное кофе и думал: «Ведь воображения у нее ни на грош. Через два дня меняется жизнь, неслыханное событие, землетрясение... а она со мной попивает кофе и вспоминает похождения Шерлока...»

Я, однако, ошибся: Лида вздрогнула и сказала, медленно опуская чашку:

«Герман, ведь если это все так скоро, нужно начать укладываться. И знаешь, масса белья в стирке... И в чистке твой смокинг».

«Во-первых, милая моя, я вовсе не желаю быть сожженным в смокинге; во-вторых, выкинь из головы, забудь совершенно и моментально, что нужно тебе что-то делать, к чему-то готовиться и так далее. Тебе ничего не нужно делать по той причине, что ты ничего не знаешь, ровно ничего, — заруби это на носу. Никаких туманных намеков твоим знакомым, никакой суеты и покупок, — запомни это твердо, матушка, иначе будет для всех плохо. Повторяю: ты еще ничего не знаешь. Послезавтра твой муж поедет кататься на автомобиле и не вернется. Вот тогда-то, и только тогда, начнется твоя работа. Она простая, но очень ответственная. Пожалуйста, слушай меня внимательно.

Десятого утром ты позвонишь Орловиусу и скажешь ему, что я куда-то уехал, не ночевал, до сих пор не вернулся. Спросишь, как дальше быть. Исполнишь все, что он посоветует. Пускай вообще он берет дело в свои руки, обращается в полицию и т. д. Главное, постарайся убедить себя, что я точно погиб. Да в конце концов это так и будет: брат мой — часть моей души».

«Я все сделаю, — сказала она. — Все сделаю ради него и ради тебя. Но мне уже так страшно, и все у меня путается».

«Пускай не путается. Главное — естественность горя. Пускай оно будет не ахти какое, но естественное. Для облегчения твоей задачи я намекнул Орловиусу, что ты давно разлюбила меня. Итак, пусть это будет тихое, сдержанное горе. Вздыхай и молчи. Когда же ты увидишь мой труп, т. е. труп человека, неотличимого от меня, то ты, конечно, будешь потрясена».

«Ой, Герман, я не могу. Я умру со страху».

«Гораздо было бы хуже, если бы ты в мертвецкой стала пудрить себе нос. Во всяком случае, сдержись, не кричи, а то придется, после криков, повысить общее производство

твоего горя, и получится плохой театр. Теперь дальше. Предав мое тело огню, в соответствии с завещанием, выполнив все формальности, получив от Орловиуса то, что тебе причитается, и распорядившись деньгами сообразно с его указаниями, ты уедешь за границу, в Париж. Где ты в Париже остановишься?»

«Я не знаю, Герман».

«Вспомни, где мы с тобой стояли, когда были в Париже. Ну?»

«Да, конечно, знаю. Отель».

«Но какой отель?»

«Я ничего не могу вспомнить, Герман, когда ты смотришь так на меня. Я тебе говорю, что знаю. Отель что-то такое».

«Подскажу тебе: имеет отношение к траве. Как трава по-французски?»

«Сейчас. Эрб. О, вспомнила: Малерб».

«На всякий случай, если забудешь опять: наклейка отеля есть на черном сундуке. Всегда можешь посмотреть».

«Ну, знаешь, Герман, я все-таки не такая растяпа. А сундук я с собой возьму. Черный».

«Вот ты там и остановишься. Дальше следует нечто крайне важное. Но сначала все повтори».

«Я буду печальна. Я буду стараться не очень плакать. Орловиус. Я закажу себе два черных платья».

«Погоди. Что ты сделаешь, когда увидишь труп?»

«Я упаду на колени. Я не буду кричать».

«Ну вот видишь, как все это хорошо выходит. Ну, дальше?»

«Дальше, я его похороню».

«Во-первых, не его, а меня. Пожалуйста, не спутай. Во-вторых, не похороны, а сожжение. Орловиус скажет пастору о моих достоинствах, нравственных, гражданских, супружеских. Пастор в крематорской часовне произнесет прочувствованную речь. Мой гроб под звуки органа тихо опустится в преисподнюю. Вот и все. Затем?»

«Затем — Париж. Нет, постой, сперва всякие денежные формальности. Мне, знаешь, Орловиус надоест хуже горькой редьки. В Париже остановлюсь в отеле — ну вот, я знала, что забуду, — подумала, что забуду, и забыла. Ты меня как-то теснишь... Отель... отель... “Малерб”! На всякий случай — черный сундук.

«Так. Теперь важное: как только ты приедешь в Париж, ты меня известишь. Как мне теперь сделать, чтобы ты запомнила адрес?»

«Лучше запиши, Герман. У меня голова сейчас не работает. Я ужасно боюсь все перепутать».

«Нет, милая моя, никаких записываний. Уж хотя бы потому, что записку все равно потеряешь. Адрес тебе придется запомнить, волей-неволей. Это абсолютно необходимо. Категорически запрещаю его записывать. Дошло?»

«Да, Герман. Но я же не могу запомнить...»

«Глупости. Адрес очень прост. Пострестант. Икс». — (Я назвал город.)

«Это там, где прежде жила тетя Лиза? Ну да, это легко вспомнить. Я тебе говорила про нее. Она теперь живет под Ниццей. Поезжай в Ниццу».

«Вот именно. Значит, ты запомнила эти два слова. Теперь — имя. Ради простоты я тебе предлагаю написать так: мсье Малерб».

«Она, вероятно, все такая же толстая и бойкая. Знаешь, Ардалион писал ей, прося денег, но конечно...»

«Все это очень интересно, но мы говорим о деле. На какое имя ты мне напишешь?»

«Ты еще не сказал, Герман».

«Нет, я сказал, — я предложил тебе: мсье Малерб».

«Но как же, ведь это гостиница, Герман?»

«Вот потому-то. Тебе будет легче запомнить по ассоциации».

«Ах, я забуду ассоциацию, Герман. Это безнадежно. Пожалуйста, не надо ассоциаций. И вообще — ужасно поздно, я устала».

«Хорошо. Придумай сама имя. Имя, которое ты наверное запомнишь. Ну, хочешь — Ардалион?»

«Хорошо, Герман».

«Вот великолепно. Мсье Ардалион. Пострестант. Икс. А напишешь ты мне так: "Дорогой друг, ты, наверное, слышал о моем горе" и дальше в том же роде. Всего несколько слов. Письмо ты опустишь сама. Письмо ты опустишь сама. Есть?»

«Хорошо, Герман».

«Теперь, пожалуйста, повтори».

«Я, знаешь, прямо умираю от напряжения. Боже мой, половина второго. Может быть, завтра?»

«Завтра все равно придется повторить. Ну-с, пожалуйста, я вас слушаю».

«Отель “Малерб”. Я приехала. Я опустила письмо. Сама. Ардалион, пострестант, Икс. А что дальше, когда я напишу?»

«Это тебя не касается. Там будет видно. Ну что же, — я могу быть уверен, что ты все это исполнишь?»

«Да, Герман. Только не заставляй меня опять повторять. Я смертельно устала».

Стоя посреди кухни, она расправила плечи, сильно затрясла откинутой головой и повторила, ероша волосы: «Ах, как я устала, ах...» — и «ах» перешло в зевоту. Мы отправились спать. Она разделась, кидая куда попало платье, чулки, разные свои дамские штучки, рухнула в постель и тотчас стала посвистывать носом. Я лег тоже и потушил свет, но спать не мог. Помню, она вдруг проснулась и тронула меня за плечо.

«Что тебе?» — спросил я с притворной сонливостью.

«Герман, — залепетала она, — Герман, послушай, — а ты не думаешь, что это... жульничество?»

«Спи, — ответил я. — Не твоего ума дело. Глубокая трагедия, — а ты — о глупостях. Спи, пожалуйста».

Она сладко вздохнула, повернулась на другой бок и засвистала опять.

Любопытная вещь: невзирая на то, что я себя ничуть не обольщал насчет способностей моей жены, тупой, забывчивой и нерасторопной, все же я был почему-то совершенно спокоен, совершенно уверен в том, что ее преданность бессознательно поведет ее по верному пути, не даст ей оступиться и — главное — заставит ее хранить мою тайну. Я уже ясно представлял себе, как, глядя на ее наивно искусственное горе, Орловиус будет опять глубокомысленно сокрушенно качать головой — и, Бог его знает, быть может, подумает: не любовник ли укокошил бедного мужа, — но тут он вспомнит шантажное письмо от неизвестного безумца.

Весь следующий день мы просидели дома, и снова, кропотливо и настойчиво, я заряжал жену, набивал ее моей волей, как вот гуся насильно пичкают кукурузой, чтобы набухла печень. К вечеру она едва могла ходить. Я остался доволен ее состоянием. Мне самому теперь было пора готовиться. Помню, как в тот вечер я мучительно прикиды-

вал, сколько денег взять с собой, сколько оставить Лиде, мало было гамзы, очень мало. У меня явилась мысль прихватить с собой на всякий случай ценную вещицу, и я сказал Лиде:

«Дай-ка мне твою московскую брошку».

«Ах да, брошку», — сказала она, вяло вышла из комнаты, но тотчас вернулась, легла на диван и зарыдала, как не рыдала еще никогда.

«Что с тобой, несчастная?»

Она долго не отвечала, а потом, глупо всхлипывая и не глядя на меня, объяснила, что брошка заложена, что деньги пошли Ардалиону, ибо приятель ему денег не вернул.

«Ну ладно, ладно, не реви, — сказал я. — Ловко устроился, но, слава Богу, уехал, убрался, — это главное».

Она мигом успокоилась и даже просияла, увидя, что я не сержусь, и пошла, шатаясь, в спальню, долго рылась, принесла какое-то колечко, сережки, старомодный портсигар, принадлежавший ее бабушке. Ничего из этого я не взял.

«Вот что, — сказал я, блуждая по комнате и кусая заусеницы, — вот что, Лида. Когда тебя будут спрашивать, были ли у меня враги, когда будут допытываться, кто же это мог убить меня, говори: не знаю. И вот еще что: я беру с собой чемодан, но это, конечно, между нами. Не должно так казаться, что я собрался в какое-то путешествие, — это выйдет подозрительно. Впрочем...» — тут, помнится, я задумался. Странно, — почему это, когда всё было так чудесно продумано и предусмотрено, вылезала торчком мелкая деталь, как при укладке вдруг замечаешь, что забыл уложить маленький, но громоздкий пустяк, — есть такие недобросовестные предметы. В мое оправдание следует сказать, что вопрос чемодана был, пожалуй, единственный пункт, который я решил изменить: все остальное шло именно так, как я замыслил давным-давно, может быть, много месяцев тому назад, может быть, в ту самую секунду, когда я увидел на траве спящего бродягу, точь-в-точь похожего на мой труп. «Нет, — подумал я, — чемодана все-таки не следует брать, все равно кто-нибудь да увидит, как несу его вниз».

«Чемодана я не беру», — сказал я вслух и опять зашагал по комнате.

Как мне забыть утро девятого марта? Само по себе оно было бледное, холодное, ночью выпало немного снега, и швейцары подметали тротуары, вдоль которых тянулся невысокий снеговой хребет, а асфальт был уже чистый и черный, только слегка лоснился. Лида мирно спала. Все было тихо. Я приступил к одеванию. Оделся я так: две рубашки, одна на другую, — причем верхняя, уже ношенная, была для него. Кальсон — тоже две пары, и опять же верхняя предназначалась ему. Засим я сделал небольшой пакет, в который вошли маникюрный прибор и все, что нужно для бритья. Этот пакетик я сразу же, боясь его забыть, сунул в карман пальто, висевшего в прихожей. Далее я надел две пары носков (верхняя с дыркой), черные башмаки, мышиные гетры, — и в таком виде, т. е. уже изящно обутый, но еще без панталон, некоторое время стоял посреди комнаты, вспоминая, все ли так делаю, как было решено. Вспомнив, что нужна лишняя пара подвязок, я разыскал старую и присоединил ее к пакетику, для чего пришлось опять выходить в переднюю. Наконец выбрал любимый сиреневый галстук и плотный темно-серый костюм, который обычно носил последнее время. Разложил по карманам следующие вещи: бумажник (около полутора тысяч марок), паспорт, кое-какие незначительные бумажки с адресами, счетами... Спохватился: паспорт было ведь решено не брать, — очень тонкий маневр: незначительные бумажки как-то художественнее устанавливали личность. Еще взял я: ключи, портсигар, зажигалку. Теперь я был одет, я хлопал себя по карманам, я отдувался, мне было жарко в двойной оболочке белья. Оставалось сделать самое главное, — это была целая церемония: медленное выдвигание ящика, где он покоился, тщательный осмотр, далеко, впрочем, не первый. Он был отлично смазан, он был туго набит... Мне его подарил в двадцатом году в Ревеле незнакомый офицер, — вернее, просто оставил его у меня, а сам исчез. Я не знаю, что сталось потом с этим любезным поручиком.

Между тем Лида проснулась, запахнулась в земляничный халат, мы сели в столовой, Эльза принесла кофе. Когда Эльза ушла:

«Ну-с, — сказал я, — день настал, сейчас поеду».

Маленькое отступление литературного свойства. Ритм этот — нерусский, но он хорошо передает мое эпическое спокойствие и торжественный драматизм положения.

«Герман, пожалуйста, останься, никуда не езди», — тихо проговорила Лида и, кажется, сложила ладони.

«Ты, надеюсь, все запомнила», — продолжал я невозмутимо.

«Герман, — повторила она, — не езди никуда. Пускай он делает все, что хочет, — это его судьба, ты не вмешивайся...»

«Я рад, что ты все запомнила, — сказал я с улыбкой, — ты у меня молодец. Вот, съем еще булочку и двинусь».

Она расплакалась. Потом высморкалась, громко трубя, хотела что-то сказать, но опять принялась плакать. Зрелище было довольно любопытное: я — хладнокровно мажущий маслом рогульку, Лида — сидящая против меня и вся прыгающая от плача. Я сказал с полным ртом: «По крайней мере, ты сможешь во всеуслышание... — (пожевал, проглотил), — вспомнить, что у тебя было дурное предчувствие, хотя уезжал я довольно часто и не говорил куда. А враги, сударыня, у него были? Не знаю, господин следователь».

«Но что же дальше будет?» — тихонько простонала Лида, медленно разводя руками.

«Ну довольно, моя милая, — сказал я другим тоном. — Поплакала, и будет. И не вздумай сегодня реветь при Эльзе».

Она утрамбовала платком глаза, грустно хрюкнула и опять развела руками, но уже молча и без слез.

«Все запомнила?» — в последний раз спросил я, пристально смотря на нее.

«Да, Герман. Все. Но я так боюсь...»

Я встал, она встала тоже. Я сказал:

«До свидания, будь здорова, мне пора к пациенту».

«Герман, послушай, ты же не собираешься присутствовать?»

Я даже не понял.

«То есть как: присутствовать?»

«Ах, ты знаешь, что я хочу сказать. Когда... Ну, одним словом, когда... с этой веревочкой...»

«Вот дура, — сказал я. — А как же иначе? Кто потом все приберет? Да и нечего тебе так много думать, пойди в кинематограф сегодня. До свидания, дура».

Мы никогда не целовались, — я не терплю слякоти лобзаний. Говорят, японцы тоже — даже в минуты страсти — никогда не целуют своих женщин, — просто им чуждо и непонятно, и может быть, даже немного противно это

прикосновение голыми губами к эпителию ближнего. Но теперь меня вдруг потянуло жену поцеловать, она же была к этому не готова: как-то так вышло, что я всего лишь скользнул по ее волосам и уже не повторил попытки, а, щелкнув почему-то каблуками, только тряхнул ее вялую руку и вышел в переднюю. Там я быстро оделся, схватил перчатки, проверил, взят ли сверток, и, уже идя к двери, услышал, как из столовой она меня зовет плаксивым и тихим голосом, но я не обратил на это внимания, мне хотелось поскорее выбраться из дому.

Я направился во двор, где находился большой, полный автомобилей гараж. Меня приветствовали улыбками. Я сел, пустил мотор в ход. Асфальтовая поверхность двора была немного выше поверхности улицы, так что при въезде в узкий наклонный туннель, соединявший двор с улицей, автомобиль мой, сдержанный тормозами, легко и беззвучно нырнул.

ГЛАВА IX

Сказать по правде — испытываю некоторую усталость. Я пишу чуть ли не от зари до зари, по главе в сутки, а то и больше. Великая, могучая вещь — искусство. Ведь мне, в моем положении, следовало бы действовать, волноваться, петлить... Прямой опасности нет, конечно, — и я полагаю, что такой опасности никогда не будет, — но все-таки странно — сиднем сидеть и писать, писать, писать, или же подолгу думать, думать, думать, — что, в общем, то же самое. И чем дальше я пишу, тем яснее становится, что я этого так не оставлю, договорюсь до главного, — и уже непременно, непременно опубликую мой труд, несмотря на риск, — а впрочем, и риска-то особенного нет: как только рукопись отошлю — смоюсь; мир достаточно велик, чтобы мог спрятаться в нем скромный, бородатый мужчина.

Решение труд мой вручить тому густо психологическому беллетристу, о котором я как будто уже упоминал, даже, кажется, обращал к нему мой рассказ (— давно бросил написанное перечитывать, — некогда да и тошно...), было принято мною не сразу, — сначала я думал, не проще ли всего послать оный труд прямо какому-нибудь издателю, немецкому, французскому, американскому, — но ведь на-

писано-то по-русски, и не все переводимо, — а я, признаться, дорожу своей литературной колоратурой и уверен, что пропади иной выгиб, иной оттенок — все пойдет насмарку. Еще я думал послать его в СССР, — но у меня нет необходимых адресов, — да и не знаю, как это делается, пропустят ли манускрипт через границу, — ведь я по привычке пользуюсь старой орфографией, — переписывать же нет сил... Что переписывать! Не знаю, допишу ли вообще, выдержу ли напряжение, не умру ли от кровоизлияния в мозгу...

Решив наконец дать рукопись мою человеку, который должен ею прельститься и приложить все старания, чтобы она увидела свет, я вполне отдаю себе отчет в том, что мой избранник (ты, мой первый читатель) — беллетрист беженский, книги которого в СССР появляться никак не могут. Но для этой книги сделают, быть может, исключение, — в конце концов, не ты ее писал. О, как я лелею надежду, что, несмотря на твою эмигрантскую подпись (прозрачная подложность которой ни для кого не останется загадкой), книга моя найдет сбыт в СССР! Далеко не являясь врагом советского строя, я, должно быть, невольно выразил в ней иные мысли, которые вполне соответствуют диалектическим требованиям текущего момента. Мне даже представляется иногда, что основная моя тема, сходство двух людей, есть некое иносказание. Это разительное физическое подобие, вероятно, казалось мне (подсознательно!) залогом того идеального подобия, которое соединит людей в будущем бесклассовом обществе, — и, стремясь частный случай использовать, — я, еще социально не прозревший, смутно выполнял все же некоторую социальную функцию. И опять же: неполная удача моя в смысле реализации этого сходства объяснима чисто социально-экономическими причинами, а именно тем, что мы с Феликсом принадлежали к разным, резко отграниченным классам, слияние которых не под силу одиночке, да еще ныне, в период бескомпромиссного обострения борьбы. Правда, мать моя была из простых, а дед с отцовской стороны в молодости пас гусей, — так что мне самому-то очень даже понятно, откуда в человеке моего склада и обихода имеется это глубокое, хотя еще не вполне выявленное устремление к подлинному сознанию. Мне грезится новый мир, где все люди будут друг на друга похожи, как Герман и Феликс, — мир Геликсов и Ферманов, — мир,

где рабочего, павшего у станка, заменит тотчас, с невозмутимой социальной улыбкой, его совершенный двойник. Посему думаю, что советской молодежи будет небесполезно прочитать эту книгу и проследить в ней, под руководством опытного марксиста, рудиментарное движение заложенной в ней социальной мысли. Другие же народы пущай переводят ее на свои языки, — американцы утолят, читая ее, свою жажду кровавых сенсаций, французам привидятся миражи Содома в пристрастии моем к бродяге, немцы насладятся причудами полуславянской души. Побольше, побольше читайте ее, господа! Я всецело это приветствую.

Но писать ее нелегко. Особенно сейчас, когда приближаюсь к самому, так сказать, решительному действию, вся трудность моей задачи является мне — и вот, как видите, я отвиливаю, болтаю о вещах, место коим в предисловии к повести, а не в начале ее самой существенной, для читателя, главы. Но я уже объяснял, что, несмотря на рассудочность и лукавство подступов, не я, не разум мой пишет, а только память моя, только память. Ведь и тогда, то есть в час, на котором остановилась стрелка моего рассказа, я как бы тоже остановился, медлил, как медлю сейчас, — и тогда тоже я занят был путаными рассуждениями, не относящимися к делу, срок которого все близился. Ведь я отправился в путь утром, а свидание мое с Феликсом было назначено на пять часов пополудни; дома мне не сиделось, но куда сбыть мутно-белое время, отделявшее меня от встречи? Удобно, даже сонно, сидя и управляя как бы одним пальцем, я медленно катил по Берлину, по тихим, холодным, шепчущим улицам, — и все дальше, дальше, покуда не заметил, что я уже из Берлина выехал. День был выдержан в двух тонах — черном (ветви деревьев, асфальт) и белесом (небо, пятна снега). Все продолжалось мое сонное перемещение. Некоторое время передо мной моталась большая, неприятная тряпка, которую ломовой, везущий что-либо длинное, нацепляет на торчащий сзади конец, — потом это исчезло, завернуло куда-то. Я не прибавил хода. На другом перекрестке выскочил мне наперерез таксомотор, со стоном затормозил и, так как было довольно склизко, закружился винтом. Я невозмутимо проехал, будто плыл по течению. Дальше, женщина в глубоком трауре наискось переходила мостовую передо мной, не видя меня; я не гукнул, не изменил тихого ровного движения,

проплыл в двух вершках от ее крепа, она даже не заметила меня — беззвучного призрака. Меня обгоняло любое колесо; долго шел вровень со мной медленный трамвай, и я уголком глаза видел пассажиров, глупо сидевших друг против друга. Раза два я проезжал плохо мощенными местами, и уже появились куры: расправив куцые крылья и вытянув шею, перебегали дорогу (а может быть, это было не тогда, а летом). Потом я ехал по длинному, длинному шоссе, мимо жнивьев, испещренных снегом, и в совершенно безлюдной местности автомобиль мой как бы задремал, точно из синего сделался сизым, постепенно замер и остановился, и я склонился на руль в неизъяснимом раздумье. О чем я думал? Ни о чем или о глупостях, я путался, я почти засыпал, я в полуобмороке рассуждал сам с собой о какой-то ерунде, вспоминал какой-то спор, бывший у меня когда-то с кем-то на какой-то станции, о том, можно ли видеть солнце во сне, — и потом мне начинало казаться, что кругом много людей, и все говорят сразу и замолкают, и, дав друг другу смутные поручения, беззвучно расходятся. Погодя я двинулся дальше и в полдень, влачась через какую-то деревню, решил там сделать привал, — ибо даже таким дремотным темпом я оттуда добирался до Кенигсдорфа через час, не более, а у меня было еще много времени в запасе. Я долго сидел в темном и скучном трактире, совершенно один, в задней какой-то комнате у большого стола, и на стене висела старая фотография: группа мужчин в сюртуках, с закрученными усами, причем кое-кто из передних непринужденно опустился на одно колено, а двое даже прилегли по бокам, и это напоминало русские студенческие фотографии. Я выпил много воды с лимоном и все в том же до неприличия сонном настроении поехал дальше. Помню, что через некоторое время, у какого-то моста, я снова остановился: старая женщина в синих шерстяных штанах, с мешком за плечами, хлопотала над своим поврежденным велосипедом. Я, не выходя из автомобиля, дал ей несколько советов, совершенно, впрочем, непрошенных и ненужных, а потом замолчал и, опершись щекой о ладонь, а локтем о руль, долго и бессмысленно смотрел на нее, — она все возилась, возилась, но наконец я перемигнул, и оказалось, что никого уже нет, — она давно уехала. Я двинулся дальше, стараясь помножить в уме два неуклюжих числа, неизвестно что

означавших и откуда выплывших, но раз они появились, нужно было их стравить, — и вот они сцепились и рассыпались. Вдруг мне показалось, что я еду с бешеной скоростью, что машина прямо пожирает дорогу, как фокусник, поглощающий длинную ленту, — и тихо проходили мимо сосны, сосны, сосны. Еще помню: я встретил двух школьников, маленьких бледных мальчиков, с книжками, схваченными ремешком, и поговорил с ними; у них были неприятные птичьи физиономии, вроде как у воронят, и они как будто побаивались меня и, когда я отъехал, долгое время глядели мне вслед, разинув черные рты, — один повыше, другой пониже. И внезапно я очутился в Кенигсдорфе, взглянул на часы и увидел, что уже пять. Проезжая мимо красного здания станции, я подумал, что, может быть, Феликс запоздал почему-либо и еще не спускался вон по тем ступеням, мимо того автомата с шоколадом, — и что нет никакой возможности установить по внешнему виду приземистого красного здания, проходил ли он уже тут. Как бы там ни было, поезд, с которым велено было ему приехать в Кенигсдорф, прибывал в без пяти три, — значит, если Феликс на него не опоздал...

Читатель, ему было сказано выйти в Кенигсдорфе и пойти на север по шоссе до десятого километра, до желтого столба, — и вот теперь я во весь опор гнал по тому шоссе, — незабываемая минута! Оно было пустынно. Автобус ходит там зимой только дважды в день — утром и в полдень, — на протяжении этих десяти километров мне навстречу попалась только таратайка, запряженная гнедой лошадью. Наконец вдали желтым мизинцем выпрямился знакомый столб и увеличился, дорос до естественных своих размеров, и на нем была мурмолка снега. Я затормозил и огляделся. Никого. Желтый столб был очень желт. Справа за полем театральной декорацией плоско серел лес. Никого. Я вылез из автомобиля и со стуком сильнее всякого выстрела захлопнул за собою дверцу. И вдруг я заметил, что из-за спутанных прутьев куста, росшего в канаве, глядит на меня усатенький, восковой, довольно веселый — —

Поставив одну ногу на подножку автомобиля и, как разгневанный тенор, хлеща себя по руке снятой перчаткой, я неподвижным взглядом уставился на Феликса. Неуверенно ухмыляясь, он вышел из канавы.

«Ах ты, негодяй, — сказал я сквозь зубы с необыкновенной, оперной силой. — Негодяй и мошенник, — повторил я

уже полным голосом, все яростней хлеща себя перчаткой (в оркестре все громыхало промеж взрывов моего голоса), — как ты смел, негодяй, разболтать? Как ты смел, как ты смел у других просить советов, хвастать, что добился своего, что в такой-то день на таком-то месте... ведь тебя за это убить мало. — (Грохот, бряцание и опять мой голос:) — Многого ты этим достиг, идиот! Профершпилился, маху дал, не видать тебе ни гроша, болтун!» — (Кимвальная пощечина в оркестре.)

Так я его ругал, с холодной жадностью следя за выражением его лица. Он был ошарашен, он был искренне обижен. Прижав руку к груди, он качал головой. Отрывок из оперы кончился, и громковещатель заговорил обыкновенным голосом:

«Ну уж ладно, браню тебя просто так, для проформы, на всякий случай... А вид у тебя, дорогой мой, забавный, — прямо грим!»

По моему приказу он отпустил усы; они, кажется, были даже нафабрены; кроме того, уже по личному своему почину, он устроил себе по две курчавых котлетки. Эта претенциозная растительность меня чрезвычайно развеселила.

«Ты, конечно, приехал тем путем, как я тебе велел?» — спросил я улыбаясь.

Он ответил:

«Да, как вы велели. А насчет того, чтобы болтать... — сами знаете, я несходчив и одинок».

«Знаю, и сокрушаюсь вместе с тобой, — сказал я. — А встречные по дороге были?»

«Если кто и проезжал, я прятался в канаву, как вы велели».

«Ладно. Наружность твоя и так хорошо спрятана. Ну-с, нечего тут прохлаждаться. Садись в автомобиль. Оставь, оставь, — потом мешок снимешь. Садись скорее, нам нужно отъехать отсюда».

«Куда?» — полюбопытствовал он.

«Вон в тот лес».

«Туда?» — спросил он и указал палкой.

«Да, именно туда. Сядешь ли ты когда-нибудь, чорт тебя дери!»

Он с удовольствием разглядывал автомобиль. Не спеша влез и сел рядом со мной.

Я повернул руль, медленно двинулись... ух! еще раз: ух! (съехали на поле) — под колесами зашуршал мелкий снег

и дряхлые травы. Автомобиль подпрыгивал на кочках, мы с Феликсом — тоже. Он говорил:

«Я без труда с ним справлюсь, — (гоп). — Я уж прокачусь, — (гоп). — Вы не бойтесь, я, — (гоп-гоп), — его не попорчу».

«Да, автомобиль будет твой. На короткое время, — (гоп), — твой. Но ты, брат, не зевай, посматривай кругом, никого нет на шоссе?»

Он обернулся и затем отрицательно мотнул головой. Мы въехали или, вернее, вползли в лес. Кузов скрипел и ухал, хвойные ветви мели по крыльям.

Углубившись немного в бор, остановились и вылезли. Уже без вожделения неимущего, а со спокойным удовлетворением собственника, Феликс продолжал любоваться лаково-синей машиной. Его глаза подернулись поволокой задумчивости. Вполне возможно, — заметьте, я не утверждаю, а говорю: вполне возможно, — вполне возможно, что мысль его потекла приблизительно так: «А что, если улизнуть на этой штучке? Ведь деньги я сейчас получу вперед. Притворюсь, что все исполню, а на самом деле укачу далеко. Ведь в полицию он обратиться не может, будет, значит, молчать. А я на собственной машине...»

Я прервал течение этих приятных дум. «Ну что ж, Феликс, великая минута наступила. Ты сейчас переоденешься и останешься с автомобилем один в лесу. Через полчаса стемнеет, вряд ли кто потревожит тебя. Проночуешь здесь, — у тебя будет мое пальто, — пощупай, какое оно плотное, — то-то же! — да и в автомобиле тепло... выспишься, а как только начнет светать... впрочем, это потом; сперва давай я тебя приведу в должный вид, а то в самом деле стемнеет. Тебе нужно прежде всего побриться».

«Побриться? — с глупым удивлением переспросил Феликс. — Как же так? Бритвы у меня с собой нет, и я не знаю, чем можно бриться в лесу, разве что камнем».

«Нет, зачем камнем; такого разгильдяя, как ты, следует брить топором. Но я человек предусмотрительный, все с собой принес, и все сам сделаю».

«Смешно, право, — ухмыльнулся он. — Как же так будет. Вы меня еще бритвой, того и гляди, зарежете».

«Не бойся, дурак, — она безопасная. Ну, пожалуйста. Садись куда-нибудь, — вот сюда, на подножку, что ли».

Он сел, скинув мешок. Я вытащил пакет и разложил на подножке бритвенный прибор, мыло, кисточку. Надо было

торопиться: день осунулся, воздух становился все тусклее. И какая тишина... Тишина эта казалась врожденной тут, неотделимой от этих неподвижных ветвей, прямых стволов, от слепых пятен снега там и сям на земле.

Я снял пальто, чтобы свободнее было оперировать. Феликс с любопытством разглядывал блестящие зубчики бритвы, серебристый стерженек. Затем он осмотрел кисточку, приложил ее даже к щеке, испытывая ее мягкость, — она действительно была очень пушиста, стоила семнадцать пятьдесят. Очень заинтересовала его и тубочка с дорогой мыльной пастой.

«Итак, приступим, — сказал я. — Стрижка-брижка. Садись, пожалуйста, боком, а то мне негде примоститься».

Набрав в ладонь снегу, я выдавил туда вьющийся червяк мыла, размесил кисточкой и ледяной пеной смазал ему бачки и усы. Он морщился, ухмылялся, — опушка мыла захватила ноздрю, — он крутил носом, — было щекотно.

«Откинься, — сказал я, — еще».

Неудобно упираясь коленом в подножку, я стал сбривать ему бачки, — волоски трещали, отвратительно мешались с пеной; я слегка его порезал, пена окрасилась кровью. Когда я принялся за усы, он зажмурился, но храбро молчал, — а было, должно быть, не очень приятно, — я спешил, волос был жесткий, бритва дергала.

«Платок у тебя есть?» — спросил я.

Он вынул из кармана какую-то тряпку. Я тщательно стер с его лица кровь, снег и мыло. Щеки у него блестели как новые. Он был выбрит на славу, только возле уха краснела царапина с почерневшим уже рубинчиком на краю. Он провел ладонью по бритым местам.

«Постой, — сказал я. — Это не все. Нужно подправить брови, — они у тебя гуще моих».

Я взял ножницы и очень осторожно отхватил несколько волосков.

«Вот теперь отлично. А причешу я тебя, когда сменишь рубашку».

«Вашу дадите?» — спросил он и бесцеремонно пощупал мою шелковую грудь.

«Э, да у тебя ногти не первой чистоты!» — воскликнул я весело.

Я не раз делал маникюр Лиде и теперь без особого труда привел эти десять грубых ногтей в порядок, — причем все

сравнивал его руки с моими, — они были крупнее и темнее, — но ничего, со временем побледнеют. Кольца обручального не ношу, так что пришлось нацепить на его руку всего только часики. Он шевелил пальцами, поворачивал так и сяк кисть, очень довольный.

«Теперь живо. Переоденемся. Сними все с себя, дружок, до последней нитки».

Феликс крякнул: холодно будет.

«Ничего. Это одна минута. Ну-с, поторапливайся».

Осклабясь, он скинул свой куцый пиджак, снял через голову мохнатую темную фуфайку. Рубашка под ней была болотно-зеленая, с галстуком из той же материи. Затем он разулся, сдернул заштопанные мужской рукой носки и жизнерадостно ёкнул, прикоснувшись босою ступней к зимней земле. Простой человек любит ходить босиком: летом, на травке, он первым делом разувается, но даже и зимой приятно, — напоминает, может быть, детство или что-нибудь такое.

Я стоял поодаль, развязывая галстук, и внимательно смотрел на Феликса.

«Ну, дальше, дальше!» — крикнул я, заметив, что он замешкался.

Он не без стыдливой ужимки спустил штаны с белых, безволосых ляжек. Освободился и от рубашки. В зимнем лесу стоял передо мной голый человек.

Необычайно быстро, с легкой стремительностью некоего Фреголи, я разделся, кинул ему верхнюю оболочку моего белья, — пока он ее надевал, ловко вынул из снятого с себя костюма деньги и еще кое-что и спрятал это в карманы непривычно узких штанов, которые на себя с виртуозной живостью натянул. Его фуфайка оказалась довольно теплой, а пиджак был мне почти по мерке: я похудел за последнее время.

Феликс между тем нарядился в мое розовое белье, но был еще бос. Я дал ему носки, подвязки, но тут заметил, что и ноги его требуют отделки. Он поставил ступню на подножку автомобиля, и мы занялись торопливым педикюром. Боюсь, что он успел простудиться — в одном нижнем белье. Потом он вымыл ноги снегом, как это сделал кто-то у Мопассана, и с понятным наслаждением надел носки.

«Торопись, торопись, — приговаривал я. — Сейчас стемнеет, да и мне пора уходить. Смотри, я уже готов, — ну и башмачища у тебя. А где фуражка? А, вижу, спасибо».

Он туго затянул ремень штанов. С трудом влез в мои черные шевровые полуботинки. Я помог ему справиться с гетрами и повязать сиреневый галстук. Наконец при помощи его грязного гребешка я зачесал назад со лба и с висков его жирные волосы.

Теперь он был готов. Он стоял передо мной, мой двойник, в моем солидном темно-сером костюме, разглядывал себя с глупой улыбкой; обследовал карманы; квитанции и портсигар положил обратно, но бумажник раскрыл. Он был пуст.

«Вы мне обещали вперед», — заискивающим тоном сказал Феликс.

«Да, конечно, — ответил я, вынув руку из кармана штанов и разжав кулак с ассигнациями. — Вот они. Сейчас отсчитаю и дам тебе. Башмаки не жмут?»

«Жмут, — сказал он. — Здорово жмут. Но уж как-нибудь вытерплю. На ночь я их, пожалуй, сниму. А куда же мне завтра двинуться с машиной?»

«Сейчас, сейчас... все объясню. Тут надо прибрать, — вишь, разбросал свою рвань. Что у тебя в мешке?»

«Я как улитка. У меня дом на спине! — сказал Феликс. — С собой мешок возьмете? В нем есть колбаса, — хотите?»

«Там будет видно. Засунь-ка туда все эти вещи. Эту тряпку тоже. И ножницы. Так. Теперь надевай пальто, и давай в последний раз проверим, можешь ли ты сойти за меня».

«Вы не забудете деньги?» — поинтересовался он.

«Да нет же. Вот оболтус. Сейчас рассчитаемся. Деньги у меня здесь, в твоем бывшем кармане. Поторопись, пожалуйста».

Он облачился в мое чудное бежевое пальто, осторожно надел элегантную шляпу. Последний штрих — желтые перчатки.

«Так-с. Пройдись-ка несколько шагов. Посмотрим, как на тебе все это сидит».

Он пошел мне навстречу, то суя руки в карманы, то вынимая их опять.

Близко подойдя ко мне, расправил плечи, ломаясь, прикидываясь фатом.

«Все ли, все ли? — говорил я вслух. — Погоди, дай мне хорошенько... Да, как будто все... Теперь повернись. Я хочу видеть, как сзади...»

Он повернулся, и я выстрелил ему в спину.

Я помню разные вещи: я помню, как в воздухе повис дымок, дал прозрачную складку и рассеялся; помню, как Феликс упал, — он упал не сразу, сперва докончил движение, еще относившееся к жизни, — а именно почти полный поворот, — хотел, вероятно, в шутку повертеться передо мной, как перед зеркалом, — и вот, по инерции доканчивая эту жалкую шутку, он, уже насквозь пробитый, ко мне обратился лицом, медленно растопырил руку, будто спрашивая: что это? — и, не получив ответа, медленно повалился навзничь. Да, все это я помню, — помню: — шурша на снегу, он начал кобениться, как если б ему было тесно в новых одеждах; вскоре он замер, и тогда стало чувствительно вращение земли, и только шляпа тихо отделилась от его темени и упала назад, разинувшись, словно за него прощаясь, — или вроде того, как пишут: присутствовавшие обнажили головы. Да, все это я помню, но только не помню одного: звука выстрела. Зато остался у меня в ушах неотвязный звон. Он обволакивал меня, он дрожал на губах. Сквозь этот звон я подошел к трупу и жадно взглянул.

Таинственное мгновение. Как писатель, тысячу раз перечитывающий свой труд, проверяющий, испытывающий каждое слово, уже не знает, хорошо ли, ибо слишком все примелькалось, так и я, так и я... Но есть тайная уверенность творца, она непогрешима. Теперь, когда в полной неподвижности застыли черты, сходство было такое, что, право, я не знал, кто убит — я или он. И пока я смотрел, в ровно звеневшем лесу потемнело, — и, глядя на расплывшееся, все тише звеневшее лицо передо мной, мне казалось, что я гляжусь в недвижную воду.

Боясь испачкаться, я не прикоснулся к телу; не проверил, действительно ли оно совсем, совсем мертвое; я чутьем знал, что это так, что пуля моя скользнула как раз по короткой воздушной колее, проложенной волей и взглядом. Торопиться, торопиться, — кричал Иван Иванович, надевая штаны в рукава. Не будем ему подражать. Я быстро, но зорко осмотрелся, Феликс все, кроме пистолета, убрал в мешок сам, но у меня хватило самообладания посмотреть, не выронил ли он чего-нибудь, — и даже обмахнуть подножку, где стриг ему ногти. Затем я выполнил кое-что давно замышленное, а именно: выкатил авто-

мобиль к самой опушке, с расчетом, что его утром увидят с дороги и по нему найдут мое тело.

Стремительно надвигалась ночь. Звон в ушах почти смолк. Я углубился в лес, прошел опять недалеко от трупа, но уже не остановился, только подхватил рукзак и, шагая скоро, уверенно, не чувствуя пудовых башмаков на ногах, обогнул озеро и все лесом, лесом, в призрачном сумраке, в призрачных снегах... но как хорошо я знал направление, как правильно, как живо я представлял себе все это еще тогда, летом, когда изучал тропы, ведущие в Айхенберг!

Я пришел на станцию вовремя. Через десять минут услужливым привидением явился нужный мне поезд. Половину ночи я ехал в громыхающем, валком вагоне на твердой скамейке, и рядом со мной двое пожилых мужчин играли в карты, — и карты были необыкновенные — большие, красно-зеленые, с желудями. За полночь была пересадка; еще два часа езды — уже на запад, — а утром я пересел в скорый. Только тогда, в уборной, я осмотрел содержимое мешка. В нем, кроме сунутого давеча, было немного белья, кусок колбасы, три больших изумрудных яблока, подошва, пять марок в дамском кошельке, паспорт и мои к Феликсу письма. Яблоки и колбасу я тут же в уборной съел, письма положил в карман, паспорт осмотрел с живейшим интересом. Странное дело, — Феликс на снимке был не так уж похож на меня, — конечно, это без труда могло сойти за мою фотографию, — но все-таки мне было странно, — и тут я подумал: вот настоящая причина тому, что он мало чувствовал наше сходство; он видел себя таким, каким был на снимке или в зеркале, то есть как бы справа налево, не так, как в действительности. Людская глупость, ненаблюдательность, небрежность, — все это выражалось в том, между прочим, что даже определения в кратком перечне его черт не совсем соответствовали эпитетам в собственном моем паспорте, оставленном дома. Это пустяк, но пустяк характерный. А в рубрике профессии он, этот олух, игравший на скрипке, вероятно, так, как в России играли на гитарах летним вечером лакеи, был назван «музыкантом», — что сразу превращало в музыканта и меня. Вечером, в пограничном городке, я купил себе чемодан, пальто и так далее, а мешок с его вещами и моим браунингом, — нет, не скажу, что я с ними сделал, как спрятал: молчите, рейнские воды. И уже одиннадцатого марта очень небритый господин в черном пальтишке был за границей.

ГЛАВА X

Я с детства люблю фиалки и музыку. Я родился в Цвикау. Мой отец был сапожник, мать — прачка. Когда сердилась, то шипела на меня по-чешски. У меня было смутное и невеселое детство. Едва возмужав, я забродяжничал. Играл на скрипке. Я левша. Лицо овальное. Женщин я всегда чуждался: нет такой, которая бы не изменила. На войне было довольно погано, но война прошла, как все проходит. У всякой мыши есть свой дом... Я люблю белок и воробьев. Пиво в Чехии дешевле. О, если б можно было подковать себе ноги в кузнице, — какая экономия! Министры все подкуплены, а поэзия — это ерунда. Однажды на ярмарке я видел двух близнецов, — предлагали приз тому, кто их различит, рыжий Фриц дал одному в ухо, оно покраснело, — вот примета! Как мы смеялись... Побои, воровство, убийство, — все это дурно или хорошо, смотря по обстоятельствам. Я присваивал деньги, если они попадались под руку: что взял — твое, ни своих, ни чужих денег не бывает, на грошe не написано: принадлежит Мюллеру. Я люблю деньги. Я всегда хотел найти верного друга, мы бы с ним музицировали, он бы в наследство мне оставил дом и цветник. Деньги, милые деньги. Милые маленькие деньги. Милые большие деньги. Я ходил по дорогам, там и сям работал. Однажды мне попался франт, утверждавший, что похож на меня. Глупости, он не был похож. Но я с ним не спорил, ибо он был богат, и всякий, кто с богачом знается, может и сам разбогатеть. Он хотел, чтобы я вместо него прокатился, а тем временем он бы обделал свои шахермахерские дела. Этого шутника я убил и ограбил. Он лежит в лесу. Лежит в лесу, кругом снег, каркают вороны, прыгают белки. Я люблю белок. Бедный господин в хорошем пальто лежит мертвый, недалеко от своего автомобиля. Я умею править автомобилем. Я люблю фиалки и музыку. Я родился в Цвикау. Мой отец был лысый сапожник в очках, мать — краснорукая прачка. Когда она сердилась — —

И опять все сначала, с новыми нелепыми подробностями. Так укрепившееся отражение предъявляло свои права. Не я искал убежища в чужой стране, не я обрастал бородой, а Феликс, убивший меня. О, если б я хорошо его знал,

знал близко и давно, мне было бы даже забавно новоселье в душе, унаследованной мною. Я знал бы все ее углы, все коридоры ее прошлого, пользовался бы всеми ее удобствами. Но душу Феликса я изучил весьма поверхностно, — знал только схему его личности, две-три случайных черты.

С этими неприятными ощущениями я кое-как справился. Трудновато было забыть, например, податливость этого большого мягкого истукана, когда я готовил его для казни. Эти холодные послушные лапы. Дико вспомнить, как он слушался меня! Ноготь на большом пальце ноги был так крепок, что ножницы не сразу могли его взять, он завернулся на лезвие, как жесть консервной банки на ключ. Неужто воля человека так могуча, что может обратить другого в куклу? Неужто я действительно брил его? Удивительно! Главное, что мучило меня в этом воспоминании, была покорность Феликса, нелепый, безмозглый автоматизм его покорности. Но, повторяю, я с этим справился. Хуже было то, что я никак не мог привыкнуть к зеркалам. И бороду я стал отращивать не столько чтобы скрыться от других, сколько — от себя. Ужасная вещь — повышенное воображение. Вполне понятно, что человек, как я наделенный такой обостренной чувствительностью, мучим пустяками, — отражением в темном стекле, собственной тенью, павшей убитой к его ногам унд зо вайтер. Стоп, господа, — поднимаю огромную белую ладонь, как полицейский, стоп! Никаких, господа, сочувственных вздохов. Стоп, жалость. Я не принимаю вашего соболезнования, — а среди вас, наверное, найдутся такие, что пожалеют меня — непонятого поэта. «Дым, туман, струна дрожит в тумане». Это не стишок, это из романа Достоевского «Кровь и Слюни». Пардон, «Шульд унд Зюне». О каком-либо раскаянии не может быть никакой речи, — художник не чувствует раскаяния, даже если его произведения не понимают. Что же касается страховых тысяч — —

Знаю, знаю, — оплошно с беллетристической точки зрения, что в течение всей моей повести (насколько я помню) почти не уделено внимания главному как будто двигателю моему, а именно корысти. Как же это я даже толком и не упомянул о том, на что мертвый двойник был мне нужен? Но тут меня берет сомнение, уж так ли действительно владела мною корысть, уж так ли мне было важно

получить эту довольно двусмысленную сумму (цена человека в денежных знаках, посильное вознаграждение за исчезновение со света), — или, напротив, память моя, пишущая за меня, не могла иначе поступить, не могла — будучи до конца правдивой — придать особое значение разговору в кабинете у Орловиуса (не помню, описал ли я этот кабинет).

И еще я хочу вот что сказать о посмертных моих настроениях: хотя в душе-то я не сомневался, что мое произведение мне удалось в совершенстве, т. е. что в черно-белом лесу лежит мертвец, в совершенстве на меня похожий, — я, гениальный новичок, еще не вкусивший славы, столь же самолюбивый, сколь взыскательный к себе, мучительно жаждал, чтобы скорее это мое произведение, законченное и подписанное девятого марта в глухом лесу, было оценено людьми, чтобы обман, — а всякое произведение искусства — обман, — удался; авторские же, платимые страховым обществом, были в моем сознании делом второстепенным. О да, я был художник бескорыстный.

Что пройдет, то будет мило. В один прекрасный день наконец приехала ко мне за границу Лида. Я зашел к ней в гостиницу: «Тише, — сказал я внушительно, когда она бросилась ко мне в объятия, — помни, что меня зовут Феликсом, что я просто твой знакомый». Траур ей очень шел, как, впрочем, и мне шел черный артистический бант и каштановая бородка. Она стала рассказывать, — да, все произошло так, как я предполагал, ни одной заминки. Оказывается, она искренне плакала в крематории, когда пастор с профессиональными рыданиями в голосе говорил обо мне: «И *этот* человек, *этот* благородный человек, который...» Я поведал ей мои дальнейшие планы и очень скоро стал за ней ухаживать.

Теперь я женился на ней, на вдовушке, живем с ней в тихом живописном месте, обзавелись домиком, часами сидим в миртовом садике, откуда вид на сафирный залив далеко внизу, и очень часто вспоминаем моего бедного брата. Я рассказываю все новые эпизоды из его жизни. «Что ж — судьба! — говорит Лида со вздохом. — По крайней мере, он в небесах утешен тем, что мы счастливы».

Да, Лида счастлива со мной, никого ей не нужно. «Как я рада, — порою говорит она, — что мы навсегда избавились от Ардалиона. Я очень жалела его, много с ним

возилась, но как человек он был невыносим. Где-то он сейчас? Вероятно, совсем спился, бедняга. Это тоже судьба!»

По утрам я читаю и пишу, — кое-что, может быть, скоро издам под новым своим именем; русский литератор, живущий поблизости, очень хвалит мой слог, яркость воображения.

Изредка Лида получает весточку от Орловиуса, поздравление к Новому Году, например; он неизменно просит ее кланяться супругу, которого не имеет чести знать, а сам думает, вероятно: «Быстро, быстро утешилась вдовушка... Бедный Герман Карлович!»

Чувствуете тон этого эпилога? Он составлен по классическому рецепту. О каждом из героев повести кое-что сообщается напоследок, — причем их житье-бытье остается в правильном, хотя и суммарном соответствии с прежде выведенными характерами их, — и допускается некоторый юмор, намеки на консервативность жизни.

Лида все так же забывчива и неаккуратна...

А уж к самому концу эпилога приберегается особенно добродушная черта, относящаяся иногда к предмету незначительному, мелькнувшему в романе только вскользь:

на стене у них висит все тот же пастельный портрет, и Герман, глядя на него, все так же смеется и бранится.

Финис.

Мечты, мечты... И довольно притом пресные. Очень мне это все нужно...

Вернемся к нашему рассказу. Попробуем держать себя в руках. Опустим некоторые детали путешествия. Помню, прибыв двенадцатого в город Икс (продолжаю называть его Иксом из понятной застенчивости), я прежде всего пошел на поиски немецких газет; кое-какие нашел, но в них еще не было ничего. Я снял комнату в гостинице второго разряда, — огромную, с каменным полом и картонными на вид стенами, на которых словно была нарисована рыжеватая дверь в соседний номер и гуашевое зеркало. Было ужасно холодно, но открытый очаг бутафорского камина был не приспособлен для топки, и когда сгорели щепки, принесенные горничной, стало еще холоднее. Я провел там ночь, полную самых неправдоподобных, изнурительных видений, — и когда утром, весь колючий и липкий, вышел в переулок, вдохнул приторные запахи, увидел южную

базарную суету, то почувствовал, что в самом городе оставаться не в силах. Дрожа от озноба, оглушенный тесным уличным гвалтом, я направился в бюро для туристов, там болтливый мужчина дал мне несколько адресов: я искал место уютное, уединенное, и когда под вечер ленивый автобус доставил меня по выбранному адресу, я подумал, что такое место нашел.

Особняком среди пробковых дубов стояла приличная с виду гостиница, наполовину еще закрытая (сезон начинался только летом). Испанский ветер трепал в саду цыплячий пух мимоз. В павильоне вроде часовни бил ключ целебной воды, и висели паутины в углах темно-гранатовых окон. Жителей было немного. Был доктор, душа гостиницы и король табльдота, — он сидел во главе стола и разглагольствовал; был горбоносый старик в люстриновом пиджаке, издававший бессмысленное хрюкание, когда с легким топотом быстрая горничная обносила нас форелью, выловленной им из соседней речки; была вульгарная молодая чета, приехавшая в это мертвое место с Мадагаскара; была старушка в кисейном воротничке, школьная инспектриса; был ювелир с большою семьей; была манерная дамочка, которая сперва оказалась виконтессой, потом контессой, а теперь, ко времени, когда я это пишу, превратилась стараниями доктора, делающего все, чтобы повысить репутацию гостиницы, в маркизу; был еще унылый коммивояжер из Парижа, представитель патентованной ветчины; был, наконец, хамоватый жирный аббат, все толковавший о красоте какого-то монастыря поблизости и при этом, для пущей выразительности, срывавший с губ, сложенных мясистым сердечком, воздушный поцелуй. Вот, кажется, и весь паноптикум. Жукообразный жеран стоял у дверей, заложив руки за спину, и следил исподлобья за церемониалом обеда. На дворе бушевал сильный ветер.

Новые впечатления подействовали на меня благотворно. Кормили неплохо. У меня был светлый номер, и я с интересом смотрел в окно на то, как ветер грубо приподымает и отворачивает исподнюю листву маслин. Вдали лиловато-белым конусом выделялась на беспощадной синеве гора, похожая на Фузияму. Выходил я мало, — меня пугал этот беспрестанный, все сокрушающий, слепящий, наполняющий гулом голову мартовский ветер, убийственный горный сквозняк. На второй день я все же поехал в город за газе-

тами, и опять ничего не было, и так как это невыносимо раздражало меня, то я решил несколько дней выждать.

За табльдотом я, кажется, прослыл нелюдимом, хотя старательно отвечал на все вопросы, обращенные ко мне. Тщетно доктор приставал ко мне, чтобы я по вечерам приходил в салон — душную комнатку с расстроенным пианино, плюшевой мебелью и проспектами на круглом столе. У доктора была козлиная бородка, слезящиеся голубые глаза и брюшко. Он ел деловито и неаппетитно. Он желтый зрак яичницы ловко поддевал куском хлеба и целиком с сочным присвистом отправлял в рот. Косточки от жаркого он жирными от соуса пальцами собирал с чужих тарелок, кое-как заворачивал и клал в карман просторного пиджака, и при этом разыгрывал оригинала: это, мол, для бедных собак, животные бывают лучше людей, — утверждение, вызывавшее за столом (длящиеся до сих пор) страстные споры, особенно горячился аббат. Узнав, что я немец и музыкант, доктор страшно мною заинтересовался, и судя по взглядам отовсюду, обращенным на меня, я заключил, что не столько обросшее мое лицо привлекает внимание, сколько национальность моя и профессия, причем и в том, и в другом доктор усматривал нечто несомненно благоприятное для престижа отеля. Он ловил меня на лестнице, в длинных белых коридорах и заводил бесконечный разговор, обсуждал социальные недостатки представителя ветчины или религиозную нетерпимость аббата. Все это становилось немного мне в тягость, но по крайней мере развлекало меня. Как только наступала ночь и по комнате начинали раскачиваться тени листвы, освещенной на дворе одиноким фонарем, — у меня наполнялась бесплодным и ужасным смятением моя просторная, моя нежилая душа. О нет, мертвецов я не боюсь, как не боюсь сломанных, разбитых вещей, чего их бояться! Боялся я, в этом неверном мире отражений, не выдержать, не дожить до какой-то необыкновенной, ликующей, все разрешающей минуты, до которой следовало дожить непременно, минуты творческого торжества, гордости, избавления, блаженства.

На шестой день моего пребывания ветер усилился до того, что гостиница стала напоминать судно среди бурного моря, стекла гудели, трещали стены, тяжкая листва с шумом пятилась и, разбежавшись, осаждала дом. Я вышел было в сад, но сразу согнулся вдвое, чудом удержал шляпу

и вернулся к себе. Задумавшись у окна среди волнующегося гула, я не расслышал гонга и, когда сошел вниз к завтраку и занял свое место, уже подавалось жаркое — мохнатые потроха под томатовым соусом — любимое блюдо доктора. Сначала я не вслушивался в общий разговор, умело им руководимый, но внезапно заметил, что все смотрят на меня.

«А вы что по этому поводу думаете?» — обратился ко мне доктор.

«По какому поводу?» — спросил я.

«Мы говорили, — сказал доктор, — об этом убийстве у вас в Германии. Каким нужно быть монстром, — продолжал он, предчувствуя интересный спор, — чтобы застраховать свою жизнь, убить другого...»

Не знаю, что со мной случилось, но вдруг я поднял руку и сказал: «Послушайте, остановитесь...» — и той же рукой, но сжав кулак, ударил по столу, так что подпрыгнуло кольцо от салфетки, и закричал, не узнавая своего голоса: «Остановитесь, остановитесь! Как вы смеете, какое вы имеете право? Оскорбление! Я не допущу! Как вы смеете — о моей стране, о моем народе... Замолчать! Замолчать! — кричал я все громче. — Вы... Сметь говорить мне, мне, в лицо, что в Германии... Замолчать!..»

Впрочем, все молчали уже давно — с тех пор, как от удара моего кулака покатилось кольцо. Оно докатилось до конца стола, и там его осторожно прихлопнул младший сын ювелира. Тишина была исключительно хорошего качества. Даже ветер перестал, кажется, гудеть. Доктор, держа в руках вилку и нож, замер; на лбу у него замерла муха. У меня заскочило что-то в горле, я бросил на стол салфетку и вышел, чувствуя, как все лица автоматически поворачиваются по мере моего прохождения.

В холле я на ходу сгреб со стола открытую газету, поднялся по лестнице и, очутившись у себя в номере, сел на кровать. Я весь дрожал, подступали рыдания, меня сотрясала ярость, рука была загажена томатовым соусом. Принимаясь за газету, я еще успел подумать: наверное — совпадение, ничего не случилось, не станут французы этим интересоваться, — но тут мелькнуло у меня в глазах мое имя, прежнее мое имя...

Не помню в точности, что я вычитал как раз из той газеты, — газет я с тех пор прочел немало, и они у меня

несколько спутались, — где-то сейчас валяются здесь, но мне некогда разбирать. Помню, однако, что сразу понял две вещи: знают, кто убил, и не знают, кто жертва. Сообщение исходило не от собственного корреспондента, а было просто короткой перепечаткой из берлинских газет, и очень это подавалось небрежно и нагло, между политическим столкновением и попугайной болезнью. Тон был неслыханный, — он настолько был неприемлем и непозволителен по отношению ко мне, что я даже подумал, не идет ли речь об однофамильце, — таким тоном пишут о каком-нибудь полуидиоте, вырезавшем целую семью. Теперь я, впрочем, догадываюсь, что это была уловка международной полиции, попытка меня напугать, сбить с толку, но в ту минуту я был вне себя и каким-то пятнистым взглядом попадал то в одно место столбца, то в другое, — когда вдруг раздался сильный стук. Бросил газету под кровать и сказал: «Войдите!»

Вошел доктор. Он что-то дожевывал.

«Послушайте, — сказал он, едва переступив порог, — тут какая-то ошибка, вы меня неверно поняли. Я бы очень хотел...»

«Вон, — заорал я, — моментально вон».

Он изменился в лице и вышел, не затворив двери. Я вскочил и с невероятным грохотом ее захлопнул. Вытащил из-под кровати газету, — но уже не мог найти в ней то, что читал только что. Я ее просмотрел всю: ничего! Неужели мне приснилось? Я сызнова начал ее просматривать, — это было как в кошмаре, — теряется, и нельзя найти, и нет тех природных законов, которые вносят некоторую логику в поиски, — а все безобразно и бессмысленно произвольно. Нет, ничего в газете не было. Ни слова. Должно быть, я был страшно возбужден и бестолков, ибо только через несколько секунд заметил, что газета старая, немецкая, а не парижская, которую только что держал. Заглянув опять под кровать, я вытащил нужную и перечел плоское и даже пашквильное известие. Мне вдруг стало ясно, что именно больше всего поражало, оскорбительно поражало меня: ни звука о сходстве, — сходство не только не оценивалось (ну, сказали бы, по крайней мере: да, превосходное сходство, но все-таки по тем-то и тем-то приметам это не он), но вообще не упоминалось вовсе, — выходило так, что это человек совершенно другого вида, чем я, а между тем

не мог же он ведь за одну ночь разложиться, — напротив, его физиономия должна была стать еще мраморнее, сходство еще резче, — но если бы даже срок был больший и смерть позабавилась бы им, все равно стадии его распада совпадали бы с моими, — опрометью выражаюсь, чорт, мне сейчас не до изящества. В этом игнорировании самого ценного и важного для меня было нечто умышленное и чрезвычайно подлое, — получалось так, что с первой минуты все будто бы отлично знали, что это не я, что никому в голову не могло прийти, что это мой труп, и в самой ноншалантности изложения было как бы подчеркивание моей оплошности, — оплошности, которую я, конечно, ни в коем случае не мог допустить, — а между тем, прикрыв рот и отвернув рыло, молча, но содрогаясь и лопаясь от наслаждения, злорадствовали, мстительно измывались, мстительно, подло, непереносимо — —

Тут опять постучались, я, задохнувшись, вскочил, вошли доктор и жеран. «Вот, — с глубокой обидой сказал доктор, обращаясь к жерану и указывая на меня, — вот — этот господин не только на меня зря обиделся, но теперь оскорбляет меня, не желает слушать и весьма груб. Пожалуйста, поговорите с ним, я не привык к таким манерам».

«Надо объясниться, — сказал жеран, глядя на меня исподлобья. — Я уверен, что вы сами...»

«Уходите! — закричал я, топая. — То, что вы делаете со мной... Это не поддается... Вы не смеете унижать и мстить... Я требую, вы понимаете, я требую...»

Доктор и жеран, вскидывая ладони и как заводные переступая на прямых ногах, затараторили, тесня меня, — я не выдержал, мое бешенство прошло, но зато я почувствовал напор слез и вдруг, — желающим предоставляю победу, — пал на постель и разрыдался.

«Это все нервы, все нервы», — сказал доктор, как по волшебству смягчаясь.

Жеран улыбнулся и вышел, нежно прикрыв за собой дверь. Доктор налил мне воды, предлагал брому, гладил меня по плечу, — а я рыдал и, сознавая отлично, даже холодно и с усмешкой сознавая, постыдность моего положения, но вместе с тем чувствуя в нем всю прелесть надрывчика и какую-то смутную выгоду, продолжал трястись, вытирая щеки большим, грязным, пахнувшим говядиной платком доктора, который, поглаживая меня, бормотал:

«Какое недоразумение! Я, который всегда говорю, что довольно войны... У вас есть свои недостатки, и у нас есть свои. Политику нужно забыть. Вы вообще просто не поняли, о чем шла речь. Я просто спрашивал ваше мнение об одном убийстве».

«О каком убийстве?» — спросил я, всхлипывая.

«Ах, грязное дело, — переодел и убил, — но успокойтесь, друг мой, — не в одной Германии убийцы, у нас есть свои Ландрю, слава Богу, так что вы не единственный. Успокойтесь, все это нервы, здешняя вода отлично действует на нервы, вернее, на желудок, что сводится к тому же».

Он поговорил еще немного и встал. Я отдал ему платок.

«Знаете что? — сказал он, уже стоя в дверях. — А ведь маленькая графиня к вам неравнодушна. Вы бы сыграли сегодня вечером что-нибудь на рояле, — (он произвел пальцами трель), — уверяю вас, вы бы имели ее у себя в постели».

Он был уже в коридоре, но вдруг передумал и вернулся.

«В молодые безумные годы, — сказал он, — мы, студенты, однажды кутили, особенно надрызгался самый безбожный из нас, и, когда он совсем был готов, мы нарядили его в рясу, выбрили круглую плешь, и вот поздно ночью стучимся в женский монастырь, отпирает монахиня, и один из нас говорит: "Ах, сестра моя, поглядите, в какое грустное состояние привел себя этот бедный аббат, возьмите его, пускай он у вас выспится". И представьте себе, — они его взяли. Как мы смеялись!» — Доктор слегка присел и хлопнул себя по ляжкам. Мне вдруг показалось — а не говорит ли он об этом (переодели... сошел за другого...) с известным умыслом, не подослан ли он, и меня опять обуяла злоба, но, посмотрев на его глупо сиявшие морщины, я сдержался, сделал вид, что смеюсь, он, очень довольный, помахал мне ручкой и наконец, наконец оставил меня в покое.

Несмотря на карикатурное сходство с Раскольниковым... Нет, не то. Отставить. Что было дальше? Да: я решил, что в первую голову следует добыть как можно больше газет. Я побежал вниз. На лестнице мне попался толстый аббат, который посмотрел на меня с сочувствием, — я понял по его маслянистой улыбке, что доктор успел всем рассказать о нашем примирении. На дворе меня сразу оглушил ветер, но я не сдался, нетерпеливо прилип

к воротам, и вот показался автобус, я замахал и влез, мы покатили по шоссе, где с ума сходила белая пыль. В городе я достал несколько номеров немецких газет и заодно справлялся на почтамте, нет ли письма. Письма не оказалось, но зато в газетах было очень много, слишком много... Теперь, после недели всепоглощающей литературной работы, я исцелился и чувствую только презрение, но тогда холодный издевательский тон газет доводил меня почти до обморока. В конце концов картина получается такая: в воскресенье, десятого марта, в полдень, парикмахер из Кенигсдорфа нашел в лесу мертвое тело; отчего он оказался в этом лесу, где и летом никто не бывал, и отчего он только вечером сообщил о своей находке, осталось неясным. Далее следует тот замечательно смешной анекдот, который я уже приводил: автомобиль, умышленно оставленный мной возле опушки, исчез. По следам в виде повторяющейся буквы «т» полиция установила марку шин, какие-то кенигсдорфцы, наделенные феноменальной памятью, вспомнили, как проехал синий двухместный кабриолет «Икар» на тангентных колесах с большими втулками, а любезные молодцы из гаража на моей улице дали все дополнительные сведения, — число сил и цилиндров, и не только полицейский номер, а даже фабричные номера мотора и шасси. Все думают, что я вот сейчас на этой машине где-то катаюсь, — это упоительно смешно. Для меня же очевидно, что автомобиль мой кто-то увидел с шоссе и, не долго думая, присвоил, а трупа-то не приметил — спешил. Напротив — парикмахер, труп нашедший, утверждает, что никакого автомобиля не видал. Он подозрителен, полиции бы, казалось, тут-то его и зацапать, — ведь и не таким рубили головы, — но как бы не так, его и не думают считать возможным убийцей, — вину свалили на меня сразу, безоговорочно, с холодной и грубой поспешностью, словно были рады меня уличить, словно мстили мне, словно я был давно виноват перед ними и давно жаждали они меня покарать. Едва ли не загодя решив, что найденный труп не я, никакого сходства со мной не заметив, вернее, исключив априори возможность сходства (ибо человек не видит того, что не хочет видеть), полиция с блестящей последовательностью удивилась тому, что я думал обмануть мир, просто одев в свое платье человека, ничуть

на меня не похожего. Глупость и явная пристрастность этого рассуждения уморительны. Основываясь на нем, они усомнились в моих умственных способностях. Было даже предположение, что я ненормальный, это подтвердили некоторые лица, знавшие меня, между прочим болван Орловиус (кто еще, интересно), рассказавший, что я сам себе писал письма (вот это неожиданно!). Что, однако, совершенно озадачило полицию, это то, каким образом моя жертва (слово «жертва» особенно смаковалось газетами) очутилась в моих одеждах, или, точнее, как удалось мне заставить живого человека надеть не только мой костюм, но даже носки и слишком тесные для него полуботинки (обуть-то его я мог и постфактум, умники!). Вбив себе в голову, что это не мой труп (т. е. поступив как литературный критик, который при одном виде книги неприятного ему писателя решает, что книга бездарна, и уже дальше исходит из этого произвольного положения), вбив себе это в голову, они с жадностью накинулись на те мелкие, совсем неважные недостатки нашего с Феликсом сходства, которые при более глубоком и даровитом отношении к моему созданию прошли бы незаметно, как в прекрасной книге не замечается описка, опечатка. Была упомянута грубость рук, выискали даже какую-то многозначительную мозоль, но отметили все же аккуратность ногтей на всех четырех конечностях, причем кто-то, чуть ли не парикмахер, нашедший труп, обратил внимание сыщиков на то, что в силу некоторых обстоятельств, ясных профессионалу (подумаешь!), ногти подрезал не сам человек, а другой.

Я никак не могу выяснить, как держалась Лида, когда вызвали ее. Так как, повторяю, ни у кого не было сомнения, что убитый не я, ее, наверное, заподозрили в сообщничестве, — сама виновата, могла понять, что страховые денежки тю-тю и нечего соваться с вдовьими слезами. В конце концов она, вероятно, не удержится и, веря в мою невинность и желая спасти меня, разболтает о трагедии моего брата, что будет, впрочем, совершенно зря, так как без особого труда можно установить, что никакого брата у меня никогда не было, — а что касается самоубийства, то вряд ли фантазия полиции осилит пресловутую веревочку.

Для меня, в смысле моей безопасности, важно следующее: убитый не опознан и не может быть опознан. Меж тем

я живу под его именем, кое-где следы этого имени уже оставил, так что найти меня можно было бы в два счета, ссли бы выяснилось, кого я, как говорится, угробил. Но выяснить это нельзя, что весьма для меня выгодно, так как я слишком устал, чтобы принимать новые меры. Да и как я могу отрешиться от имени, которое с таким искусством присвоил? Ведь я же похож на мое имя, господа, -и оно подходит мне так же, как подходило ему. Нужно быть дураком, чтобы этого не понимать.

А вот автомобиль рано или поздно найдут, но это им не поможет, ибо я и хотел, чтобы его нашли. Как это смешно! Они думают, что я услужливо сижу за рулем, а на самом деле они найдут самого простого и очень напуганного вора.

Я не упоминаю здесь ни о чудовищных эпитстах, которыми досужие борзописцы, поставщики сенсаций, негодяи, строящие свои балаганы на крови, считают нужным меня награждать, ни о глубокомысленных рассуждениях психоаналитического характера, до которых охочи фельетонисты. Вся эта мерзость и грязь сначала бесили меня, особенно уподобления каким-то олухам с вампирными наклонностями, проступки которых в свое время поднимали тираж газет. Был, например, такой, который сжег свой автомобиль с чужим трупом, мудро отрезав ему ступни, так как он оказался не по мерке владельца. Да, впрочем, чорт с ними! Ничего общего между нами нет. Бесило меня и то, что печатали мою паспортную фотографию, на которой я действительно похож на преступника, такая уж злостная ретушевка, а совершенно не похож на себя самого. Право, могли взять другую, например ту, где гляжу в книгу, дорогой, нежно-шоколадный снимок; тот же фотограф снял меня и в другой позе, гляжу исподлобья, серьезные глаза, палец у виска, — так снимаются немецкие беллетристы. Вообще выбор большой. Есть и любительские снимки: одна фоточка очень удачная, в купальном костюме на участке Ардалиона. Кстати, кстати, чуть не забыл: полиция, тщательно производя розыски, осматривая каждый куст и даже роясь в земле, ничего не нашла, кроме одной замечательной штучки, а именно: бутылки с самодельной водкой. Водка пролежала там с июня, — я, кажется, описал, как Лида спрятала ее... Жалею, что я не запрятал где-нибудь и балалайку, чтобы доставить им удовольствие вообра-

зить славянское убийство под чокание рюмочек и пение «Пожалей же меня, дорогая...».

Но довольно, довольно... Вся эта гнусная путаница и чепуха происходит оттого, что по косности своей, и тупости, и предвзятости, люди не узнали меня в трупе безупречного моего двойника. Принимаю с горечью и презрением самый факт непризнания (чье мастерство им не было омрачено?) и продолжаю верить в безупречность. Обвинять себя мне не в чем. Ошибки — мнимые — мне навязали задним числом, голословно решив, что самая концепция моя неправильная, и уже тогда найдя пустячные недочеты, о которых я сам отлично знаю и которые никакого значения не имеют при свете творческой удачи. Я утверждаю, что все было задумано и выполнено с предельным искусством, что совершенство всего дела было в некотором смысле неизбежно, слагалось как бы помимо моей воли, интуитивно, вдохновенно. И вот, для того чтобы добиться признания, оправдать и спасти мое детище, пояснить миру всю глубину моего творения, я и затеял писание сего труда.

Ибо, измяв и отбросив последнюю газету, все высосав, все узнав, сжигаемый неотвязным зудом, изощреннейшим желанием тотчас же принять какие-то мне одному понятные меры, я сел за стол и начал писать. Если бы не абсолютная вера в свои литературные силы, в чудный дар... Сперва шло трудно, в гору, я останавливался и затем снова писал. Мой труд, мощно изнуряя меня, давал мне отраду. Это мучительное средство, жестокое средневековое промывание, но оно действует.

С тех пор как я начал, прошла неделя, и вот, труд мой подходит к концу. Я спокоен. В гостинице со мной все любезны и предупредительны. Ем я теперь не за табльдотом, а за маленьким столиком у окна. Доктор одобрил мой уход и всем объясняет чуть ли не в моем присутствии, что нервному человеку нужен покой и что музыканты вообще нервные люди. Во время обеда он часто ко мне обращается со своего места, рекомендуя какое-нибудь кушание или шутливо спрашивая меня, не присоединюсь ли сегодня, в виде исключения, к общей трапезе, и тогда все смотрят на меня с большим добродушием.

Но как я устал, как я смертельно устал... Бывали дни, — третьего дня, например, — когда я писал с двумя небольшими перерывами девятнадцать часов подряд, а потом,

вы думаете, я заснул? Нет, я заснуть не мог, и все мое тело тянулось и ломалось, как на дыбе. Но теперь, когда я кончаю, когда мне, в общем, нечего больше рассказать, мне так жалко с этой исписанной бумагой расстаться, — а расстаться нужно, перечесть, исправить, запечатать в конверт и отважно отослать, — а самому двинуться дальше, в Африку, в Азию, все равно куда, но как мне не хочется двигаться, как я жажду покоя... Ведь в самом деле: пускай читатель представит себе положение человека, живущего под таким-то именем не потому, что другого паспорта — —

ГЛАВА XI

30 марта 1931 г.

Я на новом месте: приключилась беда. Думал, что будет всего десять глав, — ан нет! Теперь вспоминаю, как уверенно, как спокойно, несмотря ни на что, я дописывал десятую, — и не дописал: горничная пришла убирать номер, я от нечего делать вышел в сад, — и меня обдало чем-то тихим, райским. Я даже сначала не понял, в чем дело, — но встряхнулся, и вдруг меня осенило: ураганный ветер, дувший все эти дни, прекратился.

Воздух был дивный, летал шелковистый ивовый пух, вечнозеленая листва прикидывалась обновленной, отливали смуглой краснотой обнаженные наполовину, атлетические торсы пробковых дубов. Я пошел вдоль шоссе, мимо покатых бурых виноградников, где правильными рядами стояли голые еще лозы, похожие на приземистые корявые кресты, а потом сел на траву и, глядя через виноградники на золотую от цветущих кустов макушку холма, стоящего по пояс в густой дубовой листве, и на глубокое-глубокое, голубое-голубое небо, подумал с млеющей нежностью (ибо, может быть, главная, хоть и тайная, черта моей души — нежность), что начинается новая простая жизнь, тяжелые творческие сны миновали... Вдали, со стороны гостиницы, показался автобус, и я решил в последний раз позабавиться чтением берлинских газет. В автобусе я сперва притворялся спящим (и даже улыбался во сне), заметя среди пассажиров представителя ветчины, но вскоре заснул по-настоящему.

Добыв в Иксе газету, я раскрыл ее только по возвращении домой и начал читать, благодушно посмеиваясь. И вдруг расхохотался вовсю: автомобиль мой был найден.

Его исчезновение объяснилось так: трое молодцов, шедших десятого марта утром по шоссе, — безработный монтер, знакомый нам уже парикмахер и брат парикмахера, юноша без определенных занятий, — завидели на дальней опушке леса блеск радиатора и тотчас подошли. Парикмахер, человек положительный, чтивший закон, сказал, что надобно дождаться владельца, а если такового не окажется, отвести машину в Кенигсдорф, но его брат и монтер, оба озорники, предложили другое. Парикмахер возразил, что этого не допустит, и углубился в лес, посматривая по сторонам. Вскоре он нашел труп. Он поспешил обратно к опушке, зовя товарищей, но с ужасом увидел, что ни их, ни машины нет: умчались. Некоторое время он валандался кругом да около, дожидаясь их. Они не вернулись. Вечером он наконец решился рассказать полиции о своей находке, но из братолюбия скрыл историю с машиной.

Теперь же оказывалось, что те двое, сломав машину, спрятали ее, сами притаились было, но погодя благоразумно объявились. «В автомобиле, — добавляла газета, — найден предмет, устанавливающий личность убитого».

Сперва я по ошибке прочел «убийцы» и еще пуще развеселился, ибо ведь с самого начала было известно, что автомобиль принадлежит мне, — но перечел и задумался. Эта фраза раздражала меня. В ней была какая-то глупая таинственность. Конечно, я сразу сказал себе, что это либо новая уловка, либо нашли что-нибудь такое же важное, как пресловутая водка. Но все-таки мне стало неприятно, — и некоторое время я даже перебирал в памяти все предметы, участвовавшие в деле (вспомнил и тряпку, и гнусную голубую гребенку), и так как я действовал тогда отчетливо, уверенно, то без труда все проследил и нашел в порядке. Квод эрат демонстрандум.

Но покоя у меня не было. Надо было дописать последнюю главу, а вместо того, чтобы писать, я опять вышел, бродил до позднего времени и, придя восвояси, утомленный до последней степени, тотчас заснул, несмотря на смутное мое беспокойство. Мне приснилось, что после долгих, не показанных во сне, подразумеваемых розысков

я нашел наконец скрывавшуюся от меня Лиду, которая спокойно сказала мне, что все хорошо, наследство она получила и выходит замуж за другого, ибо меня нет, я мертв. Проснулся я в сильнейшем гневе, с безумно бьющимся сердцем, — одурачен! бессилен! — не может ведь мертвец обратиться в суд, — да, бессилен, и она знает это! Очухавшись, я рассмеялся, — приснится же такая чепуха, — но вдруг почувствовал, что и в самом деле есть что-то чрезвычайно неприятное, что смехом стряхнуть нельзя, — и не во сне дело, а в загадочности вчерашнего известия: обнаружен предмет... Если действительно удалось подыскать убитому имя, и если имя это правильное... Тут было слишком много «если», — я вспомнил, как вчера тщательно проверил плавные, планетные пути всех предметов — мог бы начертить пунктиром их орбиты, — а все-таки не успокоился.

Ища способа отвлечься от расплывчатых, невыносимых предчувствий, я собрал страницы моей рукописи, взвесил пачку на ладони, игриво сказал «ого!» и решил, прежде чем дописать последние строки, все перечесть сначала. Я подумал внезапно, что предстоит мне огромное удовольствие. В ночной рубашке, стоя у стола, я любовно утряхивал в руках шуршащую толщу исписанных страниц. Затем лег опять в постель, закурил папиросу, удобно устроил подушку под лопатками, — заметил, что рукопись оставил на столе, хотя казалось мне, что все время держу ее в руках; спокойно, не выругавшись, встал и взял ее с собой в постель, опять устроил подушку, посмотрел на дверь, спросил себя, заперта ли она на ключ или нет, — мне не хотелось прерывать чтение, чтобы впускать горничную, когда в девять часов она принесет кофе; встал еще раз — и опять спокойно, — дверь оказалась отпертой, так что можно было и не вставать; кашлянул, лег, удобно устроился, уже хотел приступить к чтению, но тут оказалось, что у меня потухла папироса, — не в пример немецким, французские требуют к себе внимания; куда делись спички? Только что были у меня. Я встал в третий раз, уже с легкой дрожью в руках, нашел спички за чернильницей, а вернувшись в постель, раздавил бедром другой, полный коробок, спрятавшийся в простынях, — значит, опять вставал зря. Тут я вспылил, поднял с пола рассыпавшиеся страницы рукописи,

и приятное предвкушение, только что наполнявшее меня, сменилось почти страданием, ужасным чувством, что кто-то хитрый обещает мне раскрыть еще и еще промахи, и только промахи. Все же, заново закурив и оглушив ударом кулака строптивую подушку, я обратился к рукописи. Меня поразило, что сверху не выставлено никакого заглавия, — мне казалось, что я какое-то заглавие в свое время придумал, что-то, начинавшееся на «Записки...», — но чьи записки — не помнил, — и вообще «Записки» ужасно банально и скучно. Как же назвать? «Двойник»? Но это уже имеется. «Зеркало»? «Портрет автора в зеркале»? Жеманно, приторно... «Сходство»? «Непризнанное сходство»? «Оправдание сходства»?.. Суховато, с уклоном в философию... Может быть: «Ответ критикам»? Или «Поэт и чернь»? Это не так плохо — надо подумать. «Сперва перечтем, — сказал я вслух, — а потом придумаем заглавие».

Я стал читать, — и вскоре уже не знал, читаю ли или вспоминаю, — даже более того — преображенная память моя дышала двойной порцией кислорода, в комнате было еще светлее оттого, что вымыты стекла, прошлое мое было живее оттого, что было дважды озарено искусством. Снова я взбирался на холм под Прагой, слышал жаворонка, видел круглый, красный газоем; снова в невероятном волнении стоял над спящим бродягой, и снова он потягивался и зевал, и снова из его петлицы висела головкой вниз вялая фиалка. Я читал дальше, и появлялась моя розовая жена, Ардалион, Орловиус, — и все они были живы, но в каком-то смысле жизнь их я держал в своих руках. Снова я видел желтый столб и ходил по лесу, уже обдумывая свою фабулу; снова в осенний день мы смотрели с женой, как падает лист навстречу своему отражению, — и вот я и сам плавно упал в саксонский городок, полный странных повторений, и навстречу мне плавно поднялся двойник. И снова я обволакивал его, овладевал им, и он от меня ускользал, и я делал вид, что отказываюсь от замысла, и с неожиданной силой фабула разгоралась опять, требуя от своего творца продолжения и окончания. И снова, в мартовский день, я сонно ехал по шоссе, и там, в кустах, у столба он меня уже дожидался.

«...Садись, скорее, нам нужно отъехать отсюда».

«Куда?» — полюбопытствовал он.

«Вон в тот лес».

«Туда?» — спросил он и указал...

Палкой, читатель, палкой. Палкой, дорогой читатель, палкой. Самодельной палкой с выжженным на ней именем: Феликс такой-то из Цвикау. Палкой указал, дорогой и почтенный читатель, палкой, — ты знаешь, что такое «палка»? Ну вот — палкой, — указал ею, сел в автомобиль и потом палку в нем и оставил, когда вылез: ведь автомобиль временно принадлежал ему, я отметил это «спокойное удовлетворение собственника». Вот какая вещь — художественная память! Почище всякой другой. «Туда?» — спросил он и указал палкой. Никогда в жизни я не был так удивлен...

Я сидел в постели, выпученными глазами глядя на страницу, на мною же — нет, не мной, а диковинной моей союзницей — написанную фразу, и уже понимал, как это непоправимо. Ах, совсем не то, что нашли палку в автомобиле и теперь знают имя, и уже неизбежно это общее наше имя приведет к моей поимке, — ах, совсем не это пронзало меня, — а сознание, что все мое произведение, так тщательно продуманное, так тщательно выполненное, теперь в самом себе, в сущности своей, уничтожено, обращено в труху допущенною мною ошибкой. Слушайте, слушайте! Ведь даже если бы его труп сошел за мой, все равно обнаружили бы палку и затем поймали бы меня, думая, что берут его, — вот что самое позорное! Ведь все было построено именно на невозможности промаха, а теперь оказывается: промах был, да еще какой, — самый пошлый, смешной и грубый. Слушайте, слушайте! Я стоял над прахом дивного своего произведения, и мерзкий голос вопил в ухо, что меня не признавшая чернь, может быть, и права... Да, я усомнился во всем, усомнился в главном, — и понял, что весь небольшой остаток жизни будет посвящен одной лишь бесплодной борьбе с этим сомнением, и я улыбнулся улыбкой смертника и тупым, кричащим от боли карандашом быстро и твердо написал на первой странице слово «Отчаяние», — лучшего заглавия не сыскать.

Мне принесли кофе, я выпил его, но оставил гренки. Затем я наскоро оделся, уложился и сам снес вниз чемодан. Доктор, к счастью, не видел меня. Зато жеран удивился внезапности моего отъезда и очень дорого взял за номер, но мне было это уже все равно. Я уезжал просто потому, что так принято в моем положении. Я следовал некой

традиции. При этом я предполагал, что французская полиция уже напала на мой след.

По дороге в город я из автобуса увидел двух ажанов в быстром, словно мукой обсыпанном автомобиле, — мы скрестились, они оставили облако пыли, — но мчались ли они именно за тем, чтобы меня арестовать, не знаю, — да и, может быть, это вовсе не были ажаны, — не знаю, — они мелькнули слишком быстро. В городе я зашел на почтамт, так, на всякий случай, — и теперь жалею, что зашел, — я бы вполне обошелся без письма, которое мне там выдали. В тот же день я выбрал наудачу пейзаж в щегольской брошюрке и поздно вечером прибыл сюда, в горную деревню. А насчет полученного письма... Нет, пожалуй, я все-таки его приведу, как пример человеческой низости.

«Вот что. Пишу Вам, господин хороший, по трем причинам: 1) она просила, 2) собираюсь непременно Вам сказать, что я о Вас думаю, 3) искренне хочу посоветовать Вам отдаться в руки правосудия, чтобы разъяснить кровавую путаницу и гнусную тайну, от которой больше всего, конечно, страдает она, терроризованная, невиноватая. Предупреждаю Вас, что я с большим сомнением отношусь к мрачной достоевщине, которую Вы изволили ей рассказать. Думаю, мягко говоря, что это вранье. Подлое при этом вранье, так как Вы играли на ее чувствах.

Она просила написать, думая, что Вы еще ничего не знаете, совсем растерялась и говорит, что Вы рассердитесь, если Вам написать. Желал бы я посмотреть, как Вы будете сердиться: это должно быть зверски занятно.

Стало быть, так. Но мало убить человека и одеть в подходящее платье. Нужна еще одна деталь, а именно сходство, но схожих людей нет на свете и не может быть, как бы Вы их ни наряжали. Впрочем, до таких тонкостей не дошло, да и началось-то с того, что добрая душа честно ее предупредила: нашли труп с документами Вашего мужа, но это не он. А страшно вот что: наученная подлецом, она, бедняжка, еще прежде — понимаете ли Вы это? — еще прежде, чем ей показали тело, утверждала, вопреки всему, что это именно ее муж. Я просто не понимаю, каким образом Вы сумели вселить в нее, в женщину совсем чуждую Вам, такой священный ужас. Для этого надо быть действительно незаурядным чудовищем. Бог знает, что ей еще придется испытать. Нет, — Вы обязаны снять с нее тень

сообщничества. Дело же само по себе ясно всем. Эти шуточки, господин хороший, со страховыми обществами давным-давно известны. Я бы даже сказал, что это халтура, банальщина, давно набившая оскомину.

Теперь — что я думаю о Вас. Первое известие мне попалось в городе, где я застрял. До Италии не доехал, и слава Богу. И вот, прочтя это известие, я знаете что? не удивился! Я всегда ведь знал, что Вы грубое и злое животное, и не скрыл от следователя всего, что сам видел. Особенно что касается Вашего с ней обращения, этого Вашего высокомерного презрения, и вечных насмешек, и мелочной жестокости, и всех нас угнетавшего холода. Вы очень похожи на большого страшного кабана с гнилыми клыками, напрасно не нарядили такого в свой костюм. И еще в одном должен признаться Вам: я, слабовольный, я, пьяный, я, ради искусства готовый продать свою честь, я Вам говорю: мне стыдно, что я от Вас принимал подачки, и этот стыд я готов обнародовать, кричать о нем на улице, только бы отделаться от него.

Вот что, кабан! Такое положение длиться не может. Я желаю Вашей гибели не потому, что Вы убийца, а потому, что вы подлейший подлец, воспользовавшийся наивностью доверчивой молодой женщины, и так истерзанной и оглушенной десятилетним адом жизни с Вами. Но если в Вас еще не все померкло: объявитесь!»

Следовало бы оставить это письмо без комментариев. Беспристрастный читатель предыдущих глав видел, с каким добродушием и доброхотством я относился к Ардалиону, а вот как он мне отплатил. Но все равно, все равно... Я хочу думать, что писал он эту мерзость в пьяном виде, уж слишком все это безобразно, бьет мимо цели, полно клеветнических утверждений, абсурдность которых тот же внимательный читатель поймет без труда. Назвать веселую, пустую, недалекую мою Лиду запуганной или как там еще — истерзанной, — намекать на какой-то раздор между нами, доходящий чуть ли не до мордобоя, это уже извините, это уже я не знаю, какими словами охарактеризовать. Нет этих слов. Корреспондент мой все их уже использовал, в другом, правда, применении. Я, перед тем полагавший, что уже перевалил за последнюю черту возможных страданий, обид, недоумений, пришел в такое состояние, перечитывая это письмо, меня такая одолела дрожь, что все

крутом затряслось — стол, стакан на столе, даже мышеловка в углу новой моей комнаты.

Но вдруг я хлопнул себя по лбу и расхохотался. Как это было просто! Как просто разгадывалось таинственное неистовство этого письма. Это — неистовство собственника: Ардалион не может мне простить, что я шифром взял его имя и что убийство произошло как раз на его участке земли. Он ошибается, все давно обанкротились, неизвестно кому принадлежит эта земля, и вообще — довольно, довольно о шуте Ардалионе! Последний мазок на его портрет наложен, последним движением кисти я наискось в углу подписал его. Он получше будет той подкрашенной дохлятины, которую этот шут сотворил из моей физиономии. Баста! Он хорош, господа.

Но все-таки, как он смеет... Ах, к чорту, к чорту, все к чорту!

31 марта, ночью

Увы, моя повесть вырождается в дневник. Но ничего не поделаешь: я уже не могу обойтись без писания. Дневник, правда, самая низкая форма литературы. Знатоки оценят это прелестное, будто бы многозначительное «ночью», — ах ты — «ночью», смотри какой, писал ночью, не спал, какой интересный и томный! Но все-таки я пишу это ночью.

Деревня, где я скучаю, лежит в люльке долины, среди высоких и тесных гор. Я снял большую, похожую на сарай комнату в доме у смуглой старухи, держащей внизу бакалейную. В деревне одна всего улица. Я бы долго мог описывать местные красоты, — облака, например, которые проползают через дом из окна в окно, — но описывать все это чрезвычайно скучно. Меня забавляет, что я здесь единственный турист, да еще иностранец, а так как успели както разнюхать (впрочем, я сам сказал хозяйке), что я из Германии, то возбуждаю большое любопытство. Мне бы скрываться, а я лезу на самое, так сказать, видное место, трудно было лучше выбрать. Но я устал; чем скорее все это кончится, тем лучше.

Сегодня, кстати, познакомился я с местным жандармом, — совершенно опереточный персонаж! Это довольно пухлый розовый мужчина, ноги хером, фатоватые черные усики. Я сидел на конце улицы на скамейке, и крутом поселяне занимались своим делом, т. е. притворялись, что занимаются своим делом, а в сущности с неистовым

любопытством, в каких бы позах они ни находились, из-за плеча, из-под мышки, из-под колена следили за мной, — я это отлично видел. Жандарм нерешительно подошел ко мне, заговорил о дожде, потом о политике. Он кое-чем напомнил мне покойного Феликса — солидным тоном, мудростью самоучки. Я спросил, когда тут последний раз арестовали кого-нибудь. Он подумал и ответил, что это было шесть лет тому назад, — задержали испанца, который с кем-то повздорил не без мокрых последствий и скрылся в горах. Далее он счел нужным сообщить мне, что в горах есть медведи, которых искусственно там поселили для борьбы с волками, — что показалось мне очень смешным. Но он не смеялся, он стоял, меланхолично покручивая левый ус правой рукой, и рассуждал о современном образовании: «Вот, например, я, — говорил он, — я знаю географию, арифметику, военное дело, пишу красивым почерком...» Я спросил: «А на скрипке играете?» Он грустно покачал головой.

Сейчас, дрожа в студеной комнате, проклиная лающих собак, ожидая, что в углу с треском хлопнет мышеловка, отхватив мыши голову, машинально попивая вербеновую настойку, которую хозяйка, считая, что у меня хворый вид, и боясь, вероятно, что умру до суда, вздумала мне принести, я сижу, и вот пишу на этой клетчатой школьной бумаге, другой было здесь не найти, — и задумываюсь, и опять посматриваю на мышеловку. Зеркала, слава Богу, в комнате нет, как нет и Бога, которого славлю. Все темно, все страшно, и нет особых причин медлить мне в этом темном, зря выдуманном мире. Убить себя я не хочу, это было бы не экономно, — почти в каждой стране есть лицо, оплачиваемое государством, для исполнения смертной услуги. И затем — раковинный гул вечного небытия. А самое замечательное, что все это может еще продлиться, — т. е. не убьют, а сошлют на каторгу, и еще может случиться, что через пять лет подойду под какую-нибудь амнистию и вернусь в Берлин, и буду опять торговать шоколадом. Не знаю, почему, — но это страшно смешно.

Предположим, я убил обезьяну. Не трогают. Предположим, что это обезьяна особенно умная. Не трогают. Предположим, что это — обезьяна нового вида, говорящая, голая. Не трогают. Осмотрительно поднимаясь по этим тонким ступеням, можно добраться до Лейбница или

Шекспира и убить их, и никто тебя не тронет, — так как все делалось постепенно, неизвестно, когда перейдена грань, после которой софисту приходится худо.

Лают собаки. Холодно. Какая смертельная, невылазная мука. Указал палкой. Палка, — какие слова можно выжать из палки? Пал, лак, кал, лампа. Ужасно холодно. Лают, — одна начнет, и тогда подхватывают все. Идет дождь. Электричество хилое, желтое. Чего я, собственно говоря, натворил?

1-го апреля

Опасность обращения моей повести в худосочный дневник, к счастью, рассеяна. Вот сейчас заходил мой опереточный жандарм, деловитый, при сабле, и, не глядя мне в глаза, учтиво попросил мои бумаги. Я ответил, что все равно намерен на днях прописаться, а что сейчас не хочу вылезать из постели. Он настаивал, — был вежлив, извинялся, но настаивал. Я вылез и дал ему паспорт. Уходя, он в дверях обернулся и все тем же вежливым голосом попросил меня сидеть дома. Скажите пожалуйста!

Я подкрался к окну и осторожно отвел занавеску. На улице стоят зеваки, человек сто, и смотрят на мое окно. В толпе пробирается мой жандарм, его о чем-то рьяно спрашивает господин в котелке набекрень, любопытные их затеснили. Лучше не видеть.

Может быть, все это — лжебытие, дурной сон, и я сейчас проснусь где-нибудь — на травке под Прагой. Хорошо по крайней мере, что затравили так скоро.

Я опять отвел занавеску. Стоят и смотрят. Их сотни, тысячи, миллионы. Но полное молчание, только слышно, как дышат. Отворить окно, пожалуй, и произнести небольшую речь.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ (СИРИН)

ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ

и другие рассказы

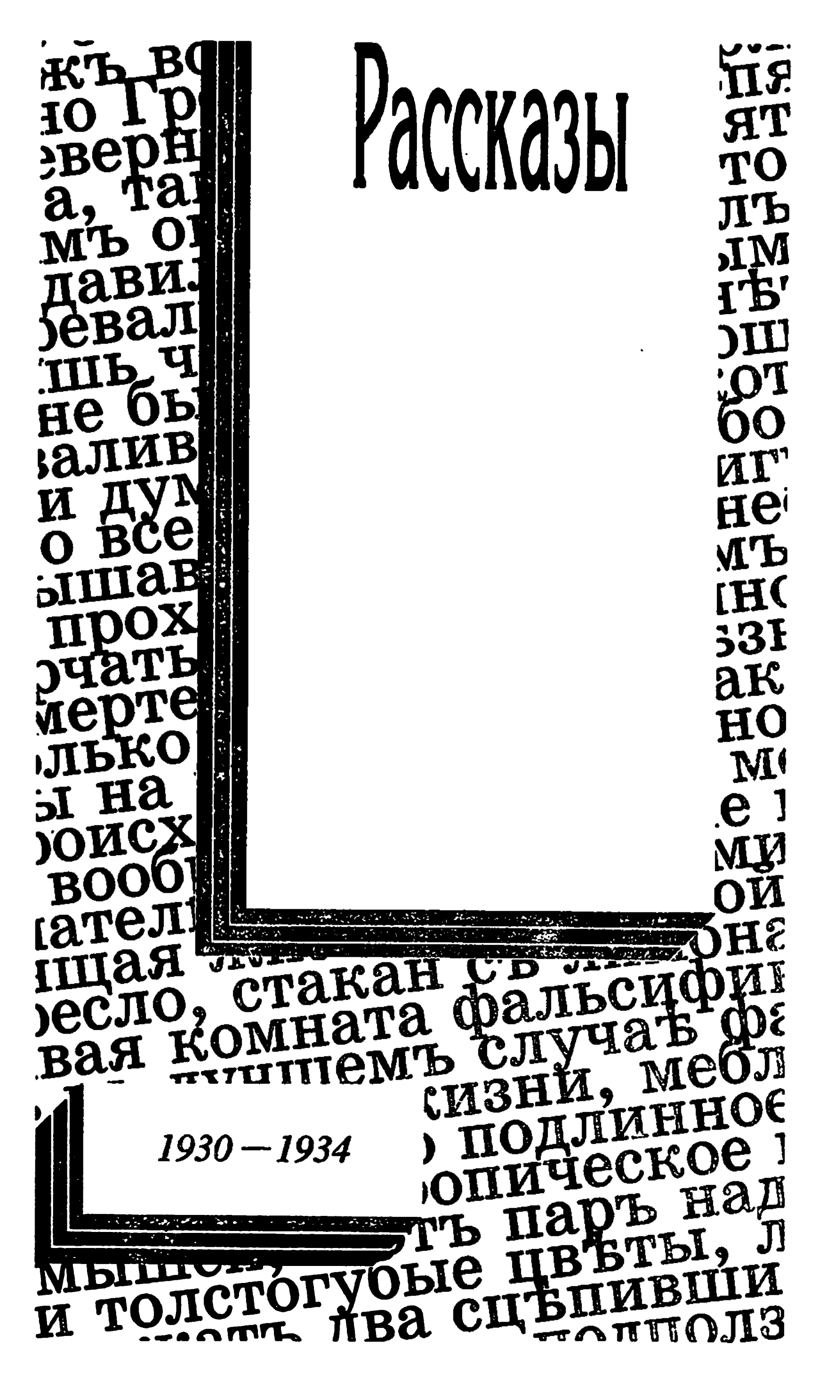
...тво имени Чехова

...ью-Йорк

В. СИРИНЪ

Соглядатай

Изд-во "Русскія Записки"



Рассказы

1930 — 1934

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА

СОГЛЯДАТАЙ

ПИЛЬГРАМ

Улица, увлекая в сторону один из номеров трамвая, начиналась с угла людного проспекта, долго тянулась в темноте, без витрин, без всяких радостей, и, как бы решив зажить по-новому, меняла имя после круглого сквера, который трамвай обходил с неодобрительным скрежетом; далее она становилась значительно оживленнее; по правой руке появлялись: фруктовая лавка с пирамидами ярко освещенных апельсинов, табачная с фигурой арапчонка в чалме, колбасная, полная жирных коричневых удавов, аптека, москательная и вдруг — магазин бабочек. Ночью, особенно дождливой ночью, когда асфальт подернут тюленьим лоском, редко кто не останавливался на мгновение перед этим символом прекрасной погоды. Бабочки, выставленные напоказ, были огромные, яркие. Прохожий думал про себя: «Какие краски — невероятно!» — и шел своей дорогой. Бабочки на короткое время задерживались у него в памяти. Крылья с большими удивленными глазами, лазурные крылья, черные крылья с изумрудной искрой, плыли перед ним до тех пор, пока не приходилось перевести внимание на приближавшийся к остановке трамвай. И еще запоминались мельком: глобус, какие-то инструменты и череп на пьедестале из толстых книг.

Затем шли опять обыкновенные лавки, — галантерейная, угольный склад, булочная, — а на углу был небольшой трактир. Хозяин, тощий человек с ущемленной дряблой кожей между углами воротничка, очень ловко умел выплескивать в рюмки из клювастой бутылки дешевый коньяк и был большой мастер на остроумные реплики. За круглым столом у окна почти каждый вечер фруктовщик, булочник, монтер и двоюродный брат хозяина дулись в карты: выигравший очередную ставку тотчас заказывал четыре пива, так что в конце концов никто не мог особенно разбогатеть.

По субботам к другому столу рядом садился грузный розовый человек с седоватыми усами, неровно подстриженными, заказывал ром, набивал трубку и равнодушными, слезящимися глазами, из которых правый был открыт чуть пошире левого, глядел на игроков. Когда он входил, они приветствовали его, не сводя взгляда с карт. Монтер слюнил палец и ходил. «Раз, два и три», — приговаривал булочник, высоко поднимая карту за картой и с размаху хлопая каждой об стол. После чего появлялась новая партия пива.

Иногда кто-нибудь обращался к грузному человеку, спрашивал, как торгует его лавочка; тот медлил, прежде чем ответить, и часто не отвечал вовсе. Если близко проходила хозяйская дочь, крупная девица в клетчатом шерстяном платье, он норовил хлопнуть ее по увертливому бедру, совершенно не меняя при этом своего угрюмого выражения, а только наливаясь кровью. Остряк хозяин называл его «господин профессор», присаживался, бывало, к его столу, говорил: «Ну-с, как поживает господин профессор?» — и тот, пыхтя трубкой, долго смотрел на него, прежде чем ответить, и затем, выпятив из-под мундштука мокрую губу лодочкой — вроде слона, собирающегося вобрать то, что несет ему хобот, — говорил что-нибудь грубое и несмешное, хозяин бойко возражал, и тогда люди рядом, глядя в карты, тряско гоготали.

На нем был просторный серый костюм с большим преобладанием жилетной части, и когда кукушка на миг покидала недра трактирных часов, он медленным жестом, морщась от дыма, вынимал из жилетного кармана серебряную луковицу и глядел на нее, держа на ладони и ладонь слегка отставя. Ровно в полночь он выбивал трубку в пепельницу, расплачивался и, сунув бескостную руку поочередно хозяину, дочке его и четырем игрокам, молча уходил.

Шел он по панели чуть прихрамывая, неловко двигая ногами, слишком слабыми и худыми для его тяжелого тела, и, миновав витрину своей лавки, сворачивал сразу за ней в подворотню, где в правой стене была дверь с латунной дощечкой, прикрепленной посредине: «Пильграм». Квартира была маленькая, тусклая, с невеселыми окнами во двор; днем можно было выходить на улицу через магазин, куда вел — прямо из тесной гостиной с буро-малиновым диваном и старой швейной машиной, украшенной инкрустациями, — темный проход, полный хлама. Когда, в суб-

ботнюю ночь, Пильграм входил к себе в спальню, где над широкой постелью было несколько увядших фотографий одного и того же корабля, Элеонора обыкновенно уже почивала. Он бормотал себе под нос, шаркал куда-то с зажженной свечой, возвращался, громко запирал дверь, кряхтел, снимая сапоги, и потом долго сидел на краю постели, и жена, проснувшись, начинала стонать в подушку, предлагая ему помочь раздеться, и тогда он, с урчащей угрозой в голосе, велел ей утихнуть и повторял слово «тихо» несколько раз сряду, все более свирепо. После удара, когда он чуть не умер от удушья и долго не мог говорить, — удара, случившегося с ним в прошлом году, как раз когда он снимал сапоги, — Пильграм ложился спать нехотя, с опаской, и потом, уже лежа под периной, рядом с женой, приходил в бешенство, если в соседней кухне капал кран. Он будил жену, и она шлепала в кухню, — низенькая, в унылой ночной рубашке, с толстыми волосатыми икрами, с маленьким лицом, лоснившимся от перинного тепла. Они были женаты уже четверть века и были бездетны. Детей Пильграм никогда не хотел, дети служили бы только лишней помехой к воплощению той страстной, неизменной, изнурительной и блаженной мечты, которой он болел с тех пор, как себя помнил.

Он спал всегда на спине, низко надвинув на лоб ночной колпак, — это был сон по шаблону, прочный и шумный сон лавочника, доброго бюргера, и, глядя на него, можно было предположить, что сон с такой пристойной внешностью совершенно лишен видений. На самом же деле этот сорокапятилетний, тяжелый, грубый человек, питавшийся гороховой колбасой да вареным картофелем, мирно доверявший своей газете, благополучно невежественный во всем, что не касалось его одинокой бессмысленной страсти, видел — без ведома жены и соседей — необыкновенные сны. По воскресеньям он вставал поздно, в несколько приемов пил кофе, потом выходил гулять с женой, — молчаливая, медленная прогулка, которую Элеонора всю неделю прилежно предвкушала. В будни же он открывал лавку как можно пораньше, рассчитывая на детей, мимо идущих в школу, — ибо последнее время он держал в придачу к основному товару кое-какие школьные принадлежности. Бывало, мальчик лениво плетется в школу, раскачивая сумкой и жуя на ходу, — мимо табачной, где в папиросных

коробочках некоторых фирм имеются цветные картиночки, которые очень выгодно собирать, мимо колбасной, напоминавшей, что слишком рано съеден бутерброд, мимо аптеки, мимо москательной, — и, вспомнив, что нужно купить резинку, входит в следующий магазин. Пильграм мычал, выдвинув нижнюю губу из-под мундштука трубки, и, вяло порывшись, выкладывал на прилавок открытую картонку, после чего безучастно глядел перед собой, пуская частые струйки дешевого дыма. Мальчик щупал бледные аккуратные резинки, не находил излюбленного сорта и удалялся, ничего не купив. Главный товар в магазине оставался незамеченным, — такие уж пошли дети, с горечью думал Пильграм и мельком вспоминал собственное детство. Его покойный отец, — моряк, шатун, пройдоха, — женился, уже под старость, на желтой светлоглазой голландке, которую он вывез с Борнео, и, покончив со странствиями, открыл лавку экзотических вещей. Жена вскоре умерла, сын ходил в школу, а потом стал помогать в лавке. Он теперь не помнил точно, как и когда стали появляться в ней ящики с бабочками, но помнил, что любил бабочек с тех пор, как существует. Очень постепенно бабочки стали вытеснять сушеных морских коньков, чучела колибри, дикарские талисманы, веера с драконами и прочую пыльную дрянь. Когда умер отец, бабочки окончательно завладели магазином, хотя еще долго доживали свой век, там и сям, парчовые туфли, бумеранг, коралловое ожерелье, — потом и эти остатки исчезли, бабочки царствовали самодержавно, и только очень недавно они в свою очередь начали сдавать: пришлось пойти на уступки, появились учебные пособия, естественным переходом к которым служил стеклянный ящичек с наглядной биографией тутового шелкопряда. Торговля шла все хуже и хуже. Учебные пособия, а из бабочек все то, что могло прийтись по вкусу обывателю, — наиболее крупные, привлекательные виды, да яркие крылья на гипсе в багетовых рамочках, украшение для комнаты, а не гордость ученого, — выставлены были в витрине, меж тем как в самой лавке, пропитанной миндальным запахом глоболя, хранились драгоценнейшие коллекции, все было заставлено разнообразными ящиками, картонками, коробками из-под сигар с торфяными подстилками, — стеклянные ящики стояли на полках, лежали на прилавке или же были вставлены в высокие, темные шкафы, — и все

они были наполнены ровными рядами безупречно свежих, безупречно расправленных бабочек. Иногда появлялась живность: тяжелые коричневые куколки, с симметрично сходящимися бороздками на грудке, показывающими, как упакованы зачаточные крылья, лапки, сяжки, хоботок между ними, и с членистым остроконечным брюшком, которое вдруг начинало судорожно сгибаться вправо и влево, если такую куколку тронуть. Лежали они во мху и стоили недорого, — и со временем из них вылуплялась сморщенная, чудесно растущая бабочка. А иногда появлялись для продажи другие, случайные, твари — маленькие черепахи ювелирного образа или дюжина ящериц, уроженок Майорки, холодных, черных, синебрюхих, которых Пильграм кормил мучными личинками на жаркое и виноградинами на сладкое.

Всю жизнь он прожил в Пруссии, всю жизнь, безвыездно. Энтомолог он был превосходный, венец Ребель назвал его именем одну редкую бабочку, да и сам он кое-что открыл, описал. В его ящиках были все страны мира, но сам он нигде не побывал и только иногда, по воскресеньям, летом, уезжал за город, в скучные, песчано-сосновые окрестности Берлина, вспоминал детство, поимки, казавшиеся тогда такими необыкновенными, и с грустью смотрел на бабочек, все виды которых ему были давным-давно известны, прочно, безнадежно соответствовали пейзажу, — или же на ивовом кусте отыскивал большую, голубовато-зеленую, шероховатую на ощупь гусеницу с маленьким фарфоровым рогом на задке. Он держал ее, оцепеневшую, на ладони, вспоминал такую же находку в детстве, — замирание, приговорки восторга, — и, как вещь, ставил ее обратно на сучок. Да, всю жизнь он прожил на родине, и хотя два-три раза подвернулась возможность начать более выгодное дело — торговать сукном — он крепко держался за свою лавку, как за единственную связь между его берлинским прозябанием и призраком пронзительного счастья: счастье заключалось в том, чтобы самому, вот этими руками, вот этим светлым кисейным мешком, натянутым на обруч, самому, самому, ловить редчайших бабочек далеких стран, собственными глазами видеть их полет, взмахивать сачком, стоя по пояс в траве, ощущать бурное биение сквозь кисею. Деньги на это счастье он собирал как человек, который подставляет чашу под драгоценную, скупо

капающую влагу и всякий раз, когда хоть немного собрано, роняет ее, и все выливается, и нужно начать сначала. Он женился, сильно рассчитывая на приданое, но тесть через неделю помер, оставив наследство из одних долгов. Затем, накануне войны, после упорного труда все у него было готово к отъезду, — он даже приобрел тропический шлем; когда же это рухнуло, его еще некоторое время утешала надежда, что теперь-то он попадет кое-куда, — как попадали прежде на Восток или в колонии молодые лейтенанты, которые, томясь походной скукой, принимались составлять коллекции бабочек и жуков, чтобы потом на всю жизнь пристраститься к ним. Слабый, рыхлый, больной, он был оставлен в тылу и иностранных чешуекрылых не увидел. Но самое страшное, — то, что случается только в кошмарах, — произошло через несколько лет после войны: сумма денег, которую он опять с трудом набрал, сумма денег, которую он держал в руках, — эта вполне реальная сгущенная возможность счастья вдруг превратилась в бессмысленные бумажки. Он чуть не погиб, до сих пор не оправился...

Покупатели были сравнительно нередки, но приобретали только мелочь, скупились, жаловались на бедность. Последние годы, чтобы слишком не волноваться, он избегал посещать энтомологический клуб, членом которого давно состоял. Иногда к нему заходил коллега, и Пильграма бесило, когда тот, любуясь ценной бабочкой, рассказывал, где и при каких обстоятельствах он ее ловил; Пильграму казалось, что рассказчик совершенно равнодушен, пресыщен дальними странствиями и, должно быть, не испытывал ничего, когда утром, в первый день приезда, выходил с сачком в степь. В магазине тускло пахло миндалем, ящики, над которыми он и знакомый тихо наклонялись, постепенно занимали весь прилавок, трубка в сосущих губах Пильграма издавала грустный писк. Задумчиво он глядел на тесные ряды маленьких бабочек, совершенно одинаковых для непосвященных, и иногда молча стучал толстым пальцем по стеклу, указывая редкость, или, мучительно сопя трубкой, поднимал ящик к свету, опять опускал на прилавок и, вонзясь ногтями под тугие края крышки, расшатывал ее легким рывком и плавно снимал. «Да, это самочка», — говорил коллега, наклонясь тоже над открытым ящиком. Пильграм, мыча, брался двумя пальцами за головку черной булавки, на которой было распято крохотное

бархатное существо, и долго смотрел на крылья, на тельце, поворачивал, глядел на испод и, выдохнув вместе с дымом латинское название, втыкал бабочку обратно. Его движения были как будто небрежны, но это была особая, безошибочная небрежность опытного хирурга. Хрупкую бабочку, чьи сухие сяжки отломились бы при малейшем толчке, — или так по крайней мере казалось, — и которая легко могла выскользнуть, когда он ее вертел, держа за булавку, эту многостоящую бабочку, этот, быть может, единственный экземпляр, Пильграм брал так же просто, как если бы его пальцы и булавка были согласованные части одной и той же непогрешимой машины. Но случалось, что какая-нибудь открытая коробка, тронутая обшлагом увлекшегося коллеги, начинала съезжать с прилавка; Пильграм, заметив, вовремя останавливал ее и только через несколько минут, занимаясь другим, издавал страдальческий стон.

Погодя коллега, подняв шляпу с пола, уходил, но Пильграм, бормоча, еще долго возился с ящиками, отыскивал что-то. Его огромное знание в области чешуекрылых тяготило, дразнило его, искало выхода. Всякая чужая страна представлялась ему исключительно как родина той или иной бабочки, — и томление, которое он при этом испытывал, можно только сравнить с тоской по родине. Мир он знал совершенно по-своему, в особом разрезе, удивительно отчетливом и другим недоступном. Если б он побывал в какой-нибудь прославленной местности, Пильграм заметил бы только то, что относилось к его добыче, служило для нее естественным фоном, — и только тогда запомнил бы Эректеон, если бы с листа оливы, растущей в глубине святилища, слетела и была подхвачена свистящим сачком греческая достопримечательность, которую лишь он, специалист, мог оценить. Географический образ мира, подробнейший путеводитель (где игорные дома и старые церкви отсутствовали) он бессознательно составил себе из всего того, что нашел в энтомологических трудах, в ученых журналах и книгах, — а прочел он необыкновенно много и обладал отличной памятью. Динь в южной Франции, Рагуза в Далмации, Сарепта на Волге, — знаменитые, всякому энтомологу дорогие места, где ловили мелкую нечисть, на удивление и страх аборигенам, странные люди, приехавшие издалека, — эти места, славные своей фауной,

Пильграм видел столь же ясно, словно сам туда съездил, словно сам в поздний час пугал содержателя скверной гостиницы грохотом, топотом, прыжками по комнате, в открытое окно которой, из черной, щедрой ночи, влетела и стремительно закружилась, стукаясь о потолок, серенькая бабочка. Он посещал Тенериффу, окрестности Оротавы, где в жарких, цветущих овражках, которыми изрезаны нижние склоны гор, поросших каштаном и лавром, летает диковинная разновидность капустницы, и тот, другой, остров — давнюю любовь охотников, — где на железнодорожном скате, около Виццавоны, и повыше, в сосновых лесах, водится смуглый, коренастый корсиканский махаон. Он посещал и север — болота Лапландии, где мох, гонобобель и карликовая ива, богатый мохнатыми бабочками полярный край, — и высокие альпийские пастбища, с плоскими камнями, лежащими там и сям среди старой, скользкой, колтунной травы, — и, кажется, нет большего наслаждения, чем приподнять такой камень, под которым и муравьи, и синий скарабей, и толстенькая сонная ночница, еще, быть может, никем не названная; и там же, в горах, он видел полупрозрачных, красноглазых аполлонов, которые плывут по ветру через горный тракт, идущий вдоль отвесной скалы и отделенный широкой каменной оградой от пропасти, где бурно белеет вода. В итальянских садах летним вечером гравий таинственно скрипел под ногой, и Пильграм долго смотрел сквозь смутную темноту на цветущий куст, и вот появлялся, невесть откуда, с жужжанием на низкой ноте, олеандровый бражник, переходил от цветка к цветку, останавливаясь в воздухе перед венчиком и так быстро трепеща на месте, что виден был только призрачный ореол вокруг торпедообразного тела. Он знал белые вересковые холмы под Мадридом, долины Андалузии, скалы и солнце, большие горы, плодородный и лесистый Альбарацин, куда довозил его по витой дороге маленький автобус. Забирался он и на восток, в волшебный Уссурийский край, и далеко на юг, в Алжир, в кедровые леса, и через пески в оазис, орошенный горячим источником, где пустыня кругом тверда, плотна, в мелких левкоях и в лиловых ирисах.

Занимаясь преимущественно палеарктической фауной, он с трудом воображал тропики, — и попытка туда проникнуть мечтой вызывала сердцебиение и чувство, почти

нестерпимое, сладкое, обморочное. Он ловил сафирных амазонских бабочек, таких сияющих, что от их просторных крыльев ложился на руку или на бумагу голубой отсвет. В Конго на жирной, черной земле плотно сидели, сложив крылья, желтые и оранжевые бабочки, будто воткнутые в грязь, — и взлетали яркой тучей, когда он приближался, и опускались опять на то же место. И на Суматре, в саду, среди джунглей, апельсиновые деревья в цвету привлекали одну из крупнейших денниц, с великолепными тюлевыми крыльями, с пятнистым загнутым брюшком толщиною в палец.

«Да, да, да», — бормотал он, держа перед собой, как картину, драгоценный ящик. Тренькал звоночек над дверью, входила жена с мокрым зонтиком, с сеткой для провизии, — и он медленно, как на шарнирах, поворачивался к ней спиной, вдвигая ящик в один из шкафов. И вот однажды, в серый и сырой апрельский день, когда он размечтался, и вдруг дернулся звоночек, пахнуло дождем, вошла Элеонора и деловито просеменила в комнаты, — Пильграм ясно почувствовал, что он никогда никуда не уедет, подумал, что ему скоро пятьдесят, что он должен всем соседям, что нечем платить налог, — и ему показалось дикой выдумкой, невозможным бредом, что сейчас, вот в этот миг, садится южная бабочка на базальтовый осколок и дышит крыльями.

Уже больше года хранилась у него отданная ему на комиссию вдовой собирателя, с которым он прежде имел дела, превосходная, очень представительная коллекция мелких стеклянистых видов замечательной породы, подражающей комарам, осам, наездникам. Вдове он сразу сказал, что больше семидесяти пяти марок не выручит, на самом же деле отлично знал, что ценность коллекции составляет несколько тысяч и что любитель, которому он уступит ее тысячи за две, почтет, что купил дешево. Любитель, однако, не появлялся, на письма, разосланные трем-четырем известным коллекционерам, он получил уклончивые ответы, — и тогда Пильграм запер шкаф с коллекцией и перестал о ней думать. И вот, в апреле — как раз в те дни, когда он впал в вялое отчаяние, мычал на жену, много пил и ел и страдал от головокружений, — явился в лавку господин, очень по моде одетый, и, бегая глазами по лавке, попросил почтовую марку в восемь пфеннигов. Мелкие

монеты, которыми он заплатил, Пильграм сунул в глиняную копилку, стоявшую на полке, и уставился в пустоту, сося трубку. Господин же с рассеянным видом оглянул ящики с бабочками и, кивнув по направлению изумрудной со многими хвостиками, сказал, что она очень красива. Пильграм промямлил что-то о Мадагаскаре и вышел из-за прилавка. «А вот эти — неужели тоже бабочки?» — спросил господин, ткнув пальцем в другой ящик. Пильграм меж тем вынул изумрудную с хвостиками и, поворачивая ее так и сяк, смотрел на этикетку, наколотую на булавку под самой грудкой. Господин повторил свой вопрос, Пильграм взглянул по направлению его пальца, пробормотал, что у него есть целая коллекция таких — пять тысяч экземпляров, — и, воткнув мадагаскарскую обратно, закрыл ящик. «Вроде комаров», — сказал господин. Пильграм почесал небритый подбородок и, подумав, удалился в глубину лавки. Он вернулся с ящиком, который, крякнув, положил на прилавок. Господин стал разглядывать стеклянистых мотыльков с цветными тельцами. Пильграм указал концом трубки на один из рядов, и одновременно господин произнес «polaris», чем и выдал себя. Пильграм принес еще ящик, потом третий, четвертый, и постепенно ему становилось ясно, что господин отлично знал о существовании этой коллекции, нарочно за этим и пришел, и наконец, когда был произнесен небрежный вопрос: «Сколько же это все стоит, — вероятно, недорого?» — Пильграм пожал плечами и усмехнулся. И на следующий день господин явился опять, и выяснилось, что Пильграм ему писал, что фамилия его Зоммер, — да-да, знаменитый Зоммер... И тогда он понял, что совершится сделка.

Последний раз, что он одним махом заработал крупную сумму, было накануне инфляции, когда удалось продать тоже шкаф с определенным родом, — видам которого, пушистым, с яркими задними крыльями, даны названия, относящиеся к любви: избранница, нареченная, супруга, прелюбодейка... И теперь, тонко торгуясь с Зоммером, он ощущал волнение, тяжесть в висках, черные пятна плыли перед глазами, — и предчувствие счастья, предчувствие отъезда было едва выносимо. Он знал отлично, что это безумие, знал, что оставляет нищую жену, долги, магазин, который и продать нельзя, знал, что две-три тысячи, которые он выручит за коллекцию, позволят ему странствовать

не больше года, — и все же он шел на это, как человек, чувствующий, что завтра — старость и что счастье, пославшее за ним, уже больше никогда не повторит приглашения.

Когда наконец Зоммер сказал, что через три дня даст окончательный ответ, Пильграм решил, что мечта вот сейчас, сейчас из куколки вылупится. Он подолгу разглядывал карту, висевшую на стене в лавке, выбирал маршрут, прикидывал, в каком месяце водится тот или иной вид, куда поехать весной и куда летом, — и вдруг увидел что-то зеленое, ослепительное и грузно присел на табурет. Наступил третий день, Зоммер должен был явиться ровно в одиннадцать, — и Пильграм напрасно прождал его до позднего вечера, — и затем, волоча ногу, багровый, с перекошенным ртом, пошел к себе в спальню и лег на скрипнувшую постель. Он отказался от ужина и очень долго, закрыв глаза, брюзжал на жену, думая, что она стоит у постели, но потом, прислушавшись, услышал, как она тихо плачет в кухне, и стал думать о том, что хорошо бы взять топор и шмякнуть ее по темени. Утром он не встал, и Элеонора за него торговала, продала коробку акварельных красок и чету недорогих бабочек. И еще через день, когда воспоминание о покупателе стало уже совсем призрачно, как нечто, случившееся давным-давно или даже не бывшее вовсе, а так, погостившее случайно в мозгу, — вдруг рано утром вошел в лавку Зоммер. «Ладно, Бог с вами, — сказал он, — доставьте ко мне нынче же...» И когда, вынув конверт, он зашуршал тысячными бумажками, у Пильграма сильно пошла кровь носом.

Перевозка шкафа и визит к доверчивой старухе, которой он, скрепя сердце, отдал пятьдесят марок, были его последние берлинские дела. Покупка билета, в виде тетрадочки с разноцветными, отрывными листами, относилась уже к бабочкам. Элеонора не замечала ничего, улыбалась, была счастлива, чуя, что он хорошо заработал, но боясь спросить, сколько именно. Стояла прекрасная погода, Пильграм ни разу за день не повысил голоса, а вечером зашла госпожа Фангер, владелица прачечной, чтобы напомнить, что завтра свадьба ее дочери. Утром на следующий день Элеонора кое-что выгладила, кое-что вычистила и хорошенько осмотрела мужнин сюртук. Она рассчитывала, что отправится к пяти, а муж придет погодя, после закрытия магазина. Когда он, с недоумением на нее взглянув,

отказался пойти вообще — это ее не удивило, так как она давно привыкла ко всякого рода разочарованиям. «Шампанское», — сказала она, уже стоя в дверях. Муж, возившийся в глубине с ящиками, ничего не ответил, она задумчиво посмотрела на свои руки в чистых перчатках и вышла. Пильграм привел в порядок наиболее ценные коллекции, стараясь все делать аккуратно, хотя волновался ужасно, — и, посмотрев на часы, увидел, что пора укладываться: скорый на Кельн отходил в восемь двадцать. Он запер лавку, приволок старый клетчатый чемодан, принадлежавший отцу, и прежде всего уложил охотничьи принадлежности: складной сачок, морилки с цианистым калием в гипсе, целлулоидовые коробочки, фонарь для ночной ловли в лесу и несколько пачек булавок, — хотя вообще он предполагал поимок не расправлять, а держать сложенными в конвертиках, как это всегда делается во время путешествий. Упаковав это все в чемодан, он перенес его в спальню и стал думать, что взять из носильных вещей. Побольше плотных носков и нательных фуфаек, — остальное неважно. Порывшись в комодах, он уложил и некоторые предметы, которые в крайнем случае можно было продать, — как, например, серебряный подстаканник и бронзовую медаль в футляре, оставшуюся от тестя. Затем он с ног до головы переоделся, сунул в карман трубку, посмотрел в десятый раз на часы и решил, что пора собираться на вокзал. «Элеонора», — позвал он громко, влезая в пальто. Она не откликнулась, он заглянул в кухню, ее там не было, и он смутно вспомнил про какую-то свадьбу. Тогда он достал клочок бумаги и написал для нее карандашом несколько слов. Записку и ключи он оставил на видном месте и, чувствуя озноб от волнения, журчащую пустоту в животе, в последний раз проверил, все ли деньги в бумажнике. «Пора, — сказал Пильграм, — пора», — и, подхватив чемодан, на ватных ногах направился к двери. Но как человек, пускающийся впервые в дальний путь, он мучительно соображал, все ли он взял, все ли сделал, — и тут он спохватился, что совершенно нет у него мелочи, и, вспомнив копилку, пошел в лавку, кряхтя от тяжести чемодана. В полутьме лавки со всех сторон его обступили душные бабочки, и Пильграму показалось, что есть даже что-то страшное в его счастии, — это изумительное счастие наваливалось, как тяжелая гора, и, взглянув в прелестные, что-то знающие глаза,

которыми на него глядели бесчисленные крылья, он затряс головой и, стараясь не поддаться напору счастья, снял шляпу, вытер лоб и, увидев копилку, быстро к ней потянулся. Копилка выскочила из его рук и разбилась на полу, монеты рассыпались, и Пильграм нагнулся, чтобы их собрать.

Подошла ночь, скользкая, отполированная луна без малейшего трения неслась промеж облаков, и Элеонора, возвращаясь за полночь со свадебного ужина домой, чуть-чуть пьяная от вина, от ядреных шуточек, от блеска сервиза, подаренного молодоженам, шла не спеша и вспоминала со щемящей нежностью то платье невесты, то далекий день собственной свадьбы, — и ей казалось, что, будь жизнь немного подешевле, все было бы в мире хорошо, и можно было бы прикупить малиновый молочник к малиновым чашкам. Звон вина в висках, и теплая ночь с бегущей луной, и разнообразные мысли, которые все норовили повернуться так, чтобы показать привлекательную, лицевую сторону, все это смутно веселило ее, — и, когда она вошла в подворотню и отперла дверь, Элеонора подумала, что все-таки это большое счастье иметь квартиру, хоть тесную, темную, да свою. Она, улыбаясь, зажгла свет в спальне и сразу увидела, что все ящики открыты, вещи разбросаны, но едва ли успела в ней возникнуть мысль о грабеже, ибо она заметила на столе ключи и прислоненную к будильнику записку. Записка была очень краткая: «Я уехал в Испанию. Ящиков с алжирскими не трогать. Кормить ящериц».

На кухне капал кран. Она открыла глаза, подняла сумку и опять присела на постель, держа руки на коленях, как у фотографа. Изредка вяло проплывала мысль, что нужно что-то сделать, разбудить соседей, спросить совета, быть может, поехать вдогонку... Кто-то встал, прошелся по комнате, открыл окно, закрыл его опять, и она равнодушно наблюдала, не понимая, что это она сама делает. На кухне капал кран, — и, прислушавшись к шлепанию капель, она почувствовала ужас, что одна, что нет в доме мужчины... Мысль, что муж действительно уехал, не умещалась у нее в мозгу, ей все сдавалось, что он сейчас войдет, мучительно закряхтит, снимая сапоги, ляжет, будет сердиться на кран. Она стала качать головой и, постепенно разгоняясь, тихо всхлипывать. Случилось нечто невероятное, непоправимое, — человек, которого она любила за солидную

грубость, за положительность, за молчаливое упорство в труде, бросил ее, забрал деньги, укатил Бог знает куда. Ей захотелось кричать, бежать в полицию, показывать брачное свидетельство, требовать, умолять, — но она все продолжала сидеть неподвижно — растрепанная, в светлых перчатках.

Да, Пильграм уехал далеко. Он, вероятно, посетил и Гранаду, и Мурцию, и Альбарацин, — вероятно, увидел, как вокруг высоких, ослепительно белых фонарей на севильском бульваре кружатся бледные ночные бабочки; вероятно, он попал и в Конго, и в Суринам, и увидел всех тех бабочек, которых мечтал увидеть, — бархатно-черных с пурпурными пятнами между крепких жилок, густо-синих и маленьких слюдяных с сяжками, как черные перья. И в некотором смысле совершенно неважно, что утром, войдя в лавку, Элеонора увидела чемодан, а затем мужа, сидящего на полу, среди рассыпанных монет, спиной к прилавку, с посиневшим, кривым лицом, давно мертвого.

ОБИДА

Ивану Алексеевичу Бунину

Путя сидел на козлах, рядом с кучером (он не особенно любил сидеть на козлах, но кучер и домашние думали, что он это любит чрезвычайно, Путе же не хотелось их обидеть, — вот он там и сидел, желтолицый, сероглазый мальчик в нарядной матроске). Пара откормленных вороных, с блеском на толстых крупах и с чем-то необыкновенно женственным в долгих гривах, пышно похлестывая хвостами, бежала ровной плещущей рысью, и мучительно было наблюдать, как, несмотря на движение хвостов и подергивание нежных ушей, несмотря также на густой дегтярный запах мази от мух, тусклый слепень или овод с переливчатыми глазами навыкате присасывался к атласной шерсти.

У кучера Степана, мрачного пожилого человека в черной безрукавке поверх малиновой рубахи, была крашеная борода клином и коричневая шея в тонких трещинках. Путе было неловко, сидя с ним рядом, молчать; поэтому он

пристально смотрел на постромки, на дышло, придумывая любознательный вопрос или дельное замечание. Изредка у той или другой лошади приподнимался напряженный корень хвоста, под ним надувалась темная луковица, выдавливая круглый золотой ком, второй, третий, и затем складки темной кожи вновь стягивались, опадал вороной хвост.

В коляске сидела, заложив нога на ногу, Путина сестра, смуглая молодая дама (ей было всего девятнадцать лет, но она уже успела развестись), в светлом платье, в высоких белых сапожках на шнурках с блестящими черными носками и в широкополой шляпе, бросавшей кружевную тень на лицо. У нее с утра настроение было дурное, и когда Путя в третий раз обернулся к ней, она в него нацелилась концом цветного зонтика и сказала: «Пожалуйста, не вертись!»

Сначала ехали лесом. Скользящие по синеве великолепные облака только прибавляли блеска и живости летнему дню. Ежели снизу смотреть на вершины берез, они напоминали пропитанный светом, прозрачный виноград. По бокам дороги кусты дикой малины обращались к жаркому ветру бледным исподом листьев. Глубина леса была испещрена солнцем и тенью, — не разберешь, что ствол, что просвет. Там и сям райским изумрудом вдруг вспыхивал мох; почти касаясь колес, пробегали лохматые папоротники.

Навстречу появился большой воз сена — зеленоватая гора в дрожащих тенях. Степан попридержал лошадей, гора накренилась на одну сторону, коляска в другую, — едва разминулись на узкой лесной дороге, и повеяло острым полевым духом, послышался натруженный скрип тележных колес, мелькнули в глазах вялые скабиозы и ромашки среди сена, — но вот Степан причмокнул, тряхнул вожжами, и воз остался позади. А погодя расступился лес, коляска свернула на шоссе, и дальше пошли скошенные поля, — звон кузнечиков в канавах, гудение телеграфных столбов. Сейчас будет село Воскресенское, а еще через несколько минут — конец.

«Сказаться больным? Свалиться с козел?» — уныло подумал Путя, когда показались первые избы.

Тесные белые штанишки резали в паху, желтые башмачки сильно жали, неприятно перебирало в животе. День предстоял гнетущий, отвратительный, но неизбежный.

Уже ехали селом, и откуда-то из-за изб и заборов отзывалось деревянное эхо на согласный копытный плеск. Мальчишки играли в городки на заросшей травой обочине, со звоном взлетали рюхи. Мелькнули серебряные шары и ястребиное чучело в саду местного лавочника. Собака, молча, копя лай, выбежала из-за ворот, перемахнула через канаву, и только тогда залилась лаем, когда догнала коляску. Протрусил верхом на гнедой, мохнатой деревенской лошадке, широко расставив локти и весь трясясь, мужик в рубахе, раздутой ветром и порванной на плече.

В конце села, на пригорке, среди густых лип, стояла красная церковь, а рядом с ней — небольшой белокаменный склеп, похожий формой на пасху. Раскрылся вид на реку, — вода была зеленая, цвелая, местами словно подернутая парчой. Сбоку от спускающегося шоссе жалась приземистая кузница, — кто-то вывел на ее стене крупными меловыми буквами: «Да здравствует Сербия!» Стук копыт сделался вдруг звонким, упругим: ехали по мосту. Босой старик, опершись на перила, удил рыбу; у его ног блестела жестяная банка. Стук копыт смягчился снова; мост, и рыбак, и речная излучина отстали непоправимо.

Теперь коляска катилась по пыльной, пухлой дороге, обсаженной дородными березами. Сейчас, вот сейчас, из-за парка выглянет зеленая крыша — усадьба Козловых. Путя знал по опыту, как все будет неловко и противно, и с охотой отдал бы свой новый велосипед «Свифт» — и что еще в придачу? — стальной лук, скажем, и пугач, и весь запас пробок, начиненных порохом, — чтобы сейчас быть за десять верст отсюда, у себя на мызе, и там проводить летний день, как всегда, в одиноких, чудесных играх.

Из парка пахнуло грибной сыростью, еловой темнотой, а затем показался угол дома и кирпичный песочек перед каменным подъездом.

«Дети в саду», — сказала Анна Федоровна (Козлова), когда Путя с сестрой, пройдя через прохладные комнаты, где пахло гвоздиками, вышел на веранду; там сидело человек десять взрослых; Путя перед каждым расшаркивался, стараясь не чмокнуть по ошибке руку мужчине, как это однажды случилось. Сестра держала ладонь у него на

темени, чего никогда не делала дома. Затем она села в плетеное кресло и необычайно повеселела. Все заговорили разом. Анна Федоровна взяла Путю за кисть, повела его вниз по ступеням, между лавровых и олеандровых кустов в зеленых кадках, и таинственно указала пальцем в сад. «Они там, — сказала она, — ты пойди к ним». После чего она вернулась к гостям. Путя остался один на нижней ступени.

Начиналось прескверно. Необходимо было пройти через красную садовую площадку вон туда, в аллею, где среди солнечных пятен прыгали голоса и что-то пестрело. Надо было проделать этот путь одному, приближаться, без конца приближаться, постепенно входить в поле зрения многих глаз.

Именинником был Володя Козлов, бойкий, насмешливый мальчик, одних с Путей лет. У Володи был брат Костя и две сестры, Бэби и Леля. Из соседнего имения приехали в шарабанчике двое маленьких Корфов и сестра их Таня, миловидная девочка с прозрачной кожей, синевой под глазами и черной косой, схваченной над тонкой шеей белым бантом. Кроме них были три гимназиста и тринадцатилетний, крепкий, ладный, загорелый Вася Тучков. Играми руководил студент, Яков Семенович, воспитатель Володи и Кости, пухлявый, грудастый молодой человек, в белой косоворотке, с бритой головой и с пенснэ без ободков на точеном носу, вовсе не шедшем к яйцевидной полноте его лица. Когда Путя наконец подошел, Яков Семенович и дети метали копье в большую мишень из разноцветной соломы, прибитую к еловому стволу.

Последний раз Путя был у Козловых в Петербурге, на Пасхе, и тогда показывали туманные картины: Яков Семенович читал вслух «Мцыри», а другой студент орудовал волшебным фонарем. На мокрой простыне, в световом кругу, появлялась (судорожно набежав и остановившись) цветная картина, — например: Мцыри и прыгающий на него барс. Яков Семенович, прервав на минуту чтение, указывал палочкой на Мцыри и затем на барса; при этом палочка окрашивалась в цвета картины, и цвета потом соскальзывали, когда он палочку отодвигал. Каждая картина оставалась на простыне долго, так как их было только

десять штук на всего «Мцыри». Вася Тучков иногда поднимал в темноте руку, дотягивался до луча, и на полотне возникали растопыренные черные пальцы. Раза два студент у фонаря вставлял пластинку неправильно, картина выходила вверх ногами, Тучков хохотал, а Путя мучительно краснел за студента — и вообще старался делать вид, что он страшно интересуется. Тогда же он познакомился с Танечкой Корф и с тех пор часто думал о ней, представляя себе, как спасает ее от разбойников, как пособляет ему и преданно любуется его смелостью Вася (у которого, по слухам, был дома настоящий револьвер с перламутровой рукояткой).

Сейчас, расставив загорелые ноги, небрежно опустив левую руку на свой холщовый пояс с цепочкой и кожаным кошельком, Вася метил легким копьем в мишень, — вот раскачнулся, вот попал в самую середину, и Яков Семенович громко сказал: «Браво». Путя осторожно вытащил копье, тихо отошел, тихо прицелился и попал тоже в середку; этого, впрочем, никто не заметил, так как игра кончилась и все были заняты другим: приволокли и поставили посреди аллеи нечто вроде низенького поставца, с круглыми дырками поверху и толстой металлической лягушкой, широко разинувшей рот. Следовало попасть свинцовым пятаком либо в одну из дырок, либо лягушке в рот. Пятак проваливался в отделения с цифрами, лягушкин рот оценивался в пятьсот очков. Бросали по очереди, каждый по несколько раз. Игра была довольно тягучая, и в ожидании своей очереди некоторые из детей залезли в черничные заросли под деревьями. Ягода была крупная, матово-синяя, и загоралась лиловым блеском, если тронуть ее замусоленным пальцем. Путя, присев на корточки и кротко покрякивая, набирал чернику в ладонь и потом совал в рот всю горсть. Так получалось особенно вкусно. Иногда попадал в рот вместе с ягодами жесткий листик. Вася Тучков нашел маленькую гусеницу с разноцветными пучками волосков вдоль спины (вроде как у зубной щетки) и спокойно проглотил ее, к общему восхищению. В парке постукивал дятел, над травой жужжали тяжелые шмели и вползали в бледные, склоняющиеся венчики боярских колокольчиков. С аллеи доносился стук бросков и зычный картавый голос Якова Семеновича, советовавший кому-то лучше целиться. Рядом с Путей нагнулась Таня и с необыкновен-

но внимательным выражением на бледном лице, полуоткрыв фиолетовые блестящие губы, ошаривала кустик. Путя, набравший в ладонь ягод, молча предложил ей всю горсть, она милостиво ее приняла, и Путя начал набирать для нее еще порцию. Но тут настала ее очередь бросать пятак, и она побежала к аллее, высоко поднимая тонкие ноги в белых чулках.

Игра в лягушку начинала всем надоедать, одни пропустили свой черед, другие швыряли кое-как, а Вася Тучков запустил в лягушку камнем, и все рассмеялись, кроме Якова Семеновича и Пути. Володя, именинник, стал требовать, чтобы сыграли в палочку-стукалочку. Мальчики Корф присоединились к этому, Таня запрыгала на одной ноге, хлопая в ладоши. «Нельзя, ребята, нельзя, — сказал Яков Семенович. — Через каких-нибудь полчаса мы поедем с вами на пикник, а если вы будете разгоряченные, то не исключена простуда». — «Ну пожалуйста, пожалуйста!» — затянули все. «Пожалуйста», — тихо повторил за другими Путя, решив, что устроится так, чтобы спрятаться вместе с Васей или Таней.

«Придется общую просьбу исполнить, — сказал Яков Семенович, любивший округлять свою речь. — Но только где же необходимое орудие?» Володя бросился по направлению куртин.

Путя подошел к зеленой скамье качалки, на которой стояли Таня, Леля и Вася; последний скакал и притоптывал так, что доска, кряхтя, дрыгала и девочки вскрикивали и балансировали руками. «Падаю, падаю!» — воскликнула Таня и вместе с Лелей спрыгнула на траву. «Хотите еще черники?» — предложил Путя. Она покачала головой, потом покосилась на Лелю и, обратившись к Путе, сказала: «Мы с Лелей решили больше с вами не разговаривать». — «Почему?» — пробормотал Путя, густо покраснев. «Потому что вы ломака», — ответила она и, отвернувшись, вскочила на скамейку. Путя притворился, что поглощен разглядыванием курчаво-черной кротовинки с краю аллеи.

Между тем запыхавшийся Володя принес палочку, зеленую, острую, из тех, коими подкрепляют на клумбах пионы

и георгины. Стали решать, кому быть стучальщиком. «Раз. Два. Три, — смешным повествовательным тоном начал Яков Семенович, тыча при каждом слове пальцем. — Четыре. Пять. Вышел зайчик. Погулять. Вдруг охотник, — (Яков Семенович остановился и сильно чихнул). — Выбегает, — (...продолжал он, поправив пенснэ). — Прямо в зайчика. Стреляет. Пиф. Паф. Ой. Ой. Ой. У. Ми. Ра. Ет, — (слоги веско замедлялись). — Зай. Чик. Мой».

«Мой» пал на Путю. Но тут все остальные еще теснее обступили Якова Семеновича, умоляя, чтобы искал он. Раздавались возгласы: «Пожалуйста, это будет гораздо интереснее». — «Так и быть. Я согласен», — ответил он, даже не взглянув на Путю.

В том месте, где аллея выходила на садовую площадку, стояла беленая, местами облупившаяся скамейка с решетчатой, тоже беленой, тоже облупившейся спинкой. На эту скамейку сел, держа в руках палочку, Яков Семенович, сгорбил жирную спину, плотно зажмурился и стал вслух считать до ста, давая этим время спрятаться. Вася и Таня, словно сговорившись, побежали в глубину парка, один из гимназистов стал за липу, в трех шагах от скамейки, — а Путя, с тоской посмотрев на пестрые тени парка, отвернулся и направился в другую сторону, к дому, решив засесть на веранде, — не на той, конечно, где взрослые пили чай и где пел по-итальянски граммофон со сверкающим рупором, — а на другой, наискосок от аллеи. Веранда, к счастью, оказалась пуста. Под цветными стеклами, бросавшими на них цветные отражения, тянулись мягкие лавки, обитые сизым сукном в махровых розах. Была там еще венская качалка, чисто вылизанная миска на полу и круглый стол, покрытый клетчатой клеенкой. На столе ничего не было, кроме чьих-то одиноко лежавших стариковских очков.

Путя подполз к многоцветному окну и замер у белого подоконника. Был виден поодаль на розовой скамейке розовый Яков Семенович, неподвижно сгорбленный, под мелкой, рубиново-черной листвой. План Путин был прост: как только Яков Семенович досчитает до ста, стукнет палочкой, положит ее на скамейку и отойдет по направлению к парковым кустам, где были наиболее правдоподобные

места для засады, — ринуться с веранды к скамейке, к палочке. Прошло полминуты. Голубой Яков Семенович сидел, согнувшись, под черно-синими листьями и топал носком по серебристому песку в такт счету. Как весело было бы так ждать и поглядывать сквозь разные стекла, если бы Таня... За что? Что я такого сделал?

Меньше всего было простых белых стекол. Вот просеменила по песку трясогузка. В углах ромбовидных оконных рам были паутинки. На подоконнике лежала дохлая муха. Ярко-желтый Яков Семенович встал с золотой скамейки и застучал по ней палочкой. В то же мгновение дверь на веранду открылась, и из полутьмы комнаты появилась сперва толстая рыжая такса, а затем — седая стриженая старушка в черном платье с тугим пояском, с большой брошкой в виде трилистника на груди и с цепочкой от часов вокруг шеи, — часы же были засунуты за поясок. Собака, очень лениво, бочком, спустилась по ступенькам в сад, а старушка, подойдя к столу, сердито схватила очки, за которыми и пришла. Вдруг она заметила Путю, сползшего на пол. «Priate-qui? Priate-qui?» — произнесла она (с тем шутовским выговором, с каким изъясняются по-русски старые француженки, прожившие у нас лет сорок). «Toute n'est caroche, — продолжала она, ласково глядя на смущенное, умоляющее Путино лицо. — Sichasse pocajou caroche messt».

Изумрудный Яков Семенович стоял, подбоченясь, на бледно-зеленом песке и смотрел сразу по всем направлениям. Путя, боясь скрипучего и суетливого голоска старушки, — а еще пуще боясь ее обидеть отказом, — поспешно за ней последовал, но чувствовал при этом, что получается страшная чепуха. Она шла, цепко держа его за руку, через прохладные комнаты, — мимо белого рояля, гвоздик и гортензий, голубого ломберного стола, трехколесного велосипедика, деревянной болванки селезня, лосьих рогов, шкафов с книгами, — все это бестолково выскакивало из разных углов, и Путя с ужасом соображал, что старушка уводит его далеко, на другую сторону дома, — а как объяснить ей, не огорчив ее, что игра, в которую он играет, скорее засада, чем прятки, что нужно ловить мгновение, когда Яков Семенович достаточно далеко отойдет от палочки, дабы успеть добежать до нее и постучать?

Она провела его через пять-шесть комнат, потом через коридор, потом вверх по лестнице, потом через светлую горницу, где на сундуке у окна сидела румяная женщина и вязала на спицах: женщина подняла глаза, улыбнулась и, опустив опять ресницы, продолжала вязать. Старушка ввела его в следующую комнату: там стоял обитый кожей диван и пустая птичья клетка. Между огромным, красно-бурым бельевым шкафом и изразцовой печкой была как бы темная ниша. «Votte», — сказала старушка и, легким нажимом вправив его туда, удалилась в соседнюю комнату, где продолжала разговор, никакого отношения к Путе не имевший, и слушательница, та, что вязала, изредка восклицала с удивлением: «Скажите пожалуйста!»

Путя стоял в своем закуте (сначала на коленках, словно он в самом деле таился, потом выпрямился) и смотрел оттуда на стену в равнодушно-лазурных завитках, на окно, за которым мерцала верхушка тополя. Равномерно и хрипло стучали часы, и это почему-то напоминало всякие скучные и грустные вещи.

Прошло очень много времени. Вдруг разговор по соседству стал медленно уплывать и замер в отдалении. Тишина. Путя вылез.

Спустившись по лестнице, он на цыпочках пробежал через комнаты (шкафы, рога, велосипед, голубой стол, рояль), и вот, в глубине, ударила полоса цветного солнца, открытая дверь на веранду. Путя крадучись пробрался к стеклам и выбрал белое. На скамейке лежала зеленая палочка. Якова Семеновича не было видно; он, вероятно, отошел за те елки.

Путя, улыбаясь и волнуясь, спрыгнул в сад и опрометью бросился к скамейке. Он еще бежал, когда заметил какую-то странную кругом неотзывчивость. Все же, не уменьшая скорости, он достиг скамейки и трижды стукнул палочкой. Впустую. Никого кругом не было. Трепетали солнечные пятна. По ручке скамейки ползла божья коровка, неряшливо выпустив из-под своего маленького крапчатого купола прозрачные кончики кое-как сложенных крыл.

Путя подождал несколько минут, озираясь исподлобья, и вдруг понял, что его забыли, игра давно кончилась, а никто не спохватился, что есть еще кое-кто ненайденный, таящийся, — забыли и уехали на пикник. Пикник же был единственным более или менее приятным обещанием этого дня, — приятно было, что взрослые не поедут, приятно было думать о печенном на костре картофеле, ватрушках с черникой, холодном чае в бутылках. Пикник отняли, но с этим лишением можно было примириться. Главное состояло в другом.

Путя переглотнул и неуверенно направился к дому, помахивая зеленой палочкой и стараясь сдержать слезы. На веранде играли в карты, — донесся смех сестры, неприятный смех. Он обошел дом с другой стороны, смутно думая, что там где-то должен быть пруд, и можно оставить на берегу платок с меткой и свисток на белом шнурке, а самому незаметно отправиться домой... Вдруг, завернув за угол дома, к водокачке, он услышал знакомый шум голосов. Все тут были, — Яков Семенович, Вася, Таня, все остальные; они окружали мужика, который принес показать только что пойманного совенка. Совенок, толстенький, рябой, с прищуренными глазами, вертел головой, — вернее, не головой, а своим очкастым личиком, ибо нельзя было разобрать, где начинается голова и где кончается тело.

Путя приблизился. Вася Тучков оглянулся и, обратившись к Тане, сказал со смешком:
«А вот идет ломака».

ЗАНЯТОЙ ЧЕЛОВЕК

Тому, кто много занимается своей душой, нередко доводится присутствовать при грустном, но любопытном явлении, а именно при том, как вдруг умирает пустячное воспоминание, по случайному поводу вызванное из той отдаленной скромной богадельни, где доживало оно свой незаметный век. Оно мигает, оно еще пульсирует и отсвечивает, — но тут же на ваших глазах, разок вздохнув, протягивает ножки, не выдержав слишком быстрого перехода

в резкий свет настоящего. Отныне остается в распоряжении вашем лишь отражение его, краткий пересказ, лишенный, увы, обаятельной убедительности подлинника. Нежный и смертобоязненный Граф Ит, вспоминая отроческий сон, заключавший лаконическое пророчество, уже давно не чувствовал кровной связи между собой и этим воспоминанием, ибо, при одном из первых вызовов, оно осунулось и умерло, — и то, что он теперь помнил, являлось лишь воспоминанием о воспоминании. Когда это было? «Неизвестно», — ответил Граф, отодвинув стеклянный горшочек со следами югурта и облокотившись на стол. Когда это было, — ну приблизительно? Давно. Должно быть, между десятью и пятнадцатью годами: он в ту пору много думал о смерти, — особенно по ночам.

Теперь: вот он — тридцатидвухлетний, маленький, но широкоплечий мужчина, с отстающими, прозрачными ушами, полуактер, полулитератор, помещающий в зарубежных газетах юмористические стишки, — под не очень острым псевдонимом (неприятно напоминающим бессмертного Каран д-Аша). Вот он. Лицо его состоит из темных, со слепым бликом, очков в роговой оправе и шелковистой бородавки на щеке. Он лысеет, и в прямых, белесых, зачесанных назад волосах череп сквозит бледно-розовой замшей.

О чем он только что думал? Что это было за воспоминание, под которое он все подкапывался? Воспоминание о сне. Предупреждение, сделанное ему в том сне. Предсказание, вовсе не мешавшее ему жить доныне, но теперь, при неизбежном приближении назначенного срока, начинавшее звучать все громче и все настойчивее.

«Взять себя в руки», — истерическим речитативом произнес Граф и, кашлянув, встал, подошел к окну.

Все громче и все настойчивее. Когда-то приснившаяся цифра 33 запуталась в душе, вцепилась загнутыми коготками, вроде летучей мыши, и никак нельзя было распутать этот душевный колтун. По преданию, Иисус Христос дожил до тридцати трех лет, — и, быть может (думал Граф, замерев у креста оконной рамы), быть может, давний тот сон так и говорил: «Умрешь в возрасте Христа», — после чего осветились на экране тернии двух огромных троек.

Он распахнул окно. На улице было светлее, чем в комнате, но уже зажигались огни. Небо выстлано было ровными облаками, и только на западе, в провале между охрой тронутых домов, протянулась яркая, нежная полоса. Поодаль остановился с горящими очами автомобиль, погрузив прямые оранжевые клыки в водянисто-серый асфальт. На пороге своей лавки стоял блондин-мясник и смотрел в небо.

Как по камням через ручей, мысль Графа прыгнула с мясника на тушу, а затем: кто-то когда-то рассказывал ему, что кто-то где-то (в морге? в музее? в анатомическом театре?) ласково звал труп (или скелет?) «мыленький». Он за углом, этот мыленький. Будьте покойны, мыленький не обманет.

«Переберем возможности, — с усмешкой сказал Граф, косясь вниз, с пятого этажа, на черные чугунные шипы палисадника. — Первое — самое досадное: привидится во сне нападение или пожар, вскочу, брошусь к окну и, полагая — по сонной глупости, — что живу низко, выпрыгну в бездну. Другое: во сне же проглочу язык, это бывает, он судорожно запрокинется, глотну, задохнусь. Третье: я, скажем, брожу по улицам... В бою ли, в странствии, в волнах. Или соседняя долина... Поставил, небось, "в бою" на первое место. Значит, предчувствовал. Был суеверен, и недаром. Что мне делать с собой? Одиночество».

Он женился в 1924 году, в Риге, куда попал из Пскова с тощей театральной труппой, — выступал с куплетами, и когда снимал очки, чтобы слегка оживить гримом мертвенькое лицо, глаза оказывались мутно-голубыми. Жена была крупная, здоровая женщина со стрижеными черными волосами, жарким цветом лица и толстым колючим затылком; ее отец торговал мебелью. Вскоре Граф заметил, что она глупа и груба, что ноги у нее колесом, что на каждые два русских слова она употребляет десяток немецких. Он понял, что следует разойтись с нею, но медлил, мечтательно жалея ее, — так тянулось до 1926 года, когда она изменила ему с хозяином гастрономического магазина на улице Лачплесиса. Граф переселился в Берлин, где ему предлагала место фильмовая фирма (вскоре, однако, прогоревшая), зажил скромно, одиноко и безалаберно, часами просиживал в дешевой кофейне или пивной, где сочинял дежурное

стихотворение. Вот канва его жизни, — не Бог весть какая, — мелкота, бледнота, русский эмигрант третьего разбора. Но, как известно, сознание вовсе не определяется бытием: во дни сравнительного благополучия, равно как и во дни истлевания носильных вещей и голода, Граф, до роковой годины, предсказанной сном, жил по-своему счастливо. Он был, в полном смысле слова, «занятой человек», ибо предметом его занятий была собственная душа, — и вот уж когда действительно роздыха не знаешь, — да и не надобно его. Речь идет о воздушных ямах жизни, о сердцебиении, о жалости, о набегах прошлого, — чем-то запахло, что-то припомнилось, — но что? что? — и почему никто не замечает, что на самой скучной улице дома все разные, разные, и сколько есть на них, да и на всем прочем, никчемных на вид, но какой-то жертвенной прелести полных украшений? Поговорим откровенно: есть люди, так отсидевшие душу, что больше не чувствуют ее. Есть зато другие, наделенные принципами, идеалами, тяжко болеющие вопросами веры и нравственности; но искусство чувствования у них — прикладное искусство. Это тоже люди занятые: горнорабочие сознания, они, по принятому выражению, «копаются в себе», глубоко забирая врубовой машиной совести и шалея от черной пыли грехов, грешков, грехоидов. К их числу Граф не принадлежал: грехов особых у него не было, не было и принципов. Он занимался собой, как некоторые занимаются живописью, или составлением коллекций, или разбором рукописи, богатой замысловатыми переносами, вставками, рисунками на полях и темпераментными помарками, как бы сжигающими мосты между образами, — мосты, которые так забавно восстановлять.

В занятия его вмешалось нечто постороннее, — это вышло неожиданно и мучительно, — как быть? Постояв у окна (и все придумывая расправу с глупой, ничтожной, но неотразимой мыслью, что на днях — девятнадцатого июня — он вступит в тот возраст, о котором говорил отроческий сон), Граф тихо покинул свою потемневшую комнату, где уже все предметы, приподнятые волной сумерек, не стояли, а плавали, как мебель во время наводнения. На улице было все еще светло, — и как-то сжималось сердце от нежности рано зажженных огней. Граф заметил сразу, что кругом что-то творится, распространялось странное

волнение, собирались на перекрестках, делали загадочные угловатые знаки, переходили на другую сторону и, снова указывая вдаль, замирали в таинственном оцепенении. В сумеречной дымке терялись существительные, оставались только глаголы, — даже не глаголы, а какие-то их архаические формы. Это могло значить многое: например — конец мира. Вдруг, с замиранием во всем теле, он понял: вон там, в глубоком пролете между домов, по ясно-золотому фону, под длинной пепельной тучей, низко, далеко и очень медленно проплывал, тоже пепельный, тоже продолговатый, воздушный корабль. Дивная, древняя красота его движения, вместе с невыносимой красотой вечера, неба, оранжевых огней, синих людских силуэтов, переполнила душу Графа. Он почувствовал (точно это было знамение), что он и впрямь вот-вот дойдет до предела положенной ему жизни, — что иначе быть не может: наш сотрудник, люди, близко знавшие покойного, свежий юмор, свежая могила... И что уже совсем непостижимо: вокруг некролога будет сиять равнодушная газетная природа — лопухи фельетонов, хвощи хроники...

В тихую летнюю ночь ему минуло тридцать три года. Он сидел у себя в комнате, моргающий, без очков, в арестантских подштанниках, и один торжествовал непрошенную годовщину. Гостей он не пригласил, боясь тех случайностей (разбитое зеркальце, разговор о бренности жизни), которые впоследствии чужая память непременно бы возвела в чин предзнаменований и предчувствий. Остановись, остановись, мгновение, — ты не очень прекрасно, но все-таки остановись, — вот ведь неповторимая личность в неповторимой среде, — бурелом растрепанных книг на полках, стеклянный горшочек из-под югурта, удлиняющего жизнь, шерстистая проволока для прочищения трубки, толстый альбом цвета золы, в который Графом вклеено все, начиная с собственных стихов, вырезанных из газет, и кончая русским трамвайным билетиком, — вот это сочетание вещей окружает Графа Ита (псевдоним, выдуманный давно, дождливой ночью, в ожидании парома), ушастого, кряжистого человечка, сидящего на краю постели с фиолетовым, дырявым, только что снятым носком в руке.

Он стал бояться всего — лифта, сквозняков, строительных лесов, уличного движения, демонстрантов, автомобильной вышки — для починки проводов, — огромного

газоема, который мог взорваться как раз когда он проходил мимо, по пути на почтамт, где, опять же, мог затеять стрельбу дерзкий грабитель в домодельной маске. Он чувствовал всю глупость своего состояния, но был не способен побороть себя. Тщетно он старался отвлечься, думать о другом: на запятках всякой проносившейся мысли неотвязным выездным стоял мыленький. Между тем стихи, которые он продолжал прилежно поставлять в газеты, становились все игривее и простодушнее (ибо никто задним числом не должен был усмотреть в них предчувствия близкого конца), и эти легкие, деревянные стихи, ритм которых напоминал движение вербной штучки, медведя и мужика, и в которых рифмовали «проталин» и «Сталин», — именно стихи, а не что-нибудь другое, оказывались наиболее ладной и вещественной стороной его бытия.

Итак: не воспрещается верить в бессмертие души, — но есть страшный и, кажется, никем еще не поставленный вопрос (думал Граф, сидя в пивной): не сопряжен ли переход души в загробную жизнь с такою же возможностью случайных помех и превратностей, какая подстерегает человека при его земном рождении? Не содействует ли успешности этого перехода принятие во время жизни тех или иных (но каких именно?) психических или даже физических мер. Как угадать, чем запастись, что накопить, чего избегать? Не является ли религия (рассуждал Граф, сидя в опустевшей, темнеющей пивной, где уже стулья ложились, зевая, на столы, ложились спать), религия, развешивающая иконы по стенам жизни, не является ли она вот такой попыткой создать благоприятственную обстановку, — точно так же, как, по мнению иных врачей, фотографии миловидных и упитанных младенцев, украшая спальню беременной, отлично действуют на плод? Но даже если нужные меры приняты, даже если известно, почему Икс (питавшийся тем-то и тем-то — молоком, музыкой, мало ли чем) благополучно перешел в загробную жизнь, а Игрек (питавшийся чуть-чуть иначе) застрял и погиб, — нет ли еще и еще случайностей, которые могут произойти уже при самом переходе, — напортить, помешать, — вот ведь звери, да и люди попроще, отходят в сторонку, когда приближается их час, — не мешайте, не мешайте трудной, опасной работе, дайте мне спокойно разрешиться бессмертной моей душой...

Все это удручало Графа, но еще подлее и ужаснее была мысль, что будущего века нет, что человеческая жизнь лопается так же непоправимо, как пузыри, которые пляшут и исчезают в бурной бадье под пастью водостока, — Граф смотрел на них с веранды загородного кафе, — шел сильный дождь, дело уже было осенью, уже минуло четыре месяца с того дня, как он вступил в роковой возраст, смерть могла явиться с минуты на минуту, — и чрезвычайно рискованны были эти поездки в унылые, боровые окрестности Берлина. «Но если, — рассуждал Граф, — загробной жизни нет, то отпадает и все прочее, что связано с понятием о самостоятельности души, — отпадает возможность предзнаменований и предчувствий, — о да, будем материалистами, — а потому: я, здоровый человек со здоровой наследственностью, проживу, по всей вероятности, еще полвека, — и нечего поддаваться нервозным иллюзиям, — все это лишь следствие некоторой временной растерянности моего класса, — человек же бессмертен, поскольку бессмертен его класс, — а великий буржуазный класс (продолжал он вслух, неприятно оживляясь), наш великий и могучий класс победит гидру пролетариата, ибо давайте тоже встанем, крепостники, лабазники и верные их трубадуры, на классовую платформу (больше бодрости), давайте, буржуа всех стран, — нет, лучше амфибрахий, — буржуи всех стран... и народов, вперед, нефтяной (или золотой?) коллектив, долой пролетарских уродов... а в рифму — деепричастие (победив? скупив?), засим еще две строфы и опять: буржуи всех стран и народов, да здравствует наш капитал, тата-татата-та... (проходов? водопроводов?), буржуйский интернационал!.. Остроумно ли это складывается? Смешно ли?»

Наступила зима. Граф занял несколько десятков марок у соседа и употребил их на то, чтобы плотно питаться, ибо не собирался давать судьбе никаких поблажек. Этот странный сосед, сам (сам!) предложивший ему денежную помощь, поселился тут недавно, — снимал он две лучших комнаты в квартире, звали его Иван Иванович Энгель, полноватый такой господин с седыми кудрями, вроде музыкального или шахматного маэстро, — на самом же деле представитель какой-то иностранной фирмы, — очень иностранной, — дальневосточной, быть может. Встречаясь с Графом в коридоре, он участливо и застенчиво улыбался,

и Граф объяснял это тем, что сосед, будучи, вероятно, человеком коммерческим, неинтеллигентным, далеким от литературы и прочих горных курортов человеческого духа, невольно питает к нему, мечтателю, некое сладостное уважение. Вообще же у Графа было слишком много хлопот, чтобы заниматься соседом, но он рассеянно пользовался его добротой, в часы нестерпимого ночного беспапиросья, например, стучался к Ивану Ивановичу и получал сигару, — но с ним не якшался, не пускал его к себе в комнату (кроме того случая, когда перегорела лампочка, а хозяйка отлучилась в кинематограф, и сосед принес новенькую стеклянную грушу и деликатно ее навертел).

На Рождестве Граф был у друзей на елке и сквозь пестрый разговор безнадежно думал о том, что елку видит в последний раз. Как-то, в ясную февральскую ночь, он засмотрелся на твердь и вдруг почувствовал, что больше не может выдержать бремя и напор своего человеческого сознания, этой зловещей, бессмысленной роскоши. У него отвратительно захватило дыхание, и чудовищное звездное небо тронулось и поехало. Граф отошел от окна и, держась за сердце, выбрался в коридор, постучался к соседу. Иван Иванович с кроткой улыбкой и легким немецким акцентом дал ему валерьянки: так случилось, что, когда Граф вошел, Иван Иванович, стоя посреди спальни, как раз капал в рюмку, — вероятно, для себя самого: держа рюмку в правой руке и высоко подняв левую, с темно-желтой бутылочкой, молча шевелил губами, — двенадцать, тринадцать, четырнадцать, — и потом очень быстро, будто семеня, — пятнадцшестнадцсемнадцать, — и опять — медленно. Канареечного цвета халат, пенснэ на кончике внимательного носа.

А еще через некоторое время настала весна, и на лестнице запахло мастикой. В доме напротив кто-то умер, и у двери стоял похоронный, черный, чем-то похожий на рояль автомобиль. Графа донимали по ночам многозначительные сны. Во всем ему мерещилась примета, малейшее совпадение пугало его. Игра случая есть логика судьбы: в самом деле — как же не поверить в судьбу, в непогрешимость ее подсказки, в упрямство ее устремления, ежели транспарант ее постоянно просвечивает сквозь почерк жизни?

Чем больше уделять внимания совпадениям, тем чаще они происходят. Дошло до того, что, выбросив как-то кусок газеты, из которой он, любитель описок, вырезал квадратик со строкой «после долгой и продолжительной болезни», Граф через несколько дней увидел эту же, с аккуратным оконцем, страницу в руках уличной торговки, заворачивавшей для него кочан капусты. Он покорно взял сверток и вернулся домой в подавленном настроении, — а вечером, из-за далеких крыш, поглотив первые звезды, вздулась мутная, злокачественная туча, и стало вдруг так душно и тяжко, точно несешь на хребте вверх по лестнице огромный кованый сундук, — и вот, без предупреждения, небо утратило равновесие, и огромный этот сундук загремел вниз по ступеням. Граф поспешно закрыл окно и задернул шторы: ведь сквозняк и электрический свет привлекают молнию. Вот она озарила шторы, — и он, домашним способом определяя дальность ее падения, принялся считать, — гром ударил на шести, — шесть, значит, верст... Гроза усилилась. Сухие грозы — самые страшные. По стеклам проходил гул. Граф лег в постель, но вдруг так ясно вообразил, как молния сейчас попадет в крышу и пройдет насквозь через все этажи, обратив его мимоходом в судорожно скрюченного негра, — что с бьющимся сердцем вскочил (окно полыхнуло, черный крест рамы скользнул по стене) и, сильно звякая в темноте, снял с умывальника на пол пустой фаянсовый таз, стал в него и так простоял, вздрагивая и скрипя пальцами босых ног по фаянсу, добрую часть ночи, пока не угомонился гром.

В эту майскую грозу Граф дошел до самых унизительных глубин трансцендентальной трусости, — а на следующий день произошел перелом. Граф посмотрел на веселое, ярко-голубое небо, на древообразные узоры темной сырости поперек сохнувшего асфальта и внезапно сообразил, что до девятнадцатого июня остается всего месяц. Девятнадцатого июня (по новому стилю) ему будет тридцать четыре года. Желанный брег... Доплывет ли? Додержится ли?

Появилась надежда на спасение. Он ободрился, решив принять некоторые чрезвычайные меры для ограждения своей жизни от притязаний рока. Он перестал выходить на улицу. Он не брился. Он сказался больным, и хозяйка

покупала для него продукты, а сосед передавал ему через нее то апельсин, то журнал, то слабительный порошок в кокетливом конвертике. Он мало курил, много спал, в меру питался, решал крестословицы, дышал через нос и на ночь раскладывал на коврике около кровати мокрое полотенце, дабы сразу проснуться от холодка, ежели тело его в лунатическом трансе вздумает уйти из-под надзора мысли.

Додержится ли?.. Первое июня. Второе. Третье. Десятого сосед через дверь справился о его здоровье. Одиннадцатое. Двенадцатое. Тринадцатое. Как знаменитый финский бегун перед последним кругом бросает прочь никелевые часы, по которым рассчитывал свой ровный сильный бег, так Граф, увидя близкую цель, круто изменил образ действия. Он сбрил соломенную бородку, принял ванну и пригласил на девятнадцатое гостей.

Он не поддался соблазну праздновать рождение на один день раньше, как лукаво предлагала ему сомнительная выкладка. Зато он написал матери в Смоленск, прося сообщить точный час его появления на свет, но она ответила уклончиво: «Это было ночью. Я, помнится, очень страдала».

Наступило девятнадцатое. С утра за стеной беспокойно ходил сосед и выбегал в прихожую на звонки. Граф не пригласил его, — в конце концов, они были едва знакомы, — но зато позвал хозяйку, — ибо в природе Графа причудливо совмещались рассеянность и расчет. Под вечер он вышел, купил водки, пирожков с мясом, селедки, черного хлеба. Когда он возвращался наискось через улицу, с трудом придерживая непокорные покупки, Иван Иванович, освещенный желтым солнцем, глядел на него с балкона.

Около восьми, как раз когда Граф, все приготовив на столе, высунулся в окно, произошло следующее: на углу, где был трактир, собралась кучка людей, раздались громкие, злые крики, и вдруг — треск выстрелов. Графу показалось, что шальная пуля пропела у самого его лица, чуть не разбив очков, и он, ахнув, втянул голову. Из прихожей донесся звонок. Граф, дрожа, открыл дверь, и одновременно выскочил в канареечном своем халате Иван Иванович. Жданная телеграмма. Иван Иванович жадно ее развернул и радостно улыбнулся.

«Was dort für Skandale?»[1] — обратился Граф к нарочному, но тот не понял, а когда Граф опять (очень осторожно) посмотрел в окно, то перед трактиром было уже пусто, все успокоилось, сидели швейцары у своих подъездов, горничная с голыми икрами медленно прогуливала розоватого пуделька.

К девяти собрались гости — трое русских и немка-хозяйка. Она принесла с собой ликерных рюмок и пирог собственного изделия. Была она скуластая, корявая, с веснушками на шее, в парике фарсовой тещи, в шумящем лиловом платье. Мрачные друзья Графа, — все люди тяжелые, пожилые, с различными недомоганиями, рассказы о которых странно утешали Графа, — сразу напоили хозяйку, да и сами невесело охмелели. Разговор велся, конечно, по-русски, хозяйка ни слова не понимала, однако похохатывала, играла впустую плохо подведенными глазами и рассказывала что-то свое, но ее никто не слушал. Граф посматривал на часы и под столом щупал себе пульс. К полуночи водка иссякла, и хозяйка, шатаясь и помирая со смеху, принесла бутылку коньяку. «Ну что ж, выпьем, старая морда», — холодно обратился к ней один из гостей, и она, с девической доверчивостью, чокнулась с ним и потом потянулась к другому, но тот от нее отмахнулся.

На рассвете Граф выпустил гостей. В прихожей на столике валялась распечатанная телеграмма, давеча так обрадовавшая соседа. Граф рассеянно ее прочел: «Soglassen prodlenie», затем он вернулся к себе в комнату, кое-что прибрал и, зевая, со странным ощущением скуки, — точно жизнь у него рассчитана была как раз на предсказанный срок, а теперь как-то нужно все строить заново, — сел в кресло, перелистал от нечего делать потрепанную книжку — сборник анекдотов, изданный в Риге. Чем занимается ваша дочь? Она садистка. То есть? Она поет в садах. Незаметно он задремал и увидел во сне, как Иван Иванович Энгель поет в каком-то саду, плавно качая ярко-желтыми кудрявыми крыльями, — и когда Граф проснулся, прелестное летнее солнце зажигало маленькие радуги в плоских хозяйских рюмках, и было все как-то мягко и светло, и загадочно, — как будто он чего-то не понял, не додумал, а теперь уже поздно, и началась другая жизнь, — все

---

[1] Что там за скандал? *(Искаж. нем.)*

прежнее отпало, и совсем, совсем умерло пустячное воспоминание, случайно вызванное из далекой, скромной обители, где дотягивало оно свой незаметный век.

TERRA INCOGNITA

Шум водопада становился все глуше, все глуше, — наконец он смолк, — и вот мы продвинулись дальше в дикую, лесистую, еще никем не исследованную область, шли, шли давно, — впереди Грегсон и я, за нами, гуськом, восемь туземных носильщиков, а позади всех — ноющий, возражающий против каждой пяди пути Кук. Я знал, что Грегсон завербовал его по совету знакомого охотника: Кук уверял, что готов на все, лишь бы не маяться в Зонраки, где полгода варят «вонго», а другие полгода «вонго» пьют, но осталось неясным, — или уже я многое начинал забывать, пока мы шли, шли, — кто он такой, Кук (быть может, беглый матрос).

Грегсон шагал рядом со мной, жилистый, голенастый, с костлявыми голыми коленями. Он держал, как знамя, зеленую сетку на длинном древке. Носильщики, тоже набранные в Зонраки, рослые бадонцы глянцевитой коричневой масти, с густыми гривами, с кобальтовой росписью между глаз, шли легким и ровным ходом. Позади всех, рыжий и одутловатый, с отвислой губой, плелся Кук, держа руки в карманах, не нагруженный ничем. Смутно мне помнилось, что в начале экспедиции он много болтал и темно шутил, повадкой своей, смесью наглости и подобострастия, смахивая на шекспировского шута, — но вскоре он сдал, насупился, перестал исполнять свои обязанности, в которые между прочим входило толмачество, ибо Грегсон плохо еще понимал бадонское наречие.

Томная жара, бархатная жара. Душно пахли перламутровые, похожие на грозди мыльных пузырей, соцветья Valieria mirifica, перекинутые через высохшее узкое русло, по которому мы с шелестом шли. Ветви порфироносного дерева, ветви чернолистой лимии сплетались над нашими головами, образуя туннель, там и сям прорезанный дымным лучом; наверху, в растительной гуще, среди каких-то ярких

свешивающихся локонов и причудливых темных клубьев, щелкали и клокотали седые как лунь обезьянки, и мелькала, подобно бенгальскому огню, птица-комета, кричавшая пронзительным голоском. Я говорил себе, что голова у меня такая тяжелая от долгой ходьбы, от жары, пестроты и лесного гомона, но втайне знал, что я заболел, догадывался, что это местная горячка, — однако решил скрыть свое состояние от Грегсона и принял бодрый, даже веселый вид, когда случилась беда.

«Моя вина, — сказал Грегсон, — напрасно я с ним связался».

Мы были теперь одни. Кук и все восемь туземцев, — с палаткой, складной лодкой, припасами, коллекциями, — бросили нас, бесшумно скрывшись, пока мы возились в зарослях, где собирали прелестнейших насекомых. Кажется, мы попытались догнать беглецов, — я плохо помню, — во всяком случае, нам это не удалось. Надо было решить, возвращаться ли в Зонраки или продолжать намеченный нами путь через еще неведомую местность к холмам Гурано. Неведомое перевесило. Мы двинулись вперед — я, уже весь дрожащий, оглушенный хинином, но все-таки собирающий безымянные растения, и Грегсон, вполне понимающий опасность нашего положения и все-таки с прежней жадностью ловящий бабочек и мух.

И вот, не успели мы пройти и полмили, как внезапно нагнал нас Кук, — рубашка на нем была разорвана, — и кажется, им же нарочно разорвана, — он хрипел, он задыхался. Грегсон молча вынул револьвер и приготовился застрелить негодяя, но тот, валяясь у него в ногах и обеими руками защищая темя, стал клясться, что туземцы увели его насильно и хотели его съесть, — ложь, бадонцы не людоеды. Думаю, что он без труда подговорил их, глупых и опасливых, прервать сомнительное путешествие, но не учел, что ему не поспеть за могучим их шагом и, безнадежно отстав, воротился. Из-за него пропали бесценные коллекции. Его надо было убить. Но Грегсон спрятал револьвер, и мы двинулись дальше, а за нами — тяжко дышащий, спотыкающийся Кук.

Лес понемногу редел. Меня мучили странные галлюцинации. Я глядел на диковинные древесные стволы, из коих некоторые обвиты были толстыми, телесного цвета, змеями, и вдруг, будто сквозь пальцы, мне померещился между

стволами полуоткрытый зеркальный шкаф с туманными отражениями, но я встряхнулся, я посмотрел внимательным взглядом, и оказалось, что это обманчиво поблескивает куст акреаны — кудрявое растение с большими ягодами, похожими на жирный чернослив. Через некоторое время деревья расступились совсем, и небо выросло перед нами плотной синей стеной. Мы очутились на вершине крутого склона. Внизу мрело и дымилось огромное болото, и далеко за ним виднелась дрожащая гряда мутно-лиловых холмов.

«Клянусь Богом, мы должны вернуться! — рыдающим голосом произнес Кук. — Клянусь Богом, мы пропадем в этих топях, у меня дома семь дочерей и собака. Вернемся, мы знаем дорогу назад...»

Он ломал руки, по его толстому лицу с рыжими треугольниками бровей катился пот. «Назад, назад, — повторял он. — Вы достаточно наловили мух. Вернемся!»

Мы с Грегсоном принялись спускаться по каменистому склону. Кук остался было стоять наверху — маленькая белая фигура на чудовищно зеленом фоне леса, — но вдруг взмахнул руками, крикнул, начал боком спускаться за нами.

Склон как бы заострился, образуя каменный гребень, который длинным мысом уходил в сверкающие сквозь пар топи. Полдневное небо, освобожденное теперь от лиственных завес, тяготело над нами ослепительной тьмой, — да, ослепительной тьмой, иначе не скажешь. Я старался не поднимать глаз, — но в этом небе, на самой границе поля моего зрения, плыли, не отставая от меня, белесые штукатурные призраки, лепные дуги и розетки, какими в Европе украшают потолки, — однако стоило мне посмотреть на них прямо, и они исчезали, мгновенно куда-то запав, — и снова ровной и густой синевой гремело тропическое небо. Мы еще шли по каменному мысу, но он все суживался, изменял нам. Кругом рос золотой болотный камыш, подобный миллиону обнаженных, горящих на солнце сабель. Там и сям вспыхивали продолговатые озерки, над ними темными облачками висела мошкара. Вот, пушистой вывороченной губой, будто испачканной яичным желтком, потянулся ко мне крупный болотный цветок, родственный орхидее. Грегсон взмахивал сачком, проваливался по бедра в парчовую жижу, и громадная бабочка, хлопнув атласным

крылом, уплывала от него через камыши, туда, где в мерцании бледных испарений туманными складками ниспадала как бы оконная занавеска. Не надо, не надо, — я отводил глаза, я шел дальше за Грегсоном, то по камню, то по шипящей и чмокающей почве. Меня знобило, несмотря на оранжерейную жару. Я предвидел, что сейчас совсем обессилю, что бредовые рисунки и выпуклости, просвечивающие сквозь небо и сквозь золотые камыши, сейчас овладеют моим сознанием полностью. Мне порою казалось, что Грегсон и Кук становятся прозрачны и что сквозь них видны бумажные обои в камышеобразных, вечно повторяющихся узорах. Я превозмогал себя, таращил глаза и продвигался дальше. Кук уже полз на карачках, кричал и хватал Грегсона за ноги, но тот стряхивал его и продолжал путь. Я смотрел на Грегсона, на его упрямый профиль, — и с ужасом чувствовал, что забываю, кто такой Грегсон и почему я с ним вместе.

Между тем мы проваливались все чаще, все глубже, трясины сосали нас, не могли насосаться, мы извивались и выскальзывали. Кук падал и полз, искусанный, опухший, весь мокрый, — и Боже мой, как он взвизгивал, когда принимались нас догонять, напрягаясь и пружинисто пролетая сажень и опять сажень, отвратительные стайки мелких, ярко-зеленых гидротиковых змей, привлеченных нашим потом. Меня же гораздо больше пугало другое: слева от меня, — всегда почему-то слева, — время от времени поднималось из болота, кренясь среди повторяющихся камышей, как бы подобие большого кресла, а в действительности — странная, неповоротливая, серая амфибия, название которой Грегсон отказывался мне сообщить.

«Привал, — сказал он внезапно, — привал». Мы чудом выбрались на плоский каменный островок, со всех сторон окруженный болотными растениями. Грегсон снял заплечный мешок и выдал нам туземных лепешек, пахнущих ипекакуаной, и дюжину акреановых плодов. Как мне хотелось пить, как мало мне было скудного, вяжущего сока акреаны...

«Посмотри, это странно, — обратился ко мне Грегсон, но не по-английски, а на каком-то другом языке, дабы не понял Кук. — Мы должны пробраться к холмам, но странно, — неужели холмы были миражем, — смотри, их теперь не видно».

Я приподнялся с подушки, облокотился на мягкую поверхность камня, — да, действительно, холмов больше не было, — дрожал пар над болотом... И вот опять все кругом стало двусмысленно сквозить, я откинулся и тихо сказал Грегсону: «Ты, вероятно, не видишь, что-то такое все хочет проступить...» — «О чем ты?» — спросил Грегсон.

Я спохватился, что говорю глупость, и замолчал. Голова у меня кружилась, в ушах было жужжание. Грегсон, опустившись на одно колено, рылся в мешке, но лекарств там не было, а мой запас весь вышел. Кук сидел молча, угрюмо ковыряя камень. Разорванный, висящий рукав рубашки обнаружил его предплечье и странную на коже татуировку: граненый стакан с блестящей ложечкой, — очень хорошо сделанный.

«Вальер болен, у тебя должны быть облатки», — обратился к нему Грегсон. Я, правда, слов не слышал, но угадывал общий смысл разговоров, которые становились нелепыми и какими-то сферическими, когда я вслушивался в них.

Кук медленно повернулся, и стеклянистая татуировка соскользнула с его кожи в сторону, повисла в воздухе и поплыла, поплыла, и я ее догонял испуганным взглядом, но она смешалась с болотным паром и слегка лишь блеснула, как только я отвернулся.

«Поделом, — пробормотал Кук. — Пускай... Мы с вами тоже, — пускай...»

Он за последние минуты, то есть, вероятно, с тех пор, как мы расположились на каменном островке, стал как-то больше, раздулся, в нем появилось что-то издевательское и опасное. Грегсон снял шлем, отер грязным платком лоб — оранжевый над бровями, а повыше белый, — надел шлем снова, — наклонился ко мне и сказал: «Подтянись, я прошу тебя, — (или тому подобные слова). — Мы попытаемся двинуться дальше. Испарения скрывают их, но они там... Я уверен, что около половины болота уже пройдено» (все это очень приблизительно).

«Убийца», — вполголоса проговорил Кук. Татуировка оказалась снова на его предплечье, — впрочем, не весь стакан, а один бок, другая часть не поместилась и, отсвечивая, дрожала в пустоте. «Убийца, — с удовлетворением повторил Кук и поднял воспаленные глаза. — Я говорил, что мы

здесь застрянем. Черная собака объедается падалью. Ми-ре-фа-соль».

«Он шут, — тихо сообщил я Грегсону, — шекспировский шут».

«Шу-шу-шу, — ответил мне Грегсон, — шу-шу, шо-шо-шо... Ты слышишь, — продолжал он, крича мне в ухо, — надо встать. Надо двинуться дальше...»

Камень был бел и мягок, как постель. Я привстал, но тотчас снова упал на подушку.

«Придется его нести, — сказал Грегсон далеким голосом. — Помоги...»

«Ну знаете, это дудки, — ответил Кук (или так мне показалось), — дудки. Предлагаю поживиться его мясом, пока он не высох. Фа-соль-ми-ре».

«Он заболел, он тоже заболел, — вскричал я. — Ты здесь с двумя сумасшедшими. Уходи один. Ты дойдешь, — уходи...»

«Так мы его и отпустим», — проговорил Кук.

Между тем бредовые видения, пользуясь общим замешательством, тихо и прочно становились на свои места. По небу тянулись и скрещивались линии туманного потолка. Из болота поднималось, будто подпираемое снизу, большое кресло. Какие-то блистающие птицы летали в болотном тумане и, садясь, обращались мгновенно: та — в деревянную шишку кровати, эта — в графин. Собрав всю свою волю, я пристальным взглядом согнал эту опасную ерунду. Над камышами летали настоящие птицы с длинными огненными хвостами. В воздухе стояло жужжание насекомых. Грегсон отмахивался от пестрой мухи и одновременно старался выяснить, к какому она принадлежит виду. Наконец он не выдержал и поймал ее в сачок. Движения его странно менялись, точно их кто-то тасовал, я его зараз видел в разных позах, он снимал себя с себя, как будто состоял из многих стеклянных Грегсонов, не совпадающих очертаниями, — но вот он снова уплотнился, крепко встал: он тряс Кука за плечо.

«Ты мне поможешь его нести, — отчетливо говорил Грегсон. — Если бы ты не был предателем, мы бы не оказались в таком положении».

Кук молчал, медленно багровея.

«Смотри, Кук, — будет худо, — сказал Грегсон. — Я тебе говорю в последний раз...»

И тут случилось то, что назревало давно. Кук, как бык, въехал головой Грегсону в живот, оба упали, Грегсон успел вытащить револьвер, но Куку удалось выбить револьвер из его руки, — и тогда они обнялись и стали кататься в обнимку, оглушительно дыша. Я бессильно смотрел на них. Широкая спина Кука напрягалась, позвонки просвечивали сквозь рубашку, но вдруг вместо спины оказывалась на виду его же нога, с синей жилой вдоль рыжей голени, и сверху наваливался Грегсон, шлем его слетел и покатился, переваливаясь, как половина огромного картонного яйца. Откуда-то из телесных лабиринтов выюлили пальцы Кука, в них был зажат ржавый, но острый нож, нож вошел в спину Грегсону, как в глину, но Грегсон только крякнул, и оба несколько раз перевернулись, и когда опять показалась спина моего друга, там торчала рукоятка и верхняя половина лезвия, а сам он вцепился в толстую шею Кука и с треском давил, и Кук сучил ногами... В последний раз перевалились они полным оборотом, и уже виднелась лишь четверть лезвия, — нет, пятая доля, — нет, даже и этого не было видно: оно вошло до конца. Грегсон замер, навалившись на Кука, который затих тоже.

Я смотрел и думал почему-то (болезненный туман чувств...), что все это безвредная игра, что они сейчас встанут и, отдышавшись, мирно понесут меня через топи к синим прохладным холмам, в тенистое место, где будет журчать вода. Но внезапно, на этом последнем перегоне смертельной моей болезни, — ибо я знал, что через несколько минут умру, — так вот, в эти последние минуты на меня нашло полное прояснение, — я понял, что все происходящее вокруг меня вовсе не игра воспаленного воображения, вовсе не вуаль бреда, сквозь которую нежелательными просветами пробивается моя будто бы настоящая жизнь в далекой европейской столице — обои, кресло, стакан с лимонадом, — я понял, что назойливая комната — фальсификация, ибо все, что за смертью, есть в лучшем случае фальсификация, наспех склеенное подобие жизни, меблированные комнаты небытия. Я понял, что подлинное — вот оно: вот это дивное и страшное тропическое небо, эти блистательные сабли камышей, этот пар над ними, и толстогубые цветы, льнущие к плоскому островку, где рядом со мной лежат два сцепившихся трупа. И, поняв это, я нашел в себе силы подползти к ним, вытащить нож из

спины Грегсона, моего вождя, моего товарища. Он был мертв, он был совсем мертв, и все баночки в его карманах были разбиты, раздавлены. Мертв был и Кук, из его рта вылезал чернильно-синий язык. Я разжал пальцы Грегсона, я, обливаясь потом, перевернул его тело, — губы были полуоткрыты и в крови, лицо, уже твердое с виду, казалось плохо выбритым, голубые белки сквозили между век. В последний раз я видел все это ясно, воочию, с печатью подлинности на всем, видел их ободранные колени, цветных мух, вьющихся над ними, самок этих мух, уже примеряющихся к яйцекладке. Неуклюже орудуя ослабевшими руками, я вынул из грудного карманчика моей рубашки толстую записную книжку, — но тут меня охватила слабость, я сел, я поник головой... и все-таки превозмог этот нетерпеливый туман смерти и огляделся. Синева, зной, одиночество, — и как мне жаль было Грегсона, который никогда не вернется домой, — я даже вспомнил его жену, и старуху кухарку, и попугаев, и еще многое... а затем я подумал о наших открытиях, о драгоценных находках, о редких, еще не описанных растениях и тварях, которым уже не мы дадим названия. Я был один. Туманнее сверкали камыши, бледнее пылало небо. Я последил глазами за восхитительным жучком, который полз по камню, но у меня уже не было сил его поймать. Все линяло кругом, обнажая декорации смерти, — правдоподобную мебель и четыре стены. Последним моим движением было раскрыть сырую от пота книжку, — надо было кое-что записать непременно, — увы, она выскользнула у меня из рук, я пошарил по одеялу, — но ее уже не было.

ВСТРЕЧА

У Льва был брат Серафим, Серафим был старше и толще его, — впрочем, весьма возможно, что за эти девять, нет, позвольте, десять, Боже мой — десять с лишком лет он похудел, кто его знает, — будет известно через несколько минут. Лев уехал, Серафим остался, — и то и другое произошло совсем случайно, — и даже, если хотите, именно Лев был скорее левоват, Серафим же, только что окончивший тогда Политехникум, ни о чем кроме как о своем

поприще не думал, боялся политических сквозняков, странно, странно, странно, — через несколько минут он войдет. Обняться? Сколько лет, сколько зим? Спец. О, эти слова с отъеденными хвостами, точно рыбьи головизны... спец...

Утром был телефонный звонок, чужой женский голос по-немецки сообщил: приехал, хотел бы сегодня вечером зайти, завтра уезжает. Неожиданность, — хотя Лев уже знал, что брат в Берлине. У Льва был знакомый, у которого был знакомый, у которого, в свою очередь, был знакомый, служивший в торгпредстве. Командировка, закупает что-нибудь. Он в партии? Десять с лишком лет.

Все эти годы они не сносились друг с другом, Серафим ровно ничего не знал о брате, Лев почти ничего не знал о Серафиме. Раза два имя Серафима просквозило в серой, как дымовая завеса, советской газете, которую Лев просматривал в библиотеке. «А поскольку, — писал Серафим, — основной предпосылкой индустриализации является укрепление социалистических элементов в нашей экономической системе вообще, коренной сдвиг в деревне выдвигается как одна из особо существенных и первоочередных текущих задач».

Лев, с простительным запозданием доучившийся в пражском университете (диссертация о славянофильских течениях в русской литературе), теперь искал счастья в Берлине, и все не мог решить, в чем оно, это счастье, — в торговле всякими пустяками, как советовал Лещеев, или в типографской работе, как предлагал Фукс. К слову сказать, Лещеев и Фукс с женами собирались его навестить как раз в этот вечер, было русское Рождество, Лев на последние деньги купил подержанную елочку, ростом в пол-аршина, пяток малиновых свечек, фунт сухарей, полфунта конфет. Гости обещали позаботиться о водке и вине. Но как только сделано было ему конспиративное и невероятное сообщение о желании брата повидаться с ним — Лев поспешил гостей отменить. Лещеевых не оказалось дома, — он передал через прислугу: непредвиденное дело. Конечно, беседа с братом, на юру, с глазу на глаз, будет крайне мучительной, но еще хуже, если... «...Это мой брат, из России». — «Очень приятно. Ну что, — скоро они подохнут?» — «То есть кто — они? Я вас не понимаю».

Особенно горяч и нетерпим был Лещеев... Нет, нет, отменить.

Теперь, около восьми вечера, он похаживал по своей бедной, но чистенькой комнате, стукаясь то о стол, то о белую грядку тощей кровати, — бедный, но чистенький господин, в черном костюме с лоском, в отложном воротничке, слишком для него широком. У него было безбородое, курносое, простоватое лицо, с маленькими, слегка безумными глазами. Он носил гетры, чтобы скрыть дырки в носках. Недавно он разошелся с женой, которая совершенно неожиданно изменила ему, — и с кем, с кем... с пошляком, с ничтожеством... Он теперь убрал ее портрет, — иначе пришлось бы отвечать на вопросы брата («Кто это?» — «Моя бывшая жена». — «То есть как — бывшая?..»). Убрал он и елку, — выставил ее, с разрешения квартирной хозяйки, на хозяйский балкон, — а то, кто его знает, еще посмеется над эмигрантской чувствительностью. Нечего было покупать. Традиция. Гости, огоньки. Потушите свет, чтобы только она горела. Зеркально играющие глаза госпожи Лещеевой.

О чем же говорить с братом? Рассказать вскользь, беззаботно, о приключениях на юге России в пору Гражданской войны? Шутливо пожаловаться на сегодняшнюю (нестерпимую, задыхающуюся) нищету? Притвориться человеком с широкими взглядами, стоящим выше эмигрантской злобы, понимающим... что понимающим? Что Серафим мог предпочесть моей бедности, моей чистоте — деятельное сотрудничество... с кем, с кем! Или, напротив, — нападать, стыдить, спорить, а не то — едко острить: «Термин “пятилетка” напоминает мне чем-то конский завод».

Он вообразил Серафима, его мясистые пологие плечи, огромные галоши, лужи в саду перед дачей, смерть родителей, начало революции... Никогда не были они особенно дружны, — еще в гимназии у каждого были свои товарищи, свои учителя... Летом семнадцатого года был у Серафима довольно неказистый роман с соседкой по даче, женой присяжного поверенного. Истошные крики присяжного поверенного, мордобой, немолодая, растрепанная женщина с кошачьим лицом, бегущая по аллее, и где-то на заднем плане скандальный звон разбитого стекла. Однажды Серафим, купаясь в реке, чуть не утонул... Вот наиболее яркие

воспоминания о нем, — не Бог весть какие. Кажется, что помнишь человека живо, подробно, а подумаешь, и получается так глупо, так скудно, так мелко, — обманчивый фасад, дутые предприятия памяти. А как-никак родной брат. Он много ел. Он был аккуратен. Что еще? Как-то раз вечером, за чайным столом...

Пробило восемь часов. Лев нервно посмотрел в окно. Моросило, расплывались в глазах фонари. Белели остатки мокрого снега вдоль панели. Подогретое Рождество. Напротив с балкона свешивались, вяло трепеща в темноте, бледные бумажные ленты, оставшиеся от немецкого Нового Года. Внезапный звонок с парадной был как электрическая вспышка где-то под ложечкой.

Еще крупнее, еще толще, чем прежде. Он делал вид, что страшно запыхался. Он взял Льва за руку. Оба молчали, одинаково осклабясь. Русское ватное пальто с небольшим каракулевым воротником, застегивающимся на крючок, серая заграничная шляпа.

— Вот сюда, — сказал Лев. — Снимай. Давай я сюда положу. Ты сразу нашел?

— Унтергрундом, — сказал Серафим, пыхтя. — Ну-ну, вот, значит, как...

С преувеличенным вздохом облегчения он сел в кресло.

— Сейчас сделаем чай, — суетливо сказал Лев, возясь со спиртовкой на умывальнике.

— Погодка, — сказал Серафим, потирая руки. В действительности было на дворе не холодно.

Спирт помещался в медном шаре; если повернуть винт, спирт просачивался в черный желобок. Надо было чуть-чуть выпустить, завинтить опять и поднести спичку. Загорался мягкий желтоватый огонь, плавал в желобке, постепенно умирал, и тогда следовало открыть кран вторично, и с громким стуком — под чугунной подставкой, где с видом жертвы стоял высокий жестяной чайник с родимым пятном на боку, — вспыхивал уже совсем другой, матово-голубой огонь, зубчатая голубая корона. Как и почему все это происходило, Лев не знал, да этим и не интересовался. Он слепо следовал наставлениям хозяйки. Серафим сперва смотрел на возню со спиртовкой через плечо, поскольку ему это позволяла тучность, — а потом встал, подошел, и некоторое время они говорили о машинке, Серафим объяснил ее устройство и нежно повертел винт.

— Ну, как живешь? — спросил он, снова погружаясь в тесное кресло.

— Да вот — как видишь, — ответил Лев. — Сейчас будет чай. Если ты голоден, у меня есть колбаса.

Серафим отказался, обстоятельно высморкался и заговорил о Берлине.

— Перещеголяли Америку, — сказал он. — Какое движение на улицах. Город изменился чрезвычайно. Я, знаешь, приезжал сюда в двадцать четвертом году.

— Я тогда жил в Праге, — сказал Лев.

— Вот как, — сказал Серафим.

Молчание. Оба смотрели на чайник, точно ожидая от него чуда.

— Скоро закипит, — сказал Лев. — Возьми пока этих карамелек.

Серафим взял, у него задвигалась левая щека. Лев все не решался сесть: сесть значило расположиться к беседе, — он предпочитал стоять или слоняться между кроватью и столом. На бесцветном ковре было рассыпано несколько хвойных игл. Вдруг легкое шипение прекратилось.

— Потух немец, — сказал Серафим.

— Это мы сейчас, — заторопился Лев, — это мы сейчас.

Но спирта в бутылке больше не оказалось.

— Какая история... Я, знаешь, попрошу у хозяйки.

Он вышел в коридор, направляясь в сторону хозяйкиных апартаментов. Идиотство. Знал, что нужно купить... Дали бы в долг. И забыл. Он постучал в дверь. Никого. Ноль внимания, фунт презрения. Почему она вспомнилась, эта школьная прибаутка. Постучал еще раз. Все темно. Ушла. Он пробрался к кухне. Кухня была предусмотрительно заперта.

Лев постоял в темном коридоре, думая не столько о спирте, сколько о том, какое это облегчение — побыть минуту одному, и как мучительно возвращаться в напряженную комнату, где плотно сидит чужой человек. О чем говорить? Статья о Фарадее в старом номере немецкого журнала. Нет, не то. Когда он вернулся, Серафим стоял у этажерки и разглядывал потрепанные, несчастные на вид книги.

— Вот история, — сказал Лев. — Прямо обидно. Ты ради Бога прости. Может быть...

(Может быть, вода была на краю кипения? Нет. Едва теплая.)

— Ерунда, — сказал Серафим. — Я, признаться, не большой любитель чаю. Ты что, много читаешь?

(Спуститься в кабак за пивом? Не хватит, не дадут. Чорт знает что, на конфеты ухлопал, на елку.)

— Да, читаю, — сказал он вслух. — Ах, как это неприятно, как неприятно. Если бы хозяйка...

— Брось, — сказал Серафим. — Обойдемся. Вот, значит, какие дела. Да. А как вообще? Здоровье как? Здоров? Самое главное — здоровье. А я вот мало читаю, — продолжал он, косясь на этажерку. — Все некогда. На днях в поезде мне попалась под руку...

Из коридора донесся телефонный звон.

— Прости, — сказал Лев. — Ешь, — вот тут сухари, карамели. Я сейчас. — Он поспешно вышел.

«Что это вы, синьор? — сказал в телефон голос Лещеева. — Что это, право? Что случилось? Больны? Что? Не слышу. Громче». — «Непредвиденное дело, — ответил Лев. — Я же передавал». — «Передавал, передавал. Ну что вы, действительно. Праздник, вино куплено, жена вам подарок приготовила». — «Не могу, — сказал Лев. — Мне очень самому...» — «Вот чудак! Послушайте, развяжитесь там с вашим делом, — и мы к вам. Фуксы тоже здесь. Или, знаете, еще лучше, айда к нам. А? Оля, молчи, не слышу. Что вы говорите?» — «Не могу, у меня... Одним словом, я занят». Лещеев выругался. «До свидания», — неловко сказал Лев в уже мертвую трубку.

Теперь Серафим разглядывал не книги, а картину на стене.

— По делу. Надоедливый, — проговорил, морщась, Лев. — Прости, пожалуйста.

— Много у тебя дел? — спросил Серафим, не сводя глаз с олеографии, изображавшей женщину в красном и черного, как сажа, пуделя.

— Да, зарабатываю, статьи, всякая всячина, — неопределенно ответил Лев. — А ты, — ты, значит, ненадолго сюда?

— Завтра, вероятно, уеду. Я и сейчас к тебе ненадолго. Мне еще сегодня нужно...

— Садись, что же ты...

Серафим сел. Помолчали. Обоим хотелось пить.

— Насчет книг, — сказал Серафим. — То да се. Нет времени. Вот в поезде... случайно попалась... От нечего делать прочел. Роман. Ерунда, конечно, но довольно занятно, о кровосмесительстве. Ну-с...

Он обстоятельно рассказал содержание. Лев кивал, смотрел на его солидный серый костюм, на большие гладкие щеки, смотрел и думал: «Неужели надо было спустя десять лет опять встретиться с братом только для того, чтобы обсуждать пошлейшую книжку Леонарда Франка? Ему вовсе неинтересно об этом говорить, и мне вовсе неинтересно слушать. О чем я хотел заговорить? Какой мучительный вечер».

— Помню, читал. Да, это теперь модная тема. Ешь конфеты. Мне так совестно, что нет чаю. Ты, говоришь, нашел, что Берлин очень изменился. — (Не то. Об этом уже было.)

— Американизация, — ответил Серафим. — Движение. Замечательные дома.

Пауза.

— Я хотел спросить тебя, — судорожно сказал Лев. — Это не совсем твоя область, но вот — здесь, в журнале... Я не все понял. Вот это, например. Эти его опыты.

Серафим взял журнал и стал объяснять:

— Что же тут непонятного? До образования магнитного поля, — ты знаешь, что такое магнитное поле? — ну вот, до его образования существует так называемое поле электрическое. Его силовые линии расположены в плоскостях, которые проходят через вибратор. Заметь, что, по учению Фарадея, магнитная линия представляется замкнутым кольцом. Между тем как электрическая всегда разомкнута, — дай мне карандаш, — впрочем, у меня есть, — спасибо, спасибо, у меня есть.

Он долго объяснял, чертил что-то, и Лев смиренно кивал. О Юнге, о Максвелле, о Герце. Прямо доклад. Потом он попросил стакан воды.

— А мне, знаешь, пора, — сказал он, облизываясь и ставя стакан обратно на стол. — Пора. — Он вынул откуда-то из живота толстые часы. — Да, пора.

— Что ты, посиди еще, — пробормотал Лев, но Серафим покачал головой и встал, оттягивая книзу жилет. Его взгляд снова уставился на олеографию: женщина в красном и черный пудель.

— Ты не помнишь, как его звали? — сказал он, впервые за весь вечер непритворно улыбнувшись.

— Кого? — спросил Лев.

— Помнишь, Тихотский приходил к нам на дачу с пуделем. Как звали пуделя?

— Позволь, — сказал Лев. — Позволь. Да, действительно... Я сейчас вспомню.

— Черный такой, — сказал Серафим. — Очень похож. Куда ты мое пальто... Ах, вот. Уже.

— У меня тоже выскочило из головы, — проговорил Лев. — В самом деле, как его звали?

— Ну, чорт с ним. Я пошел. Ну-с... Очень был рад тебя повидать... — Он ловко, несмотря на свою грузность, надел пальто.

— Провожу тебя, — сказал Лев, доставая свой потасканный макинтош.

Оба одновременно кашлянули, это вышло глупо. Потом молча спустились по лестнице, вышли на улицу. Моросило.

— Я на унтергрунд. Но как все-таки его звали? Черный, помпоны на лапах. Вот удивительно... Память тоже.

— Буква «т», — отозвался Лев, — это я наверное помню. Буква «т».

Они перешли наискось на другую сторону улицы.

— Какая мокрядь, — сказал Серафим. — Ну-ну... Так неужели мы не вспомним? На «т», говоришь?

Свернули за угол. Фонарь. Лужа. Темное здание почтамта. Около марочного автомата стояла, как всегда, нищая старуха. Она протянула руку с двумя коробками спичек. Луч фонаря скользнул по ее впалой щеке, под ноздрей дрожала яркая капелька.

— Прямо обидно, — воскликнул Серафим. — Знаю, что сидит у меня в мозговой ячейке, но невозможно добраться.

— Как ее звали, как ее звали, — подхватил Лев. — Действительно, это нелепо, что мы не можем... Помнишь, она раз потерялась, Тихотский целый час стоял в лесу и звал. Начинается на «т», наверное.

Дошли до сквера. За сквером горела на синем стекле жемчужная подкова — герб унтергрунда. Каменные ступени, ведущие в глубину.

— Ну, ничего не поделаешь, — сказал Серафим. — Будь здоров. Как-нибудь опять встретимся.

— Что-то вроде Тушкана... Тошка... Ташка...— сказал Лев. — Нет, не могу. Это безнадежно. И ты будь здоров. Всех благ.

Серафим помахал растопыренной рукой, его широкая спина сгорбилась и скрылась в глубине. Лев медленно пошел обратно — через сквер, мимо почтамта, мимо нищей... Вдруг он остановился. В памяти, в какой-то точке памяти, наметилось легкое движение, будто что-то очень маленькое проснулось и зашевелилось. Слово еще было незримо, — но уже его тень протянулась — как бы из-за угла, — и хотелось на эту тень наступить, не дать ей опять втянуться. Увы, не успел. Все исчезло, — но, в то мгновение, как мозг перестал напрягаться, снова и уже яснее дрогнуло что-то, и, как мышь, выходящая из щели, когда в комнате тихо, появилось, легко, беззвучно и таинственно, живое словесное тельце... «Дай лапу, Шутик». Шутик! Как просто. Шутик...

Он невольно оглянулся, подумал, что Серафим, сидя в подземном вагоне, тоже, быть может, вспомнил. Жалкая встреча.

Лев вздохнул, посмотрел на часы и, увидя, что еще не поздно, решил направиться к дому, где жили Лещеевы, — похлопать в ладони, авось отопрут.

ЛЕБЕДА

Просторнейшей комнатой в особняке была библиотека. Туда, перед отъездом в школу, Путя заходил поздороваться с отцом. Шаркание и стальное трепетание. Отец каждое утро фехтовал с м-сье Маскара, маленьким, пожилым французом, сделанным из гуттаперчи и черной щетины. По воскресеньям Маскара преподавал Путе гимнастику и бокс, но, страдая животом, прерывал занятия, — потайными ходами, ущельями книжных шкафов, дремучими коридорами удалялся на полчаса в нужное место, — а Путя с огромными боевыми рукавицами на тоненьких потных кистях ждал, развалясь в кожаном кресле, слушал легкое жужжание тишины и моргал, стараясь не заснуть. Свет электрических ламп, по-утреннему глухой и желтый, озарял наканифоленный линолеум, полки вдоль стен,

беззащитные спины тесно уткнувшихся книг и черную виселицу грушевидного punching-ball'а[1]. За цельными окнами, с однообразной, бесплодной грацией валил мягкий и медленный снег.

Недавно, в школе, географ Березовский (автор брошюры «Чао-Сан, страна утра. Корея и корейцы. С тринадцатью рисунками и картой в тексте»), пощипывая темную бородку, ненароком и некстати объявил при всем классе, что он и Путя берут у Маскара частные уроки бокса. Все уставились на Путю. От смущения его лицо сделалось ярким и даже как бы одутловатым. На перемене Щукин, самый сильный, грубый и отсталый в классе, подошел и, осклабясь, сказал: «Ну-ка, покажи бокс». — «Оставь», — тихо ответил Путя. Щукин засопел и дал ему под микитки. Путя обиделся и прямым ударом, как учил француз, разбил Щукину нос. Удивленная пауза, кровь, зарумянившийся платок. Оправившись от удивления, Щукин навалился на Путю и, молча, его заломал. Однако, несмотря на боль во всем теле, Путя остался доволен. Кровь из щукинского носа продолжала идти на уроке естествознания, остановилась на арифметике и снова пошла на Законе Божием. Путя наблюдал с тихим интересом.

В ту зиму его мать уехала в Ментону с Марой, которая полагала, что умирает от чахотки. Без сестры, довольно язвительной и пристающей молодой женщины, было скорее приятно, но вот с отсутствием матери Путя никак свыкнуться не мог, скучал чрезвычайно, особенно по вечерам. Отца он видел мало. Отец был занят в учреждении, называемом Думой, где однажды обвалился потолок. Были еще фракции, то есть сборища, на которых, вероятно, все во фраках. Очень часто приходилось обедать отдельно, наверху, вместе с мисс Шелдон, черноволосой, светлоглазой, в просторной блузе и вязаном поперечно-полосатом галстуке, — а внизу, около чудовищно разбухших вешалок, скоплялась добрая сотня галош, и если пробраться оттуда в комнату с шелковым турецким диваном, можно было вдруг услышать (когда лакей где-то в глубине отворял дверь) нестройный шум, зоологический гомон и далекий, но ясный голос отца.

---

[1] Боксерская груша *(англ.)*.

Как-то, в сумрачное ноябрьское утро, Дима Корф, Путин сосед по парте, вынул из пегого ранца и протянул Путе иллюстрированный листок. На одной из первых страниц зеленела карикатура на Путиного отца, снабженная стихотворением. Путя скользнул глазами по строкам и выхватил из середины: «Как джентльмен, он предлагал револьвер, шпагу или кинжал». «Это правда?» — спросил Дима шепотом (только что начался урок). «Что правда?» — прошептал Путя. «Потише там», — вмешался Алексей Мартынович, учитель русского языка, мужиковатый, гугнивый, с безымянной и неопрятной растительностью над кривою губой и знаменитыми ногами в винтоподобных штанах: когда он шел, ноги у него завивались, — он ставил правую ступню туда, куда полагалось попасть левой, и наоборот, — но ходил все же весьма шибко. Теперь он сидел у стола и перелистывал записную книжку; затем глаза его устремились на далекую парту, из-за которой, как деревцо, вырастающее от взгляда факира, уже поднимался Щукин.

«Что правда?» — тихо повторил Путя, держа на коленях журнальчик и косясь на Диму. Дима чуть подвинулся к нему. Между тем Щукин, бритоголовый, в черной саржевой косоворотке, начинал в третий раз с какой-то безнадежной бодростью: «"Муму"... Произведение Тургенева "Муму"...» «Насчет твоего папы», — вполголоса ответил Дима. Алексей Мартынович с размаху хлопнул «Живым Словом» по столу, так что подскочила вставка и воткнулась пером в пол. «Что это, в самом деле... шептуны... что это...— неразборчиво, плюясь и шипя, заговорил он. — Встать, встать... Корф... Шишков... Что это такое... что это вы там?» Он подошел и ловко схватил журнальчик. «Гадость читаете, садитесь, садитесь, гадости...» Добычу свою он положил в портфель.

Потом был вызван Путя. Алексей Мартынович диктовал, а Путя писал на доске: «...поросший кашкою и цепкой ли бедой...» Окрик, — такой окрик, что Путя выронил мел: «Какая там "беда"... Откуда ты взял беду? Лебеда, а не беда... Где твои мысли витают? Садись... Садись...»

«Ну что, это правда?» — прошептал Дима, улучив мгновение. Путя притворился, что не слышит. Его пронизывала дрожь, которую он не мог остановить; в ушах повторялась строка о револьвере, шпаге и кинжале; в глазах стояло карикатурное изображение отца, угловатое, бледно-зеленое.

причем зелень в одном месте переступила через контур, а в другом не дошла, — небрежность цветного отпечатка. Только что, перед отъездом в школу, — шаркание и стальное трепетание... Отец и француз — в толстых нагрудниках, в решетчатых масках... Все было как обычно — картавые вскрики француза: Battez! Rompez![1] — сильные движения отца, мигание и треск рапир. Он остановился; дыша и улыбаясь, снял выпуклую решетку с мокрого, розового лица.

Урок кончился. Алексей Мартынович унес с собой журнальчик. Путя сидел бледный как мел, поднимая и опуская крышку парты. С почтительным любопытством его окружали, теснили, требовали подробностей. Он ничего не знал и сам старался из расспросов узнать что-нибудь. Выходило так: депутат Туманский задел честь его отца, и отец вызвал Туманского на дуэль.

Прошли, влачась, еще два урока, затем была большая перемена, играли на дворе в снежки, и Путя стал почему-то начинять комья снега мерзлой землей, чего прежде никогда не делал. На следующем уроке немец Нуссбаум разорался на Щукина (которому в тот день не везло), и тогда Путя почувствовал спазму в горле и, чтобы не расплакаться при всех, отпросился в уборную. Там, около умывальника, одиноко висело донельзя замаранное, донельзя склизкое полотенце, — вернее, труп полотенца, прошедшего через множество мокрых, мнущих торопливых рук. Путя с минуту смотрелся в зеркало — лучший способ не дать лицу расплыться в гримасу плача.

Он подумал, не уйти ли домой до срока, — но эту мысль отогнал. Выдержка, главное — выдержка. В классе буря стихла. Щукин, с пурпурными ушами, но совершенно спокойный, уже сидел на своем месте, сложив руки крестом.

Еще два урока, и наконец — последний звонок, длинный и хриплый. Надев ботики, полушубок, шапку с наушниками, Путя выбежал во двор, углубился в туннель ворот, прыгнул через подворотню... Автомобиля за ним не прислали, пришлось взять извозчика. Извозчик, худозадый, с плоской спиной, сидел криво и, по-своему погоняя лошадь, то делал вид, что вытаскивает из голенища кнут, то мягко взмахивал рукой, точно кого подзывая, и тогда санки дергались и в Путином ранце постукивал пенал,

[1] Отбивайте! Парируйте! *(Фр.)*

и все это было как-то ужасно томительно и тревожно, — и большие, неровные, наскоро слепленные снежинки падали на плешивую полость.

В доме, с тех пор как уехали мать и сестра, бывало в этот час тихо. Путя поднялся по широкой, пологой лестнице, где на площадке, около малахитового столика, с вазой для визитных карточек, стояла безрукая Венера, которую однажды его двоюродные братья нарядили в плюшевую шубу и шляпу с вишнями, после чего она сделалась похожа на Прасковью Степановну, бедную вдову, приходившую каждое первое число. Добравшись до верху, он стал звать гувернантку. Но у мисс Шелдон сидела гостья — англичанка Веретенниковых. Мисс Шелдон послала Путю готовить на завтра уроки. Предварительно вымыть руки и выпить стакан молока. Дверь захлопнулась. Путя, чувствуя, как его обволакивает душная, страшная, ватная тоска, посидел в детской, потом спустился в бель-этаж, заглянул в отцовский кабинет. Все было невозможно тихо. В тишине с сухим звуком упал загнутый лепесток хризантемы. На тяжелом, сдержанно блестевшем письменном столе стройно и неподвижно, в космическом порядке, стояли, как планеты, знакомые вещи — фотографии, мраморное яйцо, торжественная чернильница.

Путя перешел в будуар матери, и оттуда в фонарь, и долго стоял там, глядя в продолговатое окно. На улице было уже почти темно; вокруг лиловатых стеклянных глобусов летал снег; внизу смутно текли черные сани с черными горбатыми седоками. Быть может, завтра утром. Это всегда происходит по утрам, очень рано.

Он сошел вниз. Молчание и пустыня. В библиотеке он судорожно включил свет, черные тени отхлынули. Пристроившись у одного из шкафов, он попробовал заняться рассмотрением толстых переплетенных журналов. Красота мужчин в роскошной бороде и пышных усах. Я долго страдала от угрей. Концертный аккордеон «Удовольствие» с 20-ю голосами, 10-ю клапанами. Группа священников и деревянная церковь. Картина с надписью «Чужие»: господин пригорюнился у письменного стола, дама, в кудрявом боа, стоит поодаль, гантируя расправленную руку. «Этот том я уже смотрел». Он взял другой и сразу напоролся на поединок между двумя итальянскими фехтовальщиками, — этот сделал бешеный выпад, тот отстранился

и пронзил противнику горло. Путя захлопнул тяжелый том и замер, держась за виски, как взрослый. Страшна была тишина, страшны неподвижные шкафы, глянцевитые гирьки на дубовом столе, черные коробки картотеки. Опустив голову, он вихрем пронесся через туманные комнаты. Наверху, в детской, он лег на диван и пролежал так в темноте, пока о нем не вспомнила мисс Шелдон. На лестнице загудел гонг, зовущий вниз, к обеду.

Из кабинета вышел отец, и с ним полковник Розен, который когда-то был женихом сестры отца, умершей в молодости. Путя не смел на отца взглянуть, и, когда большая ладонь знакомым теплом коснулась его виска, он покраснел до слез. Невозможно, нестерпимо думать, что этому человеку, лучше которого нет в мире, предстоит драться с каким-то туманным Туманским, — на чем? На пистолетах? На шпагах? Почему все молчат об этом? Знают ли что-нибудь слуги, гувернантка, мать в Ментоне? Полковник Розен за обедом острил, как острил всегда, сухо, кратко, будто раскалывал орехи, но сегодня Путя не смеялся, а поминутно заливался краской и, скрывая это, нарочно ронял салфетку, чтобы тихонько под столом отойти, вернуться к нормальному цвету, но вылезал оттуда еще краснее прежнего, и отец поднимал брови, посмеивался, — и не спеша, со свойственной ему ровностью, исполнял обряд обеда, осторожно глотал вино из плоской золотой чарочки. Полковник продолжал острить. Мисс Шелдон, не понимавшая по-русски, молчала, строго выпятив грудь, и когда Путя горбился, неприятно подталкивала его под лопатки. На сладкое подали фисташковое парфэ, которое он ненавидел.

По окончании обеда отец и полковник поднялись в кабинет пить кофе. У Пути был такой странный вид, что отец спросил: «Путя, в чем дело? Почему ты кислый?» И каким-то чудом Путе удалось ответить: «Нет, я не кислый». Мисс Шелдон увела его спать. Как только погас свет, он уткнулся лицом в подушку. Онегин скидывал плащ, Ленский, как черный мешок, падал на подмостки. У итальянца, сзади из шеи, торчал конец клинка. Маскара любил рассказывать, как в молодости он имел une affaire[1] — полсантиметра ниже, и была бы проткнута печень. И уроки на

---

[1] Одно дельце *(фр.)*.

завтра не сделаны, и тьма кромешная в комнате, и нужно будет непременно встать пораньше, пораньше, — лучше не закрывать глаз, а то проспишь, — ведь это, наверное, назначено на завтра. Пропущу школу, пропущу, я скажу, что горло. Мама вернется только на Рождество. Ментона, голубые виды. Вставить последнюю открытку в альбом. Один уголок вошел, другой...

Проснулся Путя, как всегда, около восьми, как всегда, услышал звон: это звякнул печной заслонкой истопник. Когда, спеша, с влажными еще волосами, он спустился вниз, отец как ни в чем не бывало занимался боксом с французом. «Горло болит?» — переспросил отец. «Да. Першит», — тихо ответил Путя. «А ты не врешь?» Путя почувствовал, что всякие дальнейшие объяснения опасны, — вот лопнет плотина, хлынет постыдный поток. Он молча повернулся и через минуту сидел в автомобиле, держа на коленях ранец. Поташнивало. Все было ужасно и непоправимо.

Он опоздал на первый урок, — долго стоял с поднятой рукой за стеклянной дверью, но в класс не был впущен, — и пошел слоняться по залу, потом сел на подоконник, решил было просмотреть заданные уроки, но вместо этого в тысячный раз стал воображать, как это все будет, — на морозе, в рассветном тумане... Как выведать условленный день? Как узнать подробности? Если б уже быть в восьмом классе, нет, хотя бы в седьмом... Тогда предложить: я тебя заменю.

Наконец — звонок. Зал наполнился шумом. «Ну что, доволен? Доволен?» — спросил Дима Корф, подскочив к Путе. Путя посмотрел на него с тоскливым недоумением. «У Андрея внизу газета, — взволнованно сказал Дима. — Пойдем, мы успеем, я тебе покажу. Но какой ты странный... Я бы на твоем месте...»

Внизу на табурете сидел швейцар Андрей и читал. Он поднял глаза и улыбнулся. «Вот тут, вот», — сказал Дима. Путя взял газету и сквозь дрожащую муть прочел: «Вчера, в 3 часа дня, на Крестовском острове, между Г. Д. Шишковым и графом А. С. Туманским состоялась дуэль, окончившаяся, к счастью, бескровно. Граф Туманский, стрелявший

первым, дал промах, после чего его противник выстрелил в воздух. Секундантами со стороны...»

Тут воды прорвались. Швейцар и Дима старались успокоить его, — он отталкивал их, дергался, отстранял лицо, невозможно было дышать, никогда еще не бывало таких рыданий, «не говорите, пожалуйста, не рассказывайте никому, это я нездоров, у меня болит...». И снова рыдания.

МУЗЫКА

Передняя была завалена зимними пальто обоего пола, а из гостиной доносились одинокие, скорые звуки рояля. Отражение Виктора Ивановича поправило узел галстука. Горничная, вытянувшись кверху, повесила его пальто: оно, сорвавшись, увлекло за собой две шубы, и пришлось начать сызнова.

Уже ступая на цыпочках, Виктор Иванович отворил дверь, — музыка сразу стала громче, мужественнее. Играл Вольф — редкий гость в этом доме. Остальные — человек тридцать — по-разному слушали, кто подперев кулаком скулу, кто пуская в потолок дым папиросы, и неверный свет в комнате придавал их оцепенению смутную живописность. Хозяйка дома, выразительно улыбаясь, указала издали Виктору Ивановичу свободное место — кренделевидное креслице почти в самой тени рояля. Он ответил скромными жестами, смысл которых был: «Ничего, ничего, могу и постоять», — но потом, впрочем, двинулся по указанному направлению и осторожно сел, осторожно скрестил руки. Жена пианиста, полуоткрыв рот и часто мигая, готовилась перевернуть страницу, — и вот перевернула. Черный лес поднимающихся нот, скат, провал, отдельная группа летающих на трапециях. У Вольфа были длинные, светлые ресницы; уши сквозили нежнейшим пурпуром; он необычайно быстро и крепко ударял по клавишам, и в лаковой глубине откинутой крышки двойники его рук занимались призрачной, сложной и несколько даже шутовской мимикой. Для Виктора Ивановича всякая музыка, которой он не знал, — а знал он дюжину распространенных мотивов, — была как быстрый разговор на чужом языке: тщетно пытаешься распознать хотя бы границы слов, — все скользит,

все сливается, и непроворный слух начинает скучать. Виктор Иванович попробовал вслушаться, — однако вскоре поймал себя на том, что следит за руками Вольфа, за их бескровными отблесками. Когда звуки переходили в настойчивый гром, шея у пианиста надувалась, он напрягал распяленные пальцы и легонько гакал. Его жена поспешила, — он удержал страницу мгновенным ударом ладони и затем, с непостижимой быстротой, перемахнул ее сам, и уже опять обе его руки яростно мяли податливую клавиатуру. Виктор Иванович изучил его досконально, — заостренный нос, козырьки век, след фурункула на шее, волосы как светлый пух, широкоплечий покрой черного пиджака, — на минуту снова прислушался к музыке, но, едва проникнув в нее, внимание его рассеялось, и он, медленно доставая портсигар, отвернулся и стал разглядывать остальных гостей. Он увидел среди чужих некоторые знакомые лица, — вон Кочаровский — такой милый, круглый, — кивнуть ему... кивнул, но не попал: перелет, — в ответ поклонился Шмаков, который, говорят, уезжает за границу, — нужно будет его расспросить... На диване, между двух старух, полулежала, прикрыв глаза, дебелая, рыжая Анна Самойловна, а ее муж, врач по горловым, сидел, облокотившись на ручку кресла, и в пальцах свободной руки вертел что-то блестящее, — пенснэ на чеховской тесемке. Дальше, наполовину в тени, прижав к виску вытянутый палец, слушал, лакомый до музыки, чернобородый, горбатый человек, имя-отчество которого никак нельзя было запомнить, — Борис? нет, не Борис... Борисович? тоже нет. Дальше — еще и еще лица, — интересно, здесь ли Харузины, — да, вон они, — не смотрят... И в следующий миг, тотчас за ними, Виктор Иванович увидел свою бывшую жену.

Он сразу опустил глаза, машинально стряхивая с папиросы еще не успевший нарасти пепел. Откуда-то снизу, как кулак, ударило сердце, втянулось и ударило опять, — и затем пошло стучать быстро и беспорядочно, переча музыке и заглушая ее. Не зная, куда смотреть, он покосился на пианиста, — но звуков не было, точно Вольф бил по немой клавиатуре, — и тогда в груди так стеснилось, что Виктор Иванович разогнулся, поглубже вздохнул, — и снова, спеша издалека, хватая воздух, набежала ожившая музыка, и сердце забилось немного ровнее.

Они разошлись два года тому назад, в другом городе (шум моря по ночам), где жили с тех пор, как повенчались. Все еще не поднимая глаз, он от наплыва и шума прошлого защищался вздорными мыслями, — о том, например, что, когда давеча шел, на цыпочках, большими, беззвучными шагами, ныряя корпусом, через всю комнату к этому креслу, она, конечно, видела его прохождение, — и это было так, будто его застали врасплох, нагишом, или за глупым пустым делом, — и мысль о том, как он доверчиво плыл и нырял под ее взглядом — каким? враждебным? насмешливым? любопытным? — мысль эта перебивалась вопросами, — знает ли хозяйка, знает ли кто-нибудь в комнате, — и через кого она сюда попала, и пришла ли одна, или с новым своим мужем, — и как поступить — остаться так или посмотреть на нее? Все равно, посмотреть он сейчас не мог, — надо было сначала освоиться с ее присутствием в этой большой, но тесной гостиной, ибо музыка окружала их оградой и как бы стала для них темницей, где были оба они обречены сидеть пленниками, пока пианист не перестанет созидать и поддерживать холодные звуковые своды.

Что он успел увидеть, когда только что заметил ее? Так мало, — глаза, глядящие в сторону, бледную щеку, черный завиток — и, как смутный вторичный признак, ожерелье или что-то вроде ожерелья, — так мало, — но этот небрежный, недорисованный образ уже был его женой, эта мгновенная смесь блестящего и темного была уже тем единственным, что звалось ее именем.

Как это было давно. Он влюбился в нее без памяти в душный обморочный вечер на веранде теннисного клуба, — а через месяц, в ночь после свадьбы, шел сильный дождь, заглушавший шум моря. «Как мы счастливы». Шелестящее, влажное слово «счастье», плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет, — и утром листья в саду блистали, и моря почти не было слышно, — томного, серебристо-молочного моря.

Следовало что-нибудь сделать с окурком, — он повернул голову, и опять невпопад стукнуло сердце. Кто-то, переменив положение тела, почти всю ее заслонил, вынул белый, как смерть, платок, но сейчас отодвинется чужое плечо, она появится, она сейчас появится. Нет, невозможно смотреть. Пепельница на рояле.

Ограда звуков была все так же высока и непроницаема; все так же кривлялись потусторонние руки в лаковой глубине. «Мы будем счастливы всегда», — как это звучало, как переливалось... Она была вся бархатистая, ее хотелось сложить, — как вот складываются ноги жеребенка, — обнять и сложить, — а что потом? как овладеть ею полностью? «Я люблю твою печень, твои почки, твои кровяные шарики». Она отвечала: «Не говори гадостей». Жили не то что богато, но и не бедно, купались в море почти круглый год. На ветру дрожал студень медуз, выброшенных на гальку. Блестели мокрые скалы. Однажды видели, как рыбаки несли утопленника, — из-под одеяла торчали удивленные босые ступни. По вечерам она варила какао.

Он опять посмотрел, — и теперь она сидела потупясь, держа руку у бровей, — да, она очень музыкальна, — должно быть, Вольф играет знаменитую, прекрасную вещь. «Я теперь не буду спать несколько ночей», — думал Виктор Иванович, глядя на ее белую шею, на мягкий угол ее колена, — она сидела положив ногу на ногу, — и платье было черное, легкое, незнакомое, и поблескивало ожерелье. «Да, я теперь не буду спать, и придется перестать бывать здесь, и все пропало даром — эти два года стараний, усилий, и наконец почти успокоился, — а теперь начинай все сначала, — забыть все, все, что было почти забыто, но плюс сегодняшний вечер». Ему вдруг показалось, что она, промеж пальцев, глядит на него, и он невольно отвернулся.

Вероятно, музыка подходит к концу. Когда появляются эти бурные, задыхающиеся аккорды, это значит, что скоро конец. Вот тоже интересное слово: *конец*. Вроде коня и гонца в одном. Облако пыли, ужасная весть. Весною она странно помертвела; говорила, почти не разжимая рта. Он спрашивал: «Что с тобой?» — «Ничего. Так». Иногда она смотрела на него, щурясь с неизъяснимым выражением. «Что с тобой?» — «Ничего. Так». К ночи она умирала совсем, — ничего нельзя было с ней поделать, — и хотя это была маленькая, тонкая женщина, она казалась тогда тяжелой, неповоротливой, каменной. «Да скажи наконец, что с тобой». Так продолжалось больше месяца. Затем, однажды утром, — да, в день ее рождения, — она сказала, совершенно просто, как будто речь шла о пустяках: «Разойдемся на время. Так дальше нельзя». Влетела маленькая дочка соседей — показать котенка, остальных утопили. Уходи,

уходи, после. Девочка ушла, было долгое молчание. Уходи со своим котенком, не мешай нам молчать. Погодя он принялся медленно и молча ломать ей руки, — хотелось сломать ее совсем, с треском всю ее вывихнуть. Она расплакалась. Он сел за стол и сделал вид, что читает газету. Она ушла в сад, но скоро вернулась. «Я не могу. Мне нужно тебе все рассказать». И как-то удивленно, как будто обсуждая другую, и удивляясь ей, и приглашая его разделить свое удивление, она рассказала, она все рассказала. Это был рослый, скромный, сдержанный мужчина, который приходил играть в винт и говорил об артезианских колодцах. Первый раз в парке, потом у него.

«Все очень смутно. Ходил до вечера по берегу моря. Да, музыка как будто кончается. Когда я на набережной ударил его по лицу, он сказал: "Это вам обойдется дорого", — поднял с земли фуражку и ушел. Я с ней не простился. Глупо было думать о том, чтоб убить ее. Живи, живи. Живи, как сейчас живешь; как вот сейчас сидишь, сиди так вечно; ну, взгляни на меня, я тебя умоляю, — взгляни же, взгляни, — я тебе все прощу, ведь когда-нибудь мы умрем, и все будем знать, и все будет прощено, — так зачем же откладывать, — взгляни на меня, взгляни на меня, — ну, поверни глаза, мои глаза, мои дорогие глаза. Нет. Кончено».

Последние звуки, многопалые, тяжкие, — раз, еще раз, — и еще на один раз хватит дыхания, — и после этого, уже заключительного, уже как будто всю душу отдавшего аккорда, пианист нацелился и с кошачьей меткостью взял одну, совсем отдельную, маленькую, золотую ноту. Ограда музыки растаяла. Рукоплескания. Вольф сказал: «Я эту вещь не играл очень давно». Жена Вольфа сказала: «Мой муж, знаете, эту вещь давно не играл». Доктор по горловым обратился к Вольфу, наступая, тесня его, толкая животом: «Изумительно! Я всегда говорю, что это лучшее из всего, что он написал. Вы, по-моему, в конце капельку модернизируете звук, — я не знаю, понятно ли я выражаюсь, но видите ли...»

Виктор Иванович смотрел по направлению двери. Там маленькая, черноволосая женщина, растерянно улыбаясь, прощалась с хозяйкой дома, которая удивленно вскрикивала: «Да что вы! Сейчас будем все чай пить, а потом еще будет пение». Но гостья растерянно улыбалась и двигалась

к двери, и Виктор Иванович понял, что музыка, вначале казавшаяся тесной тюрьмой, в которой они оба, связанные звуками, должны были сидеть друг против друга на расстоянии трех-четырех саженей, — была в действительности невероятным счастьем, волшебной стеклянной выпуклостью, обогнувшей и заключившей его и ее, давшей ему возможность дышать с нею одним воздухом, — а теперь все разбилось, рассыпалось, — она уже исчезает за дверью, Вольф уже закрыл рояль, — и невозможно восстановить прекрасный плен.

Она ушла. Кажется, никто ничего не заметил. С ним поздоровался некто Бок, заговорил мягким голосом: «Я все время следил за вами. Как вы переживаете музыку! Знаете, у вас был такой скучающий вид, что мне было вас жалко. Неужели вы до такой степени к музыке равнодушны?»

«Нет, почему ж, я не скучал, — неловко ответил Виктор Иванович. — У меня просто слуха нет, плохо разбираюсь. Кстати, что это было?»

«Все, что угодно, — произнес Бок пугливым шепотом профана, — “Молитва Девы” или “Крейцерова Соната”, — все, что угодно».

СОВЕРШЕНСТВО

«Итак, мы имеем две линии», — говорил он Давиду бодрым, почти восторженным голосом, точно иметь две линии — редкое счастье, которым можно гордиться. Давид был нежен и туповат. Глядя, как разгораются его уши, Иванов предвидел, что не раз будет сниться ему — через тридцать, через сорок лет: человеческий сон злопамятен.

Белокурый, худой, в желтой вязаной безрукавке, стянутой ремешком, со шрамами на голых коленях и с тюремным оконцем часиков на левой кисти, Давид в неудобнейшем положении сидел за столом и стучал себя по зубам концом самопишущей ручки. Он в школе плохо учился, пришлось взять репетитора.

«Теперь обратимся ко второй линии», — говорил Иванов все с той же нарочитой бодростью. По образованию он географ, но знания его неприменимы: мертвое богатство, великолепное поместье родовитого бедняка. Как прекрасны,

например, старинные карты. Дорожные карты римлян, подобные змеиной коже, длинные и узорные, в продольных полосках каналообразных морей; александрийские, где Англия и Ирландия как две колбаски; карты христианского средневековья, в пунцовых и травяных красках, с райским востоком наверху и с Иерусалимом — золотым пупом мира — посредине. Чудесные странствия: путешествующий игумен сравнивает Иордан с родной черниговской речкой, царский посланник заходит в страну, где люди гуляют под желтыми солнышниками, тверской купец пробирается через густой женгел, полный обезьян, в знойный край, управляемый голым князем. Островок вселенной растет: новые робкие очертания показываются из легендарных туманов, медленно раздевается земля, — и далеко за морем уже проступает плечо Южной Америки, и дуют с углов толстощекие ветры, из которых один в очках.

Карты картами, — у Иванова было еще много других радостей и причуд. Он долговяз, смугл, не очень молод; черная борода, когда-то надолго отрощенная и затем (в сербской парикмахерской) сбритая, оставила на его лице вечную тень: малейшая поблажка, и уже тень оживала, щетинилась. Он верным пребыл крахмальным воротничкам и манжетам; у его рваных сорочек был спереди хвостик, пристегивавшийся к кальсонам. Последнее время он принужден был бессменно носить старый выходной черный костюм, обшитый тесьмой по отворотам (все остальное истлело), и иногда, в пасмурный день, при нетребовательном освещении, ему казалось, что он одет хорошо, строго. В галстуке была какая-то фланелевая внутренность, которая прорывалась наружу, приходилось подрезывать, совсем вынуть было жалко.

Он отправлялся около трех пополудни на урок к Давиду, развинченной, подпрыгивающей походкой, подняв голову, глотая молодой воздух раннего лета, и перекатывался его большой, уже за утро оперившийся кадык. Однажды юноша в крагах, шедший по другой стороне, тихим свистом подозвал его рассеянный взгляд и, подняв вверх подбородок, прошел так несколько шагов: исправляю своеобразность ближнего. Но Иванов не понял этой назидательной мимики и, думая, что ему указывают явление в небе, доверчиво посмотрел еще выше, чем обычно, — и действительно: дружно держась за руки, там плыли наискось три прелест-

ных облака; третье понемногу отстало, — и его очертание и очертание руки, еще к нему протянутой, медленно утратили свое изящное значение.

Все казалось прекрасным и трогательным в эти первые жаркие дни, — голенастые девочки, игравшие в классы, старики на скамейках, зеленое конфетти семян, которое сыпалось с пышных лип всякий раз, как потягивался воздух. Одиноко и душно было в черном; он снимал шляпу, останавливался, озирался. Порою, глядя на трубочиста, равнодушного носителя чужого счастья, которого трогали суеверной рукой мимо проходившие женщины, или на аэроплан, обгонявший облако, он принимался думать о вещах, которых никогда не узнает ближе, о профессиях, которыми никогда не будет заниматься, — о парашюте, распускающемся как исполинский цветок, о беглом и рябом мире автомобильных гонщиков, о различных образах счастья, об удовольствиях очень богатых людей среди очень живописной природы. Его мысль трепетала и ползла вверх и вниз по стеклу, отделяющему ее от невозможного при жизни совершенного соприкосновения с миром. Страстно хотелось все испытать, до всего добраться, пропустить сквозь себя пятнистую музыку, пестрые голоса, крики птиц, и на минуту войти в душу прохожего, как входишь в свежую тень дерева. Неразрешимые вопросы занимали его ум: как и где моются трубочисты после работы; изменилась ли за эти годы русская лесная дорога, которая сейчас вспомнилась так живо.

Когда наконец — с привычным опозданием — он поднимался на лифте, ему казалось, что он медленно растет, вытягивается, а дойдя головой до шестого этажа, вбирает, как пловец, поджатые ноги. Вернувшись к нормальному росту, он входил в светлую комнату Давида.

Давид во время урока любил колупать что-нибудь; впрочем, был довольно внимателен. По-русски он изъяснялся с трудом и скукой, и если надобно было выразить важное или когда с ним говорила мать, переходил сразу на немецкий. Иванов, знавший местный язык дурно, объяснял математику по-русски, а учебник был, конечно, немецкий, так что получалась некоторая путаница. Глядя на отороченные светлым пушком уши мальчика, он пытался представить себе степень тоски и ненависти, возбуждаемых им в Давиде, ему делалось неловко, он видел себя со стороны,

нечистую, раздраженную бритвой кожу, лоск черного пиджака, пятна на обшлагах, слышал свой фальшиво оживленный голос, откашливание и даже то, что Давид слышать не мог, — неуклюжий, но старательный стук давно больного сердца. Урок кончался, Давид спешил показать что-нибудь — автомобильный прейс-курант, кодак, винтик, найденный на улице, — и тогда Иванов старался изо всех сил проявить смышленое участие, — но увы, он был не вхож в тайное содружество вещей, зовущееся техникой, и при ином неметком его замечании Давид направлял в него бледно-серые свои глаза с недоумением и затем быстро отбирал расплакавшийся в ивановских руках предмет.

И все же Давид был нежен. Его равнодушие к необычному объяснялось так: «Я сам, должно быть, казался трезвым и суховатым отроком, ибо ни с кем не делился своими мечтами, любовью, страхами. Мое детство произнесло свой маленький, взволнованный монолог про себя. Можно построить такой силлогизм: ребенок — самый совершенный вид человека; Давид — ребенок; Давид — совершенен. С такими глазами нельзя только думать о стоимости различных машин или о том, как набрать побольше купончиков в лавке, чтобы даром получить товару на полтинник. Он копит и другое — яркие детские впечатления, оставляющие свою краску на перстах души. Молчит об этом, как и я молчал. Когда же, в каком-нибудь 1970 году (они похожи на телефонные номера, эти цифры еще далеких годов), ему попадется картина, — Бонзо, пожирающий теннисный мяч, — которая висит сейчас в его спальне, он почувствует толчок, свет, изумление пред жизнью». Иванов не ошибался, — глаза Давида и впрямь не лишены были некоторой дымки. Но это была дымка затаенного озорства.

Входит мать Давида. Она желтоволосая, нервная, вчера изучала испанский язык, нынче питается апельсиновым соком: «Я хотела бы с вами поговорить. Сидите, пожалуйста. Давид, уходи. Вы кончили заниматься? Давид, уходи. Я хочу с вами поговорить вот о чем. Скоро у него каникулы. Было бы желательно его отправить на морской штранд. К сожалению, я сама не сумею поехать. Вы бы взялись? Я вам доверяю, и он вас слушается. Главное, я хочу, чтобы он побольше разговаривал по-русски, а так — он маленький спортсмен, как все современные дети. Ну что, как вы на это смотрите?»

С сомнением. Но сомнения своего Иванов не выразил. Последний раз он видел море восемнадцать лет тому назад, студентом. Мерикюль и Гунгербург. Сосны, пески, далекая, бледно-серебристая вода, — пока дойдешь до нее, пока она сама дойдет до колен... Это будет все то же море, Балтийское, но с другого бока. «А плавал я последний раз не там, а в реке Луге. Мужики выбегали из воды — раскорякой, прикрываясь ладонями с грубым целомудрием. Стуча зубами, надевали рубахи прямо на мокрое тело. Хорошо купаться под вечер, да еще когда расширяются тихие круги теплого дождя. Но я люблю чувствовать присутствие дна. Как трудно потом обуться, не испачкав ступней. Вода в ухе: прыгай на одной ноге, пока не прольется горячей слезой».

Поехали. «А вам будет жарко», — заметила на прощание Давидова мать, глядя на черный костюм Иванова (траур по другим умершим вещам). В поезде было тесно, и новый мягкий воротничок (легкая вольность, летнее баловство) обратился в тугой компресс. Давид, аккуратно подстриженный, с играющим на ветру хохолком, довольный, в трепещущей, открытой на шее рубашке, стоял у окна, высовывался, — и на поворотах появлялся полукруг передних вагонов и головы людей, облокотившихся на спущенные рамы. Потом поезд выпрямлялся опять и шел, позванивая, быстро-быстро работая локтями, сквозь буковый лес.

Дом был расположен в тылу городка, простой, двухэтажный, с кустами смородины в саду, отделенном забором от пыльной дороги. Желтобородый рыбак сидел на колоде и, щурясь от вечернего солнца, смолил сеть. Его жена провела их наверх. Оранжевый пол. Карликовая мебель. На стене — внушительных размеров обломок пропеллера («мой муж служил прежде на аэродроме»). Иванов распаковал скудное свое белье, бритву, потрепанного Пушкина в издании книгопродавца Панафидиной. Давид высвободил из сетки пестрый мяч, который, ошалев от радости, чуть не сбил с этажерки рогатую раковину. Хозяйка принесла чаю и блюдо камбалы. Давид торопился, ему не терпелось увидеть море. Солнце уже садилось.

Когда, через четверть часа ходьбы, они спустились к морю, Иванов мгновенно почувствовал сильнейшее сердечное недомогание. В груди было то тесно, то пусто, и среди плоского, сизого моря в ужасном одиночестве

чернела маленькая лодка. Ее отпечаток стал появляться на всяком предмете, а потом растворился в воздухе. Оттого что все было подернуто пылью сумерек, ему казалось, что у него помутилось зрение, а ноги странно ослабели от мягкого прикосновения песка. Где-то глухо играл оркестр, каждый звук был как бы закупорен, трудно дышалось. Давид наметил на пляже место и заказал на завтра купальную корзину. Домой пришлось идти в гору, сердце отлучалось и спешило вернуться, чтоб отбухать свое и вновь удалиться, и сквозь эту боль и тревогу крапива у заборов напоминала Гунгербург.

Белая пижама Давида. Иванов из экономии спал нагишом. От земляного холодка чистых простынь ему сперва стало еще хуже, но вскоре полегчало. Луна ощупью добралась до умывальника и там облюбовала один из фацетов стакана, а потом поползла по стене. И в эту ночь, и в следующие Иванов смутно думал о многих вещах зараз и между прочим представлял себе, что мальчик, спящий на соседней кровати, — его сын. Десять лет тому назад, в Сербии, единственная женщина, которую он в жизни любил, чужая жена, забеременела от него, выкинула и через ночь, молясь и бредя, скончалась. Был бы сын, мальчишка такого же возраста. Когда по утрам Давид надевал купальные трусики, Иванова умиляло, что его кофейный загар внезапно переходит у поясницы в детскую белизну. Он было запретил Давиду ходить от дома до моря в одних трусиках и даже несколько потерялся и не сразу сдался, когда Давид, с протяжными интонациями немецкого удивления, стал доказывать ему, что так он делал прошлым летом, что так делают все. Сам Иванов томился на пляже в печальном образе горожанина. От солнца, от голубого блеска поташнивало, горячие мурашки бегали под шляпой по темени, он живьем сгорал, но не снимал даже пиджака, ибо, как многие русские, стеснялся «появляться при дамах в подтяжках», да и рубашка вконец излохмотилась. На третий день он вдруг решился и, озираясь исподлобья, разулся. Устроившись посредине глубокой воронки, вырытой Давидом, и подложив под локоть газетный лист, он слушал яркое, тугое хлопание флагов, а то, бывало, с какой-то нежной завистью глядел поверх песчаного вала на тысячу коричневых трупов, по-разному сраженных солнцем, и была одна девушка, великолепная, литая, загоревшая до черноты,

с поразительно светлым взором и бледными, как у обезьяны, ногтями, — и, глядя на нее, он старался вообразить, какое это чувство — быть такой. Давид, получив позволение искупаться, шумно пускался вплавь, а Иванов подходил к самому приплеску и зорко следил за Давидом, и вдруг отскакивал: волна, разлившись дальше предтечи, облила ему штаны. Он вспомнил студента в России, близкого своего приятеля, который умел так швырнуть камень, что тот дважды, трижды, четырежды подпрыгивал на воде, но когда он захотел показать Давиду, как это делается, камень пробил воду, громко бултыхнув, Давид же рассмеялся и пустил так, что вышло не четыре прыжка, а по крайней мере шесть. Как-то, через несколько дней, он по рассеянности (взгляд побежал, и когда он спохватился, было поздно) прочел открытку, которую Давид начал писать матери и забыл на подоконнике. Давид сообщал, что учитель, должно быть, болен, не купается. В тот же день Иванов принял чрезвычайные меры. Он приобрел черный купальный костюм и, придя на пляж, спрятался в корзину, с опаской разделся, натянул на себя дешевой галантереей пахнувшее трико. Была минута грустного замешательства, когда он вылез на солнце — бледнокожий, с мохнатыми ляжками. Все же Давид посмотрел на него с одобрением. «Ну-с, — бодро воскликнул Иванов, — чем чорт не шутит!» Войдя до поджилок в воду, он сначала смочил голову, пошел дальше, раскинув руки, и чем выше поднималась вода, тем смертельнее сжималось сердце. Наконец, набрав воздуху, заткнув уши большими пальцами, а остальными прикрыв глаза, он присел, окунулся. Ему сделалось так плохо, что пришлось спешно из воды выбраться. Он лег на песок, дрожа от холода и весь полный какой-то страшной, ничем не разрешающейся тоски. Его согрело солнце, он слегка отошел, но зарекся купаться. Было лень одеваться, он жмурился, по красному фону скользили оптические пятнышки, скрещивались марсовы каналы, а стоило чуть разжать веки, и влажным серебром переливалось между ресниц солнце.

Случилось неизбежное. Все, что было у него обнажено, превратилось к вечеру в симметричный архипелаг огненной боли. «Мы сегодня вместо пляжа пойдем погулять в лес», — сказал он на следующий день Давиду. «Ах нет», — ноющим голосом протянул Давид. «Избыток солнца

вреден», — сказал Иванов. «Но я прошу вас», — затосковал Давид. Иванов, однако, настоял на своем.

Лес был густой, со стволов спархивали окрашенные под кору пяденицы. Давид шел молча и нехотя. «Мы должны любить лес, — говорил Иванов, стараясь развлечь воспитанника. — Это первая родина человека. В один прекрасный день человек вышел из чащи дремучих наитий на светлую поляну разума. Черника, кажется, поспела, разрешаю попробовать. Чего ты дуешься, — пойми, следует разнообразить удовольствия. Да и нельзя злоупотреблять купанием. Как часто бывает, что неосторожный купальщик гибнет от солнечного удара или от разрыва сердца».

Иванов потерся спиной, — она нестерпимо горела и чесалась, — о ствол дерева и задумчиво продолжал: «Любуясь природой данной местности, я всегда думаю о тех странах, которых не увижу никогда. Представь себе, Давид, что мы сейчас не в Померании, а в малайском лесу. Смотри, сейчас пролетит редчайшая птица птеридофора с парой длинных, из голубых фестонов состоящих, антенн на голове».

«Ах, кватч», — уныло сказал Давид.

«По-русски надо сказать "ерунда" или "чушь". Конечно, это ерунда. Но в том-то и дело, что при известном воображении... Если когда-нибудь ты, не дай Бог, ослепнешь, или попадешь в тюрьму, или просто в страшной нищете будешь заниматься гнусной, беспросветной работой, ты вспомнишь об этой нашей прогулке в обыкновеном лесу как — знаешь — о сказочном блаженстве».

На закате распушились темно-розовые тучи, которые рыжели по мере угасания неба, и рыбак сказал, что завтра будет дождь, — однако утро выдалось дивное, безоблачное, и Давид торопил Иванова, которому немоглось, хотелось валяться в постели и думать о каких-то далеких, неясных полусобытиях, освещенных воспоминанием только с одного бока, о каких-то дымчатых, приятных вещах, — быть может, когда-то случившихся, или близко проплывших когда-то в поле жизни, или еще в эту ночь явившихся ему во сне. Но невозможно было сосредоточить мысль на них — все ускользало куда-то в сторону, полуоборотясь с приветливым и таинственным лукавством, — ускользало неудержимо, как те прозрачные узелки, которые наискось плывут в глазах, если прищуриться. Увы, надо было вста-

вать, надо было натягивать носки, столь дырявые, что напоминали митенки. Прежде чем выйти из дому, он надел Давидовы желтые очки, и солнце упало в обморок среди умершего смертью бирюзы неба, и утренний свет на ступенях крыльца принял закатный оттенок. Темно-желтый голый Давид побежал вперед; когда же Иванов его окликнул, он раздраженно повел плечами. «Не убегай», — устало сказал Иванов; его кругозор сузился вследствие очков, он боялся возможных автомобилей.

Пологая улица сонно спускалась к морю. Понемногу глаза привыкли к стеклам, и он перестал удивляться защитному цвету солнечного дня. На повороте улицы что-то вдруг наполовину вспомнилось — необыкновенно отрадное и странное, — но оно сразу зашло, и сжалась грудь от тревожного морского воздуха. Смуглые флаги возбужденно хлопали и указывали все в одну сторону, но там еще не происходило ничего. Вот песок, вот глухой плеск моря. В ушах заложено, и если потянуть носом — гром в голове, и что-то ударяется в перепончатый тупик. «Я прожил не очень долго и не очень хорошо, — мельком подумал Иванов, — а все-таки жаловаться грех, этот чужой мир прекрасен, и я сейчас был бы счастлив, только бы вспомнилось то удивительное, такое удивительное, — но что?»

Он опустился на песок. Давид деловито принялся подправлять лопатой слегка осыпавшийся вал. «Сегодня жарко или прохладно? — спросил Иванов. — Что-то не разберу». Погодя Давид бросил лопату и сказал: «Я пойду купаться немного». — «Посиди минуту спокойно, — проговорил Иванов. — Мне надо собраться с мыслями. Море от тебя не уйдет». — «Пожалуйста», — протянул Давид.

Иванов приподнялся на локте и посмотрел на волны. Они были крупные, горбатые, никто в этом месте не купался, только гораздо левее попрыгивало и скопом прокатывалось вбок с дюжину оранжевых голов. «Волны», — со вздохом сказал Иванов и потом добавил: «Ты походи в воде, но не дальше чем на сажень. В сажени около двух метров».

Он склонил голову, подперев щеку, пригорюнившись, высчитывая какие-то меры жизни, жалости, счастья. Башмаки были уже полны песку, он их медленно снял, после чего снова задумался, и снова поплыли неуловимые

прозрачные узелки, — и так хотелось вспомнить, так хотелось... Внезапный крик. Иванов выпрямился.

В желто-синих волнах, далеко от берега, мелькнуло лицо Давида с темным кружком разинутого рта. Раздался захлебывающийся рев, и все исчезло. Появилась на миг рука и исчезла тоже. Иванов скинул пиджак. «Я иду, — крикнул он, — я иду, держись!» Он зашлепал по воде, упал, ледяные штаны прилипли к голеням, ему показалось, что голова Давида мелькнула опять, в это мгновение хлынула волна, сбила шляпу, он ослеп, хотел снять очки, но от волнения, от холода, от томительной слабости во всем теле не мог с ними справиться, почувствовал, что волна, отступив, оттянула его на большое расстояние от берега, и поплыл, стараясь высмотреть Давида. Тело было в тесном, мучительно-холодном мешке, нечем было дышать, сердце напрягалось невероятно. Внезапно сквозь него что-то прошло, как молниевидный перебор пальцев по клавишам, — и это было как раз то, что все утро он силился вспомнить. Он вышел на песок. Песок, море и воздух окрашены были в странный цвет, вялый, матовый, и все было очень тихо. Ему смутно подумалось, что наступили сумерки — и что теперь Давид давно погиб, и он ощутил знакомый по прошлой жизни острый жар рыданий. Дрожа и склоняясь к пепельному песку, он кутался в черный плащ со змеевидной застежкой, который видел некогда на приятеле-студенте, в осенний день, давным-давно, — и так жаль было матери Давида, — и что ей сказать: я не виноват, я сделал все, чтобы его спасти, — но я дурно плаваю, у меня слабое сердце, и он утонул... Что-то, однако, было не так в этих мыслях, — и, осмотревшись, увидя только пустынную муть, увидя, что он один, что нет рядом Давида, он вдруг понял, что раз Давида с ним нет, значит, Давид не умер.

Только тогда были сняты тусклые очки. Ровный, матовый туман сразу прорвался, дивно расцвел, грянули разнообразные звуки — шум волн, хлопание ветра, человеческие крики, — и Давид стоял по щиколки в яркой воде, не знал, что делать, трясся от страха и не смел объяснить, что он барахтался в шутку, а поодаль люди ныряли, ощупывали до дна воду, смотрели друг на друга выпученными глазами и ныряли опять, и возвращались ни с чем, и другие кричали им с берега, советовали искать левее, и бежал человек

с краснокрестной повязкой на рукаве, и трое в фуфайках сталкивали в воду скрежещущую лодку, и растерянного Давида уводила полная женщина в пенснэ, жена ветеринара, который должен был приехать в пятницу, но задержался, и Балтийское море искрилось от края до края, и поперек зеленой дороги в поредевшем лесу лежали, еще дыша, срубленные осины, и черный от сажи юноша, постепенно белея, мылся под краном на кухне, и над вечным снегом новозеландских гор порхали черные попугайчики, и, щурясь от солнца, рыбак важно говорил, что только на девятый день волны выдадут тело.

ХВАТ

Наш чемодан тщательно изукрашен цветными наклейками — Нюрнберг, Штутгарт, Кельн (и даже Лидо, но это подлог); у нас темное, в пурпурных жилках, лицо, черные подстриженные усы и волосатые ноздри; мы решаем, сопя, крестословицу. В отделении третьего класса мы одни, и посему нам скучно.

Поздно вечером приедем в маленький сладострастный город. Свобода действий! Аромат коммерческих путешествий! Золотой волосок на рукаве пиджака! О женщина, твое имя — золотце... Так мы называли нашу маму, а потом — Катеньку. Психоанализ: мы все Эдипы. За прошлую поездку изменено было Катеньке трижды, и это обошлось в тридцать марок. Почему в городе, где живешь, они всегда мордастые, а в незнакомом — прекраснее античных гетер? Но еще слаще: элегантность случайной встречи, ваш профиль напоминает мне ту, из-за которой когда-то... Одна-единственная ночь, после чего разойдемся как корабли... Еще возможность: она окажется русской. Позвольте представиться: Константин... фамилью, пожалуй, не говорить, — или, может быть, выдумать? Сумароков. Да, родственники.

Мы не знаем известного турецкого генерала и не можем найти ни отца авиации, ни американского грызуна, — а в окно смотреть тоже не особенно забавно. Поле. Дорога. Елки-палки. Домишко и огород. Поселяночка, ничего, молодая.

Катенька — тип хорошей жены. Лишена страстей, превосходно стряпает, моет каждое утро руки до плеч и не очень умна: потому не ревнива. Принимая во внимание доброкачественную ширину ее таза, довольно странно, что уже второй ребеночек рождается мертвым. Тяжкие времена. Живешь в гору. Абсолютный маразм, пока уговоришь, двадцать раз вспотеешь, а из них комиссионные выжимай по капле. Боже мой, как хочется поиграть в феерически освещенном номере с золотистым, грациозным чертенком... Зеркала, вакханалия, пара шнапсов. Еще целых пять часов. Говорят, железнодорожная езда располагает к этому. Крайне расположен. Ведь как там ни верти, а главное в жизни — здоровая романтика. Не могу думать о торговле, пока не пойду навстречу моим романтическим интересам. Такой план: сперва — в кафе, о котором говорил Ланге. Если там не найдется...

Шлагбаум, пакгаузы, большая станция. Наш путник спустил оконную раму и оперся на нее, расставив локти. Через перрон дымились вагоны какого-то экспресса. Под вокзальным куполом смутно перелетали голуби. Сосиски кричали дискантом, пиво — баритоном. Барышня в белом джампере, то соединяя оголенные руки за спиной (и покачиваясь, и хлопая себя сзади по юбке сумкой), то скрещивая их на груди (и наступая ногой на собственную ногу), то, наконец, держа сумку под мышкой и с легким треском засовывая проворные пальцы за блестящий черный пояс, стояла, говорила, смеялась, — и напутственно касалась собеседника, и опять извивалась на месте, загорелая, с открытыми ушами, — и на пряничной коже предплечья — очаровательная царапина. Не смотрит, но все равно, будем фиксировать. В лучах напряженного взгляда она начинает млеть и слегка расплываться. Сейчас сквозь нее проступит все, что за ней, — мусорный ящик, реклама, скамья. Но тут, к сожалению, пришлось хрусталику вернуться к нормальному состоянию, — все передвинулось, мужчина вскочил в соседний вагон, поезд тронулся, она вынула из сумки платок. Когда, уже отставая, она поравнялась с окном, Константин, Костя, Костенька, трижды смачно поцеловал свою ладонь и осклабился, — но она и этого не заметила: ритмично помахивая платком, уплыла.

Подняв раму и обернувшись, он с приятным удивлением увидел, что за время его гипнотических занятий отделе-

ние успело наполниться. Трое с газетами, — а в углу, по диагонали, черноволосая напудренная дама в берете и глянцевитом, полупрозрачном, как желатин, пальто, непроницаемом, может быть, для дождя, но не для взгляда. Корректные шутки и правильный глазомер — вот наш девиз.

Минут через десять он уже разговорился с аккуратным стариком, сидевшим напротив, — вступительная тема прошла мимо окна в виде фабричной трубы, — и затем было сказано несколько цифр, — и оба выразились с печальной насмешкой о наставших временах, а бледная дама положила на полку худосочный букет незабудок и, вынув из чемодана журнал, погрузилась в прозрачное чтение: сквозь него просвечивает наш ласковый голос, наша дельная речь. Вмешался второй мужчина, чудный толстяк в клетчатых штанах, засупоненных в зеленые чулки, и заговорил о свиноводстве. Какой хороший знак: она оправляет всякое место, на которое посмотришь. Третий, дерзкий нелюдим, скрывался за газетой. На следующей станции свиновод и старик вышли, нелюдим удалился в вагон-ресторан, а дама пересела к окну.

Разберем по статьям. Траурное выражение глаз, развратные губы. Первоклассные ноги, искусственный шелк. Что лучше: опытность интересной тридцатилетней брюнетки или глупая свежесть золотистой егозы? Сегодня лучше первое, а завтра будет видно. Далее: сквозь желатин пальто — прекрасное обнаженное тело, — как наяда сквозь желтую воду Рейна. Судорожно встав, она сняла пальто, но под ним оказалось бежевое платье с круглым пикейным воротничком. Поправь его. Так.

— Майская погода, — любезно сказал Константин, — а тут все еще топят.

Она подняла бровь и ответила:

— Да, жарко, я смертельно устала. Мой контракт кончился, я теперь еду домой. Все меня угощали, буфет на вокзале первосортный, я слишком много выпила, — но я никогда не пьянею, а только чувствую тяжесть в желудке. Жить стало трудно, я получаю больше цветов, чем денег, и теперь я буду рада отдохнуть, а через месяц новый ангажемент, но откладывать что-либо, разумеется, невозможно. Этот толстопузый, который сейчас вышел, вел себя неприлично. Как он на меня смотрел. Мне кажется, что я еду

давно-давно, и так хочется скорей вернуться в свою уютную квартирку, подальше от всей этой кутерьмы, болтовни, чепухи.

— Позвольте вам предложить, — сказал Костя, — смягчающее вину обстоятельство.

Он вынул из-под себя обшитую пестрым сатином, прямоугольную, надувную подушечку, которую всегда подкладывал во время своих твердых, плоских, геморроидальных поездок.

— А вы сами? — спросила дама.

— Обойдемся, обойдемся. Попрошу вас привстать. Пардон. Теперь сядьте. Не правда ли, мягко? Эта часть особенно чувствительна в дороге.

— Благодарю вас, — сказала она. — Не все мужчины так внимательны. Я очень похудела за последний месяц. Как хорошо: прямо как во втором классе.

— У нас, сударыня, галантность — врожденное свойство. Да, я иностранец. Русский. Раз было так: мой отец гулял по своему поместью со старым приятелем, известным генералом, навстречу попалась крестьянка — старушка такая с вязанкой дров, — и мой отец снял шляпу, а генерал удивился, и тогда мой отец сказал: «Неужели вы хотите, ваше превосходительство, чтобы простая крестьянка была вежливее дворянина?»

— Я знаю одного русского, — вы, наверное, тоже слыхали, — позвольте, как его? Барецкий... Барацкий... Из Варшавы, — у него теперь в Хемнице аптекарский магазин... Барацкий... Барецкий... Вы, наверное, знаете?

— Нет. Россия велика. Наше поместье, например, было величиной с вашу Саксонию. И все потеряно, все сожжено. Зарево было видно на семьдесят километров. Моих родителей растерзали на моих глазах. Меня спас наш верный слуга, ветеран турецкой кампании...

— Ужасно, — сказала она, — ужасно.

— Да, но это закаляет. Я бежал, переодевшись крестьянкой. Из меня вышла в те годы очень недурная девочка. Ко мне приставали солдаты... Особенно один негодяй... Случилась, между прочим, пресмешная история.

Рассказал эту историю.

— Фуй, — произнесла она с улыбкой.

— Ну а потом — годы скитаний, множество профессий. Я, знаете, даже чистил сапоги, — а во сне видел тот угол

сада, где старый дворецкий при свете факела закопал наши фамильные драгоценности... Была, помню, сабля, осыпанная бриллиантами...

— Я сейчас вернусь, — сказала дама.

Вернувшись, она снова опустилась на не успевшую остыть подушечку и мягко скрестила ноги.

— Кроме того, два рубина — вот таких, акции в золотой шкатулке, эполеты моего отца, нитка черного жемчуга...

— Да, многие теперь разорились, — заметила она со вздохом и продолжала, подняв, как давеча, бровь: — Я тоже много чего пережила... Я рано вышла замуж, это был ужасный брак, я решила — довольно! буду жить по-своему... Я в ссоре с родителями вот уже больше года, — старики ведь молодых не понимают, — и мне это очень тяжело, — прохожу, бывало, мимо их дома и мечтаю — вот войду, а мой второй муж теперь, слава Богу, в Аргентине, он мне пишет такие удивительные письма, но я к нему никогда не вернусь. Был еще человек, — директор завода, очень солидный, обожал меня, хотел, чтобы у нас был ребенок. Его жена тоже такая хорошая, сердечная, — гораздо старше его, — мы все были так дружны, летом катались на лодке, но они потом переехали во Франкфурт. Или вот актеры, — это прекрасные, веселые люди, — и все так по-товарищески, и нет того, чтобы сразу, сразу, сразу...

А Костя между тем думал: знаем этих родителей и директоров. Все врет. А очень недурна. Груди как два поросеночка, узкие бедра. Видно, не дура выпить. Закажем, пожалуй, пива.

— Ну, а потом повезло, я разбогател чрезвычайно. Я имел в Берлине четыре дома. Но человек, которому я верил, мой друг, мой компаньон, обманул меня... тяжело вспоминать. Я разорился, но духом не пал, и теперь опять, слава Богу, несмотря на кризис... Вот, кстати, я вам кое-что покажу, сударыня...

В чемодане с роскошными ярлыками находились (среди прочих продажных предметов) образцы моднейших дамских зеркалец (для сумок). Зеркальце не круглое и не четырехугольное, а фантези — в виде, скажем, цветка, бабочки, сердца. Принесли пиво. Она рассматривала зеркальца и гляделась в них; по стенкам стреляли световые зайчики. Пиво она выпила залпом, как солдат, и стерла пену с оранжевых губ тыльной стороной руки. Костенька любовно

уложил образцы в чемодан и поставил его обратно на полку. Ну что ж — приступим.

— Знаете, я на вас смотрю, и все мне сдается, что мы уже встречались когда-то. Вы до смешного похожи на одну даму, — она умерла от чахотки, — из-за которой я чуть не застрелился. Да, мы, русские, сентиментальные чудаки, но, поверьте, мы умеем любить со страстью Распутина и с наивностью ребенка. Вы одиноки, и я одинок. Вы свободны, и я свободен. Кто же может нам запретить провести вдвоем в укромном месте несколько приятных часов?

Она соблазнительно молчала. Он сел рядом с ней. Усмехаясь и тараща глаза, хлопая коленками и потирая ладони, он глядел на ее профиль.

— Вы куда едете? — спросила она. Костенька сказал.

— А я вылезаю в... — Она назвала город, известный своим сырным производством.

— Ну что ж — я с вами, а завтра поеду дальше. Не смею ничего утверждать, сударыня, но у меня есть все основания думать, что ни вы, ни я не пожалеем...

Улыбка, бровь.

— Вы даже еще не знаете, как меня звать.

— Ах, не надо, не надо... Зачем нам имена?

— Все-таки, — сказала она и протянула ломкую визитную карточку. «Зонья Бергман».

— А я просто Костя, — Костя и никаких. Так и зовите меня, — ладно?

Прелестная женщина. Нервная, гибкая, интересная женщина. Приедем через полчаса. Да здравствует жизнь, счастье, полнокровие! Долгая ночь обоюдоострых наслаждений! Полный ассортимент ласк! Влюбленный Геркулес!

Вернулся из вагона-ресторана пассажир, прозванный нами нелюдимом, и пришлось прервать ухаживание. Она вынула несколько любительских снимков и стала показывать: вот это моя подруга, а это очень милый мальчик, — его брат служит на радиостанции. Вот тут я отвратительно вышла. Это моя нога. А тут узнаете? — я надела котелок и очки. Правда, забавно?

Подъезжаем. Подушечка была возвращена с благодарностью. Костя выпустил из нее воздух и уложил ее. Поезд начал тормозить.

— Ну, до свидания, — сказала дама.

Энергично и весело он вынес оба чемодана, — ее, маленький, фибровый, и свой, благородный. Вокзал был насквозь пробит тремя пыльными солнечными лучами. Задремавший нелюдим и забытый букет незабудок поехали дальше.

— Вы сумасшедший, — сказала она со смехом.

Свой чемодан он сдал на хранение, но предварительно извлек оттуда плоские ночные туфли. Перед вокзалом стоял всего один таксомотор.

— Куда же? В ресторан? — спросила дама.

— Мы устроим ужин у вас, — нетерпеливо сказал Костя. — Получится гораздо уютнее. Мы сейчас поедем. Так лучше. Я думаю, он разменяет пятьдесят марок?.. У меня все крупные. Нет, впрочем, есть мелочь. Адрес, скажите адрес.

В автомобиле пахло керосином. Не будем портить себе удовольствие поверхностными прикосновениями. Скоро ли? Какой тихий город. Скоро ли? Становится невтерпеж. Эту фирму я знаю. Кажется, приехали.

Остановились у старого черного с зелеными ставнями дома. На четвертой площадке она остановилась и сказала:

— А что, если ко мне нельзя? Откуда вы знаете, что я вас к себе впущу? Что это у вас на губе?

— Лихорадка, — сказал Костя, — лихорадка. Ну же, отпирайте дверь. Забудем все на свете. Скорей. Отпирайте.

Вошли. Передняя с большим шкафом, кухня и маленькая спальня.

— Нет, погодите. Я голодна. Сперва поужинаем. Давайте сюда эти пятьдесят марок, — я заодно разменяю.

— Только, ради Бога, скорее, — сказал Костя, роясь в бумажнике. — Менять нет надобности, у меня вот как раз есть десятка.

— Что купить? — спросила она.

— Ах, все что угодно. Умоляю только поторопиться.

Она ушла, — причем заперла за собой дверь на все замки. Предосторожность. Но чем можно было бы тут поживиться? Ничем. Посреди кухни лежит на спине, раскинув коричневые лапки, мертвый таракан. Над покрытой кружевом деревянной кроватью прибита к пятнистой стене фотография полнощекого завитого мужчины. Костя сел на единственный стул, торопливо сменил красные башмаки на принесенные туфли. Потом, спеша, скинул пиджак,

отстегнул сиреневые подтяжки, снял крахмальный воротничок. Быстро пройдя на кухню, он вымыл под краном руки (уборной не было) и осмотрел в зеркале свою губу. Вдруг раздался звонок.

Он беззвучно засеменил к двери, посмотрел в глазок, но ничего не увидел. Стоявший за дверью опять позвонил, и было слышно, как звякнуло медное кольцо. Все равно не впустим. Дверь заперта, и ключа нет.

— Кто там? — вкрадчиво спросил Костя.

Надтреснутый мужской голос осведомился:

— Скажите, пожалуйста, госпожа Бергман вернулась?

— Нет еще, — ответил Костя, — а что такое?

— Несчастье, — сказал голос и выжидательно замер. Костя ждал тоже.

Голос продолжал:

— Вы не знаете, когда она будет? Мне сказали, что она должна сегодня вернуться. Вы, кажется, господин Зейдлер?

— А в чем дело? Я ей передам.

Голос откашлялся и сказал, точно по телефону:

— Тут говорит Франц Лошмидт. Вы передайте ей, пожалуйста... — Оборвался и нерешительно спросил: — Может быть, вы впустите меня?

— Ничего, ничего, — заторопился Костя, — я ей все передам. Так в чем же дело?

— Передайте ей, пожалуйста, что ее отец при смерти, он не доживет до утра, с ним был в магазине удар. Пускай она сразу придет. Когда, вы думаете, она вернется?

— Скоро, — ответил Костя, — скоро. Я передам. До свидания.

Лестница поскрипела и смолкла. Костя метнулся к окну. Долговязый юноша в плаще, с маленькой сизой головой, пересек улицу и скрылся слева за углом. Минут через пять справа появилась она, неся набитую пакетами сетку.

Ключ хрустнул в верхнем замке, потом в нижнем.

— Ух, — сказала она, входя, — ну и накупила же я всякой всячины.

— После, после, — сказал Костя, — после поужинаем. Пойдем в спальню. Оставь все это. Я умоляю.

— Есть хочу, — ответила она протяжно и, хлопнув его по рукам, прошла на кухню. Он за ней.

— Ростбиф, — сказала она. — Белый хлеб. Масло. Наш знаменитый сыр. Кофе. Полбутылки коньяку. Ах, Господи, неужели вы не можете подождать? Оставьте, это неприлично.

Костя, однако, прижал ее к столу, и она вдруг стала беспомощно смеяться, его ногти цепляли за зеленую шелковую вязку, и все произошло очень неудачно, неудобно и преждевременно.

— Фуй! — произнесла она с улыбкой.

Нет, не стоило. Покорно благодарим за такое удовольствие. Расточительство. Я уже больше не в цвете лет. Гадость, в общем. Потный нос, потрепанная морда. Вымыла бы руки раньше, чем трогать продукты. Что у вас на губе? Нахальство. Еще неизвестно, кто от кого. Ну, ничего не поделаешь.

— А сигара мне куплена? — спросил он.

Она вынимала вилки из буфета и не расслышала.

— Где сигара? — повторил он.

— Ах, я не знала, что вы курите. Хотите, сбегаю?

— Ничего, сам пойду, — сказал он хмуро и, перейдя в спальню, быстро переобулся и оделся. Через открытую дверь было видно, как она, некрасиво двигаясь, накрывает на стол. «Табачная лавка сразу направо», — пропела она и бережно положила на тарелку холодные, розоватые ломти ростбифа, который ей не приходилось есть вот уже больше года.

— Я еще куплю пирожных, — сказал он и вышел... «А также сбитых сливок, пол-ананаса и конфет с ликером», — добавил он про себя.

Очутившись на улице, он посмотрел наверх, на ее окно (кажется, вот это, с кактусами, — или следующее?), и потом пошел направо, обогнул мебельный фургон, чуть не попал под колесо велосипедиста и показал ему кулак. Дальше был сквер, какой-то памятник. Он свернул и увидел в самой глубине улицы, на фоне грозовой тучи, ярко освещенную закатом, кирпичную башню церкви, мимо которой, помнится, проезжали. Оттуда до вокзала оказалось совсем близко. Нужный поезд отходил через четверть часа, — тут, по крайней мере, повезло. Чемодан — тридцать пфеннигов, таксомотор — марка сорок, ей — десять (можно было и пять), что еще? Да, пиво в поезде, пятьдесят пять. Итого: четырнадцать марок девяносто пять пфеннигов.

Довольно глупо. А насчет случившегося она все равно рано или поздно узнает. Избавил ее от тяжелых минут у смертного одра. Может быть, все-таки послать ей отсюда записку? Но я забыл номер дома. Нет, помню: 27. Но во всяком случае, можно предположить, что я забыл, — никто не обязан иметь такую память. Представляю, какой был бы скандал, если бы я ей доложил сразу после. Старая выдра! Нет, нам нравятся только маленькие блондинки, — запомним это раз навсегда.

В поезде битком набито, жарко. Нам как-то не по себе, нам хочется не то есть, не то спать. Но когда мы наедимся и выспимся, жизнь похорошеет опять, и заиграют американские инструменты в веселом кафе, о котором рассказывал Ланге. А затем, через несколько лет, мы умрем.

ОПОВЕЩЕНИЕ

У Евгении Исаковны, старенькой, небольшого формата дамы, носившей только черное, накануне умер сын. Она еще ничего об этом не знала.

Шел утром дождь, дело было ранней весной, одна часть Берлина отражалась в другой — пестрое зигзагами в плоском — и так далее. Чернобыльские, старые друзья Евгении Исаковны, получили около семи утра телеграмму из Парижа, а спустя два часа — письмо (по воздуху). Фабрикант, у которого с осени служил Миша, сообщал, что бедный молодой человек упал в пролет лифта с верхней площадки, — и еще после этого мучился сорок минут, был без сознания, но ужасно и непрерывно стонал — до самого конца.

Между тем Евгения Исаковна встала, оделась, накинула на острые плечи черный вязаный платок и на кухне сварила себе кофе. Истовым благоуханием своего кофе она гордилась перед фрау доктор Шварц, у которой жила, — скупой, некультурной скотиной, — с нею Евгения Исаковна вот уже целую неделю не разговаривала, — и это была далеко не первая ссора, — но съезжать не хотелось — по всяким причинам, не раз перечисленным, но никогда не скучным. Несомненное превосходство Евгении Исаковны над тем или другим лицом, с которым она решала временно

прервать сношения, состояло в следующем: просто выключался слух, весь помещавшийся у нее в черном аппаратике наподобие сумки.

Проходя с готовым кофе обратно к себе через прихожую, она увидела, как впорхнула в щель и села на пол открытка, просунутая почтальоном. Открытка была от сына, — о смерти которого Чернобыльские только что получили известие более совершенными почтовыми путями, — так что строки (в сущности, недействительные), которые она сейчас читала, стоя на пороге своей большой нелепой комнаты, с кофейником в руке, можно было бы уподобить все еще зримым лучам звезды, уже потухшей. «Золотая моя Мулечка, — писал сын, так ее звавший с детства, — я по-прежнему по горло занят и по вечерам прямо валюсь с ног, почти не бываю нигде...»

Через две улицы, в такой же нелепой, загроможденной чужими пустяками квартире, Чернобыльский, не поехав сегодня «в город», шагал по комнатам, большой, жирный, лысый, с громадными дугами бровей и маленьким ртом, в темном костюме, но без воротничка (воротничок с продетым галстуком висел хомутом на спинке стула в столовой), шагал и говорил, разводя руками:

«Как я ей скажу? Какие тут могут быть переходы, когда нужно орать? Ах ты, Боже мой, какой это ужас... У ней сердце не выдержит и разорвется, у несчастной».

Его жена плакала, курила, скребла в жидких седых волосах, звонила Липштейнам, Леночке, доктору Оршанскому — и все никак не могла решиться пойти первой к Евгении Исаковне. Жилица Чернобыльских, пианистка в пенснэ, с полной грудью, чрезвычайно сердобольная и опытная, советовала не слишком спешить с извещением, — все равно будет этот удар, — так пускай будет позже.

«Но с другой стороны, — вскрикивал Чернобыльский, — нельзя и откладывать! Это ясно, что нельзя. Она — мать, она еще захочет, может быть, в Париж (я знаю?), или чтобы везли сюда. Бедный, бедный Мишук, бедный мальчик, двадцать три года, вся жизнь впереди... Главное — я же советовал, я же его устроил, — подумать, что если б он в этот паршивый Париж...»

«Ну что вы, Борис Львович, — рассудительно говорила жилица, — кто это мог предвидеть, при чем тут вы, это

смешно. Я вообще, между прочим, не понимаю, как он мог упасть. Вы — понимаете?»

Напившись кофе и вымыв свою чашку (не обращая при этом ни-ка-ко-го внимания на фрау Шварц), Евгения Исаковна, с черной сеткой для покупок и зонтиком, вышла на улицу. Дождик подумал и перестал. Закрыв зонтик, она пошла по блестящей панели, — довольно еще стройная, с очень худыми ногами в черных чулках, из которых левый был плохо подтянут; ступни же казались несоразмерно большими, и она их ставила носками врозь, чуть пришлепывая. Не соединенная со своей слуховой машинкой, она была идеально глуха. Беззвучно (то есть не выделяясь на постоянном фоне ровного полушума) передвигался кругом мир: резиновые пешеходы, ватные собаки, немые трамваи, а над всем этим — едва шуршащие по небу тучи (там и сям как бы проговаривалась лазурь). Среди общей этой тишины она проходила бесстрастная, скорее довольная, очарованная и ограниченная своей глухотой, в черном пальто, — и делала свои наблюдения, и думала о разном. Она думала о том, что завтра, в праздник, вероятно, заглянут к ней такие-то; что нужно купить тех же, как и в прошлый раз, вафелек — да еще мармеладу в русском магазине, — и пожалуй, десяток буше в той маленькой кондитерской, где всегда можно ручаться за свежесть... Высокий господин в котелке, шедший навстречу, показался ей издали (правда — очень издали) страшно похожим на Владимира Марковича, Идиного первого мужа, который умер один, ночью, в поезде, от сердца, — а проходя мимо часовой лавки, она вспомнила, что пора зайти за Мишиными часиками, которые он с оказией прислал разбитыми из Парижа. Зашла. Бесшумно, скользко, ничего не задевая, ходили маятники, все разные, все вразброд. Она приладила свою машинку, вставила быстрым — бывшим когда-то стыдливым — движением наконечник в ухо, и далекий голос знакомого часовщика отвечал... стал вибрировать... и опять отпал... но вдруг звук подскочил, ударил: «В пятницу... В пятницу...» Хорошо, я слышу, — в пятницу. Выйдя от него, она снова разъединилась с миром. Ее карие глаза с желтизной на белках (точно слегка расплылся линючий цвет райка) приняли снова спокойное, пожалуй, даже веселое выражение... Она шла по знакомым улицам, ставшим для нее за эти годы почти такими же привычно занимательные-

ными, как московские или харьковские, вскользь одобряла взглядом встречных детей, собачек, — и вдруг зевнула на ходу — от мартовского упругого воздуха. Ужасно несчастный, с несчастным носом, в ужасной какой-то шляпе, прошел знакомый ее знакомых, о котором они всегда рассказывали что-нибудь, — и теперь она уже знала все про него: что у него ненормальная дочь, и мерзавец зять, и сахарная болезнь... Достигнув определенной торговки фруктами (открытой ею еще прошлой весной), она купила чудных бананов; затем довольно долго ждала очереди в бакалейной, глаз не спуская с профиля нахалки, пришедшей после нее, однако протиснувшейся ближе к прилавку; вот профиль раскрылся, — но тут она приняла должные меры... В кондитерской она тщательно выбирала, перегибаясь вперед, поднимаясь как ребенок на цыпочки и поводя указательным пальцем, — и черная шерстяная перчатка была с дырочкой. Не успела она выйти оттуда и заинтересоваться мужскими рубашками в витрине, как ее взяла под локоть здорово намазанная, оживленная мадам Шуф. Тогда Евгения Исаковна, глядя в пространство, проворно устроилась, включила слух, — и только внидя в мир звуков, приветливо заулыбалась. Было шумно, ветрено; мадам Шуф наклонялась и тужилась, кривя красный рот, норовя попасть острием голоса прямо в сумочку с аппаратом: «Из Парижа — известия — имеете?» — «Как же, даже очень аккуратно, — отвечала тихо Евгения Исаковна — и добавила: — Что же вы не заходите, не звоните?» — и рябь пробежала по ее глазам оттого, что тут собеседница перестаралась: крикнула слишком резко.

Они расстались. Мадам Шуф, еще ничего не знавшая, пошла восвояси, — а ее муж, у себя в конторе, ахал, цыкал и качал головой вместе с трубкой, слушая, что говорит ему по телефону Чернобыльский.

«Моя жена уже отправилась к ней, — говорил Чернобыльский, — и я сейчас тоже пойду, но убейте меня, если я знаю, с чего начать, а жена все-таки женщина, может быть, как-нибудь сумеет подготовить почву».

Шуф предложил постепенно писать на листочке: «Болен»; «Очень болен»; «Очень, очень болен».

«Ах, я об этом тоже думал, но выходит не легче. Какое несчастие, а? Молодой, здоровый, умница каких мало... А главное, — я же ведь его там устроил, я же ведь давал

на жизнь... Ну да, все это я прекрасно понимаю, но все-таки эта мысль меня с ума сводит. Так, значит, мы там, наверно, увидимся...»

Яростно и болезненно скалясь, откидывая назад толстое лицо, он наконец застегнул воротничок; со вздохом вышел из дому — и уже подходил к ее кварталу, когда впереди себя увидел ее самое, спокойно и доверчиво шедшую домой с сеткой, полной пакетов. Не смея ее нагнать, он задержал шаг, — только бы не обернулась. Эти старательные ноги, эта худая спина, еще ничего, ничего не подозревающая... Ох, согнется!

Только на лестнице она заметила его. Чернобыльский молчал, видя, что у нее ухо еще голое. Она сказала:

«Вот это действительно мило, Борис Львович... Нет, оставьте, — несла, несла, так уже донесу, — а вот если вы зонтик возьмете, тогда я открою дверь».

Они вошли. Чернобыльская и симпатичная пианистка уже давно там ждали... Сейчас начнется казнь.

Евгения Исаковна любила гостей, и гости у нее бывали часто, так что теперь она ничему не удивилась, только очень обрадовалась и сразу принялась, как говорится, хлопотать. Ее внимание привлечь было невозможно, пока она шмыгала туда и сюда, меняя направление под внезапным углом (в ней разгоралась чудесная мысль всех накормить обедом). Наконец пианистка поймала ее в коридоре за конец шали, и слышно было, как она кричит ей, что никто-никто обедать не будет. Тогда Евгения Исаковна достала фруктовые ножи, насыпала вафелек и конфет в две вазочки... Ее насильно усадили. Чернобыльские, пианистка и как-то успевшая за это время появиться барышня Мария Осиповна, почти карлица, сели тоже. Было, таким образом, достигнуто хотя бы известное расположение, порядок...

«Ради Бога, ради Бога, начни как-нибудь, Боря», — сказала Чернобыльская, пряча глаза от Евгении Исаковны, которая начинала приглядываться к лицам, не переставая, впрочем, изливать ровный поток милых, бедных, совершенно беззащитных слов.

«Ну что я могу!» — вскрикнул Борис Львович и, порывисто встав, заходил вокруг стола, за которым они все сидели.

Раздался звонок, и торжественная фрау Шварц ввела Иду Самойловну и ее сестру, — на их белых страшных лицах было какое-то сосредоточенно-жадное выражение...

«Она еще не знает», — сказал Чернобыльский, нервно расстегнул пиджак и снова застегнул его на обе пуговицы.

Евгения Исаковна, дергая бровями, но еще улыбаясь, погладила руки новым гостьям и уселась опять, пригласительно поворачивая свой аппаратик, стоявший перед ней на скатерти, то к одному, то к другому, — но звуки скашивались, ломались... Вдруг пришли Шуфы, потом Соня, — а там Липштейн с матерью и Оршанские, и Елена Григорьевна, и старуха Томкина, — и все говорили между собой, но от нее отворачивали речи, вместе с тем душно и нехорошо вокруг нее группируясь, и уже кто-то отошел к окну и там трясся от рыданий, и доктор Оршанский, сидя за столом, внимательно рассматривал вафельку и приставлял ее к другой, как домино, — а Евгения Исаковна, уже без всякой улыбки, уже с какой-то злобой, совала свою машинку гостям... и Чернобыльский из угла комнаты, всхлипывая, орал: «Да что там в самом деле, — умер, умер, умер!» — но она уже боялась смотреть в его сторону.

КРАСАВИЦА

Ольга Алексеевна, о которой сейчас будет речь, родилась в 1900 году в богатой, беспечной дворянской семье. Бледная девочка в белой матроске, с косым пробором в каштановых волосах и такими веселыми глазами, что ее все целовали в глаза, она с детства слыла красавицей: чистота профиля, выражение сложенных губ, шелковистость косы, доходившей до спинной впадинки, — все это и в самом деле было очаровательно.

Нарядно, покойно и весело, как исстари у нас повелось, прошло это детство: луч усадебного солнца на обложке «Bibliothèque Rose», классический иней петербургских скверов. Запас таких воспоминаний и составил то единственное приданое, которое оказалось у нее по выходе из России весной 1919 года. Все было в полном согласии с эпохой: мать умерла от тифа, брата расстреляли, — готовые формулы, конечно, надоевший говорок, — а ведь все это было, было, иначе не скажешь, — нечего нос воротить.

Итак, в 1919 году перед нами взрослая барышня, с большим бледным лицом, перестаравшимся в смысле правильности, но все-таки очень красивым; высокого роста, с мягкой грудью, всегда в черном джампере; шарф вокруг белой шеи и английская папироса в тонкоперстой руке с выдающейся косточкой на запястье.

А была в ее жизни пора, — на исходе шестнадцатого года, что ли, — когда, летом, в дачном месте близ имения не было гимназиста, который не собирался бы из-за нее стреляться, не было студента, который... Одним словом: особенное обаяние, которое, продержись оно еще некоторое время, натворило бы... нанесло бы... Но как-то ничего из этого не вышло, — все было как-то не так, зря: цветы, которые лень поставить в воду; прогулки в сумерки то с этим, то с тем; тупики поцелуев.

Она свободно говорила по-французски, произнося «жанс», «ау»; наивно переводя «грабежи» словом «grabuges»; употребляя какие-то старосветские речения, застрявшие в старых русских семьях; но очень убедительно картавя — хотя во Франции не бывала никогда. Над комодом в ее берлинской комнате была пришпилена булавкой с головкой под бирюзу открытка — серовский портрет Государя. Она была набожна, но, случалось, и в церкви находил на нее смехотун. С жуткой легкостью, свойственной всем русским барышням ее поколения, она писала — патриотические, шуточные, какие угодно — стихи.

Лет шесть, то есть до 1926 года, она проживала в пансионе на Аугсбургерштрассе (там, где часы) вместе со своим отцом, плечистым, бровастым, желтоусым стариком, на тонких ногах в узеньких брючках. Он служил в каком-то оптимистическом предприятии; славился порядочностью, добротой; был не дурак выпить.

У Ольги Алексеевны набралось довольно много знакомых, все русская молодежь. Завелся особый лихой тончик. «Пошли в кинемоньку». «Вчера ходили в дилю». Был спрос на всяческие присловицы, прибаутки, подражания подражаниям. «Не котлеты, а мрак». «Кого-то нет, кого-то жаль...» (Или — сдавленным голосом, с надсадом: «Гас-спада офицеры...»)

У Зотовых в жарко натопленных комнатах она лениво танцевала фокстрот под граммофон, передвигая не без изящества длинную ляжку, держа на отлете докуренную

папиросу, и когда глазами находила вращавшуюся от музыки пепельницу, совала туда окурок, не останавливаясь. Как прелестно, как многозначительно, бывало, поднимала она к губам бокал, за тайное здоровье третьего лица, — сквозь ресницы глядя на доверившегося ей. Как любила в углу на диване обсуждать с тем или с другим чьи-нибудь сердечные обстоятельства, колебание шансов, вероятность объяснения, — и все это полусловами, и как сочувственно при этом улыбались ее чистые глаза, широко раскрытые, с едва заметными веснушками на тонкой сизоватой коже под ними и вокруг них... Однако в нее самое никто не влюблялся, и потому запомнился хам, который на благотворительном балу залапал ее, и плакал у нее на голом плече, и был вызван на дуэль маленьким бароном Р., но отказался драться. Кстати, слово «хам» Ольга Алексеевна употребляла очень часто и по всякому поводу: «Хамы», — грудью выпевала она, лениво и ласково, «Какой хам...», «Это же хамы...».

Но вот жизнь потемнела; что-то кончилось, уже вставали, чтобы уходить... Как скоро! Отец умер; она переехала на другую улицу; перестала бывать у знакомых; вязала шапочки и давала дешевые уроки французского языка в каком-то дамском клубе; так дотянула до тридцати лет.

Это была теперь все та же красавица с очаровательным разрезом широко расставленных глаз и той редчайшей линией губ, в которой как бы уже заключена вся геометрия улыбки. Но волосы потеряли лоск, были плохо подстрижены, черному костюму пошел четвертый год, руки с блестящими, но неряшливыми ногтями были в выпуклых жилках и дрожали от нервности, от хулиганского курения, — и лучше умолчим о состоянии чулок.

Теперь, когда в сумке шелковые внутренности были так изодраны... (по крайней мере, всегда была надежда найти беглый грош); теперь, когда такая усталость...; теперь, когда, надевая единственные башмаки, она заставляла себя не думать об их подошвах, точно так же как, входя наперекор чести в табачную лавку, запрещала себе думать, сколько уже там задолжала; теперь, когда не было ни малейшей надежды вернуться в Россию, — а ненависть сделалась столь привычной, что почти перестала быть грехом; теперь, когда солнце зашло за трубу, — Ольга Алексеевна терзалась иногда роскошью каких-то реклам, написанных

слюной Тантала, воображая себя богатой, вон в том платье, набросанном при помощи трех-четырех наглых линий, на той палубе, под той пальмой, у балюстрады белой террасы. Ну и еще кое-чего ей недоставало.

Однажды, едва ее не сбив с ног, из телефонной будки вихрем вымахнула Верочка, подруга прежних лет, как всегда спешащая, с пакетами, с мохноглазым терьером, поводок которого обвился дважды вокруг ее юбки. Она накинулась на Ольгу Алексеевну, умоляя ее приехать к ним на дачу; говоря, что это судьба, что это замечательно, и как тебе живется, и много ли поклонников. «Нет, матушка, годы не те, — отвечала Ольга Алексеевна, — да кроме того...» Она прибавила маленькую подробность, и Верочка покатилась со смеху, склоняя пакеты до земли. «Серьезно», — сказала Ольга Алекссевна с улыбкой. Верочка продолжала уговаривать ее, дергая терьера, вертясь. Ольга Алексеевна, вдруг заговорив в нос, заняла у нее денег.

Верочка была мастерица устраивать всякие штуки, будь то крюшон, виза или свадьба. Теперь она с упоением занялась судьбой Ольги Алексеевны. «В тебе проснулась сваха», — шутил ее муж, пожилой балтиец, — обритая голова, монокль. В яркий августовский день приехала Ольга Алексеевна, была мгновенно переодета в Верочкино платье, перечесана, перекрашена, — она лениво ругалась, но уступала, — и как празднично стреляли половицы в веселой дачке, как вспыхивали в зеленом плодовом саду висячие зеркальца для острастки птиц! Приехал на неделю погостить некто Форсман, русский немец, состоятельный вдовец, спортсмен, автор охотничьих книг. Он сам давно просил Верочку подыскать ему невесту — «настоящую русскую красоту». У него был крупный, крепкий нос, с тончайшей розовой венкой на высокой горбинке. Он был вежлив, молчалив, минутами даже угрюм, — но умел тотчас же, как-то под шумок, подружиться навеки с собакой или с ребенком. С его приездом на Ольгу Алексеевну напала дурь; вялая и злая, она все делала не то, что следовало, — и сама чувствовала, что не то, — и когда речь заходила о бывшей России (Верочка старалась заставить ее блеснуть прошлым), ей казалось, что она все врет и что все понимают, что она врет, — и потому она упорно не говорила всего того, что Верочка старалась напоказ из нее извлечь, да и вообще не давала ничему наладиться. Хлопали в карты на

веранде и толпой гуляли в лесу, — но Форсман все больше разговаривал с Верочкиным мужем, вспоминая какие-то проделки юности, и оба докрасна наливались смехом и, отстав, падали на мох. Накануне отъезда Форсмана играли, как всегда по вечерам, в карты на веранде; вдруг Ольга Алексеевна почувствовала невозможное сжатие в горле, — ей удалось все же улыбнуться и без особого спеха уйти. К ней стучалась Верочка, но она не открыла. Среди ночи, перебив сонмище сонных мух в низкой комнате и так накурившись, что уже не могла затягиваться, Ольга Алексеевна, в раздражении, в тоске, ненавидя себя и всех, вышла в сад; там трещали сверчки, качались ветви, изредка падало с тугим стуком яблоко, и луна делала гимнастику на беленой стене курятника. Рано утром она вышла опять и села на уже горячую ступень. Форсман в синем купальном халате сел рядом с ней и, кашлянув, спросил, согласна ли она стать его супругой, — так и сказал: «супругой». Когда они пришли к завтраку, то Верочка, ее муж и его кузина, совершенно молча, в разных углах танцевали несуществующие танцы, и Ольга Алексеевна ласково протянула: «Вот хамы», — а следующим летом она умерла от родов. Это все. То есть, может быть, и имеется какое-нибудь продолжение, но мне оно неизвестно, и в таких случаях, вместо того чтобы теряться в догадках, повторяю за веселым королем из моей любимой сказки: «Какая стрела летит вечно? — Стрела, попавшая в цель».

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА

ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ

АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА

Вы меня извините, милостивая государыня, я человек грубый и прямой, а потому сразу выпалю: не обольщайтесь, — сие письмо исходит вовсе не от поклонника Вашего таланта, — оно, как Вы сейчас удостоверитесь сами, довольно странное и, может статься, послужит не только Вам, но и прочим стремительным романисткам некоторым уроком. Спешу прежде всего представиться Вам, дабы зримый облик мой просвечивал, вроде как водяной знак, — что гораздо честнее, чем молчанием потакать тем неправильным заключениям, которые глаз невольно выводит из начертания строк. Нет, — несмотря на мой поджарый почерк и молодую прыть запятых, я жирный, я пожилой; правда, полнота моя — не вялая, в ней есть изюминка, игра, злость. Это Вам, сударыня, не отложные воротнички поэта Апухтина. Впрочем — будет: Вы, как писательница, уже доделали меня всего по этим намекам. Здравствуйте. А теперь перейдем к сути.

На днях, в русской библиотеке, загнанной безграмотным роком в темный берлинский проулок, мне выдали три-четыре новинки, — между прочим, Ваш роман «Адмиралтейская Игла». Заглавие ладное, — хотя бы потому, что это четырехстопный ямб, не правда ли, — и притом знаменитый. Но вот это-то ладное заглавие и не предвещало ничего доброго. Кроме того, я вообще побаиваюсь книг, изданных в лимитрофах. Все же, говорю я, Ваш роман я взял.

О милостивая государыня, о госпожа Сергей Солнцев, как легко угадать, что имя автора — псевдоним, что автор — не мужчина! Все Ваши фразы запахиваются налево. Пристрастие к таким выражениям, как «время шло» или «зябко куталась в мамин платок», неизбежное появление эпизодического корнета, произносящего «р» как «г», и, наконец, сноски с переводом всем известных французских словечек

достаточно определяют степень Вашей литературной опытности. Но все это еще полбеды.

Представьте себе такую вещь: я, скажем, однажды гулял по чудным местам, где бегут бурные воды и повилика душит столпы одичалых развалин, — и вот, спустя много лет, нахожу в чужом доме снимок: стою гоголем возле явно бутафорской колонны, на заднем плане — белесый мазок намалеванного каскада, и кто-то чернилами подрисовал мне усы. Откуда это? Уберите эту мерзость! Там воды гремели настоящие, а главное, я там не снимался никогда.

Пояснить ли Вам притчу? Сказать ли Вам, что такое же чувство, только еще глупее и гаже, я испытал при чтении Вашей страшной, Вашей проворной «Иглы»? Указательным пальцем взрывая страницы, глазами мчась по строкам, я читал и только отмигивался, — так был изумлен!

Вы хотите знать, что случилось? Извольте. Грузно лежа в гамаке и беззаботно водя вечным пером (что почти каламбур), Вы, сударыня, написали историю моей первой любви. Изумлен, изумлен, и, так как я тоже грузный, изумление сопряжено с одышкой. Вот мы с Вами пыхтим, ибо, несомненно, и Вы ошарашены тем, что объявился герой, Вами выдуманный. Нет, я обмолвился... Гарнир — Ваш, положим, фарш и соус тоже Ваши, но дичь (опять почти каламбур), дичь, сударыня, не Ваша, а моя, с моей дробинкой в крылышке. Диву даюсь — где и как неведомой даме удалось похитить мое прошлое? Неужели приходится допустить, что Вы знакомы с Катей, — более того, хороши с ней, — и что она все Вам и выболтала, сумерничая под балтийскими соснами вместе с Вами, прожорливой романисткой? Но как Вы смели, как хватило у Вас бесстыдства не только использовать Катин рассказ, но еще исказить его так непоправимо?

Со дня последнего свидания прошло шестнадцать с лишком лет, — возраст невесты, старого пса или советской республики. Кстати, отметим первую, но отнюдь не худшую, из Ваших несметных и смутных ошибок: мы не ровесники с Катей, — мне шел восемнадцатый год, ей — двадцатый. Доверясь испытанному методу, Вы заставляете свою героиню обнажиться перед трюмо и затем описываете ее распущенные, пепельные (конечно) волосы и юные формы. По-вашему, ее васильковые глаза становились в минуты задумчивости фиалковыми: ботаническое чудо!

Вы их оттенили черной бахромой ресниц, которая, добавлю от себя, как бы удлинялась к внешним углам, придавая глазам разрез особенный, но мнимый. Катя была стройна, но слегка горбилась — приподнимала плечи, входя в комнату. Она у Вас — статная девушка с грудными нотками.

Это мучительно, — я думал было выписать Ваши образы, которые все фальшивы, и язвительно сопоставить с ними мои непогрешимые наблюдения, — но получается «кошмарная чепуха», как сказала бы настоящая Катя, — а именно: логос, отпущенный мне, не обладает достаточной точностью и мощью, чтобы распутаться с Вами; напротив, сам застреваю в липких тенетах Вашей условной изобразительности, и вот уже нет у меня сил спасти Катю от Вашего пера. И все-таки я буду, как Гамлет, спорить, — и переспорю Вас.

Тема Вашего произведения — любовь, слегка декадентская, на фоне начавшейся революции. Катю Вы назвали Ольгой, а меня — Леонидом. Допустим. Наше первое знакомство — на елке у общих друзей, — встречи на Юсуповском катке, ее комната с темно-синими обоями, мебелью из красного дерева и одним-единственным украшением: фарфоровой балериной, поднявшей ножку, — все это так, все это правда, — однако Вы умудрились подернуть все это налетом какой-то фасонистой лжи. Занимая свое место в кинематографе «Паризиана», Леонид кладет перчатки в треуголку, но через две-три страницы он уже оказывается в партикулярном платье, — снимает котелок, и перед читателем — элегантный юноша с пробором по самой середке маленькой, словно налакированной головы и фиолетовым платочком, свесившимся из карманчика. Помню, действительно, что я одевался под Макса Линдера, и помню, как щедро прыщущий вежеталь холодил череп, и как мсье Пьер, прицелившись гребешком, перекидывал мне волосы жестом линотипа, а затем, сорвав с меня завесу, кричал пожилому усачу: «Мальши́к, паши́сть!» К тогдашнему платочку и белым гетрам моя память относится ныне с иронией, — но вот уж никак не может примирить воспоминание о муках слишком раннего бритья с матовой, ровной бледностью, о которой Вы пишете. И я оставляю на Вашей совести мои лермонтовские глаза и породистый профиль, благо теперь ничего не разобрать ввиду неожиданного ожирения.

Боже, не дай мне погрязнуть в прозе этой пишущей дамы, которой я не знаю и не хочу знать, но которая с поразительной наглостью посягнула на чужое прошлое! Как Вы смеете писать, что «красивая елка, переливаясь огнями, казалось, сулила им радость ликующую»? Вы все потушили своим дыханием, — ибо достаточно одного прилагательного, поставленного, ради красоты, позади существительного, чтобы извести лучшее воспоминание. До несчастья, т. е. до Вашей книги, таким воспоминанием был для меня зыбкий, мелкий свет в Катиных глазах и малиновый отблеск на щеке от глянцевитого домика, висевшего с ветки, когда, отстраняя хвбю, она тянулась вверх, чтобы щипком прикончить обезумевшую свечку. Что же теперь мне осталось от этого? Ничего, — только тошный душок литературной гари.

По-вашему, выходит так, что мы с Катей вращались в каком-то изысканно-культурном бо-монде. Ошибка на параллакс, сударыня. В среде — пускай светской, — к которой Катя принадлежала, вкусы были по меньшей мере отсталые. Чехов считался декадентом, К. Р. — крупным поэтом, Блок — вредным евреем, пишущим футуристические сонеты об умирающих лебедях и лиловых ликерах. Какие-то французские и английские стихи ходили в списках по рукам и списывались снова, не без искажений, причем имя автора незаметно выпадало, так что они совершенно случайно приобретали соблазнительную анонимность, да и вообще, их странствования забавно сопоставить с подпольным списыванием крамольных стишков, практиковавшимся в других кругах. О том, сколь незаслуженно эти женские и мужские монологи о любви считались образцами новейшей иностранной лирики, можно судить по тому, что баловнем среди них было стихотворение бедного Луи Буйе, писавшего в середине прошлого века. Катя, упиваясь рокотом, декламировала его и злилась, когда я придирался к звучнейшей строфе, где, назвав свою страсть смычком, автор сравнивает свою подругу с гитарой. Кстати, о гитаре. Вы пишете, мадам, что «по вечерам собиралась молодежь, и Ольга, облокотясь, пела роскошным контральто». Что ж — еще одна смерть, еще одна жертва Вашей роскошной прозы. А как я лелеял отзвук той цыганщины, которая склоняла Катю к пению, меня к сочинению стихов... Я знаю, что это была цыганщина уже ненастоящая, не та, что пленяла

Пушкина, даже не григорьевская муза, а полудышащая, затасканная, обреченная, — причем все содействовало ее гибели — и граммофон, и война, и всякие «песенки». Недаром, в очередном припадке провидения, Блок записал какие помнил слова романсов, точно торопясь спасти хоть это, пока не поздно.

Сказать ли Вам, что́ бормотание и жалобы эти значили для нас? Открыть ли Вам образ далекого, странного мира, где, низко склонясь над прудом, дремлют ивы, и страстно рыдает соловушка в сирени, и встает луна, и всеми чувствами правит память — этот злой властелин ложноцыганской романтики? Нам с Катей тоже хотелось вспоминать, но так как вспоминать было нечего, мы подделывали даль и свое счастливое настоящее отодвигали туда. Мы превращали все видимое в памятники, посвященные нашему — еще не бывшему — былому, глядя на тропинку, на луну, на ивы теми глазами, которыми теперь мы бы взглянули — с полным сознанием невозместимости утрат — на тот старый, топкий плот на пруду, на ту луну над крышей коровника. Я полагаю даже, что по смутному наитию мы заранее кое к чему готовились, — учась вспоминать и упражняясь в тоске по прошлому, дабы впоследствии, когда это прошлое действительно у нас будет, знать, как обращаться с ним и не погибнуть под его бременем.

Но какое Вам дело до всего этого! Описывая, как я летом гостил в Глинском, Вы загоняете меня в лес и там меня принуждаете писать стихи, дышащие молодостью и верой в жизнь. Все это происходило не совсем так. Пока остальные играли в теннис — одним красным мячом и какими-то пудовыми расхлябанными ракетами, найденными на чердаке, — или в крокет, на круглой площадке, до смешного плéвелистой, с одуванчиком перед каждой дужкой, — мы с Катей иной раз удирали на огород и, присев на корточки, наедались до отвала: была яркая виктория, была ананасовая — зеленовато-белая, чудесно сладкая, — была клубника, обмусоленная лягушкой; не выпрямляя спин, мы передвигались по бороздам и кряхтели, и поджилки ныли, и темной, алой тяжестью наполнялось нутро. Жарко наваливалось солнце, — и это солнце, и земляника, и Катино чесучевое платье, потемневшее под мышками, и поволока загара сзади на шее, — в какое тяжелое наслаждение сливалось все это, какое блаженство было, — не поднимаясь,

продолжая рвать ягоды, — обнять Катю за теплое плечо и слушать, как она, шаря под листьями, охает, посмеивается, потрескивает суставами. Извините меня, если от этого огорода, плывущего мимо, в ослепительном блеске парников и колыхании мохнатых маков, я прямо перейду к тому закуту, где, сидя в позе роденовского мыслителя, с еще горячей от солнца головой, сочиняю стихи. Они были во всех смыслах ужасно печальны, эти стихи, — в них звучали и соловьи романсов, и кое-что из наших символистов, и беспомощные отголоски недавно прочитанного: Souvenir, Souvenir, que me veux-tu? L'automne...— хотя осень еще была далека, и счастье мое чудным голосом орало поблизости, где-то, должно быть, у кегельбана, за старыми кустами сирени, под которыми свален был кухонный мусор и ходили куры. А по вечерам, на веранде, из красной, как генеральская подкладка, пасти граммофона вырывалась с трудом сдерживаемая цыганская страсть или на мотив «Спрятался месяц за тучку» грозный голос изображал Вильгельма: «Дайте перо мне и ручку, хочу ультиматум писать», — а на площадке сада Катин отец, расстегнув ворот, выставив вперед ногу в мягком сапоге, целился, как из ружья, в рюхи и бил сильно, но мимо, — и заходящее солнце концом последнего луча перебирало по частоколу сосновых стволов, оставляя на каждом огненную полоску. И когда наконец наступала ночь и в доме спали, мы из аллеи смотрели с Катей на темный дом и до ломоты засиживались на холодной, невидимой скамейке, — и все это казалось нам чем-то уже давным-давно прошедшим — и очертания дома на зеленом небе, и сонное движение листвы, и наши длительные слепые поцелуи.

Красиво, с обилием многоточий, изображая то лето, Вы, конечно, ни на минуту не забываете, — как забывали мы, — что с февраля «страной правило Временное Правительство», и заставляете нас с Катей чутко переживать смуту, т. е. вести (на десятках страниц) политические и мистические разговоры, которых — уверяю Вас — мы не вели никогда. Я, во-первых, постеснялся бы с таким добродетельным пафосом говорить о судьбе России, а во-вторых, мы с Катей были слишком поглощены друг другом, чтобы засматриваться на революцию. Достаточно сказать, что самым ярким моим впечатлением из этой области был совсем пустяк: как-то, на Миллионной, грузовик, набитый

революционными весельчаками, неуклюже, но все же метко вильнув в нужную сторону, нарочно раздавил пробегавшую кошку, — она осталась лежать в виде совершенно плоского, выглаженного, черного лоскута, только хвост был еще кошачий — стоял торчком, и кончик, кажется, двигался. Тогда это меня поразило каким-то сокровенным смыслом, но с тех пор мне пришлось видеть, как в мирной испанской деревне автобус расплющил точно таким же манером точно такую же кошку, так что в сокровенных смыслах я разуверился. Вы же не только раздули до неузнаваемости мой поэтический дар, но еще сделали из меня пророка, ибо только пророк мог бы осенью семнадцатого года говорить о зеленой жиже ленинских мозгов или о внутренней эмиграции.

Нет, в ту осень, в ту зиму мы не о том говорили. Я погибал. С любовью нашей Бог знает что творилось. Вы это объясняете просто: «Ольга начинала понимать, что была скорей чувственная, чем страстная, а Леонид — наоборот. Рискованные ласки, понятно, опьяняли ее, но в глубине оставался всегда нерастаявший кусочек», и так далее, в том же претенциозно-пошлом духе. Что Вы поняли в нашей любви? Я сознательно избегал до сих пор прямо говорить о ней, но теперь, кабы не боязно было заразиться Вашим слогом, я подробнее изобразил бы и веселый ее жар, и ее основную унылость. Да, — было солнце, полный шум листвы, безумное катание на велосипедах по всем излучистым тропинкам парка — кто скорей домчится с разных сторон до срединной звезды, где красный песок был сплошь в клубящихся змеевидных следах от наших до каменной твердости надутых шин, — и всякая живая, дневная мелочь этого последнего русского лета надрываясь кричала нам: вот я — действительность, вот я — настоящее! И пока все это солнечное держалось на поверхности, врожденная печаль нашей любви не шла дальше той преданности небывшему былому, о которому я уже упоминал. Но когда мы с Катей опять оказались в Петербурге, и уже не раз выпадал снег, и уже торцы были покрыты той желтоватой пеленой, смесью снега и навоза, без которой я не мыслю русского города, — изъян обнаружился, и ничего не осталось нам, кроме страдания.

Я вижу ее снова, в котиковой шубе, с большой плоской муфтой, в серых ботиках, отороченных мехом, передвигаю-

щуюся на тонких ногах по очень скользкой панели, как на ходулях, — или в темном, закрытом платье, сидящую на синей кушетке, с лицом пушистым от пудры после долгих слез. Идя к ней по вечерам и возвращаясь за полночь, я узнавал среди каменной морозной, сизой от звезд ночи невозмутимые и неизменные вехи моего пути, — все те же огромные петербургские предметы, одинокие здания легендарных времен, украшавшие теперь пустыню, становившиеся к путнику вполоборота, как становится все, что прекрасно: оно не видит вас, оно задумчиво и рассеянно, оно отсутствует. Я говорил сам с собой, — увещевая судьбу, Катю, звезды, колонны безмолвного, огромного отсутствующего собора, — и когда в темноте начиналась перестрелка, я мельком, но не без приятности, думал о том, как подденет меня шальная пуля, как буду умирать, туманно сидя на снегу, в своем нарядном меховом пальто, в котелке набекрень, среди оброненных, едва зримых на снегу, белых книжечек стихов. А не то, всхлипывая и мыча на ходу, я старался себя убедить, что сам разлюбил Катю, припоминал, спешно собирая все это, ее лживость, самонадеянность, пустоту, мушку, маскирующую прыщик, и особенно картавый выговор, появлявшийся, когда она без нужды переходила на французский, и неуязвимую слабость к титулованным стихам, и злобное, тупое выражение ее глаз, смотревших на меня исподлобья, когда я в сотый раз допрашивал ее — с кем она провела вчерашний вечер... И как только все это было собрано и взвешено, я с тоской замечал, что моя любовь, нагруженная этим хламом, еще глубже осела и завязла, — и что никаким битюгам с железными жилами ее из трясины не вытянуть. И на другой вечер — пробиваясь сквозь матросский контроль на углах, требовавший документов, которые все равно давали мне пропуск только до порога Катиной души, а дальше были бессильны, — я снова приходил глядеть на Катю, которая при первом же моем жалком слове превращалась в большую, твердую куклу, опускавшую выпуклые веки и отвечавшую на фарфоровом языке. И когда наконец в памятную ночь я потребовал от нее последнего, сверхправдивого ответа, Катя просто ничего не сказала, — осталась неподвижно лежать на кушетке, зеркальными глазами отражая огонь свечи, заменявшей в ту ночь электричество, — и я, дослушав тишину до конца, встал и вышел. Спустя три дня

я послал ей со слугой записку, — писал, что покончу с собой, если хоть еще один раз ее не увижу, и вот, помню, как восхитительным утром с розовым солнцем и скрипучим снегом мы встретились на Почтамтской, — я молча поцеловал ей руку, и с четверть чacá, не прерывая ни единым словом молчание, мы гуляли взад и вперед, а на углу бульвара стоял и курил, с притворной непринужденностью, весьма корректный на вид господин в каракулевой шапке. Мы с ней молча ходили взад и вперед, и прошел мальчик, таща санки с рваной бахромкой, и загремевшая вдруг водосточная труба извергла осколок льдины, и господин на углу курил, — и затем, на той же как раз точке, где мы встретились, я так же молча поцеловал ей руку, навсегда скользнувшую обратно в муфту, и ушел — уже по-настоящему. Когда, слезами обливаясь, ее лобзая вновь и вновь, шептал я, с милой расставаясь, прощай, прощай, моя любовь. Прощай, прощай, моя отрада, моя тоска, моя мечта, мы по тропам заглохшим сада уж не пройдемся никогда... Да-да, прощай... Ты все-таки была прекрасна, непроницаемо прекрасна и до слез обаятельна, — несмотря на близорукость души и праздность готовых суждений, и тысячу мелких предательств, — а я, должно быть, со своей заносчивой поэзией, тяжелым и туманным строем чувств и задыхающейся, гугнивой речью, был, несмотря на всю мою любовь к тебе, жалок и противен. И нет нужды мне рассказывать тебе, как я потом терзался, как вглядывался в фотографию, где ты, с бликом на губе и светом в волосах, смотришь мимо меня. Катя, отчего ты теперь так напакостила?

Давай поговорим спокойно и откровенно. С печальным писком выпущен воздух из резинового толстяка и грубияна, который, туго надутый, паясничал в начале этого письма, — да и ты вовсе не дородная романистка в гамаке, а все та же Катя — с рассчитанной порывистостью движений и узкими плечами, — миловидная, скромно подкрашенная дама, написавшая из глупого кокетства совершенно бездарный роман. Смотри — ты даже прощания нашего не пощадила! Письмо Леонида, в котором он грозит Ольгу застрелить и которое она обсуждает со своим будущим мужем; этот будущий муж в роли соглядатая, стоящий на углу, готовый ринуться на помощь, если Леонид выхватит револьвер, который он сжимает в кармане пальто, горячо

убеждая Ольгу не уходить и прерывая рыданиями ее разумные речи, — какое это все отвратительное, бессмысленное вранье! А в конце книги ты заставляешь меня попасться красным во время разведки и с именами двух изменниц на устах — Россия, Ольга, — доблестно погибнуть от пули чернокудрого комиссара. Крепко же я любил тебя, если я все еще вижу тебя такой, какой ты была шестнадцать лет тому назад, и с мучительными усилиями стараюсь вызволить наше прошлое из унизительного плена, спасти твой образ от пытки и позора твоего же пера! Но не знаю, право, удается ли мне это. Мое письмо странно смахивает на те послания в стихах, которые ты так и жарила наизусть, — помнишь? «Увидев почерк мой, Вы, верно, удивитесь...» Однако я удержусь, не кончу призывом: «Здесь море ждет тебя, широкое как страсть, и страсть, широкая как море...» — потому что, во-первых, здесь никакого моря нет, а во-вторых, я вовсе не стремлюсь тебя видеть. Ибо после твоей книги я, Катя, тебя боюсь. Ей-Богу, не стоило так радоваться и мучиться, как мы с тобой радовались и мучились, чтобы свое оплеванное прошлое найти в дамском романе. Послушайся меня, — не пиши ты больше! Пускай это будет хотя бы уроком. «Хотя бы» — ибо я имею право желать, чтобы ты замерла от ужаса, поняв содеянное. И еще, — знаешь, что мечтается мне? Может быть, может быть (это очень маленькое и хилое «может быть», но, цепляясь за него, не подписываю письма), может быть, Катя, все-таки, несмотря ни на что, произошло редкое совпадение, и не ты писала эту гиль, и сомнительный, но прелестный образ твой не изуродован. Если так, то прошу Вас извинить меня, коллега Солнцев.

КОРОЛЕК

Собираются, стягиваются с разных мест вызываемые предметы, причем иным приходится преодолевать не только даль, но и давность: с кем больше хлопот, с тем кочевником или с этим — с молодым тополем, скажем, который рос поблизости, но теперь давно срублен, или с выбранным двором, существующим и по сей час, но находящимся далеко отсюда? Поторопитесь, пожалуйста.

Вот овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени уже пришел и стал где ему приказано — у высокой кирпичной стены — целиком выписанной из другого города. Напротив вырастает дом, большой, мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как ящики, плохонькие балконы. Там и сям распределяются по двору: бочка, еще бочка, легкая тень листвы, какая-то урна и каменный крест, прислоненный к стене. И хотя все это только намечено и еще многое нужно дополнить и доделать, но на один из балкончиков уже выходят живые люди — братья Густав и Антон, — а во двор вступает, катя тележку с чемоданом и кипой книг, новый жилец — Романтовский.

Со двора, особенно если день солнечный и окна настежь раскрыты, комнаты кажутся налитыми густой чернотой (всегда где-нибудь да бывает ночь — часть суток внутри, а часть снаружи). Романтовский посмотрел на черные окна, на двоих пучеглазых мужчин, наблюдавших за ним с балкона, и, подняв чемодан на плечо, качнувшись, точно кто хватил его по затылку, ввалился в дом. В блеске солнца остались тележка с книгами, бочка, другая бочка, мигающий тополек и надпись дегтем на кирпичной стене. Голосуйте за список номер такой-то. Ее перед выборами намалевали, вероятно, братья.

Мы устроим мир так: всяк будет потен, и всяк будет сыт. Будет работа, будет что жрать, будет чистая, теплая, светлая...

(Романтовский вселился в соседнюю. Она была еще хуже ихней. Но под кроватью он нашел гуттаперчевую куколку: тут до него жил, должно быть, семейный.)

Однако, несмотря на то что мир не обратился еще окончательно и полностью в состояние вещественности, а еще хранил там и сям области неосязаемые и неприкосновенные, братья чувствовали себя в жизни плотно и уверенно. Старший, Густав, служил на мебельном складе; младший находился временно без работы, но не унывал. Сплошь розовое лицо Густава с длинными, торчащими, льняными бровями. Его широкая, как шкаф, грудная клетка, и вечный пуловер из крутой серой шерсти, и резинки на сгибах толстых рук — чтобы ничего не делалось спустя рукава. Оспой выщербленное лицо Антона с темными усами, подстриженными трапецией. Его красная фуфайка и жилистая

худощавость. Но когда они оба облокачивались на железные перильца балкона, зады были у них точь-в-точь одинаковые — большие, торжествующие, туго обтянутые по окатам одинаковым клетчатым сукном.

Еще раз: мир будет потен и сыт. Бездельникам, паразитам и музыкантам вход воспрещен. Пока сердце качает кровь, нужно жить, чорт возьми. Густав вот уже два года копил деньги, чтобы жениться на Анне, купить буфет, ковер.

По вечерам раза три в неделю она приходила — дебелая, полные руки, широкая переносица в веснушках, свинцовая тень под глазами, раздвинутые зубы, из которых один к тому же выбит. Втроем дули пиво. Она поднимала к затылку голые руки, показывая блестящее рыжее оперение под мышками, и, закинув голову, так разевала рот, что было видно все нёбо и язычок гортани, похожий на гузок вареной курицы. Обоим братьям был по вкусу ее анатомический смех, они усердно щекотали ее.

Днем, пока брат был на работе, Антон сидел в дружественном кабаке или валялся среди одуванчиков на холодной и яркой еще траве на берегу канала и следил с завистью, как громкие молодцы грузят уголь на баржу, или бессмысленно смотрел вверх, в праздное голубое небо, навевающее сон. Но вот — что-то в налаженной жизни братьев заскочило.

Еще тогда, когда Романтовский вкатывал тележку во двор, он возбудил в них и раздражение и любопытство. Безошибочным своим нюхом они почуяли: этот — не как все. Обыкновенный смертный ничего бы такого на первый взгляд в Романтовском не увидал, но братья увидали. Он, например, ходил не как все: ступая, особенно приподнимался на упругой подошве — ступит и взлетит, точно на каждом шагу была возможность разглядеть нечто незаурядное поверх заурядных голов. Был он, что называется, дылда, с бледным востроносым лицом и ужасно беспокойными глазами. Из коротких рукавов двубортного пиджака с какой-то назойливой и никчемной очевидностью (вот и мы, что нам делать?) вылезали долгие кисти рук. Уходил он и приходил в неопределенные часы. В один из первых же дней Антон видел, как он стоит у книжного лотка и прицценивается, или даже купил, ибо торговец проворно побил одну книжку о другую — п[illegible] — и заше[illegible]ими за

лоток. Выяснились и другие причуды: свет горит почти всю ночь; необщителен.

Раздается голос Антона:

— Этот франт зазнаётся. Надо бы посмотреть на него поближе.

— Я ему продам трубку, — сказал Густав.

Туманное происхождение трубки. Ее как-то принесла Анна, но братья признавали только цигарки. Дорогая, еще не обкуренная, с полым вставным стерженьком в прямом мундштуке. К ней — замшевый чехольчик.

— Кто там? Что вам нужно? — спросил Романтовский через дверь.

— Соседи, соседи, — ответил Густав басом.

И соседи вошли, жадно озираясь. На столе обрубок колбасы на бумажке и стопка криво сложенных книг — одна раскрыта на картинке: многопарусные корабли и сверху в углу летящий младенец с надутыми щеками.

— Давайте знакомиться, — сказали братья. — Живем бок о бок, можно сказать, а все как-то...

На комоде спиртовка и два апельсина.

— Рад познакомиться, — тихо сказал Романтовский и, присев на край постели, наклонив лоб с налившейся жилой, принялся шнуровать башмаки.

— Вы отдыхали, — сказал с грозной вежливостью Густав, — мы к вам не вовремя...

Тот ничего, ничего не ответил; но вдруг выпрямился, повернулся к окну, поднял палец и замер.

Братья посмотрели: окно как окно — облако, макушка тополя, стена напротив.

— Вы разве не видите? — спросил Романтовский.

Они, красный и серый, подошли к окну, даже высунулись, став одинаковыми. Ничего. И внезапно оба почувствовали: что-то не так — ой не так! Обернулись. Романтовский в неестественной позе стоял возле комода.

— Должно быть, показалось, — сказал он, не глядя на них. — Пролетело как будто... Я однажды видел, как упал аэроплан.

— Это бывает, — согласился Густав. — А мы зашли неспроста. Не желаете ли купить?.. Совершенно новая... И футляр есть...

— Футляр? Вот как. Я, знаете, редко курю.

— Так будете чаще. Посчитаем недорого. Три с полтиной.

— Три с полтиной. Вот как.

Он вертел трубку в руках, прикусив нижнюю губу, что-то соображая. Его зрачки не глядели на трубку, а ходили вправо и влево маятником.

Между тем братья стали раздуваться, расти, они заполнили всю комнату, весь дом и затем выросли из него. По сравнению с ними тополек был уже не больше игрушечных деревец, таких валких, из крашеной ваты, на зеленых круглых подставках. Дом из пыльного картона со слюдяными окнами доходил братьям до колен. Огромные, победоносно пахнущие потом и пивом, с бессмысленными говяжьими голосами, с отхожим местом взамен мозга, они возбуждают дрожь унизительного страха. Я не знаю, почему они прут на меня. Умоляю вас, отвяжитесь, я не трогаю вас, не трогайте и вы меня — я уступлю вам — только отвяжитесь.

— Но мелочью у меня не наберется, — тихо сказал Романтовский. — Вот разве что разменяете десятку.

Разменяли и, ухмыляясь, ушли. Проверенную на свет ассигнацию Густав спрятал в железную копилку.

Соседу, однако, они покоя не дали. Их просто бесило, что, невзирая на состоявшееся знакомство, человек оставался все таким же неприступным. Он избегал с ними встреч, так что приходилось подстерегать и ловить его, чтобы на миг заглянуть в его ускользающие зрачки. Обнаружив ночную жизнь его лампы, Антон не выдержал и, босиком подойдя к двери, из-под которой натянутой золотой нитью сквозил свет, постучал.

Но Романтовский не отозвался.

— Спать, спать, — сказал Антон, хлопая ладонью по двери.

Свет молча глядел сквозь щель. Антон потеребил ручку. Золотая нить вдруг оборвалась.

С тех пор оба, особенно Антон, благо днем не работал, установили наблюдение за бессонницей соседа. Но враг был хитер и наделен тонким слухом. Как бы тихонько ни приближаться к двери, свет за ней мгновенно погасал, будто его и вовсе не было, — и только если очень долго стоять затаив дыхание в холодном коридоре, можно было дождаться возвращения чуткого луча. Так падают в обморок жуки.

Слежка оказывалась весьма изнурительной. Наконец братья поймали его как-то на лестнице и затеснили.

— Предположим, я привык читать по ночам. Какое вам дело? Дайте мне пройти, пожалуйста.

Когда он повернулся, Густав в шутку сбил с него шляпу. Романтовский поднял ее, ничего не сказав.

Через несколько дней вечером, улучив мгновение — он возвращался из уборной и не успел юркнуть к себе, — братья столпились вокруг него. Их было только двое, но все-таки они ухитрились столпиться — и пригласили его зайти к ним.

— Есть пивцо, — сказал Густав, подмигнув.

Он попытался было отказаться.

— Ну чего там, пойдем! — крикнули братья, взяли его под мышки и повлекли. (При этом они чувствовали, какой он худой, тонкие предплечья, слабые, нестерпимый соблазн — эх бы, сжать хорошенько, до хруста, — эх, трудно сдержаться, ну хотя бы ощупать, на ходу, так, легонько...)

— Больно, — сказал Романтовский. — Оставьте, прошу вас. Я могу идти и один.

Пивцо, большеротая невеста Густава, тяжелый дух. Романтовского попробовали напоить. Без воротничка, с медной запонкой под большим беззащитным кадыком, с длинным бледным лицом и трепещущими ресницами, он в сложной позе сидел на стуле, кое-что подкрутив, а кое-что выгнув, и когда встал, раскрутился как спираль. Его, впрочем, заставили скрутиться снова, и по совету братьев Анна села к нему на колени, и он, косясь на вздутый подъем ноги в слишком тесной упряжке туфли, преодолевал как мог тоску и не смел косную, рыжую сбросить.

На минуту им показалось, что он сломлен, что он свой, и Густав даже сказал:

— Вот видишь. Зря брезговал нашей компанией. Расскажи-ка нам что-нибудь. Нам обидно, что ты все как-то помалкиваешь. Что это ты читаешь по ночам?

— Старые, старые сказки, — сказал Романтовский таким голосом, что братьям вдруг стало очень скучно. Скука была грозная, душная, но хмель не давал грозе разразиться, а напротив, клонил ко сну. Анна сползла с колен Романтовского и задела уже спящим бедром стол: пустые бутылки качнулись, как кегли, и одна упала. Братья клонились, валились, зевали, глядя сквозь сонные слезы на гостя. Он, трепеща и лучась, вытянулся и стал суживаться, и постепенно пропал.

Так дальше нельзя. Он отравляет жизнь честным людям. Еще, пожалуй, в конце месяца съедет — целый, неразобранный, гордо отворотив нос. Мало того, что он двигается и дышит не как все, — нам никак не удается схватить разницу, нащупать ушко, за которое можно было бы его вытянуть. Ненавистно все то, что нельзя тронуть, взвесить, сосчитать.

Начались мелкие истязания. Им удалось в понедельник насыпать ему в простыни картофельной муки, которая, как известно, может ночью свести с ума. Во вторник он был встречен на углу — нес в охапке книги — и так был аккуратно взят в коробочку, что книги упали в избранную лужу. В среду смазали доску в уборной столярным клеем. В четверг фантазия братьев иссякла.

Он молчал, он молчал. А в пятницу, нагнав летучим своим аллюром Антона под воротами двора, сунул ему иллюстрированную газету — хотите, мол, посмотреть? Эта неожиданная вежливость озадачила и еще пуще разожгла братьев.

Густав велел своей невесте потормошить Романтовского для того, чтобы было к чему придраться. Невольно норовишь покатить мяч, прежде чем ударить ногой. Игривые животные тоже предпочитают подвижной предмет. И хотя Анна, вероятно, была Романтовскому в высшей степени противна своей молочной в клопиных крапинках кожей, пустотой светлых глаз и мокрыми мысками десен между зубов, он счел уместным скрыть неприязнь, боясь, должно быть, пренебрежением к Анне разъярить ее жениха.

Так как он все равно раз в неделю ходил в кинематограф, то в субботу он взял ее с собой, надеясь, что этим отделается. Незаметно, на приличном расстоянии, оба в новых кепках и красных башмаках, братья потекли вслед, — и на этих сомнительных улицах, в пыльных этих сумерках, были сотни людей как они, но только один Романтовский.

В продолговатом зальце уже мерцала ночь — лунная ночь собственного производства, — когда братья, таясь и сутулясь, сели в задний ряд. Где-то впереди чуялось томительно-сладостное присутствие Романтовского. Анне по дороге ничего не удалось выудить из неприятного спутника, да и не совсем понимала она, чего Густаву от него нужно. Пока они шли, ей хотелось зевать от одного вида

его худобы и грусти. Но в кинематографе она о нем забыла, прижавшись к нему равнодушным плечом. Призраки переговаривались трубными голосами. Барон пригубил вино и осторожно поставил бокал — со стуком оброненного ядра.

А потом барона ловили. Кто бы узнал в нем главного мошенника? За ним охотились страстно, исступленно. Со взрывчатым грохотом мчался автомобиль. В притоне дрались бутылками, стульями, столами. Мать укладывала спать упоительного ребенка.

Когда все кончилось и Романтовский, споткнувшись, вышел в прохладу и мрак, Анна воскликнула:

— Ах, это было чудно!..

Он откашлялся и через минуту сказал:

— Не будем преувеличивать. Все это на самом деле — гораздо скучнее.

— Сам ты скучный, — возразила она хмуро, а потом тихо засмеялась, вспомнив миленькое дитя.

Сзади, все на том же расстоянии, текли за ними братья. Они были мрачны. Оба накачивались мрачной энергией. Антон мрачно сказал:

— Это все-таки не дело — гулять с чужой невестой.

— Особенно в субботний вечер, — сказал Густав.

Пешеход, поравнявшись с ними, случайно взглянул на их лица и невольно пошел скорее.

Вдоль заборов ночной ветер гнал шуршащий мусор. Места пустые и темные. Слева, над каналом, щурились кое-где огоньки. Справа наспех очерченные дома повернулись к пустырю черными спинами. Через некоторое время братья ускорили шаг.

— Мать и сестра в деревне, — говорила Анна тихо и довольно уютно среди мягкой ночи. — Когда выйду замуж, может быть, съездим туда к ним. Моя сестра прошлым летом...

Романтовский вдруг обернулся.

— Прошлым летом выиграла в лотерею, — продолжала Анна, машинально оглянувшись тоже.

Густав звучно свистнул.

— Ах, да это они! — воскликнула Анна и радостно захохотала. — Ах-ах, какие!..

— Доброй ночи, доброй ночи, — сказал Густав торопливым запыхавшимся голосом. — Ты что тут, осел, делаешь с моей невестой?

— Ничего не делаю, мы были...

— Но-но, — сказал Антон и с оттяжкой ударил его под ребра.

— Пожалуйста, не деритесь. Вы отлично знаете...

— Оставьте его, ребята, — сказала Анна со смешком.

— Должны проучить, — сказал Густав, разгораясь и с нестерпимым чувством предвкушая, как он тоже сейчас по примеру брата тронет эти хрящики, этот хрустящий хребет.

— Между прочим, со мной однажды случилась смешная история, — скороговоркой начал Романтовский, — но тут Густав принялся в ребра ему ввинчивать, ввинчивать все пять горбов своего огромного кулака, и это было совершенно неописуемо больно. Отшатнувшись, Романтовский поскользнулся, чуть не упал, упасть значило бы тут же погибнуть.

— Пускай убирается, — сказала Анна.

Он повернулся и, держась за бок, пошел вперед, вдоль темных, шуршащих заборов. Братья двинулись за ним, почти наступая ему на пятки. Густав, томясь, рычал, это рычание вот-вот могло превратиться в прыжок.

Далеко впереди сквозил спасительный свет — там была освещенная улица, — и хотя, должно быть, это горел всего один какой-нибудь фонарь, она казалась, эта пройма в ночи, изумительной иллюминацией, счастливой, лучезарной областью, полной спасенных людей. Он знал, что если пуститься бежать, то все будет кончено, ибо невозможно успеть добежать; надо спокойно и ровно идти, так, может быть, дойдешь, и молчать, и не прикладывать руки к горящему боку. Он шагал, по привычке взлетая, и казалось, он это делает нарочно, чтобы глумиться, — еще, пожалуй, улетит.

Голос Анны:

— Густав, отстань от него. Потом не удержишься, сам знаешь, — вспомни, что раз было, когда ты с каменотесом...

— Молчи, стерва, он знает, что нужно! — (Это голос Антона.)

Теперь до области света, где можно уже различить и листву каштана, и, кажется, тумбу, а там, слева, мост, — до этого замершего, умоляющего света — теперь, теперь не так уж далеко... Но все-таки не следует бежать. И хотя он

знал, что это оплошно, гибельно, он помимо воли, внезапно взлетев и всхлипнув, ринулся вперед.

Он бежал и будто хохотал на бегу. Густав его настиг в два прыжка. Оба упали, и среди яростного шороха и хруста был один особенный звук, скользкий, раз, и еще раз — по рукоять, — и тогда Анна мгновенно убежала в темноту, держа в руке свою шляпу.

Густав встал. Романтовский лежал на земле, кашлял и говорил по-польски. Все оборвалось.

— А теперь айда, — сказал Густав. — Я его ляпнул.

— Вынь, — сказал Антон. — Вынь из него.

— Уже вынул, — сказал Густав. — Как я его ляпнул!

Они бежали, но не к свету, а через темный пустырь, а когда, обогнув кладбище, вышли в переулок, то переглянулись и пошли обычным шагом.

Придя домой, они тотчас завалились спать. Антону приснилось, что он сидит на траве и мимо него плывет баржа. Густаву ничего не приснилось.

Рано утром явились полицейские, они обыскивали комнату убитого и кое о чем расспрашивали Антона, вышедшего к ним. Густав остался в постели — сытый, сонный, красный как вестфальская ветчина, с торчащими белыми бровями.

Погодя полиция ушла, и Антон вернулся. Он был в необыкновенном состоянии, давился смехом и приседал, беззвучно ударяя кулаком по ладони.

— Вот умора! — сказал он. — Знаешь, кто он был?.. Королек!

Королек по-ихнему значило фальшивомонетчик. И Антон рассказал, что ему удалось узнать: состоял в шайке, оказывается, и только что вышел из тюрьмы, а до того рисовал деньги; вероятно, его пырнул сообщник.

Густав потрясся от смеха тоже, но потом вдруг переменился в лице.

— Подсунул, надул, мошенник! — воскликнул он и нагишом побежал к шкафу, где хранилась копилка.

— Ничего, спустим, — сказал Антон. — Кто не знает, не отличит.

— Нет, какой мошенник, — повторял Густав.

Мой бедный Романтовский! А я-то думал вместе с ними, что ты и вправду особенный. Я думал, признаться, что ты замечательный поэт, принужденный по бедности жить

в том черном квартале. Я думал, судя по иным приметам, что ты каждую ночь — выправляя стих или пестуя растущую мысль — празднуешь неуязвимую победу над братьями. Мой бедный Романтовский! Теперь все кончено. Собранные предметы разбредаются опять, увы. Тополек бледнеет и, снявшись, возвращается туда, откуда был взят. Тает кирпичная стена. Балкончики вдвигаются один за другим, и, повернувшись, дом уплывает. Уплывает все. Распадается гармония и смысл. Мир снова томит меня своей пестрой пустотою.

КРУГ

Во-вторых, потому что в нем разыгралась бешеная тоска по России. В-третьих, наконец, потому что ему было жаль своей тогдашней молодости — и всего связанного с нею — злости, неуклюжести, жара, — и ослепительно-зеленых утр, когда в роще можно было оглохнуть от иволог. Сидя в кафе и все разбавляя бледнеющую сладость струей из сифона, он вспомнил прошлое со стеснением сердца, с грустью — с какой грустью? — да с грустью, еще недостаточно исследованной нами. Все это прошлое поднялось вместе с поднимающейся от вздоха грудью, — и медленно восстал, расправил плечи покойный его отец, Илья Ильич Бычков, le maître d'école chez nous au village[1], в пышном черном галстуке бантом, в чесучевом пиджаке, по-старинному высоко застегивающемся, зато и расходящемся высоко, — цепочка поперек жилета, лицо красноватое, голова лысая, однако подернутая чем-то вроде нежной шерсти, какая бывает на вешних рогах у оленя, — множество складочек на щеках, и мягкие усы, и мясистая бородавка у носа, словно лишний раз завернулась толстая ноздря. Гимназистом, студентом, Иннокентий приезжал к отцу в Лешино на каникулы, — а если еще углубиться, можно вспомнить, как снесли старую школу в конце села и построили новую. Закладка, молебен на ветру, К. Н. Годунов-Чердынцев, бросающий золотой, монета влипает ребром в глину... В этом новом, зернисто-каменном здании несколько лет

[1] Наш деревенский учитель *(фр.)*.

подряд — и до сих пор, т. е. по зачислении в штат воспоминаний, — светло пахло клеем; в классах лоснились различные пособия — например, портреты луговых и лесных вредителей... но особенно раздражали Иннокентия подаренные Годуновым-Чердынцевым чучела птиц. Изволите заигрывать с народом. Да, он чувствовал себя суровым плебеем, его душила ненависть (или казалось так), когда, бывало, смотрел через реку на заповедное, барское, кондовое, отражающееся черными громадами в воде (и вдруг — молочное облако черемухи среди хвой).

Новая школа строилась на самом пороге века: тогда Годунов-Чердынцев, возвратясь из пятого своего путешествия по Центральной Азии, провел лето с молодой женой — был ровно вдвое ее старше — в своем петербургском имении. До какой глубины спускаешься, Боже мой! — в хрустально-расплывчатом тумане, точно все это происходило под водой, Иннокентий видел себя почти младенцем, входящим с отцом в усадьбу, плывущим по дивным комнатам, — отец движется на цыпочках, держа перед собой скрипучий пук мокрых ландышей, — и все как будто мокро: светится, скрипит и трепещет — и ничего больше нельзя разобрать, — но это сделалось впоследствии воспоминанием стыдным — цветы, цыпочки и вспотевшие виски Ильи Ильича стали тайными символами подобострастия, особенно когда он узнал, что отец был выпутан «нашим барином» из мелкой, но прилипчивой политической истории, — угодил бы в глушь, кабы не его заступничество.

Таня говаривала, что у них есть родственники не только в животном царстве, но и в растительном, и в минеральном. И точно: в честь Годунова-Чердынцева названы были новые виды фазана, антилопы, рододендрона, и даже целый горный хребет (сам он описывал главным образом насекомых). Но эти открытия его, ученые заслуги и тысяча опасностей, пренебрежением к которым он был знаменит, не всех могли заставить относиться снисходительно к его родовитости и богатству. Не забудем, кроме того, чувств известной части нашей интеллигенции, презирающей всякое неприкладное естествоиспытание и потому упрекавшей Годунова-Чердынцева в том, что он интересуется «лоб-норскими козявками» больше, чем русским мужиком. В ранней юности Иннокентий охотно верил рассказам (идиотическим) о его дорожных наложницах, жестокостях

в китайском вкусе и об исполнении им секретных правительственных поручений, в пику англичанам... Его реальный образ оставался смутным: рука без перчатки, бросающая золотой (а еще раньше — при посещении усадьбы — хозяин смешался с голубым калмыком, встреченным в зале). Засим Годунов-Чердынцев уехал в Самарканд или в Верный (откуда привык начинать свои прогулки); долго не возвращался, семья же его, по-видимому, предпочитала крымское имение петербургскому, а по зимам жила в столице. Там, на набережной, стоял их двухэтажный, выкрашенный в оливковый цвет особняк. Иннокентию случалось проходить мимо: помнится, в цельном окне, сквозь газовый узор занавески, женственно белелась какая-то статуя — сахарно-белая ягодица с ямкой. Балкон поддерживали оливковые круторебрые атланты: напряженность их каменных мышц и страдальческий оскал казались пылкому восьмикласснику аллегорией порабощенного пролетариата. И раза два, там же на набережной, ветреной невской весной, он встречал маленькую Годунову-Чердынцеву, с фокс-терьером, с гувернанткой, — они проходили как вихрь, — но так отчетливо, — Тане было тогда, скажем, лет двенадцать, — она быстро шагала, в высоких зашнурованных сапожках, в коротком синем пальто с морскими золотыми пуговицами, хлеща себя — чем? — кажется, кожаным поводком по синей в складку юбке, — и ледоходный ветер трепал ленты матросской шапочки, и рядом стремилась гувернантка, слегка поотстав, изогнув каракулевый стан, держа на отлете руку, плотно вделанную в курчавую муфту.

Он жил у тетки (портнихи) на Охте, был угрюм, несходчив, учился тяжело, с надсадом, с предельной мечтой о тройке, — но неожиданно для всех с блеском окончил гимназию, после чего поступил на медицинский факультет; при этом благоговение его отца перед Годуновым-Чердынцевым таинственно возросло. Одно лето он провел на кондиции под Тверью; когда же, в июне следующего года, приехал в Лешино, узнал не без огорчения, что усадьба за рекой ожила.

Еще об этой реке, о высоком береге, о старой купальне: к ней, ступеньками, с жабой на каждой ступеньке, спускалась глинистая тропинка, начало которой не всякий отыскал бы среди ольшаника за церковью. Его постоянным товарищем по речной части был Василий, сын кузнеца,

малый неопределимого возраста — сам в точности не знал, пятнадцать ли ему лет или все двадцать — коренастый, корявый, в залатанных брючках, с громадными босыми ступнями, окраской напоминающими грязную морковь, и такой же мрачный, каким был о ту пору сам Иннокентий. Гармониками отражались сваи в воде, свиваясь и развиваясь; под гнилыми мостками купальни журчало, чмокало; черви вяло шевелились в запачканной землей жестянке из-под монпансье. Натянув сочную долю червяка на крючок, так, чтобы нигде не торчало острие, и сдобрив молодца сакраментальным плевком, Василий спускал через перила отягощенную свинцом лесу. Вечерело; через небо протягивалось что-то широкое, перистое, фиолетово-розовое, — воздушный кряж с отрогами, — и уже шныряли летучие мыши — с подчеркнутой беззвучностью и дурной быстротой перепончатых существ. Между тем рыба начинала клевать, — и, пренебрегая удочкой, попросту держа в пальцах лесу, натуженную, вздрагивающую, Василий чуть-чуть подергивал, испытывая прочность подводных судорог, и вдруг вытаскивал пескаря или плотву; небрежно, даже с каким-то залихватским хрустом, рвал крючок из маленького, круглого, беззубого рта рыбы, которую затем пускал (безумную, с розовой кровью на разорванной жабре) в стеклянную банку, где уже плавал, выпятив губу, бычок. Особенно же бывало хорошо в теплую пасмурную погоду, когда шел незримый в воздухе дождь, расходясь по воде взаимно пересекающимися кругами, среди которых там и сям появлялся другого происхождения круг, с внезапным центром, — прыгнула рыба или упал листок, — сразу, впрочем, поплывший по течению. А какое наслаждение было купаться под этим теплым ситником, на границе смешения двух однородных, но по-разному сложенных, стихий — толстой речной воды и тонкой воды небесной! Иннокентий купался с толком и долго потом растирался полотенцем. Крестьянские ребятишки, те барахтались до изнеможения, — наконец выскакивали — и, дрожа, стуча зубами, с полоской мутной сопли от ноздри ко рту, натягивали штаны на мокрые ляжки.

В то лето он был еще угрюмее обычного и с отцом едва говорил, — все больше отбуркиваясь и хмыкая. Со своей стороны Илья Ильич испытывал в его присутствии странную неловкость, — особенно потому, что полагал, с ужасом

и умилением, что сын, как и он сам в юности, живет всей душою в чистом мире нелегального. Комната Ильи Ильича: пыльный луч солнца; на столике, — сам его смастерил, выжег узор, покрыл лаком, — в плюшевой рамке фотография покойной жены, — такая молодая, в платье с бертами, в кушаке-корсетике, с прелестным овальным лицом (овальность лица в те годы совпадала с понятием женской красоты); рядом — стеклянное пресс-папье с перламутровым видом внутри и матерчатый петушок для вытирания перьев; в простенке портрет Льва Толстого, всецело составленный из набранного микроскопическим шрифтом «Холстомера». Иннокентий спал в соседней комнатке, на кожаном диване. После долгого, вольного дня спалось превосходно; случалось, однако, что иная греза принимала особый оборот, — сила ощущения как бы выносила его из круга сна, — и некоторое время он оставался лежать как проснулся, боясь из брезгливости двинуться.

По утрам он шел в лес, зажав учебник под мышку, руки засунув за шнур, которым подпоясывал белую косоворотку. Из-под сдвинутой набок фуражки живописными, коричневыми прядями волосы налезали на бугристый лоб, хмурились сросшиеся брови, — был он недурен собой, хотя чересчур губаст. В лесу он усаживался на толстый ствол березы, недавно поваленной грозой (и до сих пор всеми своими листьями трепещущей от удара), курил, заграждал книгой путь торопившимся муравьям или предавался мрачному раздумью. Юноша одинокий, впечатлительный, обидчивый, он особенно остро чувствовал социальную сторону вещей. Так, ему казалось омерзительным все, что окружало летнюю жизнь Годуновых-Чердынцевых, — скажем, их челядь, — «челядь», повторял он, сжимая челюсти, со сладострастным отвращением. Тут имелся в виду и жирненький шофер, его веснушки, вельветовая ливрея, оранжевые краги, крахмальный воротничок, подпиравший рыжую складку затылка, который наливался кровью, когда у каретного сарая он заводил машину, тоже противную, обитую снутри глянцевито-пунцовой кожей; и седой лакей с бакенбардами, откусывавший хвосты новорожденным фокс-терьерам; и гувернер-англичанин, шагавший, бывало, через село без шапки, в макинтоше и белых штанах, что служило поводом для мальчишек острить насчет «крестного хода» или «подштанников»; и бабы-поденщицы, приходившие по утрам

выпалывать аллеи под надзором глухого сутулого старичка в розовой рубахе, с особым форсом и древней ревностью подметавшего напоследок у самого крыльца... Иннокентий, все с той же книгой под мышкой, — что́ мешало сложить руки крестом, как хотелось бы, — стоял, прислонясь к дереву в парке, и сумрачно глядел на то, на се, на сверкающую крышу белого дома, который еще не проснулся...

В первый раз, кажется, он их увидел с холма: на дороге, холм огибающей, появилась кавалькада, — впереди Таня, по-мужски верхом на высокой, ярко-гнедой лошади, рядом с ней сам Годунов-Чердынцев, неприметный господин на низкорослом, мышастом иноходце; за ними — англичанин в галифе, еще кто-то; сзади — Танин брат, мальчик лет тринадцати, который вдруг пришпорил коня, перегнал всех и карьером пронесся в гору, работая локтями как жокей.

После этого были еще другие случайные встречи, а потом... Ну-с, пожалуйста: жарким днем в середине июня...

Жарким днем в середине июня по сторонам дороги размашисто двигались косари, — то к правой, то к левой ключице прилипала рубаха, — «Бог помощь», — сказал Илья Ильич, проходя; он был в парадной панаме, нес букет ночных фиалок. Иннокентий молча шагал рядом, вращая ртом (лущил семечки). Приближались к усадьбе. На площадке для игры в лоун-теннис тот же глухой розовый старичок в фартуке макал кисть в ведро и проводил, согнувшись до земли и пятясь, толстую сливочную черту. «Бог помощь», — сказал Илья Ильич, проходя.

Стол был накрыт в аллее, русский пятнистый свет играл на скатерти. Экономка, в горжетке, со стальными, зачесанными назад волосами, уже разливала шоколад по темно-синим чашкам, которые разносили лакеи. Было людно и шумно в саду, множество гостей — родственники и соседи. Годунов-Чердынцев (весьма пожилой, с желтовато-пепельной бородкой и морщинами у глаз), поставив ногу на скамью, играл с фокс-терьером, заставляя его прыгать, — собака не только прыгала очень высоко, стараясь хапнуть мокрый мячик, но даже ухитрялась, вися в воздухе, еще подвытянуться, с добавочной судорогой всего тела. Елизавета Павловна шла через сад с другой дамой, всплескивая руками, что-то живо на ходу рассказывая, — высокая, румяная, в большой дрожащей шляпе. Илья Ильич с букетом стоял и кланялся... В пестром мареве (ибо Инно-

кентий, несмотря на небольшую репетицию гражданского презрения, проделанную накануне, находился в сильнейшем замешательстве) мелькали молодые люди, бегущие дети, чья-то шаль с яркими маками по черному, второй фокс-терьер, — а главное, главное: скользящее сквозь тень и свет, еще неясное, но уже грозящее роковым обаянием лицо Тани, которой исполнялось сегодня шестнадцать лет.

Уселись. Он оказался в самом тенистом конце стола, где сидевшие не столько говорили между собой, сколько смотрели, все одинаково повернув головы, туда, где был говор и смех, и великолепный, атласисто-розовый пирог, утыканный свечками, и восклицания детей, и лай обоих фокстерьеров, чуть не прыгнувших на стол... а здесь как бы соединялись кольцами липовой тени люди разбора последнего: улыбавшийся как в забытье Илья Ильич; некрасивая девица в воздушном платье, пахнувшая пóтом от волнения; старая француженка с недобрыми глазами, державшая под столом на коленях незримое крохотное существо, изредка звеневшее бубенчиком... Соседом Иннокентия оказался брат управляющего, человек тупой, скучный, притом заика; Иннокентий разговаривал с ним только потому, что смертельно боялся молчать, и хотя беседа была изнурительная, он с отчаяния за нее держался, — зато позже, когда уже зачастил сюда и случайно встречал беднягу, не говорил с ним никогда, избегая его, как некую западню или воспоминание позора.

Вращаясь, медленно падал на скатерть липовый летунок.

Там, где сидела знать, Годунов-Чердынцев громко говорил через стол со старухой в кружевах, говорил, держа за гибкую талию дочь, которая стояла подле и подбрасывала на ладони мячик. Некоторое время Иннокентий боролся с сочным кусочком пирога, очутившимся вне тарелки, — и вот, от неловкого прикосновения, перевалившимся и — под стол, — малиновый увалень (там его и оставим). Илья Ильич все улыбался впустую, обсасывал усы; кто-то попросил его передать печенье, — он залился счастливым смехом и передал. Вдруг над самым ухом Иннокентия раздался быстрый задыхающийся голос: Таня, глядя на него без улыбки и держа в руке мяч, предлагала — хотите с нами пойти? — и он жарко смутился, выбрался из-за стола,

толкнув соседа, — не сразу мог выпростать правую ногу из-под общей садовой скамейки.

О ней говорили: какая хорошенькая барышня; у нее были светло-серые глаза под котиковыми бровями, довольной большой, нежный и бледный, рот, острые резцы, — и когда она бывала нездорова или не в духе, заметны становились волоски над губой. Она страстно любила все летние игры, во все играла ловко, с какой-то очаровательной сосредоточенностью, — и конечно, само собой прекратилось простодушное ужение пескарей с Василием, который недоумевал — что случилось? — появлялся вдруг, около школы под вечер, и манил Иннокентия, неуверенно осклабясь и поднимая на уровень лица жестянку с червями, — и тогда Иннокентий внутренне содрогался, сознавая свою измену народу. Между тем от новых знакомых радости было мало. Так случилось, что к центру их жизни он все равно не был допущен, а пребывал на ее зеленой периферии, участвуя в летних забавах, но никогда не попадая в самый дом. Это бесило его; он жаждал приглашения только затем, чтобы высокомерно отказаться от него, — да и вообще все время был начеку, хмурый, загорелый, лохматый, с постоянной игрой челюстных желваков, — и всякое Танино слово как бы отбрасывало в его сторону маленькую тень оскорбления, и Боже мой, как он их всех ненавидел, — ее двоюродных братьев, подруг, веселых собак... Внезапно все это бесшумно смешалось, исчезло, — и вот, в бархатной темноте августовской ночи, он сидит на парковой калитке и ждет; покалывает засунутая между рубашкой и телом записка, которую, как в старых романах, ему принесла босая девчонка. Лаконический призыв на свидание показался ему издевательством, но все-таки он поддался ему — и был прав: от ровного шороха ночи отделился легкий хруст шагов. Ее приход, ее бормотание и близость были для него чудом; внезапное прикосновение ее холодных, проворных пальцев изумило его чистоту. Сквозь деревья горела огромная, быстро поднимавшаяся луна. Обливаясь слезами, дрожа и солеными губами слепо тычась в него, Таня говорила, что завтра уезжает с матерью на юг и что все кончено, о, как можно было быть таким непонятливым... «Останьтесь, Таня», — взмолился он, но поднялся ветер, она зарыдала еще пуще... когда же она убежала, он остался сидеть неподвижно, слушая шум в ушах, а погодя

пошел прочь по темной и как будто шевелившейся дороге, и потом была война с немцами, и вообще все как-то расползлось, — но постепенно стянулось снова, и он уже был ассистентом профессора Бэра (Behr) на чешском курорте, а в 1924 году, что ли, работал у него же в Савойе, и однажды — кажется, в Шамони — попался молодой советский геолог, разговорились, и, упомянув о том, что тут пятьдесят лет тому назад погиб смертью простого туриста Федченко (исследователь Ферганы!), геолог добавил, что вот постоянно так случается: этих отважных людей смерть так привыкла преследовать в диких горах и пустынях, что уже без особого умысла, шутя, задевает их при всяких других обстоятельствах и, к своему же удивлению, застает их врасплох, — вот так погибли и Федченко, и Северцев, и Годунов-Чердынцев, не говоря уже об иностранных классиках — Спик, Дюмон-Дюрвиль... А еще через несколько лет Иннокентий был проездом в Париже и, посетив по делу коллегу, уже бежал вниз по лестнице, надевая перчатку, когда на одной из площадок вышла из лифта высокая сутуловатая дама, в которой он мгновенно узнал Елизавету Павловну. «Конечно, помню вас, еще бы не помнить», — произнесла она, глядя не в лицо ему, а как-то через его плечо, точно за ним стоял кто-то (она чуть косила). «Ну, пойдемте к нам, голубчик», — продолжала она, выйдя из мгновенного оцепенения, и отвернула носком угол толстого, пресыщенного пылью мата, чтобы достать из-под него ключ. Иннокентий вошел за ней, мучась, ибо никак не мог вспомнить, чтó именно рассказывали ему по поводу того, как и когда погиб ее муж.

А потом пришла домой Таня, вся как-то уточнившаяся за эти двадцать лет, с уменьшившимся лицом и подобревшими глазами, — сразу закурила, засмеялась, без стеснения вспоминая с ним то отдаленное лето, — и он все дивился, что и Таня, и ее мать не поминают покойного и так просто говорят о прошлом, а не плачут навзрыд, как ему, чужому, хотелось плакать, — или, может быть, держали фасон? Появилась бледная, темноголовая девочка лет десяти, — «А вот моя дочка, — ну пойди сюда», — сказала Таня, суя порозовевший окурок в морскую раковину, служившую пепельницей. Вернулся домой Танин муж, Кутасов, — и Елизавета Павловна, встретив его в соседней комнате, предупредила о госте на своем вывезенном из России, домашнем

французском языке: «Le fils du maître l'école chez nous au village»[1], — и тут Иннокентий вспомнил, как Таня сказала раз подруге, намекая на его (красивые) руки: «Regarde ses mains»[2], — и теперь, слушая, как девочка с чудесной, отечественной певучестью отвечает на вопросы матери, он успел злорадно подумать: «Небось теперь не на что учить детей по-иностранному», т. е. не сообразил сразу, что ныне в этом русском языке и состоит как раз самая праздная, самая лучшая роскошь.

Беседа не ладилась; Таня, что-то спутав, уверяла, что он ее когда-то учил революционным стихам о том, как деспот пирует, а грозные буквы давно на стене уж чертит рука роковая. «Другими словами, первая стенгазета», — сказал Кутасов, любивший острить. Еще выяснилось, что Танин брат живет в Берлине, и Елизавета Павловна принялась рассказывать о нем... Вдруг Иннокентий почувствовал: ничто-ничто не пропадает, в памяти накопляются сокровища, растут скрытые склады в темноте, в пыли, — и вот кто-то проезжий вдруг требует у библиотекаря книгу, не выдававшуюся двадцать лет. Он встал, простился, его не очень задерживали. Странно: дрожали ноги. Вот какая потрясающая встреча. Перейдя через площадь, он вошел в кафе, заказал напиток, привстал, чтобы вынуть из-под себя свою же задавленную шляпу. Какое ужасное на душе беспокойство... А было ему беспокойно по нескольким причинам. Во-первых, потому что Таня оказалась такой же привлекательной, такой же неуязвимой, как и некогда.

ПАМЯТИ Л. И. ШИГАЕВА

Умер Леонид Иванович Шигаев... Общепринятое некрологическое многоточие изображает, должно быть, следы на цыпочках ушедших слов — наследили на мраморе — благоговейно, гуськом... Мне хочется, однако, нарушить эту склепную тишину. Позвольте же мне... Всего несколько отрывочных, сумбурных, в сущности непрошенных... Но все равно. Мы познакомились с ним лет одиннадцать тому

---

[1] Сын нашего деревенского учителя *(фр.)*.

[2] Посмотри на его руки *(фр.)*.

назад, в ужасный для меня год. Я форменно погибал. Представьте себе молодого, весьма еще молодого... беспомощного, одинокого, с вечно воспаленной душой — нельзя прикоснуться — вот как бывает «живое мясо», — притом не сладившего с муками несчастной любви... Я позволю себе остановиться на этом моменте.

Ничего особенного не было в ней, в этой узенькой, стриженой немочке, но когда я, бывало, глядел на нее, на обожженную солнцем щеку, на густо-золотые волосы, ложившиеся от макушки к затылку так кругло, такими блестящими, желтыми и оливковыми вперемежку, прядями, мне хотелось выть от нежности, от нежности, которая никак не могла просто и удобно во мне уместиться, а застревала в дверях, ни тпру ни ну, громоздкая, с хрупкими углами, не нужная никому, менее всего той девчонке. Обнаружилось, одним словом, что раз в неделю, у себя на дому, она изменяла мне с солидным господином, отцом семейства, который, между прочим, приносил с собой колодки для своих башмаков — дьявольская аккуратность. Все это кончилось цирковым звуком чудовищной плюхи: изменница моя как покатилась, так и осталась лежать, комком, блестя на меня глазами сквозь пальцы, — в общем, кажется, очень польщенная. Я машинально поискал, чем бы таким в нее швырнуть; увидел фарфоровую сахарницу, которую ей подарил на Пасху; взял эту сахарницу под мышку и вышел, грохнув дверью.

Примечание: это только один из возможных вариантов прощания с нею; я немало их перебрал, этих невозможных возможностей, когда, еще в первом жару своего пьяного бреда, вспоминал, представлял себе разное — то вот такое грубое наслаждение ладони, то стрельбу из старого парабеллума, в нее и в себя, в нее и в отца семейства, только в нее, только в себя, — то, наконец, ледяную иронию, благородную грусть, молчание...— ах, мало ли как бывает, — я давно запамятовал, как было на самом деле.

У моего тогдашнего квартирного хозяина, рослого берлинца, был на фурункулезном затылке постоянный, гнусно-розовый пластырь с тремя деликатными отверстиями, для вентиляции или выхода гноя, что ли, — а служил я при русском книгоиздательстве, у двух томных с виду господ, но таких в действительности жохов, такого жулья, что, наблюдая их, люди непривычные чувствовали спазмы

в груди, как при восхождении на заоблачные вершины. Когда я начал опаздывать и пропускать, с неизбежным наречием «систематически», или же являлся в таком состоянии, что приходилось меня отсылать домой, наши отношения стали невыносимы, и наконец, общими усилиями, при горячем содействии бухгалтера и какого-то неизвестного, зашедшего с рукописью, меня выбросили вон.

Моя бедная юность, моя жалкая юность! Вижу как сейчас страшную комнатку, которую я снимал за двадцать пять марок в месяц, страшные цветочки обоев, страшную лампочку на шнуре, всю ночь, бывало, горевшую полоумным светом... Я был так несчастен там, так неприлично и роскошно несчастен, что стены ее до сих пор, должно быть, пропитаны бедою и бредом, и не может быть, чтобы после меня обитал в ней веселый кто, посвистывающий, — а все мне кажется, что и теперь, через десять лет, сидит перед зыбким зеркалом все такой же бледный, с лоснистым лбом, чернобородый юноша, в одной рваной рубашке, и хлещет спирт, чокаясь со своим отражением. Ах, какое это было время! Я не только никому на свете не был нужен, но даже не мог вообразить такие обстоятельства, при которых комулибо было бы дело до меня.

Длительным, упорным, одиноким пьянством я довел себя до пошлейших видений, а именно — до самых что ни на есть русских галлюцинаций: я начал видеть чертей. Видел я их каждый вечер, как только выходил из дневной дремы, чтобы светом моей бедной лампы разогнать уже заливавшие нас сумерки. Да: отчетливее, чем вижу сейчас свою вечно дрожащую руку, я видел пресловутых пришлецов и под конец даже привык к их присутствию, благо они не очень лезли ко мне. Были они небольшие, но довольно жирные, величиной с раздобревшую жабу, мирные, вялые, чернокожие, в пупырках. Они больше ползали, чем ходили, но при всей своей напускной неуклюжести были неуловимы. Помнится, я купил собачью плетку, и как только их собралось достаточно на моем столе, попытался хорошенько вытянуть их — но они удивительно избежали удара, я опять плеткой... Один из них, ближайший, только замигал, криво зажмурился, как напряженный пес, которого угрозой хотят оторвать от какой-нибудь соблазнительной пакости; другие же, влача задние лапы, расползлись... Но все они снова потихоньку собрались в кучу, пока я вытирал

со стола пролитые чернила и поднимал павший ниц портрет. Вообще говоря, они водились гуще всего в окрестностях моего стола; являлись же откуда-то снизу и, не спеша, липкими животами шурша и чмокая, взбирались — с какими-то карикатурно матросскими приемами — по ножкам стола, которые я пробовал мазать вазелином, но это ничуть не помогало, и только когда я, случалось, облюбую этакого аппетитного поганчика, сосредоточенно карабкающегося вверх, да хвачу плеткой или сапогом, он шлепался на пол с толстым жабьим звуком, а через минуту, глядь, уже добирался с другого угла, высунув от усердия фиолетовый язык, — и вот, перевалил и присоединился к товарищам. Их было много, и сперва они казались мне все одинаковыми: черные, с одутловатыми, довольно, впрочем, добродушными мордочками, они, группами по пяти, по шести, сидели на столе, на бумагах, на томе Пушкина — и равнодушно на меня поглядывали; иной почесывал себе ногой за ухом, жестко скребя длинным коготком, а потом замирал, забыв про ногу; иной дремал, неудобно налезши на соседа, который, впрочем, в долгу не оставался: взаимное невнимание пресмыкающихся, умеющих цепенеть в замысловатых положениях. Понемножку я начал их различать и, кажется, даже понадавал им имен соответственно сходству с моими знакомыми или разными животными. Были побольше и поменьше (хотя все вполне портативные), погаже и попристойнее, с волдырями, с опухолями и совершенно гладкие... Некоторые плевали друг в друга... Однажды они привели с собой новичка, альбиноса, т. е. избела-пепельного, с глазами как кетовые икринки; он был очень сонный, кислый и постепенно уполз.

Усилием воли мне удалось на минуту одолеть наваждение; это было усилие мучительное, ибо приходилось отталкивать и держать отодвинутой ужасную железную тяжесть, для которой все мое существо служило магнитом, — только слегка ослабишь, отпустишь, и опять складывалась мечта, уточняясь, становясь стереоскопической, — и я чувствовал обманчивое облегчение — увы, облегчение отчаяния, — когда снова мечте уступал, и снова холодная куча толстокожих увальней сидела передо мной на столе, сонно и все же как бы с ожиданием взирая на меня. Я пробовал не только плетку, я пробовал способ старинный и славный, о котором мне сейчас неловко распространяться, тем более

что я, по-видимому, применял его не так, не так. В первый раз, впрочем, он подействовал: известное движение руки, относящееся к религиозному культу, неторопливо произведенное на высоте десяти вершков над плотной кучей нечисти, прошло по ней как накаленный утюг — с приятным и вместе противным сочным таким шипением, и, корчась от ожогов, подлецы мои разомкнулись и попадали со спелыми шлепками на пол... но, уже когда я повторил опыт над новым их собранием, действие оказалось слабее, а уже затем они вообще перестали как-либо реагировать, т. е. у них очень скоро выработался некий иммунитет, — но довольно об этом... Рассмеявшись — что мне оставалось другого? — рассмеявшись, я вслух произносил «тьфу» (единственное, кстати, слово, заимствованное русским языком из лексикона чертей; смотри также немецкое «Teufel») и, не раздеваясь, ложился спать — поверх одеяла, конечно, так как боялся, чего доброго, наткнуться на нежелательных посетителей. Так проходили дни — если можно говорить о днях, — это были не дни, а вневременная муть, и когда я очнулся, то оказалось, что катаюсь по полу, сцепившись с моим здоровенным квартирным хозяином, среди мебельного бурелома. Посредством отчаянного рывка я высвободился и вылетел из комнаты, а оттуда на лестницу, — и вот уже шел по улице, дрожащий, растерзанный, с каким-то мерзким куском чужого пластыря, все пристававшим к пальцам, с ломотой в теле и звоном в голове, — но почти совсем трезвый.

Вот тогда-то и приголубил меня Л. И. «Голубчик, да что с вами?» (Мы уже были слегка знакомы, приходил в издательство, составлял какой-то карманный словарёк русско-немецких технических терминов). «Постойте, голубчик, посмотрите же на себя...» Тут же на углу (он выходил из колбасной, с ужином в портфеле) я разрыдался, и тогда, ни слова не говоря, Л. И. отвел меня к себе, уложил на диван, накормил ливерной колбасой и бульоном «магги», накрыл ватным пальто с облезлым барашковым воротником, я дрожал и всхлипывал, а погодя заснул.

Одним словом, я остался у него, прожил так недели две, после чего снял комнату рядом, и мы продолжали видеться ежедневно. А казалось — что было между нами общего? Разные во всем! Был он почти вдвое старше меня, положительный, благообразный, полный, обыкновенно в визитке,

чистоплотный и домовитый, как большинство наших домовитых холостяков: надо было видеть и, главное, слышать, с какой тщательностью он по утрам чистил свои панталоны, — этот звук щетки так связан с ним, так первенствует в памяти о нем, — особенно ритм чистки, особенно паузы между припадками шарканья, когда он останавливался и осматривал подозрительное место, скреб по нему ногтем или же поднимал на свет...— о, эти его невыразимые (как он их называл), пропускавшие в коленях синеву неба, невыразимые его, невыразимо одухотворенные этим вознесением!

В комнате у него была наивная чистота бедности. Он на письмах ставил штемпелем (штемпелем!) свой адрес и номер телефона. Он умел готовить ботвинью. Он мог часами демонстрировать какую-нибудь, по его словам, гениальную вещицу, особенно запонку или зажигалку, проданную ему уличным краснобаем (причем сам Л. И. не курил), или своих питомиц, трех маленьких черепах с отвратительными старушечьими шеями; одна из них при мне погибла, треснувшись со стола, по которому любила бегать — с видом торопящегося калеки — кругом по краю, думая, что уходит все прямо, далеко, далеко. Да, вот еще: я сейчас вспомнил так ясно — на стене, над его постелью, гладенькой, как арестантская койка, — две гравюры (вид на Неву из-за ростральной колонны и портрет Александра I), случайно приобретенные им в минуту тоски по государству, которую он отличал от тоски по земле.

Л. И. был совершенно лишен чувства юмора, совершенно равнодушен к искусству, к литературе и к тому, что принято называть природой. Если уж заходил разговор о поэзии, скажем, то он отделывался фразами вроде: «Нет, что там ни говорить, а Лермонтов как-то нам ближе, чем Пушкин»; когда же я к нему приставал, чтобы он из Лермонтова привел хотя бы одну строчку, он явно делал мысленное усилие припомнить что-нибудь из рубинштейновской оперы или же отвечал: «Давненько не перечитывал, все это дела давно минувших дней, вообще отстаньте от меня, Виктор, голубчик». По воскресеньям, летом, он неизменно отправлялся на прогулку за город, причем знал окрестности Берлина поразительно подробно и гордился знанием «чудесных мест», другим неизвестных, — это было наслаждение чистое, самодовлеющее, сродное, быть может,

восторгам коллекционеров, оргиям любителей каталогов, иначе непонятно, зачем все это нужно было: это кропотливое составление маршрута, это жонглирование способами передвижения — туда поездом, назад пароходом до такого-то места, а там автобусом, и стоит это столько-то, и никто, даже сами немцы, не знают, что так дешево. Но когда мы с ним наконец оказывались в лесу, выяснялось, что он не отличает пчелы от шмеля, ольхи от орешника, и все окружающее воспринимает совершенно условно и как бы собирательно: зелень, погода (так он называл именно хорошую погоду), пернатое царство, разные букашки, — и он даже обижался, если я, выросший в деревне, отмечал потехи ради, чем разнится окрестная природа от среднерусской: он находил, что существенной разницы нет, а все дело в сентиментальных ассоциациях.

Он любил растянуться в тени на травке, опереться на правый локоть и длительно обсуждать международное положение или рассказывать о своем брате Василии — по-видимому, лихом малом, женолюбе, музыканте, забияке, — еще в доисторические времена утонувшем летнею ночью в Днепре, очень шикарная смерть... Но все это выходило в передаче милого Л. И. так скучно, так основательно, так закругленно, что когда он, бывало, во время привала в лесу вдруг спрашивал с доброй улыбкой: «Я вам никогда не рассказывал, как Васюк на поповской козе верхом проехался?» — хотелось крикнуть: «Рассказывали, рассказывали, — ради Бога, не надо!»

Чего бы я не дал, если б можно было вот сейчас услышать вновь его неинтересную речь, увидеть его рассеянные милые глаза, порозовевшую от жары лысину и седоватые виски... В чем же таилось его обаяние, раз все так скучно было? Отчего его так любили все, так льнули к нему? Что он делал для того, чтобы так быть любимым? Не знаю. Не знаю, что ответить. Знаю только, что мне бывало не по себе, когда он утром уходил в свой Научный Институт (где время он проводил в чтении «Экономической Жизни», из которой бисерным почерком выписывал какие-то, по его мнению, в высшей степени показательные и знаменательные места) или на частный урок русского языка, который извечно преподавал престарелой чете и зятю престарелой четы: общаясь с ними, он делал множество неправильных заключений насчет немецкого быта, коего наши интелли-

генты (самый ненаблюдательный народ в мирс) считают себя знатоками. Да, мне бывало тогда не по себе, словно я предчувствовал, что с ним случится то, что теперь в Праге случилось: разрыв сердца на улице. А как он был счастлив получить должность в этой самой Праге, как сиял... Помню с живостью необыкновенной, как мы провожали его. Подумайте — человек получил возможность читать лекции о своем любимом предмете! Он оставил мне ворох старых журналов (ничто так не стареет и не пылится, как советский журнал), башмачные колодки (колодкам было суждено преследовать меня) и новенькое самопишущее перо (на память). Очень он пекся обо мне, уезжая, — и я знаю, что потом, когда переписка наша как-то увяла и прекратилась и жизнь моя провалилась опять в темноту — в орущую тысячами голосов темноту, из которой вряд ли удастся мне вырваться, — знаю, говорю, что Л. И. много думал обо мне, расспрашивал кое-кого, пытался косвенно помочь... Был великолепный летний день, когда он уезжал; у некоторых из провожавших глаза упорно наполнялись влагой; близорукая еврейская барышня в белых перчатках, с лорнетом, притащила целый сноп маков и васильков; Л. И. неумело их нюхал и улыбался. Думал ли я, что вижу его в последний раз?

Конечно, думал. Именно так и думал: вот я вижу тебя в последний раз, ибо я думаю так всегда и обо всем, обо всех. Моя жизнь — сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет.

Новости

И густое
и до

Изъ Гете

ПОСВЯЩЕНІЕ КЪ «ФАУСТУ»

Новости литератур

Новости

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

РИФМА
ПАРИЖ

окупаю

БРИЛ

Изъ Калмбрудовой

„НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВ

Газета

ная

Представленіе

„Гамлета"

Изъ

е слов
писы

Стихотворения

1930 — 1934

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА

СТИХОТВОРЕНИЯ 1929—1951

ВЕЧЕР НА ПУСТЫРЕ

Вдохновенье, розовое небо,
черный дом с одним окном
огненным. О, это небо,
выпитое огненным окном!
Загородный сор пустынный,
сорная былинка со слезой,
череп счастья, тонкий, длинный,
вроде черепа борзой.
Что со мной? Себя теряю,
растворяюсь в воздухе, в заре;
бормочу и обмираю
на вечернем пустыре.
Никогда так плакать не хотелось.
Вот оно, на самом дне.
Донести тебя, чуть запотелое
и такое трепетное, в целости
никогда так не хотелось мне.
Выходи, мое прелестное,
зацепись за стебелек,
за окно, еще небесное,
иль за первый огонек!
Мир, быть может, пуст и беспощаден,
я не знаю ничего —
но родиться стоит ради
этого дыханья твоего.

Когда-то было легче, проще:
две рифмы — и раскрыл тетрадь.
Как смутно в юности заносчивой
мне довелось тебя узнать!
Облокотившись на перила
стиха, плывущего как мост,

уже душа вообразила,
что двинулась и заскользила
и доплывет до самых звезд.
Но, переписанные начисто,
лишась мгновенно волшебства,
бессильно друг за друга прячутся
отяжелевшие слова.

Молодое мое одиночество
средь ночных, неподвижных ветвей;
над рекой — изумление ночи,
отраженное полностью в ней;
и сиреневый цвет, бледный баловень
этих первых неопытных стоп,
освещенный луной небывалой
в полутрауре парковых троп;
и, теперь увеличенный памятью,
и прочнее, и краше вдвойне,
старый дом, и бессмертное пламя
керосиновой лампы в окне;
и во сне приближение счастия,
дальний ветер, воздушный гонец,
все шумней проникающий в чащу,
наклоняющий ветвь наконец;
все, что время как будто и отняло,
а глядишь — засквозило опять,
оттого что закрыто неплотно,
и уже невозможно отнять...

Мигая, огненное око
глядит сквозь черные персты
фабричных труб на сорные цветы
и на жестянку кривобокую.
По пустырю в темнеющей пыли
поджарый пес мелькает шерстью снежной.
Должно быть, потерялся. Но вдали
уж слышен свист настойчивый и нежный.
И человек навстречу мне сквозь сумерки
идет, зовет. Я узнаю
походку бодрую твою.
Не изменился ты с тех пор, как умер.

Май 1932
Берлин

КАК Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

Такой зеленый, серый, то есть
весь заштрихованный дождем,
и липовое, столь густое,
что я перенести... Уйдем!
Уйдем и этот сад оставим,
и дождь, кипящий на тропах
между тяжелыми цветами,
целующими липкий прах.
Уйдем, уйдем, пока не поздно,
скорее, под плащом, домой,
пока еще ты не опознан,
безумный мой, безумный мой!

Держусь, молчу. Но с годом каждым,
под гомон птиц и шум ветвей,
разлука та обидней кажется,
обида кажется глупей.
И все страшней, что опрометчиво
проговорюсь и перебью
теченье тихой, трудной речи,
давно проникшей в жизнь мою.

Над краснощекими рабами
лазурь как лаковая вся,
с накаченными облаками,
едва заметными толчками
передвигающимися.
Ужель нельзя там притулиться
и нет там темного угла,
где темнота могла бы слиться
с иероглифами крыла?
Так бабочка не шевелится
пластом на плесени ствола.

Какой закат! И завтра снова,
и долго-долго быть жаре,
что безошибочно основано
на тишине и мошкаре.
В луче вечернем повисая,
она толчется без конца —
как бы игрушка золотая
в руках немого продавца.

Как я люблю тебя! Есть в этом
вечернем воздухе порой
лазейки для души, просветы
в тончайшей ткани мировой.
Лучи проходят меж стволами.

Как я люблю тебя! Лучи
проходят меж стволами, пламенем
ложатся на стволы. Молчи.
Замри под веткою расцветшей,
вдохни, какое разлилось, —
зажмурься, уменьшись и в вечное
пройди украдкою насквозь.

17 апреля 1934
Берлин

L'INCONNUE DE LA SEINE [1]

Торопя этой жизни развязку,
не любя на земле ничего,
все гляжу я на белую маску
неживого лица твоего.

В без конца замирающих струнах
слышу голос твоей красоты.
В бледных толпах утопленниц юных
всех бледней и пленительней ты.

Ты со мною хоть в звуках помешкай,
жребий твой был на счастие скуп,
так ответь же посмертной усмешкой
очарованных гипсовых губ.

Неподвижны и выпуклы веки,
густо слиплись ресницы. Ответь,
неужели навеки, навеки?
А ведь как ты умела глядеть!

[1] Незнакомка из Сены *(фр.)*.

Плечи худенькие, молодые,
черный крест шерстяного платка,
фонари, ветер, тучи ночные,
в темных яблоках злая река.

Кто он был, умоляю, поведай,
соблазнитель таинственный твой?
Кудреватый племянник соседа —
пестрый галстучек, зуб золотой?

Или звездных небес завсегдатай,
друг бутылки, костей и кия,
вот такой же гуляка проклятый,
прогоревший мечтатель, как я?

И теперь, сотрясаясь всем телом,
он, как я, на кровати сидит
в черном мире, давно опустелом,
и на белую маску глядит.

1934
Берлин

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА

POEMS AND PROBLEMS

ФОРМУЛА

Сутулится на стуле
беспалое пальто.
Потемки обманули,
почудилось не то.

Сквозняк прошел недавно,
и душу унесло
в раскрывшееся плавно
стеклянное число.

Сквозь отсветы пропущен
сосудов цифровых,
раздут или расплющен
в алембиках кривых,

мой дух преображался:
на тысячу колец,
вращаясь, размножался
и замер наконец

в хрустальнейшем застое,
в отличнейшем Ничто,
а в комнате пустое
сутулится пальто.

1931
Берлин

БЕЗУМЕЦ

В миру фотограф уличный, теперь же
царь и поэт, парнасский самодержец
(который год сидящий взаперти),
он говорил:

«Ко славе низойти
я не желал. Она сама примчалась.
Уж я забыл, где муза обучалась,
но путь ее был прям и одинок.
Я не умел друзей готовить впрок,
из лапы льва не извлекал занозы.
Вдруг снег пошел; гляжу, а это розы.

Блаженный жребий. Как мне дорога
унылая улыбочка врага!
Люблю я неудачника тревожить,
сны обо мне мучительные множить
и теневой рассматривать скелет
завистника, прозрачного на свет.

Когда луну я балую балладой,
волнуются деревья за оградой,
вне очереди торопясь попасть
в мои стихи. Доверена мне власть
над всей землей, Соседу непослушной,
и счастие так ширится воздушно,
так полнится сияньем голова,
такие совершенные слова
встречают мысль и улетают с нею,
что ничего записывать не смею.

Но иногда... Другим бы стать, другим!
О поскорее! Плотником, портным,
а то еще — фотографом бродячим:
как в старой сказке жить, ходить по дачам,
снимать детей пятнистых в гамаке,
собаку их и тени на песке».

Январь 1933
Берлин

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Еще темно. В оркестре стеснены
скелеты музыки, и пусто в зале.
Художнику еще не заказали
густых небес и солнечной стены.

Но толстая растерзана тетрадь,
и розданы страницы лицедеям.
На чердаках уже не холодеем.
Мы ожили, мы начали играть.

И вот сажусь на выцветший диван
с невидимой возлюбленною рядом,
и голый стол следит собачьим взглядом,
как я беру невидимый стакан.

А утром собираемся в аду,
где говорим и ходим, громыхая.
Еще темно. Уборщица глухая
одна сидит в тринадцатом ряду.

Настанет день. Ты будешь королем.
Ты — поселянкой с кистью винограда.
Вы — нищими. А ты, моя отрада, —
сама собой, но в платье дорогом.

И вот настал. Со стороны земли
замрела пыль. И в отдаленье зримы,
идут, идут кочующие мимы,
и музыка слышна, и вот пришли.

Тогда-то небожителям нагим
и золотым от райского загара,
исполненные нежности и жара,
представим мир, когда-то милый им.

6 октября 1930

ИЗ КАЛМБРУДОВОЙ ПОЭМЫ «НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

(Vivian Calmbrood. «The Night Journey»)

От Мерррифильда до Ольдгрова
однообразен перегон:
все лес да лес со всех сторон.
Ночь холодна, луна багрова.
Тяжелым черным кораблем
проходит дилижанс, и в нем
спят пассажиры, спят, умаясь:
бессильно клонится чело,
и вздрагивает, поднимаясь,
и снова никнет тяжело.
И смутно слышатся средь мрака
приливы и отливы снов, —
храпенье дюжины носов.

В ту ночь осеннюю, однако,
был у меня всего один
попутчик: толстый господин
в очках, в плаще, в дорожном пледе.
По кашлю судя, он к беседе
был склонен, — и пока рыдван
катился грузно сквозь туман,
и жаловались на ухабы
колеса, и скрипела ось,
и все трещало и тряслось,
разговорились мы.

«Когда бы
(со вздохом начал он) меня
издатель мой не потревожил,

я б не покинул мест, где прожил
все лето с Троицына дня.
Вообразите гладь речную,
березы, вересковый склон...
Там жил я, драму небольшую
писал из рыцарских времен;
ходил я в сюртучке потертом;
с соседом, с молодым Вордсвортом,
удил форелей иногда
(его стихам вредит вода,
но человек он милый), — словом,
я счастлив был — и признаюсь,
что в Лондон с манускриптом новым
без всякой радости тащусь.

В лирическом служенье музе,
в изображении стихий
люблю быть точным: щелкнул кий,
и слово правильное в лузе, —
а вот изволь-ка, погрузясь
в туман и лондонскую грязь,
сосредоточить вдохновенье:
все расплывается, дрожит,
и рифма от тебя бежит,
как будто сам ты привиденье.
Зато как сладко для души
в деревне, где-нибудь в глуши,
внимая думам тиховейным,
котенка за ухом чесать,
ночь многозвездную вкушать
и запивать ее портвейном, —
и, отточив перо острей,
все тайное в душе своей
певучей предавать огласке.
Порой слежу не без опаски
за резвою игрой стиха:
он очень мил, он просит ласки,
но далеко ли до греха?
Так одномесячный тигренок
по-детски мягок и пузат,
но как он щурится спросонок,
какие огоньки сквозят...
Нет, я боюсь таких котят...

Вам темным кажется сравненье?
Пожалуй, выражусь ясней:
есть кровожадное стремленье
у музы ласковой моей —
пороки бичевать со свистом,
тигрицей прядать огневой,
впиваться вдруг стихом когтистым
в загривок пошлости людской...
Да здравствует сатира! Впрочем,
нет пищи для нее в глухом
журнальном мире, где хлопочем
мы о бессмертии своем.
Дни Ювенала отлетели.
Не воспевать же, в самом деле,
как за крапленую статью
побили Джонсона шандалом?
Нет воздуха в сем мире малом.
Я музу увожу мою.
Вы спросите, как ей живется —
привольно ль, весело? О, да.
Идет, молчит, не обернется,
хоть пристают к ней иногда
сомнительные господа.
К иному критику в немилость
я попадаю оттого,
что мне смешна его унылость,
чувствительное кумовство,
суждений томность, слог жеманный,
обиды отзвук постоянный,
а главное — стихи его.
Бедняга! Он скрипит костями,
бренча на лире жестяной;
он клонится к могильной яме
адамовою головой...
И вообще: поэты много
о смерти ныне говорят;
венок и выцветшая тога —
обыкновенный их наряд.
Ущерб, закат... Петроний новый,
с полуулыбкой на устах,
с последней розой бирюзовой
в изящно сложенных перстах,

садится в ванну. Все готово.
Уж вольной смерти близок час...
Но погоди! Чем резать жилу,
не лучше ль обратиться к мылу,
не лучше ль вымыться хоть раз?»

. . . .

Сей разговор литературный
не занимал меня совсем.
Я сам, я сам пишу недурно,
и что мне до чужих поэм?
Но этот облик, этот голос...
Нет, быть не может...
Между тем
заря с туманами боролась,
уже пронизывала тьму, —
и вот к соседу моему
луч осторожный заструился,
на пальце вспыхнуло кольцо,
и подбородок осветился,
а погодя и все лицо...
Тут я не выдержал: «Скажите,
как ваше имя?» Смотрит он
и отвечает: «Я — Ченстон».

Мы обнялись......

1 июля 1931

ПРОБУЖДЕНИЕ

Спросонья вслушиваюсь в звон
и думаю: еще мгновенье —
и вновь забудусь я... Но сон
уже утратил дар забвенья, —

не может дочитать строку,
восстановить страну ночную,
обратно съехать по ледку...
Куда там! — в оттепель такую.

Звон в отопленье по утрам —
необычайно музыкальный:
удар или двойной тра-рам,
как по хрустальной наковальне.

Март, ветреник и скороход,
должно быть, облака пугает:
свет абрикосовый растет
сквозь веки и опять сбегает.

Тут, перелившись через край,
вся нежность мира накатила:
пса молодого добрый лай,
а в комнате — твой голос милый.

Сентябрь 1931

ПОМПЛИМУСУ

Прекрасный плод, увесистый и гладкий,
ты светишься, как полная луна;
глухой сосуд амброзии несладкой,
душистый холод белого вина.

Лимонами блистают Сиракузы,
Миньону соблазняет апельсин,
но ты один достоин жажды Музы,
когда она спускается с вершин.

24 января 1931

* * *

Сам треугольный, — двукрылый, безногий, —
но с округленным, прелестным лицом,
ижицей быстрой — в безумной тревоге —
комнату всю облетая кругом,

страшный малютка, небесный калека,
гость, по ошибке влетевший ко мне,
дико метался, боясь человека,
а человек прижимался к стене, —

все еще в свадебном галстуке белом,
выставив руку, лицо отклоня,
с ужасом тем же, но оцепенелым:
только бы он не коснулся меня,

только бы вылетел, только нашел бы
это окно и опять, в неземной
лаборатории, в синюю колбу
сел бы, сложась, ангелочек ночной...

2 сентября 1932

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ДВА ОТРЫВКА ИЗ «ГАМЛЕТА»

1

(Из сцены 7 действия IV)

Королева

Одна беда на пятки наступает
другой — в поспешной смене: утонула
твоя сестра, Лаэрт.

Лаэрт

Сестра! О, где?

Королева

Есть ива у ручья; к той бледной иве,
склонившейся над ясною водой,
она пришла с гирляндами ромашек,
крапивы, лютиков, лиловой змейки,
зовущейся у вольных пастухов
иначе и грубее, а у наших
холодных дев — перстами мертвых. Там
она взбиралась, вешая на ветви
свои венки; завистливый сучок
сломался, и она с цветами вместе
упала в плачущий ручей. Одежды
раскинулись широко и сначала
ее несли на влаге, как русалку.
Она обрывки старых песен пела,
как бы не чуя гибели — в привычной,
родной среде. Так длиться не могло.

Тяжелый груз напившихся покровов
несчастную увлек от сладких звуков
на илистое дно, где смерть.

2

(Из сцены 1 действия V)

Лаэрт
(прыгает в могилу, вырытую для Офелии)

...Теперь заройте с мертвою живого,
сыпучий прах нагромоздите выше
седого Пелиона и главы
Олимпа синего.

Гамлет
(подходя)

Кто сей, чье горе
так выспренне? Чья печаль
блуждающие звезды заклинает
и слушателей делает из них,
пронзенных изумленьем? Я — Гамлет
принц Датский.

Прыгает в могилу.

Лаэрт

К дьяволу пускай пойдет
твоя душа!

Схватывается с ним.

Гамлет

Дурна твоя молитва,
Сними ты пальцы с горла моего,
прошу тебя; хоть вовсе я не вспыльчив,
но что-то есть опасное во мне, —
ты будь благоразумнее. Прочь руку!

Король

Растащите их!

Королева

Гамлет! Гамлет!

Все

Мы просим вас...

Горацио

Мой принц, мой друг, не надо!

Их разъединяют, и они выходят из могилы.

Гамлет

Я с ним готов на эту тему спорить,
покамест у меня моргают веки.

Королева

О чем, мой сын, о чем ты?

Гамлет

Я любил
Офелию; и сорок тысяч братьев,
свою любовь слагая, мой итог
набрать бы не могли. Что для нее
ты сделаешь?

Король

Лаэрт, ведь он безумен.

Королева

Молю, будь терпелив...

Гамлет

Что можешь ты?
Рыдать? Терзать себя? Поститься? Драться?
Испить отравы? Крокодила съесть?
Все сделаю. Зачем пришел? Чтоб выть?
Чтоб посрамить меня прыжком в могилу?
Ложись в могилу к ней, — я лягу тоже.
Болтаешь о горах? Так пусть навалят
на нас с тобой земли такую груду,
что темя опалит она о солнце
и Оссу обратит в волдырь. Как видишь,
и я речист.

Королева

Все это лишь безумье.
Так с ним бывает, на него находит, —
а погодя — смиреннее голубки,
уж выведшей птенцов своих златых,
он замолчит, потупясь.

ГАМЛЕТ

(действие III, явление 1)

Быть или не быть: вот в этом
вопрос: что лучше для души — терпеть
пращи и стрелы яростного рока
или, на море бедствий ополчившись,
покончить с ними? Умереть: уснуть,
не более; и если сон кончает
тоску души и тысячу тревог,
нам свойственных,— такого завершенья
нельзя не жаждать. Умереть, уснуть;
уснуть: быть может, сны увидеть; да,
вот где затор; какие сновиденья
нас посетят, когда освободимся
от шелухи сует? Вот остановка.
Вот почему напасти так живучи;

ведь кто бы снес бичи и глум времен,
презренье гордых, притесненье сильных,
любви напрасной боль, закона леность,
и спесь властителей, и все, что терпит
достойный человек от недостойных,
когда б он мог кинжалом тонким сам
покой добыть? Кто б стал под грузом жизни
кряхтеть, потеть,— но страх, внушенный чем-то
за смертью — неоткрытою страной,
из чьих пределов путник ни один
не возвращался,— смущает волю
и заставляет нас земные муки
предпочитать другим, безвестным. Так
всех трусами нас делает сознанье,
на яркий цвет решимости природной
ложится бледность немощная мысли,
и важные, глубокие затеи
меняют направленье и теряют
названье действий. Но теперь — молчанье...
Офелия...
В твоих молитвах, нимфа,
ты помяни мои грехи.

ПОСВЯЩЕНИЕ К «ФАУСТУ»

(Из Гёте)

Вы снова близко, реющие тени.
Мой смутный взор уже вас видел раз.
Хочу ль теперь безумия видений?
Запечатлеть попробую ли вас?
Теснитесь вы! Средь дымных испарений —
да будет так! — вы явитесь сейчас;
по-юному мне сердце потрясает
туман чудес, что вас сопровождает.

Отрада в вас мне чудится былая,
и тень встает родная не одна;
встает любовь и дружба молодая,
как полузвук, преданье, старина;

и снова — боль, и, жалуясь, блуждая
по лабиринту жизненного сна,
зову я милых, счастием жестоко
обмеренных, исчезнувших до срока.

Те, для кого я пел первоначально,
не слышат песен нынешних моих;
ушли друзья, и замер отзвук дальний
их первого привета. Для чужих,
неведомых, звучит мой стих печальный,
боюсь я даже одобренья их,
а верные мне души, если живы,
скитаются в изгнанье сиротливо.

По истовом и тихом царстве духа
во мне тоска забытая зажглась,
трепещет песнь, неясная для слуха,
как по струнам эоловым струясь,
и плачу я, и ужасаюсь глухо,
в суровом сердце нежность разлилась;
все настоящее вдали пропало,
а прошлое действительностью стало.



ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

«БЕАТРИЧЕ» В. Л. ПИОТРОВСКОГО

В прошлом году в Берлине вышли отдельным изданием четыре небольших драмы в стихах. Книга называлась «Беатриче» — по первому из включенных в нее произведений. Писали о ней мало. Самым любопытным отзывом была, — не помню, какой буквой подписанная, — рецензия в «Последних Новостях». Судя по этому единственному «парижскому» отзыву, выходило, что «Беатриче» — одно из тех бездарных творений, на которые скучающий критик таки и набрасывается, чтобы, отведя душу, терзать и пожирать полные лакомых промахов вирши.

Что нравится одному, другого отвращает. Иной хвалит по дружбе, иной высасывает из разбираемых стихов именно те неправильные ударения, которых в них нет. И второе для автора приятнее, чем первое. Изредка, однако, происходит очень занимательное, даже несколько смешное явление: чудак-критик подходит к книге без малейшей предвзятости. Таким оригиналам важно только одно: хорошо ли написана книга или дурно. Я бы ни за что не признался, что принадлежу к их числу, — по-моему, гораздо почтеннее состоять в коллективе и честно на него работать. И ежели я сейчас скажу, что «Беатриче» и остальные три драмы относятся к подлинной поэзии и что автор их, Пиотровский, большой поэт, прошу не уличать меня в беспристрастности. Ибо, право же, было бы странно, если бы я совершенно зря, без всякой задней мысли, а просто из нелепого желания дать справедливую на мой взгляд оценку, стал говорить о книге, вышедшей в прошлом году и сразу обложенной ватой молчания.

Уж близок день. На письменном столе
Бледнеет круг под мутным абажуром.
Горбатый конь в окурках и золе
Беззвучно скачет бронзовым аллюром.

Такова первая строфа «Посвящения», предшествующего драмам. Все в стихах ласкает слух и будит воображение — полновесность их, округлый звук, сила, гулкость, чистота.

Ты не со мной, — но тонкая рука
Еще ласкает бережно страницы,
Еще взлетают длинные ресницы
Над пестрым хаосом черновика.

Как это живо и гибко, и как на месте «хаос». И наконец, заключительная строка последней строфы, в которой автор зовет свою книгу «дневное эхо голоса ночного», — неужели найдется человек, который, положа руку на сердце, скажет, что это не поэзия?

Переходя далее к самим драмам, чудаковатый критик, какие бы недочеты он ни замечал, непрестанно различает тот особый сокровенный звук, который бывает только у очень дорогих инструментов. В самом деле, — легко попенять на поэта за то, что он взял темой слишком крикливую историю о преступном отце, влюбленном в свою прекрасную дочь (историю Беатриче Ченчи), которая нанимает убийц, чтобы от него избавиться, — и все это на парчовом фоне итальянского Возрождения, воспринятого очень условно, — но вместе с тем нельзя не поддаться обаянию этой вещи, вслушиваясь в прекрасные стихи и только изредка замечая, что поэт по временам балансирует над стремниной рокового безвкусия, в которую он, однако, не падает, а, как Блондэн, повисает на сгибе колена. Многое можно простить за пронзительную талантливость всей вещи, за чудесную, переливчатую выпуклость действующих лиц.

Ты рано встала, Беатриче. Утро
Лишь рассветает. Я перед охотой
Зашел тебя проведать. Будет жарко.

Слова на месте, и все они звучат. Интонация стиха безукоризненна. Подымая стакан на свет и любуясь «нежными рубинами, расплавленными в тонком хрустале», Франческо задумчиво говорит:

Между тем,
Что стоит повару или лакею,
В отместку за удар ничтожный тростью,
В гробнице этой, тесной и прозрачной,

Которую шутя зовут бокалом, —
Седую вечность запереть и смерти
Вручить холодные ключи? Ужасно...

Великолепная медлительность речей, важность и суровость эпитетов, полнозвучность и прозрачность стиха — вот что пленяет в «Беатриче». Впрочем, я предпочитаю ей две следующие вещи в книге — «Короля» и «Смерть Дон-Жуана». На диво удался образ короля Фомы, человека, совершившего преступление, готовящегося за него «дать отпор», закалившего волю, чтобы, «как пружину отпустить ее в лицо преградам», — и вдруг понимающего, что «вот она разжалась, но кругом лишь пустота податливо качнулась».

Так ощупью по лестнице бредет
Слепой и вдруг, не рассчитав ступеней,
Еще одну перешагнуть готовый,
Срывается и падает, нежданно
Ступив на гладко вымощенный пол.

Прекрасны также образы «Смерти Дон-Жуана» (которую можно было бы озаглавить и «Торжество Лепорелло»). Тело Дон-Жуана, не вынесшего пожатия каменной руки, хоронят, дух его принимает на время цветной облик на стекле расписного окна в часовне, а Лепорелло ведет чудесные разговоры с монахом («Я изучал науки в Саламанке и философии не вовсе чужд») и ухаживает за донной Анной.

Мне кажется, я таю от лучей.
В сороковой, в последний этот день
Зов двух миров сливается в единый
Неведомый поток... Заходит солнце...
В последний раз на выцветшем стекле
Прозрачной плотью вспыхну и погасну.

. . . .

Быть может, сонная еще придет
Пролить слезу заутра Донна-Анна,
Но дремы не встряхну и вновь не встану.
Последние земные ощущения
Стираются и блекнут. Сохранилась
Лишь память, да руки окаменелой
Глухая боль в потемках серых бродит.
Как сжал он руку мне, ревнивый камень...

Последняя вещь в книге наименее удачная, но и в ней есть тот же драгоценный звук. «Так грустно думать», — говорит Пушкин в ночь перед дуэлью, —

что наступит день,
Когда я этих улиц не увижу,
Не растянусь под темными дубами
Лужаек царскосельских.

В заключение я бы посоветовал всем любителям стихов внимательно почитать эту книгу. Простой читатель найдет в ней прелесть живой поэзии, а молодые поэты кое-чему могут поучиться — в наше время отвратительно изысканных, совершенно никчемных стихов с апокалипсическим настроеньицем (которому не чужд был Надсон) и с многочисленными «кораблями» (как будто все эти молодые поэты служили во флоте). У Пиотровского можно научиться ясности, чистоте, простоте, но есть, правда, у него одно, что мудрено перенять, — вдохновение.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

О ВОССТАВШИХ АНГЕЛАХ

От очередного (VII/VIII) номера «Воли России» веет, как и от прежних номеров, какой-то трогательной затхлостью. В прежнее время в «Воле России» помещались бы переводы из Тагора и Верхарна. Обязательно было бы упоминание о Уайльде, как о тонком эстете и вообще писателе передовом. Выходи журнал еще раньше — и в нем были бы статьи о Берте Зутнер. Все громкое, ходкое, псевдопередовое, но вполне посредственное, поражает воображение провинциала. Тут и стремление во что бы то ни стало поспеть за несколько мифическим существом, которое зовется Европой, почтение перед городским щегольством и нежно-революционная истома, а главное, главное — некое сакраментальное отношение к современности в кавычках. Эта последняя черта свойственна, между прочим, и Германии, где крылатые словца живут, как в раю, и ходячим выражениям оказывают такой же радушный прием, как глобтроттерам, продающим цветные открытки. Какой

пафос, какую значительность получило года три, четыре тому назад слово «викенд», мирно проживавшее в Англии уже полстолетия, а в Берлин попавшее фуксом — вместе с рекламой складной палатки — и сразу приобретшее оттенок упоительной новизны... В нем поспешили найти черты, родственные веку. Русские, живущие в Берлине, произносят его с удовольствием. В нем таится что-то пряное, острое, связанное с джазом (который берлинские русские выговаривают «яцц», а парижские — «жаз») и с короткими юбками. Эти последние тоже оказались символом эпохи. Один датский философ тонко согласовал их с «торопливостью века», рекордами и прочими приметами. Увы, — платья теперь удлиняются снова, чуть не до пола. Торопливость века, по-видимому, заключается в том, что продолжается он не сто, а пять-шесть лет.

«Воля России» преувеличивает способность культурного человека быть поверенным своей эпохи. В этой тяге ко всему передовому есть, как это ни звучит странно, отсталость. Вот, например, статья В. Архангельского о Гаршине и Ремарке. Статья хорошая, гуманная, но ведь это отношение к Ремарку как к явлению необычайному, ослепительному нетактично по отношению к теням авторш «Долой Оружие!» и «Хижина Дяди Тома». Гаршин, который почему-то сравнивается с Ремарком, будет, несмотря на все трещины в его таланте, еще читаться, когда одностороннего Ремарка забудут. Автор статьи приводит из Ремарка цитату о раздробленных коленях и распоротых животах и восклицает: «Такова современная война». Неужели В. Архангельский серьезно полагает, что в прежние войны пули и сабли как-нибудь бережнее обращались со своими жертвами?

А вот стихи Алексея Эйснера (из поэмы «Суд»). Тут опять-таки все очень современно, — сразу начинаем с газетного отчета и убийства в автомобиле, сразу видно, что поэт идет вровень с веком, в котором, мол, такую преобладающую роль играют газеты и автомобили. По правде же говоря, все в этих стихах очень чинно и очень не ново. Такие банальные образы, как «солнце в тоске об острые крыши раздробило кулак», напоминают 1912 или 1913 гг., когда изумлял гимназистов (кое-кем еще до сих пор чтимый) Маяковский. Хороший тон и тогда требовал побольше автомобилей и протестов против вмешательства суда

в уголовные преступления. Свою тему — о том, как ловят, судят и казнят убийцу, — Эйснер разработал так, что невольно вспоминается громкая, но малохудожественная баллада одного известного моралиста (Оскара Уайльда), и очень наивно описание суда в Англии, особливо же стих «А сам председатель поэмами Шелли занят». Знакомство с Шелли (хотя бы через скверный пересказ Бальмонта) почему-то считалось у нас когда-то признаком изысканности. Комизм эйснеровского стиха станет очевидным, если представить себе председателя русского суда (из «Воскресения», скажем) поглощенным на суде поэмами Лермонтова. Все это довольно прискорбно. Стихотворные способности, и, может быть, даже больше, у Эйснера имеются. Но зачем, зачем он вступает в жизнь с такими прилежными перепевами старины?

Любопытно отметить и статью Вячеслава Лебедева в защиту автора одной статьи о Бунине, которую я в «Руле» разделал под орех (выражение В. Лебедева). Мне несколько неловко перед Иваном Алексеевичем, что по довольно, в сущности, пустому поводу принимаюсь опять демонстрировать обрывки его стихов, зря выковырянные молодыми, напористыми, но неуклюжими воспитанниками муз. Грешен, люблю полемику (конечно, только с честными людьми). В данном случае мне вполне понятна обида за другого, которая вылилась в статье Лебедева. В этой статье, правда, есть глупая фраза о «подобострастии и темном идолопоклонстве», коими Лебедев объясняет восхищение бунинскими стихами, но есть зато хорошая такая, старомодная душевность, пламенный призыв отречься от кумиров. Совершенно неважно, что новые доказательства бунинской «безграмотности» только обличают поверхностность лебедевских познаний в области русской словесности и языка. Но все же, хоть это и скучновато, надо на них остановиться мимоходом. Лебедев думает, что нельзя «касаться до», а это допустимо вполне. Допустимо и ударение на последнем слоге «звездам» (ср. «кто при звездах и при луне»); можно не только «трепать что», но и «чем», напр., руками, крыльями, языком. Лебедев находит, что «девушка с раскрытой головой» — намек на трепанацию черепа, и, вероятно, понял бы слова «не раскрывайся, — ветрено» за просьбу не совершать харакири на ветру. Я готов разъяснить Лебедеву

при случае и все остальные его недоумения, только мне не совсем понятно, почему он взял на себя непосильную задачу «поправлять» Бунина. У Бунина богатейший язык и у всех больших поэтов попадаются и темные областные выражения, и непривычные обороты, и просто неловкости. Если только за это хаять стихи Бунина, то это упреки, основанные почти всегда на заблуждении, а если причины лебедевской неприязни к Бунину более глубокие, то незачем придираться к пустякам, ибо что же тогда пришлось бы сказать о чудовищной безграмотности талантливого, но сумбурного Пастернака, которого, кажется, любит Лебедев.

Собственно говоря, суть статьи заключается в том, что Лебедев, верный духу журнала, ужасно боится не поспеть за веком — и, как это часто случается, наступает веку на подол и падает. Есть люди, которые, приехав в Париж, возмущаются Эйфелевой башней, не чувствуя в ней прелестной ее архаичности. Русские переводчики Шекспира опускали упоминания о теннисе и о «подлом футболисте» (последний — в «Короле Лире»), так как считали, что это не вяжется с принятым представлением о шекспировской эпохе. Знаю многих людей, которым до сих пор аэропланы и поезда кажутся принадлежащими к какому-то другому миру: есть, дескать, старый мир, где поют птички, и есть новый, где «бетон», викенды, радио и бомбометы. Вот на таком обывательском ощущении бытия и зиждется отношение Лебедева к литературе. Для поэта такое ощущение гибельно. Лебедеву кажется, что между Буниным и Тихоновым или Маяковским — «века, крушение надежд и восстание ангелов». (А помните, как Лаевский в чеховской «Дуэли» любил говорить: «в наш нервный век...».) Восставшие ангелы — скучные существа. Вчера, входя в дом, я слышал, как у швейцарихи (ограниченной и недоброжелательной женщины) радио играло Прокофьева. Чем в этом смысле радио отличается от «мещанского граммофона» — не знаю, но Лебедев, вероятно, знает. («Века, крушение надежд, восстание ангелов».)

В этом же номере «Воли России» можно еще отметить малопонятные стихи Божнева (автора книжки свежих, прелестных стихов о фонтанах) и похвалы, которые М. Слоним расточает бездарнейшему В. Шишкову (ох уж это вдумчивое отношение к советской халтуре). Несколько

особняком стоит коллекция из тридцати снов Тургенева, собранная Ремизовым. Очень, конечно, хорошо, что собраны, так сказать, в одном месте все эти сны из тургеневских произведений, но незачем было их снабжать ремизовскими комментариями, в которых попадаются такие жемчужины слога: «раненое сердце легло тенью на весь облик Тургенева» или «вызывающий голос живого пола, неизжитого в жизни, рвущегося из застывшей крови мертвой Клары и действующего без всякого посредника (наговоренной или от сердца одурманенной булки), а своей живой волей в напряженную среду другого пола».

АНКЕТА О ПРУСТЕ

Редакция «Чисел» обратилась к ряду писателей с просьбой ответить на следующую анкету:

1) Считаете ли Вы Пруста крупнейшим выразителем нашей эпохи?

2) Видите ли в современной жизни героев и атмосферу его эпохи?

3) Считаете ли, что особенности прустовского мира, его метод наблюдения, его духовный опыт и его стиль должны оказать решающее влияние на мировую литературу ближайшего будущего, в частности на русскую?

1) Мне кажется, что судить об этом невозможно: эпоха никогда не бывает «нашей». Мне неизвестно, в какую эпоху будущий историк нас ухлопает и какие найдет для нее приметы. К приметам, находимым современниками, я отношусь подозрительно.

2) Опять же, — мне трудно вообразить en bloc[1] «современную» жизнь. Всякая страна живет по-своему, и всякий человек — по-своему. Но есть кое-что вечное. Изображение этого вечного только и ценно. Прустовские люди жили всегда и везде.

3) Литературное влияние — темная и смутная вещь. Можно себе, например, представить двух писателей, А и В,

[1] Оптом *(фр.)*.

совершенно разных, но находящихся оба под некоторым, очень субъективным, влиянием Пруста; это влияние читателю С незаметно, так как каждый из трех (А, В и С) воспринял Пруста по-своему. Бывает, что писатель влияет косвенно, через другого, или же происходит какая-нибудь сложная смесь влияний и т. д. Предвидеть что-нибудь в этом направлении нельзя.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ

I

АНТ. ЛАДИНСКИЙ. «ЧЕРНОЕ И ГОЛУБОЕ»

Изд-во «Современные записки»

На протяжении сорока стихотворений, входящих в эту книгу, «пальма» и «эфир» встречаются по семи, «ледяной» и «прекрасный» по пятнадцати, а «голубой» и «роза» (или «розовый») по тридцати раз. Слова эти не случайны, они находятся между собой в некой гармонии, составляют как бы лейтмотив всей книжки. Пальмы и розы Ладинского связаны то с восточными хрустальными миражами, то с морозом, с ледяными стеклами северных стран. Пальмовая роща «просит морозов ледяных», розы цветут на «снежных пустырях». Недаром Ладинский замечает, что «к морозу рифма роза с Державинских времен». В самом деле, классики любили это сочетание — не только звуковое, но и смысловое. Роза пылала на ланитах пушкинских красавиц. В кущах Фета она расцвела пышно, росисто и уже немного противно. О, какая она была надменная у Надсона! Она украшала дачные садики поэзии, пока не попала к Блоку, у которого чернела в золотом вине или сквозила мистической белизной. Не с этими розами, а с первыми, классическими, состоит в родстве роза Ладинского, но у него она вовсе утратила небольшую связь свою с ботаникой и как бы органически сблизилась с морозом, сделалась своеобразным, диковинным, эфирным цветком. «Цветут эскимосские розы на окошках полярных домов» и «к эскимосской розе полярный воздух льнет». Мороз, иней, голубые сугробы, ледяной эфир, стужа, «кастальская

стужа». Ладинский воспринимает творчество, вдохновение как волшебный мороз, на котором сначала дышится очень трудно, а затем — так сладко, что отказываться от него невозможно. Это — эфирная стужа Сахар и горний разреженный воздух, — высота, куда поэтам неопытным, с земными легкими, столь же трудно взобраться, как на вышку — «задыхающимся толстякам». Музе Ладинского в пыльном Каире хочется «снежку» — и он везет ее на север. Кастальская стужа пленительна; прохладный утоляющий все чувства рай влечет, как влекут переселяющихся на новую квартиру «никелированные краны и в изобилии вода» или как влечет оазис путника, качающегося на верблюжьих «голубых горбах». Изумительны снежные пейзажи Ладинского — «бревенчатый Архангельск», или «нюрнбергская классическая зима», или, наконец, Московия, где так близко «солнце розовое спозаранок» и где «голубая теплота» в глазах жительниц. Быть может, самое совершенное стихотворение в книге, чудо поэтического мастерства, то, которое обращено к Пушкину. «Не слышит он земных страстей, — ни шума трепетных ветвей, ни славы горестной своей», — и дальше опять о розе, о холоде, о жене Пушкина: «Она цвела средь бальных зим, и северный склонялся Рим пред этим сердцем ледяным». И смерть среди снегов, на морозном воздухе, где «тает голубой дымок» выстрела, кажется самой чистой для поэта смертью.

Голубое — отсвет небес на сугробах, на плаще музы, на морской воде. Московия, где так холодно и снежно, — конечно, «самая прекрасная и большая страна в мире». Стихотворение «Детство» с любимым Ладинским переходом от голубых сугробов к жаре шуб кончается следующей дивной строфой: «И, спрятавшись в углу за сундуками, я слушал в дальней комнате глухой, как небо в страшной нежности громами впервые трепетало надо мной, когда рояль прекрасный раскрывали и черным лакированным крылом, огромной ласточкою в белой зале, он бился на паркете восковом». Но настоящее «голубое» — это, разумеется, небо, — «голубые холмы небес», «голубое бессмертие», «голубые стропила», — и какая тонкая, какая правильная мысль выражена в строках: «Только земля, земное, черная дорогая мать, научила любить голубое и за небесное умирать».

Таков основной фон стихов Ладинского. Замечательно, что, будучи связаны единой гармонией, все сорок — разные, в каждом из них содержится свой собственный волнующий рассказ. Вот мужики-аргонавты плывут, пристают к розовому острову, где драконы стерегут «сусальную овчину»; вот путешествие в полярные страны; вот баллада о каирском сапожнике. Удивительно живы звери, попадающиеся Ладинскому по пути, — «загнанная лошадь молодая с белою отметиной на лбу» — этот его Пегас, который первым приходит к столбу (что правда — то правда), или тот «звереныш» с «двумя мутными маленькими глазками в колючей яростной щетине», изображающий затравленный стих, или курица, «круглым глазком» выискивающая зерна, или, наконец, — собаки, «мохнатые братья» полярного путника. Гибок, легок и точен стих — по преимуществу ямбический; рифмы богаты, но вместе с тем их нарядность незаметна, как незаметно щегольство очень хорошо одетых людей. Язык Ладинского прекрасен. Я перечел книжку несколько раз, высматривая промахи, но, кажется, ничего нет, кроме скверной строки «в Эфиопии бьешься в труде» и ужасной путаницы в строках «стрелою сладкой жалит горошина свинца», что несколько напоминает пресловутое: «le char de l'Etat navigue sur un volcan».

Ладинский необычайно талантлив, — и очень самостоятелен, очень своеобразен. Все же кое-какие отдаленные литературные влияния можно в его стихах проследить. В некоторых интонациях, в нежности и силе слов смутно чувствуется Ходасевич, в морском и миражном блеске иных стихов — Бунин. Никакого не может быть сомнения, что среди молодых и полумолодых поэтов Ладинский первый, что всех их он оставил далеко позади. Много издается стихов, не отличишь одного стихотворца от другого, — Терапиано от Оцупа, Адамовича от Ю. Мандельштама (несколько отличен от других Поплавский, который чем-то напоминает мне Вертинского, — «Так весной, в бутафорском, смешном экипаже, вы поехали к Богу на бал»), и среди этой серой, рассудочной, надсоновской скуки, среди прозаических стихов о чем-то, смутных намеков на смутные мучения, на конец мира, на суету сует, на парижский осенний дождичек, — вдруг эта восхитительная книга Ладинского.

II

«ПЕРЕКРЕСТОК» 2, ПАРИЖ «СБОРНИК СТИХОВ»

Издание парижского Союза молодых поэтов и писателей. Париж

Так как некоторые из поэтов, представленных в первом из этих двух сборников, представлены и во втором (А. Дураков, Ю. Мандельштам, В. Смоленский, Е. Таубер, К. Халафов, Т. Штильман), то неясно, служит ли каждое это собрание стихов выражению отдельного поэтического направления; кроме того, трудно определить, что именно объединяет участников в пределах каждой из этих двух книг. Представлены тут, во-первых, поэты, пишущие темно, — к этому разряду принадлежит Валентина Гансен («Сборник стихов»), стихотворение которой «Юродивый», хоть и написано русским языком (не без былинных приправ), малопонятно. Далее, у Леонида Ганского («Сборник») встречается следующее: «Ссужает ростовщик незнакомый под гордость любви гроши. В этом нехорошем доме женщины нехороши». Что это значит? В том же стихотворении любопытны строки: «Мы кричим, как только звери кричат, испытывая страх». Почему молодые поэты так любят сравнивать себя со зверьми, причем неизвестно, с какими, — и почему они питают склонность к прозаическим длиннотам («испытывая страх»)? К тому же разряду невнятных принадлежат В. Дряхлов («Сборник»), В. Мамченко («Сборник») и отчасти Ек. Таубер. Дряхлов, — как, впрочем, многие, — не чувствует, что от космического к комическому один только шаг, исчезновение одной лишь буквы. «Но душ космический не тронул гул, спокойных, как Евангелье от Иоанна». Что такое «космический душ» — не знаю, а Евангелие от Иоанна взято у Гумилева, и неизвестно, для чего взято. Начало стихотворения Мамченко выписываю в строчку, чтобы посмотреть, получится ли какой-нибудь смысл: «Когда по лесам в трущобных орбитах, где негу на снегу изнывало самке первобытное, где на посту громоздкой поступью двигался мамонта бивень...» Нет, кажется, ничего не получается. Наконец, у Ек. Таубер, которая вообще пишет очень ясно и очень скучно, нашлась такая темная строфа: «и смотрят в очи тихие заливы, как

в чашу, полную дурманного вина, куда когда-нибудь их погрузит лениво рука, тяжелая от алчущего дна».

Усеченная мужская рифма, которая последнее время, слава Богу, вымирает, — по крайней мере в эмиграции, — еще держится в бодрых стихах Юрия Софиева («Сборник») и Ник. Станюковича («Сборник»). Этот последний вместе с двумя поэтессами Софьей Красавиной («Сетью четких ватерлиний ты все моря избороздил») и Татьяной Штильман («Спор, крики, шум в портовых кабаках...») входят в категорию тех, которые черпают свои образы в модной области морского, мореходного, матросского (О, гумилевские капитаны!). У Станюковича все есть: и подводные утесы, и рифы, и драка на борту, и ножи, и топоры, и даже какие-то «свинцовые пыжи». Из следующей группы, группы рассудочных, тоскующих поэтов, выделю сперва двух — Лазаря Кельберина («Сборник») и Ю. Терапиано («Перекресток»), которые, между прочим, пишут о Содоме, о конце мира. Тема эта, по-видимому, тоже модная. Целая статья о нынешнем Содоме и конце мира, принадлежащая перу писателя, углубившегося в сомнительную мистику, появилась недавно во втором номере выходящего в Париже журнала «Числа». Кельберин начинает так: «Средь путей земных и многотрудных» (кстати, какая трогательная однородность: у Дуракова есть строка «на путях больших и хожих», а у Ек. Таубер «о путях неведомых», — вот что значит перепевать старое). Далее Кельберин пишет о том, что «проходили мимо педерасты», что «никто не видит ночи близкой» и что кто-то «сыплет громкими словами, сам себе при том могилу роя», — довольно никчемное занятие: одновременно сыпать и рыть. Терапиано сообщает, что он «вместе с Лотом уходил» и «плачет о Содоме». Он же впадает в роковое для поэта заблуждение: «мир словно первозданный сад, но как о нем сказать словами? Слова поновому звучат, лишь утвержденные делами». (Вспоминаем, как сетовал певец «догоревших огней» на «беспомощность» нашего языка.)

Следующие поэты все довольно грамотны и все ужасно пресны: Халафов (кроме одного стихотворения, где живо передан детский бред, который «огненным наваливался адом, отодвинув так, чтоб не достать, медвежат и чашку с лимонадом»), В. Смоленский (у которого между прочим: «дрожит от головокруженья держащая перо рука»), Дураков

(«их взор бесценен, взор туманен, забыл про радость бытия») и Ю. Мандельштам («еще на гимназической скамейке» и множество других прозаизмов). К ним же можно отнести Довида Кнута («Перекресток»), который как будто талантливее их, но часто оступается: он может безвкусно озаглавить стихи «Ноктюрн» или начать так: «Отойди от меня, человек, отойди, — я зеваю». Евгений Шах, первая книга которого возбудила большие надежды, надежд этих не оправдал ни второй своей книгой, ни стихами в «Перекрестке». Все те же тоскливые, роковые, рассудочные переживания, как у его коллег, — и синтаксис тот же, и приемы те же, и та же скука. А стихотворение его «Авиатор», которое кончается так: «Он шлема кожаного не снимает, чтобы не увидели его лица» — просто очень плохо.

Несколько особняком стоят в «Перекрестке» гр. П. Бобринский, Илья Голенищев-Кутузов и Георгий Раевский. Бобринский склонен к пышному и строгому слогу («Под солнцем Галлии счастливой необозримые поля...»). Его «Шартр» начинается прямо как «Полтава». Мне кажется, что, если уж настраивать лиру на пушкинский или державинский лад, следует избегать неточных рифм (равнина — единый, ветер — встретить, лирник — кумирни и т. д.). Очень стройны, умны, но совершенно лишены благоухания стихи Голенищева-Кутузова («стенанья сирого сирокко, и хищный крик приморских птиц, и тягость избранного рока, и это море без границ...»). Георгий Раевский, в отличие от почти всех поэтов в обоих сборниках, — зрячий, смотрит на мир, а не в туманную глубину собственного эго. Очень недурно его стихотворение «Голландская печь» — двенадцать двустиший-изразцов. Напр.: «Двое за круглым столом сидят за кружками; кости мечет один, а другой трубкой стучит о сапог». Или: «Палкою с дуба старик сбивает желуди. Свиньи сбились в кучу. Одна грустно в сторонке стоит». (Но есть тут и небрежность: сбивает — сбились, — как, впрочем, в строфе другого его стихотворения: «По осенним, по сжатым полям с сердцем сжатым задумчиво шли мы».) «Голландскую печь» портит заключительное двустишие, в котором есть что-то ландриновское.

Таковы впечатления взыскательного читателя от этих двух сборников. Молодым поэтам следовало бы больше работать (но Боже упаси от кружковской работы) и меньше печатать. Многие из них не лишены дара, у двух-трех

чувствуется хорошая школа, но должна ли чувствоваться школа, как бы хороша она ни была? Побольше жизни в стихах, побольше любви к впечатлениям живого мира, ко всему тому, что не зависит от литературных и прочих кризисов, — а мода, модные клише, содомы, задушевные сетования, — Бог с ними!

БОРИС ПОПЛАВСКИЙ. «ФЛАГИ»
Изд. «Числа»

Редко, очень редко в стихах Поплавского сквозит поэзия. «Снижался день, он бесконечно чах, и перст дождя вертел прозрачный глобус». Вторая строка хороша, — трудно определить, почему хороша, но это так, это так. «Мертвая елка уехала. Сани скрипели, гладя дорогу зелеными космами рук». И это не плохо. «Еще мы так молоды. Дождь лил все лето, но лодки качались за мокрым стеклом. Трещали в зеленом саду пистолеты...» Прекрасные строки, — сыро, зелено, — вольно дышится. Но такие примеры подбирать мудрено, приведенные — почти единственные образцы поэзии в стихах Поплавского (я говорю «почти», ибо мне нравится и первое стихотворение в книжке, — оно смешное, безвкусное, но — как бывает это и у Пастернака — чем-то пленительно). Изредка еще соблазняет слух мимолетная интонация, как, например, прекрасный звук следующей — довольно, впрочем, бессмысленной — строки: «О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни...» Пафос, рокот, напряжение... «О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни...» Целый день можно повторять... Но уже когда читаешь такие звучные и глянцевитые стихи, как: «Подлетает к подъезду одер Дон-Кихота и надушенный Санчо на красном осле...» — чувствуешь сомнение и легкую тошноту. Оговорюсь (как, кстати сказать, любит выражаться критик Адамович): то хорошее, подлинное, что так редко попадается у Поплавского, — дело счастливой случайности. Что тут скрывать — Поплавский дурной поэт, его стихи — нестерпимая смесь Северянина, Вертинского и Пастернака (худшего Пастернака), и все это еще приправлено каким-то ужасным провинциализмом, словно человек живет безвыездно в том эстонском городке, где отпечатана — и прескверно отпечатана — его книга.

«Хохотали моторы, грохотали монокли» или «синевели дни, сиреневели...» живо напоминает певца «муарового платья» и «кружевеющих лесов» (любившего тоже всякие поездки на Марс, дирижабли, «Титаники» и т. д., милые сердцу Поплавского), а все эти сусальные ангелочки Поплавского, голубые мальчики, розовые девочки, зайчики, карлики, пароходики, пассажирки, юнцы — не менее живо напоминают приторную дребедень пресловутых «песенок» о «юнце жантильном» и о том, как «на слепых лошадях колыхались плюмажики, старый попик прилежно кадилом махал...». Как стихотворец Поплавский до смешного беспомощен, — иногда даже кажется (настолько все четыре строки в строфе случайны), что это четверо не очень образованных людей сыграли в бу-римэ. Но, как многие стихотворцы его типа, Поплавский вместе с тем склонен к резвым словесным изощрениям, например: «се слов игра могла сломать осла, но я осел железный, я желе, жалел всегда, жалел, но ан ослаб...». Отмечу, что, несмотря на крайне поверхностное знание русского языка, на нерусский склад речи, на бедность слов и оборотов, Поплавский питает странное пристрастие к живому народному словцу «ан»: «ан на кресле трубка лишь горит», или «ан по небу летает корова», или «ан исчезает сквозь пальцы...». Получается очень мило и галантерейно. Любит он и слово «шик»: «Африки шик», «дикий шик опереточных див», «шикарное зальце...». Успехом пользуется у него сомнительного качества эпитет «красивый». Ударения попадаются невыносимые: «магáзин», «свадéбный», «пожýрю» и т. д. Из-за того что он лишен чувства языка, с ним случаются иногда довольно неприятные вещи, например: «...люди наклоняются к счастью совместно с судном». Составить фразу посложнее и вместить ее в стих он не может: «две богини, в кого я влюблен...». Чрезвычайно часты ошибки слуха, гимназические ошибки, та, например, небрежность, та неряшливость слуха, которая, удваивая последний слог в слове, оканчивающийся на две согласных, занимает под него два места в стихе: «октябєрь», «оркестер», «пюпитыр», «дирижабель», «корабель»... Кстати, о кораблях. Поплавский не избежал поветрия модных образов: мореходства и роз у него хоть отбавляй. Любопытная вещь: после нескольких лет, в течение коих поэты оставляли розу в покое, считая, что упоминание о ней стало банальщиной и признаком дурного вкуса,

явились молодые поэты и рассудили так: «Э, да она стала совсем новенькая, отдохнула, пошлость выветрилась, теперь роза в стихах звучит даже изысканно...» Добро еще, если б эта мысль пришла только одному в голову, — но, увы, за розу взялись все, — и ей-Богу, не знаешь, чем эти розы лучше каэровских... Ладинский, разумеется, исключение.

Ввиду всего этого трудно относиться к стихам Поплавского серьезно: особенно неприятно, когда он начинает их расцвечивать ангельскими эпитетами, — получается какой-то крашеный марципан или цветная фотографическая открытка с перламутровыми блестками. Является даже мысль, не пустая ли все это забава, не лучше ли Поплавскому попытать свои силы в области прозы? Советовать не берусь, — всякий чистосердечный совет такого рода воспринимается обыкновенно как бестактность. И все-таки... Как хорошо бывает порой углубиться в себя, свято воздержаться от стихов, заставить музу попоститься... «О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни...» Вот звучит это — ничего не поделаешь, звучит, — а ведь какая бессмыслица...

ЧТО ВСЯКИЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ?

Наша эпоха, господа, — эпоха великих потрясений, тревог и поисков. Мы стоим перед грядущим будущим, чреватым переменами, и вместе с тем, подобно Орфею, должны вычищать Авгуровы конюшни прошлого. До войны у людей была мораль, старая мораль, но теперь они мораль свою убили и закопали, и написали на камне: У людей была мораль, старая мораль, но они ее убили и закопали, и на камне написали: У людей была мораль, но они ее убили и закопали, и на камне не написали ничего. Вместо нее появилось нечто новое, появилась прекрасная богиня психоанализа и по-своему (к великому ужасу дряхлых моралистов) объяснила подоплеку наших страданий, радостей и мучений. Кто однажды испробует наше мыло для бритья «Бархатин», навсегда откажется от других сортов. Кто однажды посмотрит на мир сквозь призму «Фрейдизма для всех», не пожалеет об этом.

Господа, в пустом анекдоте выражена бывает иногда глубочайшая истина. Приведу следующий: *Сын*: «Папа,

я хочу жениться на бабусе...» *Отец*: «Не говори глупостей». *Сын*: «Почему же, папа, ты можешь жениться на моей маме, а я не могу на твоей?» Пустяк, скажете. Однако в нем, в этом пустячке, уже есть вся сущность учения о комплексах! Этот мальчик, этот чистый и честный юноша, которому отец (тупой рутинер) отказывает в удовлетворении естественной страсти, либо страсть свою затаит и будет всю жизнь несчастлив (Tantalus-комплекс), либо убьет отца (каторга-комплекс), либо, наконец, желание свое все-таки исполнит, несмотря ни на что (счастливый брак-комплекс). Или возьмем другой пример: человек, скажем, чувствует приступ непонятного страха, встретившись в лесу с тигром. Чем же этот страх объяснить? Изящный и простой ответ, господа, нам дается психоанализом: несомненно, что этого человека в раннем детстве напугала картинка или тигровая шкура под маминым роялем; этот ужас (horror tigris) продолжает в нем жить подсознательно, и потом, в зрелом возрасте, при встрече с настоящим зверем, как бы вырывается наружу. Будь с ним вместе в лесу толковый врач, он бы из пациента выудил бирюльку рокового воспоминания, а тигру напомнил бы в простых словах, как он, тигр, в свое время вкусил человеческого мяса, отчего и стал людоедом. Результат беседы ясен.

Господа, проверяйте психоанализом ваши сны. Кому из нас не приходилось, после сытных розговен, «орать во власти кошемара» или, после поездки на Фирвальдштетское озеро, видеть во сне Фирвальдштетское озеро? Но почему это бывает? А вот почему. Человек, съевший три четверти пасхи и ночью вступивший в борьбу с помесью сатира и мастодонта, находится под гнетом собственных неудовлетворенных желаний (эротических). Озеро значит то же самое.

Таким образом, чем вольготнее человеку живется, чем благосклоннее он к своим мельчайшим желаниям, чем веселее и основательнее он потворствует им, тем реже он видит дурные сны, тем здоровее его душа. Действительно: наука установила, что некоторые древнеримские императоры (Декамерон, например) не видели снов вовсе.

Господа, вы ничего не разберете в пестрой ткани жизни, если не усвоите одного: жизнью правит пол. Перо, которым пишем возлюбленной или должнику, представляет собой мужское начало, а почтовый ящик, куда письмо

опускаем, — начало женское. Вот как следует мыслить обиходную жизнь. Все детские игры, например, основаны на эротизме (это надо запомнить особенно твердо). Мальчик, яростно секущий свой волчок, — подсознательный садист; мяч (предпочтительно большого размера) мил ему потому, что напоминает женскую грудь; игра в прятки является эмиратическим (тайным, глубинным) стремлением вернуться в материнскую утробу. Тот же эдипов комплекс отражен в некоторых наших простонародных ругательствах.

Куда ни кинем глаза или взгляд — всюду половое начало. Обратимся ли к общеизвестным профессиям — оно тут как тут: архитектор строит дом (читай: строит куры), кинооператор крутит (читай: с такой-то), докторша ухаживает за больным (читай: больной выздоравливает и ухаживает за докторшей). Филологи подтвердят, что выражения: барометр падает, падший лист, падшая лошадь, — все намеки (подсознательные) на падшую женщину. Сравните также трактирного полового или половую тряпку с половым вопросом. Сюда же относятся слова: пол-года, пол-сажени, пол-ковник и т. д. Немало есть и имен, проникнутых эротизмом: Шура, Мура, Люба (от «любви»), Женя (от «жены»), а у испанцев есть даже имя «Жуан» (от «Дон-Жуана»).

Чем бы вы ни занимались, о чем бы вы ни думали, помните, что все ваши акты и действия, мысли и думы совершенно удовлетворительно объясняются как выше указано. Употребляйте наше патентованное средство «фрейдизм для всех», и вы будете довольны. У нас имеются благодарственные отзывы от многих писателей и художников, от 3-х инженеров, от педагогов, от акушерок и проч., и проч. Действие моментальное и приятное. Всякий человек-модерн должен этим запастись. Высокоинтересно! Поразительно дешево!

И. А. МАТУСЕВИЧ КАК ХУДОЖНИК

На днях в Берлине состоялась выставка картин И. А. Матусевича. Как беллетрист Матусевич уже давно хорошо известен русским читателям за границей; не все, однако, знают, что с литературным даром в нем совмещается дар живописца. Люди на его портретах как живые —

сходство схвачено поразительно, — рисунок точен и смел, краски чрезвычайно приятны. Его виды окрестностей Берлина, — сосново-зеленые и желтопесчаные, — своеобразны, но не столь удачны, как одна маленькая его акварель, — поистине чудесная вещица: темный пляж в Альбеке, серое набухшее небо, охряный парус и красно-черные силуэты рыбаков, стоящих у тусклой воды.

Н. БЕРБЕРОВА. «ПОСЛЕДНИЕ И ПЕРВЫЕ»
Изд. Я. Поволоцкий. Париж

«20-го сентября 1928 года, утром, между девятью и десятью часами, случились три события, положившие начало этой повести: Алексей Иванович Шайбин, один из многочисленных героев ее, появился у Горбатовых; Вася, горбатовский сын, детище Степана Васильевича и Веры Кирилловны и сводный брат Ильи Степановича, получил письмо из Парижа, от приятеля своего Адольфа Келлермана, с важными известиями об отце; и, наконец, на ферму Горбатовых, в широкую долину департамента Воклюз, пришел нищий странник с поводыркой».

Странник этот собрался было спеть песню, которая «ответ нам дает, ответ русским людям самый понятный, самый скромный», но ему помешали: приехал из Африки Шайбин, и вот уже начинается мощное течение повести: поездка Ильи и Шайбина, а затем Васи в Париж, их душевные приключения там. Так в начале книги читатель не узнает, что же это за песня, которую собрался спеть «грозно худой» старец; она нам только обещана как раскрытие некой тайны. Между тем в этой задержанной и лишь в конце книги спетой песне заключена основная идея повести; вся фабула — только ряд искусных вариаций на эту главную тему, обещанную в начале, постепенно выясняющуюся по мере музыкального развития фабулы и звучащую, наконец, с простой и убедительной силой в устах умирающего странника:

На чужбинушке не тоскуй, казак,
Не скучай, казак, по Расеюшке, —
Не тебе ль дана воля вольная,
Путь-дороженька поперек земли?

Путь-дороженьку исходи кругом,
Во страну поиди во французскую.
Становися, дом, на крутой горе,
Обводись межой, поле малое!
На чужбинушке не горюй, казак,
По могиле отца-матери,
Укрепись, казак, во судьбе своей,
Во земле своей, заграничноей.

Осесть на чужой земле, казалось бы, значит отречься навсегда от своей, порвать последнюю с Россией связь, поддерживаемую беспокойством кочевий. Парадоксальным образом, однако, именно в работе на поле малом, заграничном, автор — или герой — видит спасение и укрепление русской души. Ибо в самом понятии «земля» есть нечто сугубо русское, и, живя на земле, опрощаясь, отстраняя городскую культуру, тем самым сохраняешь извечный отечественный уклад. Таков поставленный тезис.

Читатель, требующий от автора своеобразной сатисфакции, того, что в обиходе называется сведение концов с концами, а в искусстве — закономерность, законченность, гармония, получает от «Последних и Первых» удовлетворение особенно полное. Книга прекрасно сработана. Это первый роман, в котором образ эмигрантского мира дан в эпическом и как бы ретроспективном преломлении, и герой его чуть выше человеческого роста. В каком-то смысле можно представить себе, что русский писатель будущего века, занимаясь творческим воссозданием далекого прошлого, одолеваемого лишь посредством пристального и вдохновенного воображения, напишет о нас книгу, очень схожую по духу с берберовской. Условность и стилизация этой книги не суть недостатки, а суть неизбежные свойства эпического рода. То, что даровитый писатель двадцать первого века сотворит поневоле, в силу отдаленности его от нас, Берберова совершает сознательно. Из всего эмигрантского, житейского, — рыхлого, корявого, какофонического, — она выкроила, возвела в эпический сан, округлила и замкнула по-своему одно лишь из явлений нашего быта: тоску по земле, тоску по оседлости. В романе, просто бытовом, иные из приемов Берберовой были бы просто нестерпимы; но мучительная напряженность диалогов (местами весьма напоминающих карамазовские крики) и некоторая странность совпадений и встреч искупаются общим строем этой свособразной, ладной и блестящей книги. Слог

на редкость крепок и чист, образы великолепны своею веской и точной силой. Это не дамское рукоделие, не безответственное братание с безднами и не заказной отклик на злобу дня, — это литература высшего качества, произведение подлинного писателя.

* * *

Ленивый, холодный, с нежилым сердцем, человек отвернется от чужой нужды или просто ее не заметит. К счастью, таких людей не много. Невозможно себе представить, что в нынешнее безмерно тяжелое, голодное время всякий, сохранивший здоровую совесть, не окажет предельной помощи безработным.

«ВОЛК, ВОЛК!»
В. С. Яновский. «Мир». Роман. «Парабола». Берлин

Роман — скучный, шаблонный, наивный, с парадоксами, звучащими как общие места, с провинциальными погрешностями против русской речи, с надоевшими реминисценциями из Достоевского и с эпиграфом из Евангелия. Многочисленные персонажи книги чрезмерно говорливы: они густо и пошло раскрашены под русских эмигрантов. Простодушный автор заставляет их проделать все те гимнастические упражнения, которыми писатели поплоше обычно стараются оживить мертворожденных своих героев; получается нудный сумбур. Есть в романе и Смерть, и Спорт, и Любовь, и Преступление. Но все это похоже на пожар в убогом паноптикуме, когда от повышения температуры поникают головы восковых фигур, стекают щеки, разъезжаются ноги. А главное, — автор до смешного лишен наблюдательности, и потому от его образов веет фальшью и ложью. Ключом к правильному пониманию всего романа следует признать описание футбольного матча «Русские против сборной столицы» (т. е. Парижа). Любопытное описание это начинается с того, что «по площадке (т. е. полю) в одних легких трусиках и тяжелых буцах (без рубашек?),

рисуясь (почему, собственно, рисуясь?), расхаживали второстепенные (?) футболисты, выставляя напоказ волосатые голени (буцы, по-видимому, надеты на босу ногу) и груди» (это множественное число прелестно). Далее следуют всякие забавные подробности игры, из которых явствует, что автор не только не знает простейших правил футбола, но вряд ли его видел вообще, или видел только в кинематографе, да и то не футбол, а другую какую-нибудь игру. «Русские форверта (вероятно, форварда?) облегли уже чужой гол, дожидаясь пасовки» (что как раз совершенно беззаконно). «Игроки свернулись в клубок (!) и покатились к голу. Жоржик беззаветно бросился в самую гущу. И вдруг раздался его визг... Остервенело дергался узел из человеческих тел. На минуту мелькнуло лицо подброшенного вверх Жоржика, перекошенное, окровавленное. Потом кучка сразу растаяла: игроки расступились, отбежали. На животе у самого гола ползал Жоржик, его нога топырилась криво и (!) как чужой предмет». Все это донельзя нелепо и неправдоподобно: ушибаются, подшибают друг друга, но не так, никто никого не «подбрасывает», никто не «ползает».

Футбол как будто мелочь, пустяк, — ну, ошибся, ну, написал чепуху, — но, увы, прочтя такое описание (а оно длинно, подробно), думаешь: «Полно, уж не так же ли невежественен автор и во всем другом?» Автору перестаешь доверять, как мужики перестали доверять тому мальчику, который кричал: «Волк, волк!», — когда никакого волка не было. На протяжении всей своей скучной и плоской книжки автор не переставая кричит: «Волк!» Ему больше повезло, чем мальчику из нравоучительной сказки: волк Яновского так до конца книги и не появляется.

ПАМЯТИ А. М. ЧЕРНОГО

Кажется, нет у него такого стихотворения, где бы не отыскался хоть один зоологический эпитет, — так в гостиной или кабинете можно иногда найти под креслом плюшевую игрушку, и это признак того, что в доме есть дети. Маленькое животное в углу стихотворения — марка Саши Черного, столь же определенная, как слон на резинке. Но сейчас я вспоминаю не книги его.

Как ни противны мне всякие «личные выступления» (и жеманство виноватых кавычек), однако считаю непременным своим долгом сказать о той помощи, которую мне оказал А. М. лет одиннадцать-двенадцать тому назад. Один из лучших наших поэтов не так давно писал о глухонемом невнимании признанных к начинающим. Есть два рода помощи: есть похвала, подписанная громким именем, и есть помощь в прямом смысле: советы старшего, его пометки на рукописи новичка, — волнистая черта недоумения, осторожно исправленная безграмотность, — его прекрасное сдержанное поощрение и уже ничем не сдерживаемое содействие. Вот этот второй — важнейший — род помощи я и получил от А. М. Он был тогда вдвое старше меня, был знаменит — слух о нем прошел «от Белых вод до Черных» (на берегах последних возникали даже лица, выдававшие себя за него). Он жил в Шарлоттенбурге, в 60-м, кажется, номере по Вальштрассе; против его окошка высилась кирпичная стена, в комнате было темновато; я приносил ему стихи, о которых вспоминаю сейчас без всякого стыда, но и без всякого удовольствия. С его помощью я печатался в «Жар-Птице», в «Гранях», еще где-то.

Он не только устроил мне издание книжки моих юношеских стихов, но стихи эти разместил, придумал сборнику название и правил корректуру. Вместе с тем я не скрываю от себя, что он, конечно, не так высоко их ценил, как мне тогда представлялось (вкус у А. М. был отличный), — но он делал доброе дело, и делал его основательно. Мне неприятно, повторяю, соваться со своей автобиографией, да и, кажется, не я один могу вспомнить его помощь, — мне только хотелось как-нибудь выразить запоздалую благодарность, теперь, когда я уже не могу послать ему письма, писание которого почему-то откладывал, теперь, когда все кончено, теперь, когда от него осталось только несколько книг и тихая, прелестная тень.

ПРИМЕЧАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, НАЗВАНИЯ КОТОРЫХ ДАЮТСЯ В СОКРАЩЕНИЯХ

Н70 V. Nabokov. Poems and Problems. New York, Toronto: McGraw-Hill, 1970.

Н79 В. Набоков. Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979.

Н97 В. Набоков: Pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей / Антология. СПб., РХГИ, 1997.

B90 B. Boyd. Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton: Princeton UP, 1990.

S99 M. D. Shrayer. The World of Nabokov's Stories. Austin, 1999.

УПОМИНАЕМЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Возрождение. Париж, 1925–1940. Орган русской национальной мысли.

Воля России. Прага, 1922–1932. Журнал политики и культуры. Ред. В. И. Лебедев, М. Л. Слоним, В. В. Сухомлин; изд. Е. Лазарев.

Звено. Париж, 1923–1928. Еженедельник, затем ежемесячный журнал литературы и искусства. Основан М. М. Винавером и П. Н. Милюковым. Ред. М. Л. Кантор.

Новое время. СПб., 1868–1916. Политико-литературная ежедневная газета под ред. М. Суворина.

Последние новости. Париж, 1931–1940. Ежедневная газета. Ред. П. Н. Милюков.

Речь. СПб., 1906–1916. Ежедневная политическо-литературная газета.

Россия и славянство. Париж, 1923–1933. Еженедельная газета. Ред. коллегия: К. И. Зайцев, Лоллий Львов, С. С. Ольденбург, Г. Струве, Н. А. Цуриков, при участии П. Струве.

Руль. Берлин, 16 ноября 1920 — 14 октября 1931. Ежедневная газета. Отв. ред. И. В. Гессен, при участии А. А. Аргунова, проф. А. И. Каминки, В. Д. Набокова.

Русские записки. Париж, Шанхай, 1937–1939 (№ 1 — 20/21). Общественно-политический и литературный журнал. Ред. П. Н. Милюков, при участии Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка, В. В. Руднева.

Русское время. Париж, 10 июня 1925 — 6 января 1929. Ред. Б. Суворин, А. Филиппов. С 10 октября 1925 (№ 103) ред. А. Филиппов, М. Ф. Полежаев.

Современные записки. Париж, 1920–1940 (Кн. 1–70). Ежемесячный общественно-политический и литературный журнал. Редколлегия: Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков (Фондаминский), М. В. Вишняк, А. И. Гуковский, В. В. Руднев.

Числа. Париж, 1930–1934 (Кн. 1–10). Сборник. Ред. И. В. де Манциарли, Н. А. Оцуп.

СОГЛЯДАТАЙ

Впервые: Современные записки. 1930. Кн. XLIV. С. 91–152. Затем повесть вышла в 1938 г. в одноименном сборнике, куда вошли еще 12 рассказов, в издательстве «Русские записки», Париж. В 1978 г. сборник был переиздан репринтным способом издательством «Ардис» (Анн Арбор). Повесть печатается по этому изданию.

В предисловии к английскому переводу «Соглядатая» («The Eye», New York: Phaedra, 1965. Перевод В. Набокова в соавторстве с Д. Набоковым) писатель рассуждает, что английское «Eye» позволяет ему «соединить звук и смысл», демонстрируя в названии тему глаза, соглядатайства и тему «я» («Y»). Русское название фонетически и семантически отсылает читателя к Якову Голядкину, герою любимой Набоковым повести Ф. М. Достоевского «Двойник», стоящей у истоков традиции изображения расколотого сознания в русской литературе, с характерными мотивами образца и копии, охоты и слежки, нашедшими своеобразный отклик в «Соглядатае».

«Соглядатай» — первое набоковское произведение, написанное от лица повествователя. Особая стратегия изображения «я» становится основой сюжета повести: главный герой-рассказчик стремится собрать свои отражения в сознаниях других людей, восстановить единство своей личности по отпечаткам в душах других героев. Впоследствии, в своих «Лекциях по литературе», Набоков назовет технику дробления персонажа на осколки чужих восприятий характерной чертой поэтики М. Пруста. Пруст, по его словам, «надеется, что, представив нам череду этих призм и отражений, затем соединит их в новую художественную реальность». Увлеченный в начале тридцатых прустовским циклом «В поисках утраченного времени» (1913–1927), Набоков, придумывая своего героя, очевидно, оглядывался не только на русскую (Достоевский и Гоголь) и европейскую (Гофман, По и др.) литературно-философскую традицию двойничества, но и на новаторскую поэтику Пруста, созданную им модель «отраженного» персонажа.

В эмигрантской прессе о «Соглядатае» писали Г. Адамович, В. Вейдле, А. Савельев, С. Яблоновский, Н. Андреев, П. Пильский, К. Зайцев. Авторы рецензий усмотрели в повести «трагедию бездушия» и мастерское изображение «суррогата» внутренней жизни (А. Савельев), глубокое исследование «госпитального типа» в духе традиций Достоевского (С. Яблоновский). Признавая талант автора, К. Зайцев говорит о тягостном эффекте его новой прозы, упраздняющей «глубинное, бытийное естество человека» (Россия и славянство. 15 ноября 1930). Эстетическую трактовку «Соглядатая» дает В. Вейдле: с его точки зрения, в основе повести — тема «призрачности творческого “я” рядом с авто-

номным механизмом самого творчества» (Возрождение. 31 октября 1930).

С. 46. ...что-то по-французски о какой-то русской девице Ариадне. — Имеется в виду роман «Русская девушка Ариадна» (1920) известного французского писателя и журналиста Клода Анэ (настоящее имя Жан Шопфер, 1868–1931). В октябре 1917 г. Анэ находился в России в качестве корреспондента нескольких французских газет. (См.: Н. И. Толстая. Комментарий // Владимир Набоков. Круг. Л.: Художественная литература, 1990. С. 533.) Роман Анэ, повествующий о жизни юной русской провинциалки — защитницы женских прав и сексуальной свободы, вызвал протест у многих читателей, усмотревших в героине пасквиль на соотечественницу. Вместе с тем книга получила одобрение у столпов русской эмиграции: Д. Мережковского, З. Гиппиус, А. Толстого, И. Бунина. (Об этом: D. Barton Johnson. The Books Reflected in Nabokov's Eye. Slavic and East European Journal. Vol. 29. № 4 (1985). P. 399–401). З. Шаховская отмечает, что Набоков, часто писавший ей о «романах, хоть и нашумевших, но посредственных, — в одной из своих книг упоминает даже о романе "Ариадна — русская девушка" Клод Анэ, которым тогда увлекались неприхотливые читательницы» (З. Шаховская. В поисках Набокова. Paris: La Presse Libre, 1979. С. 120).

«Мурочка, история одной жизни». — Вероятно, подразумевается роман «История одной жизни» (1903) русской писательницы А. А. Вербицкой (1861–1928), чрезвычайно популярной в начале века. Как и книга Анэ, роман Вербицкой посвящен проблемам женской эмансипации и свободной любви. (См.: Н. И. Толстая. Указ. соч.) Для Набокова Вербицкая — образец низкого чтива. «Вся она [Россия] расплылась провинциальной глушью, — с местным львом-бухгалтером, с барышнями, читающими Вербицкую и Сейфуллину...» (эссе В. Набокова «Юбилей», 1927).

С. 49. «Убрать руку», — было первое, что сказал гость, глядя на мою протянутую и уже опускавшуюся в бездну ладонь. — Пародийная аллюзия на смертоносное рукопожатье командора, каменного гостя. Дон Жуан — одна из литературных масок главного героя, которыми впоследствии наделяет его молва. (См. далее: «...авантюрист. Дон-Жуан ⟨...⟩ Да, странная фигура ⟨...⟩ Он мог обесчестить девушку».)

С. 54. ...о каком-то кувшине, вдребезги разбитом пулей... О, как ловко, как по-житейски просто моя мысль объяснила звон и журчание, сопроводившие меня в небытие. — Ср. в «Бесах» Достоевского: накануне самоубийства Кириллов признается Шатову во внезапных ощущениях «вечной гармонии», на что Шатов напоминает тому мусульманскую легенду о «Магометовом кувшине, не успевшем пролиться, пока он объедет на коне своем рай».

Я полагал, что посмертный разбег моей мысли скоро выдохнется... — перекличка с драмой «Смерть» (1923), где метафора воображения — всадника, перелетающего за предел жизни с грузом привычных земных образов, выходит на первый план.

С. 56. *«ваффеншайн»* — разрешение на ношение и хранение оружия.

С. 57. *...зубная боль проигрывает битву...* — Пассаж о роли случая полемически отзывается на известные рассуждения Л. Н. Толстого в «Войне и мире» об абсолютной закономерности исторического процесса. Толстой иронизирует над историками, полагающими, «что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк».

Надо мной... жили русские. — В предисловии к английскому переводу Набоков дает следующий комментарий к портрету эмигрантской среды, представленному в повести: «Время повествования — 1924–1925-й годы. ⟨...⟩ Между апатридами, живущими в том Берлине, что описан в книге, есть люди самых разных состояний, от нищих до преуспевающих коммерсантов. К этим последним принадлежит Кашмарин, Матильдин *cauch-maresque* муж (вероятно, бежавший из России южным маршрутом через Константинополь) и отец Евгении и Вани, пожилой господин, который умело руководит Лондонским отделением одной немецкой компании и держит танцовщицу. Кашмарин относится к сословию, которое англичане называют "средним", но две барышни, живущие в доме номер 5 на Павлиньей, явно принадлежат к русскому дворянству, титулованному или нетитулованному, — что не мешает им иметь мещанские литературные вкусы. Муж Евгении, человек с мясистым лицом и с фамильей, звучащей сегодня несколько комично, служит в Берлинском банке. Полковник Мухин, неприятный сухарь, сражался в 1919-м году в армии Деникина, а в 1920-м — Врангеля, говорит на четырех языках, имеет холодные светские манеры и, верно, будет преуспевать на теплом местечке, на которое его прочит будущий *beau-pere*. Роман Богданович — остзеец, в котором больше немецкой культуры, чем русской. Чудаковатый еврей Вайншток, женщина-врач и пацифистка Марианна Николаевна и сам повествователь, ни к какому классу не относимый, суть представители разнообразной русской интеллигенции (Перевод Г. Барабтарло // *Н97.* С. 57).

С. 58. *...и его немецкое — "спасибо" в точности прорифмовало с предложным падежом банка...* — то есть рифма «Danke (*нем.* "спасибо") — в банке».

...в те годы, когда меньшая требовала, чтобы ее звали Монна-Ванной... — Монна-Ванна — героиня одноименной пьесы (1902) М. Метерлинка. В 1902–1904 гг. на русской сцене роль Монны-Ванны исполняла В. Ф. Комиссаржевская. В воспоминаниях

Н. И. Петровской, рисующих атмосферу начала века, отмечается: «Дамы... обрядились в хитоны прерафаэлитских дев и, как по команде, причесались a la Monna Vanna» (Н. И. Петровская. Из воспоминаний. Литературное наследство. 1976. Т. 85. М.: Наука. С. 778). Пьеса не выходит из моды и накануне Первой мировой войны. Н. Берберова вспоминает, что в пятнадцать лет знала пьесу наизусть. «Монна-Ванна» была столь популярна, что на нее сочинили музыкальную пародию, в которой имя «Ванна» рифмовалась с «ванной». (См.: Д. Barton Johnson. Указ. соч. Р. 348.) Маска Монны-Ванны, с одной стороны, характеризует вкус героини как невзыскательный (ср. слова Набокова о «скверных пьесах метерлинковской традиции» — «Strong Opinions». New York: McGraw-Hill, 1973. Р.172), с другой — проецирует на любовный сюжет Смуров—Ваня декадентски окрашенную тему завоевания красоты, представленную в отношениях героев Метерлинка Монны-Ванны и Принчивалле.

С. 60. «Внимая ужасам войны...» — цитата, а затем полемическая перифраза стихотворения Н. А. Некрасова «Внимая ужасам войны...» (1856): «Внимая ужасам войны, / При каждой новой жертве боя / Мне жаль не друга, не жены, / Мне жаль не самого героя 〈...〉 / Одни я в мире подсмотрел / Святые, искренние слезы — / То слезы бедных матерей!»

С. 63. ...ему, к сожалению, «сила» не дана... а у медиумов не нервы, а прямо какие-то струны. — По некоторым спиритическим теориям, одним из факторов, обеспечивающих материализацию духа, является «нервная сила» медиума. (См., например: А. Н. Аксаков. Анимизм и спиритизм. СПб., 1901. С. 126.)

Он любил Эдгара По... — В английской версии в круге чтения героя также Барбе д'Оревильи (1808—1889) — французский писатель, автор «Ликов дьявола» (1874), которого современники называли «подземным классиком» и упрекали в «очарованности» дьяволом.

...клубы самоубийц... — «Клуб самоубийц» — название цикла рассказов (1878) Р. Л. Стивенсона. Немецкий режиссер Рихард Освальд снял по рассказам Стивенсона, а также по рассказу Э. По «Черный кот» фильм под названием «Сны и галлюцинации», который вышел в Берлине в 1922 г. Возможность существования реального клуба самоубийц в среде русской молодежи обсуждалась в эмигрантской прессе в связи с так называемой «трагедией в Груневальдском лесу», самоубийством, произошедшим в 1928 г. История нашла отражение в романе «Дар». (См. об этом: A. Nesbet. Suicide as Literary Fact in the 1920-s // Slavic Review. 1991. Vol. 50. № 4. P. 827—835.)

...и особенно агенты, присланные «оттуда»... — В романе «Азеф» М. Алданов замечает: «В настоящее время мы все, конечно, окружены тайными большевистскими агентами. Об иных

знакомых и нам когда-нибудь будет неловко вспоминать» (М. Алданов. Азеф. Париж, Современные записки, 1931. С. 174).

С. 66. ...лежал навзничь (...) *в горном ущелье...* — реминисценция стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...», 1841). Ср. комический комментарий к строке «Знакомый труп лежал в долине той», принадлежащий герою «Дара» и перекликающийся с темой посмертного существования «соглядатая»: «Вам никогда не приходило в голову, что лермонтовский “знакомый труп” — это безумно смешно, ибо он, собственно, хотел сказать “труп знакомого”, — иначе ведь непонятно: знакомство посмертное контекстом не оправдано» (В. Набоков. Дар. Анн Арбор: Ардис, 1975. С. 84).

С. 67. К сожалению... в Ялте вокзала нет. — Аллюзия на рассказ А. А. Аверченко «Поездка в театр» (1909), в котором персонаж, хвастающий своим геройским поведением в трамвае, разоблачается фразой: «Жаль только, что в Ялте нет трамвая». (Об этом: A. Dolinin. Two Notes on the Intertextuality of Nabokov's Russian Novels // The Nabokovian. 1994. № 33. P. 17.)

С. 68—69. ...назойливые намеки на какого-то инженера (...) *Азеф...* — Азеф Евно Фишелевич (1870—1918) — провокатор, один из организаторов партии эсеров, руководитель ряда террористических актов. С 1893 г. — тайный агент департамента полиции. Выдал охранному отделению многих членов партии и всю «боевую организацию». Бывший студент Политехнического института, Азеф уже после разоблачения (1908) хлопотал о месте инженера. Портрет Азефа неоднократно воссоздавался в эмигрантской литературе 20—30-х гг. В нем подчеркивалась раздвоенность, многоликость, инфернальность: «В развинченной душе Азефа по необходимости существовали два мира: мир социалистов-революционеров и мир департамента полиции. Ни один из этих миров не был его собственным миром. (...) И в каждом из миров своей двойной жизни он позволял себе и роскошь оттенков» (М. Алданов. Азеф. С. 220). Демонический образ Азефа возникает у Р. Гуля в «Генерале Бо»: «...Лохматый, рогатый, хвостатый, смердящий, гремящий...» (Берлин, Петрополис, 1929. С. 128).

С. 69. ...«in pratis Westmanniae»... — в лугах Вестмании *(лат.)*. Вестмания — старинное название области Швеции, образующей сегодня провинцию Вестерос и часть провинции Эребру.

...Линней описал распространенный вид дневной бабочки. — Линней Карл (1707—1778) — шведский естествоиспытатель и натуралист, автор «Системы природы» («Systema Naturae», 1735).

С. 71. ...Смуров принес Ване... орхидею... не сохранила ли Ваня заветные останки цветка... — еще одна ироничная отсылка к декадентской культуре. Ср. в воспоминаниях Н. И. Петровской: «Излюбленным цветком стала “тигровая орхидея”, впрочем, еще до Бальмонта увековеченная пикантным Мопассаном как

“грешный цветок”» (Указ. соч. С. 779). Здесь также имеет место аллюзия на «Любовь Свана» — вторую часть романа «По направлению к Свану» (1913) М. Пруста. Орхидея — символ любовных отношений прустовских героев Свана и Одетты. Приведение в порядок орхидей на платье героини превращается в ритуал, возникает «образное выражение “орхидеиться”, которое они употребляли, не думая о его буквальном значении и подразумевая физическое обладание» (М. Пруст. По направлению к Свану. Перевод Н. М. Любимова). Характерно, что в дальнейшем невозможность обладания Ваней сравнивается с невозможностью обладанием запахом цветка. (У Пруста: «...обладание этой женщиной возникнет из их широких лиловых лепестков...») В лекции о Прусте Набоков напишет об орхидее как об одной из ведущих тем «Любви Свана», назовет ее цвет «цветом времени», о любовной сцене с орхидеями скажет как о «знаменитой».

...Гумилева, певца мужественности... — Ю. И. Айхенвальд писал о Гумилеве: «...мужественной поступью движется его стих ⟨...⟩ Мужчина по преимуществу, он чувствует себя на войне, как в родной стихии» (Ю. И. Айхенвальд. Поэты и поэтессы. М., 1922). «Орхидея» — название сборника стихов (1927) Ю. Галича (псевд. Ю. И. Гончаренко). В. Сирин в рецензии на сборник отмечает «изысканное название», «скверно олеографический», пряно-декадентский оттенок стихов и кощунственную нелепость посвящения их Гумилеву («Новые поэты», 1927). Подобно лирическому герою Ю. Галича, изнеженный Смуров не подходит на роль отважного путешественника, поэта-воина.

С. 72. мальцбир — солодовое пиво.

С. 75. ...перстами легкими как сон... — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» (1826).

ритурнелла — (от *ит.* ritorno — «возвращение») инструментальное вступление, интермедия или завершающий раздел вокального произведения. Здесь: наигрыш или отыгрыш, исполняемый в начале или конце большого отрывка из какого-нибудь сольного номера.

С. 77. ...я сам не понимаю, почему я так всегда плакал, когда мы встречались во сне... — аллюзия на любовный сон Свана, с помощью которой автор тайно подтверждает догадку главного героя, что Смуров и Ваня — одно лицо: «Это было во сне ⟨...⟩ Время от времени вздымались волны, и тогда Сван чувствовал на щеке ледяные брызги. Одетта говорила, чтобы Сван вытер щеку, но Сван не мог ⟨...⟩ Незнакомый юноша плакал ⟨...⟩ Так Сван говорил с самим собой, потому что юноша ⟨...⟩ был тоже Сван...»

С. 78. ...Гретхен или Гильда... — пародийное соединение гётевской Маргариты и героинь «Песни о Нибелунгах» — Брунгильды, Кримгильды. (Об этом: О. Дарк. Комментарий // Владимир Набоков. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. М., 1991. С. 445.)

...фотографию молодца в тирольской шляпе и яблоко с барского стола. — Комическая аллюзия на драму Ф. Шиллера «Вильгельм Телль» (1804), герой которой за неоказание почестей вывешенной на столбе шляпе герцога должен сбить стрелой яблоко с головы сына. Ср. в рассказе Набокова «Удар крыла» (1923): «...и висела на стене широкая картина: “Вильгельм Телль, пронзающий яблоко на голове сына”».

Казанова Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский писатель, автор фантастического романа «Изокамерон» (1788) о путешествии в загробный мир, которое совершает и герой Набокова. В «Истории моего бегства» (1788) и «Воспоминаниях» (1822—1828) описывает свою яркую жизнь, полную игры с фортуной и любовных подвигов. Во время странствий по Европе Казанове довелось перепробовать множество профессий и наряду с прочими профессию библиотекаря (Смуров в самом начале своей потусторонней жизни поступает на службу в книжную лавку). Отзываются в эзотерических мотивах «Соглядатая» и увлечения Казановы магией и и алхимией.

С. 83. ...Веймарский Лебедь, — я имею в виду великого Гёте... — Образовано по аналогии с «Эйвонским Лебедем», как называют У. Шекспира, родившегося и проведшего последние годы в городе Стратфорд-он-Эйвон.

...будет скучно... (тут следовала немецкая фраза, написанная готическим шрифтом). — Очевидно, подразумевается известная цитата из «Фауста» Гёте: «Суха, мой друг, теория везде, / А древо жизни пышно зеленеет!» (Перевод Н. Холодковского.)

...«сексуальными левшами». — Смуров-левша — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Вместе с тем прозвище «сексуальный левша» отсылает к Ване Смурову — герою знаменитых «Крыльев» (1906) М. А. Кузмина, символистского романа с отчетливой гомоэротической тематикой. Ваня Смуров из «Крыльев» как бы распадается в «Соглядатае» на Смурова и Ваню, вновь комически подтверждая версию набоковского героя, что девушка, которую он любит, — лишь его «зеркало».

С. 86. ...в табакерке кое-что было 〈...〉 *да, да, это иногда бывает с девушками, — очень редкое явление, — но это бывает, это бывает...* — Как указывает П. Тамми (Заметки о полигенетичности в прозе Набокова // *Н97.* С. 519), здесь отсылка к финалу гоголевского «Носа»: «...во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают».

С. 87. ...жизнь... тяжелая и нежная... — возможно, аллюзия на стихотворение О. Мандельштама «Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы...» (1920) Мотивы «тяжести» и «нежности» распределяются между сестрами. «Тяжеловатая» Евгения похожа на нежную Ваню («нежные губы», «нежная

душа»), которая также сравнивается с розой: «из малютки вышла настоящая роза» (у Мандельштама: «Розы тяжесть и нежность...»).

С. 92. ...ко мне хлынула его растопыренная рука. — «Вызовом» Кашмарина, «самой страшной тени», завершается донжуанская тема. (См. прим. к с. 49.)

С. 93. ...просто глазеть. — В английской версии: «...быть ничем, просто огромным... прозрачным, немигающим оком». По сообщению А. А. Долинина, это неточная цитата известной фразы эссе Р. У. Эмерсона «Природа»: «Я становлюсь прозрачным глазным яблоком. Я делаюсь ничем» (перевод А. Зверева).

О. Сконечная

ПОДВИГ

«Подвиг» — четвертый роман Набокова — был написан в Берлине в 1930 г. В 1931–1932 гг. он печатался в «Современных записках» (кн. XLV, XLVI, XLVII, XLVIII); в 1932-м — вышел отдельной книгой. В 1974 г. воспроизведен репринтным способом (Ann Arbor. New York. Toronto: Ardis. McGraw-Hill), печатается по этому изданию. И в журнальной публикации, и в первом издании книги, и в проверенном автором издании «Ардиса» нарушена нумерация глав: отсутствует глава XI.

В 1971 г. вышел в свет английский перевод романа, выполненный Дмитрием Набоковым при участии автора. Роман получил заглавие «Glory» (буквально — «Слава») и отсутствовавшее в оригинале посвящение «Вере»; в текст были внесены незначительные коррективы и дополнения: изменено деление на главы, сделана попытка уточнить и конкретизировать хронологию действия, в результате чего иные эпизоды получили противоречивую датировку; объяснены некоторые русские детали и аллюзии.

В критике 1930-х «Подвиг» встретил довольно прохладный прием. Михаил Осоргин, к примеру, говорил о нем как о романе, несколько разочаровавшем «верных читателей Сирина (надуманностью идеи, неясностью ее воплощения)» (М. Осоргин. В. Сирин. «Камера обскура», роман книгоиздательства «Современные записки» и «Парабола». Берлин, 1934 // Современные записки. 1934. Кн. LIV. С. 460). Ему вторил Владимир Варшавский: «Никакого “жизнеучения”, — писал он, — в основе романа нет. Это как бы сырой материал непосредственных восприятий жизни. Эти восприятия описаны очень талантливо, но неизвестно для чего. ⟨...⟩ Читателя приглашают полюбоваться, и это все. Его никуда не зовут» (В. Варшавский. В. Сирин. «Подвиг». Издательство «Современные записки», 1932 // Числа. 1933. Кн. 7/8. С. 267). Схо-

жим образом отзывался о «Подвиге» Марк Цетлин: «В “Подвиге” нет той цельности, глубины и патетичности замысла, которые были в “Защите Лужина”. Может быть, даже автор напрасно назвал свою книгу романом. Напряженный, ускоренный темп сиринской прозы находится в несоответствии со слишком большими размерами книги, слишком большими для ее несколько расплывчатого и бедного сюжета. В романе мы ищем “полифонии”, разнообразия выведенных лиц, изображения целой группы людей, ищем многообразия, сведенного к единству. Для этого единства и нужен ясный, интересный сюжет или “идея”, словом, то, что может служить центром произведения» (М. Цетлин. В. Сирин. «Подвиг». Издательство «Современные записки». Париж, 1932 // Современные записки. 1933. Кн. LI. С. 458.).

На общем фоне сдержанных рецензий выделяется восторженный отзыв Лоллия Львова, отметившего, что новый роман Набокова — «это полноценный, богатый вклад» в русскую художественную литературу (Л. Львов. «Подвиг» Сирина // Россия и славянство. 1 декабря 1932).

Критические отзывы на английский перевод романа также оказались довольно сдержанными. Джон Апдайк, например, отмечал: «Если не принимать в расчет “Соглядатая”, относящегося к жанру повести или новеллы, “Подвиг” занимает место между двумя превосходными романами: “Защитой Лужина” и “Камерой обскурой”. По сравнению с ними он слабоват, концовка его озадачивает, а то, что ей предшествует, рассказано со странной, несколько фальшивой непринужденностью. “Подвиг” по-настоящему так никогда и не вспоминает о главной обязанности романа — о необходимости создавать напряжение».

Отношение самого Набокова к «Подвигу» в американский период его творчества было неоднозначным. В ответе Эдмунду Уилсону (разочарованному патриотической «Полтавой») он отмечал: «“Полтава” в творчестве Пушкина занимает такое же место, как “Подвиг” в моем. Я написал его двадцать лет назад, и не мне тебе объяснять, какое чувство вызывает собственная блевотина» (перевод С. Таска).

В 1966 г., в интервью, данном Альфреду Аппелю, нелестной оценке «Подвига» (продиктованной, по-видимому, тем, что Набокову претил патриотический — как казалось ему — пафос романа) пришла на смену нейтральная. На вопрос, будут ли когда-нибудь переведены его три романа, около пятидесяти рассказов и шесть пьес, к тому времени существовавших только на русском, Набоков ответил: «Совсем не вся эта продукция оказалась такой хорошей, как мне казалось тридцать лет назад, но кое-что из нее, вероятно, будет постепенно печататься по-английски. Над переводом “Подвига” сейчас работает мой сын. Герой “Подвига” — эмигрант из России, молодой романтик моего тогдашнего

возраста и моего круга, любитель приключений ради приключений, гордо презирающий опасность, штурмующий никому не нужные вершины, который просто ради острых ощущений решает перейти советскую границу и потом вернуться обратно. Вещь эта — о преодолении страха, о триумфе и блаженстве этого подвига» (перевод М. Мейлаха).

В предисловии к английской редакции «Подвига» Набоков намекнул на некоторые недостатки книги (которые, однако, отказался назвать, заметив лишь, что если сначала роман едва не впадает в ложный экзотизм и заурядную комедию, то после этого «взмывает к таким высотам чистоты и печали», каких удалось достичь только в «Аде»). Наконец, в интервью, данном Стивену Яну Паркеру, Набоков назвал «Подвиг» своим лучшим русским романом после «Дара» и «Приглашения на казнь».

Заглавие русской редакции (пришедшее на смену двум рабочим заглавиям «Подвига» — «Воплощение» и «Романтический век») требует пояснений. Слово «подвиг», согласно Владимиру Далю, обладает двумя значениями: первое — «доблестный поступок, дело, или важное, славное деянье» и второе — «движенье, стремленье, (...) путь, путешествие, поездка». Многозначность слова, послужившего роману заглавием, задает в нем две основные темы: тему героического (включающую в себя мотив обретения смелости) и тему путешествия (с ее главной составляющей — мотивом «пути»). Без учета второго (забытого ныне) значения роман может показаться незавершенным, «обрывающимся у порога главного действия, заявленного в заглавии» (Н. Букс. Приобщение к таинству // Н. Букс. Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах Владимира Набокова. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 57). Между тем незавершенность эта мнимая: главное в романе — это вовсе не переход границы (действительно остающийся за рамками повествования), а все то, что ему предшествует, — следование героя по жизненному пути.

Кроме указанных в тексте источников, в примечаниях использованы работы Дж. Грейсон, О. Дарка, С. Сендеровича и Е. Шварц, Л. Токер, Э. Хэйбер, М. Шраера.

Комментаторы приносят искреннюю благодарность Ирине Белобровцевой, Полю Бенедикту Гранту, Дональду Бартону Джонсону, Марии Маликовой, Ларисе Петиной, Омри Ронену и Карлу Шлёгелю за содействие и советы.

С. 97. Эдельвейс, дед Мартына... — Эдельвейс — белый альпийский цветок Leontopodium alpinum (от *нем.* edel — «благородный» и weiß — «белый»), который обычно символизирует храбрость, стойкость и чистоту. Имя героя — русская форма латинского

Martinus (как и Martin в западноевропейских языках). Средневековая экзегетика возводила имя святого Мартина Турского одновременно к римскому богу войны Марсу (поскольку святой неустанно воевал с дьяволом) и к латинскому martyr (мученик), поскольку он готов был принять мученическую смерть. «Святой Мартын Галльский, покровитель города Клямси» фигурирует в посвящении к повести Ромена Роллана (1866—1944) «Кола Брюньон» («Colas Breugnon», 1919), переведенной в 1922 г. Набоковым (см. том I наст. издания). Именем Мартынка наречен герой русской сказки «Волшебное кольцо», в которой обнаружены некоторые параллели к сюжету «Подвига». Следует указать и на двух персонажей русской прозы 1920-х гг., имеющих то же имя и соотносимых с героем «Подвига», — обреченного на гибель интеллигента-мученика Мартина Мартиновича из рассказа Е. И. Замятина (1884—1937) «Пещера» (1922) и алчущего подвигов «плохого коммуниста» из пролетарского романа В. М. Бахметьева (1885—1963) «Преступление Мартына» (1928).

...петербургского помещика Индрикова... — Индрик — в русской мифологии чудесный зверь, «всем зверям отец», который иногда отождествляется с единорогом. В духовных стихах о «Голубиной книге» он наделен свойствами хозяина водной стихии, источников и колодцев: «И он копал рогом сыру мать-землю, / Выкопал ключи все глубокие, / Доставал ключи все кипучие» (Цит. по: А. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. М.: Издание К. Солдатенкова, 1868. Т. 2. С. 553). Связь главного героя «Подвига» с его мифологическим предком выявляется в целом ряде сцен, где подчеркнута его причастность к водной стихии, особенно к ручьям, потокам и тающему снегу.

С. 98. ...и находила совершенно особое удовольствие в частых посещениях Дрюса... — Речь идет о Новом Английском магазине, находившемся на Невском проспекте, 15.

...Софья Дмитриевна как чумы боялась «Задушевного Слова»... — «Задушевное слово» — популярный детский журнал (выпускался с 1877-го по 1918 г.).

...к титулованным смуглянкам Чарской... — Лидия Алексеевна Чарская (настоящая фамилия Чурилова, 1875—1937) — некогда одна из самых известных писательниц для детей, автор многих повестей о жизни воспитанниц закрытых учебных заведений. «Титулованные смуглянки» — намек на повесть «Княжна Джаваха» (1903).

С. 99. ...волшебным происхождением разнясь от Волковых, Куницыных, Белкиных... — Этот ряд фамилий исподволь вводит в роман важную для него пушкинскую тему, поскольку отсылает к «Повестям покойного И. П. Белкина» (1830) и к любимому учителю Пушкина А. П. Куницыну (1873—1841), упомянутому в рукописном тексте «19 октября» (1825) («Куницыну дань сердца и вина! /

Он создал нас, он воспитал наш пламень...») и в незаконченном стихотворении к лицейской годовщине 1836 года («И мы пришли. И встретил нас Куницын / Приветствием меж царственных гостей...»). В фамилии Волков можно усмотреть намек на «тригорских барышень», урожденных Вульф (от *нем.* Wolf — «волк») и их брата А. Н. Вульфа (1805—1881), с которым Пушкина связывали близкие отношения.

...с ее побасками, спицами и тоской. — Отсылка к двум стихотворениям Пушкина: «Зимний вечер» (1825) и неоконченному «Няне» (1826). Оба они отзываются в финале романа, где появляется синица (ср. «Спой мне песню, как синица / Тихо за морем жила»), а сама ситуация застывшего ожидания и ее открытость явно перекликаются с «Няней»: «Глядишь в забытые вороты / На черный отдаленный путь: / Тоска, предчувствия, заботы / Теснят твою всечасно грудь».

Еруслан — богатырь, персонаж известной лубочной «Сказки о Еруслане Лазаревиче», пришедшей на Русь из Персии. Его имя воспринималось как производное от «Русь», «русский», и к нему обычно возводят имя главного героя пушкинской поэмы «Руслан и Людмила» (1820) — очень важного подтекста «Подвига».

...густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. — Благодаря своей двухмерной природе акварельная картина («текст в тексте») делается моделью художественного пространства романа (пространства, с точки зрения героев, трехмерного). Изображенная на картине тропинка выступает в роли инварианта мотива «пути», актуализируемого за пределами «текста в тексте». В числе главных его вариантов следует назвать *тропинку* (в лесу возле усадьбы швейцарского дяди Мартына или в воображаемом Мартыном лесу по ту сторону советской границы), *дорогу* (дорога из Адреиза; дорога со станции в Биарриц из детских воспоминаний Мартына; дорога, ведущая к дому Генриха Эдельвейса), *лунную стезю* в море, предвещающую герою скорое начало изгнания, *Млечный Путь* и *реку*, с которой трижды сопоставляется жизненный путь героя.

...перебрался из постели в картину, на тропинку, уходящую в лес. — Вероятно, Софья Дмитриевна читает Мартыну английский перевод сказки «Оле-Лукойе» датского писателя Ханса Кристиана Андерсена (1805—1875). Ср.: «Над комодом висела большая картина в золоченой раме; на ней была изображена красивая местность: высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо чудных дворцов, за лес, в далекое море. Оле-Лукойе дотронулся волшебною спринцовкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу; видно было даже, как скользила по картине их тень. Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву» (перевод А. Ганзен).

С. 100. ...причем какого-то Якова мы оставляли должникам нашим... — Обыгрывается детское непонимание церковнославянского «якоже» (так же как). Ср. в молитве: «...и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

...старая, мудрая госпожа Брук... — отсылка к одному из любимых английских поэтов Набокова Руперту Бруку (1887–1915), чья значимая фамилия (*букв.*: «ручей»), романтический образ отважного искателя приключений и ранняя смерть во время экспедиции английского военного флота могут быть соотнесены с путем/подвигом героя романа. В 1922 г. Набоков опубликовал большое эссе о Бруке, включив в него ряд переводов его стихов (см. том I наст. издания).

С. 101. ...племянник, быть может, сэра Тристрама... — Сэр Тристрам Лионский — персонаж книги сэра Томаса Мэлори (1417–1471) «Смерть Артура» («Le Morte Darthur», 1469) и множества других произведений о рыцарях Круглого Стола.

...общества спальных вагонов и великих международных экспрессов... — Речь идет о конторе Международного общества спальных вагонов (Société des Wagons-Lits et des Grands Express Européens), находившейся на Невском проспекте, 5.

Это было как раз в год, когда убили в сарае австрийского герцога... — То есть в 1914 г., в год убийства в Сараеве эрцгерцога Франца Фердинанда (1863–1914), наследника австро-венгерского престола.

С. 102. ...«Я получила письмо от Зиланова»... — Зилан, согласно Толковому словарю В. Даля, «белая змея, сказочный змеиный царек». Если Индрик, Руслан и Мартынка — это сказочные прототипы героя романа, то белая змея — сказочный прототип героини, Сони Зилановой (ср. ее характерные признаки — тусклые глаза и виляющую походку). Белые змеи в фольклоре стерегут живую воду; в них могут превращаться околдованные девы и «белые жены», причем в этом случае герой совершает подвиг их избавления. Мотив прекрасной царевны, превратившейся в змею, аналогичен мотиву «спящей красавицы», к которому отсылает имя «Соня».

...затем долго блуждал по Воронцовскому парку... — По приезде в Крым Эдельвейсы останавливаются в Алупке или ближайших ее окрестностях. Именно там находилось имение светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова (1782–1856) со знаменитым дворцом и парками: верхним, у самого подножия Ай-Петри, и нижним, спускающимся к морю (см. том I наст. издания: стихотворение Набокова «Береза в Воронцовском парке», 1923). Эти места связаны с Пушкиным, который часто бывал здесь в годы южной ссылки.

С. 104. Биарриц — французский курорт вблизи испанской границы.

Круа-де-Мугер (Croix-de-Mouguére) — памятник в форме распятия на вершине горы в 10 километрах к юго-востоку от Байонны, старинного города в Гаскони, близ Биаррица. Воздвигнут в память о подвигах французской армии, сражавшейся здесь против вторгшихся во Францию объединенных войск Англии, Испании и Португалии (1812—1813) под командованием герцога Веллингтона (1769—1852). Со смотровой площадки у памятника открывается великолепный вид на Байонну, Бискайское побережье и Пиренеи.

...галерейки Байонны. — По всей видимости, одна из главных достопримечательностей города: монастырский дворик с тремя галереями, памятник архитектуры XIV в.

С. 106. Адреиз — вымышленное название, образованное по модели реальных крымских топонимов: Симеиза, Кореиза и Олеиза. Названия эти были хорошо известны Набокову: Олеиз появляется как помета под одним из его крымских стихотворений («После грозы», 1920), Кореиз — в книге воспоминаний: «Мы осели в Гаспре, около Кореиза» (см. «Другие берега», гл. 11 (4)).

...на повороте узкой кремнистой дороги... — реминисценция первой строфы знаменитого предсмертного стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841) («Выхожу один я на дорогу; / Сквозь туман кремнистый путь блестит; / Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, / И звезда с звездою говорит»), подготовленная использованием словосочетания «сквозь туман» в последнем абзаце предыдущей главы. В русской поэзии XIX в. лермонтовский образ кремнистого (каменистого) пути (дороги) закрепился как основополагающая метафора духовного странствия/испытания, сопряженного с самопожертвованием и страданием (аналог крестного пути) и ведущего к мученической смерти/бессмертию.

«Э, да это — Умерахмет»... — Мотив смерти в английской редакции передан более явно: «Aha, must be Deadman the Tartar» (*букв.*: «Ага, должно быть, Мертвец-Татарин») и далее: «And I say you are Deadman-Akhmet» (*букв.*: «А я говорю, ты — Мертвец-Ахмет»). Ср. стихотворение Н. С. Гумилева «Паломник» (1911): «Ахмет, Ахмет, тебе ли, старику, / Пускаться в путь неведомый и чудный?»

С. 108. баута — (от *ит.* bautta) черный плащ с широким капюшоном, который скрывает лицо.

дормез — (от *фр.* dormir) большой, удобный дорожный экипаж, в котором во время езды можно спокойно спать.

В бытность свою капитаном... он... один отбивал напор бунтующего экипажа. — В романтических грезах Мартына слышны отголоски стихотворения Гумилева «Капитаны» (1909): «Или, бунт

на борту обнаружив, / Из-за пояса рвет пистолет...» По наблюдению В. Александрова, героические мотивы поэзии Гумилева и его биографии (прежде всего путешествия и расстрел) значимы для «Подвига» в целом, поскольку с ними перекликаются основные темы романа (см.: В. Александров. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика. СПб.: Алетейя, 1999. С. 266–270).

Его посылали в дебри Африки разыскивать Ливингстона, и, найдя его наконец... он к нему подходил с учтивым поклоном, щеголяя сдержанностью. — Давид Ливингстон (1813–1873) — английский миссионер и путешественик, пропавший во время экспедиции к истокам Конго. На поиски Ливингстона был направлен журналист Генри Стэнли (1841–1904), который в конце концов обнаружил его в селении Уджиджи, на берегу озера Танганьика. При встрече Стэнли учтиво обратился к Ливингстону со знаменитой фразой: «Dr Livingston, I presume?» («Полагаю, вы доктор Ливингстон?»), считающейся образцом британской сдержанности.

С. 109. ...к скалам (прозванным ею «Айвазовскими»)... — Согласно справочнику «Россия. Полное географическое описание нашего отечества», в окрестностях Алупки действительно есть скала Айвазовского. Упоминание имени Айвазовского может быть интерпретировано и как новая отсылка к Пушкину. Как известно, Айвазовским написаны полотна «А. С. Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал» (1880) и «Прощание Пушкина с морем» (1887, в соавторстве с И. Е. Репиным).

С. 110. «Мечта Любви» — мелодрама А. И. Косоротова (1868–1912).

«Ты помнишь ли — у моря мы сидели...» — романс на стихи неизвестного автора: «Ты помнишь ли — у моря мы сидели, / Горел закат багровой полосой; / И песнь любви нам тихо волны пели / И пенились под нашею скалой».

Яйла — то же, что Крымские горы.

мускат-люнель — тонкое десертное вино (по названию города Люнель (Lunel) в департаменте Эро, во Франции).

цареградская стезя — морской путь, которым Русь ходила на Царьград.

С. 111. ...дрожащими алмазными огнями играла Ялта. — Ср. стихотворение Набокова «Крым» (1921): «...Вдалеке, / меж гулким морем и горою, / огни в знакомом городке, / как горсть алмазных ожерелий, / небрежно брошенных, горели / сквозь дымку зыбкую...»

С. 112. ...станция почему-то звалась Негритянкой... — Железнодорожная станция Биаррица расположена в трех километрах от центра города, в квартале, который называется La Negresse (*букв.*: «негритянка»).

...толстый беньер-баск... — Беньер (от *фр.* baigneur) — тот, кто следит за купальщиками.

С. 113. ...с английской надписью на ленте вокруг тульи (Его Величества «Непобедимый»)... — То есть «H. M. S. *Indomitable*». Появление этой надписи мотивируется темой героического, чья проявленность в начальных главах романа исключительно велика.

Курфюрстендам — центральная улица в западной части Берлина. Когда в начале 1920-х русские эмигранты поселились в кварталах, к ней прилегающих, улицу в шутку прозвали «проспектом Курфюрста», или «Курфюрстендамским проспектом».

«Винтергартен» — берлинское кабаре, находившееся против вокзала Фридриха.

Шарлоттенбург — город к западу от Берлина, слившийся к началу XX в. с его предместьями.

С. 113—114. Норд-Экспресс, обрусев в Вержболове... стал по-новому степенным, широкобоким... — Вержболово — приграничная станция на Санкт-Петербургско-Варшавской железной дороге. Так как рельсовая колея в России и Европе неодинакова (1520 и 1435 мм шириной), поездам на границе по сей день меняют поворотные тележки.

С. 115. ...формула дальних странствий не могла вместить их растерянность... — Сходное выражение «Муза Дальних Странствий», приравнивающее путешествие к поэтическому тексту, появляется в стихотворении Гумилева «Открытие Америки» (1910), герой которого — Христофор Колумб. Ср.: «А за ними поднимает взор / Та, чей дух — крылатый метеор, / Та, чей мир в святом непостоянстве, / Чье названье — Муза Дальних Странствий». Там же: «Мой высокий подвиг я свершил».

С. 116. ...а среди матросов был один Сильвио, американский испанец... — Тем же именем назван герой повести Пушкина «Выстрел» (1830), чью судьбу, по словам рассказчика, окружала «какая-то таинственность».

С. 117. чоппи — (*англ.* choppy) неспокойное.

...строго взглянув на Мартына... — В журнальной публикации фраза выглядит так, а в изданиях 1932-го и 1974 гг., видимо, опечатка — «взглянулъ».

Ее любимыми поэтами были Поль Жеральди и Виктор Гофман... — Поль Жеральди (1885—1983) — французский драматург, беллетрист и поэт, чьи многочисленные произведения в разных жанрах — не лишенные известного остроумия и изящества — отличаются большой легкомысленностью. В 1910—1920 гг. во Франции популярность приобрел его сборник любовной лирики «Ты и я» («Toi et moi», 1913), состоящий из игривых посланий к неверной возлюбленной. Название другой книги стихов Жеральди «Мелкие души» («Les petites âmes», 1908) может быть соотнесено с целым рядом второстепенных и эпизодических персонажей «Подвига» (поручик Мелких, братья Пти). Виктор Гофман (1884—1911) — поэт-символист второго ряда, подражатель

Брюсову и Бальмонту, которого один из рецензентов назвал «дамским поэтом». Гофман — автор «Книги вступлений. Лирика. 1902—1904» (1905), книги стихов «Искус» (1909), книги «Любовь к далекой. Рассказы и миниатюры 1909—1911» (1912). Находясь в Париже, он неожиданно покончил жизнь самоубийством; его трагическая гибель породила в кругу символистов легенду о «сгоревшем поэте», «звезде вечерней» и т. п.

...ее же собственные стихи, такие звучные, такие пряные, всегда обращались к мужчине на «вы»... — Характеристика поэтических опусов Аллы Черносвитовой, как и фрагмент ее стихотворения, высмеивают общие места женской поэзии Серебряного века и могут быть соотнесены с произведениями целого круга «декадентских» поэтесс: Мирры Лохвицкой (1869—1905), Екатерины Галати (1873—1942), Натальи Грушко (1892—1974), Веры Инбер (1890—1972) и пр.

С. 118. «...Смешаются с песком красивые тела». — Как отметил сам Набоков на полях принадлежавшего ему экземпляра «Подвига», эта строка представляет собой пародию на Георгия Иванова. Г. Шапиро в своей статье указывает прямой адресат пародии — стихотворение «Зеленою кровью дубов...» из сборника «Сады» (1921), где есть строка: «Прекрасное тело смешается с горстью песка» (G. Shapiro. From Nabokov's Private Library // The Nabokovian. 1999. № 42. P. 26—31).

«Песни Билитис» («Les Chansons de Bilitis», 1891) — сборник стихотворений в прозе французского писателя Пьера Луйса (1870—1925), выданных им за переводы недавно обнаруженных текстов неизвестной доселе древнегреческой поэтессы. Книга состоит из трех частей, каждая из которых соответствует определенному периоду фиктивной биографии Билитис — сначала пастушки, обманутой любовником, затем подруги Сафо на Лесбосе, где она познала прелести лесбийской любви, и, наконец, куртизанки на Кипре. Стилизованные эротические описания женского тела и сладострастных утех в духе «нового язычества» и «раскрепощения плоти» носят у Луйса весьма откровенный характер, благодаря чему его книга приобрела скандальную известность. На русском языке «Песни Билитис» вышли в 1907 г. в переводе А. А. Кондратьева (1876—1967).

...грешных сонетов в пять дактилических строф... — Здесь предметом насмешки Набокова являются характерные для дилетантской поэзии «в декадентском духе» псевдосонеты, в которых нарушена классическая сонетная форма. О подобных «сонетах», состоящих «из десяти строф» (вместо обязательных двух катренов и двух терцетов) или написанных гекзаметром (вместо традиционного ямба), Набоков писал в рецензии на книгу Бенедикта Дукельского, заметив, что их авторами «были обыкновенно дамы» (см. том II наст. издания). Деформация сонетной формы

встречается и у целого ряда профессиональных поэтов начала XX в. (ср. «сонет с кодой» Георгия Иванова (1894–1958) «Уличный подросток», 1916).

С. 119. алектор — (от *греч.* αλεκτωρ) петух.

«Эх, были когда-то и мы рысаками» — парафраза пятого стиха из «Пары гнедых» (изд. 1895) А. Н. Апухтина (1840–1893). Текст романса восходит к французскому подлиннику, авторство которого принадлежит С. И. Донаурову (1838–1897), русскому поэту, переводчику, композитору, написавшему музыку на некоторые из стихотворений Апухтина.

...доведенный до крайности муж мог подкрасться с наточенной бритвой. — Ироническая отсылка к эпизоду из «Вечного мужа» (1870) Ф. М. Достоевского.

С. 121. ...портрет лэди Гамильтон... — Имеется в виду Эмма Гамильтон (урожденная Лайон, 1761–1815), прославленная английская красавица, жившая на содержании многих состоятельных и знатных мужчин (в том числе художника Джорджа Ромни (1734–1802), написавшего несколько ее портретов). Вышла замуж за сэра Уильяма Гамильтона, британского посла в Неаполе. В браке стала любовницей адмирала Нельсона (1758–1805), родила от него дочь.

С. 122. ...да уж слишком «скорая», как выражаются англичане... — «Скорая» — буквальный перевод слова fast в значении «распутный, распущенный, экстравагантный».

«Швейцарский Робинзон» («Der Schweizerische Robinson, oder der schiffbrüchige Schweizer-Prediger und seine Familie», 1812–1827) — сочинение швейцарского пастора Иоганна Рудольфа Висса (1782–1830).

С. 124. ...мраморные сны с древнегреческими жрецами... — вероятно, намек на цикл стихов М. А. Лохвицкой «Под небом Эллады», включенный в состав ее первого сборника — «Стихотворения» (1896).

С. 126. тустэп — (от *англ.* two-step) танец, популярный в Соединенных Штатах перед Первой мировой войной.

С. 131. кэк-уок — (от *англ.* cake-walk) танец американских негров, вошедший в моду в начале XX в. Неоднократно упоминается в стихах и прозе Андрея Белого, видевшего в этом танце симптом и символ духовного разложения и наступления современного «дикарства». Ср.: «Кэк-уоком пошли мы по жизни»; «Плясал безумный кэк-уок, / Под потолок кидая ноги».

С. 132. Бель-Ами — Милый Друг (он же Жорж Дюруа) — главный герой одноименного романа Ги де Мопассана («Bel-Ami», 1885).

«Звезда. Туман. Бархат, бар-хат»... — Образы звезды и тумана восходят к стихотворению «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова (так или иначе присутствующему на фоне всякого размышления

Мартына о путешествии). Сравнение ночного неба с бархатом восходит к русской загадке «Написана грамотка / по синему бархату...» (А. Афанасьев. Указ. соч., 1865. Т. 1. С. 52), которая наделяет звезды свойством божественного текста на загадочном языке и тем самым обнаруживает некоторое сходство с лермонтовским образом «говорящих звезд» (см. также прим. к с. 106).

С. 134. ...зарабатывает [на] жизнь карточной игрой... — Во всех прижизненных изданиях предлог «на» отсутствует, вероятно опечатка.

С. 136. Стоюнинская гимназия — женская гимназия в Петербурге, открытая в 1881 г. Марией Николаевной Стоюниной (1846–1940), женой Владимира Яковлевича Стоюнина (1826–1888), прославленного педагога и методиста-словесника. Гимназия находилась в наемном доме на Кабинетской улице, 20.

С. 137. плам-пудинг — (от *англ.* plum pudding) традиционное рождественское блюдо в Англии, с изюмом, цукатами и пряностями.

...плыли по воздуху радужные паутинки, которые дядя Генрих называл волосами Богородицы. — Осенняя паутина, летающая в воздухе, у народов Западной Европы обычно ассоциируется с пряжей или волосами Девы Марии и получает соответствующие названия — *нем.* Marienfaden, Mariengarn, *среднелат.* fila divae Virginis, *фр.* chevaux или fils de la Vierge (А. Афанасьев. Указ. соч., 1869. Т. 3. С. 134).

С. 139. «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса» — третий и четвертый стих седьмой строфы пушкинской «Осени» (1833).

...будь он сам Томпсон, объявивший войну атому... — Сэр Джозеф Джон Томсон (1856–1940) — английский физик, лауреат Нобелевской премии (1906), создатель одной из первых моделей атома.

С. 140. крест Виктории — британский орден за храбрость, учрежденный в 1856 г. королевой Викторией. «Среди бронзового креста находится... корона, над которой изображен лев; под короной на ленте стоят слова: "For Valour"» (Энциклопедический словарь. СПб.: Издание Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. 1892. Т. 6. С. 292). Первые кресты, появившиеся во время Крымской кампании (1853–1856), были вылиты из бронзы трофейных русских орудий.

колледж Троицы (Trinity College) — один из крупнейших колледжей Кембриджского университета, основанный в 1546 г. Генрихом VIII.

С. 142. ...волшебный источник живой воды. — Исподволь получает развитие сказочный мотив (ср. поэму «Руслан и Людмила»).

...и потому он любил Карляйля. — Томас Карлейль (1795–1881) — английский философ-трансценденталист и писатель,

автор прославленного исторического труда «Французская революция» («The French Revolution», 1837), который Набоков в своем комментарии к «Евгению Онегину» (1964) назвал великолепной книгой.

С. 143. ...пустая беседа о погоде и спорте между Горацием и Меценатом... — Подразумевается фрагмент из «Вот в чем желания были мои...» («Сатиры», II, 6) Горация: «Спросит: “Который час дня?”, иль: “Какой гладиатор искусней?” / Или заметит, что холодно утро и надо беречься...» (перевод М. Дмитриева).

...или грусть старого Лира, произносящего жеманные имена дочерних левреток, лающих на него! — Из трагедии У. Шекспира «Король Лир» (акт III, сц. 6). В подлиннике: «The little dogs and all, / Tray, Blanch and Sweethart, — see they bark at me». («Все маленькие шавки, Трей, и Бланш, / И Милка, лают на меня. Смотрите...» — перевод Б. Пастернака.)

...в Новом Завете Мартын любил набрести на «зеленую траву»... — Зеленая трава появляется в Евангелии от Марка: «Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве» (Марк. 6: 39).

...«кубовый хитон»... — Цвет хитона Иисуса Христа, который делили распявшие его воины, в Евангелии не указан. Сказано лишь, что он «был не сшитый, а весь тканый сверху» (Иоанн. 19: 23). Прилагательное «кубовый» (ярко-синий) не употребляется ни в церковнославянской, ни в русской Библии. Очевидно, Набоков прибегает здесь к обратной стилизации, используя редкое слово для создания архаизированного колорита.

...и раз назвал Кальдерона шотландским поэтом. — Ошибка мотивирована поэтическим названием Шотландии — Каледония. Кальдерон де ла Барка (1600—1681) — испанский драматург, известный прежде всего как автор философской пьесы «Жизнь есть сон» («La vida es sueño», 1636). К слову, был и английский драматург Джордж Кальдерон (1868—1915).

...дядя декламировал со всхлипом «Озеро»... — Имеется в виду хрестоматийная элегия «Le Lac» (1820) французского поэта-романтика Альфонса де Ламартина (1790—1869), поэзия которого для Набокова была образцом сентиментально-романтических банальностей. В контексте «Подвига» его «водянистое» (в обоих смыслах слова) стихотворение, где поэт вспоминает о лодочной прогулке с возлюбленной по озеру и оплакивает потерянное счастье, противопоставляется пушкинской «Осени» с ее открытым финалом («Куда ж нам плыть?»).

...ощутил на своих щеках Байронову бледность и увидел себя в плаще. — Набоков обыгрывает ироническую характеристику Евгения Онегина: «Москвич в Гарольдовом плаще» (7, XXIV), отсылающую к поэме Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» («Childe Harold’s Pilgrimage», 1818). Мартын как бы примеряет

к себе роль поэтического изгнанника в духе байронической традиции и ее отзвуков в русской литературе, особенно у Пушкина и Лермонтова.

С. 144. Эпиграф из Китса («Создание красоты — радость навеки»)... — начальный стих поэмы Джона Китса «Эндимион» («Endymion», 1817): «A thing of beauty is a joy forever...»

С. 145. «Голодай» — остров в Петербурге, лежащий к северу от Васильевского, от которого он отделен небольшой речкой.

...Мун поднял брови, справился в словаре... — Мун, конечно, справляется в словаре Даля: «По Волге говорят: дрейфить, робеть, пятиться, отступаться от дела, не устоять».

С. 146. кантина — (от *англ.* canteen) столовая.

...русского студента, которого все называли... Вадим... — Согласно Б. Бойду, прототипом Вадима послужил Набокову его кембриджский однокашник, великий князь Никита Романов (*B90.* P. 175).

...собирается ли он ехать к Юденичу. — Мартын, как можно судить из вопроса, поступает в Кембридж осенью 1919 г. (28 сентября 1919 г. Северо-Западная армия начала наступление на Петроград, 20 октября приблизилась к столичным окраинам, но вскоре была отброшена, а к концу 1919-го и вовсе вытеснена в Эстонию.)

С. 147. Ее рассмешили «обезьянья» фамилья приятеля Мартына и диалоги, которые Дарвин вел... — «Обезьянья» фамилия Дарвина отсылает к Чарлзу Роберту Дарвину (1809—1882), создателю теории происхождения видов, которую Набоков считал неверной. Как бы опровергая эту теорию, «сильный» Дарвин в романе духовно деградирует, тогда как «слабый» Мартын, напротив, переживает духовный рост.

С. 148. «Приятно зреть, когда большой медведь ведет под ручку маленькую сучку»... — Обсценная концовка стихотворения опущена в редакции 1932 г. и в издании 1974 г. В английском переводе романа она присутствует: «...чтоб ее поеть».

С. 149. ...празднуя годовщину порохового заговора... — Пороховой заговор (Guy Fawkes Night) — английский праздник, отмечаемый 5 ноября в память о неудавшемся покушении на Якова I Стюарта. План заговорщиков заключался в том, чтобы взорвать порохом здание парламента, на открытии которого ожидалось присутствие короля. 5 ноября 1605 г. заговор был раскрыт и заговорщики во главе с Гаем Фоксом схвачены.

...обрывки каких-то анонимных стихов, приписываемых Лермонтову. — Как известно, Лермонтов был автором нескольких скабрезных поэм («Петергофский праздник», «Уланша» и «Гошпиталь», 1834), и ему обычно приписывался ряд сочинений того же рода.

С. 150. пайпа — (от *англ.* paper) газета.

С. 151. биместр — (от *лат.* bimestris) двухмесячный. Здесь: часть академического года.

...вот — письмо от девятого ноября, дня его именин: «В этот день, — писал Мартын, — гусь ступает на лед, а лиса меняет нору». — Набоков контаминирует два Мартыновых дня по народному календарю и, соответственно, две приметы, с ними связанные: весенний день Мартына-лисогона (14/27 апреля), когда, согласно «Месяцеслову» Даля, «лиса ⟨...⟩ переселяется в новую нору», и осенний Мартынов день (9/22 ноября), который предвещает сильную оттепель после первых морозов и позднюю зиму, если «гусь ступает на лед». Последнюю примету, очевидно, имел в виду Пушкин в четвертой главе «Евгения Онегина», где описаны первые ноябрьские морозы: «На красных лапках гусь тяжелый, / Задумав плыть по лону вод, / Ступает бережно на лед».

С. 152. Крестовский остров — один из четырех островов невской дельты, которые составляют парковый район Петербурга.

пульце — согласно словарю В. Даля — «кожаная мочка, стремя на лыжах для ноги».

Вот эти великолепные ковры — из пушкинского стиха, который столь звучно читает Арчибальд Мун, упиваясь пеонами. — Имеется в виду стихотворение Пушкина «Зимнее утро» (1829), в котором есть три пеонических стиха (13-й, 14-й и 25-й).

С. 153. Толстый учебник Маршаля по политической экономии... — Дарвин, по всей видимости, читает «Принципы политической экономии» («Principles of Economics», 1890) английского ученого Альфреда Маршалла (1842–1924), одного из основателей неоклассической школы экономики.

С. 154. ...играющий... в рюхи... — Рюхи — согласно словарю В. Даля, то же, что городки. См. также прим. к с. 546.

...дрался на дуэли с октябристом Тучковым. — Подразумевается Александр Иванович Гучков (1862–1936) — видный политический деятель, лидер «Союза 17 октября», председатель Третьей Государственной думы. После одного из скандалов в Думе его вызвал на дуэль лидер кадетов П. Н. Милюков (1859–1943), но поединка удалось избежать.

С. 157. ...в шелковой рубашке с набористой грудью... — Набористый — согласно словарю В. Даля — «пышный... богатый борами, складками».

С. 158. Тенериффа... какое дивно зеленое слово! — Согласно синестетической азбуке Набокова, пастельное Т и пыльно-ольховое Ф входят в зеленую группу (см. начало второй главы «Других берегов»).

С. 159. ...по дороге в Сен-Клер... — В окрестностях Лозанны есть деревня Вийар-Сант-Круа (Villars-Sainte-Croix), Сен-Клер же Набоковым вымышлен.

С. 160. ...неполной восьмеркой пробегала ящерица... — Часто встречающийся у Набокова образ, отсылающий к так называемой «лемнискате» — математическому символу бесконечности. Ср., к примеру, «Бледный огонь» («Pale Fire», 1962): «In sleeping dreams I played with other chaps / But really envied nothing — save perhaps / The miracle of a lemniscate left / Upon wet sand by nonchalantly deft / Bicycle tires» (в переводе Веры Набоковой: «Во сне я играл с другими детьми, / но по правде не завидовал ничему — разве что / чуду лемнискаты, отпечатанной / на влажном песке небрежно — проворными / шинами велосипеда»).

С. 161. ...умерла от родов в Бриндизи... — Бриндизи (Брундизий) — приморский город в Апулии, место смерти Вергилия, возвращавшегося в Рим после путешествия в Грецию, где он думал закончить начатую за одиннадцать лет до того «Энеиду». Поездка в Брундизий описывается в «После того, как оставил я стены великого Рима...» («Сатиры», I, 5) Горация, сопровождавшего Мецената (в свите которого был тогда и Вергилий).

С. 164. «Как же я сам буду умирать?» — Ср. шестую строфу стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829): «И где мне смерть пошлет судьбина? / В бою ли, в странствии, в волнах? / Или соседняя долина / Мой примет охладелый прах?» Эти же слова приходят на память Пнину и герою рассказа «Занятой человек» (1931): «Я, скажем, брожу по улицам... В бою ли, в странствии, в волнах. Или соседняя долина...»

С. 165. Брайтон — морской курорт в Восточном Суссексе.

С. 167. ...спускаясь... в столовую, пить цикуту... — Цикута (*лат.* Cicuta virosa) — ядовитая трава, на которой, по преданию, был настоян смертоносный напиток Сократа. Отсюда выражение «выпить цикуту» в значении «добровольно принять яд», «принять казнь».

...все швейцарцы кретины... — еще одна отсылка (на этот раз — ироническая) к «Толковому словарю живого великорусского языка». Согласно Далю, «кретины» — «юродивые горных стран Европы».

С. 168. Ливерпуль-стрит — один из вокзалов Лондона.

...Мун таков оттого, что предан уранизму. — Уранизм — то же, что гомосексуализм.

...однажды Мун... погладил его по волосам... — О характере сексуальных пристрастий Муна говорит его фамилия, воскрешающая в памяти заглавие книги В. В. Розанова (1856–1919) «Люди лунного света» (1911) (от *англ.* moon — «луна»). Любопытно, что Мун выбирает эпиграфом к своей недописанной книге стих из

«Эндимиона» — поэмы о юноше, влюбленном в луну (см. прим. к с. 144).

С. 169. *бэдекер* — путеводитель (по имени лейпцигского издателя Карла Бедекера, 1801–1859).

С. 170. *...бои в Крыму давно кончились...* — Бои в Крыму кончились 17 ноября 1920 г. со взятием красными Ялты.

...воображал георгиевскую ленточку... — Орден Святого Георгия — российский орден, учрежденный в 1769 г. Екатериной II для «награждения отличных военных подвигов и в поощрение в военном искусстве». На георгиевской ленте (о трех черных и двух желтых полосах) неоднократно жаловались медали за походы и отдельные военные действия (Энциклопедический словарь. СПб.: Издание Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. 1893. Т. 8. С. 429–430). Гумилев был награжден двумя орденами Святого Георгия — третьей и четвертой степени. (Ср.: «Но святой Георгий тронул дважды / Пулею не тронутую грудь».)

...и Соню, встречающую его на вокзале Виктории. — Лондонская топонимика здесь входит в соответствие с темой героического: Мартын представляет себе, как после боев в Крыму он прибудет на вокзал Виктории, то есть — буквально — Победы.

С. 174. *инфлюэнца* — (от *ит.* influenza) то же, что и грипп.

С. 176. *Тэдди, добрейший, легчайший Тэдди...* — Прототипом Тэдди служит граф Робер де Калри, университетский приятель Набокова. Вместе с ним Набоков совершил поездку в Швейцарию, во время которой, возвращаясь из Санкт-Морица, навестил свою бывшую гувернантку Сесиль Миотон (*B90.* P. 188).

...настоящий, старинный теннис, в который игрывали короли... — Имеется в виду английская игра в мяч в закрытом помещении со стенами неправильной формы: так называемый real tennis (настоящий теннис) или royal tennis (королевский теннис). Она ведет свое происхождение от средневековой игры jeu de paume (*букв.*: «игра ладони»).

...его неожиданные припадки меланхолии и самобичевания, его любовь к Леопарди и снегу... — Граф Джакомо Леопарди (1798–1837) — итальянский поэт-романтик, чьи стихи и прозаические сочинения проникнуты идеей infelicitá — универсального зла как источника вечных страданий всего живого.

Оба были итонцы... — Итон — привилегированный английский колледж, основанный в 1440–1441 гг. Генрихом VI.

...а в Итоне своя особая игра в мяч, заменяющая футбол. — В Итоне есть несколько игр с мячом: Eton fives, Eton field game и Eton wall game. Две последние игры отчасти напоминают футбол.

С. 177. *тобоган* — бесполозные сани канадских индейцев.

С. 179. *хафтайм* — (от *англ.* half-time) перерыв между таймами футбольного матча.

С. 181. ...тут были кувшинные рыла... — Кувшинное рыло — прозвище Ивана Антоновича, чиновника из «Мертвых душ» (1842).

...и бурбонские носы... — Бурбонский нос (от *фр.* nez bourbonien) — длинный нос с горбинкой, отличительная черта династии Бурбонов.

...о Баратынском... — Упоминание Баратынского актуализирует несколько существенных подтекстов романа: «Отрывки из поэмы “Воспоминания”» (1820) и «Запустение» (1834). «Запустение» содержит перекликающиеся с «Подвигом» мотивы осеннего возвращения в «заглохший элизей», мотивы троп и дорожек и — что значимее всего — загробной встречи с отцом и обретения «бессмертной / бессрочной весны». «Воспоминания» заключают в себе фрагмент: «Так, перешедши жизнь незнаемой тропою, / Свой подвиг совершив, усталою главою / Склонюсь я наконец ко смертному одру».

...о Лорис-Меликове. — Граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов (1825—1888) — генерал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг., министр внутренних дел (1880—1881), инициатор значительных общественных преобразований.

С. 184. ...свежий номер юмористического журнала с носатым, крутогорбым Петрушкой на обложке... — Имеется в виду журнал «Панч», названный по имени комического персонажа английского народного театра, схожего с русским Петрушкой.

...будет, как Отелло, рассказывать, рассказывать... — Имеется в виду монолог Отелло, в котором он объясняет, что ему удалось завоевать любовь Дездемоны рассказами о своей жизни и странствиях (акт I, сц. 3): «...I spoke of most disastrous chances; / Of moving accidents by flood and field; / Of hair-breadth scapes i' the imminent deadly breach; / Of being taken by the insolent foe, / And sold to slavery; of my redemption thence, / And with it all my travels' history...» (В переводе Б. Пастернака: «Припоминал лишенья и труды, / Испытанные на море и суше, / Рассказывал, как я беды избег / На волосок от смерти. Как однажды / Я в плен попал, и в рабство продан был, / И спасся от неволи...»)

С. 185. ...прощай, прощай... — первое появление повтора, который в финале романа станет рефреном. Среди его возможных литературных источников следует прежде всего указать на аналогичные конструкции у трех авторов, ранее названных в тексте романа, — у Шекспира («В футбол... играли и во времена Шекспира», с. 146; см. также отсылки к «Королю Лиру» и «Отелло»: с. 143, 184), у Байрона (см. прим. к с. 143) и у Баратынского (см. прим. к с. 181). В «Гамлете» этими словами призрак отца прощается с сыном: «Adieu, adieu, adieu. Remember me» («Прощай, прощай и помни обо мне!»); они повторяются в прощальной песне Чайльд Гарольда, которую неоднократно цитировал Пушкин

(ср. песнь I, строфу XIII «Паломничества Чайльд Гарольда»: «Adieu, adieu! my native shore» — *букв.*: «Прощай, прощай, мой родной берег»); наконец, в «Осени» Баратынского ими поэт прощается с летом: «Прощай, прощай, сияние небес! / Прощай, прощай, краса природы! / Волшебного шептанья полный лес, / Златочешуйчатые воды». (См. также прим. к с. 181.) Все три цитаты связаны с важными для романа темами — встречи с умершим отцом, изгнания и осени.

...отходит поезд на север... — Мотив пути на север перекликается с четвертой песнью «Руслана и Людмилы»: «Зима приблизилась — Руслан / Свой путь отважно продолжает / На дальный север...». Ср. также начало неоконченного стихотворения Пушкина «Фазиль-Хану» (1829): «Благословен твой подвиг новый, / Твой путь на север наш суровый».

С. 187. ...горсточку текучего золота... — Ударный слог в слове «гОРсточка» может быть соотнесен с французским or (золото) — характерная для стиля Набокова актуализация иноязычного слова через его рядом стоящий русский эквивалент.

С. 190. ...ибо так плыл раненый Тристан сам друг с арфой. — Имеется в виду эпизод из легенд о Тристане (или Тристраме; см. прим. к с. 101), когда рыцарь, раненный отравленным копьем в поединке с сэром Мархальтом, отправляется в сопровождении своего наставника Говернала на ладье в Ирландию, чтобы отыскать там волшебное противоядие. В романе сэра Томаса Мэлори «Смерть Артура» указано, что в путешествие сэр Тристрам «взял с собой свою арфу». Этот же эпизод лег в основу одного из двух ранних стихотворений Набокова, составивших цикл «Тристан» (сборник «Гроздь», 1921; см. том I наст. издания): «По водам траурным и лунным / не лебедь легкая плывет, — / плывет ладья и звоном струнным / луну лилейную зовет ⟨...⟩ В ней рыцарь раненый и юный / склонен на блеклые шелка, / и арфы ледяные струны / ласкает бледная рука». Сравнивая себя с раненым Тристаном, Мартын в мечтах не может не проецировать на свои отношения с Соней и продолжение сюжета, помня, что в Ирландии Тристана излечивает от раны Изольда, которая станет его возлюбленной.

...зверек, который по-французски зовется «черным»... — Черный зверек (от *фр.* bête noire) — предмет, вызывающий особое негодование, раздражение, ненависть; «больное место».

...вольная смерть полководца, павшего грудью на меч. — Подразумевается смерть Марка Порция Катона Младшего (или Катона Утического, 95—46 до н. э.), верного сторонника республики, приверженца Гнея Помпея. Узнав о поражении армии республиканцев, Катон провел ночь, читая диалог Платона «Федон», а потом покончил с собой, по римскому обычаю пав на меч. Смерть Катона (ставшая образцом римского идеала чести) вдох-

новила на героическое самоубийство Александра Радищева и Михаила Сушкова (см.: Ю. Лотман. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Ю. Лотман. Избранные статьи в 3 томах. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 263–268.) «Для Радищева, — пишет Лотман, — идея готовности к самоубийству — лишь вариант темы подвига. А этот последний связывается с верой в бессмертие души». Для Мартына героическая концепция современного «романтического века» не исключает возможности героического самоубийства как высшего проявления отваги, обещающего посмертную славу.

С. 191. ...говорил о закате Европы, о послевоенной усталости, о нашем слишком трезвом, слишком практическом веке, о нашествии мертвых машин... — «Закат Европы» — утвердившееся русское название труда немецкого философа Освальда Шпенглера (1880–1936) «Der Untergang des Abendlandes» (*букв.*: «Гибель Запада», 1918–1922), в котором предсказан скорый конец западной цивилизации, вступившей, как утверждал Шпенглер, в стадию разложения. В двадцатые годы шпенглерианская идея «гибели Европы» получила широкое распространение.

В мое время молодые люди становились врачами, офицерами, нотариусами... — По наблюдению Пекки Тамми, — реминисценция стихотворения Гумилева «Я и вы» (1918), предвещающая трагический исход путешествия героя: «И умру я не на постели, / При нотариусе и враче, / А в какой-нибудь дикой щели, / Утонувшей в густом плюще» (P. Tammi. On Notaries and Doctors (Glory and Gumilev) // The Nabokovian. 1990. № 28. P. 51–53).

С. 192. Колумб... отправился... для получения кое-каких справок в Исландию... — Имеется в виду морской переход Колумба к берегам Ирландии и Исландии в 1477 г. В упоминании о Колумбе можно увидеть отсылку к «Открытию Америки» Гумилева (см. прим. к с. 115).

С. 194. В этот жестокий век... — Повторяя клише современной ему публицистики, дядя Генрих — сам, конечно, того не подозревая, — напоминает Мартыну о пушкинском «Памятнике» (1836) (с которым в «Подвиге» связаны и все упоминания о Горации): «Что в мой жестокий век восславил я свободу / И милость к падшим призывал».

С. 196. Вертхайм — универмаг на Лейпциг-плац.

С. 197. «Кайзергоф» — гостиница на Моренштрассе, 1–5.

...«писатель Боборыкин». — С середины 1860-х П. Д. Боборыкин (1836–1921) много жил за границей и путешествовал. Впечатления, накопленные в путешествиях, отразились в его книгах «В чужом поле» (1866), «Вечный город. (Итоги пережитого)» (1899) и многих других.

...настоящие обеды обходились дорого в тот год... — В 1923 г., в год оккупации Рурской области и обесценивания марки.

С. 198. ...вставал из беклиновских волн тот же голый старик с трезубцем... — Картины швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина (1827–1901) (имевшего немалый успех в начале XX в.) для Набокова — образец претенциозной безвкусицы. Среди наиболее известных работ Бёклина — серия полотен с изображениями купающихся тритонов (в том числе стариков), наяд и русалок. Ни на одной из картин трезубца обнаружить не удалось.

С. 200. ...сколь много выдающихся литературных имен двадцатого века начинается на букву «б»... — Марина Цветаева в очерке «Герои труда. Записи о В. Я. Брюсове» (1925) заметила: «Обращено ли, кстати, внимание хотя бы одним критиком на упорное главенство буквы Б в поколении так называемых символистов? — Бальмонт, Брюсов, Белый, Блок, Балтрушайтис». Главный герой «Дара», Федор Константинович Годунов-Чердынцев, называет пятерых выдающихся поэтов Серебряного века, начинающихся на «б», «пятью чувствами новой русской поэзии», имея в виду те же имена, но с заменой Балтрушайтиса на Бунина.

...героем ее был Христофор Колумб... — Тема романа Бубнова, прототипом которого, по свидетельству Э. Филда со слов Набокова, был писатель Иван Лукаш (1892–1940) (A. Field. VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov. New York: Crown, 1986. P. 125), перекликается с мечтами Мартына и с «Открытием Америки» Гумилева (см. прим. к с. 115 и 192).

С. 201. ...переводил Данте. — Упоминая о чтении Мартыном Данте, Набоков, по-видимому, хочет привлечь внимание к параллелям между символикой опасного пути, тропы, темного леса в первой песни «Ада» и схожими образами в романе.

...очередное стихотворение о тоске по родине или о Петербурге (с непременным присутствием Медного Всадника)... — Среди прочих адресатов Набоков подсмеивается здесь и над собственными ранними ностальгическими стихами, которые он впоследствии исключил из своего поэтического канона. Например, «Петербург» (1922): «И пошатнулся всадник медный»; «Петербург» (1923): «Я помню все: Сенат охряный, тумбы / и цепи их чугунные вокруг / седой скалы, откуда рвется в небо / крутой восторг зеленоватой бронзы»; «Памяти Гумилева» (1923): «Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем / медном Петре... Пушкин» (см. том I наст. издания).

...«наша мадам де Севинье»... — Маркиза де Севинье (урожденная Мари де Рабютен-Шанталь, 1626–1696) — французская писательница, оставившая пространную переписку с дочерью, считающуюся образцом эпистолярного жанра.

...о девушке, у которой поет душа, поют глаза, и кожа бледна, как дорогой фарфор... (...) «Ее имя как купол, как свист голубиных крыл, я вижу свет в ее имени, особый свет, "кана-инум" старых

хадирских мудрецов, — свет оттуда, с Востока, — о, это большая тайна, страшная тайна»; и уже истошным шепотом: «Женская прелесть страшна, — ты понимаешь меня, — страшна. И туфельки у нее стоптаны, стоптаны...» — Экстатическое бормотание влюбленного в Соню Бубнова насыщено расхожими литературными и религиозно-философскими аллюзиями в духе младших символистов, постсимволистов и «достоевщины». «Девушка, у которой... поют глаза» — реминисценция стихотворения Игоря Северянина (1887–1941) «Поющие глаза» (1927). Слова «ее имя как купол» отсылают к Айя-Софии и открывают ряд возможных ассоциаций с представлениями о Софии и «софийности» в русском религиозном сознании, в первую очередь — у Владимира Соловьева. «Голубиные крылья» и «свет с Востока» — символы из того же мистического символистского лексикона (ср. «Ex oriente lux» (1890) Владимира Соловьева, «Серебряного голубя» (1909) и «Записки чудака» (1918–1921) Андрея Белого). «Хадирские мудрецы» и «кана-инум» — по всей видимости, мистификация, пародирующая эзотерический теософский жаргон (см. «Тайную доктрину» (1888) и другие сочинения Е. П. Блаватской (1831–1891)), поскольку хадиры — полудикая народность в Индии, не имеющая никакой традиции любомудрия. «Женская прелесть страшна» — стилизация под Достоевского, перекликающаяся с началом стихотворения Блока «Анне Ахматовой» (1913): «“Красота страшна” — Вам скажут...». «Туфельки у нее стоптаны, стоптаны» — еще одна «квазидостоевская» фраза, образованная по характерной модели: уменьшительный суффикс, повтор. Ср. «сапожки» Илюши Снегирева в «Братьях Карамазовых» (1879–1880).

С. 202. «Есть на Волге утес» — романс на слова Александра Навроцкого (1839–1914).

С. 203. ...в каждом подъезде стояла неподвижная чета... — Ср. в стихотворении из цикла В. Ф. Ходасевича «Европейская ночь» (1927): «Все каменное. В каменный пролет / Уходит ночь. В подъездах, у ворот — / Как изваянья — слипшиеся пары».

...о Горации... — Рассказ Мартына основан на произведениях самого Горация, а также на немногих дошедших до нас биографических сведениях о нем.

...тут же гнались за бешеной собакой, тут же хлюпала в грязи свинья... — Ср. послание Горация к Флору (вторая книга «Посланий»): «Мчится там бешеный пес, там свинья вся в грязи пробегает» (перевод Н. Гинцбурга).

...проезжала телега с лигурийским мрамором... — Лигурия — область на северо-западе Италии, примыкающая к Лигурийскому морю. Уточняя сорт мрамора, Набоков воспроизводит важную особенность поэтики Горация — конкретность его образного языка. «Гораций не скажет “вино”, — он непременно назовет фалернское, или цекубское, или массикское, или хиосское;

не скажет "поля", а добавит: ливийские, калабрские, форентийские, эфуланские или мало еще какие» (М. Гаспаров. Поэзия Горация // Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М.: Художественная литература, 1970. С. 14).

...тщедушный, но с брюшком, лысый и ушастый... — Светоний свидетельствует: «С виду Гораций был невысок и тучен: таким он описывается в его собственных сатирах и в следующем письме от Августа: "Принес мне Онисий твою книжечку, которая словно сама извиняется, что так мала; но я ее принимаю с удовольствием. Кажется, что ты боишься, как бы твои книжки не оказались больше тебя самого. Но если рост у тебя и малый, то полнота немалая. Так что ты бы мог писать и по целому секстарию, чтобы книжечка твоя была кругленькая, как твое брюшко"» (перевод М. Гаспарова; Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М.: Наука, 1966. С. 242–243).

...и слушал нежный шепот бесед под портиками, прелестный смех в темных углах. — Парафраза последних строк оды Горация «К виночерпию Талиариху» («Оды», I, 9): «Все: поле Марсово, и площадь, в вечерок / Любовь при шепоте условного свиданья — / И в темном уголке красотки молодой / Предатель звонкий смех...» (перевод А. Фета).

С. 205. Белка, играя в прятки, толчками поднялась по стволу и куда-то исчезла. — Появление белки у Набокова всегда значимо и так или иначе связано с потусторонностью (ср. в «Лолите» (1955) и особенно в «Пнине» (1957)). Здесь близкое соседство двух ключевых слов-маркеров указывает на двойную генеалогию этого литературно-мифологического зверька: «крымское лукоморье» отсылает к прологу «Руслана и Людмилы» и, через него, к пушкинскому сказочному миру (белка в «Сказке о царе Салтане» (1831)) и к литературной маске Пушкина — простодушному Ивану Петровичу Белкину. С другой стороны, упоминание норманнов — знак, указывающий на белку Рататоск в скандинавских мифах о мировом дереве Иггдрасиль, где она играет роль посредника между верхом и низом, бегая по стволу и перенося бранные слова, которыми обмениваются орел, сидящий на вершине дерева, и змей, грызущий его корни.

Зоорландия — характерный для Набокова полиязычный «ребус». Совмещение русской приставки «за» и английского или французского orle (от *лат.* orula — «край, граница, рубеж, черта») и «ландии» может быть интерпретировано как «Зарубежье», «Запределье», страна по ту сторону границы, за краем. Приблизительно то же значение можно получить и при более правильном членении: «зоор» (именно так произносится древнееврейское zuwr — «быть иностранным, чужим, профанным, подлым») и «ландия» — дают «Чужеземье» или «Подляндию». Разумеется, подобное прочтение не исключает дополнительных ассоциаций

с «зоологией» (в Зоорландии явно победило зоологическое начало) и с «орлом» (особенно если учесть, что в скандинавском мифе орел находится за верхней границей мира: то есть «за орлом» будет значить опять-таки «за пределами»). Кроме этого, если вспомнить стихотворение Гумилева «Орел» (1909), экспедиция в Зоорландию — это будет путь «за орлом», то есть уход в смерть и одновременно в бессмертие, в «великолепную могилу».

С. 206. Саван-на-рыло. — Обыгрывается имя Джироламо Савонароллы (1452–1498), флорентийского проповедника, ярого противника светской литературы, роскоши и искусств.

С. 208. ...тоном пушкинской Наины. — Имеется в виду персонаж «Руслана и Людмилы» — злая, надменная красавица, о которой рассказывает Руслану «вещий Финн», некогда в нее страстно влюбленный. Наина, «лишь прелести свои любя», осталась равнодушной к нему, даже когда после десятилетних странствий он принес к ее ногам богатые дары: «Но дева скрылась от меня, / Промолвя с видом равнодушным: "Герой, я не люблю тебя!"». (См. также прим. к с. 185.)

...танцовщицы из «Эреба»... — Название кабаре (опущенное в английской редакции) прочитывается как недоброе знамение (Мартыном так и не распознанное). В греческой мифологии Эреб — персонификация мрака, сын Хаоса и брат Ночи.

С. 210. ...положив на колено Таухниц... — то есть книгу на английском языке (по названию немецкого издательства, выпускавшего популярную серию английских книг «Collection of British and American Authors»).

С. 212. периколоза — (от *ит.* pericolosa) опасная. У Данте в начале первой песни «Ада» употребляется архаичная форма того же слова: aqua perigliosa (*букв.*: «опасная вода»).

С. 214. чарчаф (правильнее — чаршаф) — (от *тур.* çarşaf) покрывало. Здесь: одежда женщины-мусульманки.

Молиньяк. — Название деревни восходит к *фр.* mol (mou) — «мягкий, нежный, расслабленный, сонный».

С. 215. ...увидел белую змею дороги... — Напомним, что фамилия Сони восходит к «зилану», то есть к сказочной белой змее (см. прим. к с. 102). Подобная метафора нередко встречается в литературе, например в стихотворении Константина Эрберга «Бездорожье» (1921), которое Набокову должно было быть знакомо: «По жнивью змеей ползет дорога. / Ты куда, куда ползешь, змея? / Ко вратам ли Божьего чертога, / Ко дверям ли рабского жилья?»

С. 216. ...и в лесу африканском. — Вероятно, намек на африканские путешествия Гумилева и его многочисленные стихи об Африке (см. прим. к с. 108).

...памятник: лицо женского пола, с крыльями, поднявшее знамя. — Имеется в виду типичный для провинциальной Франции

памятник героям, погибшим во время Первой мировой войны: аллегорическая фигура Ники, греческой богини победы. В связи с центральной для романа темой подвига важно, что в Риме Ника считалась символом победы над смертью (см. также прим. к с. 170).

С. 217. «Я иду по дороге один, мой каменистый путь простирается далеко...» — парафраза первой строфы стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (см. прим. к с. 106, 132).

...пел о чарочке, о семиструнной подруге, об иностранном-странном-странном офицере. — Семиструнная подруга — из популярного романса на стихи Аполлона Григорьева (1822—1864): «О, говори хоть ты со мной, / Подруга семиструнная!» (цикл «Борьба», 1857), которые Блок назвал единственным в своем роде перлом русской лирики. Две другие песни, к сожалению, идентифицировать не удалось.

...вода... как живая... — намек на сказочную живую воду и на «индриковую» сущность Мартына, чьи «веселые труды» в Молиньяке подобны обязанностям мифологического Индрика, который выводит воду из-под земли, пуская ее «по быстрым рекам и по маленьким ручьявиночкам» (цит. по: А. Афанасьев. Указ. соч., 1869. Т. 2. С. 553). (См. прим. к с. 97.)

С. 219. «Прощай, прощай», — на какой-то песенный лад подумал Мартын... — Из указанных выше возможных литературных аналогов этого повтора здесь актуализируется прощальная песня Чайльд Гарльда (см. прим. к с. 185). К ней следует добавить романс Аполлона Григорьева «Прощай, прощай! О если б знала ты...» (1857), а также сцену прощания героини с лесом и родным домом в опере Н. А. Римского-Корсакова (1844—1908) «Снегурочка» (1881), где хор повторяет: «Прощай, прощай!»

С. 220. ...его тезка, Мартэн Рок... — еще одна значимая деталь. Фамилия работника восходит не столько к французскому roc — «скала», сколько к русскому «рок» в значении «судьба, предопределение».

С. 223. Там еще сохранились римские водопроводы... — Грузинов неточен. Сохранившиеся в Кембридже акведуки не относятся к римскому времени (хотя есть каналы, проложенные римлянами, и остатки римского поселения). У Набокова такая ошибка — знак «незоркого», оперирующего общими местами сознания.

С. 224. ...до пещеры, где некогда жил отшельник. — Возможно, очередное напоминание о «Руслане и Людмиле», где именно в пещере судьба сводит героя с «вещим Финном», который отшельником прожил там двадцать лет.

С. 225. ...эта палка почему-то пахла Россией. — Аллюзия на вступление к «Руслану и Людмиле»: «Там русский дух... там Русью пахнет!» Примечательно, что из рук Грузинова Мартын принимает страннический посох — важнейший атрибут символического

пути-паломничества. Ср. в «Ответе анониму» (1830) Пушкина: «Чья скрытая рука мне крепко руку жмет, / Указывает путь и посох подает».

С. 226. Грузинов растворил окно, на один миг он был как большая темная птица, раскинутая на золотом фоне... — Грузинов символически соотносится с геральдическим, сказочным и мифологическим орлом (см. выше: до знакомства с Грузиновым Мартын представлял себе в его внешности «что-то властное, орлиное»). Как символ орел имеет амбивалентную природу. С одной стороны, это чудесная, быстролетная птица царей и богов (ср. Зевсов орел), добытчик бессмертного напитка (живой воды), олицетворяющий отвагу, мощь, власть, вещее знание. Однако, кроме того, орел нередко воспринимается как провозвестник смерти, а иногда и прямо отождествляется с ней. См., например, русскую загадку: «Стоит дерево, на дереве цветы, под цветами котел (или: корыто), над цветами — орел, цветы срывает, в котел бросает; цветов не убывает, в котле не прибывает» (А. Афанасьев. Указ. соч., 1865. Т. 1. С. 528). Дерево — мир, цветы — люди (что особенно важно, так как Мартын Эдельвейс прямо ассоциируется с цветком), орел — смерть. В позднейшем фольклоре полет огнедышащего орла — метафора ружейного выстрела (напомним, что расстрел — один из вариантов гибели героя, которые он представляет). Ср. загадку: «Летит орел, дышит огнем; по конец хвоста — человечья смерть» (А. Афанасьев. Указ. соч., 1865. Т. 1. С. 496).

С. 227. «Очень сладкие яблочки. Угощайтесь. (...) Вот это возьмите, с румянцем». — Яблоки Грузинова, от которых отказывается Мартын, могут быть соотнесены с волшебными яблоками в фольклоре, которые помрачают сознание и погружают в непробудный сон, подобный смерти. Ср. румяное яблочко, которым угощает царевну «нищая черница» в пушкинской «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» (1833).

Остров — уездный город в Псковской губернии; неоднократно упоминается в переписке Пушкина.

С. 228. ...вот — Режица, вот Пыталово, на самой черте. — Режица (ныне Резкене, Латвия) и Пыталово — города близ латвийско-советской границы; по своему звучанию, однако, оба топонима вызывают ассоциации с физическим насилием (резать, пытать) и предрекают трагический исход путешествия Мартына. В английском переводе «Подвига» Набоков заменил эти реальные топонимы на вымышленные: Carnagore (от carnage — «бойня, резня» и gore — «кровь, кровавая каша») и Torturovka (от torture — «пытать»), выявляющие их зловещий смысл. К тому же семантическому ряду относится и упомянутый чуть ниже Рогожинский лес, поскольку в годы коммунистического террора рогожей накрывали тела расстрелянных. Ср., например, описание расстрела

Гумилева в шестом стихотворении из цикла Цветаевой «Маяковскому» (1930): «(В кровавой рогоже, / На полной подводе...)».

...странно выкрикивающих фамилию Юрия Тимофеевича. — В английской редакции уточняется, что девушки выкрикивают фамилию Грузинова с ударением на первом слоге. Тем самым подчеркивается корень «груз», что отсылает к эпизоду гибели Руслана: «Руслан не внемлет, сон ужасный / Как груз над ним отяготел!» В словаре В. Даля зафиксировано выражение «грузный путь», означающее путь, трудный для продвижения.

Мартыну показалось, что уже где-то, когда-то были сказаны эти слова (как в «Незнакомке» Блока)... — отсылка к ремарке в третьем видении драмы: «Все становится необычайно странным. Как будто все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же порядке». Блоковская ремарка мотивируется тем, что предшествующие ей три реплики персонажей повторяют с небольшим изменением реплики из первой сцены. После паузы один из присутствующих восклицает: «Точно кто-нибудь умер. Богу душу отдал». Это восклицание может служить ключом, указывающим, когда и где Мартын слышал слова, подобные фразе Грузинова о мороженом, — в странном сне, который он видел, когда узнал о смерти отца и пытался «уловить в темноте комнаты посмертную нежность» (с. 104). Вещий сон, предрекающий разговор с Грузиновым, который пытается отговорить Мартына от его экспедиции, намекает на то, что в этой сцене герою предлагается выбор между продолжением жизни и героической смертью, которая сулит воскресение из мертвых (как в «Руслане и Людмиле») и встречу с отцом в загробном мире. Интересно добавить, что мороженым в пушкинской «Осени» творят поминки зиме.

С. 229. ...видел бы воочию святого Николая. — Следует заметить, что святой Николай — не только персонаж рождественской «мифологии», но к тому же — один из покровителей путешественников.

...из которых можно составлять огромные восьмерки... — См. прим. к с. 160.

С. 232. Выйдя на дебаркадер Ангальтского вокзала... — Мартын приезжает на Ангальтский вокзал (ныне не существует), расположенный в центральной части Берлина. Там он мог бы пересесть на поезд, следующий в Ригу, но, однако, вместо этого отправляется к вокзалу Фридриха, находящемуся в восточной части города, у пересечения Унтер-ден-Линден и Фридрихштрассе. Эта маленькая хитрость позволяет Набокову провести своего героя с Запада на Восток под Браденбургскими воротами (где движение идет только в одну сторону) и тем самым метафорически представить его будущий переход границы Советской России.

С. 233. Все загляделись на вид Браденбургских ворот. — Примечательно, что Браденбургские ворота украшены скульптурным

изображением римской богини войны Виктории (от *лат.* victoria — «победа»), что в очередной раз согласуется с темой героического — одной из важнейших в романе. (См. также прим. к с. 170, 216.)

«Как же он пролезет, — спросил старший, тревожась за бока автобуса. — Ужина-то какая!» — Эта реплика может быть интерпретирована как намек на символический смысл пути героя. Мотив прохождения сквозь узкие врата прямо отсылает к Нагорной проповеди: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матфей. 7: 13–14). Интересно отметить, что евангельская метафора тесных врат, через которые ведет путь в бессмертие, использована и в стихотворении Пушкина «Странник» (1835): «Иди ж, — он продолжал, — держись сего ты света; / Пусть будет он тебе единственная мета, / Пока ты тесных врат спасенья не достиг». Таким образом, уход Мартына через границу соприравнен к символическому побегу пушкинского странника, спешащего «скорей узреть — оставя те места, / Спасенья верный путь и тесные врата». Ср. тот же мотив в финале «Дара», где упоминается «теснина Браденбургских ворот».

С. 234. Тиргартен — берлинский парк, тянущийся от Браденбургских ворот в сторону Шарлоттенбурга.

...каменного льва Геракла... — Убийство немейского льва — это первый *подвиг* Геракла.

Гостиница находилась против Зоологического сада. — Дарвин останавливается в гостинице «Eden» (Курфюрстендам, 246–247), упоминаемой также в «Путеводителе по Берлину» (1925): «И недаром против берлинского Зоологического Сада большая гостиница названа так: гостиница “Эден”» (см. том I наст. издания).

С. 235. ...тусклые раскосые глаза казались заспанными... — Выявляется связь Сониного имени с мотивом сна. Ср. Соню в «Алисе в Стране чудес» («Alice's Adventures in Wonderland», 1865) Льюиса Кэрролла (1832–1898) и особенно спящую Соню-богатырку в одноименной русской сказке (см. также прим. к с. 102).

С. 236. сюкр д'орж — (от *фр.* sucre d'orge) ячменный сахар, леденец.

С. 237. ...неужели Соня так же, как сейчас, будет сквозь шелк почесывать голень... — Еще одна вариация на тему вещего сна Мартына из третьей главы романа, где странную фразу о грузинах, которые не едят мороженого, произносила Лида, почесывая ногу.

С. 239. ...купил «Панч»... — См. прим. к с. 184.

С. 241. херайн — (*нем.* herein) войдите.

С. 245. «...швейцарцу после того убийства в женевском кафе не дадут визы?» — «В женевском кафе» — неточность: речь идет о покушении на советского дипломата В. В. Воровского (1871–1923), состоявшемся 10 мая 1923 г. в Лозанне.

С. 246. ...странные темные речи. — Возможно, реминисценция стихотворения Лермонтова «Есть речи — значенье...» (1840): «Есть речи — значенье / Темно иль ничтожно, / Но им без волненья / Внимать невозможно».

С. 249. ...ноябрь вдруг отсырел после первых морозов. — Русские народные поверья связывают оттепель с душами усопших, сходящими на землю туманом, сыростью, росой, мглой, влажным ветром или теплым дождем, чтобы благословить родных (А. Афанасьев. Указ. соч., 1869. Т. 3. С. 237–238).

...калитка... открылась, сильно качнувшись. Погодя на нее села синица... — Согласно народным верованиям, души усопших могут возвращаться к родительскому дому в виде той или иной птицы, чаще всего — белого голубя (А. Афанасьев. Указ. соч., 1869. Т. 3. С. 218–225). Замещение голубя синицей (то есть замена «голубого» на близкое «синее») в данном случае обусловлено пушкинскими подтекстами (см. прим. к с. 99), а также связью с «Синей птицей» («L'oiseau bleu», 1908) Мориса Метерлинка (1862–1949) — символом невозможного и потустороннего.

А. Долинин, Г. Утгоф

КАМЕРА ОБСКУРА

В конце января 1931 г. Набоков начал писать роман под названием «Райская птица». В его основу легла история о слепце, которого обманывает жена со своим любовником. В письме матери, Елене Ивановне Набоковой, от 25 февраля 1931 г. Набоков сообщает, что уже завершил работу над романом. Однако в течение последующих трех месяцев он в корне перерабатывает роман и меняет его название. По свидетельству Б. Бойда, «Райская птица» не имеет ничего общего с романом «Камера обскура», кроме слепоты героя и измены героини, если об этом можно судить по двум сохранившимся страницам (См.: *B90.* P. 362).

По признанию Набокова, роман «Камера обскура» был создан в кратчайшие сроки: от возникновения идеи до ее воплощения на бумаге прошло менее шести месяцев (*B90.* P. 363).

Впервые роман был опубликован в парижском журнале «Современные записки» (кн. XLIX, L, LI, LII) в 1932–1933 гг., отдельной книгой вышел в 1933 г. при сотрудничестве книгоиздательств «Современные записки» и «Парабола». Печатается

по этому изданию. В журнальном варианте отсутствуют две главы (XX и XXXIII), представленные в книжном издании 1933 г., и две главы сокращены (XXIII и XXV). Кроме того, отдельные эпизоды журнального варианта изменены или опущены в книжном из дании. В примечаниях отмечены наиболее значимые, на нащ взгляд, изменения текста. Во всех прижизненных публикациях романа, а также в издании «Ардиса» 1978 г. нарушена нумерация глав: две главы XVII.

Роман «Камера обскура» был переведен на английский язык Уинифрид Рой (Winifred Roy) и выпущен в свет лондонским издательством «John Long» в январе 1936 г. под названием «Camera Obscura». Перевод создавался практически без контроля со стороны автора и, за исключением некоторых незначительных исправлений и добавлений, был очень близок к оригиналу. Набоков остался не удовлетворен переводом Рой и год спустя сам перевел роман. Автоперевод был озаглавлен «Laughter in the Dark» («Смех в темноте») и издан в мае 1938 г. (New-York, «New Directions»).

Набоков радикально переработал текст, изменив некоторые сюжетные линии, внеся коррективы в стилистику романа. Четыре главы, по сути, были переписаны заново. Сопоставительному анализу двух текстов посвящен ряд исследований, самым детальным из которых является работа Дж. Грейсон (J. Grayson. Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose. Oxford: Oxford UP, 1977). Ниже в примечаниях отличия английского варианта приводятся лишь в тех случаях, когда сравнение двух фрагментов может помочь пониманию русского текста.

Лейтмотивом рецензий эмигрантской критики на «Камеру обскуру» можно назвать вопрос об отношении формы и содержания и полемику о «кинематографичности» романа. Ю. Терапиано отмечает, что хотя чтение и доставляет «физическое удовольствие», однако это «приятное ощущение только на поверхности». Критик пишет, что «внутренний план человека и мира» лежит «вне восприятия Сирина», «зрение Сирина раздражающе скользит мимо существа человека», — и делает вывод о «внутренней опустошенности» автора при «большом формальном даровании» (Числа. 1934. Кн. 10. С. 287–288).

М. Осоргин тоже говорит, но в менее резких тонах, о том, что «роскоши формы не соответствует содержание». Критик сожалеет, что «сюжеты Сирина не полноценны и что ему приходится черпать их не из богатства жизни, а из ее городской пошлости и дешсвизны». Однако рецензент, подводя итог, отчасти противоречит самому себе, отмечая, что красота формы «целиком искупает и покрывает "авантюрность" его [сиринских] сюжетов» (Современные записки. 1934. Кн. LIV. С. 459). Осоргин, как и многие другие критики, сравнивает роман с кинопьесой. (По Осоргину,

«кинопьеса» — лишь метафора больших затрат при ничтожности .зображаемого.)

Г. Адамович безапелляционно заявил: «Роман внешне удачен, это бесспорно. Но он пуст. Это превосходный кинематограф, но слабоватая литература» (Последние новости. 27 октября 1932). В. Ходасевич в своей рецензии на «Камеру обскуру» подытожил: «“Роман Сирина похож на синематографический сценарий”. Эта фраза варьируется на все лады в печати и в разговорах». Соглашаясь со справедливостью подобного утверждения и отмечая некоторые напоминающие кинематограф особенности романа (темп развития событий, отдельные моменты и приемы, образы действующих лиц), Ходасевич говорит, что это «лишь общее место» и «сказать, что сиринский роман похож на синематограф, — значит сказать о нем слишком мало». Он считает, что «Сирин вовсе не изображает обычную жизнь приемами синематографа, а показывает, как синематограф, врываясь в жизнь, подчиняет ее своему темпу и стилю, придает ей свой отпечаток». Это положение. Ходасевич считает самым существенным для понимания романа. Однако пафос статьи — в отношении к кинематографу самого Ходасевича. Он называет кинематограф «лжеискусством», говорит «о страшной опасности, нависшей над всей нашей культурой» и сквозь эту призму трактует роман как трагедию жизни, «пронизанной» и «отравленной» кинематографом (В. Ходасевич. Собрание сочинений в 4 томах. М.: Согласие, 1996. Т. 2. С. 297–301).

В работе над комментариями нами использованы статьи и монографии Б. Бойда, Н. Букс, Дж. Грейсон, Дж. Конноли, Г. Левинтона, А. Люксембурга, Д. Стюарта, П. Тамми, Дж. Хайда, С. Шумана и ряда других исследователей творчества В. Набокова.

Комментатор выражает глубокую признательность Александру Долинину, Марии Маликовой и Надежде Скабовской за помощь и ценные советы.

Камера обскура — оптический прибор, предшественник фотоаппарата и кинокамеры. Ю. Лотман и Ю. Цивьян в книге «Диалог с экраном» отмечают: «В “Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем” есть такое описание: “Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретяных крыш, дерев и развешанного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всего всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет”. Ученым этот оптический эффект

был известен задолго до Гоголя — с XVI века. Для его наблюдения сооружались помещения, называвшиеся "камера-обскура" (буквально — "темная комната"). В "дыру" для луча вставляли выпуклую линзу — и перевернутая миниатюра окружающего пейзажа вставала с головы на ноги. Так родился кинозал — задолго до рождения кинематографа. В XVIII веке придумали миниатюрный вариант "камеры-обскуры" — было в моде маскировать его под книгу и даже встраивать в рукоятку от трости. Линзу такой "книги" можно было направить на пейзаж и наблюдать миниатюрный отпечаток этого пейзажа на полупрозрачном экранчике "обложки". В XIX веке изобрели светочувствительные пластинки, и миниатюрная "камера-обскура" превратилась в фотоаппарат» (Ю. Лотман, Ю. Цивьян. Диалог с экраном. Таллинн: Александра, 1994. С. 34). Название романа набрано латиницей в журнальном варианте (Camera obscura) и кириллицей (Камера обскура) — в книжном издании.

С. 253. Приблизительно в 1925 году... — Ср. с первыми строками романа «Дар»: «Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192... года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы — в силу оригинальной черты нашей литературы — не договаривают единиц)...». Так Набоков с самого начала романа «Камера обскура» указывает на «немецкость» текста.

...симпатичное имя: Cheepy. — Имя «Cheepy» образовано от английского глагола to cheep — «пищать» и буквально переводится как «пискля». В журнальном варианте и в переводе У. Рой имя морской свинки пишется «Cheapy» (от *англ.* cheap — «дешевый») и приобретает значение «дешевка». Вероятно, во втором случае — опечатка, так как вряд ли персонажу Горна удалось бы завоевать популярность с таким «несимпатичным» именем. Однако, возможно, здесь имеет место игра с омонимией имен (забавный мультипликационный персонаж Cheepy и рекламная пустышка Cheapy), и независимо от авторского написания второй смысл всегда присутствует. Набоков исключил все упоминания Чипи из английского варианта романа.

С. 254. меланизм — черная, бурая или коричневая окраска наружных покровов животного.

Бруно Кречмар. — В «Память, говори» Набоков признался, что фамилия Кречмар (Kretschmar) принадлежала реально существовавшему немецкому лепидоптерологу, впервые описавшему бабочку (plusia excelsa kretschmar), открытие которой десятилетний Набоков приписывал себе. Так автор «отомстил» ни в чем не повинному ученому.

...портрет... Дорианны Карениной. — Контаминация имени героя романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» с именем

и фамилией толстовской героини. Возможно, имя актрисы содержит намек на жену поэта и критика, редактора парижского журнала «Числа» Николая Оцупа (1894–1958), посредственную актрису, выступавшую под псевдонимом Диана Карен. Любопытно, что роль Марго (Магды) в фильме «Смех в темноте» (реж. Тони Ричардсон), снятом в 1969 г. по английской версии романа, сыграла французская актриса Анна Карина (наст. имя — Ханне Карин Байер). Набокова очень позабавило созвучие имен — лишнее подтверждение того, что жизнь подражает литературе, а не наоборот. В интервью Альфреду Аппелю (август 1970 г.) Набоков по этому поводу заметил: «...я бы хотел, чтобы мои читатели поразмыслили над моими исключительными пророческими способностями».

С. 255. «Noli me tangere» — «не тронь меня, не прикасайся ко мне» *(лат.)*. Слова, сказанные воскресшим Христом Марии Магдалине: «Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо Я еще не восшел к Отцу моему» (Иоанн. 20: 17). Обращение к этому эпизоду Евангелия — устойчивый литературный и иконографический мотив, прослеживаемый от раннехристианского искусства. Наибольшей известностью пользуются, например, фреска Анджелико «Явление Христа Марии Магдалине» (1432–1435), одноименные ей картины Тициана (1511–1513) и А. А. Иванова (1835).

Аннелиза — возможно, контаминация имени и фамилии Лизы Анненской, героини повести Л. Н. Толстого «Дьявол» (1889), которая часто называлась исследователями одним из претекстов романа Набокова (см.: Г. Левинтон. The Importance of Being Russian, или Les allusions perdues // *H97*; G. M. Hyde. Vladimir Nabokov: America's Russian Novelist. London: Marion Boyars, 1977).

С. 258. ...сказал одной из сестер: «Все кончено». — Ср. с эпизодом, описывающим роды Кити (Л. Толстой. Анна Каренина. Ч. VII. Гл. 15). Кити рожает дома, Левин ходит по комнатам, не находя себе места:

> «Уже ребенка он давно не желал. Он теперь ненавидел этого ребенка. Он даже не желал теперь ее жизни, он желал только прекращения этих ужасных страданий.
>
> — Доктор! Что же это? Что же это? Боже мой! — сказал он, хватая за руку вошедшего доктора.
>
> — Кончается, — сказал доктор. И лицо доктора было так серьезно, когда он говорил это, что Левин понял *кончается* в смысле — умирает».

Набоков подробно разбирает этот эпизод в своих «Лекциях по русской литературе».

С. 259. ...пожарный, несущий желтоволосую женщину... — Ср. в романе «Смех в темноте»: «Он [Альбинус] мельком взглянул на афишу (мужчина, задравший кверху голову, разглядывает окно,

в котором виднеется ребенок в ночной рубашке)...» (Здесь и далее «Смех в темноте» цитируется по реконструкции А. Люксембурга, см.: В. В. Набоков. Американский период. Собр. соч. в 5 томах. СПб., 1997. Т. 2).

...создать... фильму... в рембрандтовских или гойевских тонах. — Первый цветной фильм (по технологии «Техниколор») был снят в 1935 г. («Бекки Шарп», реж. Р. Мамулян, США), т. е. спустя семь лет после описываемых событий. Однако уже в раннем кино делались попытки вирьирования (окраска каждого отдельного кинокадра в определенный цвет), тонирования и ряда других способов получения цветного изображения.

С. 260. «Аргус». — В греческой мифологии Аргус (Аргос) — великан, сын Геи. Его тело было испещрено множеством глаз, причем спали одновременно только два глаза. Был убит Гермесом, предварительно усыпившим его игрой на свирели и рассказом о любви Пана к наяде Сиринге. Гера перенесла глаза Аргуса на перья павлина (Овидий. Метаморфозы. I, 624—723).

...продолговатый луиниевский глаз... — Бернардино Луини (ок. 1480—1532) — итальянский живописец миланской школы, автор полотен и фресок на мифологические и библейские сюжеты, знаменит своими изображениями Мадонн. Персонаж раннего набоковского рассказа «Венецианка» (1924), знаток живописи Магор говорит о художнике: «...самая прелестная из всех Мадонн принадлежит кисти Бернардо Луини. ‹...› Нежнейший мастер... Из имени его даже создали новое прилагательное — “luinesco”. У лучшей его Мадонны длинные, ласково опущенные глаза ‹...› она смотрит... опустив нежные, продолговатые очи... Луиниевские очи...» (см. том I наст. издания).

На экране, одетая в тютю, резвилась... Чипи, изображая русский балет. — «Тютя», по словарю В. Даля, — дворовая птица. Вероятно, Чипи «изображает» лебедя из балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, композитора, чье творчество Набоков не любил. В «Смехе в темноте» вместо Чипи и фильма «Когда цветут вишни» Альбинус, снова придя к концу сеанса, видит, как на экране «автомобиль несся по гладкой дороге, извивающейся между скалами на краю пропасти».

«Die Dame» — дамский журнал, издававшийся в Германии с 1912-го по 1943 г.

С. 262. ...глаза как у Файта. — Фейдт (Veidt) Конрад (1893—1943) — немецкий киноактер; снимался в фильмах режиссеров-экспрессионистов «Кабинет доктора Калигари» (реж. Р. Вине, 1919), «Сатана» (реж. Ф. В. Мурнау, 1920), «Индийская гробница» (реж. Д. Май, 1921); в просветительских фильмах режиссера Р. Освальда («Проституция», «Иначе, чем другие», 1919) и др. По преимуществу создавал образы загадочных демонических героев.

С. 266. Ага, Магдалина... — Мария Магдалина, согласно Евангелию, была исцелена Иисусом Христом от одержимости семью бесами (Лука. 8: 2). После этого она следовала за Христом и служила ему. Однако в западной традиции Мария Магдалина отождествляется с грешницей, омывшей ноги Христа слезами и отершей их своими волосами (Марк. 14: 3—9; Лука. 7: 37—50). Так Мария Магдалина становится образом кающейся блудницы. Возможно, ассоциация с этим образом и вызвала усмешку Горна. (См. также прим. к с. 255.)

...который, в «Лоэнгрине», не успел сесть на лебедя... — «Лоэнгрин» (1848) — опера Р. Вагнера (1813—1883). Герой оперы рыцарь Лоэнгрин в первом акте появляется в лодке, влекомой лебедем. В финале оперы лебедь увозит Лоэнгрина со сцены.

С. 268. доннерветтер — (*нем.* Donnerwetter) черт побери.

С. 270. Грета Гарбо (наст. фам. Густафсон, 1905—1990) — американская киноактриса шведского происхождения. Снялась в фильмах «Безрадостный переулок» (1925), «Любовь» (1927, по мотивам романа «Анна Каренина»), «Плоть и дьявол» (1927) и др. Выступала в амплуа загадочной, привлекательной женщины, любовь которой становится роковой для тех, кого она любит, и для нее самой.

С. 272. Везет мне на мельников... — Фамилия, под которой представился Кречмар, образована от *нем.* Schiffer — «лодочник», и Müller — «мельник».

С. 273. ...обучать арсу аморису. — Арс аморис (*лат.* ars amoris) — искусство любви.

С. 277. ...все в жизни всегда можно объяснить. — В журнальном варианте после этих слов следует абзац:

> «И он согласился. Около четырех Аннелиза, в новом желтом платье, очень нещедшем ей, наконец уехала с Ирмой на детский чай. Как она была жалка и доверчива. И этот клевочек в лоб... Бедная моя Аннелиза, бедная моя канарейка. Пожалуй, в кабинете — совершенно официально».

Возможно, абзац не попал в книжное издание по недосмотру редактора, т. к. этот фрагмент связан повторами с другими местами текста: в этой же главе Кречмар пытается проводить Магду в кабинет; желтое платье Аннелизы появится еще раз в главе VIII. В «Смехе в темноте» отсутствие дома жены, дочери и прислуги тоже получает объяснение: «...Элизабет с Ирмой ушли в гости, а служанку Фриду он отослал с поручением — отнести пару книг на другой конец города. По счастию, у кухарки был выходной».

С. 283. ...телефонная Парка... — Парки — богини судьбы в римской мифологии.

С. 287. ...трещать суставами пальцев. — Еще одна отсылка к роману Толстого: та же манера вести себя в минуты волнения была у Алексея Каренина, мужа Анны.

С. 291. Драйеры приглашают на бал. — Автоаллюзия: Курт и Марта Драйер — персонажи романа Набокова «Король, дама, валет» (1928), произведения, в основе сюжета которого также лежит ситуация любовного треугольника. Это не единственная параллель двух текстов. Похоже, что Магда Петерс родилась на страницах «Короля, дамы, валета» (гл. X): «Ему [Францу] померещилось как-то, что в молоденькой девушке с подпрыгивающей грудью, *в красном платье*, которая бежала через улицу со связкой ключей в руке, он узнал *дочку швейцара...*» (курсив наш. — *А. Я.*).

С. 292. ...это придавало ей нечто цыганское. — Одна из нескольких аллюзий на новеллу П. Мериме «Кармен» и одноименную оперу Ж. Бизе. Интересно, что большинство произведений, к которым отсылают аллюзии в романе, построены на конфликте любовного треугольника, причем этот конфликт разрешается по-разному: герой убивает героиню («Кармен»); самоубийство героини («Анна Каренина»); самоубийство героя («Чайка», см. прим. к с. 312).

С. 308. ...о фильме немой и о фильме говорунье. — Первым звуковым фильмом считается «Певец джаза» (1927, реж. А. Кросленд, США). Уже с середины 20-х гг. среди кинематографистов и теоретиков кино велась оживленная полемика о звуке как элементе киноязыка. Активным противником звукового кино выступал Ю. Тынянов: «...если кино наполнить словами, — получится хаос слов и только» («Об основах кино», 1927; цит. по: Ю. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 328); «Изобретя яд, обычно изобретают противоядие. Противоядие, которое в состоянии убить кино, — это кинетофон» («Кино — слово — музыка», 1924; цит. по: Ю. Тынянов. Указ. соч. С. 322).

С. 310—311. Интересны фамилии гостей Кречмара. Так, *Ольга Вальдгейм*, очевидно, «позаимствовала» свою фамилию у Фишера фон Вальдгейма (1771—1858), немецкого натуралиста, который упоминается в «Даре» (приставка *фон* досталась *Коровину*). А появившийся позже *актер Штаудингер* носит фамилию Отто Штаудингера (1830—1900), энтомолога и классификатора бабочек, который «стоял во главе и крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми» и чья упрощенная система классификации, по мнению Набокова, снижала энтомологию «едва ли не до уровня филателии» («Другие берега», гл. 6 (2)). См. также прим. к с. 254.

С. 311. ...о музыке Гиндемита. — Хиндемит (Hindemith) Пауль (1895—1963) — немецкий композитор, альтист, дирижер, музыкальный теоретик. Один из основных представителей немецкого неоклассицизма.

...я представлял вас почему-то полным и в роговых очках. — Ассоциации Кречмара, вероятно, связаны с этимологией фамилии «Горн»: от *англ.* horn — «рог».

С. 312. Себастиано дель Пиомбо (Себастьяно Лучиани, 1485–1547) — художник венецианской школы, ряд его работ написан в соавторстве с Микеланджело. Персонаж рассказа Набокова «Венецианка» говорит о нем: «Себастиано Лучиано... родился в конце пятнадцатого века в Венеции и умер в середине шестнадцатого в Риме. Учителями его были Беллини и Джорджоне, соперниками — Микель Анджело и Рафаэль. (...) За пятнадцать лет до своей смерти он произнес обет монашества по случаю получения от Климента VII легкой и доходной должности. С тех пор именуется он Фра Бастиано дель Пьомбо. "Il Piombo" значит "свинец", ибо должность его состояла в том, что он прикладывал огромные свинцовые печати к пламенным папским буллам. Монахом он был распутным, со вкусом бражничал и писал посредственные сонеты. Но какой мастер!..» (См. том I наст. издания).

...как вы оцениваете работы Куммингa... — Возможно, имеется в виду э.э.каммингс (e.e.cummings, 1894–1962) — американский прозаик, поэт и художник (писал свою фамилию со строчной буквы — традиционно сохраняется подобное написание). Первая книга стихов называлась «Тюльпаны и трубы» («Tulips and Chimneys», 1923). В конце 20-х гг. выставлял в Европе свои картины и рисунки, которые, однако, не вызвали такого интереса, как стихи. Ту же фамилию («мистер Куммингс») носил домашний учитель рисования восьми-девятилетнего Набокова (см. «Другие берега», гл. 4 (6)).

Беллетрист толкует, например, об Индии... — Ср. с высказыванием Треплева о творческом методе Тригорина: «Тригорин выработал приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе... Это мучительно» (А. Чехов. Чайка. Д. IV).

С. 313. Магда... швырнула через стол гвоздикой в старичка Ламперта. — Возможно, жест Магды «заимствован» у Кармен: большой букет акации, заткнутый за край сорочки (ср. с нарядом Магды: «...черное с тюлем платье... на груди был большой яркооранжевый цветок...»), Кармен бросает в Хозе и попадает «прямо между глаз» (этот эпизод включен и в либретто А. Мельяка и Л. Галеви к опере Ж. Бизе).

С. 316. голливог — (*англ.* gollywog) персонаж американских комиксов. В «Других берегах» (гл. 4 (2)) Набоков пишет: «Особенно мне нравилось, когда текст, прозаический или стихотворный, лишь комментировал картинки. Живо помню, например, приключения американского Голивога. Он представлял собою круп-

ную, мужского пола куклу в малиновых панталонах и голубом фраке, с черным лицом, широкими губами из красной байки и двумя бельевыми пуговицами вместо глаз».

С. 317. Ему, изощренному сновидцу... — Сон Горна — покерный вариант сна Германна из «Пиковой дамы» А. С. Пушкина. В обоих случаях последняя карта, приходящая на руки игрокам, — туз пик.

брелан — комбинация карт при игре в покер.

С. 326. бранденбурги — нашивки на петлицах из золотой или серебряной мишурной тесьмы; род украшения на петлях (по названию немецкого города).

С. 333. Недавно ушел Горн, тоже усталый и тоже очень довольный. — В опере Бизе «Кармен» невеста Хозе Микаэла (этот персонаж отсутствует у Мериме) приходит за ним к Кармен и, пытаясь увести жениха домой, говорит, что его мать больна. Хозе уходит, а Кармен становится любовницей Эскамильо (в новелле — Лука).

С. 335. Глава XX отсутствует в журнальном варианте. После номера — две строки отточия.

С. 338. Любовь слепа. — Многие исследователи отмечали, что роман «Камера обскура» можно рассматривать как развертывание и буквализацию этого выражения. Но, как справедливо заметил В. Ходасевич, «физическая слепота, поражающая героя точно в возмездие за ослепление нравственное, казалось бы, даже слишком аллегорически и слишком грубо наталкивает на избитую сентенцию: любовь слепа ‹...› Но недаром до нее додумались и швейцар с почтальоном, судача о семейных делах Кречмара» (В. Ходасевич. Указ. соч. Т. 2. С. 297).

...фильму «Азра»... — В книге Стендаля «О любви» (1822) приводятся отрывки из сборника «Диван любви», составленного арабским поэтом XIV в. Эбн-Аби-Хадглатом, где рассказывается о «мучениках любви» и, в частности, о племени Бени-Азра, «прославившемся любовью среди всех арабских племен. Поэтому сила их любви вошла в пословицу. Никогда еще бог не создавал существ, столь нежных в любви» (перевод М. Левберг и П. Губера). Высшим видом любви, по Стендалю, является «любовь-страсть», которая поглощает всего человека. Происходит «кристаллизация» объекта любви, то есть воображение идеализирует любимого человека со всеми его недостатками. К арабскому источнику восходит и стихотворение Г. Гейне «Азр» («Der Asra») из сборника «Романсеро» (1851). Юный раб, влюбленный в дочь султана, говорит ей: «*...Я* из рода Азров — / Тех, что гибнут, если любят» (перевод В. Левика).

С. 343. В журнальном варианте XXIII глава заканчивается словами: «*...он об этом говорит с такими вздохами, словно влюблен в женщину. А на самом деле...*». После них — две строки отточия.

С. 350. Он знавал ... Марселя Пруста... — См. прим. к с. 353.

С. 353. «Герман замечал, что...» — Текст Зегелькранца — набоковская пародия на повествовательную манеру Марселя Пруста (1871–1922). Первой книге «По направлению к Свану» (1913) шестнадцатитомного цикла романов Пруста «В поисках утраченного времени» Набоков посвятил одну из своих «Лекций по литературе». По мнению А. Долинина, набоковская пародия обращена не столько на Марселя Пруста, сколько на прозаика Юрия Фельзена (Николая Бернардовича Фрейденштейна, 1895–1943). Эмигрантские критики единодушно называли Фельзена русским «прустианцем». В статье «Литературный смотр» Набоков писал о Фельзене: «Хотя, вообще говоря, этого автора можно кое в чем упрекнуть (в том, например, что он тащит за собой читателя по всем тем осыпям, где авторская мысль сама прошла, то начиная обстраиваться, то бросая недостроенное и, наконец, с последним отчаянным усилием находя себя в метком слове, к которому читателя можно было привести и менее эмпирическим путем), это, конечно, настоящая литература, чистая и честная» (Современные записки. 1940. Кн. LXX).

...эмалевым эректеонам и парфенонам... — Эрехтейон (421–406 гг. до н. э.) и Парфенон (447–438 гг. до н. э.) — храмы богини Афины на Акрополе в Афинах.

...в «Пьяном Корабле»... слово «левиафан»... — Имеются в виду строки стихотворения Артюра Рембо (1854–1891) «Пьяный корабль» (1871): «Брожение болот я видел — словно мрежи, / где в тине целиком гниет левиафан» (перевод В. Набокова, 1928; см. том II наст. издания).

С. 355. ...смутную атмосферу сомнительных рассветов и прибыльных ночей. — В журнальном варианте: «...смутную атмосферу сомнительных авантюр, краденых автомобилей, безденежных рассветов и прибыльных ночей...». Возможно, здесь имеет место ошибка редактора, в результате которой «рассветы» приобрели «сомнительный» эпитет.

...старый «Illustration»... — «L'Illustration» — иллюстрированный журнал, издававшийся во Франции с 1843-го по 1944 г.

С. 356. мементо мори — (*лат.* memento mori) помни о смерти.

С. 358. ...пьеса, которую мы видели, с чернокожим, с подушкой. — Пьеса, которую Магда и Кречмар «видели», — трагедия Шекспира «Отелло». Сравнивая себя с Дездемоной, Магда пытается показать, что Кречмар, как Отелло, собирается ее убить по ложному доносу. На самом деле шекспировская ситуация вывернута наизнанку.

С. 360. ...я оскорблена тобой и твоим милым Розенкранцем. — Ошибка Магды вызвана не только созвучием фамилии невольного доносчика Зегелькранца с именем персонажа шекспировского «Гамлета» — Розенкранц тоже шпионил за Гамлетом.

С. 361. ...попался с... «полной рукой» против «масти» и «каре». — «Полная рука», «масть» и «каре» — комбинации карт при игре в покер.

бэк-хэнд — (*англ.* back-hand) в теннисе: удар слева «закрытой» ракеткой.

С. 362. паркетация (паркетирование) — реставрация живописи по дереву.

рантуаляция (рантуалирование) — перевод картины на новый холст.

С. 364. Старуха, собирающая на пригорке ароматные травы... — По мнению ряда исследователей, смена точек зрения в главе XXIX напоминает кинематографическую технику панорамирования. (См., напр., D. Stuart. «Laughter in the Dark»: The Novel as Film // D. Stuart. Nabokov: Dimensions of Parody. Baton Rouge, LA: Louisiana University Press, 1978. P. 87–113.)

С. 365. ...и волшебный фонарь мгновенно потух. — «Волшебный фонарь» (*лат.* laterna magica) — оптический прибор, предшественник современного диапроектора. «В культуре XIX века экран "волшебного фонаря" сделался символом всего мимолетного — "суеты сует". ⟨...⟩ для человека докинематографической эпохи чудом было не столько изображение, исходящее из "волшебного фонаря", сколько способность этого изображения исчезать. ⟨...⟩ В литературу XIX века образ "волшебного фонаря" вошел как метафора преходящего. Уже в стихотворении Державина "Фонарь" каждая строфа, посвященная отдельной картине, начинается словами:

"явись! и бысть!" —

а заканчивается:

"исчезнь — исчез!"

Этой традиции придерживался и Пушкин. По наблюдению другого русского поэта, В. Ф. Ходасевича, в пушкинских стихах метафора "волшебный фонарь" связывается с представлением о "свете и тени, о сновидении, о заре, горящей — и угасающей, об исчезновении таком же внезапном и непонятном, как и появление"» (Ю. Лотман, Ю. Цивьян. Указ. соч. С. 36–39). Один из рабочих вариантов заглавия романа «Смех в темноте» — «Волшебный фонарь» («The Magic Lantern») (*B90.* P. 445).

О «волшебном фонаре» в прямом и метафорическом смысле у Набокова см. гл. 8 «Других берегов».

С. 373. Глава XXXIII отсутствует в журнальном варианте. После номера — две строки отточия. Набоков не включил эту главу и в автоперевод.

Такие гаффы непоправимы... — Гафф (от *фр.* gaff) — промах.

С. 376. ...с комической резиньяцией... — Резиньяция — выражение безропотного смирения и покорности.

С. 382. В журнальном варианте пропущено начало главы XXXV. Глава начинается со слов: *«Макс, вернувшись домой...»*. Эта же часть главы исключена Набоковым из романа «Смех в темноте».

С. 392. Ключа не оказалось. — Ср.: в романе «Смех в темноте» после этих слов следует предложение: «Двери почему-то всегда оказывались не на его стороне».

С. 392—393. ...звон в ушах и нестерпимый толчок в бок (...) булькает... — Ср. с воспоминаниями героя романа Набокова «Соглядатай» (1930) Смурова о своих ощущениях в момент неудавшегося самоубийства: «Был сильный толчок, и что-то позади меня дивно зазвенело, — никогда не забуду этого звона. Он сразу перешел в журчание воды, в гортанный водяной шум; я вздохнул, захлебнулся, все было во мне и вокруг меня текуче, бурливо. Я стоял почему-то на коленях, хотел упереться рукой в пол, но рука погрузилась в пол как в бездонную воду» (см. в наст. томе, с. 53). Образы и ощущения, связанные с водой, сопровождают смерть во многих произведениях Набокова. Так, Кингсли, персонаж пьесы «Полюс» (1923), умирая, произносит: «А! Вот что значит смерть: / стеклянный вход... вода... вода... все ясно». Н. И. Толстая в статье «“Полюс” В. Набокова и “Последняя экспедиция Скотта”» (Русская литература. 1989. № 1. С. 133—136) соотнесла слова Кингсли с фразой родственницы Набокова Прасковьи Николаевны Тарановской, приведенной в «Других берегах» (гл. 3 (1)): «...она умерла в 1913 году, кажется, и ее странные, ясно произнесенные слова были: “Теперь понимаю: всё — вода”».

С. 393. Дверь из прихожей на лестницу тоже осталась открытой. — Ср. с высказыванием вымышленного философа Делаланда, приведенным Федором Годуновым-Чердынцевым, героем романа «Дар»: «Я знаю, что смерть сама по себе никак не связана с внежизненной областью, ибо дверь есть лишь выход из дома, а не часть окрестности, какой является дерево или холм. Выйти как-нибудь нужно, “но я отказываюсь видеть в двери больше, чем дыру, да то, что сделали столяр и плотник” (Delalande, Discours sur les ombres p. 45 et ante)». См. также прим. к с. 392.

По свидетельству А. Долинина, одна из рукописей романа, хранящаяся в Библиотеке Конгресса США, имеет другой финал: Кречмару удалось застрелить Магду.

А. Яновский

ОТЧАЯНИЕ

Впервые: Современные записки, Париж, 1934. Кн. XLIV, XLV, XLVI. Отдельной книгой роман вышел в издательстве «Петрополис», Берлин, 1936. Печатается по этому изданию. В журнальном варианте нарушена нумерация: две главы VII — поэтому всего десять глав, тогда как в книжном издании одиннадцать. Первая английская версия романа в переводе автора («Despair», London: John Long Limited) вышла в 1937 г. Вторая («Despair», New York: G.P. Putnam Suns) — в 1966 г. По словам Набокова в предисловии к американскому изданию, он «не ограничился тем, что перелатал» прежний английский текст, он «переделал само “Отчаяние”». В последней версии отчетливее звучит тема безумия героя и откровеннее прописаны эротические подробности, а также вносится дополнительная, обманная концовка, в которой Герман пытается выдать себя за фильмового актера и представить историю как кинематографический сюжет. (Подробно об основных расхождениях текстов см.: Carl R. Proffer. From «Otchaianie» to «Despair» // Slavic Review. Vol. 27. № 2 (1968). P. 258–267; Jane Grayson. Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose. Oxford University Press, 1977. P. 59–82.) Вместе с тем некоторые отличия «Despair» 1966 г. связаны с изменением пародийной и игровой стратегии: Набоков заостряет полемику с Достоевским, смещая акцент пародии с декадентских и советских подражаний на исходный образец, поясняет или опускает некоторые аллюзии, иногда заменяет их на другие, более внятные западному читателю, вводит иные каламбуры, которые, как и в русской версии, очерчивают внутренний сюжет, усиливают смысловую динамику романа. (Об этом: А. Долинин. Набоков, Достоевский и достоевщина // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 46–52.) Впервые доверив повествование антигерою — посредственному самозванцу и сумасшедшему деспоту, писатель ставит перед собой сложнейшую формальную задачу — разграничить когнитивный кругозор автора и рассказчика, обнаружить свое присутствие в тексте и показать «ненадежность» повествователя, неправомерность его претензий на роль художника и творца романной реальности, подлинным создателем которой является сам Набоков. Новый роман вызвал восторженный отзыв В. Ходасевича (Возрождение. 3 мая 1934) и В. Вейдле, который увидел в нем «сложное иносказание, за которым кроется не отчаяние корыстного убийцы, а отчаяние творца, неспособного поверить в предмет своего творчества» (Круг. Берлин. 1936. № 1). По мнению Вейдле, эстетическая тема романа «роднит» Сирина «с самым показательным, что есть в современной европейской литературе», и «дает ему в русской то место, которое кроме него некому занять». Г. Струве в своей рецензии (Русские в Англии. 15 мая 1936) также

выделил проблему творчества в романе: «...Отчаяние Германа есть отчаяние сплоховавшего художника. Можно провести далеко идущие параллели между творческими приемами Сирина и преступным замыслом его героя». П. Бицилли в статье «Возрождение Аллегории» (Современные записки. 1936. Кн. LXI) высказал идею, что изображение «лжежизни в призрачном пустом мире» связывает Сирина с Салтыковым-Щедриным и восходит к традиции средневекового аллегорического искусства. Г. Адамович неоднократно отзывался на роман Набокова (Последние новости. 15 февраля, 24 мая, 8 ноября 1934; 5 марта 1936). Критик признал роман Сирина «подлинно поэтическим произведением», «пусть... ничем не поддержанным извне», «ничему не отвечающим в эпохе», «но оживленным такой фантазией, что она ослепляет и не позволяет уже ничего другого видеть». При этом, отождествив автора с рассказчиком и литературными масками последнего, Адамович обвинил Набокова в метафизической слепоте и связал с «“безумной”, холостой гоголевской линией, до него подхваченной Федором Сологубом». Еще более доверительно отнесся к исповеди Германа Ж. П. Сартр, по словам Набокова, «рецензент-коммунист», написавший в 1939 г. «на редкость глупую статью о французском переводе “Отчаяния”», который увидел в авторе и герое оторванных от «корней» «жертв войны и революции».

С. 397. ...она, бывало, в сиреневых шелках, томная, с веером в руке...обмахиваясь... (см. также на с. 398: *...дама в лиловом, с веером.*) — Придуманный Германом образ матери, воспроизведенный на обложке его товара, напоминает изображение пиковой дамы на игральных картах и, таким образом, вместе с именем героя отсылает к пушкинской повести, важнейшему подтексту «Отчаяния».

С. 398. Шоколад — хорошая вещь. — Товар Германа связывает «Отчаяние» с романом советского писателя А. И. Тарасова-Родионова «Шоколад» (1925). Шоколад в романе Тарасова-Родионова — символ соблазнов дореволюционного мира. Поддавшись им, герой совершает роковую ошибку и в конце концов оказывается в камере смертника. Мотивы соблазна, ошибки, смертной казни организуют и сюжет набоковского романа. В 1931 г. Тарасов-Родионов, эмиссар советского правительства, приехал в Берлин, чтобы вести пропаганду среди писателей-эмигрантов. Он встретился с В. Сириным и пытался убедить его вернуться в Россию. Тема возвращения эмигрантского писателя пародийно откликается в желании Германа опубликовать свое произведение в Стране Советов. (О «Шоколаде» и «Отчаянии» см.: С. Сендерович, Е. Шварц. «Приглашение на казнь». Комментарий к мотиву // Набоковский вестник. Вып. 1. СПб., 1998. С. 83–87.)

...то рисуя носы на полях... — аллюзия на повесть Н. В. Гоголя «Нос». Герман выдает свою принадлежность традиции одержимых двойниками персонажей русской классики.

...муки творчества... — перифраз известной формулы из стихотворения С. Я. Надсона «Милый друг, я знаю, я глубоко знаю...» (1882): «Нет на свете мук сильнее муки слова» и контаминация заглавий двух известных в 1920-е гг. книг литературного критика А. Г. Горнфельда «Пути творчества» (1922) и «Муки слова» (1927).

С. 399. ...размахивая руками в новых желтых перчатках... — По наблюдению Уильяма Кэррола, Герман, подражая денди Оскара Уайльда, надевает перчатки лорда Генри из «Портрета Дориана Грея» (W. C. Carrol. The Cartesian Nightmare of «Despair» // Nabokov and Others in His Life's Work. Ed. by J. E. Rivers, Ch. Nicol. University of Texas Press, Austin, 1982. P. 98).

С. 404. Тарниц — вымышленный топоним, по-видимому, образованный от *нем.* tarnen — «маскировать, прятать», а также das Nets — «ловушка».

С. 405. ...так ветер туманит счастие Нарцисса... — В английской версии (1966) эта тема начинается несколько раньше. Герман замечает, что Феликс, протянувший ему руку не вставая с земли (и, таким образом, не отражаясь в глазах собеседника), напоминает Нарцисса, оторвавшегося от источника, чтобы «обмануть Немезиду». В греческой мифологии Нарцисс — прекрасный юноша, наказанный богиней правосудия Немезидой за то, что отверг влюбленную в него нимфу Эхо. Взглянув в незамутненный источник, Нарцисс увидел собственное отражение, не смог отвести от него взор и умер от любви к себе.

С. 406. Амундсен Руаль (1872—1928) — норвежский полярный путешественник и исследователь.

У меня на лбу надувается жила, как недочерченная «мысль»... — Рассказчик перевирает церковнославянское название буквы «М» — «мыслете». В этой неточности можно увидеть аллюзию на рассказ Л. Андреева «Мысль» (1902), герой которого Антон Керженцев, один из декадентских предшественников Германа, преступник-«артист», претендующий на совершение идеального убийства и описывающий постфактум историю преступления. «Недочерченная мысль» — формула, выражающая двойственное отношение Набокова к андреевскому рассказу, сочетающему эпигонское подражание Достоевскому, безвкусную цветистость стиля с проблесками оригинальной образности и психологическими находками. Набоков как бы дочерчивает рисунок Л. Андреева, пародийно воспроизводя при этом многие мотивы «Мысли», характерные для декадентской традиции: ницшеанскую тему умершего Бога, эстетический культ убийства, нарциссические переживания преступника. (Об этой и других аллюзиях на декадентскую традицию

и последователей Достоевского 20-х гг. в «Отчаянии» см. A. Dolinin. Caning the Modernist Profaners in «Despair» // Nabokov at the Crossroads of Modernism and Postmodernism // Cycnos. Vol. 12. № 2. Nice, 1995. P. 43—54. Расширенный вариант статьи доступен на Интернете. Zembla: The Nabokov Butterfly Net, 1997. Http:// www. libraries. psu. edu/ iasweb/ nabokov / doli 1. htm).

С. 409. ... уйдем, уйдем... — намек на цитату из либретто оперы Ж. Бизе «Кармен» в одноименном цикле стихотворений А. Блока (1914): «А там: Уйдем, уйдем от жизни, / Уйдем от этой грустной жизни! / Кричит погибший человек...» («Сердитый взор бесцветных глаз...»)

С. 410. Она ненавидит Ллойд Джорджа, из-за него, дескать, погибла Россия... — Ллойд Джорж (1863—1945) — первый министр Великобритании с 1916-го по 1922 г., представитель левых либералов, вызывал ненависть в эмигрантских кругах за то, что отказал в политическом убежище царской семье. Ему также вменялось в вину весьма скромное участие англичан в войне с большевиками.

Немцам попадает за пломбированный поезд... — Немецкие власти позволили В. И. Ленину и группе революционеров пересечь воюющую с Россией Германию, благодаря чему им удалось попасть в Петроград в апреле 1917 г.

...держались по-хамски во время эвакуации. — Французские войска эвакуировались из Одессы в апреле 1919 г., оставив город большевикам.

...слово «мистик»... — В английской версии — игра на внутренней форме слова: «мистик» для Лидии связано с mist (туман), mistake (ошибка) и stick (палка). Ассоциации Лидии становятся предзнаменованиями краха Германа, который в «тумане» совершит убийство и допустит «ошибку», забыв на месте преступления «палку» с инициалами убитого.

С. 411. фурирчики — (от *фр.* fou rire) здесь: глупые смешки.

С. 412. ...которым следовало позвонить. — В английской версии (1966) далее следует «весьма существенный», пассаж, который, как говорится в предисловии, «по глупости был исключен в более застенчивые времена». Герман описывает особую «аберрацию» — «раздвоение личности», испытываемое им в любовных отношениях с Лидией. Находясь в постели с супругой, он одновременно видит себя со стороны, при этом все дальше и дальше отодвигаясь от места действия. «Я мечтал понаблюдать за маленькой, но очень активной парой через театральный бинокль, через гигантский телескоп или через оптические приспособления еще неизвестной мощности, которая увеличивалась бы пропорционально моему возрастающему экстазу». Но однажды фокус не удался: «...с отдаленной кровати, где, как мне казалось, я находился, донесся зевок Лидии и ее глупый голос, говоривший, что

если я не собираюсь ложиться, то не мог бы я принести ей красную книгу...» Герман пытается преодолеть дистанцию и утверждает, что ему это несомненно бы удалось, «если бы новое и чудесное наваждение не затмило во мне всякое желание возобновлять эти забавные, но довольно обыкновенные эксперименты» (перевод Г. Левинтона // *Н97.* С. 878–879).

С. 413. ...пора ему в калашный ряд. — Герман неправильно использует пословицу «соваться со свиным рылом в калашный ряд», которая скорее приложима к его попытке узурпировать роль гениального художника.

С. 414. дворомыга — согласно словарю В. Даля, бродяга, нищий.

С. 415. ...забирали с собой Ардалиона... двоюродного брата жены. — Ардалион — имя, связанное с темой безумия в русской литературе: оно принадлежит генералу Иволгину в романе Достоевского «Идиот» и сумасшедшему Передонову из «Мелкого беса» Ф. Сологуба. Отдавая имя Передонова брату жены Германа, а не самому Герману, подлинному наследнику сологубовского героя, Набоков обыгрывает сюжетный ход «Мелкого беса». У Сологуба Передонов выдает себя за брата своей любовницы Варвары. Одновременно сологубовский подтекст обнажает скрытую, особенно в русской версии, линию любовной связи Лидии и Ардалиона. (Подробно об аллюзиях на Сологуба в «Отчаянии» см.: О. Сконечная. «Отчаяние» В. Набокова и «Мелкий бес» Ф. Сологуба». К вопросу о традициях русского символизма в прозе Набокова 20–30-х гг. // Vladimir Nabokov-Sirine: Les annees europeennes. Ed. Nora Buhks. Cahiers de l'emigration russe 5, 1999, Paris. P. 133–143.)

...платил мертвой натурой... — каламбур, обыгрывающий буквальное значение слова «натюрморт» (*фр.* «мертвая натура»).

...или малиновой сиренью в набокой вазе... — По наблюдению Дж. Коннолли и ряда других исследователей, в словосочетании закодированы псевдоним и фамилия автора Набокова-Сирина. (См.: J.Connolly. Nabokov's Early Fiction. Patterns of Self and Other. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1992. P. 157.) В английской версии (1966) — метафора, намекающая на похождения Ардалиона: «фаллические тюльпаны в наклонной вазе».

С. 416. Привет, привет, столетние деревья! — возможно, контаминация пушкинских строк: «Приветствую тебя, пустынный уголок» (первый стих «Деревни») и «Столетни сосны не шумят» (из описания «чудной долины», где текут ручьи с живой и мертвой водой, в шестой песни «Руслана и Людмилы»).

С. 421. ...Наполеоны среди мужчин... — намек на родство Германа с «наполеоновскими типами» русской литературы — Германном из «Пиковой дамы» и Раскольниковым.

...художник видит именно разницу. Сходство видит профан. — Ардалион перифразирует Паскаля: «Чем умнее человек, тем

больше своеобычности он находит во всяком, с кем общается. Для человека заурядного все люди на одно лицо» (Франсуа де Ларошфуко. «Максимы». Блез Паскаль. «Мысли». Жан де Лабрюйер. «Характеры». М., 1984. С. 114).

...не корысть... — аллюзия на заключительные строки пушкинского стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828), выдающая претензии Германа на образ пушкинского свободного певца, презирающего низменные интересы черни: «Не для житейского волненья, / Не для корысти, не для битв, / Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв».

С. 422. Предлагаю на выбор несколько вариантов. — Герман пытается пародировать наиболее распространенные повествовательные модели современной русской прозы.

...в романах, ведущихся от лица настоящего или подставного автора... — дневниковый тип повествования от первого лица, идущий от Лермонтова через Тургенева и Бунина к Эренбургу, А. Толстому и другим.

...все так же бушует ветер... — Характерно, что подобное начало часто отмечено в советской литературе 20-х гг. (вслед за лермонтовской «Княжной Мэри») мотивом ветра. (Например, в повести А. Толстого «Рукопись, найденная среди мусора под кроватью», написанной от лица рассказчика-убийцы; у Н. Никитина: «Я русский, и в стране моей... вечный, суровый ветер» («Полет»); в романе И. Эренбурга «Лето 1925 года».) Набоков играет на устойчивых метафорических значениях «советского ветра» (ветер революции, ветер истории), возвращая ему традиционное библейское звучание: ветер как божественное дыхание, орудие божественной власти, в контексте романа — знак присутствия творца-автора. (См. о божественном мотиве ветра: S. Davydov. «Despair» // The Garland Companion to Vladimir Nabokov. New York, Garland, 1995. P. 94—95.)

Орловиус был недоволен. — Пародируется неожиданное, обрывочное начало произведений Тынянова и других русских формалистов 20-х гг.

...тянул себя за длинную мочку левого уха... — аллюзия на скрупулезность М. Горького в разработке портретных деталей персонажей. Потягивание за ухо — жест, повторяющийся вновь и вновь в «Делс Артамоновых» (1925). Фамилия одной из героинь романа — Орлова.

С. 422—423. Между тем... (пригласительный жест многоточия) (...) Между тем... Новый абзац... — Герман обнажает технику монтажа музыкальной прозы Андрея Белого, воспроизводя одну из глав «Котика Летаева» (1915), которая называется «Между тем...» и открывается этим же словосочетанием «Между тем: — ».

С. 423. Я никогда не воровал персиков из теплиц лужского помещика... — отсылка к фамилии главного героя романа Набокова

«Защита Лужина» (1930) и к детали из последней главы книги: среди прочих предметов, которые Лужин вытаскивает из карманов перед самоубийством, упоминается «крупная персиковая косточка». В предисловии к английскому переводу «Защиты Лужина» Набоков заметил, что подарил герою косточку от персика, сорванного в его собственном «огороженном саду», тем самым намекнув на символическое значение персика как атрибута авторского «парадиза». В традиционной христианской эмблематике персик выступает как символ тайной дободетели и спасения.

С. 424. ...так, в моей передаче «Выстрела» Сильвио... убивал любителя черешен и с ним — фабулу... — В пушкинской повести Сильвио отказывается стрелять в графа, видя, как тот безмятежно лакомится ягодами под дулом пистолета. Герман перевирает сюжет, начиняя его собственным преступным замыслом. Имя его будущей жертвы «Феликс» (*лат.* «счастливый») вторит характеристике пушкинского графа: «вечный любимец счастья». Герман «заставляет» Сильвио застрелить счастливца, подобно тому как сам он убивает Феликса. В английской версии герой перекраивает Шекспира, исподволь проговариваясь об измене собственной супруги: «...так, например, пересказывая содержание “Отелло”... я сделал Моора — скептиком, а Дездемону — неверной».

Что делает советский ветер в слове ветеринар? — См. о советском ветре прим. к с. 422. Набоков в этот период творчества придерживался старой, дореформенной орфографии, в частности написания «вѣтер», тогда как в Стране Советов уже прошла реформа и буква «ять» (ѣ) была упразднена, поэтому в новой, советской, орфографии писалось «ветер». Здесь также обыгрывается «нар» как составная часть многочисленных советских аббревиатур (нарком, наробраз и т. п.).

...голая, заново выбеленная комната... — отсылает к привидевшейся Свидригайлову вечности — баньке с пауками, а также к пустой комнате — метонимическому образу мира без Бога из рассказа Л. Андреева «Мысль».

С седьмого класса я стал довольно аккуратно посещать веселый дом... — В английской версии (1966) Герман намекает на свое раннее интимное знакомство с музами: «Перепробовав все семь девиц, я остановил свой выбор на коротышке [в оригинале: “roly-poly”] Полигимнии...» Полигимния — муза серьезной гимнической поэзии, которая помогала запомнить схваченное. Ее имя указывает на то, что поэты приобретали созданными ими гимнами бессмертную славу. В «Despair» именно она, а также «“Швинбурн”, как его называли в балтийских провинциях» (то есть английский поэт Алджернон Чарлз Суинберн, 1837–1909) вдохновляет Германа на его ранние поэтические опыты, иные в английском тексте.

...от отчаянья... ты отчалила... — по-видимому, аллюзия на повесть И. Эренбурга «Лето 1925 года», в финале которой — рефлексия, построенная на том же каламбуре: «Не осуждайте же меня. Когда я говорю “отчаяние”, я не лгу, но невольно ассоциация не звуков — чувств подсказывает мне другое слово “отчалить”. ⟨...⟩ Я и впрямь отчалил от прежней жизни» (И. Эренбург. Лето 1925 года. М.: Круг, 1926. С. 204). «Отчаяние» — ключевое слово Эренбурга, который заявляет, что его писательская задача состоит в том, чтобы превратить самого себя в «трогательного героя, толкуя свежее, еще дышащее теплой испариной отчаяние как некоторый литературный материал». Ту же цель преследует и рассказчик Набокова. Повесть перекликается с набоковским романом мотивами двойничества, убийства и его эстетической трактовки.

С. 425. Юрьев — название г. Тарту в 1893–1919 гг.

С. 426. ...есть такой город — Икс? — По-видимому, Лида путает Экс (Aix), первую часть ряда французских топонимов, с названием сказочного королевства Икс в одноименной книге для детей американского писателя Франка Баума (1856–1919). В английской версии она называет Пиньян, город на юге Франции, недалеко от Монпелье.

С. 428. Кенигсдорф, Айхенберг, Вальдау — вымышленные немецкие топонимы, включающие в себя слова, которые могут быть соотнесены со сквозными мотивами романа: Konig (король), Dorf (деревня), eichen (дубовый), Berg (гора) и Wald (лес).

скиния — греч. «шатер».

С. 430. ...окончание портрета ⟨...⟩ розовый ужас моего лица. — Тема пугающего, мстительного портрета, изобличающего пороки владельца, восходит к «Портрету Дориана Грея» Оскара Уайльда и «Портрету» Гоголя.

«Остров мертвых» — картина А. Бёклина (подробнее см. прим. к с. 198 наст. изд.).

С. 431. «Ардалион». — Присваивая это имя, Герман выдает свое родство с героем «Мелкого беса» Ардалионом Передоновым.

С. 433–434. Давно, усталый раб ⟨...⟩ замыслил я побег ⟨...⟩ Мечтается мне доля ⟨...⟩ «обители чистых нег». — Герман цитирует отрывки стихотворения А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834), пытаясь представить свой преступный план как мечту о поэтическом побеге. При этом он не случайно опускает два ключевых слова финальной строки — вместо пушкинского: «В обитель дальную трудов и чистых нег» — «обитель чистых нег». Таким образом, «дальный» мир вдохновенного труда превращается в ближнее, земное убежище, герой выступает самозванцем, не помышляющим в действительности о подлинном творчестве.

С. 434. В наше время бездарному художнику Италия ни к чему. Так было когда-то, давно. — Герман не замечает, что его реплика

отсылает к сюжету «Анны Карениной», где дилетант Вронский без всякого успеха занимается живописью во время поездки в Италию с Анной, и, таким образом, к теме супружеской измены, которая имеет к герою «Отчаяния» непосредственное отношение.

С. 435. Мое почтение Сикстинской... — Картина Рафаэля «Сикстинская Мадонна» находится в Дрезденской галерее.

...в мышиных гетрах... — позаимствованных, вероятно, из нелюбимой Набоковым поэмы Блока «Двенадцать», где серые гетры упоминаются по соседству с шоколадом: «Гетры серые носила, / Шоколад Миньон жрала» (ср. также далее: «надел... мышиные гетры...»).

С. 436. ...весь смысл моей жизни заключался в том, что у меня есть живое отражение, — почему же я упомянул имя небытного Бога... — По мнению И. П. Смирнова, это указание на один из философских подтекстов «Отчаяния» — «Смысл жизни» (1918) Е. Н. Трубецкого, с которым ведет скрытую полемику набоковский герой. Если в труде Трубецкого развивается идея «всеединства» Плотина — Владимира Соловьева, то Герман также «выступает за “всеединство”, но безрелигиозное... достижимое сугубо комбинаторным путем в такой потерявшей качественное различие реальности, где каждый может занять место каждого» (И. П. Смирнов. Философия в «Отчаянии» // Звезда. 1999. № 4. С. 177).

...и мягкий напор ветра... — В английской версии — «каспийского ветра» — намек на идею Поприщина «будто человеческий мозг... приносится ветром со стороны Каспийского моря». В русской версии существуют иные знаки присутствия гоголевского безумца. Например, звуковое эхо знаменитой последней фразы «Записок сумасшедшего»: «А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?» ощутимо в предваряющей сцену убийства детали — «шишка на подножке», а затем уже в самой этой сцене, где слово «подножка» повторяется пять раз. См. также прим. к с. 456.

С. 437. Христина Форсман — содержит анаграмму «роман Сирина».

...я посмотрел на графин с мертвой водой, и он сказал «тепло»... — Герман, вероятно, упускает из виду несколько возможных литературных ассоциаций этого образа. Во-первых, сочетание «графин с мертвой водой» отсылает к эпизоду «Руслана и Людмилы», где «вещий Финн» набирает в кувшины мертвую и живую воду, которыми оживляет убитого героя. Во-вторых, оно, по созвучию, напоминает о мертвой графине из «Пиковой дамы». Наконец, подразумеваемая парономазия графин/графиня восходит к «Петербургу» А. Белого.

...Карл Шпис — (от *нем.* Spieß — «бюргер, обыватель»). Имя персонажа выдает бюргерские корни Германа Карловича.

...встал на дыбы бронзовый конь... памятник мог бы сойти за петербургского всадника (...) трижды обошел памятник, отметив придавленную копытом змею, латинскую надпись, ботфорту с черной звездой шпоры. — Знаменитый памятник Э. М. Фальконе Петру I на Сенатской площади, который мерещится Герману, вводит в роман один из важнейших мотивов «петербургского текста» — мотив «Медного всадника», идущий от Пушкина через Достоевского к А. Белому и символистской поэзии, с его неизменной семантикой бреда, наваждения. Вместе с ним возникает тема города, «который подымется с туманом и исчезнет как дым» («Подросток»), города как «праздной мозговой игры» («Петербург»).

Свернув... на боковую улицу... — еще один автограф Набокова-Сирина, зашифрованный в тексте.

С. 444. ...два бородатых карла. — Один из них, по всей вероятности, Карл Маркс, другой — бородатый карла Черномор из «Руслана и Людмилы».

Кажется, у Паскаля встречается где-то умная фраза о том, что двое похожих друг на друга людей особого интереса в отдельности не представляют, но коль скоро появляются вместе — сенсация. — В «Мыслях» Паскаля: «Два похожих лица, ничуть не смешных по отдельности, смешат своим сходством, когда они рядом» (Указ. соч. С. 139). В отличие от Ардалиона, Герман, как обычно, перевирает оригинал, невольно подсказывая, что ординарен и достоин осмеяния.

Есть чувства, как говорил Тургенев, которые может выразить одна только музыка. — Имеется в виду финал повести И. С. Тургенева «Вешние воды»: «Не беремся описывать чувства, испытанные Саниным (...) Подобным чувствам нет удовлетворительного выражения: они глубже и сильнее — и неопределеннее всякого слова. Музыка одна могла бы их передать» (И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12 т. Т. 8. М., 1981. С. 383). В английской версии тургеневская тема пополнена также воспоминанием Германа об изобретенном им гибриде «великая Виабранова», образованном от имен двух французских оперных див: возлюбленной писателя Полины Виардо (1821–1910) и ее сестры Марии Малибран (1808–1836).

Еще изречение: опубликованный манускрипт, как говорил Свифт, становится похож на публичную женщину. — У Свифта: «Рукопись со стихами, хранящаяся в кабинете и показанная лишь нескольким друзьям, похожа на девственницу, которой многие добиваются и которой любуются; но будучи напечатанной, она напоминает публичную девку, которую всякий может купить за полкроны» (J. Swift. Thoughts on Various Subjects Continued. 1776 //

The Prose Works of Jonathan Swift. Ed. by Temple Skott. L., 1907. Vol. 1. P. 283).

С. 445. ...они очень искусственны, но неплохо скроены. — Герман повторяет общие места критиков русской эмиграции по поводу первых набоковских романов.

С. 446. ...кролики, — самое овальное животное... — то есть самое плодовитое. Каламбур строится на игре слов «овал» — «овуляция» (от *лат.* ovulum — «яйцо»), то есть выделение яйца из яичника.

С. 447. ...чудный сад исчез, как сон (...) и там будет разбит новый сад, еще лучше старого. — Пародийная аллюзия на чеховскую тему разорения фамильного гнезда и надежд нового поколения в «Вишневом саде»: «Мы насадим новый сад, роскошнее этого...»

С. 450. ...беседы в бутафорских кабаках имени Достоевского... — Речь идет о знаменитых диалогах в трактирах, например: Мармеладов—Раскольников, Заметов—Раскольников, Свидригайлов—Раскольников в «Преступлении и наказании»; Алеша—Иван в «Братьях Карамазовых». (О пародировании Ф. М. Достоевского в «Отчаянии» см.: S. Davydov. Dostoevsky and Nabokov: The Morality of Structure in «Crime and Punishment» and «Despair». Dostoevsky Studies 3 (1982). P. 157—170; J. W. Connolly. Dostoevsky and Vladimir Nabokov: The Case of «Despair». Dostoevsky and the Human Condition after a Century. New York: Greenwood Press, 1986. P. 155—162 и др.) Слова Германа отсылают нас вместе с тем и к череде отражений знаменитых кабацких бесед Достоевского в позднейшей прозе, которая создавалась в русле традиции писателя: у А. Белого, канонизировавшего эту традицию, Л. Леонова, И. Эренбурга и других.

...«подноготная» и еще, пожалуй, курсивом. — Слово часто употребляется в « Преступлении и наказании», а также в романе Л. Леонова «Вор». Леонов, «советский Достоевский» 20-х гг., также часто использует многозначительный курсив.

С. 451. ...брата благополучного и брата-неудачника... положивших локти на стол... — Тема братьев, поза собеседников подсказывает, что декорации этой сцены смонтированы из «Петербурга» А. Белого. Двойной агент Морковин, зазвавший Николая Аблеухова в «старый адский кабачок», объявляет себя его незаконнорожденным братом. Как и в «Отчаянии», версия «братьев» оказывается ложной, но продолжает существовать в метафорической проекции («братья по убеждению»). Подобно «братьям» «Отчаяния», герои Белого сидят, положив локти на стол.

С. 452. ...«деньги» по-немецки золото, по-французски — серебро, по-русски — медь... — Немецкое Geld, действительно, происходит от Gold (золото), а французское argent означает и деньги, и серебро. Этимология же русского существительного никак не связана

с медью, поскольку оно восходит к татарскому и монгольскому слову «танка» — серебряная монета.

С. 453. Мы снова прошли мимо двойника медного всадника. — Набоковские герои повторяют круговой маршрут Николая Аблеухова, который дважды проходит мимо памятника Петру — по дороге в кабак и на пути из него.

...меня пронзила ужасная мысль, что, может быть, у него какой-нибудь... крап накожной болезни или грубая татуировка... — перевертыш одного из сюжетных ходов «Мелкого беса». Передонов, опасаясь, как бы Володин не подменил его собою, не женился на его подруге и не получил вместо него обещанных княгиней денег, «решил наметить себя 〈...〉 На груди, на животе, на локтях... намазал он чернилами букву "П"...» «Надо бы наметить и Володина», — думает он.

С. 456. ...все та же гнусная лжесобачка... 〈...〉 но тут уж я проснулся по-настоящему. — Автор воспроизводит прием тройных кошмаров, который применил Н. В. Гоголь (сон Чарткова в «Портрете») и Ф. М. Достоевский (сон Свидригайлова в «Преступлении и наказании»). «Гнусная лжесобачка» отсылает к «мерзкой собачонке», которая в галлюцинациях Поприщина издевается над ним. Посредующим звеном между текстами Гоголя и Набокова выступает «Двойник» Достоевского, где Голядкин не может понять, почему он шепчет: «Эх, эта скверная собачонка!», хотя для читателя это довольно прозрачная аллюзия на «Записки сумасшедшего». В видении Германа отзывается также сологубовская Недотыкомка, которая неотвязно преследует Передонова, прикидываясь «лентою, веткою, тучкою, собачкою».

С. 457. ...измучившись и насладившись... — реминисценция строки из стихотворения Н. Гумилева «Шестое чувство» (1921): «Прекрасно в нас влюбленное вино// И добрый хлеб, что в печь для нас садится, // И женщина, которою дано, // Сперва измучившись, нам насладиться».

...встань и уйди. — Перифраз слов Иисуса Христа, обращенных к больным, которых он исцелил: «Встань и иди в дом твой» (Матфей. 9: 5), «Встань, иди» (Лука. 17: 19).

...я спустился по лестнице... — Сцена в гостинице является аллюзией на эпизод «Двойника» (конец 7-й — начало 8-й главы), в котором Голядкин-старший, заключив союз с Голядкиным-младшим, приглашает его ночевать у себя, «под дружеским кровом», а утром замечает, что двойник бесследно исчез.

Сый — церк. «сущий». В английской версии — «Jah» — омофон русского «я» и немецкого Ja (да), а также аббревиатура от непроизносимого в иудаизме имени «Яхве» — Бога Ветхого Завета, которое понимается как «я есмь сущий».

С. 458. ...мелкий демон-мистификатор... — одна из характерных для Набокова многослойных аллюзий. «Мелкий демон» (эма-

нация самого Германа) прежде всего отсылает к «Мелкому бесу» — роману и мифологеме, созданной Ф. Сологубом и вошедшей в символистскую культуру: бес как мрачный, тупой кривляка, посредственный актер («вечная середина», «обезьяна Бога», по выражению Д. С. Мережковского), пародирующий Создателя и искажающий Творение. Вместе с тем словосочетание «демон-мистификатор», с точки зрения У. Кэррола, указывает на «Размышления о первой философии...» Р. Декарта, допускающего, что универсум порожден злым демиургом-обманщиком. По мнению И. П. Смирнова, рай Германа восходит к картине ада как «действительности вечного миража» Н. Трубецкого, населенного «пустыми, бессамостными призраками».

Вот в чем затор... — неточная цитата из знаменитого монолога Гамлета (акт III, сц. 1) в переводе Набокова: «Умереть, уснуть; / уснуть: быть может, сны видеть; да / вот где затор, какие сновиденья / нас посетят, когда освободимся / от шелухи сует?»

С. 459. ...и вечно, вечно, вечно... — В английской версии: «never, never, never, never» — цитата из «Короля Лира» (акт V, сц. 3): «Тебя навек не стало, / Навек, навек, навек, навек, навек!» (Перевод Т. Щепкиной-Куперник.)

...несколько капающих носов... — См. прим. к с. 398.

С. 460. ...мое второе — зверь по-французски... — то есть lion (лев).

С. 461. ...но довольно живо у меня осталось в памяти одно из них. Как хороши, как свежи... — Из стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы» (1879): «...но первый стих остался у меня в памяти: Как хороши, как свежи были розы...»

С. 462. Шепот, запах рыбы, жгучие ласки... — пародийное эхо первой строки стихотворения А. Фета «Шепот, робкое дыханье...».

...эта псевдоуайльдовская сказочка... — пародирует повести и сказки О. Уайльда, наиболее отчетливо перекликаясь со сказкой «Рыбак и его душа» (1891). С рыбака Уайльда, стройного, «как из бронзы», списана «бронзовая нагота» Марио. Сюжет двойников сказки соотносится с историей Германа: рыбак отсекает свою душу, которая есть не что иное, как «тело его тени». (Ср. в «Отчаянии» мотив тени, «павшей убитой к его ногам».)

С. 463. ...неподвижные и стилизованные, как зверье на гербах... — Основные персонажи «Отчаяния» имеют определенные зоологические прототипы: Ардалион соотнесен со львом, Лида — с козой или росомахой (так называет ее Ардалион), Орловиус — с орлом (через свою фамилию), Феликс — с воробьем (см. ниже его подпись в письме к герою), а Герман, как и Передонов в «Мелком бесе», — со свиньей, одним из характерных воплощений дьявола (ср. упоминаемый им самим «свиной тип», его любовь к свиной коже, постоянный мотив дубов/желудей,

отсылающий к басенному сюжету «Свинья и дуб»). В связи с этим следует отметить, что само слово «воробей» — псевдоним «двойника» Германа — содержит перевернутое «боров».

С. 464. ...салипирин. — Несуществующее средство от головной боли содержит, если добавить еще одну букву «с», констатацию: «писал Сирин» или «Сирин. Липа».

С. 465. Холодно, странничек, голодно... — В английской версии Герман уличает Ардалиона в том, что тот неверно цитирует Некрасова. Имеется в виду «Песня убогого странника» из поэмы «Коробейники» (1861). В оригинале: «Холодно, странничек, холодно ⟨...⟩ / Голодно, странничек, голодно».

Перебродов — звуковое эхо Передонова («Мелкий бес»).

С. 470. Поговорим... об искусстве преступления... — Как указал С. Давыдов, Герман обращается к английскому писателю Томасу де Квинси (1785—1859), который в своем триптихе «Об убийстве, рассматриваемом как один из видов изящных искусств» («On Murder Considered as one of the Fine Arts», 1827) называет преступника художником и возводит его генеалогию к «изобретателю убийства и отцу искусства Каину». (См.: С. Давыдов. Тексты-матрешки Владимира Набокова. Мюнхен, 1982. С. 93—97.) Де Квинси рассказывает о реальных преступлениях, совершенных неким Джоном Вильямсом в 1811 г. в Лондоне. Сходство фамилий преступника и жертв (Вильямсоны) отзывается в воображаемом двойничестве Германа и Феликса. Каламбурная связь имен обращает убитых «William'sons» в детей убийцы. Феликс — также плод наваждения Германа. Убийцу Де Квинси выдает шкатулка с его инициалами, а убийцу Набокова — палка с инициалами Феликса. Еще один адресат Германа — Оскар Уайльд, представивший в своем эссе «Кисть, перо и отрава. Этюд в зеленых тонах» (1889) другого преступника-артиста. Томас Гиффитс Уэнрайт обрел славу живописца, художественного критика и жестокого убийцы. По словам Уайльда, Уэнрайт, денди в перчатках бледно-лимонного цвета (ср. желтые перчатки Германа), был настоящим эстетом и питал «глубокое отвращение ко всему слишком ясному и заурядному». Уайльд убежден, что его преступления «имели большое влияние на его творчество» и сожалеет, что дневник убийцы, «куда он... записывал результаты своих страшных экспериментов», не дошел до нас.

С. 471. ...убийцей в нем должен был бы оказаться... сам Пимен всей криминальной летописи, сам доктор Ватсон... — На самом деле, и эта идея Германа отнюдь не оригинальна, так как на ней был построен знаменитый детективный роман Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда» («The Murder of Roger Ackroyd», 1926), в котором убийцей оказывается рассказчик.

Леблан Морис (1864—1941) — французский писатель, создавший знаменитый образ обаятельного грабителя Арсена Люпена.

Среди романов Леблана: «Арсен Люпен, джентльмен-вор» (1908), «Арсен Люпен против Шерлока Холмса» (1908), «Вогнутая игла» (1909).

Уоллес Эдгар (1875–1932) — американский писатель английского происхождения, автор более 175 детективных романов, новелл и пьес. Обрел успех после своей первой книги «Четыре поборника справедливости» (1905). Известно, что он мог написать роман за три дня.

С. 474. ...меня мучит сознание, что вы погибаете. — В английской версии дальше следует фраза: «Художник не может жить без любовниц и кипарисов, как где-то сказал Пушкин или должен был бы сказать». Герман здесь глумится над пушкинским видением Италии: «Кто знает край, где небо блещет ⟨...⟩ Где вечный лавр и кипарис...» (1828). Ср. также в «Евгении Онегине» (I, XLIX): «Ночей Италии златой / Я негой наслажусь на воле / С венецианкою младой...»

С. 475. Соснак из легких виноградных вин... — то есть коньяк. Шутка строится на неправильном чтении французского слова «cognac» и восходит к семинаристскому анекдоту о безграмотном попе, который говорил: «Из легких виноградных вин предпочитаю соснак».

Герман Карлович. — Отчество главного героя указывает на его родство с двумя бородатыми карлами (см. прим. к с. 444), а также на связь с Карлом Шписом, то есть буржуа (см. прим. к с. 437). Отметим, что в «Соглядатае» Набоков назвал Карла Маркса «брюзгливым буржуа в клетчатых штанах», а в «Даре» перефразировал отзыв о нем Бакунина формулой «мелкий буржуа до мозга костей».

...я тоже давно мечтаю о небольшом путешествии. — В английской версии далее следует контаминация цитат из вновь перевираемого Германом пушкинского «Пора, мой друг, пора!..» и стихотворения «Виноград» (1824): «Давно, усталый раб, я обдумываю бегство в далекую страну искусства и прозрачного винограда».

С. 479. Несцимус — (*лат.* nescimus) не знаем.

С. 480. ...это было незадолго до выстрела Принципа... — 28 июня 1914 г. в Сараево Г. Принципом был убит наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд, что послужило поводом для начала Первой мировой войны.

С. 481. ...отравил женщину, содержавшую его. — Похожее преступление в романе Достоевского совершает Свидригайлов, а в реальной жизни — художник Уэнрайт (см. прим к с. 470).

С. 482. ...уставилась на меня своими шоколадными глазами. — Аллюзия на «Шоколад»: «глазенки... как в ажурных розетках шоколадки-орешки», а также: «прикрыв густотою ресниц шоколадинки глаз» (А. Тарасов-Родионов. «Шоколад». М.; Л., 1925. С. 86, 93).

С. 483. Лида перемигнула, — я ее совсем заплевал... — еще одна параллель к «Мелкому бесу», где Передонов заплевывает свою любовницу Варвару.

дикси — (*лат.* dixi) я сказал.

С. 484—485. ...он как-то приделал револьвер к мосту (...) и вспоминает похождения Шерлока... — Лида воспроизводит некоторые сюжетные подробности рассказа А. Конан Дойля «Загадка Торского моста» (1927), героиня которого совершает самоубийство, обставляя его так, чтобы оно выглядело как убийство. (Об этом: W. Carrol. Указ. соч. P. 102.) Лида не может вспомнить, «зачем все это нужно было». Между тем психологическое объяснение, которое дается в рассказе, близко природе германовского убийства: «Сумасшедшая... с такой огромной способностью к коварству и лжи, какой, бывает, обладают такого рода больные», она действует так из ревности и ненависти к своей сопернице.

С. 486. «Малерб». — Отель носит имя французского поэта Франсуа де Малерба (Malherbe, 1555—1628), начавшего классицистские реформы во французской поэзии, которые существенно обеднили ее стилистику. Малерб отличался необычайным самомнением и постоянно говорил о своих заслугах. Ему принадлежит фраза: «Ce que Malherbe ecrit dure eternellement» («То, что пишет Малерб, остается навеки»), которая служит образцом неверной самооценки, так как его пресные, холодные стихи в большинстве своем давно забыты.

С. 487. пострестант — (*фр.* poste restante) до востребования.

С. 489. гамза — согласно словарю В. Даля, кошелек или деньги.

С. 493. Мне грезится новый мир, где все люди будут друг на друга похожи, как Герман и Феликс... — Социалистическая утопия как мечта о всеобщем единообразии явилась объектом сатиры в романе Евгения Замятина «Мы» (1920).

...мир Геликсов и Ферманов... — фонетическая игра на *англ.* hell — «ад» и *фр.* fer — «железо».

С. 494. ...французам привидятся миражи Содома в пристрастии моем к бродяге... — Автор здесь, по-видимому, целится в роман Андре Жида «Подземелья Ватикана» (1914) с его отчетливо звучащими гомосексуальными интонациями и традицией Достоевского. Герой романа, Лавкадио, — автор знаменитого во французской литературе «немотивированного действия» или «немотивированного», «идеального преступления». Романы связывает тема респектабельного убийцы и жертвы-бродяги, нарциссическая символика (мотивы падения в собственное отражение), а также подробности преступления: Лавкадио, как и Герман, обменивается с жертвой предметами туалета (надевает ужасное канотье Флериссуара вместо своей элегантной шляпы, на которой остаются его, Лавкадио, инициалы; подобно Герману, облачается в пиджак убитого поверх собственного).

...немцы насладятся причудами полуславянской души. — Намек на увлечение некоторых немецких интеллектуалов Достоевским и проблемами «русской души» в начале 20-х гг. (Стефан Цвейг, Герман Гессе, Томас Манн).

С. 497. профершпилился — (от *нем.* verspielen) проигрался.

С. 498. Вы меня еще бритвой, того и гляди, зарежете. — Аллюзия на кровавую развязку «Мелкого беса», в которой Передонов перерезал горло своему мнимому сопернику-двойнику Володину, а также на финал «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, где Воробьянинов (его фамилия перекликается с псевдонимом Феликса) зарезал Остапа бритвой.

С. 500. Фреголи Леопольдо (1867—1936) — артист варьете. Мастер сценических трансформаций, фамилия которого при жизни стала нарицательной. Доктором Фреголи назвал героя своей пьесы «Самое главное» Н. Н. Евреинов. Этот герой иллюстрирует евреиновскую идею «театра в жизни», осуществляя грандиозную мистификацию и доказывая на практике, что иллюзия побеждает реальность. Философия Германа — мрачная пародия на жизнетворческие идеи Евреинова, в частности она откликается на евреиновскую идею преступления как одного из проявлений свойственного человечеству «инстинкта театральности», развиваемую в книге «Театр для себя» (1915). Как указывает Б. Бойд, в 1925 г. в Берлине был разыгран комический перифраз пьесы «Самое главное», где Набоков сыграл роль самого Евреинова (*В90.* P. 391—392).

...вымыл ноги снегом, как это сделал кто-то у Мопассана... — ложная аллюзия, поскольку у Мопассана такого эпизода нет. По-видимому, Герман неверно вспоминает новеллу Ги де Мопассана «Первый снег» (1883), в которой героиня выходит на улицу босиком и моет грудь снегом.

С. 503. ...карты были необыкновенные — большие, красно-зеленые, с желудями. — Имеются в виду немецкие игральные карты, в которых масти — сердца, зелень, желуди (соответствует трефам) и бубенчики — отличаются от традиционных. Мотив карточной игры проходит через весь роман: Лида и Ардалион раскладывают кабалу и играют в дураки в главе IV, игральной карте уподоблен участок Ардалиона и платье Лиды, рассказчик сравнивает свой замысел с карточным фокусом и «составленным наперед пасьянсом».

...как в России играли на гитарах летним вечером лакеи... — аллюзия на героя Достоевского, лакея и убийцу, Смердякова, который в главе «Смердяков с гитарой» («Братья Карамазовы», ч. 2, кн. 5, гл. 2) на свидании с молодой женщиной играет на гитаре. Герман вновь не осознает, что невольной цитатой выдает свою нелестную литературную генеалогию.

...молчите, рейнские воды. — Романтическая формула, отсылающая к балладной и мифологической топике немецкого романтизма, прежде всего к сюжету о волшебном кладе, спрятанном на дне Рейна, в саге о Нибелунгах, положенной в основу цикла опер Вагнера «Кольцо Нибелунгов».

С. 504. Я родился в Цвикау. — Цвикау, город в Саксонии к югу от Лейпцига, известен тем, что там родился композитор Роберт Шуман (1810—1856). О том, что ассоциация с Шуманом (который в последние годы жизни страдал психическим расстройством) здесь не случайна, свидетельствует профессия музыканта, указанная в паспорте Феликса, а также слово «сапожник», представляющее собой буквальный перевод фамилии композитора (Schuh + Mann).

С. 505. унд зо вайтер — (*нем.* und so weiter) и так далее.

«Дым, туман, струна дрожит в тумане». Это не стишок, это из романа Достоевского «Кровь и Слюни». — В английской версии «из старой книги Дасти» (from old Dusty's book). Автор использует одно из принятых в позднейшем варианте романа каламбурных прозвищ писателя: dusty — «пыльный», которое существует в романе наряду с dusky — «тусклый». Перед нами — один из самых важных случаев невнимательного прочтения героем текста русской классики. Фраза в кавычках — это действительно неточная цитата из шестой части «Преступления и наказания», где ее произносит Порфирий Петрович в решающем разговоре с Раскольниковым. Герман видит в ней мелодраматическое выражение сочувствия к раскаявшемуся убийце и свысока корит за нее автора. Однако он не замечает, что начитанный сыщик у Достоевского, в свою очередь, перефразирует вопль Поприщина из заключительной части «Записок сумасшедшего»: «Вон небо клубится передо мною, звездочка сверкает вдали... струна звенит в тумане». (Игра с двойным дном набоковской цитаты отмечена в: W. Carrol. Указ. соч. P. 88; Pecca Tammi. Seventeen Remarks on Poligenetichnost' in Nabokov's Prose // Studia Slavica Finlandesia. Helsinki, 1990. Vol. 7. P. 208—209.) Снисходя до признания сходства с Раскольниковым, Герман на самом деле вновь невольно выдает свое родство с жалким гоголевским сумасшедшим. Как показывает рукопись «Отчаяния», Набоков вначале намеревался использовать цитируемую Германом фразу в качестве эпиграфа к роману. Таким образом, она, по-видимому, должна была указать на ключевой подтекст романа, скрытый под одеждами Достоевского.

«Шульд унд Зюне» — (*нем.* Schuld und Suhnne) традиционное название немецких переводов «Преступления и наказания» с конца XIX в. Например: «Schuld und Suhnne» (1888, перевод Г. Мозер), «Raskolnikows Schuld und Suhnne» (1922, перевод П. Стычинского).

С. 505—506. ...художник не чувствует раскаяния, даже если его произведения не понимают ⟨...⟩ *уж так ли действительно владела мною корысть...* ⟨...⟩ *О да, я был художник бескорыстный.* — Отзвук стихотворения «Поэт и толпа». (См. прим. к с. 421 и с. 521.)

С. 506. ...жаждал...чтобы обман... удался ⟨...⟩ *Что пройдет, то будет мило.* — Последняя строка является цитатой пушкинского стихотворения (1825), начало которого подсказывает, что «обман не удался» и обманут сам Герман: «Если жизнь тебя обманет...»

С. 507. Финис — (*лат.* finis) конец. В английской версии (1966) дальше: «Прощай Тарги! [фамильярное обращение к Тургеневу, по-видимому, игра на внутренней форме: Turgy от turgid — «выспренний, напыщенный»]. Прощай, Дасти!» (См. прим. к с. 505.)

Мечты, мечты... — отголосок «Евгения Онегина»: «Мечты, мечты! Где ваша сладость? / Где, вечная к ней рифма, младость? (6, XLIV).

...город Икс... — В английской версии — Пиньян (см. прим. к с. 426).

С. 508. ...я подумал, что такое место нашел. — Как отмечает автор в предисловии к английскому переводу романа, «“обитель дальная”, в которую в конце концов семенит безумный Герман, с подобающей экономностью помещена в Русильон, где тремя годами раньше я начал писать свой шахматный роман “Защита Лужина”». Русильон — французская провинция на западном побережье Средиземного моря. Набоков с женой остановились в курортном местечке Ле Булю (Восточные Пиренеи), рядом с испанской границей. Местный пейзаж, гостиница и ее обитатели нашли отражение в «Отчаянии».

испанский ветер — аллюзия на Поприщина, возомнившего себя испанским королем.

жеран — (*фр.* gerant) управляющий.

С. 509. ...в длинных белых коридорах... — по-видимому, аллюзия на очерк В. Ходасевича «Белый коридор» (1925), в котором описаны его визиты в особую часть Кремля, где жили высокопоставленные советские чиновники. Как подчеркивает Ходасевич, пошлые и сытые обитатели Белого коридора, ведущие бесконечные разговоры об искусстве и детях, — убийцы, у которых на руках кровь невинных жертв.

С. 512. ноншалантность — (*фр.* nonchalance) небрежность.

...всю прелесть надрывчика... — В английской версии обыгрывается имя зачинателя традиции: «Всю пыльную и тусклую [Dusty-and-Dusky] прелесть надрывчика...» Аллюзия на сцену из предпоследней главы «Записок из подполья», в которой герой-«парадоксалист» истерически рыдает в присутствии сострадательной проститутки Лизы и одновременно наблюдает свою истерику со стороны.

С. 513. Ландрю Анри Дезире — один из самых знаменитых преступников XX в. Обещая молодым женщинам вступить с ними в брак, Ландрю продавал их имущество, а затем душил на своей вилле и сжигал одежду в кухонной печи, вошедшей впоследствии в легенду. Процесс по делу Ландрю, состоявшийся в 1921 г., имел громкий резонанс. Суд присяжных Версаля приговорил убийцу к смерти, и на следующий год он был казнен на гильотине.

...так что вы не единственный. — Герман не замечает, что эта фраза прямо изобличает его как убийцу и выдает в постояльцах гостиницы тайных агентов всезнающего автора, своего рода демонов, подосланных «с известным умыслом».

...выбрили круглую плешь... — намек на «Записки сумасшедшего», где Поприщину выбривают голову, как монаху, и капают на нее холодной водой.

...я сдержался, сделал вид, что смеюсь (...) Несмотря на карикатурное сходство с Раскольниковым... — Герман имеет в виду сцену из «Преступления и наказания» (ч. 3, гл. 5), когда Раскольников в сопровождении Разумихина входит к Порфирию Петровичу и, желая скрыть волнение, делает вид, что едва сдерживается, «чтобы не прыснуть как-нибудь со смеху».

С. 514. ...синий... «Икар»... — Как отмечает Д. Грейсон, марка и цвет автомобиля Германа, в английской версии упоминающаяся несколько раз, сначала появляется в «Короле, даме, валете». В желтом «Икаре» погибает Нина (английский вариант рассказа «Весна в Фиальте»). В романе «Смотри на арлекинов!» Ирис и Вадим получают в подарок синий «Икар». В русской версии «Лолиты» машина Гумберта Гумберта — грезово-синий «Икар».

тангентные колеса — то есть колеса, крепящиеся к раме, как у велосипеда.

С. 516. ...палец у виска, — так снимаются немецкие беллетристы. — Отсылка к роману «Защита Лужина», где именно в такой позе («в одной руке книга, палец другой прижат к виску») сфотографировался отец героя, известный беллетрист.

С. 517. «Пожалей же меня, дорогая...» — из припева известной песни Н. Р. Бакалейщикова: «Ах, пожалей же меня, дорогая моя. / Освети мою темную жизнь; / Ведь я плачу слезами, стоная, / Но напрасно! / Ведь счастью не быть».

Но довольно, довольно... — аллюзия на мизантропический рассказ Тургенева «Довольно (Отрывок из записок умершего художника)» (1865), где само это восклицание повторяется как рефрен. Набокову была глубоко чужда основная мысль рассказа, состоящая в том, что «самая суть жизни мелко-неинтересна — и нищенски-плоска».

С. 518. 30 марта 1931 г. — В последней главе Герман начинает датировать свои записи, как безумный Поприщин. Отметим, что

последняя дата — 1-го апреля, день дураков, когда герой окончательно оказывается в дураках.

...тяжелые творческие сны миновали... — Во фразе Германа звучат два символистских подтекста: название романа Сологуба «Тяжелые сны» (1895), герой которого совершает убийство по идеологическим соображениям, и блоковская строка «И видит творческие сны...» («Среди поклонников Кармен», 1914). Словосочетание «творческие сны» изначально восходит к «Евгению Онегину» (I, LV).

С. 519. Квод эрат демонстрандум — (*лат.* quod erat demonstrandum) что и требовалось доказать.

С. 521. ...мне казалось, что я какое-то заглавие в свое время придумал, что-то, начинающееся на «Записки...»... — В черновой рукописи роман имеет вычеркнутый подзаголовок «Записки мистификатора». Вместе с тем упоминание «Записок» Германом отсылает ко множеству названий, разоблачающих героя: «Записки сумасшедшего» Н. В. Гоголя, «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского, «Записки сумасшедшего» Л. Н. Толстого, «Записки грешника. Книга злобы, ненависти, насмешки» (1904) декадента-мистификатора А. Емельянова-Коханского, Записки чудака» (1918—1921) А. Белого, «Записки мерзавца» (1922) эмигрантского писателя А. Ветлугина.

«Двойник»? Но это уже имеется. — В английском тексте Герман приводит свою версию заглавия и другого романа Достоевского: «Преступление и шутка».

«Зеркало» — двойная аллюзия, которая указывает, во-первых, на средневековый дидактический жанр Speculum (в русской литературе «Великое Зерцало»), в частности на французскую поэму Джона Говера (1330—1498) «Miroir de l'Homme», представляющую семь смертных грехов и производные от них лицемерие, надменность и др.; во-вторых, отсылает к декадентскому рассказу В. Брюсова «В зеркале» из сборника «Земная ось» (1901—1906), имеющему красноречивый подзаголовок «Из архива психопата» (история женщины, страдающей паранойей, которая принимает собственное отражение за двойника и хочет поменяться с ним местами), а также сборнику его стихов «Зеркало теней» (1912).

«Портрет автора в зеркале» — кокетливая перифраза Дж. Джойса («Портрет художника в юности», 1916).

Суховато, с уклоном в философию... — В английском тексте (1966) — еще один вариант названия, намекающий на роман самого Набокова «Камера обскура»: «Только слепые не убивают».

«Ответ критикам». — Герман присваивает название пушкинского текста «Опровержение на критики», кощунственно подменяя высшие эстетические возражения художника попыткой доказать свою невиновность. Цитата, впрочем, по обыкновению оборачивается против героя. В своем «Опровержении» Пушкин

поясняет принадлежащую его же перу эпиграмму (1829), в которой Аполлон наказывает глупого самозванца палками: «Отяжелев как от дурмана, / Сердито Феб его прервал / И тотчас взрослого болвана / Поставить в палки приказал».

«Поэт и чернь» — аллюзия на стихотворение «Поэт и толпа», в котором идеал «свободной» и «как ветер» «бесплодной» песни противостоит низменному требованию пользы, о которой вопиет «тупая чернь». Герман хочет видеть себя пушкинским «гениальным новичком», творцом, не признанным толпой. Между тем мотивы его ужасного преступления и хвастливой исповеди противоположны высоким целям художника, представленным в поэтическом манифесте Пушкина. Герою «Отчаяния» чуждо вдохновение (под которым Пушкин подразумевал то состояние духа, которое Набоков впоследствии назовет «космической синхронизацией»), ему неведом поэтический труд, вызывающий к жизни «сладкие звуки», он отрицает Бога и богов. При этом Герман обладает всеми характеристиками «черни»: он в плену «житейских волнений» и убивает из «корысти».

С. 522. Самодельной палкой с выжженным на ней именем... — Мотив наказывающей героя палки отсылает к трем основным подтекстам: пушкинскому (см. прим. к с. 521); гоголевскому: палкой бьют Поприщина в сумасшедшем доме; сологубовскому: передоновская трость украшена кукишем, который и получает в результате набоковский герой. (На палке Феликса другой знак — глазок, намекающий на метафизическую и писательскую слепоту Германа.)

С. 524. Эти шуточки... со страховыми обществами давным-давно известны. — Как отметил Н. Мельников, в замысле Германа отразилась фабула двух преступлений, которые одно за другим прогремели в Германии весной 1931 г. 19 марта в газете «Руль» появилась статья «Убийство в автомобиле», рассказывающая о деле некоего Курта Тецнера, который решил «убить на шоссе во время автомобильной поездки какого-нибудь встречного бродягу, сжечь труп и затем скрыться так, чтобы все думали, что сгорел в автомобиле он, Тецнер. Безутешная “вдова” должна получить страховую премию, уехать за границу, там встретиться со своим покойным мужем, который обещал жениться на ней вторично». (Характерно, что при первой, неудачной попытке осуществить свой план Тецнер во время одной из остановок попросил жертву побриться, а также купить воротничок и галстук.) В конце концов преступника разоблачили и приговорили к смертной казни. По сходному сценарию было разыграно еще одно убийство, которое тоже подробно освещалось «Рулем». Владелец мебельного магазина Сафрон решил поправить свои дела с помощью фокуса со страховкой и имитацией своей смерти. Он убил рабочего и сжег труп в одной из комнат мебельной фабрики, оставив рядом

с телом свои часы. Коммерсант также был опознан, схвачен и приговорен к смерти. (См.: Н. Мельников. Криминальный шедевр Владимира Владимировича и Германа Карловича (О творческой истории романа В. Набокова «Отчаяние») // Волшебная гора. М., 1994. № 2. С. 156–159.)

Вы очень похожи на большого страшного кабана с гнилыми клыками... — Названный впрямую зоологический прототип повествователя задним числом объясняет розовые щеки и ощереннный рот на портрете Германа. Финальные сцены романа, таким образом, перекликаются с рассказом Феликса в главе V о том, как они с приятелем «однажды раздавили свинью. Как она визжала...».

С. 525. Деревня, где я скучаю... — перифраз «Евгения Онегина»: «Деревня, где скучал Евгений...»

...возбуждаю большое любопытство. — В английской версии (1966) дальше упоминается название кинофильма, который был снят в Русильоне, и таким образом вводится тема преступления Германа как кинематографического сюжета: «С тех пор, как пару лет назад приезжала кинокомпания снимать своих старлеток в “Контрабандистах” [*фр.*], здесь не было такого оживления».

С. 526. ...задержали испанца... — См. прим. к с. 508.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) — упомянут наравне с Шекспиром как великий метафизик, представлявший универсум как предустановленную Богом гармонию, подобную развертывающемуся связному сну, полное восприятие которого недостижимо человеческим разумом. В некотором смысле «Отчаяние» может быть прочитано как метафизическая притча в духе идей Лейбница, где предустановленнная богоподобным автором гармония, его связный «творческий сон», остается непонятым слепым и злобным узурпатором-рассказчиком.

С. 527. ...какие слова можно выжать из палки? Пал, лак, кал, лампа. — Нетрудно заметить, что Герман делает ошибки даже в любимой им игре в слова, ибо «лампа» содержит букву «м», отсутствующую в «палке». При этом рассказчик не замечает, что его собственный текст, помимо его воли, пронизан многочисленными отзвуками ключевого слова и его составляющих, как в отдельных повторяющихся словах (плакат, палач, зеркало, фиалка, закопала, капля и т. п.), так и в разнообразных сочетаниях (см., например, в главе IV: Ардалион «хло*пал ка*ртами» (повторено дважды), Лида «выпус*кала п*апиросный дым», Христина Форсман «щу*пала к*оврик» и др. Интересно отметить, что в книжном издании 1936 г. и в издании «Ардиса» 1978 г. эта фраза выглядит так. А в журнальном варианте 1934 г.: «Пал, лак, кал, лапка».

...произнести небольшую речь. — Как отмечает Г. Левинтон, в английской версии (1966) Герман обращается к толпе на ломаном французском, подчеркивающем его немецкое происхождение: «Французы! Это репетиция. Держите полицейских. Сейчас

из этого дома выбежит знаменитый киноактер. Это суперпреступник, но он должен убежать. Вы должны сделать так, чтобы его не схватили. Это часть сценария. Французские статисты! Освободить для него проход от двери к машине. Выкинуть шофера! Завести двигатель! Держите полицейских, бейте их, садитесь на них — им за это заплачено. Это немецкая компания, поэтому извините за мой французский. Фотографисты [*искаж. фр.*], мои техники и вооруженные консультанты уже среди вас. Внимание! [*фр.*] Расчистить проход. Больше ничего не нужно. Спасибо. Я выхожу». (Перевод Г. Левинтона // *Н97.* С. 880–881.)

А. Долинин, О. Сконечная

РАССКАЗЫ

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА «СОГЛЯДАТАЙ»

«Соглядатай» — второй сборник короткой прозы Владимира Набокова-Сирина, последовавший через восемь лет после первого, «Возвращение Чорба» (Берлин, «Слово», 1930). В парижском издательстве «Русские записки» предполагалось издать рассказы Набокова 1930-х гг. в двух томах: «Соглядатай» (1938) и «Весна в Фиальте» (1939). Однако до войны успела выйти в свет лишь первая из запланированных книг — сборник «Весна в Фиальте» был издан в нью-йоркском «Издательстве имени Чехова» только в 1956 г. Названный по заглавию вошедшей в него повести, «Соглядатай» включил в себя также двенадцать рассказов, ранее опубликованных в эмигрантской печати в период с 1930-го по 1935 г. Критика встретила новый сборник набоковских рассказов без особого энтузиазма. В числе немногих откликнувшихся был С. Савельев (псевдоним С. Г. Шермана), который высоко оценил «прелестную повесть о немецком лавочнике Пильграме» и даже поставил ее выше романа «Дар», поскольку обнаружил в ней «редкую у Сирина теплоту» (Русские записки. 1938. № 10. С. 196–197). В 1978 г. сборник был переиздан репринтным способом издательством «Ардис» (Ann Arbor). Рассказы печатаются по тексту сборника, но располагаются в порядке первых публикаций в периодической печати.

Пильграм. Впервые: Современные записки. 1930. Кн. XLIII. Написан Набоковым в марте 1930 г. после двухлетнего перерыва в короткой прозе. В том же году «Пильграм» удостоился ряда откликов в эмигрантской прессе: в рецензиях на 43-ю книгу

«Современных записок» о нем писали Г. Адамович (Последние новости. 7 августа) и А. Савельев (Руль. 15 августа); целиком рассказу была посвящена статья Лоллия Львова («Пильграм» В. Сирина // Россия и славянство (Париж). 6 сентября 1930. С. 3–4). В беловой рукописи у рассказа иное название — «Паломник», измененное автором, по-видимому, на стадии проверки корректуры на более загадочное «Пильграм» (созвучно *лат.* pilgrim — «паломник, странник»). В черновике рассказу предпослан эпиграф из стихотворения А. Фета «Бабочка» (1884): «Не спрашивай: откуда появилась? / Куда спешу?» (История подготовки рассказа к печати изложена в: *S99.* Р. 117–118). На английский язык рассказ был переведен в 1941 г. совместно с Питером Перцовым и опубликован в журнале «The Atlantic Monthly». В английской версии рассказ, подвергнутый существенной переработке и поделенный на четыре главки, получил название «Aurelian» — от *лат.* aurelia (куколка бабочки).

С. 531. ...после круглого сквера, который трамвай обходил... — В переводе: «...маленький сквер (четыре лавки, клумба анютиных глазок), огибаемый трамваем...»[1]

...табачная с фигурой арапчонка в чалме... — В переводе: «табачная с изображением сластолюбивого турка».

москательная — (от *перс.* mušk — «мускус») магазин, специализирующийся на продаже химических веществ (краски, клей, масла).

...глобус, какие-то инструменты и череп на пьедестале из толстых книг. — Масонская символика витрины нейтрализуется в переводе: «глобус, карандаши и обезьяний череп на стопке прописей».

С. 532. Ровно в полночь он выбивал трубку в пепельницу, расплачивался и, сунув бескостную руку поочередно хозяину, дочке его и четырем игрокам, молча уходил. — Предложение звучит иначе в переводе: «Пунктуально в одиннадцать он выбивал трубку, платил за ром, и после того, как протягивал вялую руку тем, кто мог изъявить желание удостоить ее пожатием, безмолвно исчезал».

...дверь с латунной дощечкой, прикрепленной посредине: «Пильграм». — В переводе: «Пауль Пильграм». Набоковский черновик сохранил первоначальный вариант имени главного героя рассказа — Карл Грубер, который затем превратился в Альфреда Зоммера (в окончательном варианте Зоммером становится богатый покупатель, в рукописи именовавшийся Кречмаром, — имя, принадлежавшее реальному энтомологу, которое через два года попадет в роман «Камера обскура»). Фамилия Зоммер позаимствована у набоковского учителя истории в Тенишевском училище — Василия Романовича Зоммера.

---

[1] Здесь и далее перевод наш. — *Ю. Л.*

С. 533. ...было несколько увядших фотографий одного и того же корабля... — В переводе: «В черных рамках над двуспальной кроватью висели полдюжины увядших фотографий одного и того же неповоротливого судна, сделанных с разных углов, и снимок с пальмой, такой унылой, как будто она росла на острове Хельголанд».

После... удара, случившегося с ним в прошлом году, как раз когда он снимал сапоги... — В переводе: «После удара, не так давно его почти убившего (похоже на падающую сзади гору, когда он наклонился к шнуркам)...»

Они были женаты уже четверть века... — Английский вариант сообщает дату свадьбы: 1905 г.

...видел — без ведома жены и соседей — необыкновенные сны. — В английской версии далее следует вставка, существенная для понимания позднего авторского изменения названия рассказа: «Пильграм относился, или скорее предполагалось, что относится (иногда — место, время, человек — бывали выбраны неверно), к особому племени мечтателей, таких мечтателей, кого в былые времена называли "аурелианы" — возможно, памятуя о тех куколках, тех "сокровищах природы", которых они сами любили находить висящими на оградах над пыльной крапивой деревенских тропинок». В мемуарах «Память, говори» (гл. 6 (5)) Набоков пишет о самцах бабочки, «которую старые аурелианцы называли обычно "тополевым адмиралом"».

С. 534. ...в папиросных коробочках некоторых фирм имеются цветные картиночки... — Перевод уточняет, что «определенный сорт сигарет предлагал картинки с аэропланами».

Борнео — третий в мире по величине остров, находится в Малайском архипелаге, территория Индонезии. В английском варианте мать Пильграма родом с соседнего острова Ява.

...бабочки царствовали самодержавно, и только очень недавно они... начали сдавать... — Перемена, как следует из английской версии, произошла в 1914 г.

...в багетовых рамочках... — Багет — резная и обычно позолоченная деревянная планка, используемая при изготовлении рам к картинам.

С. 535. сяжки — парные усики на голове насекомого.

...венец Ребель назвал его именем одну редкую бабочку... — Название этой бабочки находим в английской версии: Agrotis pilgrami (Agrotis — действительно существующая подгруппа в семье мотыльков-ночников). Ученый-энтомолог д-р Ганс Ребель (1861–1940) — реальное лицо. Самим Набоковым написано 19 статей и заметок по энтомологии, первая из которых появилась на страницах журнала «The Entomologist» в 1920 г. Вскоре после создания рассказа «Пильграм» Набоков опубликовал свою единственную научную работу берлинского периода, посвященную

бабочкам Пиренеев (V. Nabokov. Notes on Lepidoptera of the Pyrenees Occidentales and the Ariage // The Entomologist. 1931. T. V. P. 64). Несколько впервые описанных Набоковым бабочек носят данные им имена.

С. 537. Эректеон (Эрехтейон). — См. прим. к с. 353.

Динь — город во французских Альпах.

Рагуза — итальянское название г. Дубровника на юго-востоке Хорватии, знаменитый курорт на Далматийском побережье Адриатического моря.

Сарепта — немецкая колония на Волге (Саратовская губерния).

С. 538. Тенериффа (Тенерифе) — крупнейший из Канарских островов в Атлантическом океане, покрытый вулканами.

Оротава — город на северном побережье Тенерифе. В романе Набокова «Бледное пламя» фигурирует Онгава, «прекрасная столица Земблы», «от эскимосского — onhava — “далекое место”».

Виццавона — лесной массив в горных районах Корсики.

гонобобель — то же, что голубика, — кустарник семейства брусничных со съедобными ягодами.

Альбарацин — город в испанской провинции Арагон.

...палеарктическая фауна. — Палеоарктика — одна из двух основных зоогеографических областей суши, занимающей внетропическое пространство Северного полушария.

С. 540. ...названия, относящиеся к любви: избранница, нареченная, супруга, прелюбодейка... — Приводятся переводы латинских видовых названий бабочек-ленточниц (род Catacola).

С. 541. ...госпожа Фангер... — Фамилия женщины по-немецки означает «ловец», в том числе и бабочек.

С. 542. ...с цианистым калием в гипсе... — Цианистый калий употребляется для умерщвления бабочек.

С. 544. Мурция — город и одноименная провинция в Испании.

Обида. Впервые: Последние новости. 12 июля 1931. С посвящением Ивану Бунину. Набоков в автокомментарии осторожно предупредил: несмотря на то что маленький Путя живет в окружении, во многом напоминающем его собственное, он «кое в чем отличается от меня, каким я себя помню, расщепленного тут на троих мальчиков — Петра, Владимира и Василия». Набоков вспоминал «пикники, спектакли, бурные игры» в имениях Выра, Батово и Рождествено наряду с фактом, что к началу второго десятилетия века у него было «тринадцать двоюродных братьев (с большинством из которых был в разное время дружен) и шесть двоюродных сестер (в большинство из которых... был явно или тайно влюблен)» («Другие берега», гл. 3 (3)). В английском переводе рассказ стал называться «A Bad Day» («Скверный день»).

Рассказ является данью «дачной» прозе в традиции Бунина, Чехова и Куприна.

С. 544. Пара откормленных вороных с блеском на толстых крупах и с чем-то необыкновенно женственным в долгих гривах, пышно похлестывая хвостами, бежала ровной плещущей рысью... несмотря на... подергивание нежных ушей... овод с переливчатыми глазами навыкате присасывался к атласной шерсти. — Ср. описание Фру-Фру у Л. Толстого: «Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас, коже, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова ее с выпуклыми блестящими, веселыми глазами расширялась у храпа в выдающиеся ноздри с налитою внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное энергическое и вместе нежное выражение» («Анна Каренина», гл. 21). Пассаж о лошадях похож на демонстрацию «писательской мускулатуры» Набокова-прозаика, который менее чем за два года до этого восхищался в рецензии на книгу А. Куприна уровнем наблюдательности, точностью и чистотой русского языка автора: «Так пишет Куприн о прелести лошади, о ее горячем сильном дыхании и чудесном запахе, и, читая этот первый рассказ в сборнике, так и ощущаешь все время под губами теплую, шелковую, лошадиную кожу, нежную, ни с чем несравнимую впадину над ноздрей» (Куприн. «Елань» (рассказы); см. том II наст. издания).

С. 545. скабиоза — травянистое растение семейства ворсянковых с желтоватыми или красно-фиолетовыми цветками.

село Воскресенское — топоним, заменяющий здесь название села Рождествено, около которого размещалась усадьба Рукавишниковых; взят по названию приходской церкви Вознесения, сооруженной в 1781 г. по случаю переименования села в город (с 1797-го — снова село).

С. 546. рюхи — болванки, которые сбивают броском палки при игре в городки.

...в рубахе... порванной на плече. — В газете: «в рубахе... прорванной на плече».

...на пригорке... стояла красная церковь, а рядом с ней — небольшой белокаменный склеп, похожий формой на пасху. — Здесь описываются церковь Рождества Богородицы (постр. в 1713 г.) и сохранившийся по сегодняшний день мраморный фамильный склеп Рукавишниковых в с. Рождествено (станция Сиверская); упомянуты также в «Других берегах» (гл. 1 (4)).

«Да здравствует Сербия!» — Австро-Венгрия напала на Сербию после того, как в июне 1914 г. в г. Сараево был убит наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд, что послужило поводом к началу Первой мировой войны. Сербия была оккупирована австро-венгерскими и болгарскими войсками в конце 1915 г. Героическое сопротивление сербской армии вызва-

ло в России волну сочувствия. Как вспоминает Набоков, в беседке вырского парка «на уцелевших пятнах побелки снутри двери забредавшие сюда чужаки оставляли надписи вроде... “Долой Австрию!”» («Память, говори», гл. 11 (2)).

...усадьба Козловых. — Усадебный дом и парк, где происходит действие рассказа, был во владении И. В. Рукавишникова (1843–1901). Козлова — фамилия бабушки Набокова по материнской линии — Ольги Николаевны Козловой (ум. 1901), вышедшей замуж за Рукавишникова. О своем прадеде, Николае Илларионовиче Козлове (1814–1889), Набоков отзывается с большой симпатией в мемуарах «Другие берега» (гл. 3 (1)).

мыза — обозначение усадьбы, распространенное среди петербуржцев, отдыхавших на финских дачах.

С. 547. У Володи был брат Костя и две сестры, Бэби и Леля. — В переводе для сборника 1976 г. «Details of a Sunset and Other Stories» («Подробности заката и другие истории») Набоков не мог удержаться, чтобы не превратить сестру Лелю в Лолу.

шарабанчик — (от *фр.* char à bancs) одноконный двухколесный экипаж.

...Яков Семенович, воспитатель Володи... — Герой в английском варианте назван по фамилии — «Еленский». В 1910 г. у мальчиков Набоковых появился новый воспитатель — лучший и дольше других воспитателем прослуживший (1910–1914) Филип Зеленский.

С. 547–548. ...Яков Семенович читал вслух «Мцыри», а другой студент орудовал волшебным фонарем ⟨...⟩ Каждая картина оставалась на простыне долго, так как их было только десять штук на всего «Мцыри». — Эпизод в деталях воспроизводится в «Других берегах» (гл. 8 (3)): «Зимой 1911-го или 12-го года Ленскому взбрела в голову дикая фантазия: нанять (у нуждающегося приятеля, Бориса Наумовича) волшебный фонарь ⟨...⟩ Никогда не забуду первого “сеанса”. Послушник, сбежав из горного монастыря, бродит в рясе по кавказским скалам и осыпям. ⟨...⟩ обилие стихов было распределено Ленским между всего лишь четырьмя стеклянными картинками (неловким движением я разбил пятую перед началом представления)».

С. 548. Вася Тучков... поднимал... руку... и на полотне возникали растопыренные черные пальцы. ⟨...⟩ Путя мучительно краснел за студента... — Фамилия «Тучков» — из родственного окружения Набокова: Дарья Николаевна Тучкова, дочь генерал-лейтенанта Н. П. Тучкова (1824–1893), была женой Сергея Дмитриевича Набокова (дяди писателя). Их сын С. С. Набоков (1902–1998) вспоминает, что когда кузен Набоков приезжал с братом и сестрами в Батово, «весь интерес наших общих, довольно экспансивных теток сосредотачивался на нем, на нарядном, картавящем и даже “щебечущем” мальчике. Сестры его занимались нами, двоюродными. А тонкий, рыжий, особенно молчаливый (потому что

заика) Сергей, брат его, стоял одиноко поодаль, не столько застенчивый, сколько хмурый» (Н. И. Артеменко-Толстая. «С. С. Набоков — брат писателя» // Набоковский вестник. СПб. 1998. № 2. С. 140). Ср. также: «Мне было совестно и ужасно жаль героического комментатора... К концу сеанса скука разрослась донельзя... некоторые из мальчиков стали довольно святотатственно отбрасывать на пустой светлый экран черные тени поднятых рук...» («Другие берега», гл. 8 (3)).

Корф. — Бабушка Набокова по отцовской линии — Мария Фердинандовна фон Корф (1842—1925), жена министра юстиции Д. Н. Набокова (1826—1904). Отец Марии Фердинандовны, Фердинанд Николаевич фон Корф (1805—1869), в результате брака с Ниной Александровной Шишковой (1817—1895) стал владельцем имения Батово.

...Вася (у которого, по слухам, был дома настоящий револьвер с перламутровой рукояткой). — Из свидетельства другого родственника и участника детских игр явствует, что с описанным револьвером Набоков был знаком не только «по слухам»: «У Юры [Рауша фон Траубенберга] с детских лет был большой интерес к оружию и ко всему, что относится к военному делу. В Висбадене он как-то купил в сувенирной лавочке брелок в виде миниатюрного пистолетика, сделанного из серебра, который долго не хотел показывать. Значительно позже, в 1912 г., в один из своих приездов в Выру он привез маленький женский револьвер, отделанный перламутром, который потом был отобран домашним учителем Владимира — Ленским» (А. А. Колосов. Лучший друг Владимира Набокова // Набоковский вестник. СПб. 1998. № 2. С. 101). Набоков в свою очередь сообщает «об увесистом черном браунинге, который отец держал в правом верхнем ящике письменного стола... обольстительный предмет, к которому как на поклон я водил Юрика Рауша...» («Другие берега», гл. 9 (4)).

поставец — невысокий посудный шкаф, а также дорожный ящик для провизии.

С. 549. куртина — цветочная грядка, клумба.

...кротовинки... — В газете: «кротовой горки».

Занятой человек. Впервые: Последние новости. 20 октября 1931. Написанный в Берлине между 17 и 26 сентября 1931, рассказ включает полемику автора с В. В. Маяковским (1893—1930), непосредственным толчком к которой могло послужить пересечение: пятый и последний выпуск «Новой газеты» (1 мая 1931) содержал воспоминания Пастернака «Встречи с Маяковским» и антифрейдовское эссе Набокова «Что всякий должен знать?». Тому предшествовала длительная борьба В. Ходасевича с футуризмом на страницах прессы. В частности, незадолго до набоковского рассказа он писал: «Долг мой — бороться с делом Маяковского

и теперь, как боролся я прежде, с первого дня, — ибо Маяковский умер, но дело его живет. Требовать от меня, чтобы я “корректно” склонил голову перед могилой Маяковского, совершенно так же “странно и напрасно”, как требовать от политической редакции “Руля”, чтоб она преклонилась пред мавзолеем Ленина» (Книги и люди // Возрождение. 30 июля 1931). Несмотря на то что Набоков был лишен снисхождения к собственным юношеским слабостям (банальные образы стихов А. Эйснера — «солнце в тоске об острые крыши раздробило кулак» — напомнили ему «1912 или 1913 гг., когда изумлял гимназистов (кое-кем еще до сих пор чтимый) Маяковский» («О восставших ангелах» (1930), см. с. 684), отношение Набокова к Маяковскому было не столь однозначным. Выпускник Тенишевского училища Л. В. Розенталь (1894—1990), тогда студент Петербургского университета, репетировавший Набокова по математике в 1916 г., вспоминал в 1968 г. разговоры со своим воспитанником о литературе: «Я на пробу принес ему только что вышедшее “Простое как мычание” Маяковского. Он снобистски снисходительно одобрил. Восчувствовал лишь поэтическое озорство» (Л. В. Розенталь. Непримечательные достоверности // Наше наследие. 1991. № 1. С. 105). Имя Граф Ит в английской версии приобретает звучание, близкое фамилии Маяковского, — «Графицкий». «Деревянные», по определению Набокова, стихи, который пишет Графицкий, отвечают концепту «делания» стихов Маяковского, убежденного в том, что «поэзия — производство». Пассаж в «Занятом человеке», имитирующий поэтическое бормотание с вопросами в скобках и разматыванием клубка слов и метафор, пародирует процесс сочинения стиха на «социальный заказ» в том виде, в каком он проанализирован Маяковским в статье «Как делать стихи?» (1926).

С. 554. ...помещающий в зарубежных газетах юмористические стишки, — под... псевдонимом (...напоминающим... Каран д-Аша). — Каран д-Аш — псевдоним французского карикатуриста и графика-иллюстратора Эммануэля Пуаре (1858—1909). Возможно, портрет героя («маленький... с отстающими, прозрачными ушами... очки в роговой оправе... лысеет») списан с карикатуриста М. А. Дризо (1887—1953), сотрудничавшего под псевдонимом МАД с ведущими эмигрантскими изданиями, в том числе с берлинским «Рулем» (1923—1930) и «Последними новостями» (1930—1940). Работы МАДа в среде русского зарубежья пересказывались как свежий анекдот, их ждали как своеобразную городскую хронику. Подобно Графу Иту, МАД писал коротенькие стишки, сопровождавшие дежурные рисунки, и вращался в окололитературных кругах, много и с удовольствием рисуя известных писателей-эмигрантов: Д. Мережковского, З. Гиппиус, К. Бальмонта, А. Куприна. Озабоченный антисоветской пропагандой, как и персонаж набоковского рассказа («долой пролетарских уродов»),

М. А. Дризо регулярно рисовал карикатуры на советское правительство и создал серию шаржей «Советские лики».

С. 555. ...я, скажем, брожу по улицам... В бою ли, в странствии, в волнах. Или соседняя долина... — Рифмоплет Граф Ит цитирует стихотворение А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829): «И где мне смерть пошлет судьбина? / В бою ли, в странствии, в волнах? / Или соседняя долина / Мой примет охладелый прах?»

...на улице Лачплесиса. — Улица названа по имени народного борца, героя латышского эпоса «Лачплесис» (1888) (*букв.*: «раздирающий медведя»). Принадлежит перу А. Пумпурса (1841—1902).

С. 556. ...как известно, сознание вовсе не определяется бытием... — перефразированный тезис Карла Маркса, высказанный им в 1859 г.: «Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» (Цит. по: К. Маркс. К критике политической экономии. М., 1949. С. 7).

Граф, до роковой годины... жил по-своему счастливо. — «Роковая година» взята из пушкинских строчек: «День каждый, каждую годину / Привык я думой провождать, / Грядущей смерти годовщину / Меж их стараясь угадать» («Брожу ли я вдоль улиц шумных...»). Далее вероятное эхо первого предложения «Анны Карениной» («несчастлива по-своему») из сочинения другого графа — Л. Толстого. В пародированном виде это предложение откроет затем роман Набокова «Ада, или Радости страсти: Семейная хроника».

С. 557. ...вокруг некролога будет сиять равнодушная газетная природа... — Продолжение игры с пушкинским подтекстом: «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять» («Брожу ли я вдоль улиц шумных...»).

Остановись, остановись, мгновение, — ты не очень прекрасно, но все-таки остановись... — парафраз предсмертного монолога Фауста:

Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они».

(И.-В. Гёте. Фауст. Ч. II. Акт 5.
Перевод Б. Пастернака).

С. 557—558. ...огромного газоема... — В газете: «и огромного газоема». Газоем — устройство для хранения газа, употреблявшегося для уличного освещения до применения электричества.

С. 558. ...на запятках всякой проносившейся мысли неотвязным выездным стоял мыленький. — Запятки — место для слуги за спинкой старинных экипажей. Выездной — лакей, прислуживавший во время визитов в театр, в гости и т. п.

...деревянные стихи, ритм которых напоминал движение вербной штучки, медведя и мужика... — Имеется в виду богородская игрушка из некрашеного дерева: две параллельные планки с прикрепленными к ним резными фигурками кузнецов, поочередно опускающими молот. Появлялась в продаже на вербном торгу, предшествовавшем празднику Пасхи. Устойчивый в поэтике Набокова образ впервые встречается в эссе «Смех и мечты» (1923): «Мне особенно нравилась игрушка, представляющая две резные деревянные фигурки — медведя и мужика. Они по очереди били молотом по наковальне», позже в «Приглашении на казнь» (1938): «Ошибкой попал я сюда — не именно в темницу, — а вообще в этот страшный, полосатый мир: порядочный образец кустарного искусства... и вот обрушил на меня свой деревянный молот исполинский резной медведь» (С. Сендерович, Е. Шварц. «Вербная штучка»: Набоков и популярная культура // Новое литературное обозрение. 1996. № 24).

...рифмовали «проталин» и «Сталин»... — В английском варианте рифмуется «пронзительно» (schrilly) и «Джугашвили». В поэме «Владимир Ильич Ленин» (1924) Маяковский рифмует «Сталин» — «Чего стали?»; «Ленин» — «на колени», «в пене», «в вене», «созвеньена», «селеньице» и т. д. В более позднем стихотворении «О правителях» (1944) Набоков снова дает вариант рифмы к фамилии вождя из уст Маяковского:

Покойный мой тезка,
писавший стихи и в полоску,
и в клетку, на самом восходе
всесоюзно-мещанского класса,
кабы дожил до полдня,
иначе бы рифмы натягивал
на «монументален»,
на «переперчил»
и так далее.

С. 559. ...наш великий и могучий класс победит гидру пролетариата, ибо давайте тоже встанем, крепостники, лабазники и верные их трубадуры... — В раннем рассказе Набокова «Дракон» (1924) один из старых рабочих, выходящих из кабака, при виде дракона пытается выговорить: «Я, должно быть, выпил лишнего, если вижу наяву гидру контрр...» В поэме «Владимир Ильич Ленин» «верный трубадур» революции заявляет: «Историки / с гидрой плакаты выдерут // — чи это гидра была, / чи нет? — // а мы / знавали / вот эту гидру // в ее / натуральной величине»; призыв

Графа Ита «тоже встать» перефразирует заключительные строки поэмы Маяковского: «Пролетарии, / стройтесь / к последней схватке! // Рабы, / разгибайте / спины и колени! // Армия пролетариев, / встань стройна! // Да здравствует революция, / радостная и скорая!» Ср.: «Вставай, подымайся, рабочий народ!» (П. Лавров. «Рабочая Марсельеза», 1905).

...нет, лучше амфибрахий, — буржуи всех стран... и народов... — Ср. соответствующее место в статье Маяковского «Как делать стихи?»: «Нет! Безнадежно складывать в 4-стопный амфибрахий, придуманный для шепотка, распирающий грохот революции!» Ходасевич, прочитав статью, удивлялся: «...каким образом, при столь жалких понятиях о поэтическом мастерстве, удавалось ему писать хотя бы даже такие стихи, как он писал?» (Декольтированная лошадь // Возрождение. 1 сентября 1927).

...вперед, нефтяной (или золотой?) коллектив... — В рецензии «Новые поэты» (1927) Набоков цитирует поэта, страдающего «“приятием Февраля” в самой тяжелой форме — стихотворной»: «“Вперед! Да здравствует свобода среди земель и средь морей!” (Свобода внешней торговли?)». Штамп революционной риторики, ср.: «Вперед, заре навстречу, / Товарищи в борьбе!» (А. Безыменский. «Молодая гвардия», 1922) или: «Вперед же по солнечным реям / На фабрики, шахты, суда! / По всем океанам развеем / Мы алое знамя труда» («Краснофлотский марш», 1924; сл. А. Безыменского, муз. К. Корчмарева).

...буржуи всех стран и народов, да здравствует наш капитал, тата-татата-та... — Творческий процесс у Федора в «Даре» (гл. 1) передается идентичной манерой: «И в разговоре татой ночи сама душа нетататот...» — или в поэме «Слава» (1942): «Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та, / а точнее сказать я не вправе». Ср. у Маяковского: «В ногу / взрослым / вступают дети — // тра́-та-тата́-та / та́-та-та-та́» («Владимир Ильич Ленин»). В статье «Как делать стихи?»: «Из размеров я не знаю ни одного. Я просто убежден, что для героических или величественных передач надо брать длинные размеры с большим количеством слогов, а для веселых — короткие. Почему-то с детства (лет с девяти) вся первая группа ассоциируется у меня с:

Вы жертвою пали в борьбе роковой... 〈...〉

Сначала стих Есенину просто мычался примерно приблизительно так:

та-ра-ра/ра-ра/ ра, ра, ра, ра /ра-ра/ 〈...〉

Потом выясняются слова:

Вы ушли ра ра ра ра ра в мир иной».

(Попутно обратим внимание на тему ухода в мир иной, центральную для «Занятого человека». Вместо неизвестного фонетического сегмента Маяковский затем вставляет вводное «как говорится», упреждая, что таким образом «устраня[ются] всяческие подозрения по поводу веры автора во все загробные ахинеи»; по-видимому, именно на это у Набокова следует ремарка: «Но если... загробной жизни нет, то отпадает и все прочее, что связано с самостоятельностью души... о, да, будем материалистами...»).

...звали его Иван Иванович Энгель. — Энгель по-немецки — «ангел».

С. 560. ...перегорела лампочка... и сосед принес новенькую стеклянную грушу... — В «Театральном романе» и набросках к нему М. Булгакова есть схожий эпизод, с той разницей, что перегоревшую электрическую лампочку писателю-неудачнику в комнату приносит не ангел, а сатана (ср. мефистофельскую внешность издателя Рудольфи и фаустовские мотивы в «Занятом человеке»).

...транспарант ее постоянно просвечивает сквозь почерк жизни? — Транспарант — разлинованный лист плотной бумаги. Метафора «почерк жизни» у Набокова позже встречается в романе «Под знаком незаконнорожденных» (гл. 17).

С. 561. Гроза усилилась. 〈...〉 окно полыхнуло, черный крест рамы скользнул по стене... — Одна из сцен 5-го акта «Фауста», цитировавшегося Набоковым выше, носит ироническое название «Положение во гроб», которое отсылает к евангельской истории о снятии с креста Иисуса. В той же сцене: «Нет-нет и молния ударит, / Все слепнет на ее свету, / Но более уже не парит, / Гром разгоняет духоту 〈...〉 Где дух мой пленный, как в темнице, / Томится в немощной плоти, / Дай, Боже, мыслям проясниться / И сумрак сердца освети!» (Перевод Б. Пастернака.)

Граф посмотрел на веселое, ярко-голубое небо, на древообразные узоры темной сырости 〈...〉 Желанный брег... Доплывет ли? — Загробные видения мучают авторское «я» в пушкинском «Для берегов отчизны дальной...» (1830): «Но там, увы, где неба своды / Сияют в блеске голубом, / Где тень олив легла на воды, / Заснула ты последним сном».

С. 562. ...крестословица. — Вопреки устоявшемуся заблуждению, Набокова нельзя признать создателем этого жанрового термина. Уже в феврале 1925 г. в берлинском еженедельнике «Наш мир» специальная заметка под названием «Крестословицы» была посвящена новому увлечению, захватившему США (после выхода там в 1924 г. первого сборника кроссвордов), и которое вскоре, по свидетельству другого автора, было подхвачено в Европе: «Увлечение “крестословицами” [в Париже] было воистину стихийным. В любом вагоне метро, в каждом трамвае и омнибусе вы могли наблюдать молодых людей обоего пола с разграфленным в клеточку картоном на коленях, со словарем Ларусса под мышкой»

(А. Куприн. На 1926 год // Русское время. 7 января 1926). Вечный оппонент Сирина Г. Адамович нововведения не принял: «“Возрождение” впало... в крайность и вместо mots croises пишет “крестословица”. Неудачное изобретение! Едва ли можно сомневаться, что его ждет судьба “мокроступов“ или “летокруча”, когда-то настойчиво употреблявшихся “Новым временем” для обозначения аэроплана» (Сизиф [Адамович Г.]. Отклики // Звено. 7 сентября 1925). (Подробнее об опытах Набокова-ребусника см.: Р. Янгиров. Берлинские забавы Владимира Набокова // Wiener Slawistischer Almanach. 1998. № 41. С. 105–116).

...знаменитый финский бегун... — Пааво Нурми (1897–1973) — стайер, двукратный олимпийский чемпион (1920 и 1924 гг.).

С. 563. В прихожей валялась распечатанная телеграмма... «Soglassen prodlenie»... — Набоков предлагает теперь «распечатать» содержание телеграммы читателю: по-латински набранный русский текст, содержащий божественную отсрочку, скреплен двуязычной игрой: по-немецки so gelassen (перфект) или glassen (неопр. форма глагола) значит «позволить, разрешить».

Чем занимается ваша дочь? Она садистка. То есть? Она поет в садах. — В английской версии каламбур основан на том же слове, которое при «фонетическом переводе» приобретает иное значение — sad — «печальный»: «Как поживает ваш сын-поэт? — Он стал садистом. — То есть? — Сейчас он пишет только печальные двустишия [*sad distichs*]».

Terra incognita. Впервые: Последние новости. 22 ноября 1931. *Букв.*: «Неизвестная земля» *(лат.)*. Мечтавший сам предпринять путешествие в далекую экзотическую страну, Набоков мог слышать красочные описания тропической природы от своего дяди, К. Д. Набокова, который провел более трех лет в Индии и чьи воспоминания частично попали затем в книгу «Испытания дипломата» (Стокгольм. «Северные огни». 1921). Внешняя канва рассказа ориентирована на образцы приключенческой прозы Т. Майн Рида, Р. Киплинга и Жюля Верна, популярных в России в конце XIX — начале XX в. авторов, отмеченных особым расположением юного Набокова. Дж. Коннолли указывает также на некоторые параллели с романами Генри Райдера Хаггарда, написанными от первого лица и повествующими о трех европейцах, путешествующих вместе: в «Копях царя Соломона» рассказчика по имени Квойтерман сопровождают герои Куртис и Гуд, в «Перстне царицы Савской» с Адамсом следуют Квик и Орм (у Набокова — Грегсон и Кук) («Terra incognita» и «Приглашение на казнь» Набокова: борьба за свободу воображения // *Н97*. С. 355). Не исключено влияние эпилога романа «Пан» (1894) — «Смерть Глана» Кнута Гамсуна (Собрание сочинений в десяти томах норвежского писателя учтено в библиотеке Тенишевского

училища): в дебрях Индии путешествующий рассказчик убивает на охоте спутника по имени Томас Глан.

В качестве вероятных источников рассказа в русской литературе следует назвать повесть Л. Андреева «Красный смех» (1904): галлюцинации героя повести (воображаемая война в тропиках, где солдат обвивает колючая проволока в виде змей) перемежаются видениями собственной комнаты, где он лежит в бреду. При этом, как и у Набокова, вначале фиктивный мир описывается как подлинный, и лишь потом в него постепенно вторгается реальность. А. Долинин отмечает также фантастическую новеллу Вл. Амфитеатрова-Кадашева «Зеленое царство», появившуюся в эмигрантской газете «Руль» (8 апреля 1923), герой которой — умирающий путешественник, существующий одновременно в двух реальностях.

Английский перевод рассказа впервые появился в журнале «Нью-йоркер» (18 мая 1963), спустя десятилетие вошел в сборник «Russian Beauty and Other Stories» («“Русская красавица” и другие рассказы»).

С. 564. ...обязанности, в которые... входило толмачество, ибо Грегсон плохо еще понимал бадонское наречие. — Толмачество — перевод. Бадонское наречие изобретено Набоковым, хотя стоит отметить, что на юго-востоке Сенегала находится город Бадон.

...соцветия Valieria mirifica. — Данного представителя тропической фауны не существует в природе, тем не менее его название поддается расшифровке: mirifica значит «делающий чудеса», тогда как Valieria содержит имя самого повествователя (Вальер) (*S99.* P. 47).

...лимия. — По предположению А. Долинина, вымышленное название тропического растения обыгрывает два значения латинского слова limus, отсылающие к параллельным «реальностям» в сознании героя: «южноамериканской» (ил, тина) и «медицинской» (экскременты); для текста значим и корень limen (порог, рубеж, конец), ибо рассказ, по замечанию П. М. Бицилли, «всецело посвящен теме соотношения миров» (В. Сирин. «Приглашение на казнь». — Его же. «Соглядатай». Париж, 1938 // Современные записки. 1939. Кн. LXVIII). Кроме того, Ada lehmanni — дикая орхидея, появляющаяся в позднем романе «Ада» (см. прим. в: В. Набоков. Американский период. Собрание сочинений в 5 томах. Т. 4. С. 617–618).

...сплеталась над нашими головами... — В газете: «сплетались над головами».

С. 565. Я говорил себе, что голова у меня такая тяжелая от долгой ходьбы, от жары... но втайне знал, что я заболел... — Ср. у Л. Андреева: «Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят или больше (...) чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный

шар, тяжелый и легкий, чужой и страшный ‹...› По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений». В «Смерти Глана» К. Гамсуна: «Зной был адский. На ночь мы завешивали постели пологом от насекомых». К. Д. Набоков пишет в «Испытаниях дипломата»: «Путешествовать по Индии можно только с ноября до апреля. В течение остальных месяцев — слишком жарко. Жарко так, что к ножу и вилке в вагоне-ресторане неприятно притрагиваться, что крахмальный воротник через 1,5 минуты превращается в мокрую тряпку, и опасность солнечного удара постоянная» (с. 24.).

...он хрипел, он задыхался. — В газете: «он хрипел, задыхался».

С. 566. акреана — вымышленное название, сочетающее два французских слова: âcre (горький) и créer (творить, создавать).

...да, ослепительной тьмой, иначе не скажешь. — Цитата из стихотворения английского поэта Генри Вона (1622–1695) «Ночь»: «Некоторые утверждают, что в Боге есть глубокая, но ослепительная тьма».

С. 567. ...гидротиковые змеи. — Термин «гидротиковый» употребляется не в зоологии, а в медицине, где он означает потогонное или мочегонное средство.

ипекакуана (другое название: «рвотный корень») — полукустарник девственных лесов Южной и Центральной Америки, лекарственное растение, которое в малых дозах может использоваться в том числе и для приготовления снотворного.

С. 568. ...обнаружил его предплечье... — В газете: «обнажил его предплечье».

С. 569. ...Черная собака объедается падалью. Ми-ре-фа-соль. Он шут... шекспировский шут. — Похожая последовательность нот встречается у Шекспира в «Короле Лире» (акт I, сц. 2), а в следующей сцене того же акта шут изрекает: «Правду всегда гонят из дому, как сторожевую собаку, а лесть лежит в комнате и воняет, как левретка» (перевод Б. Пастернака). В «Напрасных усилиях любви» Олоферн поет «до-ре-соль-ля-ми-фа» (акт IV, сц. 2); в «Как вам это понравится» шут Оселок в сцене в лесу говорит пастуху: «Настоящая ты падаль по сравнению с хорошим куском мяса!» (акт III, сц. 1. Перевод Т. Щепкиной-Куперник).

Какие-то блистающие птицы летали в болотном тумане и, садясь, обращались мгновенно: та — в деревянную шишку кровати, эта — в графин. — Пассаж почти дословно воссоздан при описании детской болезни Тимофея Пнина: «Еще пуще угнетала его тяжба с обоями ‹...› Цветы и листья, ничуть не теряя их извращенной запутанности, казалось, одним волнообразным целым отделялись от бледно-синего фона... Он еще мог разглядеть... блик на стакане, латунные шишечки на спинке кровати...» («Пнин»,

гл. 1 (2). Перевод С. Ильина). Ср. также у Л. Андреева: «На третью или на четвертую ночь, я не помню, на одну минуту прилег за бруствером, и как только закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ: клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на моем столике... Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы...»

С. 571. ...я даже вспомнил... попугаев, и еще многое... — Набоковское «и еще многое» противостоит пестроте перечислений родственника: «Там [в Удайпуре] по садам и по озеру летают стаи маленьких зеленых попугаев — и полет их необычайно быстр и изящен; там по окрестным полям и кустарникам бродят дикие кабаны, тигры и пантеры, шмыгают по деревьям и по крышам обезьяны, по ночам уныло и страшно визжат шакалы — и среди этой веселой вакханалии животного царства особенно пленяет ленивое спокойствие человека» (К. Д. Набоков. Испытания дипломата. С. 25). В рецензии «Новые поэты» (1927) Набоков недоумевает по поводу стихов Ю. Галича: «...как можно... писать... о том, что на озере Чад — "фламинго и львиный галоп"! Скверной олеографией кажутся эти изображенья тропического мира...» (см. том II наст. издания). О методах художественной изобразительности рассуждает персонаж Горн: «Беллетрист толкует, например, об Индии... о баядерках, охоте на тигров, факирах, бетеле, змеях... но никакой Индии я перед собой не вижу... Иной же беллетрист говорит всего два слова об Индии: я выставил на ночь мокрые сапоги, а утром на них уже вырос голубой лес... и сразу Индия для меня как живая...» («Камера обскура», гл. XV).

Встреча. Впервые: Последние новости. 1 января 1931. Написан в Берлине в середине декабря 1931 г. Произведение продолжает тему встречи двух «далеких близких», начатую в рассказе «Звонок» (1927) и развитую в романе «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (1941). Биограф Б. Бойд связывает тематику рассказа со встречей Набокова в декабре 1931 г. с советским подданным, писателем А. Тарасовым-Родионовым, который пригласил коллегу вернуться в СССР (*B90.* P. 375). В английском переводе названию придан оттенок иронии: «Reunion» («Воссоединение»).

С. 572. Спец. О, эти слова с отъеденными хвостами... — Распространенное в Советской России до середины 1920-х гг. название специалиста, выходца из непролетарской среды. Напр.: «Спецов вы всех считаете неблагонадежными?» (Вс. Иванов).

С. 573. Убрал он и елку... а то... еще посмеется над эмигрантской чувствительностью. — Советский писатель, герой «Рождественского рассказа» (1928) Набокова, воображает, как «эмигранты плачут вокруг елки» (см. том II наст. издания).

присяжный поверенный — в России в 1864–1917 гг. адвокат на государственной службе при окружном суде или судебной палате.

С. 574. унтергрунд — название метро в Берлине.

Загорался мягкий желтоватый огонь... под чугунной подставкой, где с видом жертвы стоял высокий жестяной чайник ⟨...⟩ *и некоторое время они говорили о машинке, Серафим объяснил ее устройство и нежно повертел винт.* — Осведомленность Серафима проясняется ветхозаветным: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника» (Исаия. 6: 6). «Серафим» значит «несущий огонь» *(др.-евр.)*; ранее о нем брат вспоминает так: «Раза два имя Серафима просквозило в серой, как дымовая завеса, советской газете...»

С. 575. Статья о Фарадее... — Фарадей Майкл (1791–1867) — английский физик и химик, открывший электромагнитную индукцию и законы электролиза.

С. 576. олеография — с конца XIX в. репродукция, напечатанная многокрасочным способом, точно воспроизводившим на бумаге тона картины и фактуру масляной живописи.

С. 577. Роман... о кровосмесительстве. — Имеется в виду роман «Брат и сестра» («Bruder und Schwester», 1929) Леонхарда Франка (1882–1961), упоминаемого в следующем абзаце. Произведения Л. Франка, сочувственно изображавшего деятелей рабочего движения, активно переводились на русский язык в 1920-е гг. в СССР. Спустя 35 лет Набоков посвятит «кровосмесительству» собственный роман — «Ада».

О Юнге, о Максвелле, о Герце. — Юнг Карл Густав (1875–1961) — швейцарский психиатр, основатель школы «аналитической психологии»; Максвелл Джеймс Клерк (1831–1879) — британский физик, исследовавший свойства электромагнетизма; Герц Густав (1887–1975) — немецкий физик и нобелевский лауреат (1925, совместно с Дж. Франком за опыты в области квантовой теории).

С. 578. «Прямо обидно, — воскликнул Серафим. — Знаю, что сидит у меня в мозговой ячейке, но невозможно добраться». — Подобным образом сам Набоков не мог вспомнить фамилию одного школьного товарища в письме 1937 г. Самуилу Розову, однокласснику по Тенишевскому училищу: «...тот мудрый и лохматый (запамятовал фамилию), поступивший в самом, самом конце: в революцию, на Марсовом поле, он забрался на платформу (из ящиков), чтобы произнести пламенную речь (был кадет), и после первого же слова был с платформы сбрит...» (Цит. по: Ю. Левинг. Литературный подтекст палестинского письма Вл. Набокова // Новый журнал. 1999. № 214. С. 122). Через тридцать четыре года, получив в 1971 г. от Розова для биографа Э. Филда копию давнего послания и перечитав шестистраничное письмо, Набоков «заметил, что две-три детали уже освободили те кельи памяти, в кото-

рых старели. Но зато неожиданно и свежо вспомнилась фамилия симпатичного лохматого товарища нашего, который остался безымянным в письме 37 года: Фридман! Так работают странные чудные улья внутри нас». Полное имя тенишевского одноклассника — Соломон Фридман.

С. 579. Шутик! Как просто. Шутик... — В переводе имя пуделя — Джокер. Схожий эпизод встречается в английском автобиографическом рассказе «First Love» («Первая любовь») и в 7-й главе мемуаров «Память, говори», где Набоков вспоминает кличку собаки, с хозяйкой которой, по имени Колетт, у автора в юности был пляжный роман. После определенных усилий память высвобождает далекое слово — «Флосс».

Лебеда. Впервые: Последние новости. 31 января 1932. Начат 30 декабря 1931-го и окончен 14 января 1932 г. В 1976 г. автор снабдил перевод рассказа для сборника «Details of a Sunset and Other Stories» примечанием: «Сквозь сдвинутые узоры рассказа читатель моей "Память, говори" узнает многие детали последней части 9-й главы книги. Между мозаикой вымысла попадаются и некоторые подлинные воспоминания, не вошедшие в "Память, говори"... включая драку со школьным задирой. Место действия — Санкт-Петербург, время — около 1910». Сюжет рассказа основан на инциденте, произошедшем в 1911 г. Либеральная газета «Речь», членом редакции которой состоял В. Д. Набоков, уличила Н. Снессарева в получении взятки размером 26 000 рублей от электротехнической компании «Вестингауз» за содействие фирме в организации подряда на строительство петербургских трамваев. Снессарев отверг предъявленные обвинения в письме в редакцию черносотенной газеты «Новое время», бывшим сотрудником которой он являлся, в следующих выражениях: «Г-н Набоков, будучи беден, как Иов на гноище после ограбления его караванов, женился на богатой московской купчихе. Это факт. Но если на вопрос, кто такой г. Набоков, я отвечу: "человек, женившийся на деньгах", то несомненно прибегну к инсинуации. Можно жениться на миллионерше и не быть содержанцем» (Урок инсинуации гг. Милюкову, Гессену и Набокову // Новое время. № 12786. 16 (29) октября 1911. С. 5). Ниже приводим «Письмо в редакцию» В. Д. Набокова: «В номере "Нового Времени" от воскресенья, 16 октября, было напечатано письмо г. Снессарева, заключавшее в себе непристойную выходку, касающуюся моей личной жизни. Письмо это вызвано было статьями "Речи", осветившими подкладку публицистической деятельности г. Снессарева. Считая ниже своего достоинства вступать в какие бы то ни было сношения с г. Снессаревым, я полагал, что редакция "НВ" в состоянии отличить ту границу, которая отделяет газетную полемику, хотя бы и личного характера, от чисто хулиганских

выпадов, затрагивающих семейные отношения, и, допустив такой выпад, сознает неправильность своих действий. Ввиду этого я обратился к редактору "НВ" г. М. Суворину с предложением напечатать в "НВ" извинение по поводу помещения письма г. Снессарева, которое я готов был приписать недосмотру. Предвидя возможность отказа редактора исполнить мое требование, я усматривал в таком отказе выражение солидарности с г. Снессаревым и, не имея другого средства заставить редактора "НВ" понести ответственности за случившееся, просил доверенное лицо [Н. Н. Коломейцева. — *Ю. Л.*] передать ему мой вызов. Г-н М. Суворин отказался и от исполнения моего требования, и от принятия моего вызова, отсылая меня к г. Снессареву. Мне остается только подчеркнуть, что редактор "НВ", очевидно, так же мало, как и его сотрудник, заслуживает того, чтобы кто-нибудь ожидал от него естественного проявления личной порядочности» (Речь. № 286. 18 (31) октября 1911).

В комментарии к переводу Набоков отмечал, что английское название лебеды — orache «по чудотворному совпадению воспроизводит в написании "или беда", "or ache", предполагаемое русским оригиналом» (*искаж. англ.* orach — «лебеда»).

С. 579. Отец... фехтовал с м-сье Маскара, маленьким, пожилым французом, сделанным из гуттаперчи... — Ср. в «Других берегах» (гл. 9 (1)): «...утра мои были скомканы, и пришлось временно отменить уроки бокса и фехтованья с удивительно гуттаперчивым французом Лустало».

С. 580. ...географ Березовский (автор брошюры «Чао-Сан, страна утра. Корея и корейцы. С тринадцатью рисунками и картой в тексте»)... — измененное имя учителя географии Тенишевского училища Николая Ильича Березина. Название брошюры воспроизведено почти дословно: «Чао-Сян. Страна утра. Корея, ее природа, жители, их прошлое и современное состояние. С тринадцатью рисунками и картой Кореи в тексте» (СПб., 1904). Березин был также автором книжек «В когтях халифа (мучения и пытки пленного европейца у фанатиков Судана)» и «Занзибарский беглец. Повесть из африканской жизни» (О. Сконечная. Набоков в Тенишевском училище // Наше наследие. 1991. № 1. С. 112).

...Щукин, самый сильный, грубый и отсталый в классе... — Прототипом этого и еще ряда набоковских образов (Колдунов в «Лике», Кошмаренко в «Зуде», Кашмарин в «Соглядатае», Петрищев в «Защите Лужина» и одноклассник Падука, не названный по фамилии «свирепый обезьянообразный молодчик» в романе «Под знаком незаконнорожденных», гл. 5) был Григорий Попов (р. 21 янв. 1898) — «гориллообразный, бритоголовый, грязный, но довольно добродушный мужчина-гимназист, — с ним даже боксом нельзя было совладать...» («Другие берега», гл. 9 (4)).

Ментона — курортный город на французской Ривьере, на берегу Средиземного моря.

Отец был занят в учреждении, называемом Думой... — В 1903–1906 гг. В. Д. Набоков был депутатом Думы от Конституционно-демократической партии, одним из лидеров которой он являлся.

...мисс Шелдон. — Набоков вспоминал, что в детстве у него была «несоразмерно длинная череда английских бонн и гувернанток», среди которых мисс Рэчель, мисс Клэйтон, мисс Норкот, мисс Хант («Другие берега», гл. 4 (4)). Виктория Артуровна Шелдон (она же «мисс Клэйтон» в английских мемуарах) действительно служила в семье Набоковых.

С. 581. «Как джентльмен он предлагал...» — В переводе добавлены предшествующая строка и искажение в слове «джентльмен»; цитата выносится в строфу, подчеркивая неправильное ударение в слове «револьвер»:

В сем столкновении несчастном,
Как джентелмен, он предлагал
Револьвер, саблю иль кинжал.

Дима Корф. — См. прим. к с. 548.

...деревцо, вырастающее от взгляда факира... — Индийские факиры практиковали следующий фокус: на глазах зрителей посаженное в землю и политое водой семечко «вдруг» вырастало в дерево и иногда даже плодоносило. Ср. также в поэме «Слава» (1942): «...бедные книги твои, / без земли, без тропы, без канав, без порога, / отпадут в пустоте, где ты вырастил ветвь, / как базарный факир, то есть не без подлога...»

«Живое Слово» — учебное пособие для начальной школы в трех частях (СПб., 1907). Автор — педагог и методист русского языка Николай Федорович Бунаков (1837–1904).

...подскочила вставка... — В газете: «подскочила ставка». Видимо, опечатка.

С. 582. ...в решетчатых масках... — В газете: «в решетчатых касках».

...картавые вскрики француза: Battez! Rompez! — сильные движения отца, мигание и треск рапир. Он остановился; дыша и улыбаясь, снял выпуклую решетку с мокрого, розового лица. — Ср. в «Других берегах» (гл. 9 (1)): «[Отец] необыкновенно мощно фехтовал, передвигаясь то вперед, то назад по наканифоленному линолеуму, и возгласы проворного его противника — “Battez!”, “Rompez!” — смешивались с лязгом рапир. Попыхивая, отец снимал маску с потного, розового лица, чтобы поцеловать меня».

...немец Нуссбаум. — Набоков использовал имя швейцарца, бывшего гувернером у них с братом летом 1913 г. (он же Нуайе в «Память, говори» и в «Других берегах»). Немецкий язык у Набокова в школе преподавала женщина — Мария Генриховна Бекман (ЦГИА, ф. 176, оп. 1, д. 159).

...Путя выбежал во двор, углубился в туннель ворот, прыгнул через подворотню... — В «Других берегах» (гл. 9 (2)): «Перепрыгнув через подворотню, я бежал по туннельному проходу и пересекал широкий двор к дверям школы». Описан вход в Тенишевское училище по адресу ул. Моховая, 33–35, в Санкт-Петербурге.

С. 583. ...на площадке, около малахитового столика, с вазой для визитных карточек, стояла безрукая Венера... — Площадка второго этажа, «где безрукая Венера высилась над малахитовой чашей для визитных карточек», фигурирует в «Других берегах» (гл. 9 (4)).

В тишине с сухим звуком упал загнутый лепесток хризантемы. — Г. Барабтарло отметил (Призрак из первого акта // Звезда. 1996. № 11. С. 143) троекратное появление в русской прозе Набокова опадающей хризантемы, при этом неизменно в «сходном психологическом силовом поле». Также в рассказе «Месть» (1924): «Хризантема, стоящая в вазе на камине, уронила с сухим шорохом несколько загнутых лепестков» и в «Других берегах» (гл. 4): «Нервы заставлял "полыхнуть" сухой стук о мрамор столика — от падения лепестка пожилой хризантемы».

...он попробовал заняться рассмотрением толстых переплетенных журналов. — Перевод сообщает название иллюстрированного литературного издания — «Живописное обозрение». На самом деле этот журнал (издавался в 1872–1902, 1904–1905) был «тонким» — формата «Нивы» (1870–1917) А. Ф. Маркса.

...гантируя расправленную руку. — Гантировать (от *фр.* ganter) — надевать перчатки.

С. 584. ...полковник Розен, который когда-то был женихом сестры отца... — Секундантом В. Д. Набокова в несостоявшейся дуэли с М. А. Сувориным должен был быть вице-адмирал Николай Николаевич Коломейцев (1867–1944), муж Нины Дмитриевны Набоковой (1860–1944), сестры отца писателя.

фисташковое парфэ — вид мороженого (от *фр.* parfait — «прекрасный») с фисташковыми орехами.

С. 585. Когда спеша... — В газете: «Когда, странно спеша».

Г. Д. Шишков и... А. С. Туманский... — Фамилия Шишков принадлежала прапрадеду Набокова по отцовской линии Александру Федоровичу. Ее же Набоков использовал в удавшейся литературной мистификации, связанной с публикацией в 1939–1940 гг. двух стихотворений под псевдонимом Василий Шишков.

Инициалы противника Шишкова совпадают с именем Алексея Сергеевича Суворина (1834–1912), беллетриста, книгоиздателя, основателя газеты «Новое время» (отца Михаила Суворина, фактического редактора газеты). Набоков ошибочно полагал, что именно А. Суворина вызвал его отец на дуэль («Другие берега», гл. 9 (4); из романа «Память, говори» Набоков изъял упоминание имени редактора). В английском варианте фамилия «туманного Туманского» — Энигманский (от *греч.* ainigma — «загадка»).

Музыка. Впервые: Последние новости. 27 марта 1932. Написан в начале того же года. Первоначальное название рассказа в черновой рукописи — «Ограда» (см. в сохранившемся пассаже: «Ограда звуков была все так же высока...»). Несколько преувеличенным кажется признание Набокова в «Других берегах», что музыка для него «была и будет лишь произвольным нагромождением звуков». По свидетельству сына, басового певца Д. Набокова, писатель любил отдельные произведения Вагнера, русские народные песни, с удовольствием слушал оперы «Кармен» Бизе и «Богему» Пуччини. В возрасте 19 лет он переложил на русский язык тексты (стихи Гейне) четырех романсов Шуберта и Шумана для певицы Анны Ян-Рубан в Крыму: «Он так идеально “пригнал” слова к нотам, так удобно с точки зрения техники исполнения расположил сложные гласные и согласные звуки, что говорить о его немузыкальности просто невозможно» (М. Джагинов. «Д. Набоков. Сын за отца» // Окна. 22 апреля 1999). Предок Набокова по линии бабушки М. Ф. Набоковой (урожд. Корф) — известный немецкий композитор Карл-Генрих Граун (1701—1759).

Рассказ «Музыка» примыкает к ранней истории «Бахман» (1925) о гениальном музыканте, являющем собой свернутый образ шахматиста Лужина. Несмотря на декларируемое абсолютное непонимание музыки, своим искусным изложением Набоков ввел в заблуждение одного из читателей: в 1928 г. им было получено письмо от некоего д-ра Бернарда Хиршберга, принявшего существование музыканта Бахмана за чистую монету, а рассказ о нем за мемуарный очерк. В письме к Набокову читатель предлагал перевести «очерк» на немецкий язык для публикации в одной из местных газет (M. Shrayer. A Dozen Notes to Nabokov's Short Stories // The Nabokovian. 1998. № 40. P. 49). Упоминаемая в конце рассказа «Музыка» «Крейцерова соната» для скрипки и фортепиано (ор. 47) Людвига ван Бетховена (1770—1827) отсылает также к одноименной повести Льва Толстого, чьи тематические линии преломились в набоковском сюжете (*B90.* P. 261).

Англоязычный читатель смог ознакомиться с переводом в сборнике «Истребление тиранов и другие рассказы» («Tyrants Destroyed and Other Stories». New York, McGraw-Hill, 1975).

С. 586. ...но потом, впрочем, двинулся... — В газете: «но затем двинулся».

Черный лес поднимающихся нот, скат, провал, отдельная группа летающих на трапециях. — Метафорическая игра перекликается с соответствующим пассажем из «Египетской марки» (1928) Осипа Мандельштама: «Громадные концертные спуски шопеновских мазурок, широкие лестницы с колокольчиками листовских этюдов, висячие парки с куртинами Моцарта, дрожащие на пяти проволоках, — ничего не имеют общего с низкорослым кустарником бетховенских сонат» (см.: Ю. Завьялов-Левинг. Тенишевцы

Владимир Набоков, Осип Мандельштам, Самуил Розов: пересечения // Русское еврейство в зарубежье. Том 1 (VI). Иерусалим. 1998).

С. 587. На диване... полулежала... Анна Самойловна, а ее муж, врач по горловым.... вертел что-то блестящее, — пенснэ на чеховской тесемке. — Музыка неожиданным образом меняет семейную жизнь героини рассказа А. П. Чехова «Анна на шее» (1895): «...Аня играла на рояле, или плакала от скуки, или ложилась на кушетку ⟨...⟩ Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку... то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья...» (Ср. в «Музыке» Набокова: «Шелестящее, влажное слово "счастье"»).

...интересно, здесь ли Харузины... — По обыкновению, в круг фиктивных героев Набоков вставляет фамилию своего подлинного знакомого. Олег Харузин (р. 1899) происходил из семьи дворян и был одноклассником Набокова по Тенишевскому училищу. Представляется неслучайным появление Харузина именно в рассказе, посвященном музыке. О музыкальности набоковского одноклассника свидетельствует пассаж из его собственной зарисовки: «А песнь становится все громче и громче, все причудливее замысловатые трели... Затихло все кругом; но не замолкают дивные звуки; то тихие, нежные, то громкие, сильные, трели наполняют своими переливаниями все окружающее... До самого рассвета пропоет свой весенний гимн соловей» (О. Харузин. Отрывок // Юная мысль. 1916. № 6. С. 29).

Откуда-то снизу, как кулак, ударило сердце, втянулось и ударило опять, — и затем пошло стучать быстро и беспорядочно, переча музыке и заглушая ее. — Ср.: «Сердце вдруг сжалось, остановилось и потом заколотило, как молотком ⟨...⟩ Он сидел за фортепиано, делал эти arpeggio своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами» (Л. Толстой. Крейцерова соната).

С. 590. Погодя он принялся медленно и молча ломать ей руки... — Тайно изменявшую ему жену Валечку Гумберт считает достойной похожего наказания: «У нее были очень чувствительные руки и ноги, и я решил ограничиться тем, что сделаю ей ужасно больно, как только мы останемся наедине» («Лолита», гл. 8). Жест, восходящий, возможно, к сцене ревности Позднышева из «Крейцеровой сонаты»: «Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу ⟨...⟩ — Убирайся, или я тебя убью! — закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку». Набоков исполнил роль Позднышева на театрализованном суде над героями «Крейцеровой сонаты» в постановке Союза писателей в берлинском Шуберт-зале 13 июля 1926 г.

...как будто обсуждая другую... — В газете: «как будто осуждая другую».

...приходил играть в винт... — В английской версии играют в вист.

С. 591. С ним поздоровался некто Бок... — Г. Бок являлся соучеником В. Набокова по Тенишевскому училищу. Рассказ Бока «Горы» опубликован вместе со стихотворением Набокова в восьмом выпуске журнала «Юная мысль» в 1916 г. (с. 19–21). Не исключено также, что в эпизодическом образе невосприимчивого слушателя проскальзывает ироничное самоотражение автора (наБОКов; или более полная анаграмма в сочетании «некто Бок»).

«Молитва Девы» — пьеса для фортепиано Феклы Бондаржевской-Барановской (1834–1861), популярная во второй половине XIX в. В качестве обязательного элемента концертов начала века упоминается в стихах «сатириконцев».

Совершенство. Впервые: Последние новости. 3 июля 1932. Написан в июне того же года. Английский перевод был опубликован в сборнике «Tyrants Destroyed and Other Stories» (1975). Между 1925-м и 1927 г. у Набокова было несколько еврейских воспитанников: Александр Зак, Сергей Каплан, Михаил Горлин, — каждый из которых мог внести свою лепту в формирование образа Давида. В августе 1926 г. Набоковы в качестве воспитателей сопровождали трех детей семейства Бромберг, Вериных родственников (в возрасте от десяти до шестнадцати лет), в Бинц — курорт на восточном побережье острова Реген в Балтийском море. Набоков счел необходимым снабдить английский перевод ремаркой: «Несмотря на то, что я действительно преподавал мальчикам в годы эмиграции, на том мое сходство с Ивановым заканчивается». Набоков в отличие от Иванова, например, обожал купаться и загорать; 29 июля 1927 г. он писал Ю. Айхенвальду из Бинца, куда поехал с двумя мальчиками из еврейской семьи, о том, что в этот день он пробежал около пяти верст по берегу, а потом абсолютно голым лежал в траве и наблюдал за бабочками, чувствуя себя настоящим Тарзаном. Набоков добавлял также, что мальчики оказались очаровательными и смеются над его немецким. (Публ. С. Шумихина. Наше наследие. 1988. № 2.)

С. 592. ...путешествующий игумен сравнивает Иордан с родной черниговской речкой... — Игумен Даниил, родившийся и живший около г. Чернигова, был первым русским паломником, описавшим Палестину. В своем «Хождении» (1106–1107 гг.) Даниил сравнивает Иордан с протекающей недалеко от Чернигова речкой Сновью, притоком Десны.

...царский посланник заходит в страну, где люди гуляют под желтыми солнышниками... — Имеется в виду томский казак Иван Петлин — глава первой официальной русской миссии в Китай

(1618). По возвращении в Тобольск в 1619 г. написал «Роспись», фрагмент которой воспроизводится у Набокова: «...а куды те воеводы поедут, и перед ними бежат батожников з 20, а над ними несут солнышники тафтяные желты». Солнышник — старинное русское название зонтика.

...тверской купец пробирается через густой женгел... — Русский путешественник, тверской купец Афанасий Никитин (?–1474/75) оставил путевые записки «Хождение за три моря» о посещении им Персии, Индии, Сомали и Турции. В английском переводе Набоков поясняет слово «женгел»: «...так по-русски он называл джунгли».

...дуют с углов толстощекие ветры, из которых один в очках. — На географических картах XV–XVI вв. изображение земли окружали головы с развевающимися волосами и надутыми щеками.

Он верным пребыл крахмальным воротничкам и манжетам... — В переводе добавлено: «...вот уже в течение дюжины лет его эмигрантской жизни, большей частью прошедшей в Берлине...»

С. 593. ...или когда с ним говорила мать... — Далее в переводе: «...русская супруга берлинского дельца...»

С. 594. Бонзо, пожирающий теннисный мяч... — популярная в 1920-х гг. картинка с изображением щенка по кличке Бонзо, играющего теннисным мячиком.

штранд — (от *нем.* Strand) морской берег, пляж.

С. 595. Последний раз он видел море восемнадцать лет тому назад, студентом. Мерикюль и Гунгербург. — Курортные города в Эстонии (с 1917 г. название Гунгербурга у впадения р. Нарвы в Финский залив — Усть-Нарва). Английский вариант дает более точную дату последнего посещения Ивановым моря — в 1912 г. По данным о географических экскурсиях Тенишевского училища, сам Набоков был в Гунгербурге в мае 1913 г. (ЦГИА, ф. 2176, оп. 1, д. 36, л. 180).

...и шел, позванивая, быстро-быстро работая локтями, сквозь буковый лес. — В газете: «шел, позванивая, сквозь буковый лес».

...потрепанного Пушкина в издании книгопродавца Панафидиной. — Имеется в виду дешевый однотомник, выпускавшийся большим тиражом в Петербурге с 1899 г. издателем Панафидиным, а с 1903 г. — его женой. Предназначался для школьных библиотек.

С. 596. фацет — (от *фр.* facette) грань.

С. 598. пядéница — бабочка-вредитель семейства сумеречных и ночных, названная так потому, что при движении как бы измеряет свой путь пядями (расстояние между растянутыми большим и указательным пальцами руки, принятое за 17,78 см).

Померания — прусская провинция на побережье Балтийского моря.

...редчайшая птица птеридофора с парой длинных, из голубых фестонов состоящих, антенн на голове. — Птеридофора — черная, с желто-коричневой грудью птица из отряда воробьиных, обитающая в Новой Гвинее. Фестон — украшение в виде зубчатого или волнистого узора — здесь: два «украшающих» пера у самцов птеридофоры.

кватч — (*нем.* Quatsch) вздор, болтовня.

С. 599. ...носки, столь дырявые, что напоминали митенки. — Митенка — женская перчатка без пальцев. Герой рассказа «Занятой человек» сидит «на краю постели с фиолетовым, дырявым, только что снятым носком в руке»; Берг в «Подлеце» «присев на постель... заметил, что натер пятку и что левый носок порвался»; в «Пассажире» описана «нога... в грубом пестром носке, продырявленном синеватым ногтем большого пальца»; Герман в «Отчаянии» перед убийством «надел две пары носков (верхняя с дыркой)».

Хват. Впервые: Сегодня. 2, 4 октября 1932. Рассказ был начат Набоковым в Берлине 20 апреля, после возвращения поездом из Праги, и закончен 5 мая. По свидетельству Набокова, редакции обеих ведущих эмигрантских газет — берлинского «Руля» и парижских «Последних новостей» — «отвергли его как неуместный и грубый». Набоков переправил рукопись в оказавшуюся более либеральной рижскую газету «Сегодня» (возможно, публикации содействовал набоковский приятель И. Лукаш, который переехал из Берлина в Ригу в 1925 г. и однажды уже устраивал там публикацию рассказа Набокова «Случайность», который до того отказались поместить в «Руле»: «Мы не печатаем анекдоты про кокаинистов»).

Словарь В. Даля определяет «хват» как «молодец, удалец; ловкий, бойкий, расторопный»; «хватик» — «франтик, самодовольный щеголек». В английской версии рассказ называется «A Dashing Fellow» (*букв.* «Лихой малый»). До появления в сборнике «Russian Beauty and Other Stories» (1973) перевод рассказа был помещен на страницах журнала «Плейбой» в декабрьском номере 1971 г.

С. 601. Психоанализ: мы все Эдипы. — Согласно греческой мифологии, царь Эдип был женат на своей матери. «Эдиповым» З. Фрейд назвал комплекс скрытого инцестуального влечения сына к матери. В статье «Что всякий должен знать?» (см. в наст. издании, с. 697) Набоков издевается над тем, что он называет «Фрейдизм для всех»: «*Сын:* “Папа, я хочу жениться на бабусе...” *Отец:* “Не говори глупостей”. *Сын:* “Почему же, папа, ты можешь жениться на моей маме, а я не могу на твоей?”».

Сумароков. Да, родственники. — Выбор фамилии, принадлежавшей А. П. Сумарокову (1717—1777), русскому поэту и драматургу,

не случаен, это намекает на жанр, принесший тому популярность, — любовные песни, расходившиеся в списках. В переводе выбор Кости падает на другую известную дворянскую фамилию — Оболенский.

Мы не знаем известного турецкого генерала и не можем найти ни отца авиации, ни американского грызуна... — Ср. с вопросами из кроссвордов самого Набокова, опубликованных на страницах «Руля» в 1931 г.: президент Французской республики; тот, который уже летал высоко; морское животное. (Сиринские крестословицы републикованы Р. Янгировым: Из наблюдений об опытах «ретроградного анализа» и «загадках перекрестных слов» Владимира Набокова // Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 436–440.)

С. 603. ...с... пикейным воротничком. — Пике — ткань полотняного переплетения с узором в виде рубчиков.

С. 604. ...у него теперь в Хемнице аптекарский магазин... — Хемниц — город в центрально-восточной Германии по названию реки в Саксонии (последнее провоцирует ниже сравнение поместья героя с Саксонией); родом из Хемница И. Г. Фальц, основатель рода Фальц-Фейнов, породненного с Набоковыми. Основанный в XII в., город в начале XX в. прославился мануфактурами, в том числе связанными с химической промышленностью. Вспоминаемый Зоньей Бергман «аптекарь Барацкий из Варшавы», разумеется, русским быть не может.

Наше поместье, например, было величиной с вашу Саксонию. — Гипербола, соотносимая со знаменитым монологом хвата русской литературы XIX столетия Хлестакова: «У меня дом, первый в Петербурге... На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа...» (Н. В. Гоголь. Ревизор. Д. 3, явл. 6).

...ветеран турецкой кампании... — Имеется в виду русско-турецкая война (1877–1878). Механизм лжи работает по принципу Хемниц — Саксония. Так, турецкая кампания возникает в рассказе Кости после неразрешенного вопроса крестословицы о турецком генерале.

Я бежал, переодевшись крестьянкой. — Типовой элемент авантюрного романа. Сюжет с переодеванием продолжает пушкинскую традицию («Барышня-крестьянка» и «Домик в Коломне»: «Кто ж родился мужчиною, тому / Рядиться в юбку странно и напрасно») и, возможно, навеян имевшими отношение к набоковской семье историческими событиями, связанными с бегством из революционного Петрограда якобы переодетого в женщину главы Временного правительства. Отец писателя вспоминал, как офицеры приехали к нему просить автомобиль для спасения А. Ф. Керенского: «“Все наши моторы захвачены или испорчены... Сейчас каждая минута дорога”. Я... должен был объяснить

офицерам, что у меня самого имеется только один старенький ландолэ Бенца, для городской езды, малосильный и потрепанный, абсолютно не соответствующий предполагаемой цели...» (Цит. по: В. Д. Набоков. Временное правительство и большевистский переворот. Предисл. М. Геллера. Overseas Publications Interchange Ltd, London, 1988. С. 153).

С. 605. ...угол сада, где старый дворецкий... закопал наши фамильные драгоценности... — В мемуарах Набоков пишет, что их семья привезла с собой в Крым в жестянках с тальком драгоценности, которые преданный бывший шофер «уговорил мать перевести... в более классическое место и сам вырыл для них в саду яму» («Другие берега», гл. 11 (4)).

Зеркальце не круглое... а фантези... — то есть в фигурной рамке. Ср.: «Репродукция с картины Беклина "Остров мертвых" в раме фантези...» (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев).

С. 607. Что это у вас на губе? — Язвочка (твердый шанкр) — симптом первой стадии сифилиса.

С. 609. Дальше был сквер, какой-то памятник. — В переводе сказано, что это памятник «каменному герцогу» (Herzog). На вопрос об аналогичном герцоге из романа «Отчаяние» Набоков ответил: «Герцог — немецкий титул, я имел в виду всего лишь обыкновенную статую немецкого герцога на городской площади» (Интервью А. Аппелю, 1966 г.).

Оповещение. Впервые: Последние новости. 8 апреля 1934. Написано в марте. П. М. Бицилли рассказ охарактеризовал одним словом — «трогательный» (В. Сирин. «Приглашение на казнь». — Его же. «Соглядатай». Париж, 1938 // Современные записки. 1939. Кн. LXVIII). На английском языке название стало звучать как «Breaking the News» («Внезапные вести»). Позже сам Набоков признавался, что тема и мотивы этого русского рассказа во многом соответствуют его английскому рассказу-«двойнику» «Знаки и символы» («Signs and Symbols», 1948).

С. 610. У Евгении Исаковны... — в переводе добавлена фамилия — «Минц».

...дело было ранней весной... — Когда Набоков работал над переводом рассказа для сборника «Russian Beauty and Other Stories» (1973), то, не имея под рукой точной даты газетной публикации, он сообщил в комментарии, что «Оповещение» появилось «в эмигрантской печати около 1935». При этом в английском варианте автор решил внести дату в саму прозу, в результате чего второй абзац открывается фразой: «Был мартовский день 1935 года...»

...бедный молодой человек упал в пролет лифта с верхней площадки... — В романе «Камера обскура» ситуация перевернута — аналогичным образом гибнет мать персонажа: «...в Гамбурге

[Горн] беспечно оставил нищую, полоумную мать, которая на другой же день после его бегства в Америку упала в пролет лестницы и убилась насмерть» (гл. XVII).

С. 612. Владимир Маркович — фамилия в переводе — «Вильнер». *раек* — радужная оболочка глаза.

С. 613. Шуф предложил постепенно писать на листочке: «Болен»; «Очень болен»; «Очень, очень болен». — Момент «оповещения» был пережит самим Набоковым, описавшим его в своем дневнике через некоторое время после гибели отца 28 марта 1922 г.: «...в прихожей зазвонил телефон. В этом ничего необычного не было, я просто был недоволен, что пришлось прервать чтение. Я подошел к телефону. Голос Гессена: "Кто это?" — "Володя. Здравствуйте, Иосиф Владимирович". — "Я звоню, потому что... Я хотел сказать тебе, предупредить тебя..." — "Да, я слушаю". — "С твоим отцом случилось ужасное". — "Что именно?" — "Совершенно ужасное... за вами пошла машина". — "Но что именно случилось?" — "Машина уже идет. Отоприте внизу дверь"».

С. 615. ...умер, умер, умер! — В газете это слово повторяется четыре раза.

Красавица. Впервые: Последние новости. 18 августа 1934. Написан в июле 1934 г. в перерыве работы над главой о жизни Чернышевского для будущего «Дара». В английском переводе рассказ получил название «A Russian Beauty» («Русская красавица»). Одноименный сборник был издан в 1973 г. (New York, McGraw-Hill). Среди вошедших в него 13 рассказов «Красавица» оказалась единственным, переведенным не самим Набоковым совместно с сыном, а профессором С. Карлинским. В связи с чем биограф Б. Бойд упоминает любопытный случай: получив от Набокова в 1971 г. за перевод «Красавицы» десять долларов и сочтя сумму комической, Карлинский повесил чек, как раритет от писателя, в рамочку на стене. Узнав об этом от А. Аппеля, Набоков выслал переводчику еще сорок долларов (*B90.* P. 583). В послесловии к переводу автор назвал «Красавицу» «занятной миниатюрой с неожиданной концовкой». Сказка, упоминаемая Набоковым в финале, по всей видимости, им самим и выдумана, а веселый король родствен земблянскому («Бледное пламя») и ультиматульскому («Ultima Thule»).

У Ольги Алексеевны две основные предшественницы из дореволюционной и советской литературы, дополняющие одна другую: Оля Мещерская из «Легкого дыхания» (1916) И. А. Бунина «с радостными, поразительно живыми глазами» (Набоков: «с... такими веселыми глазами, что ее все целовали в глаза») и Эллочка Щукина из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» (1928) («совершенно первоклассного произведения», по определению самого Набокова). Для автора, совместившего двух

героинь, вероятно, не остались незамеченными в «Двенадцати стульях» имя и отчество человека, к которому переезжает муж Эллочки за день до посещения ее Бендером: Иван Алексеевич. Некоторые параллели между текстами отмечаются ниже.

С. 615. ...луч усадебного солнца на обложке «Bibliothèque Rose»... — Серия детских книг «Розовая библиотека» издавалась во Франции. Судя по реминисценции из набоковского детства, «богатая, беспечная дворянская семья», в которой родилась Ольга Алексеевна, принадлежит к кругу самого автора: «Василий Иванович [Рукавишников] поднимает с кушетки в нашей классной книжку из серии «Bibliothèque Rose» ⟨...⟩ книжку о мальчиках и девочках, которые сто лет тому назад жили во Франции... стилизованной vie de château» [усадебная жизнь — *фр.*] («Другие берега», гл. 3 (8)).

С. 616. ...барышня, с большим бледным лицом... очень красивым; высокого роста, с мягкой грудью, всегда в черном джампере; шарф вокруг белой шеи... — Про Эллочку Щукину, обладательницу «миленькой крепдешиновой кофточки», в «Двенадцати стульях» сказано, что «она была красива», а у ее мужа немецкое имя Эрнест (ср. с «русским немцем Форсманом» в «Красавице»). У Оли Мещерской в «Легком дыхании» в четырнадцать лет «при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди... в пятнадцать она слыла уже красавицей» (учитывая, что бунинский рассказ написан в 1916 г., девушки должны были быть ровесницами). Набоков читал рассказ в присутствии И. А. Бунина в Париже в 1936 г. на совместном вечере с В. Ф. Ходасевичем.

Трафаретные внешность и стиль одежды периодически возвращавшейся в прозу Набокова на эпизодических ролях дамы наводят на мысль о том, что она имела не только литературный прототип. Ср. с «одинокой во всех смыслах» молодой женщиной, «очень красивой... всегда в черном платье, с открытой шеей», которой Годунов-Чердынцев дает уроки английского («Дар», гл. 2); с Лизой Боголеповой, «совершенно очаровательной в черном шелковом джампере», которой в пору знакомства с Пниным «едва перевалило за двадцать» («Пнин», гл. 2 (5)); с красавицей Любой Савич, «высокой женщиной с тонкими лодыжками, крупными грудями», с которой повествователь в романе «Смотри на арлекинов!» (ч. 2, гл. 2) знакомится в год создания рассказа — 1 февраля 1934 г. Не исключено, что все последующие образы — трансформация и деромантизация первой любви писателя: Тамара (Люся Шульгина) из «Других берегов», чья «красота все так же близко и жарко горит», отличалась «тонкими щиколотками», ее «очаровательная шея была всегда обнажена», она душилась «дешевыми сладкими духами» и про себя, бывало, говорила: «Что ж, мы мещаночки...»

Она свободно говорила по-французски, произнося «жанс», «ау»; наивно переводя «грабежи» словом grabuges... — Соответствующий пассаж из английской версии рассказа проясняет суть речевых обмолвок: «Она свободно говорила по-французски, произнося *les gens* (слуги) как будто рифмуя с *agence* и разбивая *août* (август) на два слога (*а-ои*). Она наивно переводила русское "грабежи" как *grabuges* (перебранка)...»

...пришпилена... открытка — серовский портрет Государя. — В. А. Серов (1865–1911) — русский художник, создавший целый ряд официальных заказных портретов, в том числе царской фамилии. Здесь имеется в виду портрет Николая II кисти Серова (1900). В кабинете начальницы Оля Мещерская смотрит на портрет «молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы». В комнате Эллочки Щукиной на «стенах висели кинооткрыточки».

«Пошли в кинемоньку». «Вчера ходили в дилю». — Если русское уменьшительное от «кинематограф» хранит след латинского названия корицы (cinnamon), то в английском варианте каламбур совмещает в себе «кино» и «обезьянку» (cinemonkey). Диля — танцплощадка (от *нем.* Diele). См. также у проживших в Берлине первые годы своей эмиграции И. Одоевцевой: «Мы все очень часто танцуем во всяких "дилях"» (На берегах Сены. М., 1989. С. 25) и Н. Оцупа: «Обыкновенный иностранец, / Я дельно время провожу: / Я изучаю модный танец, / В кинематограф я хожу» (Разговоры вдвоем. СПб., 1993. С. 23).

«Не котлеты, а мрак». — «Мрак» — одно из наиболее часто употребляемых Людоедкой Эллочкой слов. В конце предшествующей 21-й главы «Двенадцати стульев» Остап Бендер советует Воробьянинову устроить дуэль на мясорубках, в которой «пораженный противник механически превращается в котлету». Мотив вызова на дуэль проходит и в «Красавице» — «хама», оскорбившего на балу Ольгу Алексеевну, вызывает драться маленький барон Р.

«Кого-то нет, кого-то жаль...» — Из популярной песни:

Кого-то нет, кого-то жаль,
К кому-то сердце рвется вдаль.
На фронт уходит конный полк,
В станице шум и смех замолк,
Ах, не вернется, не вернется.

С. 617. ...и был вызван на дуэль... — В газете: «и был очень корректно вызван на дуэль».

...слово «хам» Ольга Алексеевна употребляла очень часто и по всякому поводу... — Воспользуемся определением из шутливой «Новейшей азбуки», напечатанной в школьном журнале «Юная мысль» в одном номере со стихотворением В. Набокова «Цветные

стекла». Согласно авторам Еп. К. [он же Епифан Коловратов] и К. Я. Ромму, на тенишевском жаргоне «хам» означало следующее: «Известная библейская личность. В настоящее время "хам" есть звук, испускаемый некоторыми людьми, выражающими свое внутреннее состояние (возмущение и негодование)» («Новейшая азбука. Издание 17-е, исправленное и дополненное. — Заново переработана применительно не к программам М-ва Народного Просвещения» // Юная мысль. 1916. № 8. С. 26). Выражения «по-хамски» и «хам» входят в разговорный словарь тещи Лужина («Защита Лужина», гл. 6). В лексиконе Людоедки Эллочки «хамите» стоит на первом месте.

В семье Набоковых словечко было также в ходу, возможно с подачи Д. С. Мережковского, чей образ «грядущего хама» вместил обывательщину, мещанство и революцию. Так, отец писателя, В. Д. Набоков, писал в «Архиве русской революции» в 1921 г. про историка и большевика Ю. М. Стеклова (Нахамкиса) (1873–1941), что с первой встречи на него «произвела самое отвратительное впечатление его манера, вполне подходящая к фамилии, в которой как-то органически сочетались "нахал" и "хам"» (Цит. по: В. Д. Набоков. Временное правительство и большевистский переворот. С. 116). Автор книги «Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность» (1909; 2-е изд. 1928) Стеклов-Нахамкис упоминается в «Даре».

...что-то кончилось... — В газете: «что-то кончалось».

...в сумке шелковые внутренности были так изодраны... — Здесь, очевидно, намеренный повтор метафоры, вызвавшей упрек современника годом ранее. Критик был шокирован физиологизмом набоковских тропов и цитировал: «"выпавшие на ковер разноцветные внутренности шкафа" уже граничит с безвкусием» (Рецензия М. Цетлина на: Сирин В. «Подвиг», Фельзен Ю. «Счастье» // Современные записки. 1933. Кн. LI. С. 458–459).

С. 617–618. ...реклам, написанных слюной Тантала... — За свои преступления против богов сын Зевса и Плуто был наказан в подземном царстве вечными мучениями: стоя по горло в воде, он не может напиться, так как вода тотчас отступает от губ, а ветви с плодами на окружающих его деревьях вздымаются вверх, как только Тантал протягивает к ним руку («танталовы муки»).

С. 618. Она прибавила маленькую подробность, и Верочка покатилась со смеху... — По мнению Г. Барабтарло, секрет красавицы в том, что она до сих пор является девственницей (G. Barabtarlo. The Art of Archery // The Nabokovian. 1998. № 4. P. 29).

...Форсман... автор охотничьих книг. — Род занятий, вполне естественный для человека, в чьей фамилии (особенно в ее версии в переводе рассказа — Forstmann) угадывается forest man — «лесной человек».

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА «ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ»

Издательская судьба рассказов, составивших набоковский сборник «Весна в Фиальте», по-своему трагична. Запланированная в издательстве «Русские записки» (Париж) на 1939 год книга под этим названием вышла спустя более чем пятнадцать лет и на другом континенте. В ноябре 1954 г. Набоков предложил Татьяне Терентьевой, представительнице «Издательства имени Чехова» (Нью-Йорк), основанного тремя годами ранее, опубликовать коллекцию своих русских рассказов, до этого известных только по единичным публикациям в эмигрантской прессе. Сборник «Весна в Фиальте», состоящий из 14 рассказов, написанных в период с 1931-го по 1939 г., появился в 1956 г. и от первоначального замысла отличался тем, что к тринадцати рассказам был добавлен «Ultima Thule», фрагмент недописанного романа «Solus Rex» (1940), остальные наброски к которому Набоков уничтожил. Таким образом, существенная часть короткой прозы Набокова второй половины 1930-х гг. фактически выпала из читательского оборота на долгие годы и своевременно не попала в фокус критики. Между тем корпус произведений, формирующих сборник (получивший название по одноименному рассказу (1936) — одному из лучших, по признанию автора), отличается цельностью мотивов и, если так можно сказать, мифологии зрелого Набокова, отражает высшие достижения писателя как виртуоза-стилиста в его русский период. В 1978 г. сборник был переиздан издательством «Ардис» (Анн Арбор). Рассказы печатаются по тексту сборника, но располагаются в порядке первых публикаций в периодической печати. В английском переводе рассказы из «Весны в Фиальте» были включены в сборники «Nabokov's Dozen» (Doubleday & Company, Garden City, New York, 1958), «A Russian Beauty and Other Stories» (McGraw-Hill, New-York, 1973), «Tyrants Destroyed and Other Stories» (McGraw-Hill, New-York, 1975).

Адмиралтейская Игла. Впервые: Последние новости. 4, 5 июня 1933. Написан 23 мая в Берлине. Сюжет рассказа стилизован под лирический романс-«письмо» с характерной романсу коммуникативной природой диалога. Как следствие — текст насыщен скрытыми и прямыми цитатами из этого популярного на рубеже столетий жанра. По утверждению Б. Бойда, работая над рассказом, Набоков прочитал «целиком» Вирджинию Вулф и Кэтрин Мэнсфилд в качестве эталонов банальности. Впрочем, скептически относившемуся к «женской» литературе Набокову хватало образчиков пошлости в литературе и на родном языке; незадолго до «Адмиралтейской Иглы» В. Ходасевич сформулировал типичные черты «женской» лирики: недоразвитая поэтика, характер случай-

ности и каприза, внутренний строй и интимный тон, напоминающие «дневник, доверчиво раскрытый перед случайным читателем» («Женские» стихи / Возрождение. 25 июня 1931). Подобно другим своим произведениям, являющим монолог, обращенный к находящемуся «за кадром» писателю, к концу рассказа Набоков нагнетает ощущение легкой мистификации — как если бы повествователь был душевнобольным (тема безумия соткана несколькими отсылками к «Гамлету») или жертвой собственной фатальной ошибки. В примечании к английскому переводу (1975) Набоков предостерег читателя: «Несмотря на то что подробности любовного романа повествователя так или иначе соответствуют некоторым описаниям в моих автобиографических вещах, следовало бы зарубить в голове: "Катя" настоящей истории является чистейшим плодом воображения».

С. 620. ...отложные воротнички поэта Апухтина. — Более 90 произведений Алексея Николаевича Апухтина (1840—1893) положены на музыку, в основном это популярные романсы композиторов П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Аренского, Ц. Кюи, А. Бородина и др. Анализируя стихи Д. Кобякова, Набоков вспоминает о «текучести-певучести бесчисленных маленьких Апухтинов прежних лет» (1927). В английском варианте после имени поэта добавлено: «жирной женской забавы», намек на тучную комплекцию Апухтина и отчасти на известный факт его гомосексуальной ориентации. В письме к сестре Елене Сикорской от 26 ноября 1945 г. Набоков сообщает, что «здорово растолстел, стал похож на Апухтина» («Переписка с сестрой», Анн Арбор: Ардис, 1985. С. 26).

...четырехстопный ямб... и притом знаменитый. — Под знаменитым ямбом имеется в виду размер, которым написан «Медный всадник» Пушкина: «...Когда я в комнате моей / Пишу, читаю без лампады, / И ясны спящие громады / Пустынных улиц, и светла / Адмиралтейская игла...»

лимитрофы — в 1920—30-х гг. общее название для государств, образовавшихся на западных окраинах бывшей Российской Империи после 1917 г. Как проясняет перевод, Набоков здесь подразумевает Ригу и Ревель (Таллин). «Какие-то "лимитрофы"» упомянуты в «Даре» (гл. 3).

...неизбежное появление эпизодического корнета... — Вставка в английский перевод («прямиком из подражаний "Войне и миру"») делает прозрачной аллюзию на картавившего Найтурса из романа М. Булгакова «Белая гвардия», ориентированного, в свою очередь, на Денисова в «Войне и мире» Л. Толстого. За рубежом булгаковский роман был издан в двух книгах, вторая вышла как раз в «лимитрофах» (Париж и Рига, 1929).

С. 621. Но все это еще полбеды. — В газете: «Но это еще полбеды».

...так как я тоже грузный, изумление сопряжено с одышкой. — В сцене поединка Гамлета с Лаэртом («Гамлет», акт V, сц. 2) королева говорит о принце, что тот «тучен и одышлив». Герой «Истребления тиранов» (1938) «вял и толст, как шекспировский Гамлет»; о тучности Гамлета Набоков затем упоминает в романе «Под знаком незаконнорожденных» (гл. 7).

...шестнадцать с лишком лет, — возраст невесты, старого пса или советской республики. — Возможно, отсылка к «ухабистой», по определению Набокова, революционной поэме Блока «Двенадцать» (1918): «Стоит буржуй, как пес голодный, / Стоит безмолвный, как вопрос. / И старый мир, как пес безродный, / Стоит за ним, поджавши хвост».

По-вашему, ее васильковые глаза становились в минуты задумчивости фиалковыми: ботаническое чудо! — Схожий ляпсус отмечен Набоковым в рецензии на книгу А. Ф. Даманской «Жены» (1929): «Впечатление чего-то неточного, непроверенного оставляют и некоторые другие образы в книге. Так, прочтя фразу о женщине, которая "с орошенным кровью лицом шагнула назад", или о женщине, у которой лицо "заливалось малиновым сиропом", бесхитростные могут подумать, что в первом случае речь об опасном ранении, а во втором о кухонной катастрофе. На самом же деле это только два изысканных способа сказать, что человек покраснел».

С. 622. И все-таки я буду, как Гамлет, спорить, — и переспорю Вас. — Имеется в виду пари в «Гамлете» Шекспира (акт V, сц. 2), согласно которому при обмене ударами на рапирах Лаэрт возьмет верх над Гамлетом не более чем на три удара в двенадцати схватках. В рассказе «Василий Шишков» (1939) повествователь пишет, что боится последствий, «которые и не снились любомудрию Гамлета». Гамлетовские подтексты в прозе Набокова 1930-х гг. неизменны. Апофеозом пристального набоковского интереса к Шекспиру должен был стать перевод драмы на русский язык, затея неосуществившаяся. В 1930–1931 гг. Набоков опубликовал три отрывка из «Гамлета» (в «Руле», 19 октября и 23 ноября 1930; в «Le Mois», № 6, в июне—июле 1931). В архиве писателя (ныне Коллекция Берга, Нью-Йоркская Публичная библиотека) хранится значительная неопубликованная часть неоконченного перевода.

«Паризиана» — известный в Петербурге 1910-х гг. кинотеатр на Невском проспекте. В мемуарах Набоков вспоминает, как они с В. Шульгиной под вечер «часто скрывались в последний ряд одного из кинематографов на Невском, "Пикадилли" или "Паризиана"» («Другие берега», гл. 11 (2)).

...в партикулярном платье... — то есть в штатской одежде.

...я одевался под Макса Линдера... — Макс Линдер — псевдоним французского киноактера Габриеля Лёвьеля (1883–1924), посе-

тившего Петербург в 1913 г. В «Память, говори» (гл. 8 (2)) фигурирует студент-гувернер мальчиков Набоковых с «гладкими волосами, — несколько похожий на французского актера Макса Линдера».

вежеталь — туалетная вода с запахом трав и цветов.

...перекидывал мне волосы жестом линотипа... — Линотип — типографская наборная машина, отливающая набор целыми строками.

С. 623. ...«красивая елка, переливаясь огнями, казалось, сулила им радость ликующую»... — Суммируя свои впечатления от книги «Мой Город» Раисы Блох (1899—1943), Набоков писал в рецензии, что «все это золотистое, светленькое и чуть-чуть пропитанное (что, увы, в женских стихах почти неизбежно) холодноватыми духами Ахматовой» (1928). Изданный в 1914 г. (М., изд. А. С. Балашова) сборник романсов, исполнявшихся Варей Паниной, носил название: «Резвился ликующий мир». Среди переписанных Блоком в Дневник 1920 г. романсов один был со словами: «В моей душе растет гроза, / Растет, бушуя и ликуя!» В антологии переводов И. Северянина «Поэты Эстонии» (1929) был помещен перевод стихотворения «Летом» Ю. Кундера (1852—1888) с заключительными строками: «В слезах восторга пой красу / И радуйся, ликуй душой!»

...достаточно одного прилагательного, поставленного, ради красоты, позади существительного, чтобы извести лучшее воспоминание. — Ранее Набоков уже делал замечание по поводу неприемлемого для него порядка слов: «“стихотворенье в прозе”, — очень, кстати сказать, незамысловатая штука: вместо “твои руки” ставишь “руки твои” и вместо “весенняя ночь” — “ночь весенняя”). Авторами этих оригинальных произведений были обыкновенно дамы — или очень юные гимназисты» («Бенедикт Дукельский. Сонеты», 1926). В «Даре» (гл. 2) затем мелькнет некто Крон, написавший длинный рассказ «о романтическом приключении в городе стооком, под небесами чуждыми: ради красоты эпитеты были поставлены позади существительных, глаголы тоже куда-то улетали».

...тянулась вверх... — В газете: «потянулась вверх».

параллакс — (от *греч.* parallaxis — «уклонение») кажущееся изменение в положении объекта, вызванное переменой позиции наблюдателя.

К. Р. — литературный псевдоним великого князя Константина Константиновича Романова (1858—1915). Неоднократно издавались его стихи, последнее собрание — в трех томах («Стихотворения 1879—1912», СПб., 1912—1915). Более 60 стихотворений положено на музыку, многие вошли в популярные песенники. Учитывая шекспировские мотивы в рассказе, укажем, что К. Р. принадлежит перевод «Гамлета» на русский язык.

...Блок — вредным евреем, пишущим футуристические сонеты об умирающих лебедях... — В журнале Тенишевского училища «Юная мысль» (№ 5. 1915) было опубликовано стихотворение М. Файнберга «Умирающий лебедь». Другой объект набоковской пародии — стихотворение «Лебедь» (1895), принадлежащее К. Д. Бальмонту (1867—1942). На музыку его положили Г. П. Базилевский (романс в сопр. скрипки, М., ц. р. 1905) и С. И. Танеев (мужской хор без сопр.); несколько композиторов создали мелодекламации, которые пользовались популярностью на эстраде (муз. Вильбушевича, Кувардина, Лауба, Толоконникова):

Это плачет лебедь умирающий,
Он с своим прошедшим говорит,
А на небе вечер догорающий
И горит, и не горит.

...и лиловых ликерах. — «Лиловый ликер» — дословный перевод названия поэтического сборника «эгофутуриста» Игоря Северянина (Лотарева, 1887—1941) «Crême de Violettes» (Юрьев: Одамес, 1919). О весне 1916 г. в Петербурге Набоков писал, что в те дни «даже Северянин казался поэтом» («Другие берега», гл. 11 (2)), и позже мнения о коллеге не изменил: «...вместо того, чтобы “увидеть” эти гелиотроповые бунинские молнии (замечательный оттенок лилового!)... [Эйснер] ни с того ни с сего вспоминает Игоря Северянина» («На красных лапках», 1930). Впрочем, в юности сам Набоков страдал в поэзии расположенностью к лиловой гамме; см. в первом сборнике: «В жасмине прячут орхидеи / Свои лиловые цветы... / По узкой розовой аллее / Идешь ко мне навстречу ты» («Стихи», Петроград, 1916. С. 8).

...стихотворение бедного Луи Буйе (...) я придирался к звучнейшей строфе, где, назвав свою страсть смычком, автор сравнивает свою подругу с гитарой. — Луи Буйе (Louis Bouilhet, 1822—1869) — французский поэт и драматург, одноклассник и друг Гюстава Флобера. Поэтический сборник Буйе «Fossiles» (1856) привлек внимание благодаря предпринятой в нем попытке сделать науку предметом поэзии. Его первая пьеса «Мадам де Монтарси» (1856) игралась 78 вечеров в «Одеоне», однако последующие постановки прошли почти незамеченными. После смерти Буйе Флобер выпустил неизданные стихи поэта отдельным сборником (1872) со своим предисловием.

Здесь Набоков пересказывает близко к тексту четвертую строфу стихотворения Луи Буйе «Женщине» («A une Femme») из сборника «Гирлянды и астрагалы» («Festons et Astragales»):

Даже в самые лучшие твои дни ты никогда не была
простым инструментом под моим победоносным смычком,
и, как мотив, глухо звучащий в деревяшке гитары,
я петь дал своей мечте в сердце твоем пустом.

(Цит. по: «Oeuvres de Louis Bouilhet». Paris, Librairie Alphonse Lemerre. Б. г. P. 34. Перевод комм.)

«...Ольга, облокотясь, пела роскошным контральто» (...) А как я лелеял отзвук той цыганщины, которая склоняла Катю к пению, меня к сочинению стихов... — См. в «Память, говори» (гл. 11 (4)): «Соловьи заливались трелями, и в сосновой роще солнце, садясь, раскидывало по стволам пронзительно красные, разновысокие пятна. Казалось, на темном мху лежит, еще подрагивая, цыганский бубен. Какой-то миг последние ноты хрипловатого контральто влеклись за мною сквозь сумерки. Когда тишина вернулась, первое мое стихотворение было готово». В мемуарах Набоков признавался, что в первых его стихах «хуже всего были постыдные поскребыши из "цыганского" пошиба лирики, принадлежавшей Апухтину и Великому Князю Константину. Меня ими старательно закармливала молодая и довольно симпатичная тетушка...» (гл. 11 (5)). Под «симпатичной тетушкой» скрывается Екатерина Дмитриевна Данзас (1876 — не ранее 1949), она же «милая рыжеволосая тетя» из «Защиты Лужина».

С. 623—624. ...цыганщина уже ненастоящая... даже не григорьевская муза... — У А. А. Григорьева (1822—1864) вышел единственный прижизненный сборник «Стихотворения Аполлона Григорьева» (СПб., 1846). Увлечение Григорьева русской народной песней и городским романсом отразилось в ряде его стихов, которые он сам исполнял под гитару. Несколько произведений Григорьева приобрели известность в качестве «цыганских песен», например романс «Любовь цыганки» А. Дюбюка или отрывок из стихотворения «Цыганская венгерка», вошедший в репертуар цыганских хоров.

С. 624. ...в очередном припадке провидения, Блок записал какие помнил слова романсов, точно торопясь спасти хоть это... — Речь идет о Дневнике А. Блока 1920 г., куда тот переписал 7 ноября свои любимые романсы из «Полного сборника романсов и песен в исполнении А. Д. Вяльцевой, В. Паниной, М. А. Каринской», а днем спустя добавил отдельные отрывки, которые «запомнились наизусть» (запись впервые опубликована П. Н. Медведевым в 1928 г.).

...низко склонясь над прудом, дремлют ивы... — цитата из песни «Дремлют плакучие ивы» (муз. Б. Барона, сл. А. Тимофеева) из репертуара В. В. Паниной, чья смерть в 1911 г. от болезни сердца вызвала резонанс в российской прессе:

Дремлют плакучие ивы,
Низко склонясь над ручьем.
Струйки бегут торопливо,
Шепчут во мраке ночном.

(Цит. по: «Гори, гори, моя звезда». Старинный русский романс. М., 1998. С. 62.) В изданном в 1916 г. сборнике Набокова «Стихи» одно из стихотворений начинается: «Ивы тихо плакали... В озеро туманное / Вечер уронил кровавое кольцо».

...и страстно рыдает соловушка в сирени, и встает луна... — Общее место: см., к примеру, в стихотворении тенишевца Александра Розенберга (р. 1900) из журнала «Юная мысль»: «Месяц нам путь осветит / Споет соловей серенаду» (№ 7. 1916. С. 22). В контексте рассказа вероятна отсылка к стихотворению К. Р. «Растворил я окно — стало грустно невмочь...» из сборника «Стихотворения» (СПб., 1886), положенного на музыку П. Чайковским:

Где родной соловей песнь родную поет
И, не зная земных огорчений,
Заливается целую ночь напролет
Над душистою веткой сирени.

(Цит. по: «Песни русских поэтов». В двух томах. Л., 1988. Т. 2. С. 254.) Обыгрываются также строки из популярного романса «Белая акация»: «Тихо разносится / Песнь соловьиная / В бледном сверканьи, / Сверканьи луны» (Нот. изд. Сл. Волин-Вольского (Тодди). 1909. Репертуар Е. А. Сергеевой).

...память — этот злой властелин ложноцыганской романтики... — Набоков цитирует слова из романса «Ямщик, не гони лошадей»: «Но память, мой злой властелин, / Все будит минувшее вновь!» (Нот. изд. Муз. Я. Л. Фельдмана. Пг., Н. Х. Давингоф. Б. г. (после 1915). Автор сл. — Н. А. Риттер). (Благодарю Омри Ронена, указавшего мне источник. — *Ю. Л.*)

...летом гостил в Глинском... — Вымышленный топоним, скорее всего, происходит от характерного цвета земли в имениях Набоковых, особенно явного на глинистой породы склонах рек; путь из Выры в Рождествено по другую сторону реки Оредежь автор «Других берегов» называет «красноватой дорогой» (гл. 1 (4)).

...и это солнце, и земляника, и Катино чесучевое платье, потемневшее под мышками... — «...нас упоительно обволокло молодое лето, и вот — вижу ее [Тамару], привставшую на цыпочки, чтобы потянуть книзу ветку черемухи со сморщенными ягодами... и от ее веселых усилий на жарком солнце расплывается темное пятно по желтой чесуче платья под ее поднятой рукой» («Другие берега», гл. 11 (2)).

С. 625. ...беспомощные отголоски недавно прочитанного: Souvenir, Souvenir, que me veux-tu? L'automne... — Цитируется первая строка (*букв.*: «Память, память, что ты от меня хочешь? Осень...») из стихотворения «Nevermore» («Никогда вовеки») из цикла «Меланхолия» (1865) французского поэта Поля Верлена (1844–1896),

ставшего особенно популярным в России в 1910-х гг. стараниями символистов:

Зачем ты вновь меня томишь, воспоминанье?
Осенний день хранил печальное молчанье,
И ворон несся вдаль, и бледное сиянье
Ложилось на леса в их желтом одеянье.

(Перевод Ф. Сологуба. Цит. по: «Французская поэзия: от Вийона до Аполлинера», СПб., 1998. С. 367.)

А по вечерам, на веранде, из... пасти граммофона вырывалась... цыганская страсть... — «На веранде, где собрались наши родственники и знакомые, из его [фонографа] медной трубы изливались цыганские романсы, столь любимые моим поколением» («Память, говори», гл. 11 (4)).

...на мотив «Спрятался месяц за тучку»... — злободневная переделка романса, который начинается:

Спрятался месяц за тучку.
В небе не хочет гулять!
Дайте же мне вашу ручку
К пылкому сердцу прижать.

(Опубл. в: «Привет Москве». Сборник песен. СПб., Изд. книгопродавца Т. Ф. Кузина, 1892. Цит. по: «Русский романс на рубеже веков». Сост. В. Мордерер, М. Петровский. Киев, 1997. С. 288.)

...с февраля «страной правило Временное Правительство»... — В классном журнале 16-го семестра Тенишевского училища сохранилась любопытная запись за понедельник 27 февраля второго полугодия 1916/17 уч. г.: поверх расписания и вместо ежедневных помет на развороте рука дежурного крупно вывела пером: РЕВОЛЮЦIЯ.

С. 627. ...среди оброненных, едва зримых на снегу, белых книжечек стихов. — Ср.: «...у меня была с собой целая кипа беленьких книжечек стихов со всей гаммой тогдашних заглавий, то есть от простецкого “Ноктюрна” до изысканного “Пороша”» («Другие берега», гл. 11 (3)).

...слабость к титулованным стихам... — См. прим. к с. 623.

...пробиваясь сквозь... контроль... — В газете: «снова пробиваясь сквозь... контроль».

...неподвижно лежать... — В газете: «недвижно лежать».

С. 628. ...мы встретились на Почтамтской... а на углу бульвара... — Расположенная недалеко от дома Набоковых в Петербурге, улица проходит от Исаакиевской площади до Конногвардейского переулка. Ошибочно принимая переулок за бульвар, Набоков уточнил в английской версии его название — Конногвардейский.

В искаженном мире «Приглашения на казнь» Почтамтская превращается в Телеграфную улицу.

Когда, слезами обливаясь, ее лобзая вновь и вновь, шептал я, с милой расставаясь, прощай, прощай, моя любовь. Прощай, прощай, моя отрада, моя тоска, моя мечта, мы по тропам заглохшим сада уж не пройдемся никогда... — По-видимому, собственная стилизация Набокова, пастиш из нескольких романсов вроде «Прости, прости! Настало время, / Расстаться должно нам с тобой 〈...〉 О, дай усталой головою / Еще на грудь твою прилечь, / В последний раз облить слезами / И шелк волос, и мрамор плеч» (старинный городской романс «Расстаться должно») и «Мы долго бродили по саду, / Смеялись, болтали, шутили. / И нам навевало отраду, / Когда мы друг друга любили» («Спускалась ночная прохлада». Муз. и сл. С. Садовникова).

С. 629. ...с именами двух изменниц на устах — Россия, Ольга, — доблестно погибнуть от пули чернокудрого комиссара. — Можно лишь предполагать, была ли к 1933 г. Набокову известна (как заставляет то думать красноречивый «чернокудрый комиссар») хотя бы в общих чертах дальнейшая судьба его первой любви Валентины Шульгиной, но в 1921 г. Шульгина действительно «изменила» Набокову, выйдя замуж за комиссара Митрофана Константиновича Чернышева (1892–1936). Умерла В. Е. Шульгина в Кишиневе в 1967 г.

«Увидев почерк мой, Вы, верно, удивитесь...» — слегка измененная цитата из стихотворения А. Апухтина «Письмо» (1882): «Увидя почерк мой, Вы, верно, удивитесь...», написанного от лица дамы. В юности Набоков стал обладателем «великолепного кастета», выигранного им весной 1914 г. у домашнего учителя, утверждавшего, что с этой строчки начинается письмо Татьяны в «Евгении Онегине» («Другие берега», гл. 8 (5)). Спустя три года после создания «Письма» Апухтин смоделировал «Ответ на письмо» от лица мужчины. Структура «Адмиралтейской Иглы» вторит апухтинской конструкции: оба стихотворения повествователи начинают с официального обращения на «Вы», переходя в заключительном отрывке на интимное «ты».

Увидя почерк мой, Вы, верно, удивитесь:
Я никогда Вам не писал,
Я и теперь не заслужу похвал,
Но Вы за правду не сердитесь!
Письмо мое — упрек. От берегов Невы
Один приятель пишет мне, что Вы
Свое письмо распространили в свете.
Скажите — для чего? Ужели толки эти
О том, что было так давно
На дне души погребено,
Вам кажутся уместны и приличны?

На вечере одном был ужин симпатичный,
Там неизвестный мне толстяк
Читал его на память, кое-как...
И все потешилися вволю
Над Вашим пламенным письмом!.. 〈...〉

...«Здесь море ждет тебя, широкое как страсть, и страсть, широкая как море...» — строки из «Ответа на письмо» (1885) А. Апухтина. Метафора «страсть, широкая как море» является, в свою очередь, отзвуком стихотворения А. К. Толстого «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...»: «Мою любовь, широкую как море...»

гиль — вздор, чепуха.

Королек. Впервые: Последние новости. 23, 24 июля 1933. В предисловии к переводу рассказа для сборника «A Russian Beauty and Other Stories» (до этого, в апреле 1973 г., перевод появился на страницах журнала «Вог») Набоков объяснял: «"Королек" писался в Берлине, на сосновых берегах Груневальдского озера, летом 1933 года. ...Королек является или считается русским жаргонным термином для обозначения фальшивомонетчика». Для названия английской версии рассказа Набоков воспользовался советом профессора Стивена Паркера, предложившего соответствующее слово из американского сленга: «The Leonardo», на котором, по словам Набокова, «очаровательно поблескивает царственный золотой песок имени почтенного мастера».

С. 630. ...лицо Антона с темными усами, подстриженными трапецией. — Мода среди немцев 1930-х гг.: «под фюрера». Как написал сам Набоков в предисловии к переводу рассказа, «нелепая и зловещая тень Гитлера уже надвигалась на Германию, когда моему вооображенню представились эти двое скотов с моим бедным Романтовским».

С. 632. Выяснились... причуды... — В газете: «Выяснялись... причуды».

...с полым... стерженьком... — В газете: «с полным стерженьком».

С. 633. ...тополек был уже не больше игрушечных деревец, таких валких, из крашеной ваты, на зеленых круглых подставках. Дом из пыльного картона... — Ср. с театрализацией в финале «Приглашения на казнь» (1938): «Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за рвущиеся сетки неба... Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи...»

...с отхожим местом взамен мозга... — В газете: «с отхожим местом взамен души и общим местом взамен мозга».

С. 634. ...косясь на вздутый подъем ноги... — В газете: «косясь то на морковный ее затылок, то на вздутый подъем ноги».

С. 635. ...нащупать ушко, за которое можно было бы его вытянуть. — Как проясняет английский вариант, речь здесь идет об извлечении кролика из шляпы фокусника.

С. 636. ...споткнувшись... — В газете: «спотыкнувшись».

Пешеход... — В газете: «Пешеход в котелке...»

С. 637. Он шагал, по привычке взлетая... еще, пожалуй, улетит. — Весь пассаж выглядит наброском к сцене убийства Гумбертом Куильти, написанной много лет спустя: «Следующая моя пуля угодила ему в бок, и он стал подыматься с табурета все выше и выше... на феноменальную высоту, или так казалось...» («Лолита», ч. II, гл. 35).

...чтобы глумиться... — В газете: «чтобы поглумиться».

Круг. Впервые: Последние новости. 11, 12 марта 1934. Написан в середине февраля. Гонорар за первую публикацию (которая состоялась под названием «Рассказ») был относительно высок — 82,53 марки (для справки: за рассказ «Оповещение», опубликованный «Последними новостями» месяц спустя, Набокову заплатили только 43 марки) (*B90.* P. 417). Думая в 1939 г. над продолжением «Дара», Набоков планировал опубликовать рассказ в качестве «Приложения № 1» к отдельному изданию романа. Для английского перевода автор снабдил текст предысторией, в которой создание «Круга» ошибочно связал с заключительным этапом работы над романом: «К середине 1936 года, незадолго перед тем, как навсегда покинуть Берлин и уже во Франции закончить "Дар", я написал уже, наверное, четыре пятых последней его главы, когда от основной массы романа вдруг отделился маленький спутник и стал вокруг него вращаться. Психологической причиной этого выделения могло быть упоминание Таниного ребенка в письме ее брата или воспоминание о сельском учителе, мелькнувшее в его роковом сне. В композиционном отношении круг, описываемый этим довеском (последнее предложение в нем, по существу, предшествует первому), относится к тому же типу — змея, кусающая собственный хвост, — что и круговая структура четвертой главы в "Даре" (или, если угодно, "Поминок по Финнегану", появившихся позже). Не обязательно знать сам роман, чтобы испытать восхищение от довеска — у него есть своя орбита и своя расцветка пламени, но кое-какую практическую помощь читателю могут оказать следующие сведения. Действие "Дара" начинается 1 апреля 1926 года, а кончается 26 июня 1929-го, охватывая три года из жизни Федора Годунова-Чердынцева, молодого эмигранта в Берлине. Сестра его выходит замуж

в Париже в конце 1926 года, а ее дочь рождается три года спустя, так что в июне 1936-го ей только семь лет, а не “около десяти”, как разрешается предположить (пока не видит автор) учительскому сыну Иннокентию, когда он в “Круге” посещает Париж. У читателя же, знакомого с романом, рассказ создаст упоительное впечатление непрямого узнавания, смещенных теней, обогащающихся новым смыслом, — благодаря тому, что мир увиден не глазами Федора, а взглядом постороннего человека, близкого не столько ему, сколько радикалам-идеалистам старой России (которым, к слову сказать, суждено было так же ненавидеть большевистскую тиранию, как и либералам-аристократам» (перевод Г. А. Левинтона). Ошибочная дата написания: 1936 — указана и в сборнике «Весна в Фиальте». Дополнительное «смещение» возникает у читателя, знакомого с автобиографической прозой Набокова, из которой явствует, например, что прототипом Ильи Ильича Бычкова в «Круге» стал деревенский учитель Василий Мартынович Жерносеков (как выглядел подлинный Бычков-Жерносеков, можно увидеть на репродукции в: «Тень русской ветки (набоковская Выра)». Сост. А. А. Семочкин. СПб.: Лига-Плюс, 1999). Перевод с незначительными изменениями, коснувшимися, в частности, датировки в рассказе, был осуществлен для сборника 1973 г. «Russian Beauty and Other Stories».

С. 639. ...можно было оглохнуть... — В газете: «можно оглохнуть».

...в пышном черном галстуке бантом, в чесучовом пиджаке... лицо красноватое, голова лысая... мягкие усы, и мясистая бородавка у носа... — Портрет Василия Мартыновича: «У него было толстовского типа широконосое лицо, пушистая плешь, русые усы и... глаза с небольшим интересным наростом на одном веке... Он носил черный галстук, повязанный либеральным бантом, и люстриновый пиджак» («Другие берега», гл. 1 (4)).

...Лешино... — В газете: Воскресенск.

С. 640. ...отец был выпутан «нашим барином» из мелкой, но прилипчивой политической истории... — Без существенных дополнительных деталей эпизод воспроизводится в «Других берегах» (гл. 1 (4)): «Он был, как говорили мои тетки, шипением своего ужаса, как кипятком, ошпаривая человека, “красный”; мой отец его вытащил из какой-то политической истории (а потом, при Ленине, его, по слухам, расстреляли за эсэрство)».

...в честь Годунова-Чердынцева названы были новые виды фазана, антилопы, рододендрона, и даже целый горный хребет... — «...другие натуралисты именем его называли: кто паука, кто рододендрон, кто горный хребет...» («Дар», гл. 2). Там же фигурирует одно из названий — бабочка *orpheus Godunov.*

...описывал главным образом насекомых. — В газете: «описывал только насекомых».

...«лоб-норские козявки»... — Лоб-Нор — бессточное озеро в Центральной Азии на территории Синьцзяна (Китай), которое исследовал Н. М. Пржевальский в 1876 г. Воплощаясь в своего отца — путешественника и естествоиспытателя, про которого недоброжелатели говорят, что он занят «азиатскими козявками», Федор пишет: «Исследовав тибетские нагорья, я пошел на Лоб-Нор... Там, в трехсаженных тростниках, мне удалось открыть замечательную полуводяную бабочку с первобытной системой жилок» («Дар», гл. 1).

С. 641. Верный — старое название Алма-Аты.

...лето он провел на кондиции... — то есть в качестве частного учителя.

...в июне следующего года, приехал в Лешино... — В переводе уточняются год и месяц — май 1914-го.

С. 642. ...в теплую пасмурную погоду... — В газете: «в теплую погоду».

...с полоской мутной сопли... — В газете: «с полоской мутных соплей».

С. 643. ...в платье с бертами... — Берта — узкий воротничок; отделка на лифе дамского платья.

...овальность лица в те годы совпадала с понятием женской красоты... — Согласно переводу, речь идет о 1890-х гг.

...стеклянное пресс-папье с перламутровым видом внутри... — Перевод поясняет: с видом Крыма.

...портрет Льва Толстого, всецело составленный из набранного микроскопическим шрифтом «Холстомера». — В мемуарах портрет классика сделан из текста иного рассказа: «Комната Василия Мартыновича... на стене так называемый “типографический” портрет Льва Толстого, то есть портрет, составленный из печатного текста, в данном случае “Хозяина и работника”, целиком пошедшего на изображение автора...» («Другие берега», гл. 8 (1)). Ликвидируя разночтения, поздний английский перевод ограничивается фразой: «текст одного из рассказов Толстого».

...коричневыми прядями... — В газете: «маслянисто-коричневыми прядями».

...жирненький шофер, его веснушки, вельветовая ливрея, оранжевые краги, крахмальный воротничок, подпиравший рыжую складку затылка, который наливался кровью, когда у каретного сарая он заводил машину... — Ср. с параллельным местом в «Даре» (гл. 2): «маленький толстый шофер с рыжим затылком... весь круглый, в вельветиновой ливрее и оранжевых крагах, страшно напрягаясь, дернул, дернул и завел машину...» В газете: «вельветиновая ливрея».

С. 644. ...мешало сложить руки... — В газете: «мешало ему сложить руки».

...по сторонам дороги размашисто двигались косари... «Бог помощь», — сказал Илья Ильич, проходя... — Автобиографическое

воспоминание: «Во время полевых прогулок, завидя косарей, он [Василий Мартынович] сочным баритоном кричал им "Бог помощь!"» («Другие берега», гл. 1 (4)).

Елизавета Павловна. — В газете: Ольга Дмитриевна.

С. 645. ...исполнялось сегодня... — В газете: «исполнилось сегодня».

С. 646. Она страстно любила все летние игры... — Перевод перечисляет игры — «теннис, бадминтон, крокет». В «Даре» (гл. 1): «Вообще смирным играм мы с Таней предпочитали потные — беготню, прятки, сражения».

С. 647. ...на чешском курорте... — Английский вариант дает точные год и название места: Богемия, 1920.

...в 1924 году, что ли, работал... — В газете: «в 1924 году работал».

Шамони — горная долина во Франции, в верхнем течении р. Арв (приток Роны) на высоте более 1000 м.

Федченко Алексей Павлович (1844–1873) — зоолог и путешественник. В 1869–1871 гг. совершил длительную экспедицию в Туркестан, где собрал богатые коллекции. Погиб в Швейцарии при подъеме на одну из горных вершин.

Северцев Николай Алексеевич (1827–1885) — зоолог, исследователь неизвестных областей Туркестана. Умер внезапно от сильного переохлаждения и шока, когда его сани провалились в полынью на р. Дон.

Спик Джон Хэннинг (1827–1864) — английский путешественник, исследователь Гималаев и Центральной Африки; первым из европейцев добрался до Уганды; открыл озеро Виктория. Погиб в результате несчастного случая на охоте.

Дюмон-Дюрвиль Жюль Себастьен Сезар (1790–1842) — французский мореплаватель, исследователь антарктических областей. Погиб в железнодорожной катастрофе.

С. 648. ...стихам о том, как деспот пирует... — аллюзия на революционную песню неизвестного автора «Вы жертвою пали...»:

А деспот пирует в роскошном дворце,
Тревогу вином заливая,
Но грозные буквы давно на стене
Чертит уж рука роковая!

...кто-то проезжий вдруг требует у библиотекаря книгу, не выдававшуюся двадцать лет. — Поздняя корректировка календаря рассказа коснулась и этого места — двадцать лет превращаются в английском варианте в двадцать два года. Таким образом, Набоков, не установивший точной даты эмигрантской публикации, исходил из того, что рассказ написан в 1936 г., тогда как именно первоначальное число относит действие «Круга» к искомому 1914 г.

Памяти Л. И. Шигаева. Впервые: Иллюстрированная жизнь. 27 сентября 1934. Написан в первой половине апреля того же года. Долгое время исследователи затруднялись установить место первой публикации. Сам Набоков полагал в конце жизни, что рассказ написан им в начале 1934 г. и напечатан в «Последних новостях»: «В то время мы с женой и ее двоюродной сестрой Анной Фейгиной делили вместе принадлежавшую кузине чудную квартирку в угловом доме на Несторштрассе (дом 22) в Берлине, Груневальд (где были сочинены “Приглашение на казнь” и большая часть “Дара”). Довольно привлекательные маленькие чертята в рассказе принадлежат подвиду, тогда впервые описанному» (Комментарий 1975 г. к переводу для сборника «Tyrants Destroyed and Other Stories»). Воплощенная в рассказе смесь пародии и лирической эпитафии есть в некотором роде продукт подлинного печального опыта: к тому времени Набокову уже пришлось быть автором двух некрологов, и в течение следующего десятилетия написать еще два. Определенную загадку представляет фамилия главного героя. Принимая во внимание пушкинские мотивы в рассказе, напомним, что она фигурирует в «Истории Пугачева», согласно которой Шигаева, как сообщника бунтаря, приговорили к виселице (А. С. Пушкин. Полное собр. соч. в 10 т., М., 1964. С. 270). Слитное прочтение инициалов и фамилии («Лишигаев»), с одной стороны, наводит на мысль о пресловутом «лишнем» человеке русской литературы, с другой — ассоциируется с Шигалевым из «Бесов» Ф. М. Достоевского (анаграммой которого является), точной, как тип русского радикала, его противоположности. Из реальных носителей фамилии — набоковских современников — укажем на проживавшую в начале столетия по адресу ул. Моховая, 22, неподалеку от Тенишевского училища, вдову Александру Константиновну Шигаеву.

С. 648. Умер Леонид Иванович Шигаев... — Схожее начало в рассказе И. Бунина «Алексей Алексеич», опубликованном в Париже в 1927 г.: «Нелепая, неправдоподобная весть: Алексей Алексеич умер!» (*S99.* P. 257). Второй абзац некролога «Памяти Ю. И. Айхенвальда» (1928) начинается: «Умер Юлий Исаевич Айхенвальд»; там же: «Недоумение, нелепость, чувство какого-то потрясающего внутреннего несовпадения...» (см. том II наст. издания).

С. 648—649. Общепринятое некрологическое многоточие изображает, должно быть, следы на цыпочках ушедших слов ⟨...⟩ Мы познакомились с ним лет одиннадцать тому назад, в ужасный для меня год. — Ср.: «Как ни противны мне всякие “личные вступления” (и жеманство виноватых кавычек), однако считаю непременным своим долгом сказать о той помощи, которую мне оказал А. М. лет одиннадцать-двенадцать тому назад» («Памяти А. М. Черного», см. с. 703).

С. 650. ...комнатку, которую я снимал за двадцать пять марок в месяц... — В английском варианте Набоков переводит стоимость аренды в американскую валюту, и она оказывается равна пяти долларам. Герой романа «Король, дама, валет» (1928) Франц платит за свое берлинское помещение в два раза больше (гл. 3).

С. 651. ...черные, с одутловатыми, довольно, впрочем, добродушными, мордочками, они... сидели... на томе Пушкина... — Кроме текстов (в первую очередь «Сказки о попе и о работнике его Балде») косвенным толчком к рождению и визуальному ряду образа для Набокова могли стать так называемые «адские рисунки» Пушкина. Рассказ написан вскоре после повторного и расширенного издания монографии А. М. Эфроса о графике Пушкина «Рисунки поэта» (Л., «Академия», 1933). Явная связь с чернилами подтверждает генезис набоковских чертей в пушкинских рисунках (Подробнее: Ю. Левинг. Узор вечности: Пушкин-график и Набоков-художник // Доклады международной научной конференции. А. С. Пушкин и В. В. Набоков (Институт русской литературы, Пушкинский дом, РАН, 2000).

С. 652. ...бульон «магги». — «Магги» — отделение швейцарского концерна «Нестле» (осн. в 1866), занимающееся изготовлением пищевых концентратов, в том числе бульонов и соусов.

С. 653. Он умел готовить ботвинью. — В. Даль перечисляет составляющие рецепта: «Холодная похлебка на квасу из отварной ботвы [т. е. зеленых листьев свеклы], луку, огурцов, рыбы» (Толковый словарь. Т. 1).

...вид на Неву из-за ростральной колонны... — Две ростральные (от ростра — украшения в виде носовой части судна) колонны, увенчанные чашами на треножниках, расположены перед зданием Биржи на Стрелке Васильевского острова. Выбор ностальгической картинки может быть не случаен: как свидетельствует телефонный справочник «Весь Петербург» за 1913 г., на Васильевском острове проживал некто Леонид Алексеевич Шигалев.

рубинштейновская опера — опера «Демон» (1871) композитора А. Г. Рубинштейна (1829–1894) на сюжет одноименной поэмы М. Ю. Лермонтова.

...все это дела минувших дней... — Комизм ситуации в том, что, силясь вспомнить что-либо из Лермонтова, Шигаев цитирует первые (и последние) строки пушкинской поэмы «Руслан и Людмила» (1820): «Дела давно минувших дней, / Преданья старины глубокой».

С. 654. ...о своем брате Василии... — в переводе «Петр».

...время он проводил в чтении «Экономической Жизни»... — «Die Ökonomische Welt» в английской версии. Шигалев у Достоевского посвятил свою «энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества» («Бесы», гл. 2 (7)).

С. 655. ...он уезжал... близорукая еврейская барышня... — Ср. с написанным позже: «Скоро я уехал из Парижа, и мое последнее воспоминание: маленькая темная фигура Амалии Осиповны на платформе: поехала меня провожать» (В. Сирин. Из сборника «Памяти А. О. Фондаминской», Париж, 1937. Цит. по: Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 8. Публ. и прим. Е. Б. Белодубровского).

Думал ли я, что вижу его в последний раз? — Аналогичная мысль сформулирована в некрологе 1943 г., в котором И. В. Гессен (1866–1943), подобно покойному Шигаеву, назван по инициалам, с той разницей, что ситуация расставания перевернута: «Весной 1940 года, перед отъездом сюда [в Америку], я прощался с И. В. на черной парижской улице, стараясь унять мучительную мысль, что он очень стар, в Америку не собирается — и что, значит, я никогда больше не увижу его» (Памяти И. В. Гессена // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 10. Публ. и прим. О. Сконечной).

Ю. Левинг

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихотворения из сборников печатаются по тексту этих сборников, но располагаются в порядке их первых публикаций. Стихотворения, не вошедшие в прижизненные сборники, печатаются по первым публикациям. Под стихами мы указываем, когда она известна, дату написания, опираясь на авторскую хронологию, данную в *Н79*, с уточнениями М. Джулиара (M. Juliar. Nabokov: A Descriptive Bibliography. New York and London: Garland, 1986), Б. Бойда (B. Boyd. Nabokov's Russian Poems: A Chronology // The Nabokovian. № 21. Fall 1988. P. 13–28) и Д. Бартона Джонсона (D. Barton Johnson, Wayne C. Wilson. Alphabetic and Chronological Lists of Nabokov's Poetry // Russian Literature Triquarterly. № 24, Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1991. P. 355–415).

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА «СТИХОТВОРЕНИЯ 1929–1951»

Сборник вышел в Париже (издательство «Рифма») в 1952 г., состоит из 15 русских стихотворений (позже все они были включены в *Н70*), написанных, как отмечает Набоков в предисловии, в Германии, Франции и Америке в 1929–1951 гг. Часть их, представленная в настоящем томе, написана, по словам автора, так,

чтобы «каждое стихотворение имело сюжет и изложение (это было как бы реакцией против унылой, худосочной “парижской школы” эмигрантской поэзии)» (*Н70.* С. 13–14. Русский перевод цитируется по Предисловию В. Набоковой к *Н79.* С. vii).

С. 659. **Вечер на пустыре** (*«Вдохновенье, розовое небо...»).* Впервые без названия в: Последние новости. 31 июля 1932. Под названием «Вечер на пустыре» вкл. также в *Н70, Н79.* Английский перевод в *Н70* с посвящением «In memory of V. D. N.», а в *Н79* с примечанием «Посвящено Владимиру Дмитриевичу Набокову». Вера Набокова отмечает, что это раннее стихотворение ближе по типу к последнему периоду поэтического творчества Набокова, охарактеризованного им как «внезапное освобождение от ⟨...⟩ оков, выразившееся в уменьшении продукции и в запоздалом открытии твердого стиля» (В. Набокова. Предисловие // *Н79.* С. vii). В газете текст стихотворения разделен на четыре части, пронумерованные арабскими цифрами (в сборнике, а также в *Н70* и *Н79* части отделены пробелами). Каждая из частей разделена на строфы: первая часть — 4 + 4 + 4 + 5 + 4 + 4; вторая часть — 4 + 5 + 4; третья часть — 4 + 4 + 4 + 4 + 4; четвертая часть — 4 + 4 + 4.

...что двинулась и заскользила... — В газете: «...что тронулась и заскользила».

С. 661. **Как я люблю тебя** (*«Такой зеленый, серый, то есть...»).* Впервые: Последние новости. 3 мая 1934, без названия и трех последних строф. Вкл. в *Н70* и *Н79.* В газете текст разделен на три части, пронумерованные римскими цифрами (что соответствует пробелам в сборнике и в *Н70* и *Н79*). Каждая из частей разделена на строфы: первая часть — 4 + 4 + 4; вторая часть — 4 + 4; третья часть — 5 + 6. Последняя строка: «...пластом на плесени ствола». Весь последующий текст стихотворения в сборнике и в *Н70* разделен пробелами на три части, а в *Н79* — на две (отсутствует пробел после строки: «Лучи проходят меж стволами»). В газете, сборнике и *Н70* — «с накаченными облаками», а в *Н79* — «с накачанными облаками».

С. 662. **L'Inconnue de la Seine** (*«Торопя этой жизни развязку...»).* Впервые без названия в: Последние новости. 28 июня 1934, с подзаголовком «Из Ф. Г. Ч.», т. е., видимо, из Федора Годунова-Чердынцева — это имя Набоков впоследствии дал герою романа «Дар» (1937–1938, 1952). В настоящем сборнике, а также в *Н70* и *Н79* под названием «L'Inconnue de la Seine». Под стихотворением в сборнике стоит ошибочная дата написания: 1936, четвертая и пятая строфы объединены, тогда как в газете и в *Н70* и *Н79* все строфы отделены пробелами.

«Незнакомка из Сены» — маска, снятая, очевидно, с неизвестной молодой девушки, утонувшей в Сене в 1860-х гг., ставшая модным элементом украшения интерьера в Париже и Берлине 1920-х гг., упоминается Набоковым как «неизбежная» в рассказе «Тяжелый дым» (1935). Д. Б. Джонсон указывает на многочисленные отражения этого образа в литературе, из, возможно, известных Набокову назовем одноименное стихотворение Ж. Сюпервьеля (1931), с которым Набоков дружил в Париже и чьи стихи переводил (переводы не опубликованы), и немецкий роман — бестселлер весны 1934 г. — «Die Unbekannte» Рейнхольда Конрада Мушлера (Reinhold Conrad Muschler) (D. B. Johnson «L'Inconnue de la Seine» and Nabokov's Naiads // Comparative Literature. 44. № 1 (Summer 1992). P. 225–248).

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА «POEMS AND PROBLEMS»

Сборник «Poems and Problems» («Стихи и задачи») вышел в издательстве McGraw-Hill (New York, Toronto) в 1970 г., включает 39 русских стихотворений с параллельными авторскими переводами на английский язык, 14 английских стихотворений (все ранее были включены в сб. «Poems». Garden City, New York: Doubleday, 1959) и 18 шахматных задач с решениями. В предисловии Набоков «отказывается извиняться» за включение шахматных задач, «поэзии шахмат», мотивируя это тем, что «шахматные задачи требуют от сочинителя тех же достоинств, что любое стоящее творчество: оригинальности, изобретательности и блестящего отсутствия искренности» (*Н70.* С. 15. Перевод комм.).

С. 664. **Формула.** Впервые: Руль. 5 апреля 1931. Вкл. в *Н79.* *алембик* — стеклянный перегонный куб небольшого размера.

С. 665. **Безумец.** Впервые: Последние новости. 29 января 1933. Вкл. в *Н79.*

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

С. 666. **Представление.** Впервые: Россия и славянство (Париж). № 100. 25 октября 1930. Вкл. в *Н79.*

С. 667. **Из Калмбрудовой поэмы «Ночное путешествие»** (Vivian Calmbrood. «The Night Journey»). Впервые: Руль. 5 июля 1931. Тогда же Набоков прочел этот перевод-мистификацию в берлин-

ском Клубе поэтов, предварив ее подробностями вымышленной биографии Калмбруда (*В90.* P. 371). Вкл. в *Н79.* Vivivan Calmbrood — анаграмма Vladimir Nabokov (под этим псевдонимом опубликована также трагедия в стихах «Скитальцы» (1923)).

...с молодым Вордсвортом... его стихам вредит вода... — Уильям Вордсворт (1770—1850) — английский поэт-романтик, представитель «озерной школы». Набоков обыгрывает его связь с озером и в «Бледном пламени» (строки 41—48). Отсылка к Вордсворту позволяет определить время действия (и «написания») поэмы — ок. 1800.

Ювенал (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик.

...как за крапленую статью / побили Джонсона шандалом? — Это стихотворение — один из эпизодов знаменитой литературной войны Набокова и круга «Чисел» (см.: Н. Мельников. «До последней капли чернил...» Владимир Набоков и «Числа» // Литературное обозрение. 1996. № 2. С. 73—82). Здесь — очередной выпад против поэта, прозаика, мемуариста, литературного критика Г. В. Иванова (1894—1958) (английский «перевод» его фамилии — Джонсон), опубликовавшего одиозную рецензию на Сирина (Числа. 1930. Кн. 1. С. 233—236), которая содержала, помимо литературной критики, личные оскорбления («Это знакомый нам от века тип способного, хлесткого пошляка-журналиста ⟨...⟩ он самозванец, кухаркин сын, черная кость, смерд»). В 1931 г. Набоков послал в письмах И. Фондаминскому (Бунакову) и Г. Струве эпиграмму на Г. Иванова, написанную, как Набоков утверждал в 1959 г., в альбом Вл. Ходасевичу (см.: Владимир Набоков. Письма к Глебу Струве // Звезда. 1999. № 4. С. 34):

— Такого нет мошенника второго
Во всей семье журнальных шулеров!
— Кого ты так? — Иванова, Петрова,
Не все ль равно? — Позволь, а кто ж Петров?

К иному критику в немилость / я попадаю оттого... — Вся строфа — шарж на Г. В. Адамовича (1894—1972), одного из ведущих литературных критиков эмиграции, поэта, прозаика, одного из идеологов журнала «Числа» и «парижской ноты». Его критика Набокова, в отличие от случая Г. Иванова, где играли роль личные счеты (см. прим. к рецензии Сирина на роман И. Одоевцевой «Изольда» в томе II наст. издания), носила характер противостояния поэтик. Хотя Набоков и утверждал, что критик «автоматически возражал на все, что я писал» (*Н70.* С. 95), Адамович регулярно рецензировал все его произведения в парижских «Последних новостях», а в своей итоговой книге «Одиночество и свобода» (1955) назвал его исключительно талантливым писателем, добавив в интервью Ю. Иваску в 1960-е гг., что от эмигрантской литературы останутся только проза Набокова и поэзия

Поплавского (Новый журнал (Нью-Йорк). 1979. Кн. 134. С. 98). Набоков, в свою очередь, неявно использовал в своих произведениях идеи, оценки и выражения Адамовича (см.: А. А. Долинин. Плата за проезд. Беглые заметки о генезисе некоторых литературных оценок Набокова // Набоковский вестник. Вып. 1. Петербургские чтения. СПб.: Дорн, 1998. С. 5–15).

...что мне смешна его унылость, / чувствительное кумовство, / суждений томность, слог жеманный, / обиды отзвук постоянный, / а главное — стихи его. — «Дешевую унылость» монпарнасских поэтов Набоков противопоставлял трагической поэзии «Европейской ночи» Ходасевича, «где горечь, гнев, ангелы, зияние гласных — все настоящее, единственное...» (Вл. Сирин. О Ходасевиче // Современные записки. 1939. Кн. LXIX. С. 263). «Чувствительное кумовство» — редакторская нечистоплотность Г. Адамовича и Н. Оцупа в финансировании журнала «Числа», опубликовавшего графоманский роман предпринимателя Александра Бурова (А. П. Бурд-Восходова) «Была земля» (Кн. 3–7/8). Этот сюжет Набоков высмеял в рассказе «Уста к устам». Стихи Адамовича Набоков назвал «совершенно никчемными», отметив, впрочем, что их автор «тонкий, подчас блестящий литературный критик» (В. Сирин. «Современные записки». XXXVII; см. том I наст. издания) — ср. противоположный отзыв о Г. Иванове — «хороший поэт, но грубый критик» (V. Nabokov. Strong Opinions. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 39).

Бедняга! Он скрипит костями, / бренча на лире жестяной... / Он клонится к могильной яме / адамовою головой... — Набоков обыгрывает фамилию Адамовича (ср. в Толковом словаре В. Даля: «Адамова голова, мертвая голова, т. е. человеческий череп; ⟨...⟩ Самый большой сумеречник, бабочка Мертвая голова». Отмечено Д. Мальмстадом в связи с этимологией имени Христофора Мортуса в «Даре», одним из прототипов которого также был Г. Адамович (Переписка В. Ф. Ходасевича (1925–1938). Публ. и комм. Д. Мальмстада // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 3. Париж, 1987. С. 286)). Очевидно, Набоков также имеет в виду одержимость Адамовича и его соратников по «Числам» темой смерти (см.: А. А. Долинин. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар» // *Н97.* С. 710–714).

Ущерб, закат... Петроний новый... — отсылка к модной в эмиграции шпенглерианской теме заката Европы, сумерек цивилизации. Петроний (?–66 н. э.) — римский писатель, автор романа «Сатирикон», изображавшего упадок римских нравов. Набоков, очевидно, имеет в виду как роман Г. В. Иванова «Третий Рим» (Современные записки. 1929. Кн. XXXIX, XL; Числа. 1931. Кн. 2/3), рисовавший «отравленную атмосферу» жизни Петрограда 1916–1917 гг., так и самоубийство Петрония, — ср. у Г. Федотова

уподобление «похоронных настроений» «числовцев» языческой покорности в принятии смерти: «смерть усыпляющая любовница, la belle dame sans mersi[1], Петроний, открывающий жилы в благовонной ванне...» (Г. Федотов. О смерти, культуре и «Числах» // Числа. 1930–1931. Кн. 4. С. 146).

Смотрит он / и отвечает: «Я — Ченстон». — Пушкин опубликовал своего «Скупого рыцаря» (1836) с подзаголовком-мистификацией «Из Ченстоновой трагикомедии “The Covetous Knight”». Набоков подчеркивает пародийность своей мистификации репликой из сцены святочного гадания в «Евгении Онегине»: «Как ваше имя? Смотрит он / И отвечает: Агафон» (5, IX). Принципиален выбор пушкинского источника для розыгрыша Адамовича — идеолога «антипушкинской линии», противопоставлявшей легкости Пушкина трагическую серьезность и простоту Лермонтова.

С. 670. **Пробуждение.** Впервые: Современные записки. 1931. Кн. XLVII. С. 232.

С. 671. **Помплимусу.** Впервые: Современные записки. 1931. Кн. XLVII. С. 233. Вкл. в *Н79.*

Помплимус — грейпфрут. Н. Берберова называет помплимус одним из набоковских «образов-гурий», которые постоянно возникают в его книгах, не утрачивая своей силы и свежести, наряду с такими важными в его художественном мире образами, как влечение пожилого человека к подростку; бабочка, порхающая здесь и там на протяжении трех десятков лет с нетронутой пыльцой на крыльях; символ шахматной игры и пр. (Н. Берберова. Набоков и его «Лолита» // Новый журнал (Нью-Йорк). 1959. Кн. 57. Цит. по: *Н97.* С. 298–299).

Миньону соблазняет апельсин... — Миньона — героиня романа И.-В. Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795), поющая песню:

«Ты знаешь край лимонных рощ в цвету,
где пурпур королька прильнул к листу...»
(Перевод Б. Пастернака)

С. 671. **«Сам треугольный, — двукрылый, безногий...»** Впервые: Последние новости. 8 сентября 1932. Вкл. в *Н79.*

---

[1] Прекрасная дама, не знающая жалости *(фр.).*

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

С. 673. **У. Шекспир. Два отрывка из «Гамлета»** (действие IV, сцена 7; действие V, сцена 1). Впервые: Руль. 19 октября 1930. Печатается по этой публикации. Впоследствии автором не переиздавался.

«Гамлет» на русском языке известен в вольных переделках А. Сумарокова (1748) и С. Висковатова (1811), переводах М. Вронченко (1827), М. Загуляева (1861), П. Гнедича (1891), Д. Аверкиева (1895) и многократно переиздававшихся классических трудах Н. Полевого (1837), К. Р. (1899), А. Соколовского (1894–1898), А. Кронеберга (1844), М. Лозинского (1933), А. Радловой (1937) и Б. Пастернака (1940).

Пелион, Осса — горы в Греции; упоминаются в «Одиссее» Гомера.

С. 676. **У. Шекспир. Гамлет** (действие III, явление 1). Впервые: Руль. 23 ноября 1930. Печатается по этой публикации. Впоследствии автором не переиздавался.

Монолог Гамлета, помимо переводов, перечисленных в предыдущем примечании, также известен в переводе В. Брюсова.

С. 677. **Посвящение к «Фаусту».** *(Из Гёте).* Впервые: Последние новости. 15 декабря 1932. Печатается по этой публикации. Впоследствии автором не переиздавался.

К «Фаусту» обращались многие русские писатели: отрывки поэмы переводились Д. Веневитиновым, С. Шевыревым, А. Грибоедовым, И. Тургеневым, Ф. Тютчевым, К. Аксаковым, Д. Минаевым, А. Фетом, Д. Мережковским, К. Бальмонтом, В. Брюсовым и др. Наиболее известные и многократно переиздававшиеся переводы были сделаны Н. Холодковским (1890) и Б. Пастернаком (1950).

...все настоящее вдали пропало, / а прошлое действительностью стало. — Ср. в «Других берегах» (гл. 3 (8)): «Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с ней паркерово перо в моей руке и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже кажутся мне довольно аляповатым обманом».

М. Маликова

ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

Все тексты печатаются по первым публикациям.

Беатриче В. Л. Пиотровского. Впервые: Россия и славянство. 11 октября 1930.

Владимир Львович Корвин-*Пиотровский* (1901–1966) в 1920-е гг. жил в Берлине, затем перебрался в Париж. Он издал шесть сборников своих стихотворений. Посмертно изданы два тома собрания его сочинений «Поздний гость» (Вашингтон, 1968–1969).

С. 682. Блондэн (Жан-Франсуа Гравле, 1824–1897) — французский акробат, прославившийся тем, что на канате над Ниагарским водопадом он изготовил и съел омлет.

Литературные заметки: О восставших ангелах. Впервые: Руль. 15 октября 1930.

С. 684. Зутнер Берта фон (1843–1914) — немецкая писательница, автор романа «Долой оружие!».

С. 685. Один датский философ... — Речь идет о книге: Christiansen, Broder. Das Gesicht Unserer Zeit. Leipzig, 1929.

С. 686. ...статью Вячеслава Лебедева... — «О красных лапках, дедушкиных портретах и голом короле».

...нельзя «касаться до»... — По поводу слов из стихотворения «Венеция»: «...все касалась / До плеча рукою...» — Лебедев писал: «Девочка касалась просто — "плеча", а не "до плеча"».

...можно не только «трепать что»... — По поводу стихов: «...где крепко треплет свежий, соленый ветер листьями маслин...» из стихотворения «В Сицилии» В. Лебедев писал: «"треплет" листья, а не листьями».

...намек на трепанацию черепа... — По поводу стиха «Девушка с раскрытой головою» из стихотворения «Венеция» В. Лебедев замечал: «Читатель смутно догадывается, что, вероятно, с "непокрытой" головой была девушка, на которой безжалостный поэт произвел трепанацию черепа».

С. 687. ...сумбурного Пастернака... — В своей статье В. Лебедев полемизировал с критикой, «для которой стихи Маяковского и Тихонова не прошлое, а еще неприятное "завтра", а, упаси Боже, Пастернак — это такое отдаленное будущее, которое, может, и не придет совсем».

...последнии — в «Короле Лире»... — реплика Кента (акт I, сц. 4): «А подбить тебя ногой, как мяч, можно?» (Перевод Б. Пастернака.)

...и есть новый, где «бетон»... — Набоков имеет в виду пассаж из статьи В. Лебедева: «Здесь, в эмиграции, мы все еще сторожим дедовские фруктовые сады и на перекладных трясемся

по бетонированным дорогам Запада. ...Изредка, даже здесь, в Европе, вы встречаете за городом, на шоссе, после гудящей вереницы автомобилей вик-энда, дребезжащий тарантасик немудрящего деревенского пастора или ксендза...»

...между Буниным и Тихоновым или Маяковским... — У В. Лебедева: «Между ними — века, революция, крушение надежд и восстание ангелов. Мы уже двенадцать лет вне нормальной литературной жизни».

...от «мещанского граммофона»... — Набоков возвращается к придирке В. Лебедева по поводу стиха Бунина «И соловьи всю ночь поют из теплых гнезд»: «Оказывается, соловьи весной сидят в гнездах и распевают, как граммофон в мещанской квартире».

...малопонятные стихи Божнева... — Из книги «Живое мертвое море».

...бездарнейшему В. Шишкову... — Марк Слоним писал по поводу рассказа В. Шишкова «Бродячий цирк»: «Мы уже говорили на страницах “Воли России”, что Шишкова недооценивает эмигрантская критика».

Анкета о Прусте. Впервые: Числа. 1930. Кн. 1. С. 274.

На анкету «Чисел» отвечал также М. Алданов: «Марселя Пруста я считаю самым замечательным писателем последних десятилетий. Равного ему психолога не было в мировой литературе со времени смерти Л. Н. Толстого (которому он, кстати сказать, многим обязан). ⟨...⟩ Окажет ли Пруст большое влияние на русскую литературу? Не думаю. Во всяком случае, до сих пор он ей вполне чужд».

Молодые поэты. Впервые: Руль. 28 января 1931.

С. 691. «...в колючей яростной щетине»... — В газете, по всей вероятности, опечатка: «в ключевой».

...«le char de l'Etat navigue sur un volcan». — «Колесница государства плывет над вулканом» *(фр.)*. — Сентенция самодовольного и велеречивого буржуа Жозефа Прюдома, персонажа пьес Анри Моннье.

С. 692. Дураков Алексей (1898–1944). Погиб в схватке с фашистами. (См. о нем: И. Н. Голенищев-Кутузов. Поэт, борец, партизан // Голос родины. 1963. № 64.)

Мандельштам Юрий Владимирович (1908–1943) — поэт, автор сборников «Остров» (Париж, 1930), «Верность» (Париж, 1932), «Третий час» (Берлин, 1935), «Годы» (Париж, 1950).

Смоленский Владимир Алексеевич (1901–1962) — автор сборников «Закат» (1931), «Наедине» (1938), «Собрание стихов» (1957), «Стихи 1957–1961» (1962). Далее в рецензии упоминаются Константин Константинович *Халафов* (1902–1969), *Татьяна* Вла-

димировна *Штильман*, *Валентина* Яльмаровна *Гансон*, *Леонид* Иосифович *Ганский* (Гатинский, 1905–1970), Валериан Федорович *Дряхлов* (сборник «Проблески». Париж, 1972), Виктор Андреевич *Мамченко* (1901–1982), автор восьми поэтических сборников, *Юрий* Борисович *Софиев* (Бек-Софиев, 1899–1975), после Второй мировой войны живший в СССР, Николай Владимирович *Станюкович* (1898–1977), автор трех сборников, Юрий Константинович *Терапиано* (1892–1980), впоследствии видный в эмиграции поэт и критик, *Лазарь* Израилевич *Кельберин* (1907–1975) (сборник «Идол». Париж, 1929).

...взято у Гумилева...— из стихотворения Гумилева «Слово».

С. 693. ...статья о нынешнем Содоме... — Д. С. Мережковский. Европа-Содом. Из книги «Атлантида-Европа» (Числа. 1930. Кн. 2–3. С. 183–196).

...певец «догоревших огней»... — С. Я. Надсон (цитируется его стихотворение «Умерла моя муза! Надолго она...»), который жаловался на беспомощность языка в стихотворении «Милый друг, я знаю, я глубоко знаю...».

С. 694. «Отойди от меня, человек, отойди, — я зеваю». — В. Ходасевич, напротив, отнес это «небольшое, всего в шесть строк, но уже мастерское стихотворение» к «превосходным вещам» (Возрождение. 31 марта 1932). Приведем его текст:

Отойди от меня, человек, отойди, — я зеваю.
Этой страшной ценой я за жалкую мудрость плачу.
Видишь руку мою, что лежит на столе как живая, —
Разжимаю кулак и уже ничего не хочу.

Отойди от меня, человек. Не пытайся помочь.
Надо мною густеет бесплодная тяжкая ночь.

Бобринский Петр Андреевич (1893–1962) — выпустил два сборника стихов в Петербурге: «Стихи» (1912) и «Пандора» (1915). «Его стихи, — писал Н. С. Гумилев, — метрически правильны, опрятны по рифмам, довольно образны, но в них нет ни силы, ни умеренности, ни правильного чередования света и тени, всего, что мы привыкли требовать от стихов, чтобы счесть их поэзией» (Аполлон. 1912. № 6. С. 54). Он автор книги «Старчик Григорий Сковорода» (Париж, 1929). Сборник его стихов с предисловием Г. Адамовича был выпущен в Париже в 1969 г.

Голенищев-Кутузов Илья Николаевич (1904–1969) — поэт, переводчик, литературовед, автор сборника стихов «Память» (Париж, 1935), с 1921 по 1955 г. жил в эмиграции.

«Георгий Раевский» — псевдоним Георгия Авдеевича Оцупа (1897–1963), автора вышедших в Париже сборников «Строфы» (1928), «Новые стихотворения» (1946), «Третья книга» (1953).

«Голландская печь» — подборка двустиший, соответствующих календарному циклу. Набоков цитирует «январское» и «октябрьское» двустишия. Заключительное, «декабрьское»:

> Ослик жмется к бычку. В окне морозные звезды
> блещут. Над яслями круг тихо горит золотой.

Борис Поплавский. Флаги. Впервые: Руль. 11 марта 1931.

С. 695. Поплавский Борис Юлианович (1903–1935) — поэт. В 1921 г. эмигрировал из России. Его лирика (сборники «Флаги» (1931), «Снежный час» (1936), «В венке из воска» (1938)) отмечена чертами сюрреализма, в ней сочетаются мистические и христианские мотивы с конкретикой эмигрантского опыта. Автор нескольких романов. В «Память, говори» Набоков писал: «Я не встречал Поплавского, который умер молодым, дальняя скрипка среди близких балалаек. "О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни..." Его гулких тональностей я никогда не забуду, и никогда я не прощу себе раздраженной рецензии, в которой я нападал на него за тривиальные ошибки в его неоперившемся стихе».

В 1960-е гг. Набоков говорил американскому слависту С. Карлинскому: «Да, напишите о нем. Он был, в конце концов, первый хиппи, настоящее цветочное дитя» (The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West, 1922–1972. Berkeley, 1977. P. 331). Книга Поплавского «Флаги» была напечатана в Таллине.

Что всякий должен знать? Впервые: Новая газета. Париж. 1931. № 5 [май]. С. 3.

И. А. Матусевич как художник. Впервые: Руль. 6 мая 1931. Републикуется впервые.

С. 699. Матусевич Иосиф Александрович (1879 — после 1940) — художник, журналист, прозаик. Подвергался преследованиям нацистов как еврей.

Н. Берберова. Последние и Первые. Впервые: Руль. 23 июля 1931.

Один из рецензентов писал о романе Берберовой: «Некоторые критики, писавшие о романе Берберовой, уже отмечали верность автора "гуманистической" традиции русской литературы и противопоставляли Берберову Сирину. Противопоставление это верно» (Г. Струве. О романе Н. Берберовой // Россия и славянство. 21 ноября 1931).

Благотворительное воззвание (без названия, за подписью: В. Сирин). Впервые: Последние новости. 2 января 1932. Републикуется впервые. Напечатано рядом с заметкой: «Безработица во Франции. За последнюю неделю число зарегистрированных безработных увеличилось на 15 935 и теперь составляет 147 009».

«Волк, волк!» Впервые: Наш век. Берлин. 31 января 1932.

Яновский Василий Семенович (1906–1989) — парижский прозаик, с 1942 г. жил в США, автор романов «Колесо» (1930), «Любовь вторая» (1935), «Портативное бессмертие» (1939) и др. В. Ходасевич в рецензии на роман «Мир» писал о «неровном, неопытном, но несомненно одаренном авторе» (Возрождение. 28 января 1932).

С. 702. ...с эпиграфом из Евангелия. — «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь» (Иоанн. 16: 32).

Памяти А. М. Черного. Впервые: Последние новости. 13 августа 1932.

Саша Черный (Александр Михайлович Гликберг, 1880–1932) был дружен с родителями Набокова. Впоследствии Набоков рассказывал о Саше Черном своему биографу: «Он был замечательной личностью. Милейшим человеком. И, по-моему, первоклассным поэтом. По большей части он писал легкую поэзию такого типа, который очень любят в России, с политическим и сатирическим привкусом. Помнится, он был очень маленького роста, с сияющими глазами и с очень приятным выговором. Потом в Берлине он начал писать серьезные стихи и весьма в этом преуспел» (A. Field. Nabokov. A Bibliography. New York, 1973. P. 78). Рецензируя перевод стихотворной сказки немецкого поэта Рихарда Демеля, выполненный Сашей Черным, Набоков замечал: «Стих Саши Черного легок, катится нежно-гуттаперчевой музыкой, — и сказка Деммеля в его передаче веет свежей, чуть дымчатой мягкостью. Все это лишний раз показывает, какой тонкий, своеобразный лирик живет в желчном авторе “сатир”» (1924; см. том I наст. издания).

С. 704. Один из лучших наших поэтов... — Речь идет о статье В. Ходасевича «Подвиг», в которой, в частности, говорилось: «Имея свободный доступ в печатные наши органы (иногда за несомненную доброкачественность своих работ, иногда за славное имя, иногда просто за выслугу лет), старшая литература с безучастием смотрит на то, как писания младших подвергаются слишком некомпетентному суду случайных вершителей литературных судеб, как отвергаются редакциями произведения, отмеченные несомненным талантом, и печатаются другие, достоинствами не блещущие ⟨...⟩ старшие писатели, порой выступая

в роли критиков ⟨...⟩ почти вовсе не уделяют внимания писаниям молодежи. ⟨...⟩ Если иногда хвалят на словах — избегают высказываться печатно. ⟨...⟩ Сириным на словах восхищались чуть ли не все (и вполне справедливо) — но кто возвысил свой компетентный голос, чтобы обратить на него внимание публики? Ровным счетом никто» (Возрождение. 5 мая 1932).

...в «Жар-Птице»... — А. Черный заведовал литературным отделом в журнале «Жар-Птица» (1921–1925).

...в «Гранях»... — В альманахе «Грани» (Берлин, 1922) помимо стихов Набокова была напечатана и его статья «Руперт Брук».

Р. Тименчик

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА «СТИХОТВОРЕНИЯ 1929–1951»

ИЗ СБОРНИКА «POEMS AND PROBLEMS»

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

Набоков В. В.

Н 14 Русский период. Собрание сочинений в 5 томах / Сост. Н. Артеменко-Толстой. Предисл. А. Долинина. Прим. О. Сконечной, А. Долинина, Г. Утгофа, А. Яновского, Ю. Левинга, М. Маликовой, Р. Тименчика. — СПб.: «Симпозиум», 2006. — 848 стр. (т. 3).

ISBN 5-89091-082-5 (т. 3)
ISBN 5-89091-051-5

Настоящий том собрания русскоязычных произведений Владимира Набокова (1899–1977) посвящен периоду вторая половина 1930 г.— 1934 г., когда были опубликованы его романы «Подвиг» (1931–1932), «Камера обскура» (1932–1933), «Отчаяние» (1934; 1936), а также повесть «Соглядатай» (1930) и рассказы, позже вошедшие в сборники «Соглядатай» и «Весна в Фиальте». В том включены впервые републикуемые эссе «И. А. Матусевич как художник» (1931) и Благотворительное воззвание В. Сирина (1932), а также не переиздававшиеся автором стихотворные переводы из Гёте «Посвящение к Фаусту» (1932) и три отрывка из «Гамлета» Шекспира (1930).

Во всех возможных случаях тексты сверены с первоизданиями, сопровождаются подробными примечаниями.

Владимир Набоков
Русский период
Собрание сочинений в 5 томах
Том III

Составление
Н. И. Артеменко-Толстой

Отв. редакторы *А. К. Кононов, М. В. Козикова*
Редактор *М. В. Козикова*
Художник *М. Г. Занько*
Технический редактор *Е. И. Каплунова*
Верстка *И. В. Петрова*
Корректор *Е. Д. Шнитникова*

Издательство «СИМПОЗИУМ».
190000, Санкт-Петербург, ул. М. Морская, 18.
Тел./факс +7 (812) 314-46-13, 595-44-22
E-mail: symposium@online.ru

Подписано в печать 14.04.06.
Формат 84×108/32. Усл. печ. л. 44,52. Печать высокая.
Тираж 2000 экз. Заказ № 1152.

Отпечатано с фотоформ
в ФГУП «Печатный двор» им. А. М. Горького
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

